This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

3 3433 06994288 0

Digitized by Google

Digitized by Google

(Mikhailovski)

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

577713

Н. К. Михайловскій.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ВОСПОМИНАНІЯ
И
СОВРЕМЕННАЯ СМУТА.

Томъ I.

ИЗДАНІЕ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА „РУССКОЕ БОГАТСТВО“.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типо-Литографія Б. М. Вольфа, Разъѣзжая, 15.
1900.

Digitized by Google

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
577712
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1912 L

Digitized by Google

Предлагаемая книга состоитъ изъ статей, печатавшихся въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ сначала въ «Русской Мысли», потомъ въ «Русскомъ Богатствѣ» подъ общимъ заглавіемъ «Литература и жизнь». Самыя статьи я перепечатываю безъ сколько нибудь существенныхъ измѣненій, но заглавіе дано имъ новое, такъ какъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ была уже мною издана книжка «Литература и жизнь». Что же касается новаго заглавія, то я просилъ бы читателя не видѣть въ немъ противоположенія прошлаго настоящему. Безъ сомнѣнія и въ томъ прошломъ, къ которому относятся мои воспоминанія, было много смуты, и въ настоящемъ не все смута, но я не умѣю иначе суммировать пестрое содержаніе книги.

Ник. Михайловскій.

Digitized by Google

Digitized by Google

Содержаніе.

стр.

I. Вступленіе.—Мой первый литературный опытъ.—„Разсвѣтъ“.—„Книжный Вѣстникъ“. — Братья Курочкины, Ножинъ Благосвѣтловъ, Писаревъ, Демертъ, Минаевъ. 1

II. „Гласный судъ“, „Современное Обозрѣніе“, „Отечественныя Записки“.—Некрасовъ.—Романъ „Борьба“ и статья „Что такое прогрессъ?“—Салтыковъ, Елисеевъ, Успенскій.—Некрасовъ, какъ человѣкъ 41

III. Фетъ о Салтыковѣ.—Изъ переписки и дневника Шелгунова.—Шелгуновъ и Позднышевъ.—„Исторія новѣйшей русской литературы“. А. М. Скабичевскаго . . . 85

IV. П. Д. Боборыкинъ и его отношенія къ „Отечественнымъ Запискамъ“.—Еще объ „Исторіи новѣйшей литературы“. А. М. Скабичевскаго 128

V. Въ одной изъ толстовскихъ колоній.—Изъ прошлаго и настоящаго Л. Н. Толстого.—Полемика съ нимъ И. И. Мечникова. 160

VI. Личныя воспоминанія о гр. Толстомъ. Толстой и г. Мечниковъ, какъ гигіенисты 198

VII. О естественномъ и неестественномъ.—О задачахъ науки.—О будущемъ женщинъ и женскаго вопроса . . . 234

VIII. Люди, владѣющіе перомъ, и люди, перомъ владѣемые.—Двоякаго рода эпигоны. — Г. Сементковскій о нашемъ недавнемъ прошломъ 268

IX. „Книга о книгахъ“.—Воспоминаніе объ одномъ маленькомъ человѣкѣ.—Н. И. Зиберъ.—Письмо К. Маркса.—Кающіеся дворяне 308

X. Идеалы и идолы.—Ошибки исторической перспективы.—„Черезъ сто лѣтъ“ Беллами и „Крушеніе цивилизаціи“ Буажильбера 350

Digitized by Google

стр.

XI. О г. Розановѣ и о томъ, почему онъ отказывается отъ наслѣдства.—О мозаичности культуры.—Славянофилы, „Московскія Вѣдомости“, „Гражданинъ“ и благонамѣренность.—Изъ поѣздки по Волгѣ и изъ исторіи русской цензуры 378

XII. Г. З. Елисеевъ 417

Digitized by Google

I *).

Вступленіе.— Мой первый литературный опытъ.—„Разсвѣтъ".—„Книжный Вѣстникъ". — Братья Курочкины, Ножинъ, Благосвѣтловъ, Писаревъ, Демертъ, Минаевъ.

Смерть Елисеева не идетъ у меня изъ головы. Ничего въ ней нѣтъ удивительнаго или необычайнаго: Елисееву было семьдесятъ лѣтъ, а это возрастъ вообще значительный, а для русскаго писателя и подавно. Въ нынѣшнемъ году вышли „Критическіе опыты" Валеріана Майкова, на котораго возлагались когда-то большія надежды, въ которомъ многіе видѣли преемника Бѣлинскаго. Я не думаю, чтобы эти надежды могли быть осуществлены Майковымъ вполнѣ, но это былъ, во всякомъ случаѣ, очень даровитый и трудолюбивый юноша, который, однако, такъ юношей и умеръ. Онъ умеръ въ 1847 г., двадцати трехъ лѣтъ, проработавъ на литературномъ поприщѣ меньше полутора года. Начиная съ Лермонтова, продолжая Добролюбовымъ, Писаревымъ, кончая Гаршинымъ, Надсономъ, мы уже какъ-то привыкли къ раннимъ смертямъ даровитыхъ литературныхъ дѣятелей. Что-же можетъ быть поразительнаго въ смерти больного семидесятилѣтняго старика, давно и спокойно готовившагося къ неизбѣжному концу? И, все-таки, эта смерть неустанно гвоздитъ мой мозгъ, будя въ немъ цѣлый рой воспоминаній. Можетъ быть, тутъ виновато то обстоятельство, что я теперь занимаюсь разборкою бумагъ Елисеева, въ которыхъ значительное мѣсто занимаютъ литературныя воспоминанія; можетъ быть, особенности моихъ личныхъ отношеній къ покойному играютъ тутъ роль; можетъ быть, наконецъ, и безъ того пришла пора оглянуться на прошлое, и смерть Елисеева была только окончательнымъ толчкомъ въ этомъ направленіи. Какъ-бы то ни было, но и Елисеевъ, и всѣ „Отечественныя Записки", и все, что предшествовало

*) 1891, мартъ.

Digitized by Google

въ моей жизни „Отечественнымъ Запискамъ“,—все это просится на бумагу. И я не вижу причины держать себя въ этомъ отношеніи на привязи. Мнѣ кажется даже, что въ настоящее время особенно полезно вспомнить и напомнить кое-что изъ прошлаго. За тридцать лѣтъ исключительнаго и постояннаго пребыванія въ литературной средѣ я ее узналъ вдоль и поперекъ, въ ея достоинствахъ, какъ и въ ея слабостяхъ, въ ея вершинахъ, составляющихъ гордость Россіи, и въ ея низменностяхъ, въ счастьи и въ несчастьи. Всего этого разсказать теперь нельзя по многимъ причинамъ, понятнымъ для каждаго читателя, но то, что можно, постараюсь разсказать правдиво.

Ручаюсь за правдивость, но не ручаюсь за послѣдовательность и аккуратность. Оставляя за собою право (которое можетъ при случаѣ обратиться даже въ обязанность) оборвать воспоминанія на любомъ моментѣ, потому-ли, что онъ мнѣ покажется щекотливымъ, или просто потому, что надоѣстъ вспоминать, я заранѣе выговариваю себѣ и другое право. Едва-ли я въ состояніи буду ограничиться буквально воспоминаніями. Читатель долженъ заранѣе примириться съ разными возможными перерывами и отступленіями въ сторону текущей минуты или какихъ-нибудь теоретическихъ соображеній. У всякаго писателя есть своя физіономія, которую поздно, да и нѣтъ надобности передѣлывать, когда доходишь до воспоминаній.

Для меня лично „литературныя воспоминанія“—плеоназмъ. Иныхъ воспоминаній, кромѣ литературныхъ, я бы и не могъ предложить читателямъ, потому что вся моя жизнь протекла въ литературѣ. Конечно, и у меня, какъ у всякаго, были внѣ-литературныя связи и отношенія, но я не полагаю ихъ интересными для читателей. Говоря, что жизнь моя вся протекла въ литературѣ, я разумѣю жизнь профессіональную, жизнь труда. Я никогда не служилъ ни на государственной, ни на частной службѣ, никогда не носилъ мундира, кромѣ школьнаго, никогда не занимался торговлею, хозяйственными дѣлами и т. п.; я даже почти никогда не занимался педагогическою дѣятельностью, которая, въ формѣ даванія частныхъ уроковъ, можно сказать, обязательна для бѣдныхъ молодыхъ людей, пріѣзжающихъ въ столицы учиться или пробивать себѣ жизненный путь. Говорю „почти“, потому что однажды въ трудныя времена давалъ уроки русскаго языка взрослому нѣмцу и съ тѣхъ поръ закаялся. Начавъ писать на

Digitized by Google

школьной скамьѣ, я затѣмъ уже не переставалъ быть литераторомъ и только литераторомъ, за исключеніемъ, помнится, двухъ лѣтъ, когда, еще не оперившись въ литературномъ смыслѣ, снискивалъ себѣ пропитаніе чтеніемъ корректуръ. Значитъ, и тутъ былъ, все-таки, около литературы.

Да не подумаетъ читатель, что я вижу въ этомъ какую-нибудь заслугу или особенное достоинство. Я просто предъявляю фактъ, имѣющій свои очень дурныя стороны, между прочимъ, ту обидную практическую безпомощность, которою почти всегда отличаются люди, съ молодыхъ лѣтъ исключительно отдавшіеся литературѣ. Бываютъ, правда, рѣзкія исключенія, какъ, напримѣръ, Некрасовъ, но это именно исключенія. Не желаю я, однако, внушить читателю и ту мысль, что, оставаясь всю жизнь въ литературѣ, я приносилъ или приношу какую-нибудь жертву. Совсѣмъ даже напротивъ. Много горестныхъ волненій выпадаетъ на долю русскаго писателя, въ особенности журналиста, много обидныхъ внезапностей и тяжелыхъ разочарованій; въ самой жизни его много, повидимому, фатальной нескладицы. Но если-бы мнѣ теперь надлежало начинать съ начала, я все-таки выбралъ-бы литературу. И даже не *все-таки*, а *тѣмъ болѣе*. „Въ тѣ дни, когда мнѣ были новы всѣ впечатлѣнья бытія“, я пошелъ въ литературу просто по безсознательному влеченію, почти по инстинкту, хотя, конечно, роль писателя рисовалась и сознанію въ неясномъ, но прекрасномъ ореолѣ. Теперь я знаю, чего стоитъ этотъ ореолъ и какъ тернистъ жизненный путь писателя. Кромѣ того, и влеченіе къ литературной работѣ утратило свою первоначальную свѣжесть. Но за всѣмъ тѣмъ для меня не существуетъ дѣла, которое давало-бы столько наслажденія и въ своемъ началѣ, при возникновеніи извѣстныхъ мыслей и чувствъ, зовущихъ къ письменному столу, и въ самомъ процессѣ своемъ и, наконецъ, въ своемъ результатѣ—въ общеніи съ читателемъ. Кто разъ глотнулъ изъ этой чаши, того развѣ какія-нибудь исключительныя обстоятельства могутъ оторвать отъ нея. Въ этомъ заключается, между прочимъ, причина многихъ драмъ, совершающихся въ литературной средѣ. Молодой человѣкъ, случайно написавшій удачную вещь, затѣмъ недурную вторую, пожалуй, третью, но уложившій въ нихъ все, что у него было за душой, лишь съ большимъ трудомъ убѣждается, что онъ попалъ на эту дорогу случайно, по ошибкѣ. А ошибки тутъ могутъ выйти

Digitized by Google

разныя. Есть умные и знающіе люди, совершенно, однако, лишенные собственно литературнаго таланта, дара письменнаго изложенія; и это бываетъ при наличности другихъ, очень, повидимому, сродныхъ талантовъ, напримѣръ, ораторскаго. Но, кромѣ таланта, писателю нужна еще способность приходить въ извѣстное настроеніе, которое случайно можетъ посѣтить каждаго человѣка, но лишь въ призванныхъ или, пожалуй, обреченныхъ достигаетъ достаточной напряженности и прочности и обращается въ нѣчто привычное. Сюда надо еще ввести игру самолюбія, которое, вообще говоря, послѣ людей эстрады и сцены, наиболѣе развито у литераторовъ, и это лежитъ въ самыхъ условіяхъ ихъ профессіи. Изо всѣхъ этихъ обстоятельствъ могутъ выходить чрезвычайно разнообразныя комбинаціи, способныя ввести неопытнаго молодого человѣка въ ошибку насчетъ своихъ силъ, способностей, даже склонностей, а сладкой отравы онъ уже попробовалъ. Онъ заставляетъ себя работать, насилуетъ себя; колеблется вверхъ и внизъ волнами надежды и разочарованія; переживаетъ минуты страшнаго нервнаго напряженія и затѣмъ реакціи; ищетъ выхода и забвенія въ разгулѣ, столь вообще свойственномъ русскому человѣку; ищетъ и, разумѣется, находитъ завистниковъ, враговъ, хотя въ дѣйствительности ихъ, можетъ быть, и въ поминѣ нѣтъ; становится, наконецъ, самъ завистникомъ и врагомъ,—врагомъ подчасъ не Ивана или Петра, а цѣлаго направленія, котораго прежде держался и которое теперь виновато тѣмъ, что не утилизируетъ его дарованій; чувствуя нравственную низменность этого мотива, онъ еще пуще грызетъ себя. А оторваться, все-таки, не можетъ. Все это, въ различныхъ сочетаніяхъ и въ различной послѣдовательности, встрѣчается, конечно, не у насъ только. Въ европейской литературѣ есть чрезвычайно яркія художественныя воспроизведенія этой житейской драмы. Такова, напримѣръ, исторія Люсьена Шардона въ „Illusions perdues“ Бальзака или Октава въ „Le Dieu Octave“ Гальта. Сравнительно съ нашими подобными драмами, исторіи Люсьена и Октава осложнены тою непосредственно-практическою политическою ролью, которую можетъ играть европейскій писатель и которая, еще обостряя жажду, обостряетъ въ такой-же мѣрѣ и горечь неудовлетворенія. У насъ все это проще, площе, мельче по фабулѣ и обстановкѣ, но въ своемъ родѣ не менѣе мучительно для дѣйствующихъ лицъ. Въ повѣсти г. Потапенко

Digitized by Google

„Святое искусство“ и въ недавно вышедшей повѣсти г. Влад. Немировича-Данченко „На литературныхъ хлѣбахъ“ предѣлы этой русской драмы далеко не исчерпаны, но нѣкоторые ея моменты хорошо намѣчены. Герои обѣихъ повѣстей — молодые люди, не лишенные не то что таланта, а способности письменно излагать несложные факты и мысли; но имъ этого мало, они мѣтятъ выше и, несмотря на всѣ разочарованія, не могутъ бросить перо. Само собою разумѣется, что отъ подобныхъ и даже гораздо болѣе страшныхъ драмъ не гарантированъ и старый человѣкъ, хотя-бы уже потому, что немолодой человѣкъ можетъ оказаться въ положеніи начинающаго писателя. Въ январскомъ нумерѣ журнала „Артистъ“ напечатано начало разсказа г. Садовскаго „Высокое призваніе“. Немолодой уже учитель математики, Струевъ, поощряемый лестью, совершенно, впрочемъ, искреннею, пріятелей, задумываетъ написать комедію. Грубоватый юморъ г. Садовскаго слишкомъ уже подчеркиваетъ ожидающую несчастнаго неудачу и долженствующую послѣдовать за подъемомъ „высокаго призванія“ горечь разочарованія. Да и вообще это случай слишкомъ элементарный. Гораздо глубже и страшнѣе драмы, часто пересѣкающія тернистый путь писателя бывалаго, уже видавшаго виды. Въ упомянутой повѣсти г. Влад. Немировича-Данченко чуть-чуть намѣчена подобная драма въ лицѣ Тростникова. Оскудѣетъ нервно-мозговая лабораторія, гдѣ изъ впечатлѣній, чувствъ, мыслей создается спеціальное настроеніе, зовущее къ письменному столу; ослабѣетъ способность къ работѣ въ чисто-механическомъ смыслѣ; оборвется какимъ-нибудь постороннимъ, внѣшнимъ обстоятельствомъ или собственнымъ разочарованіемъ писателя его привычная уже связь съ читателемъ, — и человѣкъ такъ несчастливъ, какъ трудно и представить людямъ, не испытавшимъ или близко не видавшимъ этого. Несчастіе его тѣмъ ужаснѣе, что онъ, все-таки, пригвожденъ къ кресту своего писательства, съ котораго ему не сойти никуда и никогда. Все это я говорю о литературныхъ работникахъ или намѣривающихся быть таковыми, а не о диллетантахъ, удѣляющихъ часы своихъ досуговъ отъ иныхъ, административныхъ, хозяйственныхъ, и т. п. заботъ. Тѣ совсѣмъ особая статья. Да и то, что сказано, сказано пока вскользь, къ слову. О драмахъ, совершающихся въ литературной средѣ, мнѣ еще, вѣроятно, придется говорить въ подробности.

Здѣсь прибавляю только одно. Матеріальное положеніе рус-

Digitized by Google

скаго писателя чрезвычайно шатко. Г. Щегловъ во второмъ томѣ своей „Исторіи соціальныхъ системъ“ говоритъ о большихъ состояніяхъ, наживаемыхъ у насъ литературой, о каретахъ и лакеяхъ. Спора нѣтъ, это бываетъ, но большія состоянія наживаются, все-таки, не литературой въ собственномъ смыслѣ слова, а издательствомъ. Большинство-же литературныхъ работниковъ, если они не имѣютъ наслѣдственнаго состоянія, какъ, напримѣръ, Салтыковъ или Тургеневъ, подъ конецъ жизни терпятъ всяческія лишенія и сплошь и рядомъ умираютъ нищими, съ горчайшими думами о судьбѣ своихъ семей, если таковыя есть. Этого не избѣгаютъ даже крупнѣйшіе таланты, повидимому, особенно благопріятно поставленные. Достоевскій лишь за нѣсколько лѣтъ до смерти поправился, а до тѣхъ поръ бился, какъ рыба объ ледъ, попадая временами въ унизительнѣйшія положенія. Заіончковскую (В. Крестовскій-псевдонимъ) не на что было похоронить. Бѣлинскій писалъ одному знакомому: „Я ѣхалъ за границу съ тяжелымъ и грустнымъ убѣжденіемъ, что поприще мое кончилось, что я сдѣлалъ все, что дано было мнѣ сдѣлать, что я выписался и... сталъ похожъ на выжатый и вымоченный въ чаѣ лимонъ. Каково мнѣ было такъ думать, можете судить сами: тутъ дѣло шло не объ одномъ самолюбіи, но и о голодной смерти съ семействомъ“. Это-ли еще не драма?!

Но, конечно, ни о какихъ такихъ драмахъ я не помышлялъ, когда весною 1860 года съ трепетнымъ сердцемъ и маленькою рукописью въ карманѣ пробирался на Петербургскую сторону, въ редакцію „Разсвѣта“, „журнала для взрослыхъ дѣвицъ“, издававшагося артиллерійскимъ офицеромъ Кремпинымъ. Почему артиллерійскій офицеръ издавалъ журналъ для взрослыхъ дѣвицъ и почему я, 18—19-тилѣтній кадетъ горнаго корпуса, отправился въ этотъ журналъ съ своимъ первымъ литературнымъ произведеніемъ, этого сразу не поймешь. Мнѣ впослѣдствіи „Разсвѣтъ“ никогда не попадался подъ руку, но смутно помнится, что это былъ журналъ по-своему интересный и живой, хотя просуществовалъ онъ недолго, не больше трехъ лѣтъ. Въ немъ пробовали свое перо нѣкоторыя выдавшіяся впослѣдствіи литературныя силы. Тамъ началъ свою краткую, но блестящую карьеру покойный Писаревъ. Если не ошибаюсь, тамъ писалъ и А. М. Скабичевскій. Одинъ мой товарищъ по горному корпусу, нѣкій Штильке, практическій человѣкъ, нынѣ уже умершій, смастерилъ

Digitized by Google

компиляцію о „кофе“, снесъ ее Кремпину, и тотъ напечаталъ. Другой мой товарищъ, К. А. Скальковскій, нынѣ большой чиновникъ, всемірный путешественникъ и балетоманъ, напечаталъ въ „Разсвѣтѣ“ какую-то историческую статью. Такимъ образомъ, собственно мнѣ дорога была какъ-бы уже проложена, а, слѣдовательно, и мой выборъ „Разсвѣта“ можно объяснить чисто механически. Но нельзя, я думаю, такъ просто объяснить самую тему моей первой статьи. Тогда въ „Современникѣ“ появился отрывокъ изъ романа Гончарова „Обрывъ“, озаглавленный „Софья Николаевна Бѣловодова“. Этотъ-то отрывокъ и вдохновилъ меня на критическую замѣтку. Замѣтки этой я не помню. Помню только, что она была не подписана; помню почему-то, что Райскій въ ней сравнивался съ гуслями-самогудами; помню, наконецъ, одно замѣчаніе Кремпина о неловкости и ненужности употребленнаго мною выраженія „пахотинщина“ (Софья Николаевна Бѣловодова была, какъ извѣстно, урожденная Пахотина); но осталось-ли это дѣйствительно ненужное и неуклюжее слово, очевидно, навѣянное „обломовщиной“, или его Кремпинъ вымаралъ,— не помню. А, главное, не помню общей мысли и содержанія статейки. Во всякомъ случаѣ, она была вызвана женскою фигурой. Въ то-же время я замышлялъ статьи о нѣкоторыхъ другихъ женскихъ фигурахъ, историческихъ и поэтическихъ, чего, впрочемъ, въ исполненіе не привелъ. Статейку мою Кремпинъ нашелъ „весьма удовлетворительною“ и торжественно вручилъ мнѣ за нее 13 рублей. „По разсчету выходитъ 12 р. 90 к.,—сказалъ онъ,—но ужъ такъ, для круглаго числа“. Несмотря, однако, на этотъ добавочный гривенникъ и на снисходительное одобреніе артиллерійскаго редактора журнала для взрослыхъ дѣвицъ, статейка была, должно быть, очень курьезная. Дѣло въ томъ, что я тогда женщинъ не только не зналъ, а почти что и не встрѣчалъ. Оторванный волею судебъ съ 14-ти лѣтъ отъ всякой семейной обстановки, заключенный въ четырехъ стѣнахъ закрытаго заведенія и долго не имѣя въ Петербургѣ никакихъ знакомыхъ, я только передъ самымъ своимъ выходомъ изъ корпуса, можно сказать, увидалъ женщинъ. Отсюда слѣдуетъ заключить, что въ статейку о Софьѣ Николаевнѣ Бѣловодовой едва-ли вложено особенно глубокое пониманіе, хотя тогда я, разумѣется, былъ совершенно иного мнѣнія объ этомъ своемъ первенцѣ. А, между тѣмъ, немного позже я еще и еще обращался (между прочимъ,

Digitized by Google

помнится, въ „Современномъ Словѣ“ Писаревскаго) къ разговору о женщинахъ и даже прямо о женскомъ вопросѣ.

Этой кажущейся несообразности есть двѣ причины. Одна изъ нихъ обусловливается обстоятельствами времени. Это—та самая, по которой и артиллерійскій офицеръ Кремпинъ сталъ издавать журналъ для взрослыхъ дѣвицъ. Есть общественные вопросы, очень сложные въ своихъ подробностяхъ и развѣтвленіяхъ, но теоретически легко формулируемые, по крайней мѣрѣ, въ своихъ исходныхъ точкахъ. Къ числу ихъ принадлежитъ и такъ называемый женскій вопросъ. Основныя его положенія такъ просты и ясны, что имъ, собственно говоря, могутъ быть противопоставлены только лицемѣріе, предразсудки и насиліе. Немудрено поэтому, что женскій вопросъ получилъ у насъ чрезвычайную популярность въ концѣ пятидесятыхъ и въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, когда результаты крымской войны вызвали въ общественномъ сознаніи шумную волну борьбы съ лицемѣріемъ, предразсудками и насиліемъ вообще. Онъ не былъ, конечно, ни самымъ значительнымъ, ни самымъ острымъ изъ множества возникшихъ тогда общественныхъ вопросовъ, но онъ былъ самымъ общедоступнымъ. Въ сущности, онъ вовсе не такъ простъ, какъ кажется или какъ казалось тогда, но его первые элементы поражаютъ извѣстнымъ образомъ настроенные молодые умы и молодыя или помолодѣвшія общества своею простотой и ясностью. Женщина хочетъ и можетъ учиться, работать, участвовать въ жизни общества, свободно выбирать себѣ семейную и всякую другую житейскую обстановку,—словомъ, женщина хочетъ и можетъ быть человѣкомъ. Чтобы понять это и проникнуться этимъ, не требуется ни спеціальныхъ знаній, ни житейской опытности, ни вообще какой-нибудь подготовленности. Достаточно логической способности и добрыхъ чувствъ, которыя могутъ быть и у артиллерійскаго офицера, и у полувзрослаго горнаго кадета. Въ приподнятомъ тонѣ всей тогдашней общественной атмосферы женскому вопросу естественно было стать пробнымъ камнемъ для приложенія молодыхъ силъ, тѣмъ болѣе, что онъ былъ тогда новинкой. Для теперешняго хорошо настроеннаго юноши это—пройденная ступень, изъ-за которой онъ не станетъ огорчаться: несмотря ни на что, жизнь, все-таки, многое отвоевала. Но тогда именно на этой почвѣ были всего удобнѣе первыя стычки съ насиліемъ и свое-

Digitized by Google

корыстіемъ, а, стало быть, и первые проблески идеаловъ справедливости и свободы.

18—19-тилѣтняго юношу могло толкать въ эту сторону еще одно обстоятельство. Гр. Л. Толстой съ безпощадною и, можетъ быть, даже чрезмѣрною откровенностью разсказалъ въ „Крейцеровой сонатѣ“ про тѣ мерзостныя формы, подъ которыми, въ большинствѣ случаевъ, молодые люди практически узнаютъ такъ называемую любовь. Горькая правда, но правда все, что сказалъ объ этомъ гр. Толстой съ фактической стороны: грубо, грязно, омерзительно. Однако, это, во-первыхъ, не полная правда, а во-вторыхъ, изъ нея слѣдуютъ совсѣмъ не тѣ выводы, которые дѣлаетъ гр. Толстой. Впрочемъ, о выводахъ гр. Толстого какъ-то даже странно говорить. Только упорное холопство передъ именами можетъ искать и находить здѣсь какую-то глубину и высшую правду. Какъ-бы то ни было, но и послѣ „Крейцеровой сонаты“ любовь остается, все-таки, закономъ природы, писаннымъ для дураковъ и умниковъ, для холоповъ и баръ, и вопросъ не въ томъ, чтобы обойти его, а чтобы физіологическіе корни любви и ея психологическіе цвѣты не были оторваны другъ отъ друга. Благодаря безобразному строю нашей жизни вообще, благодаря въ особенности условіямъ воспитанія нашего юношества, эта физіологія и эта психологія живутъ сплошь и рядомъ врознь. Самый обыкновенный случай тотъ, что дѣвушка носится въ эфирныхъ волнахъ сантиментальнаго идеализма, иногда подлиннаго, а иногда лицемѣрнаго, а ея будущій мужъ купается въ это время въ грязи. Но, въ большинствѣ случаевъ, въ то-же самое время и въ его душѣ цвѣтутъ цвѣты, и только дальнѣйшее теченіе жизни окончательно опредѣляетъ характеръ его отношеній къ женщинѣ. Въ тотъ критическій моментъ развитія, когда физіологическая основа любви заявляетъ о себѣ съ непреодолимою настойчивостью, смутнымъ, но отнюдь не грязнымъ тяготѣніемъ къ женщинѣ проникается и душа юноши. Эта цѣльность настроенія, охватывающаго всего человѣка заразъ, подъ вліяніемъ среды иногда очень быстро нарушается, иногда навсегда, иногда временно, но она все-таки есть, по крайней мѣрѣ, въ видѣ задатковъ. Въ это время пишутся проникнутые голубоглазымъ идеализмомъ стихи „къ ней“, гдѣ воспѣваются разныя „ея“ блестящія качества, хотя никакой „ея“ на дѣлѣ нѣтъ, или-же блестящіе аттрибуты торопливо нацѣпляются на первую попавшуюся

Digitized by Google

женскую фигуру, къ которой они, можетъ быть, идутъ какъ къ коровѣ сѣдло. „Ея“ нѣтъ, но есть смутное представленіе о чемъ-то сложно и жизненно-прекрасномъ, чему хочется такъ или иначе послужить, помочь, защитить. Я не рожденъ поэтомъ и писалъ не стихи „къ ней“, существующей или не существующей, а статьи о женщинахъ, которыхъ совсѣмъ не зналъ.

Итакъ, первый шагъ сдѣланъ: первая статья напечатана. Тридцать лѣтъ тому назадъ это было. Тридцать лѣтъ! Ахъ, какъ это ужасно много и какъ трудно сѣдой головѣ, видавшей всякіе виды, переживать золотые дни молодости! Помню, что весна была, солнце свѣтило и грѣло, помню грязь и колеблющіеся деревянные троттуары тогдашней Петербургской стороны. Но не могу возстановить въ своей памяти то настроеніе, въ которомъ находился въ этотъ торжественный моментъ. Сотни печатныхъ листовъ, написанныхъ мною въ тридцать лѣтъ, завалили его своею тяжелою грудой. Тринадцать рублей перваго гонорара—зловѣщая „чортова дюжина“ какъ-бы предрекала, что не все розы будутъ на моемъ литературномъ пути, но настроеніе, все-таки, должно быть, было подъ стать веснѣ, — ликующее и, вмѣстѣ съ тѣмъ, нѣсколько стыдливое. Всякая первая въ своемъ родѣ удача въ жизни сопровождается стыдливымъ чувствомъ, если, разумѣется, человѣкъ вообще къ нему способенъ. Я не мало видалъ и такихъ людей, которые непосредственно послѣ первой удачи чуть не на аршинъ выростаютъ, такъ что имъ даже очень трудно нагнуться, чтобы подать два пальца неудачливому простому смертному. Повидимому, я былъ не таковъ, потому что поконфузился подписать подъ статейкой фамилію или даже иниціалы и о торжествѣ своемъ сообщилъ лишь очень немногимъ товарищамъ, а изъ немногочисленныхъ внѣкорпусныхъ знакомыхъ рѣшительно никому.

Страннымъ образомъ я въ это время не думалъ сдѣлаться литераторомъ по профессіи. Меня манило другое. Къ сочинительству я чувствовалъ склонность съ ранняго дѣтства. И въ гимназіи, и потомъ въ горномъ институтѣ я отличался „сочиненіями“ на заданныя или самостоятельно выбранныя темы, каковыя сочиненія писалъ не только для себя, а и для другихъ. Изъ этого выходили иногда забавныя недоразумѣнія, но расположеніемъ учителей русскаго языка я всегда и неизмѣнно пользовался, не смотря на свое легкомысленное поведеніе. Помянемъ кстати

Digitized by Google

добрымъ словомъ, кажется, исчезающій, если не исчезнувшій типъ учителя русскаго языка, который, благоговѣя передъ литературой и иногда робко тая въ самомъ себѣ мечты о литературной дѣятельности, съ особеннымъ вниманіемъ относился къ зачаточнымъ проблескамъ литературнаго дарованія въ своихъ ученикахъ. Тѣмъ не менѣе, въ то время, когда моя статейка о Софьѣ Николаевнѣ Бѣловодовой увидала свѣтъ, я не о литературной профессіи мечталъ, а объ адвокатской. Горный институтъ или горный корпусъ (оффиціально онъ назывался институтъ корпуса горныхъ инженеровъ) былъ тогда закрытымъ заведеніемъ, въ которое, однако, проникали разныя вѣянія изъ взбудораженнаго уже совершившимися и предстоящими реформами общества. Я былъ особенно заинтересованъ судебною реформой, о которой, впрочемъ, долженъ признаться, имѣлъ довольно смутное понятіе. Это не мѣшало мнѣ мысленно говорить блестящія рѣчи въ качествѣ „защитника вдовъ и сиротъ". Читатель, вспомните свою молодость и не будьте слишкомъ строги къ легкомысленнымъ мечтамъ 18—19-ти-лѣтняго мальчика. Почему я воображалъ себѣ ораторомъ, я не знаю. Можетъ быть, тутъ были виноваты маленькіе разговорные успѣхи въ кругу товарищей, а можетъ быть, нѣкоторая способность и въ самомъ дѣлѣ была, да атрофировалась отъ неупотребленія. Кавелинъ гдѣ-то говоритъ о „дурной привычкѣ думать съ перомъ въ рукахъ". Эта дурная привычка, кажется, неизбѣжна для призваннаго или обреченнаго литератора. Когда такой обреченный литераторъ чувствуетъ позывъ писать, это еще не значитъ, что у него готовъ планъ работы. Бываетъ и такъ, но, можетъ быть, въ большинствѣ случаевъ бываетъ совсѣмъ иначе. Просто какое-нибудь впечатлѣніе или какая-нибудь только мелькнувшая мысль всколыхиваетъ кладовую безсознательнаго, гдѣ, невѣдомо для самого писателя, покоятся результаты предъидущаго опыта, наблюденія, чтенія, всей прошлой жизни. Уже въ процессѣ работы эти продукты безсознательной душевной дѣятельности выступаютъ на порогъ сознанія и комбинируются въ цѣпи логическихъ умозаключеній или въ опредѣленные образы и картины. Да и въ тѣхъ случаяхъ, когда общій планъ выработанъ заранѣе, въ процессѣ письменной работы является множество непредвидѣнныхъ подробностей и поправокъ. Съ теченіемъ времени процессъ работы такъ прочно ассоціируется съ процессомъ самой мысли, что дѣйствительно

Digitized by Google

становится труднымъ думать безъ пера въ рукахъ. Этимъ объясняется застѣнчивость многихъ талантливыхъ писателей въ обществѣ, ихъ ненаходчивость въ разговорѣ, отсутствіе въ нихъ, за рѣдкими исключеніями, ораторской способности. Когда, какъ можно ожидать, фонографъ вытѣснитъ письменный столъ и письменныя принадлежности, литературный персоналъ будетъ, навѣрное, очень отличаться отъ нынѣшняго.

Какъ-бы то ни было, я мечталъ объ адвокатурѣ и всего меньше прельщался предстоявшею мнѣ карьерой горнаго инженера. А тутъ произошли еще школьные безпорядки, въ результатѣ которыхъ мнѣ было такъ настоятельно любезно предложено подать прошеніе объ увольненіи изъ корпуса, что я не могъ отказаться. Я уѣхалъ въ провинцію къ роднымъ все съ тою-же тайною мечтой объ адвокатурѣ и съ намѣреніемъ поступить на юридическій факультетъ петербургскаго университета, тогда вслѣдствіе студенческихъ безпорядковъ закрытаго. Когда я вернулся въ Петербургъ, открытъ былъ только первый курсъ. Не держа экзамена и не записываясь вольнымъ слушателемъ, я попробовалъ было ходить на лекціи контрабандой (тогда это было возможно), но скоро пересталъ, рѣшивъ, что проживу и безъ диплома, да и мечту объ адвокатурѣ бросилъ.

Литературные враги не разъ попрекали меня тѣмъ, что я нигдѣ не кончилъ курса (попрекали, какъ это всегда бываетъ, больше такіе господа, которые сами развѣ только гимназію кончили и затѣмъ, почивъ на этихъ лаврахъ, самостоятельно уже ничему не учились). Люди-же благорасположенные какъ-бы конфузились за меня. Однажды нѣкоторый библіографъ пришелъ ко мнѣ за біографическими свѣдѣніями для какого-то словаря. Сообщаю, между прочимъ, что учился въ костромской гимназіи, изъ четвертаго класса которой перешелъ въ горный институтъ, гдѣ, однако, курса не кончилъ, и болѣе ни въ какомъ учебномъ заведеніи не былъ. „Ну, этого я не напишу“,—сказалъ любезный библіографъ.—Отчего?—„Ну, все-таки, знаете...“—Но, вѣдь, изъ пѣсни слова не выкинешь, а это біографическій фактъ. Фактъ для меня, разумѣется, не совсѣмъ удобный, но постыднаго въ немъ, я думаю, ничего нѣтъ; тѣмъ болѣе, что, вѣдь, и Бѣлинскаго дразнили „недоучкой“, и Некрасовъ нигдѣ не окончилъ курса, и я знаю много балбесовъ, правильно окончившихъ надлежащіе курсы и снабженныхъ соотвѣтственными дипломами. Надо

Digitized by Google

замѣтить, что въ мое время горный корпусъ состоялъ изъ пяти приготовительныхъ и трехъ спеціальныхъ классовъ. Я вышелъ изъ корпуса, сдавъ экзаменъ въ 3-й спеціальный, то есть послѣдній классъ. Поэтому въ выданномъ мнѣ аттестатѣ значатся успѣхи въ такихъ наукахъ, какихъ господа, дразнящіе меня неокончаніемъ курса, можетъ быть, даже и не слыхивали. Разумѣется, я всѣ эти спеціальныя знанія давно растерялъ, но это произошло-бы и въ томъ случаѣ, если-бы я благополучно дотянулъ школу до конца, какъ это бываетъ со всѣми, кто покидаетъ спеціальность, къ которой онъ готовился. А то, что и въ этихъ случаяхъ можетъ дать систематическое школьное ученіе,—извѣстную умственную дисциплину,—я получилъ. Нѣсколько мѣсяцевъ, которые мнѣ оставалось дотянуть для полученія диплома на чинъ горнаго инженеръ-поручика, въ этомъ отношеніи много не прибавили-бы.

Мечтая о карьерѣ адвоката, я съ жаромъ, хотя безъ всякаго порядка, читалъ разныя юридическія сочиненія. Въ томъ числѣ былъ учебникъ уголовнаго права г. Спасовича. Въ этомъ сочиненіи есть краткій обзоръ различныхъ философскихъ системъ въ ихъ отношеніи къ криминалистикѣ. Я въ особенности поразился знаменитой тріадой Гегеля, въ силу которой наказаніе такъ граціозно становится примиреніемъ противорѣчія между правомъ и преступленіемъ. Извѣстна соблазнительность трехчленной формулы Гегеля въ ея разнообразнѣйшихъ приложеніяхъ (въ свое время я разскажу, какъ соблазнялся ею, уже будучи извѣстнымъ ученымъ, покойный Н. И. Зиберъ). Неудивительно, что я былъ плѣненъ ею въ учебникѣ г. Спасовича. Неудивительно, что затѣмъ потянуло и къ Гегелю, и ко многому другому. Языки, нѣмецкій и французскій, я, къ счастію, недурно зналъ съ дѣтства. Открылось, можно сказать, необозримое поле для чтенія, тѣмъ болѣе необозримое, что я глоталъ матеріалъ для чтенія безъ всякаго руководительства со стороны. Уголовное право и вообще юриспруденція постепенно стушевывались, блѣднѣли. А когда въ случайномъ спорѣ о томъ-же Гегелѣ мнѣ былъ указанъ Прудонъ, какъ своеобразный примѣнитель гегеліанской діалектики, и я прочиталъ его „Contradictions économiques“,—юриспруденція и совсѣмъ распрощалась со мной. Дальній отголосокъ интереса къ криминалистикѣ сказался лишь въ статьѣ по поводу сборника Любавскаго „Русскіе уголовные процессы“, напечатанной въ

Digitized by Google

1869 г. въ „Отечественныхъ Запискахъ“ и перепечатанной въ „Сочиненіяхъ“ подъ заглавіемъ „Преступленіе и наказаніе“.

Разъ подвернулось подъ перо упоминаніе объ этой едва-ли не первой моей значительнаго размѣра статьѣ, мнѣ хочется сказать слѣдующее. Я былъ такъ счастливъ, что крутыхъ переломовъ въ моемъ міросозерцаніи съ тѣхъ поръ, какъ я выступилъ на литературное поприще, не было. Подобные переломы, для искреннихъ натуръ тяжелые вообще, для писателя отягчаются еще мучительнымъ сознаніемъ, что, дескать, не только самъ заблуждался, а еще публично проповѣдывалъ заблужденіе, распространялъ его. Я не испытывалъ этихъ мученій. Кромѣ какихъ-нибудь мелочей, которыя мнѣ сейчасъ даже въ голову не приходятъ, мнѣ не отъ чего отрекаться въ своей литературной дѣятельности. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, чтобы я явился въ литературу совсѣмъ готовый, „подобно Минервѣ изъ головы Юпитера“, какъ иронизировалъ когда-то на мой счетъ г. Чуйко, или, что то-же, былъ вполнѣ „неподвиженъ“, какъ двусмысленно любезничалъ недавно г. Волынскій. Разумѣется, я не сразу подошелъ къ правдѣ, какою она мнѣ въ настоящую минуту представляется, но я не уклонялся съ дороги къ ней. Въ частности мнѣ не отъ чего отпираться и въ упомянутой статьѣ „Преступленіе и наказаніе“. Но, конечно, многое я сказалъ-бы теперь не такъ, какъ тогда, и не только въ смыслѣ стиля, изъ котораго уже давно выдохся юношескій эмфазъ.

Между прочимъ, въ упомянутой статьѣ говорится: „Видъ наказанія иногда не только не производитъ желаемаго устрашающаго и опозоривающаго дѣйствія, но, напротивъ, какъ будто наталкиваетъ на подраженіе палачу, вызываетъ непреодолимую жажду крови. *Уровень нашихъ психологическихъ познаній не захватываетъ этихъ явленій*, хотя тамъ и сямъ можно встрѣтить намеки на попытки ихъ объясненія... (слѣдуютъ указанія на Адама Смита, Кетле, Миттермайера). А, между тѣмъ, явленія этого порядка аналогичны, *можетъ быть*, даже съ такимъ обыденнымъ фактомъ, какъ зѣвота при видѣ зѣвающихъ. Есть много фактовъ, *ничего не дающихъ для положительнаго вывода*, но очень ясно намекающихъ на возможность широкаго отрицательнаго обобщенія“ и т. д. Много лѣтъ спустя изъ этой робко высказанной мысли выросла статья „Герои и толпа“. Другой примѣръ, въ извѣстномъ смыслѣ, противоположный. Въ той-же статьѣ

Digitized by Google

о преступленіи и наказаніи развивается старое положеніе: „понять—значитъ простить“, и доказывается, что мѣрило духовной высоты человѣка есть степень его способности прощать, то есть понимать. Мысль эта высказывается категорически, рѣшительно,—столь рѣшительно, что теперь у меня не хватило-бы уже этой юной рѣшительности. Понять—значитъ простить, да; но горькій житейскій опытъ и многолѣтнія житейскія наблюденія приводятъ къ заключенію, что есть мерзости, которыхъ именно нравственно развитая личность не можетъ понять, не можетъ, значитъ, и простить.

Это, впрочемъ, пока мимоходомъ.

Время отъ времени, но очень изрѣдка, я пописывалъ статейки которыхъ уже не помню,—между прочимъ, въ одной еженедѣльной газетѣ (если не ошибаюсь, она называлась „Якорь“), редакторомъ которой былъ Шульгинъ, впослѣдствіи отвѣтственный редакторъ Благосвѣтловскаго „Дѣла“. Упоминаю объ этомъ потому, что, на основаніи знакомства съ Шульгинымъ, я было пробовалъ потомъ работать въ „Дѣлѣ“, но неудачно, о чемъ разскажу. Такъ шло дѣло примѣрно до 1865 г., когда я черезъ одного своего бывшаго товарища познакомился съ интересными людьми и окончательно и сознательно вступилъ на литературное поприще.

Одинъ изъ этихъ новыхъ знакомыхъ былъ Николай Степановичъ Курочкинъ, братъ извѣстнаго переводчика Беранже и редактора „Искры“. Въ этой семьѣ таланты распредѣлялись точно по лѣстницѣ. Старшій братъ, Владиміръ, не обладалъ, кажется, никакими дарованіями, служилъ въ военной службѣ, содержалъ потомъ книжный магазинъ, потомъ литографію и, кажется, согрѣшилъ однажды переводнымъ водевилемъ. Младшій—Василій, редакторъ „Искры“ и переводчикъ Беранже, былъ, напротивъ, чрезвычайно талантливъ, гораздо даже талантливѣе, чѣмъ можно судить по его литературному наслѣдству. Середину между ними занималъ средній и по возрасту братъ, мой новый знакомый, Николай Степановичъ: Врачъ по образованію и, такъ сказать, оффиціальной профессіи, онъ давно бросилъ медицину, охотно смѣялся надъ нею, самъ лѣчилъ себя то рѣдечнымъ сокомъ, то крупинками Маттеи, то еще Богъ знаетъ чѣмъ. Поэтъ, если не по призванію, то по смертной охотѣ, онъ писалъ, однако, до-

Digitized by Google

вольно плохіе стихи. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, это былъ умный, въ особенности остроумный, разносторонне начитанный человѣкъ, необыкновенно преданный литературѣ и ея интересамъ. Въ свое время онъ мечталъ, вѣроятно, о большой роли въ литературѣ, и маленькая горечь несбывшихся упованій сквозила иногда въ его разговорѣ. Но онъ былъ слишкомъ добродушенъ и слишкомъ лѣнтяй и циникъ, чтобы содержать себя въ постоянномъ огорченіи. Лысый и толстый, онъ напоминалъ Силена, только съ чрезвычайно правильными и красивыми чертами лица. Много ѣлъ, много пилъ, много спалъ; могъ цѣлыми днями сидѣть немытый, въ распахнутомъ на жирной груди халатѣ, какъ-то особенно поджавъ подъ себя ноги, на манеръ Будды; при этомъ онъ крутилъ одну за другой толстыя папиросы и неустанно говорилъ, забавно картавя и мѣшая серьезныя рѣчи съ разнымъ болѣе или менѣе остроумнымъ вздоромъ. Только разговаривать онъ и не лѣнился. Впрочемъ, лѣнь овладѣвала имъ постепенно, и въ то время, когда я съ нимъ познакомился, онъ былъ сравнительно очень бодръ и дѣятеленъ. Старшій Курочкинъ, Владиміръ, купилъ тогда книжный магазинъ Сеньковскаго, а вмѣстѣ съ нимъ журнальчикъ „Книжный Вѣстникъ“, издававшійся тѣмъ-же Сеньковскимъ, и предложилъ Николаю Степановичу редактировать его. Николай Степановичъ набиралъ сотрудниковъ; въ качествѣ такового меня и познакомилъ съ нимъ мой бывшій товарищъ, знавшій мои литературныя склонности. Особенныхъ хлопотъ по набору сотрудниковъ, впрочемъ, не было. „Книжный Вѣстникъ“ былъ ничтожный журнальчикъ, выходившій два раза въ мѣсяцъ маленькими тетрадями въ листъ или два печатныхъ. При Сеньковскомъ онъ состоялъ изъ перечня вышедшихъ за двѣ недѣли новыхъ книгъ, изъ которыхъ о нѣкоторыхъ давались коротенькіе, въ нѣсколько строкъ, отзывы. Но Курочкинъ мечталъ о расширеніи журнала и о превращеніи его въ серьезный спеціально-критическій органъ. Однако, все это было еще впереди, въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ, потому что средства издателя были очень скромны. Къ нѣсколькимъ библіографическимъ замѣткамъ, принесеннымъ мною для пробы, Курочкинъ отнесся чрезвычайно благосклонно и горячо убѣждалъ меня работать, работать и работать для литературы. Я не особенно нуждался въ этихъ увѣщаніяхъ, но, все-таки, всегда съ благодарностью вспоминаю Курочкина за оказанный имъ мнѣ пріемъ и за все его дальнѣйшее

Digitized by Google

отношеніе ко мнѣ. Почитаю его своимъ литературнымъ крестнымъ отцомъ. Онъ-же меня впослѣдствіи и въ „Отечественныя Записки“ ввелъ, и хотя я очень быстро занялъ въ этомъ журналѣ положеніе, гораздо болѣе вліятельное, чѣмъ то, какимъ пользовался онъ, старый литературный неудачникъ, но въ его отношеніяхъ къ моимъ сравнительно быстрымъ успѣхамъ никогда не было и тѣни завистливаго недоброжелательства. Несмотря на свою слабость ко всякаго рода матеріальнымъ благамъ, для достиженія которыхъ онъ, впрочемъ, не ударилъ-бы лишній разъ палецъ о палецъ, онъ дѣйствительно и неподкупно любилъ литературу.

На первый разъ штатъ сотрудниковъ „Книжнаго Вѣстника“, кромѣ самого Курочкина и меня, составился изъ Стойковича, старика библіотекаря въ публичной библіотекѣ, оставшагося намъ въ наслѣдство отъ Сеньковскаго, затѣмъ Зайцева, извѣстнаго критика „Русскаго Слова“, и нѣкоего Николая Дмитріевича Ножина. Это былъ совсѣмъ молодой еще человѣкъ брызжущаго ума, сверкающей фантазіи, огромныхъ способностей къ труду и обширныхъ знаній (по біологіи). Я его изобразилъ впослѣдствіи, подъ именемъ Бухарцева, въ своихъ полубеллетристическихъ очеркахъ „Въ перемежку“. Это изображеніе очень точно, за исключеніемъ конечно, отношеній Бухарцева-Ножина къ сочиненной фабулѣ очерковъ. Курочкинъ, знавшій Ножина раньше, благоговѣлъ передъ нимъ. Желающіе познакомиться съ Ножинымъ благоволятъ обратиться къ упомянутымъ очеркамъ.

Стали мы работать въ „Книжномъ Вѣстникѣ“ съ чрезвычайнымъ усердіемъ,—по крайней мѣрѣ, мы съ Ножинымъ,—Зайцевъ былъ слишкомъ занятъ въ „Рускомъ Словѣ“, Курочкинъ, все-таки, полѣнивался, а Стойковичъ не въ счетъ шелъ. Познакомился еще я въ это время съ другимъ сотрудникомъ „Русскаго Слова“, Соколовымъ, авторомъ „Отщепенцевъ“, который нѣсколько презрительно относился къ нашей вознѣ съ „Книжнымъ Вѣстникомъ“. Все шло какъ слѣдуетъ, но въ самомъ концѣ марта 1866 года Ножинъ опасно заболѣлъ, говорятъ, тифомъ. Заболѣлъ онъ на квартирѣ у Курочкина, откуда его пришлось отправить въ больницу, и тамъ его быстро скрутило: 3-го апрѣля онъ умеръ. На другой день, 4-го апрѣля, всю Россію всполошилъ Каракозовскій выстрѣлъ. 6-го апрѣля мы хоронили Ножина, даже въ умѣ не имѣя, чтобы онъ могъ состоять въ какомъ-нибудь отношеніи къ злосчастному выстрѣлу Я и до сихъ поръ не знаю, какое это

Digitized by Google

было отношеніе и даже было-ли какое нибудь. Въ одномъ изъ первыхъ оффиціальныхъ сообщеній слѣдственной коммиссіи имя Ножина поминалось, но всего одинъ разъ; никого изъ прикосновенныхъ къ дѣлу я никогда у Ножина не видалъ, даже фамилій ихъ отъ него хотя-бы случайно не слыхалъ, равно какъ не слыхалъ отъ него никакихъ разговоровъ, которые намекали-бы на какое-нибудь его участіе въ подобномъ дѣлѣ.

Трудно описать впечатлѣніе, произведенное этимъ первымъ покушеніемъ на жизнь императора Александра II, да это и не входитъ въ мой планъ. Скажу только, что въ это трудное время далеко не всѣ органы печати вели себя удовлетворительно. Казалось-бы, назначеніе такого человѣка, какъ графъ Муравьевъ, предсѣдателемъ слѣдственной коммиссіи и предоставленіе ему чрезвычайныхъ полномочій достаточно гарантировали энергію слѣдствія и кары виновныхъ. Но нѣкоторые органы печати сами взяли на себя роль слѣдователей и производили вящшую смуту въ обществѣ, разыскивая виновныхъ направо и налѣво и даже тамъ, гдѣ ихъ, очевидно, быть не могло. Я написалъ по этому поводу статью „4-е апрѣля и русская журналистика“ и понесъ ее Курочкину. Я засталъ его въ страшномъ волненіи. Когда я сообщилъ ему названіе моей статьи, онъ только руками замахалъ; но, выслушавъ статью, нашелъ, что ее не только можно, но и должно напечатать, или, принимая въ соображеніе тревожность минуты, пожалуй, наоборотъ, не только должно, а и можно. Статья эта, впрочемъ, такъ и не увидѣла свѣта. Черезъ нѣсколько дней Курочкинъ былъ арестованъ, Зайцевъ также. Я былъ лишь призываемъ къ допросу; спрашивали о Ножинѣ, я сказалъ все, что зналъ, но оказалось, что интереснаго для слѣдствія я ничего не зналъ.

Только черезъ четыре мѣсяца выяснились недоразумѣнія, вслѣдствіе которыхъ были арестованы Курочкинъ и Зайцевъ, и они получили свободу. Все это время нашъ бѣдный „Книжный Вѣстникъ“ оставался на моемъ попеченіи. Какъ ни ничтоженъ былъ нашъ журнальчикъ, но мы возлагали на него большія надежды въ будущемъ, и, оставшись у кормила этой малой ладьи, я выбивался изо-всѣхъ своихъ юныхъ силъ, чтобы поднять журналъ. Положеніе было тѣмъ болѣе трудное, что я не могъ относиться такъ снисходительно, какъ Курочкинъ, къ водянистымъ и пустословнымъ рецензіямъ единственнаго оставшагося мнѣ въ

Digitized by Google

наслѣдство сотрудника, Стойковича. Я обратился за помощью къ В. А. Манассеину, тогда еще студенту медико-хирургической академіи, но уже извѣстному своими работами въ „Архивѣ судебной медицины и общественной гигіены", и къ своему бывшему товарищу по горному корпусу Н. Г. Дебольскому, нынѣ извѣстному педагогу. Спеціально-литературныхъ знакомствъ я не имѣлъ. Когда черезъ четыре мѣсяца Курочкинъ вышелъ на свободу, онъ очень одобрительно отнесся къ моему веденію журнала, но тутъ-же передалъ мнѣ претензію издателя, который находилъ, что обиліемъ и пространностью рецензій я уже слишкомъ вышелъ изъ предположенныхъ границъ изданія. Онъ былъ съ своей точки зрѣнія правъ, но и я съ своей стороны могъ претендовать на издателя. Работая изо всѣхъ силъ, я былъ очень доволенъ и самою работой, и ея полною самостоятельностью, тою руководящею ролью, которая выпала на мою долю хотя-бы и въ маленькомъ дѣлѣ. Какъ-бы, однако, даже ни преувеличенно-высоко цѣнилъ я это свое положеніе, а пить-ѣсть, одѣваться-обуваться, все-таки, надо было. Издатель, конечно, понималъ это, но не особенно горячо принималъ къ сердцу, а, впрочемъ, и его собственныя дѣла шли изъ рукъ вонъ плохо. Я жилъ тогда въ меблированной комнатѣ, въ мансардѣ домъ Китнера, у Вознесенскаго моста, въ настоящей типической мансардѣ, какихъ въ Петербургѣ немного. Платилъ за комнату, помнится, рублей двѣнадцать и тутъ-же обѣдалъ за девять рублей въ мѣсяцъ. По этимъ цифрамъ можно судить и объ остальномъ бюджетѣ. Какъ нищій испанскій гидальго, гордо драпирующійся въ дырявый плащъ, я, полный своего редакторскаго достоинства, каждый день шагалъ въ продранныхъ сапогахъ на Невскій проспектъ, въ книжный магазинъ издателя и сплошь и рядомъ на просьбу о заработанныхъ деньгахъ получалъ предложеніе посидѣть въ магазинѣ,—не навернется-ли, дескать, покупатель: все, что при васъ наторгуемъ, ваше будетъ. Увы! покупатели приходили рѣдко и покупали мало...

Тѣмъ не менѣе, когда черезъ нѣсколько времени, вслѣдствіе плохихъ дѣлъ, закрылся книжный магазинъ Владиміра Курочкина и прекратился „Книжный Вѣстникъ", я былъ, разумѣется, глубоко огорченъ. Я уже настолько вошелъ во вкусъ литературной работы, что жить безъ нея не могъ, а работать негдѣ было. „Современникъ" и „Русское Слово" не существовали. Курочкинъ попробовалъ издать колоссальный альманахъ „Невскій Сборникъ",

Digitized by Google

куда попала и моя статья, но дальше одного выпуска это предпріятіе не пошло. Появились объявленія объ изданіи новаго журнала „Дѣло“ подъ редакціей Шульгина, и я, памятуя свое знакомство съ Шульгинымъ по „Якорю“ (?), отправился къ нему, захвативъ съ собой „Книжный Вѣстникъ“, какъ образчикъ моей работы. Шульгинъ разъяснилъ мнѣ, что онъ лишь отвѣтственый редакторъ, а ведется „Дѣло“ Благосвѣтловымъ, которому онъ и передастъ мои статьи. Познакомившись съ ними, Благосвѣтловъ встрѣтилъ меня чрезвычайно любезно, но мы очень скоро разошлись, даже не разошлись, а разскочились. Я слишкомъ мало зналъ Благосвѣтлова, чтобы составить о немъ достаточно полное и опредѣленное мнѣніе. Кратковременныя наши отношенія выяснили мнѣ только одну сторону его характера,—какую-то необыкновенную грубость, аляповатость всего, что онъ говорилъ и дѣлалъ. Аляповаты были его любезности, аляповатъ былъ, если не образъ мыслей его, то, по крайней мѣрѣ, способъ ихъ выраженія, но всего, конечно, аляповатѣе были его ядовитости, съ которыми мнѣ пришлось очень скоро познакомиться. Мы уговорились, что я буду писать въ „Дѣлѣ“ литературное обозрѣніе и возьму на себя всю библіографію. Въ одно изъ моихъ посѣщеній Благосвѣтлова, я засталъ у него молодого человѣка съ огромнымъ лбомъ, живыми глазами, быстрыми рѣчами, быстрыми движеніями. Это былъ Д. И. Писаревъ, котораго я видѣлъ тутъ въ первый и въ послѣдній разъ. Входя въ кабинетъ, я еще слышалъ конецъ какого-то запальчиваго разговора. „Ты погоди, что ты ультиматумы-то ставишь?“ — говорилъ Благосвѣтловъ. — „Ты знаешь, что я всегда такъ“,—рѣзко отвѣчалъ Писаревъ. Разговоръ былъ прерванъ моимъ появленіемъ. Когда Благосвѣтловъ назвалъ меня Писареву, тотъ, пожимая мнѣ руку, быстро спросилъ: „Переводчикъ Шекспира?“ Онъ принялъ меня за моего почти однофамильца, Д. Л. Михаловскаго, извѣстнаго поэта. Я говорю „нѣтъ“.—„Такъ кто-же вы?“—„Никто“.—„Какъ Одиссей?“ Вмѣшался Благосвѣтловъ и сталъ говорить въ похвалу мнѣ столь аляповатыя слова, что я затрудняюсь ихъ приводить. Можетъ быть, сверхъ своей аляповатости во всемъ, Благосвѣтловъ имѣлъ въ данномъ случаѣ еще спеціальную цѣль. Какъ я узналъ впослѣдствіи, между Благосвѣтловымъ и Писаревымъ происходили въ это время очень острыя недоразумѣнія, къ составу которыхъ относился, вѣроятно, и „ультиматумъ“ Писарева. Писаревъ уходилъ изъ „Дѣла“ и дѣй-

Digitized by Google

ствительно скоро ушелъ, о чемъ имѣется обстоятельный разсказъ въ воспоминаніяхъ Н. В. Шелгунова. Весьма возможно, что, не въ мѣру восхваляя меня, начинающаго, совершенно неизвѣстнаго писателя, и пророча мнѣ, въ присутствіи Писарева, блестящую будущность, Благосвѣтловъ имѣлъ въ виду повліять на Писарева въ нужную ему, Благосвѣтлову, сторону, или, по крайней мѣрѣ, сорвать зло: дескать, и безъ тебя найдутся талантливые сотрудники. Сколько я понимаю Благосвѣтлова, это на него похоже. Если, однако, у него и было подобное, хотя и безсознательное побужденіе, то на Писарева его слова, во всякомъ случаѣ, не произвели предположеннаго впечатлѣнія. Онъ, видимо, былъ очень занятъ какимъ-то своимъ дѣломъ и, съ любопытствомъ посмотрѣвъ на меня, безъ особенной горячности, но очень добродушно пожелалъ мнѣ успѣха; затѣмъ, заявивъ Благосвѣтлову, что будетъ ждать его отвѣта въ такой-то срокъ, ушелъ. Больше я съ нимъ не встрѣчался. Въ началѣ 1868 г. онъ помѣстилъ нѣсколько статей въ возрожденныхъ „Отечественныхъ Запискахъ", но меня тогда еще тамъ не было, а въ іюлѣ 1868 г. Писарева не стало.

Не помню навѣрное, была-ли напечатана хоть одна моя статья въ „Дѣлѣ"; во всякомъ случаѣ, если и была, то именно только одна, и безъ подписи. Не помню также, въ чемъ состояло недоразумѣніе, по поводу котораго я написалъ Благосвѣтлову письмо и получилъ отъ него отвѣтъ якобы ядовитый, а въ сущности грубости необычайной. Мнѣ оставалось только кратко увѣдомить его, что не нахожу возможнымъ продолжать работу въ его журналѣ. Позже мы у кого-то встрѣтились, и онъ началъ разговоръ на ту тему, что „вы человѣкъ горячій, я человѣкъ горячій" и т. д. Помнится, что и свиданіе это было не совсѣмъ случайно, что насъ сводили по его желанію на нейтральной почвѣ, но, во всякомъ случаѣ, соглашенія не произошло. Благосвѣтловъ навсегда остался въ моей памяти одною изъ самыхъ несимпатичныхъ фигуръ въ литературѣ (разумѣю литературный персоналъ, мнѣ извѣстный; есть литературныя сферы, съ которыми я никогда даже не сталкивался). Его всесторонняя аляповатость слишкомъ била въ глаза даже такому молодому человѣку, какимъ я былъ тогда, а его достоинствъ я за кратковременностью знакомства разглядѣть не успѣлъ. Надѣюсь, что они были, эти достоинства, но, признаюсь, мой личный опытъ не даетъ мнѣ возможности понять, какъ могли съ нимъ долго ладить нѣкоторые изъ сотрудниковъ

Digitized by Google

„Русскаго Слова“ и „Дѣла“, люди тонко-деликатные и, вмѣстѣ съ тѣмъ, полные чувства собственнаго достоинства. Дѣло не въ томъ, что онъ загребалъ жаръ чужими руками и нажилъ большое состояніе трудами даровитыхъ и убѣжденныхъ сотрудниковъ, доживших или доживающихъ свой вѣкъ почти въ нищетѣ. Это обыкновенная предпринимательская исторія, да и Благосвѣтловъ, все-таки, несъ много черной работы по веденію журнала. Изъ воспоминаній Н. В. Шелгунова и изъ его-же біографическаго очерка, приложеннаго къ сочиненіямъ Благосвѣтлова, видно, что Благосвѣтловъ работалъ страшно много надъ чтеніемъ и выправкой рукописей, надъ корректурами, сношеніями съ цензурнымъ вѣдомствомъ и т. д. Очевидно, это былъ человѣкъ чрезвычайно энергическій, быть можетъ, въ немъ были и другія привлекательныя стороны, но я успѣлъ узнать его только съ той стороны, которую и повторительно не умѣю иначе назвать, какъ аляповатостью.

Я долженъ предупредить читателя, что, помимо отдаленности времени, о которомъ идетъ рѣчь, у меня вообще очень плохая память на цифры. Не ручаюсь поэтому за хронологическую точность и послѣдовательность моего разсказа. Помнится, лѣто 1867 г. досталось мнѣ особенно тяжело. Курочкинъ жилъ тогда на дачѣ на Черной рѣчкѣ, а мнѣ уступилъ мезонинъ въ двѣ комнаты. На томъ-же дворѣ занималъ маленькую дачу Н. А. Демертъ, впослѣдствіи (съ 1869 по 1874 г.) писавшій внутреннее обозрѣніе въ „Отечественныхъ Запискахъ“, а тогда еще только намѣревавшійся стать постояннымъ литературнымъ работникомъ. У Демерта, недавно пріѣхавшаго въ Петербургъ, водились деньги, конечно, небольшія; у Курочкина ихъ было гораздо меньше, а у меня совсѣмъ не было, и если-бы не Курочкинъ, мнѣ приходилось-бы частенько голодать въ буквальномъ смыслѣ слова. Но и у всѣхъ дѣла были плохи, такъ что, когда однажды къ намъ явился П. А. Гайдебуровъ съ предложеніемъ принять участіе въ газетѣ „Гласный Судъ“, мы ухватились за это предложеніе руками и ногами. Но прежде, чѣмъ разсказать объ этомъ водевильномъ эпизодѣ, я припомню кое-что изъ времяпровожденія на Черной рѣчкѣ.

Извѣстна слабость многихъ русскихъ писателей (теперь это, кажется, уже выводится) къ хмѣльнымъ напиткамъ. Это, впрочемъ, слабость русскихъ людей вообще, и недаромъ Некрасовъ

Digitized by Google

хотѣлъ кончить свою поэму „Кому на Руси жить хорошо“ иронически-скорбнымъ отвѣтомъ: „хмѣлю“. Недавно гр. Л. Толстой старался убѣдить человѣчество или, по крайней мѣрѣ, Европу въ томъ, что пьянствуютъ люди только виноватые, и, притомъ, именно затѣмъ, чтобы заглушить чувство виноватости и угрызенія совѣсти. Я уже въ другомъ мѣстѣ говорилъ о странной аргументаціи гр. Толстого. Здѣсь скажу только, что я видѣлъ много пьянствующихъ людей, между которыми, дѣйствительно, были и такіе, что пили для заглушенія совѣсти, но большинство надо разверстать по разнымъ другимъ категоріямъ. Позволю себѣ остановиться на нѣсколькихъ пьянствующихъ литераторахъ, съ которыми я познакомился въ 1867 г. Говорить о нихъ можно безъ обиняковъ, такъ какъ всѣ они уже покойники.

Начну съ Демерта. Ему было лѣтъ тридцать съ чѣмъ-нибудь, когда мы познакомились. Изъ его прошлаго я знаю только, что онъ былъ кандидатъ казанскаго университета, служилъ мировымъ посредникомъ, былъ предсѣдателемъ, кажется, чистопольской земской управы, но давно тяготѣлъ къ литературѣ, на которой и осѣлъ, наконецъ. Его близкое практическое знакомство съ крестьянскимъ и земскимъ дѣломъ опредѣлило и характеръ его литературной работы. Его внутреннія обозрѣнія (они назывались „Наши общественныя дѣла“) въ „Отечественныхъ Запискахъ“ много уступали такимъ-же обозрѣніямъ Елисеева, который взялъ на себя этотъ отдѣлъ въ 1875 г.; Елисеевъ былъ несравненно шире, разностороннѣе, глубже. Но и Демертовскія обозрѣнія, отличавшіяся своеобразнымъ, хотя и грубымъ юморомъ, имѣли свою очень большую цѣну; они пользовались большимъ успѣхомъ и доставили Демерту массу корреспондентовъ со всѣхъ концовъ Россіи. Но въ то время, о которомъ я теперь говорю, Демертъ былъ еще новичокъ въ литературѣ, хотя небольшія его статьи уже печатались въ „Современникѣ“, „Искрѣ“, „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“. Когда пристрастился Демертъ къ хмѣльному дѣлу и были-ли этому несчастію какія-нибудь опредѣленныя, уловимыя причины, я не знаю. Знаю только, что несчастіе это все разросталось и кончилось психическимъ разстройствомъ. Нѣкоторымъ причинамъ и поводамъ этого разростанія я былъ, можно сказать, свидѣтелемъ. Демертъ имѣлъ удивительно нѣжное сердце, жаждавшее привѣта и ласки и всегда готовое на нихъ откликнуться. Я видѣлъ его отношеніе къ нѣкоторымъ род-

Digitized by Google

ственникамъ, зналъ его горе по поводу быстро слѣдовавшихъ другъ за другомъ смерти брата, самоубійства племянника, смерти матери. Я, наконецъ, очень близко видѣлъ одинъ его неудачный романъ. Къ несчастію, нѣжное сердце Демерта было облечено въ непривлекательную для женщинъ тѣлесную форму. Носатое, изрытое оспой лицо его, съ узенькими глазами, широкими скулами, рѣдкою бороденкой, было очень некрасиво. Оно было подъ стать его неуклюжей, медвѣжьей фигурѣ, его грубому, басистому голосу, его очень ужъ несвѣтскимъ манерамъ. На бѣду, судьба послала ему въ сосѣдки по меблированнымъ комнатамъ молодую дѣвушку, которая съумѣла разглядѣть подъ этою грубою внѣшностью нѣжную душу, тяготившуюся одиночествомъ, искавшую ласки. Говорю—„на бѣду", потому что изъ этого, въ самомъ дѣлѣ, бѣда вышла. По молодому-ли легкомыслію, или по какимъ-нибудь опредѣленнымъ, никакому оправданію не подлежащимъ побужденіямъ, дѣвушка играла съ Демертомъ, какъ кошка съ мышкой. Да, этотъ большой, сильный, широкоплечій человѣкъ съ громовымъ басомъ исполнялъ роль мышки. Такъ, напр., измученный игрой, Демертъ переѣхалъ въ другія меблированныя комнаты, по-просту бѣжалъ, чтобы не терзаться ежедневными встрѣчами, но черезъ нѣсколько дней героиня его романа переѣхала вслѣдъ за нимъ и опять стала его сосѣдкой, все такой-же, то подающей надежды, то отталкивающей. Во времена надеждъ Демертъ не пилъ, какъ-то весь подбирался, даже надѣвалъ перчатки и гофрированныя рубашки, что было очень забавно, а во времена окончательнаго разочарованія и соотвѣтственной муки пилъ мрачно, дико, страшно. Въ такія времена онъ любилъ пѣть, подъ аккомпаниментъ гармоники, горькія сиротскія волжскія пѣсни (онъ былъ казанскій или нижегородскій уроженецъ), разрѣшавшіяся иногда слезами, а иногда страшною руганью по неизвѣстному, неопредѣленному адресу, или-же пропадалъ цѣлыми днями въ разныхъ трущобахъ. Этотъ неудачный романъ Демерта относится къ 1871 или 1872 г., но у него подобныхъ романовъ было, вѣроятно, нѣсколько въ жизни; не буквально такихъ, конечно, но и въ то время, когда мы съ нимъ познакомились, на немъ лежала печать сиротливаго одиночества и душевной безпріютности. Домовитый, даже до скупости (когда не загуливалъ), онъ, и кромѣ нѣжнаго сердца, имѣлъ всѣ задатки и великую охоту стать настоящимъ семьяниномъ. Слѣпая судьба рѣшила иначе, и въ

Digitized by Google

этомъ-то разладѣ между дѣйствительностью и внутренними позывами, конечно, и лежала причина пристрастія Демерта къ хмѣльному напитку. Не хорошее это дѣло, безспорно, но осудить покойника я не могу, виноватости его не вижу: не для заглушенія совѣсти онъ пилъ, а для забвенія обиды и горя.

Въ качествѣ стараго литератора, Курочкинъ имѣлъ многія литературныя связи и знакомства. У насъ на Черной рѣчкѣ бывали Василій Курочкинъ, Минаевъ, Іакинфъ Шишкинъ, забытый нынѣ, но не лишенный дарованія поэтъ Кроль, старый беллетристъ Толбинъ, одну повѣсть котораго еще Бѣлинскій похвалилъ, какъ подтрунивали его пріятели, и другіе. Всѣ поименованные теперь уже покоятся въ землѣ, и всѣ основательно выпивали. Насколько я могъ ко всѣмъ къ нимъ присмотрѣться, они, будучи очень разными людьми въ разныхъ отношеніяхъ, имѣли, однако, одну общую отрицательную черту—безхарактерность, слабость воли. Мнѣ кажется, что черта эта встрѣчается и должна встрѣчаться вообще очень часто въ средѣ русскихъ литераторовъ. Сила характера можетъ, конечно, получиться по наслѣдству, какъ и безхарактерность, но и сила, и слабость подлежатъ также воспитанію. Воспитывается-же сила характера дѣятельностью, настоящею дѣятельностью, то-есть такою, плоды которой очевидны для самого дѣятеля. Русскіе писатели очень рѣдко находятся въ такомъ положеніи, а потому, вообще говоря, довольно быстро утрачиваютъ энергію, и, въ частности, энергію сопротивленія разнымъ соблазнамъ. Мысль, слово, дѣло — такова тройственная формула полной жизни писателя, изъ которой нельзя безнаказанно вынуть ни одного звена. Бѣда не въ препятствіяхъ, борьба съ которыми только закаляетъ характеръ, если, конечно, они не чрезмѣрны, а въ большей или меньшей возможности самой борьбы. Если мысль встрѣчаетъ непреодолимыя препятствія для своего выраженія въ словѣ, а недосказанное слово не можетъ въ свою очередь претвориться въ дѣло, то равновѣсіе жизни нарушено и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ослабляется энергія. Талантъ самъ по себѣ въ этомъ отношеніи спасеніемъ быть не можетъ. Талантъ вообще часто находится въ антагонизмѣ съ волей, какъ можно судить по судьбѣ многихъ высокодаровитыхъ европейскихъ поэтовъ, мыслителей, музыкантовъ, кончавшихъ самоубійствомъ, сумасшествіемъ или пьянствомъ. Но и помимо того, чѣмъ ярче мысль или чувство, тѣмъ сильнѣе тяготѣніе ихъ къ словесному выра-

Digitized by Google

женію, а чѣмъ талантливѣе слово, тѣмъ обязательнѣе для него претвореніе въ дѣло, воплощеніе. Писатель, даже чрезвычайно талантливый, обреченный остановиться на средней ступени этой лѣстницы, на словѣ, да еще сказанномъ вполголоса, à la longue, въ большинствѣ случаевъ, долженъ ослабѣть духомъ. Бываютъ, конечно, блестящія исключенія. Бываютъ отъ природы счастливо уравновѣшанныя душевныя организаціи, которымъ живущая въ нихъ сила подсказываетъ, что не нынче, такъ завтра, не современники, такъ потомки претворятъ ихъ слово въ дѣло. Такимъ образомъ, тройственная формула нормальной жизни писателя не нарушается, а только растягивается, захватывая болѣе или менѣе отдаленное будущее. Есть горечь въ этомъ положеніи, но норма, все-таки, не разрушена. Бываютъ и другія положенія, для иллюстраціи которыхъ возьму крайній примѣръ. Репортеръ отмѣчаетъ въ своей газетѣ нечистоту какой-нибудь Затрапезной улицы и на другой день читаетъ распоряженіе по полиціи, свидѣтельствующее о томъ, что его обличеніе замѣчено, принято къ свѣдѣнію и къ исполненію. Онъ удовлетворенъ, именно потому, что тройственная формула пройдена имъ полностію: мысль нашла себѣ выраженіе въ словѣ, слово претворилось въ дѣло. Конечно, репортеръ не есть литераторъ въ настоящемъ смыслѣ слова; онъ нѣчто вродѣ литературнаго чиновника. Но подобные чиновники могутъ состоять и въ гораздо высшихъ чинахъ, быть даже „нашими уважаемыми“ или „нашими извѣстными писателями“, оставаясь, все-таки, чиновниками по своему темпераменту и по своему отношенію къ дѣлу.

Вышепоименованные наши гости на Черной рѣчкѣ не были писателями настолько значительными, чтобы утѣшаться въ невзгодахъ настоящаго твердою вѣрой въ будущее, но не были и литературными чиновниками. Всѣ они были настоящіе, „кровные“, какъ выражался Салтыковъ, литераторы, хотя и весьма различныхъ степеней дарованія; всѣ претерпѣли или претерпѣвали разныя литературныя неудачи, а на этомъ общемъ фонѣ жизнь вышила для каждаго изъ нихъ еще спеціальные узоры разнообразныхъ житейскихъ драмъ; всѣ были слабы характеромъ и всѣ пили.

Въ наше время полной распущенности, въ смыслѣ общественной дѣятельности, время позорнаго индифферентизма, предательскихъ сдѣлокъ, легкомысленныхъ скачковъ съ одного бе-

Digitized by Google

рега на другой, время забвенія лучшихъ завѣтовъ прошлаго и страшнаго суда будущаго, очень высоко цѣнятся нѣкоторыя элементарныя правила личной нравственности,—до такой степени преувеличенно-высоко, что даже подозрительно. Дальше всѣхъ въ этомъ направленіи шагнулъ гр. Л. Толстой, разгромившій не только половыя излишества или не освященныя закономъ любовныя связи, но объявившій даже самую любовь дѣломъ безнравственнымъ и, что особенно курьезно, неестественнымъ. Вслѣдъ затѣмъ гр. Толстой усвоилъ употребленіе табаку и вина исключительно людямъ, нуждающимся въ заглушеніи совѣсти и, слѣдовательно, совершившимъ болѣе или менѣе тяжкіе проступки или даже преступленія; безнравственнымъ при этомъ признается не только какое-нибудь безобразное пьянство, но и каждая выкуренная папироска и каждая передобѣденная рюмка водки, столь привычная вполнѣ благонамѣреннымъ и добродѣтельнымъ обывателямъ. Я не сомнѣваюсь въ полной искренности гр. Толстого, не сомнѣваюсь, что онъ лично бросилъ всѣ тѣ занятія, которыя признаетъ нынѣ безнравственными. Но, признаюсь, очень сомнѣваюсь въ цѣломудріи и трезвости того общества, среди котораго возможны такія преувеличенно-нравственныя проповѣди и которое имъ апплодируетъ. Какъ-то я прочелъ въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ“ критическій разборъ одного романа. Строгій критикъ осуждаетъ разныя пикантныя и фривольныя подробности романа, и въ числѣ этихъ пикантностей и привольностей отмѣчаетъ „маленькую ножку“. Онъ неоднократно пускаетъ въ ходъ эту улику, печатаетъ эту безнравственную „маленькую ножку“ и въ кавычкахъ, и курсивомъ: дескать, вотъ до какихъ Геркулесовыхъ столбовъ дошелъ безнравственный авторъ,—маленькую ножку не стыдится изображать! Если-бы я собственными глазами не читалъ этого, то не повѣрилъ-бы, какъ не повѣрилъ-бы многому изъ того, что нынѣ печатается. Бѣдный Пушкинъ! Онъ такъ любилъ маленькія ножки, и какъ-же [сурово обошлись-бы съ нимъ за это современные критики-моралисты! Я не говорю, напримѣръ, о какой-нибудь „Пѣсни-пѣсней“, гдѣ ужъ не о ножкахъ рѣчь идетъ, и которая, однако, живетъ вѣка и, я боюсь, переживетъ даже цѣломудріе „Сѣвернаго Вѣстника“. Опять-таки я готовъ вѣрить, что строгій критикъ „Сѣвернаго Вѣстника“ безусловно цѣломудренъ и искренно возмущенъ маленькими ножками; готовъ, пожалуй, допустить, что онъ не желаетъ

Digitized by Google

видѣть маленькія ножки не только въ литературѣ, а и въ жизни, ни на яву, ни даже во снѣ. Но мнѣ очень подозрительно цѣломудріе того общества, которое выдвигаетъ изъ себя критиковъ столь преувеличенно-цѣломудренныхъ, что даже ужъ и не умно. Конечно, общество не отвѣтственно за всякую глупость, которую брякнетъ тотъ или другой писатель, тотъ или другой журналъ. Но строгій критикъ „Сѣвернаго Вѣстника"—не единственный преувеличенно-моральный человѣкъ современности. Нельзя, разумѣется, сказать, чтобы имя ему было легіонъ, но, все-таки, это граничащее съ нелѣпостью хватаніе черезъ край въ дѣлѣ личной морали чрезвычайно характерно для переживаемаго нами историческаго момента.

У насъ нашлись даже органы печати, которые злорадно отнеслись къ совсѣмъ-бы ужъ, кажется, чужой намъ исторіи Парнелля и О'Ши. За моремъ Парнелль живетъ, мужественный, искусный, неустанный борецъ за интересы ирландскаго народа. Только-бы любоваться на эту блестящую фигуру, только-бы глазомъ на ней отдыхать отъ политической мелочи. Но вотъ на этой фигурѣ появляется темное пятно. Гнусная интрига устраиваетъ Парнеллю всемірный скандалъ, знаменитое своимъ лицемѣріемъ англійское общество гонитъ его съ политической арены, на которой онъ совершилъ столько трудныхъ подвиговъ. И у насъ нашлись люди, которые злорадно кричали за море: „что?! досталось за прекрасные глаза мистрисъ О'Ши?! И по дѣломъ! Не грѣши!" Вотъ мы до какой степени нравственны. Пылкій Парнелль могъ-бы сказать, да, вѣроятно, и говорилъ своимъ англійскимъ обличителямъ: „Да лжете-же вы, лицемѣры! Какіе ужасы подлинной, чудовищной безнравственности вы еще недавно замалчивали въ своей средѣ? Вы сами знаете, что тутъ было и растлѣніе малолѣтнихъ, и противоестественные пороки. Это вы заминаете, а изъ моихъ отношеній къ О'Ши, до которыхъ вамъ какъ до звѣзды небесной далеко, скандалъ устраиваете..."

Изъ-за моря домой, отъ крупнаго историческаго къ малому житейскому. Я достовѣрно знаю слѣдующій недавній, возмутительный случай, который охотно разсказалъ-бы съ именами дѣйствующихъ лицъ, если бы имѣлъ на то разрѣшеніе потерпѣвшихъ. Въ одномъ медвѣжьемъ углу цѣлымъ обществомъ было нанесено публичное оскорбленіе одной весьма извѣстной и въ высшей степени почтенной женщинѣ, единственно за то, что она прожи-

Digitized by Google

вала въ этомъ медвѣжьемъ углу безъ мужа. Фактъ этого дикаго проявленія медвѣжинской стыдливости и нравственности можетъ показаться невѣроятнымъ, но онъ несомнѣненъ. Думаете-ли вы, однако, что эта mimosa pudica, это медвѣжинское общество въ самомъ дѣлѣ столь стыдливо и нравственно? Я не думаю, а знаю, что тутъ нѣтъ ничего, кромѣ безстыднаго лицемѣрія и безпричинно-злобной интриги. Надо надѣяться, что медвѣжинскія дамы, тоже участвовавшія въ оскорбленіи, живутъ всегда при мужьяхъ, равно какъ и мужья ихъ живутъ при женахъ. Это дѣлаетъ имъ честь. Но почему-же они, все-таки, смѣютъ оскорблять уважаемаго и ни въ чемъ передъ ними неповиннаго человѣка?

Что смѣетъ, чего не смѣетъ современный русскій человѣкъ? Вопросъ любопытный. Я прочиталъ недавно въ журналѣ „Артистъ“ драму г. Ракшанина „Порывъ“. Это одна изъ тѣхъ многочисленныхъ пьесъ, которыя пишутся исключительно для сцены, съ разсчетомъ на спеціальные сценическіе эффекты, на исполненіе такой-то роли такимъ-то актеромъ Иваномъ Ивановичемъ, который хорошо руки въ карманахъ держитъ, или такой-то актрисой Марьей Ивановной, которая хорошо въ обморокъ падаетъ. Литературныхъ требованій подобнымъ пьесамъ ставить нельзя, потому что онѣ совсѣмъ и не литература. Но въ драмѣ „Порывъ“, все-таки, отразилась, мнѣ кажется, одна любопытная черта современной морали. Герой драмы, Томилинъ, помѣщикъ, прекрасный человѣкъ и очень любитъ свою жену. Но съ нимъ случился грѣхъ, онъ увлекся сосѣдкой вдовой Бецкой и встрѣтилъ съ ея стороны взаимность. Этотъ эпизодъ происходитъ еще до поднятія занавѣса. Мы присутствуемъ уже при душевныхъ мукахъ, которыми Томилинъ, расплачивается за свой „порывъ“. Онъ любитъ свою жену и, горько раскаяваясь въ своей связи съ Бецкой, всячески старается отъ нея отдѣлаться, но Бецкая его любитъ и отпускать не хочетъ. Она, не смотря ни на что, увѣрена, что и Томилинъ, ее любитъ, а только труситъ ходячей морали. Она говоритъ ему: „Ясно я вижу, что́ происходитъ въ тебѣ: ты привыкъ къ такому миру, къ такому покою, что тебѣ страшно подумать о рѣзкомъ шагѣ... Ты дрожишь передъ нимъ и готовъ на всякую жертву, лишь-бы не нарушить установившейся формы“. Можетъ быть, Бецкая и не совсѣмъ не права, потому что въ интимномъ разговорѣ съ однимъ пріятелемъ Томилинъ намекаетъ на какую-то разницу между страстью-

Digitized by Google

которую онъ, повидимому, питаетъ, все-таки, къ Бецкой, и любовью, которую онъ чувствуетъ къ женѣ. Какъ-бы то ни было, онъ непремѣнно хочетъ покончить съ Бецкой, для чего, между прочимъ, ему нужно вернуть свои письма къ ней, ибо какая-нибудь случайность или злая мысль самой Бецкой можетъ подсунуть эти компрометтирующія письма женѣ. Пріятель рекомендуетъ ему очень простое средство развязать этотъ мучительный узелъ,—разсказать все женѣ. Безъ сомнѣнія, это былъ-бы очень тяжелый шагъ, но онъ облегчилъ-бы совѣсть Томилина и, вмѣстѣ съ тѣмъ, развязалъ-бы его съ Бецкой. Но Томилинъ боится этого шага и кончаетъ тѣмъ, что убиваетъ Бецкую. Такимъ образомъ, Бецкая, въ концѣ-концовъ, все-таки, права, утверждая, что Томилинъ „готовъ на всякую жертву, лишь-бы не нарушить установившейся формы". Онъ не смѣетъ признаться женѣ въ нарушеніи супружеской вѣрности, а убить человѣка, да еще любимаго (хотя-бы и въ формѣ „порыва"), смѣетъ. Эта самая черта поразила меня въ процессѣ Бартенева: въ виду предразсудка относительно браковъ съ актрисами, Бартеневъ не смѣлъ просить у отца позволенія жениться на Висновской, не смѣлъ также обойтись въ этомъ дѣлѣ безъ отцовскаго позволенія, а убить Висновскую посмѣлъ. Мнѣ кажется, что это совпаденіе мотивовъ немудрой литературной драмы и кровавой житейской, въ связи со всѣмъ прочимъ, что́ мы видимъ, слышимъ и читаемъ, свидѣтельствуетъ о глубокой извращенности моральнаго чувства. Апологеты современности увѣряютъ насъ, что мы, утомившись будто-бы чрезмѣрнымъ вниманіемъ къ общественнымъ интересамъ, успѣшно занимаемся нынѣ выработкою идеаловъ личной нравственности, въ доказательство чего приводится успѣхъ проповѣди гр. Толстого и т. п. Неправда это. Проповѣдь неестественности любви, ужасъ передъ изображеніемъ маленькихъ ножекъ въ романѣ и т. п.—слишкомъ преувеличенно-моральны, чтобы отразиться въ жизни реальною моралью и вообще чѣмъ-нибудь, кромѣ лицемѣрія. Въ дѣйствительности мы видимъ не торжество личной нравственности, а просто въявь развертывается сонъ фараона: тощія коровы пожираютъ тучныхъ, мелочи выдвигаются на первый планъ, „установившіяся формы", осѣняя собою лицемѣріе, требуютъ себѣ буквально человѣческихъ жертвъ. Господа современные моралисты! помолитесь за упокой души рабы Божіей Висновской, рабы Божіей Бецкой и иныхъ, имена-же

Digitized by Google

ихъ Ты, Господи, вѣси. Помолитесь и за здравіе живыхъ, оскорбленныхъ и оскорбляемыхъ въ моментъ вящшаго расцвѣта идеаловъ личной нравственности...

Простите это длинное отступленіе, читатель. Я васъ предупредилъ на этотъ счетъ. Да и теперь мы, все-таки, не сразу вернемся къ лѣту 1867 года на Черной рѣчкѣ. Намъ нужно еще пройти подъ нѣкоторою, отнюдь не тріумфальною аркой, которую воздвигла для русскихъ литераторовъ „Недѣля“.

Одинъ изъ литературныхъ обозрѣвателей „Недѣли“, г. Единица, воспользовался исторіей Парнеля-О'Ши, чтобы бросить какой-то темный намекъ-упрекъ какимъ-то русскимъ писателямъ. Тутъ-же онъ выражаетъ недоумѣніе по поводу того, что о писателяхъ не принято говорить: спился, пьянствовалъ и т. п., а говорится: страдалъ извѣстною русскою слабостью, извѣстнымъ недугомъ. Г. Единица желаетъ, чтобы пороки и безнравственность русскихъ писателей предъявлялись публикѣ безъ вуаля. Такъ ужъ нынѣ все строго пошло по части нравственности. Какъ и въ предъидущихъ случаяхъ, я охотно готовъ признать, что въ прошломъ г. Единицы и всего персонала „Недѣли“ нѣтъ ни единаго грѣха вродѣ того, который такъ тяжело отозвался на Парнеллѣ. Готовъ признать также, что хоть они „немножко и дерутъ, но въ ротъ хмѣльного не берутъ“. Честь имъ и слава! Пусть они въ этихъ отношеніяхъ бѣлѣе снѣга альпійскихъ вершинъ, голубѣе небесной лазури. И, все-таки, мнѣ кажется, что размышленія г. Единицы немножко неумѣстны. У русскихъ людей есть обычай, при встрѣчѣ съ похоронами, креститься или, по крайней мѣрѣ, снимать шапку. Въ силу этого обычая вы снимаете шапку даже передъ такимъ покойникомъ, которому при жизни, можетъ быть, ни за что не поклонились-бы; тѣмъ болѣе, если почившій оказалъ обществу какія-нибудь услуги. Поэтому-то, можетъ быть, мы и говоримъ, что Полежаевъ, Помяловскій, Щаповъ, Рѣшетниковъ, Мей, Аполлонъ Григорьевъ и, къ сожалѣнію, еще многіе, многіе другіе „страдали извѣстною русскою слабостью“, очень хорошо зная, что это псевдонимъ пьянства. И потомъ вопросъ: что лучше или, пожалуй, что хуже: страдать-ли извѣстною русскою слабостью, какъ только что поименованные писатели, или систематически, въ теченіе многихъ лѣтъ сбивать съ толку читателей разными „новыми словами“ и потомъ спокойно убирать ихъ въ карманъ, какъ это случается съ „Недѣлей“? Я

Digitized by Google

очень хорошо понимаю красоту соединенія общественной, политической нравственности съ безупречною личною чистотой. Но если ужъ выбирать, то я не выбралъ-бы тѣхъ музыкантовъ, которые „въ ротъ хмѣльного не берутъ“. Потому что, видите-ли, сбивать съ толку читателей глубоко безнравственно и даже преступно. И если фараонъ не удивлялся своему сну, такъ только потому, что во снѣ мы вообще ничему не удивляемся. Въ дѣйствительности-же, ни съ чѣмъ не сообразно, чтобы корова корову ѣла, да еще тощая тучную.

Теперь на Черную рѣчку.

Изо всѣхъ нашихъ гостей самымъ замѣчательнымъ былъ, конечно, Василій Степановичъ Курочкинъ. Я никогда не имѣлъ съ нимъ дѣловыхъ сношеній, такъ какъ въ его газетѣ „Искра“ никогда не писалъ, а въ центрѣ моей работы, въ „Отечественныхъ Запискахъ“ онъ участвовалъ лишь случайно, переводными и оригинальными стихотвореніями и, помнится, двумя-тремя театральными хрониками. Я видѣлъ его, значитъ, не въ рабочіе будни, а въ дни праздниковъ или вольной и невольной праздности. И дни эти, не въ обиду будь сказано строгому г. Единицѣ, нерѣдко отдавались извѣстной русской слабости. По тогдашней моей молодости, я считалъ Василія Степановича очень веселымъ человѣкомъ. Можетъ быть, вино дѣйствовало на него иногда и угнетающимъ образомъ, но я его такимъ не видалъ. На моихъ глазахъ вино только усиливало его добродушную веселость и остроуміе, онъ сыпалъ каламбурами, остротами, экспромптами, смѣшилъ и самъ хохоталъ. А между тѣмъ, какъ я оцѣнилъ впослѣдствіи, съ этимъ смѣхомъ сочеталось глубокое и постоянное горе, даже не одно, а, по крайней мѣрѣ, два горя. Я отнюдь не хочу сводить все дѣло къ этимъ горямъ,—привычка омрачать сознаніе и волю виномъ, конечно, очень дурная привычка, и, какъ таковую, я охотно отдаю ее на растерзаніе моралистовъ и въ Курочкинѣ; не могу, однако, не отмѣтить тѣхъ прискорбныхъ обстоятельствъ, которыя если не вызвали, то усилили въ немъ пагубную привычку.

Я не увѣренъ, что „Искра“ въ 1867 г. существовала, но если и существовала, то во всякомъ случаѣ влачила мрачные, унылые дни. И это послѣ блестящаго успѣха въ началѣ шестидесятыхъ годовъ. Въ одной изъ не вполнѣ отдѣланныхъ рукописей Елисеева я нашелъ слѣдующія черты успѣха „Искры“, которыя и

Digitized by Google

привожу, какъ свидѣтельство современника, ибо самъ по наслышкѣ знаю объ этомъ успѣхѣ. Замѣчу только, что Елисеевъ пишетъ нижеслѣдующее просто къ слову, мимоходомъ, и, конечно, сказалъ-бы гораздо больше, если-бы имѣлъ въ виду характеристику дѣятельности В. С. Курочкина.

Въ „Искрѣ",—пишетъ Елисеевъ,—„кромѣ безчисленныхъ обличительныхъ корреспонденцій во всѣхъ родахъ, и въ прозѣ, и въ стихахъ, и въ разсказахъ, замѣткахъ, подписанныхъ обыкновенно псевдонимами, существовалъ еще особый отдѣлъ „Намъ пишутъ", составлявшійся по корреспонденціямъ, получаемымъ изъ различныхъ мѣстъ Россіи. Цензура не позволяла называть обличаемыхъ по имени, ни даже называть тѣ города, гдѣ они живутъ и гдѣ происходятъ обличаемыя дѣйствія. Поэтому образовался цѣлый словарь городовъ съ условными названіями: Краснорѣцкъ, Кутерма, Лиліенградъ, Тмутаракань, Златогорскъ, Чернилинъ, Бѣлокаменскъ и т. д., съ условленными именами дѣйствующихъ въ нихъ героевъ, въ особенности если они занимали въ нихъ выдающійся постъ по своему общественному положенію. Въ провинціи каждый городъ, о которомъ шла рѣчь, немедленно узнавалъ свой псевдонимъ, такъ какъ описываемое то или другое совершившееся въ немъ безобразіе было, конечно, извѣстно цѣлому городу, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, разумѣется, узнавалось и лицо, о которомъ шла рѣчь. Въ Петербургѣ, Москвѣ и другихъ большихъ городахъ цѣль гласности такимъ путемъ не могла достигаться,—развѣ въ исключительныхъ случаяхъ, когда какой-нибудь крупный скандалъ дѣлался извѣстнымъ всему городу. Тогда дѣлу гласности помогали иногда отчасти рисунки „Искры". Покойный Степановъ, прекрасный рисовальщикъ, давалъ изображаемымъ на этихъ рисункахъ лицамъ такое сходство съ подлинными, что цензура нерѣдко приказывала или сбривать бакенбарды съ изображеннаго лица, или поставить его не en face, а въ профиль, чтобы не такъ рѣзко бросалось въ глаза сходство. Кромѣ того, у „Искры", вѣроятно, благодаря рисункамъ, появились совершенно неизвѣстные редакціи добровольные *словесные* сотрудники въ пользу гласности. Въ 1859 г. мнѣ нѣсколько разъ случалось обѣдать въ одномъ небольшомъ табльдотѣ на Морской, гдѣ собиралось до пятнадцати и болѣе человѣкъ, все люда интеллигентнаго,—чиновниковъ, моряковъ и т. п. И при мнѣ, въ день выхода „Искры" или на другой, являлся молодой человѣкъ изъ

Digitized by Google

служащихъ, обѣдавшій постоянно тутъ и, повидимому, знакомый со всѣми, вынималъ вышедшій № „Искры“ изъ кармана и начиналъ излагать чуть не цѣлую лекцію объ этомъ нумерѣ, объяснялъ рисунки—кого они изображаютъ, по какому поводу они явились, говорилъ о статьяхъ, о затрудненіяхъ, которыя встрѣтились въ цензурѣ, и т. д., и т. д. Всѣ присутствующіе слушали внимательно, дѣлали возраженія, требовали поясненій. Онъ отвѣчалъ на всѣ вопросы и возраженія, давалъ требуемыя поясненія; повидимому, онъ былъ au courant всего, что дѣлалось въ „Искрѣ“. Я былъ убѣжденъ, что этотъ человѣкъ участвуетъ въ „Искрѣ“, стоитъ близко къ ея редакціи и что его обѣденные разговоры дѣлаются съ вѣдома редакціи для вящшаго распространенія журнала. Оказалось, совсѣмъ нѣтъ. Впослѣдствіи я довольно близко познакомился съ редакторомъ „Искры“, В. С. Курочкинымъ, былъ иногда на его журфиксахъ, и здѣсь познакомился и съ другимъ редакторомъ „Искры“, Степановымъ, но ни тотъ, ни другой не имѣли никакого свѣдѣнія о неизвѣстныхъ добровольцахъ, дѣйствовавшихъ въ ихъ пользу; оба они увѣряли меня, что у нихъ не было и въ мысли пользоваться подобнаго рода пропагандой для распространенія „Искры“, которая и безъ того шла очень шибко“.

Повторяю, Елисеевъ пишетъ это мимоходомъ, къ слову, имѣя въ виду совсѣмъ особыя цѣли, сообразно которымъ выдвигаетъ только одну сторону дѣла. Но и этого достаточно, чтобы видѣть, какую роль играла въ свое время „Искра“, а слѣдовательно, и ея главный руководитель. То было время обличительнаго жара, обуявшаго русское общество послѣ крымской войны. Не мало комическихъ штриховъ испещряетъ эту картину повальнаго обличенія, но изъ-за нихъ нельзя проглядѣть благородное чувство негодованія на всякій противозаконный поступокъ, на всякое насиліе надъ слабымъ, на всякое проявленіе высокомѣрнаго невѣжества, халатнаго отношенія къ обязанностямъ, „радѣнія родному человѣку“, всяческаго издѣвательства надъ правдой, честью, совѣстью. Центромъ всѣхъ этихъ обличеній стала „Искра“; общество, освѣженное приближающимся вѣяніемъ реформъ, откликнулось и создало для В. С. Курочкина или, пожалуй, вѣрнѣе, онъ самъ создалъ себѣ положеніе совершенно исключительное. Это былъ какъ-бы предсѣдатель суда общественнаго мнѣнія по множеству дѣлъ, часто очень мелкихъ и вполнѣ

Digitized by Google

личнаго характера, но иногда и крупныхъ и, во всякомъ случаѣ, захватывавшихъ, въ своей совокупности, всю грамотную Россію. Положеніе высокое, трудное и отвѣтственное. Многіе и многіе боялись „Искры“, многіе и многіе возлагали на нее надежды. Тройственная формула писательской дѣятельности,—мысль, слово, дѣло, — если не всегда и не вполнѣ осуществлялась для Курочкина, то была, все-таки, близка и возможна. Надо замѣтить, что тогда провинціальная печать не существовала и, значитъ, тѣ факты всероссійской жизни, которые нынѣ черпаются столичными газетами и журналами изъ провинціальной прессы, „Искрѣ“ приходилось получать изъ первыхъ рукъ; это создавало особенно живое общеніе между редакціей газеты и читателями, которые были или могли стать въ любую минуту также и сотрудниками. Человѣкъ жизни, Курочкинъ отдался этому живому дѣлу вполнѣ. Человѣкъ большого таланта, онъ съ веселіемъ размѣнялъ этотъ талантъ на мелочь и распустилъ свою личность въ общемъ составѣ своей газеты.

Еще не такъ давно, въ книжкѣ о Щедринѣ и потомъ въ предисловіи къ сочиненіямъ Шелгунова, я говорилъ о тѣхъ большихъ, хотя и невидныхъ публикѣ трудахъ и жертвахъ, которыя приносятся писателями-журналистами вообще, писателями-редакторами въ особенности. Получая нумеръ журнала или газеты, публика не подозрѣваетъ, какая масса труда вложена въ организацію и веденіе дѣла, ибо трудъ этотъ оставилъ по себѣ лишь духовный, невидный слѣдъ. Еще меньше можетъ оцѣнить публика ту жертву, которую приноситъ даровитый писатель, отрекаясь отъ спокойной единоличной работы, налагая на себя бремя черной работы невиднаго руководительства, растворяясь при случаѣ въ анонимѣ и псевдонимѣ, уступая свою мысль другому, болѣе свободному или въ данную минуту болѣе для исполненія пригодному и т. п. Все это принялъ Курочкинъ въ полномъ размѣрѣ. Конечно, жертвы эти искупались тѣмъ наслажденіемъ, которое онъ испытывалъ въ качествѣ одного изъ живыхъ центровъ литературы, въ качествѣ руководителя живого дѣла. Но тѣмъ горше было его существованіе, когда это живое дѣло пошатнулось, а затѣмъ и совсѣмъ пало. Попробовавъ сладкаго, не захочешь горькаго, а если ужъ неизбѣжно приходится его глотать, такъ оно кажется даже свыше мѣры горькимъ. Привычная, обратившаяся уже въ потребность непосредственная связь съ чи-

Digitized by Google

тателями, благодаря постороннимъ обстоятельствамъ, расшаталась и, наконецъ, совсѣмъ оборвалась. По пословицѣ „изъ поповъ въ дьякона“, Курочкинъ кончилъ фельетонистомъ въ газетѣ Полетики „Молва“. Все это шло съ извѣстною постепенностью, „Искра“ еще существовала довольно долго (съ перерывами), но уже давно утратила свое исключительное положеніе литературно-судебной инстанціи. И Курочкинъ топилъ свое горе въ винѣ.

Было у него и другое горе. Оно лежало въ условіяхъ его семейной жизни. Я позволилъ себѣ уже столько отступленій, что откладываю до другого раза то новое отступленіе, которое теперь просится подъ перо. Разумѣю бесѣду о причинахъ и слѣдствіяхъ несчастныхъ браковъ, очень часто встрѣчающихся въ литературной средѣ. Довольствуюсь пока голою отмѣткой несчастія Курочкина и слѣдующимъ фактомъ. Въ противоположность благодушному веселью Курочкина, выпившій Минаевъ производилъ на меня крайне непріятное впечатлѣніе. Чѣмъ-то грубымъ, плоскимъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, разнузданнымъ вѣяло отъ него, по крайней мѣрѣ, на меня. Это впечатлѣніе я получилъ въ 1867 г. и долго отъ него не избавлялся, такъ что даже избѣгалъ Минаева. Лѣтъ, должно быть, за пять до его смерти, послѣ долгаго перерыва, я случайно столкнулся съ нимъ въ Москвѣ, въ вокзалѣ Николаевской желѣзной дороги. Онъ былъ съ какою-то незнакомою мнѣ дамой. Первымъ моимъ движеніемъ было уклониться отъ встрѣчи, но онъ увидалъ меня и намъ пришлось даже ѣхать въ одномъ купе: онъ ѣхалъ въ Петербургъ, я—по дорогѣ въ Петербургъ. Съ первыхъ-же словъ, которыми мы обмѣнялись, я почувствовалъ, что это не тотъ Минаевъ, что онъ точно вымытъ или „выстиранъ“, какъ выразился ѣхавшій съ нами-же Г. И. Успенскій. Перемѣна была необыкновенно рѣзкая, я такой больше не видалъ, и ключъ къ ней оказался очень простой: измѣненіе условій семейной жизни. Послѣ этой поѣздки я довольно близко сошелся съ Минаевымъ, бывалъ у него, одно время мы даже жили стѣна объ стѣну, и я имѣлъ много случаевъ убѣдиться, какая благородная душа, какое нѣжное сердце систематически, въ теченіе многихъ лѣтъ заливалось виномъ. Я тщетно искалъ хоть слѣдовъ того грубаго, разнузданнаго человѣка, который былъ мнѣ такъ антипатиченъ въ началѣ нашего знакомства. Пить попрежнему онъ пересталъ, но иногда, чрезвычайно рѣдко, ему слу-

Digitized by Google

чалось, по старой памяти и попавъ въ старую обстановку, выпить лишнее; однако, и тутъ душа его оставалась просвѣтленной и умягченной, и прежній Минаевъ былъемъ поросъ. О, если-бы женщины всегда могли соображать, какой свѣтъ, но за то и какой мракъ могутъ онѣ вносить въ жизнь человѣка и, можетъ быть, въ особенности русскаго писателя! По вышеизложеннымъ причинамъ, которыя, впрочемъ, читателю предоставляется развить самому, въ персоналѣ русской литературы очень рѣдки сильные характеры, способные не сгибаться подъ тяжестью посланнаго имъ судьбой креста. Прибавьте еще къ этому усиленную нервность, по самой природѣ вещей свойственную литераторамъ, и вы поймете, какъ много значатъ въ судьбѣ русскаго писателя семейныя условія.

Послѣдніе годы жизни Минаева озарились нѣкоторымъ мягкимъ свѣтомъ, но въ смыслѣ воздѣйствія на его литературную дѣятельность это озареніе уже запоздало: какъ писатель, онъ уже сложился безповоротно. А, между тѣмъ, кое-что въ его литературной физіономіи подлежало-бы измѣненію. Человѣкъ безспорно очень талантливый, онъ, прежде всего, необыкновенно разбрасывался. Разбрасывался отнюдь не такъ, какъ Курочкинъ, который, дробя свои недюжинныя силы, сосредоточивалъ ихъ, все-таки, на своемъ журналѣ. Я не знаю, что сталось бы съ Курочкинымъ, если-бы у него не было журнала, хотя уже его исключительная любовь къ Беранже свидѣтельствуетъ, что онъ выбралъ-бы себѣ опредѣленное русло въ литературѣ. Минаевъ-же ни на чемъ не останавливался вдумчиво и продолжительно,— онъ скользилъ по явленіямъ литературы и жизни. Вдобавокъ, онъ былъ виртуозъ слова,—каламбуръ, игра словъ, трудная и какая-нибудь особенно фокусная рифма всегда соблазняли его, настолько соблазняли, что заслоняли собою подчасъ мысль. Впрочемъ, на этотъ счетъ о Минаевѣ говорилось такъ много, что я предпочитаю остановиться. Думаю, что безпорядочная жизнь много способствовала этой разбросанности и этой чрезмѣрной наклонности къ разнообразной, виртуозной и мелкой игрѣ словами.

Ни В. С. Курочкинъ, ни Минаевъ не представляли для меня загадки. По своей молодой неопытности, я ошибался, видя въ В. С. Курочкинѣ какое-то ходячее заразительное веселье и не умѣя проникнуть дальше коры грубой распущенности, которая

Digitized by Google

облегла душу Минаева. Но такъ или иначе, а мнѣ казалось, что я ихъ понимаю. Совсѣмъ другое дѣло Кроль и Толбинъ. Это были типичные представители какой-то совсѣмъ другой эпохи, другого, чуждаго и непонятнаго мнѣ духовнаго склада. Типъ этотъ живо возсталъ въ моей памяти недавно, при чтеніи воспоминаній г. Фета. Я приведу нѣсколько отрывковъ изъ этихъ воспоминаній, которыя пояснятъ мое тогдашнее недоумѣніе.

Разсказывая объ одномъ семействѣ, въ которомъ было двѣ дочери, г. Фетъ говоритъ: „О меньшой, если не говорить объ ея черныхъ волосахъ, широко выведенныхъ бровяхъ и замѣчательно черныхъ и блестящихъ глазахъ, сказать болѣе нечего; но старшая, блондинка, была явленіемъ далеко не дюжиннымъ. Уже одно ея появленіе въ дверяхъ невольно кидалось въ глаза. Она не входила, а, такъ сказать, шествовала въ комнату, строго сохраняя щегольскую кавалерійскую выправку: корпусъ назадъ, затылокъ назадъ“ (Воспоминанія, I, 3).

Въ январѣ 1858 г. Кокоревъ давалъ въ Москвѣ обѣдъ, на который, въ числѣ другихъ московскихъ литераторовъ, получилъ приглашеніе и г. Фетъ. За обѣдомъ Кокоревъ сказалъ рѣчь, въ которой повторилъ сказанное имъ уже раньше въ купеческомъ клубѣ, а именно „о добровольной помощи со стороны купечества къ выкупу крестьянскихъ усадебъ“. Г. Фетъ разсказываетъ: „Помню, съ какимъ воодушевленіемъ подошелъ ко мнѣ М. Н. Катковъ и сказалъ: „вотъ бы вамъ вашимъ перомъ иллюстрировать это событіе“. Я не отвѣчалъ ни слова, не чувствуя въ себѣ никакихъ силъ иллюстрировать какія-бы то ни было событія. Я никогда не могъ понять, чтобы искусство интересовалось чѣмъ-либо помимо красоты. Тѣмъ не менѣе, за столами, покрытыми драгоцѣннымъ стариннымъ серебромъ: ковшами, сулеями, братинами и т. д., съ великимъ сочувствіемъ находились наиболѣе выдававшіеся въ литературѣ славянофилы“ (I, 225).

„Я не встрѣчалъ человѣка, въ которомъ-бы стремленіе къ земнымъ наслажденіямъ высказывалось съ такою беззавѣтною откровенностью, какъ у Боткина (Василія). Можно было-бы подумать, что онъ древній грекъ, заставившій Шиллера въ своемъ гимнѣ „Боги Греціи“ воскликнуть:

Было лишь прекрасное священно
Наслажденья не стыдился богъ...

Digitized by Google

„Но нигдѣ стремленіе это не проявлялось въ такой полнотѣ, какъ въ клубѣ передъ превосходной закуской. „Вѣдь, это все прекрасно!—восклицалъ съ сверкающими глазами Боткинъ.—Вѣдь, это надо все съѣсть!“ (II, 24).

„Неудивительно, что въ домѣ гр. А. К. Толстого, посѣщаемомъ не профессіональными, а вполнѣ свободными художниками, штукатурная стѣна вдоль лѣстницы во второй этажъ была заброшена миѳологическими рисунками чернымъ карандашомъ. Графъ самъ былъ превосходный гастрономъ, и я замѣчалъ, какъ Боткинъ преимущественно передъ всѣми наслаждался превосходными кушаньями на лондонскихъ серебряныхъ блюдахъ и подъ такими-же художественными крышками“ (II, 26).

Я могъ-бы сдѣлать еще много подобныхъ выписокъ изъ воспоминаній г. Фета, но полагаю, что и приведеннаго достаточно, чтобы повергнуть, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ читателей въ недоумѣніе. Что это такое? Что это за удивительный переплетъ чистаго искусства, поклоненія красотѣ съ сладострастіемъ обжорства и оцѣнкою женщины съ точки зрѣнія „щегольской кавалерійской выправки: корпусъ назадъ, затылокъ назадъ“? „Было лишь прекрасное священно... особенно въ клубѣ передъ превосходною закуской“. „Не какіе-нибудь профессіональные художники, а настоящіе, свободные служители вѣчнаго искусства рисовали картины гр. Толстому... да онъ и самъ былъ превосходный гастрономъ“. Поразительно здѣсь не то, что люди любятъ хорошо поѣсть и, въ то-же время, любятъ и цѣнятъ хорошія картины или вообще почитаютъ искусство,—поразительно то, что все это сплетается для нихъ органически, принципіально, такъ что слова „священная“ и „закуска“, „das ewig weibliche“ и „кавалерійская выправка“, „Шекспиръ“ и „стерляжья уха“ могутъ совершенно спокойно уживаться въ мозгу и на бумагѣ рядомъ, пополняя другъ друга. Вотъ эта самая черта поражала меня и въ Кролѣ и Толбинѣ. Потомъ, когда я пожилъ на свѣтѣ, повидалъ всякіе виды и вдумался въ доктрину святого чистаго искусства, я пересталъ удивляться. Я понялъ цѣльность, законченность того типа, который такъ часто мелькаетъ на страницахъ воспоминаній г. Фета. Но тогда недоумѣніе мое было тѣмъ сильнѣе, что Кроль и Толбинъ не представляли собою столь законченнаго типа. Дѣло не въ томъ, что г. Фетъ, В. Боткинъ и проч. приправляютъ свои бесѣды шампанскимъ и стерляжьей ухой, а

Digitized by Google

Кроль и Толбинъ не отказывались отъ водки съ колбасой и пива,— это просто дѣло средствъ; хотя и то надо, все-таки, сказать, что серебряныя блюда и трюфеля какъ-то больше гармонируютъ съ помѣсью „священнаго“ и „закусочнаго“. Затѣмъ, сколько я помню, Толбинъ былъ просто, что называется, добрый малый, безъ всякаго опредѣленнаго образа мыслей, а Кроль грѣшилъ подчасъ нѣкоторымъ либерализмомъ. Это тоже не дѣло, тоже портитъ типъ. Г. Фетъ и многіе его собесѣдники гораздо цѣльнѣе, послѣдовательнѣе. Воспоминанія г. Фета, интересныя если не сплошь, то во многихъ своихъ подробностяхъ, особенно цѣнны по тому документальному матеріалу, который въ нихъ въ изобиліи вложенъ. Письма Тургенева, гр. Л. Толстого, Боткина очень многое характеризуютъ и освѣщаютъ. Вотъ отрывки изъ писемъ Тургенева:

„Я говорю, что художество такое великое дѣло, что цѣлаго человѣка едва на него хватаетъ со всѣми его способностями, между прочимъ, и съ умомъ; вы поражаете умъ остракизмомъ и видите въ произведеніяхъ художества только безсознательный лепетъ спящаго“ (I, 391).

„Вѣроятно, по прочтеніи моей новой повѣсти, которая едва-ли вамъ понравится, вы и ея недостатки припишете уму. Дался вамъ этотъ гóнный заяцъ. Смотрите! (Въ подлинномъ письмѣ нарисованъ заяцъ, на спинѣ котораго написано: *умъ*—и настигающая его борзая собака, съ лицомъ бородатаго человѣка и съ надписью на спинѣ: *Фетъ*)“ (I, 393).

„Вы—закоренѣлый и остервенѣлый крѣпостникъ, консерваторъ и поручикъ стариннаго закала“ (I, 404).

„Моя претензія на васъ состоитъ въ томъ, что вы все еще съ прежнимъ, носящимъ уже всѣ признаки собачьей старости упорствомъ нападаете на то, что вы величаете „разсудительствомъ“, но что, въ сущности, ничто иное, какъ человѣческая мысль и человѣческое знаніе“ (II, 94).

Надо замѣтить, что Тургеневъ былъ очень расположенъ лично къ г. Фету и все, только что приведенное, входитъ въ составъ вполнѣ дружеской переписки. Тѣмъ, разумѣется, цѣннѣе въ данномъ случаѣ характеристика Тургенева. Если вы прибавите ее къ „священной закускѣ“, „кавалерійской выправкѣ“, то получите чрезвычайно яркій типъ, которымъ можно, пожалуй, даже любоваться, какъ можно любоваться законченнымъ художественнымъ воспроизведеніемъ хотя бы непріятнаго сюжета. Это не помѣ-

Digitized by Google

шаетъ вамъ, конечно, отвернуться отъ самого сюжета при встрѣчѣ съ нимъ въ жизни. Такъ-бы я и поступилъ даже въ своей ранней молодости, если-бы Кроль и Толбинъ совмѣщали въ себѣ всѣ элементы типа. Но этого не было, и я рѣшительно недоумѣвалъ. Однажды мнѣ пришлось, впрочемъ, настоятельно предложить Кролю удалиться изъ моего мезонина,—до такой степени ошеломилъ онъ меня какимъ-то чудовищнымъ сплетеніемъ эстетическихъ идеаловъ съ чѣмъ-то совершенно уже некрасивымъ въ этическомъ смыслѣ. Потомъ я имѣлъ много случаевъ убѣдиться, что хотя этика и эстетика весьма близкіе родственники, но между ними часто разыгрывается исторія Каина и Авеля. Въ этомъ, конечно, и заключается истинная причина того односторонняго и преувеличеннаго гоненія, которое нѣкоторыя пылкія молодыя головы воздвигли въ шестидесятыхъ годахъ на эстетику. Какъ-бы односторонно и преувеличенно ни было это гоненіе, оно имѣло свои жизненныя основанія; въ особенности, если къ этикѣ прибавить еще политику. И было въ немъ несомнѣнное зерно правды. Его можно формулировать вопросомъ: Каинъ! гдѣ братъ твой Авель?

II *).

„Гласный Судъ", „Современное Обозрѣніе", „Отечественныя Записки".—Некрасовъ.—Романъ „Борьба" и статья „Что такое прогрессъ?"—Салтыковъ, Елисеевъ, Успенскій.—Некрасовъ, какъ человѣкъ.

Продолжаю вспоминать.

Я былъ молодъ, здоровъ, силенъ, одинокъ, а извѣстно, что одна голова не бѣдна, а и бѣдна, такъ одна. И, все-таки, туго приходилось лѣтомъ 1867 года,—туго и отъ невольнаго, вынужденнаго бездѣлья, когда только что попробовалъ сладкаго яда литературной работы, туго и прямо отъ матеріальныхъ лишеній. Для воспроизведенія нашей „богемской" жизни на Черной рѣчкѣ нужно-бы было перо Мюрже. Уже кое-что изъ мебели Н. С. Курочкина пошло на растопку плиты... Уже не разъ кухарка на вопросъ: „Въ долгъ, что-ли, въ лавочкѣ-то взять?" получала веселый отвѣтъ: „Да, да, въ долгъ, долгъ прежде всего". Уже не разъ

*) 1891, апрѣль.

Digitized by Google

веселое богемское житье, при которомъ, возставъ отъ сна, не знаешь, будешь-ли сегодня сытъ, или нѣтъ, становилось въ тягость. Въ особенности Курочкину, который былъ и старше, и избалованнѣе, и требовательнѣе меня. И вотъ въ одинъ прекрасный день явился вѣстникъ избавленія. Это былъ П. А. Гайдебуровъ, нынѣшній редакторъ-издатель „Недѣли". Онъ пріѣхалъ приглашать Курочкина въ ежедневную „судебно-политическую" газету „Гласный Судъ", издателемъ и отвѣтственнымъ редакторомъ которой былъ нѣкто Артоболевскій. По профессіи Артоболевскій былъ не литераторъ, а стенографъ, и, притомъ, человѣкъ малообразованный. „Гласный Судъ" онъ предпринялъ въ 1866 году, я полагаю, просто съ спекулятивными цѣлями, въ разсчетѣ на заголовокъ: новый судъ былъ тогда дѣйствительно новинкой. Сверхъ того, Артоболевскій издавалъ „Самоучитель Стенографіи", выходившій еженедѣльно. Первый годъ газета, то есть подписка на нее, шла, кажется, бойко, но уже на слѣдующій годъ выяснилось, что на одной спекуляціи въ литературномъ дѣлѣ далеко не уѣдешь. Какъ и когда попалъ въ „Гласный Судъ" г. Гайдебуровъ, я не знаю. Знаю только, что лѣтомъ 1867 года онъ пріѣхалъ къ Курочкину съ просьбою о сотрудничествѣ. Курочкинъ взялъ на себя отдѣлъ иностранной политики и рекомендовалъ г. Гайдебурову меня для критическаго отдѣла и, помнится, Демерта для внутреннихъ извѣстій. Въ этомъ послѣднемъ я не увѣренъ. Домовитый, хозяйственный Демертъ не выдержалъ нашего слишкомъ уже цыганскаго житья и лѣтомъ-же 1867 г. уѣхалъ въ провинцію на службу или искать службы. Но я не помню, уѣхалъ-ли онъ до или послѣ неудачной пробы съ „Гласнымъ Судомъ". Если послѣ, то, по всей вѣроятности, и онъ участвовалъ въ этой „судебно-политической" газетѣ, въ сущности, впрочемъ, издававшейся по обыкновенной программѣ ежедневныхъ газетъ. Но за то я хорошо помню себя и Курочкина за работой въ „Гласномъ Судѣ". Курочкинъ, по своимъ обязанностямъ завѣдующаго отдѣломъ иностранной политики, долженъ былъ ѣздить въ городъ, въ редакцію, каждый день, я-же лишь время отъ времени. Помню, какъ мы, окончивъ дѣла въ редакціи, отправлялись, съ спокойствіемъ людей вполнѣ обезпеченныхъ, трапезовать въ греческую кухмистерскую „Афина", на углу Троицкаго переулка и Невскаго. Не знаю, существуютъ-ли подобныя благодѣтельныя учрежденія теперь. Въ „Афинѣ" можно было

Digitized by Google

копѣекъ за тридцать наѣсться разной дряни, до хорошаго разстройства желудка, а истративши рубль, самъ Лукуллъ остался-бы много доволенъ, особенно если-бы зналъ, какъ знали, благодаря „Гласному Суду“, мы, что и завтра, и послѣ завтра разстройство желудка вполнѣ обезпечено. Не житье, а масляница. Однако, и этой масляницѣ пришелъ конецъ и наступилъ настоящій великій постъ. Дѣла Артоболевскаго шли все на убыль. Однажды онъ предложилъ намъ сбавку гонорара, причемъ выдалъ намъ какія-то разсчетныя или памятныя книжки, по которымъ впослѣдствіи, когда дѣла поправятся, мы могли дополучить свой заработокъ. Но дѣла не поправлялись и, какъ очень скоро съ очевидностью выяснилось, не могутъ поправиться. Прекратился-ли, за истощеніемъ средствъ издателя, „Гласный Судъ“, или мы не дождались этого конца, не помню. Произошла трогательная сцена разставанія, причемъ Артоболевскій, въ благодарность за сотрудничество, предложилъ намъ подарокъ—„Самоучитель Стенографіи“. Онъ великодушно отдавалъ это еженедѣльное изданіе въ наше полное распоряженіе. Подписчиковъ у „Самоучителя“ было, правда, очень мало, но Артоболевскій указалъ намъ другую выгоду: такъ какъ значительная часть „Самоучителя“ печаталась не обыкновеннымъ шрифтомъ, а стенографическими знаками, то подъ прикрытіемъ ихъ мы могли совершенно свободно излагать свои мысли,—цензура ничего не пойметъ. Это была блестящая мысль, достойная стенографическаго генія Артоболевскаго, но при осуществленіи ея предстояло то маленькое неудобство, что и читатель ничего не пойметъ. Эта маленькая тучка на открывавшемся предъ нами широкомъ горизонтѣ заставила насъ отказаться отъ подарка.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается. На этотъ разъ, однако, дѣло дѣлалось почти такъ-же скоро, какъ идетъ мой разсказъ. Если мнѣ не измѣняетъ память, то двумя фельетонами и одною передовою статьею исчерпывается мое сотрудничество въ „Гласномъ Судѣ“.

Приближалась и приблизилась осень, впереди была зима, а зимой бываетъ ужасно холодно въ лѣтнемъ пальто. Тутъ подошли и еще нѣкоторыя обстоятельства, и я рѣшилъ уѣхать изъ Петербурга къ роднымъ, въ деревню. Несмотря на всѣ невзгоды у меня ни разу даже не мелькула мысль измѣнить литературѣ для какой-нибудь другой дѣятельности. Очевидно, я былъ въ

Digitized by Google

этомъ отношеніи уже конченный человѣкъ. Въ самомъ водоворотѣ цыганской жизни мнѣ удалось, все-таки, работать, приготовляясь къ исполненію обширныхъ литературныхъ плановъ. Въ деревню я повезъ съ собою таковыхъ два.

Еще подъ вліяніемъ Ножина и отчасти подъ его руководствомъ, я заинтересовался вопросомъ о границахъ біологіи и соціологіи и возможностью ихъ сближенія. Ножинъ былъ мало свѣдущъ въ общественныхъ наукахъ, но въ области біологіи онъ, навѣрное, очень быстро занялъ-бы одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ, если-бы его не подкосила ранняя смерть. Онъ много работалъ самостоятельно, между прочимъ, надъ исторіей развитія низшихъ морскихъ животныхъ, и одна такая спеціальная работа,—результатъ его личныхъ наблюденій на берегу Средиземнаго моря,—напечатанная въ бюллетеняхъ нашей академіи наукъ, обратила на себя вниманіе и въ Европѣ. Но узкая спеціальность не удовлетворяла его, онъ рвался въ даль и въ ширь, Онъ былъ ярый дарвинистъ въ біологіи и столь-же ярый противникъ дарвинизма въ соціологіи. Дарвина онъ называлъ „геніальнымъ буржуа-натуралистомъ". Не могу достаточно высоко оцѣнить пользу, доставленную мнѣ общеніемъ съ кругомъ идей Ножина, но въ нихъ было, все-таки, много смутнаго, частью потому, что они въ самомъ Ножинѣ еще только развивались, частью по малому его знакомству съ областью общество знанія. Я получилъ отъ Ножина собственно только толчокъ въ извѣстномъ направленіи, но толчокъ сильный, рѣшительный и благотворный. Не помышляя о спеціальныхъ занятіяхъ біологіей, я, однако, много читалъ по указанію Ножина и какъ-бы по его завѣщанію. Эта новая струя чтенія бросала своеобразный и чрезвычайно меня занимавшій отблескъ на тотъ значительный, хотя и безпорядочный, а частью и просто негодный матеріалъ, фактическій и идейный, которымъ я запасся раньше. Постепенно, сначала въ очень смутныхъ очертаніяхъ, скорѣе угадываемыхъ, чѣмъ сознаваемыхъ, складывался планъ обширной соціологической работы. Появившіеся въ 1866 г. по русски первые томы сочиненій Спенсера придали нѣсколько болѣе опредѣленные контуры одной части этого смутнаго плана,—теоріи прогресса. Рѣзкая противоположность идей и пріемовъ Спенсера всему тому, до чего я мысленно не то что доработался, а дорабатывался, уяснила мнѣ многое. Однако, и эта часть общаго

Digitized by Google

плана была еще далеко не ясна, когда я уѣзжалъ въ 1867 году изъ Петербурга. Тѣмъ болѣе, что въ то-же самое время меня преслѣдовалъ еще другой литературный планъ—романъ. Изъ этого романа, никогда не конченнаго, я впослѣдствіи, въ 1876—77 гг., выбралъ значительную часть матеріала для полубеллетристическихъ, полупублицистическихъ очерковъ „Въ перемежку". Перепечатывая эти очерки въ IV томѣ своихъ сочиненій *) рядомъ со статьей „Что такое прогрессъ?" я писалъ въ предисловіи: „Несмотря на то, что обѣ эти вещи писаны въ разное время, несмотря, далѣе, на разницу формы, читатель, надѣюсь, усмотритъ ихъ внутреннее единство и, слѣдовательно, оправдаетъ такое на первый взглядъ странное сосѣдство". Съ тѣхъ поръ я имѣлъ случай убѣдиться, что внутреннее единство обѣихъ половинъ IV тома не такъ ужъ ясно для многихъ читателей, какъ я предполагалъ. Но для меня-то оно тѣмъ яснѣе, что хотя обѣ эти половины писались въ разное время, но обдумывались или зарождались какъ разъ одновременно. Убѣдившись въ слабости своего художественнаго дарованія, я бросилъ романъ (хотя позже, въ восьмидесятыхъ годахъ, меня опять потянуло къ беллетристикѣ), но въ 1867 г. онъ меня очень занималъ. Онъ настолько подвинулся впередъ, что, вернувшись въ 1868 г. въ Петербургъ, я уже могъ подумывать о томъ, куда-бы его пристроить.

Въ 1868 г. въ петербургской журналистикѣ, послѣ полуторагодового затишья, наступило значительное оживленіе. Некрасовъ взялъ въ аренду „Отечественныя Записки" и совершенно ихъ преобразилъ. Книгопродавецъ и книгоиздатель Тибленъ открылъ новый ежемѣсячный журналъ „Современное Обозрѣніе". Появилась „Недѣля", издававшаяся Генкелемъ и редактировавшаяся П. Ѳ. Конради. Н. С. Курочкинъ, приглашенный Некрасовымъ для завѣдыванія библіографическимъ отдѣломъ въ „Отечественныхъ Запискахъ", усиленно тянулъ меня въ этотъ журналъ, но я упорно отказывался. Громкое, дорогое намъ, тогдашней, да, надѣюсь, и теперешней молодежи имя Некрасова очень потускнѣло со времени закрытія „Современника". Надо замѣтить, что уже въ 1864 г. „Современникъ" сталъ терять свой престижъ, равнаго которому дотолѣ не было во всей исторіи русской жур-

*) Перваго изданія.

Digitized by Google

налистики. Нечего и говорить о насъ, тогдашней молодежи,—мы упивались „Современникомъ“. Но и гораздо болѣе солидныя и значительныя сферы испытывали на себѣ его обаяніе. Есть два рода, два характера литературной дѣятельности. Одни писатели думаютъ вліять непосредственно на ходъ государственной жизни въ ея механникѣ сегодняшняго дня. Другіе разсчитываютъ вліять лишь на общественное мнѣніе, воспитывать въ обществѣ извѣстное настроеніе, извѣстные идеалы, подлежащіе практическому осуществленію, можетъ быть, завтра, а, можетъ быть, черезъ много лѣтъ. Нѣтъ принципіальныхъ основаній для разлученія этихъ двухъ видовъ литературной дѣятельности, но жизнь то разлучаетъ ихъ, то дозволяетъ имъ сливаться въ одно теченіе. Въ Европѣ, гдѣ представители общественнаго мнѣнія могутъ быть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и оффиціальными руководителями практической жизни, упомянутое различіе двухъ видовъ литературной дѣятельности весьма слабо. Оно опредѣляется, можетъ быть, исключительно личными вкусами и темпераментами самихъ писателей. Одинъ болѣе склоненъ къ разработкѣ общихъ идеаловъ, озаряющихъ жизнь въ ея цѣломъ и отражающихся на умственномъ и нравственномъ настроеніи всей массы общества; другой, напротивъ, по своему темпераменту, привычкамъ, воспитанію предпочитаетъ оказывать непосредственное давленіе на людей, стоящихъ у власти. Но ничто, кромѣ личныхъ склонностей, не мѣшаетъ имъ въ любой моментъ помѣняться ролями или совмѣстить ихъ въ одномъ лицѣ. У насъ дѣло происходитъ нѣсколько иначе. Бѣлинскій, напримѣръ, имѣвшій огромное вліяніе на общество и воспитавшій не одно поколѣніе, не былъ даже и послѣднею спицей въ оффиціальной колесницѣ русской жизни. Блестящимъ и едва-ли повторимымъ, по крайней мѣрѣ, въ ближайшемъ будущемъ, образчикомъ литературной дѣятельности противоположнаго характера можетъ служить Катковъ. Однако, и у насъ, въ нѣкоторые приподнятые моменты жизни, возможно до извѣстной степени сочетаніе обоихъ характеровъ дѣятельности (я говорю о характерѣ, а не о направленіи дѣятельности). Таково именно было положеніе „Современника“. Это, впрочемъ, мимоходомъ.

Для насъ, молодыхъ читателей и почитателей, уже смерть Добролюбова и удаленіе Чернышевскаго произвели непоправимый изъянъ въ физіономіи „Современника“. А рядомъ съ этими тяжкими потерями въ составѣ „Современника“ поднималось значеніе

Digitized by Google

„Русскаго Слова“, въ особенности Писарева. И когда „Современникъ“, устами М. А. Антоновича, завелъ длинную и грубую полемику съ „Русскимъ Словомъ“, престижъ „Современника“ и еще поблекъ. Русскій читатель любитъ присутствовать при полемическихъ схваткахъ, но есть предѣлы и содержанія, и формы полемики, перейдя за которыя даже такой даровитый писатель, какъ г. Антоновичъ, можетъ лишь уронить свое дѣло. Такъ и случилось. Охлажденіе къ „Современнику“ вообще осложнилось еще слухами о неблаговидномъ поведеніи Некрасова въ трудное время 1866 года,—слухами, вызвавшими извѣстное посланіе „неизвѣстнаго друга“, озаглавленное „Не можетъ быть“:

Мнѣ говорятъ: твой чудный голосъ—ложь;
Прельщаешь ты притворною слезою,
И словомъ лишь толпу къ добру влечешь,
А самъ, какъ змѣй, смѣешься надъ толпою.

И т. д. Извѣстную степень справедливости дурныхъ слуховъ всенародно призналъ нѣсколько позже самъ Некрасовъ въ своемъ отвѣтѣ „неизвѣстному другу“:

Не торговалъ я лирой, но, бывало,
Когда грозилъ неумолимый рокъ,
У лиры звукъ невѣрный исторгала
Моя рука...

И далѣе:

Я призванъ былъ воспѣть твои страданья,
Терпѣньемъ изумляющій народъ!
И бросить хоть единый лучъ сознанья
На путь, которымъ Богъ тебя ведетъ;
Но жизнь любя, къ ея минутнымъ благамъ
Прикованный привычкой и средой,
Я къ цѣли шелъ колеблющимся шагомъ,
Я для нея не жертвовалъ собой.

Враги, которыхъ всегда много у всякаго виднаго литературнаго дѣятеля, ликовали, друзья и сторонники отшатнулись или сконфузились. Мнѣ, горячему почитателю поэта, самому случалось слышать злорадные возгласы: „Ну, что вашъ Некрасовъ? Хорошъ!?“ Нехорошъ, конечно, но какъ-же горько и обидно было признать это... Оскорбленіе, нанесенное моей юной душѣ Некрасовымъ, было слишкомъ велико, и немудрено, что я упирался идти въ

Digitized by Google

„Отечественныя Записки“. Тогда въ литературныхъ кружкахъ много говорили, между прочимъ, и о противоестественности союза Некрасова съ Краевскимъ, который тянулъ въ старыхъ „Отечественныхъ Запискахъ“ совсѣмъ неподходящую ноту. Но это меня не смущало. Я зналъ отъ Н. С. Курочкина, что никакого союза тутъ нѣтъ, а есть простая денежная сдѣлка, въ силу которой Краевскій отдавалъ на извѣстный срокъ и за извѣстную ежегодную плату свой журналъ Некрасову, обязуясь не вмѣшиваться въ литературную сторону дѣла. Дѣла „Отечественныхъ Записокъ“ при Краевскомъ шли все хуже и хуже. Ни борьба г. Страхова съ „Западомъ“ и съ „нигилистами“, ни другіе перлы не спасали журналъ отъ очевиднаго паденія. И даже послѣ 1866 г. Краевскій не могъ-бы повторить фразу Скалозуба: „Довольно счастливъ я въ товарищахъ своихъ,—тѣ, смотришь, умерли, другіе перебиты“. Прекращеніе „Современника“ и „Русскаго Слова“, благодаря которому сильно очистилось поле конкурренціи, не улучшило дѣлъ „Отечественныхъ Записокъ“. Пришелъ Некрасовъ и предложилъ Краевскому выгодныя условія. Краевскій, человѣкъ, собственно говоря, совершенно чуждый литературѣ, хотя и нажившій на ней каменныя палаты, согласился отдать свой журналъ представителямъ враждебнаго ему направленія (если позволительно говорить о направленіи Краевскаго). Эта сдѣлка бросаетъ тѣнь ужъ, конечно, не на Некрасова, хотя враги Некрасова пробовали эксплоатировать и этотъ фактъ. Меня онъ, повторяю, не смущалъ. Но смущала сама личность Некрасова, котораго я когда-то такъ горячо, хотя и заочно любилъ, которымъ зачитывался до слезъ. Напрасно добрѣйшій Н. С. Курочкинъ соблазнялъ меня перспективой возрожденія „Современника“; напрасно указывалъ, что если въ новыхъ „Отечественныхъ Запискахъ“ не будетъ такихъ сотрудниковъ „Современника“, какъ гг. Антоновичъ и Жуковскій, то будутъ Салтыковъ и Елисеевъ, имена которыхъ достаточно гарантируютъ направленіе журнала; напрасно объяснялъ поведеніе Некрасова въ 1866 г. исключительностью обстоятельствъ. Самымъ тяжелымъ для меня былъ тотъ аргументъ ad hominem, который, наконецъ, пустилъ въ ходъ Курочкинъ. Онъ спрашивалъ: если онъ, Курочкинъ, старый, опытный, никогда себѣ не измѣнявшій писатель, находитъ возможнымъ работать у Некрасова, то неужели-же мнѣ, писателю начинающему и еще ничѣмъ себя не заявившему, это постыдно? И неужели я,

Digitized by Google

хорошо его знающій, имѣю къ нему такъ мало довѣрія? Я могъ-бы на это, конечно, многое возразить, но не возразилъ ничего. Курочкинъ былъ моимъ литературнымъ крестнымъ отцомъ, онъ пріютилъ и кормилъ меня въ трудное время, никогда ничѣмъ не давая мнѣ почувствовать, что дѣлаетъ одолженіе. Но и помимо этихъ личныхъ отношеній я, несмотря на всѣ его слабости и смѣшныя стороны, искренно уважалъ его, какъ человѣка. Естественно, что у меня не повертывался языкъ возражать на его argumentum ad hominem. Мы порѣшили на томъ, что я попробую работать въ отдѣлѣ библіографіи, которымъ онъ завѣдуетъ, а что будетъ дальше—посмотримъ.

Оставались еще „Современное Обозрѣніе“ и „Недѣля“. Послѣ нѣкоторыхъ колебаній, навѣянныхъ одной нелѣпою фразой въ объявленіяхъ объ изданіи „Современнаго Обозрѣнія“, я отправился весной все того-же 1868 г. въ редакцію этого журнала съ первою частью своего романа (онъ назывался „Борьба“) и со статьей публицистическаго характера „Письма о русской интеллигенціи“.

Всегдашняя моя бѣда, какъ писателя, состояла и доселѣ состоитъ въ томъ, что я никогда не могъ оградить свой сюжетъ отъ вторженій текущей жизни съ ея пестрымъ шумомъ сегодняшняго дня. Я не увѣренъ, впрочемъ, что это дѣйствительно бѣда, потому что если это обстоятельство мѣшало цѣльности и сосредоточенности работы, то взамѣнъ придавало ей, можетъ быть, извѣстную жизненность. Можетъ быть, далѣе, это совсѣмъ не моя личная особенность, а общая, воспитанная обстоятельствами времени и мѣста, черта всей той литературной среды, въ которой окончательно сложилась моя литературная физіономія. По крайней мѣрѣ, въ „Отечественныхъ Запискахъ“ семидесятыхъ годовъ подобрались все люди, въ писаніяхъ которыхъ всегда громко билась безпокойная жилка публициста, то есть болѣе или менѣе страстнаго докладчика по дѣламъ сегодняшняго дня. Не говоря объ Елисеевѣ или Демертѣ, которыхъ обязанность именно и состояла въ освѣщеніи текущихъ событій, черта эта отразилась и въ Некрасовѣ, и въ особенности въ Салтыковѣ и Г. И. Успенскомъ. Что касается меня лично, то когда г. Слонимскій озаглавилъ одну изъ своихъ, направленныхъ противъ меня, статей „Мнимая соціологія“, онъ обнаружилъ лишь свое незнакомство съ дѣломъ, о которомъ взялся говорить. Но если-бы онъ написалъ „Публицистическая соціологія“, то каково-бы ни было со-

Digitized by Google

держаніе этой статьи, а заглавіе было-бы и довольно правдиво, и, съ извѣстной точки зрѣнія, достаточно обидно. Я-бы, впрочемъ, не обидѣлся: еже писахъ—писахъ. Когда чисто теоретическая статья уже изрѣзанная разными публицистически отступленіями, все-таки, не вмѣщала въ себѣ всего, что меня оскорбляло или радовало въ текущей жизни, я начиналъ, рядомъ съ ней, другія статьи, уже прямо публицистическія, и часто не доводилъ своего теоретическаго плана до конца. Такъ было еще и въ тѣ времена, когда я отправился въ редакцію „Современнаго Обозрѣнія". Въ головѣ у меня былъ планъ статьи о прогрессѣ, на бумагѣ—первая часть романа, но въ то-же время непреодолимо хотѣлось говорить о сегодняшнемъ днѣ. Принесенныя мною въ „Современное Обозрѣніе" „Письма о русской интеллигенціи" (боюсь, что не совсѣмъ точно помню заглавіе) должны были служить началомъ цѣлой серіи статей и печататься ежемѣсячно.

Редакторъ-издатель „Современнаго Обозрѣнія" Тибленъ, отставной кавалерійскій офицеръ, немножко черезчуръ развязный, но человѣкъ образованный, издавшій передъ тѣмъ нѣсколько хорошихъ переводныхъ книгъ, между прочимъ, первые томы сочиненій Спенсера, принялъ меня очень любезно, и сталъ вдвое любезнѣе, когда прочиталъ мои рукописи. Надо замѣтить, что „Современное Обозрѣніе" началось при участіи нѣкоторыхъ бывшихъ сотрудниковъ „Современика": гг. Пыпина и Жуковскаго, отдѣлившихся отъ Некрасова, Салтыкова и Елисеева. Но гг. Пыпинъ и Жуковскій участвовали лишь въ редижированіи программы и перваго нумера журнала. Во всякомъ случаѣ, къ тому времени, когда я пришелъ въ „Современное Обозрѣніе", Тибленъ хозяйничалъ тамъ одинъ. Онъ рѣшилъ начать печатать „Письма" съ іюня, а романъ съ іюля—съ тѣмъ, чтобы къ августу я приготовилъ вторую часть. Вышла іюньская книжка, печаталась іюльская. Я продолжалъ писать романъ и „Письма". Однажды Тибленъ вручилъ мнѣ чистый оттискъ моего романа и пригласилъ къ себѣ на дачу, гдѣ-то на Невѣ, и довольно далеко. Мы ѣхали на пароходѣ. День былъ солнечный, тихій, Нева такая ласковая, носъ парохода такъ красиво и сильно рѣзалъ синюю воду, и на душѣ у меня соловьи пѣли. Немудрено: въ карманѣ моего пальто лежалъ сброшюрованный печатный оттискъ, на первой страницѣ котораго красовались слова: „Борьба. Романъ. Часть первая". Кончены всѣ мытарства! Я у пристани! Какъ

Digitized by Google

только кончу романъ, примусь за статью о прогрессѣ, а „Письма“ пойдутъ своимъ чередомъ, а изъ-за статьи о прогрессѣ уже виднѣются неясные контуры другихъ работъ...

Одно меня немножко смущало. Статья о прогрессѣ складывалась въ формѣ критическаго разбора перваго тома сочиненій Спенсера, причемъ мнѣ пришлось-бы очень мало въ чемъ согласиться со Спенсеромъ и очень много въ чемъ рѣшительно не согласиться. А между тѣмъ Тибленъ былъ не только издателемъ русскаго перевода Спенсера, но частью и переводчикомъ и вдобавокъ горячимъ поклонникомъ. Въ 1866 г., когда Тибленъ задумалъ изданіе сочиненій Спенсера въ семи томахъ (это изданіе не было кончено), знаменитый нынѣ англійскій мыслитель былъ весьма мало извѣстенъ на европейскомъ континентѣ,— не существовало ни французскаго, ни нѣмецкаго перевода ни одного изъ его сочиненій. Тибленъ, такъ сказать, опередилъ Европу. Да и самъ Тибленъ, издавая для пробы опытъ Спенсера о „Классификаціи наукъ“, считалъ, какъ видно изъ предисловія, Спенсера „недавно умершимъ“. Между тѣмъ, въ томъ-же предисловіи находимъ слѣдующее пророчество: „Спенсеръ займетъ, вѣроятно, въ современной раціональной философіи такое-же мѣсто, какое заняли Бокль въ философіи исторіи и Дарвинъ въ философіи естествознанія“. Вотъ это глубокое уваженіе Тиблена къ Спенсеру и смущало меня: я боялся, что онъ не допуститъ въ своемъ журналѣ отрицательнаго отношенія ко многимъ основнымъ мыслямъ излюбленнаго имъ англійскаго писателя. Но и эта черная точка на моемъ веселомъ горизонтѣ была, все-таки, не очень страшна, въ виду нѣкоторыхъ своеобразныхъ взглядовъ Тиблена на права и обязанности редактора журнала. Онъ разсказывалъ мнѣ однажды, какъ поступилъ со статьей, которую въ общемъ не одобрялъ и авторъ которой доставилъ ее безъ своей подписи. Тибленъ ему сказалъ: „Нѣтъ, батюшка, я не могу вамъ позволить трепать восемнадцать вѣковъ философіи отъ имени редакціи; выставляйте свое имя подъ статьей, иначе не напечатаю“. Причемъ тутъ восемнадцать вѣковъ философіи, я ужъ не помню, но этотъ прецедентъ давалъ мнѣ надежду, что и статья о Спенсерѣ пройдетъ.

Мы провели на дачѣ Тиблена весь вечеръ вмѣстѣ, благодушно и весело бесѣдуя. Я и ночевать у него остался. Прощаясь со мной на другой день, Тибленъ просилъ меня торопиться съ

Digitized by Google

работой къ августу, спрашивалъ, не нужно-ли мнѣ денегъ впередъ и т. п. Никоимъ образомъ не могъ я думать, что вижу его въ послѣдній разъ и что черезъ какую-нибудь недѣлю всѣ мои розовыя мечты о концѣ мытарствъ и надежной пристани и проч. разсыплются прахомъ. Зайдя черезъ недѣлю въ редакцію „Современнаго Обозрѣнія", я услышалъ die traurige Mähr, что Тибленъ бѣжалъ отъ долговъ за границу и бросилъ журналъ на произволъ судьбы... Бѣдному малому, какъ я потомъ слышалъ, очень плохо приходилось за границей. Да простятся-же ему мои разбитыя мечты!

Такъ и не увидалъ свѣтъ произведенія, на первой страницѣ котораго значилось: „Борьба, Романъ, Часть первая",—іюльская книжка „Современнаго Обозрѣнія" не вышла. Впослѣдствіи я былъ очень радъ гибели „Борьбы", въ достоинствахъ которой очень сомнѣваюсь. Готовъ былъ не только простить, даже благодарить Тиблена за сюрпризъ. Но тогда этотъ сюрпризъ просто ошеломилъ меня. Опять скитальчество! Курочкинъ возобновилъ свои настоянія, да и самъ я уже съ нѣкоторою завистью поглядывалъ на книжки „Отечественныхъ Записокъ", завоевывавшихъ все больше и больше симпатій въ обществѣ, да и во мнѣ самомъ. Однако, мысль еще все упрямилась. Отдѣлавшись опять отъ Курочкина обѣщаніемъ писать въ его библіографическомъ отдѣлѣ, я попробовалъ работать въ „Недѣлѣ", но тамъ что-то очень скоро не поладилось, не помню уже почему. Кажется, меня задѣло за живое какое-то замѣчаніе П. Ѳ. Конради, который очень мало понималъ въ дѣлѣ литературы и, будучи практическимъ врачемъ по профессіи, попалъ въ редакторы случайно, просто по знакомству съ издателемъ, Генкелемъ. Пошелъ я къ Курочкину сдаваться. Я могъ предложить „Отечественнымъ Запискамъ" остатки отъ крушенія „Современнаго Обозрѣнія": „Борьбу" и статью о Кельсіевѣ, первоначально написанную въ видѣ одного изъ „Писемъ о русской интеллигенціи". Курочкинъ обѣщалъ поговорить съ Некрасовымъ, но съ своей стороны, какъ личное свое мнѣніе, выразилъ, что писать романы совсѣмъ не мое дѣло. Мнѣ показалось, что онъ въ этотъ разъ былъ со мной холоднѣе обыкновеннаго. Можетъ быть, мнѣ это именно только показалось, потому что собственная моя совѣсть могла подсказывать Курочкину укорительную мысль: „Что?! брыкался, брыкался да, и сдался?!"

Digitized by Google

Мнѣ помнится, что этотъ день моей сдачи былъ и днемъ моей первой встрѣчи съ Гл. И. Успенскимъ. Я уходилъ отъ Курочкина. На лѣстницѣ, этажемъ ниже, стоялъ у дверей молодой человѣкъ съ неправильнымъ, но чрезвычайно оригинальнымъ лицомъ, на которомъ вниманіе не могло не остановиться. Къ удивленію моему, молодой человѣкъ обратился ко мнѣ съ вопросомъ: „Вы Михайловскій?"—„Да."—„Я Успенскій. Зайдемте ко мнѣ, я вотъ тутъ живу". Оказалось, что мы стоимъ какъ разъ у дверей квартиры Успенскаго. Онъ меня зналъ по наслышкѣ отъ Курочкина и отъ другихъ, я его зналъ, какъ автора „Нравовъ Растеряевой улицы" въ „Современникѣ" и разсказовъ „Будка" и „Остановка", только что напечатанныхъ въ 1868 г. въ „Отечественныхъ Запискахъ". По понятнымъ причинамъ, мнѣ не придется распространяться въ своихъ воспоминаніяхъ о Гл. И. Успенскомъ. Но именно поэтому мнѣ и хочется помянуть наше первое знакомство. Онъ былъ тогда холостъ и жилъ вполнѣ необыкновенно. Квартира его состояла изъ одной комнаты и кухни. Въ кухнѣ, которая, разумѣется, никогда не исполняла своего спеціальнаго назначенія, онъ устроилъ себѣ спальню, а комната изображала собою кабинетъ, салонъ, пріемную и все прочее. Прислуги не было. Разная хозяйственная утварь если и была, то въ весьма незначительномъ количествѣ. За-то была половая щетка, и когда нуженъ былъ самоваръ или что нибудь въ этомъ родѣ, Глѣбъ Ивановичъ стучалъ этою щеткою въ потолокъ. Это былъ условный знакъ, по которому изъ квартиры Курочкина являлась его кухарка, хорошо извѣстная многимъ писателямъ, ворчливая, но добродушная, иконописнаго вида старуха, Аксинья Васильевна. Кухня-спальня отоплялась плитой, а въ салонѣ было какое-то особенное отопленіе, безъ топки извнутри комнаты и требовавшее аккуратнаго открыванія и закрыванія какихъ-то душниковъ или заслонокъ. А такъ какъ хозяинъ не отличался аккуратностью, то въ салонѣ было очень сыро и скверно. Это не мѣшало хозяину блистать заразительнымъ весельемъ и неподражаемымъ мастерствомъ разсказовъ...

Не знаю, что говорилъ обо мнѣ Курочкинъ Некрасову, но, должно быть, что-нибудь очень лестное. Сужу по тому, что мою „Борьбу" не просто взяли для прочтенія, а предложили мнѣ прочитать ее самому въ присутствіи всей редакціи. Такъ обы-

Digitized by Google

кновенно не дѣлается, и я былъ сконфуженъ. Конфузъ мой достигъ высшаго предѣла, когда я въ назначенный день и часъ пріѣхалъ вмѣстѣ съ Курочкинымъ въ редакцію „Отечественныхъ Записокъ“ и увидалъ тамъ Некрасова, Салтыкова, Елисеева и, помнится, еще многихъ. Какъ будто и А. М. Скабичевскій тутъ былъ, и красивое, точно точеное, но, какъ маска, мертвенное лицо Слѣпцова помнится. Но въ этомъ я не увѣренъ. Внѣшнею обходительностью редакція „Отечественныхъ Записокъ“ никогда не отличалась, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда по существу была вполнѣ доброжелательна. Въ данномъ-же случаѣ смущеніе мое было тѣмъ сильнѣе, что, когда мы усѣлись за большой столъ, покрытый зеленымъ сукномъ, возлѣ меня оказался Салтыковъ и сталъ смотрѣть въ тетрадь, по которой я читалъ, своими якобы суровыми, слегка выпученными глазами, время отъ времени покряхтывая громкимъ басомъ: э—гм! Какъ близки и понятны стали мнѣ потомъ эти якобы суровые глаза и какъ они меня смущали тогда! Между прочимъ, дойдя до одной главы, я почему-то вдругъ тутъ-же сообразилъ, что она неудачна и требуетъ такихъ-то и такихъ-то передѣлокъ. Я хотѣлъ ее пропустить и это было тѣмъ удобнѣе, что она была вводная. Я уже перевернулъ двѣ-три страницы, ища слѣдующей главы, но Салтыковъ меня остановилъ: „Что-же вы пропускаете?“—„Да тутъ передѣлать надо“.—„Нѣтъ, ужъ читайте все подрядъ!“

Чтеніе кончилось. Прочиталъ я только первую часть, такъ какъ изъ остального были лишь наброски, и я даже не захватилъ ихъ съ собой. Наступило молчаніе. Прервалъ его Салтыковъ сердитымъ басомъ: „Надо кончать! А то что-же такъ-то, безъ хвоста!“ Некрасовъ сказалъ то-же самое, но гораздо любезнѣе. Елисеевъ сидѣлъ молча, насупившись, поглаживая правою рукой лѣвый усъ и, повидимому, совсѣмъ о моей „Борьбѣ“ не думая. Курочкинъ отвелъ Некрасова въ сторону и что-то прошепталъ ему, послѣ чего Некрасовъ подошелъ ко мнѣ съ вопросомъ, не нужно-ли мнѣ денегъ. Деньги были очень нужны, но я сконфузился и отказался. Выходя вмѣстѣ со мной изъ редакціи, Курочкинъ меня очень бранилъ за этотъ отказъ, а о романѣ выразился такъ: „Бойко написано, бойко прочитано, впечатлѣніе получилось недурное, а, въ сущности, бросьте-ка вы этотъ романъ, право, не ваше дѣло!“ Я и самъ въ эту именно минуту почувствовалъ, что надо бросить, и что это не мое дѣло.

Digitized by Google

Нѣсколько позже, нуждаясь въ беллетристическомъ матеріалѣ, Некрасовъ напомнилъ мнѣ о романѣ, но я отвѣтилъ, что рѣшительно не могу его кончить, не пишется. Онъ просилъ меня, по крайней мѣрѣ, выдѣлить изъ „Борьбы“ одинъ эпизодъ,—онъ указывалъ, какой именно,—и обработать его въ разсказъ, но я и этого не могъ сдѣлать, будучи увлеченъ совсѣмъ другими работами.

Несмотря на всѣ предыдущія мытарства, несмотря на только что пережитую бѣду съ „Современнымъ Обозрѣніемъ“ и неудачную пробу съ „Недѣлей“, несмотря, наконецъ, на то, что я въ самый вечеръ торжественнаго чтенія „Борьбы“ рѣшилъ, что кончать ее не буду,—мнѣ именно въ этотъ же вечеръ стало ясно что я дѣйствительно у пристани. Конечно, великое дѣло молодость, легко оправляющаяся отъ погромовъ и легко окрыляемая надеждой. Но на этотъ разъ дѣло было, я полагаю, не въ одной молодости. Я въ первый разъ подошелъ къ вершинамъ русской литературы, настоящимъ, несомнѣннымъ, общепризнаннымъ. Бурная жизнь Некрасова создала ему много недоброжелателей. Литературная и въ особенности редакторская его дѣятельность тоже много этому способствовала. Но какъ-бы далеко ни шло въ нѣкоторыхъ сферахъ отрицаніе не только личныхъ достоинствъ Некрасова, а и достоинствъ его поэзіи, перстъ исторіи уже давно отмѣтилъ его, какъ достояніе даже отдаленнаго будущаго, а въ настоящемъ вся грамотная Россія зачитывалась его стихами. Салтыковъ также давно занималъ положеніе перваго въ своемъ родѣ человѣка. Елисеевъ былъ неизвѣстенъ въ большой публикѣ, но въ литературныхъ кружкахъ его цѣнили очень высоко, а мы, тогдашняя молодежь, не зная его лично, хорошо знали его „Внутреннія обозрѣнія“ въ „Современникѣ“. А изъ-за этихъ трехъ выглядывали еще образы Добролюбова, Чернышевскаго, Бѣлинскаго, какъ-бы передавшихъ имъ свой авторитетъ. Далѣе, всѣ трое, независимо отъ своихъ собственно литературныхъ талантовъ, были опытные и горячо преданные своему дѣлу журналисты, убѣжденные въ возвышенности задачъ журналистики. Немудрено, что отъ этихъ людей и отъ руководимаго ими дѣла вѣяло спокойною, сознающею себя силой. Примыкая къ нимъ, вы чувствовали, что вступаете на какую-то, хорошую или худую,—это какъ кто посмотритъ, но во всякомъ случаѣ прочную, смѣю сказать, историческую дорогу. Эта дорога, съ одной сто-

Digitized by Google

роны, уходила въ даль прошедшаго, гдѣ была пробита не однимъ поколѣніемъ тружениковъ и страстотерпцевъ мысли, а съ другой—разстилалась въ перспективу будущаго. Велики и ярки были таланты Салтыкова и Некрасова, крупную литературную силу представлялъ собою и Елисеевъ, но ихъ личныя силы удвоивались тѣмъ историческимъ путемъ, на которомъ они стояли. Отнюдь не связанныя преданіемъ въ томъ смыслѣ, чтобы не смѣть сдѣлать ни единаго шага за свой собственный страхъ и счетъ, они, кромѣ силы личнаго убѣжденія, еще въ своихъ связяхъ съ прошлымъ черпали увѣренность въ правотѣ своего дѣла. Чѣмъ глубже коренится идея въ прошломъ, тѣмъ спокойнѣе выноситъ она всякія бури и невзгоды, все равно какъ дерево съ глубоко сидящими корнями. Спокойная, увѣренная въ себѣ сила чувствовалась во всемъ обиходѣ редакціи „Отечественныхъ Записокъ“ и давала себя знать при первомъ, даже самомъ поверхностномъ сближеніи съ нею. Я разумѣю, конечно, не спокойствіе личныхъ характеровъ. Изо всѣхъ трехъ ровно спокоенъ былъ только Елиссеевъ. Некрасовъ былъ скорѣе замкнутъ и скрытенъ, чѣмъ спокоенъ, и я разскажу ниже случай, когда онъ былъ совсѣмъ выбитъ изъ сѣдла. А Салтыковъ былъ весь нервы и постоянное волненіе. Но всѣ эти индивидуальныя особенности ничѣмъ не отражались на общемъ литературномъ дѣлѣ, которое стояло не на темпераментахъ и характерахъ, а на убѣжденіяхъ. Эти-то убѣжденія, прочныя и сами по себѣ, еще упрочивались сознаніемъ преемственной связи съ рядомъ предшествовавшихъ работниковъ.

Меня всегда удивляли и, признаюсь, сердили тѣ странные люди, которые время отъ времени выскакиваютъ въ литературѣ съ „новыми словами“, точно балаганный Петрушка изъ-за ширмы: выскочитъ, выкрикнетъ и опять за ширмы впредь до новѣйшаго слова. Конечно, новыя слова необходимы. Но, во-первыхъ, они говорятся гораздо рѣже, чѣмъ думаютъ люди съ легкою мыслью и легкимъ сердцемъ; во-вторыхъ, люди съ легкой мыслью и легкимъ сердцемъ для провозглашенія ихъ отнюдь не годятся; въ-третьихъ, наконецъ, только то новое слово значительно и прочно, которое не отрѣзываетъ себя отъ прошлаго. Въ наукѣ, въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда дѣйствительно говорится новое слово, одна изъ задачъ авторовъ новаго слова состоитъ въ томъ, чтобы примкнуть къ одному изъ существующихъ уже теченій,

Digitized by Google

найти себѣ опору и оправданіе въ цѣломъ рядѣ предшествовавшихъ опытовъ, наблюденій, выводовъ. При этомъ о *новомъ* словѣ собственно даже не думаютъ, оно является само собой. Иначе и быть не можетъ, потому что люди науки обращаются, прежде всего, къ людямъ науки-же, и спеціалисты все равно дознаютъ мѣсто новаго слова въ литературѣ предмета и опредѣлятъ цѣну его. Въ публицистикѣ, критикѣ и т. п. отросляхъ словесности, имѣющихъ дѣло непосредственно съ массой читателей, такого неукоснительнаго контрольнаго аппарата нѣтъ. Поэтому выходитъ, напримѣръ, слѣдующее. Среди множества курьезовъ, вычитанныхъ мною въ „Литературныхъ замѣткахъ“ г. Волынскаго въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ“, есть такой: „различныя письма одного и того-же корреспондента писаны не въ одномъ и томъ-же стилѣ—*гдѣ мягкимъ гусинымъ перомъ, гдѣ нѣсколько развязнымъ, размашистымъ языкомъ*“. Конечно, lapsus'ы возможны всякіе, но я могъ-бы привести множество подобныхъ удивительныхъ изреченій г. Волынскаго, только нѣтъ охоты, да и надобности возиться. Вы видите, что этому человѣку, хотя-бы только для того, чтобы стать удобопонятнымъ, чтобы стать писателемъ, надо прежде про себя, въ тиши своего кабинета рѣшить, чѣмъ ему лучше писать—гусинымъ перомъ или размашистымъ языкомъ. А онъ уже озабоченъ открытіемъ „новой мозговой линіи“. Одна „Недѣля“ столько на своемъ вѣку наоткрыла этихъ новыхъ мозговыхъ линій, что и не перечесть. Этотъ типъ открывателей новыхъ мозговыхъ линій очень любопытенъ; въ свое время я съ нѣкоторою подробностью войду въ его психологію. Типъ этотъ существуетъ не только у насъ, а и въ Европѣ, но тамъ онъ не можетъ принести большого вреда, потому что тамъ лишь въ очень рѣдкихъ случаяхъ постороннія обстоятельства обрываютъ спокойный ходъ преемственнаго развитія идей и, слѣдовательно, шарлатанскія „новыя слова“ не встрѣчаютъ, по крайней мѣрѣ, поддержки во внѣшнихъ условіяхъ жизни.

Возвращаясь къ „Отечественнымъ Запискамъ“, скажу, что, за вычетомъ горькихъ сомнѣній о личномъ характерѣ Некрасова, я былъ счастливъ примкнуть къ живымъ преданіямъ дѣйствительно новаго слова, сказаннаго самою жизнью въ эпоху пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ.

Такъ какъ „Борьбу“ свою я сразу вполнѣ и окончательно забросилъ, то первоначально мнѣ приходилось имѣть дѣло, глав-

Digitized by Google

нымъ образомъ, съ Елисеевымъ, который въ беллетристическій отдѣлъ не мѣшался, но за то тѣмъ большее вліяніе имѣлъ на прочіе отдѣлы. Да и впослѣдствіи я ближе, роднѣе всѣхъ въ редакціи чувствовалъ себя именно съ нимъ. Странно сказать, но изъ всѣхъ трехъ стариковъ редакціи я былъ, что называется, „знакомъ“ только съ Елисеевымъ, и это за все время существованія „Отечественныхъ Записокъ“. Приходилось, разумѣется, очень часто видаться и съ Некрасовымъ, и съ Салтыковымъ, но, за весьма рѣдкими исключеніями, это были свиданія по дѣлу. Складъ жизни Некрасова такъ-же рѣзко отличался отъ склада жизни Салтыкова, какъ и сами они рѣзко разнились другъ отъ друга. Но для меня и съ тѣмъ, и съ другимъ одинаково невозможны были товарищескія, пріятельскія отношенія, внѣшнимъ образомъ выражающіяся тѣмъ, что люди другъ къ другу ходятъ чайку попить, поболтать и т. п. Впослѣдствіи, уже по закрытіи „Отечественыхъ Записокъ“, Салтыковъ писалъ мнѣ однажды: „Вы были для меня однимъ изъ симпатичнѣйшихъ и любимѣйшихъ людей, хотя разность лѣтъ и моя болѣзнь препятствовали мнѣ ближе сойтись съ вами“. Но Михаилъ Евграфовичъ ошибался,—не въ разности лѣтъ и не въ его болѣзни дѣло было, по крайней мѣрѣ, не только въ нихъ. Елисеевъ былъ даже старше его и тоже человѣкъ хворый, но это не мѣшало намъ быть въ короткихъ пріятельскихъ отношеніяхъ. Глубоко уважая и любя Салтыкова не только какъ литературнаго дѣятеля, но и какъ человѣка; будучи очень близокъ съ нимъ въ сферѣ идей и общественныхъ симпатій и антипатій, я, однако, даже и представить себѣ не могу, какъ-бы мы съ нимъ другъ къ другу, напримѣръ, „въ гости“ ходили. Слишкомъ ужъ велика разница была въ нашихъ привычкахъ, обстановкѣ, во всемъ складѣ жизни. Безъ дѣла я бывалъ у Салтыкова только во время его болѣзни. Еще меньше житейскихъ точекъ соприкосновенія было у меня съ Некрасовымъ, который жилъ бариномъ, имѣлъ обширный кругъ разнообразныхъ и ни сколько для меня не занимательныхъ знакомствъ, шибко игралъ въ карты, устраивалъ себѣ грандіозныя охотничьи предпріятія, а я, не говоря о прочемъ, не беру картъ въ руки и терпѣть не могу охоты. Съ Елисеевымъ-же у меня было много общаго въ привычкахъ и образѣ жизни, да и просто какъ-то по душѣ мы другъ другу пришлись. Въ концѣ 1873 или въ началѣ 1874 г. одинъ безконечно-прискорб-

Digitized by Google

ный для меня случай чисто-приватнаго характера и, притомъ, не имѣвшій никакого отношенія лично къ Елисееву, оборвалъ нашу дружескую близость. Мы стали встрѣчаться только въ редакціонные дни. Но на общемъ дѣлѣ это отозвалось такъ-же мало, какъ и отсутствіе личной близости съ Некрасовымъ и Салтыковымъ. Упомянутый случай оборвалъ нашу дружбу, такъ сказать, формально, нисколько не повліявъ на наши взаимныя чувства, но въ послѣдніе годы, за отсутствіемъ „Отечественныхъ Записокъ", и, слѣдовательно, сборнаго пункта, мы встрѣчались уже только случайно, у больного Салтыкова или на улицѣ. Въ 1890-мъ году, возмущенный удивительною затѣей отпраздновать юбилей свободы русской печати, Елисеевъ, уже очень слабый, попросилъ меня зайти къ нему поговорить объ этомъ дѣлѣ, и я пришелъ. Затѣмъ я увидалъ его уже покойникомъ. Но объ Елисеевѣ потомъ. Теперь начну съ Некрасова.

Недавно въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ" я прочиталъ замѣтку подъ громкимъ заглавіемъ: „Развѣнчанный Некрасовъ". Вотъ она:

„Извѣстно, что роль „мученика" была одною изъ благороднѣйшихъ ролей въ либеральной комедіи, вошедшей въ моду съ начала шестидесятыхъ годовъ. Провинціальные „pauvres diables", молодые, восторженные, наивные, увлекающіеся, съ сердечнымъ трепетомъ слушали столичныхъ „апостоловъ", въ предположеніи, что они за меньшую братію полагаютъ душу свою. Провинціальные молодые энтузіасты рисковали всѣмъ изъ-за этой проповѣди, предполагая, что все это святая истина, что сами проповѣдники суть апостолы, люди идеи, а не наживы. И какъ стадо овецъ, молодежь шла на этотъ призывъ, не щадя ничего.

„Но время раскрываетъ все. Любимымъ апостоломъ либерализма и до сихъ поръ считается „нашъ геніальный поэтъ" Н. Некрасовъ. Для поддержанія его престижа, печать упорно поддерживала мнѣніе, будто Некрасовъ былъ „мученикъ идеи", будто онъ началъ свою карьеру въ трущобахъ, и потому именно радѣлъ о меньшей братіи, что лично испыталъ всѣ стадіи нужды и нищеты. Никто не смѣлъ и подумать о томъ, что „пѣть" о нуждахъ меньшей братіи было... просто *выгодно*".

Далѣе авторъ замѣтки приводитъ выдержку изъ статьи г. Глинки

Digitized by Google

въ „Историческомъ Вѣстникѣ“. Г. Глинка, помянувъ извѣстныя свѣдѣнія о бѣдности или даже прямо нищетѣ Некрасова въ ранней молодости, говоритъ: „не рѣшаясь опровергать такую яркую картину, я хочу разсказать лишь о моемъ случайномъ знакомствѣ съ Некрасовымъ“. Оказывается, что Некрасовъ бывалъ у отца г. Глинки, потомъ жилъ нѣкоторое время съ его братомъ и „въ это время,—говоритъ г. Глинка,—могу удостовѣрить, ни въ чемъ особенно не нуждался“. Какъ видите, сообщеніе г. Глинки ни малѣйше не опровергаетъ общеизвѣстныхъ фактовъ крайней бѣдности юнаго Некрасова. Г. Глинка впервые увидалъ Некрасова у своего отца, который, въ свою очередь, познакомился съ поэтомъ у Полевого. Что было съ Некрасовымъ до этой встрѣчи, г. Глинка не знаетъ и потому весьма основательно „не рѣшается опровергать яркую картину“ нищеты Некрасова, имѣющуюся во всѣхъ біографіяхъ поэта. Но „Московскія Вѣдомости“ непостижимымъ образомъ усматриваютъ въ разсказѣ г. Глинки какое-то опроверженіе, разоблаченіе, даже „развѣнчаніе“, и чему-то очень радуются. Я сейчасъ вернусь къ этой радости, а теперь обращу вниманіе читателей на печатающіяся въ газетѣ „Русская Жизнь“ воспоминанія В. А. Панаева, человѣка очень близкаго Некрасову. Г. Панаевъ встрѣтился въ первый разъ съ Некрасовымъ у нѣкоего художника Даненберга. Даненбергъ и Некрасовъ жили въ одной комнатѣ, питались щами, узнавали время по солнцу, имѣли одни общіе сапоги и одно общее верхнее платье, такъ что выходили со двора поочередно. Но все это было еще роскошью въ сравненіи съ тою нищетой, отъ которой избавилъ Некрасова Даненбергъ. Передъ этимъ будущій знаменитый поэтъ жилъ въ подвальной комнатѣ съ окнами на улицу и долженъ былъ писать, лежа на полу, такъ что проходившіе по троттуару часто останавливались посмотрѣть на оригинально примостившагося юнаго писателя. Все имущество его состояло изъ коврика и подушки, даже верхняго платья не было, питался онъ чернымъ хлѣбомъ и рисковалъ быть выгнаннымъ на улицу.

Ничего этого не было, по мнѣнію „Московскихъ Вѣдомостей“, и именно потому не было, что г. Глинка видѣлъ Некрасова въ другое время въ другомъ положеніи! А такъ какъ ничего этого не было, то Некрасовъ „пѣлъ о нуждахъ меньшей братіи“ не по внутреннему убѣжденію, а потому, что это было „выгодно“! Логика изумительная, выводы артистически лишенные всякаго смы-

Digitized by Google

сла... Для полноты надо замѣтить, что г. Глинка приводитъ слѣдующее, по мнѣнію „Московскихъ Вѣдомостей“, „весьма характерное свѣдѣніе изъ біографіи знаменитаго поэта“: „Помню еще, что въ 1848 г. въ литературныхъ кружкахъ *говорили, будто* Некрасовъ скупалъ оставшіеся экземпляры сочиненій Гоголя, стоившіе по 8 руб. за экземпляръ, и продавалъ ихъ по 25 руб.“ „Московскія Вѣдомости“ радостно спрашиваютъ по этому поводу: „*Не очевидно-ли* отсюда, насколько сильно Некрасовъ радѣлъ о просвѣщеніи меньшей братіи, изъ-за „невѣжества“ которой онъ пролилъ столько крокодиловыхъ слезъ?!“ Ну, еще-бы не очевидно! Если въ 1848 г. „говорили, будто“, то вполнѣ очевидно, что это „весьма характерное свѣдѣніе изъ біографіи“. Счастливые люди эти господа „Московскихъ Вѣдомостей“. Они въ Аркадіи родились и посейчасъ живутъ въ ней безвыѣздно, невинно играя на свирѣли, слушая соловьиныя пѣсни и украшая бѣленькихъ барашковъ розовенькими ленточками. Имъ не знакомы ни „зависть тайная“, ни „злоба открытая“, ни „друзей клевета ядовитая“. Въ невинности своей они вѣрятъ всему, когда имъ „говорятъ, будто“, потому что если и про нихъ самихъ „говорятъ, будто“, то все это такъ и есть: бѣленькіе барашки, свирѣль, трели соловья... Такіе ангелочки! Если, однако, это идилическое незнакомство съ плодами древа познанія добра и зла украшаетъ ихъ добродѣтелью, то, съ другой стороны, лишаетъ здраваго смысла. Даже допуская достовѣрность сплетни о скупкѣ и перепродажѣ сочиненій Гоголя, только невинные жители Аркадіи могутъ приплести сюда „просвѣщеніе меньшей братіи“, потому что, вѣдь, и восьмирублевое изданіе Гоголя отнюдь не для невѣжественной меньшей братіи предназначалось. Но это безразлично для невинныхъ обитателей Аркадіи: имъ бы только наговорить на тему о „развѣнчанномъ Некрасовѣ“ побольше словъ, хотя-бы и вполнѣ безсмысленныхъ. Пробѣгая газетные столбцы, читатель не въ каждую замѣтку вчитывается и вдумывается. Отсутствіе какой-бы то ни было логической связи между посылками и выводами можетъ остаться незамѣченнымъ, а впечатлѣніе получилось: „развѣнчанный Некрасовъ“. По крайней мѣрѣ, на это разсчитываютъ добродѣтельные аркадскіе люди, хотя, къ счастью, результатъ этотъ не всегда ими достигается. Я очень прошу читателя, хотя-бы не ради Некрасова, а для образчика этого рода

Digitized by Google

литературныхъ упражненій, внимательно прочитать замѣтку „Развѣнчанный Некрасовъ“.

Въ то время, когда Некрасовъ бѣдствовалъ, его никто не зналъ, и, значитъ, никакимъ „апостоломъ“ онъ быть не могъ. А въ то время, когда тысячи и тысячи сердецъ откликались на его стихи, онъ былъ богатъ и никогда бѣднякомъ не прикидывался. Если впослѣдствіи Некрасовъ вспоминалъ о своей былой бѣдности и если говорили о ней его біографы, то „*мученикомъ* идеи“ ни самъ онъ, никто другой его не рисовалъ. Тѣмъ не менѣе, достовѣрно, что онъ началъ свою литературную карьеру въ нищетѣ, и весьма вѣроятно, что онъ отчасти „потому именно радѣлъ о меньшей братіи, что лично испыталъ всѣ стадіи нужды и нищеты“. Чтобы радѣть о меньшей братіи, нѣтъ никакой надобности непремѣнно самому проходить школу нищеты, — великодушныя идеи доступны и баловнямъ судьбы отъ рожденія,— но у Некрасова эти идеи сплелись съ личными впечатлѣніями нищеты, и это просто фактъ, который никто никогда не думалъ ставить ему въ заслугу. Гдѣ, отъ кого слышали эти сыны Аркадіи, что Некрасовъ голодалъ ради идеи? Голодалъ потому, что безъ работы сидѣлъ. Всѣ такъ и понимаютъ, такъ что съ этой стороны и повода для „развѣнчанія“ не было. Но выводить изъ этого заключеніе, что Некрасовъ „пѣлъ“ въ извѣстномъ тонѣ только потому, что это было „выгодно“, значитъ—мѣрять людей аршиномъ, можетъ быть, и очень употребительнымъ въ Аркадіи, но отнюдь не непреложнымъ. Это даже фактически ни съ чѣмъ несообразно, потому что въ сороковыхъ годахъ стать на ту дорогу, на которую сталъ Некрасовъ, было вовсе невыгодно. Но что до всего этого за дѣло сынамъ Аркадіи, когда вся ихъ задача состоитъ въ томъ, чтобы наскоро набросать какъ можно больше тѣней на Некрасова, и когда, ослѣпленные злобой, они готовы противорѣчить и самимъ себѣ, и несомнѣннымъ фактамъ! Потому что надо, наконецъ, правду сказать, нѣтъ болѣе злобныхъ людей, какъ эти добродѣтельные сыны Аркадіи. И знаете что?—это еще хорошо, если они руководятся въ данномъ случаѣ настоящею, искреннею злобой. Представьте себѣ человѣка, который когда-то получилъ отъ стиховъ Некрасова толчокъ въ извѣстную сторону и который потомъ, подъ давленіемъ жизни, искренно разочаровался въ золотыхъ снахъ своей молодости. Я могу себѣ представить, что при извѣстныхъ условіяхъ этотъ че-

Digitized by Google

ловѣкъ крайне враждебно относится къ своему бывшему кумиру и радъ сорвать злобу развѣнчаніемъ его. Это дѣло житейское. Очень, конечно, не хорошо, если человѣкъ при этомъ ослѣпляется злобой до забвенія предписаній здраваго смысла, логики и приличія. Очень скверно, но искренность злобнаго чувства, ничего не оправдывая, по крайней мѣрѣ, объясняетъ. Такого человѣка даже пожалѣть можно: бѣдный, молъ, бѣдный! до того озлобился, что ослѣпъ,—въ отворенную дверь свирѣпо ломится, грозно сжатымъ кулакомъ въ пустое мѣсто тычетъ, самъ себѣ ногу отдавилъ... Возможно еще болѣе некрасивое нравственное положеніе. Нѣкоторая часть нашей печати считаетъ себя представительницею и стражею „консерватизма". Ничего она не „консервируетъ", а, напротивъ, склонна очень многое, созданное жизнью и мыслью, разрушать. „Благонамѣренною" она также себя почитаетъ, тогда какъ намѣренія ея частью именно не благія, а прямо злыя, а частью состоятъ просто въ томъ, чтобы жить въ свое удовольствіе, независимо отъ какихъ-бы то ни было идей. Завтра выйдетъ новый фасонъ идей и она спокойно перекроитъ ихъ. Немудрено поэтому, что иногда она даже не воодушевляется злобой, а напускаетъ ее на себя, притворяется. Это ужъ самое послѣднее дѣло...

„Развѣнчать" Некрасова дѣло не хитрое. Для этого не требуется быть ни „консерваторомъ", ни злецомъ. Какъ человѣкъ, Некрасовъ давно развѣнчанъ, и такъ развѣнчанъ, что дѣтски-смѣшными кажутся попытки ухватиться за разсказъ г. Глинки о томъ, что въ такомъ-то году поэтъ ни въ чемъ не нуждался, а въ такомъ-то про него „говорили, будто". Я уже говорилъ о той тѣни, которая четверть вѣка тому назадъ пала на личность поэта и затуманила ее въ глазахъ самыхъ горячихъ поклонниковъ. И одна-ли она лежитъ пятномъ на его памяти! Но люди, сколько-нибудь вдумчивые, непохожіе на добродѣтельныхъ и невинныхъ сыновъ Аркадіи, не довольствуются простымъ развѣнчаніемъ. Не хитро его совершить, да не умно на немъ опочить. Уже вышеупомянутый „неизвѣстный другъ" писалъ Некрасову въ 1866 г.

Мнѣ говорятъ, что ты душой суровъ,
Что лишь въ словахъ твоихъ есть чувства пламень,
Что ты жестокъ, что стихъ твой весь любовь,
А сердце холодно, какъ камень!
Но отчего-жь весь міръ сильнѣй любить

Digitized by Google

Мнѣ хочется, стихи твои читая?
И въ нихъ обманъ, а не душа живая?
Не можетъ быть!

Да, не можетъ быть! Пустопорожніе волтижеры, съ легкостью перескакивающіе съ одного берега на другой, натурально должны мѣрять всѣхъ на свой аршинъ, ибо никакая другая мѣра вещей имъ недоступна. Но надо еще, кромѣ того, не имѣть ни малѣйшаго понятія о поэзіи, о процессѣ творчества, чтобы утверждать, что можно писать такіе стихи, какъ некрасовскіе, всю жизнь неискренно и ради выгоды. Такое утвержденіе могутъ подсказать только убогая мысль и пустое сердце. Понятны еще всякія увлеченія въ жару полемики, но Некрасовъ умеръ безъ малаго пятнадцать лѣтъ назадъ, для него наступила исторія. Крайняя сложность богато одаренной „музы мести и печали“ слишкомъ очевидна, чтобы ее можно было характеризовать грубыми одноцвѣтными чертами. И вотъ почему въ то самое время, когда запоздалые старатели радостно розыскиваютъ разные вздорные и непровѣренные пустяки, якобы біографическаго характера, люди, чтущіе память поэта, не боятся разсказывать подлинныя и дѣйствительно мрачныя подробности его жизни.

Напомню для примѣра разсказанный въ воспоминаніяхъ г-жи Головачевой-Панаевой случай самоубійства Піотровскаго. Слишкомъ извѣстно, что Некрасовъ былъ страстный игрокъ. Какъ у всякаго игрока, у него были разныя суевѣрныя примѣты. Молодой сотрудникъ „Современника“ Піотровскій взялъ у него однажды впередъ, въ счетъ гонорара, 200 руб., и въ тотъ-же вечеръ Некрасовъ сильно проигрался. Черезъ недѣлю Піотровскій прислалъ ему письмо съ новою просьбой о 300 руб., объясняя при этомъ, что если онъ денегъ не получитъ, то пуститъ себѣ пулю въ лобъ. Некрасовъ долженъ былъ въ этотъ вечеръ опять играть и, памятуя, что послѣ предъидущей выдачи Піотровскому онъ проигрался, что и раньше были такія-же совпаденія, отказалъ. А Піотровскій дѣйствительно въ тотъ-же день застрѣлился. Можно себѣ представить душевное состояніе Некрасова... Но г-жа Головачева-Панаева одна знала истинную причину самоубійства Піотровскаго, остальные знакомые и сотрудники приписали волненіе Некрасова простой нервности. Г-жа Головачева, съ уваженіемъ относящаяся къ памяти поэта, могла-бы и сейчасъ не включать этого ужаснаго эпизода въ свои воспоминанія.

Digitized by Google

Но она не сочла нужнымъ скрывать его, именно потому, что крупная и уже историческая фигура Некрасова не подлежитъ упрощенной операціи развѣнчанія. Съ формальной точки зрѣнія Некрасовъ отнюдь не былъ виноватъ въ самоубійствѣ Піотровскаго. Выдавать Піотровскому или кому другому деньги по всякому требованію онъ вовсе не былъ обязанъ, да и не имѣлъ-бы возможности. Но всѣ подобныя, вполнѣ здравыя разсужденія не могли, разумѣется, заглушить голоса ущемленной совѣсти въ самомъ Некрасовѣ: какъ-никакъ, а изъ-за него погибла молодая, богатая надеждами жизнь. Да и намъ, третьимъ лицамъ, невольнымъ зрителямъ этой драмы, Некрасовъ не въ ореолѣ рисуется. Не въ томъ дѣло, что онъ не исполнилъ просьбы Піотровскаго,— послѣдовавшее за тѣмъ несчастіе могло быть именно только несчастною случайностью и для Некрасова, все равно какъ если-бы онъ, напримѣръ, нечаянно застрѣлилъ Піотровскаго на охотѣ: вѣчно преслѣдовала-бы его тѣнь убитаго, однако, у насъ не повернулся-бы языкъ осудить его. Въ данномъ случаѣ память Некрасова омрачается не самымъ фактомъ, а подробностями: Піотровскій погибъ собственно изъ-за непригляднoй игрецкой страсти, ослѣпляющей разумъ, подавляющей волю и ставящей игрока въ рядъ рискованнѣйшихъ положеній. Въ жизни Некрасова эта несчастная страсть играла огромную роль. Онъ много проигрывалъ, много выигрывалъ, а, главное, много душевныхъ силъ тратилъ на это странное, но, должно быть, очень увлекательное дѣло. Я помню, какъ однажды въ редакціонный день мы собрались, по обыкновенію, часу во второмъ въ квартирѣ Некрасова, а хозяинъ все не выходилъ. Я думалъ, что онъ спитъ,—вставалъ онъ вообще поздно. Но вотъ является Некрасовъ не изъ внутреннихъ комнатъ, а изъ входной двери, съ шапкой въ рукахъ, свѣжій, веселый. „Откуда это, Николай Алексѣевичъ?“ Оказалось, что Николай Алексѣевичъ на этотъ разъ даже не ложился, а всю ночь и все утро игралъ въ карты и былъ въ выигрышѣ. При проигрышѣ онъ становился угрюмъ и мраченъ. Обидно было знать все это, обидно и сейчасъ вспомнить. Тѣмъ не менѣе, я вполнѣ увѣренъ, что собственно жадности къ деньгамъ тутъ не было. Разумѣется, кто играетъ, тотъ хочетъ выиграть. И когда Некрасовъ еще только выбивался изъ бѣдности, выигрышъ, по всей вѣроятности, составлялъ его главную цѣль при игрѣ. Но постепенно этотъ моментъ такъ осложнялся жаждою спеціаль-

Digitized by Google

ныхъ волненій, даваемыхъ игрой, что подъ конецъ и совсѣмъ въ нихъ утонулъ. Извѣстно пророчество Бѣлинскаго: „Некрасовъ наживетъ себѣ капиталецъ“. Онъ его дѣйствительно нажилъ, а съ другой стороны, пожалуй, что и не нажилъ. Жилъ онъ въ то время, когда я съ нимъ познакомился, бариномъ, ни въ чемъ себѣ не отказывая, но послѣ его смерти денегъ не оказалось совсѣмъ. Я самъ читалъ его завѣщаніе, въ которомъ прямо говорилось, что никакихъ денежныхъ капиталовъ у него нѣтъ, а есть такое-то и такое-то движимое и недвижимое имущество, которое такъ то и такъ-то распредѣляется между наслѣдниками. Знаю я также, что незадолго до смерти онъ взялъ на прожитіе и лѣченіе изъ конторы „Отечественныхъ Записокъ“ 1000 руб. впередъ (деньги эти его сестра, благоговѣйно чтившая его память, потомъ возвратила въ контору). Вдову его я видалъ еще довольно долго спустя послѣ его смерти и знаю, что на оставшіяся у нея средства она могла жить лишь очень скромно, хотя, конечно, не нуждаясь въ помощи литературнаго фонда.

Что-же касается часто повторяемаго пустопорожними, а иногда просто презрѣнными людьми мнѣнія, будто Некрасовъ ради выгоды писалъ и издавалъ журналъ въ извѣстномъ тонѣ, то это мнѣніе не имѣетъ никакого смысла. Поистинѣ „не торговалъ онъ лирой“. Некрасовъ былъ, прежде всего, необыкновенно уменъ. Для меня нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что на любомъ поприщѣ, которое онъ избралъ-бы для себя, онъ былъ-бы однимъ изъ первыхъ людей, уже въ силу своего ума. Онъ былъ-бы, если-бы захотѣлъ, блестящимъ генераломъ, выдающимся ученымъ, богатѣйшимъ купцомъ. Это мое личное мнѣніе, которое, я думаю, однако, не удивитъ никого изъ знавшихъ Некрасова. Онъ выбралъ литературу, потому что любилъ ее; въ литературѣ онъ выбралъ извѣстное направленіе, потому что вѣрилъ въ него. Нищета и униженія, претерпѣнныя имъ въ ранней молодости, озлобили, очерствили его. Какъ онъ самъ говорилъ, онъ „поклялся не умереть на чердакѣ“ и, можетъ быть, не разъ въ жизни прибѣгалъ къ средствамъ, къ которымъ позволительно относиться съ брезгливостью. Надо, однако, сказать, что ничего такого ужаснаго, что рѣзко выдѣлялось-бы на общемъ фонѣ нашихъ тогдашнихъ нравовъ, онъ не совершалъ, онъ только не отказывался выть съ волками по-волчьи. И какъ-бы ни пригнула его судьба къ землѣ, въ немъ никогда не исчезали желаніе и способность

Digitized by Google

искать глазами небо. Благодаря своей практической ловкости, благодаря умѣнью цѣнить даровитыхъ людей и вѣрить имъ, онъ поставилъ „Современникъ“ и потомъ „Отечественныя Записки“ блестяще. Но, по крайней мѣрѣ, въ извѣстной степени онъ могъ-бы сдѣлать то-же самое и съ журналомъ совершенно другого направленія. Хорошо-же шелъ, напримѣръ, „Голосъ“, дополнившій своими доходами то огромное наслѣдство, которое осталось послѣ Краевскаго. Однако, Некрасовъ издавалъ не „Голосъ“, а „Отечественныя Записки“. Барыши-же его съ „Отечественныхъ Записокъ“ были относительно вовсе не велики. Во-первыхъ, онъ платилъ значительную и съ увеличеніемъ числа подписчиковъ все увеличивавшуюся аренду Краевскому. Во-вторыхъ, онъ самъ добровольно предложилъ своимъ ближайшимъ сотрудникамъ и соредакторамъ, Салтыкову и Елисееву, долю участія въ доходахъ изданія, на равныхъ съ нимъ правахъ. Это случай небывалый въ русской журналистикѣ, и никто, можетъ быть, даже не замѣтилъ-бы, если-бы Некрасовъ, подобно другимъ издателямъ, клалъ весь доходъ полностью въ свой карманъ. Тѣмъ болѣе, что онъ всегда могъ-бы сослаться на положеніе „Отечественныхъ Записокъ“: ихъ бюджетъ и безъ того былъ обремененъ арендною платой, которая не лежала на другихъ журналахъ и газетахъ.

Я, однако, отнюдь не думаю обѣлять или возвеличивать Некрасова, какъ человѣка. Я хочу лишь подчеркнуть сложность его натуры, не поддающейся слишкомъ ужъ простому „развѣнчанію“.

Въ книжкѣ г. Андреевскаго „Литературныя чтенія“ я нашелъ о Некрасовѣ слѣдующія умныя слова, съ которыми отнюдь не могу вполнѣ согласиться, но которыя хорошо намѣчаютъ сложность натуры поэта. Г. Андреевскій не весьма симпатично относится къ самому типу некрасовской поэзіи и находитъ въ ней много грубаго и дѣланнаго. Но онъ не аркадскій сынъ. Онъ говоритъ:

„Видна-ли любовь Некрасова къ народу въ его произведеніяхъ? На этотъ вопросъ не можетъ быть иного отвѣта, кромѣ утвердительнаго. Эта любовь,—не только къ народу, но и ко всѣмъ обездоленнымъ и голодающимъ,—течетъ у Некрасова лавою по всѣмъ его произведеніямъ. Она имѣетъ всѣ оттѣнки: раздирающей душу скорби („Морозъ“), смѣлой защиты передъ сильными міра („Парадный подъѣздъ“), доброй ласки отца („Крестьянскій

Digitized by Google

янскія дѣти"), горячей защиты публициста („Плачъ дѣтей", „Желѣзная дорога"), вдохновеннаго увлеченія поэта („Коробейники", „Зеленый шумъ") и т. д., и т. д. Какой-же источникъ этой любви? Намъ кажется, здѣсь вліяли два фактора: во-первыхъ, эпоха общей влюбленности въ крестьянскую массу; во-вторыхъ, событія въ личной жизни поэта... Проницательный Некрасовъ не заносился въ облака, но общее тяготѣніе къ народу, съ которымъ онъ бокъ о бокъ выстрадалъ голодъ, было ему на руку. Изъ жизни этого народа онъ сталъ брать темы для своихъ потрясающихъ картинъ. Онъ увидѣлъ свой успѣхъ; эта работа его увлекла. По натурѣ сдержанный и крутой, почти не отзывчивый на чувство прекраснаго, человѣкъ сильный и глубокій, но изуродованный и огорченный жизнью, Некрасовъ нуждался въ отмщеніи за обиды судьбы, и онъ полюбилъ мстить самодовольнымъ за несчастныхъ. Граница между искреннимъ и искусственнымъ у него потерялась. Часто онъ любилъ только „мечту свою", часто обливался слезами надъ „вымысломъ". Но онъ чувствовалъ себя хозяиномъ скорбящаго народнаго царства, этихъ необозримо богатыхъ владѣній для извлеченія изъ нихъ въ каждую минуту чего-нибудь ужасающаго для „сильныхъ міра". „Народъ безмолствовалъ", но это только придавало еще болѣе трагическій оттѣнокъ пѣснямъ Некрасова. Онъ увлекался своею миссіей, облагораживался въ ней, возвышался до голоса истиннаго гражданина, видѣлъ въ ней свою славу, свое искупленіе за какой-то грѣхъ, на который содержатся горькіе, сдержанные намеки въ его поэзіи. Въ теченіе многихъ лѣтъ на глазахъ цѣлой Россіи развертывался этотъ романъ Некрасова съ народомъ. Поэзія была уже не только въ томъ, что онъ писалъ, но въ самой его роли, въ этой исторіи нераздѣленной, болѣзненной любви Некрасова къ народу. Такъ что, когда онъ умеръ, то его, издавна уже избалованнаго богатствомъ, несмѣтная толпа хоронила со слезами, какъ страдальца за народъ и убогихъ".

Въ этихъ послѣднихъ словахъ заключается указаніе на чрезвычайно любопытную черту всей судьбы Некрасова. Стоустая молва и печатныя инсинуаціи давно уже довели до всеобщаго свѣдѣнія, что пѣвецъ скорбящихъ и обездоленныхъ—богатый человѣкъ, что муза мести и печали обставилась довольно комфортабельно. Никто не сомнѣвался въ томъ, что Некрасовъ не „мученикъ идеи" въ смыслѣ какихъ-нибудь матеріальныхъ лишеній,

Digitized by Google

хотя въ свое время и вынесъ горькую, унизительную нищету. И, однако, надъ гробомъ его оплакивали именно „страдальца за народъ и убогихъ“ и никакія усилія добродѣтельныхъ сыновъ Аркадіи не сотрутъ этого образа ни въ общемъ сознаніи, ни со страницъ исторіи русской литературы. Дѣло въ томъ, что мыслью Некрасовъ несомнѣнно искренно страдалъ за всѣхъ обездоленныхъ, за всѣхъ неправо униженныхъ и оскорбленныхъ, и именно въ силу этой искренности „весь міръ сильнѣй любить вамъ хочется, стихи его читая“. И если личная жизнь Некрасова не совпадала съ тономъ его произведеній, то пусть бросаютъ въ него за это камнями тѣ, кто чувствуетъ себя въ этомъ отношеніи вполнѣ безгрѣшнымъ. Это разъ. А, во-вторыхъ, никто лучше самого Некрасова не сознавалъ непригляднoсти этого разлада, и обстоятельство это вносило въ его душу новый источникъ страданій, воспѣтый имъ тоже такими стихами, что „имъ безъ волненья внимать невозможно“.

Обращаюсь къ личнымъ своимъ воспоминаніямъ.

Первою моею статьей въ „Отечественныхъ Запискахъ“ была „Жертва старой русской исторіи“, напечатанная въ декабрѣ 1868 года. Это была передѣлка приготовленнаго для іюльской книжки „Современнаго Обозрѣнія“ второго „Письма о русской интеллигенціи“. Рѣчь тутъ шла о Кельсіевѣ, который незадолго передъ тѣмъ вернулся въ Россію, выпустилъ двѣ книжки: „Пережитое и передуманное“ и „Галичина и Молдавія“ и въ нихъ съ необыкновенною, почти наивною развязностью отрекался отъ всего своего прошлаго. Положеніе Кельсіева, какъ и всякаго ренегата, было въ Петербургѣ незавидное. Въ кругу своихъ новыхъ единомышленниковъ онъ былъ еще совсѣмъ чужой и встрѣтилъ тамъ, вѣроятно, много для себя обиднаго подъ личиною любезности, а къ старымъ знакомымъ ему, конечно, лучше было-бы совсѣмъ не являться. Но былъ-ли онъ отъ природы безтактенъ или сбитъ съ толку новостью своего положенія, только онъ не воздержался отъ нѣкоторыхъ ненужныхъ визитовъ. Я сидѣлъ однажды у Н. С. Курочкина, когда къ нему пришелъ незнакомый мнѣ высокій, худой брюнетъ съ развязными и, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ-бы растерянными манерами. Замѣтивъ, при входѣ этого незнакомца, странное, недоумѣвающее выраженіе лица Ку-

Digitized by Google

рочкина и догадываясь о щекотливости предстоящей бесѣды между ними, я ушелъ въ третью комнату. Незнакомецъ сидѣлъ въ кабинетѣ, должно быть, съ полчаса. Мнѣ было видно, какъ онъ потомъ проходилъ въ переднюю. Онъ былъ красенъ, какъ ракъ. По дорогѣ онъ неловкимъ движеніемъ задѣлъ стулъ, уронилъ его и, поднимая, съ напряженною, неловкою улыбкой попробовалъ пошутить: „Александръ Македонскій былъ великій герой, но зачѣмъ-же стулья ломать?!“ Курочкинъ, тоже видимо взволнованный, объяснилъ мнѣ по уходѣ незнакомца, что это былъ Кельсіевъ...

На мою статью о Кельсіевѣ обрушился въ „Недѣлѣ“ покойный Минаевъ. Онъ находилъ, что я слишкомъ мягко и серьезно отнесся къ этому человѣку, что съ ренегатами надо поступать гораздо круче, не вдаваясь въ логическія и психологическія тонкости, что этакъ можно, пожалуй, дойти и до оправданія ренегатства. Выразилъ все это Минаевъ довольно грубо, и Некрасовъ счелъ нужнымъ меня, необстрѣленнаго еще новичка, утѣшить или ободрить. Онъ убѣждалъ меня не смущаться подобными выходками, говорилъ, что если Минаевъ нашелъ мою статью слишкомъ мягкою и серьезною, то, съ другой стороны, и Кельсіеву этотъ пріемъ покажется гораздо обиднѣе, чѣмъ голыя насмѣшки и ругань; что, судя по строю моихъ мыслей и манерѣ писанія, я долженъ и на будущее время приготовиться къ нападкамъ съ самыхъ различныхъ сторонъ, но что это не бѣда,—надо, не смущаясь, вести свою линію.

Курьезно, что эту предсказанную мнѣ Некрасовымъ судьбу (на которую я, впрочемъ, отнюдь не жалуюсь) черезъ десять лѣтъ (въ 1879 г). Минаевъ же воспѣлъ въ шуточномъ стихотвореніи. Случилось это такъ. В. В. Чуйко напечаталъ въ газетѣ „Новости“ статью подъ заглавіемъ „Письмо къ ученому публицисту Н. К. Михайловскому“. Я не обратилъ на нее никакого вниманія, и это показалось Минаеву забавнымъ. Онъ писалъ тогда въ „Биржевыхъ Вѣдомостяхъ“ фельетоны, озаглавленные: „Чѣмъ хата богата“. Въ одинъ изъ нихъ онъ вклеилъ слѣдующее стихотвореніе:

Долго въ мрачной неизвѣстности
Прозябалъ Чуйко у насъ.
На Руси такой нѣтъ мѣстности,—
Взять хоть Тверь иль Арзамасъ,

Digitized by Google

Иль столицы обѣ русскія,
Гнѣзда „рыцарей пера“
(Умолчу о Василь-Сурскѣ я,
Объ Уфѣ et cetera),—
Гдѣ бъ столь славная фамилія
Всѣми помнилась легко...
Нѣтъ, какъ Маркова Василія
Русь не вѣдаетъ Чуйко.
А межъ тѣмъ, не мало дѣлая,
Перевелъ онъ Тэна томъ,
Перевелъ бумаги цѣлыя
Горы,—все нѣтъ проку въ томъ.
Похудѣлъ, смотрѣть сталъ щепкою
Сей злосчастный журналистъ
И, задумавъ думу крѣпкую,
Сѣлъ за чистый бѣлый листъ:
„Тему я возьму особую,
Коль ни въ чемъ успѣха нѣтъ:
Михайловскаго попробую
Расшатать авторитетъ;
„Напишу статью бодливую,
Разведенную водой...
Михайловскій подъ счастливою
Родился у насъ звѣздой.
„Тотъ извѣстностью становится,
Кто у насъ его ругнетъ.
На крючекъ подобный ловится
Весь читающій народъ...

И т. д.—немножко длинно для шутки. Оканчивается эта шутка такъ:

Но противника подобнаго
Не замѣтилъ даже тотъ,
Кто мишенью былъ столь злобнаго
Нападенья... Въ свой чередъ
Не замѣченъ былъ отчизною
Смѣлый подвигъ... Я бѣшусь,
Обращаюсь съ укоризною
За Чуйко къ тебѣ я, Русь!..
Въ той же мрачной неизвѣстности
Онъ остался на Руси,
И донынѣ нѣтъ той мѣстности,
Хоть весь край исколеси,
Внука спрашивай въ немъ, дѣда ли
(Ахъ, скорбѣлъ я глубоко!),—
Гдѣ бы чтили, гдѣ бы вѣдали
Имя славное Чуйко.

Digitized by Google

Возвращаюсь къ Некрасову.

Къ начинающимъ писателямъ онъ относился съ большимъ вниманіемъ, охотно давая имъ разные совѣты. Нельзя было при этомъ не любоваться его умомъ. Онъ отлично зналъ пробѣлы своего образованія и никогда не старался ихъ скрыть. Но даже по поводу статей о совершенно незнакомыхъ ему предметахъ у него находилось умное слово, заимствованное изъ его огромной житейской и журнальной опытности. Но разговорчивъ онъ не былъ, и когда молодой сотрудникъ сколько-нибудь оперялся, онъ предоставлялъ его самому себѣ и лишь въ крайне рѣдкихъ случаяхъ выражалъ свое удовольствіе. Благодаря безусловному довѣрію Некрасова къ своимъ главнымъ сотрудникамъ и соредакторамъ, редакціонныя дѣла „Отечественныхъ Записокъ“ шли точно сами собою, точно никто ничего и не дѣлалъ, тогда какъ, въ дѣйствительности, всѣ много работали. Какія-нибудь пререканія были величайшею рѣдкостью. Тотъ-же порядокъ былъ и потомъ, когда послѣ смерти Некрасова отвѣтственнымъ редакторомъ сталъ Салтыковъ. Только Салтыковъ, въ силу своей крайней экспансивности, не могъ удержать въ себѣ ни одной мысли, ни одного чувства, тогда какъ Некрасовъ, напротивъ, былъ до такой степени замкнутъ и скрытенъ, что иной разъ и догадаться было невозможно, что онъ думаетъ. Со мною былъ слѣдующій характерный въ этомъ отношеніи для Некрасова случай. Дѣло было въ 1874 г., когда я былъ уже вполнѣ своимъ человѣкомъ въ редакціи „Отечественныхъ Записокъ“. Однажды студентъ, помнится, института путей сообщенія, по фамиліи Шмаковъ, принесъ мнѣ тетрадку своихъ стихотвореній. Они показались мнѣ пригодными для печати и я передалъ ихъ Некрасову, но безъ всякой, съ своей стороны, рекомендаціи: посмотрите, молъ. Черезъ нѣсколько дней получаю отъ Некрасова записку: „Вашъ поэтъ Шмаковъ вытолкнулъ меня изъ постоянно гнуснаго настроенія, въ которомъ я, чортъ знаетъ отъ чего, нахожусь уже давно,—у него есть талантъ и онъ непремѣнно будетъ хорошимъ поэтомъ, если будетъ строго работать и овладѣетъ вполнѣ формой, безъ которой нѣтъ поэта. Если онъ здѣсь, то не скажете-ли ему, чтобы зашелъ ко мнѣ“. Молодой поэтъ былъ у Некрасова, три или четыре его, дѣйствительно, недурныхъ стихотворенія были напечатаны въ томъ же 1874 г. въ „Отечественныхъ Запискахъ“, но затѣмъ онъ куда-то исчезъ и что-то я не знаю

Digitized by Google

теперь такого поэта. Некрасовъ больше о немъ не вспоминалъ. Много времени спустя, уже не задолго до своей смерти, Некрасовъ признался мнѣ въ случайномъ разговорѣ о стихахъ, что сначала онъ считалъ Шмакова псевдонимомъ, подъ которымъ укрылся я, конфузясь своихъ стихотворныхъ опытовъ, и что онъ былъ очень разочарованъ, увидавъ настоящаго, живого Шмакова. Почему онъ думалъ, что это мои стихи и что я хитрю, выдавая ихъ за чужіе, я не знаю. На мой вопросъ объ этомъ онъ отвѣтилъ только: „такъ мнѣ показалось". Но и его предположеніе на счетъ моей хитрости, и его долгое молчаніе кажутся мнѣ очень для него характерными.

Конечно, это случай мелкій, но вообще въ Некрасовѣ было что-то загадочное, невысказанное, затаенное отъ всѣхъ постороннихъ взглядовъ. Тѣмъ поразительнѣе были случаи, когда это затаенное рвалось наружу и, все-таки, не могло вырваться вполнѣ.

Въ 1869 г. появилась брошюра гг. Антоновича и Жуковскаго „Матеріалы для характеристики современной литературы", въ которой заключались крайне ядовитыя нападки на Некрасова, на Елисеева, на „Отечественныя Записки". Она состояла изъ двухъ частей: изъ „Литературнаго объясненія съ Н. А. Некрасовымъ", написаннаго г. Антоновичемъ, и изъ статьи г. Жуковскаго „Содержаніе и программа „Отечественныхъ Записокъ" за прошлый годъ". И самая эта брошюра, и, тѣмъ болѣе, ея интимная подкладка представляютъ собою нѣчто совсѣмъ чужое большинству нынѣшнихъ читателей. Я и самъ узналъ эту прискорбную исторію во всѣхъ ея подробностяхъ только теперь, разбирая бумаги Елисеева. Покойный Григорій Захаровичъ, видимо, придавалъ ей большое автобіографическое значеніе, и потому я, можетъ быть, разскажу ее его собственными словами, когда дѣло дойдетъ до воспоминанія о немъ. Теперь скажу только, что брошюра гг. Антоновича и Жуковскаго содержитъ въ себѣ много злобно выраженныхъ непріятныхъ намековъ и предположеній насчетъ Некрасова, Елисеева и „Отечественныхъ Записокъ". Значительная часть этихъ намековъ и предположеній давно, такъ сказать, ликвидирована самою жизнью. Авторы брошюры предсказывали рѣшительное отклоненіе „Отечественныхъ Записокъ" отъ того направленія, котораго Некрасовъ, Салтыковъ и Елисеевъ держались прежде въ „Современникѣ", а этого, какъ извѣстно, не случилось (Салтыковъ въ брошюрѣ не поминался по имени, ему предоставлялось

Digitized by Google

узнать себя въ общей формулѣ „разной шушеры и шелухи изъ „Современника“). Авторы брошюры потратили много остроумія насчетъ объединенія Некрасова и Краевскаго, слитія ихъ въ одну литературную фирму, а такого объединенія и слитія никогда не было. Но „Отечественныя Записки“ были еще тогда вновѣ; за одинъ годъ существованія они успѣли, конечно, выясниться, не настолько, однако, чтобы для нихъ были вполнѣ безразличны нападки бывшихъ сотрудниковъ „Современника“. Притомъ-же, въ брошюрѣ заключалась крупица истины, хотя и вполнѣ безтактно выраженной; и это было тѣмъ непріятнѣе, что крупица истины находилась въ связи съ обстоятельствами, бросившими на Некрасова такую тѣнь въ 1866 году. Никогда, ни до, ни послѣ этой брошюры, Некрасовъ не былъ „развѣнчанъ“ такъ грубо, такъ открыто и безпощадно,—и кѣмъ-же?—не какимъ-нибудь отпѣтымъ проходимцемъ, а „своими“, людьми, объявлявшими себя истинными хранителями лучшихъ литературныхъ преданій. А за одно съ Некрасовымъ призывался къ отвѣту и весь журналъ, въ лицѣ, впрочемъ, главнымъ образомъ, Елисеева. Немудрено, что, придя въ ближайшій редакціонный день въ редакцію, я засталъ тамъ переполохъ. Салтыковъ рвалъ и металъ, направляя по адресу авторовъ брошюры совершенно нецензурные эпитеты. Елисеевъ сидѣлъ молча, поглаживая правою рукой лѣвый усъ (его обыкновенный жестъ въ задумчивости), и думалъ, очевидно, невеселую думу. Я знаю теперь эту думу: онъ ничего подобнаго не ожидалъ, если не отъ г. Жуковскаго, то отъ г. Антоновича, и былъ тѣмъ болѣе оскорбленъ въ своихъ лучшихъ чувствахъ, что имѣлъ о Некрасовѣ свое особое мнѣніе. Самъ Некрасовъ произвелъ на меня истинно удручающее впечатлѣніе, и я, пользуясь тѣмъ, что не былъ еще тогда членомъ редакціи и, значитъ, не обязанъ былъ сидѣть въ ней, скоро ушелъ. Тяжело было смотрѣть на этого человѣка. Онъ прямо-таки заболѣлъ и какъ теперь вижу его вдругъ осунувшуюся, точно постарѣвшую фигуру въ халатѣ. Но самое поразительное состояло въ томъ, что онъ, какъ-то странно заикаясь и запинаясь, пробовалъ что-то объяснить, что-то возразить на обвиненія брошюры и не могъ: не то онъ признавалъ справедливость обвиненій и каялся, не то имѣлъ многое возразить, но, по закоренѣлой привычкѣ таить все въ себѣ, не умѣлъ. Это просто невыносимое зрѣлище я видѣлъ еще разъ потомъ, въ

Digitized by Google

трагической обстановкѣ предсмертныхъ разсчетовъ Некрасова съ жизнью...

Крупица истины, заключавшаяся въ брошюрѣ, лучше всего выражена въ слѣдующихъ словахъ г. Антоновича, обращенныхъ непосредственно къ Некрасову: „Современникъ“ закрытъ; для предотвращенія этого оказались безсильными все ваше искусство, всѣ ваши отреченія и вся ваша литература на обѣдѣ; ваши громоотводы и щиты, купленные цѣною столькихъ моральныхъ и неморальныхъ жертвъ съ вашей стороны и удовлетворительно защищавшіе васъ въ обыкновенное время, при обыкновенной непогодѣ, не могли защитить вашъ журналъ при необыкновенно сильной, экстраординарной грозѣ“.

Это все вѣрно. Вѣрно, что для защиты своего дѣла Некрасовъ въ теченіе многихъ лѣтъ приносилъ обильныя моральныя и неморальныя жертвы; вѣрно, что онъ былъ въ этомъ отношеніи очень искусенъ; вѣрно, наконецъ, что въ 1866 г., въ моментъ экстраординарной грозы, все искусство и всѣ жертвоприношенія Некрасова не спасли дѣла. Но на всѣхъ этихъ несомнѣнно вѣрныхъ данныхъ можетъ быть построено не обвиненіе Некрасова, не развѣнчаніе его, а, напротивъ, его апологія. Такую именно апологію я нашелъ въ одной рукописной замѣткѣ Елисеева, не подлежащей, къ сожалѣнію, опубликованію. Вотъ отрывокъ: „Некрасовъ не пошелъ-бы ни на смерть, ни на страданія за дѣло новой идеи, которое онъ несъ на себѣ... Это былъ, если угодно, герой, но герой-рабъ, который поставилъ себѣ цѣлью добиться во что-бы-то ни стало свободы, упорно преслѣдуетъ эту цѣль, по временамъ, примѣняясь къ обстоятельствамъ, дѣлаетъ уступки, но на своемъ главномъ пути постоянно держитъ ее въ умѣ; онъ понимаетъ что такимъ только образомъ можетъ ея добиться, а, кромѣ того, понимаетъ, что въ той средѣ, которая его окружаетъ, не найдется такихъ людей, какъ онъ; хотя, быть можетъ, есть не мало лицъ изъ тронутыхъ новою идеей, которыя гораздо выше, то-есть самоотверженнѣе и чище, лицъ, которыя готовы пожертвовать за нее жизнью, но не найдется такихъ героевъ-рабовъ, которые-бы такъ упорно шли въ теченіе десятковъ лѣтъ шагъ за шагомъ по тому тернистому пути, по которому идетъ онъ, подвергаясь изо дня въ день разнымъ мелкимъ мученіямъ и перенося сдѣлки со своею совѣстью. Герой-рабъ могъ писать, что его рука иногда „у лиры звукъ невѣрный исторгала“, что, „жизнь любя, къ ея минутнымъ

Digitized by Google

благамъ прикованъ онъ привычкой и средой", что онъ „къ цѣли шелъ колеблющимся шагомъ и для нея не жертвовалъ собой". Но дѣйствительный герой, герой въ современномъ значеніи этого слова, не могъ ни дѣйствовать, ни писать. Мы, однако, не должны забывать, что каждый герой долженъ оцѣниваться по условіямъ времени и нѣлямъ. Для каждаго времени является свой „мужъ потребенъ". Герой тотъ, кто понялъ условія битвы и выигралъ побѣду. Хорошъ и тотъ герой, который умираетъ за свое дѣло, такъ сказать, мгновенно, всецѣло, публично запечатлѣвая передъ всѣми своею смертью свои убѣжденія. Хорошъ и другого рода герой, герой-рабъ, который умираетъ за свое дѣло въ теченіе десятковъ лѣтъ, умираетъ, такъ сказать, по частямъ, медленною смертью, въ ежедневныхъ мелкихъ пыткахъ отъ мелкихъ гоненій и стѣсненій, отъ сдѣлокъ съ своею совѣстью, умираетъ никѣмъ не признанный въ своемъ геройствѣ и даже подъ общимъ тяжелымъ обвиненіемъ или подозрѣніемъ отъ толпы въ измѣнѣ дѣлу".

Поведеніе Некрасова въ 1866 году Елисеевъ считаетъ сознательнымъ жертвоприношеніемъ... Я не иду такъ далеко, я думаю, что Некрасовъ тогда просто растерялся, испуганный надвигавшеюся грозой, тѣмъ болѣе страшной, что неизвѣстно было, какъ и куда она направитъ свои удары. Испугался онъ, можетъ быть, частью и за журналъ, но главнымъ образомъ, я думаю, за себя лично. Такъ и самъ Некрасовъ понималъ дѣло. Однако, нарисованный Елисеевымъ трагическій образъ героя-раба въ общемъ вѣренъ дѣйствительности, да ему и не противорѣчитъ испугъ въ трудную минуту. Только для ясности этого образа надо подчеркнуть нѣкоторыя его непривлекательныя стороны.

Некрасовъ былъ человѣкъ вполнѣ убѣжденный, то есть искренно вѣрилъ въ справедливость тѣхъ принциповъ, которые исповѣдывалъ въ своей поэтической и журнальной дѣятельности. Подробности идей, развиваемыхъ въ его журналахъ, а иной разъ даже самыя идеи могли быть ему въ томъ или другомъ случаѣ чужды, вслѣдствіе пробѣловъ въ его образованіи, которое онъ, рано брошенный въ водоворотъ практической жизни, никогда не успѣлъ пополнить. Но не говоря уже о томъ, что въ практическихъ вопросахъ, обсуждавшихся въ его журналахъ, онъ оріентировался превосходно, потому что зналъ науку жизни, рѣдкій умъ и рѣдкое чутье дѣлали его отнюдь не чужимъ и относительно чисто-теоретическихъ вопросовъ. Онъ и здѣсь понималъ

Digitized by Google

или чуялъ добро и зло съ точки зрѣнія своихъ общихъ убѣжденій, потому что сидѣли они въ немъ крѣпко. Въ выработкѣ этихъ убѣжденій играли значительную роль испытанія его несчастной юности. Они очень рано начались, эти испытанія.

Я не біографію Некрасова пишу, да въ общихъ чертахъ она и довольно извѣстна. Но не могу отказать себѣ въ удовольствіи привести одно воспоминаніе Достоевскаго. Въ „Дневникѣ писателя“ за 1877 г. писалъ онъ о началѣ своего знакомства съ Некрасовымъ въ 1845 г.: „Тогда было между нами нѣсколько мгновеній, въ которыя разъ навсегда обрисовался передо мною этотъ загадочный человѣкъ самою существенною и самою затаенною стороной своего духа. Это именно, какъ мнѣ разомъ почувствовалось тогда, было раненое въ самомъ началѣ жизни сердце, и эта-то никогда не зажившая рана его была началомъ и источникомъ всей страстной, страдальческой поэзіи его на всю потомъ жизнь“. Не буду, впрочемъ, продолжать выписку. Достоевскій говоритъ здѣсь о впечатлѣніяхъ самаго ранняго дѣтства, которыя ему сообщалъ самъ Некрасовъ,—о любимой матери-страдалицѣ, къ которой онъ такъ часто обращался въ своихъ стихахъ. Затѣмъ слѣдовали впечатлѣнія жестокихъ сценъ старо-помѣщичьей деревенской жизни, затѣмъ личныя испытанія голода, холода и униженій петербургскаго пролетарія. Впечатлѣнія эти были столь сильны, что Некрасовъ никогда не измѣнялъ голоднымъ, холоднымъ и униженнымъ ни въ своей поэзіи, ни въ своей журнальной дѣятельности. Никогда. Сюда выпадалъ центръ тяжести и его собственной поэзіи, и тѣхъ идей, теорій, образовъ, картинъ, которые развивались и рисовались людьми, въ теченіе десятковъ лѣтъ около него группировавшимися. Но въ тѣхъ-же горькихъ впечатлѣніяхъ пролетарія лежало зерно другой стороны его развитія. Оскорбленный голодомъ, холодомъ и униженіями, онъ „поклялся не умереть на чердакѣ“. Страшная клятва! Никто не обязанъ умирать на чердакѣ, никто не имѣетъ права осуждать человѣка, не желающаго чердачной жизни и смерти, да никто ея и не желаетъ. Но для юноши, при условіи нѣкотораго энтузіазма, пожалуй, естественнѣе была-бы противоположная клятва: клянусь жить на чердакѣ, пока есть голодные и холодные! Правда, что такого рода энтузіазмъ обыкновенно довольно быстро выдыхается, но самъ по себѣ онъ, во всякомъ случаѣ, больше подходитъ юному пѣвцу голодныхъ и холодныхъ. А когда перспек-

Digitized by Google

тива жизни и смерти въ палатахъ становится съ ранней молодости задачей жизни, въ особенности, когда въ эту перспективу напряженно вглядывается человѣкъ умный, ловкій и упорный,— бѣда близка: край нравственной пропасти подъ самыми ногами. Некрасовъ и ходилъ всю жизнь по краю пропасти. „Сколько разъ я надъ бездной стоялъ... снова падалъ и вовсе упалъ",—говоритъ онъ самъ. Но, какъ пѣвецъ голодныхъ и холодныхъ, онъ никогда не падалъ; даже тогда, когда извлекалъ изъ своей лиры „невѣрные" звуки. Оригинально сплетались въ немъ эти двѣ стороны его жизни, исходившія изъ общаго корня—тяжелыхъ впечатлѣній ранней юности. Мало-ли путей ему предстояло для приведенія въ исполненіе своей клятвы, однако, онъ выбралъ совершенно опредѣленный путь, съ котораго не сходилъ всю жизнь. Даже въ минуту крайняго раздраженія и вполнѣ безцеремоннаго отношенія къ Некрасову г. Антоновичъ долженъ былъ признать, что Некрасовъ приносилъ „моральныя и неморальныя жертвы" для спасенія не только себя, а и своего журнала. И мы, всѣ сотрудники его двухъ журналовъ, пользовавшіеся плодами его жертвоприношеній, а за нами и всѣ наши читатели, едва-ли имѣемъ моральное право издѣваться надъ этими жертвами, какъ-бы брезгливо мы къ нимъ ни относились. Но мы можемъ, все-таки, признать, что отъ практики этихъ жертвоприношеній къ Некрасову прилипало много нечистаго. И онъ это самъ зналъ, и въ этомъ состоялъ трагизмъ его двойственнаго существованія, разрѣшавшійся покаянными воплями („Рыцарь на часъ", „Ликуетъ врагъ", „Умру я скоро" и проч.).

Некрасова часто упрекали (между прочимъ, и въ упомянутой брошюрѣ), напримѣръ, за излишнюю разносторонность знакомствъ. Онъ дѣйствительно якшался съ самыми разнообразными сферами, въ томъ числѣ и съ такими, которыя могли имѣть развѣ только отрицательное отношеніе къ „Современнику" и „Отечественнымъ Запискамъ". Онъ, безспорно, находилъ въ этихъ знакомствахъ удовлетвореніе своимъ избалованнымъ вкусамъ богатаго барина и крупнаго игрока, что, пожалуй, было и не къ лицу редактору такихъ журналовъ. Но здѣсь-же онъ находилъ для этихъ журналовъ тѣ „щиты и громоотводы", о которыхъ говоритъ г. Антоновичъ. Онъ полагалъ, впрочемъ, что литератору, какъ литератору, необходимо все знать и видѣть.

Въ началѣ семидесятыхъ годовъ въ Петербургѣ существовало

Digitized by Google

какое-то гастрономическое общество. Оно устраивало обѣды, куда знатоки гастрономическаго дѣла, люди, конечно, богатые и избалованные, а также извѣстные столичные рестораторы поставляли— кто одно блюдо изъ своей кухни, кто другое, кто одно вино изъ своего погреба, кто другое. Все это серьезнѣйшимъ образомъ смаковалось и сообща обсуживалось; ставились даже баллы за кушанья и вина. Бывалъ на этихъ обѣдахъ и Некрасовъ. И не только самъ бывалъ, а и другихъ тащилъ, между прочимъ, и меня, который, вѣроятно, по своему гастрономическому невѣжеству, не могъ видѣть въ этомъ учрежденіи ничего, кромѣ до уродливости странной формы разврата. Когда я выразилъ Некрасову свое мнѣніе на этотъ счетъ, онъ со мной согласился, но привелъ три резона, по которымъ онъ на эти обѣды ходитъ: во-первыхъ, тамъ можно дѣйствительно вкусно поѣсть; во-вторыхъ, литератору нужно знать и тѣ сферы, въ которыхъ такими дѣлами занимаются; въ-третьихъ, это одинъ изъ способовъ поддерживать знакомство съ разными нужными людьми. Въ гастрономическое общество я не попалъ, но въ балетъ меня однажды Некрасовъ затащилъ-таки, и это единственный разъ въ жизни, что я былъ въ балетѣ. Боюсь, что читатель заподозритъ меня по этому поводу въ похвальбѣ тѣмъ, что французы называютъ pruderie. Отнюдь нѣтъ, не въ суровой добродѣтели тутъ дѣло, а просто въ томъ, что условныя, размѣренныя движенія танцовщицъ и танцовщиковъ показались мнѣ некрасивыми и невыносимо скучными. Но рѣчь не обо мнѣ, а о Некрасовѣ. Балетъ привлекалъ его тѣми-же тремя сторонами: это красиво, это надо знать, это почва для сближенія съ нужными людьми. Если кто вздумаетъ придраться къ этому расположенію аргументовъ, къ тому, что на первомъ планѣ стоятъ вкусная ѣда и красота балета, то это будетъ тщетная придирка. Я отнюдь не увѣренъ, что Некрасовъ располагалъ свои три резона именно въ такомъ порядкѣ. Онъ, впрочемъ, никогда не прикидывался презирающимъ „минутныя блага жизни“.

Въ числѣ другихъ видовъ общенія съ нужными людьми у Некрасова бывали, если не ошибаюсь, еженедѣльно спеціальныя собранія, на одномъ изъ которыхъ былъ и я. Это было некрасивое зрѣлище. Изъ ненужныхъ людей, кромѣ меня, былъ только Салтыковъ. Остальные все нужные. Правда, это были dii minores Олимпа нужныхъ людей, но, все-таки, значительные, почтенные

Digitized by Google

люди. Некрасовъ накормилъ насъ хорошимъ обѣдомъ, напоилъ хорошимъ виномъ, потомъ сѣли играть въ карты на нѣсколькихъ столахъ. Игра была небольшая, не некрасовская. Некрасовъ былъ очень милъ и любезенъ, но его тактъ избавлялъ его отъ какихъ-нибудь заискивающихъ формъ любезности. И, все-таки, мнѣ было какъ-то не по себѣ, какъ-то чуждо и жутко, точно я въ дурномъ дѣлѣ участвовалъ. Между прочимъ, игралъ въ карты и Салтыковъ, по обыкновенію, раздражаясь на неудачный ходъ партнера, на плохія карты и проч. За его спиной сталъ одинъ изъ неигравшихъ гостей, значительный сѣдобородый старецъ, и посовѣтовалъ ему какой-то ходъ: Салтыковъ проворчалъ что-то вродѣ: „Ну, да! совѣтчики!“ Однако, послушался. Но когда ходъ оказался неудачнымъ, Салтыковъ грубо выбранилъ совѣтчика и безцеремонно потребовалъ, чтобы онъ отошелъ отъ его стула и не совался въ игру. Эта вспышка, очевидно, портила политичную музыку Некрасова, но мнѣ, признаюсь, Михаилъ Евграфовичъ былъ въ эту минуту необыкновенно милъ и дорогъ. Я больше не бывалъ на этихъ собраніяхъ, и не только потому, что мнѣ на нихъ дѣлать нечего было, такъ какъ въ карты я не играю,—просто почти безсознательное чувство брезгливости протестовало.

Скажутъ, можетъ быть, что вотъ не поцеремонился-же Салтыковъ съ нужнымъ человѣкомъ, а, вѣдь, и онъ, послѣ смерти Некрасова, тянулъ лямку отвѣтственнаго редактора. Дѣйствительно, политика Салтыкова, какъ редактора, рѣзко отличалась отъ некрасовской. Но не надо забывать, что, ко времени редакторства Салтыкова, литература была уже далеко не такъ поставлена, какъ въ ту мрачную пору, когда Некрасовъ началъ свою журнальную дѣятельность и получилъ свое воспитаніе, какъ редакторъ - издатель; да и всероссійскіе нравы измѣнились. Литература наша, къ сожалѣнію, и доселѣ не пользуется довѣріемъ правительства въ той степени, въ какой это было-бы желательно намъ, писателямъ, да и не только намъ. Но каковы-бы ни были претерпѣваемыя ею неудобства и невзгоды, ихъ и сравнить нельзя съ прежнимъ положеніемъ вещей, когда самое существованіе литературы было едва терпимо. Въ наше время „щиты и громоотводы“, для сооруженія которыхъ Некрасовъ приносилъ столько моральныхъ и неморальныхъ жертвъ, утратили свое значеніе; они частью не нужны, частью невоз-

Digitized by Google

можны; но тогда нужна была необыкновенная изворотливость, чтобы провести корабль литературы среди безчисленныхъ подводныхъ и надводныхъ скалъ. И Некрасовъ велъ его, провозя на немъ грузъ высоко-художественныхъ произведеній, составляющихъ нынѣ общепризнанную гордость литературы, и свѣтлыхъ мыслей, постепенно ставшихъ общимъ достояніемъ и частью вошедшихъ въ самую жизнь. Въ этомъ состоитъ его незабвенная заслуга, цѣна которой, быть можетъ, даже превосходитъ цѣну его собственной поэзіи. Но практика постоянной изворотливости, практика постояннаго исканія или сооруженія щитовъ и громоотводовъ не можетъ служить къ украшенію личнаго характера практиканта. Она непремѣнно должна положить на него болѣе или менѣе густыя тѣни, пріучивъ его ко всякаго рода компромиссамъ, житейскимъ противорѣчіямъ и непослѣдовательностямъ, сдѣлкамъ съ своею совѣстью. Это и случилось съ Некрасовымъ. А онъ былъ къ этому и безъ того слишкомъ подготовленъ основнымъ противорѣчіемъ его жизни, — противорѣчіемъ между клятвою не умереть на чердакѣ и искреннимъ сочувствіемъ къ обитателямъ чердаковъ, ко всѣмъ голоднымъ, холоднымъ и обездоленнымъ. Все это сплеталось въ Некрасовѣ въ одинъ запутанный пестрый клубокъ, многосложность и пестрота котораго тяжелѣе всего отзывалась на немъ самомъ. Поверхностные и пустопорожніе люди думаютъ, что жизнь Некрасова была, за вычетомъ горечи молодыхъ годовъ, какимъ-то сплошнымъ праздникомъ. Это—глубокая ошибка. Вѣрно, что онъ сладко ѣлъ и мягко спалъ, но, тѣмъ не менѣе, не лгалъ онъ, когда писалъ:

Что враги?! Пусть клевещутъ язвительнѣй,
Я пощады у нихъ не прошу,
Не придумать имъ казни мучительнѣй
Той, которую въ сердцѣ ношу!...

Казнь, носимая имъ въ сердцѣ, была тѣмъ мучительнѣе, что въ странномъ клубкѣ его жизни черныя, бѣлыя и цвѣтныя нити переплетались тѣснѣйшимъ образомъ. Онъ сознавалъ искренность своей поэзіи, но сознавалъ и разладъ ея съ собственною его жизнью; разладъ этотъ имѣлъ, однако, въ его глазахъ извѣстное оправданіе въ обстоятельствахъ его молодости и въ той трудной роли литературнаго кормчаго, которая выпала на его долю,—онъ сознавалъ, что какой-нибудь Бѣлинскій съ своей хрустальною

Digitized by Google

нравственною чистотой не смогъ-бы сдѣлать для литературы то, что сдѣлалъ онъ своими компромиссами и уступками совѣсти; но сознавалъ онъ также, что къ нему прилипло много грязи на этой трудной житейской дорогѣ. Сознавая все это по частямъ, онъ не могъ, однако, разобраться въ цѣломъ этой смѣси добра и зла, вины и заслуги, и еще менѣе, конечно, могъ растолковать ее кому-нибудь другому даже въ тѣхъ случаяхъ, когда растолковать хотѣлось: многое грязное подлежало здѣсь обѣленію, многое доброе было загрязнено. Отсюда пасмурная замкнутость, переходившая иногда въ дѣловитую жесткость...

Еще немножко личныхъ воспоминаній...

Финансовыя мои обстоятельства поправились въ „Отечественныхъ Запискахъ". Я много работалъ и достаточно зарабатывалъ. Но частью потому, что дѣла мои были очень разстроены предъидущими невзгодами, частью по всегдашнему моему неумѣнью какъ слѣдуетъ обращаться съ деньгами, на мнѣ скоро оказался довольно значительный долгъ конторѣ „Отечественныхъ Записокъ". На бѣду, весной 1870 г. мнѣ понадобились экстренныя средства на отправку одного близкаго мнѣ больного человѣка за границу. Я изложилъ Некрасову исключительность обстоятельствъ, но онъ очень сухо отказалъ въ деньгахъ, указавъ на мой долгъ. Я понималъ, что онъ правъ, но, все-таки, съ горькимъ и обиднымъ чувствомъ вернулся домой, а тутъ еще надо было статью дописывать. Дописалъ, сдалъ въ редакцію и уѣхалъ на нѣсколько дней изъ Петербурга искать денегъ, потому что состоятельныхъ знакомыхъ у меня въ Петербургѣ не было. Однако, и поѣздка оказалась неудачною. Вернувшись и раздумывая, какъ быть, получаю отъ Некрасова пригласительную записку. Застаю его за корректурой моей статьи. Онъ заговорилъ со мной тѣмъ-же сухимъ, дѣловымъ, сумрачнымъ тономъ, но уже другими словами: „Вы просили денегъ, сколько вамъ надо?"—„Столько-то".—„Такъ я вамъ дамъ записку въ контору, вы намъ человѣкъ нужный". Хотя слова эти выводили меня изъ труднаго положенія, въ благополучномъ выходѣ изъ котораго я уже отчаялся, они, все-таки, оставили во мнѣ тяжелое впечатлѣніе. Опять-таки Некрасовъ былъ несомнѣнно правъ: если-бъ я не былъ нуженъ журналу, такъ не зачѣмъ мнѣ и льготы оказывать, а коли нуженъ, такъ надо обратить вниманіе. Но какъ-то ужъ очень это жестко и обнаженно вышло...

Digitized by Google

Не всегда, однако, Некрасовъ былъ такъ жестокъ и сухъ. Мнѣ кажется, что на него дѣйствовала въ этомъ отношеніи петербургская жизнь, въ особенности *его* петербургская жизнь—шумная, пестрая, но нескладная. Лѣтомъ сердце его, вѣроятно, размягчалось и уста разверзались для мягкихъ и ласковыхъ словъ. Сужу такъ частью по его писаніямъ, а частью по собственному опыту, очень,—впрочемъ, незначительному. Однажды я былъ у него на дачѣ, въ Чудовѣ, а въ другой разъ столкнулся съ нимъ за границей, въ Киссингенѣ. Онъ былъ тамъ съ женой и сестрой, подобрались и еще знакомые, въ томъ числѣ Елисеевъ съ женой. Киссингенъ, хотя и имѣлъ честь лѣчить своими водами такихъ высокопоставленныхъ особъ, какъ императоръ Вильгельмъ I и Бисмаркъ, есть одинъ изъ самыхъ мирныхъ курортовъ. Развлеченія своимъ многочисленнымъ и разноязычнымъ гостямъ онъ предоставляетъ самыя скромныя: ѣда самая умѣренно-нѣмецкая, въ гастрономическомъ смыслѣ оставляющая многаго желать; музыка ниже посредственной; скромныя ассамблеи въ „ротондѣ", гдѣ подъ звуки той-же музыки, а то и рояля, танцуютъ нѣмчики съ нѣмочками; игорныхъ учрежденій никакихъ; театра нѣтъ,—по крайней мѣрѣ, нѣтъ постоянной труппы, а наѣзжаютъ третьестепенные актеры. Можетъ быть, во время пребыванія особъ, вродѣ Вильгельма и Бисмарка, все это измѣняется, но я видѣлъ Киссингенъ такимъ два раза, въ 1871 г. и въ 1873 г., когда столкнулся тамъ съ Некрасовымъ. И Некрасовъ, видимо, отмякалъ, если можно такъ выразиться, въ этой простой обстановкѣ.

Верстахъ въ двухъ отъ Киссингена есть развалины древняго зàмка Боденлаубе. Преданіе гласитъ, что зàмокъ этотъ былъ построенъ знаменитымъ миннензингеромъ XIII вѣка, поэтомъ-рыцаремъ Отто фонъ-Боденлаубе. Теперь въ этихъ живописно заросшихъ зеленью развалинахъ ютится элементарный ресторанчикъ, гдѣ можно получить яйца въ смятку, кофе, молоко, дешевое вино. Однажды мы сидѣли тамъ съ Некрасовымъ. Онъ разговорился, разсказывалъ про Бѣлинскаго, Чернышевскаго, Добролюбова, отзываясь о нихъ почти восторженно. Преданіе о рыцарѣ-поэтѣ, въ развалинахъ зàмка котораго мы теперь пьемъ скверный нѣмецкій кофе, навело разговоръ на поэзію вообще, потомъ на поэзію Некрасова. Онъ говорилъ грустно и задушевно и какъ-то вдругъ сталъ не то оправдываться, не то казнить себя. Мнѣ живо припомнился тотъ Некрасовъ, котораго я видѣлъ въ 1869 г. послѣ брошюры гг. Анто-

Digitized by Google

новича и Жуковскаго. Не было того остраго волненія, но та-же затрудненная, смущенная, сбивчивая рѣчь человѣка, который хочетъ сказать очень много, но не можетъ... Я очень хорошо помню, что ни единымъ нескромнымъ вопросомъ не вызывалъ его на откровенность. Онъ самъ началъ, а я даже не поддерживалъ этого щекотливаго разговора. Мнѣ было неловко.

Но уже не неловко, а прямо жутко и страшно было слушать эти обрывистыя, затрудненныя откровенныя рѣчи, когда Некрасовъ умиралъ. Умиралъ онъ долго и мучительно; несмотря на все свое самообладаніе, временами стоналъ, прямо кричалъ и плакалъ. Но въ свѣтлые промежутки неустанно думалъ и говорилъ о литературѣ. Поводовъ для этого было много. Онъ самъ писалъ или диктовалъ послѣднія изъ своихъ „послѣднихъ пѣсенъ". Онъ получалъ со всѣхъ концовъ Россіи множество писемъ, адресовъ, телеграммъ отъ почитателей, скорбѣвшихъ о тяжкихъ страданіяхъ любимаго поэта. Посѣщали его, конечно, главнымъ образомъ, литераторы. Посѣтилъ его и Тургеневъ, когда-то закадычный другъ, а потомъ врагъ, много несправедливаго о немъ сказавшій и отрицавшій даже его поэтическій талантъ. Это посѣщеніе, послѣ многихъ лѣтъ враждебныхъ отношеній и разлуки, разумѣется, окончательно убѣдило-бы страдальца въ близости конца, если-бъ онъ и безъ того не былъ въ этомъ увѣренъ. Я не присутствовалъ при этомъ свиданіи. Говорили послѣ, что оба бывшіе друга молча прослезились... Въ такомъ-то состояніи умирающій, худой какъ скелетъ, Некрасовъ и со мной, и со многими другими заводилъ свои затрудненныя оправдательно-покаянныя рѣчи, перемежаемыя еще вдобавокъ стонами и криками. Очевидно, было страстное желаніе выложить всю душу, уже еле державшуюся въ больномъ, изможденномъ тѣлѣ; страстное, послѣднее въ жизни желаніе раскрыть тайну этой жизни, можетъ быть даже не намъ, слушателямъ этой единственной въ своемъ родѣ исповѣди, а самому себѣ. Но умирающій не находилъ словъ для выраженія „той казни мучительной, которую въ сердце носилъ". Онъ то хватался за какой-нибудь отдѣльный эпизодъ своей жизни, то пробовалъ подвести ей общій итогъ, запинался и опять начиналъ. Въ сравненіи съ этою страшною сценой — ничто, дѣтскія игрушки — тѣ щеголеватыя публичныя исповѣди, авторы которыхъ самодовольно заявляютъ, что они отрясли прахъ прошлаго отъ ногъ своихъ и достигли высшей ступени нравственнаго сознанія. Некрасовъ чув-

Digitized by Google

ствовалъ и понималъ, что въ его прошломъ есть большая заслуга, отъ которой отрекаться не приходится. Но она трагически-фатально забрызгалась грязью, и передъ зіяющею пропастью смерти. Некрасовъ не могъ ни другимъ разсказать, ни себѣ уяснить эту смѣсь добра и зла. Онъ старался, не могъ и мучился... Дѣло происходило въ той самой комнатѣ, въ которой поэтъ вспоминалъ своихъ „унесенныхъ борьбой“ друзей:

Пѣсни вѣщія ихъ не допѣты
Пали жертвою злобы, измѣнъ
Въ цвѣтѣ лѣтъ; на меня ихъ портреты
Укоризненно смотрятъ со стѣнъ...

Я не видалъ болѣе тяжкой работы совѣсти, да не дай Богъ и видѣть. А, между тѣмъ, такъ-ли уже, въ самомъ дѣлѣ, велики вины Некрасова? И не искуплены-ли онѣ благою стороной его дѣятельности и этою страшною, несказанною мукой совѣсти? Поэтъ молилъ: „прости меня, о родина! прости!“ Благодарная родина давно простила. Но есть неумолимые, которые не прощаютъ и непремѣнно желаютъ „развѣнчать“ Некрасова. Должно быть, ихъ собственная совѣсть чиста, какъ зеркало, въ которое они могутъ спокойно любоваться на свои добродѣтели и гражданскіе подвиги. Должно быть, ихъ головы увѣнчаны безспорными лаврами... Да, эта совѣсть, очевидно, спокойна; да, оспаривать эти лавры немного найдется охотниковъ. Пусть... Но мы, грѣшные, не послѣдуемъ за ними. Мы скажемъ: насъ прости, тѣнь поэта! свою родину прости, — ту родину, грѣхами которой ты самъ заразился и для просвѣтлѣнія которой сдѣлалъ такъ много...

III *).

Фетъ о Салтыковѣ.—Изъ переписки и дневника Шелгунова.—Шелгуновъ и Позднышевъ.—„Исторія новѣйшей русской литературы“. А. М. Скабичевскаго.

Въ воспоминаніяхъ г. Фета есть слѣдующій эпизодъ. Г. Фетъ встрѣтился однажды у Тургенева съ Салтыковымъ. Салтыковъ, по увѣренію маститаго пѣвца соловья и розы, „сталъ бойко расхваливать Тургеневу успѣхъ недавно возникшихъ фаланстеровъ, гдѣ мужчины и женщины въ свободномъ сожительствѣ прино-

*) 1891, іюнь.

Digitized by Google

сятъ результаты трудовъ своихъ въ общій складъ, причемъ каждый и каждая имѣютъ право, входя въ комнату другого, читать его книги, письма и брать его вещи и деньги. „Ну, а какая-же участь ожидаетъ дѣтей?“—спросилъ Тургеневъ своимъ кисло-сладкимъ фальцетомъ.—„Дѣтей не полагается“,—отвѣчалъ Щедринъ“.

Надо замѣтить, что г. Фетъ имѣлъ свои причины до такой степени не любить или бояться Салтыкова, что при входѣ послѣдняго „схватилъ огромный листъ „Голоса“ и усѣлся въ углу комнаты въ вольтеровское кресло, совершенно укрывшись за газетой“. Какія именно обстоятельства побудили изящнаго поэта поступить столь невѣжливо по отношенію не только къ Салтыкову, а и къ Тургеневу, какъ хозяину, онъ не объясняетъ. Онъ говоритъ только, что не хотѣлъ „возобновлять знакомство“ съ сатирикомъ, а почему не хотѣлъ и какъ произошло первое знакомство—не сообщаетъ. Можно догадываться, что невоздержный на языкъ, экспансивный Салтыковъ позволилъ себѣ откровенно высказаться о поэтическихъ или прозаическихъ произведеніяхъ г. Фета. Послѣдніе, то есть прозаическіе опыты г. Фета, печатавшіеся въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, отличались крайнею озлобленностью противъ порядка вещей, наступившаго послѣ 19-го февраля 1861 г., и Салтыковъ въ свое время не оставилъ ихъ безъ своего печатнаго клейма. Какъ-бы то ни было, нельзя не пожалѣть, что г. Фетъ такъ невѣжливо удалился въ уголъ и закрылся газетой при входѣ Салтыкова къ Тургеневу. Безъ сомнѣнія, этотъ „огромный листъ“ помѣшалъ маститому поэту не только видѣть Салтыкова, а и слышать его рѣчи. Иначе я не могу себѣ объяснить рѣзкое противорѣчіе разсказа г. Фета со всѣмъ, что мнѣ извѣстно о Салтыковѣ, а зналъ я его двадцать лѣтъ.

Когда у Салтыкова родился первый ребенокъ, суровый сатирикъ до забавности сіялъ радостью и счастіемъ. Даже самые дорогіе для него въ жизни интересы, литературные, на время какъ-бы отступили на второй планъ. Въ наши понедѣльники (редакціонный день „Отечественныхъ Записокъ“), благодаря экспансивности Салтыкова, ворвалась новая и шумная струя. Со свойственнымъ ему оригинальнымъ юморомъ онъ разсказывалъ о своемъ сынѣ, о томъ, что онъ дѣлаетъ теперь (не особенно великія дѣла, какъ догадывается читатель) и чѣмъ онъ

Digitized by Google

будетъ впослѣдствіи (непремѣнно писателемъ). Это было забавно и, вмѣстѣ съ тѣмъ, трогательно. Нельзя было не заражаться весельемъ этого человѣка съ нахмуреннымъ лбомъ, грубымъ голосомъ и упорными глазами, къ которому веселье, казалось-бы, такъ не шло и который такъ рѣдко веселился. И не скоро привыкъ Салтыковъ къ новому счастью, тѣмъ болѣе, что года черезъ два оно подновилось рожденіемъ дочери. А потомъ начались заботы, хлопоты и опасенія. Помню, напримѣръ, негодованіе, съ которымъ Салтыковъ разсказывалъ о непосильно-трудныхъ задачахъ, задаваемыхъ сыну въ гимназіи: „Я сегодня до трехъ часовъ ночи надъ этими проклятыми задачами сидѣлъ,— каково-же мальцу-то съ ними возиться?!"—сердито говорилъ онъ. Очень возможно, что мальцу рѣшить эти задачи было даже легче, чѣмъ старику, давно отвыкшему отъ школьныхъ пріемовъ; но дѣло не въ этомъ, а въ трогательномъ образѣ этого суроваго старика, по горло заваленнаго своими собственными дѣлами и урывающаго у своей недолгой ночи часы для помощи сыну.

Мнѣ, впрочемъ, незачѣмъ, прибѣгать къ личнымъ воспоминаніямъ, чтобы убѣдить читателей, что бѣдный г. Фетъ ничего не разсмотрѣлъ и не разслышалъ въ своемъ углу изъ-за огромнаго листа „Голоса". Да, истинно бѣдный г. Фетъ, потому что газетный листъ скрылъ отъ него или даже прямо извратилъ одну изъ тѣхъ любопытныхъ и умилительныхъ картинъ душевной жизни, какія всегда полезно знать поэту, а, впрочемъ, и прозаику. Въ „Матеріалахъ для біографіи М. Е. Салтыкова", приложенныхъ къ первому тому сочиненій покойнаго сатирика, приведены его письма къ 7—9-ти лѣтнимъ дѣтямъ, сообщенъ фактъ писанія имъ для нихъ сказокъ и не приведены, къ сожалѣнію, эти сказки. Но и писемъ достаточно, чтобы видѣть, какъ трогательно-нѣжно относился Салтыковъ къ своимъ дѣтямъ и до какой степени невозможенъ послышавшійся г. Фету изъ-за газетнаго листа грубый нелѣпый отвѣтъ: „дѣтей не полагается". А любовь Салтыкова къ дѣтямъ была еще и шире, и глубже той, какая явствуетъ изъ „Матеріаловъ для біографіи". Въ своей статьѣ „Щедринъ", въ особенности въ главѣ „Вѣра въ будущее", я уже указалъ на ту великую роль, которую Салтыковъ отводитъ родительской любви. Для него нѣтъ драмы страшнѣе разлада между отцами и дѣтьми, нѣтъ стимула пробужденія чести и совѣсти сильнѣе родительской и сыновней любви. Со-

Digitized by Google

гласно общей своей литературной физіономіи, въ которой сочеталась могучая непосредственность, съ одной стороны, и сила неусыпно бодрствующаго сознанія—съ другой, Салтыковъ обобщалъ личное чувство кровной связи съ своими дѣтьми до обширныхъ горизонтовъ „вѣры въ будущее“, преемственной связи съ потомствомъ вообще. Конечно, у этой несокрушимой вѣры въ будущее были и другіе корни, и, прежде всего, энергическая, дѣятельная натура самого сатирика, черпавшая въ своей собственной силѣ увѣренность въ достижимости своихъ идеаловъ. Но несомнѣнно, что дѣти, не только свои, кровно родныя, а и чужія, дѣти вообще занимали во всемъ міросозерцаніи Салтыкова исключительно видное мѣсто, которое оправдывалось для него и непосредственнымъ чувствомъ отца, и высшими теоретическими соображеніями. Читатель благоволитъ припомнить хотя-бы только „Больное мѣсто“.

Между писателями того направленія или приблизительно того, которого держался въ своей литературной дѣятельности Салтыковъ, не рѣдкость такіе чадолюбивые отцы. Потому-ли, что они тяготѣютъ мыслью и чувствомъ къ будущему, или почему-нибудь другому, но таковъ фактъ. Только что скончавшійся Николай Васильевичъ Шелгуновъ представляетъ этому разительный примѣръ. Великій евангельскій завѣтъ: „блюдите, да не презрите единаго отъ малыхъ сихъ, въ нихъ-же есть царствіе небесное“, былъ яркими буквами начертанъ въ его мужественной и нѣжной душѣ.

Передо мной лежитъ цѣлый ворохъ писемъ Шелгунова къ разнымъ лицамъ, въ томъ числѣ особенно много къ женѣ и дѣтямъ. Будущій біографъ найдетъ здѣсь для себя обильный матеріалъ, я-же извлеку изъ нихъ лишь нѣсколько чертъ, характеризующихъ покойнаго писателя, какъ человѣка.

Въ 1863 и 1864 годахъ, живя въ Петербургѣ въ крайне тѣсномъ, неудобномъ помѣщеніи и въ полномъ одиночествѣ, Шелгуновъ съ напряженнымъ вниманіемъ и непередаваемою нѣжностью слѣдилъ за воспитаніемъ, развитіемъ, вообще жизнью старшаго, тогда еще единственнаго сына, проживавшаго съ матерью за границей. Въ письмѣ къ женѣ отъ 16-го мая 1863 года, по поводу того, что мальчику пришлось разстаться съ своей нянькой, Шелгуновъ пишетъ: „Бѣдный мальчикъ! Большіе обыкновенно слишкомъ заносятся съ своимъ воображаемымъ практи-

Digitized by Google

ческимъ умомъ, вѣрностью взгляда, пониманіемъ жизни и т. п. названіями ихъ тупости и потому смотрятъ такъ легко на дѣтское горе. А оно, между тѣмъ, по своему существу и боли, на дѣтское сердце дѣйствуетъ, разумѣется, не меньше, чѣмъ разныя личныя потери, которыя взрослые люди зовутъ несчастіями и страданіями, потому что они касаются лично ихъ, не желая признавать того, что касается другихъ или не подходитъ подъ узкую мѣру умниковъ. Бѣдный мальчикъ испыталъ большое горе. Можетъ быть, это его первое несчастіе для него было не менѣе чувствительно, чѣмъ Наполеону I его отреченіе. А съ другой стороны, земля не рай, и человѣка нужно пріучать къ разнымъ потерямъ и несчастіямъ съ молодости, чтобы онъ могъ потомъ переносить толчки жизни. А, все-таки, мнѣ жаль Мишу". Удрученный многоразличными неудобствами своего настоящаго положенія и опасеніями за будущее, Шелгуновъ, однако, неустанно держитъ въ умѣ далекаго сына и при всякомъ удобномъ, а иногда даже неудобномъ случаѣ вспоминаетъ о немъ, боится за него, старается воображеніемъ сократить раздѣляющее ихъ пространство. То ему приходитъ голову, что въ Швейцаріи, гдѣ живетъ его жена съ сыномъ, много мѣдянокъ, и онъ сообщаетъ въ письмѣ описаніе этой змѣи съ приложеніемъ очень тщательнаго рисунка ея характерной головы,—„портретъ врага, который гдѣ-нибудь въ-тихомолку точитъ свое жало, можетъ быть, и противъ васъ, дорогихъ для меня людей". То ему вспоминается эпизодъ изъ его заграничной поѣздки: на его глазахъ мальчикъ прищемилъ себѣ вагонною дверью пальцы, а злая и глупая нѣмка-мать его-же за это прибила. „Послѣднее,—прибавляетъ Шелгуновъ,—конечно, не можетъ случиться съ его сыномъ", но прищемленные пальчики ребенка тревожатъ его память и воображеніе. Переводя какой-то учебникъ или популярный трактатъ по физикѣ, онъ представляетъ себѣ, что гуляетъ по комнатѣ съ сыномъ, держа его за руку и разсказывая ему о законахъ физики и т. д., и т. д. Не перечислить тѣхъ иногда совершенно неожиданныхъ поводовъ, которые наталкиваютъ Шелгунова на мысль о сынѣ. Онъ посылаетъ ему картинки, сочиняетъ для него сказки, подчасъ очень замысловатыя. Одну изъ нихъ я приведу собственно для характеристики той заботливой и до мелочей обдуманной нѣжности, съ которою покойный писатель пригибался до уровня интересовъ и пониманія трехлѣтняго сына.

Digitized by Google

Сказка гласитъ, что однажды ночью „маленькій мальчикъ Миша“ услыхалъ у себя подъ кроваткой разговоръ. Разговаривали Мишины сапоги. Лѣвый сапогъ говоритъ: „Теперь намъ есть время, Миша легъ спать, сходимъ-ка къ его папѣ, къ комендантскому подъѣзду, можетъ, папа пришлетъ что-нибудь своему сынку.— Пойдемъ.—И вотъ сапоги вскочили и—топъ, топъ, топъ—побѣжали черезъ горы, лѣса и озера, распѣвая во все горло Мишину пѣсню „віютъ вітры“. Папа уже зналъ, что сапоги къ нему идутъ, и ждалъ ихъ у подъѣзда съ двумя дудками: въ одной былъ виноградъ, а въ другой яблоки и груши. Только что сапоги прибѣжали, папа насыпалъ въ нихъ до верху,—въ одинъ виноградъ, а въ другой яблоковъ и грушъ, и говоритъ: теперь ужъ поздно, Миша скоро проснется, отдыхать вамъ некогда, идите скорѣе домой, да, смотрите, не разсыпьте.—Ужъ будьте спокойны,—отвѣтили сапоги и поскакали домой такъ скоро, какъ воробьи. Скакали, скакали и какъ прискакали къ кроваткѣ Миши, то въ одномъ осталось всего пять виноградинокъ, а въ другомъ одно яблоко и одна груша, все остальное они потеряли дорогой, потому что ужъ очень торопились. Миша, какъ проснулся, досталъ изъ сапоговъ виноградъ и яблоко съ грушей, отдалъ ихъ нянѣ и говоритъ: няня, папа прислалъ мнѣ бомбошки, возьми и спрячь, я съѣмъ ихъ послѣ обѣда. Вмѣстѣ съ бомбошками Миша нашелъ и письмо; папа ему пишетъ: милаша Миша, если ты захочешь гостинца, то, ложась спать, вели своимъ сапогамъ идти ко мнѣ и я тебѣ пришлю“. Сказка этимъ оканчивается, а затѣмъ слѣдуетъ приписка къ женѣ: „а ты точно вложи чего-нибудь въ сапоги отъ меня“.

Я привелъ эту сказку не ради какихъ-нибудь ея достоинствъ,— она, вѣдь, и писалась не съ претензіей на всеобщее оглашеніе, а только для того, чтобы трехлѣтній мальчикъ улыбнулся, слушая ее изъ устъ матери, да нашелъ-бы у себя въ сапогахъ гостинцы. Но это-то и интересно, особенно если вспомнить, что Шелгуновъ при этомъ не отъ избытка личнаго счастья удѣлялъ малюткѣ веселую минуту, а находился, напротивъ, въ чрезвычайно тяжелыхъ условіяхъ. Найти въ себѣ при подобныхъ обстоятельствахъ такой обильный источникъ нѣжности и внимательности къ ребенку, живущему за тридевять земель,—какъ хотите, а это не то, что „шопотъ, робкое дыханье, трели соловья“. А, вѣдь закрывшись газетой, можно-бы было и насчетъ Шелгунова оши-

Digitized by Google

биться и приписать ему грубыя и нелѣпыя слова: „дѣтей не полагается“...

Еще большею нѣжностью и внимательностью Шелгунова пользовался его второй сынъ, Николай. И немудрено: первые годы своей жизни, чуть не съ самаго рожденія, онъ находился на исключительно личномъ попеченіи Николая Васильевича, хотя впослѣдствіи имъ не часто приходилось быть вмѣстѣ. Давнишняя и близкая знакомая Шелгунова, О. Н. Попова, живущая по лѣтамъ въ томъ самомъ селѣ Воробьевѣ, Смоленской губ., гдѣ жилъ и Шелгуновъ передъ послѣднимъ своимъ пріѣздомъ въ Петербургъ, пишетъ мнѣ слѣдующее, между прочимъ: „Ушла съ головой въ чтеніе бумагъ, оставшихся послѣ Николая Васильевича. Письма его къ Колѣ—это цѣлое море нѣжныхъ чувствъ, чувствъ матери и отца, цѣлая программа поведенія. Вновь переживаешь съ нимъ его терзанія послѣднихъ годовъ и, кажется, любишь, уважаешь и удивляешься ему больше еще, чѣмъ при жизни... Трогательна тетрадь, въ которую внесена исторія развитія Коли-ребенка“. Я могу себѣ представить, какова эта тетрадь, потому что и у меня есть подъ руками коллекція писемъ Шелгунова къ женѣ, въ которыхъ дается отчетъ чуть не въ каждомъ шагѣ ребенка, и затѣмъ писемъ къ этому самому сыну, писанныхъ въ разное время.

Какъ и Щедринъ, Шелгуновъ не ограничивалъ, однако, своихъ симпатій къ дѣтскому міру кругомъ своей семьи. Его письма 1863—64 гг. къ женѣ содержатъ въ себѣ много плановъ разныхъ изданій для дѣтей. Онъ самъ собирался писать сказки для дѣтей, имѣя при этомъ въ виду построить ихъ на основѣ русскихъ народныхъ сказокъ. Привести этотъ планъ въ исполненіе ему не удалось, вслѣдствіе сложныхъ и смутныхъ обстоятельствъ его жизни. Но плодомъ его интереса къ педагогическимъ вопросамъ и личныхъ его наблюденій и опытовъ явились впослѣдствіи „Письма о воспитаніи“. Затѣмъ, какъ опять-же у Щедрина, представленіе собственно о дѣтяхъ примыкало у Шелгунова къ представленію о грядущихъ въ жизнь поколѣніяхъ вообще, о потомствѣ, какъ о наслѣдникѣ нашихъ мыслей, чувствъ и дѣлъ. Читатели „Русской Мысли“, конечно, хорошо помнятъ тѣ его „Очерки русской жизни“, въ которыхъ такъ горячо и убѣдительно трактовался вопросъ объ „отцахъ“ и „дѣтяхъ“. Сообразно условіямъ времени, вопросъ этотъ поставленъ здѣсь

Digitized by Google

совсѣмъ не такъ, какъ въ „Больномъ мѣстѣ“, „Господахъ Молчалиныхъ“ и т. д. у Салтыкова.

Надо, можетъ быть, оговориться. Ставя имена Салтыкова и Шелгунова рядомъ, я, разумѣется, ни одной минуты не имѣю въ мысли сравнивать ихъ, какъ таланты. Салтыковъ былъ первоклассный писатель съ огромнымъ, совершенно изъ ряда выходящимъ талантомъ, Шелгуновъ—скромный журнальный труженикъ, хотя и занимавшій одно изъ видныхъ мѣстъ въ рядахъ этихъ тружениковъ. Понятно, однако, что это не мѣшаетъ сопоставлять ихъ съ точки зрѣнія ихъ отношеній къ вещамъ и идеямъ. Въ „Больномъ мѣстѣ“, въ „Господахъ Молчалиныхъ“ изображена, по выраженію самого Салтыкова, „заправская русская драма, настоящая, духъ захватывающая“. Драма состоитъ въ томъ, что „отцы“ и „дѣти“, не въ фигуральномъ смыслѣ этихъ словъ, а настоящіе, кровные отцы и дѣти, притомъ, связанные между собою узами нѣжной любви, совершенно расходятся въ пониманіи цѣлей и путей жизни. Какъ курица, высидѣвшая утятъ, тревожно бѣгаетъ по берегу и жалобно кудахтаетъ, слѣдя за страннымъ и отчаяннымъ, по ея мнѣнію, поведеніемъ своихъ дѣтищъ, лѣзущихъ въ воду, такъ и „трезвенные“ Разумовъ и Молчалинъ мучительно тревожатся за своихъ дѣтей. Сатирикъ занялъ совершенно оригинальное положеніе въ виду этого столкновенія отцовъ и дѣтей. Въ идейномъ смыслѣ онъ цѣликомъ стоитъ на сторонѣ дѣтей, а вся жизнь стариковъ Разумова и Молчалина представляется ему сплошнымъ безсознательнымъ злодѣйствомъ. Но, согласно его высокому понятію о силѣ и значеніи родительской любви, ему жаль курицу, высидѣвшую утятъ, болитъ за нее его сердце, и отсюда драма. Въ „Очеркахъ русской жизни“ Шелгунова столкновеніе отцовъ и дѣтей взято съ другой и въ нѣкоторомъ смыслѣ даже противоположной стороны, не говоря, уже, конечно, о разницѣ въ формѣ. Во-первыхъ, „отцы“ и „дѣти“ разумѣются у Шелгунова въ иносказательномъ смыслѣ, безъ отношенія къ кровному родству, а во-вторыхъ, столкновеніе ихъ занимаетъ автора исключительно въ литературной сферѣ. При этомъ представителями „трезвеннаго“ элемента являются не „отцы“, а „дѣти“, или „новое литературное поколѣніе“, какъ сами себя величали, главнымъ образомъ, критики и публицисты „Недѣли“. Этотъ ничѣмъ не оправдываемый отказъ отъ наслѣдства, это пренебрежительное, высокомѣрное, вообще отрицатель-

Digitized by Google

ное отношеніе „дѣтей“ къ лучшимъ завѣтамъ „отцовъ“ глубоко огорчало Николая Васильевича, и еще въ послѣдней, можно сказать, уже на одрѣ смерти написанной статьѣ онъ не добромъ помянулъ его. Сюда, къ этому своего рода тоже „больному мѣсту“, была направлена его послѣдняя, предсмертная мысль.

Все вышесказанное кажется мнѣ поучительнымъ вотъ въ какомъ отношеніи. Въ основѣ своей родительская любовь есть инстинктъ, общій человѣку со всѣми животными. У человѣка, пожалуй, этотъ инстинктъ бываетъ иногда даже слабѣе, чѣмъ у нѣкоторыхъ животныхъ. Человѣческая природа допускаетъ паденіе далеко ниже уровня животнаго инстинкта, вслѣдствіе чего мы и видимъ вокругъ себя такую массу злодѣйствъ, невозможныхъ въ животномъ мірѣ. Но за-то человѣку доступенъ и высшій подъемъ, одухотвореніе инстинкта. Много званыхъ на это пиршество духа, но мало избранныхъ. Большинство лишь немногимъ поднимается, и то не всегда, надъ уровнемъ животнаго инстинкта и лишь избранные, сохраняя всю непосредственную, наивную, безсознательную свѣжесть и цѣльность инстинкта родительской любви, въ то-же время, углубляютъ и расширяютъ сферу своихъ симпатій силою сознанія. Ихъ дѣти для нихъ не просто плоть отъ плоти и кровь отъ крови ихъ. Это само собой. Но, въ то-же время, изъ этой голой физіологіи, а иногда даже безъ нея, разростается сложная и глубокая психологія, захватывающая своими развѣтвленіями даже отдаленное потомство, а въ настоящемъ обнимающая все молодое, всѣ ростки жизни, „въ нихъ-же царствіе небесное“. Передать этимъ новымъ росткамъ жизни все передуманное, перечувствованное, выстраданное, передать для дальнѣйшаго приращенія, расчистить имъ путь къ добру и правдѣ, увидѣть въ нихъ и черезъ нихъ осуществленіе своихъ собственныхъ идеаловъ—такова мечта и забота людей, о которыхъ я говорю. Такіе люди могутъ обладать большими или малыми талантами, могутъ даже владѣть или не владѣть секретомъ практическаго педагогическаго такта, но они, во всякомъ случаѣ, люди-маяки, на общій строй мыслей которыхъ можно смѣло положиться, какъ на руководящее начало. Такими людьми-маяками были Салтыковъ и Шелгуновъ.

Маленькая отрицательная иллюстрація.

Училищный совѣтъ святѣйшаго синода издалъ циркуляръ по

Digitized by Google

вопросу о наказаніяхъ въ церковно-приходскихъ школахъ. Циркуляръ рекомендуетъ учителямъ церковно-приходскихъ школъ умѣренность и гуманность въ дѣлѣ наложенія взысканій съ учениковъ. Казалось-бы, что можетъ быть проще, естественнѣе, законнѣе? И что, кромѣ сочувствія и благодарности, могла-бы выразить по этому поводу литература? Но въ нашей современной литературѣ подчасъ такое дѣлается, что серьезно думаешь, не въ сумасшедшій-ли домъ попалъ? не безнадежно-ли больные говорятъ вокругъ тебя безумныя злобныя рѣчи, кощунствуя подъ видомъ благочестія и злобствуя съ миною ханжей? „Гражданинъ", издревле принявшій на себя роль эксперта, признаннаго контролировать дѣйствія духовныхъ властей и желающій и на этомъ поприщѣ блистать „консерватизмомъ", разразился по поводу упомянутаго циркуляра громоносною статьей. Тутъ и „лжепрогрессъ", и „лжегуманность", и всѣ прочіе трагикомическіе сапоги въ смятку. Тутъ даже „отзвукъ гордой атеистической мысли", вычитанный благочестивымъ кн. Мещерскимъ „въ томъ мѣстѣ циркуляра, которое называетъ стояніе на колѣняхъ унизительнымъ истязаніемъ". Тутъ, наконецъ, и клевета на христіанство, потому что сорвавшаяся съ цѣпи газета поучаетъ училищный совѣтъ святѣйшаго синода, между прочимъ, такъ: „Наказаніе въ школѣ, примѣняемое къ дѣтямъ, есть, по вѣковымъ преданіямъ христіанскаго ученія о воспитаніи, такое возмездіе провинившемуся дятяти, которое должно ему причинять или тѣлесную боль, или нравственное униженіе". Если спросить почтенную газету, гдѣ именно сдѣланы въ христіанскомъ ученіи подобныя указанія, то она очутится въ большомъ затрудненіи, ибо ничего такого христіанство не проповѣдуетъ и никогда не проповѣдывало. Христосъ лишь благословлялъ дѣтей, и трогательный евангельскій разсказъ объ этомъ эпизодѣ не разъ вдохновлялъ художниковъ, проникнутыхъ христіанствомъ.

Какой-же смыслъ въ дикой выходкѣ „Гражданина"? Смысла въ безсмысліи искать все равно, что рѣшетомъ воду носить. Но можно найти сцѣпленіе побужденій, приведшее къ сцѣпленію словъ. Кн. Мещерскаго оскорбляютъ „много лѣтъ твердившіяся глупости о вредѣ и безнравственности тѣлесныхъ наказаній, о какомъ-то для школы долгѣ вѣдать какое-то человѣческое достоинство и какую-то гражданскую личность въ каждомъ школьникѣ и тому подобныя нелѣпости, проповѣдывавшіяся нигили-

Digitized by Google

стами и либералами, разумѣется, не изъ любви къ юношеству, а изъ желанія сдѣлать школу средствомъ скорѣйшаго развинчиванія государственнаго строя". Вотъ. Кн. Мещерскій, равно какъ и нѣкоторые другіе наши „консерваторы", составилъ себѣ о консерватизмѣ понятіе, не имѣющее ничего общаго ни съ этимологическимъ значеніемъ этого слова, ни съ общепринятымъ его политическимъ значеніемъ, ни, наконецъ, съ простымъ здравымъ смысломъ. Понятіе это составилось частью изъ элементовъ, полученныхъ по наслѣдству отъ болѣе крупныхъ литературныхъ предшественниковъ, частью изъ элементовъ чисто-отрицательныхъ. „Гражданинъ" собственно никакого опредѣленнаго политическаго образа мыслей не имѣетъ, несмотря на аляповатую яркость своихъ красокъ. Онъ, прежде всего, старается,—старается проникнуть въ мысли „либераловъ и нигилистовъ", старается оппонировать имъ во что-бы то ни стало, quand même, старается заскочить въ этомъ направленіи какъ можно дальше, если возможно, дальше далекаго. Поэтому-то онъ и радъ случаю уличить въ либерализмѣ и нигилизмѣ, въ „лжепрогрессѣ" и „лжегуманности" даже училищный совѣтъ святѣйшаго синода. При такой программѣ не до здраваго смысла, а лишь-бы попикантнѣе, да покруче вышло. Конечно, не всегда старанія „Гражданина" увѣнчиваются желаннымъ успѣхомъ, потому что для этого нужно еще кое-что, кромѣ стараній, чего въ распоряженіи почтенной газеты нѣтъ. Имѣя усердіе не по разуму, „Гражданинъ" нерѣдко бываетъ вынужденъ выслушивать рѣзкія и непріятныя отповѣди изъ компетентныхъ сферъ, какую онъ, напримѣръ, въ 1890-мъ году получилъ отъ покойнаго архіепископа Никанора. Но онъ продолжаетъ стараться, и въ результатѣ—порка дѣтей, какъ составная часть христіанскаго ученія и консервативной политической программы. „Гражданину" дѣла нѣтъ до того, что гуманное обращеніе съ дѣтьми и воспитаніе въ нихъ человѣческаго достоинства не либералы съ нигилистами выдумали, что принципы эти установлены цѣлымъ рядомъ европейскихъ педагогическихъ авторитетовъ. Онъ только старается, цѣпляя слова къ словамъ.

„Гражданинъ" есть явленіе завѣдомо патологическое, а потому собственно о немъ можно-бы и совсѣмъ не говорить. Но межа, отдѣляющая болѣзнь отъ здоровья, не всегда уловима, и въ безумныхъ рѣчахъ „Гражданина" иногда лишь до уродливо-

Digitized by Google

сти преувеличивается то, что́ въ нѣкоторыхъ общественныхъ и литературныхъ сферахъ составляетъ почти ходячую монету. Сюда относится, между прочимъ, и предположеніе, что „либералы и нигилисты“ такъ-то и такъ-то относятся къ молодымъ росткамъ жизни, „разумѣется, не изъ любви къ юношеству“, а ради „скорѣйшаго развинчиванія государственнаго строя“. Кто такіе эти либералы и нигилисты, по какимъ примѣтамъ ихъ узнать можно и въ чемъ состоитъ то развинчиваніе государственнаго строя, котораго добиваются обвиняемые,—не спрашивайте, потому что, вѣдь, вотъ и члены училищнаго совѣта святѣйшаго синода въ нигилисты и либералы попали. Казалось-бы, чѣмъ тяжелѣе обвиненіе, тѣмъ осмотрительнѣе надлежитъ его предъявлять. Казалось-бы, приведенное обвиненіе по вопросу о дѣтяхъ и „дѣтяхъ“ столь тяжко, что надо, какъ говоритъ пословица, семь разъ отмѣрить, прежде чѣмъ этакое отрѣзать. Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть недостойнѣе корыстнаго выѣзжанія на спинахъ юношества подъ видомъ любви къ нему? Однако, сложилась легенда, утверждающая именно это. Легенда слѣпа и глуха. Она повторяетъ себя безъ устали, не пытаясь провѣрить свои источники, не слушая никакихъ объясненій и возраженій. Она неслышною поступью проникаетъ всюду, индѣ осѣдая такъ прочно, что ее потомъ уже ничѣмъ не выкуришь, индѣ оставляя хотя легкій слѣдъ въ видѣ подозрѣнія. Вотъ почему я пользуюсь случаемъ вывести на бѣлый свѣтъ вышеприведенныя маленькія подробности изъ жизни Салтыкова и Шелгунова. Маленькія онѣ, но въ данномъ случаѣ много говорящія. Шелгуновъ съ ужасомъ вспоминалъ о жестокихъ истязаніяхъ дѣтей, практиковавшихся въ то „страшное доброе старое время“, когда ему приходилось учиться, и въ „Письмахъ о воспитаніи“ развивалъ взгляды, не имѣющіе ничего общаго съ педагогическою теоріей кн. Мещерскаго. Салтыковъ въ „Пошехонской старинѣ“ тоже не добромъ поминалъ порку и нравственныя униженія, а изобрѣтенныя въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ какимъ-то Кунцомъ усовершенствованныя кушетки для сѣченія выводили сатирика изъ себя. Легенда, очевидно, должна захватить обоихъ писателей, какъ за эти проявленія „лжепрогресса“ и „лжегуманности“, такъ и за многое другое въ ихъ отношеніяхъ къ молодежи. Они, „разумѣется“, не „любовью къ юношеству“ руководились... Такъ нате-же, смотрите, фабриканты легендъ! Смотрите

Digitized by Google

на этихъ людей, переполненныхъ родительскою любовью, урывающихъ у своихъ нерадостныхъ дней и безсонныхъ ночей время для детальнѣйшихъ и нѣжнѣйшихъ заботъ объ урокахъ дѣтей, объ ихъ забавахъ, о грозящихъ имъ опасностяхъ, и не разстающихся ни при какой обстановкѣ съ мыслью о дѣтяхъ. Смотрите и берегите свои шапки: это зрѣлище столь высокое, и для усмотрѣнія его вамъ, малорослымъ, придется такъ задрать головы, что шапки все равно слетятъ съ нихъ, хотя-бы вы и не желали воздать этимъ людямъ должное почтительнымъ поклономъ... Уже само по себѣ любовное приклоненіе обремененныхъ дѣлами, удрученныхъ обстоятельствами немолодыхъ людей до уровня пониманія и интересовъ дѣтей составляетъ трогательное зрѣлище. Когда я, въ статьѣ „Матеріалы для литературнаго портрета М. Е. Салтыкова“, привелъ для образчика одно изъ его „прелестныхъ“ (такъ я выразился) писемъ къ дѣтямъ, то нѣкоторые жестоковыйные читатели обратили особенное вниманіе на слѣдующее мѣсто: „А еще доношу, что сегодня Арапка (канарейка) когда я вошелъ въ игральную, сѣлъ сначала мнѣ на плечо, а потомъ забрался на голову, и не успѣлъ я оглянуться, какъ онъ уже сходилъ... Вотъ такъ сюрпризъ!“ Жестоковыйные читатели (и писатели) пожимали по этому поводу плечами и съ презрительною ироніей спрашивали: что-же тутъ „прелестнаго“ въ томъ, что канарейка невѣжество сдѣлала? Тѣхъ, кто способенъ увидать во всемъ этомъ истинно прелестномъ письмѣ только канареечье невѣжество, конечно, ничѣмъ не проймешь! Тутъ, стало быть, имъ и мѣсто, въ канареечьемъ невѣжествѣ. А я,—и не одинъ я, разумѣется,—продолжаю любоваться этимъ образомъ суроваго сатирика, къ гнѣвнымъ рѣчамъ котораго прислушивается вся читающая Россія и который въ то-же время озабоченъ мыслью вызвать улыбку на дорогихъ ему личикахъ 9-ти-лѣтняго сына и 7-ми-лѣтней дочери. Но этого мало. Не голый инстинктъ чадолюбія руководитъ людьми-маяками. Не помню, привелъ-ли я въ книжкѣ о Щедринѣ слѣдующую черту. При разговорѣ о какихъ-нибудь дурныхъ людяхъ мнѣ не разъ случалось слышать отъ него вопросъ: „да развѣ у него нѣтъ дѣтей?“ Это значило, что, по наивной, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и глубокой мысли сатирика, самый фактъ существованія дѣтей, „малыхъ сихъ“, въ которыхъ должно повториться наше собственное существованіе и которымъ мы должны оставить незапятнан-

Digitized by Google

ное имя, самый этотъ фактъ долженъ-бы воздерживать людей отъ подлостей. А съ другой стороны, припомните знаменитый конецъ сказки „Пропала совѣсть“. Совѣсть, послѣ долгихъ мытарствъ, попадаетъ въ сердце „маленькаго русскаго дитяти“: „И будетъ маленькое дитя большимъ человѣкомъ, и будетъ въ немъ большая совѣсть. И исчезнутъ тогда всѣ неправды, коварства и насилія, потому что совѣсть будетъ не робкая и захочетъ распоряжаться всѣмъ сама“. Пусть это фантазія, мечта, которой еще долго предстоитъ передаваться отъ поколѣнія къ поколѣнію. Но вы видите, во всякомъ случаѣ, что между родителями и дѣтьми, въ мысли Салтыкова, существуетъ взаимодѣйствіе, въ которомъ животный инстинктъ кровной связи одухотворяется и расширяется въ историческую перспективу. И фабриканты легендъ хотятъ насъ увѣрить, что подобные люди симулируютъ любовь къ юношеству!.. Безстыдники! Кто такъ понималъ родительскую любовь, что трагически скрасилъ ею даже безсознательныхъ злодѣевъ Разумова и Молчалина, кто такъ терзался за своего сына, какъ Шелгуновъ, тѣмъ можно повѣрить. Это во-истину люди-маяки. Сильное непосредственное чувство играетъ въ нихъ роль якоря или фундамента въ житейскомъ грунтѣ, а на этомъ фундаментѣ высится зданіе, увѣнчанное озаряющимъ даль путеводнымъ свѣтомъ сознанія.

О писателяхъ того лагеря, къ которому принадлежали оба вышеупомянутые покойника, вообще много легендъ ходитъ, самыхъ фантастическихъ, и меня всегда занималъ вопросъ: откуда онѣ берутся? Какъ слагаются? Такъ, однако, я этого вопроса и не рѣшилъ. Не понимаю. Дѣло въ томъ, что здѣсь мало общей механики клеветы и сплетни. Ей, вѣдь, подлежитъ лишь частная жизнь писателя, и хотя это, конечно, обширное поприще для любителей, но затѣмъ остается еще публичная, литературная дѣятельность, часто поглощающая всего человѣка, такъ что у него и частной-то жизни никакой нѣтъ. А литературная дѣятельность есть нѣчто открытое, громогласное, нѣчто такое, къ чему всякій Ѳома можетъ съ полнымъ удобствомъ приложить свои персты. Казалось-бы, эта очевидность и громогласность должны хотя отчасти парализовать возникновеніе и распространеніе фантастическихъ легендъ. А вотъ подите-же! Брякнетъ какой-нибудь кн. Ме-

Digitized by Google

щерскій о симуляціи любви къ юношеству, поддержитъ какой-нибудь г. Фетъ удивительнымъ сообщеніемъ о томъ, что „дѣтей не полагается“, прибавится что-нибудь съ больной головы на здоровую, а тамъ — чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ; снѣжный комъ ростетъ, ростетъ и превращается, наконецъ, въ страшную лавину, которую уже ничѣмъ удержать нельзя и которая не задумается (на то, вѣдь, она и лавина, чтобы не задумываться) раздавить человѣка и даже цѣлую группу людей.

Между прочимъ, извѣстная часть нашей литературы, та именно, которая совершенно неосновательно приписываетъ себѣ наименованіе „консервативной“, часто уличаетъ своихъ противниковъ въ нетерпимости. Юмористическіе образчики собственной терпимости господъ обвинителей столь многочисленны, столь многообразны и столь переполняютъ литературу въ теченіе многихъ лѣтъ даже до сего дня, что я не считаю нужнымъ распространяться объ этихъ больныхъ головахъ. Но откуда взялись и чѣмъ поддерживаются обвиненія противъ здоровыхъ головъ?

Та самая нянька, разставаніе съ которой причинило, по мнѣнію Шелгунова, его малюткѣ-сыну столько же горя, сколько Наполеону I отреченіе отъ престола, пожелала соблюдать за границей постъ, чѣмъ, вѣроятно, вызвала какія-нибудь насмѣшки или нареканія. Шелгуновъ писалъ по этому случаю женѣ: „Ѳеню считаю молодцомъ, что она не отстаетъ отъ обычаевъ и правилъ, которые считаетъ хорошими; это не то, что тѣ наши либералишки, которые вчера—крѣпостникъ, а сегодня—ярый якобинецъ; вчера революціонеръ, а на завтра—сикофантъ. Эти люди—несчастіе всякой страны, и потому, разумѣется, нужно цѣнить такихъ людей, какъ Ѳеня. Пусть соблюдаетъ постъ—хорошо, но только чтобы она не слишкомъ отощала, пожалуй, захвораетъ. Кланяйся ей“.

Это мѣсто письма очень характерно не только лично для Шелгунова, но и для всѣхъ представителей литературы приблизительно одного съ нимъ направленія. Согласно этому взгляду, люди искреннихъ убѣжденій, въ чемъ-бы эти ихъ убѣжденія ни состояли, заслуживаютъ бережнаго и почтительнаго къ себѣ отношенія. И чѣмъ опредѣленнѣе, настойчивѣе, ярче выражаются эти искреннія убѣжденія, тѣмъ лучше. Съ ложными убѣжденіями можно и должно бороться, но какъ-бы ни была горяча борьба, личности носителей убѣжденій остаются почтенными, если только

577713

Digitized by Google

они въ самомъ дѣлѣ искренни и если, само собою разумѣется, убѣжденіе ихъ не въ томъ состоитъ, чтобы заставлять молчать другихъ. „Живи и жить давай другимъ“, а тамъ уже логика, знаніе и сама жизнь рѣшатъ споръ. Презрѣнны не какія-бы то ни было убѣжденія сами по себѣ, а, напротивъ, ихъ отсутствіе, ихъ легковѣсность, ихъ подмѣнъ лицемѣрными и корыстными суррогатами. Одно и то же мнѣніе можетъ быть выражено и убѣжденнымъ человѣкомъ, и, какъ презрительно говоритъ Шелгуновъ, „либералишкой, который вчера—революціонеръ, а на завтра—сикофантъ“. И всегда будетъ разница въ нашихъ отношеніяхъ къ этимъ двумъ сортамъ людей, совсѣмъ независимо отъ самаго содержанія выраженнаго ими мнѣнія или совершеннаго ими поступка. Каково-бы ни было мое личное мнѣніе о постахъ, но Ѳеня, соблюдающая ихъ при самыхъ неудобныхъ условіяхъ, единственно потому, что таково ея убѣжденіе, во всякомъ случаѣ, достойна уваженія, а человѣкъ, который вздумаетъ поститься для того, напримѣръ, чтобы зарекомендовать себя съ выгодной стороны передъ начальствомъ (это бываетъ), никакого уваженія не достоинъ. Лицемѣрный или легковѣсный другъ всегда хуже честнаго врага. Хуже и опаснѣе потому, что въ немъ всегда сидитъ зародышъ предательства, и въ сношеніяхъ съ нимъ, иногда неизбѣжныхъ,—потому что, вѣдь, онъ вашъ единомышленникъ, по крайней мѣрѣ, сегодня!—всегда нужно держать камень за пазухой, что вовсе непріятно. Честный врагъ можетъ быть очень грозенъ своими талантами или знаніями, вообще своими большими силами, направленными, по вашему убѣжденію, въ дурную сторону, но онъ не готовитъ вамъ сюрпризовъ въ видѣ подлой измѣны или предательскаго удара изъ-за угла. Онъ знаетъ цѣну убѣжденія, какъ таковаго, и, стоя на своемъ, умѣетъ уважать и чужое. Понятно, что нравственно-низменный врагъ, не разбирающій средствъ борьбы, хуже и лицемѣрнаго или легковѣснаго друга, и честнаго врага. Ни самъ онъ не заслуживаетъ уваженія, ни къ другимъ не умѣетъ его питать. Онъ даже не имѣетъ понятія о томъ, что такое искреннее убѣжденіе, и съ наивною тупостью вѣритъ, что душу человѣческую, какъ и все на свѣтѣ, можно купить златомъ или взять булатомъ. Естественно, что онъ можетъ возбуждать,—только негодованіе, и вотъ это-то вполнѣ естественное и законное негодованіе легенда обзываетъ нетерпимостью.

Digitized by Google

Шелгунову не разъ и не два приходилось очутиться въ исключительно трудныхъ обстоятельствахъ. Случалось ему быть наканунѣ полнаго отчаянія, того отчаянія, при которомъ люди вѣшаются и стрѣляются или, по крайней мѣрѣ, безсильно складываютъ руки, предоставляя волнѣ событій разбить себя въ дребезги и нести эти дребезги куда она сама знаетъ. Но дальше кануна смущеніе не шло. Въ письмахъ его—и самыхъ раннихъ, и самыхъ позднихъ—часто попадаются чьи-то неуклюжіе стихи, прельщавшіе его ужъ, конечно, не своимъ художественнымъ достоинствомъ: „Безумный плачетъ лишь отъ бѣдства, а умный ищетъ средства, какъ дѣломъ горю пособить“. И вотъ образчики.

Въ концѣ 1863 г., находясь въ Петербургѣ, но въ исключительныхъ условіяхъ и будучи въ полной неизвѣстности относительно своего будущаго, Шелгуновъ пишетъ женѣ: „Перейры (должно быть, банкиры) хотятъ издавать энциклопедію въ 200 томахъ; каждый будетъ написанъ извѣстнымъ ученымъ. Если это не утка, то хорошо-бы тебѣ взяться за переводъ и изданіе этой энциклопедіи по-русски, или сговориться съ кѣмъ-нибудь. Дѣла на 10 лѣтъ... Теперь просьба: выучись у Ганца фотографіи теоретически и практически... Я думаю, Ганцъ согласится и не возьметъ дорого. Это—во-первыхъ. А во-вторыхъ, такъ какъ Швейцарія славится своими кондитерскими, то научись дѣлать пирожное, конфекты и разныя печенья, а также и булочному дѣлу. И затѣмъ всѣ эти искусства: кондитерское, булочное и фотографію передай мнѣ,—это будетъ намъ кусокъ хлѣба, гдѣ-бы мы, т.-е. собственно я, ни жили. Я прошу объ этомъ *весьма серьезно* (подчеркнуто въ подлинникѣ), пожалуйста, отвѣть“.

Въ 1866 г., проживая въ городѣ Никольскѣ, Вологодской губ., Шелгуновъ пишетъ женѣ: „Что „Русское Слово“ существовать не будетъ, я въ этомъ увѣренъ. Литературное дѣло, которое я сначала такъ полюбилъ, начинаетъ мнѣ теперь противѣть. Я бы съ удовольствіемъ промѣнялъ его на такое занятіе, гдѣ видишь, что́ дѣлаешь, и будь я въ большомъ городѣ, я постарался-бы пріискать что-нибудь. Въ Никольскѣ нельзя найти никакого дѣла... Совѣтъ М. Ѳ. неосуществимъ; я не могу писать больше ни по лѣсоводству, ни по технологіи, ибо я сказалъ все, что зналъ, и новаго больше ничего сказать не могу.

Digitized by Google

На повторенія-же, особенно когда они никому не нужны, не поднимается рука. Однимъ словомъ, моя лѣсоводственная литературная дѣятельность кончилась и воскреснуть ей невозможно. Всякой вещи свое время". Когда въ томъ-же 1866 г. предсказаніе Шелгунова исполнилось, и „Русское Слово" было закрыто, онъ писалъ: „Предлагая мнѣ обратиться къ Краевскому, ты, должно быть, смѣешься надо мной. Ужъ лучше я пойду служить. Я писалъ тебѣ свою программу. Самое пріятное было-бы бросить журнальную работу и приняться за какое-нибудь занятіе распорядительнаго характера. Въ Петербургѣ ты можешь это сообразить, уладить и устроить". Въ другомъ письмѣ: „Такъ какъ жизнь вышибла меня изъ колеи, то нужно мнѣ опять создать себѣ дорогу, опять взобраться на гору и подготовить тебѣ и себѣ спокойную старость, а Колѣ и Мишѣ дать образованіе. Вступилъ я было на литературный путь и даже утвердился на немъ, такъ что если-бы не было помѣхъ, можно-бы идти и устраивать свое будущее. Но и съ этого пути обстоятельства сбили меня. Нужно покинуть журнальное поприще. Итакъ, съ двухъ путей я уже сбитъ—служба и журналистика. Куда идти, гдѣ искать и пробовать еще? Вотъ-бы чѣмъ я могъ быть и готовъ хоть сейчасъ: я бы съ великой охотой занялся экономическою статистикой Россіи, ибо въ сей моментъ наша экономическая (финансовая, торговая, промышленная), внутренняя и внѣшняя политика страдаетъ больше всего отъ недостатка точнаго знанія современныхъ экономическихъ условій страны. И я полагаю, что дѣльный, обширный трудъ, на которой-бы я охотно посвятилъ 5 лѣтъ, былъ-бы дѣйствительно полезенъ и далъ-бы мнѣ имя въ ученой литературѣ. Къ подобной работѣ я совершенно подготовленъ всею предъидущею дѣятельностью. Но вотъ въ чемъ помѣха. Заняться такимъ дѣломъ можно только въ центральномъ статистическомъ комитетѣ м. в. д., а меня туда не возьмутъ. Учиться медицинѣ и стать докторомъ не дурно: въ 2 года можно успѣть; но нужно эти 2 года чѣмъ-нибудь жить. А какъ пойдетъ потомъ практика? Этотъ путь наиболѣе скользкій и невѣрный. Есть еще одна дорога: служить по акцизу у Грота. Думаю, что новыхъ доказательствъ моихъ служебныхъ способностей и честности мнѣ представлять не нужно. Что-же касается моего общаго и политическаго міровоззрѣнія, то я думаю, что при опредѣленіи крѣпости спирта и учетѣ винокуренныхъ

Digitized by Google

заводовъ міровоззрѣніе не играетъ никакой роли и никому оно не нужно. Если придумаешь болѣе вѣрное и лучшее, уполномочиваю тебя дѣйствовать за меня". Въ концѣ все того-же 1866 г. Благосвѣтловъ затѣялъ новый журналъ „Дѣло", и Шелгуновъ опять оживился, но цензура относилась на первыхъ порахъ къ новому журналу съ чрезвычайною строгостью. 20-го сентября Шелгуновъ пишетъ: „Моихъ статей, которыя пробовали провести въ книжку, пропало на 600 цѣлковыхъ. Съ этимъ-бы я еще помирился. Но у меня пропало время. Я разсчитывалъ, что напишу еще три статьи, и тогда на весь нынѣшній годъ комплектъ статей выполненъ и я могу заняться мѣсяцъ или два другой работой, а, между прочимъ, и Шлоссеромъ (переводомъ). Теперь начинай снова. Лучше-бы я провалялся все время на диванѣ, задравъ ноги въ потолокъ,—по крайней мѣрѣ, отдохнулъ-бы. Вѣдь, это камень Сизифа. Я не плачу и не охаю, потому что „безумный плачетъ лишь отъ бѣдства, а умный ищетъ средства, какъ дѣломъ горю пособить". Но нахожу, что такой порядокъ жизни глупъ, и нельзя-же тратить свои силы безъ всякаго полезнаго результата. Я знаю, что сообразить все и выйти на дорогу—дѣло трудное; но знаю также, что тому, кто въ Петербургѣ, дѣло это легче, чѣмъ тому, кто въ Никольскѣ".

Въ январѣ 1876 г. Шелгуновъ, между прочимъ, пишетъ М. К. Цебриковой изъ Выборга: „Есть еще огорчающее обстоятельство чисто денежнаго свойства: хозяинъ обижаетъ въ разсчетѣ. Тяжело было мнѣ сказать это! Прежде, еще два года назадъ, даже годъ назадъ, языкъ не повернулся-бы на такой цинизмъ; мы были носители священнаго огня, теперь-же мы поденщики и батраки. Душа вся выворачивается,—такъ обидно".

Въ іюнѣ 1884 г., изъ Парголова—сыну: „Самое скверное, что у меня ни гроша и до сихъ поръ я еще не получалъ гонорара за майскую книжку. Скверно это потому, что мнѣ не на что уѣхать; а уѣхать я рѣшилъ на мельницу, ибо не ходить-же по улицамъ и протягивать руку. Въ Петергургѣ мнѣ мѣста нѣтъ и дѣлать нечего. Начну молоть муку, разводить пчелъ да сажать капусту. Огорчаться всѣмъ этимъ нечего, ибо каждому человѣку наступаетъ въ жизни пора отставки. Ну, и въ нынѣшнемъ 1884 году наступаетъ моей журнальной службѣ ровно 25 лѣтъ. Все это, какъ видишь, въ порядкѣ вещей и даже по закону".

Какъ извѣстно, вскорѣ послѣ этого Шелгуновъ сталъ по-

Digitized by Google

стоянно работать въ „Русской Мысли“, и „пора отставки“ наступила для него лишь въ день смерти. Мнѣ кажется, что этими немногими выписками изъ писемъ за значительный промежутокъ времени (1863—1884 гг.) хорошо характеризуется образъ только что скончавшагося писателя. Но въ поясненіе, для незнающихъ или не обратившихъ вниманія на подробности газетныхъ некрологовъ, не мѣшаетъ, можетъ быть, прибавить, что Шелгуновъ родился въ 1824 г. и воспитывался въ лѣсномъ институтѣ, въ которомъ впослѣдствіи былъ выдающимся профессоромъ. Его спеціальныя сочиненія: „Лѣсоводство для частныхъ владѣльцевъ“, „Исторія русскаго лѣсного законодательства“, „Лѣсная технологія“ и разныя мелкія статьи въ свое время высоко цѣнились свѣдущими людьми. Такимъ образомъ, предлагавшееся ему кѣмъ-то возвращеніе на путь учено-технической лѣсной литературы гарантировало ему кусокъ хлѣба, успѣхъ и почетъ, но онъ не хотѣлъ и думать объ этомъ. Онъ готовъ былъ стать кондитеромъ, булочникомъ, фотографомъ, акцизнымъ чиновникомъ, статистикомъ, готовъ былъ въ сорокъ слишкомъ лѣтъ приняться за изученіе медицины,—словомъ, не боялся никакого честнаго труда и никакимъ не брезгалъ (мимоходомъ сказать, онъ былъ недурнымъ столяромъ и любилъ это дѣло). Но къ труду литературному онъ относился съ особенными требованіями, которыя нынѣ многими признаются чрезмѣрными, свидѣтельствующими о нетерпимости. Литература была для него, какъ и всякій трудъ, ремесло, но не только ремесло. Онъ пошелъ-бы, можетъ быть, къ Краевскому въ конторщики, какъ сталъ-бы снимать въ своей фотографіи портреты съ Краевскаго и его сотрудниковъ, или печь для нихъ булки въ своей булочной, или доставлять имъ капусту изъ огорода; но предложеніе писать у Краевскаго оскорбляетъ его,—онъ принимаетъ его за насмѣшку. Въ литературѣ онъ не просто работникъ, а „носитель священнаго огня“. Я знаю, что по нынѣшнему времени слова эти кажутся многимъ напыщенною фразой, лишенною содержанія. Но что содержаніе въ нихъ было, объ этомъ свидѣтельствуетъ вся жизнь Шелгунова, и, выбирая изъ двухъ золъ меньшее, я радуюсь, что они кажутся безсодержательными и напыщенными только многимъ, а не всѣмъ. Многіе прейдутъ, я въ этомъ увѣренъ, а „священный огонь“ опять займетъ свое мѣсто.

Въ фельетонѣ „Новаго Времени“ я прочиталъ слѣдующія

Digitized by Google

строки: „Мы, старики шелгуновскаго возраста, гордо (но, въ скобкахъ сказать, необычайно глупо) ставимъ молодому поколѣнію свое постоянство въ убѣжденіяхъ. Вотъ, молъ, жилъ и писалъ около сорока лѣтъ и какъ въ первый, такъ и въ послѣдній моментъ писалъ одно и то-же". Затѣмъ фельетонистъ отъ имени „современной практической молодежи" объясняетъ, что она, эта молодежь, извѣрилась въ „Бѣлую Арапію", ибо таковой не существуетъ, и предъявляетъ еще много глубокомыслія, за которымъ, пожалуй, и любопытно было-бы прослѣдить, но это отвлекло-бы насъ далеко въ сторону. Я остановлюсь только на странномъ недоразумѣніи, заключающемся въ словахъ, поставленныхъ въ кавычкахъ. Если-бы человѣкъ въ теченіе сорока лѣтъ, какъ въ первый, такъ и въ послѣдній моментъ, твердилъ, вопреки очевидности, что, напримѣръ, дважды два—стеариновая свѣчка, то было-бы дѣйствительно необычайно глупо ставить его въ образецъ, достойный подражанія. Мѣсто такого человѣка не въ переднемъ углу, который отводится уважаемымъ людямъ, а въ какомъ-нибудь пріютѣ для неизлечимыхъ больныхъ. Бываютъ, однако, случаи, когда сказать: „необычайно глупо"—еще не значитъ показать свой необычайный умъ, и даже напротивъ того. Таковъ именно данный случай. Автору фельетона не предстояло никакой надобности употреблять столь энергическое выраженіе, потому что Шелгунову воздаютъ должное не за то, что онъ твердилъ всю жизнь одинъ и тотъ-же очевидный вздоръ, и даже не за то, что онъ вообще одно и то-же твердилъ, а за то, что онъ всю жизнь оставался вѣренъ правдѣ. Не такой правдѣ, какъ дважды два—четыре, которая, въ качествѣ безспорной, очевидной, общепризнанной истины, не только безпрепятственно, а даже обязательно пропагандируется школьными учителями. Есть иная правда, въ которой очевидности, сложныя и сами по себѣ, осложняются еще возможностями, въ выработкѣ которой замѣшаны человѣческіе интересы, отстаивающіе себя даже вопреки всякимъ очевидностямъ. Гоббсъ говорилъ, что если-бы математическія аксіомы затрогивали человѣческіе интересы и страсти, такъ онѣ и до сихъ поръ составляли-бы предметъ горячихъ споровъ. И тутъ уже ничего не подѣлаешь. Мѣрило правды есть здѣсь внутреннее убѣжденіе, мѣрило нравственнаго достоинства—вѣрность этому убѣжденію. Подъ давленіемъ житейскаго опыта и критики, убѣжденія могутъ измѣняться (въ част-

Digitized by Google

ностяхъ они измѣнялись и у Шелгунова); но если человѣкъ всецѣло и безкорыстно отдается своей новой правдѣ, онъ чистъ передъ людскимъ судомъ. Такъ понималъ дѣло и самъ Шелгуновъ, такъ понимаютъ его и тѣ, кого фельетонистъ энергически, но не вполнѣ умно обзываетъ необычайными глупцами. Если Шелгуновъ презиралъ „либералишекъ", мѣняющихъ свои убѣжденія, какъ дамы мѣняютъ модные костюмы, то не за самыя эти измѣненія, а за то постыдное легкомысліе или за тѣ корыстныя соображенія, по которымъ они совершаются. Откуда и куда такой либералишка перескочилъ,—изъ крѣпостниковъ въ якобинцы или, наоборотъ, изъ революціонеровъ въ сикофанты,—это безразлично. Важны мотивы и обстановка скачка́. Точно такъ-же важны они и при оцѣнкѣ человѣка, всю жизнь вѣрнаго одной и той-же правдѣ. Въ этомъ отношеніи люди, чтущіе память Шелгунова, могутъ съ справедливою гордостью сказать: смотрите сами! Вы можете какъ угодно оцѣнивать ту правду, которой всю жизнь служилъ покойникъ, можете обзывать ее и „Бѣлою Арапіей", и просто вздоромъ,—это ваше дѣло. Мы можемъ когда-нибудь объ этомъ поспорить. Но извините меня, если я употреблю ваше собственное выраженіе, только болѣе умѣстно: — необычайно глупо издѣваться надъ такимъ высокимъ образчикомъ твердости убѣжденій, искренность которыхъ засвидѣтельствована цѣлою жизнью. Поучитесь у Шелгунова хотя терпимости: онъ хвалилъ Ѳеню, а не издѣвался надъ ней...

Человѣкъ, придающій такое значеніе искренности и твердости убѣжденій, конечно, долженъ былъ смотрѣть на литературу какъ на носительницу „священнаго огня". Онъ могъ на старости лѣтъ выучиться шить сапоги и стать поставщикомъ обуви для Краевскаго и работавшихъ у него гг. Страхова, Щеглова, Вс. Крестовскаго и... какъ они еще тамъ назывались, но писать съ ними въ одномъ журналѣ не могъ, ибо для этого ему пришлось бы поступиться своими убѣжденіями, отказаться отъ своего свободнаго слова. Я разумѣю, конечно, не цензурныя условія, которыя были для Краевскаго съ гг. Страховымъ, Щегловымъ, Вс. Крестовскимъ и проч. сравнительно очень благопріятны. Русское печатное слово поставлено правительствомъ въ извѣстныя рамки, расширенія которыхъ мы можемъ желать, но которыя должны принять какъ данныя, не отъ насъ зависящія. Но есть еще другая сторона истинно свободнаго слова, которую,—

Digitized by Google

по крайней мѣрѣ, до извѣстной степени,—мы, писатели, можемъ сами осуществить. Это—свобода внутренняя, свобода отъ всѣхъ стороннихъ соображеній, кромѣ тѣхъ, которыя повелительно рекомендуются цензурнымъ уставомъ и цензурною практикой и которыя, какъ сказано, не отъ насъ зависятъ. Не свободно мое слово, если я вынесъ его на рынокъ и продаю тому, кто дастъ больше,—купившій такъ или иначе, прямо или косвенно, наложитъ на него свою руку, и тяжела бываетъ рука купившаго. Не свободно мое слово, если я изъ какихъ-бы то ни было видовъ желаю угодить властнымъ-ли людямъ, или безвластной толпѣ въ ея сегодняшнемъ настроеніи,—я могу, при извѣстныхъ благопріятныхъ условіяхъ, имѣть чрезвычайно свободный видъ, но это именно только одна видимость. Не свободно мое слово, если я подобенъ флюгеру, поворачивающемуся въ ту сторону, куда дуетъ вѣтеръ,—развѣ флюгеръ свободенъ, развѣ онъ, напротивъ того, не покорнѣйшій изъ рабовъ? Не свободно, наконецъ, мое слово, если оно направляется завистью, личною враждой, самолюбіемъ, легкомысленнымъ желаніемъ сказать непремѣнно „новое слово", когда его нѣтъ въ запасѣ, или желаніемъ перещеголять всѣхъ конкуррентовъ „консерватизмомъ" и т. п. Въ самомъ дѣлѣ, припомните, напримѣръ, замѣтку „Развѣнчанный Некрасовъ", о которой я говорилъ выше. Кажется, ужъ какъ свободно отнесся человѣкъ къ знаменитому поэту: что только его душенькѣ хотѣлось, то и навалилъ на гробъ покойника, не соображаясь ни съ дѣйствительными фактами, ни съ логикой, ни съ простымъ здравымъ смысломъ,—на что ужъ свободнѣе! А, между тѣмъ, возможно, что его истинныя убѣжденія, тамъ, въ глубинѣ души сидящія, не до такой уже степени нелѣпы, но его position oblige (я чуть-чуть не написалъ noblesse oblige, что было-бы большою ошибкой); совершенно постороннія обстоятельства обязываютъ его сказать что-нибудь покруче о Некрасовѣ, и потому вовсе онъ не свободенъ. Можетъ быть, даже кн. Мещерскій, столь, повидимому, свободно отнесшійся къ циркуляру училищнаго совѣта святѣйшаго синода, въ сущности, не убѣжденъ, что христіанское ученіе и консервативная политическая программа предписываютъ пороть дѣтей; но желаніе заскочить дальше далекаго мѣшаетъ ему свободно изложить свои истинныя убѣжденія. Позволю себѣ привести еще одинъ примѣръ, нѣсколько личнаго характера. Я прочиталъ въ одной изъ „Книжекъ Недѣли" статью г. Единицы

Digitized by Google

о Глѣбѣ Успенскомъ. Очень тоже, повидимому, свободно написанная статья. Но это только такъ кажется, что видно уже изъ того, что въ статьѣ удѣлено мнѣ, пожалуй, столько-же мѣста, какъ и Успенскому. А обо мнѣ пространно излагается, что я глупъ, бездаренъ, невѣжественъ и не умѣю писать по-русски. Я почти увѣренъ, что это не есть истинное убѣжденіе „Недѣли“ и что, въ данномъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, слово почтенной газеты отнюдь не свободно отъ соображеній совершенно постороннихъ.

Свободное, въ указанномъ смыслѣ, слово почти неосуществимо, какъ общее правило, потому что слабъ человѣкъ. Но большее или меньшее приближеніе къ нему возможно, что доказывается фактами исторіи русской литературы, примѣрами людей, болѣе или менѣе послѣдовательно осуществлявшихъ своею жизнью свои высокія понятія объ обязанностяхъ литературы. И эти люди по истинѣ могутъ называться „носителями священнаго огня“. Въ доброе старое дореформенное время быть такимъ носителемъ священнаго огня въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ было легче, чѣмъ въ наши многосложные, многотрудные дни. Конечно, и тогда существовали человѣческія слабости, вродѣ зависти, личнаго озлобленія, чрезмѣрнаго самолюбія, алчности,—существовали и отражались въ литературѣ, о чемъ слишкомъ хорошо свидѣтельствуютъ не только такія позорныя пятна на исторіи нашей литературы, какъ Булгаринъ, Гречъ, Сенковскій, но и другія, не столь явственно клейменныя, но въ своемъ родѣ не менѣе прискорбныя явленія. Существовала, однако, группа людей, достаточно привилегированная, матеріально обезпеченная и образованная, которая, посвящая себя литературѣ, уже самымъ положеніемъ своимъ была застрахована, по крайней мѣрѣ, отъ нѣкоторыхъ оскорбленій священному огню свободнаго слова. Обезпеченные наслѣдственнымъ добромъ, эти люди не знали работы изъ-за куска хлѣба и связанныхъ съ нею унизительныхъ условій рынка. Не было имъ надобности и угождать кому-бы то ни было, а обезпеченная готовыми хлѣбами, значительная, иногда даже блестящая образованность дозволяла имъ, еще до выступленія на литературное поприще, настолько оріентироваться въ вещахъ и идеяхъ, чтобы потомъ уже не шататься отъ дуновенія зефировъ и аквилоновъ. Но увы! всѣ эти благопріятныя для истинно-свободнаго слова обстоятельства коренились въ готовыхъ хлѣбахъ

Digitized by Google

крѣпостного права, борьба съ которымъ составляла высшую задачу тѣхъ самыхъ людей, которымъ она гарантировала священный огонь. Это внутреннее противорѣчіе не могло не дѣйствовать разлагающимъ образомъ. Были, однако, и въ то время люди, лишенные благопріятной обстановки, и, тѣмъ не менѣе, высоко державшіе знамя литературы. Таковъ Бѣлинскій. Вотъ человѣкъ истинно-свободнаго слова, даже въ противорѣчіяхъ своихъ идеально-благородно умѣвшій сочетать ремесло съ несеніемъ священнаго огня! Но для большинства такое сочетаніе не подъ силу. И потому, когда съ паденіемъ крѣпостного права, съ одной стороны, сократились рессурсы бывшихъ господъ, а съ другой—на общественную, въ томъ числѣ и на литературную арену хлынула масса новыхъ людей, и литература стала для многихъ ремесломъ, профессіональнымъ источникомъ пропитанія, образовались два теченія. Явились новые люди свободнаго слова, матеріально хуже предъидущаго литературнаго поколѣнія обставленные, но за-то и безъ наслѣдственнаго рабовладѣльческаго пятна; однако, вмѣстѣ съ тѣмъ, рыночная конкурренція даетъ свои обычные непріятные эффекты, и даже болѣе, чѣмъ обычные, вслѣдствіе особенныхъ условій литературнаго рынка: нѣкоторые товары время отъ времени съ него удаляются внѣшними обстоятельствами. При этомъ многимъ и многимъ, мало талантливымъ или нравственно-нестойкимъ, или распаленнымъ чрезмѣрными аппетитами, оказывается не до священнаго огня, не до свободнаго слова. Нѣкоторые изъ нихъ не имѣютъ никакихъ убѣжденій, а только „владѣютъ перомъ“; это—чистокровные наемники, безъ всякой внутренней борьбы, безъ всякаго насилія надъ собой строчащіе по заказу того или другого поставщика печатныхъ произведеній на рынокъ. А поставщики эти въ свою очередь обдѣлываютъ свои собственныя дѣлишки при помощи литературы: кому нужно шести-этажный домъ выстроить, кому—консерватизмомъ или „новымъ словомъ“ ослѣпительно блеснуть и т. д. Есть, однако-же, и такіе, въ которыхъ сохранились убѣжденія или нѣчто подобное имъ, но слово ихъ не свободно, благодаря все той-же сложной сѣти условій литературнаго рынка. Такъ или иначе, они продались, и „горе грѣшнику, на двѣ стези ходящу“! Если они, на поверхностный взглядъ, чрезвычайно свободно изрыгаютъ хулу на свои былыя вѣрованія, въ негодности которыхъ они, однако, вовсе не убѣждены, и громогласно, стараясь пере-

Digitized by Google

кричать всѣхъ конкуррентовъ, поютъ хвалу идеямъ и вещамъ, въ достоинствахъ которыхъ тоже не убѣждены,—такъ развѣ это свобода? Пользуясь обстоятельствами, напримѣръ, тѣмъ, что ихъ былыя вѣрованія находятся нынѣ не въ авантажѣ, они срываютъ свою личную злобу и вообще обдѣлываютъ свои маленькія дѣлишки, но это не свободное слово, а растлѣніе нравовъ. Негодовать на это растлѣніе, брезгливо сторониться отъ него—не значитъ быть нетерпимымъ. Нетерпимость прямо враждебна свободѣ слова, а тутъ, какъ видите, все дѣло именно въ требованіи свободнаго слова, какъ отъ себя, такъ и отъ другихъ.

Мнѣ хочется извлечь изъ писемъ Шелгунова еще одну любопытную черту, болѣе личнаго свойства, но хорошо его характеризующую, какъ человѣка, да и не лишенную нѣкотораго общаго значенія.

Въ моемъ распоряженіи есть нѣсколько тетрадей писемъ покойнаго писателя къ любимой дѣвушкѣ, ставшей потомъ его невѣстой и, наконецъ, женой. Первыя тетради относятся еще къ сороковымъ годамъ. Нѣкоторыя изъ нихъ состоятъ не собственно изъ писемъ, а изъ дневниковъ или „журналовъ“ въ эпистолярной формѣ. Въ большинствѣ, это обыкновенныя любовныя посланія, переполненныя страстными признаніями, ласковыми словами, обѣщаніями и требованіями вѣрности и проч. Я, конечно, не трону этихъ столько-же обыкновенныхъ, сколько интимныхъ сторонъ переписки. Я прошу только читателя помнить, что это писано въ сороковыхъ годахъ и совсѣмъ молодымъ человѣкомъ.

Въ одной изъ тетрадей, между прочимъ, написано: „Супружескія обязанности, налагаемыя Богомъ и закономъ людей на супруговъ, меня пугаютъ; я слишкомъ уважаю невинность и дѣвственную чистоту и полагаю, что первое сближеніе супруговъ, которое, по моему физическому и нравственному устройству, никогда не можетъ лишить меня сознанія и отуманить совершенно мою голову, испугаетъ меня; мнѣ кажется, что это сближеніе оскорбитъ нѣкоторымъ образомъ женщину, не въ ея собственныхъ понятіяхъ, а во взглядѣ на нее мужчины, который видитъ въ ней не женщину-человѣка, а женщину-ангела; матеріальное сближеніе прямо говоритъ: это женщина-плоть, а не женщина-духъ, а я ищу духа, а не плоти. Что дѣлать мнѣ? Какъ согласить свои понятія съ закономъ? А, между тѣмъ, не забудьте борьбу духа и плоти, которую мнѣ придется испытывать по-

Digitized by Google

стоянно. Не надобно быть пророкомъ, чтобы угадать, что плоть восторжествуетъ надъ духомъ, и тогда... что тогда? И тогда нужно понимать непремѣнно, что связь супруговъ выражается хотя и въ матеріальномъ ихъ сближеніи, однако духовность есть начало, причина и вина всего,—нужно понимать, что не духъ живетъ для плоти, а плоть для духа,—и сближеніе супруговъ совершается не для ихъ лица, а для выполненія закона божескаго, слѣдовательно, для цѣли болѣе высшей, чѣмъ обыкновенное безсознательное сближеніе многихъ людей и всѣхъ животныхъ. Л—а, я не извиняюсь передъ вами за сегодняшній журналъ, потому что я пишу къ вамъ не какъ къ Л—ѣ дѣвственницѣ, а какъ къ Л—ѣ женѣ. Вамъ должны быть извѣстны мои взгляды на бракъ, цѣль котораго заключается въ высокой обязанности человѣка произвести себѣ подобнаго и сдѣлать его достойнымъ имени человѣка, существа духовно-разумнаго".

Мотивъ этотъ еще повторяется въ „журналахъ";—очевидно, этотъ щекотливый пунктъ очень мучилъ юнаго Шелгунова. Сквозь наивнодоктринерскій тонъ и запутанную неумѣлую аргументацію, изъ этихъ строкъ смотритъ на васъ такая чистая душа, съ которою очень полезно познакомиться всѣмъ, смущеннымъ „Крейцеровою сонатой". Въ самомъ дѣлѣ, здѣсь есть какъ будто нѣчто общее съ рѣчами Позднышева,—то-же опасливо-брезгливое отношеніе къ плотской любви. Но какая, вмѣстѣ съ тѣмъ, огромная, неизмѣримая разница! Начать съ того, что Позднышевъ есть, по его собственному сознанію, развратникъ, многое въ жизни испытавшій и никогда ничего, кромѣ чисто-животнаго влеченія, къ своей женѣ не питавшій. Онъ опомнился только послѣ страшной катастрофы и, можетъ быть, уже на склонѣ лѣтъ, когда въ немъ уже совсѣмъ потухъ огонь животной страсти и когда ему, значитъ, было очень легко превратиться въ того diable qui prêche la morale. А еще хвалится, что добрался до высшей моральной истины! Въ сущности, онъ съ высоты этой моральной истины дѣлаетъ то-же самое, что дѣлаетъ человѣкъ, отказывающійся отъ наслѣдства, на которомъ лежатъ долги, въ суммѣ превышающіе цѣнность самаго наслѣдства,—не особенно великодушный поступокъ. А, между тѣмъ, обжегшись на своемъ молокѣ, Позднышевъ дуетъ и на чужую воду,—обвиняетъ все человѣчество поголовно въ развратѣ, а природу—въ неестественности, и не находитъ лучшаго выхода, какъ уничтоженіе человѣческаго рода...

Digitized by Google

Уже въ первомъ изъ предлагаемыхъ набросковъ я говорилъ о томъ, что хотя въ фактическихъ показаніяхъ Позднышева много горькой правды, но, во-первыхъ, это не полная правда, а во-вторыхъ, изъ нея слѣдуютъ совсѣмъ не тѣ выводы, которые дѣлаетъ Позднышевъ. И вотъ подтвержденіе. Шелгуновъ, еще молодой офицеръ, недавно разставшійся со школьною скамьей, притомъ страстно влюбленный въ свою невѣсту, умѣетъ-же подчинить свою физику своей психикѣ и, отнюдь не проклиная животнаго инстинкта, одухотворить его. Я не говорю, разумѣется, чтобы это было очень обыкновенное явленіе. Напротивъ, условія нашей жизни вообще и нашего школьнаго воспитанія въ особенности дѣлаютъ его рѣдкостью. Но если фактъ существованія немногихъ праведниковъ могъ повести къ спасенію цѣлаго грѣшнаго города, то хотя-бы и немногіе факты того разряда, къ которому относится приведенное письмо Шелгунова, могутъ, по крайней мѣрѣ, оградить человѣческую природу отъ хулы, въ особенности отъ хулы со стороны пресыщенныхъ развратниковъ, вродѣ Позднышева. Не правда, что человѣкъ есть безнадежное животное, которому только и остается, что освободить лицо земли отъ своего позорнаго существованія. Возможны пышные и яркіе психологическіе цвѣты на стеблѣ, выросшемъ изъ физіологическихъ корней. Не смѣетъ всякій развратникъ или просто несчастный человѣкъ обобщать свой личный опытъ до размѣровъ клеветы на человѣчество...

И еще маленькая разница. Маленькая! Шелгуновъ видитъ цѣль брака въ томъ, чтобы „произвести себѣ подобнаго и сдѣлать его достойнымъ имени человѣка, существа духовно-разумнаго“. Я не раздѣляю этого мнѣнія. Цѣли природы намъ неизвѣстны, неизвѣстно даже, существуютъ-ли онѣ, а съ человѣческой точки зрѣнія потомство есть не цѣль, а послѣдствіе брака,— послѣдствіе, которое должно быть встрѣчено съ подобающимъ сознаніемъ его огромнаго значенія. Но мнѣніе, высказанное въ сороковыхъ годахъ юнымъ офицеромъ Шелгуновымъ и, конечно, многими и многими гораздо раньше его, было еще не такъ давно повторено гр. Л. Н. Толстымъ. Особенность графа состояла лишь въ томъ, что онъ именно женщинѣ усвоивалъ функцію дѣторожденія, какъ единственную и исключительную цѣль жизни. Впрочемъ, и это давно сказано, отнюдь, впрочемъ, не Шелгуновымъ, который предоставлялъ женщинѣ широкую дѣя-

Digitized by Google

тельность. Сказано это разными книжниками добраго стараго времени, да и всѣмъ этимъ добрымъ старымъ временемъ въ его цѣлокупности. Какъ-бы то ни было, Позднышевъ не хочетъ знать приведеннаго мнѣнія графа Толстого. Идеалъ женщины для него не мать, всецѣло поглощенная своими материнскими обязанностями, а, напротивъ того, старая дѣва. Что-же касается потомства, то его не нужно, а нуженъ, напротивъ, рѣшительный отказъ отъ дурной и „неестественной“ привычки производить дѣтей, нужно прекращеніе человѣческаго рода...

Я кончилъ съ письмами Шелгунова. Теперь не время продолжать изъ нихъ извлеченія, какъ-бы они ни были поучительны. Я не прощаюсь, однако, съ этимъ милымъ моему сердцу, благороднѣйшимъ человѣкомъ и еще вернусь къ нему, когда позволятъ обстоятельства.

А теперь, разъ зашелъ разговоръ о Позднышевѣ, мнѣ хочется его кончить или, по крайней мѣрѣ, продолжить собственно для выясненія одной подробности. Подробность эта такова, однако, что охватываетъ собою если не вселенную, то земной шаръ и человѣчество.

Не отступая передъ мыслью о прекращеніи человѣческаго рода, Позднышевъ мотивируетъ эту свою храбрость, между прочимъ, тѣмъ, что, вѣдь, многія философскія и многія научныя теоріи разсуждаютъ либо объ исчезновеніи человѣческаго рода съ лица земли, либо о прекращеніи бытія этого самаго лица земли; почему-же ему, Позднышеву, отступать предъ этимъ фактомъ будущаго, неизбѣжность котораго признается съ самыхъ разнообразныхъ точекъ зрѣнія? Дѣйствительно, физики, астрономы, философы разныхъ системъ и оттѣнковъ, наконецъ простые люди, чуждые всякой наукѣ, говорятъ о концѣ міра. И какъ-же, спрашивается, быть со всѣми нашими идеалами въ виду этого конца міра, какъ подойти къ нему? Есть люди, возлагающіе въ трудныхъ вопросахъ всѣ надежды на успѣхи техники: дескать, изобрѣтемъ такія смертоносныя орудія, что страшнѣе страшнаго, и войны прекратятся; откроемъ способъ искусственнаго приготовленія бѣлковины, и аграрный вопросъ упразднится, и т. п. Какъ-бы мы ни относились къ этимъ надеждамъ, но въ данномъ случаѣ на техническій идеалъ разсчитывать не приходится. Трудно, въ самомъ дѣлѣ, допустить, чтобы техника, какъ-бы далеко она ни пошла, съумѣла предотвратить конецъ міра; этотъ техниче-

Digitized by Google

скій идеалъ недостижимъ. Но вовсе не трудно представить себѣ, что человѣчество встрѣтитъ свой конецъ въ доспѣхахъ общественнаго идеала, воплощенія правды. Это именно и имѣетъ въ виду Позднышевъ: онъ хочетъ, чтобы человѣчество подошло къ своему неизбѣжному концу путемъ нравственнаго ученія, зиждущагося на преодолѣніи половой страсти. Въ этомъ онъ полагаетъ свою оригинальность. Но онъ ошибается. Я думаю даже, что онъ втайнѣ почитываетъ кое-какія книжки, изъ которыхъ и почерпнулъ свою общую идею, уснастивъ ее нѣкоторыми собственными украшеніями. А можетъ быть, впрочемъ, онъ и своимъ умомъ дошелъ до открытія Америки. Это тоже бываетъ. Укажу для примѣра на Прудона, который въ „Системѣ экономическихъ противорѣчій" утверждаетъ, что напряженность половой страсти и способность дѣторожденія должны, вмѣстѣ съ развитіемъ общественности, постепенно ослабѣвать. Мысль эта играетъ существенную роль въ его опроверженіи теоріи Мальтуса. А въ книгѣ его „Объ искусствѣ" есть слѣдующія поэтическія слова: „Человѣчество когда-нибудь кончится, говорятъ нѣкоторые; земля, служившая ему колыбелью, сдѣлается для него гробницей. Я могу допустить, что планета наша можетъ состариться, хотя я этого и не знаю; я допускаю это потому, что планета—не духъ, не совѣсть и не свобода; но, въ такомъ случаѣ, человѣчество, постепенно уменьшаясь вслѣдствіе неблагопріятныхъ условій почвы, уничтожится, такъ сказать, добровольно, не истощившись, а перейдя въ высшую духовность. Достигнувъ совершенства, человѣкъ кончится. Достигнувъ высшей ступени сознанія, пониманія свободы и своего достоинства, въ виду истощенной, дряхлой природы, ставшей ниже его, одухотворенный человѣкъ, безъ сожалѣнія къ своей неудавшейся судьбѣ, долженъ будетъ согласиться съ необходимостью и завѣщать свою душу болѣе юному міру".

Мнѣ кажется, что мысль Прудона, въ связи съ вышесказаннымъ, станетъ яснѣе, если мы прибѣгнемъ къ аналогіи съ судьбами единичнаго человѣка. Никакая техника не въ состояніи сдѣлать человѣка безсмертнымъ въ прямомъ смыслѣ этого слова, и техническій идеалъ можетъ состоять въ этомъ отношеніи только въ большемъ или меньшемъ отдаленіи момента смерти. Но идеалу нравственному нѣтъ до этого никакого дѣла. Онъ долженъ выработать такое общее направленіе жизни, которое, удовлетворяя требованіямъ чести и совѣсти, вмѣстѣ съ тѣмъ

Digitized by Google

дозволило-бы встрѣтить неизбѣжный смертный конецъ спокойно и непостыдно, безъ страха и упрека. Я теперь говорю это только въ видѣ иллюстраціи и постараюсь когда-нибудь вернуться къ этому любопытному сюжету.

Что касается постепенной убыли способности дѣторожденія, то объ этомъ читатель можетъ найти хорошо сгруппированныя указанія въ послѣднихъ главахъ „Основаній біологіи“ Спенсера. Позволю себѣ также напомнить мою „Борьбу за индивидуальность“, гдѣ говорится объ убыли не только способности дѣторожденія, но и половой страсти, при условіи ослабленія общественнаго раздѣленія труда вообще, раздѣленія труда мужского и женскаго въ частности. Я полагаю, что преувеличенный жаръ половой страсти долженъ убывать по мѣрѣ того, какъ мужчина будетъ утрачивать тѣ спеціальныя черты „мужественности“, которыя завѣщаны періодомъ исключительно боевой жизни, а женщина, путемъ образованія и сознательнаго участія въ общественной жизни, отдѣлается отъ столь-же спеціальныхъ чертъ „женственности“,—по мѣрѣ того, словомъ, какъ и мужчина, и женщина будутъ становиться людьми.

Итакъ, я ничего не имѣю противъ общей идеи Позднышева. Напротивъ, считаю ее вполнѣ правильною и плодотворною. Но, кромѣ тѣхъ общихъ причинъ, которыя Позднышеву все дѣло портятъ и о которыхъ я говорилъ уже въ другомъ мѣстѣ, а потому теперь распространяться не буду, теорія нравственнаго подготовленія къ концу міра испорчена грубѣйшею ошибкой исторической перспективы.

Тотчасъ вслѣдъ за мыслью о возможности прекращенія человѣческаго рода и въ связи съ ней, Позднышевъ выражаетъ свое негодованіе по поводу отношенія общества къ положенію старой дѣвы. Ему кажется, что это положеніе прекрасно,—лучшее и счастливѣйшее, какое только возможно для женщины. Въ частности онъ негодуетъ на то, что дѣвушки выходятъ замужъ „за негодяевъ“, лишь-бы не остаться дѣвой, то-есть „высшимъ существомъ“. Безъ сомнѣнія, очень прискорбно, когда дѣвушки выходятъ замужъ не потому, что любятъ, а потому единственно, что боятся остаться „въ дѣвкахъ“. Дѣлается-ли это въ виду злыхъ и глупыхъ насмѣшекъ надъ старыми дѣвами, или ради обезпеченія себѣ куска хлѣба,—оно во всякомъ случаѣ прискорбно. И сугубо прискорбно, когда дѣвушки выходятъ при

Digitized by Google

этомъ еще „за негодяевъ“, а не за порядочныхъ людей, которые, вѣдь, все-таки, существуютъ на бѣломъ свѣтѣ. Но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы положеніе старой дѣвы было лучшее и счастливѣйшее. Нѣтъ, вообще говоря,—потому что есть, конечно, исключенія,—оно очень печально и совершенно ненормально. До такой степени печально и ненормально, что всякіе комплименты этому положенію звучатъ оскорбительною и, притомъ, незаслуженною насмѣшкой,—въ особенности въ устахъ Позднышева, который не вѣритъ даже тому, что дѣвушка можетъ хотѣть учиться безъ задней мысли о женихахъ. Поневолѣ опять и опять вспомнишь Салтыкова, который, по крайней мѣрѣ, не хуже Позднышева понималъ терніи современнаго брака и семьи, но понималъ также, что положеніе старой дѣвы отнюдь не лучшее и счастливѣйшее. Въ разсказахъ „Христова невѣста“, „Полковницкая дочь“ онъ отнесся къ этимъ неудачницамъ съ такою теплою и гуманною скорбью, въ сравненіи съ которою комплименты Позднышева поражаютъ своимъ холоднымъ безсердечіемъ.

Но главное дѣло для насъ здѣсь не въ нравственныхъ качествахъ Позднышева, а въ той будто-бы логической связи, которую онъ устанавливаетъ между нравственнымъ ученіемъ, долженствующимъ подготовить насъ къ концу міра, и положеніемъ старой дѣвы въ теперешнемъ обществѣ. Въ этомъ-то и состоитъ грубая ошибка исторической перспективы. Одно дѣло постепенная убыль напряженности половой страсти въ ряду поколѣній и при извѣстныхъ благопріятствующихъ этому соціальныхъ условіяхъ, и совсѣмъ другое дѣло отказъ отъ любви сейчасъ, когда она составляетъ для огромнаго, подавляющаго большинства людей естественную потребность, настоятельно и правомѣрно ищущую удовлетворенія. Въ первомъ случаѣ мы имѣемъ ожиданіе и историческую выработку извѣстнаго измѣненія человѣческой природы, во второмъ—прямое насиліе надъ ней, грубое, ничѣмъ не оправдываемое и, въ концѣ-концовъ, просто недостижимое. Позднышевъ можетъ ставить эти двѣ столь различныя вещи за одну скобку, собственно потому, что онъ, какъ развратникъ, не представляетъ себѣ возможности любви, одухотворенной нравственнымъ единеніемъ. Но для всякаго, въ комъ разумъ и сердце не выѣдены развратомъ, ясно, что положеніе старой дѣвы въ теперешнемъ обществѣ не имѣетъ рѣшительно ничего общаго съ тѣмъ идеальнымъ общественнымъ строемъ далекаго будущаго, въ

Digitized by Google

которомъ половая страсть доведена до возможнаго minimum'а. Для достиженія этого идеала нужно не насильственное подавленіе естественной потребности,—напротивъ, „жизнью пользуйся живущій“, настояще пользуйся, не впадая ни въ мрачный аскетизмъ, ни въ необузданный развратъ. Если исковеркана жизнь Позднышева и его жены, взаимныя отношенія которыхъ исчерпывались животною страстью, то въ своемъ родѣ не менѣе искалѣчена жизнь старой дѣвы, не испытавшей радостей, которыми Позднышевъ, по развращенности своей, злоупотребилъ. И если онъ, ad majorem gloriam старой дѣвы, ссылается на отдаленное будущее, когда любовь утратитъ теперешнее свое острое значеніе, то это не болѣе, какъ грубая ошибка исторической перспективы.

Въ одномъ періодическомъ изданіи я прочиталъ обѣщаніе подробно поговорить о моихъ „воспоминаніяхъ“ „послѣ ихъ окончанія“. Милостивые государи, если мои „воспоминанія“ настолько обратили на себя ваше вниманіе, что вы предполагаете подвергнуть ихъ своему страшному или милостивому суду, то вы можете сдѣлать это немедленно, не дожидаясь окончанія, ибо не только этого окончанія, а, можетъ быть, и продолженія ихъ не будетъ.

Если благосклонный читатель припомнитъ, я былъ натолкнутъ смертью Г. З. Елисеева на литературныя воспоминанія, но тогда же оговорился, что отнюдь не обязуясь только вспоминать.

„Много еще похоронъ вы увидите“,—писалъ мнѣ однажды Салтыковъ, опасаясь за жизнь Елисеева, который былъ въ то время очень боленъ. Не знаю, много-ли еще похоронъ мнѣ остается увидать, но знаю, что я ихъ за послѣднее время видѣлъ уже слишкомъ достаточно, чтобы почувствовать, кромѣ горечи личныхъ потерь, живѣйшую скорбь за сиротѣющую русскую литературу. Да простятъ мнѣ молодые и только числящіеся молодыми (есть и такіе) писатели, но ихъ присутствіе не разубѣждаетъ меня въ сиротствѣ литературы. Дѣло не въ талантахъ, которые есть, пожалуй, и теперь, но которые сами по себѣ не въ силахъ измѣнить печальное положеніе вещей. Есть между нынѣшними талантами и довольно крупные. Въ другое время они, вѣроятно, расцвѣли-бы яркимъ цвѣтомъ. Но такова нынѣ общая атмосфера, что они или зря разбрасываются, или вянутъ, не

Digitized by Google

успѣвши расцвѣсть. А эта мертвящая общая атмосфера послѣднихъ годовъ характеризуется, главнымъ образомъ, тѣмъ, что литература и жизнь обнаруживаютъ, каждая съ своей стороны, рѣзкую тенденцію отлучиться другъ отъ друга, разорвать ту естественную цѣпь, которая въ принципѣ должна ихъ связывать. Есть факты болѣе печальные сами по себѣ, чѣмъ это взаимное отлученіе, но, можетъ быть, нѣтъ факта болѣе чреватаго печальными послѣдствіями. Многое здѣсь опредѣляется чисто внѣшними неблагопріятными условіями и можетъ измѣниться лишь съ измѣненіемъ этихъ условій. Но слишкомъ часто бываетъ, что элементы, страдающіе отъ внѣшнихъ условій, съ холопскою торопливостью сами забѣгаютъ впередъ, на встрѣчу своему несчастью, позору или безсилію. И если біеніе пульса жизни все слабѣе и слабѣе чувствуется въ литературѣ, а сообразно этому блѣднѣетъ и роль литературы въ жизни, то значительная часть отвѣтственности за этотъ ненормальный порядокъ вещей лежитъ на насъ, писателяхъ. Какъ-бы ни были тяжелы обстоятельства, но всегда можно, по крайней мѣрѣ, бережно относиться къ наслѣдію прошлаго, дабы хоть его передать въ неприкосновенности будущему. Если кто чувствуетъ себя въ силахъ приростить это наслѣдство новыми, оригинальными вкладами,—прекрасно. Но это возможно лишь на почвѣ общенія литературы и жизни, каковое общеніе уже было достигнуто. Убыль людей, воспитанныхъ на этой почвѣ, а частью даже создавшихъ ее, или, по крайней мѣрѣ, вложившихъ въ нее весь трудъ своей жизни, естественно вызываетъ воспоминанія. Но та-же убыль, и столь-же естественно, наводитъ на разныя размышленія о явленіяхъ текущей литературы и жизни. Одинъ рецензентъ попрекнулъ меня обиліемъ отклоненій отъ моей задачи, которая, дескать, состоитъ въ литературной автобіографіи. За-то другой рецензентъ обвинилъ, напротивъ, въ обиліи мелочныхъ автобіографическихъ подробностей. На всѣхъ не угодишь, и я меньше всего думаю о томъ, чтобы угодить кому-бы то ни было.

Въ предисловіи къ своей, мало у насъ извѣстной, но достойной всякаго вниманія „Geschichte der russischen Literatur von ihren Anfängen bis auf die neueste Zeit“, Рейнгольдтъ говоритъ, между прочимъ: „Въ послѣдніе годы интересъ Европы къ русской духовной культурѣ достигъ почти баснословныхъ размѣровъ. Юліанъ Шмидтъ, Георгъ Брандесъ, де-Вогюэ, де-Губерна-

Digitized by Google

тись и множество другихъ корифеевъ европейской критики въ пламенныхъ выраженіяхъ изливаютъ свое изумленіе и восторгъ. Особенно поразительно слѣдующее признаніе серьезнѣйшаго и осторожнѣйшаго изъ французскихъ критиковъ, де-Вогюэ: „Начало XIX вѣка возбудило въ насъ новыя потребности. Но всѣ наши собственные фонды оказались уже изсякшими. Мы сдѣлали займы въ Англіи и Германіи, и литература вновь оживилась. Теперь для Франціи опять наступило время голода и анеміи. Русскіе во-время пришли къ намъ на помощь. Тѣмъ, кто стѣсняется заимствовать что-нибудь у „варваровъ", напомнимъ, что міръ есть гигантское общество взаимной поддержки и любви. Въ коранѣ есть превосходное указаніе: „По какому признаку можно будетъ узнать приближающійся конецъ міра? Въ тотъ день ни одна душа не будетъ способна помочь другой душѣ". Пусть-же русская душа помогаетъ нашей!" И не по случайному совпаденію другой французъ, Сарсэ, говоритъ то-же самое: „Еще никогда не оправдывались въ такой мѣрѣ слова, часто повторявшіяся въ XVIII вѣкѣ: съ сѣвера идетъ къ намъ свѣтъ". Все это относится спеціально къ новѣйшимъ тріумфамъ русскаго реалистическаго романа (которому, мимоходомъ сказать, уже тридцать лѣтъ отъ роду). Этотъ романъ, конечно, можетъ быть названъ украшеніемъ всемірной литературы. Но изученіе русской литературы открываетъ ея тріумфы и на другихъ поприщахъ. „Колеблющаяся русская душа,—превосходно говоритъ де-Вогюэ,—прошла черезъ всѣ философскія ученія и заблужденія. Она остановилась на нигилизмѣ и пессимизмѣ... Но этотъ нигилизмъ никогда не принимался безъ горечи, эта душа никогда не оставалась нераскаянной. Она стонала и искала"... „Если,—продолжаетъ Рейнгольдтъ,—намъ удалось въ нашей книгѣ прослѣдить этотъ процессъ исканія истины, невольныхъ заблужденій и дѣятельной любви, то мы достаточно вознаграждены за свой трудъ".

Очень лестный букетъ поднесенъ нашей литературѣ Рейнгольдтомъ. Но все очень лестное, вмѣстѣ съ тѣмъ, немножко страшно, потому что налагаетъ большія обязанности, а сможемъ-ли и захотимъ-ли мы ихъ выполнить? Въ словахъ де-Вогюэ заключается какъ-бы подтвержденіе того противопоставленія мощи русскаго духа „гнилому Западу", которое когда-то играло большую роль въ нашей литературѣ. Слава Богу, сколько-нибудь громкихъ и вообще значительныхъ голосовъ на эту тему не слы-

Digitized by Google

хать нынѣ. Слава Богу, потому что нѣтъ ничего хуже самообмана, преувеличенной оцѣнки своихъ собственныхъ силъ. Чрезмѣрное самовосхищеніе не прошло даромъ даже такому красавцу, какъ Нарцисъ, а, вѣдь, не красавцы-же мы, въ самомъ дѣлѣ. Самообманъ въ свое время дорого намъ обошелся. Съ другой стороны, Западъ, конечно, нисколько не гніетъ и нравственные фонды его отнюдь не изсякли. Напротивъ, все заставляетъ думать, что эти фонды находятся наканунѣ новаго, вполнѣ самостоятельнаго, изъ нѣдръ самой европейской жизни истекающаго подъема. Въ ожиданіи его, литературы великихъ европейскихъ народовъ дѣйствительно переживаютъ кризисъ, причемъ не безъ вліянія оказываются оригинальныя явленія чуждыхъ литературъ, каковы нѣкоторые русскіе писатели или норвежецъ Ибсенъ. Но принимать расточаемыя намъ любезности à la lettre было-бы очень рискованно, въ особенности любезности французовъ, запутанныхъ искусственными и временными международными отношеніями. Но и помимо этого щекотливаго спеціальнаго пункта, большинство вліятельныхъ европейскихъ критиковъ, будучи плотью отъ плоти и кровью отъ крови извѣстнаго общественнаго слоя, при всѣхъ своихъ талантахъ, далеко не всегда вѣрно оцѣниваютъ всѣ рессурсы европейской жизни, такъ что со стороны даже виднѣе.

Несомнѣнно, однако, что русская литература не лыкомъ шита, что ей есть чѣмъ гордиться передъ цѣлымъ міромъ. Не только свѣта, что въ окошкѣ, не только то русская литература, что гаерски кувыркается, злобно клевещетъ, живетъ въ лѣсу, молится пенью и надъ святымъ издѣвается, и „Христа своего распинаетъ, и отчизну свою продаетъ“. Есть въ русской литературѣ не только бриллiанты-солитеры огромной цѣнности, одиноко блещущіе несравненною красотой своихъ граней, а и цѣлыя теченія, въ которыхъ принимали участіе и большія, и среднія, и малыя силы, и которыя, конечно, не посрамятъ земли Русской. „Умру на журналѣ и въ гробъ велю положить подъ голову книжку „Отечественныхъ Записокъ“. Я литераторъ, говорю это съ болѣзненнымъ и вмѣстѣ радостнымъ и гордымъ убѣжденіемъ. Литературѣ рассейской моя жизнь и моя кровь“. Такъ писалъ Бѣлинскій въ одномъ частномъ письмѣ и всею своею жизнью засвидѣтельствовалъ, что это не фраза была. Европа, конечно, никогда не узнаетъ сочиненій Бѣлинскаго такъ, какъ знаемъ

Digitized by Google

или, по крайней мѣрѣ, можемъ и должны знать мы, да и незачѣмъ ей знать. Но мы и ей можемъ съ гордостью показать самого Бѣлинскаго и разсказать тотъ процессъ его „исканія истины, невольныхъ заблужденій и дѣятельной любви“, о которомъ говоритъ Рейнгольдтъ. Бѣда, однако, въ томъ, что мы часто сами не знаемъ работниковъ, мучениковъ и героевъ своей литературы, не знаемъ ея исторіи. Говорю это не только о массѣ читателей, но и о многихъ писателяхъ. Отсюда и происходитъ, что въ текущей литературѣ такъ часто комически-развязно открываются давно открытыя Америки и нагло третируются такія явленія давняго или недавняго прошлаго, которыя заслуживаютъ самаго почтительнаго отношенія. Нерѣдки также огульныя сужденія, уже самою своею огульностью свидѣтельствующія о маломъ знакомствѣ автора съ предметомъ его бесѣды. Это непозволительное незнаніе исторіи родной литературы особенно сказывается по отношенію къ новой литературѣ, къ той, которая, по своей-ли новости или по другимъ причинамъ, еще не попала въ школьные учебники. Со старою литературой мы хотя и плохо, но, все-таки, кое-какъ знакомимся въ школахъ; сегодняшнюю литературу не то чтобы знаемъ, но, все-таки, почитываемъ, а вчерашняго дня уже совсѣмъ не знаемъ. Частью это объясняется тѣми катаклизмами, которыя у насъ нерѣдко отдѣляютъ вчерашній день отъ сегодня. Для массы читателей это, пожалуй, даже не только объясненіе, а и оправданіе. Но для писателей такое оправданіе не существуетъ. Они обязаны знать своихъ предшественниковъ на литературномъ поприщѣ; знать не диллетантски, а съ проникновеніемъ въ самую суть ихъ духовной жизни и во всѣ подробности той иногда очень тяжкой внутренней борьбы и борьбы съ обстоятельствами, которую имъ пришлось вытерпѣть при выработкѣ идей, ставшихъ, можетъ быть, теперь ходячею размѣнною монетой. Знать это, конечно, не мѣшаетъ и не писателямъ по профессіи, а просто читателямъ.

Заимствую изъ недавно вышедшей книги г. Скабичевскаго: „Исторія новѣйшей русской литературы (1847—1890)“ слѣдующія біографическія, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, и историко-литературныя подробности объ А. Н. Островскомъ.

Въ 1847 г. была напечатана въ „Москвитянинѣ“ пьеса Островскаго „Свои люди—сочтемся“. Первоначально она называлась „Банкротъ“, но это названіе почему-то не понравилось цензурѣ.

Digitized by Google

Пьеса произвела большое впечатлѣніе. Садовскій чуть не ежедневно читалъ ее въ обществѣ; но о постановкѣ ея на сцену не было, повидимому, и рѣчи, потому что и безъ того „московскіе купцы сильно оскорбились пьесою, пожаловались Закревскому (тогдашнему генералъ-губернатору), который призналъ ее вредной и оскорбительной для цѣлаго сословія, донесъ куда слѣдуетъ, и автора взяли подъ надзоръ полиціи, а о комедіи запретили говорить въ журналахъ“. По весьма вѣроятному предположенію г. Скабичевскаго, эта опала сильно смутила драматурга, потому что онъ, обнаружившій впослѣдствіи такую плодовитость, на нѣсколько лѣтъ замолкъ послѣ неудачи съ „Банкротомъ“. Въ 1853 г. написана комедія „Не въ свои сани не садись“. Когда предстояла постановка этой пьесы на петербургской сценѣ, „въ администраціи возбужденъ былъ вопросъ, не слѣдуетъ-ли снять ее со сцены, такъ какъ въ ней опозоривается дворянство на счетъ купечества, и театральное чиновничество сильно перетрусило, когда на первое представленіе явился самъ императоръ съ своимъ семействомъ. Но императоръ Николай Павловичъ спасъ пьесу: она такъ ему понравилась, что онъ выразился о ней: „очень мало пьесъ, которыя доставили-бы мнѣ такое удовольствіе,—ce n'est pas une pièce, c'est une leçon“. Такимъ образомъ, комедія, составляющая одно изъ украшеній русской литературы, была спасена лишь благодаря высокому одобренію самого императора. Въ 1856 г. „Доходное мѣсто“ было запрещено наканунѣ представленія и лишь впослѣдствіи дозволено. „Воспитанница“ тоже не была одобрена къ представленію, а затѣмъ дозволена лишь благодаря счастливой случайности, а именно благосклонности генерала Анненкова, временно исправлявшаго должность шефа жандармовъ. И все это только одна сторона дѣла. Островскому, кромѣ того, было суждено долго нести тяжесть матеріальныхъ лишеній и нравственныхъ униженій. Онъ жалуется на нихъ въ письмѣ къ актеру Бурдину уже будучи сорока слишкомъ лѣтъ, написавъ двадцать пять оригинальныхъ пьесъ, имѣвшихъ огромный успѣхъ и на сценѣ, и въ литературѣ. Подъ конецъ жизни фортуна повернулась къ Островскому лицомъ: его заслуги передъ родною литературой и сценой были признаны, онъ сталъ хозяиномъ излюбленнаго имъ театральнаго дѣла въ Москвѣ, а до извѣстной степени и во всей Россіи. Но смерть не ждетъ, и на Островскомъ лишній разъ оправдалась старая

Digitized by Google

язвительная сказка-притча о бѣлкѣ, которой достался мѣшокъ орѣховъ, когда у нея уже не было зубовъ...

Теперь Островскій спокойно помѣщается въ храмѣ славы, и мы безпрепятственно любуемся его пьесами, въ томъ числѣ и той, для спасенія которой въ свое время понадобилось доброе слово могущественнѣйшаго монарха. Нынѣшніе драматурги, развязные критики, утверждающіе, что Островскій „устарѣлъ", да и многое множество простыхъ зрителей и читателей многому безсознательно научились у Островскаго, и научились-бы еще большему, если-бы дѣлали это сознательно, хотя-бы руководствуясь „устарѣвшею" тоже критикой Добролюбова. Для большинства Островскій есть блестящій авторъ пьесъ: „Гроза", „Не въ свои сани не садись" и проч., пріятно волнующихъ, вызывающихъ то веселый смѣхъ, то „внезапно хлынувшія слезы съ огорченнаго лица". Иные готовы, впрочемъ, признать его знаменитостью былыхъ временъ, которую надлежитъ почтительно (хорошо еще, что почтительно!) сдать въ архивъ, дабы очистить мѣсто для новѣйшей драматургіи. Есть, конечно, люди, извлекающіе изъ Островскаго нѣчто, кромѣ извѣстной эстетической эмоціи и извѣстнаго скоропреходящаго настроенія. Но развѣ лишь очень немногимъ приходитъ въ голову, что Островскій есть не просто высоко-талантливый драматургъ, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, одинъ изъ выразителей извѣстнаго историческаго момента; и что исторія, подобно женщинѣ, „въ болѣзняхъ родитъ чада", „со скрежетомъ носитъ, со стономъ родитъ". Высоко поучителенъ тотъ путь всякаго рода борьбы и препятствій, не всегда, какъ у Островскаго, перемежаемыхъ счастливыми случайностями, которымъ судьба даже своихъ любимцевъ ведетъ въ храмъ славы. Любимый писатель только тогда станетъ вамъ вполнѣ ясенъ, когда вы, не довольствуясь отвлеченною его оцѣнкой, вдвинете его въ историческій процессъ и уразумѣете многочисленныя и многообразныя его связи съ жизнью. Не говоря о томъ, что его сильныя и слабыя стороны выступятъ при этомъ рельефнѣе, онъ станетъ вамъ ближе, роднѣе, дороже, когда вы узнаете, какой цѣной куплено то удовольствіе или та польза, которую вы получаете, читая его книгу или статью; какія радости и горести волновали самого писателя; какое наслѣдство получилъ онъ отъ своихъ предшественниковъ, съ кѣмъ изъ современниковъ дѣлилъ его, кому изъ потомства завѣщалъ.

Digitized by Google

Само собою разумѣется, что исторія не одни благосклонные приговоры изрекаетъ; она „добрыхъ прославляетъ и клеймитъ злодѣя и глупца“. И на историческомъ фонѣ, въ общей связи съ идеями и дѣлами своего времени, при наличности хорошо обслѣдованныхъ вещественныхъ и невещественныхъ доказательствъ злодѣйства и глупости, они опять-таки выступаютъ рельефнѣе. Судъ исторіи—страшный судъ. Конечно, далеко не всѣ раздѣляютъ мнѣніе Салтыкова, что непріятно попасть въ исторію съ клеймомъ злодѣя или глупца. Многимъ на судъ исторіи „вполнѣ и исключительно наплевать“, какъ выражается кто-то въ одномъ изъ разсказовъ Успенскаго, ибо, вѣдь, насъ не будетъ къ тому времени: пожилъ, потомъ умру, а тамъ хоть и совсѣмъ трава не рости, а не то, чтобы еще разбирать—такая или этакая трава. Бываютъ, однако, случаи, когда судъ исторіи застаетъ насъ еще въ живыхъ...

Я, однако, отнюдь не хочу этимъ сказать, что вышеупомянутая „Исторія новѣйшей русской литературы“ г. Скабичевскаго представляетъ собою судъ исторіи. Нѣтъ, это только судъ г. Скабичевскаго. Тѣмъ не менѣе, книга полезная, и авторъ совершенно основательно провидитъ въ предисловіи „слѣдующія изданія своей книги“. За ними, конечно, дѣло не станетъ. Мнѣ кажется, однако, что въ этихъ слѣдующихъ изданіяхъ автору надлежитъ озаботиться не только тѣми поправками и дополненіями, которыя онъ, судя по предисловію, имѣетъ въ виду, а и еще кое-какими. Г. Скабичевскій сожалѣетъ, что ему „обо многихъ писателяхъ, какъ умершихъ, такъ и въ особенности живыхъ, пришлось дать самыя скудныя біографическія данныя или-же и никакихъ не дать, по неимѣнію ихъ“. Эти пробѣлы онъ и обѣщаетъ восполнить въ слѣдующихъ изданіяхъ. Это хорошо, конечно, но, повторяю, не въ скудости только нѣкоторыхъ біографическихъ данныхъ состоятъ пробѣлы книги г. Скабичевскаго.

Начну съ подробностей. „Исторія новѣйшей русской литературы“ появилась какъ разъ около времени смерти Н. В. Шелгунова; получивъ книгу, я, натурально, сталъ искать въ ней страницъ, посвященныхъ покойнику, литературная дѣятельность котораго занимаетъ добрыхъ три четверти періода, избраннаго г. Скабичевскимъ для своего изслѣдованія. Къ величайшему моему удивленію, я даже имени Шелгунова не нашелъ въ книгѣ. Объясненія этому надо, повидимому, искать въ слѣдующихъ сло-

Digitized by Google

вахъ предисловія: „Пришлось въ значительной степени съузить задачу и ограничиться тѣсными рамками исторіи „изящной литературы“ и находящейся въ тѣсной связи съ нею „критики“... О нѣкоторыхъ литераторахъ умолчано, по ихъ ничтожному значенію въ литературѣ, отсутствію оригинальной физіономіи и своего собственнаго слова; другіе-же не подлежатъ исторіи, потому что физіономія ихъ еще не выяснилась. и они, не имѣя за собою никакого прошедшаго, принадлежатъ всецѣло будущему“. Шелгуновъ былъ, между прочимъ, и литературнымъ критикомъ (далеко не всѣ его литературно-критическія статьи вошли въ послѣднее изданіе его сочиненій), правда, не блестящимъ и не оригинальнымъ. Но хотя, такимъ образомъ, какъ будто до извѣстной степени и оправдывается оговорка предисловія, я думаю, не мнѣ одному кажется страннымъ полное отсутствіе Шелгунова въ „Исторіи новѣйшей русской литературы“, и это указываетъ на какой-то пробѣлъ въ самомъ планѣ сочиненія. Страннымъ кажется также отсутствіе г. Пыпина, который, правда, никогда не занимался собственно литературною критикой, но имѣетъ къ ней большое отношеніе, во-первыхъ, своими трудами по исторіи литературы и, во-вторыхъ, статьями по вопросу, спеціально занимающему г. Скабичевскаго въ отдѣлѣ „Беллетристы-народники“. Г. Буренину, какъ-бы кто на него ни смотрѣлъ, также слѣдовало-бы отвести мѣсто въ исторіи новѣйшей литературы. Изъ беллетристовъ почему-то совсѣмъ пропущенъ покойный Кущевскій, чрезвычайно талантливый романъ котораго „Николай Негоревъ“, кромѣ талантливости, еще и очень характеренъ для своего времени. Сильное, хотя и неровное дарованіе г. Мамина (Сибиряка) заслуживало-бы гораздо большаго вниманія, чѣмъ то, какое ему удѣлилъ г. Скабичевскій, въ особенности по сравненію кое съ кѣмъ изъ другихъ современныхъ беллетристовъ. Съ другой стороны, напримѣръ, г. Потапенко, при несомнѣнной талантливости, развѣ къ одному изъ слѣдующихъ изданій книги г. Скабичевскаго достаточно выяснитъ свою литературную физіономію, и я не думаю, чтобы выясненіе это подтвердило характеристику г. Скабичевскаго.

Послѣднее, конечно, дѣло спорное, и я не навязываю своего мнѣнія г. Скабичевскому. Что-же касается указанныхъ пробѣловъ (число которыхъ можно было-бы увеличить), то они находятся въ связи съ однимъ большимъ изъяномъ въ самомъ планѣ

Digitized by Google

„Исторіи новѣйшей русской литературы“. Авторъ устранилъ изъ своего труда „разсмотрѣніе движенія наукъ, публицистики, прессы (т.-е. возникновенія, паденія различныхъ органовъ печати и ихъ взаимныхъ отношеній между собою)“. Онъ сосредоточился на изящной литературѣ и литературной критикѣ. Такъ онъ объясняетъ въ предисловіи. На дѣлѣ, однако, ему тамъ и сямъ приходится говорить и о вещахъ болѣе или менѣе удаленныхъ отъ изящной литературы и литературной критики, и о „возникновеніи, паденіи и взаимныхъ отношеніяхъ различныхъ органовъ печати“. Но все это отрывочно и безъ системы. Дѣло въ томъ, что журналистика играла столь важную роль въ избранный г. Скабичевскимъ періодъ времени, что обойти ее нѣтъ никакой возможности въ исторіи новѣйшей литературы. Не будетъ даже чрезмѣрною смѣлостью утверждать, что вся эта исторія есть собственно исторія журналистики. Журналъ, а потомъ и газета опредѣляли собою нерѣдко и форму, и содержаніе произведеній даже выдающихся талантовъ, въ журналахъ и газетахъ группировались большія и малыя силы для общаго дѣла; журналы и газеты клали или старались класть свои штемпеля на произведенія даже такихъ писателей, которые стояли, повидимому, внѣ всякихъ отношеній къ „возникновенію, паденію и взаимнымъ отношеніямъ различныхъ органовъ печати“; на журнальную или собственно редакторскую работу тратилась значительная часть силъ выдающихся писателей. Какъ оцѣнить значеніе въ новѣйшей русской литературѣ Чернышевскаго, Каткова (котораго, мимоходомъ сказать, въ „Исторіи новѣйшей русской литературы“ совсѣмъ нѣтъ), Салтыкова, Курочкина, Шелгунова и проч., и проч., безъ отношенія къ ихъ роли руководителей періодической печати? Но журналы и газеты служили, кромѣ того, точкою приложенія для работы второстепенныхъ и третьестепенныхъ силъ, въ массѣ имѣвшихъ, однако, большое значеніе и выражавшихъ собою извѣстное литературное теченіе. Я говорю въ прошедшемъ времени—„имѣли“, „служили“ и проч. потому, что рѣчь идетъ объ исторіи. Но вотъ, напримѣръ, г. Скабичевскій счелъ возможнымъ ввести въ свою книгу г. Чехова, о которомъ справедливо говоритъ, что это писатель съ большимъ талантомъ, тратящійся, однако, на поверхностное и безцѣльное творчество оборванныхъ картинокъ калейдоскопическаго характера. Справедливо также полагаетъ г. Скабичевскій, что этотъ

Digitized by Google

моментально-фотографическій родъ искусства выработанъ требованіями газетъ и иллюстрированныхъ еженедѣльныхъ изданій. Но этого мало. Разъ уже г. Чеховъ попалъ въ исторію литературы, должны въ нее попасть и тѣ критики и публицисты, которые, указывая на г. Чехова, восклицаютъ: се человѣкъ!—и затѣмъ громятъ направо и налѣво все, что не похоже на г. Чехова и не желаетъ быть на него похожимъ. Не изъ тучи этотъ громъ, конечно, не великіе критики излагаютъ эти мысли, но, при всей своей малости, они для переживаемаго нами момента характернѣе, быть можетъ, самого г. Чехова.

Повторяю, исторія новѣйшей русской литературы можетъ быть сведена на исторію журналистики. И я не устоялъ-бы передъ соблазнительностью этого плана, если-бы взялся за обширную и трудную задачу, принятую на себя г. Скабичевскимъ. Почтенный авторъ можетъ со мной не соглашаться, но полагаю, что, по крайней мѣрѣ, новая глава о значеніи и роли журналистики въ новѣйшей русской литературѣ будетъ отнюдь не лишнею въ послѣдующихъ изданіяхъ. Подобная глава объединитъ книгу, въ которой, къ сожалѣнію, составныя части и не совсѣмъ пропорціональны, и часто отрывочны. Исторія такого обширнаго и сложнаго предмета, какъ литература, и особенно наша литература 1847—1890 гг., требуетъ установленія какой-нибудь центральной оси, около которой располагались-бы отдѣльныя явленія въ порядкѣ ихъ важности по отношенію къ этой оси. Разумѣю какой-нибудь принципъ, какую-нибудь идею, которая или сама по себѣ, или по обстоятельствамъ времени и мѣста представляется историку настолько значительною, что ее можно взять за центръ изслѣдованія и отношеніемъ къ ней мѣрить значеніе отдѣльныхъ литературныхъ явленій—писателей и ихъ произведеній. Такую центральную идею легче всего найти тамъ гдѣ различныя мнѣнія группируются, сталкиваются, отталкиваются, другъ друга поправляя и дополняя,—то-есть въ журналистикѣ. Возможно, что г. Скабичевскій съумѣлъ-бы установить такую центральную идею и не занимаясь журналистикой вплотную. Но, во всякомъ случаѣ, она въ его почтенномъ трудѣ и недостаточно ясно установлена, и недостаточно послѣдовательно проведена. Оттого-то, несмотря на всѣ оговорки предисловія, отдѣльныя составныя части „Исторіи новѣйшей русской литературы“ не имѣютъ той связи, какая имъ приличествуетъ.

Digitized by Google

IV *).

П. Д. Боборыкинъ и его отношенія къ „Отечественнымъ Запискамъ". — Еще объ „Исторіи новѣйшей литературы" А. М. Скабичевскаго.

Дѣло было въ самомъ началѣ семидесятыхъ годовъ,—въ 1871 или 1872. Однажды, придя, по обыкновенію, въ понедѣльникъ въ редакцію „Отечественныхъ Записокъ", помѣщавшуюся тогда въ квартирѣ Некрасова, я увидѣлъ тамъ новаго, незнакомаго человѣка. Это былъ мужчина трудно опредѣлимаго возраста, въ очкахъ, выше средняго роста, съ коротко остриженными бѣлокурыми волосами, нисколько не скрывавшими выпуклостей оригинальной формы черепа, съ подстриженною тоже бородой; одѣтъ онъ былъ, съ бросавшеюся въ глаза тщательностью, во что-то очень короткое и очень узкое. Въ противоположность большинству вновь появлявшихся въ редакціи лицъ, приходившихъ съ рукописями или за справками о рукописяхъ, незнакомецъ говорилъ очень громко, сильно и рѣзко жестикулируя. Онъ ходилъ вдоль большой, въ четыре окна, редакціонной комнаты съ поэтомъ Д. Л. Михаловскимъ и говорилъ съ нимъ о журналѣ Литтре и Вырубова „La plilosophie positive". Нельзя, впрочемъ, сказать: „говорилъ съ нимъ",—говорилъ собственно одинъ незнакомецъ, я не слышалъ ни одной реплики молчаливаго и скромнаго поэта на быструю и громкую рѣчь незнакомца. Подойдя къ стоявшему въ углу комнаты секретарскому столу, гдѣ обыкновенно группировались постоянные сотрудники, я узналъ отъ кого-то, что незнакомецъ есть только что прибывшій изъ-за границы П. Д. Боборыкинъ. Черезъ нѣсколько времени и онъ подошелъ къ тому же столу, уже прощаться, и насъ познакомили. Когда Петръ Дмитріевичъ услышалъ мою фамилію, на его лицѣ изобразилось чрезвычайное изумленіе. „Кто же авторъ такихъ-то и такихъ-то статей?!"—воскликнулъ онъ. Оказалось, что онъ принялъ Д. Л. Михаловскаго за меня и столь энергически сталъ излагать ему то, что хотѣлъ изложить мнѣ, какъ автору такихъ-то и такихъ-то статей, что поэтъ не могъ устранить недоразумѣніе и даже, можетъ быть, догадаться о немъ.

Такъ на этотъ разъ мнѣ и не удалось побесѣдовать съ П. Д.

*) 1891, іюль.

Digitized by Google

Бобоыкинымъ, но потомъ я имѣлъ эту честь, и меня всегда поражаа быстрота и точность его воспріятій, каковыми качествами отличаются, впрочемъ, и его литературныя произведенія. Разносторане образованный и живой умъ г. Боборыкина отличается отъ рочихъ подобныхъ умовъ, именно, необыкновенною быстротой и точностью воспріятій. Здѣсь лежитъ корень и сильныхъ, и слабыхъ сторонъ этого писателя. Отсюда, во-первыхъ, его рѣдкая плодентость. Между болѣе молодыми беллетристами найдется, пожауй, нѣсколько человѣкъ, не менѣе плодовитыхъ, но что съ ними будетъ къ тридцатилѣтнему юбилею ихъ дѣятельности — неизвѣстно; а г. Боборыкинъ и послѣ тридцати лѣтъ неустанной литературной работы все такъ же обиленъ. И послѣднее его произведеніе вызываетъ рѣшительно ту же степень интереса, какъ и первое. Отсюда, далѣе, его отзывчивое отношеніе къ явленіямъ быстро текущей жизни. Отзывчивостью этою г. Боборыкинъ еще недавно блеснулъ въ прекрасной и только немножко растянутой повѣсти „Поумнѣлъ", напечатанной въ „Русской Мысли". Но отсюда же, то-есть изъ той же необыкновенной быстроты и точности воспріятій, проистекаютъ и нѣкоторыя слабыя стороны г. Боборыкина, а именно: отсутствіе яркой оригинальности, поверхностность и фотографичность творчества. Ни для кого не тайна, что г. Боборыкинъ нерѣдко воспроизводитъ въ своихъ повѣстяхъ и романахъ не художественныя обобщенія своихъ наблюденій, а самыя эти наблюденія во всей ихъ конкретной случайности,—не типы, а совершенно опредѣленные, цѣликомъ съ натуры списанные экземпляры. Творчество его состоитъ при этомъ подчасъ лишь въ томъ, что онъ ставитъ портреты, которые очень легко узнать, въ такія положенія, въ какихъ соотвѣтственные оригиналы никогда не бывали. Понятны многоразличныя неудобства такого пріема, а, между тѣмъ, съ легкой руки г. Боборыкина онъ значительно привился въ нашей литературѣ. Я знаю случаи, когда беллетристы, точно и подробно описавъ наружность, обычный костюмъ, всю обстановку своихъ героевъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, приписывали имъ вполнѣ гнусные поступки, которыхъ, однако, ихъ оригиналы никогда въ дѣйствительности не совершали. Утвердившись, этотъ пріемъ можетъ превратить литературу въ орудіе клеветы, пасквиля, всякихъ мерзостныхъ цѣлей. Спѣшу, однако, оговориться, что самъ г. Боборыкинъ былъ всегда далекъ отъ подобныхъ цѣлей. Въ немъ источникомъ неудобной фотографич-

Digitized by Google

ности картинъ и портретовъ являются, повидимому, коренныя свойства его природы. Онъ столь быстро и точно воспринимаетъ попадающіяся ему на жизненномъ пути явленія, что ему, въ большинствѣ случаевъ, некогда проникать въ ихъ глубину: они сразу запечатлѣваются въ его мозгу своею внѣшностью и такъ переходятъ подъ его перомъ на бумагу. Другое дѣло—общій фонъ его произведеній: онъ обыкновенно очень обдуманъ, хотя это и не всегда замѣтно, благодаря загроможденію его массой мелочей чисто-внѣшняго характера—описаніями наружности дѣйствующихъ лицъ, ихъ обстановки, костюма и проч. Въ этомъ отношеніи я позволю себѣ не согласиться съ выраженнымъ въ „Исторіи новѣйшей русской литературы“ г. Скабичевскаго мнѣніемъ, будто у г. Боборыкина не найдешь „серьезно обдуманныхъ и законченныхъ сюжетовъ“. Въ нѣкоторыхъ большихъ произведеніяхъ г. Боборыкина, какъ, напримѣръ, въ „Дѣльцахъ“, въ „Китай-городѣ“, фабула дѣйствительно расплывается въ массѣ вводныхъ лицъ и ихъ отношеній. Но на эти произведенія, мнѣ кажется, и надо смотрѣть какъ на картины нравовъ, намѣренно лишь слегка между собою связанныя. И это, конечно, не мѣшаетъ имъ быть „серьезно обдуманными“. А затѣмъ хоть бы та же повѣсть „Поумнѣлъ“ или „Въ усадьбѣ и на порядкѣ“ (одна изъ лучшихъ вещей г. Боборыкина) и многія другія отличаются и полною „законченностью сюжета“. Бѣда г. Боборыкина состоитъ въ томъ, что въ серьезно обдуманный планъ его произведенія врывается, помимо его воли, множество вводныхъ лицъ и внѣшнихъ мелочей. Если въ сферу его наблюденій попалъ, напримѣръ, человѣкъ въ сѣромъ суконномъ халатѣ съ красною выпушкой, сидящій въ вольтеровскомъ креслѣ, обитомъ зеленымъ сафьяномъ, съ газетой въ рукахъ, съ очками на носу и проч. и проч., то онъ не можетъ не ввести въ свой романъ и этотъ сѣрый суконный халатъ, и эту красную выпушку и все прочее. Все это такъ отчетливо, точно и быстро имъ воспринято, что если ему не удастся, по плану романа, одѣть своего героя въ сѣрый халатъ съ красною выпушкой, то онъ долженъ ввести особое лицо, которому этотъ костюмъ и вообще данная обстановка приличествуютъ. Понятно, что не всегда удается найти дѣйствительно подходящаго носителя халата; понятно также, что, подгоняя въ такихъ случаяхъ, въ противность поговоркѣ, не шапку къ Сенькѣ, а Сеньку къ шапкѣ, г. Боборыкинъ долженъ часто эксплуатировать, между прочимъ, и „черты

Digitized by Google

знакомаго лица". Понятно, наконецъ, что быстрота и точность воспріятій сами по себѣ не только не гарантируютъ глубины проникновенія въ смыслъ даннаго явленія, а иногда, напротивъ, даже мѣшаютъ ему. Художнику нужно нѣсколько сеансовъ, чтобы написать вашъ портретъ, то-есть нужно вдуматься въ вашу физіономію, выбрать изъ ея выраженій въ разныя времена наиболѣе характерное, изучить ея игру, а фотографія даетъ вамъ вашъ портретъ черезъ нѣсколько секундъ, и чрезвычайно точный... Смѣшавъ меня, благодаря сходству фамилій, съ Д. Л. Михаловскимъ, г. Боборыкинъ адресовалъ изложеніе своихъ мыслей о журналѣ Литтре и Вырубова совсѣмъ не туда, куда намѣревался адресовать, но я увѣренъ, что быстрота и жаръ его рѣчи не мѣшали ему, въ то же время, до мельчайшихъ подробностей замѣтить черты лица, цвѣтъ волосъ, форму бороды, покрой сюртука, цвѣтъ панталонъ собесѣдника. Но то, что г. Боборыкинъ хотѣлъ сказать мнѣ и сказалъ, по ошибкѣ, Д. Л. Михаловскому, было, навѣрное, очень обдуманно, хотя, можетъ быть, и не самостоятельно. Г. Боборыкинъ есть безспорно одинъ изъ самыхъ образованныхъ и самыхъ мыслящихъ нашихъ беллетристовъ.

Физіономія г. Боборыкина, какъ талантливаго беллетриста, притомъ, именно съ только что приведенными особенностями таланта, достаточно установилась и достаточно общеизвѣстна. Недалеко ходить,—въ книгѣ г. Скабичевскаго, за вычетомъ сдѣланной выше оговорки, физіономія эта обрисована, въ сущности, тѣми же штрихами, съ прибавленіемъ еще нѣкоторыхъ чертъ, о которыхъ сейчасъ рѣчь будетъ. И если я заговорилъ о г. Боборыкинѣ, такъ не затѣмъ, чтобы лишній разъ повторить то, что всѣмъ извѣстно. Я хочу, напротивъ, записать одинъ мало извѣстный эпизодъ, который, въ свою очередь, можетъ служить удобнымъ введеніемъ въ одну изъ любопытныхъ страницъ новѣйшей русской литературы.

Г. Скабичевскій относитъ въ своей „Исторіи новѣйшей русской литературы" г. Боборыкина къ группѣ „беллетристовъ-публицистовъ" и къ подгруппѣ „тенденціозныхъ беллетристовъ либеральнаго лагеря". Въ ту же подгруппу зачисляетъ онъ еще гг. Евгенія Маркова, Василія Немировича-Данченко, Терпигорева, Салова, Ахшарумова и Лейкина. Какъ и большинство рубрикъ г. Скабичевскаго, эта общая скобка представляется мнѣ недостаточно обоснованною. Переходя отъ г. Боборыкина къ г. Маркову, почтенный критикъ, между прочимъ, пишетъ: „Въ совершенную

Digitized by Google

противоположность Боборыкину, который является въ своихъ романахъ рьянымъ западникомъ, смотрящимъ на русскую жизнь съ точки зрѣнія парижской культуры, Евг. Марковъ въ своихъ романахъ смотритъ съ народнической точки зрѣнія: онъ до извѣстной степени почвенникъ, проводящій ту мысль, что городская жизнь портитъ людей, нравственно калѣчитъ ихъ и растлѣваетъ, и лишь возвращеніе въ деревню или въ родную усадьбу, въ среду народа и на лоно природы можетъ спасти человѣка, возстановивъ равновѣсіе его силъ и давъ имъ благотворный исходъ".

Да проститъ мнѣ почтенный авторъ „Исторіи новѣйшей русской литературы", но въ этихъ словахъ я вижу слѣдъ недоразумѣнія, особенно прискорбнаго въ устахъ бывшаго сотрудника „Отечественныхъ Записокъ". Объ этомъ, однако, ниже. Теперь скажу лишь, что если подъ „народнической точкой зрѣнія" разумѣть недовольство городскою жизнью и приглашеніе „въ деревню или въ родную усадьбу, на лоно природы", то былъ, по крайней мѣрѣ, одинъ моментъ, когда и г. Боборыкинъ оказался не чуждъ народничества.

Въ повѣсти г. Боборыкина „Въ усадьбѣ и на порядкѣ", напечатанной въ „Вѣстникѣ Европы" въ 1875 г., фигурируетъ, между прочимъ, нѣкто Ванъ-деръ-Гильзенъ, личность довольно противная, которой авторъ усвоилъ такъ называемое „позитивное" міросозерцаніе. Озабочиваясь возможными на этотъ счетъ кривотолками, г. Боборыкинъ, бывшій тогда въ Вѣнѣ, написалъ мнѣ письмо. Я отвѣтилъ. Г. Боборыкинъ отвѣтилъ въ свою очередь, и въ этомъ его отвѣтѣ содержатся, между прочимъ, слѣдующія автобіографическія подробности: „Когда я впервые, въ 1865 г., попалъ въ Парижъ, во мнѣ были всѣ данныя и почти вся подготовка того, что французы называютъ libre penseur на подкладкѣ нѣмецкаго матеріализма, на который я, однако, и тогда смотрѣлъ уже не снизу вверхъ, а сбоку, видя, что онъ и нетерпимъ, и узокъ, и несостоятеленъ, *какъ система*, что онъ даже совсѣмъ не міровоззрѣніе. Нечего говорить, что припадки *нашего нигилизма* я продѣлалъ еще студентомъ въ Дерптѣ, когда всѣ „лиловыя" и другія книжки воспринялъ въ оригиналѣ и 6-ю годами раньше ихъ распространенія въ Петербургѣ. Я искалъ и жаждалъ широкаго и, главное, *научнаго*, объективнаго, твердаго обобщенія. Бывшій „естественникъ" сидѣлъ во мнѣ, да и теперь сидитъ еще. Нашелъ я это обобщеніе въ системѣ Конта. Она, *на первыхъ по-*

Digitized by Google

рахъ, отвѣтила на мой запросъ. На ея изученіе и усвоеніе уш два-три года. Но, познакомившись съ нею, еще въ 1868 г., когда я напечаталъ первую свою статью въ „Philosophie positive“, я уже былъ самый лѣвый изъ всѣхъ лѣвыхъ позитивистовъ оттѣнка Литтре. Я уже сильно и ясно чувствовалъ неполноту и даже просто недостаточность системы въ жгучихъ, безотлагательныхъ вопросахъ дня. Въ это время какъ разъ я, въ званіи корреспондента и по своей охотѣ, столкнулся съ цѣлымъ рядомъ соціальныхъ и политическихъ явленій, очень много видѣлъ и впервые *почувствовалъ* значеніе и дѣйствительную жгучесть разныхъ общественныхъ силъ и стремленій. Былъ даже одинъ моментъ, на одномъ изъ конгрессовъ, когда я испыталъ ударъ вродѣ того, какой озарилъ Павла на дорогѣ въ Дамаскъ. Съ этимъ я вернулся въ Россію въ 1871 г. Какъ беллетристу и журналисту, мнѣ не было ни повода, ни свободы высказываться насчетъ своего profession de foi; но оно сложилось не въ сухой и формальный компромиссъ съ дѣйствительностью, какъ у г. Вырубова или г. Стронина (я его лично не знаю), какъ у всѣхъ систематическихъ позитивистовъ-доктринеровъ, а въ ученіе, гдѣ на основѣ научно-философской лежитъ неустанное стремленіе: отзываться на явленія жизни активно, бороться со всѣмъ, что только стоитъ на пути къ благу, какъ долженъ понимать его живой человѣкъ, работающій на все культурное и некультурное человѣчество. Разладъ, указанный вами, существуетъ и мнѣ вѣдомъ, какъ вы видите, давнымъ-давно. И если доктринеры будутъ сидѣть съ своими катехизисами, ихъ жизнь оставитъ за штатомъ. Мой же комическій позитивистъ есть чиновничье, дилетантское отраженіе сухости и бездушія школы. Бездушіе это, если хотите, не намѣренное, но, все-таки, бездушіе. Вы первый (сколько я замѣтилъ) стали указывать на это,—вотъ почему я сразу призналъ въ васъ человѣка мнѣ симпатичнаго“.

Но не одинъ я пользовался симпатіями г. Боборыкина. Находя нѣкоторые недостатки въ „Отечественныхъ Запискахъ“, онъ писалъ, однако: „Я искренно преданъ „Отечественнымъ Запискамъ“, но нельзя мнѣ быть имъ на что-нибудь годнымъ безъ постоянныхъ сношеній“. Въ другихъ письмахъ г. Боборыкинъ неоднократно выражалъ желаніе не просто помѣщать въ нашемъ журналѣ время отъ времени свои романы и повѣсти, но стать его постояннымъ сотрудникомъ, притомъ, въ „воинственномъ

Digitized by Google

дѣлѣ“, какъ онъ выражался. Такой даровитый, плодовитый и разносторонній сотрудникъ, конечно, всегда желателенъ въ многосложномъ журнальномъ дѣлѣ. Но почему-то постоянное сотрудничество г. Боборыкина не устраивалось. Что касается собственно моего участія въ этомъ дѣлѣ, то первоначально я не могъ оказать г. Боборыкину сколько-нибудь значительныя услуги, такъ какъ журналъ находился въ рукахъ „патроновъ“, какъ г. Боборыкинъ называлъ Некрасова, Салтыкова и Елисеева. Но съ 1878 г. я самъ сталъ однимъ изъ „патроновъ“, а дѣло, все-таки, не налаживалось. Причины этому заключались, можетъ быть, все въ той же необыкновенной быстротѣ воспріятій талантливаго беллетриста. Въ сентябрѣ 1875 г., сообщая мнѣ о посылаемой имъ повѣсти, онъ писалъ: „Тема повѣсти отвѣчаетъ на то, что съ такою смѣлостью и логикой развивалъ въ одной изъ лѣтнихъ книжекъ внутренній обозрѣватель „Отечественныхъ Записокъ“— мизерабельность русскихъ писателей во всѣхъ смыслахъ. Кто этотъ обозрѣватель, и какъ такая филиппика прошла подъ носомъ у патроновъ? Пора, тысячу разъ пора взяться за умъ!“ Я съ особеннымъ удовольствіемъ сообщилъ г. Боборыкину имя заинтересовавшаго его писателя,—это былъ Елисеевъ, то-есть одинъ изъ „патроновъ“. Что-то мѣшало г. Боборыкину вглядѣться въ духовный складъ и образъ мыслей „патроновъ“, настолько мѣшало, что въ статьѣ, писанной однимъ изъ нихъ, онъ увидалъ нѣчто, если не прямо враждебное имъ, то, помимо ихъ воли, случайно проскользнувшее въ журналъ. На такой, исполненной недоразумѣній почвѣ, конечно, мудрено было установиться прочнымъ и постояннымъ отношеніямъ. Тѣмъ не менѣе, время отъ времени въ „Отечественныхъ Запискахъ“, хотя и очень рѣдко, появлялись и нѣкоторыя публицистическія и критическія статьи г. Боборыкина, больше по иностранной литературѣ и жизни. Между прочимъ, онъ, не помню ужъ, самъ-ли перевелъ или доставилъ переводъ, снабженный его сочувственнымъ предисловіемъ, „Записокъ дурака“. Это произведеніе одного французскаго позитивиста, въ которомъ съ чрезвычайною рѣзкостью и опредѣленностью проводится мысль, усваиваемая г. Скабичевскимъ г. Евг. Маркову въ прямую противоположность г. Боборыкину, — та именно мысль, которую г. Скабическій называетъ „народническою точкой зрѣнія“. Помнится, что въ предисловіи г. Боборыкинъ указалъ на аналогію тенденціи „Записокъ дурака“ съ нѣко-

Digitized by Google

торыми тогдашними теченіями русской жизни. И очень возможно, что самъ онъ видѣлъ въ этомъ французскомъ произведеніи „народническую точку зрѣнія“. Не имѣя подъ руками „Отечественныхъ Записокъ“, не могу припомнить ни имени автора „Записокъ дурака“, ни ихъ подробностей. Знаю только, что „дуракъ“ есть названіе ласково-ироническое, потому что герой, отрясши отъ ногъ своихъ прахъ городскихъ улицъ, отрекшись отъ всѣхъ благъ цивилизаціи и въ частности именно „парижской культуры“, въ посрамленіе умниковъ превосходно устраивается „на лонѣ природы“, гдѣ „возстановляетъ равновѣсіе своихъ силъ и даетъ имъ благотворный исходъ“. Эта сама по себѣ не дурная и, во всякомъ случаѣ, интересная вещица не противорѣчила направленію „Отечественныхъ Записокъ“, но отнюдь не совпадала съ его сущностью, хотя г. Боборыкину это, можетъ быть, и казалось.

Прошло десять лѣтъ. Въ 1884 г. „Отечественныя Записки“ прекратились, а въ 1885 г. Боборыкинъ напечаталъ въ журналѣ Де-Губернатиса „Revue Internationale“ этюдъ подъ заглавіемъ „Le culte du peuple dans la litterature russe contemporaine“. Въ этюдѣ этомъ „культу народа въ современной русской литературѣ“ достается жестоко. Культъ этотъ исполненъ „претенціознаго мистицизма“, „шовинистской самонадѣянности“, „враждебности къ общечеловѣческой наукѣ, къ законамъ соціологіи и великой человѣческой культурѣ“. Онъ не хочетъ ничего знать, кромѣ русскаго мужика, и призываетъ своихъ адептовъ къ „опрощенію“ и отрицанію всѣхъ благъ цивилизаціи; онъ смѣшиваетъ въ одну кучу (un seul tas) „соціалистическія идеи и дурно направленное соціальное чувство“. Главнымъ представителемъ этого культа и вродѣ какъ бы его первосвященникомъ является г. Злавратскій. Около него группировались въ „Отечественныхъ Запискахъ“ его corréligionnaires'ы въ лицѣ беллетристовъ меньшаго таланта, а также „этнографовъ, экономистовъ, хроникеровъ“. Закрытіе „Отечественныхъ Записокъ“, измѣна одного изъ corréligionnaires'овъ, а именно г. Гл. Успенскаго, и основательный критическій разборъ догматовъ „культа“, представленный г. Пыпинымъ въ „Вѣстникѣ Европы“,—эти три обстоятельства много способствовали очищенію горизонта русской литературы, но отзвуки культа еще слышались г. Боборыкину въ 1885 г. въ „Русской Мысли“ (это я разсказываю содержаніе этюда г. Боборыкина). Что же касается происхожденія культа, то оно таково. Около времени освобожде-

Digitized by Google

нія крестьянъ существовавшія дотолѣ враждебныя школы—славянофильская и западническая—начали сближаться, по крайней мѣрѣ, на одномъ пунктѣ. „Наиболѣе радикальные представители западническаго лагеря все болѣе и болѣе сходились съ славянофилами во всемъ, что касалось крестьянъ, способа ихъ освобожденія, сельской общины, какъ ее выработалъ въ теченіе вѣковъ русскій народъ. Журнальная полемика того времени достаточно доказываетъ это. Съ одной стороны, московскіе славянофилы, съ другой—петербургскіе радикалы единодушно требовали для народа права на землю, сохраненія поземельнаго владѣнія, которымъ крестьяне пользовались до освобожденія, и въ особенности сохраненія древней общины, какъ основы русскаго коллективизма". Въ другихъ отношеніяхъ обѣ школы расходились болѣе или менѣе рѣзко, но „радикальные западники, можетъ быть, сами того не замѣчая, все-таки, продолжали склоняться къ славянофильскимъ идеямъ по вопросамъ о народѣ. Молодежь чувствовала себя какъ бы виноватою передъ массой народа; сложился типъ „кающагося дворянина", пришедшаго къ полному отрицанію всѣхъ своихъ правъ и преимуществъ, даже просто какъ члена интеллигентнаго класса. Романъ Тургенева „Новь" представилъ иностраннымъ читателямъ достаточно ясную картину этого теченія идей и симпатій... Студенты, отставные офицеры, молодые землевладѣльцы, семинаристы, женщины всѣхъ сословій „шли въ народъ", чтобы „опроститься" и почерпнуть живительную силу. Такимъ образомъ, два первоначальныя теченія (то есть славянофильское и западническое) способствовали образованію въ литературѣ школы, которая въ продолженіе послѣднихъ двадцати лѣтъ незамѣтно овладѣла вниманіемъ общества и стала, въ концѣ-концовъ, воинствующею литературой момента"...

Не пестритъ-ли у васъ въ глазахъ, читатель? Не кажется-ли вамъ вся совокупность вышеизложеннаго нѣкоторою путаницей? У меня, признаюсь, у самого пестритъ—до такой степени, что я даже затрудняюсь, съ чего начать, чтобы эту путаницу распутать. Нѣкоторыя второстепенныя фактическія неточности устранить, конечно, не трудно. Не трудно, напримѣръ, доказать, что г. Успенскій никакой измѣны не совершилъ или что г. Златовратскій, будучи однимъ изъ желаннѣйшихъ сотрудниковъ „Отечественныхъ Записокъ", никогда, однако, не былъ ихъ руководителемъ или центромъ. Это можно усмотрѣть уже изъ тѣхъ

Digitized by Google

отрывковъ переписки г. Боборыкина со мной, которыя я привелъ, равно какъ изъ нихъ же видно, что „Отечественнымъ Запискамъ“ было доступно и уваженіе къ „общечеловѣческой наукѣ“, и многое другое, что, по словамъ г. Боборыкина, исключалось „культомъ“. Впрочемъ, редакторскія подписи Некрасова и Салтыкова и сами по себѣ достаточно выразительны. Вообще этюдъ г. Боборыкина даетъ удовлетворительное понятіе не столько о предметѣ, которому онъ посвященъ, сколько о самомъ его авторѣ. Но въ этюдѣ затронута любопытная страница исторіи новѣйшей русской литературы...

Если мы обратимся за разъясненіемъ къ „Исторіи новѣйшей русской литературы“ г. Скабичевскаго, то не то что не найдемъ въ ней этой страницы совсѣмъ, но найдемъ столь разбросанною по различнымъ частямъ книги и столь, все-таки, неполною, что едва-ли тоже получимъ искомое удовлетвореніе.

Уже въ самомъ началѣ книги г. Скабичевскій замѣчаетъ, что все движеніе сороковыхъ годовъ исчерпывается однимъ словомъ— „народность“. „Слова: *народность, народъ, народное благо, народные идеалы*—въ концѣ сороковыхъ годовъ сдѣлались самыми популярными въ литературѣ и начали употребляться на каждомъ шагу не однимъ какимъ-либо кружкомъ, а въ одинаковой степени сдѣлались завѣтными лозунгами всѣхъ литературныхъ партій. Правда, каждый кружокъ по-своему понималъ народные идеалы и по-своему стремился къ нимъ, но, во всякомъ случаѣ, считалъ это своею святою обязанностью“. Затѣмъ мѣстами г. Скабичевскій говоритъ о „демократизаціи русской мысли и тягѣ къ народу“, какъ о характеристическихъ чертахъ русской литературы „въ послѣднія сорокъ лѣтъ“. Но, за исключеніемъ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ главъ и бѣглыхъ, мимоходомъ сдѣланныхъ указаній относительно нѣкоторыхъ отдѣльныхъ писателей, г. Скабичевскій излагаетъ судьбы русской литературы внѣ всякаго ихъ отношенія, какъ положительнаго, такъ и отрицательнаго, къ упомянутымъ характеристическимъ чертамъ. Мѣстами г. Скабичевскій руководствуется совсѣмъ другими критеріями для опредѣленія мѣста въ исторіи литературы того или другого писателя, того или другого произведенія; а мѣстами его книга сбивается просто на справочный біографическій словарь. Мнѣ кажется одно изъ двухъ: или „демократизація русской мысли и тяга къ народу“ не составляютъ характеристическихъ и важ-

Digitized by Google

ныхъ чертъ нашей литературы за послѣднія сорокъ лѣтъ, и тогда надо выбрать какую-нибудь другую руководящую нить, которая давала бы возможность разобраться во множествѣ явленій литературы; или, напротивъ, признавъ именно ихъ руководящею нитью, приводить съ нею въ связь, близкую или далекую, прямую или косвенную, положительную или отрицательную, всѣ отдѣльные моменты исторіи литературы. Конечно, руководящая нить для этого должна быть дѣйствительно руководящею, то есть должны быть точно установлены ея настоящій смыслъ и историческое значеніе. Г. же Скабичевскій, хорошо знающій, что слова: „народность", „народное благо", народные идеалы" и т. п. изстари понимались весьма различно, думаетъ, повидимому, что его формула: „демократизація русской мысли и тяга къ народу" — не требуетъ никакихъ дальнѣйшихъ разъясненій. А, между тѣмъ, онъ и самъ, какъ мы скоро увидимъ, впадаетъ на этомъ пунктѣ въ странное недоразумѣніе, усвоивая г. Евг. Маркову „народническую точку зрѣнія", въ которой тотъ совершенно неповиненъ. Съ другой стороны, образу или типу „кающагося дворянина", который г. Боборыкинъ совершенно справедливо ставитъ въ связь съ „тягой къ народу" (г. Боборыкинъ называетъ это „культомъ народа"), г. Скабичевскій даетъ совершенно иное и, кажется, вполнѣ произвольное толкованіе. Сказавъ (въ главѣ XXI) нѣсколько словъ о реакціи, которою завершилось движеніе шестидесятыхъ годовъ, г. Скабичевскій продолжаетъ о семидесятыхъ годахъ: „Вмѣстѣ съ тѣмъ явился и новый герой времени, совершенно не похожій на всѣхъ прежнихъ. Окончательно сошли со сцены и отважный Инсаровъ, и гордый и ликующій своимъ отрицаніемъ Базаровъ, и практическій Соломинъ; мѣсто ихъ всѣхъ занялъ „кающійся дворянинъ", но, собственно говоря, это былъ не столько „кающійся", сколько „обнищалый" дворянинъ. Изъ полуразрушенныхъ усадебъ, изъ голодныхъ дворянскихъ семей, проѣвшихъ всѣ выкупныя свидѣтельства, вышло новое поколѣніе, худосочное, тщедушное, словно несущее на своихъ плечахъ всѣ грѣхи отцовъ и дѣдовъ и обреченное расплачиваться за нихъ... Одни изъ нихъ ударились въ мрачный пессимизмъ чисто-гамлетическаго характера, доводившій ихъ до безнадежнаго отчаянія и самоубійствъ. Другіе же махали рукой на всѣ идеалы и высокія стремленія, предавались теченію и старались забыться и утопить свою совѣсть въ угарѣ чувственныхъ наслажденій, что было имъ

Digitized by Google

тѣмъ легче, что они отъ отцовъ и дѣдовъ наслѣдовали наклонность ко всяческимъ чревоугодіямъ".

Всякій, кто внимательно прочтетъ хотя бы одну только XXI главу книги г. Скабичевскаго, увидитъ, что въ приведенныхъ словахъ есть какое-то недоразумѣніе. Изъ беллетристовъ, изображавшихъ „кающихся дворянъ", г. Скабичевскій ставитъ на первомъ мѣстѣ чрезвычайно талантливаго, но рано умершаго и потому мало написавшаго и мало извѣстнаго Новодворскаго (онъ печатался въ „Отечественныхъ Запискахъ" подъ псевдонимомъ Осиповича). Извлекши изъ нѣсколькихъ повѣстей Новодворскаго черты „худосочія, тщедушія" и прочей дрянности, г. Скабичевскій замѣчаетъ, однако, что Новодворскій пытался рисовать и другіе типы, положительные, которые выходили, однако, очень туманны по цензурнымъ условіямъ. Значитъ, можетъ быть, „отважные Инсаровы, гордые Базаровы, практическіе Соломины" или какіе-нибудь иные не кудосочные и не тщедушные не исчезли со сцены жизни въ семидесятыхъ годахъ, а только не могли появиться на сцену литературы. Но и то надо сказать, что, по крайней мѣрѣ, „практическій Соломинъ" появился на сцену литературы, именно, въ семидесятыхъ годахъ, такъ какъ романъ Тургенева „Новь" былъ напечатанъ въ 1876 году.

Отвѣтственность за „кающагося дворянина" лежитъ на мнѣ. Конечно, не за самое явленіе, а за слово, терминъ. Но отвѣтственность предполагаетъ и извѣстныя права. Всякій, разумѣется, можетъ сочетать прилагательное „кающійся" и существительное „дворянинъ" въ какомъ ему угодно смыслѣ. Но если это сочетаніе ставится въ ковычкахъ и тѣмъ указывается, что оно уже было кѣмъ-то и когда-то употреблено, то позволительно, мнѣ кажется, желать, чтобы ему придавался именно тотъ смыслъ, въ которомъ оно было впервые сказано. Это, вѣдь, цитата, съ нею и надо поступать какъ съ цитатой. Другое дѣло—отношеніе къ явленію, указываемому цитатой. Каждый вправѣ одобрять или не одобрять, хулить, славить, презирать, ненавидѣть это явленіе, вообще относиться къ нему въ мѣру своего разумѣнія и своей совѣсти.

Въ противность мнѣнію, высказанному г. Скабичевскимъ въ XXI главѣ (въ другихъ главахъ можно найти кое-какія поправки, къ сожалѣнію, не связанныя воедино), въ семидесятыхъ годахъ жилось шибко. А потому и литературѣ, въ отведенныхъ ей пре-

Digitized by Google

дѣлахъ, было много работы: приходилось оріентироваться и во множествѣ теоретическихъ вопросовъ, и въ практическихъ требованіяхъ дня. Я говорю, жилось шибко, а не то, чтобы очень хорошо. Жизнь выдвигала, напротивъ, много горькаго, даже прямо страшнаго, изъ слезъ и крови слитаго, что будетъ въ свое время помянуто и оцѣнено исторіей уже не литературы русской, а русской жизни. И понятно, что многіе не выдерживали всей этой сложности и трудности. Прискорбныя явленія, отмѣченныя г. Скабичевскимъ, несомнѣнно имѣли мѣсто въ семидесятыхъ годахъ (они, впрочемъ, и теперь найдутся),—и „мрачный пессимизмъ гамлетическаго характера", и выбрасываніе всякихъ идеаловъ за бортъ въ видахъ легкаго плаванія по житейскому морю. Не только то и другое было въ отдѣльности, но сочеталось иногда въ особый типъ, который я тогда же предложилъ назвать „гамлетизированнымъ поросенкомъ", за что, между прочимъ, получилъ лестное одобреніе отъ одного начинающаго литератора. Онъ писалъ мнѣ по этому поводу: „Какъ вы хорошо это написали — гамлетизированный поросенокъ; такъ хорошо, что я даже обидѣлся". Теперь это литераторъ уже вполнѣ опредѣлившійся, и именно въ томъ смыслѣ, въ какомъ опредѣляется всякій поросенокъ, когда приходитъ въ возрастъ. Я еще когда-нибудь вернусь къ этому любопытному типу. Весьма возможно, что и „гамлетизированные поросята", и тѣ, кто искренно отчаявался, добѣгая въ своемъ отчаяніи до самоубійственнаго конца, и, наконецъ, тѣ, кто, не рисуясь никакою гамлетизаціей, прямо и просто облегчалъ себѣ плаваніе по житейскому морю,—весьма, говорю, возможно, что всѣ эти люди были въ свое время „кающимися дворянами". Но, именно, *были* и переставали быть таковыми, когда вступали на одинъ изъ означенныхъ путей. Исключеніе можетъ быть сдѣлано только для отчаявшихся вслѣдствіе искренняго и глубокаго сознанія своего безсилія, своей непригодности. Но эта черта, все-таки, не составляетъ чего-нибудь характеристическаго для кающихся дворянъ, — она есть лишь случайное осложненіе типа.

„Кающіеся дворяне" спорадически появлялись очень давно, но en masse обнаружились лишь въ сороковыхъ годахъ, а замѣтными историческими факторами стали лишь въ эпоху реформъ, когда смѣшались съ „разночинцами", то-есть съ разнаго званія и состоянія людьми, вызванными къ дѣятельности эпохою ре-

Digitized by Google

формъ изъ низшихъ слоевъ. Въ семидесятыхъ годахъ теченіе это лишь ярче и рѣзче обозначилось. Вообще, семидесятые годы были чужды той борьбы между „дѣтьми“ и „отцами“, которая, по старинному мнѣнію нѣкоторыхъ писателей, составляетъ какое-то необходимое условіе нашего движенія впередъ. Симпатіи и антипатіи шестидесятыхъ годовъ и ихъ общій умственный и нравственный обликъ мы, болѣе позднѣе литературное поколѣніе, откровенно приняли къ своему руководству, дополняя и развивая ихъ сообразно обстоятельствамъ времени. Что касается собственно „Отечественныхъ Записокъ“, въ которыхъ,—не думаю, чтобы подлежалъ за эти слова обличенію въ хвастовствѣ,—наиболѣе ясно бился пульсъ жизни въ семидесятыхъ годахъ, то въ самомъ центрѣ ихъ стояли и люди сороковыхъ годовъ, какъ Некрасовъ и Салтыковъ, и люди лѣтъ на двадцать, а то и больше, моложе ихъ; примыкали къ этому центру и такіе давно опредѣлившіеся писатели, какъ Островскій, и такіе талантливые юнцы, какъ Гаршинъ или Надсонъ. Поколѣніями не считались, юные таланты охотно прибывали въ гнѣздо, свитое стариками. Поэтому, говоря о литературѣ семидесятыхъ годовъ, надо, прежде всего, опредѣлить, что она получила въ наслѣдство отъ своихъ предшественниковъ и какъ этимъ наслѣдствомъ распорядилась.

Но сначала нѣсколько личныхъ словъ по поводу „кающихся дворянъ“.

Въ семидесятыхъ года мнѣ приходилось, кромѣ теоретическихъ статей по философіи общества, писать иногда въ мѣсяцъ по два и даже по три обозрѣнія текущей литературы и жизни подъ разными заглавіями: „Литературныя замѣтки“, „Записки профана“, „Письма о правдѣ и неправдѣ“, „Дневникъ и переписка Ивана Непомнящаго“, „Письма къ ученыхъ людямъ“, „Въ перемежку“. Разница была не только въ заглавіяхъ, а и въ формѣ обозрѣній, которую я мѣнялъ частью просто по своему вкусу, а частью по различнымъ соображеніямъ. Иныя веще удобнѣе было излагать въ такой-то именно формѣ, между прочимъ, даже беллетристической, вообще мнѣ мало свойственной. Если читатель припомнитъ, я явился въ „Отечественныя Записки“ съ первою частью романа „Борьба“. Какъ и у большинства молодыхъ людей, впервые принимающихся за беллетристику, въ этотъ романъ было вложено много автобіографическаго,—откуда же и черпать мало знающимъ жизнь молодымъ писателямъ свой матеріалъ, какъ не изъ себя

Digitized by Google

и около себя? Какія именно побужденія толкали меня въ 1867—68 г. писать романъ, я теперь не могу себѣ дать отчета. Вѣроятно, дѣло было въ какихъ-нибудь обстоятельствахъ чисто-личнаго, интимнаго характера, которыя привели меня въ художественное настроеніе, если можно такъ выразиться. Черезъ десять почти лѣтъ нѣкоторые эпизоды „Борьбы", отъ которой у меня не сохранилось ни оттиска, ни корректуры, ни рукописи, воскресли въ моей памяти, но уже въ сочетаніи съ наблюденіями въ довольно большомъ кругѣ явленій жизни и безъ всякой художественной претензіи. Я рѣшилъ ими воспользоваться, какъ введеніемъ въ рядъ образовъ и картинъ изъ жизни одной группы „кающихся дворянъ" и „разночинцевъ", причемъ разрѣшилъ себѣ всякія отступленія, комментаріи, перерывы. Такимъ образомъ и вышли очерки „Въ перемежку", печатавшіеся въ „Отечественныхъ Запискахъ" въ 1876—77 годахъ. Я вполнѣ сознаю, что это нѣчто очень нескладное, но я не о складности и думалъ, а о правдѣ,—не о той, однако, правдѣ, которую многіе желали видѣть въ „Перемежкѣ". Очерки эти написаны въ видѣ разсказа, перемежаемаго публицистическими комментаріями, а разсказъ ведется отъ лица нѣкоего кающагося дворянина Григорія Темкина. Нѣкоторые предполагали, что это моя подлинная автобіографія, а иные изъ собратовъ по перу строили на этомъ предположеніи такіе выводы, что мнѣ пришлось, наконецъ, напечатать „Письмо къ неучамъ" и изложить въ немъ, что Григорій Темкинъ—не я и я—не Григорій Темкинъ. Дѣйствительно, „Въ перемежку"—отнюдь не автобіографія, а развѣ Wahrheit und Dichtung. Такъ, напримѣръ, хотя я и дворянскаго происхожденія, но никакихъ князей въ числѣ моихъ предковъ нѣтъ, и называть себя, подобно Григорію Темкину, „родственникомъ Владиміра Святого" я основаній не имѣю. Эпизоды съ Яковомъ и „братомъ мужикомъ"—настоящая Wahrheit, но позднѣйшая встрѣча съ Яковомъ-медіумомъ столь же настоящая Dichtung и т. п. Несмотря на мою художественную бѣдность, въ „Перемежкѣ", за исключеніемъ Бухарцова-Ножина, о чемъ я уже говорилъ, нѣтъ ни одного портрета, снятаго съ натуры. Соня, Апостоловъ Сицкій, Нибушъ, Башкинъ,—все это чистая Dichtung, но Dichtung, основанная на пристальныхъ наблюденіяхъ подлинной жизни, и въ этомъ смыслѣ Wahrheit. Господа неучи, не стыдившіеся печатно дѣлать, на основаніи „Перемежки", разные обидные

Digitized by Google

выводы и предположенія не только относительно меня, но и относительно моихъ родственниковъ, сами того не подозрѣвая, оказывали мнѣ величайшую честь, на какую только можетъ претендовать художникъ: принимали мою сказку за быль. Но и помимо того я имѣлъ случай убѣдиться, что въ „Перемежкѣ“ извѣстное, довольно широко распространенное настроеніе, а именно, настроеніе „кающихся дворянъ“ въ семидесятыхъ годахъ, схвачено и обрисовано вѣрно...

Итакъ, что-же мы получили въ наслѣдство отъ своихъ предшественниковъ и какъ этимъ наслѣдствомъ распорядились? Это большой вопросъ, а потому не взыщите, если отвѣтъ выйдетъ длинный.

Въ очень старые годы у насъ былъ возможенъ такой типъ, какъ Мордвиновъ, высокопросвѣщенный и свободолюбивый человѣкъ, дѣятельно проводившій въ жизнь, гдѣ только было возможно, начало свободной личности, поклонникъ европейскихъ конституціонныхъ порядковъ и, въ то-же время, отстаивавшій крѣпостное право. Это было противорѣчіе настолько ясное, что даже и гораздо менѣе умный и просвѣщенный человѣкъ, чѣмъ Мордвиновъ, не могъ-бы впасть въ него незамѣтно для себя, по случайной ошибкѣ мысли. Мордвиновъ имѣлъ свое объясненіе. Онъ не видѣлъ въ крѣпостномъ правѣ вѣчнаго, безусловно справедливаго института, онъ предлагалъ лишь „потерпѣть“ съ освобожденіемъ, пока помѣстное дворянство воспитывается въ идеяхъ свободы и законности и настолько окрѣпнетъ экономически, чтобъ уже болѣе не нуждаться въ даровомъ трудѣ. „Сей есть единственный путь къ свободѣ“,—говорилъ онъ, указывая на Европу. Такихъ просвѣщенныхъ, умныхъ и энергическихъ людей, какъ Мордвиновъ, у насъ никогда не бывало много, но, конечно, было не мало такихъ, которые, подобно ему, сочетали либерализмъ съ крѣпостничествомъ. Однако, къ сороковымъ годамъ они, можно сказать, исчезли. Къ этому времени и европейскія либеральныя вѣянія значительно осложнились элементами, готовившими февральскую революцію. Результаты революціонной бури, пронесшейся въ концѣ прошлаго столѣтія изъ Франціи по всей Европѣ, подорвали довѣріе къ доктринѣ чистаго либерализма. Выяснилось, что начало безусловной свободы

Digitized by Google

личности, какъ оно выразилось въ философіи, политикѣ, экономикѣ, этикѣ, заключаетъ въ себѣ какое-то недоразумѣніе. Теперь-то мы уже очень хорошо знаемъ, въ чемъ тутъ дѣло, но въ сороковыхъ годахъ мысль не только у насъ, а и въ Европѣ должна была очень напрягаться, чтобы, во-первыхъ, констатировать самый фактъ недоразумѣнія и затѣмъ найти выходъ изъ него. Лишь съ большою постепенностью и послѣ долгой борьбы выяснилось (а для многихъ и посейчасъ неясно), что, освободившись отъ разнообразныхъ узъ, наложенныхъ на нее еще въ средніе вѣка, личность еще не становится дѣйствительно свободною; что безусловной свободы, какъ и вообще чего-бы то ни было безусловнаго, нѣтъ для человѣка; что личность, для достиженія возможной степени свободы, должна наложить на себя новыя узы взамѣнъ тѣхъ, которыя она только что сбросила, потому что переросла ихъ. Въ нѣкоторыхъ областяхъ мысли и жизни этотъ результатъ былъ достигнутъ сравнительно легко, зато въ другихъ не давался очень долго. Въ области философіи мысль, сбросивъ съ себя оковы супранатурализма и теологическихъ преданій, ринулась въ метафизическую высь въ гордой надеждѣ объяснить все сущее и долженствующее быть изъ самой себя, изъ чистой личной мысли. Оказалось, однако, и сравнительно довольно быстро, что ничего путнаго изъ такого совершенно свободнаго полета выйти не можетъ, и философская мысль сознательно надѣла на себя новыя узы—узы опыта и наблюденія. Гораздо труднѣе и медленнѣе шелъ аналогичный процессъ въ области экономическихъ отношеній. Здѣсь личность, тоже сбросивъ съ себя оковы феодальныхъ отношеній, цеха, гильдіи, общины, осталась на всей своей вольной волѣ, что и было закрѣплено знаменитою формулой laissez faire и теоріей гармоніи интересовъ. Двусмысленность этой свободы и необходимость для личности какихъ-нибудь новыхъ узъ, которыя гарантировали-бы ей дѣйствительно возможную свободу, окончательно для всѣхъ выяснились только въ наши дни. Во всякомъ случаѣ, къ сороковымъ годамъ кризисъ въ европейской жизни уже назрѣлъ и скоро разразился новою революціонною бурей. Европа отнюдь не думала отказываться отъ того, что было уже ею завоевано,—отъ свободы личности,—но оказались нужными реальныя гарантіи этой свободы, ибо безъ нихъ выгоды свободы выпадали на долю не личности, а извѣстныхъ общественныхъ группъ, по-

Digitized by Google

ставленныхъ въ выгодныя условія. Нужно было выбрать центромъ теоретическихъ изслѣдованій и практическихъ заботъ такой общественный элементъ, интересы котораго никоимъ образомъ не могли-бы встать въ противорѣчіе съ интересами личности. Такимъ элементомъ оказался трудъ, собственная цѣлесообразная, полезная дѣятельность личности, или, говоря конкретно, совокупность трудящихся классовъ общества, народъ.

Такъ шли дѣла въ Европѣ, отражаясь всѣми своими перипетіями и у насъ, – не на практикѣ, конечно, а лишь въ теоріи, въ средѣ небольшой группы мыслящихъ людей. Къ сороковымъ годамъ стали уже немыслимы Мордвиновы. Основнымъ догматомъ русскаго либерализма стало освобожденіе крестьянъ, а не свобода и преуспѣяніе личности въ средѣ высшихъ классовъ насчетъ дарового труда и рабства многомилліонной массы народа. Вмѣстѣ съ тѣмъ народились и „кающіеся дворяне", люди, такъ или иначе отрицательно относившіеся къ выгодамъ своего привилегированнаго положенія. Характерны слѣдующія слова Тургенева: „Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что я возненавидѣлъ... Мнѣ необходимо было удалиться отъ моего врага, съ тѣмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я рѣшился бороться до конца, съ чѣмъ я поклялся никогда не примиряться. Это была моя аннибаловская клятва; и не я одинъ далъ ее себѣ тогда". Какъ именно боролся Тургеневъ съ своимъ врагомъ, достаточно-ли были сильны его нападенія—это другой вопросъ. Я говорю лишь о настроеніи, которое, конечно, не въ немъ одномъ звучало, и въ настроеніи этомъ уже слышалась нота покаянія, признанія грѣха и отвѣтственности передъ народомъ. Но Тургеневъ справедливо говоритъ, что подъ именемъ крѣпостного права онъ „собралъ и сосредоточилъ" многое. Дѣло было не въ одномъ крѣпостномъ правѣ, а во всѣхъ развѣтвленіяхъ той жизни, которая была на немъ построена. Вся она, очевидно, требовала перестройки, новыхъ устоевъ гражданственности, новой цивилизаціи. А такъ какъ европейская цивилизація переживала въ это время кризисъ, то и у насъ образовался знаменитый расколъ людей мысли на славянофиловъ и западниковъ. И тѣ, и другіе

Digitized by Google

одинаково желали свободы личности, стѣсненной не только крѣпостнымъ правомъ, но и всѣмъ строемъ нашей тогдашней жизни. Но славянофилы искали гарантій этой свободы въ древне-русскихъ или славянскихъ и византійскихъ чертахъ быта; западники же или совершенно отрицали надобность въ какихъ бы то ни было подобныхъ гарантіяхъ, или въ поискахъ за ними слѣдовали по стопамъ ищущей тоже Европы. Но уже Герценъ, сходясь въ этомъ отношеніи съ славянофилами и будучи совершенною имъ противоположностью во всемъ остальномъ, не постѣснился признать русскую крестьянскую общину именно такою гарантіей возможной свободы личности, которой недоставало Европѣ. Этимъ онъ вызвалъ извѣстную желчную и несправедливую выходку Карла Маркса, будто „полурусскій и вполнѣ москвичъ Герценъ" пропагандируетъ „обновленіе Европы посредствомъ кнута и насильственнаго смѣшенія европейской крови съ калмыцкою".

Къ шестидесятымъ годамъ славянофилы подошли, ничего не прибавивъ къ своему символу вѣры и ничего изъ него не вычеркнувъ, со всѣми своими свѣтлыми и тусклыми сторонами. Изъ нихъ только выдѣлилась небольшая, межеумочная группа „почвенниковъ", о которой не стоитъ и говорить. Что же касается западниковъ, то они вскорѣ раскололись на-двое. Одни остались при чистой доктринѣ либерализма, въ предположеніи, что кризисъ, пережитый Европою въ концѣ сороковыхъ годовъ, былъ лишь случайною вспышкой, вызванною нѣсколькими неразумными и горячими головами. Во главѣ этой партіи въ литературѣ стоялъ покойный Катковъ, привѣтствовавшій всѣ освободительныя реформы и мечтавшій о водвореніи у насъ англійскаго политическаго и экономическаго строя жизни. Съ этого пути Катковъ окончательно сошелъ лишь ко второй половинѣ шестидесятыхъ годовъ. Во главѣ другой партіи западниковъ стоялъ „Современникъ". Но едва-ли справедливо называть эту партію западническою, такъ какъ она, во-первыхъ, не останавливалась передъ критикой самыхъ основъ европейской цивилизаціи, а, во-вторыхъ, не отказывалась признать доброе, подлежащее дальнѣйшему развитію и въ основахъ русской жизни. Если, однако, названіе „западнической" не подходитъ къ этой партіи, то сближенія съ славянофильствомъ, которое г. Боборыкинъ усматриваетъ въ этихъ „петербургскихъ радикалахъ", тоже не было. Вѣрнѣе сказать, что на этомъ пунктѣ исторіи русской литера-

Digitized by Google

туры произошло полное упраздненіе обѣихъ доктринъ съ ихъ односторонностями. Сложилось новое, цѣльное міросозерцаніе, значительность котораго до извѣстной степени уже a priori гарантировалась не только высокими дарованіями людей, вырабатывавшихъ его, а и величіемъ того историческаго момента, подъ давленіемъ котораго оно складывалось. Собственно для характеристики отношеній этого міросозерцанія къ обѣимъ доктринамъ, которыя оно призвано было замѣнить, приведу слова Чернышевскаго (въ „Замѣткахъ о журналахъ“ 1857 г., цитируемыя и въ книгѣ г. Скабичевскаго). Оговоривъ тѣ элементы славянофильства, „которые находятся въ противорѣчіи и съ идеями, выработанными современною наукой, и съ характеромъ нашего времени“, Чернышевскій замѣчаетъ, что, кромѣ этихъ заблужденій, „есть въ славянофильствѣ элементы здоровые, вѣрные, заслуживающіе сочувствія. *И если уже должно дѣлать выборъ*, то лучше славянофильство, нежели та умственная дремота, которая часто покрывается эгидой вѣрности западной цивилизаціи, причемъ подъ западною цивилизаціей понимаются чаще всего системы, уже отвергнутыя западною наукой, и факты наиболѣе прискорбные въ западной дѣйствительности, не говоря уже о замѣненіи общинной поземельной собственности полновластною личною“.

„Если ужъ должно дѣлать выборъ“. Но на самомъ дѣлѣ и не приходилось дѣлать какой-нибудь выборъ, потому что, повторяю, и славянофильство, и западничество упразднялись, теряли свой raison d'être, уступая свои мѣста новому міровоззрѣнію. Къ этому міровоззрѣнію примкнули и мы въ семидесятыхъ годахъ (оговариваюсь разъ навсегда: говоря *мы*, я разумѣю, конечно, не всю литературу семидесятыхъ годовъ, а лишь ту часть ея, къ которой я имѣлъ честь принадлежать. И еще: говорю *мы*, хотя я лично началъ писать еще въ шестидесятыхъ годахъ; но я тогда слишкомъ мало и слишкомъ урывками работалъ, чтобы имѣть право причислять себя къ литературѣ шестидесятыхъ годовъ)

Вернемся на минуту къ *аннибаловской клятвѣ* Тургенева. Знаменитый романистъ клялся не только не мириться съ крѣпостнымъ правомъ, но и активно бороться съ нимъ; и не только съ нимъ, а и со всѣмъ, что въ немъ находило свой центръ. По своему темпераменту, склонностямъ, по роду своего ярко выраженнаго дарованія, наконецъ, по всѣмъ условіямъ какъ своей личной жизни, такъ и русской жизни вообще, Тургеневъ имѣлъ

Digitized by Google

въ распоряженіи только одно орудіе борьбы—искусство, беллетристику. Значитъ, онъ обрекалъ свое искусство на служебную роль, подчинялъ его извѣстной нравственно-политической цѣли. Это ставитъ передъ нами вопросъ о предѣлахъ и задачахъ искусства, а, слѣдовательно, и литературной критики, занимающей въ нашей новѣйшей литературѣ такое значительное мѣсто. Дѣйствительно, едва-ли гдѣ-нибудь и когда-нибудь пререканія по этому вопросу достигали такой напряженности и страстности, какъ у насъ. За „чистое“ искусство, съ одной стороны, за „тенденціозное“—съ другой ломалось множество копій, исповѣдываніе той или другой программы собственно искусства и литературной критики обращалось даже какъ-бы въ политическій догматъ, служило признакомъ принадлежности къ той или другой политической партіи. И не безъ основанія. Вопросъ о задачахъ и предѣлахъ искусства возникъ у насъ еще во времена Бѣлинскаго, когда, съ одной стороны, условія печати, а съ другой—малая развитость массы читателей естественно выдвигали беллетристику на первое мѣсто: беллетристическая форма была сравнительно безобидна и, вмѣстѣ съ тѣмъ, общедоступна. Тѣ-же причины выдвигали литературную критику, придавая ей исключительно важное значеніе. „Если-бы вы знали,—говорилъ Бѣлинскій Панаеву,—какое мученіе повторять зады, твердить одно и то-же, все о Лермонтовѣ, Гоголѣ и Пушкинѣ, не смѣть выходить изъ опредѣленныхъ рамъ, все искусство да искусство! Ну, какой я литературный критикъ? Я рожденъ памфлетистомъ—и не смѣть пикнуть о томъ, что накипѣло на душѣ, отъ чего сердце болитъ!“ Бѣлинскій ошибался,—онъ былъ настоящимъ литературнымъ критикомъ съ тонкимъ художественнымъ чутьемъ и блестящимъ анализомъ. Но что онъ былъ-бы, можетъ быть, еще болѣе блестящимъ памфлетистомъ (то-есть публицистомъ), это вѣрно, судя хотя-бы только по его знаменитому, столь-же пламенному, сколько и убѣдительному, истинно-уничтожающему письму къ Гоголю. Но обстоятельства держали его на привязи литературной критики, и очень натурально, что онъ страстно хотѣлъ имѣть дѣло, по крайней мѣрѣ, съ художественнымъ отраженіемъ жизни, если ужъ не съ самою жизнью. Однако, кромѣ личной склонности, у него были и другіе мотивы. Въ 1841 году онъ писалъ Боткину: „Что мнѣ въ томъ, что *я* понимаю идею, что мнѣ открытъ міръ идеи въ искусствѣ, въ религіи, въ исто-

Digitized by Google

ріи, когда я не могу этимъ дѣлиться со всѣми, кто долженъ быть моими братьями по человѣчеству, моими ближними по Христѣ, но кто мнѣ чужіе и враги по своему невѣжеству? Что мнѣ въ томъ, что для избранныхъ есть блаженство, когда большая часть и не подозрѣваетъ его возможностей? Прочь-же отъ меня блаженство, если оно—достояніе мнѣ одному изъ тысячъ! Не хочу я его, если оно у меня не общее съ меньшими братьями моими!.. И послѣ этого имѣетъ-ли право *человѣкъ* забываться въ искусствѣ, въ знаніи!" Въ 1843 г. онъ писалъ въ частномъ-же письмѣ: „Мнѣ стыдно вспомнить, что нѣкогда я думалъ видѣть на головѣ моей терновый вѣнокъ страданія, тогда какъ на ней былъ просто шутовской колпакъ съ бубенчиками. Какое страданіе, если стишонки Красова и Клюшникова были фактомъ жизни и занимали меня, какъ вопросы о жизни и смерти? Теперь иное: я не читаю стиховъ (и только перечитываю Лермонтова, все болѣе и болѣе погружаясь въ бездонный океанъ его поэзіи), и когда случится пробѣжать стихи Фета или Огарева, я говорю: оно хорошо, но какъ же не стыдно тратить времени и чернилъ на такіе вздоры?" (См. Пыпина: Бѣлинскій, его жизнь и переписка).

Какъ видите, мотивы тѣ-же, что и у *аннибаловской клятвы* Тургенева, только болѣе ярко и страстно выраженные. Отъ Мордвинова, предлагавшаго „потерпѣть" съ освобожденіемъ рабовъ, пока не освоятся со свободою и не преуспѣютъ господа, до Бѣлинскаго, отвергающаго „блаженство, если оно достояніе одного изъ тысячъ",—пространство неизмѣримое. Въ страстныхъ письмахъ Бѣлинскаго уже вполнѣ сказался зародышъ того всероссійскаго, можно сказать, покаянія, которое развернулось въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, послѣ крымской войны, но довольно скоро остыло, чтобы вновь воскреснуть, въ чрезвычайно своеобразной формѣ, въ семидесятыхъ годахъ.

Итакъ, Тургеневъ клялся подчинить свое художественное дарованіе нравственно-политической цѣли, сдѣлать изъ искусства орудіе, средство борьбы съ крѣпостнымъ правомъ. Бѣлинскій шелъ еще дальше въ этомъ направленіи, объявляя вздоромъ, не стоющимъ потраченныхъ чернилъ и времени, плоды „чистаго" вдохновенія, не имѣющаго отношенія къ „меньшимъ братьямъ". Чтобы оцѣнить истинное значеніе этого взгляда на задачи искусства, надо прислушаться къ противоположному мнѣнію. Нѣсколько позже (въ 1856 г.) Дружининъ, доказывая въ „Библіо-

Digitized by Google

текѣ для Чтенія“ вредъ, нанесенный нашей литературѣ критическими пріемами Бѣлинскаго, писалъ, между прочимъ: „Большая часть пишущихъ людей понимала необходимость жизни и примиренія съ жизнью, сознавала необходимость всего того, отъ чего ее отвращала новая критика, то-есть необходимость свѣтлаго взгляда на вещи, веселаго простодушнаго смѣха, необходимость беззлобнаго отношенія къ дѣйствительности, необходимость любящаго, симпатическаго взгляда на людей и на дѣла людскія“. Но, дескать, „дидактическія требованія“ критики Бѣлинскаго налагали на художниковъ „стѣснительныя узы“, въ которыхъ они и задыхались.

Эту послѣднюю цитату я заимствую у г. Скабичевскаго, который справедливо замѣчаетъ, что Дружининъ оказался въ этомъ случаѣ послѣдовательнѣе и откровеннѣе всѣхъ противниковъ проповѣдываемаго Бѣлинскимъ „искусства для жизни“ (въ противоположность пресловутому искусству для искусства). Но г. Скабичевскій извлекъ, мнѣ кажется, изъ словъ Дружинина далеко не все поучительное. Поучительно, во-первыхъ, сопоставить исповѣдываніе вѣры Дружинина съ тѣмъ „новымъ словомъ“, которое такъ упорно твердила въ послѣднее время „Недѣля“ отъ лица „новаго литературнаго поколѣнія“. Какъ видите, это „новое слово“ было провозглашено весьма второстепеннымъ критикомъ ни больше, ни меньше, какъ тридцать пять лѣтъ тому назадъ: Дружининъ говорилъ о „необходимости свѣтлаго взгляда на вещи“, „Недѣля“ излагала теорію „свѣтлыхъ явленій“; Дружининъ требовалъ „примиренія съ жизнью“, „Недѣля“ хлопотала о „реабилитаціи дѣйствительности“. Даже и слова-то почти одни и тѣ-же. Должно быть, и въ самомъ дѣлѣ ничто не ново подъ луною; даже „новое слово“—и то не ново... Любопытна, далѣе, слѣдующая черта. Если та борьба съ дѣйствительностью, въ которой клялся Тургеневъ и которой такъ страстно желалъ Бѣлинскій, есть „дидактизмъ“ и паденіе искусства и критики, то почему-же не заслуживаетъ этихъ обвиненій противоположная задача—примиреніе съ дѣйствительностью, ея „реабилитація“? Вѣдь, это противоположности, лежащія, такъ сказать, на одной плоскости. При помощи художественныхъ картинъ и образовъ или критическихъ къ нимъ комментаріевъ одинъ взываетъ къ борьбѣ съ дѣйствительностью, положимъ, съ крѣпостнымъ правомъ. При помощи тѣхъ-же самыхъ средствъ другой хочетъ примирить читателей

Digitized by Google

съ тою-же самою дѣйствительностью. реабилитировать ее. Почему первый—„дидактикъ“, „тенденціозенъ“, извращаетъ задачу искусства, а второй, напротивъ, представляетъ собою служителя „чистаго искусства“?

Со временъ Бѣлинскаго условія, въ которыхъ находится русская литература, много измѣнились къ лучшему. Въ эпоху реформъ печать получила бо́льшую свободу, нѣкоторый доступъ къ прямому обсужденію вопросовъ жизни. Вмѣстѣ съ тѣмъ, и масса читателей стала способнѣе интересоваться окружающею ее жизнью и вопросами болѣе или менѣе отвлеченными. Однако, обстоятельства, выдвинувшія на первый планъ беллетристику и литературную критику: ихъ сравнительная безобидность и ихъ общедоступность,—все-таки, оставались въ силѣ, да остаются, пожалуй, въ извѣстной степени, и теперь. Поэтому-то вопросъ о предѣлахъ и задачахъ искусства и литературной критики и занимаетъ такое видное мѣсто въ исторіи новѣйшей русской литературы. Немудрено, что ему посвящено не мало страницъ въ книгѣ г. Скабичевскаго. Къ сожалѣнію, собственные взгляды на этотъ предметъ почтеннаго автора „Исторіи новѣйшей русской литературы“ страдаютъ нѣкоторою расплывчатостью и неопредѣленностью.

Повидимому, г. Скабичевскій признаетъ за критикой Бѣлинскаго большія заслуги, но не совсѣмъ доволенъ его теоретическою постановкой самыхъ основаній критики. Онъ говоритъ: „Бѣлинскій установилъ въ критикѣ „принципъ искусства для жизни“, но этотъ принципъ въ статьяхъ великаго критика словно висѣлъ въ воздухѣ, такъ какъ въ эстетическихъ воззрѣніяхъ своихъ Бѣлинскій продолжалъ держаться старыхъ метафизическихъ теорій, не замѣчая, что онѣ по самому существу своему находились въ полномъ разладѣ съ новымъ принципомъ“. Г. Скабичевскому кажется именно, что опредѣленіе „прекраснаго“, котораго будто-бы Бѣлинскій держался до конца дней своихъ, находилось въ противорѣчіи съ новымъ, утилитарнымъ принципомъ. Я не думаю, чтобы это было справедливо, но останавливаться на этомъ не вижу надобности. Г. Скабическій думаетъ, что нужную поправку къ воззрѣніямъ Бѣлинскаго сдѣлалъ Валеріанъ Майковъ, даровитый и многообѣщавшій юноша, умершій въ 1847 г. (собраніе сочиненій его вышло въ нынѣшнемъ году). Поправка эта была какъ будто „подготовленіемъ дѣятельности Добролюбова“ (стр. 54).

Digitized by Google

Говорю: „какъ будто“—потому, что въ дальнѣйшемъ изложеніи г. Скабичевскаго дѣло принимаетъ совсѣмъ другой видъ. Свои размышленія о диссертаціи Чернышевскаго, „Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности“, г. Скабичевскій резюмируетъ такъ: „Это отождествленіе искусства съ наукою и приданіе искусству служебной роли иллюстрированія научныхъ, философскихъ и публицистическихъ изысканій было роковою ошибкой, которая повела за собою весьма крупныя послѣдствія. Первымъ дѣломъ, она вывела критику изъ той роли, которая наиболѣе ей свойственна, какъ цѣнительницѣ художественныхъ произведеній, и которую критика исполняла съ такимъ блестящимъ успѣхомъ въ эпоху Бѣлинскаго. Теорія Майкова, если-бы она была вполнѣ развита и утвердилась-бы въ литературѣ“ и т. д. (слѣдуетъ объясненіе значенія теоріи Майкова). „Совсѣмъ иныя требованія вытекаютъ изъ теоріи Чернышевскаго“, а именно получается критика не художественная, а публицистическая. А такъ какъ тутъ подоспѣла эпоха реформъ, то „подобная критика пришлась какъ нельзя болѣе ко времени и кстати и была осуществлена въ блестящей дѣятельности Добролюбова“. Чернышевскій самъ былъ лишенъ критическаго или эстетическаго чутья и потому „смиренно“ уступилъ свое мѣсто литературнаго критика Добролюбову, который оказался ученикомъ, затмившимъ своего учителя, потому что учителемъ-то его Чернышевскій былъ. Что-же касается Добролюбова, то, при многихъ прекрасныхъ качествахъ ума и сердца, онъ „былъ вовсе не критикъ, а публицистъ“. Тоже относится и ко всѣмъ послѣдующимъ критикамъ „передового лагеря движенія“ или „либеральнаго лагеря“, какъ выражается г. Скабичевскій.

Сожалѣнія достойно, что г. Скабичевскій остановился на критикахъ лишь этого лагеря, да и то не всѣхъ помянулъ. Но у насъ было и другое теченіе литературной критики, о представителяхъ котораго г. Скабичевскій либо упоминаетъ вскользь, либо совсѣмъ не говоритъ. У критиковъ временъ упадка литературы—Дружинина, Анненкова—были свои продолжатели. Критическія упражненія гг. Страхова, Н. Соловьева, Эдельсона, Авсѣенка и др. заслуживаютъ вниманія уже просто какъ факты исторіи новѣйшей русской литературы. Но эти факты находятся, кромѣ того, въ извѣстной связи съ другими, между прочимъ, и съ тѣми, которые занимаютъ г. Скабичевскаго. Онъ думаетъ, что эстети-

Digitized by Google

ческая теорія Чернышевскаго, впослѣдствіи, „воспринятая молодыми и незрѣлыми умами, послѣдовательно, по наклонной плоскости, должна была дойти до полнаго отрицанія искусства, что мы и видимъ въ публицистахъ „Русскаго Слова“ съ Писаревымъ во главѣ“. Что въ литературной дѣятельности Писарева и его сотрудниковъ было много неправильнаго и чрезмѣрнаго, это вѣрно. Но приписывать всѣ эти неправильности и чрезмѣрности вліянію эстетической теоріи Чернышевскаго, да молодости и незрѣлости умовъ,—это, по малой мѣрѣ, неосмотрительно. Чрезмѣрности Писарева и другихъ писателей его лагеря могутъ быть правильно освѣщены только при сопоставленіи ихъ съ противоположнымъ теченіемъ, которое сказалось и въ беллетристикѣ, и въ литературной критикѣ, а слѣдовательно, входитъ и въ предѣлы плана сочиненія г. Скабичевскаго. Но, даже вполнѣ соглашаясь на этомъ пунктѣ съ г. Скабичевскимъ, немножко трудно оріентироваться въ его воззрѣніяхъ на ходъ развитія нашей литературной критики. Теорія Валеріана Майкова, съ одной стороны, была „подготовленіемъ дѣятельности Добролюбова“, а съ другой стороны—учителемъ Добролюбова былъ Чернышевскій, на пагубу литературы отступившій отъ пути, намѣченнаго Валеріаномъ Майковымъ. Добролюбовъ не былъ критикомъ, но Чернышевскій предоставилъ ему этотъ отдѣлъ, потому что самъ былъ лишенъ критическаго чутья, которое, поэтому, въ Добролюбовѣ, надо полагать, было. Признаюсь, я не умѣю во всемъ этомъ разобраться.

Но въ чемъ-же состоитъ та спасительная теорія Валеріана Майкова, которая, впрочемъ, ничего не спасла? Валеріанъ Майковъ, безспорно, очень даровитый юноша, былъ въ свое время выдвигаемъ какъ-бы въ пику Бѣлинскому (который, впрочемъ, и самъ возлагалъ на него надежды), но, не успѣвъ, собственно говоря, ничего осязательнаго сдѣлать, сорокъ пять лѣтъ спокойно лежитъ въ могилѣ. Нынѣ его желаютъ извлечь оттуда не только какъ интересный, хотя и одиноко стоящій фактъ исторіи нашей литературы, но и въ судъ и въ осужденіе цѣлому теченію этой литературы. Въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ“, въ разборѣ собранія сочиненій Майкова, я нашелъ примѣрно тѣ-же мысли, что и въ „Исторіи новѣйшей русской литературы“ г. Скабичевскаго, а именно, что наша литературная критика, въ лицѣ Майкова, поднялась было на высшую, сравнительно съ Бѣлинскимъ, ступень, но потомъ, въ лицѣ Чернышевскаго и Добролюбова, пала еще ниже

Digitized by Google

прежняго, да такъ съ тѣхъ поръ и не можетъ поправиться. Не имѣя подъ руками сочиненій Майкова, я изложу его „теорію“ по книгѣ г. Скабичевскаго.

„Когда мы наблюдаемъ окружающую насъ дѣйствительность, все что мы видимъ, мы сравниваемъ съ собою (это пересказъ г. Скабичевскаго), и все то, въ чемъ мы не усматриваемъ ни малѣйшаго сходства съ собою, что намъ, поэтому, совершенно ново, чуждо и непонятно, все это для насъ *занимательно*, мы стремимся *изучить* это невѣдомое, усвоить его, найти въ немъ общее съ нами; а разъ этого мы достигаемъ, предметъ открывается намъ съ другой своей стороны—*симпатичной*, то-есть все то, что мы находимъ въ немъ общаго съ нами, возбуждаетъ въ насъ сочувствіе“. Далѣе г. Скабичевскій дѣлаетъ цитату изъ самого Майкова, изъ которой видно, что не то, что наблюдаемая дѣйствительность вообще, а „каждый предметъ, доступный нашему познанію, необходимо раздѣляется нами на двѣ половины“: одна—подстрекаетъ лишь нашу любознательность, другая—вызываетъ симпатію или антипатію. Г. Скабичевскій продолжаетъ: „Изъ этого отличія занимательнаго отъ симпатичнаго проистекаетъ отличіе науки отъ искусства. Все, что не возбуждаетъ въ насъ никакихъ эмоцій, а только одно любопытство, входитъ въ область науки; все-же симпатичное, въ чемъ мы находимъ частичку себя, все, что, такъ или иначе, относится къ намъ, что насъ волнуетъ, радуетъ, приводитъ въ негодованіе или пугаетъ, все это входитъ въ область искусства“. Это, опять-таки, пересказъ г. Скабичевскаго, а затѣмъ слѣдуютъ подлинныя слова Майкова: „Художественная мысль зарождается въ формѣ любви или негодованія, и тайна творчества—въ способности вѣрно изображать дѣйствительность съ ея симпатичной стороны. Иными словами, художественное творчество есть пересозданіе дѣйствительности, совершаемое не измѣненіемъ ея формъ, а возведеніемъ ихъ въ міръ человѣческихъ интересовъ (въ поэзію)“.

Такова теорія Майкова, по крайней мѣрѣ, въ томъ ея видѣ, въ какомъ г. Скабичевскій полагаетъ ея достоинство и спасительность. Прежде всего, ясно, что различеніе „занимательнаго“ и „симпатичнаго“ не представляетъ ничего новаго, такъ какъ оно и Бѣлинскому было хорошо извѣстно подъ именемъ различенія „объективнаго“ и „субъективнаго“ отношенія къ данному предмету. Затѣмъ, на основаніи этого различенія, никоимъ образомъ

Digitized by Google

не можетъ быть произведено то размежеваніе областей науки и искусства, которому г. Скабичевскій придаетъ особенную цѣну. Приведу лишь одинъ примѣръ, хотя ихъ можно было бы набрать тысячи. Если дѣянія Ивана Грознаго, Калигулы, Нерона, меня „волнуютъ, приводятъ въ негодованіе или пугаютъ“, то значитъ-ли это, что они должны быть отданы цѣликомъ въ вѣдѣніе искусства, а наукѣ такъ ужъ и нечего дѣлать съ ними? Я отнюдь не хочу этимъ сказать, что области науки и искусства не подлежатъ размежеванію. Я говорю лишь, что ихъ нельзя размежевать при помощи того принципа, который г. Скабичевскій нашелъ у Майкова. И наука, и искусство оперируютъ надъ однимъ и тѣмъ-же матеріаломъ; и та, и другое должны, по однимъ воззрѣніямъ, сами служить себѣ цѣлью (наука для науки, искусство для искусства), а по другимъ—возводить свой матеріалъ „въ міръ человѣческихъ интересовъ“. Но, во всякомъ случаѣ, искусство достигаетъ своихъ эффектовъ не только при помощи эмоцій вообще, а еще при помощи спеціальной эстетической эмоціи, о которой у Майкова нѣтъ помину. Если правда, что грѣхъ всей послѣдующей критики состоялъ въ томъ, что она была не критика, а публицистика, то теорія Майкова едва-ли могла предотвратить этотъ грѣхъ. „Художественная мысль зарождается въ формѣ любви или негодованія“, „художественная дѣятельность возводитъ дѣйствительность въ міръ человѣческихъ интересовъ“—отъ этихъ положеній не отказались-бы ни Чернышевскій, ни Добролюбовъ. И, въ концѣ-концовъ, я недоумѣваю, чего именно требуетъ г. Скабичевскій отъ литературной критики. Онъ, вѣдь, и самъ литературный критикъ, каковымъ является и въ „Исторіи новѣйшей русской литературы“, характеризуя, критически освѣщая цѣлый рядъ беллетристовъ. Тѣмъ, казалось-бы, легче уловить его требованія, такъ какъ они могли-бы быть подтверждены его собственнымъ примѣромъ. Но до какой степени трудно уловить собственные принципы г. Скабичевскаго, видно уже изъ самаго оглавленія его книги, изъ заглавій и подзаглавій ея отдѣловъ. Г. Скабичевскій группируетъ свой матеріалъ то хронологически („школа беллетристовъ сороковыхъ годовъ“, „беллетристы восьмидесятыхъ годовъ“), то по родамъ и видамъ формъ творчества („драма и комедія“, „поэзія“), то по нравственно-политическому содержанію („беллетристы-народники“, „общая характеристика тенденціозной беллетристики либеральнаго лагеря“,

Digitized by Google

„общая характеристика реакціонной беллетристики и ея шаблонъ“), то, наконецъ, по принадлежности писателей къ тому или другому полу („женщины-беллетристки“). Позволю себѣ напомнить по этому случаю поговорку: у семи нянекъ дитя безъ глазу.

Простите, читатель, за это отступленіе въ сторону книги г. Скабичевскаго. Простите и за будущія отступленія, которыхъ я предвижу не мало. Простите, наконецъ, за тысячу первый разговоръ о роли и задачахъ искусства. Тѣмъ болѣе простите, что тема эта давно упразднена самою жизнью и держится въ литературѣ единственно по недоразумѣнію, которое вонъ даже Валеріана Майкова тащитъ изъ сорокапятилѣтней могилы. Г. Скабичевскій говоритъ, что, „подъ вліяніемъ Чернышевскаго, Добролюбова и Писарева, русская критика передового лагеря движенія до сихъ поръ сохраняетъ публицистическій характеръ разсмотрѣнія художественныхъ произведеній съ точки зрѣнія ихъ общественно-политическаго значенія и анализа воспроизводимыхъ ими фактовъ съ цѣлью рѣшенія тѣхъ или другихъ общественныхъ вопросовъ или проведенія какихъ-либо политическихъ идей“. Это вѣрно не только относительно тѣхъ писателей, которыхъ г. Скабичевскій приводитъ для образца (М. А. Антоновича и меня) и которые, какъ на грѣхъ, сравнительно мало занимались собственно литературною критикой, но и относительно самого г. Скабичевскаго, принадлежащаго или, по крайней мѣрѣ, принадлежавшаго къ тому-же „передовому лагерю движенія“ и литературнаго критика по преимуществу. Мало того. Это вѣрно относительно всѣхъ „лагерей“. „Ангелъ чистой красоты“ отлетѣлъ отъ русской литературы. Если онъ и блеснетъ иногда, „какъ мимолетное видѣнье“, въ стихахъ, напримѣръ, г. Фета, такъ, во-первыхъ, его уже не встрѣчаютъ съ священнымъ трепетомъ, а, во-вторыхъ, въ насъ, наученныхъ опытомъ и размышленіемъ, закрадывается ядовитое сомнѣніе: подлинный-ли это ангелъ чистой красоты, не гусиныя-ли у него крылья, не тѣхъ-ли, именно, крестьянскихъ гусей крылья, которые нѣкогда такъ безпокоили г. Фета, на что онъ и жаловался „презрѣною прозой“ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“? Старая это исторія, и мало кто ее теперь помнитъ, а была такая „сконапель истоаръ“. Да и мало-ли какихъ „истоаръ“ мы насмотрѣлись. Давно-ли, напримѣръ, читали мы тенденціознѣйшія произведенія гг. Авсѣенка, Орловскаго, Маркевича,—произведенія,

Digitized by Google

въ которыхъ явственно доказывалось, что „нигилисты“ и разные прочіе „исты“ суть частью дураки, а частью злодѣи, тогда какъ князь Аполлонъ Загорскій и графиня Діана Заморская преисполнены, напротивъ того, ума, добродѣтели и любви къ отечеству? Произведенія эти печатались въ журналахъ, въ критическомъ отдѣлѣ своемъ поклонявшихся ангелу чистой красоты, которому, дескать, чужды „житейскія волненья, корысть и битвы“, а приличествуютъ лишь „вдохновенье, звуки сладкіе и молитвы“. Однако, и въ этомъ критическомъ отдѣлѣ поклоненіе ангелу чистой красоты совершалось лишь „вообще“, теоретически, а когда дѣло доходило до дѣла, то-есть до критическаго разбора того или другого произведенія, то господа критики не только свои „политическія идеи“ проводили (все больше насчетъ доблестей князя Загорскаго и графини Заморской), а и прямо-таки открытые доносы на неблагонамѣренность своихъ противниковъ писали. Ангелъ чистой красоты на дѣлѣ отдавался на службу даже очень сквернымъ цѣлямъ. И теперь то-же самое дѣлается.

Дѣло очень простое. Литературный критикъ есть толкователь художественныхъ произведеній. Успѣхъ или не успѣхъ его толкованія, правильность или неправильность его пріемовъ зависятъ какъ отъ его личныхъ свойствъ, такъ и отъ свойствъ произведенія, подлежащаго критикѣ. Критикъ можетъ быть лишенъ эстетическаго чутья и вкуса, и потому либо не обратитъ вниманія на художественныя красоты и изъяны произведенія, либо неправильно ихъ освѣтитъ, но возможно, что онъ при этомъ лучше всякаго другого понимаетъ другія стороны произведенія, которыя, вѣдь, тоже требуютъ толкованія или оцѣнки. Таковъ именно и былъ Чернышевскій. Въ 1856 г. Тургеневъ, взаимныя отношенія котораго съ „Современникомъ“ скоро послѣ того стали открыто враждебными, писалъ Дружинину: „Мертвечины я въ Чернышевскомъ не нахожу,—напротивъ, я чувствую въ немъ струю живую, хотя и не ту, которую вы желали бы встрѣтить въ критикѣ. Онъ плохо понимаетъ поэзію: знаете, это еще не великая бѣда; критикъ не дѣлаетъ поэтовъ и не убиваетъ ихъ, но онъ понимаетъ... какъ это выразить?—потребности дѣйствительной современной жизни. И въ немъ это не есть проявленіе разстройства печени, какъ говорилъ нѣкогда милѣйшій Григоровичъ, а самый корень существованія. Впрочемъ, довольно объ этомъ; я почитаю Чернышевскаго полезнымъ; время покажетъ, былъ-ли я правъ“

Digitized by Google

(„Собраніе писемъ Тургенева“, 26). Бываетъ, однако, и такъ, что художественныя достоинства и недостатки произведенія, сравнительно съ другими его сторонами, мало или вовсе не нуждаются въ оцѣнкѣ или толкованіи. Тогда критикъ, даже отличающійся такимъ значительнымъ эстетическимъ чутьемъ, какимъ обладалъ Добролюбовъ, естественно ограничивается лишь бѣглыми замѣчаніями спеціально литературно-критическаго характера и налегаетъ на другія стороны произведенія. Критикъ, который вздумалъ-бы ограничиться художественными красотами или ошибками сочиненій даже такихъ первоклассныхъ беллетристовъ, какъ Левъ Толстой, Достоевскій, оставилъ-бы безъ оцѣнки слишкомъ многое и важное. И немудрено, что еще не нашлось ни одного критика, который не оказался бы, говоря о Толстомъ и Достоевскомъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и публицистомъ. Какъ отказаться отъ публицистической критики, когда вотъ даже г. Скабичевскій, повидимому, ею неудовлетворяемый, вынужденъ отмѣчать существованіе „тенденціозной беллетристики либеральнаго лагеря“ и „реакціонной беллетристики“? Трактовать ихъ исключительно съ художественной стороны,—не значитъ-ли это мѣрить пространство пудами или вѣсъ аршинами? Никто этого въ дѣйствительности и не дѣлаетъ. Всякій литературный критикъ, къ какому бы лагерю или партіи онъ ни принадлежалъ, по мѣрѣ своихъ силъ и разумѣнія, оцѣниваетъ художественную сторону произведенія, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, неизбѣжно становится и публицистомъ, то-есть, опять-таки, по мѣрѣ своихъ силъ и разумѣнія трактуетъ объ идеяхъ и явленіяхъ жизни, такъ или иначе отразившихся въ произведеніи. А если при этомъ нѣкоторые, какъ „либеральные“, такъ и „реакціонные“, критики считаютъ нужнымъ вздохнуть по утраченномъ раѣ, въ которомъ безмятежно виталъ ангелъ чистой красоты, такъ это говорится обыкновенно только во вступленіи къ статьѣ, да и то по недоразумѣнію: жизнь ворвалась и въ беллетристику и въ литературную критику, — ворвалась она такою, какова она есть на самомъ дѣлѣ, со всѣмъ, что въ ней грязнаго и свѣтлаго, гнуснаго и возвышеннаго.

Такимъ образомъ, признаніе за искусствомъ служебной роли и отрицательное отношеніе къ такъ называемому чистому искусству или къ искусству для искусства составляетъ наслѣдіе еще сороковыхъ годовъ, достигшее своего полнаго расцвѣта въ шестидесятыхъ годахъ. И досталось это наслѣдіе не семидесятымъ

Digitized by Google

только годамъ или какой-нибудь части литературы семидесятыхъ годовъ, а всѣмъ, и надолго, если не навсегда. Насколько возможно провидѣть будущее, искусство останется будильникомъ не одной спеціальной эстетической эмоціи, а и сложныхъ чувствъ и мыслей нравственно-политическаго порядка. Только тамъ, вдали, на самой грани осуществленнаго идеала, когда водворится „на землѣ миръ и въ человѣцѣхъ благоволеніе“, быть можетъ, вновь расцвѣтетъ искусство для искусства. Ахъ, читатель, мы съ вами не доживемъ до этого,—ни мы, ни дѣти наши, ни дѣти дѣтей нашихъ! А потому и для нихъ искусство останется однимъ изъ самыхъ могучихъ орудій борьбы. Конечно, и теперь возможны въ минуты отдыха „звуки сладкіе“, безъ всякой иной приправы, кромѣ художественной сладости, и вполнѣ законно наслажденіе ими, но я говорю объ общемъ и главномъ руслѣ искусства. И повторяю, оно для всѣхъ лагерей и партій одинаково. Разница лишь, во-первыхъ, въ степени откровенности или сознательности. Всѣ употребляютъ искусство какъ орудіе борьбы, какъ средство для достиженія извѣстныхъ цѣлей, лежащихъ внѣ предѣловъ искусства. Но одни говорятъ: такъ есть, и иначе быть не можетъ. А другіе, дѣлая то-же самое, по лицемѣрію-ли или по недомыслію, трагически восклицаютъ: какое униженіе святого искусства!... Вторая разница лежитъ въ области тѣхъ цѣлей, къ которымъ искусство относится какъ средство, которымъ оно служитъ или должно служить. Искусство для искусства есть миѳъ, „искусство для жизни“—не миѳъ, но эта формула слишкомъ общая, потому что и собака живетъ, и мышь живетъ, какъ замѣчаетъ король Лиръ. Но, конечно, не интересамъ собачьей или мышиной жизни должно служить искусство, а интересамъ жизни человѣческой, интересамъ человѣка, человѣческой личности.

Выше было уже упомянуто, что ходъ развитія европейской мысли привелъ ее къ признанію труда такимъ общественнымъ элементомъ, интересы котораго не могутъ противорѣчить интересамъ человѣческой личности. Но этотъ результатъ не сразу дался европейской мысли. Когда, въ концѣ прошлаго столѣтія, подъ звуки гимновъ свободѣ, равенству и братству, были провозглашены „права человѣчества“, среди всеобщаго энтузіазма и кровавой борьбы было не до того, чтобы вскрывать ножомъ анализа понятіе „человѣка“, провозгласившаго свои „права“. Лишь съ теченіемъ времени обнаружилось, что этотъ „человѣкъ“ есть

Digitized by Google

собственно „буржуа“. Тогда политическій вопросъ осложнился вопросомъ соціальнымъ, и выступили на сцену права представителей труда и, главнымъ образомъ, именно фабричныхъ рабочихъ. У насъ въ шестидесятыхъ годахъ тоже произошло освобожденіе личности отъ нѣкоторыхъ оковъ, но наиболѣе яркое выраженіе оно получило въ формѣ освобожденія крестьянъ. Тѣнь отъ этого огромнаго историческаго событія раскинулась далеко и надолго, все собою окрашивая. Ожидались и осуществлялись дальнѣйшія реформы, слишкомъ быстро, какъ казалось однимъ, слишкомъ медленно, по мнѣнію другихъ. Всѣ они имѣли въ виду дать нѣкоторый просторъ личности въ печати, въ земскомъ самоуправленіи, въ путяхъ къ достиженію образованія, въ дѣлѣ промышленности, въ сферѣ юстиціи; но всѣ они меркли по сравненію съ основною реформой освобожденія крестьянъ, утопали въ ней. Поэтому, понятія личности и представителя труда, и именно мужика, готовы были отождествиться, да до извѣстной степени и отождествились. Это обстоятельство имѣло многія чрезвычайно важныя послѣдствія.

V *).

Въ одной изъ толстовскихъ колоній.—Изъ прошлаго и настоящаго гр. Л. Н. Толстого.—Полемика съ нимъ И. И. Мечникова.

Въ „Смоленскомъ Вѣстникѣ“ печатаются чрезвычайно интересные очерки быта „Шавѣевской колоніи“, маленькой общины послѣдователей гр. Л. Н. Толстого, осѣвшихъ на землю и практически осуществляющихъ теоріи учителя. Дѣла „андреевцевъ“ (такъ авторъ-очевидецъ называетъ колонистовъ по имени иниціатора предпріятія) идутъ плохо. Происходитъ много разговоровъ нравственно-богословскаго характера, но работаютъ неважно; евангельскій завѣтъ о любви къ ближнему тоже больше дебатируется, чѣмъ проводится въ жизнь. А одна попытка его практическаго осуществленія повела даже къ совершенно неожиданнымъ результатамъ, очень смутившимъ колонистовъ. Собственно объ этой только попыткѣ я и хочу сказать нѣсколько словъ.

*) 1892, январь.

Digitized by Google

Въ числѣ догматовъ, исповѣдуемыхъ колонистами, не послѣднее мѣсто занимаетъ знаменитое непротивленіе злу. О непротивленіи говорилось такъ много, что и окрестные крестьяне узнали и оцѣнили эту черту своихъ оригинальныхъ сосѣдей. Крестьяне говорятъ: „Вѣра у нихъ такая,—дѣлай ты съ ними что хочешь, въ судъ не пойдутъ; люди смирные, тихіе, а что они промежъ себя дюже громко орутъ, словно за горло другъ дружку схватить хотятъ, такъ это у нихъ манеръ такой, а ссоры тутъ никакой нѣтъ: глядишь—опять пошло по-старому, начнутъ весело разговаривать. Народъ хорошій, только въ хозяйствѣ пути никакого нѣтъ“. Однажды вышелъ такой казусъ. Взяли андреевцы къ себѣ на воспитаніе изъ сосѣдняго города уличнаго мальчишку лѣтъ тринадцати, который не имѣлъ близкихъ родныхъ, попрошайничалъ и уже былъ значительно испорченъ, а мальчикъ былъ впечатлительный, способный и смѣлый.

Вотъ, видитъ онъ, что зипунишка на немъ сталъ разваливаться, а на толстовцахъ пиджаки и поддевки все здоровые; всталъ утромъ пораньше всѣхъ, выбралъ себѣ поддевочку по росту и надѣлъ, а зипунишко свой забросилъ. Проснулись андреевцы и видятъ этотъ случай. Хозяинъ поддевки обращается къ мальчишкѣ:

— Ты зачѣмъ надѣлъ мою поддевку?

— Потому что моя развалилась, а твоя мнѣ понравилась.

— Ну. ну, скидавай! Что бобы-то разводить.

— Зачѣмъ я буду скидавать? Эта поддевка моя.

— Скидавай, говорятъ тебѣ! А то самъ сниму.

— Ну-ка, попробуй! Что-же ты вѣру свою хочешь смѣнить? Сказано: злому не противься.

Впечатлѣніе получилось довольно сильное: нѣкоторые искренно разсмѣялись, другіе серьезно и вдумчиво вперли свои взоры въ оригинальнаго мальчика; хозяинъ поддевки не зналъ что дѣлать,—стоялъ сконфуженный и недовольный такимъ казусомъ.

— Ну, ну, Петька, довольно шутить; мнѣ на работу нужно идти,— сказалъ онъ.

— Какія тутъ шутки! Вотъ еще что выдумалъ! Сказано, не дамъ. А если станешь снимать, такъ и тресну! Что ты мнѣ сдѣлаешь? Драться тебѣ нельзя.

Женщины возмутились и стали читать мальчику нотаціи.

— Какъ тебѣ не совѣстно такія глупости дѣлать? Тебя пріютили, обмыли, накормили, одѣли, и ты за это ругаешься, да и еще бить хочешь; неужели у тебя стыда нѣтъ никакого?

— Эка чѣмъ вздумала хвалиться: напоили, накормили! Вы и должны это дѣлать, потому что вѣра ваша такая; сколько разъ сами говорили: голоднаго накорми, нагого одѣнь; то-то! Говорите одно, а дѣлаете другое: поддевки жалко стало. Сказано, не отдамъ, а если полѣзете, такъ я васъ...

Digitized by Google

Колонисты были очень смущены. И это совершенно понятно. Петька, вѣдь, прожилъ въ колоніи нѣсколько мѣсяцевъ и ничего не воспринялъ ни изъ поученій, ни изъ примѣра толстовцевъ. И какъ-же теперь съ нимъ поступить? Но если бы даже и оказался удовлетворительный способъ такъ или иначе немедленно разрѣшить вопросъ о Петькѣ практически (изъ статьи „Смоленскаго Вѣстника“ не видно конца этого грустно-комическаго эпизода), то передъ колонистами возникалъ рядъ болѣе общихъ вопросовъ укоризненно-смущающаго свойства. „Смоленскій Вѣстникъ“ справедливо говоритъ, что, въ виду эпизода съ Петькой и нѣкоторыхъ другихъ обстоятельствъ, толстовцы должны были сознать, что въ Шавѣевской колоніи „идетъ какое-то броженіе мыслей, чувствъ, поступковъ, что тутъ нѣтъ организованнаго дѣла и послѣдовательной жизни. Наговорено было много о любви къ Богу и ближнему, но въ чемъ тутъ проявилась фактическая сторона евангельскаго ученія? Гдѣ дѣла любви, состраданія, милосердія? Въ чемъ сказалась жизненная сторона этой толстовской колоніи?“

Признаюсь, я не питаю добрыхъ чувствъ къ толстовскимъ колоніямъ, равно какъ и вообще къ ученію гр. Толстого. Но не съ злорадствомъ отмѣчаю я эпизодъ съ Петькой и вообще неудачу Шавѣевской колоніи, а, напротивъ, съ грустью. Я убѣжденъ, что „андреевцы“ въ общемъ прекрасные люди, искренно ищущіе добра, правды, свѣта. А въ томъ, что они желаютъ сѣсть на землю и жить трудами рукъ своихъ, ужъ, конечно, нѣтъ ничего дурного, смѣха или порицанія достойнаго. Но именно потому, что въ этихъ людяхъ и въ ихъ дѣлѣ такъ много хорошаго, нельзя безъ грусти думать о томъ удивительномъ сумбурѣ, который господствуетъ въ умахъ толстовцевъ. Уже одинъ эпизодъ съ Петькой показываетъ, что, прежде чѣмъ приниматься за практическое дѣло, надо покончить съ теоретическимъ сумбуромъ, иначе цѣлая группа образованныхъ и благожелательно-настроенныхъ молодыхъ людей можетъ оказаться безпомощною передъ нахальствомъ тринадцатилѣтняго испорченнаго мальчишки. А то ли еще бываетъ въ средѣ толстовцевъ! Разсказываютъ, наприм., о такихъ, которые торопятся разжениться, слѣдуя „Крейцеровой сонатѣ“, точно также, какъ недавно еще торопились жениться и выходить замужъ, слѣдуя предписанію того-же гр. Толстого, нынѣ имъ взятому назадъ. Можно себѣ

Digitized by Google

представить, какія драмы разыгрываются на этой почвѣ. А, вѣдь, гр. Толстой, пожалуй, опять передумаетъ или что-нибудь новое придумаетъ...

Недавно г. Гольцевъ познакомилъ читателей „Русскихъ Вѣдомостей“ съ содержаніемъ книжки женевскаго профессора Эдуарда Рода Les idèes morales du temps présent, точнѣе говоря, съ содержаніемъ той главы книжки, которая трактуетъ объ идеяхъ гр. Толстого. Между прочимъ, по мнѣнію Рода, какъ его передаетъ г. Гольцевъ, „мысль гр. Толстого все время развивалась прямолинейно, съ неуклонною и безстрашною логикой“. Затѣмъ Родъ намѣчаетъ двѣ или три (это не совсѣмъ ясно) дѣйствительно очень послѣдовательныя стадіи, которыми будто-бы исчерпывается ходъ развитія идей гр. Толстого. Изъ дальней Женевы дѣло можетъ, конечно, представляться въ такомъ видѣ, но мы, соотечественники гр. Толстого, имѣемъ возможность поправить ошибку женевскаго профессора. Въ дѣйствительности мысль гр. Толстого не только не „развивалась прямолинейно, съ неуклонною и безстрашною логикой“, а, напротивъ того, мудрено и представить себѣ что-нибудь болѣе капризное. Будущій біографъ графа разберетъ это сложное дѣло, а я пока выберу кое-что изъ воспоминаній г. Фета, одного изъ близкихъ друзей гр. Толстого.

Къ 1857 г. относятся воспоминанія г. Фета объ увлеченіи гр. Толстого щегольствомъ и свѣтскою жизнью. 29-ти лѣтній графъ, уже признанный восходящимъ литературнымъ свѣтиломъ и окруженный, вдобавокъ, ореоломъ одного изъ защитниковъ Севастополя, только что сбросившаго мундиръ, широко пользовался удовольствіями свѣтской жизни. Его старшій братъ, Николай, „обожалъ“ его, „но надо было слышать, съ какою ироніей онъ отзывался о его великосвѣтскихъ похожденіяхъ: „а Левочка опять надѣлъ фракъ и бѣлый галстукъ и отправился на балъ“. „Въ то время,—продолжаетъ г. Фетъ,—у свѣтской молодежи входили въ моду гимнастическія упражненія, между которыми первое мѣсто занимало прыганье черезъ деревяннаго коня. Бывало, если нужно захватить Льва Николаевича во второмъ часу дня, надо отправляться въ гимнастическій залъ на Большой Дмитровкѣ. Надо было видѣть, съ какимъ одушевленіемъ онъ, одѣвшись въ трико, старался перепрыгнуть черезъ коня, не задѣвши кожанаго, набитаго шерстью конуса, поставленнаго на спинѣ этого коня“.

Digitized by Google

Эти черты изъ жизни гр. Толстого не составляютъ какой-нибудь неожиданной новости, но приведенныя маленькія подробности любопытны, какъ образчики того увлеченія, съ которымъ графъ отдавался той или другой захватывающей его волнѣ. Сила этого увлеченія равняется развѣ только той быстротѣ и рѣзкости, съ которыми мѣнялись предметы увлеченія.

Подъ 1858 г. записанъ у г. Фета разсказъ гр. Н. Н. Толстого: „Левочка усердно ищетъ сближенія съ сельскимъ бытомъ и хозяйствомъ, съ которыми, какъ и всѣ мы, до сихъ поръ знакомъ поверхностно. Но ужъ не знаю, какое тутъ выйдетъ сближеніе: Левочка желаетъ все захватить разомъ, не упуская ничего, даже гимнастики. И вотъ у него подъ окномъ кабинета устроенъ баръ. Конечно, если отбросить предразсудки, съ которыми онъ такъ враждуетъ, онъ правъ: гимнастика хозяйству не помѣшаетъ; но староста смотритъ на дѣло нѣсколько иначе: „придешь,—говоритъ,—къ барину за приказаніемъ, а баринъ, зацѣпившись одною колѣнкой за жердь, виситъ въ красной курткѣ головой внизъ и раскачивается; волосы отвисли и мотаются, лицо кровью налилось,—не то приказанія слушать, не то на него дивиться“. Понравилось Левочкѣ, какъ работникъ Юфанъ растопыриваетъ руки при пахотѣ. И вотъ Юфанъ для него эмблема сельской силы, вродѣ Микулы Селяниновича. Онъ самъ, широко разставляя локти, берется за соху и юфанствуетъ“.

Къ тому-же 1858 г. относится шутливое письмо гр. Л. Н. Толстого къ г. Фоту, несмотря на шуточную форму, хорошо отражающее его внутреннія колебанія. Вотъ отрывки изъ него: „Повѣсти писать глупо, стыдно. Стихи писать... Пожалуй, пишите; но любить хорошаго человѣка очень пріятно. А, можетъ быть, противъ моей воли и сознанія, не я, а сидящая во мнѣ еще не назрѣвшая повѣсть заставляетъ любить васъ. Что-то иногда такъ кажется. Что ни дѣлай, а между навозомъ и крапивой нѣтъ-нѣтъ, да возьмешь и сочинишь. Спасибо, что еще писать себѣ не позволяю и не позволю... Дружининъ проситъ по дружбѣ сочинить повѣсть. Я, право, хочу сочинить. Такую сочиню, что ужъ ничего не будетъ. Шахъ персидскій куритъ табакъ, а я тебя люблю. Вотъ она штука-то! Безъ шутокъ, что вашъ Гафизъ? Вѣдь, какъ ни вертись, а верхъ мудрости и твердости для меня, это—только радоваться чужою поэзіей, а свою собственную не пускать въ люди въ уродливомъ нарядѣ, а са-

Digitized by Google

мому ѣсть съ хлѣбомъ насущнымъ. А иногда такъ вдругъ захочется быть великимъ человѣкомъ и такъ досадно, что до сихъ поръ еще это не сдѣлалось. Даже поскорѣе торопишься вставать или доѣдать обѣдъ, чтобы начинать".

Въ 1860 г. въ письмѣ гр. Толстого встрѣчаемъ первый намекъ на его увлеченіе педагогическою дѣятельностью. Поговоривъ о литературныхъ новостяхъ, о „Наканунѣ" Тургенева и „Грозѣ" Островскаго („Гроза" есть, по его мнѣнію, „плачевное сочиненіе"), графъ прибавляетъ: „Другое теперь нужно. Не намъ нужно учиться, а намъ нужно Мареутку и Тараску выучить хоть немножко тому, что́ мы знаемъ". Впослѣдствіи, въ педагогическихъ статьяхъ, этотъ взглядъ гр. Толстого потерпѣлъ кое-какія измѣненія, а еще позже и опять измѣнился. Но въ письмахъ къ г. Фету,—по крайней мѣрѣ, въ тѣхъ, которыя послѣдній счелъ нужнымъ напечатать,—педагогическія идеи гр. Толстого и его взгляды на народное образованіе представлены очень скудно. Видно только, что графъ открылъ школу у себя въ Ясной-Полянѣ, потомъ закрылъ ее, потомъ опять открылъ, а нынѣ, кажется, она опять не существуетъ или, во всякомъ случаѣ, гр. Толстой не принимаетъ въ ней того горячаго непосредственнаго участія, какъ прежде.

Въ февралѣ 1860 г., неизвѣстно по какому поводу, Тургеневъ писалъ г. Фету: „А Левъ Толстой продолжаетъ чудить. Видно, такъ ужъ написано ему на роду. Когда онъ перекувыркнется въ послѣдній разъ и станетъ на ноги?"

Въ октябрѣ 1860 г. гр. Толстой пишетъ г. Фету чрезвычайно мрачное письмо, въ которомъ говоритъ, между прочимъ, что „искусство есть ложь". Это крайне пессимистическое письмо есть, однако, выраженіе не какого-нибудь продуманнаго міросозерцанія, а лишь настроенія, вызваннаго острымъ горемъ (смертью горячо любимаго брата). Неудивительно поэтому, что черезъ два года графъ пишетъ: „Фетушка, дяденька, и просто милый другъ Аѳанасій Аѳанасьевичъ! я двѣ недѣли женатъ и счастливъ, и новый, совсѣмъ новый человѣкъ сталъ".

Въ дальнѣйшихъ письмахъ графъ сообщаетъ о своихъ хозяйственныхъ дѣлахъ и о своихъ писаніяхъ. Пишетъ онъ „Войну и миръ" и очень интересуется впечатлѣніями публики. Все идетъ болѣе или менѣе ровно, и только въ 1869 г. мы встрѣчаемся съ новою вспышкой. Графъ пишетъ: „Знаете-ли, что́ было для меня

Digitized by Google

нынѣшнее лѣто? Неперестающій восторгъ передъ Шопенгауэромъ и рядъ духовныхъ наслажденій, которыхъ я никогда не испытывалъ... Не знаю, перемѣню-ли я когда мнѣніе, но теперь я увѣренъ, что Шопенгауэръ—геніальнѣйшій изъ людей... Читая его, мнѣ непостижимо, какимъ образомъ можетъ оставаться имя его неизвѣстнымъ? Объясненіе только одно, то самое, которое онъ такъ часто повторяетъ, что, кромѣ идіотовъ, на свѣтѣ почти никого нѣтъ".

Въ 1870 г.: „Цѣлую зиму нынѣшнюю я занятъ только драмой вообще. И какъ это всегда случается съ людьми, которые до 40 лѣтъ никогда не думали о какомъ-нибудь предметѣ, не составили себѣ о немъ никакого понятія, вдругъ съ 40-лѣтнею ясностью обратятъ вниманіе на новый, не нанюханный предметъ, имъ всегда кажется, что они видятъ въ немъ много новаго. Всю зиму наслаждаюсь тѣмъ, что лежу, засыпаю, играю въ безикъ, хожу на лыжахъ, на конькахъ бѣгаю и больше всего лежу въ постели (больной), и лица драмы или комедіи начинаютъ дѣйствовать. И очень хорошо представляютъ".

Въ маѣ того-же 1870 г.: „Я получилъ ваше письмо, любезный другъ А. А., возвращаясь потный съ работы, съ топоромъ и заступомъ, слѣдовательно за 1,000 верстъ отъ всего искусственнаго и въ особенности отъ нашего дѣла. Развернувъ письмо, я первое прочиталъ стихотвореніе, и у меня защипало въ носу, я пришелъ къ женѣ и хотѣлъ прочесть, но не могъ отъ слезъ умиленія... Я только что отслужилъ недѣлю присяжнымъ, и было очень, очень для меня интересно и поучительно".

Въ октябрѣ все того-же 1870 г.: „Получилъ ваше письмо уже съ недѣлю, но не отвѣчалъ, потому что съ утра до ночи учусь по-гречески. Я ничего не пишу, а только учусь... Какъ я счастливъ, что на меня Богъ наслалъ эту дурь. Во-первыхъ, я наслаждаюсь; во-вторыхъ, убѣдился, что изо всего истинно-прекраснаго, что̀ произвело слово человѣческое, я до сихъ поръ ничего не зналъ, какъ и всѣ—и знаютъ, но не понимаютъ; въ третьихъ, тому, что я не пишу и писать дребедени многословной никогда не стану... Ради Бога, объясните мнѣ, почему никто не знаетъ басенъ Эзопа, ни даже прелестнаго Ксенофонта, не говоря уже о Платонѣ, Гомерѣ, которые мнѣ предстоятъ?.. Можете торжествовать: безъ знанія греческаго—нѣтъ образованія". Этотъ отрывокъ получаетъ особенный интересъ, если сопо-

Digitized by Google

ставить его съ тѣмъ, что графъ за нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ писалъ въ статьѣ: „Воспитаніе и образованіе“: „Сколько бы признанныхъ всѣмъ міромъ мудрецовъ и почтенныхъ по характеру людей ни утверждали, что для развитія человѣка полезнѣе всего выучить латинскую грамматику, греческіе и латинскіе стихи въ подлинникѣ, когда ихъ можно читать въ переводѣ, я не повѣрю этому, также какъ не повѣрю тому, что для развитія человѣка нужно стоять три часа на одной ногѣ“.

Въ 1872 г. гр. Толстой писалъ: „Азбука моя не даетъ мнѣ покоя для другого занятія. Печатаніе идетъ черепашьими шагами, и чортъ знаетъ, когда кончится, а я все еще прибавляю, убавляю и измѣняю. Что изъ этого выйдетъ — не знаю; а положилъ я въ него всю душу“.

Въ 1875 г.: „Урожай у насъ былъ средній, но цѣны на работу огромныя, такъ что въ концѣ только сойдутся концы. Я два мѣсяца не пачкалъ рукъ чернилами и сердца мыслями. Теперь же берусь за скучную, пошлую А. Каренину съ однимъ желаніемъ: поскорѣе опростать себѣ мѣсто—досугъ для другихъ занятій, но только не педагогическихъ, которыя люблю, но хочу бросить. Они слишкомъ много берутъ времени“.

Между Тургеневымъ и гр. Толстымъ происходили постоянныя недоразумѣнія, доходившія даже до вызова на дуэль, которая, къ счастью, не состоялась. Но, наконецъ, они разошлись совсѣмъ. Въ іюнѣ 1878 г. гр. Толстой внезапно помирился съ Тургеневымъ. У г. Фета это записано такъ: „По своему теперешнему религіозному настроенію онъ признаетъ, что смиряющійся человѣкъ не долженъ имѣть враговъ, и въ этомъ смыслѣ написалъ Тургеневу“.

Въ 1879 г. гр. Толстой рекомендуетъ г. Фету „книгу, которую еще никто не читалъ и я,—прибавляетъ графъ, — на-дняхъ прочелъ въ первый разъ и продолжаю читать и ахать отъ радости; надѣюсь, что и эта придется вамъ по сердцу, тѣмъ болѣе, что имѣетъ много общаго съ Шопенгауэромъ: это „Соломона Притчи“, „Экклезіастъ“ и „Книга Премудрости“, — новѣе этого трудно что-нибудь придумать“. Любопытно, что письмо это оканчивается такимъ сообщеніемъ: „У насъ были гость на гостѣ, театръ и дымъ коромысломъ, 34 простыни были въ ходу для гостей, и обѣдало 30 человѣкъ, и все сошло благополучно, и всѣмъ, и мнѣ въ томъ числѣ, было весело“.

Digitized by Google

На этомъ кончаются сообщаемыя г. Фетомъ письма гр. Толстого, сколько-нибудь характеризующія его внутреннюю жизнь. Можетъ быть, маститый поэтъ хранитъ у себя еще много писемъ маститаго романиста, между прочимъ, и такихъ, которыя относятся къ послѣднимъ, интереснѣйшимъ моментамъ развитія гр. Толстого, но онъ не счелъ нужнымъ или удобнымъ ихъ опубликовать. Во всякомъ случаѣ, приведенные отрывки очень характерны и сами по себѣ, и въ сопоставленіи съ кое-какими чертами жизни гр. Толстого, извѣстными намъ отъ него самого и изъ другихъ источниковъ. Было, напримѣръ, время, когда гр. Толстой съ удовольствіемъ сообщалъ г. Фету о томъ, что онъ исполнялъ обязанности присяжнаго засѣдателя, и было другое время, когда графъ торжественно и публично отказался отъ исполненія этой обязанности. Было время, когда графъ считалъ классическое образованіе просто вздоромъ и выражалъ это мнѣніе съ свойственною ему рѣзкостью; и было другое время, когда онъ рѣшалъ: „безъ знанія греческаго—нѣтъ образованія;“ и было, наконецъ, третье время, когда, кажется, всѣ системы образованія равномѣрно покрылись его презрѣніемъ. Быть можетъ, нѣкоторыя изъ этихъ перемѣнъ возможно подвести, въ качествѣ второстепенныхъ мелочей, подъ двѣ или три крупныя ступени развитія, отмѣченныя Эдуардомъ Родомъ. Но это невозможно относительно большинства перемѣнъ, пережитыхъ гр. Толстымъ, да и нельзя всѣ ихъ назвать второстепенными мелочами. Еще недавно гр. Толстой, находясь уже на послѣдней, высшей ступени своего развитія, утверждалъ, что „идеальная женщина“ есть та, которая „родитъ, выкормитъ и воспитаетъ наибольшое число дѣтей, способныхъ работать“. А теперь графъ объявляетъ идеальною женщиной ту, которая не родитъ ни одного ребенка. Надѣюсь, это не мелочи.

Обаятельная личность гр. Толстого создала ему толпу слѣпыхъ поклонниковъ, отказывающихся отъ собственнаго разума и только исполняющихъ приказанія, отданныя въ Ясной Полянѣ или Хамовническомъ переулкѣ. Есть у графа еще quasi-почитатели, которые не только не думаютъ какъ-нибудь измѣнить свою жизнь въ направленіи идей, вырабатываемыхъ въ хамовнической лабораторіи, но втайнѣ смѣются надъ ними, а, между тѣмъ, считаютъ нужнымъ выражать свое удивленіе передъ каждымъ новымъ словомъ графа. Одинъ изъ такихъ quasi-почитателей про-

Digitized by Google

говорился было насмѣшливымъ и не лишеннымъ остроумія словомъ, печатно назвавъ графа „во Христѣ барствующимъ“, но вслѣдъ затѣмъ, какъ ни въ чемъ не бывало, сталъ опять кадить графу. Это люди вполнѣ равнодушные, вполнѣ беззаботные насчетъ какихъ бы то ни было нравственныхъ идей, и руководятся они частію холопствомъ передъ громкимъ именемъ гр. Толстого, частію другими побочными соображеніями. Но есть и иные почитатели колоссальнаго художественнаго таланта гр. Толстого и нѣкоторыхъ другихъ драгоцѣнныхъ чертъ его духовной физіономіи. Они со скорбію и недоумѣніемъ слѣдятъ за капризными скачками этой крупной умственной силы. И какъ, въ самомъ дѣлѣ, не скорбѣть, когда видишь, что эта огромная сила даже не пропадаетъ для общества, а наноситъ ему ущербъ распространеніемъ странныхъ мнѣній, не имѣющихъ даже достоинства прочности и подготовляющихъ либо разочарованіе, либо лицемѣріе. Нѣкоторыя изъ мыслей, пущенныхъ гр. Толстымъ въ оборотъ, до такой степени явно неосновательны, что не будь онѣ высказаны именно имъ, ихъ бы или не замѣтили, или осмѣяли. Поневолѣ приходится, наконецъ, останавливаться не на мысляхъ графа, а на его личности, что собственно и дѣлаетъ большинство читателей какъ произведеній самого графа, такъ и многочисленныхъ печатныхъ сообщеній о его времяпровожденіи.

Попробуемъ вывести какія-нибудь общія заключенія изъ приведенныхъ отрывковъ изъ писемъ къ г. Фету. Должно же быть что-нибудь общее во всѣхъ этихъ противорѣчивыхъ увлеченіяхъ; должны, по крайней мѣрѣ, существовать общіе признаки этихъ увлеченій.

Прежде всего, мы видимъ здоровую, сильную духомъ и тѣломъ, дѣятельную натуру, постоянно требующую разносторонней работы. Мускулы графа, подъ тѣмъ или другимъ предлогомъ, подъ тѣмъ или другимъ теоретическимъ освѣщеніемъ, постоянно работаютъ. Въ періодъ увлеченія щегольствомъ и свѣтскою жизнью графъ занимается гимнастикой и, одѣвшись въ трико, прыгаетъ черезъ деревяннаго коня. Отправившись въ деревню для занятій сельскимъ хозяйствомъ, онъ смущаетъ старосту своими упражненіями на трапеціи, и затѣмъ „юфанствуетъ“, т.-е. подражаетъ работнику Юфану за сохой. Въ 1870 г., то-есть задолго до нынѣшняго своего превознесенія физическаго труда, онъ распечатываетъ письмо г. Фета, „возвращаясь потный съ работы, съ топоромъ и

Digitized by Google

заступомъ". Такимъ образомъ, физическія упражненія всегда составляли, такъ сказать, органическую потребность гр. Толстого. Мѣняются лишь мотивы, которыми графъ освѣщаетъ себѣ и другимъ эту органическую потребность. Но столь же велика въ немъ потребность духовной дѣятельности. Не говоря уже о томъ, что сорока слишкомъ лѣтъ онъ получаетъ отъ чтенія Шопенгауэра „рядъ духовныхъ наслажденій, которыхъ никогда не испытывалъ", а вслѣдъ затѣмъ преодолѣваетъ греческій языкъ; не говоря о той изумительной работѣ, которую ему пришлось совершить для созданія „Войны и мира" и проч.; не говоря обо всемъ этомъ, гр. Толстой усиленно работаетъ головой даже тогда, когда въ сказкѣ объ Иванѣ дуракѣ грубо и антихудожественно издѣвается надъ „головною работой" „чистаго господина". Къ сожалѣнію, есть въ этой необычайно богато одаренной натурѣ что-то такое, что ей самой мѣшаетъ свести свои концы съ концами и заставляетъ ее, по выраженію Тургенева, „кувыркаться".

Быть можетъ, это отъ того зависитъ, что гр. Толстой ужъ слишкомъ полонъ собой. Въ его умственныхъ скачкахъ поражаетъ та самоувѣренность, съ которою онъ всякій разъ „открываетъ Средиземное море", какъ говорилъ о немъ, по сообщенію г. Фета, В. Боткинъ. Прочитавъ Шопенгауэра, онъ изумляется, отчего этотъ мрачный философъ „неизвѣстенъ" и находитъ объясненіе въ томъ, что, „кромѣ идіотовъ, на свѣтѣ почти никого нѣтъ". Ему даже въ голову не приходитъ, что если франкфуртскій философъ былъ неизвѣстенъ ему, гр. Толстому, такъ это еще не значитъ, чтобы онъ былъ вообще неизвѣстенъ. Преодолѣвши греческій языкъ, онъ рѣшаетъ, что „никто не знаетъ басенъ Эзопа" и „прелестнаго Ксенофонта". Прочитавши „Притчи Соломона", онъ объявляетъ, что „этой книги еще никто не читалъ", а причину такого рѣшительнаго заявленія надо искать въ томъ, что графъ „самъ на-дняхъ въ первый разъ прочиталъ". Такъ и впослѣдствіи графъ заявлялъ, напримѣръ, что „всѣ ученые проглядѣли" изъяны теоріи Мальтуса, а, между тѣмъ, дѣло просто въ томъ, что самъ графъ только додумался до того, что другими было уже давно и хорошо выражено. Вообще предшественниковъ у графа Толстого нѣтъ, если не считать Ветхаго и Новаго Завѣта,—онъ, именно онъ, открылъ Средиземное море. Теоретически онъ, какъ мы видѣли, понимаетъ, что людямъ, „которые до 40 лѣтъ не думали о какомъ-нибудь предметѣ", только „кажется, что они

Digitized by Google

видятъ въ немъ много новаго". Но на дѣлѣ, какъ только ему попадается на глаза Средиземное море, ощущеніе радости или величія этого зрѣлища до такой степени его переполняетъ, что мысли о предшественникахъ не остается и мѣста. Не можетъ быть, чтобы кто-нибудь когда-нибудь достигалъ такой полноты и ясности пониманія, тутъ и справляться нечего...

На самомъ дѣлѣ, однако, справляться очень и очень не мѣшаетъ, потому что ясность и полнота пониманія достигаются преемственною работой, и тотъ, кто игнорируетъ эту преемственную работу, непремѣнно рискуетъ, будь онъ семи пядей во лбу, всю жизнь „кувыркаться". Такой человѣкъ легко поддается волнѣ увлеченія и столь же легко мѣняетъ ее на другую волну, какъ бы ни было, повидимому, рѣшительно и безповоротно его предъидущее мнѣніе. А привычка къ этой постоянной смѣнѣ волнъ увлеченія воспитываетъ непрочность убѣжденій и въ самыхъ простыхъ житейскихъ дѣлахъ.

Г. Фетъ просилъ гр. Толстого въ 1869 г. „дозволить снять съ него живописный портретъ". Графъ отвѣчалъ ему: „Насчетъ портрета я прямо говорилъ и говорю: нѣтъ. Если это вамъ непріятно, то прошу прощенія. Есть какое-то чувство сильнѣе разсужденія, которое мнѣ говоритъ, что это не годится". Всѣ снимаютъ съ себя портреты, не видя въ этомъ ничего предосудительнаго, да и что же, въ самомъ дѣлѣ, можно тутъ осудить? Если это нескромность, такъ, вѣдь, и скромнѣйшій въ мірѣ человѣкъ можетъ, по крайней мѣрѣ, уступить желаніямъ людей, его любящихъ и уважающихъ, и дать имъ возможность имѣть у себя передъ глазами черты любимаго лица. Снимался когда-то и графъ Толстой, — мнѣ случалось видѣть его фотографическія карточки еще въ офицерскомъ мундирѣ. Но вотъ онъ доходитъ какимъ-то, ему самому неяснымъ процессомъ мысли до убѣжденія, что снимать съ себя портреты „не годится". И онъ рѣшительно, безповоротно отказываетъ не какому-нибудь случайному знакомому или человѣку, желающему спекулировать на извѣстность графа и наживаться отъ снимковъ съ его портрета, а г. Фету, какъ видно изъ писемъ, избранному изъ избранныхъ въ числѣ его друзей. Повидимому, какъ ни странно убѣжденіе гр. Толстого, но оно непоколебимо, какъ скала, о которую тщетно бьются морскія волны. И, однако, теперь существуютъ портреты гр. Толстого, живописные, литографическіе и фотографическіе, въ кар-

Digitized by Google

тинныхъ галлереяхъ, на художественныхъ выставкахъ и въ витринахъ магазиновъ канцелярскихъ принадлежностей; графъ позировалъ и для Крамского, и для г. Ге, и для г. Рѣпина, имѣются его изображенія и за сохой, и съ книгой, и съ открытыми, и съ закрытыми глазами, и въ русскихъ, и въ европейскихъ, и въ американскихъ иллюстрированныхъ изданіяхъ. Конечно, многое изъ этого дѣлается помимо воли и даже безъ вѣдома гр. Толстого. Но онъ, во всякомъ случаѣ, измѣнилъ свой взглядъ, и любопытно знать мотивы этой перемѣны. Въ 1873 году онъ писалъ г. Фету: „У меня каждый день, вотъ уже съ недѣлю, живописецъ Крамской дѣлаетъ мой портретъ въ Третьяковскую галлерею, и я сижу и болтаю съ нимъ, и изъ петербургской стараюсь обращать въ крещеную вѣру. Я согласился на это потому, что самъ Крамской пріѣхалъ, согласился сдѣлать другой портретъ очень дешево для насъ, и жена уговорила“. И больше ничего. Неизвѣстно, какъ отнесся къ этой мотивировкѣ г. Фетъ, но, признаюсь, если бы мнѣ мой лучшій, ближайшій другъ рѣшительно отказалъ въ какой-нибудь просьбѣ, а потомъ исполнилъ бы ее для другого только потому, что дешево, да жена уговорила, — я бы не чувствовалъ себя удовлетвореннымъ. Очевидно, что непоколебимость скалы была только кажущаяся, и что самыхъ незначительныхъ толчковъ достаточно было, чтобы ее опрокинуть. При такихъ условіяхъ едва ли можно говорить объ убѣжденіяхъ. Просто: sic volo—sit pro ratione voluntas.

Это изреченіе могло бы быть поставлено девизомъ жизни и дѣятельности гр. Толстого. Несмотря на свою демократическую блузу и на упражненія въ земледѣльческихъ трудахъ, гр. Толстой есть баринъ, — умный, изумительно талантливый, всячески желающій отдѣлаться отъ своего барства, и, все-таки, баринъ. Я говорю не о внѣшнемъ положеніи богатаго и родовитаго человѣка, хотя и оно имѣетъ извѣстное, весьма даже большое значеніе. Все въ тѣхъ же драгоцѣнныхъ письмахъ гр. Толстого къ г. Фету есть слѣдующая подробность. Въ 1871 г. графъ чувствовалъ себя нехорошо и ему было предписано лѣченіе кумысомъ. Онъ уѣхалъ въ Самарскую губернію, откуда писалъ, между прочимъ: „Край здѣсь прекрасный, по своему возрасту только что выходящій изъ дѣвственности, по богатству, здоровью и въ особенности по простотѣ и неиспорченности народа. Я, какъ и вездѣ, примѣриваюсь, не купить ли имѣніе. Это мнѣ занятіе и лучшій

Digitized by Google

предлогъ для узнанія настоящаго положенія края". Впослѣдствіи графъ и дѣйствительно купилъ въ Самарской губерніи имѣніе, и, вѣроятно, дѣйствительно хорошо узналъ настоящее положеніе края. Но согласитесь, что это истинно-барскій способъ знакомиться съ какимъ бы то ни было дѣломъ. Нашъ братъ, обыкновенный труженикъ, не имѣющій средствъ гр. Толстого, долженъ, если пожелаетъ изучить хоть тотъ же самарскій край, искать тамъ мѣста, взять на себя какую-нибудь службу или вообще работу, можетъ быть, очень тяжелую и непріятную; а гр. Толстой можетъ бросить нѣсколько десятковъ тысячъ, прибавить, по библейскому выраженію, домъ къ дому и землю къ землѣ, и, въ своемъ новомъ имѣніи, пожалуй, „юфанствовать", землю пахать, трудомъ ближнему помогать, и пожалуй, и греческимъ языкомъ или теоріей драмы заниматься, а вдобавокъ попутно и край изучить.

То обстоятельство, что гр. Толстой, въ придачу къ высокимъ умственнымъ дарованіямъ, обладаетъ еще значительными матеріальными средствами, само по себѣ еще не объясняетъ скачковъ его мысли, но оно, очевидно, очень облегчаетъ, предоставляя огромный досугъ для всякаго рода экспериментовъ. Имѣетъ оно, однако, и нѣкоторыя дальнѣйшія слѣдствія. Пусть гр. Толстой пашетъ землю совершенно такъ же, какъ Юфанъ, шьетъ сапоги, какъ настоящій сапожникъ, складываетъ печи, какъ заправскій печникъ, — всѣмъ этимъ онъ только удовлетворяетъ свою органическую потребность въ физической дѣятельности. Когда-то онъ искалъ этого удовлетворенія въ упражненіяхъ на трапеціи и въ прыганіи черезъ деревяннаго коня, потомъ въ работѣ „съ топоромъ и заступомъ" около своего хозяйства и безъ всякихъ нравственно-соціальныхъ идей, теперь тотъ же топоръ и тотъ же заступъ получили для него идейное освѣщеніе. Удовлетвореніе личной потребности здороваго, сильнаго человѣка только, такъ сказать, переодѣвается. Но ни въ одно изъ этихъ переодѣваній существованіе графа и его семьи не было обезпечено трудомъ. Графъ потѣетъ, какъ Юфанъ, быть можетъ, даже обильнѣе, усерднѣе Юфана, но онъ не зарабатываетъ, какъ Юфанъ, въ потѣ лица хлѣбъ свой. Ему знакомъ здоровый аппетитъ, вызываемый физическимъ трудомъ и недоступный какому-нибудь канцелярскому труженику, но онъ не знаетъ даже опасеній голода, которыя всегда недалеки и отъ канцелярскаго труженика, и отъ

Digitized by Google

Юфана, и отъ ихъ семей. Онъ не знаетъ и никогда не зналъ, что такое нужда, что значитъ возможность остаться завтра безъ куска хлѣба или думать, что семья твоя пойдетъ послѣ твоей смерти по міру, очутится въ омутѣ нищеты и почти обязательнаго порока и разврата. И да будетъ благословенна судьба, не допустившая „великаго писателя Русской земли“ до этого горькаго знанія. Но—и за это уже нельзя благословлять судьбу—въ этомъ великомъ писателѣ сидитъ баринъ, неисправимый баринъ, привыкшій ничѣмъ не стѣсняться въ своихъ рѣшеніяхъ и сообразовать ихъ только съ своимъ сегодняшнимъ настроеніемъ. Не совсѣмъ справедлива пословица „сытый голоднаго не разумѣетъ“. Нѣтъ надобности самому голодать, чтобы проникнуться положеніемъ голоднаго человѣка, и, казалось бы, гр. Толстой съ его чуднымъ даромъ проникновенія въ чужія души, засвидѣтельствованнымъ цѣлымъ рядомъ безсмертныхъ художественныхъ произведеній, болѣе, чѣмъ кто-нибудь, способенъ пережить жизнь голоднаго, холоднаго, безпріютнаго. Онъ же такъ много говоритъ о любви къ ближнему. На самомъ дѣлѣ, однако, между графомъ и этимъ міромъ нуждающихся въ любви и помощи лежитъ цѣлая пропасть, притомъ, все расширяющаяся.

Когда выяснилась огромность послѣдствій неурожая, въ „Новостяхъ“ были опубликованы отрывки изъ письма гр. Толстого „къ одному старому петербургскому литератору“. Въ письмѣ этомъ гр. Толстой много распространяется о необходимости любить ближняго всегда, а не только во время голода, о томъ, что любить важнѣе, чѣмъ кормить, и т. д. Вмѣстѣ съ тѣмъ, графъ утверждалъ, что пожертвованія не нужны, даже вредны („ничего, кромѣ вреда, не произведетъ“), и обдавалъ будущихъ собирателей пожертвованій презрѣніемъ. Письмо это многихъ, въ томъ числѣ и почитателей гр. Толстого, непріятно поразило, надо сказать, извилистостью своей мысли и своею доктринерскою черствостью. Въ нѣкоторыхъ столичныхъ и провинціальныхъ газетахъ появились, по адресу гр. Толстого, разныя непріятныя и непріязненныя замѣчанія. Онъ попалъ и въ юмористическіе листки, причемъ его каррикатурное изображеніе было снабжено стихотворною подписью на тему: люблю, денегъ не даю. Долженъ признаться, что хотя все это и совпадало съ моимъ предполо-

Digitized by Google

женіемъ о пропасти, существующей между гр. Толстымъ и тѣмъ, кто нуждается въ любви и помощи, но мнѣ было обидно и горько за него,—слишкомъ онъ крупная фигура и слишкомъ многое въ его прошломъ дорого мнѣ, наравнѣ съ другими читателями, и можетъ быть, дороже, чѣмъ многимъ и многимъ другимъ. Я мысленно хватался за одно противорѣчіе письма, которое, какъ и всякое очевидное противорѣчіе, не дѣлало чести логикѣ гр. Толстого, но за то, какъ это часто бываетъ, выгораживало человѣка. Всегда оскорбительное для логики, противорѣчіе можетъ быть, смотря по обстоятельствамъ, оскорбительно или, напротивъ, утѣшительно для нравственнаго чувства. Письмо гр. Толстого оканчивается пожеланіемъ, чтобы „старому петербургскому литератору" удалось написать что-нибудь такое, что „тронуло бы сердца богатыхъ". Графъ прибавляетъ, что онъ хотѣлъ бы, чтобы и ему, гр. Толстому, „Богъ велѣлъ" написать нѣчто подобное. Спрашивается, какъ связать эти пожеланія съ утвержденіемъ ненужности и вредности пожертвованій и съ презрѣніемъ къ тѣмъ, кто вызываетъ и собираетъ пожертвованія? Зачѣмъ трогать сердца именно богатыхъ, если пожертвованія не нужны и даже вредны? Впослѣдствіи гр. Толстой собственнымъ примѣромъ показалъ, что богатые могутъ помочь голодающимъ не только денежными пожертвованіями, а и инымъ путемъ—организаціей даровыхъ столовыхъ. Но, вѣдь, эта организація возможна только при пожертвованіяхъ, а для самаго дѣла организаціи нужно быть не богатымъ, а умѣлымъ. Какъ бы то ни было, противорѣчіе въ письмѣ гр. Толстого очевидно, и за него то я и хватался. Я не сомнѣвался въ правильности своего итога, приведеннаго въ предъидущей главѣ. Да, девизъ гр. Толстого—„sic volo". Но онъ можетъ velle сегодня одного, завтра другого, какъ оно и было съ нимъ всю жизнь. И нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что, начавъ за здравіе, онъ кончаетъ за упокой, начавъ съ рѣшительнаго отрицанія пожертвованій, кончаетъ практическимъ ихъ утвержденіемъ и собираніемъ. Но могло бы быть и иначе.

„Доктринерская черствость письма гр. Толстого"... Это, какъ будто, не вяжется съ нравственнымъ обликомъ графа, повидимому, хорошо всѣмъ извѣстнымъ по его сочиненіямъ и разнымъ свѣдѣніямъ о немъ, частью его собственнымъ, біографическаго характера. Между тѣмъ, это совершенно вѣрно. Возставая противъ пожертвованій, гр. Толстой находился во власти доктрины,

Digitized by Google

которую онъ не разъ излагалъ и въ жизни своей осуществлялъ и которая особенно ярко выражена имъ въ сказкѣ „Два брата и золото“. Одинъ изъ двухъ добродѣтельныхъ братьевъ, найдя на дорогѣ кучу золота, съ ужасомъ отскочилъ отъ нея, а другой подобралъ золото и употребилъ его на добрыя дѣла, — на прокормленіе голодныхъ, лѣченіе больныхъ, уютъ бездомныхъ. Себѣ онъ ничего не взялъ и, устроивъ дѣло помощи неимущимъ и сирымъ, вернулся домой въ той же старой одеждѣ, съ утѣшительнымъ сознаніемъ, что помогъ людямъ. Но явившійся ему на пути грозный ангелъ разъяснилъ ему, что онъ былъ соблазненъ дьяволомъ, который нарочно насыпалъ кучу золота. И тотъ человѣкъ „позналъ, что не золотомъ, а только трудомъ можно служить Богу и людямъ“. Какъ и въ большинствѣ новѣйшихъ сказокъ гр. Толстого, мораль здѣсь крайне натянута и двусмысленна. Какой, въ самомъ дѣлѣ, разсчетъ дьяволу способствовать устройству больницъ, пріютовъ для вдовъ и сиротъ, страннопріимныхъ домовъ? Все это называется, обыкновенно, „богоугодными“, а не дьяволоугодными заведеніями, и дьяволъ, съ своей точки зрѣнія, поступилъ бы гораздо умнѣе, если бы разсыпалъ золото передъ такимъ человѣкомъ, который настроилъ бы кабаковъ и публичныхъ домовъ. Но дѣло не въ сказкѣ, а въ иллюстрируемой ею доктринѣ. Даже, пожалуй, не въ самой доктринѣ; какова бы она ни была сама по себѣ, но держаться ея при нынѣшнихъ трудныхъ обстоятельствахъ—настоящее доктринерство. И, однако, на этой именно доктринерской точкѣ зрѣнія пробовалъ установиться гр. Толстой, когда возставалъ противъ пожертвованій. Къ счастію, онъ не выдержалъ,—какъ извѣстно, онъ не отказывается отъ пожертвованій, стекающихся въ его даровыя столовыя въ значительномъ количествѣ.

Да пошлетъ судьба гр. Толстому много удачи на этомъ добромъ пути. Да не явится ему грозный ангелъ сказки о двухъ братьяхъ. Но не могу, все-таки, не пожалѣть, что ему до сихъ поръ не удалось сдѣлать то, что онъ, въ противорѣчіе съ доктринерскою частію своего письма, предполагалъ сдѣлать,—написать такое, что тронуло бы сердца богатыхъ. Статья его, обѣщанная журналомъ „Вопросы Философіи и Психологіи“, не появилась. А статья, напечатанная въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“, при всемъ представляемомъ ею интересѣ, далеко ниже того, что мы вправѣ были бы отъ него ожидать при нынѣшнихъ исключи-

Digitized by Google

тельныхъ обстоятельствахъ. Я, по крайней мѣрѣ, ожидалъ не того. Мнѣ казалось, путемъ литературы гр. Толстой можетъ двоякимъ образомъ тронуть сердца богатыхъ, и оба эти способа одинаково приличествуютъ литературной физіономіи графа.

Гр. Толстому не разъ и не два случалось безпощадно вычеркивать изъ своего прошлаго многое, что въ свое время казалось ему истиннымъ или нравственнымъ. Онъ доходилъ и до публичной „исповѣди", всенароднаго покаянія. Значитъ, и теперь онъ, по бывшимъ примѣрамъ, могъ бы торжественно и безпощадно отречься отъ своей проповѣди противъ всякаго рода денежной помощи нуждающимся. Проповѣдь эта, повидимому, вяжется у него съ нѣкоторыми политико-экономическими взглядами на значеніе денегъ, какъ мѣновыхъ знаковъ. Мнѣ неизвѣстно его сочиненіе, спеціально посвященное деньгамъ, но я знаю, что такое есть. Если не ошибаюсь, деньги въ немъ отрицаются въ принципѣ, отрицается ихъ надобность, какъ орудія обмѣна. Но, какъ бы оно тамъ ни было, а пока мы съ гр. Толстымъ живемъ среди денежнаго хозяйства, мы платимъ деньгами большіе или малые налоги государству, деньгами же расплачиваемся со священникомъ, который креститъ нашихъ дѣтей и хоронитъ нашихъ отцовъ, на деньги покупаемъ сюртуки и блузы, мясо и картофель и т. д. Если бы мы съ графомъ во всѣхъ этихъ случаяхъ отказались платить деньги на томъ основаніи, что, дескать, деньги — зло, ненужная и вредная вещь, то насъ ожидали бы многія непріятныя послѣдствія, и потому мы безпрекословно платимъ. За отказъ въ денежной помощи нуждающимся намъ, правда, ничто не грозитъ, по крайней мѣрѣ, осязательнымъ образомъ, но изъ этого, мнѣ кажется, никакъ не слѣдуетъ, чтобы такое наше поведеніе было одобрительно въ нравственномъ смыслѣ. Не могу утверждать рѣшительно, но, соображая человѣческія слабости, очень боюсь, что эта часть проповѣди гр. Толстого пришлась какъ разъ по плечу многимъ неискреннимъ людямъ. Такъ, вѣдь, это удобно ссылаться на грознаго ангела, осудившаго употребленіе денегъ на больницы, страннопріимные дома и пріюты для вдовъ и сиротъ,—гораздо, дескать, лучше деньгамъ лежать тамъ, гдѣ онѣ и прежде лежали. Великое народное несчастіе пошатнуло это убѣжденіе гр. Толстого, онъ уже отказался отъ него фактически, онъ не бѣжитъ съ ужасомъ отъ кучи если не золота, то кредитныхъ бумажекъ, доставляемыхъ для его

Digitized by Google

даровыхъ столовыхъ. Такъ что отнынѣ люди, желающіе, чтобы деньги лежали тамъ, гдѣ онѣ и прежде лежали, не могутъ, по крайней мѣрѣ, прятаться за спину гиганта нашей литературы. Ему остается только закрѣпить свое отреченіе тѣмъ прочувствованнымъ словомъ покаянія, къ которому онъ уже не разъ прибѣгалъ. Я убѣжденъ, что это слово пристыдитъ и растрогаетъ многихъ.

Но у гр. Толстого есть подъ руками еще другое, лучшее средство—его несравненный художественный талантъ. Въ статьѣ „Трудолюбіе или торжество земледѣльца“ есть слѣдующія прекрасныя строки: „Я прошу тебя, читатель, хоть на время остановн дѣятельность твоего ума, не спорь, не доказывай, а спроси только твое сердце. Кто бы ты ни былъ, какъ бы ни былъ одаренъ, какъ бы ты ни былъ добръ къ людямъ, окружающимъ тебя, въ какихъ бы ты ни былъ условіяхъ,—можешь ли ты быть спокоенъ за своимъ чаемъ, обѣдомъ. за своимъ государственнымъ, художественнымъ, ученымъ, врачебнымъ, учительскимъ дѣломъ, когда ты слышишь или видишь у своего крыльца голоднаго, холоднаго, больного, измученнаго человѣка? Нѣтъ. А, вѣдь, они всегда тутъ,—не у крыльца, такъ за 10 саженъ, за 10 верстъ. Они есть, и ты знаешь это“.

Строки эти написаны гр. Толстымъ не нынче, не по поводу голодовки, а въ обыкновенное, спокойное время, и играютъ роль одной второстепенной ноты въ аккордѣ, призывающемъ насъ къ „хлѣбному труду“. Я думаю, однако, что они гораздо умѣстнѣе теперь, когда дѣйствительно можно не спорить и не доказывать, а нужно только ясно представить себѣ голоднаго, холоднаго человѣка, который, если не у крыльца, такъ за 10 саженъ, за 10, за 100 или за сколько тамъ верстъ. Намъ, далекимъ, не слыхать, не видать голоднаго, и, безъ сомнѣнія, поэтому самому мы слишкомъ много мудрствуемъ, споримъ, доказываемъ. Пусть же великій художникъ, творецъ „Войны и мира“, пододвинетъ силою своей волшебной кисти этого голоднаго и холоднаго къ самому нашему крыльцу. Пусть мы его тутъ, возлѣ себя увидимъ. Пусть великій художникъ самъ оставитъ доктрины и споры, теоріи и доказательства, и нарисуетъ намъ картину народнаго несчастія такъ, чтобы тронулись „сердца богатыхъ“. Онъ самъ знаетъ, что это нужно, но ждетъ, чтобы ему „Богъ велѣлъ“... Не такое теперь время, чтобы возноситься гордынею до ожиданія специаль-

Digitized by Google

наго велѣнія Божія лично и непосредственно гр. Толстому или кому иному. Тургеневъ справедливо писалъ графу: „Этотъ даръ вашъ (художественный) оттуда же, откуда все другое“...

Не такое теперь время... Мнѣ кажется, съ этимъ никто не станетъ спорить. Но эти слова напоминаютъ мнѣ другое. Мнѣ говорятъ: не такое теперь время, чтобы говорить о гр. Толстомъ все, что о немъ думаешь, хотя-бы и увѣренъ былъ въ своей правотѣ. Вотъ съ чѣмъ я согласиться не могу. О, я слишкомъ старый литераторъ, чтобы не знать, что не всегда слѣдуетъ говорить правду (даю эту фразу необузданно-благонамѣреннымъ публицистамъ; они, столь извѣстные своею правдивостью, съумѣютъ обдѣлать ее перлами и адамантами благороднѣйшаго негодованія). Но, во-первыхъ, изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, что надо говорить неправду, а во-вторыхъ, я не думаю, чтобы гр. Толстой былъ въ такомъ положеніи. Нѣкоторые необузданно - благонамѣренные публицисты, которыхъ не разберешь, — не то они не въ своемъ умѣ, не то слишкомъ себѣ-на-умѣ, — провозгласили гр. Толстого чуть не крамольникомъ. На него сыплются нападки и съ разныхъ другихъ сторонъ. Не годится (говорятъ мнѣ) приставать къ этому хору, въ особенности въ такую минуту, когда графъ дѣлаетъ завѣдомо доброе дѣло. Но позвольте. Я высоко чту не только то доброе дѣло, которое гр. Толстой сейчасъ дѣлаетъ, а и многое въ его прошломъ, а къ „хору“ я уже потому не собираюсь приставать, что никакого хора нѣтъ. Я слышу разноголосицу, а не хоръ. Необузданно - благонамѣренные публицисты дописались до такого колоссальнаго вздора, который уже по самой своей колоссальности вполнѣ безвреденъ. Какое же мнѣ до нихъ дѣло? Какое мнѣ, далѣе, дѣло до смѣшливыхъ людей, ищущихъ каррикатуры и куплетовъ? Они сами по себѣ, я тоже самъ по себѣ. Ученые спеціалисты по естествознанію или богословію, опять-таки, сами по себѣ. Я знаю одно: гр. Толстой — большой человѣкъ, слишкомъ часто мѣняющій свои мнѣнія и, слѣдовательно, по крайней мѣрѣ, иногда, впадающій въ заблужденія. Тѣмъ не менѣе, дѣлаетъ-ли онъ доброе дѣло, какъ сейчасъ, или нехорошее дѣло, какъ это съ нимъ бывало, люди идутъ за нимъ слѣпо. Я желалъ-бы, чтобы они шли не слѣпо, а единственное средство для этого вижу въ томъ, чтобы воздавать графу должное. Вотъ и все. При этомъ я могу оказаться не только не

Digitized by Google

въ единогласіи съ другими критиками гр. Толстого, а и въ полномъ разногласіи со многими изъ нихъ.

Въ сентябрьской книжкѣ „Вѣстника Европы“ была напечатана статья нашего извѣстнаго ученаго, г. Мечникова, „Законъ жизни“. Статья эта представляетъ, по мнѣнію многихъ, уничтожающую критику нѣкоторыхъ воззрѣній гр. Толстого. Я этого не думаю. Я начну сопоставленіемъ мнѣній г. Мечникова и гр. Толстого по одному любопытному вопросу.

„Женщина, проводящая большую часть своей жизни въ свойственномъ исключительно ей трудѣ рожденія, кормленія и возращенія дѣтей, будетъ чувствовать, что она дѣлаетъ то, что должно, и будетъ возбуждать уваженіе и любовь другихъ людей, потому что исполняетъ то, что предназначено ей по природѣ“. Таково одно изъ частныхъ положеній гр. Толстого, съ которыми полемизируетъ г. Мечниковъ. Мы сейчасъ увидимъ и оцѣнимъ тѣ общіе принципы, изъ которыхъ вытекаетъ полемика г. Мечникова. А теперь замѣтимъ только, что почтенный ученый не отрицаетъ спеціальной приспособленности женщины къ дѣторожденію. Напротивъ, онъ ее усиленно подчеркиваетъ и ищетъ въ ней объясненія отсталости женщины въ дѣлѣ умственнаго развитія. Но,— говоритъ онъ, — у женщины уже давно пробиваются иного рода инстинкты: по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя женщины стремятся къ умственному развитію и, вмѣстѣ съ тѣмъ, питаютъ отвращеніе къ брачной жизни. „Весьма возможно,—продолжаетъ г. Мечниковъ,— что съ этого начался процессъ обособленія въ человѣческихъ обществахъ, сходный съ тѣмъ, который гораздо далѣе подвинулся у насѣкомыхъ, и что современемъ установится, хотя не столь рѣзкое, раздѣленіе людей на наименѣе и наиболѣе плодовитыхъ или даже и вовсе безплодныхъ. Послѣдніе, имѣя возможность посвятить себя исключительно высшимъ сферамъ человѣческой дѣятельности, будутъ служить обществу, главнымъ образомъ, умственнымъ трудомъ“. Не только въ видахъ иллюстраціи, а съ цѣлями научнаго обоснованія, г. Мечниковъ ссылается на общественные распорядки у муравьевъ, пчелъ, термитовъ, особенно останавливаясь на примѣрѣ одного вида осы. Онъ считаетъ этого рода факты цѣнными потому, что „у людей мы находимъ еще незаконченныя, часто только зачинающіяся явленія, тогда какъ у животныхъ, которыхъ мы беремъ для сравненія, процессы представляются въ ихъ готовой, окончательной формѣ“.

Digitized by Google

Если критика г. Мечникова многимъ показалась уничтожающею, то, съ другой стороны, и у гр. Толстого явились защитники, жестоко напавшіе на г. Мечникова. Никто изъ нихъ, однако, сколько я помню, не замѣтилъ, что, пока г. Мечниковъ обдумывалъ будущее человѣческаго общества примѣнительно къ идеаламъ осъ и пчелъ, гр. Толстой успѣлъ, съ своей стороны, додуматься какъ разъ до тѣхъ самыхъ идеаловъ. Въ „Крейцеровой сонатѣ“ читаемъ: „Высшая порода животныхъ, людская, для того, чтобы удержаться въ борьбѣ съ другими животными, должна сомкнуться воедино, какъ рой пчелъ, а не безконечно плодиться; должна также, какъ пчелы, воспитывать безполыхъ, то-есть стремиться къ воздержанію, а никакъ не къ разжиганію похоти, къ чему направленъ весь строй нашей жизни“ (XIII, стр. 299).

О чемъ-же споръ? Предлагая женщинамъ плодиться и только плодиться, гр. Толстой естественно негодовалъ на тѣхъ женщинъ, которыя „ходятъ на разные курсы и говорятъ о психомоторныхъ центрахъ и дифференціаціи и стараются избавиться отъ рожденія дѣтей съ тѣмъ, чтобы не препятствовать своему одуренію, которое онѣ называютъ развитіемъ“. Затѣмъ, предлагая женщинамъ, по крайней мѣрѣ, нѣкоторымъ, напротивъ, совсѣмъ обезплодиться, графъ утверждаетъ, что всѣ эти курсы и психомоторные центры только новомодная, но не менѣе подлая, чѣмъ прежнія, приманка для ловли жениховъ. Такъ что и въ томъ, и въ другомъ случаѣ „курсы“ — вещь скверная. Г. же Мечниковъ полагаетъ, что „курсы“ вещь прекрасная, но только для одной половины женскаго рода, для той именно, которая обезплодится. За всѣмъ тѣмъ и гр. Толстой, столь необычно стойкій въ своей ненависти къ „курсамъ“, и г. Мечниковъ, такъ благоволящій къ нимъ, въ концѣ-концовъ, вполнѣ сходятся въ желаніи превратить человѣческое общество въ пчелиный рой. Они даже выражаются почти одними и тѣми-же словами, только у г. Мечникова они расположены въ соблазнительно-логическомъ порядкѣ и поддержаны научными иллюстраціями, а у гр. Толстого въ нѣкоторомъ живописномъ безпорядкѣ.

Этотъ безпорядокъ господствуетъ и въ другихъ quasi—научныхъ разсужденіяхъ гр. Толстого, чѣмъ, конечно, г. Мечниковъ пользуется. Между прочимъ, онъ подчеркиваетъ „приписываніе гр. Толстымъ дарвинизму нелѣпости, будто изъ роя пчелъ можетъ сдѣлаться одно животное“. Гр. Толстой, дѣйствительно,

Digitized by Google

этими самыми словами формулируетъ мысль, которую приписываетъ дарвинистамъ, хотя ни одинъ дарвинистъ этого не говорилъ. Очевидно, гр. Толстой получилъ свои свѣдѣнія на этотъ счетъ откуда-нибудь изъ вторыхъ рукъ, да еще не дослышалъ хорошенько. Тѣмъ не менѣе, графъ что-то слышалъ или мелькомъ прочиталъ, и въ словахъ его есть зерно, недалекое отъ истины. Изъ роя пчелъ не можетъ „сдѣлаться одно-животное",— это пустяки; пустяки и то, будто такова мысль кого-бы то ни было изъ дарвинистовъ. Но, исповѣдуя и не исповѣдуя принципы дарвинизма, можно утверждать, что рой пчелъ, благодаря господствующему въ немъ раздѣленію труда между плодовитыми самками, трутнями и безполыми рабочими, находится на пути къ образованію единаго организма. Онъ такъ и останется на этомъ пути и никогда не достигнетъ его конечнаго пункта, однако, и сейчасъ въ немъ есть нѣкоторые зачатки признаковъ настоящаго организма, а именно столь сильно объединенное, концентрированное коллективное сознаніе, что отдѣльныя группы индивидовъ играютъ въ немъ роль совершенно подчиненныхъ органовъ. Г. Мечниковъ зоологъ, и ему хорошо извѣстно, что на болѣе низкихъ, чѣмъ насѣкомыя, ступеняхъ жизни организмы складываются или складывались именно такимъ путемъ. Г. Мечниковъ, не находя въ человѣческомъ обществѣ безплодныхъ или безполыхъ индивидовъ, обращается къ обществамъ насѣкомыхъ, на томъ основаніи, что „у людей мы находимъ еще незаконченныя, часто только зачинающіяся явленія, тогда какъ у животныхъ, которыхъ мы беремъ для сравненія, процессы представляются въ ихъ готовой, окончательной формѣ". Это пріемъ совершенно правильный. Но его-же можно приложить и къ рою пчелъ, ибо и въ немъ есть незаконченныя явленія, которыя у ниже стоящихъ животныхъ представляются въ готовой, окончательной формѣ.

Я говорю, что пріемъ г. Мечникова совершенно правиленъ. Но изъ того, что человѣческому обществу можетъ, при извѣстныхъ условіяхъ, предстоять будущее, приблизительно сходное съ тѣмъ, что дѣлается въ пчелиномъ роѣ, — изъ этого еще отнюдь не слѣдуетъ, чтобы мы должны были къ этому стремиться, что таковъ долженъ быть нашъ идеалъ. Для меня, напримѣръ, пріемъ употребляемый г. Мечниковымъ, важенъ, напротивъ, какъ способъ указанія на тѣ опасности, которыя грозятъ людямъ и человѣческому обществу и которыхъ слѣдуетъ избѣжать. Г. Мечни-

Digitized by Google

ковъ и гр. Толстой, такъ чудно сошедшіеся на пчелиномъ роѣ, какъ на идеалѣ, не первые открыли эту Америку. Много у нихъ было предшественниковъ. Изъ нихъ особенно любопытно отмѣтить ярую дарвинистку Клемансъ Ройе: она давно уже изложила свою мечту о подобіи пчелинаго царства, какъ о вѣроятномъ и желательномъ будущемъ для человѣческаго общества. Признаюсь, кто бы ни излагалъ подобныя мысли,—г. Мечниковъ, Клемансъ Ройе, гр. Толстой или Ренанъ, или еще кто,—и во имя какихъ бы принциповъ и доктринъ онѣ ни излагались, дарвинистскихъ или анти-дарвинистскихъ, въ защиту „курсовъ" или во вредъ имъ и проч., онѣ мнѣ всегда одинаково возмутительными представляются.

У Тургенева въ „Дымѣ" есть, между прочимъ, такая сцена. Въ маленькомъ загородномъ ресторанѣ происходитъ пикникъ. Собралась fine-fleur русско-баденскаго общества,—все сановные, самоувѣренные, самодовольные люди и соотвѣтственныя дамы. Какъ и подобаетъ высшему русско-баденскому обществу, всѣ говорятъ по-французски, кто—хорошо, какъ настоящій французъ, а кто—плохо, какъ французъ нижегородскій, но и эти, по крайней мѣрѣ, стараются хорошо говорить, потому что питаютъ къ французскому языку традиціонное уваженіе и видятъ въ немъ нѣкоторую свою привилегію, отличающую ихъ отъ простыхъ смертныхъ. Нѣкоторые, въ видѣ уже особаго исключенія, разговариваютъ между собою по-англійски, и тоже въ серьезъ, по-настоящему. Но, хотя дѣйствіе происходитъ въ Германіи, бѣдный нѣмецкій языкъ въ загонѣ. Потребовали пива. Кельнеръ подалъ. „Байришъ биръ?—спросилъ генералъ съ бакенбардами, нарочно бася и притворяясь изумленнымъ.—Гутенъ моргенъ".

Это маленькая, но чрезвычайно тонкая черточка, достойная такого художника, какъ Тургеневъ. Мнѣ самому случалось видать въ Германіи русскихъ баръ и барынь, которые, бойко говоря по-французски и стараясь щегольнуть самыми отборными словечками и оборотами на этомъ языкѣ, въ то-же время, щеголяютъ своимъ презрѣніемъ къ нѣмецкому языку, котораго они часто и въ самомъ дѣлѣ не знаютъ. Дескать нà тебѣ, нѣмецъ,—не знаю твоего дурацкаго языка и знать не хочу, и перевираю его, и ломаюсь надъ нимъ, какъ хочу: „изумляюсь", что есть такія слова, какъ „байришъ биръ", и безъ всякаго смысла говорю „гутенъ моргенъ"; такъ мнѣ хочется, и ничего ты со мной

Digitized by Google

не подѣлаешь, — я русскій баринъ, а ты нѣмецъ! Я не знаю, отчего это зависитъ,—отъ воспоминаній-ли дѣтства, въ которомъ былъ смѣшной и приниженный учитель нѣмецкаго языка или бонна нѣмка; отъ ассоціаціи-ли представленія о нѣмцѣ съ какимъ-нибудь сапожникомъ или садовникомъ Карломъ Ивановичемъ, у котораго „жилетка пике и носъ въ табакѣ“ и ночной колпакъ на головѣ; или это отзвукъ раздробленности Германіи, всѣхъ этихъ Рейсъ-Грейцъ и Рейсъ-Шлейцъ, Саксенъ и Баденъ, жители которыхъ, дескать, вполнѣ достойны презрѣнія гражданъ такого обширнаго государства, какъ наше; или мы безсознательно отплачиваемъ нѣмцамъ какія-нибудь старыя обиды. Не знаю, только такъ было. Теперь, когда нѣмцы стали „великимъ“ народомъ и когда наша барственность получила нѣкоторые ущербы и барамъ приходится по одежкѣ протягивать ножки, мы, можетъ быть, уже не ломаемся надъ „байришъ биръ“ и „гутенъ моргенъ“.

Совершенно такъ-же барственно, какъ Тургеневскій генералъ съ бакенбардами къ нѣмецкому языку, относится гр. Толстой къ наукѣ, въ особенности къ естествознанію,—къ его содержанію, пріемамъ, терминологіи. „Психомоторные центры? Байришъ биръ. Въ крови бѣгаютъ какіе-то лейкоциты? Гутенъ моргенъ“. Графъ не удостоиваетъ познакомиться съ тѣмъ, что́ такъ презрительно третируетъ и надъ чѣмъ во всеуслышаніе ломается. Лейкоциты, это́ просто смѣшно и „ненужная глупость“, совершенно такъ-же, какъ Тургеневскому генералу кажутся смѣшными и ненужными и глупыми слова „байришъ биръ“. А, между тѣмъ, въ нихъ нѣтъ ничего смѣшного и глупого, и кажутся они такими генералу только потому, что онъ не знаетъ нѣмецкаго языка и получилъ свое презрѣніе къ нему какимъ-то темнымъ, ему самому невѣдомымъ путемъ. Но Тургеневскому генералу можно, конечно, гораздо больше простить, чѣмъ гр. Толстому. Къ словамъ графа почтительно прислушиваются многочисленные читатели между которыми есть и мало свѣдущіе, и мало опытные въ дѣлѣ критической мысли. Гр. Толстой слишкомъ большой человѣкъ и долженъ-бы понимать, какую страшную отвѣтственность, какой тяжкій грѣхъ беретъ онъ на душу своимъ легкомысленно-барственнымъ отношеніемъ къ вещамъ и идеямъ, которыхъ онъ не успѣлъ или не захотѣлъ продумать. Очень вѣроятно, что въ самомъ непродолжительномъ времени онъ измѣнитъ свое презрительное отношеніе къ наукѣ вообще, къ естествознанію въ осо-

Digitized by Google

бенности. Теперь онъ говоритъ: „медицина ложная наука, доктора мерзавцы, гутенъ моргенъ“. Поработавъ надъ даровыми столовыми въ мѣстахъ, постигнутыхъ неурожаемъ, голодомъ и его слѣдствіемъ—повальными болѣзнями, графъ, можетъ быть, придетъ къ заключенію, что медицина есть истинная наука, что между докторами нерѣдко попадаются хорошіе люди, и погонитъ своихъ послѣдователей въ медицинскіе факультеты, академіи, курсы съ такою-же рѣшительностью, съ какою ихъ теперь отгоняетъ. Но каковъ-же долженъ быть сумбуръ въ головѣ его послѣдователей, которыхъ онъ истинно по-барски толкаетъ то въ одинъ бокъ, то въ другой, то въ шею, и хочетъ—съ кашей ѣсть, хочетъ—во щи льетъ!

Гр. Толстой проповѣдуетъ смиреніе и показываетъ образецъ его. Въ статьѣ „О назначеніи науки и искусства“ онъ разсказываетъ, что когда-то онъ былъ гордъ своими достоинствами, имѣлъ высокое о себѣ мнѣніе, но потомъ покаялся и, „вмѣсто полезности и серьезности своей дѣятельности, призналъ ея вредъ и пустяшность; вмѣсто своего образованія, призналъ свое невѣжество; вмѣсто своей доброты и нравственности, призналъ свою безнравственность и жестокость; вмѣсто своей высоты, призналъ свою низость“. О, зачѣмъ такъ много?! Кто такъ много обѣщаетъ, тотъ рѣдко даетъ хоть что-нибудь. „Вмѣсто своего образованія, признавъ свое невѣжество“, графъ тутъ-же, въ этой-же статьѣ, съ чрезвычайною развязностью судитъ и рядитъ о предметахъ, ему дѣйствительно совершенно незнакомыхъ. Какое ужъ тутъ невѣжество, когда смиренно сознающійся въ немъ графъ двумя-тремя строками объясняетъ глупостью многолѣтніе труды цѣлыхъ поколѣній людей науки! Онъ, напротивъ, лучше всѣхъ все знаетъ и относительно самыхъ установившихся въ мірѣ науки теорій утверждаетъ, что въ нихъ „что ни слово, то ошибка мысли или выраженія“. Онъ не доказываетъ этого, конечно, онъ, какъ настоящій баринъ, которому должны повиноваться безъ разсужденій, только презрительно вычеркиваетъ то, что ему не нравится: sic volo! Это, конечно, очень величественно, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и смѣшно нѣсколько, такъ что г. Мечниковъ въ полномъ правѣ отвѣтить снисходительною улыбкой.

Но этого мало. Г. Мечниковъ, какъ спеціалистъ, говоритъ, что онъ „только потому и рѣшился заговорить объ ученіяхъ гр. Толстого, что въ основу ихъ положенъ имъ чисто-раціонали-

Digitized by Google

стическій, естественно-историческій принципъ". Это не совсѣмъ справедливо. Въ ученіяхъ своихъ гр. Толстой часто ссылается то на велѣніе Божіе и законъ Христа, изложенный въ Евангеліи, то на независимый, ничѣмъ и никѣмъ внѣшнимъ не опредѣленный внутренній голосъ разума и совѣсти. Но извѣстная часть его ученія построена, дѣйствительно, на естественно-историческомъ принципѣ. Опять-таки, подобно Тургеневскому генералу съ бакенбардами, онъ хотя и издѣвается надъ „байришъ биромъ" и изумляется, какъ можно было такія глупыя слова выдумать, но отъ употребленія „байришъ бира" не отказывается. Онъ прибѣгаетъ къ естествознанію не только въ такихъ частныхъ случаяхъ, какъ, напримѣръ, при разсужденіи о вредѣ табака и алкоголя, но и въ наиболѣе общихъ своихъ положеніяхъ. Естественно-историческій принципъ, лежащій въ основаніи практической философіи гр. Толстого, г. Мечниковъ формулируетъ такъ: „Человѣкъ есть животная машина, своеобразно устроенная и пригодная для совершенно опредѣленныхъ дѣйствій. Если послѣднія строго соотвѣтствуютъ механизму этой машины, то въ результатѣ получается счастіе, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, чувство довольства и удовлетворенія; если-же такого соотвѣтствія нѣтъ и отправленіе недостаточно отвѣчаетъ устройству механизма, то получается несчастіе, сопровождающееся тягостными ощущеніями". Изъ этого слѣдуетъ, что каждый существующій въ человѣкѣ органъ долженъ совершать предназначенное ему отправленіе, а весь человѣкъ долженъ вести естественную, свойственную его природѣ, жизнь. Но для того, чтобы знать, что́ естественно, что́ свойственно природѣ, надо изучать естество, природу. Этого пути слѣдовало-бы держаться и гр. Толстому, или-же построить свое ученіе на какомъ-нибудь другомъ принципѣ. Послѣднее вполнѣ возможно. Мы знаемъ, что существовали и существуютъ этическія ученія, цѣликомъ и открыто построенныя на борьбѣ съ природными влеченіями, на подавленіи естества, какъ чего-то низкаго, грязнаго, мѣшающаго человѣку подняться на высоту нравственной чистоты. Гр. Толстой самъ нерѣдко платитъ дань этому воззрѣнію и сдѣлалъ это съ особенною рѣзкостью въ „Крейцеровой сонатѣ", предавъ поруганію половую любовь. Однако, и здѣсь онъ хочетъ удержаться на почвѣ „естественности" и выбирается изъ затрудненія отчаяннымъ заявленіемъ, что любовь „не естественна". Если гр. Толстой полагаетъ для себя возможнымъ учить есте-

Digitized by Google

ствознанію самую природу, то и подавно, конечно, можетъ учить изучающихъ природу. У Мольера въ „Жеманницахъ“ маркизъ Маскариль утверждаетъ, что „порядочные люди знаютъ все, ничему не учившись“. Оставимъ-же графа торжествовать надъ наукой, но постараемся извлечь изъ его примѣра урокъ.

Когда гр. Толстой утверждалъ, что женщина должна рожать, и только рожать, онъ ссылался на „естественность“ этого порядка, на особенности женской природы. Когда въ „Крейцеровой сонатѣ“ онъ пришелъ къ заключенію, что женщина не должна рожать, онъ, опять-таки, ссылается на „естественность“ и въ частности на то, что, „вѣдь, недаромъ же *природа* сдѣлало то, что это мерзко и стыдно“. Это поучительно не только для характеристики гр. Толстого, а и относительно судебъ слова „естественный“. Повидимому, подъ него можно подвести что угодно. Въ исторіи человѣческой мысли не разъ наступали такія времена, когда слово „естественный“ играло роль меча Бренна: vae victis! „Естественный“ значило хорошій, безспорный, желательный, справедливый, законный. И, тѣмъ не менѣе, это магическое слово на дѣлѣ ничего не рѣшало и споровъ не прекращало. Немудрено, потому что въ извѣстномъ смыслѣ все на свѣтѣ естественно и ничего неестестественнаго даже быть не можетъ. Мы употребляемъ это растяжимое до безсодержательности слово въ очень разныхъ смыслахъ, и потому тотъ, кто желаетъ на немъ что-нибудь основать, долженъ-бы точно опредѣлить его значеніе. Г. Мечниковъ это дѣлаетъ въ своихъ возраженіяхъ гр. Толстому. Для этого онъ, между прочимъ, прибѣгаетъ къ опредѣленію разницы между естественнымъ и искусственнымъ подборомъ и приводитъ слѣдующія слова Дарвина: „Подборъ (искусственный) производится методически въ томъ случаѣ, когда заводчикъ старается улучшить или измѣнить породу, согласно предвзятому *идеалу*“. Это маленькое, но великое слово „идеалъ“ составляетъ для г. Мечникова грань, предѣлъ „естественности“, и такая, отнюдь, впрочемъ, не новая въ русской литературѣ постановка вопроса представляетъ большія удобства. Совершенно естественнымъ путемъ образовалось въ такой-то мѣстности болото, но эта естественность ни мало не мѣшаетъ человѣку, во имя сельско-хозяйственнаго, гигіеническаго или экономическаго идеала, осушить болото. И точно также онъ наводняетъ естественно образовавшіяся степи, вырубаетъ лѣса и засаживаетъ

Digitized by Google

безлѣсныя пространства, естественную силу своего зрѣнія усугубляетъ телескопомъ въ одну сторону и микроскопомъ въ другую, естественную силу слуха — телефономъ, естественную силу своихъ мускуловъ—рычагомъ, паромъ и проч., и проч. Смѣшно было-бы и думать перечислить здѣсь даже главнѣйшіе изъ случаевъ, когда человѣкъ, явно ослушаясь естественности, путемъ цѣлесообразной дѣятельности измѣняетъ природу во имя своихъ идеаловъ. Это не значитъ, конечно, что цѣлесообразная, направленная къ извѣстному идеалу дѣятельность человѣка представляетъ собою что-нибудь сверхъестественное, неестественное или противоестестественное. Возвращаясь къ искусственному подбору, скажемъ вмѣстѣ съ г. Мечниковымъ: „Установленіе идеала не есть дѣло простой фантазіи или прихоти; для того, чтобы намѣтить идеалъ, который былъ-бы осуществимъ, необходимо точное знаніе природы организма и достаточная иниціатива. Идеалъ этотъ никогда не будетъ простою копіей съ дѣйствительности, а всегда результатомъ синтеза послѣдней съ человѣческимъ воображеніемъ и мышленіемъ“.

Такъ и съ прочими нашими идеалами, въ томъ числѣ и съ идеалами нравственно-политическаго характера. Они, вѣдь, представляютъ собою искусственную комбинацію элементовъ естества, плодъ вмѣшательства нашего сознанія въ естественный ходъ вещей. Естественность сама по себѣ, какъ таковая, для нихъ не указъ, а только матеріалъ, безъ котораго, однако, обойтись нельзя. Чтобы идеалъ не висѣлъ на воздухѣ и не былъ праздною игрой фантазіи, мы, конечно, должны хорошо знать этотъ матеріалъ. Знать и признать. Эта оговорка гораздо важнѣе, чѣмъ, можетъ быть, кажется. Повидимому, если человѣкъ знаетъ фактъ, то какъ-же ему его не признавать? Однако, это часто бываетъ. Гр. Толстой многаго не знаетъ изъ того, о чемъ говоритъ, но онъ не можетъ не знать, что плотская любовь есть нѣчто естественное. Но онъ такъ огорченъ нѣкоторыми своими наблюденіями, что, вмѣсто того, чтобы воспользоваться ими, какъ матеріаломъ для нѣкоторой идеальной комбинаціи, объявляетъ любовь неестественною, вычеркиваетъ ее изъ инвентаря естества. Отрицаніе факта столь-же неразумно, какъ и идолопоклонство передъ нимъ. Познавательная потребность человѣка подлежитъ въ такой-же мѣрѣ удовлетворенію, какъ и творческая, и послѣдняя не можетъ быть удовлетворена безъ удовлетворенія первой. Можно

Digitized by Google

знать факты и безстрашно признавать ихъ во всей ихъ, можетъ быть, отвратительной или огорчительной наготѣ, и, въ то-же время, держать свою творческую способность на привязи или даже не имѣть ея. Но нельзя творить, не зная или не признавая фактовъ, умышленно отъ нихъ отворачиваясь. То-есть, пожалуй, и можно, но это будетъ карточный домикъ, который можетъ быть и очень привлекателенъ на видъ, но жить въ немъ нельзя.

Есть, однако, идеалы и идеалы. Вполнѣ соглашаясь съ г. Мечниковымъ относительно степени зависимости нашихъ идеаловъ отъ „естественности", я никоимъ образомъ не могу склониться передъ его собственнымъ идеаломъ, насколько онъ обнаруживается въ статьѣ „Законъ жизни". Не могу склониться и передъ нѣкоторыми пріемами его постановки идеала. Въ этомъ отношеніи я во многомъ сталъ-бы на сторону гр. Толстаго, если-бы можно было стать, не слѣпотствуя и не холопствуя, на сторону человѣка, который самъ колеблется изъ стороны въ сторону и постоянно заметаетъ свои собственные слѣды.

Г. Мечниковъ — ученый человѣкъ. Про него нельзя сказать, что онъ не знаетъ того, о чемъ пишетъ. Онъ даже слишкомъ роскошествуетъ въ дѣлѣ предъявленія читателю фактическихъ, научно изслѣдованныхъ данныхъ. Онъ, напримѣръ, заимствуетъ изъ *Archiv für pathologishe Anatomie* 1886 г. свѣдѣніе объ одной физически уродливо развитой или недоразвитой женщинѣ, которая владѣла, однако, всѣми умственными способностями. Женщина эта заинтересовала ученыхъ спеціалистовъ, которые изслѣдовали ея анатомическое уродство и затѣмъ сдали въ архивъ *für pathologische Anatomie*.. Она тамъ вполнѣ умѣстна, но какая надобность была г. Мечникову извлекать ее въ данномъ случаѣ изъ архива? Рѣшительно никакой. Тератологическія явленія заслуживаютъ самаго тщательнаго изученія. Но, вѣдь, нельзя-же, напримѣръ, въ философскомъ трактатѣ объ уединеніи ссылаться на сіамскихъ близнецовъ, которые, дескать, отъ рожденія и до смерти, ни днемъ, ни ночью, не знали уединенія и, однако, прожили до шестидесяти слишкомъ лѣтъ, женились, дѣтей имѣли и проч. Нельзя, говоря о вторичныхъ половыхъ признакахъ у человѣка и въ частности о мужской бородѣ, что-нибудь строить на существованіи Юліи Пастраны. Архивная старушка г. Мечникова есть въ данномъ случаѣ научное излишество, потому что она

Digitized by Google

ровно ничего не доказываетъ, и такихъ излишествъ въ статьѣ „Законъ жизни“ не мало. Я не буду за ними слѣдить. Но не могу не замѣтить, что у г. Мечникова какое-то странное пристрастіе къ уродамъ въ смыслѣ прирожденнаго или пріобрѣтеннаго уклоненія отъ нормальнаго типа. Онъ съ торжествомъ указываетъ на то, что у Пастера слишкомъ двадцать лѣтъ парализована вся лѣвая половина тѣла. Человѣкъ, вообще, есть, по мнѣнію г. Мечникова, „обезьяній уродъ съ непомѣрно развитымъ мозгомъ, лицомъ и кистями рукъ“. Наконецъ, и идеалъ будущаго основывается имъ на уродствѣ — на отвращеніи нѣкоторыхъ женщинъ отъ брачной жизни, отъ любви.

Пристрастіе г. Мечникова къ уродамъ не случайно. Г. Мечниковъ — убѣжденный дарвинистъ, внесшій въ это ученіе нѣчто свое, оригинальное. Съ особеннымъ вниманіемъ относится онъ, съ дарвинистской точки зрѣнія, къ группѣ явленій, которыя Геккель назвалъ дистелеологическими (нецѣлесообразными), а г. Мечниковъ предпочитаетъ называть дисгармоническими. По ученію Дарвина, случайное уклоненіе отъ извѣстнаго типа, если оно въ какомъ-нибудь отношеніи полезно уклонившимся, подхватывается естественнымъ подборомъ: приспособленные, отмѣченные полезнымъ уклоненіемъ, переживаютъ въ борьбѣ за существованіе неприспособленныхъ. Дѣло, значитъ, начинается съ уродства, съ уклоненія отъ установившагося типа. Если средство вредно, мѣшаетъ приспособленію, носители его болѣе или менѣе быстро погибаютъ; если оно полезно, они становятся родоначальниками новаго вида. Этимъ путемъ сложилось, по Дарвину, все безконечное разнообразіе животныхъ и растительныхъ формъ. Дарвинъ и его ближайшіе, первые ученики склонны были любоваться не только разнообразіемъ, но и совершенствомъ этого міра, выработаннаго тысячелѣтіями борьбы, побѣды приспособленныхъ, пораженія неприспособленныхъ. Эта оптимистическая тенденція и до сихъ поръ сохранилась между дарвинистами, но, тѣмъ не менѣе, ближайшее изученіе фактовъ показало, что отнюдь не все „добро зѣло“ въ мірѣ торжества однихъ, гибели другихъ. Г. Мечниковъ не принадлежитъ къ числу оптимистовъ. Онъ охотно признаетъ многочисленныя несовершенства органическаго міра и съ этой именно точки зрѣнія протестуетъ противъ излишняго довѣрія къ „естественности“. Это вообще. А затѣмъ онъ останавливается на одномъ частномъ случаѣ этого довѣрія—на фор-

Digitized by Google

мулѣ гр. Толстого, отнюдь, впрочемъ, не исключительно ему принадлежащей или имъ изобрѣтенной: счастливую, нормальную жизнь человѣку можетъ гарантировать только всесторонняя дѣятельность его организма, работа всѣхъ органовъ, упражненіе всѣхъ способностей, свойственныхъ ему. Г. Мечниковъ еще въ одной изъ прежнихъ своихъ статей, безъ всякаго отношенія къ доктринамъ гр. Толстого, напоминаетъ, что таковъ былъ идеалъ древнихъ грековъ, которые, во имя гармоніи, настаивали на соединеніи умственнаго труда и наслажденія съ тѣлесными упражненіями. Г. Мечниковъ рѣшительно отрицаетъ этотъ идеалъ, даже не то, что отрицаетъ, а вырываетъ или стремится вырвать изъ подъ него всякую почву. Онъ говоритъ, что типъ человѣка не установился, что, подобно прочимъ животнымъ организмамъ, человѣкъ выработался, постепенно видоизмѣняясь, и что ему и въ будущемъ предстоятъ новыя видоизмѣненія. Въ этомъ процессѣ видоизмѣненія у него наростали и отпадали разныя способности, атрофировались и вновь образовывались разные органы, и потому нѣтъ никакого смысла требовать равномѣрнаго упражненія, гармоническаго развитія.

Г. Мечниковъ перечисляетъ, по Видерсгейму, органы человѣческаго тѣла: прогрессирующіе (головной мозгъ, мускулы рукъ и лица, сѣдалищные мускулы и проч.), клонящіеся къ упадку, хотя и способные еще совершать свои отправленія, и, наконецъ, рудиментарные, почти или совсѣмъ недѣятельные. Тутъ мы находимъ остатки и хвоста съ его мускулами, и нѣсколько паръ лишнихъ реберъ, а также ушныхъ и затылочныхъ мышцъ и нервовъ, червеобразный отростокъ слѣпой кишки, зубы мудрости и предаточные зубы, остатки шерсти и проч. Все это остатки тѣла низшихъ животныхъ ступеней, по которымъ человѣкъ проходилъ въ исторіи своего развитія, все это „естественно“, „свойственно“ человѣческому организму. И, однако, если-бы мы, согласно формулѣ всесторонняго гармоническаго развитія, вздумали упражнять всѣ эти клонящіеся къ упадку или совсѣмъ бездѣятельные органы, то мы спустились-бы внизъ по той лѣстницѣ, по которой человѣчество постепенно въ теченіе вѣковъ поднималось. „Низшее животное сидитъ въ человѣкѣ еще далеко не заглушеннымъ, а способнымъ, напротивъ, вырваться наружу. Предоставьте только ему свободно развиваться на томъ основаніи, что оно составляетъ „естественное свойство“ нашего организма, и оно не замедлитъ

Digitized by Google

вырваться". Организмъ человѣка не есть нѣчто установившееся разъ навсегда, онъ прошелъ рядъ измѣненій, подлежитъ дальнѣйшему измѣненію, и потому строить правила поведенія на естественныхъ свойствахъ организма невозможно. „Моралистъ не долженъ останавливаться рабски передъ готовыми формами, какъ-бы „естественны" или „свойственны природѣ" онѣ ни казались. Онъ долженъ стараться перешагнуть черезъ эти границы, чтобы идти по направленію къ идеалу, намѣченному на основаніи всѣхъ данныхъ дѣйствительности".

Послѣднее совершенно справедливо. Но, что касается аргументаціи г. Мечникова, то мнѣ думается, что онъ бьетъ мимо цѣли. Никто никогда не хлопоталъ въ пользу упражненія зачаточныхъ ушныхъ мускуловъ или остатковъ хвоста. И не потому, чтобы мы не знали о существованіи этихъ органическихъ воспоминаній о нашемъ далекомъ прошломъ, а именно потому, что они вовсе не составляютъ необходимой принадлежности человѣческаго типа: пусть они совсѣмъ атрофируются, и, съ позволенія сказать, чортъ съ ними, — отъ этого человѣкъ не перестанетъ быть человѣкомъ. Мало того, по крайней мѣрѣ, въ этомъ отношеніи типъ человѣка до такой степени установился, что если-бы, въ силу какихъ-нибудь обстоятельствъ, у людей и выросли хвосты и подвижныя уши, то это частное возвращеніе къ типу далекихъ предковъ само по себѣ не заслуживало-бы тѣхъ страшныхъ словъ, которыя говоритъ г. Мечниковъ: сидящій въ человѣкѣ звѣрь, низшее животное ждетъ только случая, чтобы вырваться наружу. Ушные и хвостовые мускулы играютъ въ человѣческомъ организмѣ до такой степени не то что ничтожную, а чужую роль, что есть-ли они, нѣтъ-ли ихъ, это не можетъ ничѣмъ отразиться на человѣческомъ типѣ. И то-же самое слѣдуетъ сказать обо всѣхъ перечисляемыхъ г. Мечниковымъ органахъ, клонящихся къ упадку или заглохшихъ. Недаромъ г. Мечниковъ нѣсколько пристальнѣе останавливается только на одномъ изъ нихъ — на мускулахъ ноги и ступни. Человѣческая нога несомнѣнно произошла изъ рукообразнаго органа. Съ теченіемъ времени сгибательныя и хватательныя движенія этого органа утратились отъ неупотребленія или, по крайней мѣрѣ, ослабѣли, и получилась сравнительно неподвижная ступня, служащая за-то твердою опорой при характерномъ для человѣка вертикальномъ положеніи. Зачаточныя способности сгибанія и хватанія сохра-

Digitized by Google

нились, однако, и могутъ, въ случаѣ надобности (у безрукихъ), быть доведены путемъ упражненія до высокой степени развитія. И вотъ г. Мечниковъ предлагаетъ гр. Толстому обратить на это вниманіе, потому что, вѣдь, сгибательныя и хватательныя движенія нашей ногѣ „свойственны", заложены въ ея анатомическомъ устройствѣ. Г. Мечниковъ продолжаетъ: „Обувь-же, которая сковываетъ стопу, мѣшая движенію ея частей, является, такимъ образомъ, противоестественнымъ изобрѣтеніемъ культуры, которое необходимо устранить. Знаменитые сапоги, о которыхъ такъ часто говорилось по поводу сапожной дѣятельности гр. Толстого, должны быть безусловно забракованы, на основаніи его-же собственнаго ученія".

Это, можетъ быть, и остроумно, но совершенно не идетъ къ дѣлу. Гр. Толстой могъ-бы отвѣтить: сгибательныя и хватательныя движенія, правда, сохранились у человѣка въ зачаточномъ видѣ, но для человѣческаго типа характерны не они, а, напротивъ, сравнительная неподвижность спины, какъ опоры при вертикальномъ положеніи. Въ ту далекую пору, когда еще только вырабатывалось это вертикальное положеніе, насмѣшка г. Мечникова могла-бы быть умѣстна, но теперь объ этомъ и рѣчи быть не можетъ. Я забочусь о человѣческомъ счастьи, а не объ обезьяньемъ, а человѣческое если не счастье вообще, то здоровье несомнѣнно требуетъ упражненія ноги, какъ она сложилась, — объ этомъ вамъ каждый докторъ скажетъ.

Дѣйствительно, это всякій докторъ скажетъ, и г. Мечниковъ, разумѣется, это очень хорошо знаетъ. Но ему почему-то хочется ссылаться на безногую архивную старушку, которая, однако, благополучно жила, на Пастера, которому параличъ половины тѣла не мѣшаетъ жить и совершать великія открытія. Я говорю, что г. Мечникову почему-то хочется ссылаться на эти примѣры, что онъ этими ссылками удовлетворяетъ какому-то своему капризу, потому что онѣ ровно ничего не доказываютъ, какъ ничего не доказываютъ сіамскіе близнецы, двухголовый соловей и проч. Медицинская статистика, имѣющая дѣло не съ исключительными единицами, а съ массами и средними цифрами, совершенно уничтожаетъ примѣры г. Мечникова. Такъ что объ этой части его разсужденій даже и говорить не стоитъ: она ни мало не колеблетъ теоріи гармоническаго всесторонняго развитія. Го-

Digitized by Google

раздо, можетъ быть, смутительнѣе нѣкоторыя другія соображенія г. Мечникова.

Нѣкоторые жуки океаническихъ острововъ безкрылы, хотя ихъ ближайшіе материковые родичи снабжены крыльями. Фактъ этотъ, по весьма вѣроятному предположенію Дарвина, объясняется тѣмъ, что жуки, летавшіе вблизи океана, часто заносились въ воду и тамъ погибали; поэтому на океаническихъ островахъ выживали и передавали свои качества потомству преимущественно такіе жуки, которые, по словамъ Дарвина, „либо отъ малѣйшаго недостатка въ развитіи крыльевъ, либо отъ *прирожденной лѣни* (курсивъ г. Мечникова) подвергались въ меньшей мѣрѣ опасности быть занесенными въ море“. Таковъ фактъ, чрезвычайно и во многихъ отношеніяхъ поучительный. Указавъ его, г. Мечниковъ дѣлаетъ предположеніе, что жуки могутъ разсуждать о своихъ поступкахъ такъ-же, какъ люди. „Если-бы, — говоритъ онъ, — между ними находились послѣдователи ученія гр. Толстого, то они должны-бы были рѣшить, что такъ какъ у нихъ есть крылья и они, слѣдовательно, „такъ устроены, что имъ необходимо летать“, то „неестественно“ воздерживаться отъ воздушныхъ странствованій и нужно предпринимать ихъ безъ дальнѣйшаго размышленія. Въ результатѣ большинство этихъ послѣдователей было-бы занесено въ море, а болѣе счастливыми оказались-бы жуки, находившіеся въ оппозиціи и рѣшившіе, что, несмотря на ихъ природное устройство, имъ нужно какъ можно менѣе пользоваться своими крыльями“.

Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ-же счастіе, обѣщанное теоріей всесторонняго развитія? Не такъ ужъ, однако, побѣдоносны комментаріи г. Мечникова къ указанному имъ факту. Напротивъ, фактъ этотъ, равно какъ и другіе подобные, частью говоритъ противъ г. Мечникова, а частью указываетъ неправильность или, по крайней мѣрѣ, неполноту постановки вопроса какъ у гр. Толстого, такъ и у г. Мечникова.

Прежде всего, очевидно, что типъ жука океаническихъ острововъ понизился по сравненію съ его крылатыми предками и современными материковыми ихъ родичами. Существуетъ, правда, точка зрѣнія, признающая мѣриломъ высоты развитія организма степень его приспособленія къ условіямъ существованія. Съ этой точки зрѣнія островные жуки, напротивъ, усовершенствовались, подвинулись впередъ, лишившись крыльевъ. Но именно такого

Digitized by Google

рода факты, какъ исторія островныхъ жуковъ, показываютъ несостоятельность критерія приспособленности. Можно-бы было найти еще болѣе рѣзкіе примѣры. Г. Мечникову лучше, чѣмъ мнѣ, извѣстны случаи, напримѣръ, утраты нѣкоторыми паразитами органовъ зрѣнія и движенія. Это—результаты приспособленія, но, вѣдь, никто же не рѣшится сказать, что такое полное упрощеніе организаціи есть шагъ впередъ. Ясно, что должно быть выработано другое мѣрило, другой критерій совершенствованія или прогрессированія. Да его незачѣмъ и вырабатывать, потому что такое мѣрило давно выработано и прочно установлено въ наукѣ; это—степень сложности организаціи, степень раздѣленія труда между органами. Высшія животныя не потому выше низшихъ, что они лучше приспособлены къ условіямъ существованія,—напротивъ, они сплошь и рядомъ приспособлены гораздо хуже, и никому еще не приходило въ голову положить въ основаніе классификаціи животныхъ степень ихъ приспособленности. Высшія животныя выше низшихъ своею сложностью, разнообразіемъ своего строенія, и уже въ эмбріологическомъ фазисѣ своего развитія проходятъ ступени относительной простоты организаціи своихъ низшихъ предковъ. Такъ по наукѣ, такъ и по здравому смыслу. Островные жуки изъ двухъ способовъ предвиженія—ползанія и летанія—остались при одномъ, и не видно, чтобы эта убыль чѣмъ-нибудь компенсировалась, а если справедливо подчеркнутое г. Мечниковымъ предположеніе о *прирожденной лѣни* родоначальникомъ безкрылыхъ жуковъ, то мы имѣемъ, кромѣ того, и общую убыль жизненной энергіи. Это—процессъ оскудѣнія, вырожденія. Правда, онъ вызванъ обстоятельствами вполнѣ естественными, но г. Мечниковъ, справедливо настаивающій на томъ, что естественность сама по себѣ намъ не указъ, позволитъ, по крайней мѣрѣ, назвать процессъ его настоящимъ именемъ,—именемъ вырожденія, обусловленнаго именно тѣмъ, что крылья перестали функціонировать.

Мечниковъ, ради удобства аргументаціи, предположилъ, что островные жуки разсуждаютъ по-человѣчески, и что между ними есть послѣдователи гр. Толстого. Воспользуюсь и я этимъ предположеніемъ, но сперва возьму примѣръ прямо изъ человѣческой и именно текущей жизни. Крестьяне постигнутыхъ неурожаемъ мѣстностей, въ виду невозможности прокормить лошадей, бьютъ ихъ на мясо, продаютъ за безцѣнокъ, изъ-за кожи, а то и да-

Digitized by Google

ромъ отдаютъ. Они приспособляются къ обстоятельствамъ и, очевидно, не могутъ иначе поступать, потому что не могутъ прокормить лошадей; но, вѣдь, это не мѣшаетъ намъ признавать безлошадное хозяйство вполнѣ оскудѣлымъ. Жизнь нерѣдко ставитъ передъ людьми подобныя альтернативы, и, какъ-бы мы ихъ ни рѣшали на практикѣ, а называть вещи ихъ настоящими именами, все-таки, слѣдуетъ. Такъ и съ островными жуками. Тѣ изъ нихъ, которые были настолько крылаты, что залетали слишкомъ далеко, погибали, но они были выше тѣхъ, которые уцѣлѣли. И если-бы жуки разсуждали по-человѣчески, то имъ предстояла-бы дилемма: или сохранить свое достоинство и погибнуть, или цѣною униженія купить жизнь. И если-бы между ними были ученики гр. Толстого... Да нѣтъ, впрочемъ, мнѣ не нужна зоологическая иллюстрація г. Мечникова,—дѣло и безъ нея достаточно ясно. Возьмемъ прямо человѣческое общество, положимъ, въ средніе вѣка. Духовныя крылья, крылья мысли были связаны у человѣка; свободное изслѣдованіе, каково-бы оно ни было, клеймилось страшнымъ и презрительнымъ названіемъ ереси; еретиковъ вздергивали на дыбу, сажали на испанскаго осла, ввергали въ убійственныя объятія нюренбергской дѣвицы, жгли на кострѣ. Отъ этихъ ужасовъ можно было избавиться, отказавшись, подобно островнымъ жукамъ, отъ крыльевъ, признавъ, что, дескать, не наше дѣло мыслить, на то есть особые авторитеты. Большинство, конечно, такъ и поступало, да еще, пожалуй, въ такъ называемой „святой простотѣ“ выставляло волонтеровъ по части подкидыванія дровъ въ костры. Но мы, поздніе потомки, съ уваженіемъ и благодарностью поминаемъ не это безкрылое большинство, а тѣхъ крылатыхъ, которые погибли.

Странное дѣло! Рѣчь идетъ о правилахъ поведенія, въ томъ числѣ и поведенія нравственнаго. И вдругъ, среди этого разговора, погибель и „невзгоды“, какъ выражается въ другомъ мѣстѣ г. Мечниковъ, выставляются, какъ свидѣтельство изъяна въ нравственной теоріи, свидѣтельство ея неосновательности. Это все равно, какъ если-бы мы осудили христіанскую мораль собственно на томъ основаніи, что существовали христіанскіе мученики, которыхъ отдавали на растерзаніе дикимъ звѣрямъ, разстрѣливали, побивали камнями, распинали, жгли. Если-бы г. Мечникову грозили какія-нибудь „невзгоды“ за распространеніе теоріи фагоцитовъ, которая по гр. Толстому представляетъ собою вполнѣ глу-

Digitized by Google

пый и смѣшной „байришъ биръ“, а, въ сущности, имѣетъ высокую научную цѣнность, то поведеніе нашего почтеннаго ученаго могло-бы быть двояко: или онъ, убоявшись „невзгоды“, отрекся-бы отъ того, что̀ считаетъ истиной, или, напротивъ, претерпѣлъ-бы невзгоды ради истины. Полагаю, что только послѣднее рѣшеніе и можетъ быть названо нравственнымъ, какой-бы теоріи морали г. Мечниковъ ни держался. Право, вѣдь, это труизмы. Ихъ стыдно писать. И если приходится писать, то мы, должно быть, вертимся въ какомъ-нибудь кругѣ недоразумѣній. Такъ оно и есть въ дѣйствительности.

Справедливо говоря, что теорія упражненія всѣхъ органовъ не есть открытіе гр. Толстого, г. Мечниковъ упоминаетъ, между прочимъ, нѣмецкаго естествоиспытателя Зейдлица, который въ 1875 г. выставилъ слѣдующее положеніе: „Въ удовлетвореніи всѣхъ отправленій тѣла въ должной степени и взаимномъ отношеніи другъ къ другу заключается *раціональная и нравственная* жизнь“. Гр. Толстой утверждаетъ собственно то-же самое, и если-бы онъ не презиралъ „байришъ бира“, то ему не было бы надобности, какъ онъ самъ разсказываетъ, „цѣлымъ рядомъ сомнѣній, исканій, длиннымъ ходомъ мысли приходить къ той необыкновенной истинѣ, что если у человѣка есть глаза, то затѣмъ, чтобы смотрѣть ими, и уши, чтобы слышать, и ноги, чтобы ходить, и руки и спина, чтобы работать“. Но дѣло въ томъ, что категоріи *раціональнаго* и *нравственнаго* поведенія у гр. Толстого не совпадаютъ, не обнимаются единымъ принципомъ. Правила раціональнаго поведенія онъ строитъ, какъ справедливо говоритъ г. Мечниковъ, на естественно-историческомъ принципѣ, а правила нравственнаго поведенія—любовь къ ближнему, непротивленіе злу и проч.—стоятъ особо и покоятся на совершенно иныхъ основаніяхъ. Отсюда рядъ недоразумѣній, для разбора которыхъ у меня на этотъ разъ уже не остается ни времени, ни мѣста.

Digitized by Google

VI *).

Личныя воспоминанія о гр. Толстомъ. — Гр. Толстой и г. Мечниковъ, какъ гигіенисты.

Не одинъ листъ бумаги изорвалъ я, принимаясь за продолженіе бесѣды о полемикѣ г. Мечникова съ гр. Толстымъ,—начиналъ и бросалъ, чтобы попробовать другой приступъ, и опять бросалъ. Это бываетъ, что никакъ не соберешься съ мыслями, и даже не знаешь почему. Но на этотъ разъ я, кажется, знаю, почему это такъ трудно выходитъ. Зависитъ это не только отъ обширности и сложности вопросовъ, затронутыхъ г. Мечниковымъ,—обширности и сложности, еще увеличиваемыхъ прикосновенностью гр. Толстого съ его рѣзкими и быстрыми поворотами мысли. Уже и эти условія задачи дѣлаютъ ее весьма нелегкою, а къ нимъ присоединяются еще особенности личнаго моего отношенія какъ къ кругу идей, представляемыхъ статьей г. Мечникова, такъ и къ гр. Толстому. Для меня предметъ статьи г. Мечникова не просто группа интересныхъ вопросовъ, какимъ онъ долженъ быть для всякаго, желающаго не о единомъ хлѣбѣ жить и думать. Когда-то, въ молодости, именно съ этой группы вопросовъ начинались мои попытки самостоятельной мысли, и тѣ результаты, къ которымъ я тогда пришелъ и отъ которыхъ и теперь не отступаюсь, имѣютъ для меня, вслѣдствіе этого, особую цѣну: слишкомъ много моей души въ нихъ вложено. Не мало ея вложено и въ гр. Толстого, къ которому я, опять-таки, съ давнихъ поръ приглядывался то съ глубочайшимъ почтеніемъ, почти граничившимъ съ восторгомъ, то съ рѣзко-отрицательнымъ чувствомъ, мнѣ самому причинявшимъ боль послѣ почтенія и восторга. Такимъ образомъ, всѣ элементы предстоящей бесѣды съ читателемъ мнѣ близки и съ давнихъ лѣтъ знакомы. Но, кажется, въ этомъ-то и состоитъ трудность. Я не знаю, съ чего начать, — не то вспоминать, не то разсуждать, не то о гр. Толстомъ вспоминать, не то о своихъ первыхъ попыткахъ самостоятельной мысли, не то о теоріяхъ гр. Толстого разсуждать, не то о г. Мечниковѣ. Благодаря статьѣ г. Мечникова, посвященной, съ одной стороны, извѣстнымъ нравственно-политическимъ вопросамъ, а съ другой—гр. Толстому,—все это свилось въ одинъ клубокъ, и я пробовалъ

*) 1892, февраль.

Digitized by Google

начинать его разматывать то съ одного конца, то съ другого. Хочется, разумѣется, размотать такъ, чтобы объявилось все цѣнное изъ пережитаго и передуманнаго, то-есть, конечно, то, что я, можетъ быть, и ошибочно, считаю цѣннымъ. А, между тѣмъ, надо, вѣдь, не только начать, надо продолжать и кончать.

Да проститъ-же мнѣ благосклонный читатель, если настоящая моя бесѣда будетъ особенно страдать отсутствіемъ опредѣленнаго архитектурнаго стиля. Въ концѣ-то-концовъ, вѣдь, не въ архитектурѣ же дѣло...

Въ 1874 г. гр. Толстой обратился къ Некрасову съ письмомъ (оно у меня сохранилось), въ которомъ просилъ, чтобы „Отечественныя Записки“ обратили вниманіе на его, гр. Толстого, пререканія съ профессіональными педагогами въ московскомъ комитетѣ грамотности. Графъ выражалъ лестную для нашего журнала увѣренность, что мы внесемъ надлежащій свѣтъ въ эту педагогическую распрю. Письмо это, совершенно неожиданное, возбудило въ редакціи большой интересъ. Собственно Некрасовъ не особенно высоко цѣнилъ споръ о пріемахъ преподаванія грамотѣ въ народныхъ школахъ, но гр. Толстой обѣщалъ отплатить за услугу услугой, разумѣя свое сотрудничество по беллетристическому отдѣлу, и Некрасовъ, какъ опытный журналистъ, хорошо понималъ значеніе сотрудничества автора „Войны и мира“. Впечатлѣніе, произведенное этимъ гигантскимъ твореніемъ, было еще тогда очень свѣжо, и ему нисколько не мѣшали нѣкоторыя рискованныя подробности философско-исторической части романа. Извѣстно, что философско-историческіе взгляды гр. Толстого были первоначально вплетены въ самый текстъ „Войны и мира“, а затѣмъ выдѣлены въ прибавленіе или въ особую часть. Читатели мысленно совершили эту операцію гораздо раньше самого автора: наслаждались несравненными красотами художественной части и пропускали, такъ сказать, сквозь пальцы часть философско-историческую. Въ связи съ разсказами о гр. Толстомъ Некрасова, который его давно и хорошо зналъ, какъ-то сама собой установившаяся плохая репутація философско-исторической части „Войны и мира“ заставляла опасаться, что въ педагогической распрѣ мы окажемся, пожалуй, не на сторонѣ графа (за самою распрей никто изъ насъ не слѣдилъ). Въ концѣ-концовъ, порѣшили на томъ, чтобы предложить самому гр. Толстому честь и мѣсто въ „Отечественныхъ Запискахъ“: онъ, дескать, достаточно крупная

Digitized by Google

и, притомъ, внѣ литературныхъ партій стоящая фигура, чтобъ отвѣчать самому за себя, а редакція оставляетъ за собой свободу дѣйствія. Но гр. Толстому этого было мало. Въ новомъ письмѣ къ Некрасову онъ повторялъ увѣренность, что у него съ „Отечественными Записками“ никакого разногласія быть не можетъ, и, выражая готовность прислать статью по предмету спора, настаивалъ на томъ, чтобы нашъ журналъ предварительно самъ высказался. Я взялъ на себя трудъ познакомиться съ дѣломъ, и мы обмѣнялись по этому случаю съ гр. Толстымъ нѣсколькими письмами. Я взялся сначала именно только познакомиться съ дѣломъ, отнюдь не обязываясь писать о немъ, и взялся не потому, чтобы очень интересовался вопросомъ о методахъ преподаванія грамоты, а просто въ качествѣ горячаго почитателя гр. Толстого, какъ художника, который вдобавокъ не задолго передъ тѣмъ, въ 1873 г., завоевалъ себѣ новое право на общую симпатію напечатаннымъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ письмомъ о самарскомъ городѣ. Но ни красоты „Войны и мира“, ни прочувствованныя строки о голодномъ мужикѣ не могли, конечно, служить ручательствомъ за правильность педагогическихъ взглядовъ гр. Толстого. Притомъ же, и мнѣ самому приходилось еще только знакомиться съ педагогическими вопросами. Я откровенно изложилъ гр. Толстому свое положеніе: такъ и такъ, преподавательскимъ дѣломъ никогда не занимался, съ литературой предмета совершенно не знакомъ, но постараюсь изучить ее, а для этого нужно время. Дѣйствительно, я добросовѣстно принялся за разные методики, учебники, статьи, посвященные вопросамъ о методѣ звуковомъ, буквослагательномъ и проч., въ томъ числѣ и за старыя педагогическія статьи гр. Толстого, составляющія четвертый томъ его сочиненій. На все это, при обиліи другихъ занятій, потребовалось столько времени, что гр. Толстой меня не дождался: статья его „О народномъ образованіи“ была напечатана въ сентябрьской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ за 1874 г. и вызвала цѣлую бурю какъ въ общей, такъ и въ спеціально-педагогической литературѣ. Я же могъ утилизировать плоды своего педагогическаго изученія только въ январѣ 1875 г. Да и то я рѣшился говорить только отъ лица и имени „профана“.

Впрочемъ, собственно техническая сторона дѣла, вопросъ о методѣ обученія грамотѣ, въ которомъ я чувствовалъ себя настоящимъ профаномъ, отошелъ для меня на самый задній планъ.

Digitized by Google

Изучивъ четвертый томъ сочиненій гр. Толстого, на который я прежде, вмѣстѣ съ большинствомъ читателей, обращалъ очень мало вниманія, я былъ пораженъ смѣлостью, широтою, искренностью взглядовъ автора, весьма далекихъ отъ элементарной педагогической техники. Для меня это было цѣлое открытіе, и легко было убѣдиться, что не для одного меня. Надо сказать, что свое соблазнительное обѣщаніе „Отечественнымъ Запискамъ“ услуги за услугу графъ такъ и не привелъ въ исполненіе: „Анну Каренину“ онъ, если не ошибаюсь, въ томъ-же 1874 г. и самое позднее въ 1875 г., отдалъ не намъ, а Каткову, въ „Русскій Вѣстникъ“. Критика Катковскаго лагеря превозносила „Анну Каренину“ выше лѣса стоячаго, выше облака ходячаго, въ самую высь подзвѣздную. Сверхъ всякой мѣры восторгаясь мельчайшими художественными подробностями романа, эта критика радовалась и его общему тону и содержанію. Она радовалась тому, что графъ такъ глубоко интересуется блестящимъ міромъ салоновъ, будуаровъ, модныхъ ресторановъ, конскихъ ристалищъ. Она восхваляла графа,—какъ выразился одинъ критикъ,—за „умѣнье находить людей, сохраняющихъ среди новыхъ общественныхъ наслоеній лучшія преданія стараго культурнаго общества... верхній слой, живущій чисто-человѣческими интересами, доступный благороднымъ чувствамъ и романическимъ порываніямъ... людей, у которыхъ изящество жизни не считается развратомъ, культурныя формы общежитія не разсматриваются какъ продуктъ крѣпостного права“ и т. д., и т. д. Словомъ, гр. Толстой оказывался какимъ-то спеціальнымъ пѣвцомъ благоуханныхъ и блестящихъ сферъ такъ называемаго высшаго общества. Между тѣмъ, въ четвертомъ томѣ сочиненій гр. Толстого можно прочесть, между прочимъ, такія, напримѣръ, строки: „въ поколѣніяхъ работниковъ лежитъ и больше силы, и больше сознанія правды и добра, чѣмъ въ поколѣніяхъ бароновъ, банкировъ, профессоровъ и лордовъ“. Или: „требованія народа отъ искусства законнѣе требованій испорченнаго меньшинства, такъ называемаго образованнаго общества“. Да и весь четвертый томъ проникнутъ такимъ бурнымъ и глубокимъ демократизмомъ, такимъ „культомъ народа“, какъ сказалъ-бы, не совсѣмъ, впрочемъ, правильно, г. Боборыкинъ, что упомянутые восторги критики можно было объяснить только незнакомствомъ съ подлинными взглядами гр. Толстого. Обнаружить эти подлинные взгляды, оповѣстить ихъ чи-

Digitized by Google

тающему люду, который только по прискорбному недоразумѣнію отворачивается отъ четвертаго тома, такъ сказать, отнять великаго художника у людей, ничего, кромѣ „изящества жизни“, не признающихъ,—такая цѣль представлялась мнѣ необыкновенно заманчивою. Съ другой стороны, однако, фактъ чрезвычайнаго интереса къ благоуханнымъ и блестящимъ сферамъ былъ налицо: этотъ Вронскій, въ сущности, центравъ какой-то, въ которомъ не разберешь, гдѣ кончается превосходный кровный жеребецъ и гдѣ начинается человѣкъ, „доступный благороднымъ чувствамъ и романтическимъ порываніямъ“, этотъ Облонскій, легкомысліе котораго заслуживало бы не такихъ мягкихъ, милыхъ, добродушныхъ красокъ, и т. д.,—все это какъ будто не идетъ къ автору четвертаго тома. Судя по нѣкоторымъ его рѣзкостямъ по адресу благоуханныхъ и блестящихъ сферъ, можно бы было ожидать или столь полнаго презрѣнія къ этому міру, что и разговаривать о немъ не стоитъ, или же явственно и рѣзко-сатирическихъ нотъ. Нашлись и еще кое-какія противорѣчія въ извѣстной мнѣ тогда дѣятельности гр. Толстого. Они мучили меня какъ загадка. Но, наконецъ, при помощи все того же четвертаго тома, въ которомъ я нашелъ ключъ къ уразумѣнію и „десницы“, и „шуйцы“ гр. Толстого, загадка разъяснилась. Я думаю, что до извѣстной степени разъясненіе это и сейчасъ остается вѣрнымъ, но съ тѣхъ поръ такъ много воды утекло и такъ много гр. Толстой новаго сказалъ, и такъ много про него новаго мы узнали...

Когда я разгадывалъ загадку „десницы“ и „шуйцы“ гр. Толстого, я не зналъ, разумѣется, того, что оповѣстилъ недавно г. Фетъ,—тѣхъ скачковъ отъ гимнастики къ драмѣ, отъ греческаго языка къ Шопенгауэру, отъ земледѣльческихъ упражненій къ Экклезіасту, въ которыхъ графъ проводилъ свое время. Отъ Некрасова и другихъ сверстниковъ графа я слыхалъ о нѣкоторыхъ его „чудачествахъ“, но не придавалъ имъ значенія. Свѣдѣній же печатныхъ о личности гр. Толстого, какія теперь имѣются даже въ чрезмѣрномъ изобиліи, тогда не было, кромѣ тѣхъ необыкновенно-увлекательныхъ страницъ четвертаго тома, гдѣ онъ разсказывалъ о своихъ занятіяхъ въ народной школѣ. Существовало, правда, еще одно автобіографическое показаніе гр. Толстого, сильно меня смущавшее, но и его я съ грѣхомъ пополамъ вставилъ въ рѣшеніе своей загадки, хотя, изъ глубокаго уваженія къ графу, предпочелъ тогда обойти этотъ фактъ

Digitized by Google

молчаніемъ. Теперь, когда каждый шагъ гр. Толстого публикуется, частью имъ самимъ, можно и эту старину вспомнить.

Въ курьезной книгѣ покойнаго Погодина „Простая рѣчь о мудреныхъ вещахъ“ записанъ слѣдующій разсказъ гр. Толстого, относящійся ко временамъ его молодости: „Проигравшись въ карты, я передалъ зятю имѣніе, съ тѣмъ, чтобъ онъ уплачивалъ мои долги и присылалъ мнѣ на содержаніе по 500 р. въ годъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, я далъ ему слово не играть болѣе въ карты. Но на Кавказѣ я опять сталъ играть, спустивъ все, что у меня было, и задолжалъ Кнорингу 500 р. на вексель. Срокъ подходилъ, денегъ у меня не было, а зятю писать не смѣлъ о своемъ позорѣ и былъ въ отчаяніи. Жилъ я тогда въ Тифлисѣ, чтобы держать юнкерскій экзаменъ. Я не спалъ ночей, мучился, обдумывалъ, что мнѣ дѣлать, и вспомнилъ о молитвѣ и силѣ вѣры. Я сталъ молиться отъ глубины души, считая свою молитву испытаніемъ силы вѣры; молился, какъ молятся юноши, и легъ спать будто успокоенный. Поутру, лишь только я проснулся, подаютъ мнѣ пакетъ отъ брата изъ Чечни. Первое, что я увидѣлъ въ пакетѣ, это былъ разорванный вексель. Братъ писалъ мнѣ: Садо (мой кунакъ, молодой малый, чеченецъ, игрокъ) обыгралъ Кнорринга, выигралъ твой вексель, привезъ ко мнѣ и ни за что не хочетъ брать съ тебя денегъ“.

Я не затѣмъ, разумѣется, привелъ этотъ автобіографическій разсказъ гр. Толстого, чтобы помянуть грѣхи его молодости, въ которыхъ онъ давно и всенародно покаялся. И въ свое-то время, задолго до „Исповѣди“, приведенный эпизодъ не тѣмъ меня смущалъ, что гр. Толстой въ молодости сильно въ карты игралъ. Быль молодцу не укоръ, а, вѣдь, это, въ самомъ дѣлѣ, быль,— нѣчто былое, быльемъ поросшее, давно прошедшее, давно искупленное. До и такіе-ли еще грѣхи найдутся у каждаго изъ насъ на душѣ! Но если быль быльемъ поросла, то не исчезла и до сихъ поръ та странная складка въ умѣ гр. Толстого, которая сквозитъ въ разсказѣ о чудесномъ финалѣ исторіи съ проигрышемъ. Графъ, очевидно, увѣренъ, что благополучный исходъ дѣла достигнутъ силою его молитвы, а, между тѣмъ, радостное извѣстіе пришло изъ Чечни въ Тифлисъ всего черезъ нѣсколько часовъ послѣ молитвы, и, слѣдовательно, Садо обыгралъ Кнорринга и разорвалъ вексель гр. Толстого гораздо раньше, чѣмъ графъ вздумалъ обратиться къ Богу. Все на свѣтѣ совершается, конечно,

Digitized by Google

по Божію повелѣнію, соизволенію или попущенію, но графъ-то обратился къ Богу только post factum. Тѣмъ не менѣе, гр. Толстой увѣренъ. Теперь я склоненъ былъ-бы объяснить эту увѣренность тѣмъ самымъ смиреніемъ гордости, съ которымъ онъ ждетъ или ждалъ, чтобы ему „Богъ велѣлъ“ написать о голодѣ Это смиреніе гордости не разъ доводило очень крупныхъ людей до полнаго ослѣпленія. Но тогда, пятнадцать лѣтъ тому назадъ, мнѣ и въ голову не приходило ничего подобнаго. И я спрашиваю себя: какъ же можетъ человѣкъ такого большого, проницательнаго и, такъ сказать, безпощадно-правдиваго ума, какимъ гр. Толстой является почти во всѣхъ своихъ поэтическихъ и во многихъ теоретическихъ произведеніяхъ, какъ можетъ этотъ человѣкъ писать столь явныя несообразности? Въ виду моего нѣсколько даже страстнаго отношенія къ гр. Толстому, мнѣ, признаюсь, было стыдно останавливаться тогда на эпизодѣ съ проигрышемъ, за графа стыдно, а, между тѣмъ, разсужденіе его объ этомъ эпизодѣ очень для него типично; и не столь уже рѣзко выразительныя формы этого типа я не могъ, да и не хотѣлъ скрыть отъ читателей. Я суммировалъ эти удивительные обороты мысли въ „шуйцѣ“ гр. Толстого, которая, какъ-бы слѣдуя евангельскому завѣту, не знаетъ, что́ дѣлаетъ его „десница“.

Я не буду, конечно, переизлагать здѣсь всѣ выводы, къ которымъ пришелъ тогда. Въ общихъ чертахъ дѣло состоитъ въ томъ, что въ гр. Толстомъ сидятъ два разные человѣка, имѣющіе очень мало общаго между собою. Одинъ („десница“)—смѣлъ, рѣшителенъ, жаждетъ дѣятельности, не принимаетъ ничего на вѣру, и всякій фактъ, какъ бы онъ ни былъ освященъ преданіемъ или другимъ какимъ авторитетомъ, готовъ подвергнуть самому безпощадному допросу; не выдержалъ фактъ допроса разума и совѣсти, и гр. Толстой отметаетъ его, какъ никуда негодную ветошь, хотя бы за него горы горой стояли. Другой („шуйца“) — робокъ, боится отвѣтственности или, по крайней мѣрѣ, сильно не любитъ тѣхъ, кто рѣшается дѣйствовать на свой страхъ, видитъ въ фактахъ какую-то таинственную и непреодолимую мощь и силу, которымъ нельзя и не слѣдуетъ противиться ни словомъ, ни дѣломъ, ни помышленіемъ. Образчикомъ такого отношенія къ фактамъ можетъ служить разсказъ о кавказскомъ проигрышѣ. Графъ такъ пораженъ, такъ придавленъ фактомъ случайнаго совпаденія обстоятельствъ, не имѣющихъ между

Digitized by Google

собою никакой причинной связи, что даже не пытается замахнуться на него критическою мыслью. Пятнадцатилѣтній мальчикъ способенъ бы былъ сообразить время, требуемое для полученія въ Тифлисѣ письма изъ Чечни, а гр. Толстой, своего рода колоссъ, этого сообразить не можетъ. Это случай уже изъ ряда вонъ выходящій по своей наглядной несообразности. А съ другой стороны, графъ, все-таки, помолился, совершилъ извѣстное дѣйствіе, и только тогда (т.-е. по мнѣнію графа, тогда) Богъ устроилъ его карточныя дѣла при посредствѣ игрока чеченца Садо. Въ другихъ случаяхъ неприкосновенность факта обставляется иначе. Я помню, что въ одной изъ статей гр. Толстого о народномъ образованіи меня особенно поразила слѣдующая фраза: „не случайно, а цѣлесообразно окружила природа земледѣльца земледѣльческими условіями, горожанина—городскими". Это былъ одинъ изъ аргументовъ въ пользу неприкосновенности данныхъ условій жизни, съ которыми, дескать, воспитатель или учитель долженъ сообразоваться. Аргументъ, очевидно, очень плохой, потому что, спрашивается, какими же иными условіями могла окружить природа земледѣльца, какъ не земледѣльческими? Иначе бы, вѣдь, онъ и земледѣльцемъ не былъ. Поэтому противоположеніе „случайности" и „цѣлесообразности" есть здѣсь не болѣе какъ философскій кляксъ. Но интересна и характерна для гр. Толстого не эта, можетъ быть, случайная запутанность мысли. Интересно, что аргументъ исключаетъ самого земледѣльца, самого горожанина: не они своимъ трудомъ создали окружающія ихъ условія—вырубили лѣсъ, распахали пашню, посѣяли хлѣбъ, построили дома и проч., а какая-то внѣшняя сила, имѣющая свои особыя, собственныя цѣли; ходъ дѣятельности этой внѣшней силы и представляется неприкосновеннымъ для человѣческаго вмѣшательства. Эта точка зрѣнія часто пробивается въ статьяхъ гр. Толстого о народномъ образованіи, но съ особенною силой она развита въ философско-исторической части „Войны и мира". Я не стану ее разбирать въ этомъ смыслѣ и только напомню давно уже указанную критикой нелюбовь гр. Толстого къ людямъ вродѣ Наполеона, Растопчина, Сперанскаго и многихъ другихъ дѣйствующихъ лицъ „Войны и мира", желающихъ внести въ ходъ событій что-то свое, личное. Этихъ людей гр. Толстой, именно за это, независимо отъ другихъ ихъ свойствъ, хорошихъ или дурныхъ, явно не любитъ, презираетъ или смѣется надъ ними, и,

Digitized by Google

напротивъ, почтительно относится къ Кутузову, бездѣятельно присутствующему при событіяхъ, отнюдь не думая ими управлять или направлять ихъ. Смирить свой разумъ передъ ходомъ вещей, направляемыхъ могущественною внѣшнею силой,—такова задача.

Совсѣмъ она, однако, не такова въ большинствѣ статей гр. Толстого по народному образованію. Рядомъ съ разсужденіями о неприкосновенности условій, въ которыя „природа“ цѣлесообразно поставила крестьянскихъ ребятишекъ, можно найти взрывы негодованія противъ людей, полагающихъ, что не слѣдуетъ давать этимъ ребятишкамъ „чувства и понятія, которыя враждебно поставятъ ихъ къ своей средѣ“. Въ статьѣ „Прогрессъ и опредѣленіе образованія“ гр. Толстой самымъ рѣзкимъ образомъ противополагаетъ личное убѣжденіе и личную энергію роковымъ силамъ „историческихъ условій“, „среды“, „потребностей времени“. Онъ говоритъ: мое личное убѣжденіе, моя личная энергія, мое желаніе направить событія въ ту или другую сторону,—все это тоже продукты историческихъ условій, но цѣнны они для меня не поэтому, а потому, что они мои, кровные, и отказаться отъ нихъ я не могу и не хочу. Приведенный ходомъ своей аргументаціи къ анализу европейской цивилизаціи, выработанной вѣками и вѣками, онъ уже не говоритъ о цѣлесообразности, разумности, неприкосновенности хода вещей. Напротивъ, онъ рѣзко отрицаетъ разумность стихійнаго теченія исторіи и приглашаетъ насъ, русскихъ, *во имя разума и совѣсти*, такъ направить свою жизнь и дѣятельность, чтобы избѣжать темныхъ пятенъ европейской исторіи. Я подчеркиваю слова: *во имя разума и совѣсти*, потому что отрицаніе европейскаго строя жизни практиковалось у насъ и съ точки зрѣнія нашихъ, русскихъ или славянскихъ, или византійскихъ преданій, къ которымъ гр. Толстой никогда не апеллировалъ.

Итакъ, шуйца гр. Толстого воспрещаетъ человѣку, личности, вмѣшиваться въ ходъ вещей, управляемый постороннею внѣшнею силой. Этотъ ходъ вещей неприкосновененъ и для критической мысли, которая можетъ лишь констатировать „цѣлесообразность“, „разумность“ всего совершающагося, и для практическаго воздѣйствія. Десница же графа подвергаетъ смѣлому анализу тысячелѣтній ходъ цивилизаціи и настаиваетъ на активномъ вмѣшательствѣ въ цѣпь событій. Какъ уже сказано, я не

Digitized by Google

могъ знать, что гр. Толстой мѣняетъ свои интересы и свои взгляды съ тою быстротой и рѣзкостью, какія явствуютъ изъ его переписки съ г. Фетомъ. Я видѣлъ только одну шуйцу и одну десницу и искалъ объясненія только этимъ періодическимъ приливамъ и отливамъ энергіи и смѣлости мысли.

Анализъ европейской цивилизаціи, сдѣланный гр. Толстымъ, далеко не исчерпываетъ предмета и далеко не новъ,—онъ давно сдѣланъ въ самой Европѣ, хотя графъ уже и тогда не имѣлъ привычки указывать своихъ предшественниковъ и предпочиталъ самолично открывать Америку. Но многія изъ его замѣчаній очень мѣтки, смѣло и оригинально выражены и получаютъ еще особенное значеніе въ виду его собственной личности. Гр. Толстой—богатый, родовитый, образованный, высокоталантливый человѣкъ, имѣющій возможность пользоваться всѣми благами цивилизаціи. Всѣ пути передъ нимъ открыты; ему съ ранней молодости доступна вся чаша наслажденій, начиная съ низшихъ, покупаемыхъ за деньги, и кончая высшими, даваемыми процессомъ критической мысли и творчества, со включеніемъ всего, что такъ или иначе тѣшитъ самолюбіе. Казалось бы, пей, ѣшь и веселись, причемъ вовсе нѣтъ надобности понимать эту формулу въ грубомъ смыслѣ: веселіе можетъ быть разное. Но гр. Толстой—избранная натура. Въ числѣ даровъ, которыми онъ осыпанъ судьбой отъ рожденія, есть предательскіе, способные отравить все остальное. Это — чуткая совѣсть и пытливый умъ, столь же склонный къ анализу движеній собственной души, какъ и къ обобщеніямъ. Судя по его собственнымъ, прямымъ и косвеннымъ показаніямъ и по другимъ свѣдѣніямъ, графъ не отказывался пить полными глотками изъ предоставленной ему баловницей-судьбой чаши наслажденій. Но уже очень рано ощутилъ онъ въ этомъ напиткѣ горечь какой-то отравы. Всякая богатоодаренная натура жадно ищетъ счастія или, по крайней мѣрѣ, въ ней эта жадность ярче обрисовывается, чѣмъ въ другихъ: ее разжигаетъ успѣхъ, ей доступнѣе рискъ, въ ней просятся наружу крупныя силы. Но счастье счастью рознь, и соединеніе чуткой совѣсти съ пытливымъ умомъ дѣлаетъ человѣка очень разборчивымъ въ вопросѣ о счастіи,—все не то и не то, все не удовлетворяетъ либо ума, либо сердца, либо того и другого. Совершенно явственные слѣды этой скептической работы есть въ произведеніяхъ гр. Толстого, написанныхъ *сорокъ* лѣтъ тому на-

Digitized by Google

задъ, напримѣръ, въ повѣсти „Казаки“. Герою этой повѣсти, Оленину, 23—24 года, ровно столько же, сколько было тогда автору. Авторъ служилъ тогда юнкеромъ и жилъ въ казачьей станицѣ на Терекѣ; Оленинъ тоже юнкеръ и тоже жилъ въ казачьей станицѣ на Терекѣ. Оленинъ „жилъ всегда своеобразно и имѣлъ безсознательное отвращеніе къ битымъ дорожкамъ“,—та же черта всякому бросается въ глаза въ гр. Толстомъ. Было бы, конечно, очень рискованно идти дальше по пути сближеній біографическаго характера. Да это и не нужно. Съ насъ довольно того, что гр. Толстой въ 23—24 года понималъ и принималъ близко къ сердцу душевныя волненія Оленина и вложилъ въ него кое-что такое, что впослѣдствіи излагалъ уже прямо отъ себя въ своихъ теоретическихъ статьяхъ.

Оленинъ позналъ пустоту, ничтожество, плоскость обычнаго времяпровожденія богатаго, свѣтскаго молодого человѣка, онъ не нашелъ счастія ни въ кутежахъ и цыганкахъ, ни въ блестящей праздности, ни въ любви и ѣдетъ на Кавказъ. Тамъ онъ находитъ нѣкоторое успокоеніе въ общеніи съ природой и простыми, грубыми людьми. Затѣмъ онъ „дошелъ до того, что написано въ азбукѣ. Для того, чтобы быть счастливымъ, надо одно—любить, и любить съ самоотверженіемъ, любить всѣхъ и все, раскидывать на всѣ стороны паутину любви: кто попадется, того и брать“. Оленинъ и любитъ, и ищетъ случаевъ совершать подвиги самоотверженія, и даже, въ мѣру своего роста, совершаетъ ихъ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ замѣчаетъ, что онъ совершенно чужой окружающимъ его людямъ, что ему, изломанному и исковерканному предъидущею жизнью, не сойтись съ этими грубыми, простыми, но цѣльными дѣтьми природы. Онъ, вскормленный цивилизаціей, готовъ даже завидовать полнотѣ и простотѣ ихъ жизни, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, ему претитъ ихъ грубость. Вдобавокъ, его охватываетъ страстная любовь къ полудикой красавицѣ-казачкѣ, и онъ рѣшаетъ, что „самоотверженіе—все это вздоръ, дичь. Это все гордость, убѣжище отъ заслуженнаго несчастія, спасеніе отъ зависти къ чужому счастію. Жить для другихъ, дѣлать добро... зачѣмъ? когда въ душѣ моей одна любовь къ себѣ и одно желаніе—любить ее (казачку) и жить съ нею ея жизнью“. Но и это желанное счастье не сбывается, благодаря обстоятельству, правда, случайному, но ясно свидѣтельствующему, что Оленинъ—чужакъ среди дѣтей природы...

Digitized by Google

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что, за вычетомъ, конечно, романической исторіи, о которой и предполагать ничего не приходится, гр. Толстой самъ бѣгалъ по дорожкамъ, исхоженымъ Оленинымъ; онъ самъ объ этомъ въ разныхъ своихъ произведеніяхъ разсказалъ. Въ статьяхъ по народному образованію и вопросамъ, къ нему прикосновеннымъ, мы имѣемъ осѣвшіе, такъ сказать, кристализованные результаты этого броженія. Но броженіе еще не совсѣмъ улеглось, а потому и результаты получаются колеблющіеся, противорѣчивые. Приведенный работой совѣсти и пытливаго ума къ убѣжденію въ несостоятельности той жизни, которую онъ велъ среди такъ называемаго „общества“ или „незанятыхъ классовъ“, гр. Толстой обращался къ нетронутому цивилизаціей народу. Прежде всего, онъ останавливается на самомъ фактѣ этой нетронутости. Мы гордимся своею наукой, своимъ искусствомъ, колоссальными богатствами, скопленными въ нашихъ городахъ, улучшенными путями сообщенія, разнообразными и поразительными открытіями и изобрѣтеніями въ области техники, но всѣ эти роскошные плоды цивилизаціи находятся въ пользованіи маленькой горсти, а народу отъ нихъ ни тепло, ни холодно. Мало того, скорѣе холодно, чѣмъ тепло, потому что цивилизація взращивается на счетъ народнаго труда, и чѣмъ пышнѣе ея цвѣты, тѣмъ больше, значитъ, они высосали соковъ изъ народа. Какъ же быть человѣку, сознавшему это страшное соціальное противорѣчіе и, по своимъ душевнымъ свойствамъ, не способному закрывать глаза передъ очевидностью, какъ бы ни была эта очевидность для него невыгодна или ужасна? А гр. Толстой въ этомъ отношеніи такъ смѣлъ и послѣдователенъ, что даже свою литературную дѣятельность, стяжавшую ему всемірную славу и доставившую ему, конечно, много наслажденія самымъ процессомъ своимъ, открыто призналъ „однимъ изъ видовъ искусной эксплоатаціи народа“. Какъ же быть? Одна изъ особенностей гр. Толстого состоитъ въ томъ, что онъ каждый нравственный вопросъ ставитъ и каждое сомнѣніе разрѣшаетъ для себя лично. Въ этомъ его сила и его слабость: сила, потому что за рѣшеніемъ немедленно слѣдуетъ практическое примѣненіе; слабость, потому что рѣшеніе оказывается слишкомъ спеціальнымъ, слишкомъ приноровленнымъ къ исключительнымъ обстоятельствамъ жизни гр. Толстого. Вышеупомянутый вопросъ графъ рѣшилъ такъ. Онъ, гр. Толстой, отпрыскъ „десяти не забитыхъ работой

Digitized by Google

поколѣній", пріобрѣлъ на счетъ народа извѣстныя знанія и дошелъ до извѣстныхъ идей, которыя считаетъ истинными и справедливыми. Онъ долженъ внести свѣтъ этихъ знаній и идей въ темную массу народа; вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ долженъ урѣзать свои потребности, удовлетворяемыя, собственно говоря, на чужой счетъ. И вотъ гр. Толстой поселяется въ деревнѣ и со страстью отдается дѣлу народнаго образованія. Надо, однако, замѣтить, что къ урѣзанію потребностей, къ упрощенію жизни влекло гр. Толстого нѣчто кромѣ соображеній о томъ, что наслажденія „незанятыхъ классовъ" оплачиваются народомъ. Гр. Толстой очень рано усмотрѣлъ искусственность, пустоту, ничтожество этихъ наслажденій, совершенно независимо отъ того, кому и во что они обходятся. Онъ просто не нашелъ въ нихъ удовольствія, подобно герою „Казаковъ", и отрѣзалъ себя отъ нихъ. Казалось бы теперь, удалившись отъ дразнящихъ, но не удовлетворяющихъ соблазновъ и отдавшись дѣлу, окруженному ореоломъ истины и справедливости, графъ долженъ былъ успокоиться. И дѣйствительно, спокойствіемъ и увѣренностью вѣетъ отъ нѣкоторыхъ его статей по народному образованію, — спокойствіемъ и увѣренностью человѣка, выбравшагося изъ болота на сухое мѣсто,—онъ силенъ, бодръ, смѣло беретъ на себя отвѣтственность за свое дѣло. Но временами его посѣщаютъ новыя сомнѣнія и тревоги, разростающіяся до того, что руки безсильно опускаются и жизнь не красна становится. Дѣло въ томъ, что отрѣзать-то себя отъ прошлаго онъ отрѣзалъ, да не совсѣмъ. Жилъ онъ все-таки какъ подобаетъ помѣщику, а, кромѣ того, какъ мы знаемъ, его тянуло и къ греческому языку, и къ Шопенгауэру, и къ разнымъ другимъ вещамъ, отвлекавшимъ его отъ дѣла, признаваемаго имъ обязательнымъ. Да если бы мы даже этого и не знали, то одной „Анны Карениной" достаточно, чтобы понять, какая смута должна была происходить въ душѣ гр. Толстого въ то время. Такую большую художественную вещь, какъ „Анна Каренина", надо, вѣдь, выносить, надо долго держать въ умѣ и сердцѣ своемъ всѣхъ этихъ центавровъ-Вронскихъ, сухарей-Карениныхъ, беззаботныхъ Облонскихъ со всѣми ихъ радостями, горестями, приключеніями, затрудненіями. А это свидѣтельствуетъ, что гр. Толстой далеко не отрѣзалъ себя отъ своего прошлаго. И графъ, съ своею чуткою совѣстью и пытливымъ умомъ, самъ сознавалъ это. Поэтому-то въ исторію Анны Карениной и вплелась другая,

Digitized by Google

совершенно самостоятельная и насильственно вставленная въ ту же рамку исторія Константина Левина. Поэтому-то Константинъ Левинъ такъ хочетъ и такъ не можетъ жить общею съ народомъ жизнью. Левинъ—тотъ же Оленинъ, а „Анна Каренина“ написана слишкомъ двадцать лѣтъ послѣ „Казаковъ“, и, значитъ, гр. Толстой черезъ двадцать слишкомъ лѣтъ вернулся къ своей исходной точкѣ.

Между прочимъ, и Оленинъ, и Левинъ завидуютъ той грубой, невѣжественной средѣ, къ которой они, по такимъ или другимъ причинамъ или побужденіямъ, подошли; а гр. Толстой, въ своихъ статьяхъ по народному образованію, комментируетъ и мотивируетъ эту зависть. Завидуютъ они всѣ трое, конечно, не грубости и невѣжеству мужика или терскаго казака, а отсутствію той раздвоенности, которая ихъ самихъ, какъ червь, точитъ, отсутствію душевной сумятицы. Они, отпрыски „десяти не забитыхъ работой поколѣній“, мятутся духомъ и никакъ не могутъ вполнѣ оторваться отъ того, что̀ признали грѣхомъ или, по крайней мѣрѣ, ничтожнѣйшими пустяками, а мужикъ на какихъ-то нелѣпыхъ устояхъ стоитъ—не колышется. Да полно, нелѣпы-ли эти устои? Не выше-ли они тѣхъ, на которыхъ стоимъ мы, гордые своею цивилизаціей? Да, выше. Мужикъ не развращенъ тою червоточиной, которою страдаютъ Оленины, Левины, гр. Толстые. Мужикъ, никогда никакими привилегіями не пользовавшійся, никогда на чужой счетъ не жившій, можетъ правильнѣе смотрѣть на вещи, чѣмъ тѣ, кто, подобно Оленину, провелъ свою молодость въ веселой праздности. Да и вообще „въ поколѣніяхъ работниковъ лежитъ и больше силы, и больше сознанія правды и добра, чѣмъ въ поколѣніяхъ бароновъ, банкировъ, профессоровъ и лордовъ“. Я уже приводилъ эти подлинныя слова гр. Толстого. Но подлинныя-же его слова говорятъ объ обязанностяхъ передъ народомъ людей, имѣющихъ за плечами „десять не забитыхъ работой поколѣній“. Какія-же это могутъ быть обязанности? Что, кромѣ вреда, могутъ эти люди принести своимъ вмѣшательствомъ въ народную жизнь? Для характеристики этого скептицизма гр. Толстого достаточно припомнить заглавіе одной изъ статей четвертаго тома: *Кому у кого учиться писать: крестьянскимъ ребятамъ у насъ или намъ у крестьянскихъ ребятъ?* Въ минуту такихъ сомнѣній у гр. Толстого опускаются руки, онъ робѣетъ, отказывается проводить въ народъ то, что̀ считаетъ истиннымъ и

Digitized by Google

справедливымъ; въ утѣшеніе себѣ, онъ прибѣгаетъ къ вѣрѣ въ какое-то внѣ насъ лежащее могущественное, цѣлесообразное и разумное начало, которое помимо нашего вмѣшательства и вопреки ему приведетъ все къ наилучшему, а если не къ наилучшему, то, во-всякомъ случаѣ, предопредѣленному концу.

Таковы приливы и отливы энергіи воли и смѣлости мысли въ гр. Толстомъ; таковы его десница и шуйца, два сидящихъ въ немъ разныхъ человѣка. Но такъ какъ эти разные люди заключены въ одну оболочку и переплетены между собою множествомъ тонкихъ, чувствительныхъ нитей, то въ душѣ гр. Толстого должна была происходить страшная драма. Быть можетъ, она именно была причиной того мрачнаго настроенія, доходившаго до помысловъ о самоубійствѣ, о которомъ вскользь вспоминаетъ графъ въ „Исповѣди". Въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ его только какъ писателя. Художникъ онъ первоклассный, міровой, притомъ, матеріально вполнѣ обезпеченный, а потому творитъ исключительно по внутреннему побужденію, когда не можетъ не творить, и именно того, что неотвязно рисуется передъ его воображеніемъ. И этотъ великій и свободный художникъ, вынашивая Анну Каренину и предавая ее тисненію, отравленъ ядовитою мыслью, что это только одинъ изъ видовъ „искусной эксплуатаціи народа"; а онъ любитъ народъ, и не только не желаетъ его эксплуатировать, но признаетъ свой долгъ ему. Вмѣстѣ съ тѣмъ, авторъ „Войны и мира" приходитъ къ такому заключенію: „*Страшно сказать*, я пришелъ къ убѣжденію, что все, что̀ мы сдѣлали по музыкѣ и поэзіи, все сдѣлано по ложному, исключительному пути, не имѣющему значенія, не имѣющему будущности и ничтожному въ сравненіи съ требованіями и даже произведеніями тѣхъ искусствъ, образчики которыхъ мы находимъ въ народѣ"...

Въ подробности входить теперь не буду. Но и сказаннаго довольно, чтобы читатель понялъ тотъ глубокій интересъ, съ которымъ я присматривался къ проявленіямъ драмы, совершавшейся въ гр. Толстомъ. Эти колебанія, эти противорѣчія сами по себѣ, конечно, нежелательны, потому что и самому графу должны были дорого стоить, и читателей сбивали съ толку. Но въ нихъ отражалось біеніе пульса такой искренней и сильной жизни, что они вызвали невольную симпатію. Поэтому, независимо даже отъ той, весьма значительной доли истины, которая заключается въ педагогическихъ статьяхъ гр. Толстого, я съ глубочайшимъ по-

Digitized by Google

чтеніемъ относился къ этой удрученной противорѣчіями, но искренно и смѣло ищущей свѣта личности. Мнѣ особенно пріятно вспомнить это теперь, когда необузданно-благонамѣренные публицисты дошли до открытыхъ доносовъ на гр. Толстого и до наименованія его прямо таки „антихристомъ“... О! эти столь-же ничтожные, сколько и злобные анонимы и псевдонимы непремѣнно хотятъ попасть на страницы исторіи. И попадутъ... Къ счастію, въ настоящемъ-то они уже черезъ край хватаютъ, и мы можемъ продолжать разговоръ о гр. Толстомъ, какъ будто и не было этихъ людей и какъ будто ихъ глупыя и злобныя слова никогда не позорили печатнаго станка. Пусть тамъ исторія отмѣчаетъ ихъ, какъ знаетъ, по заслугамъ ихъ, а мы, по крайней мѣрѣ, въ данномъ случаѣ, по отношенію къ гр. Толстому, можемъ, кажется, спокойно презирать этотъ кимвалъ бряцающій.

Въ 1881 г. гр. Толстой сдѣлалъ новую честь „Отечественнымъ Запискамъ“, еще разъ предложивъ свое сотрудничество. У меня нѣтъ письма графа, въ которомъ онъ дѣлалъ намъ это лестное предложеніе; но вотъ что, въ своемъ обыкновенномъ, шутливо-ворчливомъ тонѣ писалъ по этому поводу Салтыковъ Елисееву, бывшему тогда за границей: „Я получилъ отъ Льва Толстого диковинное письмо. Пишетъ, что онъ до сихъ поръ пренебрегалъ чтеніемъ русской литературы, и вдругъ, дескать, открылъ цѣлую *новую* литературу, превосходную и искреннюю— въ „Отечественныхъ Запискахъ“! И это такъ его поразило, что онъ отнынѣ намѣренъ писать и печатать въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Я, разумѣется, отвѣтилъ, что очень счастливъ, и журналъ счастливъ, и сотрудники счастливы, что будемъ ждать съ нетерпѣніемъ, а условія предоставляемъ опредѣлить ему самому. Но покуда еще отвѣта отъ него нѣтъ“. Сколько я помню, отвѣта такъ и не послѣдовало. Въ 1882 г. мнѣ нужно было быть въ Москвѣ, и Салтыковъ просилъ меня заѣхать къ гр. Толстому и напомнить ему его собственное предложеніе. Тогда въ петербургскихъ литературныхъ кружкахъ ходили слухи о какой-то повѣсти, которую гр. Толстой уже написалъ или пишетъ. Это былъ, вѣроятно, „Холстомѣръ“, а, можетъ быть, „Смерть Ивана Ильича“. Я былъ очень радъ случаю явиться къ гр. Толстому съ дѣломъ, а не просто съ желаніемъ познакомиться.

Графъ жилъ тогда еще не въ собственномъ домѣ въ Хамов-

Digitized by Google

никахъ, а гдѣ-то на Арбатѣ, равнымъ образомъ и сапоговъ еще не шилъ, и „Исповѣди“ не писалъ. Это не мѣшало ему производить впечатлѣніе простого, искренняго человѣка, несмотря на свѣтскій лоскъ. Какъ ни страннымъ можетъ показаться это последнее выраженіе по отношенію къ гр. Толстому, но оно вполнѣ умѣстно. Настоящая свѣтскость состоитъ, вѣдь, не въ перчаткахъ и не во французскомъ языкѣ. Свѣтскій человѣкъ сказался, прежде всего, въ томъ непринужденномъ и увѣренномъ спокойствіи, съ которымъ графъ отклонилъ дѣловую часть нашего разговора. Когда я ему сказалъ, что такъ, молъ, и такъ, слышали мы, что вы повѣсть написали или пишете, такъ не дадите ли ее намъ,—онъ отвѣтилъ: „О, нѣтъ! у меня ничего нѣтъ, это просто Н. Н. Страховъ нашелъ въ моихъ старыхъ бумагахъ разсказъ и заставилъ его отдѣлать и кончить,—ему уже дано назначеніе“. И затѣмъ графъ легко и свободно перешелъ къ разговору объ „Отечественныхъ Запискахъ“, сказалъ много пріятныхъ для насъ вещей, ни однимъ словомъ, однако, не упоминая о своемъ предложеніи и тѣмъ какъ бы приглашая и меня не говорить о немъ. Я, разумѣется, послѣдовалъ этому невыраженному приглашенію. Такъ для меня и до сихъ поръ остаются невыясненными какъ мотивы вышеупомянутаго письма гр. Толстого къ Салтыкову, такъ и мотивы его уклоненія отъ исполненія собственнаго обѣщанія или предложенія. Повидимому, и то, и другое сдѣлалось просто *вдругъ*, какъ многое у гр. Толстого. Въ этотъ разъ мы бесѣдовали съ графомъ о литературѣ и о кое-какихъ житейскихъ дѣлахъ, между прочимъ, объ одномъ приватномъ, но имѣвшемъ общественное значеніе, въ высокой степени симпатичномъ поступкѣ графа въ тотъ страшный 1881 г. Я былъ радъ выслушать разсказъ объ этомъ дѣлѣ отъ самого графа и еще болѣе радъ былъ тому, что разсказъ этотъ, своею простотою и задушевностью, вполнѣ соотвѣтствовалъ тому представленію о гр. Толстомъ, которое я себѣ заочно составилъ.

Тогда мнѣ довольно часто случалось бывать въ Москвѣ, и я всякій разъ доставлялъ себѣ удовольствіе заѣзжать къ гр. Толстому. Это былъ одинъ изъ пріятнѣйшихъ собесѣдниковъ, какихъ я когда-либо встрѣчалъ. Намъ случалось много и горячо спорить, и какъ теперь слышу голосъ графа: „Ну, мы начинаемъ горячиться, это нехорошо, давайте выкуримъ по папиросѣ, отдохнемъ“. Мы закуривали папиросы, и это, конечно, не прекра-

Digitized by Google

щало спора, но, дѣйствительно, самымъ фактомъ пріостановки на нѣсколько секундъ придавало ему спокойный характеръ. Читатель видитъ, какъ все это давно было. Теперь гр. Толстой не только бросилъ курить, но и разъяснилъ своимъ многочисленнымъ читателямъ, зачѣмъ и почему онъ когда-то курилъ. Если руководствоваться теперешними взглядами графа, то онъ предлагалъ мнѣ (и, конечно, многимъ другимъ) закурить папиросы среди спора потому, что „живой критикъ внутри его, не отуманенный табачнымъ дымомъ", упрекалъ его въ нелогичности, нестоятельности аргументаціи; а заглушивъ „совѣсть" табакомъ, графъ могъ уже „относиться слегка къ возраженіямъ". Это было бы косвеннымъ доказательствомъ моей правоты въ спорѣ, но, увы! я охотно слѣдовалъ приглашенію графа, и, значитъ, тоже дурманилъ свою совѣсть. Во всякомъ случаѣ, у меня осталось чрезвычайно пріятное воспоминаніе объ этихъ якобы антрактахъ спора, и если не курить безспорно лучше, чѣмъ курить, то, по крайней мѣрѣ, курящимъ я смѣло рекомендую старый, но, кажется, не опубликованный еще рецептъ гр. Толстого, на случай слишкомъ горячихъ споровъ.

Однажды я обѣдалъ у графа, и послѣ обѣда мы пошли наверхъ, въ небольшую, просто убранную или, вѣрнѣе, всякаго убранства лишенную собственную комнату графа (это было уже въ его домѣ въ Хамовникахъ). Мы пили чай и бесѣдовали. Явился лакей и доложилъ, что пришелъ какой-то Тимоѳей или Матвѣй,— не помню имени. Графъ велѣлъ сказать этому Тимоѳею, что сегодня, ради пріѣзжаго гостя, онъ заниматься не будетъ. На мое замѣчаніе, что я не хочу мѣшать, графъ отвѣтилъ, что этотъ Тимоѳей обучаетъ его сапожному мастерству, что никакой бѣды отъ пропуска одного урока не будетъ, и просилъ меня остаться. Я уже раньше слышалъ, что гр. Толстой учится шить сапоги, и нисколько не былъ удивленъ этимъ. Мнѣ случалось знавать людей своего круга, которые, ради здоровья или въ виду возможныхъ черныхъ дней, занимались какимъ-нибудь мастерствомъ. Такъ, Шелгуновъ, напримѣръ, былъ очень недурнымъ столяромъ. Не остановила на себѣ моего вниманія и блуза гр. Толстого, — я и самъ такія нашивалъ и на многихъ другихъ видывалъ. Съ моей точки зрѣнія все это было настолько обыкновенно, что доходившіе до меня слухи о какой то эксцентричности, въ которую начинаетъ впадать графъ, я просто мимо ушей пропускалъ. Что же въ самомъ дѣлѣ особеннаго въ томъ, что человѣкъ захотѣлъ

Digitized by Google

выучиться сапожному мастерству и находитъ рабочую блузу, подпоясанную ремнемъ, костюмомъ болѣе удобнымъ, чѣмъ пиджакъ или сюртукъ? И хвалить тутъ не за что, и укорять не въ чемъ. да просто дѣло разговора не стоющее; эти маленькія черточки сами по себѣ даже вовсе не подчеркивали извѣстныхъ мнѣ демократическихъ идей гр. Толстого; не станетъ же серьезный человѣкъ собственно изъ демократизма носить блузу,—это была бы слишкомъ дешевая вывѣска. Въ числѣ близкихъ мнѣ людей былъ такой, напримѣръ, прирожденный и безповоротно убѣжденный демократъ, какъ Елисеевъ, который, однако, ни блузы, ни рубахи на выпускъ не носилъ. Ну, а гр. Толстой носитъ и сапоги шьетъ. Его дѣло. Однако, мало-по-малу я убѣдился, что если эти маленькія черточки и не знаменуютъ чего-нибудь особеннаго, какого-нибудь серьезнаго и глубокаго поворота въ гр. Толстомъ, то, во всякомъ случаѣ, съ нимъ совпадаютъ. Не помню уже, въ какомъ хронологическомъ порядкѣ шли разныя газетныя свѣдѣнія о графѣ, его „Исповѣдь", его торжественный, нѣсколько театральный отказъ отъ обязанности присяжнаго засѣдателя, нѣкоторыя статьи его и мои собственныя наблюденія. Знаю только, что я постепенно пересталъ понимать гр. Толстого, и необыкновенно привлекательный образъ человѣка, разрываемаго внутреннимъ противорѣчіемъ, но искренно и смѣло ищущаго свѣта, поблекъ.

По понятнымъ причинамъ я не стану приводить всѣхъ „ума холодныхъ наблюденій и сердца горестныхъ замѣтъ" личнаго характера, которые заслонили для меня стараго, любимаго гр. Толстого. Припомню лишь одинъ вечеръ, проведенный у графа. Кромѣ меня, у него былъ еще молодой человѣкъ (назову его Z), котораго я видѣлъ въ первый разъ, но который явственно состоялъ къ графу въ отношеніяхъ ученика къ учителю. Разговоръ зашелъ о непротивленіи злу; гр. Толстой и Z высказывали надежды, въ ближайшемъ будущемъ достижимыя приложеніемъ этой теоріи къ практикѣ, — надежды, показавшіяся мнѣ, признаюсь, просто ребяческими. Предлагался именно до поразительности простой рецептъ для прекращенія войнъ, а надежды возлагались на тотъ принципъ, по которому будто-бы и Москва отъ копѣечной свѣчки загорѣлась. Но дебатировались и основанія теоріи.

— Простите, Левъ Николаевичъ, — сказалъ я, между прочимъ,—если я задамъ вамъ вопросъ самый элементарный и для

Digitized by Google

васъ настолько ясный, что даже и отвѣчать смѣшно, но мнѣ, несвѣдущему, нельзя его обойти. Представьте себѣ, что я вижу, какъ большой, сильный человѣкъ бьетъ ребенка; какъ я долженъ поступить?

— Вы должны убѣдить его, что онъ дурно дѣлаетъ.

— Да; но если я истощилъ, наконецъ, всѣ средства убѣжденія, могу я взять драчуна за шиворотъ и оттащить его?

Графъ снисходительно улыбнулся.

— Конечно, нѣтъ,—сказалъ онъ.—Когда тотъ человѣкъ билъ ребенка, онъ дѣлалъ зло, а когда вы его самого прибьете, вы сдѣлаете второе зло. Это ариѳметика!

— Не ариѳметика, а удовлетвореніе нравственнаго чувства, да и драчунъ въ другой разъ поостережется.

Графъ возражалъ въ томъ смыслѣ, что все то огромное и широко развѣтвленное зло насилія, среди котораго мы живемъ, началось именно съ попытки якобы защищать слабаго,—попытки, въ сущности, лицемѣрной и имѣвшей въ виду совсѣмъ другія цѣли. Доводы графа были остроумны и оригинальны, но мнѣ казалось, что они отклоняютъ насъ отъ поставленнаго, дѣйствительно, можетъ быть, слишкомъ элементарнаго, но неизбѣжнаго вопроса. Я долженъ былъ согласиться, что, подъ предлогомъ защиты слабаго, насиліе принимаетъ иногда отвержденную форму, но, тѣмъ не менѣе, зло со зла и началось, то есть съ обиды слабаго сильнымъ. Вмѣшался Z съ аргументомъ, настолько неожиданнымъ и оригинальнымъ, что я его запишу, хотя гр. Толстой, конечно, не отвѣтственъ за аргументацію своихъ учениковъ.

— Допускаете ли вы,—обратился ко мнѣ Z, — что въ женщинахъ, вообще говоря, больше, чѣмъ въ насъ, мужчинахъ, сохранилось чувство справедливости?

— Нѣтъ, не допускаю, и не знаю, чѣмъ бы вы могли это доказать.

— Мы, мужчины, изъ поколѣнія въ поколѣніе воюемъ, разными гешефтами занимаемся, кутимъ, развратничаемъ, а женщины стоятъ въ сторонѣ отъ всего этого...

— Я думаю, что косвеннымъ образомъ, а иногда и прямымъ, женщины принимаютъ во всемъ этомъ большое участіе, а если разсуждать по вашему, такъ, вѣдь, онѣ, въ такомъ случаѣ, не принимаютъ участія и въ тѣхъ добрыхъ дѣлахъ, которыя муж-

Digitized by Google

чины иногда, все-таки, совершаютъ. Женщины вообще въ сторонѣ отъ общественной жизни стоятъ, и многія изъ нихъ, какъ вамъ извѣстно, тяготятся этимъ. Но все равно, допустимъ, что вы правы; что вы этимъ хотите сказать?

— А вотъ что. Представьте себѣ, что двое мужчинъ, положимъ, мы съ вами, добиваемся благосклонности одной и той же женщины, а она колеблется въ выборѣ между нами. Я держусь въ жизни теоріи непротивленія злу, а вы — обыкновеннаго мірского ученія. Между нами естественно происходятъ недоразумѣнія, непріятности, споры, и вы, наконецъ, наносите мнѣ въ присутствіи этой любимой женщины оскорбленіе, то, что считается у насъ величайшимъ оскорбленіемъ,—пощечину, а я молча переношу это и удаляюсь. Какъ вы думаете, на чьей сторонѣ будетъ женщина? Кому изъ насъ отдастъ предпочтеніе?

Я не могъ не засмѣяться отъ неожиданности этого вопроса и сказалъ, что затрудняюсь отвѣтить: вообще-то говоря, думаю, что на моей, но тутъ можетъ быть столько осложненій... Здѣсь вмѣшался гр. Толстой, которому, видимо, была не по нутру странная иллюстрація ученика, и направилъ разговоръ въ другую сторону.

Z скоро ушелъ, а мы продолжали бесѣдовать о непротивленіи злу. Гр. Толстой кончилъ разговоръ слѣдующимъ разсказомъ: „Знаете что,—сказалъ онъ, добродушно улыбаясь,—мы вотъ споримъ, споримъ, а въ жизни-то все иногда само собою очень просто разрѣшается. Шелъ я какъ-то по улицѣ и вижу—ѣдетъ мужикъ въ розвальняхъ, а сзади мальчишка хотѣлъ вскочить въ розвальни, да и застрялъ одною ногой въ веревочномъ переплетѣ: мальчишка скачетъ на одной ногѣ, поспѣвая за лошадью, а мужикъ его возжами хлещетъ. Пока я, знаете, раздумывалъ, что мнѣ дѣлать, а мальчишка-то высвободилъ ногу и убѣжалъ. Тѣмъ и дѣло кончилось".

Тѣмъ и разговоръ нашъ кончился. Я узналъ ту давно уже знакомую мнѣ, но непомѣрно разросшуюся шуйцу гр. Толстого, которая робко отказывается отъ вмѣшательства въ ходъ вещей, полагая, что онъ самъ собой, помимо насъ, приведетъ все къ наилучшему концу. Но дѣло здѣсь не въ одной робости, оправдываемой опасеніемъ, какъ бы еще не напортить дѣла своимъ вмѣшательствомъ, а и въ нѣкоторой безучастности. Я понимаю, что можно растеряться при видѣ сцены, разсказанной графомъ,

Digitized by Google

не сразу найтись и невольно дождаться, чтобы дѣло само собой кончилось. Но совсѣмъ другое дѣло успокоиться на этомъ теоретически и придать этому случаю какъ бы руководящее значеніе.

Я не буду припоминать разнообразныя художественныя (сказки) и теоретическія произведенія гр. Толстого, въ которыхъ явственно сквозитъ эта граничащая съ безучастностью робость, изрѣдка, впрочемъ, перемежающаяся приливомъ энергіи, смѣлости мысли и настоящей, а не словесной только любви къ ближнему. Я лучше остановлюсь на томъ, чего прежде не замѣчалъ, да отчасти и знать не могъ.

Ни для кого не новость, что, даже помимо писемъ гр. Толстого, опубликованныхъ г. Фетомъ, въ самыхъ сочиненіяхъ его можно найти цѣлую коллекцію рѣзко противорѣчивыхъ взглядовъ на вещи и идеи. Приглядываясь ко всей ихъ совокупности, я уже не могу свести ихъ, какъ въ старые годы, къ той внутренней борьбѣ между десницей и шуйцей, о которой шла сейчасъ рѣчь. Да и вообще нельзя свести къ одному знаменателю эти, собственно говоря, даже не противорѣчія, а постоянныя самоотрицанія. При такой скачкообразной выработкѣ идей не было бы ничего удивительнаго въ томъ, что гр. Толстому приходится часто каяться въ прошлыхъ заблужденіяхъ или вообще въ отклоненіяхъ отъ истиннаго пути. Но въ этихъ покаяніяхъ много странностей. Такъ, напримѣръ, въ статьѣ „Такъ что же намъ дѣлать“, относящейся къ 1884—85 годамъ, графъ говоритъ: „Я понялъ, что человѣкъ, кромѣ жизни для своего личнаго блага, неизбѣжно долженъ служить и благу другихъ людей... что человѣкъ, не говоря уже о вложенной въ него любви къ ближнему, и разумомъ, и самою природою своей призванъ къ служенію другимъ людямъ и общей человѣческой цѣли. Я понялъ, что это естественный законъ человѣка, тотъ, при которомъ только онъ можетъ исполнить свое назначеніе и быть счастливъ. Я понялъ, что законъ этотъ нарушался и нарушается тѣмъ, что люди освобождаютъ себя отъ труда и пользуются трудомъ другихъ, направляя этотъ трудъ не къ общей цѣли, а къ личному удовлетворенію разростающихся похотей“. Всѣ эти „я понялъ“ относятся къ моменту, тогда, въ 1884 г., только что пережитому гр. Толстымъ (послѣ московской переписи). Между тѣмъ, онъ все это понималъ (и даже называлъ „азбукой“) частью уже въ „Казакахъ“, то-есть за тридцать лѣтъ до московской переписи

Digitized by Google

1882—83 г., частью въ тѣ болѣе позднія, но, все-таки, отдаленныя времена, когда жилъ въ деревнѣ, училъ крестьянскихъ ребятъ и писалъ свои педагогическія статьи. Зачѣмъ же онъ самъ у себя отнимаетъ три десятка лѣтъ сознанія великой истины?

Можетъ быть, этими „я понялъ", „я не понималъ", „если-бы я не былъ гордъ своимъ знаніемъ" или „своею добродѣтелью" и т. п. гр. Толстой хочетъ сказать, что онъ теперь не просто усвоилъ себѣ извѣстныя нравственныя истины, какъ отвлеченную правду, но проникся ею до необходимости практическаго осуществленія. Онъ, дескать, напримѣръ, и прежде теоретически понималъ обязательность служенія другимъ людямъ и общей человѣческой цѣли, но на практикѣ постоянно отходилъ отъ этого пути, а теперь утвердился на немъ. Онъ и прежде понималъ значеніе физическаго труда и даже, будучи еще совсѣмъ молодымъ человѣкомъ, „юфанствовалъ", но тогда это былъ дилетантизмъ, перемежаемый разными другими занятіями, а теперь онъ уже серьезно и настояще землю пашетъ. Я не думаю, чтобы всѣ самообвиненія гр. Толстого покрывались этимъ объясненіемъ, но возьмемъ его, за неимѣніемъ другихъ. Да оно и въ самомъ дѣлѣ въ значительной степени вѣрно. Гр. Толстой и до сихъ поръ рѣзко мѣняетъ свои рѣшенія по нѣкоторымъ изъ важнѣйшихъ вопросовъ жизни, какъ, напримѣръ, по вопросу о семьѣ и назначеніи женщины. Но внутренней раздвоенности между десницей и шуйцей теперь, повидимому, уже нѣтъ; графъ идетъ твердою и рѣшительною походкой и отъ другихъ того-же требуетъ. Онъ говоритъ: „Меня всегда удивляютъ часто повторяемыя слова: да, это такъ по теоріи, но на практикѣ-то какъ? Точно какъ будто теорія—это какія-то хорошія слова, нужныя для разговора, но не для того, чтобы вся практика, то-есть вся дѣятельность, неизбѣжно основывалась на ней. Должно быть, было на свѣтѣ много глупыхъ теорій, если вошло въ употребленіе такое удивительное разсужденіе. Теорія, вѣдь, это то, что человѣкъ думаетъ о предметѣ, а практика это то, что дѣлаетъ. Какъ же можетъ быть, чтобы человѣкъ думалъ, что надо дѣлать такъ, а дѣлалъ бы навыворотъ?" (XII, 344).

Увы! это бываетъ, однако. И причинъ этому надо искать, кажется, не въ существованіи „глупыхъ теорій", хотя ихъ, дѣйствительно, много гуляетъ по бѣлому свѣту. Причины—въ слабости человѣка и въ трудности житейскихъ обстоятельствъ. Въ

Digitized by Google

семидесятыхъ годахъ, по собственной теоріи гр. Толстого, которую онъ, конечно, не можетъ считать глупою, онъ не долженъ былъ писать „Анну Каренину“, и, однако, онъ написалъ. И даже слабость, вслѣдствіе которой происходитъ отступленіе практики отъ теоріи, не всегда ужъ заслуживаетъ рѣзкаго порицанія. Или, по крайней мѣрѣ, едва-ли много найдется между нами людей, которые имѣли бы право швырять во всѣ стороны камни осужденія собственно за неполное согласованіе практики съ теоріей. Гр. Толстой слишкомъ ужъ строгъ въ этомъ отношеніи. Ему, наприм., „очень удивительно то оправданіе, которое часто слышишь отъ родителей: „мнѣ ничего не нужно,—говоритъ родитель,—мнѣ жизнь эта тяжела, но, любя дѣтей, я дѣлаю это для нихъ“. То-есть я несомнѣнно, опытомъ знаю, что наша жизнь несчастлива, и потому... я воспитываю дѣтей такъ, чтобъ они были такъ же несчастливы, какъ и я. И для этого я, по своей любви къ нимъ, привожу ихъ въ городъ, полный физическихъ и нравственныхъ заразъ, отдаю ихъ въ руки чужихъ людей, имѣющихъ въ воспитаніи одну корыстную цѣль, и физически, и умственно, и нравственно старательно порчу своихъ дѣтей“. И это-то разсужденіе должно служить оправданіемъ неразумной жизни самихъ родителей“ (XII, 327).

Гр. Толстой не признаетъ этого оправданія, — ни семейныя, никакія другія соображенія не должны становиться между нашею теоріей и нашею практикой; никакого снисхожденія къ слабости, никакого вниманія къ сложной житейской обстановкѣ. Это строго. Конечно, не мало есть людей, не по совѣсти ссылающихся на жену или дѣтей, ради которыхъ они будто только и не соглашаютъ свою практику съ своею теоріей, и именно даже въ тѣхъ выраженіяхъ, которыя приводитъ графъ: „самому мнѣ ничего не нужно, а это жена, дѣти“. Но, вѣдь есть же и правдивые люди. Притомъ же, приведенное разсужденіе относится только къ тѣмъ, кто можетъ „привозить дѣтей въ городъ“, а, вѣдь, есть и такіе, для которыхъ выбора нѣтъ, которымъ не на что привозить дѣтей въ городъ, а просто податься изъ города некуда. Они могутъ отлично понимать разсказы гр. Толстого о прелестяхъ деревенскаго воздуха, о здоровомъ трудѣ въ лѣсу и въ полѣ, но это для нихъ теорія, а практика приковываетъ ихъ къ душному смрадному городу, и ихъ, и дѣтей ихъ. И у меня не хватило бы мужества осудить ихъ за этотъ разладъ между теоріей и практикой.

Digitized by Google

Мало того, легко представить себѣ обстоятельства, при которыхъ такой разладъ нравственно обязателенъ.

Если откинуть въ полемикѣ г. Мечникова съ гр. Толстымъ нѣкоторыя, въ сущности, второстепенныя подробности, то можно бы было подумать, что мы присутствуемъ при спорѣ двухъ гигіенистовъ. Гр. Толстой развиваетъ свою извѣстную теорію четырехъ „упряжекъ“ или „запряжекъ“, то-есть раздѣленія дня на четыре рода занятій, требуемыхъ, по мнѣнію гр. Толстого, для здоровья и успѣшной дѣятельности. Г. Мечниковъ доказываетъ, что такое дѣленіе, въ тѣхъ же видахъ здоровья и успѣшной дѣятельности, совсѣмъ не нужно. Гр. Толстой иллюстрируетъ свои положенія, между прочимъ, такимъ примѣромъ: членъ одной знакомый ему общины, стоявшій выше другихъ по образованію, читалъ своимъ товарищамъ по вечерамъ лекціи и долженъ былъ днемъ къ нимъ готовиться въ то время, какъ товарищи работали въ полѣ. „Онъ дѣлалъ это съ радостью,—разсказываетъ гр. Толстой,—чувствуя, что онъ полезенъ для другихъ и дѣлаетъ дѣло хорошее. Но онъ усталъ отъ исключительно умственной работы и здоровье его стало хуже. Члены общины пожалѣли его и попросили идти работать въ поле“. Но и у г. Мечникова есть въ запасѣ примѣръ совершенно противоположнаго свойства. Онъ зналъ одного молодого русскаго ученаго, который еще въ шестидесятыхъ годахъ,—значитъ, задолго до проповѣди гр. Толстого, — устроилъ свою жизнь если не по „упряжкамъ“, то, все-таки, съ соединеніемъ умственнаго и физическаго труда. Послѣдствія оказались очень печальными: „Несмотря на то, что уже вскорѣ стали сказываться очень чувствительныя неудобства отъ такого „соединенія труда“, тѣмъ не менѣе, молодой естествоиспытатель оставался вѣрнымъ принципу и крѣпился, сколько былъ силъ. Но однажды, глубокою осенью, онъ серьезно захворалъ и, находясь въ безпомощномъ состояніи, былъ перевезенъ друзьями въ ихъ квартиру и принятъ на ихъ доброе попеченіе. Съ тѣхъ поръ онъ уже не возвращался къ „естественному“ и „гармоническому“ образу жизни“.

Мнѣ думается, что, независимо отъ подробностей, конечно, спорныхъ, гр. Толстой, какъ гигіенистъ, ближе къ правдѣ, чѣмъ г. Мечниковъ. Но кому бы изъ нихъ мы ни предоставили пальму

Digitized by Google

первенства, оба они, во всякомъ случаѣ, являются передъ нами въ роли гигіенистовъ, тогда какъ мы ожидали разговора на нравственно-политическія темы. Правда, г. Мечниковъ, какъ мы видѣли, говоритъ и объ общественныхъ идеалахъ. Но мы видѣли также, что на этомъ пунктѣ между нимъ и гр. Толстымъ, въ концѣ-концовъ, разногласія нѣтъ,—оба сошлись на пчелиномъ роѣ, какъ на идеалѣ общественныхъ отношеній. Полемизируютъ же они по вопросамъ гигіеническимъ. Правда, полемизируетъ собственно только г. Мечниковъ, потому что мы не знаемъ возраженій гр. Толстого. Но мы имѣемъ, все-таки, его подлинныя слова и видимъ, что значительная часть его нравственнаго ученія дѣйствительно сводится къ гигіенѣ или макробіотикѣ, артабіотикѣ и т. п. Поэтому-то г. Мечниковъ и счелъ себя вправѣ указать на островныхъ жуковъ, которыхъ употребленіе крыльевъ ведетъ къ гибели, а неупотребленіе—къ благополучному и продолжительному житію. Ясно, однако, что такая точка зрѣнія, можетъ быть, вполнѣ пригодная для установленія правилъ „раціональнаго“ поведенія, даже не затрогиваетъ правилъ поведенія „нравственнаго“. Нечего и говорить о г. Мечниковѣ. Самый выборъ судьбы островныхъ жуковъ, какъ иллюстраціи, и въ особенности освѣщеніе, даваемое почтеннымъ ученымъ этой иллюстраціи, уже свидѣтельствуютъ о томъ, что онъ находится за тридевять земель отъ вопросовъ морали: жуки руководятся въ своихъ полетахъ не нравственными мотивами или, по крайней мѣрѣ, мы этихъ мотивовъ не знаемъ. А если бы они таковыми руководствовались, то смѣлость летающихъ жуковъ, безусловно неодобрительная съ точки зрѣнія макробіотики, еще подлежала бы переоцѣнкѣ съ точки зрѣнія морали, въ зависимости отъ тѣхъ идеаловъ и принциповъ, во имя которыхъ ими совершались рискованные полеты. Но обратимся къ примѣру гр. Толстого, къ тому молодому человѣку, который, заболѣвъ отъ исключительно умственной работы, перешелъ на полевую работу. Послѣ этого, судя по разсказу гр. Толстого, молодой человѣкъ поправился. Это, конечно, прекрасно, и дай ему Богъ добраго здоровья и напредки. Но, во-первыхъ, доктора, хотя и „мерзавцы“, но, все-таки, больше насъ въ этомъ дѣлѣ свѣдущіе, можетъ быть, отправили бы его не на полевую работу, а куда-нибудь на воды или въ теплый климатъ, предписали бы ему полное спокойствіе и т. п., и не видно, почему молодой человѣкъ долженъ бы былъ отвергнуть эти со-

Digitized by Google

вѣты,—дѣло, вѣдь, идетъ о здоровьѣ. А затѣмъ надо взять данный случай во всей его возможной сложности. Гр. Толстой разсказываетъ, что молодой человѣкъ былъ лекціями „полезенъ другимъ и дѣлалъ хорошее дѣло“. Подчеркнемъ же эти слова и представимъ себѣ, что лекторъ былъ незамѣнимъ, а лекціи были безусловно необходимы. Имѣлъ ли бы этотъ человѣкъ нравственное право отказаться отъ лекцій единственно на томъ основаніи, что „здоровье его стало хуже“? Неужели забота о своемъ здоровьѣ есть дѣло столь священное, что какъ только „здоровье стало хуже“, такъ и надо бросать „полезное и хорошее дѣло“? Я полагаю, что это чисто-барская точка зрѣнія, отвергающая обязанности, признающая лишь права и только прикрытая демократическою блузой или рубахой человѣка, работающаго „въ полѣ“. Молодой человѣкъ возстановилъ свое здоровье за сохой, плугомъ, косой, топоромъ. Но другой на его мѣстѣ получилъ бы, можетъ быть, облегченіе въ какой-нибудь прекрасной дали, среди „роскоши, прохладъ и нѣги“, и въ предѣлахъ спора г. Мечникова съ гр. Толстымъ нѣтъ мотива, который не дозволялъ бы ему бѣжать отъ обязанностей лектора въ Каиръ, какъ онъ бѣжалъ отъ нихъ, ради своего здоровья, на полевыя работы.

Но, скажутъ мнѣ, въ томъ-то и дѣло, что предѣлы спора, намѣченные г. Мечниковымъ, не исчерпываютъ всего круга мыслей гр. Толстого. Это совершенно вѣрно. Если, однако, г. Мечниковъ неправильно выдѣлилъ извѣстную часть практической философіи гр. Толстого и на ней сосредоточилъ свое вниманіе, презрѣвъ все остальное, то въ этомъ въ значительной степени повинна позиція, занятая самимъ графомъ. Г. Мечниковъ, въ качествѣ естествоиспытателя, остановился исключительно на томъ, что́ онъ не безъ основанія называетъ „естественно-историческимъ принципомъ“ гр. Толстого. Къ нему графъ часто присоединяетъ авторитетъ Ветхаго и Новаго Завѣта, и натурально, что почтенный ученый уклонился отъ всей той части ученія графа, которая опирается на эти авторитеты,—объ этомъ пусть судятъ люди свѣдущіе, болѣе убѣжденные. Такое строгое опредѣленіе границъ спора было бы очень полезно, если бы г. Мечниковъ дѣйствительно опредѣлилъ ихъ, а затѣмъ указалъ бы, какіе именно отдѣлы практической философіи гр. Толстой отводитъ въ вѣдѣніе „естественно-историческаго принципа“ и какіе въ вѣдѣніе авторитетовъ божественныхъ. Г. Мечниковъ этого, къ сожалѣнію, не сдѣлалъ.

Digitized by Google

Въ той самой статьѣ гр. Толстого, изъ которой г. Мечниковъ привелъ примѣръ человѣка, промѣнявшаго, въ видахъ здоровья, умственный трудъ на полевыя работы, есть слѣдующія строки: „Дѣятельность научная и художественная въ ея настоящемъ смыслѣ только тогда плодотворна, когда она не знаетъ правъ, а знаетъ однѣ обязанности. Только потому, что она всегда такова, что ея свойство быть таковою, и цѣнитъ человѣчество такъ высоко эту дѣятельность. Если люди дѣйствительно призваны къ служенію другимъ духовною работой, то они въ этой работѣ будутъ видѣть только обязанность и съ трудомъ, лишеніями и самоотверженіемъ будутъ исполнять ее“. Или: „Спеціальное занятіе (передъ тѣмъ перечислялись спеціальныя занятія сапожника, машиниста, писателя, музыканта) не есть преимущество, а есть жертва, которую приноситъ человѣкъ своему влеченію и своимъ братьямъ“. Съ этой точки зрѣнія, поведеніе человѣка, бѣжавшаго отъ обязанностей лектора на полевыя работы, освѣщается уже нѣсколько иначе. Вопросъ о томъ, поступилъ ли онъ „раціонально“, отступаетъ на второй планъ; онъ, пожалуй, и по гр. Толстому долженъ бы былъ не торопиться на полевыя работы, а оставаться на своемъ посту лектора, хотя бы и въ ущербъ своему здоровью. Всѣ подобные штрихи въ писаніяхъ гр. Толстого г. Мечниковъ оставилъ безъ вниманія, оттого-то и получается странное впечатлѣніе спора двухъ гигіенистовъ, тогда какъ предполагается обсужденіе нравственно-политической темы. Нѣтъ и не можетъ быть нравственно-политическаго ученія, которое не налагало бы на человѣка обязанности, не обязывало бы при случаѣ приносить извѣстныя жертвы. Нельзя сказать, чтобы эта часть практической философіи гр. Толстого была построена исключительно на авторитетѣ Св. Писанія; но можно утверждать, что ей придаетъ ясность только этотъ авторитетъ. Внѣ его лучей разсужденія гр. Толстого о жертвахъ и обязанностяхъ чрезвычайно скудны и въ особенности смутны. Взять хотя бы только что приведенное. Художественная и научная дѣятельность „не знаетъ правъ, а однѣ обязанности“, и „она всегда такова, ея свойство быть таковою“. Спрашивается, о чемъ же и толковать, если она въ самомъ дѣлѣ „всегда такова“? Далѣе, понятна жертва, приносимая „своимъ братьямъ“, но что такое „жертва, которую человѣкъ приноситъ своему влеченію“? Если меня влечетъ къ музыкѣ и я ею именно, а не чѣмъ-нибудь

Digitized by Google

другимъ занимаюсь, то какая же тутъ жертва? Эта смутность мысли вовсе не составляетъ всегдашней принадлежности гр. Толстого. Она совершенно исчезаетъ, когда онъ вступаетъ въ область разсужденій о личномъ благополучіи. Вы можете соглашаться или не соглашаться, напримѣръ, съ его теоріей четырехъ „упряжекъ", долженствующихъ дать вамъ спокойствіе, здоровье, силу, но все здѣсь ясно, все точно на графленой бумагѣ написано или по рубрикамъ бухгалтерской книги разнесено. Въ другомъ мѣстѣ графъ перечисляетъ условія счастья. Ихъ оказывается пять: 1) „жизнь подъ открытомъ небомъ, при свѣтѣ солнца, при свѣжемъ воздухѣ, общеніе съ землей, растеніями, животными"; 2) трудъ, „дающій аппетитъ, и крѣпкій успокоивающій сонъ"; 3) семья; 4) „свободное любовное общеніе со всѣми разнообразными людьми міра" и 5) „здоровье и безболѣзненная смерть". Какъ бы мы ни относились къ этимъ пяти рубрикамъ, какъ бы ни смотрѣлъ на нихъ теперь самъ гр. Толстой (семью онъ послѣ „Крейцеровой сонаты" долженъ вычеркнуть изъ числа условій счастья), но опять-таки здѣсь все ясно,—рядъ точныхъ и даже занумерованныхъ опредѣленій.

Многіе моралисты краснорѣчиво зовутъ своихъ адептовъ къ страданію въ борьбѣ со зломъ, яркими красками рисуютъ имъ прелесть жертвы, обѣщая вознаграждающее блаженство или въ загробной жизни, или въ сознаніи исполненнаго долга, или въ торжествѣ правды на землѣ. Общимъ тономъ своей практической философіи гр. Толстой рѣзко отличается отъ этихъ моралистовъ. Онъ зоветъ насъ прямо сейчасъ къ вполнѣ для всѣхъ осязательному земному счастью. Вотъ, напримѣръ, какъ онъ мотивируетъ свою проповѣдь физическаго труда. Онъ спрашиваетъ: „Что же будетъ изъ того, что я буду 10, 8, 5 часовъ работать физическую работу, которую охотно сдѣлаютъ тысячи мужиковъ за тѣ деньги, которыя у меня есть?" И отвѣчаетъ: „Будетъ первое, самое простое и несомнѣнное то, что ты будешь веселѣе, здоровѣе, добрѣе, и узнаешь настоящую жизнь, отъ которой ты прятался самъ или которая была спрятана отъ тебя. Будетъ второе то, что если у тебя есть совѣсть, то не только она не будетъ страдать, какъ она страдаетъ теперь, глядя на трудъ людей, значеніе котораго мы всегда, по незнанію его, преувеличиваемъ или уменьшаемъ, но ты будешь постоянно испытывать радостное сознаніе того, что съ каждымъ днемъ ты все больше и больше

Digitized by Google

удовлетворяешь требованіямъ твоей совѣсти". Какъ видите, никакихъ страданій, никакихъ жертвъ не нужно, напротивъ, сейчасъ обѣщаются веселье, здоровье и вообще полный гигіеническій идеалъ, потому что спокойствіе духа вообще, спокойная совѣсть въ частности въ хорошихъ курсахъ гигіены настоятельно рекомендуются. Не то, чтобы гр. Толстой думалъ только о себѣ или всѣмъ другимъ рекомендовалъ о себѣ думать. Но центръ тяжести его ученія несомнѣнно составляетъ личное благополучіе, понимаемое, конечно, не въ скотскомъ смыслѣ. Онъ еще разъ спрашиваетъ: „Что выйдетъ изъ того, что я и другой, третій десятокъ людей, мы будемъ не брезгать работою физической и будемъ считать ее необходимой для нашего счастья и спокойствія совѣсти? Выйдетъ то, что будетъ одинъ, другой, третій десятокъ людей, которые, не входя въ столкновеніе ни съ кѣмъ, безъ насилія правительственнаго или революціоннаго, *для себя разрѣшатъ страшный вопросъ, стоящій передъ всѣмъ міромъ,* и разрѣшатъ его такъ, что имъ станетъ лучше жить, что ихъ совѣсть станетъ спокойнѣе и что имъ нечего бояться; выйдетъ то, что и другіе люди увидятъ, что благо, котораго они ищутъ вездѣ, тутъ, около нихъ самихъ".

Если читатель хорошенько вдумается въ подчеркнутыя мною слова, то придетъ, можетъ быть, даже въ нѣкоторый ужасъ. Въ самомъ дѣлѣ, рѣшить *для себя* страшный вопросъ, стоящій передъ *всѣмъ міромъ,* и на этомъ успокоиться, и предаваться веселью безъ угрызеній совѣсти, въ сознаніи достигнутаго вами физическаго и духовнаго здоровья,—это ужасно успокоиться. Это въ такой степени ужасно, что даже невѣроятно. Невѣроятно, во-первыхъ, чтобы человѣкъ съ чуткою совѣстью могъ такъ легко. Невѣроятно, далѣе, чтобы гр. Толстой не представилъ какихъ-нибудь поправокъ и дополненій къ этому пункту своего ученія. Они и есть—эти поправки и дополненія. Мы сейчасъ ихъ увидимъ, а теперь поищемъ объясненія для удивительной постановки вопроса у гр. Толстого.

Робкая, слабая, дрожащая шуйца гр. Толстого, въ противоположность его энергической и смѣлой десницѣ, всегда сторонилась, какъ мы уже видѣли, отъ вмѣшательства въ „естественный" или „историческій" ходъ вещей. Сторонилась подъ разными предлогами: то потому, что этотъ ходъ вещей предопредѣленъ, и мы измѣнить его не можемъ; то, напротивъ, потому, что мы

Digitized by Google

можемъ испортить дѣло своимъ вмѣшательствомъ; то, наконецъ, потому, что „насиліе правительственное или революціонное“ должно быть избѣгаемо, какъ насиліе. Въ сущности, здѣсь происходитъ то же самое, что и съ наклонностью гр. Толстого къ физическимъ упражненіямъ: въ теченіе своей жизни онъ занимался ими то изъ подражанія модѣ, то для гимнастики, то около своего хозяйства и въ подражаніе Юфану, то, наконецъ, подъ освѣщеніемъ нравственной обязанности. При всѣхъ этихъ обстоятельствахъ неизмѣнно остается прирожденная склонность къ физическимъ упражненіямъ. Такъ и съ невмѣшательствомъ въ естественный и историческій ходъ вещей: мотивы отрицанія мѣнялись, а неизмѣнною оставалась робкая, слабая шуйца, и когда, по одному изъ тѣхъ необъяснимыхъ скачковъ, которые такъ обыкновенны въ графѣ, шуйца смѣнялась десницей, онъ легко опрокидывалъ всѣ свои собственные доводы противъ вмѣшательства. Но бывали и переходныя комбинаціи. Одна изъ нихъ любопытна. Въ „Войнѣ и мирѣ“ гр. Толстой развивалъ, между прочимъ, ту мысль, что жизнь наша рѣзко раздѣляется на личную, въ которой мы можемъ устроиваться болѣе или менѣе какъ хотимъ, и общественную, историческую, „роевую“, которая идетъ какъ-то помимо насъ, повинуясь чуждому намъ, разумному и цѣлесообразному плану. Изъ этой половинчатой теоріи, пожалуй, уже и не трудно сдѣлать тотъ выводъ, котораго мы сейчасъ ужасались: лично можно, а слѣдовательно, и должно устроиться наилучшимъ образомъ,—ну, а „стоящій передъ всѣмъ міромъ страшный вопросъ“ какою-то внѣ насъ лежащею міровою силой и разрѣшится.

Римскій эпикуреецъ Лукрецій говоритъ въ своей знаменитой поэмѣ: „Когда вѣтры волнуютъ великое море, пріятно смотрѣть съ берега на чужія усилія въ трудной борьбѣ,—не то пріятно, что другіе страдаютъ, а пріятно чувствовать себя избавленнымъ отъ бѣды... О, жалкій человѣческій разумъ! О, ослѣпленіе! Въ какомъ мракѣ, въ какихъ опасностяхъ проводимъ мы свою жизнь! А, между тѣмъ, чего требуетъ природа? — чтобы тѣло наше не испытывало страданій, чтобы духъ нашъ былъ веселъ, свободенъ отъ безпокойства и страха“.

Это довольно близко къ тому, что проповѣдуетъ гр. Толстой, но онъ говоритъ о совѣсти, а совѣсть нашего современника не можетъ, конечно, удовлетвориться тѣмъ, чѣмъ удовлетворялась

Digitized by Google

совѣсть римлянина I вѣка до Р. Х. Гр. Толстому не можетъ быть „пріятно смотрѣть съ берега на чужія усилія въ трудной борьбѣ“, даже съ тою оговоркой, которою Лукрецій сопровождаетъ эту „пріятность“. Гр. Толстой очень аппетитно разсказываетъ, какой онъ сталъ здоровый, сильный, спокойный, ясно понимающій вещи, когда обратился къ физическому труду. Но онъ не можетъ спокойно смотрѣть на тѣхъ, кто остался въ волнахъ болѣзней, безпокойства, умственнаго мрака, угрызеній совѣсти. Ему нужно утѣшеніе, что и они выберутся на берегъ. Утѣшеніе является въ видѣ вѣры въ силу проповѣди и примѣра, которые постепенно сдѣлаютъ всѣхъ причастниками испытываемаго имъ счастія. Въ этомъ состоитъ первая поправка къ жестокому индивидуализму рѣшенія для себя задачи, отъ которой болѣетъ весь міръ. Вторая поправка состоитъ въ механической приставкѣ евангельскаго ученія. Оно приставлено механически, потому что легко представить себѣ человѣка, который никогда не слыхалъ о христіанствѣ и ни изъ какихъ другихъ источниковъ не почерпнулъ ученія любви, составляющаго основу христіанской морали, и который, однако, рѣшаетъ для себя задачу жизни по рецепту гр. Толстого. Приставка христіанскаго ученія придаетъ этому глубоко-эгоистическому или, въ лучшемъ случаѣ, узко-сектантскому рецепту отсутствующій въ немъ самомъ моральный блескъ призыва къ любви, жертвѣ, подвигу, страданію ради любви. Но механичность приставки даетъ себя знать. Обязательность помощи ближнему гр. Толстой основываетъ на Евангеліи, но изъ видовъ этой помощи рѣзко вычеркиваетъ (или вычеркивалъ) помощь денежную. Между тѣмъ, Христосъ на этотъ счетъ выразился вполнѣ опредѣленно въ противоположномъ смыслѣ: „продай имѣніе свое и раздай нищимъ“. Гр. Толстой, конечно, избѣгаетъ приводить этотъ текстъ, и въ то же время, требуетъ, чтобы не было никакого разлада между христіанскою теоріей и практикой, невзирая ни на какія сложныя и трудныя обстоятельства семейнаго ли или какого другого характера.

При такихъ условіяхъ, то-есть съ произвольными вычетами, христіанское ученіе, единственно придающее моральный блескъ проповѣди гр. Толстого, въ свою очередь нѣсколько тускнѣетъ отъ соприкосновенія съ нею. Исполненіе завѣтовъ Христа кажется графу не труднымъ подвигомъ, а, напротивъ, дѣломъ чрезвычайно простымъ. Да оно и въ самомъ дѣлѣ значительно упрощается. Гр. Толстой даже удивляется: какъ это такъ? — ученіе

Digitized by Google

Христа просто, а ему мало кто слѣдуетъ до конца, „а ученіе міра сказало: брось домъ, поле, братьевъ, уйди изъ деревни въ гнилой городъ, — и никто не находитъ, что это трудно“. Оно, можетъ быть, и было бы достойно удивленія, если бы все дѣло дѣйствительно состояло въ „ученіи міра“. Но не ученіе міра гонитъ людей отъ ихъ домовъ, полей и братьевъ въ „гнилой городъ“, и не все съ легкимъ сердцемъ уходятъ люди отъ своихъ домовъ и полей. Иной разъ и плачутъ, да идутъ, какъ, напримѣръ, теперь, когда тысячи народу бредутъ куда попало за работой и хлѣбомъ. Не ученіе міра гонитъ ихъ, а нужда, сложная сѣть общественныхъ условій, отъ которой гр. Толстой предлагаетъ отвернуться, разрѣшая общую задачу *для себя*. Правда, существуютъ ученія міра, которыя подводятъ теоретическій фундаментъ подъ это уже готовое зданіе. И гр. Толстой одушевленъ, по крайней мѣрѣ, несомнѣнно благими намѣреніями, когда борется съ этими ученіями. Но я боюсь, что къ графу придутъ люди и скажутъ: учитель! я не знаю никакого ученія міра, но голодъ противъ моей воли гонитъ меня изъ полуразвалившагося дома и съ оголеннаго поля,—какъ мнѣ быть, учитель? И придутъ другіе люди и скажутъ: учитель! мнѣ ненавистно ученіе міра, но у меня нѣтъ ни дома, ни поля, мнѣ не отъ чего уходить, и я прикованъ, вмѣстѣ съ дѣтьми своими, къ гнилому городу, какъ каторжникъ къ тачкѣ,—какъ мнѣ быть, учитель?... И я боюсь, что у графа не найдется отвѣтовъ.

Гр. Толстой выразился съ необыкновенною и многостороннею точностью, говоря, что онъ *для себя* разрѣшилъ волнующую весь міръ задачу жизни. Именно только для себя и для людей, находящихся въ одинаковомъ съ нимъ положеніи. Я очень вѣрю, что онъ здоровъ, силенъ, спокоенъ духомъ, какъ онъ самъ о себѣ недавно печатно разсказывалъ, и очень радуюсь за него. Но не всѣ могутъ слѣдовать его примѣру, да и изъ тѣхъ, кто можетъ, не всѣ, пожалуй, захотятъ, хотя бы и раздѣляли теоретическіе взгляды графа. Когда я смотрю на извѣстную картину г. Рѣпина, изображающую гр. Толстого за плугомъ, мною овладѣваетъ какое-то смущеніе; мнѣ, признаюсь, становится неловко за нашего великаго писателя. Не потому, разумѣется, что онъ сталъ рабочимъ человѣкомъ, а, напротивъ, потому, должно быть, что это не настоящій земледѣлецъ, а декорація земледѣльца,—декорація, безспорно, очень эффектная, но, все-таки, только декорація. Съ настоящаго земледѣльца подати и недоимки взыскиваются, настоящій

Digitized by Google

при случаѣ „въ кусочки“ идетъ, настоящему бываетъ холодно, голодно, за семью жутко, а декорація отъ всего этого и еще многаго другого гарантирована, она только красивую сторону дѣла на себѣ носитъ. Свободный отъ всѣхъ тяжелыхъ условій, въ которыхъ находится трудъ, графъ съ удивительною даже наивностью восклицаетъ: какъ радостенъ земледѣльческій трудъ! и зачѣмъ только люди бѣгутъ отъ него?! Я не думаю, чтобы это положеніе было достойно великаго писателя и искренняго человѣка. Если-бы графъ просто „приносилъ жертву своему влеченію“ къ земледѣльческому труду, если-бы онъ пахалъ, косилъ и рубаху-косоворотку или блузу носилъ просто потому, что ему такъ нравится, да и чувствуетъ онъ себя за плугомъ и косой здоровѣе, такъ не о чемъ было-бы и разговаривать. А если графъ получаетъ еще при этомъ успокоеніе смущенной совѣсти, такъ тѣмъ лучше для него. Тѣмъ лучше для него, но, можетъ быть, не для насъ, не для русскаго общества, а въ виду всемірной извѣстности гр. Толстого, пожалуй, и иныя, далекія страны можно привлечь къ этому убытку. Спокойная совѣсть есть одно изъ желаннѣйшихъ личныхъ благъ, и гр. Толстой, навѣрное, не преувеличиваетъ его значенія, когда ставитъ его на одну линію со здоровьемъ. Но спокойная совѣсть не всегда себѣ равна; мысленно можно построить своего рода градусникъ совѣсти, съ отмѣтками разныхъ высотъ, на которыхъ она успокоивается. Спокойна совѣсть того, „кто дѣлъ своихъ цѣною злата не взвѣшивалъ, не продавалъ, не ухищрялся противъ брата и на врага не клеветалъ“. Спокойна совѣсть командира погибшаго въ морѣ судна, если онъ, преодолѣвъ естественное чувство самосохраненія, послѣднимъ сошелъ съ корабля, погружающагося въ разъяренныя волны. Спокойна совѣсть сознательнаго мученика за идею. Но, съ другой стороны, извѣстная сказка Щедрина „Пропала совѣсть“ наглядно показываетъ, что совѣсть можетъ успокоиваться и при нравственной температурѣ ниже нуля. Жалкій пропоецъ, кабатчикъ Прохорычъ, квартальный Ловецъ, биржевой дѣлецъ Самуилъ Давыдычъ и прочіе, кому разными путями изъ рукъ въ руки переходитъ совѣсть, испытываютъ, при полученіи ея, непереносныя мученія и тотчасъ-же успокоиваются, какъ только имъ удается сбыть ее съ рукъ. Но именно тогда, когда ихъ непереносно сверлитъ совѣсть, окружающимъ становится легче жить. Спокойная совѣсть... Да развѣ она не составляетъ существенной

Digitized by Google

принадлежности всякаго негодяя и злодѣя? Можетъ быть, это именно и хотѣлъ сказать Гамлетъ своею загадочно-безумною фразой: „каждый въ Даніи злодѣй есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и плутъ негодный“. Спокойная совѣсть, будучи великимъ личнымъ благомъ, сама по себѣ есть, все-таки, не болѣе, какъ одна изъ составныхъ частей гигіеническаго идеала. Нравственная-же ея цѣна зависитъ отъ той высоты градусника совѣсти, достигнувъ которой совѣсть успокоилась. Совѣсть больная, ущемленная, всегда будучи мучительна для своего носителя, сплошь и рядомъ въ нравственномъ отношеніи несравненно выше спокойной совѣсти. Больная, ущемленная совѣсть ищетъ, достигаетъ и, можетъ быть, достигнетъ самыхъ верхнихъ дѣленій градусника; передъ ней будущее, хотя, конечно, темное; спокойная совѣсть не достигаетъ, потому что уже достигла, и цѣна ей написана на градусникѣ. Человѣкъ можетъ совершенно искренно и убѣжденно говорить: я праведникъ, я достигъ, совѣсть моя спокойна. И, все-таки, можетъ быть, отъ него расходится кругомъ гораздо меньше нравственнаго тепла и свѣта, чѣмъ отъ грѣшника съ ущемленною совѣстью. Я не говорю, есть, конечно, и люди спокойной совѣсти, сіяющіе и грѣющіе, но это тѣ рѣдкіе, которые достигли верхнихъ дѣленій градусника. О, когда-нибудь, будемъ вѣрить, всѣ люди сравняются на этой высотѣ и больная совѣсть исчезнетъ изъ человѣческаго лексикона. Но теперь, знаете-ли, читатель, кто достигъ верхнихъ дѣленій градусника совѣсти? Я не скажу: тотъ, кто умеръ во имя долга, потому что мертвые срама не имутъ, не имутъ и спокойной или ущемленной совѣсти, но тотъ, кто былъ на волоскѣ отъ такой смерти и не отступилъ. Передъ этими людьми мы, грѣшные, должны преклоняться, какъ передъ высшимъ выраженіемъ человѣчности, какъ передъ высшею, доступною человѣку точкой спокойствія совѣсти. Вплоть до этой послѣдней, страшной пробы мы можемъ смотрѣть съ спокойною совѣстью на то или другое частное свое дѣйствіе, но успокоиться совѣстью на рѣшеніи задачи жизни... Нѣтъ, предоставимъ это безсовѣстнымъ. Вы помните отвѣтъ апостола: „вѣрю, Господи, помоги моему невѣрію“. Такъ-же ненасытима должна быть и совѣсть. И не могу я повѣрить, чтобы совѣсть гр. Толстого, когда-то, въ его грѣшныя времена, столь безпокойная, навсегда успокоилась на... декораціи! Да, повторяю, декорація— этотъ картинный старикъ, картинно-идущій за плугомъ, хотя па-

Digitized by Google

шетъ онъ не только на картинѣ г. Рѣпина, а и живьемъ въ Ясной Полянѣ. Декорація—эта помощь ближнему трудомъ складыванія печки или рубки дровъ. Декорація—это изумленіе передъ разладомъ между теоріей и практикой, невзирая ни на какія условія. Декорація—это недавнее предоставленіе въ общую собственность сочиненій, написанныхъ послѣ 1881 г. И очень плохая декорація. Почему только этихъ, а не всѣхъ, въ числѣ которыхъ есть гораздо болѣе цѣнныя? Въ чемъ тутъ причина—въ теоріи или въ практикѣ? Все это было-бы не декораціей, а очень простымъ дѣломъ, если-бы дѣлалось не въ видѣ успокоивающаго совѣсть разрѣшенія задачи жизни.

Въ одной изъ своихъ статей гр. Толстой разсказываетъ, какъ онъ открылъ „первый и несомнѣнный законъ Бога или природы“ и какъ онъ „былъ пораженъ легкостью и простотою разрѣшенія всѣхъ этихъ вопросовъ, которые ему прежде казались столь трудными и сложными“. „На вопросъ, что́ нужно дѣлать?—явился самый несомнѣнный отвѣтъ: прежде всего, что́ мнѣ самому нужно—мой самоваръ, моя печка, моя вода, моя одежда, все, что я могу самъ дѣлать. На вопросъ: не странно-ли это будетъ передъ людьми, дѣлавшими это?—оказалось, что странность эта продолжалась только недѣлю“. Таковы были первые шаги, потомъ графъ отправился въ деревню пахать. Но остановимся на минуту на первыхъ шагахъ. Несомнѣнно, что мы наваливаемъ слишкомъ много работы на прислугу и что это нехорошо. Но одно изъ двухъ: или это такой огромный, въ своихъ развѣтвленіяхъ, вопросъ, что его нельзя разрѣшать „для себя“, или-же это такая простая вещь, ради которой не стоитъ тревожить „первый и несомнѣнный законъ Бога или природы“. Я помню, что прочиталъ эту статью гр. Толстого при нѣкоторыхъ особенныхъ условіяхъ: я жилъ не въ Петербургѣ и, притомъ, почти „по-толстовски“,—самъ себѣ дрова носилъ, печку топилъ, самоваръ ставилъ, платье и сапоги чистилъ. Не то, чтобы я все это дѣлалъ вполнѣ добровольно и какъ-нибудь изъ принципа, а такъ пришлось, но я не тяготился. Прочитавъ статью графа, я попробовалъ было возгордиться, однако, не могъ,—совѣсть не позволила, ибо я чувствовалъ, что вопросы, которые мнѣ прежде казались трудными и сложными, такъ трудными и сложными и остались. Они остались таковыми и послѣ того, какъ графъ сталъ землю пахать...

Пусть читатель проститъ мнѣ ту, можетъ быть, желчную

Digitized by Google

ноту, которая иногда пробивается въ моихъ разговорахъ о гр. Толстомъ. Это—хоть и своеобразная, но, все-таки, дань уваженія къ человѣку, которому такъ много дано, что съ него, натурально, должно много и требовать, да и самъ онъ не долженъ удовлетворяться малымъ—декораціей. А графу много дано. Ему дана власть надъ людьми. Въ эту минуту графъ бросилъ декорацію и занялся настоящимъ дѣломъ помощи ближнему, и можно надѣяться, что, отвѣдавъ настоящаго горькаго, онъ не вернется къ поддѣльному сладкому. А, вмѣстѣ съ тѣмъ, кончится, можетъ быть, и та обуявшая насъ манія рѣшать общія задачи „для себя", послѣднимъ крупнымъ представителемъ которой былъ гр. Толстой. Давно пора. Если мы даже этого результата не купимъ цѣною постигшаго народъ страшнаго бѣдствія, такъ, право-же, самимъ намъ грошъ цѣна...

И еще пусть проститъ мнѣ читатель, что я на этотъ разъ не договорилъ о г. Мечниковѣ.

VII *).

О естественномъ и неестественномъ.—О задачахъ науки.—О будущемъ женщинъ и женскаго вопроса.

Обратимся къ г. Мечникову.

Признавая, уже въ качествѣ естествоиспытателя, всю фактическую мощь естества, естественно-научныхъ данныхъ, г. Мечниковъ отказывается, однако, признать за ними исключительное руководящее значеніе въ практической жизни, въ дѣлѣ общественнаго творчества. Здѣсь нужны иныя руководящія начала, во имя которыхъ естество можно и должно гнуть, измѣнять въ желательномъ направленіи, даже истреблять. Человѣкъ не рука объ руку идетъ съ природой вообще, съ собственною своею природой въ частности, а, напротивъ, борется и долженъ бороться съ ней во имя идеаловъ. Таковъ основной принципъ г. Мечникова, высказываемый имъ не въ первый разъ. Онъ развивалъ этотъ взглядъ въ напечатанныхъ въ томъ-же „Вѣстникѣ Европы" статьяхъ: „Воспитаніе съ антропологической точки зрѣнія" (1871 г.), „Возрастъ вступленія въ бракъ" (1874 г.), „Очеркъ воззрѣній на человѣческую природу" (1877 г.). Человѣку, по-

*) 1892, мартъ.

Digitized by Google

чему-нибудь не вдумывавшемуся въ вопросъ объ отношеніяхъ человѣка къ природѣ, не легко сразу оцѣнить такую его постановку. Она можетъ показаться либо слишкомъ простою, обыденною, такъ что и разговаривать не объ чемъ, либо, напротивъ, слишкомъ мудреною. Значеніе-же ея состоитъ въ томъ, что она объединяетъ и текущія мелочи обыденной жизни, проходящія почти безъ контроля нашего сознанія, и случаи высшаго напряженія сознанія и воли. Въ этомъ мы сейчасъ убѣдимся. Надо, однако, замѣтить, что такая постановка вопроса еще ни мало не предрѣшаетъ формы и содержанія тѣхъ идеаловъ, во имя которыхъ утверждается или рекомендуется борьба съ природой. Люди, вполнѣ согласные въ этомъ послѣднемъ отношеніи, могутъ совершенно расходиться во взглядахъ на тѣ пути, по которымъ должны быть, по ихъ мнѣнію, направлены подлежащія воздѣйствію силы природы. Въ этомъ мы тоже сейчасъ убѣдимся, притомъ, наглядно, потому что, вполнѣ раздѣляя основную точку зрѣнія г. Мечникова, я полагаю, однако, что оспариваемые имъ идеалы гр. Толстого несравненно болѣе соотвѣтствуютъ справедливости и человѣческому достоинству, чѣмъ собственные идеалы нашего почтеннаго ученаго. А къ этому разногласію могутъ примыкать еще и другія, въ своемъ родѣ не менѣе важныя. Возможны разногласія относительно предѣловъ доступнаго человѣку воздѣйствія на природу и относительно того, что̀ именно въ природѣ должно быть измѣнено и что̀ оставлено неприкосновеннымъ. Благодаря всѣмъ этимъ осложненіямъ, вопросъ не легко давался человѣческой мысли и имѣетъ свою длинную, колеблющуюся исторію.

Въ одной изъ своихъ старыхъ статей, а именно въ „Очеркѣ воззрѣній на человѣческую природу“, г. Мечниковъ взялся разсказать эту исторію въ общихъ чертахъ. Предѣлы темы точно указаны заглавіемъ статьи. Г. Мечниковъ имѣетъ въ виду только отношенія человѣка къ его собственной природѣ и оставляетъ совершенно въ сторонѣ вопросъ о нашемъ отношеніи къ внѣшней, окружающей природѣ. И неудивительно, потому что здѣсь дѣло уже слишкомъ ясно: болота мы осушаемъ, хотя они естественно образуются на своихъ мѣстахъ, лѣса вырубаемъ, животныхъ приручаемъ, громоотводы строимъ, отъ пыли, дождя, холода, жара себя разными способами ограждаемъ и т. д., и т. д. Вся наша культура есть не что иное, какъ дѣйственное выраже-

Digitized by Google

ніе нашего недовольства природой и желанія измѣнить ее согласно нашимъ эстетическимъ, нравственнымъ, промышленнымъ идеаламъ. Тутъ и спору никакого быть не можетъ. Сложнѣе представляется дѣло по отношенію къ нашей собственной природѣ.

Г. Мечниковъ приводитъ группу характерныхъ фактовъ, свидѣтельствующихъ, что человѣчество издревле стремилось измѣнить свою внѣшность сообразно извѣстнымъ идеаламъ, частію эстетическимъ, частію этическимъ, и, значитъ, внести нѣкоторыя поправки въ свою физическую природу. Сюда относятся часто очень замысловатыя прически дикарей, искусственныя сдавливанія головы, женской груди, обрѣзаніе, татуировка, инфибуляція и проч. Г. Мечниковъ приходитъ къ такому заключенію: „Несмотря на отсутствіе опредѣленныхъ философскихъ воззрѣній у первобытныхъ народовъ, на основаніи только многочисленности и распространенности пріемовъ для усовершенствованія человѣка въ практическомъ и эстетическомъ отношеніяхъ, можно уже утверждать, что народы эти смотрятъ на человѣческую природу какъ на нѣчто несовершенное и способное измѣняться подъ вліяніемъ человѣческой воли“.

Перечисленіе фактовъ, приведшихъ г. Мечникова къ этому выводу, можно-бы было продолжать далеко за предѣлы первобытныхъ народовъ. Любая вывѣска на парикмахерской напоминаетъ, что и теперь вполнѣ цивилизованные люди, помимо какихъ-бы то ни было опредѣленныхъ философскихъ воззрѣній, стригутъ, брѣютъ и завиваютъ себѣ волосы; кромѣ того, они красятъ волосы, румянятся, бѣлятся, духами душатся, въ корсеты затягиваются, ногти стригутъ, шлифуютъ и придаютъ имъ извѣстную форму, разнообразными ухищреніями одежды и обуви гдѣ прибавляютъ, гдѣ убавляютъ себѣ тѣла и проч. Всѣ эти факты показываютъ, что люди и теперь въ подробностяхъ обыденной жизни обнаруживаютъ недовольство тѣмъ, что имъ дано отъ природы, а нѣкоторыя изъ перечисленныхъ манипуляцій говорятъ и объ убѣжденіи въ способности человѣческой природы измѣняться подъ вліяніемъ воли: тонкія таліи европейскихъ цивилизованныхъ женщинъ, маленькія руки и ноги высшихъ классовъ вообще представляютъ собою осязательные результаты этого убѣжденія. Въ сферѣ воздѣйствія собственно на физическую природу человѣка эта черта, пожалуй, у насъ менѣе

Digitized by Google

замѣтна, чѣмъ у первобытныхъ народовъ, но за то тѣмъ ярче она въ сферѣ выработки умственнаго и нравственнаго характера. Все наше воспитаніе, какой-бы системы оно ни придерживалось, построено на необходимости и возможности развить въ ребенкѣ такіе-то природные задатки и подавить такіе-то. Вся наша общественная система, каковы-бы, опять-таки, не были ея устои, стремится къ тому же по отношенію къ взрослымъ, частію косвенно, а частію прямо, при посредствѣ уголовной юстиціи. Религіозныя системы, нравственныя и политическія теоріи всякаго рода, то въ повелительномъ наклоненіи правилъ и предписаній, то въ поэтической, художественной формѣ, имѣютъ въ виду поднять извѣстную группу природныхъ инстинктовъ до степени сознательнаго поведенія, придавить другую даже до полнаго уничтоженія. Короче говоря, въ нашей обыденной жизни мы на каждомъ шагу и въ самыхъ разнообразныхъ формахъ боремся съ природой во имя тѣхъ или другихъ, возвышенныхъ или низменныхъ, идеаловъ, стараемся ее исправить, улучшить, вообще измѣнить. И такъ всегда было. При этомъ самымъ вопросомъ объ отношеніи человѣка къ природѣ мы обыкновенно не задаемся,—мы просто живемъ, какъ находимъ лучше.

Тѣмъ не менѣе, когда этотъ вопросъ возникаетъ въ его теоретической отвлеченности, являются рѣшенія „жить согласно природѣ“, удовлетворять „естественнымъ склонностямъ“, вообще такъ или иначе искать въ природѣ образцовъ и руководящихъ нитей для поведенія. Эти рѣшенія, никогда вполнѣ послѣдовательно не проводимыя въ жизнь, окрашиваютъ, однако собою иногда философскую мысль цѣлыхъ эпохъ. Такъ было въ древней Греціи, такъ было въ концѣ прошлаго столѣтія въ Европѣ. Наоборотъ, другія эпохи окрашиваются въ мрачный цвѣтъ полнаго презрѣнія къ естеству, къ природнымъ инстинктамъ, какъ къ источникамъ грѣха. Насколько древній грекъ обожалъ человѣческую природу, настолько же средневѣковый европейскій или восточный аскетъ презиралъ ее, какъ порожденіе и источникъ грѣха, и стремился подавить ея требованія въ самомъ корнѣ. „Всѣ природные человѣческіе инстинкты извратились до послѣдней возможности“,—справедливо говоритъ г. Мечниковъ объ этомъ времени. Эти два противоположныя теченія оспаривали затѣмъ, а частію и до селѣ оспариваютъ другъ у друга первенствующее мѣсто въ практической философіи. Сдѣлавъ быстрый обзоръ этимъ

Digitized by Google

колебаніямъ, г. Мечниковъ приступаетъ къ оцѣнкѣ того и другого воззрѣнія и говоритъ: „Если мы нѣсколько поднимемся надъ уровнемъ обѣихъ теорій и, вооружившись результатами современнаго естествознанія, спросимъ себя: какая же изъ нихъ болѣе соотвѣтствуетъ истинной природѣ человѣка, то, по разсмотрѣніи дѣла, должны будемъ придти къ заключенію, что воззрѣнія второй категоріи по существу своему естественнѣе". Не ошибитесь, читатели: второй категоріи, то-есть тѣ именно, въ силу которыхъ „всѣ природные инстинкты извратились до послѣдней возможности". Чтобы вполнѣ оцѣнить смѣлую оригинальность этого вывода, надо привести хоть одну изъ тѣхъ формулъ нашего отношенія къ своей природѣ, меньшую естественность или даже неестественность которыхъ особенно подчеркиваетъ г. Мечниковъ. Возьмемъ формулу Гумбольдта: „Конечная цѣль человѣка, то-есть та цѣль, которая ему предписывается вѣчными, неизмѣнными велѣніями разума, состоитъ въ наивозможно гармоническомъ развитіи всѣхъ его способностей въ одно полное и самостоятельное цѣлое". Г. Мечниковъ приводитъ еще нѣсколько подобныхъ, неодобрительныхъ съ его точки зрѣнія формулъ, античныхъ, прошлаго столѣтія и современныхъ, не спуская при этомъ и своему учителю, Дарвину. Авторъ „Происхожденія видовъ" тоже оказывается повиннымъ въ неправильномъ пониманіи требованій природы, каковыя, однако, были уловлены тѣми, кто „извращаетъ природные человѣческіе инстинкты до послѣдней возможности". Изъ совокупности этой части разсужденія г. Мечникова видно, что его оскорбляютъ не метафизическіе аксессуары формулы Гумбольдта вродѣ „конечной цѣли" и „вѣчныхъ, неизмѣнныхъ законовъ разума", или, по крайней мѣрѣ, не столько они, сколько реальная мѣра формулы: гармоническое развитіе всѣхъ природныхъ силъ и способностей въ одно полное и самостоятельное цѣлое. Такимъ образомъ, г. Мечниковъ давно уже выразилъ свое неодобреніе теоріи гармоническаго развитія и въ статьѣ о гр. Толстомъ только воспользовался новымъ поводомъ для изложенія своего стараго, хорошо продуманнаго взгляда.

Здѣсь все чрезвычайно любопытно. Любопытно, прежде всего то, что, отрицая возможность и надобность строить теорію поведенія на требованіяхъ или указаніяхъ природы, г. Мечниковъ, при оцѣнкѣ разныхъ теорій, апеллируетъ, все-таки, къ природѣ-же какъ въ высшую инстанцію: одно изъ двухъ воззрѣній на чело-

Digitized by Google

вѣческую природу онъ отвергаетъ потому, что оно менѣе, чѣмъ другое, соотвѣтствуетъ „истинной природѣ человѣка“ и результатамъ современнаго естествознанія. Если такъ, то о чемъ-же говорить по существу-то? Ясно, повидимому, что самъ г. Мечниковъ ищетъ образцовъ и указаній въ природѣ и, слѣдовательно, является представителемъ именно тѣхъ воззрѣній, которыя имъ отрицаются. Онъ только лучше другихъ уразумѣлъ истинную природу человѣка и лучше другихъ вооружился результатами современнаго естествознанія. Но, вѣдь, это свойственно думать каждому, выступающему съ собственнымъ рѣшеніемъ вопроса. Такъ, безъ сомнѣнія, и Гумбольдтъ о себѣ полагалъ, и Дарвинъ. Слѣдовательно, по существу нашъ почтенный ученый ничѣмъ не отличается отъ всѣхъ другихъ теоретиковъ, ищущихъ въ природѣ руководящихъ нитей для дѣятельности. Правда, онъ склоняется въ пользу рѣшенія, объявлявшаго природѣ войну не на животъ, а на смерть. Но средневѣковый аскетизмъ ошибался, полагая, что онъ борется съ естествомъ, идетъ противъ требованій природы: съ высоты результатовъ современнаго естествознанія оказывается, что онъ-то именно и соотвѣтствовалъ „истинной природѣ человѣка“. Начавъ за здравіе, почтенный ученый кончилъ за упокой, или, вѣрнѣе, начавъ за упокой природы, какъ нашей руководительницы, кончилъ за здравіе.

Однако, неужели-же, въ самомъ дѣлѣ, „истинная природа человѣка“ требуетъ или даже только разрѣшаетъ „извращеніе природныхъ человѣческихъ инстинктовъ до послѣдней возможности“? Логическое противорѣчіе здѣсь слишкомъ очевидно, чтобъ оно могло быть не замѣчено самимъ г. Мечниковымъ. Противорѣчіе это получитъ еще болѣе яркое освѣщеніе, если мы припомнимъ, что средневѣковый аскетизмъ былъ тѣсно связанъ съ грубымъ суевѣріемъ и съ самыми дикими понятіями о природѣ. Можно поэтому съ увѣренностью предположить, что у г. Мечникова есть въ запасѣ нѣкоторый оборотъ мысли, хотя сколько-нибудь сглаживающій противорѣчіе. Въ статьѣ г. Мечникова о гр. Толстомъ мы уже видѣли его странное пристрастіе къ разнымъ уродствамъ. Но, вѣдь, нельзя-же, все-таки, успокоиться на томъ выводѣ, что извращеніе естества — естественно, а стремленіе къ естественности—не естественно. Это была-бы какая-то игра словами, совершенно недостойная серьезнаго ученаго.

Г. Мечниковъ справедливо замѣчаетъ, что принципъ „естест-

Digitized by Google

вениой жизни“ или жизни „сообразно съ природой“ никогда вполнѣ послѣдовательно не прилагался, а, кромѣ того, „толковался самымъ различнымъ образомъ и настолько произвольно, что, придерживаясь его, различныя школы совершенно различно понимали правила нравственной жизни“. Дѣло въ томъ, что принципъ „естественной жизни“ обыкновенно или выдвигается въ видѣ реакціи теченію „неестественнаго“, „противоестественнаго“, „сверхъестественнаго“, исторически сложившагося и т. п., и въ такомъ случаѣ имѣетъ, главнымъ образомъ, отрицательное значеніе; или-же его представители выбираютъ какую-нибудь одну черту природы или группу этихъ чертъ и въ ней именно ищутъ руководящей нити, оставляя въ сторонѣ другія черты. Такъ-же поступаетъ и г. Мечниковъ. Но его положеніе затрудняется его исходною точкой,—представленіемъ о природѣ, какъ о чемъ-то исключительно враждебномъ человѣку. Совершенно справедливо, что мы должны руководиться въ практической жизни идеалами и даже иначе не можемъ поступать, но оперировать-то намъ, все-таки, приходится надъ природой,—иного матеріала для идеальныхъ комбинацій у насъ нѣтъ. Значитъ, надо же за что-нибудь въ этой природѣ уцѣпиться, по крайней мѣрѣ, какъ за строительный матеріалъ. Но г. Мечниковъ старается закрыть намъ всѣ пути въ этомъ направленіи. Онъ останавливается на наиболѣе общихъ чертахъ, свойственныхъ не одному человѣку, но и всякому организованиому существу,—на наслѣдственности и измѣнчивости. О наслѣдственности онъ говоритъ: „Не подлежитъ сомнѣнію, что она обусловливаетъ не только передачу грубыхъ физическихъ признаковъ, но и такихъ тонкихъ чертъ, какъ, напримѣръ, болѣзненное расположеніе, самыя болѣзни, какъ тѣлесныя, такъ и такъ называемыя душевныя, и даже свойства характера и наклонность къ преступленіямъ и т. д.“. Совершенно вѣрно, но точно также наслѣдственность обусловливаетъ и передачу тѣлеснаго и душевнаго здоровья. И если не слѣдуетъ скрывать отъ себя невыгодную сторону дѣла, то нѣтъ также никакого резона одною ею ограничивать свой кругозоръ. Такое-же пессимистическое освѣщеніе бросаетъ г. Мечниковъ и на другой великій факторъ органической природы—на измѣнчивость. Объ этомъ намъ придется еще говорить довольно подробно. Поступая такимъ образомъ, г. Мечниковъ не только впадаетъ въ односторонность, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, доказываетъ нѣчто такое, что вовсе не требуется его соб-

Digitized by Google

ственнымъ основнымъ тезисомъ. Природа не враждебна человѣку, а безразлична. Она предлагаетъ ему и здоровую пищу, и яды, и лѣкарства, и, только благодаря этому, мы и можемъ жить и строить свои идеалы не въ безвоздушномъ пространствѣ, а среди этой самой природы и прямо на счетъ ея.

„Естественными", „соотвѣтственными истинной природѣ человѣка" и „результатамъ современнаго естествознанія" средневѣковыя аскетическія воззрѣнія представляются г. Мечникову потому, что они признавали несовершенство человѣческой природы и возможность ея измѣненія. Г. Мечниковъ, повидимому, предполагаетъ, что разнообразные представители идеи жизни, согласной съ природой, совершенно удовлетворялись всѣмъ, даннымъ отъ природы, и проповѣдывали какой-то застой. Это, конечно, совсѣмъ не вѣрно. Напротивъ, въ большинствѣ случаевъ, проповѣдники „естественной жизни", съ одной стороны, обличаютъ своихъ соотечественниковъ или современниковъ въ глубокихъ отклоненіяхъ отъ того, что они считаютъ нормой, а съ другой—провидятъ въ будущемъ цѣлую перспективу совершенствованія. Часто рисуемый ими „золотой вѣкъ" въ отдаленномъ прошломъ, утраченный человѣчествомъ на историческомъ пути, и золотой вѣкъ въ будущемъ, который получится путемъ цѣлесообразной системы воспитанія, развитія и общественной реформы,—эти два конечные пункта показываютъ, что проповѣдники естественной жизни допускаютъ измѣнчивость человѣческой природы въ очень широкихъ предѣлахъ. Пусть кто какъ хочетъ оцѣниваетъ эти обращенія къ далекому прошлому, эти упованія на далекое будущее и эти рѣзкія нападки на человѣка, каковъ онъ въ данную минуту, но все это свидѣтельствуетъ объ убѣжденіи въ измѣнчивости человѣческой природы. Г. Мечникову, очевидно, не приходитъ въ голову это обстоятельство, такъ какъ онъ о немъ ни единымъ словомъ не упоминаетъ, да если-бы и пришло, такъ онъ имъ, все-таки, не удовлетворился-бы. Ему мало той измѣнчивости, которая предполагается проповѣдниками естественной жизни. Въ качествѣ яраго дарвиниста, который часто является plus darwiniste que Darwin lui même, онъ намѣчаетъ гораздо болѣе широкіе предѣлы измѣнчивости. Онъ напоминаетъ о происхожденіи человѣка отъ низшихъ животныхъ формъ и спрашиваетъ: въ чемъ-же состоитъ норма человѣческой природы? Собственно говоря, въ этомъ именно вопросѣ все дѣло. Если гре-

Digitized by Google

ческіе философы, дѣятели такъ называемой эпохи возрожденія и писатели конца прошлаго вѣка, искавшіе въ природѣ опоры или исходной точки для морали, не были знакомы съ теоріей Дарвина, то не знали, вѣдь, ея и представители средневѣковаго аскетизма; такъ что и они были далеки отъ пониманія измѣнчивости въ тѣхъ формахъ и размѣрахъ, какіе признаются нынѣ г. Мечниковымъ. Но имъ г. Мечниковъ это прощаетъ, а противоположному теченію не прощаетъ собственно потому, что оно старалось и старается опредѣлить норму человѣческаго развитія; аскетическія-же ученія ни о какой нормѣ не думали, а просто извращали и ломали человѣческую природу. И это г. Мечниковъ ставитъ имъ въ заслугу, потому что,—спрашиваетъ онъ,—какъ можно говорить о нормѣ, когда человѣкъ, подобно всякому организованному существу, представляетъ собою нѣчто измѣнчивое, текучее? Г. Мечниковъ утверждаетъ даже, что человѣкъ „принадлежитъ къ числу наиболѣе измѣнчивыхъ (такъ называемыхъ полиморфныхъ) видовъ“, вслѣдствіе чего онъ преимущественно находится въ процессѣ примѣненія къ постоянно измѣняющимся внѣшнимъ условіямъ. Съ этой точки зрѣнія г. Мечниковъ особенно не одобряетъ теорій гармоническаго, всесторонняго развитія, какъ-бы онѣ ни были обставлены и поставлены. Древній грекъ, Гумбольдтъ, современный естествоиспытатель Зейдлицъ, самъ Дарвинъ, если онъ проговаривается въ пользу гармоническаго развитія, гр. Толстой, отметающій всякихъ Зейдлицевъ и Дарвиновъ,—все это люди, равно виноватые въ непониманіи „истинной природы человѣка“, каковы-бы ни были ихъ исходныя точки, ихъ пріемы доказательства, степень ихъ познаній въ другихъ отношеніяхъ, характеръ ихъ взглядовъ на прошлую исторію человѣка. При всей дикости своихъ воззрѣній, средневѣковые аскеты лучше понимали дѣло, потому что допускали возможность такихъ коренныхъ, глубокихъ измѣненій человѣческой природы, какихъ... какихъ видъ homo sapiens никогда не испытывалъ въ прошедшемъ и какія г. Мечниковъ прожектируетъ только для отдаленнаго будущаго, а, можетъ быть, впрочемъ, и не очень отдаленнаго...

Свои возраженія противъ теоріи гармоническаго или всесторонняго развитія г. Мечниковъ открываетъ указаніемъ на существованіе въ человѣческомъ организмѣ такъ называемыхъ рудиментарныхъ, заглохшихъ или глохнущихъ органовъ, доставшихся

Digitized by Google

ему по наслѣдству отъ какого-нибудь низшаго животнаго. Что же, спрашивается, и эти заглохшіе органы должны быть упражняемы во имя всесторонняго гармоническаго развитія всѣхъ силъ и способностей? Но, вѣдь, это значитъ понизить человѣческую природу, свести ее къ тому уровню, на которомъ она когда-то была, еще не будучи человѣческою. Этого-ли желаютъ теоретики гармоническаго развитія?

Аргументъ этотъ г. Мечниковъ считаетъ очень важнымъ. Онъ выставилъ его въ статьѣ „Очеркъ воззрѣній на человѣческую природу" и безъ малаго черезъ пятнадцать лѣтъ повторилъ его въ статьѣ о гр. Толстомъ („Законъ жизни"). До такой степени повторился, что и фактическая часть аргументаціи за пятнадцать лѣтъ не наросла, такъ что г. Мечниковъ привелъ, значитъ, рѣшительно все, что могъ. А это „все", надо правду сказать, довольно незначительно. Мы видѣли, что въ статьѣ „Законъ жизни" г. Мечниковъ съ нѣкоторою подробностью останавливается только на сгибательныхъ и хватательныхъ мускулахъ ноги, утраченныхъ человѣкомъ, и иронически предлагаетъ гр. Толстому развивать и ихъ въ числѣ прочихъ органовъ. Мы видѣли также, однако, что эти мускулы вовсе не составляютъ необходимой принадлежности человѣческаго типа. Но если-бы мы и занялись ихъ упражненіемъ, то отъ этого еще никакой бѣды не произошло-бы. Въ № 3 „Revue Scientifique" за нынѣшній годъ напечатана любопытная статья Реньо „Le pied prehensile des indiens". Въ этой статьѣ говорится объ индусскихъ (а частью и египетскихъ) токаряхъ, сапожникахъ, мясникахъ, рабочихъ на мѣди и вообще по металлу и проч., которые работаютъ единовременно и руками, и ногами. И это не случайныя уродства, а обычный порядокъ для цѣлаго рабочаго населенія (одного такого египетскаго токаря я видѣлъ на вѣнской выставкѣ 1873 г. и изумлялся рукоподобности его ноги). По соображеніямъ, которыя было-бы слишкомъ долго приводить, Реньо думаетъ, что хватательныя движенія ноги отнюдь не составляютъ въ данномъ случаѣ обезьяньяго наслѣдства, а выработаны уже человѣкомъ. Но никто, я полагаю, не скажетъ, что въ лицѣ индусовъ человѣческій типъ понизился. Такимъ образомъ, хватательная способность ноги составляетъ по отношенію къ человѣку признакъ безразличный. О другихъ рудиментарныхъ органахъ, вродѣ хвостоваго отростка или остатковъ шерстянаго покрова, нечего и говорить. О хвостѣ Дарвинъ за-

Digitized by Google

мѣчаетъ, что уже у нѣкоторыхъ родовъ обезьянъ онъ составляетъ безразличный органъ, вслѣдствіе чего въ этихъ родахъ и замѣчается чрезвычайная разница въ длинѣ хвостовъ. Что-же касается остатковъ шерстянаго покрова, то я напомню, что нѣкоторые средневѣковые аскеты, между прочимъ, никогда не стриглись, не брились и не чесались и, слѣдовательно, вполнѣ отдавались на этомъ пунктѣ „естественному" ходу вещей. Но это не мѣшаетъ г. Мечникову видѣть въ нихъ не только людей, но еще людей, уловившихъ тайну своей природы.

Вообще, рудиментарные, или остаточные органы, при всей своей многочисленности, нисколько не страшны для человѣческихъ идеаловъ и въ частности для идеала всесторонняго гармоническаго развитія. Г. Мечниковъ, по всей вѣроятности, приводитъ ихъ не въ качествѣ серьезной угрозы, а лишь какъ свидѣтельство измѣнчивости человѣческой природы. Но измѣнчивость эта не только не отрицается, а даже непремѣнно предполагается теоріей гармоническаго развитія. Точно также не отрицается, а предполагается его возможность и необходимость овладѣть этою силой измѣнчивости и направить ее въ извѣстную сторону. Разногласіе между г. Мечниковымъ и теоретиками гармоническаго развитія частью основано на недоразумѣніи, притомъ, чисто-словеснаго характера. Тутъ замѣшалось несчастное слово „естественность", котораго, при всей его неопредѣленности и многосложности, избѣжать нельзя по самому существу дѣла. Отрицая это слово въ нравственно-политической области совсѣмъ, г. Мечниковъ апеллируетъ, однако, къ естественности-же, когда рѣчь заходитъ о его собственныхъ идеалахъ. Измѣнчивость представляется ему чѣмъ-то архи-естественнымъ, естественнымъ par excellence; поэтому онъ склоненъ не замѣчать, что его оппоненты отнюдь не отрицаютъ измѣнчивости и что настоящій корень разногласія состоитъ не въ отношеніяхъ той и другой стороны къ природѣ, а въ вопросѣ о возможныхъ и желательныхъ предѣлахъ и направленіи измѣнчивости. Но за-то это разногласіе огромно и непримиримо.

Есть группа явленій общественной жизни, въ такой степени занимающая г. Мечникова, что едва-ли не ради нея именно онъ въ теченіе многихъ лѣтъ такими малостями, какъ остатки хвоста и шерстянаго покрова, обезпокоивается, извращеніе всѣхъ при-

Digitized by Google

родныхъ инстинктовъ объявляетъ естественнымъ, а гармони-
ское развитіе неестественнымъ. Это—группа явленій, относящих
къ половой жизни во всѣхъ ея развѣтвленіяхъ; сюда относят
тѣсно соприкасающіеся вопросы о любви, о размноженіи, о же
скомъ трудѣ и образованіи, о положеніи женщинъ вообще. Н
просы эти дѣйствительно очень важны, и мы должны быть б
годарны человѣку науки, спускающемуся съ высотъ отвлеченна
знанія для участія въ пререканіяхъ о вопросахъ практическ
жизни. Правда, насчетъ надобности и возможности этой помо
со стороны людей науки отнюдь не всѣ согласны. Есть не ма
сознательныхъ или безсознательныхъ служителей мрака, гро
гласно или исподтишка утверждающихъ, что мы можемъ наилу
шимъ образомъ устроиться въ своей практической жизни бе
всякихъ указаній науки,—дескать, чортъ съ ней! Одни пред
гаютъ довольствоваться „любовью“, другіе рекомендуютъ, въ
чествѣ панацеи, „дисциплину“, третьи—право, ужъ не знаю ч
И не всегда благополучно бываетъ отъ этихъ проповѣдей. Но
сами люди науки далеко не вполнѣ согласны относительно сво
роли въ нравственно-политической области (я только правствен
политическую область и имѣю въ виду, потому что права и об
занности науки по отношенію къ другой великой вѣтви практ
ческой жизни—технологическихъ приспособленій всякаго рода
никакихъ пререканій не вызываютъ).

Въ „Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ“ отъ 6 и 19 фе
раля, то-есть на протяженіи всего одной чортовой дюжины дне
я прочиталъ два рѣзко противоположныя мнѣнія двухъ профе
соровъ харьковскаго университета, гг. Куликовскаго и Влад
мірова. Въ № отъ 6 февраля напечатана рѣчь проф. Владиміро
въ № отъ 19 февраля напечатанъ фельетонъ („Литературныя
мѣтки“) г. Куликовскаго, мотивированный одною изъ моихъ б
сѣдъ о гр. Толстомъ. Г. Владиміровъ, оглядываясь на свое двад
типятилѣтнее служеніе университетской наукѣ, упоминаетъ, меж
прочимъ, о томъ значеніи, которое онъ въ разное время прид
валъ университетамъ. Первоначально онъ держался мнѣнія Милл
„задача университета состоитъ въ развитіи духа изслѣдованія
странѣ“. Затѣмъ это опредѣленіе показалось ему слишкомъ узки
и неопредѣленнымъ. Онъ рѣшилъ такъ: „университетъ, ка
хранилище всѣхъ отраслей человѣческаго знанія, какъ universit
scientiarum, даетъ болѣе общее, разностороннее и общечеловѣ

Digitized by Google

ское развитіе и содѣйствуетъ выработкѣ цѣльнаго міросозерцанія". Нынѣ г. Владиміровъ полагаетъ, что и эта задача страдаетъ неполнотою и односторонностью; онъ полагаетъ, что университетъ долженъ взять на себя еще одну важную задачу. И именно вотъ какую: „Никогда еще внѣшняя жизнь человѣка не была такъ богата и украшена удобствами и изобрѣтеніями, какъ въ нашу эпоху... Но между тѣмъ какъ внѣшняя жизнь дѣлаетъ гигантскіе шаги впередъ, внутренняя жизнь, жизнь человѣческой души, не дѣлаетъ въ обширной массѣ народа успѣховъ... Электричество горитъ все ярче и ярче, а потемки человѣческой души все болѣе и болѣе сгущаются! Не указываетъ-ли такое положеніе вещей на новую задачу стараго университета? Не долженъ-ли старый университетъ развернуть новое знамя, поставивъ на немъ девизомъ: нравственное усовершенствованіе, просвѣщеніе человѣческой души? Между тѣмъ какъ церковь стремится достичь этой цѣли путемъ религіи, не долженъ-ли университетъ просвѣщать душу выработкою нравственныхъ идеаловъ, обсужденіемъ моральныхъ вопросовъ, научною разработкой вопросовъ жизни? Я лично глубоко убѣжденъ, что университетъ долженъ поднять это знамя, долженъ обновить свое существованіе этою великою задачей. Просвѣщеніе человѣческой души должно сдѣлаться миссіею университета, и онъ опять станетъ во главѣ движенія человѣчества къ большему совершенству".

Нельзя сказать, чтобы это разсужденіе г. Владимірова было вполнѣ безупречно. Позволительно думать, — и въ настоящую минуту больше, чѣмъ когда-нибудь, — что не одна „внутренняя жизнь, жизнь человѣческой души, не дѣлаетъ въ обширной массѣ народа успѣховъ". „Обширную массу народа" „гигантскіе шаги внѣшней жизни" не къ чрезмѣрному комфорту, а къ хлѣбу изъ лебеды, да къ избѣ безъ крыши привели. Затѣмъ, было-бы, можетъ быть, правильнѣе не пріурочивать миссію „просвѣщенія человѣческой души" исключительно къ университетамъ, а распространить ее на науку вообще. Какъ-бы то ни было, но вотъ представитель науки желаетъ возложить на науку „выработку нравственныхъ идеаловъ, обсужденіе моральныхъ вопросовъ, разработку вопросовъ жизни". Совсѣмъ иначе смотритъ на дѣло другой представитель науки, г. Куликовскій, быть можетъ, ближайшій сосѣдъ г. Владимірова по аудиторіямъ въ харьковскомъ университетѣ. Онъ говоритъ: „Къ міру субъективному, міру стра-

Digitized by Google

стей и интересовъ жизни, отношенія науки сводятся, главнымъ образомъ, къ тому, что отъ времени до времени онъ бросаетъ этому міру то или другое полезное изобрѣтеніе, телеграфъ, телефонъ, примѣненіе пара, практическую медицину, разные благіе совѣты—гигіены, практической политики, политической экономіи и т. д.". И далѣе: „Наука никакихъ нравственныхъ ученій не провозглашаетъ, но, безъ сомнѣнія, въ далекомъ будущемъ обновитъ міръ, то-есть человѣчество, именно въ нравственномъ отношеніи; ибо она вращается въ сферѣ объективнаго, а рѣшеніе нравственной проблемы и, что еще важнѣе, моральное воспитаніе человѣчества, совершенно также, какъ и его умственное воспитаніе, осуществляется постепенно, вѣками, путемъ развитія и усовершенствованія объективныхъ сторонъ нашего духа,—иными словами, нравственный ростъ человѣчества есть ростъ его разума".

Итакъ, наука г. Владимірова хочетъ просвѣтить насъ прямою выработкой нравственныхъ идеаловъ и обсужденіемъ моральныхъ вопросовъ, а наука г. Куликовскаго согласна только бросать „суъективному міру" время отъ времени какое-нибудь полезное изобрѣтеніе и никакими нравственными идеалами заниматься не хочетъ. И то, и другое очень гордо, но гордость науки г. Владимірова кажется мнѣ гораздо болѣе симпатичною. И не только болѣе симпатичною, но и болѣе основательною. Нравственный идеалъ есть, вѣдь, тоже своего рода „полезное изобрѣтеніе", такъ что не видно, почему-бы и его, хотя-бы наравнѣ съ телеграфомъ и телефономъ, не могла намъ, простымъ смертнымъ, „бросить" наука. Разумѣю науку вообще, какъ разумѣетъ г. Куликовскій, а не тѣ, конечно, ея отрасли, которыя, по самой задачѣ своей, не могутъ предоставить „субъективному міру" ничего, кромѣ телеграфа, телефона, бездымнаго пороха или пушки, стрѣляющей на двадцать верстъ (не знаю, почему г. Куликовскій не помянулъ этихъ послѣднихъ „полезныхъ изобрѣтеній,—ихъ, вѣдь, тоже выбросила субъективному міру наука). Въ томъ субъективномъ мірѣ, который столь величественно презирается г. Куликовскимъ, бродятъ силы, ищущія свѣта, а наука г. Куликовскаго говоритъ имъ: ищите, кипите въ волненіяхъ страстей и интересовъ, устраивайтесь какъ знаете, я вамъ не помощница въ данную минуту, но пройдутъ вѣка, и вашихъ правнуковъ и пра-правнуковъ я обновлю въ нрав-

Digitized by Google

ственномъ отношеніи, просвѣтивъ ихъ разумъ. На такое категорическое заявленіе возражать нечего, даже въ томъ случаѣ, если-бы было доказано,—а это отнюдь не доказано,—что нравственный ростъ человѣчества есть ростъ его разума. Насильно милъ не будешь, но, въ такомъ случаѣ, не надо удивляться, если „субъективный міръ страстей и интересовъ жизни“, въ свою очередь, не хочетъ знать науки и употребляетъ бросаемые ему телеграфы и усовершенствованныя ружья иногда съ цѣлями, для поступательнаго хода науки неудобными. Это случается слишкомъ часто.

Къ счастію, гордость представителей науки не всегда направлена въ ту сторону, которую рекомендуетъ г. Куликовскій. Объ этомъ свидѣтельствуетъ, между прочимъ, и горячій призывъ г. Владимірова. И, конечно, мы можемъ только желать, чтобы на этотъ призывъ поскорѣе откликнулось возможно большее число собратовъ г. Владимірова по профессіи, чтобы благая мысль поскорѣе перешла въ благое дѣло. Не надо, однако, скрывать отъ себя и нѣкоторыхъ опасностей такого поворота. Собственно говоря, та величественная отчужденность, какая рисуется взору г. Куликовскаго, далеко не вполнѣ осуществляется и теперь. Самый фельетонъ г. Куликовскаго, хотя и не заключающій въ себѣ никакого „полезнаго изобрѣтенія“, есть уже нѣкоторое вмѣшательство въ субъективный міръ, міръ страстей и интересовъ жизни. Да и вообще высушить себя до полной величественности не всякому удастся. Если даже правда, что наука, какъ таковая, имѣетъ дѣло, по выраженію г. Куликовскаго, только съ „объективными сторонами нашего духа“, то въ ея живыхъ, конкретныхъ представителяхъ, все-таки, остается мѣсто и для страстей и интересовъ жизни. Натурально ждать руководящихъ указаній отъ этихъ просвѣтленныхъ знаніемъ и изощренныхъ размышленіемъ умовъ. Мы и знаемъ цѣлый рядъ оффиціальныхъ представителей науки, не отказывающихся принимать участіе въ жизненныхъ тревогахъ путемъ періодической печати и, поскольку возможно, устнаго слова. Не всегда, къ сожалѣнію, это вмѣшательство людей науки въ дѣло жизни можно признать удачнымъ. Многимъ, вѣроятно, еще памятна шумная исторія профессора Цитовича, который взялся отъ лица науки упорядочить нашъ міръ страстей и интересовъ жизни, но, несмотря на исключительно сильную поддержку, не расцвѣлъ и отцвѣлъ,

Digitized by Google

и не съ честью замолкъ. Другимъ примѣромъ можетъ служить нашъ знаменитый химикъ г. Менделѣевъ, голосъ котораго и посейчасъ не умолкаетъ въ области экономическихъ идеаловъ, вызывая, однако, лишь недоумѣніе своею фальшивостью. Но голосъ г. Менделѣева фальшивитъ потому, что онъ поетъ совсѣмъ ему чужую, незнакомую арію, въ которой совершенно не причемъ его заслуженно-громкая репутація человѣка науки, завоеванная имъ въ совершенно иной спеціальной области; а г. Цитовичъ хотя и говорилъ отъ лица науки, но ею даже и не пахло въ его надѣлавшихъ въ свое время шуму брошюрахъ и быстро исчезнувшей газетѣ. Подобные случаи еще ничего не говорятъ противъ вмѣшательства представителей науки въ міръ страстей и интересовъ жизни: это не наука вмѣшивается, а или, напротивъ, прямо-таки незнаніе, или не дисциплинированныя житейскія силы весьма невысокаго полета. Есть, однако, опасности, грозящія вмѣшательству вполнѣ искреннихъ и дѣйствительно свѣдущихъ представителей науки.

Наука безъ всякихъ нравственныхъ ученій „въ далекомъ будущемъ обновитъ міръ, то-есть человѣчество, именно въ нравственномъ отношеніи“, ибо „нравственный ростъ человѣчества есть ростъ его разума“. Эта увѣренность г. Куликовскаго есть самоувѣренность, и, притомъ, очень типичная. Метафизикъ, въ качествѣ спеціалиста по части выработки идей, чистыхъ отъ опытно-наблюдательной примѣси, довольно легко можетъ придти къ такому, напримѣръ, заключенію, что весь міръ есть не что иное какъ саморазвивающаяся идея. Художникъ, если онъ поклонникъ такъ называемой чистой красоты, охотно повторитъ слова г. Куликовскаго, только съ замѣной одного слова другимъ. Онъ скажетъ: „искусство безъ всякихъ нравственныхъ ученій въ далекомъ будущемъ обновитъ міръ, то-есть человѣчество, именно въ нравственномъ отношеніи“. Техникъ скажетъ, примѣрно, то-же самое, съ новою замѣной одного слова другимъ. Примѣры метафизика, съ одной стороны, и художника или техника—съ другой я ставлю за одну скобку въ томъ смыслѣ, что такъ или иначе, въ теоріи или въ практикѣ, человѣкъ склоненъ непомѣрно преувеличивать значеніе своей спеціальности и подавлять ею всѣ другія стороны жизни. Припомните только гётевскаго Вагнера, который въ первой части „Фауста“ рисуется узкимъ, но добросовѣстнымъ труженикомъ науки, а во второй части „бросаетъ субъективному міру

Digitized by Google

страстей и интересовъ жизни полезное изобрѣтеніе"—химическій способъ производства людей. Онъ необычайно гордъ своимъ открытіемъ: любовь со всѣми ея чарами,—любовь, эта могучая сила, поднимающая человѣка къ вершинамъ идеала и низвергающая его въ уличную грязь,—все это eitle Possen для Вагнера. Наука можетъ вполнѣ замѣнить функцію любви и обезпечить существоствованіе человѣческаго рода нѣкоторыми лабораторными пріемами. Бѣдный Вагнеръ! Созданный имъ лабораторный Homunculus оказался неблагодарнѣйшимъ существомъ, а потомство продолжаетъ производить дѣтей прежнимъ, не научнымъ способомъ, wie sonst das Zeugen Mode war. Самъ-же Вагнеръ навсегда остался типомъ самоувѣреннаго человѣка науки, подсовывающаго человѣчеству свои собственныя спеціальныя цѣли и полагающаго достоинство человѣка въ замѣнѣ всего житейскаго, какъ-бы оно ни было дорого, научнымъ.

Г. Мечниковъ не раздѣляетъ, повидимому, мнѣнія г. Куликовскаго относительно роли науки въ дѣлѣ выработки нравственныхъ идеаловъ. Онъ предлагаетъ нѣкоторое „полезное изобрѣтеніе", на которое мы сейчасъ посмотримъ ближе, но именно предлагаетъ, а не „бросаетъ"; онъ не презрительно, а, напротивъ, участливо относится къ субективному міру и не отказывается помочь намъ въ обсужденіи нравственно-политическихъ вопросовъ съ точки зрѣнія идеаловъ. Онъ даже, какъ мы видѣли, съ особенною силой настаиваетъ на этой точкѣ зрѣнія. Тѣмъ не менѣе, и онъ, подобно г. Куликовскому, а можетъ быть даже подобно Вагнеру, склоненъ вытѣснять всѣ стороны жизни функціей познанія. Онъ говоритъ въ статьѣ „Законъ жизни:" „Выводъ, сдѣланный болѣе тридцати лѣтъ назадъ Боклемъ въ результатѣ обзора пути, пройденнаго человѣчествомъ, подтверждается съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе. Самые прочные успѣхи, добытые людьми, это именно тѣ, которые совершены при помощи положительнаго знанія. Самыя серьезныя надежды, которыя можно лелѣять, должны быть возложены на дальнѣйшіе успѣхи въ той же области. Отсюда ясно, что непосредственною нашею цѣлью должно быть все то, что можетъ въ наибольшей степени содѣйствовать этимъ успѣхамъ".

Все это несравненно легче сказать, чѣмъ доказать. Выводъ Бокля, о которомъ говоритъ г. Мечниковъ, состоялъ въ томъ, что поступательный ходъ цивилизаціи обусловливается исключи-

Digitized by Google

тельно накопленіемъ знаній и вообще умственнымъ развитіемъ, такъ какъ нравственный элементъ неподвиженъ. Я говорю въ прошедшемъ времени: выводъ Бокля *состоялъ*,—потому что, въ противность мнѣнію г. Мечникова, полагаю, что выводъ этотъ отнюдь не подтверждается фактическимъ ходомъ событій. Въ „Исторіи матеріализма“ Ланге (396 стр. II тома русскаго перевода) читатель найдетъ остроумныя доказательства односторонности этого вывода. Я съ своей стороны обращу вниманіе читателей лишь на одну подробность вывода Бокля, могущую вызвать только улыбку, хотя, конечно, очень грустную. Бокль писалъ свою знаменитую книгу во время крымской войны и съ торжествомъ говорилъ: „Для характеристики современнаго общественнаго состоянія въ высшей степени важно, что миръ, безпримѣрно продолжительный, прерванъ не такъ, какъ прежде, ссорой между двумя образованными народами, но нападеніемъ необразованной Россіи на еще болѣе необразованную Турцію“. Правда, въ войнѣ приняли участіе такія просвѣщенныя націи, какъ Англія и Франція, но „теперь развитіе такъ сильно, что оба народа, отложивъ злостную и раздражительную зависть, съ которою прежде смотрѣли другъ на друга, соединились въ общемъ дѣлѣ и вынули мечъ не для эгоистическихъ цѣлей, а для защиты цивилизаціи отъ враждебныхъ варваровъ“. Съ 1855 года, когда были написаны эти наивныя строки, положительныя знанія достигли колоссальныхъ успѣховъ, но это не помѣшало цѣлому ряду войнъ между „образованными“ народами. И самая ужасная изъ этихъ войнъ произошла между образованнѣйшими націями, и вотъ уже двадцать лѣтъ прошло послѣ этой страшной схватки, а ощетинившаяся штыками Европа все еще не можетъ успокоиться и готовится къ новой, еще болѣе страшной схваткѣ. Въ ожиданіи ея, знанія продолжаютъ рости, и не только въ ожиданіи, а частью даже въ видахъ ея: каждая европейская страна старается изучить географію и языкъ сосѣдней страны, дѣлаетъ опыты воздухоплаванія съ военными цѣлями, вводитъ у себя бездымный порохъ и прочія „полезныя изобрѣтенія“, готовится примѣнить къ дѣлу разрушенія и убійства электричество, телефонъ. Съ этой точки зрѣнія не только не подтверждается выводъ Бокля, а, напротивъ, знаніе, образованность являются служителями и пособниками враждебныхъ цивилизаціи, звѣрскихъ инстинктовъ.

Скажутъ, можетъ быть, что не все-же такую роль играетъ

Digitized by Google

наука; укажутъ на такія ея отрасли, которыя расширяютъ наши горизонты, чисто-теоретически уясняя намъ наше мѣсто въ природѣ и уничтожая предразсудки,—на другія отрасли, явно способствующія мирнымъ цѣлямъ здоровья, матеріальнаго благосостоянія, вообще человѣческаго счастія. Это безспорно. Однако, и здѣсь значеніе науки или образованности существенно опредѣляется характеромъ даннаго общественнаго строя и заложенныхъ въ немъ нравственныхъ идеаловъ. Разливъ просвѣщенія въ массѣ зависитъ отъ распредѣленія труда и богатства между различными классами населенія. Велика сила науки, — она даетъ человѣку власть надъ природой, но не абстрактному человѣку, а такому, который, по условіямъ своего общественнаго положенія, можетъ воспользоваться этою властью. Велика сила науки, но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, что,—какъ говоритъ г. Мечниковъ,—„непосредственною нашею цѣлью должно быть все то, что можетъ въ наибольшей степени содѣйствовать успѣхамъ положительнаго знанія“. Я не совсѣмъ понимаю, что означаетъ въ этой фразѣ слово „непосредственный“; но, очевидно, г. Мечниковъ влагаетъ въ него какой-то исключительно значительный смыслъ, едва-ли въ данномъ случаѣ умѣстный. Въ „Очеркѣ воззрѣній на человѣческую природу“ г. Мечниковъ говоритъ, что „цѣль человѣческой жизни состоитъ въ достиженіи наивозможно большаго общаго блага или счастія въ самомъ широкомъ смыслѣ слова“. Знаніе, безспорно, можетъ и должно способствовать достиженію этой общей цѣли, знаніе и само по себѣ составляетъ извѣстную частную цѣль и представляетъ собою извѣстное благо, потому что удовлетворяетъ самостоятельной познавательной потребности человѣческой природы. Но рядомъ съ этою потребностью существуютъ и другія, столь-же самостоятельныя, а слѣдовательно, и другія частныя цѣли. Желательно, чтобы всѣ эти частныя цѣли другъ другу помогали, и, безъ сомнѣнія, знанію, наукѣ предстоитъ въ этомъ дѣлѣ огромная роль. Но наука должна, въ согласіи съ другими частными цѣлями, именно помогать общей цѣли, а не заслонять все собою, не замѣщать собою всѣ другія потребности и частныя цѣли. Если я хочу ѣсть, то знаніе можетъ мнѣ помочь въ розысканіи или приготовленіи пищи, но накормить меня знаніемъ нельзя,—это такой суррогатъ пищи, который и по нынѣшнимъ труднымъ временамъ никто голодному мужику не рѣшится предложить. Не доходя до такого явнаго

Digitized by Google

абсурда, люди науки бываютъ, однако, склонны поглощать потребностью и функціей познанія другія потребности и функціи.

Вотъ почему, горячо привѣтствуя призывъ г. Владимірова, слѣдуетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, желать, чтобы вмѣшательство людей науки въ субъективный міръ страстей и интересовъ жизни было произведено съ нѣкоторою осмотрительностью, чтобы это было даже не вмѣшательство, а взаимодѣйствіе. Примѣръ Бокля, о которомъ г. Мечниковъ упомянулъ столь неосторожно, въ высокой степени поучителенъ. Серьезный, трудолюбивый, можно сказать, обремененный знаніемъ мыслитель, прогремѣвшій своею книгой на весь цивилизованный міръ, притомъ спеціальный врагъ легковѣрія, оказался до смѣшного легковѣренъ. Подобные случаи, конечно, не способствуютъ укрѣпленію авторитета науки, хотя именно его то Бокль и хотѣлъ укрѣпить. И если, по какому-то странному недоразумѣнію, г. Мечниковъ, вопреки кроваво-яркой очевидности, съ побѣдоноснымъ видомъ ссылается на несчастный выводъ Бокля, то это показываетъ только, какъ много должны поработать надъ собой люди науки, прежде чѣмъ вмѣшаться въ дѣло жизни. Они должны проникнуться сознаніемъ, что наука есть лишь одинъ изъ факторовъ жизни, безспорно, въ высокой степени важный; что жизнь, слагающаяся изъ многихъ факторовъ, въ цѣломъ несравненно сильнѣе науки. Данная форма житейскихъ отношеній,—международныхъ, политическихъ, соціальныхъ, семейныхъ, — можетъ, конечно, видоизмѣняться подъ прямымъ вліяніемъ положительныхъ знаній, но это видоизмѣненіе происходитъ крайне медленно, съ періодическими задержками и пріостановками; наоборотъ, съ чрезвычайною быстротой всякая данная форма житейскихъ отношеній обращаетъ въ свою пользу результаты науки, ассимилируетъ ихъ. Взаимную ненависть французовъ и нѣмцевъ не сгладили вѣка просвѣщенія; наоборотъ, всякое научное открытіе, каждый шагъ науки впередъ, если его можно будетъ утилизировать съ цѣлями убійства и разрушенія, завтра-же будетъ пущенъ въ ходъ и нѣмцами, и французами. Люди науки должны поэтому бросить мечту, что просвѣщеніе само по себѣ, безъ всякой сторонней помощи, приведетъ все къ наилучшему концу. Эта мечта столько-же надменная, сколько и неосновательная, какъ-бы ни любовался г. Мечниковъ выводомъ Бокля и какъ-бы ни презиралъ г. Куликовскій субъективный міръ страстей и интересовъ жизни. Но г. Куликовскій до такой степени

Digitized by Google

твердъ въ своемъ презрѣніи къ субъективному міру, что довольствуется швыряніемъ полезныхъ изобрѣтеній въ толпу непросвѣщенной черни, предоставляя ей распоряжаться этими изобрѣтеніями какъ ей угодно. Г. же Мечниковъ находится, повидимому, совсѣмъ въ иномъ положеніи. Онъ говоритъ о нравственныхъ идеалахъ, онъ желаетъ путемъ науки поспособствовать возникновенію новыхъ, лучшихъ формъ житейскихъ отношеній. Великую, архи-естественную силу измѣнчивости онъ желаетъ направить въ русло извѣстнаго нравственно-политическаго идеала. Дѣло не обходится при этомъ безъ нѣкотораго „полезнаго изобрѣтенія", но, какъ уже сказано, г. Мечниковъ не „бросаетъ" его субъективному міру безъ дальнѣйшихъ о немъ заботъ, а сопровождаетъ своими указаніями и мотивами.

Любовь есть источникъ многихъ радостей, блеска жизни, возвышенныхъ настроеній, самоотверженныхъ поступковъ. По словамъ Шиллера, „не любовью-ль мы равны богамъ?" Ссылаясь на эти слова великаго нѣмецкаго поэта, я отнюдь, впрочемъ, не думаю, чтобы сильнѣе этого не сказали чего-нибудь о счастьи любви тотъ-же Шиллеръ и другіе поэты разныхъ калибровъ. Просто вспомнилось уравненіе человѣка съ богами любовью. А на пересмотръ всего, сказаннаго на эту тему даже только первостепенными поэтами, пришлось-бы употребить, пожалуй, нѣсколько дней. Немудрено: поэты ищутъ красоты, а уже въ растительномъ мірѣ порѣ любви соотвѣтствуютъ особенно красивыя формы, яркія краски, сильные ароматы. Въ животномъ мірѣ къ этимъ красотамъ присоединяется еще красота звуковъ,—влюбленному соловью сами поэты могутъ позавидовать. Человѣкъ тоже экстренно принаряжается въ пору любви, душой и тѣломъ принаряжается, всѣмъ своимъ существомъ чувствуя наступленіе праздника жизни. Однако, поэты не мало стиховъ посвятили и оборотной сторонѣ медали: печалямъ и мукамъ любви. Любовь безъ взаимности, муки ревности, невольная разлука, разочарованіе, неудовлетворенность любви,—все это „давно описано, воспѣто". Въ преддверіи „Книги пѣсенъ" Гейне лежитъ чудовищно-прекрасный символъ любви, Сфинксъ. Онъ есть ein Zwitter von Schrecken und Lüsten, и въ объятіяхъ этого загадочнаго существа поэтъ испытываетъ entzückende Marter und wonniges Weh (муки восторга и сладкую

Digitized by Google

боль), — der Schmerz wie die Lust unermesslich! Но поэтическія воспроизведенія оборотной стороны медали любви страдаютъ излишествомъ красоты. Перерабатывая житейскіе факты въ горнилѣ своего вдохновенія, поэты ищутъ и находятъ даже особенную красоту въ этомъ сочетаніи контрастовъ—скорби и счастья, восторга и боли. Кстати-же, „любовь" и „кровь", Herz и Schmerz, charmes и larmes такъ хорошо риѳмуются (я нарочно просмотрѣлъ для образчика нѣсколько большихъ и малыхъ пьесъ Альфреда Мюссе и ни разу не наткнулся на иную риѳму къ charmes, какъ larmes, за-то эта риѳма попадалась очень часто). Въ жизни, однако, не всегда это такъ красиво выходитъ. Обдавая человѣка своею чарующею волной, любовь сообщаетъ ему (или ей) иногда высокій подъемъ духа и дѣлаетъ его борцомъ и творцомъ въ лучшемъ смыслѣ этихъ словъ. Тогда, какъ говоритъ у Тургенева Шубинъ объ Инсаровѣ и Еленѣ, „натянуты струны,— звени на весь міръ или порвись!" Но изъ того-же корня ростутъ и другіе цвѣты — ядовитые, гнусные, мелкіе, безобразные, забрызганные грязью. На нихъ уже есть намеки въ той „Травіатѣ", которую Инсаровъ и Елена сочувственно слушали въ Венеціи. Но и „Травіата" подкрашена поэзіей. Любовь слишкомъ часто въ дребезги разбиваетъ сердце при самыхъ гнусныхъ, отнюдь не поэтическихъ условіяхъ и низвергаетъ человѣка въ бездонные омуты всяческой мерзости и превращаетъ его въ существо хуже всякаго звѣря. Пестрая картина счастья и скорби, подвиговъ и преступленій станетъ еще ярче и пестрѣе, если мы введемъ въ нее естественное послѣдствіе любви — дѣтей. Немудренно поэтому, что человѣчество не довольствуется поэтическими откликами на радостную и скорбную стороны дѣла, а издревле ищетъ какого-нибудь выхода. Ищетъ его и г. Мечниковъ.

Въ качествѣ дарвиниста г. Мечниковъ не могъ, разумѣется, обойти основной терминъ дарвинизма, заимствованный имъ у Мальтуса, — несоотвѣтствіе силы размноженія съ размѣромъ средствъ существованія. Это — первая дисгармонія, развитая по волѣ органической природы и ясно свидѣтельствующая, что „естественный" еще не значитъ благодѣтельный, разумный, правильный съ человѣческой точки зрѣнія. Г. Мечниковъ не останавливается, однако, долго на этой коренной дисгармоніи и отмѣчаетъ только сознательныя старанія человѣка устранить, сгла-

Digitized by Google

дить ее. „Съ этою цѣлью, — говоритъ онъ, — человѣкъ или старается увеличить свои средства, или-же замедляетъ вступленіе въ бракъ, или, наконецъ, искусственнымъ путемъ уменьшаетъ число рожденій. Только тѣ люди одерживаютъ побѣду въ борьбѣ за существованіе, которые слѣдуютъ по одному изъ этихъ путей; безпечные-же люди оказываются въ числѣ побѣжденныхъ. Такимъ образомъ, въ человѣческомъ мірѣ сознаніе и воля являются факторами подбора, который въ мірѣ остальныхъ организмовъ справляется безъ нихъ, и основной разладъ устраняется при помощи самого человѣка, активнѣйшаго изъ всѣхъ живыхъ существъ“ („Очеркъ воззрѣній на человѣческую природу“).

Итакъ, природа вложила въ насъ, наравнѣ съ прочими живыми существами, чрезмѣрную жажду любви, результатомъ которой является чрезмѣрное размноженіе. Отсюда многоразличныя драмы, уловленныя и не уловленныя поэтами. Въ животномъ мірѣ всѣ эти драмы сливаются, какъ рѣки въ море, въ одну общую, страшную, но, съ дарвинистской точки зрѣнія, благодѣтельную: принаряженные любовью самцы дерутся изъ-за самки и одолѣваютъ сильнѣйшіе, болѣе ловкіе или вообще наиболѣе приспособленные; изъ продуктовъ любви, достигающихъ числомъ иногда до сотенъ тысячъ и милліоновъ, выживаютъ опять-таки лучшіе, сильнѣйшіе, и, такимъ образомъ, изъ тысячъ и тысячъ насильственныхъ смертей возникаетъ лучшая, высшая жизнь. Нѣкоторые дарвинисты желаютъ или, по крайней мѣрѣ, желали распространить этотъ двумысленно-утѣшительный выводъ и на человѣчество. Но г. Мечниковъ добрѣе (Мальтусъ тоже былъ добрѣе). Онъ желаетъ, чтобы человѣчество, по возможности, избѣгало благодѣтельной драмы борьбы за существованіе, и указываетъ для этого три пути, которыми, впрочемъ, люди и раньше пробовали пользоваться: во-первыхъ, увеличеніе средствъ существованія; во-вторыхъ, замедленіе вступленія въ бракъ и, въ-третьихъ, искусственное уменьшеніе числа рожденій.

Вопроса объ увеличеніи средствъ существованія г. Мечниковъ совсѣмъ не касается, только упоминаетъ о немъ, вѣроятно, полагая себя недостаточно компетентнымъ. За-то второму и третьему пункту удѣляетъ много вниманія. Второму пункту— замедленію вступленія въ бракъ — онъ посвятилъ спеціальное изслѣдованіе „Возрастъ вступленія въ бракъ“ („Вѣстникъ Европы“ 1874 г.); третьимъ пунктомъ — искусственнымъ уменьшеніемъ

Digitized by Google

числа рожденій — занятъ онъ преимущественно въ статьѣ о гр. Толстомъ.

Главный интересъ статьи „Возрастъ вступленія въ бракъ“ состоитъ въ указаніи на существованіе дисгармоніи въ развитіи человѣка. Моментъ половой зрѣлости (психически выражающейся первыми порывами любви), моментъ общей физической зрѣлости и моментъ вступленія въ бракъ не всегда совпадаютъ, хотя они всѣ имѣютъ одну и ту-же цѣль — удовлетвореніе стремленія къ поддержанію вида (размноженіе). Такъ, напримѣръ, дѣвушка можетъ достигнуть половой зрѣлости, что́ выражается вполнѣ опредѣленными физіологическими явленіями, а въ ея общемъ физическомъ развитіи можетъ къ этому времени еще не хватить достаточнаго для плодоношенія развитія тазовыхъ костей; или-же она можетъ, достигнувъ полной зрѣлости въ обоихъ этихъ отношеніяхъ, въ теченіе многихъ лѣтъ оставаться дѣвственницею. Точно также, какъ всѣмъ извѣстно, и мужчина вступаетъ въ бракъ не тотчасъ по достиженіи половой зрѣлости, а иногда всю жизнь остается холостякомъ. „Эти промежутки,—говоритъ г. Мечниковъ, — означающіе неравномѣрное, и, слѣдовательно, неодновременное развитіе аппаратовъ, служащихъ для одной и той-же цѣли, составляютъ доказательство существованія дисгармоніи въ развитіи человѣка“. Въ жизни эти дисгармоническіе періоды“, какъ обстоятельно и справедливо доказываетъ г. Мечниковъ, отражаются усиленною смертностью, самоубійствами, преступленіями, душевными болѣзнями,—словомъ, цѣлымъ рядомъ драмъ, зависящихъ отъ неудовлетворенія или неправильнаго удовлетворенія потребности любви.

Надо замѣтить, что на дисгармоническіе періоды, какъ они освѣщаются въ статьѣ „Возрастъ вступленія въ бракъ“, г. Мечниковъ ссылается и въ послѣдующихъ своихъ статьяхъ. Онъ видитъ въ этой дисгармоніи одинъ, и едва-ли не самый важный, изъ фактическихъ камней преткновенія для теоріи гармоническаго развитія и для ссылокъ на человѣческую природу, какъ на образецъ и руководство. Какъ можно искать руководства въ „естественныхъ“ процессахъ, когда они отражаются въ жизни тяжелыми и кровавыми драмами? И какъ, въ особенности, можно возлагать надежды на гармоническое развитіе, когда въ самой природѣ человѣка заложена такая рѣшительная дисгармонія? На это теоретики гармоническаго развитія могли-бы, однако, возра-

Digitized by Google

зить: ну, такъ что-жъ? — надо, значитъ, замѣнить дисгармонію гармоніей, хотя-бы и вопреки естеству. Но дѣло-то въ томъ, что, приглядываясь къ дисгармоническимъ періодамъ г. Мечникова ближе, мы увидимъ, что естество, природа человѣка тутъ не причемъ или почти не причемъ. Спрашивается, какіе такіе „аппараты“ развиваются при вступленіи человѣка въ бракъ — аппараты, запаздываніе которыхъ вызываетъ одинъ изъ дисгармоническихъ періодовъ? Для ясности остановимся на одной изъ фактическихъ иллюстрацій г. Мечникова. У нѣкоторыхъ африканскихъ негровъ браки совершаются очень рано, вскорѣ послѣ наступленія половой зрѣлости; но, все-таки, жениться негръ можетъ не раньше, какъ ставши „собственникомъ нѣсколькихъ трубокъ, стула, сундука, выстроивши избу и поймавши плѣннаго“. Промежутокъ между моментомъ наступленія половой зрѣлости и моментомъ вступленія въ бракъ, то-есть моментомъ пріобрѣтенія нѣсколькихъ трубокъ и проч., есть дисгармоническій періодъ, чреватый драмами. Послѣднее понятно: дикій негръ, въ которомъ проснулась физіологическая основа любви, долженъ подчиниться стѣснительному обычаю и добывать трубки, строить избу, ловить плѣннаго; онъ легко можетъ не выдержать и совершить преступленіе или съ отчаянія дойти до психическаго разстройства. Но если трубки и сундукъ и можно въ извѣстномъ смыслѣ назвать „аппаратами“, такъ, вѣдь, не въ природѣ-же человѣка онѣ заложены, трубки-то? Такъ и въ нашемъ быту. Половая зрѣлость для какого-нибудь Иванова или Петрова наступаетъ лѣтъ въ 15, а въ бракъ онъ, по соображеніямъ о средствахъ содержанія семьи, вступаетъ, положимъ, въ 30 лѣтъ, когда получитъ мѣсто столоначальника. Пятнадцатилѣтній промежутокъ между возрастомъ половой зрѣлости и возрастомъ вступленія въ бракъ есть дисгармоническій періодъ, наполненный опасностями тоски, разврата, болѣзней, но Ивановъ дожидается не развитія какихъ-нибудь „аппаратовъ“ своего организма, а просто мѣста столоначальника или невѣсты съ приданымъ. Не природа человѣка, а извѣстныя условія общежитія вызываютъ большинство драмъ любви, и г. Мечниковъ, обвиняя природу, валитъ съ больной головы на здоровую, по крайней мѣрѣ, на этомъ пунктѣ. Онъ, впрочемъ, и самъ приводитъ любопытные факты и даже дѣлаетъ любопытныя обобщенія, опровергающія его обвинительный актъ противъ природы по вопросу о дисгармоническихъ

Digitized by Google

явленіяхъ половой жизни. На основаніи длиннаго ряда этнографическихъ и статистическихъ данныхъ, онъ приходитъ къ заключенію, что дисгармоническіе періоды ростутъ вмѣстѣ съ цивилизаціей; у дикарей они, вообще говоря, отсутствуютъ, а у цивилизованныхъ народовъ болѣе или менѣе продолжительны; у низшихъ классовъ въ цивилизованныхъ странахъ они короче, чѣмъ у высшихъ, у сельскаго населенія короче, чѣмъ у городского. Значитъ, по крайней мѣрѣ, этотъ изъянъ зависитъ не отъ природы человѣка, а отъ какихъ-то неправильностей въ культурѣ, въ формахъ общественности. Мѣсто столоначальника, невѣсту съ приданымъ, табачныя трубки, сундуки нельзя ставить въ прямой счетъ человѣческой природѣ. Это до такой степени вѣрно, что самъ г. Мечниковъ говоритъ: „Изъ того, что европейскія цивилизаціи сопровождаются опредѣленными видоизмѣненіями семейной жизни, еще не слѣдуетъ, чтобы всякое вообще развитіе представляло тотъ-же характеръ“.

Какъ-бы то ни было, но путь „замедленія вступленія въ бракъ“, который г. Мечниковъ рекомендовалъ для обихода основной дисгармоніи между силою размноженія и размѣромъ средствъ пропитанія,—этотъ путь мы должны отвергнуть, если не хотимъ попасть изъ огня въ полымя, изъ кулька въ рогожку. Путь этотъ, какъ удостовѣряетъ самъ г. Мечниковъ, въ свою очередь, ведетъ къ бѣдѣ, — къ дисгармоническимъ періодамъ и связаннымъ съ ними житейскимъ драмамъ.

Но у насъ остается въ запасѣ еще одинъ путь,—путь искусственнаго уменьшенія числа рожденій; онъ-то и приведетъ насъ къ счастію. Мальтусіанцы давно указывали на это средство для водворенія на землѣ мира и въ человѣкахъ благоволенія. Но они разное понимали подъ искусственною задержкой размноженія и, въ виду щекотливости темы, рѣдко говорили вполнѣ откровенно. Г. Мечниковъ тоже не вполнѣ ясенъ, но, насколько понимать можно, онъ, какъ говорится, хватаетъ быка прямо за рога и предлагаетъ до такой степени радикальное рѣшеніе вопроса, что никакимъ щекотливостямъ не остается мѣста.

Г. Мечниковъ находитъ, что женщина собственно не настоящій человѣкъ, а нѣчто вродѣ личинки человѣка („личинкоподобный“), недоразвитый человѣкъ. Это недоразвитость женщины видитъ г. Мечниковъ, однако, не въ какихъ-нибудь анатомическихъ и физіологическихъ признакахъ, а въ нравственныхъ и преиму-

Digitized by Google

щественно умственныхъ чертахъ женскаго типа, каковыя черты и изображаются имъ красками, не имѣющими ничего общаго съ комплиментами. Это, конечно, хорошо. Женщины слышатъ достаточно похвалъ отъ поэтовъ, и трезвому человѣку науки не подобаетъ приставать къ этому хору; его дѣло—истина, какъ-бы она ни была печальна или непріятна дамамъ и поэтамъ. Но, все-таки, сравненіе женщины съ личинкой надо понимать именно только какъ сравненіе, какъ метафору. Г. Мечниковъ упоминаетъ о нѣкоторыхъ насѣкомыхъ, у которыхъ самцы крылаты, а самки безкрылыя и дѣйствительно, похожи на личинокъ. У человѣка такъ рѣзко выраженныхъ вторичныхъ половыхъ признаковъ нѣтъ. Недоразвитость женщины сводится къ гораздо болѣе тонкимъ, чисто-психическимъ чертамъ. Можно-бы было думать, что причины этой недоразвитости лежатъ въ условіяхъ воспитанія женщины и вообще окружающей ее умственной и нравственной атмосферы. Г. Мечниковъ согласенъ допустить это до извѣстной степени, но полагаетъ, что центръ тяжести такъ называемаго женскаго вопроса лежитъ не въ этомъ. Не въ томъ главная бѣда, что женщинъ плохо учатъ или совсѣмъ не учатъ и держатъ въ сторонѣ отъ всѣхъ высшихъ духовныхъ интересовъ. Если-бы мы ихъ принуждали къ высшимъ сферамъ сознанія и воли, онѣ остались-бы, все-таки, личинками и только портили-бы своимъ вмѣшательствомъ общечеловѣческое дѣло. Такъ будетъ до тѣхъ поръ, пока женщины будутъ рожать. На этотъ корень женской недоразвитости мы и должны обратить дѣйственное вниманіе, если хотимъ измѣнить порядокъ вещей, грозящій безконечными драмами любви. Женщины очень плохи, но тутъ-то насъ и можетъ выручить архи-естественная сила измѣнчивости. Г. Мечниковъ, несмотря на свое невысокое мнѣніе о женщинахъ, не только не врагъ женскаго образованія и женскаго труда, но, напротивъ, одинъ изъ самыхъ горячихъ защитниковъ такого расширенія сферы женской жизни. Но онъ находитъ, что для этого сфера женской жизни должна быть урѣзана въ другомъ отношеніи. Женщины очень плохи, но,—спѣшитъ успокоить своихъ читательницъ г. Мечниковъ,—„никто, конечно, не выведетъ изъ моихъ словъ, чтобъ я утверждалъ, будто женщина неспособна къ развитію и должна во всѣхъ случаяхъ и вѣчно оставаться на личинкоподобной стадіи развитія. Я утверждаю только, что прогрессивное развитіе женщины должно совершаться въ ущербъ ея

Digitized by Google

способности размножаться, выкармливать и воспитывать дѣтей, совершенно подобно тому, какъ усиленная дѣятельность рабочихъ пчелъ, муравьевъ и термитовъ могла явиться не иначе, какъ вмѣстѣ съ появленіемъ безплодія или-же плодовитости въ экстренныхъ, исключительныхъ случаяхъ". Г. Мечниковъ писалъ это еще въ 1874 г., въ статьѣ „Возрастъ вступленія въ бракъ". Въ прошломъ 1891 г., въ статьѣ „Законъ жизни", онъ окончательно выяснилъ намъ (да и себѣ самому, кажется) свою идею, которая его, по всѣмъ видимостямъ, давно и усиленно занимала. Читатель помнитъ эту статью, мотивированную нѣкоторыми сторонами ученія гр. Толстого. Въ ней, пріемами и фактами, которые уже раньше пускались имъ въ ходъ, г. Мечниковъ старается опровергнуть теорію гармоническаго развитія; ратуетъ противъ излишняго довѣрія или преклоненія передъ человѣческою природой; выступаетъ защитникомъ умственнаго труда вообще, женскаго образованія въ частности, но образованіе это полагаетъ возможнымъ только при условіи безплодія, а кончаетъ выше уже приведенною ссылкой на выводъ Бокля и заявленіемъ, что „непосредственною нашею цѣлью должно быть все то, что можетъ въ наибольшей степени содѣйствовать успѣхамъ положительнаго знанія". Я прошу читателя держать въ памяти эти элементы послѣдней статьи г. Мечникова, а также то обстоятельство, что въ ней г. Мечниковъ идетъ шагъ за шагомъ за гр. Толстымъ, опровергая его положенія. А теперь посмотримъ на окончательный выводъ г. Мечникова. Разсказавъ о томъ, какіе прекрасные распорядки существуютъ въ обществахъ пчелъ и осъ, почтенный ученый пишетъ: „Если мы приложимъ добытыя данныя къ женскому вопросу, то должны будемъ, прежде всего, замѣтить, что природныя свойства женскаго организма, приспособленнаго къ дѣторожденію, не могутъ служить ни малѣйшимъ препятствіемъ къ удовлетворенію стремленія нѣкоторыхъ женщинъ посвятить себя высшимъ сферамъ умственнаго труда. Для этого даже нѣтъ надобности, чтобы у такихъ женщинъ было такое-же равнодушіе къ браку, какъ у дѣвственныхъ галльскихъ осъ, хотя и извѣстны многочисленные примѣры отвращенія женщинъ къ брачной жизни. Это и многія другія, вообще довольно частыя въ человѣческомъ родѣ отклоненія половыхъ инстинктовъ указываютъ на то, что первый шагъ на пути къ безплодію уже сдѣланъ. Весьма возможно, что съ этого начался процессъ обо-

Digitized by Google

собленія въ человѣческихъ обществахъ, сходный съ тѣмъ, который гораздо далѣе подвинулся у насѣкомыхъ, и что современемъ установится, хотя и не столь рѣзкое, раздѣленіе людей на наиболѣе и наименѣе плодовитыхъ или даже и вовсе безплодныхъ. Послѣдніе, имѣя возможность посвятить себя исключительно высшимъ сферамъ человѣческой дѣятельности, будутъ служить обществу, главнымъ образомъ, умственнымъ трудомъ".

Припоминая нѣкоторыя другія мысли г. Мечникова, изложенныя имъ въ прежнихъ статьяхъ, можно признать этотъ выводъ недостаточно опредѣленнымъ. Пчелиный рой, какъ идеалъ общественности, достаточно ясенъ. Но до него еще очень далеко тому порядку, при которомъ „нѣкоторыя женщины" окажутся безплодными. „Нѣкоторыя женщины" и теперь безплодны. Но уже одно то обстоятельство, что огромное большинство проститутокъ безплодно, намекаетъ на нѣкоторую неосновательность надеждъ, возлагаемыхъ на безплодіе. Г. Мечниковъ, въ видахъ „общаго блага", желаетъ „обособленія", дифференцированія группы безплодныхъ женщинъ въ сословіе или касту, подобную тѣмъ, какія мы видимъ у пчелъ, муравьевъ и термитовъ, и чтобы эта каста безплодныхъ женщинъ спеціально воздѣлывала науку, причемъ, однако, онъ разрѣшаетъ имъ и не быть „равнодушными къ брачной жизни". Другими словами, онъ допускаетъ, пожалуй, любовь, но безъ послѣдствій. Очень важно замѣтить, что онъ при этомъ отнюдь не рекомендуетъ какихъ-нибудь технически-искусственныхъ пріемовъ для избѣжанія дѣторожденія. Нѣтъ, онъ вѣруетъ въ мощь архи-естественной измѣнчивости, которая, будучи направлена сознаніемъ и волею человѣка къ пчелиному идеалу, сама собой установитъ безплодную любовь. Это, прежде всего, непослѣдовательно. Монашествующіе обоихъ половъ, а у католиковъ и бѣлое духовенство, даютъ обѣтъ не безплодія, а безбрачія, дѣвства. И это понятно: всецѣло посвящая себя молитвѣ, монашествующіе были-бы отклоняемы отъ этой своей функціи не только дѣторожденіемъ, а и любовью. Такого рода монахини (а отчего-бы и не монахи?) отъ науки были-бы вполнѣ умѣстны въ идеалѣ г. Мечникова, тѣмъ болѣе, что соблазняющія его рабочія галльскихъ осъ къ любви равнодушны. Если сила измѣнчивости дѣйствительно такъ велика, а наше сознаніе и воля надъ нею такъ властны, какъ предполагаетъ г. Мечниковъ, такъ ужъ надо доводить идеалъ до его логическихъ предѣловъ. И это, повидимому, склоненъ при-

Digitized by Google

знавать самъ г. Мечниковъ, такъ какъ средневѣковые аскеты, за которыми онъ признаетъ правильное отношеніе къ человѣческой природѣ, отрекались опять-таки не только отъ дѣторожденія, но и отъ любви. Конечно, это, по слабости человѣческой, идеалъ трудно достижимый. Я сказалъ-бы даже—недостижимый и сослался-бы на всѣмъ извѣстные историческіе и бытовые факты. Но боюсь, что г. Мечниковъ возразитъ мнѣ: да, трудно достижимый или совсѣмъ недостижимый при теперешнихъ свойствахъ человѣческой природы, но вы забываете великій законъ измѣнчивости. На это возраженіе я не имѣю отвѣта. Впрочемъ, нѣтъ, имѣю, даже два. Во-первыхъ: блаженъ, кто вѣруетъ. А, во-вторыхъ, вотъ какой: вы хотите, ad majorem gloriam положительнаго знанія, направить законъ измѣнчивости такъ, чтобы цѣлая и, вѣроятно, значительная (потому что иначе не изъ чего было-бы хлопотать) группа людей была лишена группы наслажденій, которыя человѣчество всегда цѣнило изъ рядъ вонъ высоко и которымъ оно обязано многими лучшими сторонами своей жизни; вы хотите, а я не хочу,—давайте бороться каждый за свой идеалъ и посмотримъ, чья возьметъ. И у меня есть сознаніе и воля и, значитъ, такая же власть надъ закономъ измѣнчивости, какъ и у васъ. Я не хуже васъ знаю оборотную сторону медали, тѣ трудности и боли, которыми, при нынѣшнихъ условіяхъ, сопровождается любовь и ея послѣдствія, но я вѣрую въ возможность такого направленія измѣнчивости, которое обломаетъ всѣ шипы у розы, а самой розы не тронетъ.

Г. Мечниковъ предлагаетъ людямъ, хоть и не всѣмъ, отказаться отъ любви ради науки и увѣряетъ, что это нужно ради общаго блага, которое, однако, повидимому, состоитъ исключительно въ процвѣтаніи науки. Есть не мало людей, которые настоятельно рекомендуютъ женщинамъ, наоборотъ, отказаться отъ науки ради любви, и тоже во имя общаго блага Имъ нужны жрицы любви, г. Мечникову нужны монахи и монахини отъ науки. Мальтусъ тоже предлагалъ людямъ—и тоже не всѣмъ, и тоже во имя общаго блага—отказаться отъ любви ради физическаго труда, и подъ его общимъ благомъ скрывались просто требованія рынка; ему нужны были безплодные рабочіе. На всѣхъ не угодишь, а потому лучше будетъ, если человѣкъ станетъ просто человѣкомъ, которому все человѣческое доступно, хотя г. Мечниковъ думаетъ, что это чрезвычайно трудно,—измѣнчивости въ эту сто-

Digitized by Google

рону онъ не допускаетъ. Бѣда отъ всѣхъ этихъ совѣтниковъ, раздирающихъ человѣка на клочки, не въ томъ только состоитъ, что они хотятъ отнять у него ту или другую долю счастья, которая ему отпущена прошедшимъ или можетъ быть завоевана въ будущемъ. Divide et impera, гласитъ старинное, необыкновенно вѣрное изреченіе,—разорви, расчлени и управляй. Идеалъ г. Мечникова, какъ я упоминалъ уже въ прошлый разъ, далеко не новъ, и, между прочимъ, на той-же дарвинистской почвѣ онъ предвосхищенъ Ренаномъ. Только Ренанъ прямо назвалъ свою концепцію мечтой и, можетъ быть, по этому самому позволилъ себѣ быть смѣлѣе, послѣдовательнѣе и дальновиднѣе г. Мечникова. Съ тѣми-же ссылками на примѣры общежитія насѣкомыхъ, на естественный подборъ, борьбу за существованіе и измѣнчивость, Ренанъ построилъ идеальное общество, вся организація котораго имѣетъ верховною цѣлью торжество и прогрессъ положительнаго знанія. Для этого, какъ и у г. Мечникова, жрецы науки совершенно отказываются отъ любви, предоставляя это низменное занятіе людямъ физическаго труда. Но и эти низменные люди понимаютъ высокую цѣль общества и сознательно служатъ жрецамъ науки, готовы даже съ восторгомъ ложиться подъ ножъ, если нужна вивисекція. Жрецы же положительнаго знанія, „тираны-позитивисты“, все болѣе и болѣе проникая въ тайны природы, вмѣстѣ съ тѣмъ, полновластно управляютъ своимъ народомъ, жестоко казня его за нарушеніе порядка... Вотъ какъ высоко должны быть поставлены цѣли науки надъ всѣми остальными житейскими цѣлями. Здѣсь есть извѣстное величіе, хотя и чудовищное, на манеръ джагернаутской колесницы, подъ которую добровольно ложатся вѣрующіе, а она ихъ спокойно давитъ во славу Вишну. А г. Мечниковъ довольствуется блѣдною фразой: „непосредственною нашею цѣлью должно быть все то, что можетъ въ наибольшей степени содѣйствовать успѣхамъ положительнаго знанія“. Этимъ едва-ли многихъ можно убѣдить или увлечь; всякій скажетъ: непосредственная цѣль жизни есть сама жизнь во всемъ ея блескѣ и полнотѣ, а наука есть лишь одно изъ средствъ для достиженія этой цѣли.

Однако, и блѣдная фраза г. Мечникова имѣетъ свое значеніе, какъ profession de foi. Мнѣ кажется, что, несмотря на многолѣтнее вниманіе къ вопросамъ, затронутымъ въ статьѣ „Законъ жизни“, г. Мечниковъ только въ этой статьѣ,

Digitized by Google

такъ сказазать, нашелъ самъ себя. Часто бываетъ, что идеи, прямо противоположныя вашимъ, особенно рѣзко выраженныя, заставляютъ васъ подобраться: уясняютъ вамъ центральные пункты вашего собственнаго кругозора, до тѣхъ поръ нѣсколько смутные, или, по крайней мѣрѣ, располагаютъ ихъ въ извѣстную перспективу, гдѣ важное и не важное, первостепенное и второстепенное получаютъ свое опредѣленное мѣсто. Такъ именно, повидимому, случилось и съ г. Мечниковымъ. Какъ мы видѣли, онъ и прежде, много лѣтъ тому назадъ, ратовалъ противъ теоріи „естественнаго" развитія вообще, такъ называемаго гармоническаго въ частности, говорилъ и объ остаткахъ хвоста и шерстянаго покрова у человѣка, и о пользѣ женскаго образованія, и объ особенныхъ условіяхъ, при которыхъ оно можетъ процвѣтать, и проч., и проч. Словомъ, для людей, слѣдившихъ за прежними статьями г. Мечникова, въ „Законѣ жизни" нѣтъ, повидимому, ничего новаго. А, между тѣмъ, новое есть, это именно цѣльность, законченность, опредѣленность перспективы цѣлаго ряда мыслей, прежде разбросанныхъ, другъ къ другу не приложенныхъ, перемѣшанныхъ съ разными посторонними элементами. Отсюда тѣ странныя противорѣчія и явныя недоразумѣнія, о которыхъ мнѣ, признаюсь, было даже неловко говорить. Я ни на минуту не забывалъ, что имѣю дѣло съ первоклассным ученымъ, пользующимся, и заслуженно пользующимся, европейскою извѣстностью. А, между тѣмъ, этотъ знаменитый ученый, свободно гуляющій по всей головокружительной зоологической лѣстницѣ отъ ступени амебы до ступени человѣка, можетъ разсуждать такъ: „естественное" неуловимо по своей текучести, но извращеніе всѣхъ природныхъ инстинктовъ естественнѣе, чѣмъ удовлетвореніе природныхъ потребностей. Или зачисляетъ сундуки, трубки и мѣсто столоначальника въ число „аппаратовъ" организма. Или, цѣпко держась за остатокъ хвоста у человѣка, убѣжденно и даже иронически говоритъ: вы видите, какъ измѣнчива человѣческая природа; что же вы, по теоріи упражненія всѣхъ органовъ, рѣшите, чтобы человѣкъ хвостомъ вилялъ? Или чтобы онъ шерстью обросъ? Конечно, во всѣхъ этихъ случаяхъ г. Мечниковъ впадалъ въ недоразумѣнія, противорѣчія и ошибки не въ качествѣ ученаго, а въ качествѣ мыслителя,—какъ спеціалисту, я не осмѣлился-бы ему возражать. Причина всѣхъ этихъ неладовъ заключалась въ отсутствіи общаго плана, въ смутности связующей

Digitized by Google

нити. Этотъ общій планъ подсказалъ г. Мечникову гр. Толстой; только тамъ, гдѣ у гр. Толстого стоитъ плюсъ, у г. Мечникова стоитъ минусъ, и наоборотъ. Правда, не всѣ недоразумѣнія при этомъ исчезли, не всѣ неровности сгладились, но вы, по крайней мѣрѣ, видите, какъ и почему они возникли и въ какомъ порядкѣ должны быть распредѣлены мысли г. Мечникова, чтобы можно было уразумѣть ихъ связь.

Что̀ бы ни говорилъ самъ г. Мечниковъ, а намъ со стороны виднѣе. Что̀ бы онъ ни говорилъ, а исходная точка его лежитъ не въ области научно установленныхъ фактовъ, а въ области чувства. Это—жажда знанія, любовь къ знанію, вѣра въ его почти безпредѣльную мощь. Руководимый этимъ чувствомъ до ослѣпленія, г. Мечниковъ ссылается на выводъ Бокля, несмотря на то, что онъ явственно упраздненъ жизнью. Нарѣчіе „несмотря“ здѣсь вполнѣ умѣстно въ своемъ буквальномъ смыслѣ. Г. Мечниковъ именно не смотритъ, не видитъ тѣхъ, какъ выразился нѣкогда одинъ поэтъ, „кровавыхъ жизни незабудокъ“, которыми закиданъ выводъ Бокля. Такъ настроенный, г. Мечниковъ видитъ, что цѣлая половина человѣческаго рода—женщины остаются болѣе или менѣе внѣ пути къ единоспасающему знанію, и что, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя изъ нихъ тяготятся этимъ. Натурально, имъ надо помочь во что бы то ни стало. И г. Мечниковъ идетъ со знаменемъ науки на-проломъ, торопливо подбирая подходящіе и неподходящіе предметы, не всегда вслушиваясь въ возраженія, разрубая узлы тамъ, гдѣ ихъ можно развязать, и даже не вполнѣ ясно сознавая, зачѣмъ онъ дѣлаетъ тотъ или другой шагъ. Все, все, все для нея—для науки! Все, даже то, чему сама наука признана служить,—человѣческое счастье. Говорятъ, что женская природа становится поперекъ дороги. Очень просто: надо ее съ дороги убрать. И въ своей торопливости г. Мечниковъ отвѣшиваетъ глубокій поклонъ даже средневѣковымъ аскетамъ собственно за то, что они извращали до послѣдней степени всѣ природные инстинкты. Нѣтъ такихъ природныхъ инстинктовъ, которые заслуживали бы названія „естественныхъ“. Естественна только сила измѣнчивости, потому что только она можетъ удвоить персоналъ науки пріобщеніемъ къ ней женской половины человѣческаго рода. Въ ожиданіи момента этого торжества науки, г. Мечниковъ то пробуетъ предложить хоть замедленіе вступленія въ бракъ, то доказываетъ, что такое замедленіе можетъ повести только къ

Digitized by Google

печальнымъ послѣдствіямъ: самоубійцъ, психически больныхъ, развратниковъ ему, конечно, не нужно; ему нужны служители науки, столь же преданные своей богинѣ, какъ онъ самъ, столь же готовые заклать на ея алтарѣ все живое, что не имѣетъ знаніе непосредственною цѣлью. Таковъ личный, нравственный идеалъ г. Мечникова, и имъ же опредѣляется идеалъ общественный: вся организація общества должна быть приложена къ той же верховной цѣли—наростанію положительнаго знанія. Г. Мечниковъ касается пока только женскаго вопроса и лишь мелькомъ говоритъ о роли физическаго труда. Но общій характеръ тѣхъ рѣшеній разныхъ общественныхъ вопросовъ, которыя онъ предъявитъ, когда вздумаетъ заняться ими, легко себѣ представить. Онъ ничего не пожалѣетъ ради науки и не побоится санкціонировать какое бы то ни было уродство. Велика бѣда—уродство! Человѣкъ и теперь есть „обезьяній уродъ"; архивная старушка безъ рукъ, безъ ногъ живетъ—и ничего: владѣетъ умственными способностями, а чего-жъ человѣку больше нужно? Даже очень хорошо, что такая старушка на свѣтѣ есть и, можетъ быть, дай Богъ, чтобы побольше такихъ было, потому что ее можно изслѣдовать и результаты изслѣдованія опубликовать въ „Archiv für pathologische Anatomie".

Такъ распоряжается человѣкъ науки въ нашемъ бѣдномъ субъективномъ мірѣ страстей и интересовъ жизни. Но этотъ міръ не такъ ужъ бѣденъ. Онъ можетъ постоять за себя. Онъ даже богатъ и, конечно, гораздо богаче отвлеченнаго міра науки, который есть, въ сущности, лишь кость отъ костей и плоть отъ плоти субъективнаго міра страстей и интересовъ жизни. И г. Мечниковымъ, и даже гётевскимъ Вагнеромъ руководятъ, въ концѣ-концовъ, или, пожалуй, въ началѣ-началъ, страсти и интересы,—страсть къ наукѣ, интересъ знанія. „Я знаю много, но хотѣлъ бы все узнать",—говоритъ Вагнеръ. Онъ страдаетъ, добиваясь истины, тщетно ища результатовъ изслѣдованія или опыта, и приходитъ въ восторгъ, когда достигаетъ цѣли. Этотъ субъективный міръ спеціальныхъ радостей и страданій до такой степени его захватываетъ, что на всѣ остальныя радости и страданія онъ смотритъ съ глубочайшимъ, искреннѣйшимъ презрѣніемъ и съ готовностью все растоптать. Но они есть, эти другія страданія и радости, и въ совокупности своей представляютъ такое море, которое ужъ, конечно, не умѣстится въ ретортахъ и колбахъ Вагнера.

Digitized by Google

Да не подумаетъ читатель, что я хочу какъ-нибудь умалить въ его глазахъ значеніе науки. Было бы не особенно трудно и даже довольно занимательно, въ противовѣсъ разсужденіямъ г. Мечникова, нарисовать картину бѣдствій, причиняемыхъ человѣчеству его умственнымъ развитіемъ. Руссо это сдѣлалъ въ прошломъ столѣтіи и увлекъ многіе умы и сердца, а теперь это сдѣлать легче, какъ видно уже изъ распространенія пессимистической философіи, этого послѣдняго результата вѣковаго умственнаго развитія. И кончить можно бы было предложеніемъ такъ направить силу измѣнчивости, чтобы навсегда прекратилась эта надѣлавшая человѣку столько бѣдъ и никогда вполнѣ неудовлетворимая жажда знанія. Блаженство невѣдѣнія стоитъ блаженства отсутствія любви. Конечно, это былъ бы парадоксъ со многими изъянами и натяжками, но, вѣдь, ихъ не мало и у г. Мечникова. Я, однако, даже въ шутку не стану развивать этотъ парадоксъ. Я высоко чту науку, но думаю, что вычерпать море ретортой нельзя, и что именно люди, предпринимающіе этотъ подвигъ, умаляютъ, а не возвеличиваютъ значеніе науки.

VIII *).

Люди, владѣющіе перомъ, и люди, перомъ владѣемые.—Двоякаго рода эпигоны.—Г. Сементковскій о нашемъ недавнемъ прошломъ.

„Этотъ человѣкъ владѣетъ перомъ",—выраженіе очень употребительное и въ литературномъ языкѣ, и въ разговорѣ. Но, подобно многимъ другимъ ходячимъ выраженіямъ, изстари обращающимся въ обществѣ, оно едва-ли всѣми употребляется сознательно. Для многихъ оно равнозначительно другому, столь же употребительному: „у этого человѣка бойкое перо". Я думаю, что это совершенно невѣрно. Бываютъ, конечно, счастливыя совпаденія; бываетъ такъ, что писатель въ полномъ смыслѣ слова владѣетъ перомъ, и перо это бойкое. Но бываетъ и иначе, да и чисто-логически необходимо различать эти два иносказательныя выраженія. Владѣть перомъ—значитъ писать именно то, что, по соображеніямъ,—вѣрнымъ или невѣрнымъ, это другой вопросъ,—объ интересахъ предположенной цѣли нужно писать, насколько, разумѣется, этому не препятствуютъ какія-нибудь стороннія обстоятельства. У Лермонтова, въ разговорѣ журналиста, читателя

*) 1892, май.

Digitized by Google

и писателя, это не только красиво, но и чрезвычайно точно выражено: „диктуетъ совѣсть, перомъ сердитый водитъ умъ“. На первый взглядъ кажется, что иначе и не бываетъ, и быть не можетъ: зачѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ станетъ писать не то, что ему нужно? А, между тѣмъ, бываетъ. Въ томъ же произведеніи Лермонтова есть еще блестящая характеристика писателя, въ которомъ бойкость пера и обладаніе этимъ перомъ совпадаютъ: „на мысли, дышащія силой, какъ жемчугъ нижутся слова“. Но возможно и такъ, что у сильной мысли нѣтъ жемчужной рѣчи, а есть только точность, ясность, логическая послѣдовательность изложенія. Тогда человѣкъ владѣетъ перомъ, хотя оно у него и не бойкое. Съ другой стороны, возможно и такъ, что не слова прилаживаются къ мыслямъ, а, наоборотъ, мысли къ словамъ, болѣе или менѣе звучнымъ, красивымъ. Это особенно часто случается съ поэтами, связанными условіями ритма и риѳмы. Предлагаю читателю сравнить „Житіе протопопа Аввакума“, имъ самимъ написанное, съ поэмой г. Мережковскаго: „Протопопъ Аввакумъ“. *Житіе* есть превосходное въ своемъ родѣ произведеніе. Чуждая нашему времени рѣчь, испещренная вдобавокъ грубыми и до послѣдней степени наивными выраженіями, мѣшаетъ оцѣнить степень „жемчужности“, художественной красоты „житія“, но всякій признаетъ, что Аввакумъ владѣлъ перомъ. Г. Мережковскому въ недобрый часъ вздумалось передѣлать „житіе“ въ стихотворную поэму, и получилось нѣчто чрезвычайно слабое. Помимо другихъ, болѣе общихъ причинъ этой слабости, вы видите, читая поэму, какъ слово, требуемое условіями риѳмы и ритма, искажаетъ мысль автора. Я останавливаюсь на этомъ примѣрѣ именно потому, что здѣсь нѣтъ никакихъ сомнѣній относительно того, что авторъ хотѣлъ сказать: онъ хотѣлъ повторить мысли и образы Аввакума, но не умъ водилъ его перомъ, а, напротивъ, перо вело за собой умъ, и подчасъ совсѣмъ въ сторону отъ Аввакума. То, что у Аввакума является грандіознымъ или глубоко-трогательнымъ, у г. Мережковскаго вызываетъ невольную улыбку. Впрочемъ, тотъ же экспериментъ читатель можетъ сдѣлать со многими переводными стихами, сравнивая ихъ съ подлинникомъ. Я не хочу, разумѣется, сказать, что стихотворная рѣчь всегда и непремѣнно ведетъ къ извращенію мысли. Великіе поэты съ этимъ справляются очень просто. А съ другой стороны,—и въ прозѣ можно имѣть бойкое перо и, въ

Digitized by Google

то-же время, не только не владѣть имъ, а, напротивъ, вполнѣ находиться во власти этого самаго пера. Иногда даже такъ, что чѣмъ бойчѣе перо писателя, тѣмъ меньше онъ имъ владѣетъ: бойкая, красивая фраза ведетъ за собой мысль писателя и приводитъ его къ такимъ положеніямъ, которыхъ онъ вовсе не хотѣлъ выставлять или которыя совсѣмъ не въ интересахъ его работы. Такъ, неискусный, хотя-бы и шустрый пильщикъ не можетъ распилить доску по намѣченной имъ самимъ прямой линіи, ибо не рука его владѣетъ пилой, а, наоборотъ, пила тащитъ за собой руку и заставляетъ ее выдѣлывать совсѣмъ ненужные зигзаги. И понятно, что чѣмъ бойчѣе его рука будетъ ходить внизъ и вверхъ или впередъ и назадъ, тѣмъ рѣзче будутъ непроизвольныя отклоненія отъ намѣченной прямой линіи. Какъ, по пословицѣ, глупому сыну не въ помощь богатство, такъ не владѣющему перомъ бойкость только вредитъ. Такому не владѣющему, а владѣемому, довлѣетъ особенная осторожность и вдумчивость.

Я прочиталъ недавно литературное произведеніе, представляющее рядъ превосходныхъ иллюстрацій къ вышеизложенному. Между прочимъ, авторъ этого произведенія, сражаясь съ „добролюбовско-писаревскими воззрѣніями“, замѣчаетъ, что крупнѣйшіе изъ представителей нашей беллетристики никогда не были заражены этими воззрѣніями. Указываютъ,—говоритъ онъ,—какъ на исключеніе, на Салтыкова, но это „великое недоразумѣніе“. Я прошу читателя съ особеннымъ вниманіемъ прочитать слѣдующее разъясненіе этого великаго недоразумѣнія:

„Его (Салтыкова) сочиненія у всѣхъ передъ глазами, и основная ихъ мысль, основное содержаніе сводится къ усугубленному приговору надъ русскимъ обществомъ, къ осмѣянію его представителей, гдѣ бы они ни дѣйствовали: въ администраціи, печати, помѣщичьей усадьбѣ, земствѣ, собраніяхъ „свѣдущихъ людей“. Чтобы ослабить истинное значеніе этого смѣха, говорятъ, что Салтыковъ былъ сатирикъ. Но сатира можетъ приносить пользу только тогда, когда читатель твердо знаетъ, ради какихъ идеаловъ сатирикъ осмѣиваетъ жизнь. Возьмемъ-ли мы Ювенала, Раблэ, Свифта, мы знаемъ, къ чему они стремились, не только въ общечеловѣческомъ смыслѣ, но и по отношенію къ той средѣ, въ которой они жили и дѣйствовали. Ювеналъ боролся съ развращенностью римскаго общества, Раблэ—съ католическимъ духовенствомъ, Свифтъ—для доставленія торжества вигамъ. Отно-

Digitized by Google

сительно Салтыкова этого сказать нельзя. Онъ высоко ставилъ такъ называемыя „забытыя слова“, но изъ всѣхъ его сочиненій вы не выведете сколько-нибудь ясныхъ указаній относительно вопроса, какъ онъ представлялъ себѣ выходъ изъ окружавшей его, столь безпросвѣтной, по его мнѣнію, дѣйствительности. Свобода—величайшее благо; хорошо было-бы, если-бы на Русь вывелись всѣ подлецы, мерзавцы, если-бы „свинья не торжествовала“, а честный человѣкъ не подвергался-бы ежеминутно незаслуженнымъ невзгодамъ. Вотъ приблизительно весь положительный багажъ Салтыкова“.

Если читатель не исполнилъ моей просьбы о вниманіи и просто пробѣжалъ глазами приведенныя строки, то, можетъ быть, не замѣтилъ въ нихъ ничего особеннаго: много этакого говорится о Салтыковѣ. Но подобныя вещи надо читать внимательно. На всякій случай, давайте перечитаемъ вмѣстѣ.

Авторъ желаетъ доказать, что „добролюбовско-писаревскія воззрѣнія“ никогда не имѣли силы надъ нашими крупными художественными талантами, надъ „корифеями“, и что Салтыковъ не составляетъ въ этомъ отношеніи исключенія. Значитъ, Салтыковъ принадлежитъ къ числу корифеевъ. Это высокое положеніе авторъ отводитъ Салтыкову и въ другихъ мѣстахъ своего произведенія. Но тутъ, желая отстоять свой тезисъ о независимости Салтыкова отъ „добролюбовско-писаревскихъ воззрѣній“ онъ попадаетъ на какую-то словесную зарубку, которая отклоняетъ пилу его критики совсѣмъ въ сторону отъ намѣченной цѣли. Салтыковъ оказывается писателемъ весьма невысокаго полета, безполезно осмѣивающимъ современниковъ-соотечественниковъ, — безполезно потому, что сатира тогда только можетъ приносить пользу, когда читатель твердо знаетъ, ради какихъ идеаловъ сатирикъ осмѣиваетъ жизнь. Вотъ, напримѣръ, Ювеналъ, Раблэ, Свифтъ. Вы натурально ждете, что вамъ при этомъ, въ укоръ Салтыкову, укажутъ положительные идеалы Ювенала, Раблэ, Свифта, но тутъ пила опять дѣлаетъ зигзагъ и вамъ говорятъ только, что Ювеналъ „боролся съ развращенностью римскаго общества“. Въ чемъ-же тутъ укоръ Салтыкову и гдѣ положительные идеалы Ювенала? Возвращаясь къ началу аргументаціи автора, вы спросите: гдѣ-же обѣщанная независимость Салтыкова отъ „добролюбовско-писаревскихъ воззрѣній“? Авторъ нигдѣ не сообщаетъ сколько-нибудь ясно, какую именно группу идей ра-

Digitized by Google

зумѣетъ онъ подъ этими воззрѣніями, но онѣ достаточно извѣстны, по крайней мѣрѣ, для того, чтобы видѣть, что авторъ ни мало не разъяснилъ „великаго недоразумѣнія“. „Свобода—величайшее благо; хорошо было-бы, если-бы на Руси вывелись всѣ подлецы, мерзавцы, если-бы „свинья не торжествовала“, а честный человѣкъ не подвергался-бы ежеминутно незаслуженнымъ невзгодамъ“, — развѣ все это такъ несовмѣстимо съ „добролюбовско-писаревскими воззрѣніями“?

Произведеніе, изъ котораго я заимствовалъ приведенную тираду, есть статья г. Сементковскаго „Шестидесятые годы и современная беллетристика“, напечатанная въ апрѣльской книжкѣ „Историческаго Вѣстника“. Перо у г. Сементковскаго несомнѣнно бойкое: фраза красива, хотя и не блещетъ какою-нибудь оригинальностью, слова текутъ за словами въ грамматически стройномъ порядкѣ и мѣстами, повидимому, проникнуты горячимъ одушевленіемъ. Но этимъ бойкимъ перомъ г. Сементковскій не владѣетъ; напротивъ, оно имъ владѣетъ, вслѣдствіе чего статья переполнена всякаго рода логическими зигзагами, противорѣчіями, ненужными самому автору положеніями, недомолвками, перемолвками. Есть въ ней и поразительныя неправды въ чисто-фактическомъ смыслѣ, но я думаю, что и ихъ надо отнести отчасти на счетъ все того-же бойкаго пера, которое управляетъ „сердитымъ умомъ“ г. Сементковскаго.

Содержаніе статьи г. Сементковскаго шире ея заглавія. Авторъ желаетъ вообще указать литературной критикѣ правильные пути для оцѣнки современной беллетристики, причемъ страннымъ образомъ обращается съ своими поученіями почти исключительно ко мнѣ. Я выпустилъ недавно книжку подъ заглавіемъ „Литература и жизнь“. Ее-же избралъ г. Сементковскій и матеріаломъ, и мишенью для своихъ поученій, лишь два или три раза упоминая, кромѣ нея, объ „Исторіи новѣйшей русской литературы“ г. Скабичевскаго. Большая это, конечно, для меня честь, но, долженъ признаться, поистинѣ мною не заслуженная. Во всей моей книжкѣ, состоящей изъ двадцати пяти печатныхъ листовъ, только двѣ маленькія главы (два фельетона „Русскихъ Вѣдомостей“) посвящены только двумъ современнымъ нашимъ беллетристамъ, именно г. Чехову и г. Потапенко. Но и помимо того, хотя мнѣ случалось писать, между прочимъ, и о беллетристическихъ произведеніяхъ, но спеціально литературною критикой я никогда не занимался. Мнѣ какъ-то не пришлось до сихъ поръ высказаться даже о такомъ высокоталантливомъ беллетристѣ,

Digitized by Google

какъ г. Короленко, не говоря уже о цѣломъ рядѣ другихъ. Поэтому я, казалось-бы, представляю собою гораздо менѣе выгодный и удобный сюжетъ для г. Сементковскаго, чѣмъ критики, болѣе или менѣе регулярно и пристально слѣдящіе въ разныхъ журналахъ и газетахъ за текущею беллетристикой. Правда г. Сементковскій объявляетъ войну преданіямъ шестидесятыхъ годовъ, а я отношусь къ нимъ съ глубокимъ уваженіемъ. Но, во-первыхъ, я не одинъ стою на этой точкѣ зрѣнія; во-вторыхъ, если мой образъ мыслей вообще и по отношенію къ шестидесятымъ годамъ въ частности заслуживаетъ порицательнаго вниманія г. Сементковскаго, то онъ нашелъ-бы себѣ болѣе подходящую пищу, напримѣръ, въ предисловіи къ сочиненіямъ Шелгунова, гдѣ мнѣ пришлось высказаться о шестидесятыхъ годахъ съ достаточною полнотой. Да и въ книжкѣ „Литература и жизнь“ онъ нашелъ-бы болѣе обильную добычу для себя, если-бы не пріурочилъ свою статью къ вопросу о беллетристикѣ и литературной критикѣ. Такимъ образомъ, сосредоточивъ свое вниманіе исключительно или почти исключительно на мнѣ, а у меня столь-же исключительно на литературной критикѣ, г. Сементковскій нанесъ существенный ущербъ своей собственной работѣ. Я склоненъ думать, что эта невыгодная позиція есть просто непроизвольный зигзагъ бойкаго пера, владѣющаго г. Сементковскимъ. И въ этомъ меня еще болѣе убѣждаетъ самое содержаніе тѣхъ поученій, съ которыми онъ ко мнѣ обращается.

Мнѣ не разъ приходилось указывать на преобладающую въ нынѣшней литературѣ растерянность, невыдержанность направленія въ разныхъ органахъ, отсутствіе опредѣленныхъ взглядовъ на идеи и вещи. Одно изъ такихъ моихъ замѣчаній обратило на себя вниманіе г Сементковскаго. Онъ говоритъ: „Нѣтъ сколько-нибудь внимательнаго наблюдателя, который не замѣтилъ бы, что въ міросозерцаніи русскаго общества произошелъ за послѣднія десять лѣтъ коренной переломъ. Г. Михайловскій и самъ это признаетъ, но какъ-то странно, съ разными ужимками, не договаривая своей мысли. Прежде, — говоритъ онъ, — все было ясно: Катковъ, такъ Катковъ; Салтыковъ, такъ Салтыковъ. А теперь пошелъ разбродъ и разладъ. Читатель не знаетъ, „кому вѣрить, за кѣмъ идти“. Очень странное, даже непонятное разсужденіе. Неужели г. Михайловскій можетъ выставлять удовлетворительнымъ такое положеніе, когда читатель слѣпо слѣдуетъ за

Digitized by Google

тѣмъ или другимъ авторитетомъ? Какъ это соотвѣтствуетъ традиціямъ шестидесятыхъ годовъ!“

Опять немножко вниманія, читатель. Г. Сементковскій находитъ у меня „разныя ужимки“ и „недоговоренныя мысли“. Послѣднихъ у всякаго русскаго писателя можно найти не мало, но къ „ужимкамъ“ я, кажется, не склоненъ. Со стороны, однако, дѣло виднѣе. и я ждалъ, что г. Сементковскій дѣйствительно укажетъ какую-нибудь „ужимку“ или, по крайней мѣрѣ, хоть недоговоренную мысль. Но бойкое перо г. Сементковскаго дѣлаетъ непроизвольный зигзагъ, и онъ приводитъ такую мою мысль, которая даже въ его изложеніи оказывается вполнѣ договоренной и не содержащей въ себѣ ни малѣйшей ужимки. „Прежде все было ясно: Катковъ, такъ Катковъ; Салтыковъ, такъ Салтыковъ, а теперь пошелъ разбродъ и разладъ; читатель не знаетъ кому вѣрить, за кѣмъ идти“,—что можетъ быть проще и яснѣе этого? Но далѣе г. Сементковскій уже и не настаиваетъ на ужимкахъ и недоговоренности, а объявляетъ мою мысль „странною, даже непонятною“, приглашающею читателя слѣпо слѣдовать за авторитетами. Пусть такъ, пусть я долженъ краснѣть за свою мысль, но ужимокъ, все-таки, тутъ никакихъ нѣтъ, онѣ сорвались съ бойкаго пера моего почтеннаго оппонента нечаянно. Но, можетъ быть, и вся приведенная тирада г. Сементковскаго есть не болѣе, какъ нечаянный зигзагъ. Страницей раньше онъ излагаетъ свой собственный взглядъ на существующій въ нашей литературѣ „разбродъ и разладъ“. Его особенно занимаетъ разладъ между публицистикой, критикой и беллетристикой. Отсюда „крайняя неясность и сбивчивость цѣлей“. „Эта сбивчивость деморализуетъ читателя, не имѣющаго досуга или возможности разобраться во всей этой прискорбной разноголосицѣ. Мы дошли до того, что читатель вмѣстѣ съ критиками какъ-бы махнулъ рукой на всѣ направленія, увѣренный, что какихъ-либо ясныхъ и устойчивыхъ идеаловъ въ печатномъ словѣ искать нечего, что одни опошлились и утратили свое значеніе, другіе еще не народились, и что поэтому лучше всего жить такъ, какъ Богъ на душу положитъ“. Спрашивается, въ чемъ собственно состоитъ разница между этимъ разсужденіемъ г. Сементковскаго и тѣмъ моимъ вышеприведеннымъ, которое онъ находитъ „страннымъ, даже непонятнымъ“? Я думаю, въ томъ только, что я выразился короче, яснѣе и проще...

Digitized by Google

„Г. Михайловскій, какъ умный человѣкъ, останавливается подчасъ съ явнымъ недоумѣніемъ надъ вопросомъ: отчего тотъ или другой изъ современныхъ беллетристовъ вдругъ пріобрѣтаетъ извѣстность и всѣми охотно читается? Это недоумѣніе объясняется съ публицистической точки зрѣнія тѣмъ, что критикъ вѣритъ въ заслуженный успѣхъ только такихъ произведеній, въ которыхъ основная идея соотвѣтствуетъ его политическимъ и соціальнымъ идеаламъ. А тутъ вдругъ г. Чеховъ, г. Потапенко! Что они Гекубѣ и что она имъ?“ Такъ иронизируетъ г. Сементковскій. Рискуя оказаться не умнымъ человѣкомъ, я долженъ сказать, что никогда не останавливался съ недоумѣніемъ надъ вопросомъ: отчего г. Чеховъ или г. Потапенко пользуются успѣхомъ? Двѣ главы моей книжки, посвященныя этимъ двумъ талантливымъ беллетристамъ, такъ невелики, что получаса слишкомъ достаточно для самаго внимательнаго ихъ прочтенія. И если читатель рѣшится пожертвовать этимъ получасомъ, то увидитъ, что въ тѣхъ главахъ нѣтъ и слѣда указываемаго г. Сементковскимъ недоумѣнія. Мнѣ случалось выражать сожалѣніе, что таланты обоихъ названныхъ писателей не всегда получаютъ то приложеніе, которое имъ, съ моей точки зрѣнія, приличествуетъ, но причины ихъ успѣха не возбуждаютъ во мнѣ ни малѣйшаго недоумѣнія. Причины эти заключаются, прежде всего, въ ихъ талантливости, а, во-вторыхъ, въ извѣстномъ состояніи умственной и нравственной температуры общества. Правъ я или нѣтъ, это другой вопросъ, но, во всякомъ случаѣ, г. Сементковскій приписалъ мнѣ недоумѣніе, котораго я никогда не чувствовалъ и не выражалъ. Я только утверждаю фактъ, не думая уличать г. Сементковскаго въ недобросовѣстности. Нѣтъ, онъ просто не владѣетъ своимъ бойкимъ перомъ.

Говоря о первыхъ двухъ томахъ повѣстей и разсказовъ г. Потапенка, я нашелъ въ нихъ слѣдующую общую черту: „Вездѣ дѣйствующія лица ставятъ себѣ извѣстныя цѣли, крупныя или мелкія, хорошія или дурныя, и вездѣ успѣхъ или неуспѣхъ, по задачѣ автора, зависитъ отъ разсчета пущенныхъ въ ходъ силъ... Самыя цѣли, къ которымъ стремятся дѣйствующія лица г. Потапенка, представляютъ для него второй вопросъ. Его занимаетъ торжествующая или гибнущая сила сама по себѣ, процессъ достиженія или недостиженія цѣли“. Приведя эти слова, г. Сементковскій пишетъ: „Это очень мѣткое замѣчаніе. Но уди-

Digitized by Google

вительно, что критикъ такъ близко подошелъ къ самому существенному вопросу, подошелъ, повертѣлся около него и отошелъ. А, между тѣмъ, такъ естественно было спросить себя: почему-же г. Потапенко занятъ не столько цѣлью, сколько средствами ея достиженія,—и такъ легко было отвѣтить, что въ созданіи цѣлей самыхъ широкихъ, самыхъ прекрасныхъ, мы всегда были сильны, а вотъ въ средствахъ для достиженія не только этихъ широкихъ, но даже самыхъ крошечныхъ цѣлей мы всегда проявляли замѣчательную несостоятельность". И т. д.: бойкое перо влечетъ автора къ благодарности современнымъ беллетристамъ, „старающимся выяснить своимъ читателямъ, что, прежде всего, для успѣха въ жизни надо соразмѣрять средства съ цѣлью, что недостаточно поставить себѣ возвышенную и благородную цѣль, но надо, кромѣ того, вдуматься въ средства, которыя могутъ привести къ ея достиженію".

Не буду доискиваться, въ какой мѣрѣ „старанія выяснить своимъ читателямъ" ту или другую моральную или практическую истину приличествуютъ задачамъ беллетристики, какъ ихъ понимаетъ самъ г. Сементковскій. Это какъ будто отдаетъ тѣми самыми шестидесятыми годами, противъ которыхъ онъ протестуетъ. Но пусть ужъ онъ безданно и безпошлинно путается въ своихъ собственныхъ мысляхъ, а вотъ зачѣмъ онъ чужія-то путаетъ? Напрасно онъ утверждаетъ, что я не задавалъ себѣ вопроса о томъ, почему г. Потапенко интересуется не столько цѣлью своихъ дѣйствующихъ лицъ, сколько средствами, которыя ими пускаются въ ходъ для достиженія цѣлей. Нѣтъ, я себѣ этотъ вопросъ задавалъ, но отвѣтить на него такъ, какъ предлагаетъ г. Сементковскій, не могъ и посейчасъ не могу, несмотря на краснорѣчіе г. Сементковскаго. Съ тѣхъ поръ, какъ я писалъ о г. Потапенкѣ, этотъ необычайно плодовитый писатель успѣлъ выпустить еще два тома повѣстей и разсказовъ, да и, кромѣ того, въ „Недѣлѣ", „Артистѣ", „Историческомъ Вѣстникѣ", „Сѣверномъ Вѣстникѣ", „Мірѣ Божіемъ", „Русскомъ Богатствѣ", „Русскихъ Вѣдомостяхъ", „Русской Мысли" у него накопилось матеріала, пожалуй, еще тома на четыре. Казалось-бы, про такой необычайной плодовитости, писатель долженъ быть передъ нами, читателями, весь какъ на ладони,—со всѣми своими достоинствами и недостатками, симпатіями и антипатіями, цѣлями и пріемами. Говорятъ, что надо пудъ соли съѣсть съ человѣкомъ, чтобы его

Digitized by Google

узнать. Этотъ пудъ мы ужъ, навѣрное, съ г. Потапенко съѣли, а, между тѣмъ, я едва-ли ошибусь, если скажу отъ лица большинства читателей, что мы г. Потапенка не знаемъ. Мы знаемъ его повѣсти и разсказы, но не знаемъ его самого, его внутренняго міра. И въ этомъ отношеніи его рѣдкая плодовитость не только не помогаетъ дѣлу, а даже, кажется, мѣшаетъ. Творчество г. Потапенка крайне неровно. Какъ въ первыхъ двухъ томахъ его повѣстей и разсказовъ съ трудомъ вѣрилось, что такія вещи, какъ „На дѣйствительной службѣ“ и „Здравыя понятія“, написаны одною и тою-же рукой, такъ и теперь невольно изумляешься, сопоставляя, напримѣръ, превосходный разсказъ „Шестеро“ съ нѣкоторыми другими,—съ романомъ „Не герой“ или разсказомъ „Самородокъ“. Это именно точно разныя руки писали, и, благодаря подписи „И. Потапенко“, цѣльность и художественность отдѣлки деталей въ разсказѣ „Шестеро“ только еще болѣе оттѣняютъ какую-то странную растерянность и грубость работы „Самородка“ и „Не героя“. Если-бы г. Потапенко былъ не столь плодовитъ, то вѣроятность подобныхъ художественныхъ кляксовъ была-бы значительно меньше. А при этомъ раскрылся-бы, можетъ быть, для читателя и тотъ внутреній міръ г. Потапенка, о которомъ мы теперь почти не имѣемъ понятія. Что касается этого внутренняго міра, то изъ первыхъ двухъ томовъ повѣстей и разсказовъ г. Потапенка я могъ извлечь только одно: онъ всего болѣе интересуется условіями успѣха или неуспѣха въ смыслѣ достиженія поставленныхъ себѣ человѣкомъ цѣлей. Г. Сементковскій счастливѣе или проницательнѣе меня: онъ извлекъ нѣчто бо̀льшее, а именно убѣжденіе, что г. Потапенко „старается выяснить своимъ читателямъ“ ту мысль, что „недостаточно поставить себѣ возвышенную и благородную цѣль, но надо, кромѣ того, вдуматься въ средства, которыя могутъ привести къ ея достиженію“. Къ сожалѣнію, я никакъ не могу согласиться съ этимъ выводомъ, хотя онъ, путемъ непроизвольнаго зигзага, сдѣланъ изъ моего замѣчанія, какъ-бы естественное его дополненіе, мною по близорукости не усмотрѣнное или не договоренное.

Условія успѣха или неуспѣха въ жизни, какъ беллетристическая тема, не составляютъ, конечно, исключительной принадлежности г. Потапенка. Напротивъ, фабула многаго множества романовъ, повѣстей, разсказовъ, драмъ, комедій, водевилей, поэмъ

Digitized by Google

построена на чьей-нибудь удачѣ въ какомъ-нибудь отношеніи или неудачѣ. Да и лирика, въ большинствѣ случаевъ, занята торжествомъ или предчувствіемъ побѣды, или молитвой о побѣдѣ, отчаяніемъ или позоромъ пораженія, тоской нераздѣленной любви или восторгомъ любви счастливой и т. д.,—вообще разнообразными радостными или горестными волненіями по поводу достиженія или недостиженіи цѣли. Иначе и быть не можетъ, потому что въ чемъ-же и жизнь человѣческая состоитъ, какъ не въ томъ, что мы ставимъ себѣ цѣли, боремся ради нихъ съ большею или меньшею энергіей, работаемъ, падаемъ, торжествуемъ, отступаемъ, выигрываемъ, проигрываемъ, пока, наконецъ, не прикроетъ насъ могильный камень? Въ этомъ жизнь, и литература ее отражаетъ. Но цѣли бываютъ разныя,—крупныя и мелкія, благородныя и подлыя, цѣли всей жизни и цѣли повседневныя. Герой „Здравыхъ понятій“ говоритъ: „если-бы люди могли составлять строго-математическую пропорцію между своими цѣлями и своими силами, то не было-бы слезъ на землѣ“. Это, конечно, невѣрно, хотя, по авторскому произволу, успѣхи героя „Здравыхъ понятій“ дѣйствительно математически точно разсчитаны. Не говоря уже о томъ, что достиженіе или недостиженіе цѣли часто зависитъ совсѣмъ не отъ вѣрнаго или невѣрнаго разсчета силъ, а отъ разныхъ случайностей; не говоря объ этомъ, есть цѣли, достигнуть которыхъ нельзя иначе, какъ заставивъ другихъ проливать слезы (таковы, между прочимъ, цѣли героя „Здравыхъ понятій“). Но въ томъ-то и состоитъ особенность г. Потапенка, что онъ интересуется, главнымъ образомъ, самымъ фактомъ удачи или неудачи и процессомъ достиженія или недостиженія цѣли, независимо отъ какой-бы то ни было классификаціи и квалификаціи цѣлей. Изъ этого, однако, отнюдь не слѣдуетъ, чтобы г. Потапенко старался разъяснить намъ, что недостаточно поставить себѣ высокую и благородную цѣль, а надо и о средствахъ подумать. Я бы желалъ знать, какъ приложитъ свое объясненіе г. Сементковскій къ повѣсти „Здравыя понятія“, въ которой и помину нѣтъ о какой-нибудь высокой или благородной цѣли. Герой этой повѣсти есть настоящій негодяй, поставившій себѣ цѣлью разбогатѣть и достигающій этой цѣли рядомъ даже мало вѣроятныхъ, но превосходно разсчитанныхъ подлостей. Если даже предположить, что авторъ „старается разъяснить“ что-то своимъ читателямъ, то

Digitized by Google

ужъ, конечно, не то, что ему подсказываетъ заднимъ числомъ г. Сементковскій.

Г. Сементковскій, кажется, впрочемъ, даже не упоминаетъ о „Здравыхъ понятіяхъ“, его больше интересуетъ другая повѣсть г. Потапенка—„На дѣйствительной службѣ“ и ея герой—молодой священникъ о. Кириллъ, посвятившій себя на служеніе народу. Повѣсть очень хороша, а о. Кириллъ несомнѣнно положительный типъ, заслуживающій всякаго сочувствія. Таково-же, примѣрно, сужденіе и г. Сементковскаго. Мнѣ кажется, однако, что можно-бы было обойтись и безъ того паѳоса, съ которымъ г. Сементковскій произноситъ свое сужденіе. Онъ кончаетъ его, а вмѣстѣ съ тѣмъ и всю свою статью слѣдующими вдохновенными словами: „Ради Бога, не будемъ ихъ (людей, подобныхъ о. Кириллу) смѣшивать съ „мутными волнами дѣйствительности“. Наоборотъ, будемъ на нихъ указывать, протягивать имъ руку, отдавать имъ почетное мѣсто, потому что они—истинные работники народной нивы, потому что они—надежда земли русской“. Сильно сказано, эффектный финалъ статьи, бойкое перо у г. Сементковскаго. Но я бы хотѣлъ знать, къ кому онъ обращаетъ эту трогательную и патріотическую просьбу „ради Бога“? Надо думать, ко мнѣ, потому что и раньше шла рѣчь о моемъ именно и только о моемъ отношеніи къ г. Потапенку, да и цитируемыя г. Сементковскимъ „мутныя волны дѣйствительности“ — мой грѣхъ. Надо, значитъ, думать, что я потщился утопить о. Кирилла въ мутныхъ волнахъ дѣйствительности или вообще какъ-нибудь смѣшалъ его съ грязью. Иначе, зачѣмъ-бы г. Сементковскому упрашивать меня даже „ради Бога“? То-то и есть: зачѣмъ? Совсѣмъ это въ данномъ случаѣ праздный вопросъ. Кабы у г. Сементковскаго, по лермонтовской формулѣ, умъ водилъ перомъ, такъ можно-бы было спрашивать: зачѣмъ? А теперь его просто перо завело куда ему вовсе не нужно. Успѣхъ повѣсти „На дѣйствительной службѣ“ для меня не только понятенъ, какъ понятенъ успѣхъ г. Потапенка вообще, но это, кромѣ того, вполнѣ заслуженный успѣхъ. И достоинства повѣсти, и симпатичность ея героя мною признаны слишкомъ за годъ до того, какъ изложилъ свои мысли г. Сементковскій. Въ этомъ каждый можетъ легко убѣдиться, заглянувъ въ соотвѣтственную главу моей книжки. А г. Сементковскій „ради Бога“ проситъ...

Digitized by Google

Читатель, можетъ быть, недоумѣваетъ, зачѣмъ я его вожу по слѣдамъ зигзаговъ г. Сементковскаго. Мало-ли, въ самомъ дѣлѣ, что кому вздумается написать, не соображаясь ни съ логикой, ни съ фактическою правдой. На всякое чиханіе не наздравствуешься, и я остановился на статьѣ г. Сементковскаго, конечно, не ради вышеприведенныхъ мелочей, какихъ я могъ-бы извлечь изъ нея еще съ десятокъ. Все это, пожалуй, пустяки, не стоющія вниманія. Но есть въ статьѣ г. Сементковскаго одна черта, которая повергла меня въ такое изумленіе, что я не могу не подѣлиться имъ съ читателемъ. Прямо скажу, изумленіе это граничитъ съ негодованіемъ, которое даже не вполнѣ умѣряется убѣжденіемъ, что г. Сементковскій не вѣдаетъ, что творитъ, ибо и вообще не владѣетъ своимъ бойкимъ перомъ.

По мнѣнію г. Сементковскаго, у насъ замѣчается „почти всеобщее отрицаніе традицій шестидесятыхъ годовъ". Выяснилось это отрицательное отношеніе въ послѣднія примѣрно десять лѣтъ, и г. Сементковскій является однимъ изъ его выразителей. Если-бы однако, меня спросили, что именно онъ отрицаетъ, что именно разумѣетъ подъ словами „традиціи шестидесятыхъ годовъ", то я затруднился-бы отвѣтить, хотя прочиталъ статью г. Сементковскаго внимательно и другимъ рекомендую читать ее такъ же. Иногда онъ замѣняетъ эти слова „добролюбовско-писаревскими воззрѣніями" и тѣмъ значительно съуживаетъ поле своего отрицанія. Затѣмъ онъ упрекаетъ другихъ въ томъ, что они смѣшиваютъ разныя теченія, существовавшія въ шестидесятыхъ годахъ, а самъ, ничтоже сумняся, пишетъ „добролюбовско-писаревскія воззрѣнія". Въ дѣйствительности Добролюбовъ и Писаревъ—это двѣ большія разницы, какъ говорятъ русскіе нѣмцы, именно двѣ, если не больше. Уловить предѣлы недовольства г. Сементковскаго поэтому чрезвычайно трудно. Да я этимъ не гонюсь. Мнѣ хочется остановиться только на одномъ пунктѣ этого недовольства.

По адресу шестидесятыхъ годовъ и „ихъ эпигоновъ" г. Сементковскій замѣчаетъ, что у насъ „не любятъ заниматься изученіемъ Россіи, ея прошлымъ, нуждами и чаяніями громаднаго большинства населенія. Что въ ней хорошаго? Развѣ только идеи такъ называемыхъ передовыхъ людей. То-ли дѣло Западъ, эта обѣтованная ихъ земля!" Развивая это свое положеніе, г. Сементковскій достигаетъ вершинъ краснорѣчія. Его бойкое перо

Digitized by Google

пишетъ: „Не могутъ же все только въ столицѣ „гремѣть витіи“, а тамъ, „во глубинѣ Россіи“, не можетъ и впредь царить „вѣковая тишина“. Нѣтъ, на самомъ дѣлѣ эта тишина давно уже нарушена. Зашевелился огромный муравейникъ, заколыхалось великое море, но всплыло изъ него на поверхность вовсе не то, что мы ожидали. Пока мы „прекраснодушничали“, пока въ столицахъ „гремѣли витіи“, тамъ, въ медвѣжьихъ углахъ нашего отечества, поднялся другой шумъ, робкій, неясный, но, все-таки, уже опредѣленный, а когда мы къ нему прислушиваемся, что-же мы слышимъ? Немолчный припѣвъ: „кулакъ-кабакъ, кабакъ-кулакъ“. Это монотонный, но душу раздирающій припѣвъ, и когда мы его слышимъ, мы не можемъ не спросить себя: что-же нами сдѣлано въ теченіе тридцати лѣтъ для того, чтобы покончить съ этимъ припѣвомъ? Гдѣ мы были, — мы, интеллигентная Русь?“

Да, въ самомъ дѣлѣ, гдѣ мы были, что дѣлали? Что дѣлалъ, напримѣръ, г. Сементковскій? Къ сожалѣнію, свѣдѣнія мои по этой части очень невелики. Въ старые годы, такъ, примѣрно, въ серединѣ тѣхъ тридцати лѣтъ, которыя теперь г. Сементковскій сплошь обдаетъ своимъ презрѣніемъ, я изрѣдка имѣлъ удовольствіе встрѣчать его въ редакціи „Отечественныхъ Записокъ“, гдѣ онъ былъ переводчикомъ польскихъ беллетристическихъ произведеній. Въ 1882 г. онъ издалъ одинъ (если не ошибаюсь, изданіе дальше не пошло) томъ „Польской Библіотеки“, куда вошли его переводы съ польскаго и, кромѣ того, „Польскія письма“, не знаю, гдѣ прежде напечатанныя. Потомъ я надолго потерялъ г. Сементковскаго изъ вида, и только вотъ въ самое послѣднее время видѣлъ его подпись подъ какою-то статьей „Сѣвернаго Вѣстника“, да подъ предисловіемъ къ русскому переводу книги Ланге „Рабочій вопросъ“ (объ этой книгѣ и объ этомъ предисловіи у насъ будетъ разговоръ ниже). Это очень немного, и я увѣренъ, что г. Сементковскій совершилъ еще многое, мнѣ неизвѣстное, что онъ имѣетъ полное право выдѣлять себя изъ мѣстоимѣнія „мы“, которые только „прекраснодушничали“, на себя любовались, отечеству своему и народу русскому никакого вниманія не оказывали и т. д. Весь этотъ краснорѣчивый обвинительный актъ составляетъ одинъ изъ эпизодовъ борьбы г. Сементковскаго съ представителями шестидесятыхъ годовъ и ихъ эпигонами. А самъ онъ, надо думать, такимъ обвиненіямъ не под-

Digitized by Google

лежитъ. Я очень радъ такъ думать, но въ моемъ представленіи г. Сементковскій есть, все-таки, только хорошій переводчикъ съ польскаго и авторъ „Польскихъ писемъ“, весьма двусмысленной цѣнности. Чтобы освѣжить этотъ образъ въ своей памяти, я заглянулъ въ „Польскія письма“ и нашелъ тамъ, между прочимъ (въ письмѣ четвертомъ), слѣдующее. Г. Сементковскій полемизируетъ съ какимъ-то, повидимому, анонимнымъ польскимъ публицистомъ, высказавшимъ нѣсколько замѣчаній о русской печати. Г. Сементковскій является горячимъ защитникомъ этой печати и пишетъ ей настоящій панегирикъ. Напримѣръ: „О финансовыхъ и экономическихъ вопросахъ мы и говорить не станемъ, такъ какъ всякому, хотя-бы только поверхностно слѣдившему за нашею печатью, извѣстно, съ какою энергіей и знаніемъ дѣла она отстаивала приложеніе здравыхъ началъ къ нашему государственному и народному хозяйствамъ. Поистинѣ можно сказать, что голосъ русской печати былъ голосомъ людей, которые своими заслугами предъ государствомъ стяжали себѣ право на вліятельное положеніе въ немъ“. Много еще другого пріятнаго для насъ, русскихъ писателей, говоритъ г. Сементковскій въ пику польскому публицисту, хотя, признаюсь, я лично отъ нѣкоторыхъ изъ этихъ пріятностей охотно отказался бы и во всякомъ случаѣ не подписался бы подъ ними. Но дѣло не въ этомъ. Письмо г. Сементковскаго помѣчено 1880 годомъ; значитъ, двѣнадцать лѣтъ тому назадъ почтенный авторъ не такъ уже презрительно относился къ „интеллигентной Руси“ и не укорялъ ее за позорное бездѣйствіе. Конечно, мнѣнія могутъ мѣняться, и то, что казалось г. Сементковскому двѣнадцать лѣтъ тому назадъ бѣлымъ, могло съ тѣхъ поръ въ его глазахъ почернѣть. Однако, кромѣ мнѣній г. Сементковскаго или кого другого, есть еще и факты, есть они и въ четвертомъ „польскомъ письмѣ“. Дѣло въ томъ, что польскій публицистъ, съ которымъ г. Сементковскій полемизируетъ, впалъ въ нѣкоторыя чисто-фактическія ошибки. Такъ, напримѣръ, онъ, по какому-то странному недоразумѣнію, отнесъ „Вѣстникъ Европы“ и „Русскую Старину“ къ славянофильскимъ органамъ. Такія фактическія ошибки г. Сементковскому, конечно, не трудно было отмѣтить. Между прочимъ, „Отечественныя Записки“ польскій публицистъ назвалъ „западническимъ органомъ“, а г. Сементковскій внесъ поправку или дополненіе, указавъ характеристическую черту названнаго журнала въ томъ, что онъ „съ успѣхомъ

Digitized by Google

разрабатываетъ всѣ вопросы, имѣющіе отношеніе къ крестьянству". „Съ успѣхомъ" или нѣтъ,—это вопросъ особый; теперь г. Сементковскій выразился бы, можетъ быть, не столь любезно. Но что „разработка всѣхъ вопросовъ, имѣющихъ отношеніе къ крестьянству", составляла характеристическую черту „Отечественныхъ Записокъ", это фактъ несомнѣнный. Читатель понимаетъ удовольствіе, съ которымъ я прочиталъ удостовѣреніе на этотъ счетъ г. Сементковскаго. Во-первыхъ, „Отечественныя Записки" близки моему сердцу по личнымъ воспоминаніямъ, и мнѣ пріятно было удостовѣриться, что не къ нимъ относится замѣчаніе г. Сементковскаго: „не любятъ заниматься изученіемъ Россіи, нуждами и чаяніями громаднаго большинства населенія; что въ ней хорошаго? То ли дѣло Западъ, эта обѣтованная ихъ земля!" Это могъ бы сказать, по недоразумѣнію или незнакомству съ дѣломъ, какой-нибудь иностранный публицистъ, а уже никакъ не г. Сементковскій, самъ принимавшій участіе въ „Отечественныхъ Запискахъ", хотя бы только въ качествѣ переводчика. Затѣмъ, нигдѣ традиціи шестидесятыхъ годовъ не блюлись въ такой мѣрѣ, какъ въ „Отечественныхъ Запискахъ", а поэтому... поэтому я рѣшительно не понимаю, къ кому обращается г. Сементковскій съ своимъ грознымъ вопросомъ: „Гдѣ мы были,—мы, интеллигентная Русь?" Я отнюдь не говорю, что укоризны г. Сементковскаго неосновательны вообще, но вставка ихъ, безъ всякихъ оговорокъ, въ статью, направленную противъ преданій шестидесятыхъ годовъ, есть такой зигзагъ, къ которому я, каюсь, не могу вполнѣ хладнокровно относиться. Есть границы, за которыми бойкость пера, владѣющаго писателемъ, перестаетъ быть смягчающимъ обстоятельствомъ.

Г. Сементковскій разслышалъ по деревнямъ „монотонный, но душу раздирающій припѣвъ: кулакъ-кабакъ, кабакъ-кулакъ". Онъ, повидимому, очень гордъ своимъ открытіемъ, съ высоты котораго презрительно оглядывается на тридцатилѣтнюю пустыню, оставленную имъ назади. А, Боже мой, не такая же ужъ это сплошная пустыня! Припомнимъ хоть знаменитое „Предостереженіе" Салтыкова, этого безполезнаго, по приговору г. Сементковскаго, писателя. Помните: „Раздается кличъ: идетъ чумазый! Идетъ и на вопросъ: „что есть истина?"—твердо и неукоснительно отвѣчаетъ: „распивочно и на выносъ!" Это дѣйствительно грозное и яркое слово сказано много раньше шепелявыхъ рѣчей г. Семент-

Digitized by Google

ковскаго (щепелявость часто уживается съ бойкостью). Мотивъ „припѣва“, разслышаннаго г. Сементковскимъ, есть явственный сколокъ съ мотива „клича“, давно уловленнаго Салтыковымъ,— конечно, сколокъ блѣдный, слабый, изуродованный, но, вѣдь, не Салтыковъ же въ этомъ виноватъ, и не шестидесятые годы вообще! Что касается параллели между гремящими въ столицахъ витіями и вѣковою тишиной въ глубинѣ Россіи, то не мѣшало бы г. Сементковскому припомнить... ну, хоть „Сонъ въ лѣтнюю ночь“ того-же безполезнаго Салтыкова, его „Конягу“, его „проблему о мужикѣ“ и „человѣка, питающагося лебедой“. Мнѣ, по крайней мѣрѣ, живо вспомнилось все это при чтеніи удивительной статьи г. Сементковскаго,—это и еще многое другое.

Не говоря о цѣломъ рядѣ публицистовъ, такъ или иначе, худо или хорошо, разрабатывавшихъ разные общіе и частные вопросы, относящіеся къ „нуждамъ и чаяніямъ громаднаго большинства населенія“, вспомнился Елисеевъ, о которомъ Шелгуновъ писалъ въ „Русской Мысли“: „Конечно, не Елисеевъ выдумалъ „мужика“, но онъ его сконцентрировалъ въ журналѣ, котораго былъ душой, и можно сказать, что Елисееву „мужикъ“ обязанъ болѣе всего тѣмъ, что къ нему повернулось общественное мнѣніе и что, наконецъ, явилась даже „мужицкая“ внутренняя политика. Эта заслуга останется за Елисеевымъ“. Это мнѣніе Шелгунова преувеличено только относительно результатовъ, а ужъ никакъ не относительно самой дѣятельности Елисеева. И за покойникомъ несомнѣнно останется заслуга, въ которой разные гг. Сементковскіе съ слишкомъ короткою памятью не причемъ окажутся. Вспомнился мнѣ еще, не говоря о Некрасовѣ съ его пѣснями о мужицкой нуждѣ и мужицкомъ горѣ, цѣлый рядъ беллетристовъ, пристально изучавшихъ и изображавшихъ деревенскую жизнь, и между ними такой недюжинный талантъ, какъ г. Златовратскій. Вспомнился Гл. Успенскій, всего себя отдавшій деревнѣ, даже въ ущербъ своему огромному художественному дарованію. И когда изъ этихъ крупныхъ и мелкихъ слагаемыхъ образовалась, наконецъ, сумма всего происходившаго на моихъ глазахъ, я подумалъ, что есть люди, которые могли бы безъ угрызеній совѣсти отвѣтить на вопросъ г. Сементковскаго: „гдѣ мы были,—мы, интеллигентная Русь?“ Эта сумма сама по себѣ, разумѣется, не чрезмѣрна,—въ такомъ дѣлѣ о чрезмѣрности, казалось бы, и рѣчи быть не можетъ; однако, въ свое время она многимъ пред-

Digitized by Google

ставлялась именно чрезмѣрною. Разные литературные гурманы находили, что литература слишкомъ „провоняла“ мужицкимъ полушубкомъ, что нуженъ же „дессертъ“, что интересы „культурной“ жизни должны стоять на первомъ планѣ и т. д. Щедрину, Успенскому, да и мнѣ, грѣшному, въ качествѣ литературнаго обозрѣвателя, не разъ приходилось отбиваться отъ этихъ нападокъ. И все это затѣмъ, чтобы г. Сементковскій открылъ Америку, да еще лягнулъ тѣхъ, кто въ теченіе многихъ лѣтъ на этой Америкѣ настаивалъ...

Я хотѣлъ бы думать, что и въ этомъ случаѣ бойкое перо г. Сементковскаго, помимо его воли и сознанія, увлекло его туда, куда ему вовсе не нужно. Хотѣлъ бы, но не могу удержаться на этой снисходительной точкѣ зрѣнія. Слишкомъ значительна та литературная полоса, на счетъ которой г. Сементковскій обнаруживаетъ бойкость своего пера, и слишкомъ велика его несправедливость и неблагодарность, чтобы можно было помириться на безсознательности его писанія. Когда онъ, въ пику Салтыкову и въ доказательство присутствія у Ювенала положительныхъ идеаловъ, пишетъ: „Ювеналъ боролся съ развращенностью римскаго общества“,—онъ, очевидно, пишетъ не то, что ему нужно. Ему бы надо указать положительные элементы въ дѣятельности римскаго сатирика, а онъ указываетъ отрицательный, какъ разъ тотъ самый, который въ осужденіе усвоиваетъ русскому сатирику. Для всякаго, сколько-нибудь внимательнаго читателя ясно, что авторъ восхваляетъ Ювенала именно за то, что порицаетъ въ Щедринѣ, и, слѣдовательно, самъ себя съ большимъ успѣхомъ побиваетъ. Относительно обвиняемаго имъ въ безучастіи къ народу литературнаго теченія это отнюдь не столь ясно. Надо вонъ въ двѣнадцать лѣтъ тому назадъ напечатанныя „Польскія письма“ заглянуть, чтобы свести на очную ставку собственныя показанія г. Сементковскаго. Тутъ напущенъ туманъ, сквозь который не сразу разберешь настоящія очертанія того, о чемъ рѣчь идетъ. Тутъ не безъ хитрости, и я постараюсь разъяснить ея мотивы и характеръ. Это занимательная и, притомъ, не особенно трудная задача. Когда проработаешь слишкомъ тридцать лѣтъ на литературномъ поприщѣ, когда, какъ справедливо говоритъ обо мнѣ въ одномъ мѣстѣ г. Сементковскій, „посѣдѣешь въ литературномъ трудѣ“, тогда поневолѣ до тонкости изучишь

Digitized by Google

психологію писателей, большихъ и малыхъ. Ахъ, я такъ много видѣлъ и тѣхъ, и другихъ...

Г. Сементковскій неоднократно употребляетъ въ своей статьѣ слово „эпигоны". Догадываюсь, но не могу съ полною увѣренностью сказать, какъ самъ онъ относится къ этому слову; вообще же говоря, у насъ склонны соединять съ нимъ нѣсколько презрительное понятіе. Это совершенно напрасно. Исторія знаетъ двѣ группы „эпигоновъ", то-есть „послѣ рожденныхъ". Во-первыхъ, эпигонами называются миѳическіе семь греческихъ вождей въ походѣ противъ Ѳивъ; во-вторыхъ, потомки діадоховъ, между которыми раздѣлилось царство Александра Македонскаго. Если послѣдніе, то-есть историческіе эпигоны, несмотря на дарованія и славу многихъ изъ нихъ, не могутъ сравниться блескомъ съ македонскимъ завоевателемъ, то эпигоны миѳическіе, напротивъ, превзошли своихъ отцовъ, погибшихъ подъ стѣнами Ѳивъ, и являются побѣдоносными мстителями за нихъ. Иносказательно подъ эпигонами разумѣютъ всѣхъ, продолжающихъ дѣло отцовъ или вообще предъидущаго поколѣнія, чѣмъ, разумѣется, не предрѣшается ихъ сходство ни съ историческими, ни съ миѳическими эпигонами: они могутъ и превзойти отцовъ, и спуститься ниже ихъ, —дѣло только въ преемственности задачъ. Поэтому быть эпигономъ ни мало не постыдно. Мало того, бываютъ обстоятельства, когда постыдно, напротивъ, не быть эпигономъ, а именно во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда неотложная историческая задача осталась по обстоятельствамъ нерѣшенною. Миѳическіе эпигоны заслуживали-бы съ эллинской точки зрѣнія негодованія и позора, если-бы не были эпигонами, если-бы не пошли по слѣдамъ отцовъ къ Ѳивамъ. Во всякомъ случаѣ, эпигонами могутъ быть и большіе, и маленькіе люди. Но тутъ часто разыгрывается въ лицахъ одинъ любопытный житейскій порадоксъ.

Большіе люди, способные иногда прокладывать и новые пути или даже дѣйствительно ихъ прокладывающіе, обыкновенно не только не стыдятся имѣть предшественниковъ, но съ особенною старательностью ихъ разыскиваютъ. Они дѣлаютъ это, прежде всего, въ интересахъ самого дѣла, которое, разумѣется, тѣмъ прочнѣе, чѣмъ глубже его историческіе корни, а затѣмъ по личнымъ побужденіямъ справедливости и благодарности. Прочтите, напримѣръ, предисловіе Дарвина къ американскому изданію „Происхожденіе видовъ" (это предисловіе приложено къ русскому пе-

Digitized by Google

реводу книги Дарвина). Великій натуралистъ самымъ тщательнымъ образомъ перебираетъ всѣ крупныя и мелкія сочиненія, въ которыхъ такъ или иначе можно усмотрѣть идею, обезсмертившую его имя. Онъ выражаетъ при этомъ опасеніе, что его очеркъ можетъ быть не полонъ, и доходитъ до такой щепетильности, что заноситъ въ свой списокъ, напримѣръ, сочиненіе Гукера, появившееся въ печати мѣсяцемъ позже, чѣмъ „Происхожденіе видовъ". Дарвинъ справедливо разсуждаетъ, что это опозданіе всего на одинъ мѣсяцъ свидѣтельствуетъ о независимости работы Гукера отъ взглядовъ, изложенныхъ въ „Происхожденіи видовъ". Такъ поступаютъ всѣ истинно большіе люди. Они дорожатъ истиной, а чѣмъ больше было указаній на эту истину до нихъ, тѣмъ вѣроятнѣе ея торжество. Они по себѣ знаютъ цѣну труда и опасаются отнять у своихъ предшественниковъ долю ихъ заслуги. Они преисполнены благодарности къ тѣмъ, кто такъ или иначе раньше вышелъ на дорогу и освѣтилъ имъ ее. И если-бы Дарвина кто-нибудь назвалъ эпигономъ Ламарка и Жоффруа С.-Илера, онъ не устыдился-бы этого титула, памятуя примѣръ героическихъ ѳиванскихъ эпигоновъ.

Не таковы маленькіе люди. Надо, впрочемъ, оговориться. Есть маленькіе люди вполнѣ почтенные, отлично знающіе мѣру своего роста, не лѣзущіе „выше сферы своей" и вполнѣ способные воздать коемуждо по дѣломъ его, въ томъ числѣ и своимъ предшественникамъ на поприщѣ науки, теоретической мысли или практической дѣятельности. Не о нихъ и рѣчь. Съ спокойнымъ достоинствомъ принимать положеніе эпигона можетъ и большой, и маленькій человѣкъ; но, за чрезвычайно рѣдкими и тѣмъ болѣе печальными исключеніями, только очень маленькимъ людямъ свойственно тѣшить свое самолюбіе, опороченіемъ духовныхъ предковъ или отрицаніемъ ихъ заслугъ. Отсюда получается положеніе столь двусмысленное, что изъ него невозможно выбраться иначе, какъ съ болѣе или менѣе значительнымъ нравственнымъ ущербомъ. Люди эти по самой природѣ своей принадлежатъ къ числу тѣхъ, о которыхъ говорятъ, что они пороху не выдумаютъ. А между тѣмъ они-то именно и жаждутъ его выдумать и пуще всего боятся, какъ-бы кто не подумалъ, что они чужимъ порохомъ стрѣляютъ. Но такъ какъ въ дѣйствительности своего-то у нихъ нѣтъ, то они по необходимости заимствуютъ его изъ готовыхъ складовъ, стараясь по возможности замаскировать свои источ-

Digitized by Google

ники. Въ этомъ направленіи они доходятъ до самыхъ некрасивыхъ поступковъ, да иначе и быть не можетъ. Какъ въ самомъ дѣлѣ сказать „новое слово“, когда его за душой нѣтъ? Поистинѣ, охота смертная, да участь горькая! Самый элементарный выходъ изъ затрудненія состоитъ въ томъ, чтобы анонсировать новое слово, но такъ при анонсѣ и остаться, а на дѣлѣ тянуть никчемную канитель, въ которой ничего новаго нѣтъ. Однако, уже и этотъ простѣйшій и сравнительно безобидный способъ по необходимости сопровождается нѣкоторою нравственною неопрятностью: читатель-то, во всякомъ случаѣ, обманутъ. Напримѣръ, смѣшной критикъ „Сѣвернаго Вѣстника“ (мнѣ пріятно отмѣтить, что и г. Сементковскій находитъ его смѣшнымъ) анонсировалъ открытіе „новой мозговой линіи“, на запросы которой безсильна отвѣтить старая литература. Читатель естественно ждалъ, что ему выяснятъ запросы вновь открытой мозговой линіи,—вѣдь, это не шутка!—а вмѣстѣ съ тѣмъ и причины безсилія старой литературы; однако, ничего такого не получилъ. Но этотъ простѣйшій случай есть еще сравнительно лучшій. Видно, что человѣкъ не хочетъ быть эпигономъ, а пороху не хватаетъ, но и его мнимая самостоятельность, и его неблагодарность къ предшественникамъ робко расплываются къ неопредѣленныхъ и ничего не говорящихъ, хотя и вычурныхъ словахъ. Бываетъ гораздо хуже. Если читатель не очень молодъ и не исключительно среди пріятностей жилъ, то, можетъ быть, и даже навѣрное, имѣлъ случай сдѣлать одно горькое наблюденіе. Оказывая какую-нибудь, хотя-бы незначительную услугу большому человѣку (большому, какъ личность, какъ характеръ), мы смѣло можемъ разсчитывать на благодарность, даже далеко превышающую важность услуги, до такой степени, что эта чрезмѣрность оцѣнки можетъ даже тяготить. Наоборотъ. услуга или помощь, даже прямо благодѣяніе, оказанное мелкому человѣку (опять-таки мелкому, какъ характеръ или личность), сплошь и рядомъ отзывается въ его сердцѣ странною обидой, которой онъ не проститъ; такъ или иначе, а онъ постарается въ отплату напакостить. Я только утверждаю фактъ, по всей вѣроятности, очень многимъ знакомый, а объяснить его не умѣю. Что благодарность есть свойство возвышенныхъ натуръ, это понятно; но почему она подмѣнивается въ мелкихъ натурахъ часто даже прямо злобой и желаніемъ какъ-бы отомстить, я этого, признаюсь, не понимаю. Однако, аналогич-

Digitized by Google

ные факты въ сферѣ печатнаго слова мнѣ довольно понятны. Тотъ маленькій человѣкъ, который пуще всего боится прослыть эпигономъ и жадно ищетъ лавровъ невозможнаго для него первенства, относится къ оставленному ему наслѣдству не какъ къ помощи, а какъ къ помѣхѣ. Онъ постарается, прежде всего обойтись безъ этого наслѣдства, выдумать вполнѣ „новое слово". И хорошо, если ему повѣрятъ хотя-бы какія-нибудь ротозѣи,— онъ тогда успокоится, онъ, очевидно, не эпигонъ какой-нибудь! Но если даже подобіе новаго слова не вытанцовывается и онъ явственно вынужденъ черпать изъ полученнаго имъ наслѣдства, его положеніе крайне запутывается. Надо, во что-бы то ни стало, разыскать, по крайней мѣрѣ, какіе-нибудь значительные изъяны въ наслѣдствѣ,—о маленькихъ, второстепенныхъ поправкахъ не стоитъ и хлопотать,—а можно обойтись съ своими предшественниками и по пословицѣ: ихъ же добромъ, да имъ же челомъ. Можно, живя на наслѣдственный духовный капиталъ и именно имъ щеголяя, съ паѳосомъ корить предшественниковъ: вы, такіе-сякіе, ничего не дѣлали, меня по міру пустили, я теперь долженъ кровью и потомъ зарабатывать свой хлѣбъ насущный, и вотъ онъ, мой хлѣбъ, смотрите!.. Ничего этотъ краснорѣчивый человѣкъ не заработалъ, живетъ исключительно на наслѣдственный капиталъ, но, въ виду его особеннаго положенія, ему кажется, что предшественники не только ему ничего не оставили, а даже нѣкоторымъ образомъ обокрали его: лишили его лавровъ первенства, лавровъ новатора, открывающаго невиданные горизонты. Разумѣется, онъ этой двусмысленной внутренней пружины своей никогда не обнаружитъ, да она, можетъ быть, и ему самому не совсѣмъ ясна. Тутъ нечего искать не только добросовѣстности, но и логики, и даже простой осторожности (потому что, вѣдь, всегда могутъ уличить). Все это забываютъ люди, разъ они задались невозможною задачей прыгнуть выше себя. Эпигонъ, „послѣ рожденный", страстно, во что-бы то ни стало, желаетъ быть „раньше рожденнымъ" или перворожденнымъ. Душевная неурядица, проистекающая изъ такого положенія, вполнѣ естественна.

Настоящее „новое слово" есть большая рѣдкость въ исторіи. Чтобы сказать его, не достаточно обширнаго ума, глубокихъ познаній, благородства души, вообще даже самыхъ блистательныхъ личныхъ качествъ. Нужно еще, чтобы эти качества имѣли новую

Digitized by Google

точку приложенія, нужно, чтобы была налицо новая задача, достаточно широкая для примѣненія къ ней крупныхъ силъ,—нужна, словомъ, соотвѣтственная историческая обстановка. Ничего этого не хотятъ знать люди, прежде всего не желающіе быть эпигонами и не обладающіе вдобавокъ большею частью и выдающимся личными качествами, потому что эти выдающіяся качества тоже, вѣдь, не заурядное явленіе. Въ очень молодыхъ людяхъ, которымъ „новы всѣ впечатлѣнья бытія", преувеличенное самомнѣніе въ дѣлѣ открытія новыхъ путей имѣетъ за себя много смягчающихъ обстоятельствъ. Работу нашихъ предшественниковъ можно уподобить какому-нибудь химическому препарату, часть котораго осѣла въ видѣ кристалловъ съ ясно-опредѣленными гранями, а часть осталась въ растворѣ и на глазахъ незамѣтна. Преемственная работа мысли частью кристаллизуется въ книгахъ, а частью растворяется незамѣтнымъ образомъ въ общественномъ сознаніи и пропитываетъ собою всю окружающую насъ духовную атмосферу. Молодой человѣкъ, „послѣ рожденный", въ буквальномъ смыслѣ слова, недостаточно знакомый съ подробностями исторіи нашей мысли, а часто и съ общимъ ходомъ ея, можетъ добросовѣстно заблуждаться относительно источниковъ своихъ идей. Это вездѣ возможно, а у насъ тѣмъ паче, въ виду обрывистаго хода нашей исторіи. Кристаллизованная часть преемственной работы, книги—не всегда доступны молодымъ людамъ, не всегда удобны даже указанія на нихъ, а разобраться въ томъ, что воспринято изъ невидимой духовной атмосферы, не легко. Нынѣшній молодой человѣкъ уже воспитывается на многомъ изъ того, что въ свое время стоило большихъ усилій и жертвъ. Онъ самъ иной разъ не знаетъ, откуда запала ему та или другая мысль, то или или другое чувство, и немудрено, что ему иногда кажется, что онъ дошелъ до нихъ вполнѣ самостоятельно, что онъ первый возвѣщаетъ извѣстную истину. Надо еще прибавить, что, не искушенный опытомъ, онъ, къ тому же, недостаточно знаетъ размѣры своихъ силъ. Если онъ и дѣйствительно вноситъ извѣстную поправку или прибавку къ тому, что выработано до него цѣлымъ рядомъ литературныхъ работниковъ, то, въ своемъ увлеченіи и незнаніи, онъ склоненъ преувеличивать значеніе своего вклада до высоты новаго слова. Съ другой стороны, какая-нибудь попавшаяся ему на глаза второстепенная ошибка въ багажѣ предшественниковъ можетъ разростись для него въ непропорціонально-

Digitized by Google

большой минусъ, на который онъ и укажетъ съ юношескою рѣзкостью. И все это довольно простительно...

Читатель, надѣюсь, не подумаетъ, что, извиняя самолюбивыя увлеченія молодости, я хочу льстить молодымъ литературнымъ силамъ. Кажется, меня въ этомъ заподозрить нельзя, да и льстить-то некому. Достойно вниманія, что въ настоящую минуту,—и минуту эта тянется уже довольно долго,—очень выдающихся молодыхъ силъ въ литературѣ нѣтъ. Такая неурожайная полоса вышла; о вѣроятныхъ причинахъ этого неурожая было-бы слишкомъ долго говорить, а самый фактъ не подлежитъ сомнѣнію. Тѣ болѣе или менѣе талантливые писатели, которыхъ у насъ называютъ „новымъ литературнымъ поколѣніемъ“ или „нашими молодыми писателями“,—большею частью люди 35—40 лѣтъ, а то и больше, а кто помоложе, у тѣхъ такъ или иначе звучатъ истинно-старческія ноты. Для сравненія припомните, что Пушкинъ, Лермонтовъ или Добролюбовъ, Писаревъ буквально юношами владѣли сердцами читателей, что къ тридцати годамъ Тургеневъ былъ уже авторомъ „Записокъ охотника“, Григоровичъ—„Антона Горемыки“, Л. Толстой — „Дѣтства и отрочества“ и „Казаковъ“, Достоевскій—„Бѣдныхъ людей“, Салтыковъ—„Губернскихъ очерковъ“, Успенскій двадцати съ небольшимъ лѣтъ написалъ „Нравы Растеряевой улицы“ и „Разоренье“ и т. д. „Флотовъ нѣтъ—передъ флотами“,—утѣшался Погодинъ. Не знаю, какъ съ флотами, а въ литературѣ должны же, наконецъ, когда-нибудь объявиться молодыя силы, и я надѣюсь, что онѣ воздадутъ должное тому, что было до нихъ, добросовѣстно учтутъ труды и жертвы, и муки „раньше рожденныхъ“. Пусть только они не стыдятся быть эпигонами, хотя-бы потому, что этотъ стыдъ есть смѣшная или недостойная именно самостоятельныхъ людей слабость. А если имъ суждено сказать дѣйствительно новое слово, такъ тѣмъ лучше это будетъ значить, что задачи, насъ, стариковъ, мучившія, исчерпаны или, по крайней мѣрѣ, сильно приблизились къ своему рѣшенію.

Во всякомъ случаѣ, все это не относится къ г. Сементковскому. Изъ его предисловія къ русскому переводу книги Ланге „Рабочій вопросъ“ видно, что онъ познакомился съ нѣмецкимъ оригиналомъ этой книги „въ студенческіе годы“, по первому еще изданію, а оно появилось въ 1865 году, двадцать семь лѣтъ тому назадъ. Значитъ, къ „молодымъ силамъ“ причислить г. Се-

Digitized by Google

ментковскаго нельзя. Тѣ тридцать лѣтъ, которыя представляются ему теперь такою безотрадною пустыней, онъ прожилъ сознательною жизнью. Онъ не „послѣ рожденный“ въ буквальномъ смыслѣ этого слова по отношенію къ шестидесятымъ годамъ. Его взглядъ на прошлое, если оно дѣйствительно тридцатилѣтняя пустыня, долженъ-бы имѣть не обличительный, а покаянный характеръ. А онъ вонъ какъ брыкается!... Прошу извиненія за это грубоватое выраженіе, но я не умѣю подыскать другое, болѣе мягкое, которое было-бы столь же характерно для энергическаго, но логически безпорядочнаго словеснаго поведенія г. Сементковскаго. Если оставить въ сторонѣ разные второстепенные и, очевидно, непроизвольные зигзаги пера въ статьѣ г. Сементковскаго, то въ ней окажутся два любопытные пункта: во-первыхъ, преданія шестидесятыхъ годовъ, ошибочныя и сами по себѣ, устарѣли, должны быть сданы въ архивъ, да къ тому и клонится благодѣтельное измѣніе „міросозерцанія русскаго общества“ за послѣднія десять лѣтъ; во-вторыхъ, надо же, наконецъ, послѣ тридцатилѣтняго небреженія „нуждами и чаяніями большинства населенія“, къ нимъ обратиться! Я утверждаю, что эти два тезиса совершенно противорѣчать другъ другу, если, разумѣется, подъ „преданіями“ понимать дѣйствительно преданія, а не то, что первому встрѣчному г. Сементковскому вздумается свалить въ одну кучу подъ именемъ „добролюбовско-писаревскихъ воззрѣній“.

Но сначала одно маленькое побочное замѣчаніе. Г. Сементковскій вспоминаетъ о томъ „страстномъ и напряженномъ вниманіи“, съ которымъ онъ читалъ четверть вѣка тому назадъ книжку Ланге. Онъ говоритъ, впрочемъ, не только лично отъ себя, а и отъ лица тогдашней молодежи: „Предъ духовномъ взоромъ открывалась мрачная картина страданій самаго многочисленнаго и безпомощнаго общественнаго класса. Уже это влекло сердца молодежи къ книгѣ. Кромѣ того, въ ней предлагались широкія и коренныя средства помощи“. Но и черезъ четверть вѣка,—продолжаетъ г. Сементковскій, — книга ни мало не устарѣла и даже „пріобрѣла болѣе реальное значеніе“. Это сообщеніе должно быть не особенно пріятно для людей, боящихся попасть въ положеніе эпигоновъ: двадцать семь лѣтъ тому назадъ сказанное слово не только не успѣло устарѣть, а получило еще большій вѣсъ. Сколько новыхъ словъ успѣли-бы сказать за это время нѣмецкіе гг. Сементковскіе, если-бы имъ поперекъ дороги

Digitized by Google

не лежала книжка Ланге! Я, впрочемъ, не увѣренъ, что нашъ, русскій, г. Сементковскій читалъ эту книжку именно двадцать семь лѣтъ, а не двадцать два года тому назадъ. Онъ говоритъ круглымъ числомъ „четверть вѣка“, а бо́льшая точность имѣетъ въ данномъ случаѣ немаловажное значеніе. Я познакомился съ книгой Ланге уже во второмъ изданіи 1870 г. и перваго изданія даже никогда не видалъ, но имѣю о немъ достаточно ясное представленіе по предисловіямъ автора ко второму и третьему изданію. Первое изданіе было не больше, какъ „eine flüchtige Extemporisation“, какъ выражается самъ Ланге, маленькая летучая брошюрка (книжка не велика, впрочемъ, и въ четвертомъ изданіи, съ котораго сдѣланъ русскій переводъ), написанная по текущему практическому поводу и съ текущими практическими цѣлями. На лейпцигскомъ съѣздѣ представителей нѣмецкихъ рабочихъ союзовъ 1864 г. произошло одно изъ многочисленныхъ столкновеній между послѣдователями Лассаля и Шульце-Делича. Ланге, участвовавшій въ съѣздѣ, пожелалъ выяснить свое личное отношеніе къ этому спору, что и сдѣлалъ въ брошюрѣ „Die Arbeiterfrage“. Брошюра была мало замѣчена даже въ близко заинтересованныхъ кружкахъ. Только черезъ пять лѣтъ понадобилось новое изданіе, а пять лѣтъ для Германіи и притомъ для „flüchtiger Extemporisation“ по предмету жгучей тогда распри между послѣдователями Лассаля и Шульце-Делича — это очень много. Во второмъ изданіи Ланге измѣнилъ планъ своей брошюры, придалъ ей болѣе общій и теоретическій характеръ, вписалъ цѣлыя новыя главы. Такъ, въ первомъ изданіи не было любопытной главы „О счастіи“, а также главы „Капиталъ и трудъ“. Вотъ относительно этой послѣдней главы и представляетъ нѣкоторый интересъ нѣсколько большая точность, чѣмъ „четверть вѣка“ г. Сементковскаго. Если онъ впервые познакомился съ книжкой Ланге по первому изданію, то едва ли онъ нашелъ тамъ „мрачную картину страданій самаго многочисленнаго и безпомощнаго класса“, которая сосредоточена, главнымъ образомъ въ главѣ „Капиталъ и трудъ“. Если, однако, онъ читалъ второе изданіе, то онъ видѣлъ, что вся эта глава построена на „Капиталѣ“ Маркса, чего Ланге и не скрываетъ. Этотъ высоко-даровитый, обладавшій глубокими и разносторонними познаніями, благороднѣйшій и слишкомъ рано умершій мыслитель можетъ служить поучительнымъ образцомъ для господъ,

Digitized by Google

стыдящихся быть эпигонами. Онъ не стыдился. Въ философіи онъ открыто возвращался къ кантіантскимъ „преданіямъ“, въ области экономическихъ вопросовъ столь же открыто призналъ себя ученикомъ Маркса. Это не помѣшало ему оставить многимъ еще поколѣніямъ богатое наслѣдство, но оно состоитъ, конечно, въ „Исторіи матеріализма“, а не въ „Рабочемъ вопросѣ“. Я не то хочу сказать, что „Рабочій вопросъ“ не заслуживаетъ вниманія. Напротивъ, эта прекрасная книга, а при бѣдности нашей литературы по этой части ее слѣдуетъ рекомендовать особенному вниманію читателя. Она содержитъ въ себѣ очень много цѣнныхъ частныхъ указаній и, кромѣ того, проникнута особеннымъ, свойственнымъ Ланге благороднымъ характеромъ, возведеннымъ въ систему, которую одинъ нѣмецъ удачно назвалъ „идеалистическимъ натурализмомъ“. Но самъ Ланге былъ-бы очень удивленъ, если-бы могъ прочитать предисловіе г. Сементковскаго къ его книжкѣ. Онъ подумалъ-бы: неужели-же эти бѣдные русскіе такъ мало знакомы съ литературой рабочаго вопроса? Я сдѣлалъ, что могъ, но вѣдь, моя маленькая книжка есть только мало-замѣтный эпизодъ въ европейской литературѣ; о ней ни однимъ словомъ даже не поминается въ такихъ богатыхъ фактическимъ и библіографическимъ матеріаломъ сочиненіяхъ, какъ, напримѣръ, Мейера „Emancipationskampf des vierten Standes“; „мрачную картину“ я заимствовалъ у Маркса, да и мало-ли еще гдѣ могли найти ее читатели задолго до моей брошюрки.

Мнѣ не въ первый разъ приходится говорить о Ланге. Главою „О счастіи“ (въ подлинникѣ гораздо выразительнѣе и опредѣленнѣе: „Glück und Glückseligkeit) я когда-то воспользовался въ статьѣ „Борьба за индивидуальность“, а въ „Письмахъ о правдѣ и неправдѣ“ рекомендовалъ Ланге особенному вниманію читателей, какъ мыслителя, совмѣщающаго въ своихъ писаніяхъ „правду—истину“ и „правду—справедливость“. Я разумѣлъ преимущественно „Исторію матеріализма“, но и о „Рабочемъ вопросѣ“ могу сказать то же самое. Г. Сементковскій, къ удивленію, даже не упоминаетъ въ своемъ предисловіи объ „Исторіи матеріализма“, хотя послѣднія ея главы (въ особенности глава *Народное хозяйство и догматика эгоизма*) имѣютъ непосредственное отношеніе къ темѣ „Рабочаго вопроса“. Какъ-бы то ни было, а мы оба, то-

Digitized by Google

есть и г. Сементковскій, и я, повидимому, одинаково почтительно относимся къ нѣмецкому философу; и это почтительное отношеніе сложилось у насъ довольно-таки давно: у г. Сементковскаго четверть вѣка тому назадъ, да и у меня около того-же. Такъ какъ не только въ „Исторіи матеріализма", а и въ „Рабочемъ вопросѣ" Ланге касается многихъ и теоретическихъ, и практическихъ вопросовъ, и, притомъ, ставитъ ихъ очень широко, то можно бы было предположить, что мы съ г. Сементковскимъ и вообще единомыслимъ. А, между тѣмъ, г. Сементковскій коритъ меня „преданіями шестидесятыхъ годовъ" и „добролюбовско-писаревскими воззрѣніями", которыя, вѣдь, тоже обнимаютъ очень многіе теоретическіе и практическіе вопросы и которыя, по мнѣнію г. Сементковскаго, въ противоположность идеямъ Ланге, рѣшительно устарѣли, да, кажется, и всегда были никуда не годны. Это намекаетъ на какое-то недоразумѣніе: либо я страдаю грубымъ непониманіемъ или незнаніемъ, почтительно относясь къ двумъ группамъ идей, по характеру своему прямо противоположнымъ другъ другу, либо тѣмъ же страдаетъ г. Сементковскій, когда одну изъ этихъ группъ возвеличиваетъ, а другую предаетъ поруганію.

Казалось-бы, довольно трудно сравнивать спокойную, законченную, единоличную работу Ланге съ лихорадочною, разбросанною, коллективною работой, создавшею инкриминируемыя г. Сементковскимъ преданія и воззрѣнія. Въ этой послѣдней работѣ принимали участіе люди высоко-даровитые и люди второго сорта,—люди, владѣвшіе обширными познаніями, и люди малосвѣдующіе, люди необузданно-пылкаго воображенія и трезвой мысли, глубоко и безповоротно убѣжденные и случайно, безсознательно захваченные историческою волной. При такихъ условіяхъ вполнѣ естественны всякаго рода неровности, увлеченія, промахи, часто очень прискорбные. Я первый готовъ ихъ признать, а если понадобится, то и указать. Но только недобросовѣстность, незнаніе и непониманіе могутъ реставрировать общую физіономію эпохи на основаніи подобныхъ частныхъ явленій. Если-же имѣть въ виду наиболѣе общія черты, тѣ именно, которыя дѣйствительно сложились въ „преданіи", то характерный для Ланге „идеалистическій натурализмъ" окажется и здѣсь характернымъ. Это выраженіе попалось мнѣ на глаза на-дняхъ, а между тѣмъ, уже въ прошломъ году, въ предисловіи въ сочиненіяхъ Шелгунова, я

Digitized by Google

почти этими самыми словами старался очертить общій характеръ забракованныхъ г. Сементковскимъ „преданій“ и „воззрѣній“. И смѣю думать, что это были не слова только. Чтобы не повторяться, я отсылаю читателя къ этому предисловію, а здѣсь прибавлю слѣдующее.

Когда я писалъ предисловіе къ сочиненіямъ Шелгунова, онъ былъ уже недалекъ отъ смерти. Опасеніе огорчить глубоко уважаемаго мною больного старика не позволяло мнѣ входить въ подробности промаховъ мысли въ шестидесятые годы. Я упомянулъ о нихъ, но въ подробности не входилъ, потому что въ такомъ случаѣ пришлось бы говорить, главнымъ образомъ, о ближайшихъ сотрудникахъ Шелгунова по Благосвѣтловскому „Русскому Слову“ и „Дѣлу“,—Писаревѣ, Зайцевѣ, Соколовѣ, самомъ Благосвѣтловѣ. Г. Сементковскій, какъ я уже замѣтилъ выше, совершенно напрасно говоритъ о „добролюбовско-писаревскихъ воззрѣніяхъ“, смѣшивая въ этой формулѣ вещи весьма различныя. Чтобы наглядно убѣдиться въ этомъ, достаточно припомнить отношенія Добролюбова и Писарева къ Щедрину. Повидимому, это достаточно крупный и яркій писатель, чтобы разногласіе по отношенію къ нему могло служить свидѣтельствомъ разногласія вообще. Припомните же, какъ отнеслись оба критика къ Салтыкову. Добролюбовъ писалъ, между прочимъ: „Подумавши хорошенько, мы убѣждаемся, что серьезно защищать г. Щедрина и его направленіе совершенно не стоитъ. Все отрицаніе г. Щедрина относится къ ничтожному меньшинству нашего народа, которое будетъ все ничтожнѣе съ распространеніемъ народной образованности. А упреки, дѣлаемые г. Щедрину, раздаются только въ отдаленныхъ, едва замѣтныхъ кружкахъ этого меньшинства. Въ массѣ же народа имя г. Щедрина, когда оно сдѣлается тамъ извѣстнымъ, будетъ всегда произносимо съ уваженіемъ и благодарностью: онъ любитъ этотъ народъ, онъ видитъ много добрыхъ, благородныхъ, хотя и неразвитыхъ или невѣрно направленныхъ инстинктовъ въ этихъ смирныхъ, простодушныхъ труженикахъ. Ихъ-то защищаетъ онъ отъ разныхъ талантливыхъ натуръ и безталанныхъ тружениковъ“, и т. д. Такъ говоритъ Добролюбовъ. У насъ часто толкуютъ о вліяніяхъ „кружковщины“ на благопріятные и неблагопріятные отзывы критики. Не мѣшаетъ поэтому, можетъ быть, замѣтить, что статья Добролюбова написана по поводу „Губернскихъ очерковъ“, когда Салтыковъ писалъ еще

Digitized by Google

не въ „Современникѣ“, а въ „Русскомъ Вѣстникѣ“. Что касается Писарева, то, какъ извѣстно, онъ не нашелъ у Щедрина ничего, кромѣ „цвѣтовъ невиннаго юмора“, и, признавъ за нимъ бойкое перо, любезно предложилъ ему заняться писаніемъ популярныхъ статей по естествознанію, „а Глуповъ пора бросить“. Какія-же такія послѣ этого „добролюбовско-писаревскія воззрѣнія“? Вы видите, что тутъ не частное какое-нибудь разногласіе, а коренная разница въ самыхъ основаніяхъ взглядовъ на вещи и идеи. Извѣстно, что разница эта къ половинѣ шестидесятыхъ годовъ отразилась, наконецъ, скандальною перебранкой, въ которой, обезсиленныя разными тяжелыми обстоятельствами, обѣ стороны вели себя хуже. Я помню одну каррикатуру того времени въ „Искрѣ“: Салтыковъ, очень похоже нарисованный, держитъ одною рукой зайца (намекъ на сотрудника „Русскаго Слова“ Зайцева), а другою рукой сѣчетъ его пучкомъ розогъ. Подпись изъ какого-то стараго стихотворенія: „ужасный видъ! они сразились“! Это было очень смѣшно. Но въ общемъ совсѣмъ не смѣшна была эта потасовка, въ которой, впрочемъ, Салтыковъ принималъ очень мало участія. Не смѣшно, а горестно было это наглядное доказательство обмеленія русла передовой литературы.

Дѣло было именно въ обмеленіи русла. Когда говорятъ о „преданіяхъ“ вообще, то надо преданія и имѣть въ виду, то-есть нѣчто переданное, сохранившееся. Но когда говорятъ въ частности о преданіяхъ шестидесятыхъ годовъ, то нельзя разумѣть шестидесятые годы въ буквальномъ, ариѳметическомъ смыслѣ слова, хотя-бы уже потому, что Добролюбовъ, изъ котораго вотъ и г. Сементковскій дѣлаетъ знаменоносца, уже въ 1861 г. умеръ. Надо пріискать какой-нибудь центральный фактъ тогдашней жизни, отступленіе отъ котораго уже выводитъ насъ изъ круга обсуждаемыхъ идей, и только то, что изъ этихъ идей передалось слѣдующему поколѣнію, а имъ разрабатывалось, заслуживаетъ названія преданій. Иначе мы будемъ неизбѣжно путаться въ совершенно произвольныхъ сопоставленіяхъ и невозможныхъ отождествленіяхъ. Что-же было центральнымъ пунктомъ такъ называемыхъ шестидесятыхъ годовъ и что отъ тогдашнихъ идей сохранилось до отмѣченнаго г. Сементковскимъ поворота въ міросозерцаніи русскаго общества“, а отчасти, къ его огорченію, сохраняется и теперь?

Г. Сементковскій не первый и, вѣроятно, не послѣдній при-

Digitized by Google

нимаетъ за исходный пунктъ своей ретроспективной критики „добролюбовско-писаревскія воззрѣнія“. Такая постановка вопроса, прежде всего, съуживаетъ его, сводя дѣло къ литературной критикѣ. Это, мнѣ кажется, дань тому предразсудку, въ силу котораго литературный критикъ есть нѣчто вродѣ перваго любовника въ драматической труппѣ или перваго тенора въ оперной. По общедоступности или общезанимательности сферы беллетристики, литературный критикъ дѣйствительно можетъ иногда пользоваться исключительною популярностью на манеръ перваго тенора. Притомъ-же, у насъ, по условіямъ нашей печати, часто бываетъ удобнѣе говорить о литературномъ отраженіи жизни, чѣмъ о самой жизни. Во времена Бѣлинскаго это было безусловно такъ, но затѣмъ обстоятельства нѣсколько измѣнились къ лучшему, и потому дѣлать центромъ эпохи шестидесятыхъ годовъ тѣ или другія воззрѣнія на искусство, на пріемы и содержаніе литературной критики — совершенно незаконно. Но этого мало. Попробуемъ расчленить произвольную формулу „добролюбовско-писаревскихъ воззрѣній“ и посмотримъ, что изъ нихъ удержалось въ видѣ преданій. Я уже сдѣлалъ это выше, на примѣрѣ отношенія обоихъ критиковъ къ Салтыкову; надо только договорить, надо спросить, которое изъ двухъ воззрѣній удержалось въ преданіи. Отвѣтъ слишкомъ ясенъ: остался самъ Салтыковъ, весь цѣликомъ, и какъ писатель, и какъ руководитель „Отечественныхъ Записокъ“. Возьмемъ другого великаго писателя—Пушкина. Добролюбовъ не сотворилъ себѣ кумира изъ него, но вотъ какъ привѣтствовалъ онъ появленіе седьмого тома его сочиненій въ новомъ изданіи: „Всѣ еще помнятъ, вѣроятно, какой живой восторгъ возбудило, три года тому назадъ, во всей читающей публикѣ извѣстіе о новомъ изданіи Пушкина, подъ редакціей г. Анненкова. Послѣ вялости и мелкоты, которою отличалась наша литература за семь или за восемь лѣтъ передъ тѣмъ, это изданіе дѣйствительно было событіемъ не только литературнымъ, но и общественнымъ“, и т. д. Писаревъ-же совершилъ надъ Пушкинымъ грубую и жестокую операцію. Спрашиваю опять: гдѣ-же „добролюбовско-писаревскія“ воззрѣнія? Почему они за одною скобкой стоятъ? И еще спрашиваю: найдетъ-ли г. Сементковскій хоть у одного позднѣйшаго критика „преданіе“ писаревской грубости по отношенію къ Пушкину? Ближайшій сотрудникъ Писарева, Зайцевъ, совершилъ надъ Лер-

Digitized by Google

монтовымъ операцію еще болѣе грубую и уже совершенно безсмысленную. Въ одномъ изъ своихъ „Библіографическихъ листковъ“ 1863 г. (такъ назывались его ежемѣсячные обзоры вновь выходящихъ книгъ), Зайцевъ, разбирая сочиненія Лермонтова за одно съ стихотвореніями Каролины Павловой, „Курсомъ исторіи русской литературы“ Петрова, „Исторіей среднихъ вѣковъ“ г. Стасюлевича и еще разными другими книгами,—на пространствѣ одного печатнаго листа совершенно прикончилъ Лермонтова, доказавъ его ничтожество и глупость. Пересмотрите-же теперь многочисленныя статьи, написанныя о Лермонтовѣ прошлымъ лѣтомъ по поводу пятидесятилѣтней годовщины его смерти. Въ числѣ ихъ есть и моя статья. Упоминаю объ этомъ въ виду исключительной чести, оказанной мнѣ г. Сементковскимъ. Пусть же онъ найдетъ у меня хоть какой-нибудь слѣдъ зайцевской хулы, а я чту преданія шестидесятыхъ годовъ, но эта грубая и нелѣпая хула не есть преданіе, именно потому, что она не передалась. Скажутъ, можетъ быть, что дѣло не въ томъ или другомъ отношеніи въ частности къ тому или другому писателю, а въ общемъ характерѣ „добролюбовско-писаревскихъ воззрѣній“, подмѣнивавшихъ художественную критику критикой публицистической. Хорошо. Я думаю, однако, что приведенные два образчика критики Добролюбова и критики Писарева (Салтыковъ и Пушкинъ) свидѣтельствуютъ о глубокой и коренной разницѣ идей. Я думаю далѣе, что слово „подмѣнивали“ надо замѣнить словомъ „осложняли“, и что это осложненіе равняетъ не только Добролюбова и Писарева, но и критиковъ, стоящихъ внѣ круга идей шестидесятыхъ годовъ, даже враждебныхъ имъ. Начиная съ маститаго Н. Н. Страхова и кончая... кончая послѣднею спицей въ этой колесницѣ, всѣ они много говорятъ о зловредности или негодности публицистической критики, но всѣ они, по мѣрѣ силъ и разумѣнія, публицисты. Такъ что это не признакъ.

Центральнаго, всеопредѣляющаго факта шестидесятыхъ годовъ надо искать гдѣ-нибудь поглубже, чѣмъ въ теоріяхъ литературной критики. Такимъ центральнымъ, всеопредѣляющимъ фактомъ было освобожденіе крестьянъ. Въ виду того огромнаго значенія, которое имѣло крѣпостное право, того спеціальнаго отпечатка, который оно клало на всѣ стороны нашей государственной, общественной и частной жизни,—освобожденіе крестьянъ въ свою очередь должно было отразиться широкими и всесторонними эф-

Digitized by Google

фектами. Общее дѣло состояло въ привлеченіи всѣхъ функцій общественной жизни на прямую или косвенную службу интересамъ дотолѣ пригнетенной или тусклой человѣческой личности, которая, въ силу обстоятельствъ времени, если не отождествилась съ мужикомъ, то, по крайней мѣрѣ, сильно имъ окрасилась. Разумѣется, личность домогалась и достигала и въ другихъ сферахъ, но общенародное, государственное дѣло все лежало, если позволительно такъ выразиться, на мужицкой подкладкѣ. Впослѣдствіи, въ несознанномъ преданіи (я потомъ объясню, что это значитъ) были попытки довести значеніе этой спеціально-мужицкой подкладки до послѣдней крайней возможности, что грозило бы чрезвычайно печальною односторонностью. Но, въ непосредственной исторической близости къ великому факту освобожденія, такой односторонности не было и быть не могло. Настроеніе не только вершинъ литературы и общества, ихъ лучшихъ представителей, но даже улицы, несмотря на многіе комическіе эпизоды, происходившіе на этой улицѣ, было проникнуто именно тѣмъ, что можно бы было назвать „идеалистическимъ натурализмомъ“. Тогдашней литературѣ было совершенно чуждо то дряблое отношеніе къ вещамъ и идеямъ, которое норовитъ, въ видахъ трусливаго самоутѣшенія, не смотрѣть на несомнѣнно существующіе факты, если они почему-нибудь кажутся низменными, или подкрашивать ихъ, подмѣнивать другими. Она не видѣла въ человѣкѣ прирожденнаго небожителя, какимъ его изображали застарѣлые предразсудки и лицемѣріе, она его, земнороднаго, на землю и сводила, но на землѣ надѣялась и хотѣла устроить его идеально. Вездѣ она безбоязненно констатировала и изслѣдовала факты дѣйствительной жизни, раскрывая грубую натуру вещей, но затѣмъ поднимала дѣйствительность до высочайшихъ требованій идеала. Такъ и относительно мужика. Въ изящныхъ статьяхъ Добролюбова, въ горькихъ стихахъ Некрасова, въ саркастическихъ рѣчахъ Салтыкова, во всякаго рода статьяхъ теоретическаго и практическаго характера слышалось великое почтеніе къ мужику и великія на него надежды. Это не мѣшало, однако, ни „трезвой правдѣ“ Рѣшетникова, ни соотвѣтственнымъ стихамъ того же Некрасова, ни даже чрезмѣрнымъ изображеніямъ дикости мужика въ разсказахъ Николая Успенскаго и Слѣпцова. Все шло къ тому, чтобы и здѣсь, какъ въ прочихъ областяхъ мысли и жизни, всесторонне и безбоязненно

Digitized by Google

опредѣлить фактическаго мужика и поставить его рядомъ съ мужицкимъ принципомъ или, вѣрнѣе, съ принципомъ труда. Но эта работа была значительно подорвана тяжелыми ударами, постигшими литературу почти непосредственно вслѣдъ за освобожденіемъ крестьянъ. А тутъ подоспѣла проповѣдь Писарева.

Когда-нибудь на досугѣ я попробую провести параллель между Писаревымъ и гр. Л. Толстымъ; разумѣю, конечно, только проповѣдническую дѣятельность графа. На первый взглядъ такая параллель можетъ показаться либо прямо-таки вздорною, либо, въ лучшемъ случаѣ, вполнѣ безплодною. Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть общаго между преклоненіемъ Писарева передъ умственнымъ трудомъ, наукою вообще, естествознаніемъ въ особенности—и тѣмъ горделивымъ презрѣніемъ, съ которымъ отметаетъ все это гр. Толстой? Конечно, на этомъ пунктѣ между ними нѣтъ ничего общаго. Но тѣмъ любопытнѣе была-бы параллель между двумя основателями своего рода сектъ, весьма, конечно, между собою несходныхъ,—до такой степени несходныхъ, что если-бъ имъ пришлось существовать единовременно, то мы были-бы свидѣтелями жесточайшей распри. Вѣроятно, еще многіе изъ читателей помнятъ, а я-то ужъ очень хорошо помню, что роль Писарева среди тогдашней молодежи была весьма похожа на недавнюю роль гр. Толстого. Онъ точно также предписывалъ правила поведенія въ видахъ достиженія личной святости, и его точно также слушались, но, конечно, его пониманіе святости было очень далеко отъ пониманія гр. Толстого. Необыкновенно даровитый человѣкъ съ блестящими способностями литературнаго изложенія и усвоенія разнообразнаго умственнаго матеріала, Писаревъ, отъ природы-ли, или вслѣдствіе печальныхъ обстоятельствъ своей личной судьбы, былъ очень далекъ отъ пульса общественной жизни. Подобно гр. Толстому, онъ даже теоретизировалъ эту отдаленность, возводилъ ее въ принципъ, работая, въ сущности, для образованія секты „реалистовъ“ или „мыслящихъ пролетаріевъ“, какъ онъ выражался. Онъ, если хотите, пожалуй, тоже прикосновененъ къ „идеалистическому натурализму“, причемъ собственно о „натурализмѣ“ и распространяться нечего, но его „идеалъ“ былъ чисто-личный и сектантскій, какъ будто общенароднаго, государственнаго дѣла послѣ освобожденія крестьянъ такъ ужъ и не осталось на Руси. То же тяготѣніе къ сектантству своеобразно сказалось у другого сотруд-

Digitized by Google

ника „Русскаго Слова“—Н. В. Соколова. Этотъ, нынѣ совершенно забытый, но въ свое время много шумѣвшій, добродушный подполковникъ въ отставкѣ сначала почему-то вообразилъ себя экономистомъ и предпринялъ уничтоженіе Милля, что и исполнилъ на страницахъ „Русскаго Слова“. Потомъ онъ издалъ книжку подъ названіемъ „Отщепенцы“, за которую судился и отбылъ нѣсколько мѣсяцевъ тюремнаго заключенія (тогда еще судили писателей). Книжка эта была уничтожена, и я теперь уже не помню хорошенько ея содержанія. Знаю только, что въ ней возвеличивались люди, „отщепившіеся“, по мнѣнію автора, отъ общества и всѣхъ золъ его, но это были отнюдь, впрочемъ, не „реалисты“ или „мыслящіе пролетаріи“ во вкусѣ Писарева. Лично очень расположенный къ добродушному Соколову, я посѣщалъ его въ Литовскомъ замкѣ, и онъ посвящалъ меня тамъ въ тайны своего „евангельскаго соціализма“, какъ онъ называлъ свое ученіе. Тутъ уже не было никакого „натурализма“. Да и вообще какой-нибудь единой общей программы у „Русскаго Слова“ не было. Вниманіе читателей приковывалось къ этому журналу, главнымъ образомъ, блестящимъ талантомъ Писарева и тѣми salto-mortale (такъ Писаревъ однажды печатно, и, конечно, въ похвалу, назвалъ статьи Зайцева), которые продѣлывали время отъ времени его сотрудники. Безъ всякаго сомнѣнія, бывали въ „Русскомъ Словѣ“ и совсѣмъ другого рода статьи. Такъ, не говоря о статьяхъ болѣе или менѣе случайныхъ, Шелгуновъ былъ всегда далекъ отъ сектантства. Что-же касается разныхъ сальто-мортале, то, въ общемъ, совершенно невинные въ политическомъ смыслѣ, они пугали „филистеровъ“ и, кажется, это-то пуганіе и было ихъ цѣлью. Однако, они имѣли и свою вредную сторону тѣмъ, что сбивали съ толку увлекающуюся молодежь. Писаревъ проповѣдывалъ естествознаніе въ качествѣ нѣкоторой панацеи и дѣлалъ это такъ блистательно и увлекательно, что преувеличенная вѣра въ естествознаніе осталась характеристическою чертой чуть не цѣлаго поколѣнія. А, между тѣмъ, уже тогда можно было видѣть, что это путь очень односторонній и скользкій. Такъ, напримѣръ, Зайцевъ въ одномъ изъ своихъ библіографическихъ обозрѣній, по поводу какой-то книги, доказывалъ, что негры по законамъ естества, въ качествѣ низшей расы, осуждены на вѣчное рабство. Я помню по этому случаю негодованіе Ножина, не дилетанта есте-

Digitized by Google

ствознанія, а ученаго біолога. Онъ написалъ въ опроверженіе мысли Зайцева неуклюжую статью (онъ вообще писалъ плохо) которая по какимъ-то причинамъ появилась въ „Искрѣ“, гдѣ она, понятно, производила довольно странное впечатлѣніе. И всѣ эти сальто-мортале продѣлывались безъ какого-нибудь обдуманнаго общаго плана. Обыкновенно думаютъ или говорятъ, что „Русское Слово“ было какимъ-то очагомъ крайнихъ матеріалистическихъ идей. Пуганіе „филистеровъ“ происходило дѣйствительно и въ этомъ направленіи, но это не было какою-нибудь строго-обдуманною и послѣдовательно-проводимою программой. Вообще эти люди жили точно не на землѣ и не на русской именно землѣ (я, опять-таки, не говорю объ исключеніяхъ вродѣ Шелгунова или Щапова и т. д.), въ такомъ-то и такомъ-то году, а гдѣ-то въ отвлеченномъ мірѣ. Изъ этого отвлеченнаго міра брали своихъ героевъ, „новыхъ людей“, и романисты „Русскаго Слова“, создавая ихъ не на основаніи живыхъ наблюденій, а по составленному Писаревымъ шаблону „реалистовъ“. А, между тѣмъ, на русской землѣ происходили трудныя и сложныя дѣла...

Написавъ все это, я призадумался. Изъ желанія расчленить формулу г. Сементковскаго: „добролюбовско-писаревскія воззрѣнія“, не погрѣшилъ-ли я противъ истины? Нѣтъ, не погрѣшилъ. Вернемтесь еще разъ къ нашему исходному пункту, къ Салтыкову, какъ онъ освѣщался критикой Добролюбова и критикой Писарева. Вы видите, что Писаревъ былъ дѣйствительно чужой тому общему дѣлу, которому служилъ великій сатирикъ, и думалъ только о своей сектѣ „реалистовъ“, въ интересахъ которой и дѣлалъ Салтыкову свое комическое предложеніе заняться популяризаціей естественныхъ наукъ. Сравните-же отношеніе Добролюбова. Конечно, многое можно-бы было сказать въ дополненіе и объясненіе къ вышеизложенному. Мнѣ-бы даже хотѣлось это сдѣлать, но не вижу въ этомъ надобности въ настоящую минуту. Я не исторію литературы пишу. Я хочу только выяснить легкомысліе и неосновательность обобщенія г. Сементковскаго, не имъ, впрочемъ, выдуманнаго,—оно принадлежитъ къ числу ходячихъ. Въ г.-же Сементковскомъ это легкомысліе тѣмъ замѣчательнѣе, что онъ другихъ упрекаетъ въ недостаточномъ разграниченіи различныхъ теченій, существовавшихъ въ шестидесятые годы. Дѣйствительно, пора-бы опомниться...

А теперь о преданіяхъ. Что называть преданіемъ? Повторяю,

Digitized by Google

то, что передалось, укрѣпилось. Остановимся-же, напримѣръ, на романахъ съ „новыми людьми“. Кстати-же г. Сементковскій, между прочимъ, и ими коритъ преданія шестидесятыхъ годовъ. Можно различить три группы такихъ романовъ и повѣстей. Родоначальникъ одной изъ нихъ есть Тургеневъ, всегда старавшійся уловить и, затѣмъ, объективировать въ образахъ и картинахъ всякое новое теченіе. Умный человѣкъ и большой художникъ, къ сожалѣнію, слишкомъ падкій на всероссійскую популярность, Тургеневъ клалъ на своихъ новыхъ людей краски настолько, если можно такъ выразиться, двумысленныя, что изъ-за нихъ происходили обыкновенно нескончаемыя распри: Катковъ, Писаревъ, г. Антоновичъ толковали Базарова въ самыхъ разнородныхъ смыслахъ. Говорятъ, въ этомъ-то и состоитъ настоящая художественная объективность. Пусть такъ. Во всякомъ случаѣ, романовъ и повѣстей, приближающихся къ этому типу, у насъ, кромѣ Тургенева, разъ, два, да и обчелся. Второй типъ— „Взбаломученное море“ Писемскаго, „Некуда“ г. Лѣскова, романы Клюшникова, Маркевича, нѣкоторыя произведенія Достоевскаго и т. д. Здѣсь „новые люди“ являются чудовищами, обремененными всѣми смертными грѣхами; краски ярки, грубы, преувеличены сверхъ всякой мѣры, и если-бы какой-нибудь иностранецъ вздумалъ судить о нашихъ дѣлахъ по этимъ романамъ, то онъ изумился-бы, что Россію до сихъ поръ еще не залило Мертвое море, какъ нѣкогда Содомъ и Гоморру. Третью группу составляютъ тѣ именно романы съ „новыми людьми“, которые ставятся на счетъ шестидесятымъ годамъ. Здѣсь новые люди являются героями, блестающими разными чрезвычайно высокими качествами и совершающими Геркулесовы подвиги. Герои эти сочинялись по указаніямъ Писарева и подъ вліяніемъ романа „Что дѣлать?“ Надо, однако, замѣтить, что этотъ романъ стоитъ, во-первыхъ, внѣ всякихъ художественныхъ условій, а, во-вторыхъ, есть въ значительной степени романъ будущаго, романъ-утопія. Затѣмъ достойно вниманія, что хотя онъ былъ напечатанъ въ „Современникѣ“, но его подражанія осѣли, главнымъ образомъ, въ „Русскомъ Словѣ“. Спрашивается, передался-ли этотъ типъ беллетристикѣ послѣдующей литературы, чтившей преданія шестидесятыхъ годовъ? Ничего подобнаго въ беллетристикѣ „Отечественныхъ Записокъ“ вы не найдете. Мало того, въ „Отечественныхъ Запискахъ“ вы можете найти превосходное по формѣ и содержанію юмористическое, но

Digitized by Google

глубоко вѣрное объясненіе самаго факта появленія этихъ романовъ съ „новыми людьми“. Объясненіе это принадлежитъ Глѣбу Успенскому, и я его выпишу.

Въ разсказѣ „На старомъ пепелищѣ“ авторъ, задержавшись противъ воли, вслѣдствіе забавнаго недоразумѣнія, въ губернскомъ городѣ N, пробуетъ разогнать тоску чтеніемъ. Ему приносятъ „разрозненные номера разныхъ изданій, начиная съ шестидесятыхъ годовъ“. Онъ разсказываетъ: „Боже милосердый, какъ мучительно мнѣ было смотрѣть на автора новыхъ временъ, на романиста новыхъ людей!... Мнѣ было поистинѣ страшно за него... страшно за „необходимость“ во что бы то ни стало создавать новыхъ, совсѣмъ-совсѣмъ новыхъ людей. Въ этихъ людяхъ у всей толпы дѣйствительно было самая настоятельная надобность; она, толпа, какъ и авторъ, представитель этой толпы, узнала самымъ обстоятельнымъ образомъ, что съ прошлымъ разорвана всякая связь, разорвана вдругъ, въ одинъ прекрасный день; давайте самой чистой нравственности, самыхъ возвышенныхъ добродѣтелей, самой сущей правды... Изъ чего онъ вылѣпитъ все это?—думалъ я и ужасался... Во что одѣнетъ онъ свои благородныя желанія и мысли, откуда возьметъ чистую, не зараженную кровь, здоровую, сильную, чуткую плоть? Но авторъ, несмотря на безвыходность своего положенія, покоряясь общественному требованію и требованію своей совѣсти, принялся лѣпить новыхъ людей, а я съ замираніемъ сердца смотрѣлъ на его работу... Откуда взять ему героя? Изъ народа?.. Бѣда его, что народа онъ совсѣмъ не знаетъ, да и какіе тамъ герои... Изъ господъ?.. Ну, ужъ... Изъ купцовъ? Аршинники и архиплуты... Куда ни кинь—клинъ. И вотъ надо выводить его изъ какихъ-нибудь необычайныхъ условій... Надо изолировать дѣтство его отъ всѣхъ условій, при которыхъ шло дѣтство толпы (въ одной повѣсти герой росъ почти между жеребятами), надо отучить отъ всѣхъ привычекъ прежней толпы, отъ всѣхъ ея обычаевъ, вкусовъ, свойствъ, и волей-неволей авторъ заставляетъ своего любимца питаться чуть не бекасиною дробью, вмѣсто разносоловъ; дѣлаетъ сильнымъ невѣроятно и устраиваетъ ему обстановку необыкновенную. Купается онъ не какъ всѣ—днемъ, а въ полночь; не какъ всѣ идетъ въ воду съ берега, а бросается со скалы. Эти невѣроятныя краски, преувеличенія, выдумки какъ нельзя лучше говорили мнѣ, въ какомъ ужасномъ положеніи осталась отъ прошлаго душа толпы. Каждую черту

Digitized by Google

надо выдумывать, изобрѣтать, потому что нѣтъ ея подъ рукой или не знаешь гдѣ взять"...

Это превосходно какъ юморъ, превосходно и какъ мысль. Но я не буду входить въ разборъ этой мысли, потому что это значило-бы коснуться той побочной для меня въ настоящую минуту темы, отъ которой я только что уклонился,—тѣхъ дополненій и объясненій, которыхъ требуетъ вышеизложенная характеристика не перешедшихъ въ преданіе теченій шестидесятыхъ годовъ. Для меня теперь важенъ именно только фактъ перехода или неперехода въ преданіе. Пусть-же мнѣ скажетъ г. Сементковскій: сохранились-ли въ беллетристикѣ семидесятыхъ годовъ эти аляповатые, хотя и трогательные въ объясненіи Успенскаго „новые люди"? Правда, онъ уже заранѣе отвѣчаетъ на этотъ вопросъ, потому что зачисляетъ эти „слѣпленные" образы въ составъ „преданій". Но мнѣ мало такого отвѣта, я бы желалъ видѣть факты, а фактовъ онъ мнѣ не укажетъ, то-есть характерныхъ, крупныхъ, опредѣляющихъ собою физіологію литературы фактовъ. Въ литературѣ, продолжавшей традиціи шестидесятыхъ годовъ, такимъ характернымъ фактомъ не „новые люди" были, а мужикъ, на преизобиліе котораго и жаловались литературные гурманы и который, по увѣренію г. Сементковскаго, былъ въ теченіе тридцати лѣтъ забытъ и пренебреженъ. Была за это время дѣйствительно такая полоса, когда мужикъ пропалъ было за „новыми людьми" и „реалистами", но не эта полоса утвердилась въ преданіи. Это, впрочемъ, слишкомъ обширная тема, чтобы развивать ее въ концѣ бесѣды съ читателемъ. Теперь я остановлюсь на другомъ, менѣе значительномъ.

Естественныя науки съ самаго начала нашего возрожденія, тотчасъ послѣ крымской войны, привлекли у насъ къ себѣ особенное вниманіе; переводилось множество книгъ по естествознанію, писались популярныя статьи по разнымъ отраслямъ естественныхъ наукъ. Это лишь отчасти объясняется тѣмъ страннымъ положеніемъ полузапретнаго, а частію и совсѣмъ запретнаго плода, которое естественныя науки занимали въ дореформенную эпоху. Въ такомъ положеніи находилось, пожалуй, знаніе вообще, а не только естествознаніе. Но проснувшаяся жажда просвѣщенія и помимо закона реакціи должна была устремиться съ особенною силой на естествознаніе. Это безспорно знаніе по преимуществу, въ томъ смыслѣ, что, допуская провѣрку не только

Digitized by Google

умозрѣніемъ, а и наблюденіемъ, и не только наблюденіемъ, а и опытомъ, оставляетъ наименьшее мѣсто сомнѣніямъ. А намъ именно нужно было нѣчто несомнѣнное, чтобы оріентироваться въ нахлынувшей на насъ массѣ новыхъ идей. Немудрено, что дѣло не обошлось безъ увлеченій. Писаревъ довелъ ихъ до послѣдней крайности и видѣлъ въ естествознаніи прямой и единственный путь къ водворенію возможнаго на землѣ счастія, мира и въ человѣкахъ благоволенія, а въ пріемахъ и методахъ естествознанія—единственный правильный типъ умственной дѣятельности вообще. Послѣдователей—страстныхъ, слѣпыхъ—у Писарева было много, и не скоро остыла эта наивная вѣра въ единоспасающую мощь естествознанія. Но сохранилась-ли, все-таки, эта вѣра въ составѣ того, что нынѣ, между прочимъ, и г. Сементковскимъ называется преданіями шестидесятыхъ годовъ? Въ виду опять-таки исключительной чести, оказанной мнѣ въ статьѣ г. Сементковскаго, я позволю себѣ сослаться на свою литературную дѣятельность. Если г. Сементковскій окажетъ мнѣ еще большую честь и заглянетъ въ мои сочиненія, то убѣдится, что значительную часть ихъ,—при глубокомъ почтеніи къ естествознанію, какого, смѣю думать, не чуждъ и такой просвѣщенный человѣкъ, какъ самъ г. Сементковскій,—составляетъ борьба съ попытками расширить компетенцію естественныхъ наукъ въ ущербъ другимъ областямъ мысли и жизни. Писаревъ, вѣроятно, очень не одобрилъ-бы мои статьи о Спенсерѣ, о дарвинизмѣ, о книгахъ Стронина и проч. А, между тѣмъ, я никогда не порывалъ съ традиціями шестидесятыхъ годовъ. Должно быть, дѣло, о которомъ г. Сементковскій взялся писать, много посложнѣе, чѣмъ оно ему представляется. Пожалуй, что такого сложнаго дѣла лучше и совсѣмъ не трогать человѣку, не владѣющему, а владѣемому своимъ бойкимъ перомъ. Въ этомъ мы и еще убѣдимся, такъ какъ намъ придется вернуться къ статьѣ г. Сементковскаго въ связи съ книжкой Ланге.

Digitized by Google

IX *).

„Книга о книгахъ“.—Воспоминаніе объ одномъ маленькомъ человѣкѣ.—Н. И. Зиберъ.—Письмо К. Маркса.—Кающіеся дворяне.

Кое-кто изъ читателей обращается ко мнѣ съ письменнымъ выраженіемъ ободренія, одобренія или порицанія, съ тѣми или другими свѣдѣніями, съ разными вопросами и недоумѣніями. Нѣкоторые изъ корреспондентовъ не требуютъ отвѣта, просто довольствуясь сообщеніемъ своихъ мыслей и чувствъ по тому или другому поводу; иные-же настаиваютъ на отвѣтѣ, причемъ иногда не довольствуются письменнымъ, а требуютъ печатнаго. Я очень цѣню это живое общеніе съ читателемъ, дающее не только большое личное удовлетвореніе,—даже въ случаѣ укоризненныхъ или вообще неблагосклонныхъ корреспонденцій,—а представляющее, кромѣ того, значительный объективный интересъ. У меня накопились письма читателей за много лѣтъ, и когда-нибудь я разберу всю эту массу съ цѣлью опредѣлить, что именно интересовало читателей въ разное время. Картина можетъ выйти поучительная. А затѣмъ эти отзвуки, часто изъ очень глухихъ провинціальныхъ угловъ, конечно, дороги, какъ живое свидѣтельство того, что ты не гласъ вопіющаго въ пустынѣ. Хуже-то, вѣдь, пустыни для писателя ничего и придумать нельзя. Пользуюсь поэтому случаемъ выразить глубокую благодарность всѣмъ моимъ корреспондентамъ—случайнымъ и болѣе или менѣе постояннымъ, довольнымъ и недовольнымъ, участливымъ и сердитымъ. Но что касается отвѣтовъ, то, при всемъ моемъ желаніи, я не могу удовлетворить всѣхъ своихъ корреспондентовъ. И не только потому, что у меня не хватило-бы на это времени. Всякому, конечно, свое дорого, и разъ человѣкъ чѣмъ-нибудь очень заинтересованъ, ему естественно можетъ казаться, что это и есть пунктъ достойный всеобщаго и преимущественнаго вниманія. Оно такъ часто и бываетъ, но не всегда. Нѣкоторые изъ корреспондентовъ, съ чрезвычайною горячностью относятся къ такимъ вещамъ, къ которымъ я довольно равнодушенъ, которыя, по моему мнѣнію, не стоятъ разговора вообще, столь горячаго въ особенности. Я радъ и такимъ письмамъ, потому что они бываютъ во многихъ

*) 1892, іюнь.

Digitized by Google

отношеніяхъ характерны, но не удивительно, если я на нихъ не всегда отвѣчаю.

Приведу образчикъ, хотя это будетъ не совсѣмъ послѣдовательно.

Я получилъ недавно изъ далекой провинціи письмо, авторъ котораго „ждетъ съ нетерпѣніемъ“ отвѣта, „письменнаго или печатнаго“. Онъ пишетъ: „Скажите мнѣ ради того хоть, чтобы я остался вашимъ читателемъ, что это сдѣлалось вообще съ писателями, а въ частности и съ вами?“ „По какому случаю шумъ?“— какъ говоритъ нѣкто въ одномъ изъ разсказовъ Гл. Успенскаго. По какому поводу такъ нетерпѣливо волнуется мой почтенный корреспондентъ? Времена теперь наступили трудныя во многихъ и разныхъ отношеніяхъ. Литература, частью вольно, а частью совсѣмъ не вольно, не стоитъ на высотѣ этой трудности, и я совершенно понимаю, что читатель, особенно читатель, не достаточно знакомый съ положеніемъ нашей литературы, можетъ обращаться къ ней съ горькими укоризнами. Мало-ли въ самомъ дѣлѣ вещей, которыя могутъ глубоко волновать нынѣшняго русскаго читателя и о которыхъ, однако, онъ не находитъ въ литературѣ ни слова или находитъ слово слишкомъ блѣдное? Полагая, что и то письмо, о которомъ теперь рѣчь идетъ, касается какихъ-нибудь такихъ щекотливыхъ пунктовъ, и безъ напоминаній скребущихъ тебѣ сердце, я не сразу даже понялъ его содержаніе. Прочиталъ, перечиталъ—и вздохнулъ свободно.

По какому-же именно случаю шумъ? Вотъ по какому. Какъ извѣстно, Гончаровъ за нѣсколько лѣтъ передъ своею смертью напечаталъ въ „Вѣстникѣ Европы“ статью, въ которой выразилъ и разными моральными соображеніями обосновалъ желаніе, чтобы послѣ его смерти не печаталось изъ его произведеній и писемъ ничего такого, что не было предназначено къ печати имъ самимъ. Въ сборникѣ журнала „Нива“ за февраль нынѣшняго года напечатана посмертная статья Гончарова „Май мѣсяцъ въ Петербургѣ“. Статья эта не соотвѣтствуетъ репутаціи Гончарова, какъ художника. Такъ, по крайней мѣрѣ, съ великимъ огорченіемъ говоритъ мой корреспондентъ. И вотъ онъ, до чрезвычайности волнуясь, начинаетъ на разные лады комбинировать эти три факта, то-есть во-первыхъ, послѣднюю волю Гончарова; во-вторыхъ, появленіе въ печати „Мая мѣсяца“ и, въ-третьихъ, слабость этого произведенія. Въ концѣ-концовъ, онъ не хочетъ допустить, чтобы Гон-

Digitized by Google

чаровъ могъ самъ предназначить для печати столь слабую вещь, которая, дескать, есть, вѣроятно, просто неотдѣланный набросокъ, брульонъ, и слѣдовательно, издатель „Нивы“ нарушилъ послѣднюю волю покойнаго романиста; „такъ чего-же литература-то смотритъ?“ Въ частности корреспондентъ настойчиво предлагаетъ мнѣ разъяснить его недоумѣніе. Когда я понялъ, наконецъ, чего онъ хочетъ и о чемъ волнуется, у меня отлегло отъ сердца. Я боялся, что онъ тянетъ меня къ отвѣту по одному изъ такихъ пунктовъ, въ виду которыхъ въ самомъ дѣлѣ стыдно и больно за литературу... Увы! я не могу помочь моему корреспонденту. Я не имѣю возможности и не считаю себя призваннымъ производить слѣдствіе, самъ-ли Гончаровъ отдалъ издателю „Нивы“ свой „Май мѣсяцъ въ Петербургѣ“, или журналъ получилъ въ свое распоряженіе это произведеніе другимъ путемъ. Мало того, я долженъ признаться, что не читалъ „Мая мѣсяца“ и готовъ на слово повѣрить, что это произведеніе слабое, какъ были слабы вообще послѣднія произведенія Гончарова, печатавшіяся еще при жизни его.

Если, такимъ образомъ, я ничѣмъ не могу помочь моему корреспонденту, то мнѣ, все-таки, интересно было узнать о его существованіи. Это точно голосъ съ какого-то далекаго острова, отдѣленнаго отъ материка широкимъ моремъ. Съ своей, какъ говорилъ Салтыковъ, „инсулярной“ точки зрѣнія корреспондентъ совершенно правъ, негодуя на материкъ, гдѣ такъ мало дорожатъ интересами, что называется, „изящной словесности“. Тамъ говорятъ о голодѣ, тифѣ и лукояновскихъ земскихъ начальникахъ, о франкорусскихъ симпатіяхъ и германскомъ императорѣ,— о томъ, что хотѣлъ сказать г. Боборыкинъ своимъ „Василіемъ Теркинымъ“ и г. Потапенко своимъ „Не-героемъ“, о мемуарахъ Никитенка и гр. Валуева, о мысляхъ и поступкахъ гр. Толстого, о литературѣ шестидесятыхъ годовъ, о благородствѣ „Московскихъ Вѣдомостей“ и умѣ „Гражданина“, о прошедшемъ и будущемъ, о пользѣ и вредѣ просвѣщенія, а также тѣлесныхъ наказаній, опять о голодѣ и тифѣ и проч., и проч., и проч. А о такой чисто-художественной новости, связанной съ однимъ изъ самыхъ громкихъ нашихъ именъ, какъ „Май мѣсяцъ“,—молчатъ! И это не случайный какой-нибудь пропускъ. Нигдѣ, рѣшительно нигдѣ, не нашелъ мой корреспондентъ отклика своему волненію, хотя у насъ и существуетъ въ литературѣ теченіе, не имѣющее, правда, очень яр-

Digitized by Google

кихъ представителей, но горячо отстаивающее независимость „изящной словесности“ отъ всяческой злобы дня. Туда-то и слѣдовало обратиться моему корреспонденту. А то что въ самомъ дѣлѣ?—толкуютъ объ оскверненіи храма изящной словесности и художественной критики вторженіемъ жизни съ ея пестрыми и шумными интересами; направо и налѣво, назадъ, въ прошедшее, а частію и впередъ, въ будущее, швыряютъ упреки въ эстетическомъ невѣжествѣ и небреженіи, а сами пропускаютъ такой прекрасный случай приложить къ дѣлу свои познанія, способности и усердіе. Если-бъ они не ограничивались негодующимъ „киваніемъ на Петра“, а дѣлали то самое дѣло, которое на словахъ объявляютъ чрезвычайно нужнымъ и важнымъ, мой корреспондентъ изъ далекой провинціи не волновался-бы въ своемъ инсулярномъ положеніи. Достоинства и недостатки „Мая мѣсяца“ были-бы взвѣшены, его мѣсто въ ряду другихъ произведеній Гончарова и въ исторіи литературы опредѣлено, восторгъ, скорбь или негодованіе,—какъ-бы ужъ они тамъ рѣшили,—были-бы выражены съ тою силой, какая дается любовью къ дѣлу и знаніемъ его. Но нѣтъ, они предпочитаютъ о „Маѣ мѣсяцѣ“ совсѣмъ молчать, да и критику, напримѣръ, романовъ г. Боборыкина или г. Потапенка производить въ интересахъ не изящной словесности, а благородства „Московскихъ Вѣдомостей“ и ума „Гражданина“.

Во всякомъ случаѣ, обращаясь съ своимъ волненіемъ ко мнѣ, корреспондентъ ошибся адресомъ. Такія рѣзкія ошибки случаются въ моей практикѣ не часто. Но, все-таки, не разъ и не два случалось, что я по тѣмъ или другимъ причинамъ оказывался не въ силахъ удовлетворить своихъ корреспондентовъ. Укажу на цѣлый рядъ сношеній по вопросу о чтеніи книгъ. Вообще говоря, не трудно составить списокъ книгъ и статей по какому-нибудь опредѣленному вопросу или по извѣстной отрасли знанія. Разумѣется, человѣкъ, къ которому обращаются за такимъ спискомъ, можетъ оказаться несвѣдущимъ именно по этому вопросу или этой отрасли знанія. Но это еще не бѣда, потому что всегда можно посовѣтоваться со спеціалистомъ или прямо направить къ нему вопрошающаго. Но съ такими сравнительно легко удовлетворимыми просьбами обращаются рѣдко. Большею частью хотятъ имѣть каталогъ систематическаго чтенія, который указывалъ-бы не только содерженіе, но и порядокъ чтенія по всѣмъ отраслямъ науки, ли-

Digitized by Google

тературы и жизни. Хотя при этомъ требуются обыкновенно лишь общія основанія, а не детали, задача, все-таки, остается очень трудною, и я всегда отъ нея уклонялся. Затруднителенъ здѣсь въ особенности вопросъ о порядкѣ чтенія. Вы не знаете ни степени подготовки человѣка, ни его умственнаго склада, ни даже иногда его умственныхъ интересовъ,—что вы можете посовѣтовать такому человѣку? А, между тѣмъ, потребность въ указателѣ для чтенія очень велика. Объ этомъ свидѣтельствуютъ уже самыя попытки ея удовлетворенія. Я видалъ нѣсколько каталоговъ для систематическаго чтенія, печатныхъ, гектографированныхъ и рукописныхъ, которые, однако, едва-ли помогаютъ дѣлу. Составители этихъ списковъ, гоняясь за полнотой, обыкновенно чрезмѣрно загромождаютъ свою работу множествомъ мелочей, разобраться въ которыхъ очень трудно. И тѣмъ труднѣе, что составители не мотивируютъ своихъ указаній, не даютъ отзывовъ ни о содержаніи, ни о характерѣ занесенныхъ въ списокъ книгъ и статей: приходится вѣрить на слово неизвѣстнымъ составителямъ, что вся эта масса чтенія одинаково для всѣхъ нужна и доступна. Читатель остается, все-таки, безъ руководства, въ которомъ именно и нуждается. Съ другой стороны, однако, никакой каталогъ не можетъ самъ по себѣ указать порядокъ чтенія для людей съ разною подготовкой и съ разнымъ складомъ ума. Здѣсь нужно извѣстное взаимодѣйствіе между работой указателя и иниціативой самого читателя. Нуженъ каталогъ, снабженный краткими, но достаточно ясными характеристиками книгъ и статей, чтобы читатель могъ уже самъ выбрать удобоваримый для него матеріалъ. Таковъ именно планъ только что вышедшей подъ редакціей г. Янжула „Книги о книгахъ“, и нельзя не привѣтствовать эту книгу, совсѣмъ даже независимо отъ благотворительной цѣли ея изданія (въ пользу голодающихъ).

Къ сожалѣнію, „Книга о книгахъ“ страдаетъ нѣкоторыми недостатками, особенно чувствительными для тѣхъ именно читателей, на пользу которыхъ она предназначена. Мнѣ кажется даже, что тѣ 130 спеціалистовъ, которые приняли участіе въ этомъ почтенномъ изданіи, или, по крайней мѣрѣ, редакція его не дала себѣ труда хорошенько подумать о своихъ читателяхъ, хотя въ предисловіи совершенно опредѣленно говорится о двухъ категоріяхъ лицъ, интересамъ которыхъ должна служить „Книга о книгахъ“. Это, во-первыхъ, „вообще представители такъ назы-

Digitized by Google

ваемаго образованнаго общества (не ниже лицъ, получившихъ среднее образованіе)", желающіе „пополнить или возобновить свои познанія"; во-вторыхъ, „университетская молодежь, желающая имѣть въ своихъ рукахъ точный списокъ учебниковъ и важнѣйшихъ монографій для занятія наукой уже академическаго характера".

Редакція и сама понимаетъ, что книга не свободна отъ недостатковъ, и объясняетъ ихъ спѣшностью, съ которою была выполнена задача. Дѣйствительно, книга была сформирована, редактирована и напечатана въ три мѣсяца. Это очень быстро. Но едва-ли такая быстрота требовалась. Ждали мы долго подобнаго указателя, подождали-бы ужъ и еще, хоть такіе-же три мѣсяца. Если поспѣшать побуждала благотворительная цѣль изданія, то можно, конечно, радоваться, что мужикъ даже голодомъ своимъ сослужилъ намъ службу; но редакція могла-бы ограничиться на первый разъ однимъ выпускомъ съ выдачей билета на второй. Благотворительная цѣль была-бы достигнута въ предположенномъ размѣрѣ, а времени въ распоряженіи редакціи было-бы больше. Съ другой стороны, редакція могла-бы не усложнять своего плана разсчетомъ на двѣ категоріи читателей. Въ „занятіяхъ наукой академическаго характера" слушатели высшихъ учебныхъ заведеній имѣютъ или могутъ имѣть руководителей въ лицѣ самихъ профессоровъ. Редакція сама говоритъ это, указывая, притомъ, на ежегодно издаваемыя при университетахъ *Обозрѣнія преподаванія наукъ*. „Но,—замѣчаетъ редакція,—сочиненія по каждой спеціальности, помѣщаемыя въ упомянутыхъ *Обозрѣніяхъ университетскаго преподаванія*, по своей краткости (сочиненія-то кратки?) и отсутствію отзывовъ или мотивовъ, слишкомъ недостаточны, чтобы удовлетворить пытливость учащихся". Въ виду этого, „Книга о книгахъ" не просто перечисляетъ сочиненія по разнымъ спеціальностямъ, а даетъ о нихъ краткіе отзывы и даже сопровождаетъ краткимъ предисловіемъ всю группу сочиненій по данной спеціальности. Планъ этотъ, однако, не вездѣ выдержанъ. „Особенно въ наукахъ спеціальнаго интереса, при краткости объема перечня и университетскомъ характерѣ его (кого или чего?) преподаванія, такія предисловія, впрочемъ, были найдены излишними, а отзывы замѣнены иногда извѣстною классификаціей или систематическимъ размѣщеніемъ и оглавленіемъ приводимыхъ книгъ". Такимъ образомъ, по мно-

Digitized by Google

гимъ отдѣламъ студенты найдутъ въ „Книгѣ о книгахъ“ то же отсутствіе отзывовъ и ту же краткость („краткость объема перечня“), которыя не удовлетворяютъ пытливость учащихся въ университетскихъ „Обозрѣніяхъ“. Мимоходомъ сказать, отъ г. Янжула еще не такъ давно обучавшаго въ „Недѣлѣ“ русскихъ литераторовъ „искусству писательства“, можно-бы было ожидать болѣе—не то, что ужъ изящнаго, а хотя грамматически правильнаго изложенія, чѣмъ то, которымъ блещетъ предисловіе къ „Книгѣ о книгахъ“. Но дѣло, конечно, не въ этомъ. Ясно, во всякомъ случаѣ, что въ интересахъ дѣла было-бы лучше, если-бы редакція не дробила своего вниманія между двумя категоріями читателей. Да и категоріи эти установлены совершенно искусственно. Если слушатели высшихъ учебныхъ заведеній могутъ получить библіографическія указанія отъ своихъ профессоровъ, то, съ другой стороны, отчего-бы и людямъ, лишеннымъ этого удобства, не домогаться и не достигать вершинъ знанія хотя-бы до послѣднихъ спеціальныхъ развѣтвленій „уже академическаго характера“? Медицинѣ, конечно, не научишься внѣ университета или медицинской академіи, но есть отрасли знанія, въ которыхъ можно достигнуть многаго собственными силами, разумѣется, нуждающимися въ поддержкѣ и указаніяхъ. Ихъ-то и должна представить „Книга о книгахъ“, не справляясь объ академическихъ или не-академическихъ требованіяхъ читателей. Но за-то редакція должна-бы справляться кое съ чѣмъ другимъ.

Обращаясь къ отдѣлу философіи и подъотдѣлу исторіи философіи, я не нахожу тамъ исторіи философіи Льюиса, имѣющейся въ трехъ русскихъ переводахъ. Можно-бы было предположить, что эта книга, съ точки зрѣнія спеціалиста, составлявшаго соотвѣтственный отдѣлъ, не заслуживаетъ никакого вниманія. Но вотъ въ отдѣлѣ прикладной химіи читаемъ слѣдующее: „Ильенковъ, П.: „Курсъ химической технологіи“. Спб., 1851 г. Устарѣло и нѣтъ въ продажѣ. 2-е изданіе этого курса, дополненное Е. Андреевымъ, въ двухъ томахъ (Спб., 1861 г.), не кончено и также устарѣло“. Повидимому, курсъ Ильенкова есть книга до такой степени ненужная и даже, можно сказать, не существующая, что о ней можно-бы и промолчать, да и кто-же самъ не пойметъ, что руководство по химической технологіи, написанное двадцать-тридцать лѣтъ тому назадъ, должно устарѣть? Если, однако, редакція допустила такую роскошь по отношенію къ

Digitized by Google

явно негодной книгѣ Ильенкова, то негодность книги Льюиса и подавно требуетъ отмѣтки. Я говорю о негодности книги Льюиса, разумѣется, съ точки зрѣнія редакціи „Книги о книгахъ“ или составителя философскаго отдѣла, а не съ моей. Но если-бы это было даже безусловно негодное произведеніе, то о немъ слѣдовало упомянуть во вниманіе къ вѣроятнымъ читателямъ „Книги о книгахъ“,—мало того, къ русской читающей публикѣ вообще. Общихъ обзоровъ исторіи философіи оригинальныхъ у насъ совсѣмъ нѣтъ, а переводныхъ только два: „Исторія матеріализма“ Ланге и „Исторія философіи“ Льюиса. И это далеко не то, что курсъ химической технологіи Ильенкова, который, вѣроятно, давно и букинистами-то разорванъ на оберточную бумагу; книга Льюиса идетъ ходко, имѣется въ нѣсколькихъ изданіяхъ. Если такъ охотно раскупающая книгу русская читающая публика находится въ заблужденіи относительно ея достоинствъ, то отчего же спеціалисты не учатъ насъ уму-разуму даже тогда, когда прямо берутся за это дѣло? Вотъ это-то невниманіе къ читателямъ и составляетъ главный общій недостатокъ „Книги о книгахъ“.

Впрочемъ, при самомъ бѣгломъ обзорѣ „Книги о книгахъ“, бросаются въ глаза нѣкоторые удивительные пропуски, необъяснимые даже спеціальнымъ невниманіемъ къ русскимъ читателямъ. Отдѣлъ „философскихъ наукъ“ расположенъ чрезвычайно странно. Онъ раздѣляется на пять подъотдѣловъ: 1) исторія философіи, 2) психологія, 3) логика, 4) этика, 5) педагогика. Вы спросите, гдѣ-же сама философія, то-есть общія начала міроразумѣнія? Она помѣщена въ видѣ придатка къ „этикѣ“, и именно въ видѣ „хронологическаго списка лучшихъ изданій и переводовъ важнѣйшихъ философскихъ произведеній“, начиная съ Платона и Аристотеля и кончая „Основными началами“ Спенсера, „System der Philosophie“ Вундта и „L'avenir de la metaphisique“ Фулье, но съ значительными и не мотивированными пропусками. Нельзя считать сколько-нибудь удовлетворительными мотивами оговорки, сдѣланныя въ предисловіи къ подъотдѣлу „исторіи философіи“. Надо замѣтить, что краткими предисловіями снабжены всѣ пять подъотдѣловъ, но общаго предисловія къ „философскимъ наукамъ“ нѣтъ. Повидимому, эту роль исполняетъ частное предисловіе къ „исторіи философіи“. Говорю „повидимому“ потому, что не легко разобраться. Авторъ пишетъ: „Въ спискѣ не указаны важнѣйшія произведенія философской литературы прошедшаго, такъ

Digitized by Google

какъ они приведены вмѣстѣ съ ихъ оцѣнкой въ руководствахъ исторіи философіи, главнымъ образомъ, у Ueberveg'a". Во-первыхъ, въ вышеупомянутомъ придаткѣ къ подъотдѣлу „этики" нѣкоторыя „важнѣйшія произведенія философской литературы прошедшаго" указаны. Во-вторыхъ, кто возьметъ Ибервега, тому, пожалуй, весь отдѣлъ „философскихъ наукъ" „Книги о книгахъ" не нуженъ: въ имѣющемся въ русскомъ переводѣ третьемъ томѣ Ибервегова Grundriss'a („Исторіи новой философіи", переводъ Я. Колубовскаго) есть обширныя дополненія и по русской философіи. Далѣе: „Равнымъ образомъ въ спискѣ не указаны важнѣйшія произведенія современной философской литературы, какъ потому, что послѣдняя не отошла еще въ область матеріала, подлежащаго „историческому" (курсивъ подлинника) изученію, такъ и потому, что крайнее ея разнообразіе не даетъ возможности указать даже главнѣйшихъ ея представителей, не нарушивъ до нѣкоторой степени требованій объективности и безпристрастія". Вотъ поистинѣ странныя разсужденія! Почему требованія безпристрастія будутъ нарушены, если будутъ упомянуты представители всѣхъ группъ, на которыя дробится современная философская мысль? А, главное, почему составители думаютъ, что ихъ читателямъ нужно или доступно только историческое изученіе философской мысли? Надѣюсь, что желаніе отвѣтить себѣ на философскіе вопросы съ современной точки зрѣнія, желаніе дойти до высшихъ обобщеній мысли и жизни не въ исторической только дали, а сейчасъ,—довольно законно. И здѣсь опять видно необыкновенное небреженіе къ читателямъ, потому что потребность въ философскихъ обобщеніяхъ чрезвычайно сильна въ мыслящемъ русскомъ обществѣ. Объ этомъ, не говоря о прочемъ, можно судить по тому интересу, который возбуждаютъ новѣйшія писанія гр. Л. Толстого. И, конечно, гр. Толстого въ отдѣлѣ „философскихъ наукъ" нѣтъ,—онъ попадетъ, вѣроятно, въ одно изъ очень отдаленныхъ изданій „Книги о книгахъ", когда будетъ подлежать уже историческому изученію. Скажутъ, можетъ быть, что гр. Толстой, какъ мыслитель, стоитъ не достаточно высоко, чтобы попасть въ число избранныхъ редакціей „Книги о книгахъ". Но, вѣдь, намъ была обѣщана указка при выборѣ матеріала для чтенія (выраженіе редакціи „Книги о книгахъ"),—ну, и укажите вы, спеціалисты, какъ намъ смотрѣть на философію Толстого? Скажутъ далѣе, что гр. Толстой достаточно извѣстенъ.

Digitized by Google

Но, какъ авторъ „Войны и мира“, „Анны Карениной“ и проч., онъ не менѣе извѣстенъ, а, между тѣмъ, значится-же онъ въ отдѣлѣ „исторіи литературы“.

Да что Толстой! Допустимъ, что законность внесенія его въ „Книгу о книгахъ“ подлежитъ сомнѣнію. Но тамъ нѣтъ не только новѣйшихъ европейскихъ писателей по философіи, а нѣтъ и Огюста Конта, къ которому, кажется, приложимо уже и историческое изученіе. Его нѣтъ ни въ философіи, ни въ философіи исторіи, ни въ соціологіи. Изо всей огромной литературы о Контѣ и позитивной философіи есть только книга Милля, изданная по-русски вмѣстѣ со статьей Льюиса. Нѣтъ и Фейербаха. Бентама я не нашелъ ни въ отдѣлѣ этики, ни въ отдѣлѣ юридическихъ наукъ. Въ подъотдѣлѣ экономическихъ наукъ, озаглавленномъ „Рабочій вопросъ“, отсутствуютъ не только такіе систематическіе обзоры, какъ Мейера „Emancipationskampf des vierten Standes“, и другіе менѣе полные и обстоятельные, или, напримѣръ, вся спеціальная литература о международномъ обществѣ рабочихъ, но нѣтъ Лассаля. Это, вѣдь, почти невѣроятно! Нѣтъ и Прудона. Отсутствуютъ психо-физическія сочиненія Фехнера и вся вызванная имъ литература. Въ отдѣлѣ этики книга Гижицкаго „Moral-Philosophie“ etc. характеризуется, между прочимъ, тѣмъ, что въ ней замѣтно „нѣкоторое вліяніе американскихъ моралистовъ, а самыхъ американскихъ моралистовъ нѣтъ, въ лицѣ хотя-бы Сальтера, рѣчи котораго тотъ-же Гижицкій перевелъ на нѣмецкій языкъ подъ заглавіемъ „Religion der Moral“. Кстати объ американцахъ. За послѣднее время въ нашей журналистикѣ появлялись сообщенія объ оригинальномъ и замѣчательномъ американскомъ соціологѣ Лестерѣ Уордѣ. Ему посвящена значительная часть вышедшей недавно книги г. Николаева „Активный прогрессъ и экономическій матеріализмъ“. Была попытка издать „Динамическую соціологію“ Уорда по-русски, но она кончилась неудачей. Уордъ совсѣмъ не поминается въ „Книгѣ о книгахъ“, между тѣмъ какъ при мало-мальски внимательномъ отношеніи редакціи къ интересамъ и запросамъ русской читающей публики это былъ-бы немыслимый пропускъ. Вообще, впрочемъ, соціологія находится въ загонѣ въ „Книгѣ о книгахъ“: она занимаетъ маленькій уголокъ въ отдѣлѣ этнографіи и представлена болѣе чѣмъ бѣдно. А я увѣренъ, что огромное большинство вѣроятныхъ читателей „Книги о книгахъ“, ради расширенія этого отдѣла, охотно отказались-бы

Digitized by Google

отъ указателей по такимъ дисциплинамъ, какъ „ортопедія“ или „массажъ и врачебная гимнастика“. Въ отдѣлѣ исторіи русской литературы смѣшаны въ одну кучу собственно исторія литературы, сама литература (беллетристика) и критика. Все это очень неполно и безсистемно. При этой неполнотѣ и безсистемности надо особенно пожалѣть объ отсутствіи указаній на такія книги, какъ „Сборникъ критическихъ статей о Некрасовѣ“ г. Зелинскаго, его-же „Историко-критическій комментарій къ сочиненіямъ Достоевскаго“, его-же „Русская критическая литература о произведеніяхъ гр. Толстого“, г. Миронова „Характеристика русскихъ писателей“ (вышелъ, впрочемъ, кажется, только одинъ выпускъ,— не доведенный до конца сборникъ статей о гр. Толстомъ). Если „Книга о книгахъ“ отсылаетъ мѣстами своихъ читателей не только къ Ибервегу, но и къ библіографическимъ указателямъ г. Межова и т. п., то тѣмъ паче можно было сложить съ себя самостоятельный трудъ указаніемъ на сборники вродѣ книгъ г. Зелинскаго. Да ихъ не слѣдовало обходить и помимо этого соображенія; надо было только дополнить ихъ указаніемъ на позднѣйшія критическія статьи.

Всѣ приведенные пропуски намѣчены при самомъ бѣгломъ обзорѣ книги. Все это, конечно, частности, но частности настолько крупныя и, повторяю, даже мало вѣроятныя, что изъ нихъ слагаются нѣкоторыя общія черты. Невозможно себѣ представить, чтобы спеціалисты-составители соотвѣтственныхъ отдѣловъ забыли Льюиса, Конта, Бентама, Фехнера, Лассаля, Прудона,—эти имена исключены, конечно, въ здравомъ умѣ и твердой памяти. Мотивы этой операціи мнѣ совершенно непонятны, но, каковы-бы они ни были, должны-же они быть читателю извѣстны, въ виду извѣстности этихъ именъ и значительности связанной съ ними литературы, частью и русской. Другими словами, операціи полнаго исключенія они ни въ какомъ случаѣ не подлежали, а должны-бы сопровождаться мотивированнымъ указаніемъ на ихъ непригодность, если они съ точки зрѣнія редакціи дѣйствительно непригодны. Такой пріемъ употребленъ, напр., въ отдѣлѣ физики, въ предисловіи къ которому указаны нѣкоторыя сочиненія, не вошедшія въ самый списокъ, и сказано, почему именно они не вошли. Любопытно, что въ придисловіи къ отдѣлу психологіи говорится, между прочимъ, о школахъ, которыя, „отнюдь не считая психологію отдѣломъ физіологіи (какъ это дѣлалъ Огюстъ Контъ), при-

Digitized by Google

знаютъ необходимымъ изученіе физіологіи для успѣшнаго изслѣдованія душевныхъ явленій". Въ предисловіи къ отдѣлу „философіи математики" читаемъ: „Болѣе или менѣе подробное изложеніе предмета во всемъ объемѣ можно найти въ I томѣ „Cours de philosophie positive par Auguste Comte". А Контъ, какъ основатель позитивной философіи, какъ соціологъ, какъ авторъ вліятельной и оригинальной философіи исторіи, отсутствуетъ. Рядомъ съ такою роскошью въ нѣкоторыхъ отдѣлахъ, какъ приведенная рецензія негодной и не существующей книги Ильенкова или рецензія французскаго сочиненія прошлаго столѣтія по ортопедіи— поразительная скудость отдѣловъ соціологіи и философіи исторіи производитъ необыкновенно странное впечатлѣніе. Вообще, различные отдѣлы составлены удивительно неравномѣрно, и роль редакціи состояла, повидимому, главнымъ образомъ, въ томъ, чтобы не играть никакой роли. По крайней мѣрѣ, слѣдовъ ея объединяющей дѣятельности не видно. Она разослала спеціалистамъ приглашенія съ приложеніемъ весьма неопредѣленной программы и страницы одного аналогичнаго американскаго изданія для образца, и затѣмъ каждый отдѣльный составитель поступилъ по своему благоусмотрѣнію: нѣкоторые отнеслись къ дѣлу чрезвычайно добросовѣстно, другіе гораздо понеряшливѣе; одни остановились на крупныхъ произведеніяхъ, можетъ быть, въ подробностяхъ и устарѣвшихъ, но давшихъ въ свое время толчокъ цѣлому теченію мысли, живому и до сихъ поръ, другіе выкинули ихъ за бортъ; одни вдались въ детали, другіе ограничились крупными и общими чертами; одни заинтересовались строго-научными сочиненіями, другіе допустили въ свой списокъ и популярныя книги. Въ цѣломъ получилось полное отсутствіе общаго плана и совершенная непринаровленность къ нуждамъ и требованіямъ русскихъ читателей.

Въ общемъ предисловіи редакція „Книги о книгахъ" справедливо замѣчаетъ, что едва-ли можно заниматься какою-нибудь наукой, не зная, по крайней мѣрѣ, одного иностраннаго языка, вслѣдствіе чего всякій, желающій пополнить или умножить свои свѣдѣнія, долженъ, прежде всего, позаботиться пріобрѣсти хоть одинъ изъ этихъ ключей, отворяющихъ многіе замки. Прекрасный совѣтъ. Знаніе иностранныхъ языковъ упало у насъ за послѣднее время до чрезвычайности; они становятся положительно рѣдкостью въ массѣ молодыхъ людей, желающихъ самостоятельно

Digitized by Google

читать и учиться, и, понятно, какія трудности встрѣчаютъ ихъ на этомъ пути. Вполнѣ поэтому присоединяюсь къ пожеланію редакціи, но съ фактомъ надо, все-таки, считаться. Да и помимо того, обращающіяся въ русскомъ читающемъ обществѣ переводныя сочиненія, хотя-бы только капитальныя, заслуживаютъ особеннаго вниманія „Книги о книгахъ". Поэтому никоимъ образомъ не слѣдовало пропускать безъ плюса или минуса такихъ книгъ, какъ „Исторія философіи" Льюиса или „Основанія біологіи" Спенсера, или „Физіологія ума" Карпентера и т. п. (эти книги тоже не упомянуты ни въ переводахъ, ни въ оригиналѣ). Отъ редакціи „Книги о книгахъ" можно-бы было ожидать даже большаго: она могла-бы указать книги, переводъ которыхъ желателенъ. Если она опасалась (и, можетъ быть, справедливо опасалась) своего субъективизма, то, во-первыхъ, субъективизмъ, все-таки, допущенъ въ указателѣ, да и нельзя безъ этого обойтись; а, во-вторыхъ, есть нѣкоторые объективные признаки, которыми наши издатели могли-бы руководствоваться, даже безъ прямыхъ указаній редакціи. Если, напримѣръ, книга переведена на нѣсколько языковъ, то это служитъ нѣкоторымъ ручательствомъ, что она заслуживаетъ и русскаго перевода. Посмотримъ съ этой точки зрѣнія, напримѣръ, на отдѣлъ „гипнотизма". Въ краткомъ предисловіи составитель указываетъ мотивы, по которымъ онъ изъ всей литературы предмета выбралъ всего десять сочиненій, причемъ на русскомъ языкѣ всего три (одно оригинальное и два переводныхъ). Составитель выбиралъ такія сочиненія, во-первыхъ, которыя лучше всего характеризуютъ ту или другую изъ существующихъ гипнотическихъ школъ; во-вторыхъ, такія, которыя отличаются объективно-критическимъ отношеніемъ къ вопросу; въ-третьихъ, наконецъ, такія, въ которыхъ оттѣнено отношеніе гипнотизма къ родственному ему патологическому состоянію—истеріи. Все это прекрасно, но литература гипнотизма на русскомъ языкѣ такъ не богата, что ее необходимо было (да и не много-бы мѣста заняла) привести всю. Между тѣмъ, въ спискѣ пропущены имѣющіяся въ русскомъ переводѣ книги Ш. Рише, Бони и еще кое-что. Съ другой стороны, въ спискѣ нѣтъ работъ Бреда, которыя, несмотря на свою пятидесятилѣтнюю давность, переведены уже въ новѣйшее время на французскій и нѣмецкій языки, а потому, надо думать, не лишнія и въ русскомъ переводѣ.

Digitized by Google

Все это свидѣтельствуетъ о нѣкоторомъ небреженіи къ интересамъ читателей съ внѣшней, такъ сказать, стороны, со стороны особеннаго у насъ значенія переводной литературы и вообще сочиненій на русскомъ языкѣ. Но небреженіе редакціи „Книги о книгахъ“ идетъ и дальше. Это видно уже изъ необъяснимыхъ пропусковъ Конта и Лассаля.

Журнальныя статьи редакція „Книги о книгахъ“ отвергла декретомъ, изложеннымъ въ видѣ § 8 программы, разосланной сотрудникамъ. Декретъ этотъ гласитъ: „Какъ правило, въ „Указателѣ“ помѣщаются лишь названія самостоятельныхъ или переводныхъ сочиненій (т.-е. только книгъ). Журнальныя-же статьи *дозволяется* приводить лишь между (?) русскими книгами и въ томъ единственномъ случаѣ, когда по соотвѣтствующему вопросу на русскомъ языкѣ не существуетъ ни самостоятельныхъ, ни компилятивныхъ, ни переводныхъ сочиненій“. Мнѣ кажется, что это очень необдуманное рѣшеніе. Въ нашей журналистикѣ сосредоточено столько умственнаго интереса, а книгоиздательство у насъ столь еще скудно, что оказать вѣроятнымъ потребителямъ „Книги о книгахъ“ всю ту пользу, какой она вправѣ ожидать, невозможно безъ указанія журнальныхъ статей. Конечно, это прибавило-бы работы редакціи, но, вѣдь, что-же дѣлать? Безъ труда нѣтъ плода, какъ извѣстно. Притомъ-же, редакція могла-бы воспользоваться нѣкоторыми подготовительными работами, какъ, напримѣръ, почтенными библіографическими трудами г. Межова, указателями, изданными нѣкоторыми журналами, напримѣръ, „Вѣстникомъ Европы“ за двадцать пять лѣтъ, „Русскою Мыслью“ за десять лѣтъ, „Отечественными Записками“ за первыя десять лѣтъ по переходѣ журнала въ руки Некрасова и проч. Редакція и не обошлась безъ журнальныхъ статей, да и не могла обойтись, въ виду чисто-формальнаго характера той границы, которая отдѣляетъ книгу отъ журнальной статьи. Но она допустила журнальныя статьи чисто-случайно, даже не придерживаясь своего декрета. Напримѣръ, нѣкоторыя статьи г. Ключевскаго по исторіи русскаго права, напечатанныя въ „Русской Мысли“, вошли въ списокъ, хотя, по прямому смыслу декрета, ихъ приводить не „дозволялось“ бы. Статьи г. Ключевскаго („Происхожденіе крѣпостного права въ Россіи“, „Подушная подать и отмѣна холопства въ Россіи“, „Составъ представительства на земскихъ соборахъ древней Руси“) написаны по вопросамъ, по которымъ въ русской литературѣ имѣ-

Digitized by Google

ются книги,—значитъ, онѣ не представляютъ собою того „единственнаго случая, когда по соотвѣтствующему вопросу на русскомъ языкѣ не существуетъ ни самостоятельныхъ, ни компилятивныхъ, ни переводныхъ сочиненій“. Я не хочу этимъ сказать, что упомянутыя статьи не слѣдовало вносить въ указатель; напротивъ, непремѣнно слѣдовало, но не слѣдовало издавать неосновательный декретъ. Скажутъ, можетъ быть, что по нуждѣ и закону перемѣна бываетъ, что статьи г. Ключевскаго не имѣютъ журнальнаго характера и представляютъ собою чисто-ученую работу, которая не сегодня-завтра сложится въ книгу. Но я не думаю, чтобы „журнальный характеръ“ составлялъ такую ужъ бѣду или, по крайней мѣрѣ, ненужность для потребителей „Книги о книгахъ“. Да это не во всѣхъ случаяхъ и редакція думаетъ. Вотъ, напримѣръ, списокъ „сочиненій“ на русскомъ языкѣ по вопросу о пьянствѣ: *Керръ*: „Пьянство, его причины, лѣченіе и юридическое значеніе“; *Прыжовъ*: „Исторія кабаковъ въ Россіи“; *Янжулъ*: „Англійскіе кабатчики“ (см. въ „Очеркахъ и изслѣдованіяхъ“ II тома), а также „Пьянство и борьба противъ него“ (въ „Вѣстникѣ Европы“ 1888 г., №№ 6 и 7). По смыслу и буквѣ декрета, статья г. Янжула, напечатанная въ „Вѣстникѣ Европы“, есть недозволенная контрабанда, въ виду того, что существуютъ книги о пьянствѣ, въ томъ числѣ книга самого г. Янжула. Если мы затѣмъ обратимся къ этой книгѣ, то-есть къ „Очеркамъ и изслѣдованіямъ“ г. Янжула, то увидимъ, что „сочиненіе“, озаглавленное „Англійскіе кабатчики“, занимаетъ въ этой книгѣ шесть страницъ самаго малаго формата и представляетъ собою ни болѣе, ни менѣе, какъ корреспонденцію изъ Лондона, напечатанную въ 1880 г. въ газетѣ „Недѣля“. Корреспонденція самаго обыкновеннаго типа, но она произведена въ рангъ „сочиненія“; однако, и произведенная въ этотъ рангъ не помѣшала помѣщенію въ списокъ другой журнальной статьи г. Янжула, хотя это и не „дозволяется“. Рядомъ съ пропускомъ цѣлаго Лассаля въ „рабочемъ вопросѣ“, цѣлаго Конта въ философіи и соціологіи, цѣлаго Бентама въ юриспруденціи и этикѣ, цѣлаго Фехнера въ психофизикѣ и проч., это выходитъ особенно пикантно.

Я не хочу допустить, чтобы газетная корреспонденція г. Янжула, несмотря на принципіальное изгнаніе не то что газетныхъ, а и журнальныхъ статей, попала въ „Книгу о книгахъ“ потому, что ее редактировалъ г. Янжулъ, но очень склоненъ думать, что

Digitized by Google

произведенія гг. профессоровъ вообще имѣютъ въ глазахъ редакціи цѣну болѣе или менѣе независимую отъ ихъ внутренней цѣнности; отъ того-то такъ и тѣсно журнальнымъ статьямъ. Это жаль. При полномъ уваженіи къ оффиціальнымъ представителямъ науки, надо, все-таки, сказать, что на нихъ свѣтъ не клиномъ сошелся. А, главное, самое положеніе людей каѳедры отнюдь не таково, чтобы ихъ произведенія могли вполнѣ удовлетворить нуждающихся въ „Книгѣ о книгахъ". Каѳедральные люди имѣютъ дѣло съ небольшою сравнительно аудиторіей, ожидающею спеціальныхъ поученій въ строго опредѣленныхъ рамкахъ. До нихъ, въ большинствѣ случаевъ, едва-ли даже доходятъ интимнѣйшіе запросы людей, алчущихъ самостоятельнаго чтенія, „самообразованія", какъ у насъ говорятъ. Да и сами они, держась на высотахъ академическаго преподаванія, не склонны прислушиваться ко всѣмъ развѣтвленіямъ сложныхъ требованій „читателей". Въ силу того-же пребыванія на академическихъ высотахъ, каѳедральные люди боятся очень оригинальныхъ мыслей, смѣлыхъ гипотезъ, не завершенныхъ, а еще только развивающихся доктринъ, нерѣшенныхъ теоретическихъ и практическихъ вопросовъ, боятся иногда даже слишкомъ бойкой или страстной формы изложенія. Такъ не у насъ только ведется. Съ какимъ-нибудь Дарвиномъ или Марксомъ, которые, никогда не будучи профессорами, встряхнули всѣхъ профессоровъ, конечно, ничего не подѣлаешь, но и то французская академія отвергла Дарвина, когда дарвинизмъ завоевалъ уже весь міръ. Контъ, Шопенгауэръ, Дюрингъ имѣли основанія горько жаловаться на оффиціальныхъ представителей науки, для которыхъ они были слишкомъ оригинальны, слишкомъ не укладывались въ установившіяся рамки. Скажутъ, можетъ быть, то Европа, Дарвинъ, Марксъ, а нашей скромной наукѣ довлѣетъ особенная осторожность, и, дескать, прекрасно, что представители ея сторонятся рискованныхъ гипотезъ, необщепринятыхъ идей, нерѣшенныхъ вопросовъ. Можетъ быть, и прекрасно это, но бѣда-то въ томъ, что рискованныя гипотезы бродятъ среди возможныхъ потребителей „Книги о книгахъ", нерѣшенные вопросы интересуютъ и волнуютъ ихъ, а „Книга о книгахъ" оставляетъ ихъ безъ обѣщанной „указки". Вернемся на минуту къ упомянутому уже отдѣлу „гипнотизма". Спеціалистъ, составлявшій этотъ отдѣлъ, по моему мнѣнію, поступилъ неправильно, оставивъ безъ „указки" нѣкоторыя имѣю-

Digitized by Google

щіяся на русскомъ языкѣ сочиненія. Но, во всякомъ случаѣ, онъ свое дѣло сдѣлалъ, какъ спеціалистъ. Запросы читателей, однако, этимъ не кончаются. Мы знаемъ, что ученіе о гипнотизмѣ вторгается и въ психологію (наприм., Хэкъ-Тьюкъ—„Духъ и тѣло“, да и Карпентеръ), и въ педагогику (наприм., Гюйо—„Воспитаніе и наслѣдственность“), и въ соціологію, (напр., Тардъ—„Законы подражанія“), и ни одного изъ этихъ сочиненій въ „Книгѣ о книгахъ“ нѣтъ. Почему? Потому, вѣроятно, что ни одинъ изъ 130 спеціалистовъ, составлявшихъ указатель, не интересуется этимъ еще не вполнѣ опредѣлившимся теченіемъ научной мысли. По той-же причинѣ такъ поразительно скуденъ отдѣлъ соціологіи. Что такое соціологія? Даже и каѳедры-то такой нѣтъ въ университетахъ, и эта бѣдная наука будущаго должна быть ужъ и за то благодарна, что ей отведенъ маленькій задній уголъ въ отдѣлѣ этнографіи. Однако, вѣдь, соціологическія-то теоріи обращаются въ ищущей знанія публикѣ и живетъ въ ней соотвѣтственная потребность, которая „Книгою о книгахъ“ не будетъ удовлетворена. Возьмемъ теперь какой-нибудь практическій вопросъ, живо интересующій русское общество. Положимъ, вы хотите оріентироваться въ еврейскомъ вопросѣ. Куда-же обратиться, какъ не къ „Книгѣ о книгахъ“? Вы не найдете тамъ ничего, хотя, казалось-бы, вопросъ этотъ могъ-бы найти себѣ мѣсто въ различныхъ дисциплинахъ науки права. И какъ-бы для бо̀льшей послѣдовательности не указана даже ни одна исторія еврейскаго народа въ отдѣлѣ исторіи, а упомянуты лишь нѣкоторыя соотвѣтственныя сочиненія въ отдѣлѣ богословскихъ наукъ. Вы помните, что и современныя философскія теченія „Книга о книгахъ“ игнорируетъ на томъ основаніи, что къ нимъ еще не приложимо *историческое* изученіе. Все, на чемъ лежитъ печать жизни, страсти, что не отошло въ область прошедшаго или не отлилось въ законченныя формы академическаго преподаванія, болѣе или менѣе подозрительно въ глазахъ составителей.

При такомъ настроеніи, вообще говоря, журнальнымъ статьямъ, конечно, нѣтъ мѣста (исключенія, какъ мы видѣли, допускаются даже для газетныхъ корреспонденцій): журналистика могла-бы компрометировать величавую холодность академическихъ вершинъ. Такъ-ли это, однако, въ самомъ дѣлѣ? Мнѣ кажется, можно-бы было устроить дѣло такъ, чтобы и овцы были цѣлы, и волки

Digitized by Google

сыты. Напримѣръ, г. Янжулъ или соотвѣтственный спеціалистъ могъ-бы, ну, хоть покровительственно похлопать по плечу Конта и сказать: молодъ еще ты, братъ, молодъ и неоснователенъ; но такъ какъ тобою у насъ интересуются, то вотъ списокъ книгъ и журнальныхъ статей, въ которыхъ о тебѣ, о твоей философіи и соціологіи говорится; даю списокъ и умываю руки. Точно также, не только не замаравъ рукъ, а, напротивъ, умывъ ихъ, редакція могла-бы поступить и со многими другими вещами: пустяки, молъ, это съ нашей точки зрѣнія, но, коли вамъ надо,— получайте. Журналистика могла-бы сослужить при этомъ прекрасную службу: всѣ не установившіяся, но уже дающія себя знать научныя дисциплины, всѣ не рѣшенные, но интересующіе общество вопросы можно-бы было отнести на ея счетъ и отвѣтственность, а оффиціальные представители науки оставались-бы при этомъ въ положеніи жены Цезаря, которой не должно касаться малѣйшее подозрѣніе. Въ крайнемъ случаѣ, если-бы даже простое перечисленіе журнальныхъ статей по важнѣйшимъ интересующимъ русскихъ читателей вопросамъ оказалось, по обилію этого матеріала, затруднительнымъ, можно-бы было употребить среднюю. Я готовъ допустить, что газетная корреспонденція г. Янжула объ англійскихъ кабатчикахъ обладаетъ достоинствами, гарантирующими ей мѣсто въ указателѣ даже въ видѣ именно газетной корреспонденціи. Но, все-таки, она попала туда въ качествѣ „сочиненія", въ качествѣ если не книги, то маленькой составной части книги. По крайней мѣрѣ, хоть этотъ-то принципъ слѣдовало-бы распространить: не роясь въ массѣ журналовъ, ограничиться тѣми журнальными статьями, которыя впослѣдствіи, такъ или иначе, вошли въ составъ книги. Тамъ, гдѣ въ литературѣ рабочаго вопроса отсутствуетъ Лассаль, въ философіи и соціологіи Контъ, въ этикѣ Бентамъ и т. д., удивляться, собственно говоря, нечему. Но странно, все-таки, видѣть въ указателѣ корреспонденцію г. Янжула и не видѣть, напримѣръ, составившейся изъ журнальныхъ статей книги г. В. В. „Судьбы капитализма въ Россіи". Книга эта, какъ-бы мы ни расцѣнивали ея достоинства и недостатки, есть одно изъ выраженій оригинальнаго теченія русской мысли и отвѣчаетъ на вопросъ, чрезвычайно интересовавшій русскихъ читателей въ теченіе многихъ лѣтъ, да и по сію пору интересующій. Къ этому именно вопросу

Digitized by Google

мы и перейдемъ теперь, причемъ не сразу разстанемся съ „Книгой о книгахъ“.

Начиная нынѣшнюю бесѣду съ разговора о моихъ корреспондентахъ, я имѣлъ въ виду, между прочимъ, тронуть группу писемъ, вызванныхъ моими статьями о гр. Л. Н. Толстомъ. Всякія тутъ есть письма, и нѣкоторыя изъ нихъ заслуживаютъ вниманія. Но это приходится отложить. „Книга о книгахъ“ перебила мой первоначальный планъ. Впрочемъ, все нижеслѣдующее можетъ отчасти служить отвѣтомъ тоже на цѣлую группу писемъ. Мнѣ даже хочется начать эту главу съ воспоминанія объ одномъ моемъ безвременно погибшемъ корреспондентѣ, точнѣе—корреспонденткѣ.

Весной прошлаго года, будучи внѣ Петербурга, я получилъ письмо отъ слушательницы рождественскихъ фельдшерскихъ курсовъ Нагорской. Письмо было мотивировано одною случившеюся тогда со мною непріятностью и содержало въ себѣ слова участія, и затѣмъ разные вопросы и сомнѣнія. Внѣ сомнѣній для автора письма было ея будущее непосредственное служеніе народу тѣми знаніями, которыя она пріобрѣтетъ на курсахъ; но спеціальными знаніями она не ограничивалась, и, прежде всего, хотѣла изучить среду, въ которой ей придется дѣйствовать, изучить въ самомъ широкомъ смыслѣ слова: фактическое положеніе, вѣроятное будущее, параллельныя явленія европейской жизни. Ее лично влекло пристроиться, по окончаніи курса, куда-нибудь на фабрику, но какіе-то ея знакомые или товарищи доказывали, что она должна устроиться не на фабрикѣ, а въ деревнѣ. Вопросъ, самъ по себѣ, конечно, не важный, но отъ его рѣшенія зависѣлъ, во-первыхъ, для моей корреспондентки характеръ подготовительныхъ внѣ-школьныхъ занятій и, во-вторыхъ, съ нимъ связывался, очевидно, много дебатировавшійся теоретическій вопросъ, скажемъ для краткости, о „судьбахъ капитализма въ Россіи“,—не о книгѣ г. В. В., а объ ея предметѣ. Письмо касалось еще многаго другого, и во всемъ этомъ было много молодой наивности, много болѣзненной нервности, но была и глубокая искренность, и страстное желаніе разобраться въ смущавшихъ молодую дѣвушку вещахъ и идеяхъ. По разнымъ соображеніямъ я уклонился отъ переписки, но какъ только вернулся въ Петербургъ, пригласилъ

Digitized by Google

къ себѣ Нагорскую. Пришла застѣнчивая, худенькая, блѣдная дѣвушка съ необыкновенно слабымъ голосомъ, нервною торопливостью рѣчи и вдобавокъ сильнымъ малороссійскимъ акцентомъ, что, все вмѣстѣ, заставляло особенно внимательно вслушиваться въ то, что она говоритъ. Это была воплощенная жажда сознательной дѣятельности, работница по темпераменту, но работница, требующая теоретическаго освѣщенія каждаго своего шага. Къ сожалѣнію, эта драгоцѣнная духовная комбинація была заключена въ очень хрупкую тѣлесную оболочку. Немудрено поэтому, что во мнѣ мелькнуло дурное предчувствіе, когда однажды, совершенно неожиданно, Нагорская пришла проститься: съ большимъ для себя рискомъ обойдя нѣкоторыя препятствія формальнаго характера, она уѣзжала въ Самарскую губернію на помощь голодающимъ. Не прошло, должно быть, мѣсяца, какъ я получилъ извѣстіе, что она заразилась тифомъ и находится въ крайне бѣдственномъ положеніи, а еще черезъ короткое время я присутствовалъ на панихидѣ по худенькой дѣвушкѣ съ слабымъ голосомъ и торопливою рѣчью...

Я разсказалъ эту маленькую исторію частью просто потому, что хотѣлось помянуть бѣдную безвѣстную дѣвушку, такъ напряженно думавшую, такъ глубоко чувствовавшую и такъ скоро умершую, едва выступивъ на то поприще служенія народу, къ которому она такъ сознательно и добросовѣстно готовилась. Маленькій это былъ человѣкъ, но не грѣхъ и маленькаго человѣка помянуть во всеуслышаніе, когда онъ умираетъ такъ, какъ умерла Юлія Васильевна Нагорская. Не грѣхъ и о живыхъ Нагорскихъ подумать. Къ счастію, онѣ есть, и ихъ даже, можетъ быть, не мало, несмотря на неблагопріятныя условія. Я часто вспоминаю худенькую дѣвушку съ уторопленною рѣчью и слабымъ голосомъ. Вспомнилась она мнѣ и при чтеніи „Книги о книгахъ“. Она приносила два или три рукописныхъ указателя книгъ и статей, изъ которыхъ одинъ былъ составленъ, помнится, гдѣ-то въ Сибири и, очевидно, при очень неблагопріятныхъ условіяхъ. Указатели эти страдали обычными недостатками подобныхъ работъ, и, конечно, Нагорская обѣими руками ухватилась-бы за „Книгу о книгахъ“, но едва-ли удовлетворилась-бы. Не знаю, читаютъ-ли на рождественскихъ курсахъ „оротопедію“, „массажъ“, „зубоврачебное искусство“, но думаю, что если и не читаютъ, то несложную, такъ сказать, прямолинейную литературу этихъ предметовъ

Digitized by Google

покойница въ случаѣ надобности, все-таки, могла-бы получить отъ своихъ собственныхъ профессоровъ, и не ея искала-бы она въ „Книгѣ о книгахъ“. А, между тѣмъ, мнѣ кажется, что это-то и есть самый дорогой типъ читателей и что ихъ интересы должны-бы стоять на первомъ планѣ въ подобномъ изданіи. Я не хочу, конечно, сказать, что эти люди ничего не извлекутъ изъ „Книги о книгахъ“. Нѣтъ, за неимѣніемъ лучшаго, и это изданіе можетъ многимъ принести пользу. Но мы вправѣ были ожидать именно лучшаго: вѣдь, тутъ 130 спеціалистовъ работало! „Книга о книгахъ“ до такой степени нужна, что выдержитъ, безъ сомнѣнія, не одно изданіе, и надо желать, чтобы къ слѣдующему изданію редакція, исправивъ нѣкоторые промахи, непозволительные и на академическихъ высотахъ, вмѣстѣ съ тѣмъ заглянула и въ долину жизни. Было-бы, можетъ быть, хорошо, если-бы редакція познакомилась съ циркулирующими среди жаждущихъ чтенія самодѣльными указателями. Редакція, правда, упоминаетъ въ предисловіи о такъ называемыхъ „систематическихъ каталогахъ“, издаваемыхъ уже нѣсколько разъ и въ разныхъ городахъ Россіи и отличавшихся большею частью „односторонностью и тенденціозностью“. Я не увѣренъ, однако, что редакція разумѣетъ здѣсь именно упомянутые самодѣльные каталоги, но если она и знакома съ послѣдними, то не видно, все-таки, чтобы она приняла ихъ во вниманіе. О, я понимаю гордость людей науки и не предлагаю имъ учиться у безвѣстныхъ составителей „систематическихъ каталоговъ“! Я знаю, что ученаго учить—только портить, а я желалъ-бы, чтобы „Книга о книгахъ“ не испортилась въ послѣдующихъ изданіяхъ, а, напротивъ, улучшилась. И не испорчена, а улучшена она будетъ, если редакція приметъ во вниманіе запросы читателей. И тогда ей придется отказаться отъ слишкомъ презрительнаго или слишкомъ боязливаго отношенія къ тому, что живо и живьемъ пахнетъ, что не отошло на разстояніе „историческаго изученія“ или еще не получило по какимъ-нибудь обстоятельствамъ каѳедральнаго значенія, что волнуется и волнуетъ. Между прочимъ, придется удѣлить мѣсто и тому вопросу, который такъ занималъ покойную Нагорскую и, конечно, далеко не одну ее...

Въ „Книгѣ о книгахъ“, въ отдѣлѣ политической экономіи, упомянуты, вслѣдъ за экономическою теоріей Маркса: „критика этой теоріи Жуковскаго, „Вѣстникъ Европы“ 1877, № 9, и за-

Digitized by Google

щита ея Зибера, „Отечественныя Записки“ 1877, № 11“. Это одинъ изъ немногихъ случаевъ допущенія въ указатель журнальныхъ статей. Совсѣмъ рядомъ со статьей Зибера, всего однимъ мѣсяцемъ раньше, въ тѣхъ-же „Отечественныхъ Запискахъ“ была напечатана моя статья „Карлъ Марксъ передъ судомъ г. Жуковскаго“, которая, однако, въ указатель не попала...

Читатель, я чувствую неловкость положенія, въ которое становлюсь этимъ указаніемъ или даже, какъ иному можетъ показаться, жалобой, что вотъ, дескать, Зибера статью помянули, а однородную мою статью пропустили,—обидѣли. Но это одно изъ тѣхъ неловкихъ положеній, изъ которыхъ очень легко выйти. Съ самаго начала бесѣдъ, я далъ себѣ право воспоминаній, изъ состава которыхъ никогда не думалъ исключать себя лично. Да если-бъ я и хотѣлъ какъ-нибудь обойти свою собственную дѣятельность, то просто не могъ-бы это сдѣлать: слишкомъ она тѣсно связана съ тѣмъ моментомъ исторіи русской литературы, который я хотѣлъ-бы напомнить. Внутренняя потребность, безотчетная потребность чувства толкнула меня въ эту сторону послѣ смерти Елисеева, но она тотчасъ-же осложнилась чисто-разсудочнымъ элементомъ. Въ виду частью полнаго забвенія и незнанія, а частью клеветы и непониманія, какія нынѣ сплошь и рядомъ встрѣчаются по отношенію къ тому литературному теченію, принадлежность къ которому я поставляю себѣ въ особенную часть, нужно его напомнить. Это было нужно давно, это становится все нужнѣе, потому что забвеніе и незнаніе или клевета и непониманіе достигаютъ, наконецъ, почти невѣроятныхъ предѣловъ, какъ мы видѣли въ прошлый разъ, говоря о статьѣ г. Сементковскаго, къ которой еще придется вернуться. Если я по разнымъ причинамъ оборвалъ послѣдовательную нить личныхъ воспоминаній, то и не отказывался при случаѣ ее возобновить. А въ данномъ случаѣ дѣло идетъ именно о воспоминаніяхъ, хотя и переплетенныхъ съ разными явленіями текущей литературы и жизни. Не въ уязвленномъ моемъ самолюбіи дѣло. Въ „Книгѣ о книгахъ“ мнѣ отведено извѣстное мѣсто, и разъ я, такъ или иначе, попалъ въ списокъ избранныхъ, куда не удостоились чести попасть Контъ и Лассаль, Бентамъ и Фейербахъ, Прудонъ и Фехнеръ, — надо имѣть поистинѣ дьявольское самолюбіе, чтобы этимъ не удовлетвориться и придираться еще къ пропуску какой-то тамъ от-

Digitized by Google

дѣльной статьи. Но по нѣкоторымъ обстоятельствамъ это не просто какая-то тамъ отдѣльная статья, какія я мало-ли еще о чемъ писалъ, и въ пропускѣ ея сказалась характерная черта мертвенности „Книги о книгахъ“. Редакція можетъ сказать, что изъ двухъ возраженій г. Жуковскому она выбрала то, которое она признаетъ болѣе солиднымъ, болѣе заслуживающимъ вниманія съ научной точки зрѣнія. Противъ этого я-бы ничего не могъ возразить. Хотя Зиберъ самъ мнѣ говорилъ, что удивляется совпаденію нашей аргументаціи (за исключеніемъ одного пункта, о чемъ сейчасъ скажу), но я журналистъ, а онъ былъ спеціалистъ по политической экономіи и человѣкъ каѳедры,—ему и книги въ руки. Признаюсь, есть спеціалисты и люди каѳедры, къ которымъ я отношусь нѣсколько скептически, но Зиберъ былъ дѣйствительно серьезный ученый, и ужъ ни въ какомъ случаѣ не сталъ-бы я съ нимъ мѣряться знаніями,—слишкомъ-бы это было для меня невыгодно.

Но въ статьѣ „Карлъ Марксъ передъ судомъ г. Жуковскаго“ есть нѣчто, чего не было и не могло быть въ статьѣ Зибера, правовѣрнаго ученика Маркса не только въ области теоретической экономіи, а и въ области философско-историческихъ взглядовъ. Это нѣчто касается вопроса объ экономическомъ, а, пожалуй, и вообще культурномъ будущемъ Россіи по сравненію съ ходомъ дѣлъ въ Европѣ, — вопроса практическаго и теоретическаго вмѣстѣ,—вопроса, имѣющаго свою огромную литературу, съ давнихъ поръ волновавшаго русское общество, дробившаго его на рѣзко противоположныя партіи и вступившаго въ новый фазисъ въ виду ученія Маркса. Отражая въ себѣ этотъ послѣдній фазисъ въ частной формѣ „судебъ капитализма въ Россіи“, статья „Карлъ Марксъ передъ судомъ г. Жуковскаго“ примыкаетъ такимъ образомъ къ длинной цѣпи дебатовъ, когда-то, въ другой формѣ, наполнявшихъ собою, можно сказать, всю литературу. Разумѣю споры славянофиловъ и западниковъ. Вся относящаяся сюда литература сведена въ „Книгѣ о книгахъ“ къ книгамъ г. Веселовскаго „Западное вліяніе въ новой русской литературѣ“, г. Страхова—„Борьба съ западомъ въ русской литературѣ“, Данилевскаго — „Россія и Европа“ и статьямъ Ор. Миллера — „Основы ученія первоначальныхъ славянофиловъ“. Разумѣется, кто обратится къ имѣющимся въ указателѣ трудамъ по исторіи русской литературы, напримѣръ, г. Пыпина или г. Скабичевскаго,

Digitized by Google

тотъ найдетъ и дальнѣйшія указанія, но собственно отъ себя „Книга о книгахъ“ рекомендуетъ только гг. Веселовскаго, Страхова, Данилевскаго и Ор. Миллера для ознакомленія съ одной изъ любопытнѣйшихъ страницъ исторіи русской общественности. Къ отдѣламъ „ортопедіи“ и „массажа“ „Книга о книгахъ“ относится несравненно любовнѣе... А, между тѣмъ, споры западниковъ и славянофиловъ допускаютъ и „историческое“ уже изученіе. Всѣ четыре указываемыя „Книгою о книгахъ“ произведенія относятся къ такому времени, когда споръ славянофиловъ съ западниками уже утратилъ свое острое живое значеніе и когда параллели между европейскою и русскою исторіей перешли на новую почву, на которой не было мѣста старымъ знаменамъ славянофильства и западничества. Здѣсь, на этой новой почвѣ, сложилась опять-таки своя литература, происходилъ живой и горячій споръ между представителями различныхъ мнѣній, но это теченіе уже совершенно игнорируется „Книгою о книгахъ“. Не было-бы ничего удивительнаго, что на этомъ общемъ фонѣ „нѣтовой земли“ отсутствуетъ и статья „Карлъ Марксъ передъ судомъ г. Жуковскаго“. Но тутъ замѣшалось одно довольно исключительное обстоятельство. Случилось такъ, что статья эта, написанная въ защиту Маркса, но съ оговорками, вызвала вмѣшательство самого Маркса въ нашъ русскій споръ: его возраженіе на мою статью или объясненіе по поводу ея, уже послѣ его смерти, было напечатано въ „Юридическомъ Вѣстникѣ“ (за 1888 г.) подъ заглавіемъ „Письмо Карла Маркса“. Отнюдь не приглашая читателей рабски благоговѣть передъ каждою строкой знаменитаго экономиста, я думаю, однако, что это фактъ, который не слѣдовало оставлять безъ вниманія, по крайней мѣрѣ, въ томъ случаѣ, когда прямо говорится о русской критикѣ и анти-критикѣ теорій Маркса.

За мной накопилось много долговъ передъ читателями, долговъ добровольныхъ, такъ какъ самъ я, по разнымъ поводамъ, обѣщалъ поговорить о томъ, о другомъ, и многихъ этихъ обѣщаній не исполнилъ. Но я ихъ хорошо помню и при удобномъ случаѣ исполняю. Между прочимъ, я давно уже хотѣлъ разсказать о типичномъ увлеченіи покойнаго Зибера гегелевскою философіей, а въ прошлый разъ обѣщалъ вернуться къ книжкѣ Ланге и статьѣ г. Сементковскаго. Это удобно сдѣлать теперь въ связи съ философско-историческою теоріей Маркса.

Digitized by Google

Теорія эта изложена въ шестой главѣ „Капитала“ подъ скромнымъ заглавіемъ „Такъ называемое первоначальное накопленіе“. Состоитъ она въ слѣдующемъ. Капиталистическій процессъ требуетъ, для своего осуществленія и развитія, двухъ разрядовъ людей. Во-первыхъ, налицо долженъ быть собственникъ орудій производства, желающій увеличить принадлежащую ему сумму цѣнностей покупкою чужого труда; во-вторыхъ, налицо долженъ быть продавецъ труда, свободный работникъ. Рабъ или крѣпостной для этого не годится; не годится и крестьянинъ, имѣющій свое собственное хозяйство. Какъ участникъ капиталистическаго производства, самъ работникъ не долженъ принадлежать къ условіямъ производства, не должны и эти условія принадлежать ему. Сообразно этому, первоначальное накопленіе есть процессъ отдѣленія работника отъ условій труда или средствъ производства, или собственности. Исторія показываетъ, что вездѣ въ Европѣ процессъ этотъ начался вскорѣ послѣ паденія крѣпостного права. Минуя подробности, развитыя съ свойственною Марксу логическою силой и эрудиціей, отмѣтимъ лишь результатъ: формальное измѣненіе отношеній, именно—превращеніе рабовъ и крѣпостныхъ въ наемныхъ работниковъ и, въ то-же время, экспропріація непосредственныхъ производителей, то-есть уничтоженіе частной собственности, основанной на собственномъ трудѣ. Это былъ трудный, мучительный и долгій, вѣковой, но, въ то-же время, необходимый процессъ. Средневѣковыя формы самостоятельности земледѣльца и ремесленника, имѣющихъ въ своихъ рукахъ орудія производства, предполагаютъ раздробленіе земли и орудій. Эти формы противятся введенію коопераціи, раздѣленію труда, общественному господству надъ природой,—словомъ, исключаютъ развитіе общественной производительной силы въ широкихъ размѣрахъ. На извѣстной ступени развитія этотъ порядокъ вещей самъ выдвигаетъ матеріалы для своего разрушенія „Уничтоженіе его, обращеніе индивидуальныхъ и раздробленныхъ средствъ производства въ общественно-сосредоточенныя, т.-е. обращеніе мелкой собственности многихъ въ громадную собственность не многихъ, т.-е. экспропріація земли, средствъ существованія и орудій труда у большихъ народныхъ массъ, эта ужасная и трудная экспропріація народа образуетъ первоначальную исторію капитала“. Но процессъ на этомъ не останавливается. Въ силу „имманентныхъ законовъ“ самого капиталисти-

Digitized by Google

ческаго производства, идетъ дальнѣйшее „обобществленіе“ труда. На этотъ разъ экспропріируются уже не рабочіе, а сами капиталисты. Одинъ капиталистъ побиваетъ другихъ, не многіе экспропріируютъ многихъ, число магнатовъ капитала сокращается, средства производства сосредоточиваются все въ меньшемъ числѣ рукъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, развивается „кооперативная форма рабочаго процесса, сознательное технологическое приложеніе науки, цѣлесообразная эксплоатація земли, превращеніе орудій труда въ такія, которыя могутъ прилагаться только сообща, и экономизированіе всѣхъ средствъ производства посредствомъ употребленія ихъ, какъ общихъ средствъ производства комбинированнаго общественнаго труда“. Рядомъ со всѣми ужасами нищеты, униженія, гнета, которыми этотъ процессъ обрушивается на массы, идетъ обученіе, объединеніе, организація этихъ массъ „самымъ механизмомъ капиталистическаго процесса производства“. И, наконецъ, капиталистическая оболочка не выдерживаетъ этого „обобществленія“: „экспропріирующихъ экспропріируютъ“. „Капиталистическій способъ производства и присвоенія, а, слѣдовательно, и капиталистическая частная собственность есть отрицаніе индивидуальной частной собственности, основывающейся на собственномъ трудѣ. Отрицаніе капиталистическаго производства производится имъ-же самимъ и неизбѣжностью собственнаго процесса. Это—отрицаніе отрицанія. Оно снова возстановляетъ индивидуальную собственность, но на основаніи пріобрѣтеній капиталистической эры, т.-е. на основаніи коопераціи свободныхъ работниковъ и ихъ общиннаго владѣнія землею и средствами производства, произведенными самими работниками“. Этотъ обратный процессъ долженъ завершиться несравненно быстрѣе и безболѣзненнѣе, чѣмъ процессъ экспропріаціи массъ.

Теорія эта, обнимающая одною формулой ужасы прошедшаго, тяжесть настоящаго и свѣтлое будущее, имѣла, какъ извѣстно, огромный успѣхъ, продолжающійся и до нынѣ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ, между прочимъ, и успѣхъ романа Беллами, въ которомъ уже черезъ сто лѣтъ не только осуществляется предсказанный Марксомъ порядокъ вещей (конечно, въ фантастической формѣ, потому что Марксъ и не пытался уловить конкретныя формы будущаго строя), но нынѣшніе порядки являются уже далекимъ, едва понятнымъ преданіемъ. Теорія Маркса даетъ извѣстное удовлетвореніе наболѣвшему чувству европейскаго про-

Digitized by Google

летарія, указывая ему неизбѣжность и близость избавленія. Еще большее удовлетвореніе получаютъ тѣ благородные характеры изъ внѣ-рабочей среды, которые, не испытывая непосредственно на себѣ тяжесть современныхъ экономическихъ условій въ Европѣ, принимаютъ, однако, къ сердцу положеніе рабочихъ классовъ и съ тоскою и страхомъ гадаютъ о будущемъ европейской цивилизаціи. Изъяны и темныя стороны современнаго положенія вещей, по Марксу, сами собой и изъ себя самихъ, органически, непреодолимою силой логики вещей создадутъ новый порядокъ. То обстоятельство, что это предвидѣніе было облечено въ гегеліанскую формулу трехчленнаго развитія путемъ противорѣчій (положенія, отрицанія и отрицанія отрицанія), ничему не мѣшало. Марксъ наполнилъ эту всеобъемлющую и вмѣстѣ пустую идеалистическую формулу живымъ реальнымъ матеріаломъ и лишній разъ привлекъ общее вниманіе къ этой „игрѣ ума“, которая такъ часто оправдывается въ жизни. Говоря объ этомъ обстоятельствѣ, Ланге замѣчаетъ: „Трудъ Маркса еще разъ доказываетъ, что сильная сторона гегелевскаго умозрѣнія лежитъ въ его историко-философскомъ методѣ, особенный принципъ котораго почти можно назвать антропологическимъ открытіемъ“. Ланге полагаетъ, однако, что въ дѣйствительности процессъ развитія путемъ послѣдовательныхъ противорѣчій происходитъ не такъ легко, точно и симметрично, какъ въ чистомъ умозрѣніи; онъ не раздѣляетъ поэтому надеждъ Маркса на быстрое завершеніе послѣдней стадіи предсказаннаго имъ процесса и предвидитъ на этомъ пути многія отклоненія и долгую борьбу.

Не такъ смотрѣлъ на дѣло Зиберъ. Мнѣ неизвѣстна біографія Зибера. Знаю только, что онъ былъ одно время доцентомъ политической экономіи въ кіевскомъ университетѣ, но скоро долженъ былъ оставить каѳедру и долгое время жилъ въ Швейцаріи, въ Бернѣ. Онъ присылалъ время отъ времени статьи въ „Отечественныя Записки“, всегда чрезвычайно интересныя, хотя и тяжеловатыя по изложенію. Впрочемъ, статья о критикѣ г. Жуковскаго составляетъ исключеніе, она написана чрезвычайно живо и ясно. Лично познакомился я съ Зиберомъ, помнится, въ началѣ 1878 года, когда онъ былъ временно въ Петербургѣ; во всякомъ случаѣ, это было вскорѣ послѣ появленія статьи г. Жуковскаго о Марксѣ и нашихъ на нее возраженій. Превосходный спеціалистъ по своей части, Зиберъ произ-

Digitized by Google

водилъ на меня впечатлѣніе настоящаго неофита въ философіи, въ которую былъ вовлеченъ Гегелемъ чрезъ посредство Маркса и Энгельса. Помню, такъ сказать, аппетитъ, съ которымъ онъ развивалъ извѣстныя иллюстраціи къ трехчленной гегелевской формулѣ, обаятельность которой я на себѣ испыталъ въ юношескіе годы: „возьмите пшеничное зерно, посѣйте,—сѣмя дастъ ростокъ, который есть отрицаніе сѣмени, такъ какъ разрушаетъ его, но затѣмъ дальнѣйшее развитіе этого отрицанія ведетъ къ его, въ свою очередь, отрицанію, представляющему, вмѣстѣ съ тѣмъ, возвращеніе къ первой стадіи: стебель окончивается колосомъ, скопленіемъ, обществомъ сѣмянъ“. И тотъ-же, дескать, процессъ происходитъ во всемъ сущемъ, въ томъ числѣ и въ области людскихъ отношеній. Загадочная и увлекательная „игра ума“ Гегеля, по своей расплывающейся общности и отвлеченности, собственно говоря, не допускаетъ возраженій, но я пытался объяснить явленія, о которыхъ у насъ шла рѣчь, другими, не столь общими и абстрактными способами. Въ концѣ-концовъ, дѣло было, впрочемъ, не въ исторіи пшеничнаго зерна и не въ міровыхъ процессахъ. Въ статьѣ „Карлъ Марксъ передъ судомъ г. Жуковскаго“, вполнѣ признавая огромную эрудицію, рѣдкую логическую силу и научныя заслуги Маркса, каковыя достоинства г. Жуковскій пытался умалить; вполнѣ примыкая къ основнымъ положеніямъ экономической доктрины Маркса, я съ сомнѣніемъ остановился передъ философско-историческими его соображеніями. Собственно говоря, даже не прямо передъ ними (потому-что и цѣль моя состояла не въ критикѣ „Капитала“), а передъ тѣмъ, какъ они могутъ отразиться въ умахъ русскихъ читателей. На этомъ-то пунктѣ мы и расходились съ Зиберомъ. Чтобъ оцѣнить характеръ этого разногласія, заглянемъ на минуту въ „Рабочій вопросъ“ Ланге.

Мы найдемъ тамъ, между прочимъ, слѣдующія идеи:

„Если мы не можемъ отрѣшиться отъ мысли, что извѣстное политико-экономическое ученіе, какъ и соотвѣтствующій ему капиталистическій способъ производства, имѣло свое относительное, историческое основаніе, а частью и теперь еще имѣетъ его, и что всякое стараніе поддержать въ настоящее время жалкіе остатки средневѣковыхъ формъ труда было-бы роковою ошибкой и безполезнымъ безуміемъ, то нами при этомъ руководитъ, главнымъ образомъ, одно простое соображеніе. Мы полагаемъ, что

Digitized by Google

новыя, болѣе цѣлесообразныя и болѣе соотвѣтствующія современной зрѣлости человѣческаго рода формы общественныхъ отношеній и труда не могли развиться безъ промежуточнаго момента—эпохи промышленнаго кулачнаго права“ (ст. 39).

„Противорѣчіе, состоящее, повидимому, въ томъ, что мы, съ одной стороны, признаемъ историческою необходимостью принесеніе цѣлыхъ поколѣній въ жертву немногимъ личностямъ, а съ другой—называемъ это жертвоприношеніе проклятіемъ и громаднымъ несчастіемъ для всего человѣчества,—это противорѣчіе только кажущееся. Оно не заключаетъ въ себѣ ничего нелогическаго, напротивъ того, оно—вѣрное отраженіе вѣчнаго контраста природы и духа, объективнаго сознанія и нравственнаго хотѣнія. Идеальное осмысливаніе выбивается наружу изъ неосмысленности унаслѣдованнаго бытія, и никогда, пока мы хотимъ оставаться нравственными существами, мы не должны отказываться отъ своего права сдѣлать нынѣшній день началомъ новой жизни, какъ для отдѣльной личности, такъ и для всего человѣчества. Вникнувъ поглубже въ прошедшее, мы не преминемъ открыть извѣстную *цѣлесообразность* (курсивъ подлинника) въ этомъ страшномъ жертвоприношеніи; но это не та узко-разсчетливая, близорукая предусмотрительность человѣческаго ума, съ которой мы знакомы изъ ежедневнаго опыта, а колоссальный и безпощадный механизмъ природы, который, творя и вновь уничтожая, медленно приближается къ своей тысячелѣтней цѣли, сопровождаемый стонами“ (стр. 44).

Къ общей философской физіономіи Ланге вовсе не [illegible] обнаруживающаяся въ послѣднихъ строкахъ вѣра въ цѣлесообр[illegible]ность природы или исторіи, или, по крайней мѣрѣ, вѣра [illegible] подлежитъ извѣстнымъ оговоркамъ. Но намъ теперь не до этого; мы можемъ оставить вопросъ о стихійной цѣлесообразности совсѣмъ въ сторонѣ. Хорошо Ланге или Марксу или иному европейцу того-же склада убѣжденій говорить о безусловной необходимости „промежуточнаго момента—эпохи промышленнаго кулачнаго права“, о „роковой ошибкѣ и безполезномъ безуміи стараній поддержать въ настоящее время жалкіе остатки средневѣковыхъ формъ труда“ и, въ то-же время, о „правѣ сдѣлать нынѣшній день началомъ новой жизни“. Тотъ полный ужасовъ процессъ отлученія работника отъ условій производства, который, по Марксу, долженъ самъ собою, органически получить благодѣ-

Digitized by Google

тельный оборотъ, уже сильно подвинулся впередъ въ старыхъ промышленныхъ странахъ Европы. И Ланге, и Марксъ вѣруютъ и исповѣдуютъ, что эпоха промышленнаго кулачнаго права уже близка къ своему концу, что страданія, ею вызванныя и созданныя, почти исчерпаны, а положительная ея сторона, обобществленіе труда, достаточно созрѣла. Я не думаю, чтобы такъ было въ дѣйствительности, и говорю съ точки зрѣнія вѣрующихъ послѣдователей Маркса. Несомнѣнно, однако, что формулированный Марксомъ процессъ дѣйствительно очень подвинулся впередъ въ нѣкоторыхъ европейскихъ странахъ. Вполнѣ положиться на его стихійное теченіе и сложить руки въ безусловномъ довѣріи, конечно, нельзя, въ виду двойственнаго, противорѣчиваго характера процесса. Не говоря о томъ, что обобществленіе требуетъ практики и пробы, самъ Марксъ указываетъ на опасности, проистекающія изъ „подкапыванія подъ человѣческую расу посредствомъ чрезмѣрнаго труда, дѣленія труда, подчиненія его машинамъ, калѣченія незрѣлыхъ и женскихъ организмовъ, дурной жизни и т. п.“ Факты этого рода, въ изобиліи приводимые Марксомъ, поистинѣ ужасны. Не менѣе опредѣленно выражается и Ланге, говоря о „возможности вырожденія, подъ вліяніемъ господства капитала, промышленныхъ рабочихъ въ низшую физически и психически расу“. Поэтому независимо отъ процесса обобществленія труда и рядомъ съ нимъ, остается еще много мѣста „мужественному противодѣйствію многочисленныхъ врачей, государственныхъ дѣятелей и друзей человѣчества всякаго званія“. Но все это только поправки и дополненія, имѣющія цѣлью смягчать терніи основного и, въ концѣ-концовъ, благодѣтельнаго историческаго процесса, большая часть котораго уже пройдена, залегла мертвымъ историческимъ пластомъ. Передъ этимъ мертвымъ пластомъ указываемое Ланге противорѣчіе объективнаго сознанія и нравственнаго хотѣнія не хватаетъ за сердце и не мѣшаетъ дѣйствовать. Но въ такомъ-ли положеніи находимся мы, русскіе? „Средневѣковыя формы труда“ находятся у насъ еще отнюдь не въ видѣ „жалкихъ остатковъ“, и стараніе поддержать ихъ есть, можетъ быть, не такая ужъ „роковая ошибка и безполезное безуміе“. Подъ средневѣковыми формами труда слѣдуетъ разумѣть не только общинное землевладѣніе, кустарную промышленность или артельную организацію. Все это несомнѣнно средневѣковыя формы, но къ нимъ должны быть причислены всѣ виды принадлежности

Digitized by Google

земли или орудій производства работнику. Съ нарушенія этой связи, съ отлученія труда отъ условій труда начался, по Марксу, новый, капиталистическій періодъ исторіи, чреватый бѣдствіями, но затѣмъ самъ себя отрицающій въ пользу высшаго порядка. Такъ какъ мы находимся еще въ самомъ началѣ этого противорѣчиваго процесса, то мы должны сознательно продѣлать то, что въ Европѣ произошло стихійно. Поэтому положеніе русскаго ученика Маркса представляется мнѣ крайне труднымъ и двусмысленнымъ. Идеалъ его есть коллективная организація принадлежности рабочему земли и орудій производства и, въ то-же время, онъ долженъ привѣтствовать разлученіе труда и собственности, обезземеленіе крестьянъ, нарожденіе пролетаріата и вообще распаденіе связи между работникомъ и условіями производства, потому что все это—отдѣльные акты необходимаго и хотя болѣзненнаго, но, въ концѣ-концовъ, благодѣтельнаго процесса.

Возраженія Маркса, изложенныя имъ въ вышеупомянутомъ „письмѣ", состоятъ въ слѣдующемъ: онъ, Марксъ, не выдаетъ свою формулу капиталистическаго процесса за „passe par tout историко-философской теоріи"; онъ утверждаетъ только, что, разъ вступивши на этотъ путь, всякая страна, въ томъ числѣ и Россія, должна будетъ подвергнуться формулированнымъ имъ законамъ экономическаго развитія; что затѣмъ дѣло въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ опредѣляется особенностями историческихъ условій и онъ вовсе не считаетъ для Россіи обязательнымъ вступать на капиталистическій путь; даже обезземеленіе народа, составляющее необходимое условіе капиталистическаго процесса не непремѣнно, однако, ведетъ къ нему и можетъ, въ зависимости отъ исторической обстановки, завершаться и какъ-нибудь, иначе.

„Письмо Карла Маркса" было опубликовано только въ 1888 г., и я не знаю, какъ отнесся-бы къ содержащимся въ немъ объясненіямъ покойный Зиберъ. Но тогда, въ 1878 г., онъ твердо стоялъ на общеобязательности формулированнаго Марксомъ процесса. Въ качествѣ неофита гегельянства, онъ былъ безпощаденъ, и исторія пшеничнаго зерна, отрицающаго себя въ стеблѣ, чтобы вновь отринуть это отрицаніе въ колосѣ, была для него прообразомъ русской, какъ и всякой другой исторіи. Добрый человѣкъ, навѣрное, никому въ жизни не сдѣлавшій зла сознательно, онъ не смущался, однако, тѣмъ множествомъ скорбей и страданій,

Digitized by Google

которыми сопровождается вторая ступень гегелевской тріады, — они неизбѣжны и сторицею окупятся на зарѣ новой жизни. „Пока мужикъ не выварится въ фабричномъ котлѣ, ничего у насъ путнаго не будетъ“,—говорилъ Зиберъ.

Отстаивая этотъ тезисъ, онъ употреблялъ всевозможные аргументы, но при малѣйшей опасности укрывался подъ сѣнь непреложнаго и непререкаемаго трехчленнаго діалектическаго развитія. Такъ, напримѣръ, опасности физическаго и духовнаго вырожденія, которая и по Марксу грозитъ европейскому пролетарію, Зиберъ противопоставлялъ ничуть не меньшую опасность такого-же вырожденія нашего мужика-собственника при наличныхъ условіяхъ. А когда я возражалъ, что отъ дождя въ воду нѣтъ резона бросаться, онъ говорилъ: все равно, другого пути нѣтъ. Бесѣдуя съ нимъ, я не разъ вспоминалъ Бѣлинскаго въ періодъ его увлеченія „дѣйствительностью“ по Гегелю. Зиберъ былъ, насколько я его могъ узнать, человѣкъ спокойный и бурнопламенность Бѣлинскаго ему была вовсе не свойственна, но оба они были — не скажу придавлены, а ослѣплены красивою симметріей метафизическаго построенія. Бѣлинскій, какъ извѣстно, кончилъ бурнымъ возстаніемъ, характерно выразившимся въ одномъ изъ писемъ къ Боткину: „Благодарю покорно, Егоръ Ѳедоровичъ (Гегель),—кланяюсь вашему философскому колпаку; но, со всѣмъ подобающимъ вашему философскому филистерству уваженіемъ, честь имѣю донести вамъ, что если-бы мнѣ и удалось влѣзть на верхнюю ступень лѣстницы развитія, я и тамъ попросилъ-бы васъ отдать мнѣ отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи“...

Въ статьѣ „Карлъ Марксъ передъ судомъ г. Жуковскаго“ не только выражались сомнѣнія относительно приложимости формулы Маркса къ нашимъ русскимъ дѣламъ. Статья, какъ и заглавіе ея показываетъ, была посвящена защитѣ Маркса отъ необыкновенно странныхъ нападокъ г. Жуковскаго; а затѣмъ въ практическомъ смыслѣ положеніе вещей въ Европѣ, превосходно изображенное Марксомъ, указывалось, какъ урокъ и предостереженіе намъ. Въ своемъ отвѣтѣ Марксъ писалъ, между прочимъ: „Если Россія стремится стать націей капиталистическою по образцу западно-европейскихъ націй, — а въ теченіе послѣднихъ лѣтъ она надѣлала себѣ въ этомъ смыслѣ много вреда, — она не достигнетъ

Digitized by Google

этого, не преобразовавъ предварительно доброй доли своихъ крестьянъ въ пролетаріевъ; а послѣ этого, приведенная разъ на лоно капиталистическаго строя, она попадетъ подъ власть неумолимыхъ законовъ, какъ и всякая другая не посвященная (profane) нація". Послѣднія два слова сами по себѣ не совсѣмъ понятны. Дѣло въ томъ, что я употребилъ въ одномъ мѣстѣ выраженіе „святая Руся" и Марксъ, со свойственною ему язвительностью, подчеркнулъ это противоположеніемъ „profane". Но слова „святая Русь" я употребилъ просто какъ ходячее выраженіе, отнюдь не думая о дѣйствительной какой-нибудь нашей національной святости, безусловно гарантирующей насъ отъ грѣховъ и болѣзней другихъ націй, націй „профановъ". Напротивъ, порядокъ, такъ блистательно изслѣдованный Марксомъ, представлялся и представляется мнѣ картиною и нашего возможнаго будущаго при извѣстныхъ условіяхъ. Это было выражено мною еще въ 1872 году, тотчасъ послѣ выхода русскаго перевода перваго тома „Капитала" въ замѣткѣ, озаглавленной „По поводу русскаго изданія книги Маркса".

Замѣтка эта была напечатана въ „Отечественныхъ Запискахъ" безъ подписи. Когда послѣ смерти Елисеева въ кружкѣ его друзей и близкихъ знакомыхъ припоминали его анонимныя статьи, нѣкто приписалъ ему и эту замѣтку. Ошибка эта доставила мнѣ большое удовольствіе, и не вслѣдствіе только моего глубокаго уваженія къ покойному публицисту,— ошибка напомнила мнѣ то единство взглядовъ, которое господствовало въ „Отечественныхъ Запискахъ" и не разъ приводило къ подобнымъ ошибкамъ. Разумѣю, конечно, ядро журнала, вокругъ котораго располагались сотрудники, болѣе или менѣе близкіе, болѣе или менѣе далекіе. Есть общія, вѣковѣчныя темы, равно эксплоатируемыя всѣми журналами. Такова, напримѣръ, любовь, издревле поставляющая матеріалъ для значительнѣйшей части поэзіи. Безъ романовъ, повѣстей, стиховъ, посвященныхъ этому мотиву въ разныхъ комбинаціяхъ, не обходится ни одинъ журналъ. Въ большинствѣ случаевъ, эти произведенія довольно безразличны для физіономіи журнала, если только мотивъ любви не осложненъ въ нихъ какими-нибудь иными, болѣе острыми обстоятельствами. Въ такомъ же примѣрно положеніи находятся, далѣе, вопросы чистой науки, мало затрогивающіе больныя мѣста житейской дѣйствительности. Само собою разумѣется, что если журналъ желаетъ быть просто

Digitized by Google

сборникомъ общезанимательныхъ статей, то онъ и къ этимъ больнымъ мѣстамъ можетъ относиться болѣе или менѣе безразлично, допуская въ этомъ отношеніи всякія pro и contra. Но я думаю, что даже въ такомъ изданіи должна съ теченіемъ времени выработаться опредѣленная струна, вибрирующая особенно ярко и сильно и придающая ему опредѣленный характеръ. „Отечественныя Записки“ находились въ этомъ отношеніи въ особенно благопріятныхъ условіяхъ, уже просто потому, что были основаны (я говорю, конечно, о Некрасовскихъ „Отечественныхъ Запискахъ“) старыми, закаленными журналистами съ только что разбитаго корабля „Современника“. Имъ не трудно было сразу взять и выдержать вполнѣ опредѣленный тонъ, допускающій, конечно, извѣстныя отклоненія въ ту или другую сторону,—безъ этого нельзя,—но въ довольно тѣсныхъ границахъ. Нельзя даже сказать, чтобы они получали свою физіономію по наслѣдству. Я бы ничего не имѣлъ противъ слова „эпигоны“, но Некрасовъ Салтыковъ, Елисеевъ фактически не были эпигонами. Къ нимъ примкнули новыя, болѣе молодыя силы, но именно только примкнули для дальнѣйшей разработки принциповъ, уже поставленныхъ и заявленныхъ въ шестидесятыхъ годахъ. Если, поэтому, я вспоминаю статью „Карлъ Марксъ передъ судомъ г. Жуковскаго“ и болѣе раннюю замѣтку „По поводу русскаго изданія книги Маркса“, то уже никакъ не для утвержденія своего пріоритета. Не удивительно, что эта замѣтка приписывалась Елисееву, такъ какъ изложенная въ ней мысль, совершенно независимо отъ Маркса, развивалась имъ въ разныхъ статьяхъ, и не случайно, а составляла руководящую нить всей его дѣятельности. И не одного его, хотя для него она особенно характерна, вслѣдствіе того, что онъ въ своихъ писаніяхъ почти не отходилъ отъ судебъ русскаго мужика. Въ связи съ гегельянствомъ любопытно отмѣтить статью „Критика философскихъ предубѣжденій противъ общиннаго землевладѣнія“, авторъ которой еще въ 1858 году отрицательно относился къ обязательности для насъ среднихъ логическихъ (по Гегелю) моментовъ историческаго развитія. Но гегельянская тріада была тутъ, собственно говоря, сбоку припека, а генеалогію занимающаго насъ строя мысли можно прослѣдить и еще дальше.

Если-бы отъ меня потребовали точнаго и яснаго опредѣленія этого строя мысли, я началъ-бы „отъ противнаго“, а именно съ

Digitized by Google

тѣхъ словъ, которыми характеризуетъ г. Сементковскій преданія шестидесятыхъ годовъ: „не любятъ заниматься изученіемъ Россіи, ея прошлымъ, нуждами и чаяніями громаднаго большинства населенія. Что въ ней хорошаго? Развѣ только идеи такъ называемыхъ передовыхъ людей. То-ли дѣло Западъ, это обѣтованная ихъ земля!“ Приписавъ Лапландіи фауну и флору Сахары или, наоборотъ, усвоивъ Квазимодо фигуру Аполлона Бельведерскаго или наоборотъ, поздравивъ вдову, только что похоронившую мужа, со вступленіемъ въ законный бракъ, или утѣшая новобрачныхъ тѣмъ, что они со святыми упокоятся,—продѣлавъ все это, г. Сементковскій обнаружилъ-бы не меньше такта, ума и знанія, чѣмъ въ настоящемъ случаѣ.

Литература шестидесятыхъ годовъ, то-есть собственно та часть литературы, которой обыкновенно усвоивается это названіе, безъ сомнѣнія, многое чтила на Западѣ. Но въ сплошномъ преклоненіи передъ Западомъ она столь-же мало повинна, какъ и въ противоположной крайности національнаго самообожанія. Обѣ эти точки зрѣнія уже отжили свое время къ шестидесятымъ годамъ, жизнь разбила кумиры западническіе и кумиры славянофильскіе, и позднѣйшія усилія возстановить тѣ или другіе имѣютъ характеръ развѣ абстрактныхъ литературныхъ упражненій безъ всякаго жизненнаго значенія. Западъ—„обѣтованная земля“! Да, конечно-же, во многихъ отношеніяхъ обѣтованная для всякаго здравомыслящаго человѣка и даже для г. Сементковскаго. Разногласіе возможно только относительно отдѣльныхъ элементовъ этой сверкающей пестроты, но эти отдѣльные элементы и на самомъ Западѣ ведутъ между собой непримиримую борьбу. Западъ въ цѣломъ, то-есть если не вдаваться въ анализъ его внутреннихъ противорѣчій, всегда окажется „страной святыхъ чудесъ“, какъ выразился о немъ даровитѣйшій изъ славянофиловъ—Хомяковъ, и самъ г. Страховъ въ своей „Борьбѣ съ Западомъ“ говоритъ: „Мы должны уважать Западъ, даже благоговѣть передъ величіемъ его духовныхъ подвиговъ“. Вѣдь и мы, если хотите, эпигоны цивилизаціи, пользуемся результатами этой пестрой—то блестящей, то мученической исторіи, и для насъ (и часто *сознательно* для человѣчества, слѣдовательно, и для насъ) лилась тамъ благороднѣйшая кровь, дерзали благороднѣйшія сердца и возвышенные умы. Ея герои, геніи и мученики, какъ и ея злодѣи, ея успѣхи на всѣхъ поприщахъ человѣческой дѣя-

Digitized by Google

тельности, какъ и ея несчастія и пятнающія ея ошибки и преступленія, освѣщаютъ и нашъ историческій путь. Но высокій интересъ, представляемый европейскою исторіей, и глубочайшая благодарность, которою мы обязаны Европѣ, вовсе не обязываютъ насъ къ рабскому отношенію. Благодарность не исключаетъ ни свободы сужденія, ни свободы выбора примѣровъ, указаній, поученій. Задача наша не въ томъ, чтобы выростить непремѣнно „самобытную“ цивилизацію изъ собственныхъ національныхъ нѣдръ, но и не въ томъ, чтобы перенести на себя западную цивилизацію цѣликомъ со всѣми раздирающими ее противорѣчіями: надо брать хорошее отовсюду, откуда можно, а свое оно будетъ или чужое, это уже вопросъ не принципа, а практическаго удобства. Повидимому, это столь просто, ясно и понятно, что и разговаривать не о чемъ. Но очень часто бываетъ, что простыя и понятныя вещи съ большимъ трудомъ завоевываютъ себѣ мѣсто въ природѣ и въ умахъ человѣческихъ. Уже мѣра практическаго удобства можетъ окраситься на иной взглядъ характеромъ принципа: чужое, какъ чужое, независимо отъ его достоинствъ и недостатковъ, неудобно. А къ этому легко присоединяется національное самообольщеніе, подсказавшее, напримѣръ, Данилевскому („Россія и Европа“) дикую мысль, будто преобладающая черта исторіи всѣхъ романо-германскихъ народовъ есть „насильственность“, а въ нашей, дескать, исторіи ея совсѣмъ нѣтъ: мы сами вольно жили и жить другимъ давали. Данилевскій былъ умный и разносторонне образованный человѣкъ, и если такой человѣкъ рѣшился высказать столь очевидную, хотя и лестную для гордыни нашего національнаго смиренія и кротости неправду, то ясно, что даже самые элементарные трюизмы не всегда легко пробиваютъ себѣ дорогу во всеобщее сознаніе. Книга Данилевскаго, какъ уже было замѣчено выше, явилась слишкомъ поздно, чтобы очень оживить „ужъ взвѣшенный судьбою“ споръ славянофиловъ и западниковъ и раздѣлить всю литературу, какъ бывало встарину, на два лагеря. Но спорадически или какъ своего рода „переживаніе“ можно иногда встрѣтить и противоположную крайность; дескать, что можетъ выйти путнаго изъ Виѳлеема? что въ этой сѣрой, тусклой исторіи и жизни можно найти достойнаго вниманія, ухода, любви, вѣры, надежды? Эту-то точку зрѣнія и усвоилъ г. Сементковскій литературѣ шестидесятыхъ годовъ и поистинѣ пальцемъ въ

Digitized by Google

небо попалъ, и даже двумя пальцами, если принять во вниманіе, что онъ прибавляетъ еще презрѣніе къ „нуждамъ и чаяніямъ громаднаго большинства населенія“. Презрѣніе или недовѣріе ко всему родному только потому, что оно свое, родное, проистекаетъ иногда изъ такихъ глубинъ пошлости, что о немъ и говорить не стоитъ. Но стыдно сказать, а грѣхъ утаить, что въ русской исторіи бывали моменты непроглядного мрака, оправдывавшіе отчаяніе и пессимизмъ: никто не назоветъ пошлякомъ Чаадаева. Литература-же шестидесятыхъ годовъ народилась при условіяхъ, совершенно исключавшихъ пессимизмъ. Это былъ праздникамъ праздникъ и торжество изъ торжествъ, уже заранѣе, только при приближеніи своемъ наполнявшее сердца гордою радостью. Тридцать лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, успѣла остыть радость, посрамиться гордость, успѣли объявиться люди, повидимому, искренно вѣрующіе въ возможность новаго водворенія крѣпостного права, а мы, все-таки, еще не достаточно вдумываемся въ великое значеніе освобожденія не только для нашей политической жизни, но и для нашего умственнаго обихода. Между прочимъ, именно оно, опредѣливъ собою характеръ литературы шестидесятыхъ годовъ, дало ей возможность покончить съ славянофильствомъ и западничествомъ, смотрѣть на себя безъ похвальбы и отчаянія, на Европу безъ униженія и гордости. Оно снабдило ее и принципомъ, достаточно широкимъ и свѣтлымъ, чтобы при его помощи дать опредѣленный смыслъ трюизму: надо брать хорошее отовсюду, откуда можно. Принципъ этотъ—интересы освобожденнаго народа, иначе говоря, „нужды и чаянія громаднаго большинства населенія“.

Чѣмъ больше думаю я о клеветѣ г. Сементковскаго, тѣмъ въ большее изумленіе она меня повергаетъ. Чего-же, наконецъ, послѣ этого бумага не вытерпитъ?! Въ исторіи какой-бы то ни было литературы трудно найти моментъ, когда „нужды и чаянія громаднаго большинства населенія“ играли-бы такую роль, какъ въ „преданіяхъ шестидесятыхъ годовъ“, и не иносказательно какъ-нибудь, не стороной, обинякомъ или случайно, а открыто, у всѣхъ на глазахъ, постоянно и въ самыхъ разнообразныхъ формахъ.

Обращаюсь къ своимъ воспоминаніямъ семидесятыхъ годовъ, къ „Отечественнымъ Запискамъ“.

Я уже вспоминалъ какъ-то, по поводу „Исторіи новѣйшей

Digitized by Google

русской литературы“ г. Скабичевскаго, о „кающихся дворянахъ“, фигурирующихъ въ моихъ очеркахъ „Въ перемежку“. Я не выдумалъ этихъ кающихся дворянъ, я зналъ ихъ, видѣлъ, чувствовалъ присутствіе этого элемента въ самомъ себѣ и въ окружающихъ. Я только по обстоятельствамъ не довелъ ихъ исторіи до конца. Покаяніе въ историческомъ грѣхѣ передъ народомъ, идея долга народу отражалась и въ литературѣ, всего ярче въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Кромѣ открытаго заявленія этой идеи, какъ руководящаго принципа, она составляла тотъ общій фонъ, на которомъ рисовались узоры лирики, беллетристики, критики, философіи, исторіи, экономики и политики. Прежде всего, предстояло, конечно, изученіе народа въ его нуждахъ и чаяніяхъ. Это и дѣлалось во множествѣ статей описательнаго, публицистическаго и беллетристическаго характера. Добросовѣстность изученія и участливое отношеніе къ народу составляли необходимыя условія этихъ статей, а затѣмъ онѣ могли во многомъ расходиться между собой. Такъ, наприм., хотя противоположность между гг. Успенскимъ и Златовратскимъ далеко не столь значительна, какъ часто писалось, но ихъ деревенскія наблюденія и показанія, все-таки, не совпадали. Любопытна, однако, одна общая имъ обоимъ черта: нѣкоторый страхъ передъ европейскою цивилизаціей, имѣющей разрушить устои народной жизни, страхъ или недовѣріе, вообще опасливое, скептическое отношеніе. Разумѣется, у каждаго изъ нихъ оно осложнялось своими индивидуальными особенностями, за которыя журналъ не можетъ взять на себя отвѣтственности. Но характерное для журнала общее въ этомъ скептицизмѣ совпадаетъ съ вышеизложенными соображеніями статей о Марксѣ, многихъ статей Елисеева и другихъ, близкихъ и не столь близкихъ къ журналу лицъ, какъ, наприм., статей г. В. В., изданныхъ имъ потомъ подъ общимъ заглавіемъ „Судьбы капитализма въ Россіи“, или гр. Л. Н. Толстого „О народномъ образованіи“. Само собою разумѣется, что и здѣсь редакція не брала на себя отвѣтственности за всю совокупность мнѣній стороннихъ сотрудниковъ, что̀ мнѣ и пришлось заявить печатно по поводу изданія „Судебъ капитализма“ отдѣльною книгой. Цѣнною представлялась общая мысль, состоявшая въ охраненіи и дальнѣйшемъ развитіи тѣхъ „средневѣковыхъ формъ труда“, охраненіе которыхъ Ланге считаетъ „роковою ошибкой и безполезнымъ безуміемъ“. Пусть это и въ самомъ дѣлѣ роко-

Digitized by Google

вая ошибка и безполезное безуміе, напрасныя усилія остановить непререкаемый ходъ исторіи, который все равно возьметъ свое и безжалостно измолотитъ все, ему противящееся. Но согласитесь, по крайней мѣрѣ, съ тѣмъ, что здѣсь не было ни преувеличеннаго преклоненія передъ Западомъ, ни пренебреженія къ нуждамъ и чаяніямъ громаднаго большинства населенія. На этомъ пунктѣ Западъ ужъ, конечно, не былъ нашею обѣтованною землей. Что-же касается роковыхъ ошибокъ и безполезныхъ безумій, то я думаю, что въ исторіи вовсе не рѣдки случаи, когда люди бываютъ, дѣйствительно, роковымъ образомъ осуждены на безполезное противодѣйствіе ясно обозначившемуся и далеко подвинувшемуся историческому процессу. И это не изъ упрямства, а по тому-же убѣжденію, по которому человѣкъ иногда бросается въ воду спасать завѣдомо не подлежащаго спасенію утопающаго, съ рискомъ самому утонуть. Я не утверждаю, конечно, что наше положеніе было именно таково. Въ воду бросаться намъ нечего было и вообще предстояло, по условіямъ русской печати, не активную какую-нибудь роль играть, а лишь разъяснять факты и понятія. Я говорю только, что если-бы даже было доказано, что средневѣковыя формы труда подлежатъ не подъему на высшую ступень развитія, а конечному истребленію въ силу исторической необходимости, такъ и то мы не могли-бы съ легкимъ сердцемъ отмѣчать соотвѣтственные факты и быть аплодирующими или даже только спокойными зрителями отлученія работника отъ земли и условій производства. Это не значитъ, чтобы мы не цѣнили нравственно политическихъ идеаловъ, выработанныхъ Европою. Это значитъ только, что въ составъ этихъ идеаловъ мы вводили (какъ вводятъ и многіе европейскіе писатели) принадлежность земли земледѣльцу и вообще средствъ и орудій производства производителю. Существующія еще у насъ средневѣковыя формы труда сильно расшатаны, но мы не видѣли резона совсѣмъ кончать съ ними, въ угоду какихъ-бы то ни было доктринъ, либеральныхъ или не либеральныхъ. Я не могу теперь входить въ подробности и скажу лишь слѣдующее: въ своемъ этюдѣ „Le culte du peulpe dans la litterature russe contemporaine“, о которомъ я говорилъ ровно годъ тому назадъ, г. Боборыкинъ обнаружилъ удивительную легкость мысли, приписавъ „Отечественнымъ Запискамъ“ „претенціозный мистицизмъ“, „шовинистскую самонадѣянность“, „враждебность къ общечеловѣческой наукѣ“,

Digitized by Google

и все это во имя „культа народа“. Г. Сементковскій объясняетъ теперь, что мы, напротивъ, только „прекраснодушничали“ и „идеями такъ называемыхъ передовыхъ людей“ любовались, а народомъ вполнѣ пренебрегали. Признаюсь, инкриминація г. Боборыкина меня не особенно трогаетъ и вызываетъ даже почти добродушную улыбку; можетъ быть, потому, что г. Боборыкинъ писалъ для иностранцевъ, которые все равно имѣютъ довольно извращенное понятіе о Россіи: если тамъ думаютъ, что наша гастрономія исчерпывается двумя супами — schi и raskolnik, а наши деревенскія дѣвушки сидятъ à l'ombre d'un immense klukwa, такъ пусть ужъ и Annales patriotiques фигурируютъ въ качествѣ органа мистической вражды къ наукѣ и шовинизма. Притомъ-же, если г. Боборыкинъ и уличаетъ насъ въ неуваженіи къ наукѣ, то, по крайней мѣрѣ, и самъ никакихъ научныхъ открытій не предъявляетъ. Другое дѣло г. Сементковскій. Онъ открылъ въ деревнѣ „немолчный припѣвъ“: „кулакъ—кабакъ, кабакъ—кулакъ“. И открылъ онъ его какъ-то въ пику преданіямъ шестидесятыхъ годовъ. О, г. Сементковскій! Какъ-нибудь на досугѣ, отдыхая отъ упражненій своего бойкаго пера, загляните хоть мимоходомъ въ то, о чемъ вы пишете. Вы увидите, что обвиняемая вами литература зорко слѣдила за всѣмъ, что дѣлается въ деревнѣ, что предполагается съ ней дѣлать, что ждетъ ее въ будущемъ; вы убѣдитесь, что „безполезный“ Щедринъ былъ занятъ „проблемою о мужикѣ“ и „мучительно-загадочнымъ сопоставленіемъ мякиннаго хлѣба и вѣчной страды“; что высоко-талантливый Глѣбъ Успенскій, о которомъ, между прочимъ, вы мимоходомъ бросаете нѣсколько презрительныхъ словъ, весь ушелъ на трепетныя наблюденія въ деревнѣ и неустанную думу о ней; что цѣлый рядъ другихъ работниковъ—худо-ли, хорошо-ли—напрягалъ свою мысль въ направленіи „нуждъ и чаяній огромнаго большинства населенія“. И когда вы все это увидите, вамъ станетъ стыдно... Впрочемъ, не увѣренъ въ этомъ,—можетъ быть, и не станетъ. Мнѣ извѣстны многіе примѣры неустыдимости...

„Отечественныя Записки“ имѣли большой успѣхъ. Несмотря на всѣ вопли литературныхъ гурмановъ о чрезмѣрномъ изобиліи мужика, журналу какъ-то удалось пріучить къ нему публику. Явились даже термины „народники“, „народничество“,—термины сами по себѣ недурные, но, къ сожалѣнію, во-первыхъ, очень неопредѣленные, а, во-вторыхъ, захватанные руками эпигоновъ,

Digitized by Google

не желающихъ быть эпигонами, а желающихъ во что-бы то ни стало „новыя слова“ говоритъ. Но Богъ съ ними, съ терминами,— имя вещи не мѣняетъ. Я уже говорилъ о тѣхъ эпигонахъ, которые не только не чувствуютъ благодарности за полученное ими духовное наслѣдство, но даже мстятъ своимъ предшественникамъ за то, что они лишали ихъ лавровъ новаторства. Объявились такіе люди и въ семидесятыхъ годахъ по вопросу о судьбахъ русскаго народа. Объявились они въ „Недѣлѣ“. Эта почтенная газета очень хороша, пока обсуждаетъ событія дня съ установившихся точекъ зрѣнія. Но время отъ времени она оскорбляется положеніемъ эпигона и новое слово возвѣщаетъ и какъ-то при этомъ всегда въ лужу сядетъ, но потомъ ничего—встряхнется, забросить свое новое слово, какъ будто его и не было, и такъ опять до новой лужи. Болѣзнь, что-ли, это какая особенная или что другое,—право, ужъ не знаю. И страннѣе всего то, что свои новыя слова газета обыкновенно въ пику шестидесятымъ годамъ провозглашаетъ, хотя ея редакторъ, г. Гайдебуровъ, есть самъ человѣкъ шестидесятыхъ годовъ. Такъ было въ полемикѣ „Недѣли“ съ покойнымъ Шелгуновымъ. Такъ-же было и въ семидесятыхъ годахъ въ полемикѣ съ „Отечественными Записками“. Изъ этой повторности возстаній противъ преданій шестидесятыхъ годовъ отнюдь, однако, не слѣдуетъ, чтобы „Недѣля“ была въ обоихъ случаяхъ вѣрна себѣ. Нѣтъ, ея возстаніе восьмидесятыхъ годовъ руководилось принципами, совершенно отличными отъ тѣхъ, которые она провозглашала въ семидесятыхъ годахъ. Тогда новое слово „Недѣли“ было: „народъ“. Но бѣда въ томъ, что новое слово было уже давно сказано и утвердилось въ преданіи. И вотъ произошла обыкновенная исторія эпигоновъ, не желающихъ быть эпигонами: частью безсознательно, частью злонамѣренно заслуги предшественниковъ умалялись или замалчивались, ихъ мысли извращались, а для показанія самостоятельности „народный“ принципъ подмѣнивался „національнымъ“. Но и это не создавало новаго слова, потому что возвращало насъ къ давно пройденной ступени славянофильства, безъ его цѣльности и послѣдовательности. Вообще „новое слово“ не вытанцовывалось, и если кое-кто изъ молодыхъ сотрудниковъ „Недѣли“ искренно думалъ, что онъ дѣйствительно новые горизонты раскрываетъ, то это было лишь дѣломъ несознаннаго преданія. Интересующихся возникшею отсюда полемикой я отсылаю къ собранію моихъ со-

Digitized by Google

чиненій, а здѣсь приведу не вошедшій туда позднѣйшій эпизодъ.

Въ 1883 году во многихъ мѣстахъ произошли еврейскіе погромы со всѣми свойственными этому явленію варварствами и безобразіями. Внутренній обозрѣватель „Отечественныхъ Записокъ“ выразилъ по этому поводу нѣсколько мыслей, которыя вызвали слѣдующую отповѣдь „Недѣли“: „Отечественныя Записки“ очень старательно изучаютъ мужика; но онѣ пытаются ставить всѣ общественные вопросы съ точки зрѣнія собственныхъ „научныхъ“ взглядовъ на нужды мужика. При этомъ онѣ совершенно забываютъ, что у мужика есть свой умъ и свое сердце и что ему, быть можетъ, захочется жить не такъ, какъ велитъ наука „Отечественныхъ Записокъ“. Не то, чтобы онѣ оспаривали право мужика жить по своей волѣ и по своему разуму,— нѣтъ, онѣ просто игнорируютъ существованіе мужицкой мысли и воли, какъ-бы ясно онѣ ни высказывались. Такъ-же поступаютъ онѣ и съ еврейскимъ вопросомъ“.

Вотъ свидѣтельство современника, притомъ, неблагосклоннаго, которое я, кажется, смѣло и даже съ гордостью могу противопоставить ретроспективнымъ обвиненіямъ какъ г. Боборыкина, такъ и г. Сементковскаго. Первому я могу сказать: вы видите, что мы до такой степени уважали „науку“ и были чужды „культу народа“, что, по свидѣтельству „Недѣли“, игнорировали волю и мысль мужика *даже* въ томъ случаѣ, когда онъ прямо билъ жидовъ! А г. Сементковскій пусть замѣтитъ, что мы „очень старательно изучали мужика“.

На этомъ можно-бы пока и кончить. Но мнѣ хочется отмѣтить еще одинъ эпизодъ, имѣющій нѣкоторое отношеніе къ предъидущему. Есть книжка г. Юзова „Основы народничества“. Это просто безпорядочный складъ разнаго quasi-философскаго вздора, но съ огромными претензіями, какъ видно уже изъ необыкновенной пышности заглавія. Часть этого вздора печаталась въ той же „Недѣлѣ“. Г. Юзовъ тоже одинъ изъ эпигоновъ, не желающихъ быть эпигонами. И вотъ вамъ образчикъ того, до чего можетъ доводить людей это неестественное положеніе, обязывающее извращать мысли предшественниковъ и злобствовать на нихъ. Вы видѣли, что статья „Карлъ Марксъ передъ судомъ г. Жуковскаго“, выражая мысль о необязательности для Россіи капиталистическаго момента, побудила самого Маркса признать эту не-

Digitized by Google

обязательность. Между тѣмъ, г Юзовъ изъ той-же статьи вывелъ заключеніе, что я „одинъ изъ многочисленныхъ акушеровъ капитализма“, что я „пытался убѣдить русскую интеллигенцію въ исторической необходимости капитализма въ Россіи“, что „однимъ изъ вреднѣйшихъ марксистовъ является г. Михайловскій“.

Ту самую операцію выворачиванія на изнанку, которую г. Юзовъ производитъ со мной лично, г. Сементковскій совершаетъ надъ цѣлымъ литературнымъ направленіемъ. Я думаю, что это стыдно...

X *).

Идеалы и идолы.—Ошибки исторической перспективы.—„Черезъ сто лѣтъ“ Беллами и „Крушеніе цивилизаціи“ Буажильбера.

Судя по получаемымъ мною письмамъ, я кое-кого изъ читателей огорчилъ своими статьями о гр. Л. Н. Толстомъ, но кое-кого и порадовалъ. Это очень естественно, какъ естественно и то, что я огорченъ огорченіемъ и обрадованъ радостью. Не думаю, однако, чтобы я долженъ былъ по поводу этихъ писемъ возвращаться къ пройденному. Исключеніе составляетъ лишь одно письмо, въ которомъ нѣтъ ни огорченія, ни радости, а холодно и спокойно выражается нѣкоторое недоумѣніе. Корреспондентъ желаетъ знать, какъ я объясню такія-то страницы статьи Г. И. Успенскаго „Трудами рукъ своихъ“, напечатанной нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ „Русской Мысли“ и перепечатанной во второмъ томѣ сочиненій Успенскаго. На указанныхъ страницахъ сопоставляются моя формула прогресса и нѣкоторыя мысли гр. Толстого, причемъ оказывается, что сопоставляемыя идеи въ извѣстномъ смыслѣ совпадаютъ. Повидимому, это-то совпаденіе и составляетъ предметъ недоумѣнія корреспондента. Я могъ-бы уклониться отъ всякаго объясненія, такъ какъ, при всемъ моемъ искреннемъ и глубокомъ уваженіи къ Г. И. Успенскому, не считаю себя отвѣтственнымъ за употребленіе, которое онъ дѣлаетъ изъ моихъ словъ, какъ и онъ, въ свою очередь, не отвѣтственъ, напримѣръ, за мое предисловіе къ его сочиненіямъ. Я могъ-бы уклониться еще и потому, что не разъ съ глубочайшимъ почтеніемъ отмѣчалъ нѣкоторыя изъ идей гр. Толстого, горячо защищалъ ихъ и, слѣдо-

*) 1892. іюль.

Digitized by Google

вательно, признавалъ свою съ нимъ солидарность. Но я не уклонюсь. Мало того, я постараюсь поставить неопредѣленно выраженное или даже совсѣмъ не выраженное недоумѣніе моего корреспондента (онъ только спрашиваетъ, какъ я объясню) въ наиболѣе, мнѣ кажется, рѣзкой формѣ.

По предложенной мною формулѣ, которую и Г. И. въ упомянутой статьѣ сочувственно цитируетъ, „прогрессъ есть постепенное приближеніе къ цѣлостности недѣлимыхъ, къ возможно полному и всестороннему раздѣленію труда между органами и возможно меньшему раздѣленію труда между людьми. Безнравственно, несправедливо, неразумно, вредно все, что задерживаетъ это движеніе. Нравственно, справедливо, разумно и полезно только то, что уменьшаетъ разнородность общества, усиливая тѣмъ самымъ разнородность его отдѣльныхъ членовъ“. Обосновывая эту формулу въ статьѣ „Что такое прогрессъ“, равно какъ и въ другихъ статьяхъ, я не разъ употреблялъ выраженіе „гармоническое развитіе“, и тѣмъ-же именемъ называетъ свои desiderata и гр. Толстой. Это-бы еще не много значило, потому что „гармоническое развитіе“ входитъ въ составъ ученія весьма многихъ старыхъ и новыхъ писателей по соціологіи, этикѣ, педагогикѣ. Но въ данномъ случаѣ совпаденіе идетъ гораздо дальше. Повидимому, та сторона практической дѣятельности гр. Толстого, которая соотвѣтствуетъ девизу „гармоническаго развитія“, представляетъ собою превосходную иллюстрацію къ приведенной формулѣ прогресса, облекая ее, такъ сказать, въ плоть и кровь. Если человѣкъ землю пашетъ, печи складываетъ, сапоги шьетъ, вообще занимается разнообразнымъ физическимъ трудомъ, не покидая, въ то же время, умственной дѣятельности (хотя, можетъ быть, въ теоріи, на словахъ принижая ея значеніе), то онъ приближается къ желательной цѣлостности недѣлимаго или даже вполнѣ осуществляетъ ее. Соединяя въ своемъ лицѣ разнородныя профессіи, онъ уменьшаетъ разнородность общества, и, въ то же самое время, усиливаетъ свою личную разнородность. Итакъ, съ моей именно точки зрѣнія, гр. Толстой стоитъ на пути прогресса и дѣлаетъ нравственное, справедливое, разумное и полезное дѣло; я же, осуждая дѣятельность графа и въ мѣру моихъ силъ ей противодѣйствуя, поступаю, напротивъ, опять-таки съ моей собственной точки зрѣнія, безнравственно, несправедливо, неразумно.

Digitized by Google

Вотъ, мнѣ кажется, въ чемъ состоитъ недоумѣніе моего корреспондента, если его вскрыть, развернуть изъ вопроса: какъ я объясню отмѣченное Г. И. Успенскимъ совпаденіе? Если я и ошибаюсь, если корреспондентъ хотѣлъ сказать что-нибудь другое, то указанное противорѣчіе составляетъ, во всякомъ случаѣ, не безъинтересную тему.

Въ послѣсловіи къ „Крейцеровой сонатѣ“ гр. Толстой устанавляетъ чрезвычайно важное различіе между двумя способами нравственнаго руководства: правиломъ или предписаніемъ, съ одной стороны, и идеаломъ — съ другой. Въ первомъ случаѣ, говоритъ онъ, „человѣку даются опредѣленные признаки поступковъ, которые онъ долженъ или не долженъ дѣлать“; во второмъ случаѣ „человѣку указывается никогда не достижимое имъ совершенство, стремленіе къ которому человѣкъ сознаетъ въ себѣ“. Мнѣ нечего дѣлать съ дальнѣйшимъ развитіемъ этой мысли въ „послѣсловіи“, но самая мысль поможетъ намъ разъяснить вышеприведенное кажущееся противорѣчіе. Надо только внести въ нее одну существенную поправку.

Я не думаю, чтобы идеаломъ слѣдовало называть *недостижимое* совершенство; не думаю также, чтобы человѣкъ могъ сознавать въ себѣ стремленіе къ такому недостижимому совершенству. Идеалъ опредѣляется, обыкновенно, какъ полное совпаденіе идеи съ формой, полное воплощеніе, осуществленіе извѣстной идеи. Этимъ еще не предрѣшается вопросъ о его достижимости или недостижимости, а, между тѣмъ, понятно важное значеніе этого послѣдняго обстоятельства. Я говорю о достижимости или недостижимости съ субъективной точки зрѣнія самого носителя, создателя или поклонника идеала. Человѣкъ можетъ ошибаться или не ошибаться въ этомъ отношеніи; можетъ считать недосягаемымъ идеалъ вполнѣ возможный и, наоборотъ, въ дребезги разбить свою жизнь ради совершенно фантастической мечты; работа критической мысли и житейскій опытъ могутъ повліять на него и въ ту, и въ другую сторону. Но, независимо отъ судебъ идеала въ этомъ смыслѣ, убѣжденіе въ его достижимости или недостижимости, очевидно, должно сильно вліять на его значеніе, какъ нравственно руководящаго начала. До такой степени, что надо, можетъ быть, и по имени какъ-нибудь различать эти два вида воплощенія идеи, оставивъ названіе идеала за которымъ-нибудь однимъ изъ нихъ.

Digitized by Google

Лѣтъ двадцать тому назадъ, по поводу надѣлавшей тогда нѣкотораго шума книги Штрауса „Der alte und der neue Glaube“, я употребилъ съ цѣлью такого различенія слова „идеалы“ и „идолы“, каковыя и теперь считаю умѣстными. Пусть идеалъ будетъ совершенство достижимое (прошу помнить: субъективно достижимое), а идолъ—совершенство недостижимое. Хотя дѣло и не въ словахъ, но слова эти не произвольно выбраны, а примѣнительно къ ихъ истинному значенію и обыкновенному употребленію. Останавливаясь для примѣра на идеалѣ физической силы и припоминая образы Милона Кротонскаго и Геркулеса, мы видимъ, что первый могъ быть для древняго грека руководящимъ и въ этомъ смыслѣ настоящимъ, достижимымъ разными соотвѣтственными упражненіями идеаломъ. Возможно было мысленно даже превзойти ту степень физической силы, какою отличался Милонъ, но Геркулесъ, во всякомъ случаѣ, могъ быть только идоломъ, такъ какъ его происхожденіе отъ Зевса устраняло возможность съ нимъ сравняться или даже приблизиться къ нему, ставило его по ту сторону мыслимыхъ для человѣка возможностей. У другихъ, менѣе эстетически развитыхъ язычниковъ это наглядно выражается въ самыхъ изображеніяхъ физически великомощныхъ существъ. Эстетическій идеалъ, болѣе или менѣе умѣрявшій у грековъ остальные, снабдилъ Геркулеса лишь необыкновенною, хотя и человѣческаго типа, мускулатурой. Однако, и греки знали, напримѣръ, Бріарея, сто рукъ котораго ясно свидѣтельствовали о неподражаемости его для двурукаго человѣка. Это уже такая степень или такой характеръ силы, для изображенія котораго въ распоряженіи человѣка есть только болѣе или менѣе остроумно-фантастическіе символы. У другихъ язычниковъ такіе символы непомѣрной и неподражаемой, недостижимой физической силы, какъ многократное повтореніе рукъ или сочетаніе человѣческаго тѣла съ тѣломъ какого-нибудь могучаго животнаго,—дѣло очень обыкновенное. Язычникъ рисуетъ своихъ боговъ съ самого себя-же, но въ неподражаемо преувеличенныхъ размѣрахъ, и многорукій идолъ есть именно то, чѣмъ язычникъ, по собственному своему сознанію, ни въ какомъ случаѣ быть не можетъ. Этимъ и опредѣляется отношеніе язычника къ идолу: онъ ему поклоняется, ждетъ отъ него помощи или боится его гнѣва, вырабатываетъ сложныя системы воздѣйствія на него въ благопріятномъ для себя смыслѣ, но отнюдь не чувствуетъ ни возможности, ни

Digitized by Google

стремленія достигнуть этого многорукаго совершенства. Совершенно иначе относится человѣкъ къ идеалу. Отношеніе это какъ разъ обратное и все исчерпывается болѣе или менѣе горячимъ стремленіемъ достигнуть полнаго совпаденія извѣстной идеи съ формой, осуществить ее.

Оставимъ миѳологическія сферы и возьмемъ какой-нибудь житейскій примѣръ. Гоголевскій Анучкинъ ищетъ невѣсты, которая знала-бы „обхожденіе высшаго общества“ и въ особенности французскій языкъ. Если-бы онъ зналъ слово „идеалъ“, онъ сказалъ-бы, можетъ быть, что такая дѣвушка есть его идеалъ, и сказалъ-бы совершенно неправильно. Это, по его мнѣнію, идеалъ женщины, но по отношенію къ нему она—идолъ. Она была-бы его идеаломъ, если-бы онъ самъ, руководясь ея примѣромъ, старался пріобрѣсти знаніе французскаго языка. Но онъ объ этомъ не думаетъ, онъ находитъ только, что „женщина совсѣмъ другое дѣло, нужно, чтобы она непремѣнно знала, а безъ того у ней и то, что это—все ужъ не то будетъ“. Анучкинъ—смѣшной человѣкъ, но весьма вѣроятно, что, найдя жену, обладающую нужнымъ ему, но для него недостижимымъ совершенствомъ, онъ будетъ относиться къ ней съ благоговѣйнымъ почтеніемъ, изъ кожи лѣзть ради ея капризовъ и приносить тяжелыя жертвы ея „обхожденію высшаго общества“. Но все это будетъ только идолопоклонствомъ. Анучкинъ—смѣшной человѣкъ. Но не смѣшной человѣкъ былъ, напримѣръ, средневѣковый рыцарь, совершавшій разные трудные подвиги въ честь своей дамы, а, между тѣмъ, и для него эта дама была совершенство—идолъ, а не совершенство—идеалъ. Онъ, закованный съ ногъ до головы въ желѣзо, драчливый, жаждущій военной славы, цѣнилъ въ дамѣ такія качества,—нѣжность, кротость, цѣломудріе,—которыхъ самъ вовсе не желалъ имѣть или считалъ ихъ для себя невозможными, даже позорными. Рыцарское „служеніе дамѣ“, частію доселѣ сохранившееся въ нашихъ отношеніяхъ къ женщинамъ, было настоящимъ идолопоклонствомъ. Дама могла предписывать рыцарю извѣстное поведеніе, и онъ могъ свято исполнять ея приказы, даже рискуя жизнью, но она не была для него тѣмъ образцомъ совершенства, который онъ хотѣлъ-бы осуществить въ своей собственной жизни. Когда мечтательная институтка говоритъ, что ея „идеалъ“—гусаръ и что она „обожаетъ“ гусаровъ, она думаетъ, что въ обоихъ этихъ предложеніяхъ выражаетъ одну и ту-же мысль. Въ дѣй-

Digitized by Google

ствительности-же гусаръ былъ-бы ея идеаломъ лишь въ томъ совершенно исключительномъ случаѣ, если-бы она готовила себя къ карьерѣ извѣстной „дѣвицы-кавалериста“ Дуровой; при обыкновенныхъ-же обстоятельствахъ гусаръ для нея идолъ, нѣчто прекрасное, но вовсе не руководящее.

Возьмемъ еще примѣръ, возьмемъ отношеніе ученика къ учителю. Если ученикъ идетъ по стопамъ учителя, можно говорить объ его идеалѣ, но если онъ, благоговѣя передъ возвышенностью доктрины, либо совсѣмъ не мѣняетъ свой образъ жизни въ направленіи программы учителя, либо осуществляетъ только декоративную часть, онъ—идолопоклонникъ. Иногда это идолопоклонство принимаетъ характеръ догмата въ примѣненіи къ извѣстному лицу или общественному положенію. Таковъ догматъ папской непогрѣшимости. Ни одинъ католикъ, даже вполнѣ искренно вѣрующій въ эту непогрѣшимость, не можетъ видѣть въ ней свой идеалъ, такъ какъ это завѣдомо недостижимая высота, на которую можетъ разсчитывать только новый папа. Это нѣчто прекрасное, лучезарное, но это не путеводная звѣзда, не маякъ, указывающій направленіе, котораго слѣдуетъ держаться, чтобы избѣжать аварій въ житейскомъ морѣ. Но тотъ-же папа, независимо отъ своего положенія, а какъ человѣкъ святой или героической жизни, если онъ таковую ведетъ, можетъ и для не католика стать маякомъ, настоящимъ идеаломъ при условіи возможности и стремленіи уподобиться ему соотвѣтственными подвигами добра и чести.

Въ сложной сѣти дѣйствительности, часто сплетающей логически противоположные элементы и разсѣкающей логическую цѣльность посторонними прожилками, идеалы и идолы взаимно переплетаются, между ними слагаются извѣстные компромиссы и переходныя ступени. Но мысленно отвлекать ихъ рѣзко разграничительные признаки можно и должно. Пусть влюбленные называютъ другъ друга безразлично: „мой идолъ“, „мой идеалъ“,— бѣды отъ этого не будетъ, хотя, можетъ быть, все ихъ дальнѣйшее счастіе зависитъ отъ того, что они другъ для друга—идеалы или идолы. Это тамъ позже и на дѣлѣ видно будетъ, а восторженный жаргонъ любви самъ по себѣ ничего не измѣнитъ. Но въ серьезномъ разговорѣ объ идеалѣ, какъ началѣ руководящемъ, надо помнить, что достижимость, точнѣе—убѣжденіе въ его достижимости, составляетъ его необходимое условіе. Иначе онъ превращается въ идола, вмѣстѣ съ чѣмъ кореннымъ обра-

Digitized by Google

зомъ измѣняется и наше отношеніе къ нему. Повторяю, дѣло не въ словахъ. Можно, пожалуй, переставить слова „идеалъ“ и „идолъ“ одно на мѣсто другого, хотя это едва-ли было-бы удобно, можно даже и совсѣмъ новыя слова выдумать для обозначенія извѣстныхъ отношеній, но самыя эти отношенія смѣшивать не слѣдуетъ.

Было-бы очень интересно войти въ подробности приведенныхъ общихъ положеній и прослѣдить разнообразныя, то враждебныя столкновенія, то компромиссы между идеалами и идолами. Но теперь я говорю все это лишь мимоходомъ, съ цѣлью внести поправку въ ту мысль гр. Толстого, съ которой мы начали. Въ дальнѣйшемъ изложеніи мы оставимъ идоловъ совсѣмъ въ сторонѣ. Будемъ говорить лишь о разницѣ между идеаломъ, какъ указателемъ пути, и тѣмъ другимъ указателемъ, который слагается изъ правилъ поведенія. На первый взглядъ можетъ показаться, что разница даже слишкомъ очевидна: это—разница между цѣлью и средствами. Идеалъ, общественный или личный, есть цѣль, а правила поведенія, которыми этотъ идеалъ достигается,—средство. Идеалъ есть какъ-бы конечный пунктъ предпринятаго путешествія, а правила поведенія указываютъ кратчайшую или удобнѣйшую или вообще лучшую дорогу къ этому конечному пункту. Но на дѣлѣ все это выходитъ немного сложнѣе. Цѣль можетъ оказаться средствомъ для достиженія другой цѣли, а средство можетъ обратиться въ самостоятельную цѣль. Пока рѣчь идетъ объ отвлеченныхъ категоріяхъ цѣли и средства, изъ этого не можетъ произойти никакого затрудненія. Не то, когда въ рамки этихъ отвлеченныхъ категорій вставляются опредѣленный идеалъ и опредѣленныя правила поведенія. Въ этомъ случаѣ цѣль и средство не всегда могутъ безнаказанно, безъ ущерба для дѣла, помѣняться мѣстами, и намъ надо войти въ разсмотрѣніе взаимныхъ отношеній между идеаломъ и правилами поведенія.

Прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что правила поведенія, начиная отъ кодекса возвышеннѣйшей морали и кончая моралью какихъ-нибудь людоѣдовъ, имѣютъ всегда личный характеръ, всегда представляютъ собою глаголъ въ повелительномъ наклоненіи, обращенный къ лицу. Идеалъ-же можетъ быть и личный, и общественный. Затѣмъ, идеалъ есть желаемое и ожидаемое будущее, а правила поведенія дѣйствуютъ въ настоящемъ. Далѣе, если идеалъ есть совершенство достижимое и только при этомъ условіи является руководящимъ началомъ, то изъ этого отнюдь не

Digitized by Google

слѣдуетъ, чтобы онъ могъ быть достигнутъ непремѣнно завтра, черезъ годъ, усиліями одного, двухъ поколѣній, вообще въ какой-нибудь съ точностью опредѣленный срокъ. Осуществленіе идеала зависитъ и отъ его собственныхъ свойствъ, и отъ различныхъ обстоятельствъ времени, мѣста и образа дѣйствія. Если я, петербургскій житель, имѣющій извѣстный заработокъ, ставлю себѣ идеаломъ чистоту своего тѣла, то дѣло, конечно, очень просто: къ моимъ услугамъ бани, ванны, сколько угодно воды и мыла. Въ этомъ случаѣ правила поведенія отличаются прямолинейною простотой и непосредственно вытекаютъ изъ идеала, хронологическое и логическое разстояніе между ними почти не существуетъ: идеалъ—чистота, правило поведенія—мытье, для котораго все нужное имѣется подъ рукою. Но и этотъ случай можетъ осложниться разными обстоятельствами, а желая достигнуть, напримѣръ, идеала физической силы на манеръ Милона Кротонскаго, я окажусь въ положеніи уже и гораздо болѣе трудномъ. Легко сказать: хочешь быть силачемъ, обноси, подобно Милону Кротонскому, каждый день теленка вокругъ своего дома, пока теленокъ не станетъ, наконецъ, быкомъ, занимайся другими гимнастическими упражненіями, веди умѣренный образъ жизни и т. д. Это составляетъ уже цѣлую программу, требующую очень большого времени. Идеалъ настолько отдаляется, что правила поведенія получаются довольно сложныя. Но весьма вѣроятно, что изъ меня ни при какихъ добросовѣстнѣйшихъ стараніяхъ атлетъ не выйдетъ, и я рано или поздно приду къ убѣжденію въ недостижимости для меня моего идеала, который долженъ-бы вслѣдствіе этого, повидимому, обратиться въ идола. Такъ оно часто и бываетъ въ средѣ, напримѣръ, школьниковъ. Но недостижимое для меня еще не значитъ неосуществимое вообще, и есть средство спасти мой идеалъ физической силы даже при невозможности непосредственной личной работы для его осуществленія, это—раздвинуть его за предѣлы собственной личности. Я, можетъ быть, гораздо больше сдѣлаю для осуществленія этого идеала путемъ соотвѣтственнаго воспитанія моихъ дѣтей, путемъ пропаганды, открытія гимнастическихъ заведеній и т. п., чѣмъ лично занимаясь гимнастикой. Мимоходомъ сказать, это нисколько не противорѣчитъ вышеприведеннымъ соображеніямъ о Милонѣ, какъ идеалѣ, и Геркулесѣ, какъ идолѣ: Геркулесъ, въ качествѣ Зевсова сына, все равно долженъ былъ оставаться идоломъ и для того грека,

Digitized by Google

который самъ повторялъ упражненія Милона или какія иныя, и для другого грека, который пропагандировалъ этотъ идеалъ, расчищалъ ему путь, вліяя на умы современниковъ или устраивая спеціальныя воспитательныя заведенія, публичныя состязанія въ силѣ и т. п.

Итакъ, даже въ такомъ элементарномъ случаѣ пути достиженія цѣли оказываются сложными, разнородными и, что для насъ особенно важно, лишь частью прямолинейно и непосредственно къ ней примыкающими, а частью какъ-бы окольными. Можетъ показаться, что въ этой окольности есть нѣчто фарисейское въ томъ смыслѣ, какъ мы привыкли понимать фарисеевъ согласно сказанному о нихъ: словъ ихъ слушайтесь, но по дѣламъ ихъ не поступайте. Конечно, тутъ есть лазейка для лицемѣрія, но лицемѣры, подъ тѣмъ или другимъ предлогомъ отлынивающіе отъ обязанностей, налагаемыхъ на нихъ идеаломъ, всегда найдутъ себѣ лазейку. Мы говоримъ не объ отлынивающихъ, а объ ищущихъ. Фарисеи уличаются въ розни между словомъ и дѣломъ, а въ нашемъ случаѣ эта рознь только кажущаяся. Хромой Тиртей былъ плохой воинъ, но его поэзія воодушевила спартанцевъ на военные подвиги, и если-бы онъ даже совсѣмъ не принималъ личнаго участія въ сраженіяхъ, по своему физическому убожеству, то окольнымъ путемъ вдохновенной хвалы храбрымъ онъ достигъ гораздо большаго, чѣмъ этимъ личнымъ участіемъ. И мы не возмущаемся поведеніемъ Тиртея, потому что вѣримъ въ искренность хромого пѣвца. „Труба, зовущая на бой“, какъ говорилъ о себѣ, кажется, Бэконъ, не менѣе служитъ идеалу, чѣмъ непосредственные участники боя; здѣсь нѣтъ розни между словомъ и дѣломъ, но правила поведенія „трубы“, конечно, отличаются отъ тѣхъ, которыми должны руководствоваться непосредственные участники.

Боюсь я, далѣе, что читатель слишкомъ подчеркнетъ слабосиліе предполагаемаго идеалиста физической силы и физическую убогость Тиртея: дескать, только убогіе, негодные для прямыхъ путей, имѣютъ право идти къ идеалу путями окольными, которые въ томъ собственно только и состоятъ, чтобы указывать другимъ прямой путь. Это былъ-бы слишкомъ поспѣшный выводъ. Есть идеалы, притомъ, можетъ быть, наиболѣе высокіе, къ которымъ ни для кого, ни для убогихъ, ни для сильныхъ, нѣтъ короткихъ и прямолинейныхъ путей, ибо для достиженія ихъ нужно

Digitized by Google

преодолѣть или обойти многосложныя препятствія, нароставшія, можетъ быть, цѣлыми вѣками. Если вы гуляете въ паркѣ и цѣль вашей прогулки составляетъ бесѣдка въ концѣ липовой аллеи съ хорошо убитою дорожкой, то ваше дѣло просто. Но было-бы ни съ чѣмъ несообразно, если-бы Ливингстонъ или Стэнли хотѣли перерѣзать центральную Африку, не вырубая дѣвственныхъ лѣсовъ, не переплывая рѣкъ, кишащихъ крокодилами, не встрѣчая враждебныхъ дикарей и не тратя на преодолѣніе всѣхъ этихъ препятствій силъ и здоровья, не рискуя на каждомъ шагу, можетъ быть, даже жизнью. Нельзя вдругъ, безъ лишеній и борьбы за каждый шагъ впередъ, очутиться по ту сторону этихъ препятствій, нельзя съ ними не считаться. Поэтому выходитъ слѣдующее. Вы хотите, положимъ, перерѣзать Африку отъ океана до океана и конечная цѣль вашего путешествія есть извѣстный пунктъ по ту сторону материка. Вырубка лѣса, обходъ болотъ и т. д.,—все это только средства для достиженія конечной цѣли, но каждое изъ нихъ можетъ само обратиться въ ближайшую цѣль, и вы только не должны забывать конечной цѣли и засиживаться безъ нужды надъ препятствіями. И не найдется такого нелѣпаго человѣка, который попрекнулъ-бы путешественника: ваше дѣло достигнуть такого-то пункта по ту сторону материка, а вы просѣками въ лѣсу занимаетесь! Но въ мірѣ нравственно-политическихъ идеаловъ нѣчто подобное возможно, и нерѣдко случается. Однимъ умственнымъ прыжкомъ очутившись по ту сторону существующаго порядка вещей, люди презрительно третируютъ все, что насъ сейчасъ щемитъ и тревожитъ.

Въ другомъ мѣстѣ я уже говорилъ о подобныхъ „ошибкахъ исторической перспективы“ и приводилъ примѣры, изъ которыхъ одинъ считаю нужнымъ, для ясности дѣла, повторить. Г. Португаловъ, провидя недалекое въ будущемъ искусственное приготовленіе бѣлковыхъ веществъ, то-есть главной, существенной составной части нашей пищи, издѣвается надъ тѣми, кто озабоченъ вопросомъ землевладѣнія, потому что когда, вмѣсто ржи, пшеницы и т. д., мы станемъ ѣсть бѣлковину химическаго заводскаго приготовленія, „что-же тогда станетъ съ пресловутымъ общиннымъ, крупнымъ и мелкимъ землевладѣніемъ“? Что тогда будетъ, неизвѣстно, но и не дожидаясь нынѣшняго тяжелаго кризиса въ нашемъ отечествѣ, можно было думать, что г. Португаловъ немножко торопится съ упраздненіемъ ржи и пшеницы,

Digitized by Google

а также и вопроса землевладѣнія. Искусственное приготовленіе бѣлковины есть несомнѣнно очень высокій техническій идеалъ, но выводить изъ него правила поведенія для настоящаго времени (хотя-бы въ отрицательной формѣ беззаботности по части землевладѣнія) значитъ впадать въ грубую ошибку исторической перспективы. У г. Португалова она сорвалась съ пера, повидимому, нечаянно, собственно отъ восторга чувствъ по поводу успѣховъ науки и отъ желанія кого-то уколоть или ущипнуть (смѣшныя для г. Португалова „зависимость русскаго народа отъ земли“ и „тяжесть земли“ что-то очень напоминаютъ „власть земли“ Успенскаго). Серьезной-же мысли о непосредственномъ выводѣ правилъ поведенія для настоящаго времени изъ идеала будущаго у него, по всей вѣроятности, не было. У гр. Толстого она есть, когда онъ осуществляетъ идеалъ „гармоническаго развитія“ въ своей личной практикѣ сейчасъ.

Мы возвращаемся, такимъ образомъ, къ недоумѣнію моего корреспондента. Совершенно раздѣляя мнѣніе гр. Толстого о „гармоническомъ развитіи“, какъ объ идеалѣ, но полагая его, какъ и всякій идеалъ, въ противность мнѣнію гр. Толстого, достижимымъ, я отнюдь, однако, не думалъ, чтобы изъ него можно было сдѣлать прямолинейный выводъ правилъ поведенія для настоящей минуты. Гр. же Толстой его дѣлаетъ. По поводу моей теоріи прогресса и борьбы за индивидуальность, мнѣ часто дѣлаютъ съ очень побѣдоноснымъ видомъ возраженія такого рода: что-же, вы хотите соединить въ одномъ лицѣ профессіи, напримѣръ, писателя, каменно-угольнаго рабочаго, земледѣльца, мясника и т. д.,— развѣ это возможно? Нѣтъ, невозможно, да и не нужно, не требуется теоріей прогресса. Неизвѣстно, что будетъ со всѣми этими профессіями къ тому времени, когда процессъ, считаемый мною прогрессивнымъ, достаточно подвинется впередъ. Уже и теперь можно предвидѣть, что телефонъ и фонографъ вытѣснятъ писателя, концентрація солнечнаго тепла упразднитъ каменно-угольную промышленность, а бѣлокъ à la Portougaloff, хотя и не такъ скоро, прикончитъ земледѣльца и мясника. Но это все гаданія о далекомъ будущемъ, и въ какія конкретныя формы оно сложится— предвидѣть нельзя. Все это дѣло техники, результаты успѣховъ которой могутъ сильно вліять на комбинацію общественныхъ элементовъ, но ихъ значеніе, въ свою очередь, опредѣлится условіями общественной среды, въ которой они будутъ дѣйствовать. Вслѣд-

Digitized by Google

ствіе этого, человѣкъ, руководимый идеаломъ общественной однородности и индивидуальной разнородности, можетъ и теперь найти себѣ дѣло, не размѣнивая этотъ идеалъ непосредственно на правила поведенія. Общественная разнородность выражается въ рѣзкой разницѣ матеріальной и духовной атмосферы, окружающей людей разныхъ „племенъ, нарѣчій, состояній“, мужчинъ и женщинъ, податныя и неподатныя сословія, богачей и нищихъ, сытыхъ и голодныхъ, „патріотовъ своего отечества“ и „мерзавцевъ своей жизни“, ученыхъ и невѣждъ, рабочихъ и работодателей, ростовщиковъ и платящихъ ростъ, разныхъ „филовъ“ и „фобовъ“ и т. д., и т. д. Индивидуальная однородность выражается соотвѣтственными спеціализаціями ума, чувства и воли, національными, сословными, профессіональными, сексуальными предразсудками, узкимъ своекорыстіемъ, духовною скудостью и проч. Для борьбы съ этимъ порядкомъ вещей и для расчистки пути къ идеалу нѣтъ надобности въ декоративномъ землепашествѣ великаго писателя, хотя оно, повидимому, непосредственно примыкаетъ къ идеалу гармоническаго развитія, прямо обращая его въ правила поведенія. Гр. Толстой слишкомъ дорогой для каждаго русскаго читателя, а частью и не только русскаго, человѣкъ, чтобы могло быть сомнѣніе въ чьемъ-бы то ни было искреннѣйшемъ пожеланіи ему здоровья и долголѣтія. Но, спрашивается, назвалъ-ли бы кто-нибудь его поведеніе безнравственнымъ, если-бы онъ бросилъ всѣ свои способствующія здоровью и душевному спокойствію „запряжки“ и надорвался на односторонней, хотя-бы той-же писательской работѣ во имя того-же идеала общественной однородности? Это было-бы столь-же невозможно-нелѣпо, какъ если-бы, скажемъ, итальянскій патріотъ временъ объединенія Италіи уличался въ недостаткѣ патріотизма за то, что, во имя идеала свободы, претерпѣлъ австрійскій плѣнъ и неаполитанскую тюрьму. Гр. Толстой справедливо говоритъ въ „послѣсловіи“, что идеалъ и правила поведенія не одно и то-же, хотя и тотъ, и другія суть указатели жизненнаго пути.

Не излишне, можетъ быть, прибавить, что само по себѣ декоративное землепашество ничему-бы, пожалуй, не мѣшало, если-бы не осложнялось нѣкоторыми другими сторонами ученія и дѣятельности гр. Толстого, возвращаться къ которымъ не считаю нужнымъ.

Digitized by Google

Убѣжденіе въ достижимости идеала еще ничего не говоритъ о срокѣ его достиженія. Не только конечный, а вообще сколько-нибудь значительный идеалъ обыковенно передается дѣйствующимъ поколѣніемъ потомству. Въ этомъ состоитъ, можетъ быть, трогательнѣйшая и благороднѣйшая черта исторіи человѣчества, если, конечно, современники не по лѣности, трусости или неумѣлости не уравняли дѣйствительности съ идеаломъ, а вслѣдствіе возвышенности идеала, ради котораго они не отказывались отъ труда, жертвъ и лишеній. Не помню, какой ирландскій патріотъ, умершій за границей, завѣщалъ перенести свой прахъ въ Ирландію, когда она достигнетъ полной независимости. Эта способность расширять свое личное существованіе далеко за его фактическіе предѣлы и наслаждаться и страдать далекимъ будущимъ, безъ надежды или опасенія быть его дѣйствительнымъ участникамъ, есть одно изъ свидѣтельствъ благородства человѣческой природы и одинъ изъ драгоцѣнныхъ залоговъ лучшаго будущаго. Черта эта тѣмъ трогательнѣе, что далеко не всегда можно уловить конкретныя подробности осуществленія идеала. Въ случаѣ ирландскаго патріота это довольно легко, какъ и вообще въ идеалахъ чисто-политическихъ и въ особенности построенныхъ на независимости націи отъ чуждаго гнета. Не то въ идеалахъ соціальныхъ. Передавая такой идеалъ потомству и потомству потомства, мы, безъ риска впасть въ болѣе или менѣе грубыя ошибки, не можемъ себѣ представить, какіе новые ходы откроются для потомства и какія новыя пружины будутъ ими пущены въ ходъ; можетъ быть, это будутъ совсѣмъ не похожіе на насъ люди въ совсѣмъ не похожей на нашу обстановкѣ. И, тѣмъ не менѣе, любопытство, окрыленное фантазіей и подогрѣтое способностью наслаждаться и страдать далекимъ будущимъ, когда насъ не будетъ, побуждаетъ людей время отъ времени приподнимать завѣсу этого будущаго. Таково происхожденіе такъ называемыхъ соціальныхъ или соціологическихъ романовъ.

Общія черты этого рода литературы опредѣляются ея задачами. Перловъ художества здѣсь искать нечего, потому что авторамъ неизбѣжно приходится пополнять пробѣлы извѣстной имъ жизни не только фантастическими образами, а и болѣе или менѣе длинными диссертаціями обыкновенно въ формѣ діалога, да и тотъ сводится къ двойному ряду монологовъ. Но, съ другой стороны, и научное предвидѣніе осложняется произвольными вторженіями

Digitized by Google

фантазіи. Неизбѣжны въ подобныхъ произведеніяхъ и ошибки исторической перспективы, только въ извѣстномъ смыслѣ противоположныя тѣмъ, о которыхъ было говорено выше. Тамъ вырывается клочекъ изъ неизвѣстнаго или, по крайней мѣрѣ, далекаго и туманнаго будущаго и вдвигается въ неподходящія условія современной жизни. Здѣсь, напротивъ, та или другая черта современной жизни произвольно сохраняется въ проблематическомъ будущемъ при полномъ измѣненіи общихъ условій жизни. Было-бы, однако, несправедливо презрительно относиться къ этой своеобразной литературѣ, хотя-бы уже потому, что она находитъ себѣ многочисленныхъ читателей, и если не удовлетворяетъ ихъ, то возбуждаетъ интересъ къ извѣстнаго рода вопросамъ наглядным изображеніемъ ихъ вѣроятнаго или невѣроятнаго рѣшенія. Это, собственно говоря, въ цѣломъ диссертаціи на извѣстныя, обыкновенно очень жгучія соціальныя темы, но, благодаря своей беллетристической формѣ, занимательныя и доступныя и тѣмъ, кого отпугнула-бы сухая научная форма изложенія. Притомъ-же, завѣдомая фантастичность дозволяетъ, хотя-бы и съ рискомъ ошибокъ, заглянуть въ такія подробности будущаго, которыхъ не можетъ касаться строгая научная или философская мысль.

Мнѣ хочется разсказать содержаніе новѣйшаго изъ такихъ соціальныхъ романовъ и, притомъ, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, кажется, единственнаго въ своемъ родѣ. Это—„Крушеніе цивилизаціи“ нѣкоего Буажильбера (какъ слышно, романъ переводится на русскій языкъ). Читателю, вѣроятно, извѣстенъ романъ Беллами „Черезъ сто лѣтъ“, вызвавшій большую сенсацію на родинѣ автора, въ Америкѣ, выдержавшій въ самое короткое время и у насъ три или четыре изданія. Романъ этотъ представляетъ собою беллетристическій комментарій или фантастическую иллюстрацію къ извѣстному предвидѣнію Карла Маркса, о которомъ мы, между прочимъ, бесѣдовали въ прошлый разъ. Согласно этому предвидѣнію, земля и капиталы должны сосредоточиваться все въ меньшемъ и меньшемъ числѣ рукъ и, достигнувъ вершины этого процесса, перейти въ общую собственность, чему, съ своей стороны, будетъ способствовать параллельное этому процессу обобществленіе труда, организація рабочихъ классовъ. Беллами примыкаетъ къ этому предвидѣнію, но разница, помимо, конечно, формы изложенія, состоитъ вотъ въ чемъ. Марксъ не только ничего не говоритъ о томъ, какъ именно произойдетъ переломъ на вер-

Digitized by Google

шинѣ процесса, а даже прямо указываетъ на разныя возможности въ зависимости отъ умственнаго и нравственнаго развитія рабочихъ классовъ. Не пытается онъ также уловить ни хронологію движенія, ни подробности формъ общественнаго строя по ту сторону вершины процесса. Беллами, въ качествѣ романиста, не останавливается передъ трудностями, непреодолимыми для ученаго. Въ его романѣ уже черезъ сто лѣтъ нашъ нынѣшній общественный строй есть почти забытая древность; переломъ на вершинѣ процесса совершается мирно, такъ какъ предшествовавшіе бурные непорядки утвердили въ общемъ сознаніи необходимость этого шага, и затѣмъ наступаетъ всеобщее благополучіе. Романъ Буажильбера тоже кончается полнымъ торжествомъ идеала: „человѣчество дружное переходитъ отъ счастливой жизни къ счастливой смерти, и небо съ доброю улыбкой взираетъ на него". Это—послѣднія строки романа. Но главный интересъ романа выражается не этими послѣдними строками, а, напротивъ, заглавіемъ „Крушеніе цивилизаціи" и полемическимъ эпиграфомъ: „Вмѣсто изображенной Беллами картины мира и довольства, насъ ожидаетъ страшное и кровавое будущее—неизбѣжное послѣдствіе своекорыстія и самоувѣренности цивилизаціи".

Съ точки зрѣнія внѣшней занимательности, произведеніе Буажильбера гораздо интереснѣе романа Беллами. Онъ переполненъ движеніемъ и драматическими положеніями и авторъ лишь изрѣдка прибѣгаетъ къ діалогамъ-монологамъ. Это тѣмъ пріятнѣе для читателя, что положительные планы Буажильбера далеко уступаютъ въ основательности планамъ Беллами. Само собою разумѣется, однако, что говоря о внѣшней, сказочной занимательности „Крушенія цивилизаціи", нечего въ ней искать сколько-нибудь выдающихся художественныхъ достоинствъ. Интересъ романа совсѣмъ особенный. Я назвалъ его единственнымъ въ своемъ родѣ произведеніемъ среди соціальныхъ романовъ. Особенность его составляетъ уже то, что авторъ провидитъ въ будущемъ всевозможные ужасы, изображеніемъ которыхъ и занятъ почти весь романъ, тогда какъ обыкновенно подобные романы занимаются картинами мира, счастія и довольства. Въ концѣ-концовъ, правда, какъ мы видѣли, и у Буажильбера „небо съ доброю улыбкой взираетъ на счастливое человѣчество", но это есть огромный результатъ стеченія маленькихъ случайныхъ обстоятельствъ. Затѣмъ, въ большинствѣ „утопій", по крайней мѣрѣ, новѣйшаго

Digitized by Google

происхожденія, разнаго рода техническія приспособленія и улучшенія играютъ выдающуюся и, притомъ, благодѣтельную роль. Нѣкоторыя подобныя фантазіи даже исключительно въ томъ именно и состоятъ, что всѣ существующія въ настоящую минуту на нашей грѣшной землѣ людскія отношенія остаются неприкосновенными, но люди получаютъ удесятеренную власть надъ силами природы, благодаря чудовищному развитію науки и техники. Только эта благодѣтельная сторона техническаго прогресса и воспѣвается. Лишь у Ренана, въ „Fragments philosophiques", въ фантастической тоже картинѣ, хотя и не въ беллетристической формѣ, помню я примѣненіе успѣховъ техники къ дѣлу разрушенія и угрозы, но и то разрушеніе и угроза являются, по мысли автора, дѣломъ благодѣтельнымъ. У Буажильбера-же теоретическое и прикладное знаніе является орудіемъ угнетенія массъ и возвеличенія на ея счетъ горсти негодяевъ, а затѣмъ и „крушенія цивилизаціи", крушенія безумно-злодѣйскаго и кроваваго. Къ этой разрушительной роли науки и техники есть, впрочемъ, въ романѣ существенная поправка, которую мы сейчасъ увидимъ.

Романъ Буажильбера имѣетъ видъ записокъ нѣкоего Габріэля Вельтштейна, прибывшаго съ торговыми цѣлями изъ африканскаго царства Уганда въ Нью-Іоркъ (дѣйствіе, какъ и у Беллами, происходитъ черезъ сто лѣтъ). Послѣ мирныхъ и патріархальныхъ нравовъ Уганды, находящейся, повидимому, въ періодѣ пастушескаго быта, роскошь, блескъ и шумъ Нью-Іорка поражаютъ Вельтштейна. На каждомъ шагу онъ наталкивается на невиданныя чудеса знанія, повергнувшаго къ стопамъ человѣка могучія силы природы. На всемъ окружающемъ лежитъ печать ума, силы, энергіи, красоты, богатства, но онъ почему-то чувствуетъ себя непріятно и холодно въ этой роскошной обстановкѣ. Уличная случайность вплетаетъ въ разсказъ нитку любви и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ведетъ къ цѣлому ряду необычайныхъ приключеній. Вельтштейнъ открываетъ бокъ-о-бокъ съ міромъ блеска и роскоши другой міръ,—міръ крайней нищеты, непосильной работы, безсилія и темноты. Открываетъ онъ далѣе, что эти два міра находятся въ непримиримой враждѣ между собой, и каждый изъ нихъ представляетъ собою организованный военный лагерь, ежеминутно готовый вступить въ открытую борьбу съ оружіемъ въ рукахъ. Въ такомъ положеніи находится не только Нью-Іоркъ, а вся Америка и вся Западная Европа, словомъ, всѣ страны старой

Digitized by Google

цивилизаціи. Предвидѣніе Маркса, повидимому, сбывается: трудъ обобществляется, рабочіе классы организуются въ многомилліонное общество, связанное единствомъ положенія, единствомъ вражды и единствомъ задачи. Оно тайное и называется „братствомъ разрушенія". Съ другой стороны, земля, капиталы, орудія производства сосредоточились въ рукахъ немногочисленной плутократической олигархіи. Но, въ противность ожиданіямъ, если не Маркса, то Беллами, ни братство разрушенія, ни олигархи не думаютъ о мирномъ соглашеніи, послѣ котораго должно наступить всеобщее благополучіе. Напротивъ, ненавистью и злобой дышатъ оба лагеря. Вся та-же уличная случайность въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи даетъ Вельтштейну возможность проникнуть въ тайны организаціи и плановъ какъ олигарховъ, такъ и братства разрушенія. У олигарховъ есть обыкновенное войско, но его слишкомъ мало для борьбы съ многочисленною массой недовольныхъ, и, въ случаѣ большой опасности, олигархи не столько на него разсчитываютъ, сколько на „демоновъ" или „воздушныхъ мамелюковъ". Это воздушные корабли, экипажъ которыхъ снабженъ страшнымъ оружіемъ: взрывчатыми бомбами, наполненными удушливымъ, ядовитымъ газомъ. Бѣда только въ томъ, что эти мамелюки, чувствуя свою необходимость для олигарховъ, требуютъ себѣ все больше и больше жалованья, и олигархи не смѣютъ имъ отказать, относя, впрочемъ, всѣ эти прибавки на счетъ государственныхъ расходовъ. Тѣмъ не менѣе, они тяготятся этою зависимостью. Прослышавъ черезъ своихъ шпіоновъ о существованіи братства и о приготовленіяхъ его къ открытой войнѣ, олигархи рѣшаютъ въ послѣдній разъ увеличить жалованье „демонамъ", въ послѣдній разъ пустить ихъ въ ходъ и затѣмъ предательски перебить ихъ, а воздушную армію организовать вновь и на новыхъ началахъ. Жестокость, жадность, грубѣйшій матеріализмъ, предательство, всяческая низость составляютъ правительственную физіономію олигарховъ и возводятся ими даже въ систему, открыто проповѣдуемую съ каѳерды. Но не лучше и братство разрушенія. Кличка ему дана по шерсти. Ни о чемъ, кромѣ разрушенія и грабежа, оно не думаетъ, и нѣтъ у него иного бога, кромѣ золота и кровавой мести. Процессъ сосредоточенія благъ и наслажденій въ одномъ полюсѣ общественной жизни и всяческой скудости въ другомъ—наполнилъ всю атмосферу нравственнымъ ядомъ. Во главѣ „братства" стоятъ три человѣка. Во-первыхъ, италья-

Digitized by Google

нецъ Цезарь Ломеллини, грубый и пьяный дикарь атлетической силы; во-вторыхъ, безъимянный австрійскій еврей, уродъ физически, но настоящая „голова“ братства; въ-третьихъ, американецъ Филипсъ, благородный молодой человѣкъ, примкнувшій къ братству, главнымъ образомъ, изъ мести за своего отца. Если олигархи имѣютъ своихъ шпіоновъ, то имѣетъ ихъ и братство. Оно узнаетъ, между прочимъ, и о предательскомъ планѣ поступить съ воздушными мамелюками какъ съ выжатымъ лимономъ, и сообщаетъ эту тайну предводителю мамелюковъ, вслѣдствіе чего мамелюки, въ свою очередь, предаютъ олигарховъ и тайно продаютъ свои услуги братству. Готовится рѣшительная минута послѣдней схватки. Тщетно Вельтштейнъ, подружившійся съ Филипсомъ, убѣждаетъ сначала одну, потомъ другую сторону въ необходимости придти къ какому-нибудь соглашенію, тщетно старается разбудить въ тѣхъ и другихъ добрыя чувства. Роковая сила событій увлекаетъ людей, и катастрофа, наконецъ, наступаетъ. Олигархи, не зная объ измѣнѣ мамелюковъ, спокойно смотрятъ на начинающееся возстаніе и высылаютъ войско больше для того, чтобы загнать возставшихъ въ замкнутое пространство, гдѣ съ ними и покончатъ мамелюки. Вотъ появляются, какъ огромныя черныя птицы, воздушные корабли, сторонники олигарховъ торжествуютъ, но торжество смѣняется ужасомъ и смертью, когда мамелюки сбрасываютъ свои страшныя орудія на нихъ, а не на возставшихъ. Всеобщій погромъ, сцены грабежа, разрушенія, смерти. И то-же самое единовременно происходитъ по всей Америкѣ и по всей Западной Европѣ. Собственно въ Нью-Іоркѣ провозглашаетъ себя королемъ Цезарь Ломеллини, но проявляетъ свою власть только пьянствомъ, убійствами и развратомъ. „Голова“ братства, безъимянный австрійскій еврей, пользуясь суматохой, похищаетъ сто милліоновъ долларовъ и бѣжитъ на воздушномъ кораблѣ въ Іерусалимъ, чтобы возстановить царство Соломона на развалинахъ міра. Узнавъ объ этомъ, разъяренная толпа убиваетъ Цезаря и угрожаетъ своему третьему предводителю Филипсу. Но Филипсъ съ семьей и съ Вельтштейномъ, который тоже успѣлъ въ теченіе романа жениться, спасается на воздушномъ кораблѣ въ Уганду. Они захватываютъ съ собою, сколько могутъ помѣстить на воздушномъ кораблѣ, книгъ, инструментовъ, машинъ, орудій, изобрѣтенныхъ погибшею цивилизаціей, и тамъ, въ своей мирной Угандѣ, наученные страшнымъ опытомъ, основываютъ новую

Digitized by Google

жизнь, на которую „небо взираетъ съ улыбкой“. Подробности этой новой жизни очерчены очень неясно и, во всякомъ случаѣ, гораздо менѣе ясно, чѣмъ судьба оставленнаго ими Нью-Іорка. На вопросъ Вельтштейна, что станется съ десятью милліонами жителей Нью-Іорка (читатель помнитъ, что дѣйствіе происходитъ черезъ сто лѣтъ) и не возникнетъ-ли новый гражданскій строй на этихъ развалинахъ, Филипсъ отвѣчаетъ: „Еще не скоро. Долго еще будутъ господствовать грубость, невѣжество, разнузданность, суевѣріе, преступленія. Люди, такъ долго изнывавшіе подъ гнетомъ тяжелыхъ условій труда, едва-ли захотятъ вернуться къ нему. И куда имъ идти на работу? Послѣ того, какъ три четверти погибнутъ, остальные, пережившіе другихъ, въ силу закона борьбы за существованіе, какъ болѣе сильные и грубые, сочтутъ нужнымъ въ видахъ самозащиты сформировать вооруженные отряды или шайки. Тотъ, кто будетъ искуснѣе и храбрѣе всѣхъ, сдѣлается ихъ вождемъ, какъ у дикарей. Затѣмъ медленно повторится всемірная исторія“. Возникнетъ рабство, потомъ появится торговля, воскреснетъ культура и т. д. до новой катастрофы.

Это послѣднее мрачное предвидѣніе едва-ли, однако, составляетъ серьезную и искреннюю мысль автора. Можно думать, что онъ вложилъ его въ уста Филипса просто какъ ипохондрическую выходку въ минуту скорби о погибшей цивилизаціи, ибо вѣритъ-же онъ въ свою угандскую утопію и не угрожаетъ ей безконечнымъ круговращеніемъ катастрофъ. Такіе-же, вѣдь, люди и въ Угандѣ будутъ, какіе въ Америкѣ были, но въ Угандѣ будутъ приняты какія-то мѣры въ предупрежденіе погибельной поляризаціи интересовъ; какія—изложено не совсѣмъ ясно и довольно легкомысленно. Во всякомъ случаѣ, бѣда погибшей цивилизаціи состояла не въ наукѣ, теоретической и прикладной. Въ Нью-Іоркѣ она не только не помѣшала катастрофѣ, но дала обѣимъ враждующимъ сторонамъ орудія истребленія. Въ Угандѣ, въ иной обстановкѣ, очевидно, иначе будетъ. Но настоящая цѣль Буажильбера состоитъ вовсе не въ идеализаціи фантастической Уганды. Цѣль эта очень ясно выражена въ предисловіи къ роману. Авторъ пишетъ: „Я посвящаю эту книгу всѣмъ вдумчивымъ и благомыслящимъ людямъ въ надеждѣ, что она можетъ принести нѣкоторую пользу. Надѣюсь, кромѣ того, что намѣренія, руководившія мною при составленіи моего труда, не будутъ истолкованы въ дурную сторону. Если я описываю крушеніе нашей цивилизаціи, то это

Digitized by Google

не значитъ, что я его желаю. Пророкъ не отвѣтственъ за тѣ событія, которыя онъ предсказываетъ; онъ ихъ предусматриваетъ съ болью въ сердцѣ. Я и не анархистъ, напротивъ, я изображаю страшныя послѣдствія восторжествованія анархизма. Я стараюсь доказать людямъ богатымъ, вліятельнымъ и способнымъ къ борьбѣ великую истину, что безучастіе къ страданіямъ ближняго, забвеніе великихъ узъ братства, составляющаго основу христіанскаго ученія, и слѣпое, грубое поклоненіе богатству должны, если они усилятся, современемъ неизбѣжно привести къ разложенію общества и къ крушенію цивилизаціи".

Итакъ, несмотря на грозный полемическій эпиграфъ романа Буажильбера и на мрачное предсказаніе Филипса, крушеніе европейско-американской цивилизаціи не неизбѣжно. Это — вопросъ благоразумія и добрыхъ чувствъ участниковъ цивилизаціи. Хотя романъ Буажильбера переполненъ ошибками исторической перспективы даже сверхъ мѣры, допускаемой фантастичностью фабулы, и вообще очень легкомысленъ, но такая постановка вопроса имѣетъ свою цѣну. Едва-ли кто сомнѣвается въ томъ, что если счастье ждетъ человѣчество на извѣстномъ или, точнѣе, неизвѣстномъ историческомъ пунктѣ, то оно должно быть, во всякомъ случаѣ, заработано. Тѣмъ не менѣе, въ очень многихъ умахъ историческій процессъ настолько отрывается отъ реальныхъ носителей и исполнителей, то-есть людей, что ихъ нравственный и умственный уровень, весь ихъ духовный, да и физическій обликъ остаются въ сторонѣ при гадательныхъ построеніяхъ будущаго. Такъ именно поступаетъ Беллами (отнюдь не его учитель, Марксъ). Неудивительно, что въ томъ идеальномъ строѣ, который онъ себѣ и намъ рисуетъ въ будущемъ, люди освобождаются отъ узкосвоекорыстныхъ чувствъ со всѣми ихъ развѣтвленіями и послѣдствіями, необходимыхъ людямъ при нынѣшней лютой борьбѣ за существованіе, — необходимыхъ до такой степени, что и самый строгій моралистъ не всегда рѣшится метать по этому поводу громы. Но будущее будущимъ, а къ нему надо подойти, и спрашивается, въ какомъ видѣ люди къ нему подойдутъ? Остановимся на той-же Америкѣ, которой Беллами предсказываетъ миръ, счастье и расцвѣтъ, а Буажильберъ — полное крушеніе, и предположимъ, что она достигла вершины процесса концентраціи капиталовъ и обобществленія труда. Процессъ этотъ оба романиста представляютъ себѣ чисто-механическимъ въ томъ смыслѣ, что

Digitized by Google

никакія человѣческія условія не въ состояніи ни задержать его ни отклонить. Но процессъ этотъ, какъ опять-таки оба романиста признаютъ, кладетъ на людей извѣстную печать, укрѣпляющуюся въ ряду поколѣній. Вотъ, напримѣръ, нѣсколько строкъ изъ описанія Беллами рабочаго квартала нынѣшняго Бостона: „Когда я проходилъ мимо, предо мною промелькнули блѣдныя лица дѣтей, задыхавшихся отъ удушливаго смрада, женщины съ выраженіемъ отчаянія на лицахъ, обезображенныхъ тяжкимъ трудомъ, не сохранившія изъ своихъ женскихъ свойствъ ни единой черты, кромѣ слабости, между тѣмъ какъ изъ оконъ съ наглымъ видомъ подмигивали дѣвушки. Подобно голоднымъ стаямъ ублюдковъ дворняжекъ, наводняющихъ улицы мусульманскихъ городовъ, ватаги полунагихъ, полудикихъ ребятишекъ наполняли воздухъ визгомъ и ругательствами, избивая другъ друга и падая на мусоръ, устилавшій дворъ дома“. И далѣе: „Тѣла ихъ представляли собою живые трупы. На каждомъ остервенѣломъ челѣ ясно было начертано „hic jacet“ (здѣсь покоится) душа, умершая въ немъ. Когда взоръ, пораженный ужасомъ, перебѣгалъ съ одной мертвой головы на другую, со мною вдругъ случилась странная галлюцинація. На каждой изъ этихъ звѣрскихъ масокъ, въ видѣ колеблющагося прозрачнаго призрака, я увидѣлъ идеалъ лица, которое могло-бы быть въ дѣйствительности, будь его умъ и душа живы“.

Почти тѣми-же самыми словами описываетъ Буажильберъ рабочій кварталъ Нью-Іорка XX вѣка. Пусть Буажильберъ ошибается, полагая, что эти неприглядныя черты сохранятся въ Бостонѣ-ли, или въ Нью-Іоркѣ черезъ сто лѣтъ; пусть правъ Беллами въ этомъ отношеніи. Но изъ его романа не видно, какими путями онѣ исчезли, какимъ образомъ произошло то мирное соглашеніе, которымъ смѣнилась взаимная вражда и началась эра всеобщаго благополучія. „Живые трупы“ и „звѣрскія маски“, равно какъ и соотвѣтствующія черты, накопившіяся на противоположномъ полюсѣ общественной жизни, воспитывались въ цѣломъ ряду поколѣній, воспитывались тѣмъ самымъ механическимъ историко-экономическимъ процессомъ, на который возлагаетъ свои надежды Беллами. Есть, слѣдовательно, значительная вѣроятность, что Америка подойдетъ къ вершинѣ процесса съ неумытымъ рыломъ, если позволено будетъ употребить такое выраженіе, и это неумытое рыло опредѣлитъ собою характеръ перевала по ту сторону вершины. Дѣло тутъ не въ одной психологіи, ибо

Digitized by Google

и самая физика американцевъ XX вѣка будетъ носить на себѣ печать пройденнаго тернистаго пути. А что это путь тернистый, признаетъ не только пессимистъ Буажильберъ, а и оптимистъ Беллами. Къ тому моменту, когда параллельные процессы обобществленія труда и концентраціи капиталовъ достигнутъ своей вершины и для Америки откроется перспектива счастія, насколько оно зависитъ отъ внѣшнихъ экономическихъ условій, обѣ стороны могутъ оказаться неспособными воспользоваться этими условіями; осуществится басня о бѣлкѣ, которой досталась куча орѣховъ, когда у нея уже не было зубовъ. Трудъ обобществляется, но, обобществляясь, онъ подвергается такимъ лишеніямъ и обремененіямъ, которыя уродуютъ его представителей нравственно и физически; капиталъ концентрируется, но, концентрируясь, онъ вливаетъ въ душу своихъ представителей такую ненасытимую жажду наслажденія и открываетъ имъ въ этомъ отношеніи такія безконечныя перспективы, что и на этомъ полюсѣ слагаются всевозможныя нравственныя и физическія уродства. Моментъ окончательной встрѣчи этихъ двухъ скопленій уродствъ едва-ли можетъ имѣть тотъ идиллическій характеръ, который ему приписываетъ Беллами, и Буажильберъ несравненно былъ правѣе въ этомъ отношеніи. Несмотря на аляповатость красокъ Буажильбера, логически мыслимъ даже указываемый имъ конечный пунктъ: крушеніе цивилизаціи. Но фактически онъ долженъ встрѣтить и дѣйствительно встрѣчаетъ непреодолимыя для него препятствія.

Какъ бы ни было велико значеніе экономическаго процесса, формулированнаго Марксомъ и положеннаго въ основаніе романовъ Беллами и Буажильбера, онъ не въ безвоздушномъ пространствѣ происходитъ. Его окружаютъ очень сложныя и разнородныя условія, и рядомъ съ этимъ происходятъ другіе историческіе процессы, то содѣйствующіе, то противодѣйствующіе ему, ускоряющіе, замедляющіе, отклоняющіе и перебивающіе его. Человѣческая душа не исчерпывается мыслями, чувствами и хотѣніями, непосредственно вытекающими изъ экономической сферы жизни. Такъ, напримѣръ, одно изъ новѣйшихъ, но быстро входящихъ въ общее сознаніе рѣшеній экономическаго вопроса— національзація земли сама по себѣ не приведетъ даже къ экономическому миру и благополучію, пока не изсякнутъ источники національной вражды, а для этого потребуется весьма многое, частью имѣющее лишь весьма отдаленное отношеніе, а частью и

Digitized by Google

никакого отношенія не имѣющее къ спеціальной экономической сферѣ. И много найдется „забытыхъ словъ“, способныхъ волновать человѣческую душу и могущественно направлять человѣческую дѣятельность независимо отъ процесса, формулированнаго Марксомъ и даже вопреки ему. Обращая свой взоръ изъ гипотетической дали XX вѣка на нынѣшнее положеніе дѣлъ въ Америкѣ, Беллами говоритъ, что процессъ консолидаціи капиталовъ, страшною тяжестью отзываясь на рабочихъ массахъ, вызывалъ „отчаянные и напрасные протесты“; но къ началу XX вѣка „общественное мнѣніе вполнѣ созрѣло“ и „народное чувство по отношенію къ большимъ компаніямъ и ихъ представителямъ утратило свою горечь, такъ какъ народъ пришелъ къ убѣжденію въ ихъ необходимости, какъ звена, какъ переходной фазы въ развитіи истинной промышленной системы“. Предположивъ, что этотъ процессъ уже совершился, мы легко можемъ стать на точку зрѣнія доктора Лита, въ уста котораго Беллами влагаетъ эти ретроспективныя соображенія о нашихъ временахъ. Но пока „золотая будущность“, которую пророчитъ Беллами, есть только будущность, мы не можемъ съ спокойною совѣстью смотрѣть на тѣ „живые трупы“, которыми устилается дорога къ нему, не можемъ успокоиться на рѣшеніи, что всякіе протесты „напрасны“, — не можемъ хотя-бы въ виду приведенныхъ соображеній о старой беззубой бѣлкѣ, получившей лишенную для нея всякой цѣнности кучу орѣховъ. Если къ тому времени, когда обобществленіе труда, въ зависимости отъ техническихъ усовершествованій промышленности, достигнетъ своего апогея, его представители окажутся „живыми трупами“ съ „остервенѣлыми“ лицами, то понятно, что они ничѣмъ не подорожатъ въ нашей цивилизаціи. Въ самомъ дѣлѣ, что могутъ значить для этихъ „звѣрскихъ масокъ“ всѣ наши скопленныя вѣками сокровища науки и искусства, всѣ выстраданныя героями, мучениками и жертвами цивилизаціи нравственныя теоріи, всѣ свободныя учрежденія, всѣ „забытыя слова“, какъ совѣсть, честь и проч.? Но, къ счастью, эти слова не забыты въ европейско-американской цивилизаціи, и пока они не забыты, европеецъ можетъ относиться къ картинѣ крушенія, нарисованной Буажильберомъ, какъ къ предостереженію, но не какъ къ предсказанію, что, впрочемъ, оговариваетъ въ своемъ предисловіи и самъ Буажильберъ.

Если читатель обратится къ книжкѣ г. Гольденвейзера „Со-

Digitized by Google

ціальныя теченія и реформы XIX столѣтія въ Англіи“, то на первыхъ-же страницахъ найдетъ сопоставленіе слѣдующихъ фактовъ.

Въ 1889 году въ Лондонѣ произошла стачка доковыхъ рабочихъ. Цифра участниковъ стачки была огромна: на пятый день послѣ начала стачки число забастовавшихъ рабочихъ достигло 150,000 человѣкъ. Другую особенность стачки составляло то обстоятельство, что къ ней пристали представители другихъ отраслей труда, непосредственно не заинтересованные успѣхомъ или неуспѣхомъ требованій доковыхъ рабочихъ. Третья особенность: „всѣ англійскія газеты открыли у себя подписку на поддержку забастовавшихъ; духовенство, аристократія, фабричные тузы и даже акціонеры доковыхъ предпріятій наперерывъ спѣшили гласно и негласно своими средствами облегчить бѣдствія, переносившіяся этою массою рабочихъ, переставшихъ получать свой обычный заработокъ на хлѣбъ насущный для себя и своихъ семей“. Что касается самихъ рабочихъ, то они вели себя безукоризненно. Процессіи въ двадцать и въ тридцать тысячъ человѣкъ голодныхъ пролетаріевъ расхаживали по лондонскимъ улицамъ, среди всевозможныхъ соблазновъ богатѣйшаго города, не производя никакихъ насилій и грабежей, и слѣдственныя власти констатировали, что за пять недѣль стачки уголовная хроника Лондона не обогатилась *ни однимъ* преступленіемъ, которое можно-бы было поставить въ счетъ забастовавшимъ рабочимъ. Дѣло кончилось удовлетвореніемъ требованій стачечниковъ, но хотя это результатъ тоже не безъинтересный, дѣло для насъ теперь не въ этомъ. Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ въ Англіи происходило сильное рабочее движеніе, но тогда, по выраженію Дизраэли, населеніе Англіи распалось на двѣ отдѣльныя націи, которыя были совершенно чужды другъ другу. Жестокая кровавая расправа шла съ обѣихъ сторонъ, и „звѣрскія маски“ были, можетъ быть недалеки отъ истины. Что-же въ теченіе послѣднихъ пятидесяти, шестидесяти лѣтъ произошло такого, что̀ настолько измѣнило взаимныя отношенія различныхъ классовъ населенія, какъ это видно изъ исторіи стачки доковыхъ рабочихъ 1889 г.? Процессъ консолидаціи капиталовъ и обобществленія труда сдѣлалъ за это время огромные шаги впередъ, но самъ по себѣ не въ силахъ измѣнить нравственную физіономію рабочаго въ благопріятномъ для умиротворенія смыслѣ, да его и нѣтъ, этого умиро-

Digitized by Google

творенія. Что-же произошло? Этотъ вопросъ задаетъ себѣ г. Гольденвейзеръ и отвѣчаетъ на него своею книжкой, составленною, впрочемъ, по Шульце-Геверницу, на отвѣтственности котораго, повидимому, и должны лежать всѣ выводы г. Гельденвейзера.

Обозрѣвъ нѣкоторыя выдающіяся явленія англійской общественной жизни, г. Гольденвейзеръ заключаетъ: „Таковы значительные этапы, которые въ Англіи за послѣднія десятилѣтія, благодаря прогрессу наукъ, политической свободѣ, просвѣщенной религіозной проповѣди и ничѣмъ не стѣсненной личной иниціативѣ, а, главное, благодаря дружному взаимодѣйствію всѣхъ этихъ началъ, мирно отвоеваны альтруистическими идеями въ той самой области, которая еще недавно почиталась нормальною подъ безпредѣльнымъ и даже будто-бы никакимъ ограниченіямъ не подлежащимъ господствомъ экономическаго соревнованія и эгоизма“.

Въ этомъ окончательномъ выводѣ читатель замѣтитъ, можетъ быть, нѣкоторыя противорѣчія. Почему, спрашивается, авторъ воздаетъ хвалу „ничѣмъ не стѣсненной личной иниціативѣ“ и, въ то-же время, порицаетъ „никакимъ ограниченіямъ не подлежащее господство экономическаго соревнованія и эгоизма“? Это, впрочемъ, не столько противорѣчіе, сколько недоразумѣніе, которое выяснится для читателя изъ самой книжки. Старая доктрина экономическаго либерализма стояла за святость и благодѣтельность ничѣмъ не стѣсненной личной иниціативы или не подлежащаго ограниченіямъ экономическаго соревнованія только въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло шло о свободѣ дѣйствій предпринимателей. Освѣщеніе картины рѣзко измѣнялось, когда претензіи на такую-же свободу дѣйствій заявлялъ рабочій. Иначе говоря, провозглашая свободу, какъ единоспасающій принципъ, экономическій либерализмъ предоставлялъ въ его вѣдѣніе совершенно опредѣленный, законченный кругъ установившихся фактическихъ отношеній. Поучительна въ этомъ смыслѣ долгая и упорная борьба за свободу союзныхъ организацій рабочихъ въ то самое время, когда предприниматели безпрепятственно входили въ разныя соглашенія между собой, имѣвшія также характеръ союзныхъ организацій. Съ теченіемъ времени, подъ давленіемъ частью текущихъ событій, въ которыхъ „отчаянные и напрасные протесты“ играли существенную роль, а частью разныхъ „забытыхъ словъ“, обстоятельства измѣнились, и нынѣ чистокровные либералы вродѣ Спенсера составляютъ между выдающимися людьми Англіи срав-

Digitized by Google

нительно большую рѣдкость. Г. Гольденвейзеръ приводитъ слѣдующій любопытный фактъ: изъ четырнадцати курсовъ политической экономіи, читанныхъ зимою 1887 г. въ Лондонѣ, восемь имѣли своими лекторами публицистовъ, которые въ ученомъ мірѣ пріобрѣли имя приверженцевъ соціализма. Молодые экономисты, услугами коихъ пользуются „университетское движеніе", тоже почти исключительно принадлежатъ къ этому направленію. Собственно университетское движеніе состоитъ въ разнообразнѣйшихъ практическихъ предпріятіяхъ, какъ въ Лондонѣ, такъ и въ провинціи, имѣющихъ цѣлью распространеніе въ рабочихъ классахъ знаній, предоставленіе имъ благородныхъ, отвлекающихъ отъ кабака развлеченій и всякаго рода матеріальной и духовной помощи. На этомъ поприщѣ могутъ, разумѣется, сходиться люди очень разныхъ убѣжденій, религіозныхъ и политическихъ, даже просто добрые люди, даже, наконецъ, люди, способные увлекаться всякою модой, въ чемъ-бы она ни состояла. Но какъ-бы ни были легковѣсны кое-какія подробности этого теченія и какъ-бы ни были разнородны, до полной противорѣчивости, практическіе планы серьезныхъ и сознательныхъ его участниковъ, это есть настоящее теченіе. Оно рѣзко разнится отъ доктрины стараго либерализма, такъ какъ требуетъ законодательнаго, правительственнаго вмѣшательства въ защиту рабочихъ классовъ, хотя, въ то-же время, широко пользуется просторомъ личной иниціативы для распространенія и осуществленія своихъ идей. Этотъ поворотъ въ средѣ англійской интеллигенціи, когда-то выставившей крупнѣйшихъ представителей экономическаго либерализма, вытекаетъ изъ общаго философскаго движенія, во главѣ котораго г. Гольденвейзеръ, слѣдуя Шульце-Геверницу, ставитъ Карлейля. Этимъ-то поворотомъ г. Гольденвейзеръ и объясняетъ разницу между событіями тридцатыхъ, сороковыхъ годовъ и исторіей стачки доковыхъ рабочихъ въ 1889 году. Очевидно, Англія плыветъ по историческому руслу, не имѣющему ничего общаго съ кануномъ „крушенія цивилизаціи" Баужильбера. Передъ нами не два непримиримо-враждебные лагеря, между которыми невозможно никакое соглашеніе, не два стада звѣрей, ежеминутно готовыхъ ко взаимному истребленію, причемъ должно погибнуть все выработанное и выстраданное вѣками. Г. Гольденвейзеръ, или Шульце-Геверницъ, идетъ такъ далеко, что установляетъ, по крайней мѣрѣ, теоретически, въ принципѣ, пол-

Digitized by Google

ную солидарность интересовъ капиталиста и рабочихъ, что и практически подтверждается образцами взаимныхъ уступокъ и соглашеній при посредствѣ разныхъ комитетовъ и третейскихъ судилищъ.

Можно сомнѣваться, чтобы эти частные примѣры соглашеній подтверждали общую мысль о солидарности интересовъ. Извѣстенъ математическій софизмъ, въ силу котораго Ахиллъ, бѣгающій во сто, въ тысячу, вообще во сколько угодно разъ быстрѣе черепахи, никогда, однако, ее не догонитъ, хотя разстояніе между ними и будетъ постоянно уменьшаться. Но вовсе не софизмомъ будетъ сказать, что интересы капиталиста и рабочихъ могутъ расходиться больше и меньше, но никогда не сольются или, что то же, сольются лишь тогда, когда сольются самыя функціи капитала и труда. Что-же касается настоящаго момента взаимныхъ отношеній различныхъ классовъ англійскаго населенія, то для характеристики его я приведу изъ книжки г. Гольденвейзера три факта.

Пасторъ Чарльзъ Лоудеръ, умершій въ 1880 г., двадцать одинъ годъ прожилъ въ самой заброшенной части Лондона, гдѣ на 753 дома приходилось 40 кабаковъ и 154 дома терпимости. Кромѣ исполненія своихъ прямыхъ священническихъ обязанностей, Лоудеръ обучалъ дѣтей, ходилъ за больными, обличалъ мѣстныхъ кулаковъ, кабатчиковъ и другихъ негодяевъ, эксплоатировавшихъ порочныя наклонности невѣжественнаго и нищаго населенія. Къ нему примкнуло нѣсколько молодыхъ помощниковъ. Не легко, однако, приходилось Лоудеру. Его помощники не разъ кулаками спасали его отъ разъяренной толпы босяковъ, которыхъ онъ облюбовалъ, которымъ всю свою жизнь отдалъ, но которыхъ подзадоривали противъ него кабатчики и прочія піявки, присосавшіяся къ народной нищетѣ и темнотѣ. Однажды они чуть не утопили его. Г. Гольденвейзеръ справедливо замѣчаетъ: „Такіе факты служатъ не только для оцѣнки дѣятельности Лоудера и его сотрудниковъ, но не въ меньшей мѣрѣ и для характеристики нравовъ и культурнаго состоянія обитателей цѣлыхъ кварталовъ въ величественномъ центрѣ промышленныхъ успѣховъ XIX вѣка. Картина получается такая, какую мы привыкли встрѣчать только въ описаніяхъ жизни первыхъ подвижниковъ христіанства въ станѣ язычниковъ“.

Нѣкто Титусъ Сольтъ устроилъ цѣлый рабочій городъ Солтэръ.

Digitized by Google

Здѣсь, кромѣ огромнаго фабричнаго зданія, имѣются благоустроенные домики для рабочаго населенія въ 4,000 человѣкъ, клубъ, зоологическій музей, художественныя мастерскія, церковь, школы, театръ. Несмотря, однако, на всѣ эти даровыя удобства, Солтэръ не избѣгъ стачекъ и забастовокъ и постепенно пустѣетъ. Это объясняется двумя параграфами устава Солтэра: во-первыхъ, ни одно изъ помѣщеній не подлежитъ отчужденію и не можетъ быть пріобрѣтено въ собственность рабочими; во-вторыхъ, на службу не принимается ни одинъ рабочій, принадлежащій къ какому-бы то ни было рабочему союзу. „Эти-то условія,—говоритъ г. Гольденвейзеръ,—отводили рабочій людъ отъ Солтэра со всѣми его даровыми удобствами жизни, ибо, въ сущности, за нихъ приходится платить, хотя не деньгами, но за то гораздо болѣе цѣнною нравственною жертвой: нужно отказаться отъ стремленія къ независимости и самостоятельности“.

Собственники одной изъ крупнѣйшихъ фабричныхъ фирмъ въ Гюддерсфельдѣ „Томсонъ и сынъ“ добровольно отреклись отъ всѣхъ исключительныхъ правъ своихъ и „превратили свое предпріятіе въ кооперативное между причастными къ нему рабочими. Представитель бывшей фирмы, Джоржъ Томсонъ, остающійся и понынѣ во главѣ новаго управленія предпріятіемъ, пояснилъ въ особомъ сочиненіи всѣ нравственныя и соціальныя основанія, побудившія его фирму къ этому шагу. Главнымъ образомъ, они сводятся къ идеямъ, провозглащеннымъ Карлейлемъ. Дѣло это продолжаетъ развиваться и процвѣтать попрежнему“.

Изъ массы фактовъ, приведенныхъ и не приведенныхъ въ книгѣ г. Гольденвейзера, я выбралъ эти три эпизода, потому что они, мнѣ кажется, наглядно иллюстрируютъ положеніе дѣлъ въ нынѣшней Англіи. Оно, очевидно, очень сложно и никоимъ образомъ не можетъ быть оцѣниваемо простымъ сопоставленіемъ событій тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ съ исторіей стачки 1889 года. Извѣстная часть рабочаго населенія находится на такомъ низкомъ уровнѣ благосостоянія и умственнаго и нравственнаго развитія, что надо еще очень и очень подождать съ рѣшеніемъ о мирномъ соглашеніи. Объ этомъ, какъ и самъ г. Гольденвейзеръ говоритъ, свидѣтельствуетъ исторія Лоудера. Въ свою очередь, исторіи Солтэра и фирмы „Томсонъ и сынъ“ указываютъ на уровень требованій наиболѣе развитой части рабочаго населенія. Съ другой стороны, всѣ три эпизода представляютъ собою

Digitized by Google

разнообразные отголоски движенія, несомнѣнно происходящаго въ средѣ дирижирующихъ классовъ Англіи. Подъ вліяніемъ частью страха и благоразумнаго разсчета, а частью искреннихъ великодушныхъ чувствъ, мыслящіе люди все болѣе и болѣе проникаются заботами о матеріальныхъ, умственныхъ и нравственныхъ интересахъ рабочаго класса. Одни дѣлаютъ по этому пути лишь нѣсколько шаговъ, другіе идутъ дальше; одни несутъ личную практическую дѣятельность, другіе—теоретическую мысль съ болѣе или менѣе широкимъ горизонтомъ. Во главѣ или средоточіи этого движенія г. Гольденвейзеръ ставитъ Карлейля, сильно преувеличивая значеніе знаменитаго мыслителя. Но это вопросъ исторіи литературы, котораго мы теперь не будемъ касаться. Во всякомъ случаѣ, движеніе существуетъ, и очень сильное, и, что особенно важно, жизнеспособное, т.-е. подлежащее дальнѣйшему развитію. Оно составляетъ залогъ довѣрія, съ которымъ цивилизація можетъ относиться къ своему будущему. Мудрено ожидать, чтобы историческая дорога лежала передъ человѣчествомъ такою чистою скатертью, какъ думаетъ Беллами, но отъ „крушенія", по крайней мѣрѣ, на пунктѣ, намѣченномъ Буажильберомъ, цивилизацію можно считать гарантированною. Когда-то нищета и невѣжество рабочихъ массъ признавалась необходимымъ условіемъ цивилизаціи, что и заявлялось съ откровенною наглостью, даже почти невѣроятною. Поворотъ, указываемый книжкой г. Гольденвейзера, составляетъ наиболѣе характеристическую черту нашего времени.

XI *).

О г. Розановѣ и о томъ, почему онъ отказывается отъ наслѣдства. — О мозаичности культуры.—Славянофилы, „Московскія Вѣдомости", „Гражданинъ" и благонамѣренность.—Изъ поѣздки по Волгѣ и изъ исторіи русской цензуры.

Говорятъ, „Московскія Вѣдомости" довольно часто оказываютъ мнѣ честь своимъ вниманіемъ. Пишу „говорятъ", потому что вижу эту газету случайно, когда какой-нибудь добрый человѣкъ покажетъ или пришлетъ номеръ, представляющій, по его мнѣнію, особенный интересъ. Интереснаго попадается, пожалуй, и не мало, но очень ужъ все это однообразный интересъ, все варьяціи на одну и ту-же тему, которая давно оскудѣла-бы, если-бы не была скудна отъ рожденія, по самому существу своему. По-

*) 1892, сентябрь.

Digitized by Google

истинѣ, одна была пѣсня у волка, да и ту переняли. Право, даже радуешься, когда прочтешь что-нибудь, мало-мальски человѣческимъ языкомъ написанное.

Такъ именно порадовался я, прочитавъ въ № 199 „Московскихъ Вѣдомостей“ фельетонъ г. В. Розанова: „Можетъ-ли быть мозаична историческая культура“. Не то чтобы этотъ фельетонъ блестѣлъ особенною яркостью мысли или убѣдительностью изложенія, но съ г. Розановымъ, по крайней мѣрѣ, разговаривать можно, чего отнюдь нельзя сказать о какомъ-то Vox'ѣ, который раньше г. Розанова писалъ въ тѣхъ-же „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ по тому-же поводу. А поводъ далъ я, грѣшный, одной своею статьей, точнѣе сказать, однимъ мѣстомъ этой статьи. Vox пусть такъ и останется вопіять въ пустынѣ,—я не хочу портить его монологъ,—но съ г. Розановымъ, повторяю, говорить можно. Притомъ-же, онъ сводитъ въ своемъ фельетонѣ нѣкоторые старые счеты со мной.

„Можетъ-ли быть мозаична историческая культура?“ Г. Розановъ любитъ заглавія въ вопросительной формѣ. Въ прошломъ году онъ напечаталъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“, одну вслѣдъ за другою, статьи: „Почему мы отказываемся отъ наслѣдства?“ и „Въ чемъ состоитъ главный недостатокъ наслѣдства 60—70-хъ годовъ?“ Главнѣйшій изъ пунктовъ, по которымъ авторъ, отъ лица какихъ-то „мы“, отказывается отъ наслѣдства, поразилъ меня своею голословностью: ни единаго фактическаго доказательства г. Розановъ не привелъ. Удивленіе свое я выразилъ въ одномъ изъ „Писемъ о разныхъ разностяхъ“, которыя печаталъ тогда въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“. Г. Розановъ теперь возвращается къ своей прошлогодней темѣ. Мой упрекъ въ голословности онъ признаетъ справедливымъ и хочетъ теперь ввести въ свои разсужденія соотвѣтственную поправку, то-есть фактическое подтвержденіе. Матеріаломъ для этой поправки служатъ ему слѣдующія мои слова:

„Задача наша не въ томъ, чтобы выростить непремѣнно самобытную цивилизацію изъ собственныхъ національныхъ нѣдръ, но и не въ томъ, чтобы перенести къ себѣ западную цивилизацію цѣликомъ со всѣми раздирающими ее противорѣчіями: *надо брать хорошее отовсюду, откуда можно*, а свое оно будетъ, или чужое,—это уже вопросъ не принципа, а практическаго удобства. *Повидимому, это столь просто, ясно и понятно, что и разгова-*

Digitized by Google

ривать не объ чемъ. Но очень часто бываетъ, что простыя и понятныя вещи съ большимъ трудомъ завоевываютъ себѣ мѣсто въ природѣ и умахъ человѣческихъ".

Курсивомъ напечатанныя здѣсь слова подчеркнуты не мною, а г. Розановымъ. Въ нихъ именно онъ видитъ фактическое подтвержденіе своей прошлогодней темы, которую формулируетъ теперь такъ: „главный ихъ недостатокъ заключается въ слабой вдумчивости, въ отсутствіи какой-либо сложности, какого-либо узора въ ихъ мышленіи". Видите-ли, — говоритъ г. Розановъ,— какъ это въ самомъ дѣлѣ просто и механически-грубо: „правила, удобныя для того, чтобы, руководясь ими, составить мозаику, прилагаются къ неизмѣримо болѣе сложному, трудному и таинственному живому росту". А таковъ духъ всей литературы 60—70-хъ годовъ, таковъ общій характеръ самой жизни въ періодъ реформъ и непосредственно за нимъ слѣдующій. Г. Розановъ соглашается, что „ни въ неустанной дѣятельности, ни въ настойчивости, ни въ готовности жертвовать собой у нихъ (людей того времени) не было недостатка. Но *какъ* жертвовать, но *за что* бороться, на *чемъ* слѣдуетъ созидать, этого они не понимали". И вотъ почему (если припомнить прошлогоднія статьи г. Розанова) „мы" „отказываемся отъ наслѣдства".

Увы, несмотря на категорическій тонъ г. Розанова, а, можетъ быть напротивъ, именно вслѣдствіе этой категоричности тона, я и теперь не могу взять назадъ упрекъ въ голословности. Увѣреніе, что въ періодъ реформъ и непосредственно за нимъ слѣдующій мы не понимали какъ жертвовать, за что бороться, на чемъ слѣдуетъ созидать, — это увѣреніе рѣшительно виситъ на воздухѣ и ничѣмъ въ статьѣ не поддержано. И я считаю себя въ полномъ правѣ противопоставить ему столь-же голословное и категорическое утвержденіе, что мы очень хорошо понимали какъ жертвовать, за что бороться, на чемъ слѣдуетъ созидать. Замѣтьте, что г. Розановъ не говоритъ: ошибочно или неправильно понимали, а не понимали—tout court. Но такъ какъ, съ одной стороны, увѣреніе г. Розанова стоитъ внѣ какой-бы то ни было связи съ вышеприведенными моими словами, составляющими главный сюжетъ его критики, и такъ какъ, съ другой стороны, я отнюдь не беру на себя роли адвоката всѣхъ дѣятелей 60—70-хъ годовъ на разныхъ поприщахъ, то и оставимъ это дѣло въ сторонѣ. Въ фельетонѣ г. Розанова съ изумительною легкостью за-

Digitized by Google

тронуто и порѣшено такъ многое, притомъ-же, выражается онъ подчасъ такъ невразумительно-витіевато, что дай Богъ хоть съ чѣмъ-нибудь справиться.

Прежде всего, кажется мнѣ достойнымъ вниманія, что г. Розановъ считаетъ „недостаткомъ“ вообще отсутствіе „*какого-либо* узора въ мышленіи“. Узоры, вѣдь, бываютъ разные, хорошіе и скверные, и, я думаю, всякій согласится, что лучше отсутствіе узоровъ, чѣмъ скверные узоры. Но для „отказывающихся отъ наслѣдства“ очень характерно это пристрастіе къ узорамъ вообще, къ узорамъ, какъ таковымъ. Всматриваясь въ ихъ писанія, вы видите, что простота и ясность мысли и даже изложенія имъ дѣйствительно претятъ. Они заботятся не о фонѣ, а о „какихъ-либо“ узорахъ, и кривляются, кто во что гораздъ, до такой степени, что подчасъ и понять нельзя. Не разберешь, какъ они пишутъ — „мягкимъ гусинымъ перомъ или нѣсколько развязнымъ, размашистымъ языкомъ“. Это нелѣпое выраженіе, представляющее собою результатъ тяготѣнія къ узорочности, принадлежитъ одному изъ отказывающихся, съ которымъ, впрочемъ, у г. Розанова, кажется, не много общаго. Г. Розановъ хотя по временамъ и путается въ собственномъ узорочномъ краснорѣчіи, но, по крайней мѣрѣ, знаетъ, во имя чего онъ отказывается, и это отнюдь не фантастическая „новая мозговая линія“, а прямо и откровенно—славянофильство. Мы увидимъ, однако, далѣе, что жажда какого-либо узора въ мышленіи не способствуетъ различенію подлинныхъ узоровъ жизни.

Г. Розановъ можетъ возразить, что слова „какого-либо узора“— простая обмолвка, что онъ не простоту и ясность вообще разумѣлъ, а только такую простоту, которая въ области теоріи не покрываетъ мыслью сложность соотвѣтственныхъ явленій, или-же въ практической области предлагаетъ слишкомъ простыя средства для достиженія слишкомъ сложныхъ цѣлей. Я бы могъ многое сказать о томъ, какъ и почему въ періодъ нашего возрожденія кое-что дѣйствительно очень сложное казалось намъ очень простымъ. Но эта обширная тема не затрогивается примѣромъ, выбраннымъ самимъ г. Розановымъ.

Любопытнѣйшая особенность фельетона г. Розанова состоитъ вотъ въ чемъ. Вышеприведенныя мои слова онъ цитируетъ, какъ образчикъ мысли (или слабомыслія), характерный для всей литературы 60—70-хъ годовъ. Этимъ нѣсколькимъ строкамъ посчаст-

Digitized by Google

ливилось, значитъ, представительствовать за цѣлое литературное теченіе. Между тѣмъ, возражая на эти нѣсколько строкъ, г. Розановъ, по пословицѣ, моимъ же добромъ да мнѣ-же челомъ бьетъ и главные свои аргументы заимствуетъ у меня-же. Это очень обыкновенная исторія. Сплошь и рядомъ отказывающіеся отъ наслѣдства расходуютъ именно это самое наслѣдство. Но обыкновенно это дѣлается или безсознательно, по невѣдѣнію и въ наивной увѣренности, что порохъ вотъ только что сейчасъ нами самими выдуманъ, или-же съ злостною цѣлью обморочить читающую публику. Г. Розановъ, надо отдать ему справедливость, чуждъ и этой наивности, и этой наглости. Онъ прямо указываетъ источникъ своей аргументаціи въ предложенной мною теоріи типовъ и степеней развитія. Онъ очень лестно отзывается объ этой теоріи и кладетъ ее во главу угла своихъ возраженій мнѣ-же. Я очень, конечно, горжусь лестнымъ отзывомъ одного изъ отказывающихся отъ наслѣдства, но, къ прискорбію моему, тутъ есть какое-то недоразумѣніе. Почтенный авторъ утверждаетъ, что „не можетъ, не отрекаясь отъ своихъ-же размышленій, не затирая, ради раздраженія сердца, плодовъ своей-же умственной работы, отвергнуть г. Михайловскій коренную правоту славянофильскаго ученія“. Осмѣливаюсь думать, что, напротивъ, очень могу. Извѣстной доли истины въ славянофильствѣ я никогда не отрицалъ и не отрицаю, какъ не отрицаю ея и въ западничествѣ, но „коренной правоты“ признать не могу. Однако, распространяться объ этомъ по поводу замѣчаній г. Розанова не вижу надобности и просто отсылаю интересующихся къ статьямъ о гр. Толстомъ, на которыя ссылается г. Розановъ, и къ послѣднимъ главамъ „Записокъ профана“, о которыхъ онъ не упоминаетъ. Не вижу надобности, во-первыхъ, потому, что это завлекло-бы насъ въ слишкомъ долгій разговоръ, а, во-вторыхъ, потому, что мнѣ интересны собственныя соображенія господъ отказывающихся отъ наслѣдства, а не тѣ, которыя они заимствуютъ у насъ же. Для меня интересенъ здѣсь только самый фактъ заимствованія, вполнѣ сознательнаго и откровеннаго. Значитъ, не все у насъ сплошь слабомысліе и „отсутствіе узора въ мышленіи“; значитъ, есть-же въ нашемъ наслѣдствѣ нѣчто такое, что представляетъ извѣстную цѣнность и для отказывающихся отъ наслѣдства. Присмотрѣвшись, они найдутъ, можетъ быть, и еще кое-что пригодное Спрашивается, зачѣмъ-же такъ сплошь, огуломъ отказываться?

Digitized by Google

А если ужъ отказываться, такъ не надо заимствовать аргументы у насъ-же, изъ того самаго наслѣдства, отъ котораго съ такою торжественностью отказываются; надо довольствоваться „отсебятиной“, какъ выражался Аполлонъ Григорьевъ, или-же искать себѣ опоры гдѣ-нибудь въ третьемъ мѣстѣ.

Если исключить изъ фельетона г. Розанова возраженія, основанныя на теоріи типовъ и степеней развитія, то останется упрекъ въ эклектизмѣ. Авторъ спрашиваетъ: „Не извѣстно-ли г. Михайловскому, что на развалинахъ философскихъ системъ, столь нетерпимыхъ одна къ другой, столь исключительныхъ обычно, появляются *эклектики,* которые, изучая всѣ предшествующія системы, избираютъ изъ нихъ наиболѣе совершенныя и, согласуя ихъ между собою, соединяя въ трудахъ своихъ наилучшее изъ каждой системы, создаютъ новыя ученія? Но долговѣчны-ли онѣ, но значущи-ли? О, г. Михайловскій не „эклектикъ“, онъ не допуститъ рядомъ съ извѣстнымъ утвержденіемъ лежать другому, изъ чужого огорода. Онъ понимаетъ, что такое „цѣлость“; а если онъ понимаетъ это въ воззрѣніяхъ, то не можетъ не понять и въ исторіи“.

Да, мнѣ извѣстно кое-что объ эклектикахъ. И если мы остановимся на той философской школѣ, которой обыкновенно усвоивается это имя, на школѣ Виктора Кузена, то я подчеркнулъ-бы двѣ ея особенности. Во-первыхъ, эклектики a priori полагали, что во всякой философской системѣ заключается доля истины; во-вторыхъ, они не выставили достаточно яснаго собственнаго критерія, съ помощью котораго надлежитъ отличать истину отъ заблужденія, и думали, что результатъ этотъ можетъ быть достигнутъ простымъ сопоставленіемъ различныхъ системъ. Эти двѣ черты характеризуютъ эклектизмъ въ отличіе отъ самостоятельныхъ и цѣлостныхъ философскихъ системъ. Всѣ люди другъ у друга учатся, всѣ заимствуютъ свои идеи и знанія изъ самыхъ разнообразныхъ источниковъ, но не всѣ-же эклектики. Всякій мыслитель, принимаясь за новую философскую систематизацію идей и вещей, изучаетъ или-же, по крайней мѣрѣ, долженъ изучать системы своихъ предшественниковъ и беретъ изъ нихъ то, что считаетъ истиной, отвергая то, что ему кажется заблужденіемъ. Такъ поступаетъ всякій, и иначе поступать никто не можетъ, какъ-бы ни былъ великъ и оригиналенъ его собственный вкладъ въ сокровищницу мысли. Но творецъ цѣлостной и само-

Digitized by Google

стоятельной системы отнюдь не убѣжденъ, что въ философскихъ построеніяхъ *всѣхъ* его предшественниковъ содержится истина, лишь осложненная или затуманенная заблужденіемъ. Если-бы даже таковымъ и оказался результатъ его изученія (чего быть не можетъ), то это будетъ именно результатъ, а не исходняя точка, а priori установленная. Далѣе, самостоятельный мыслитель не предоставляетъ дѣло отличенія истины отъ заблужденія процессу сопоставленія различныхъ системъ, а выдвигаетъ опредѣленный критерій истины. Такъ стоитъ дѣло относительно „воззрѣній", такъ-же стоитъ оно и по отношенію къ „исторіи". Кто предлагаетъ своему отечеству „брать хорошее отовсюду, откуда можно", то-есть у себя-ли дома или изъ-за границы, тотъ лишь въ такомъ случаѣ окажется политическимъ эклектикомъ, если 1) не *послѣ*, а *до* изслѣдованія рѣшитъ, что хорошее есть вездѣ, во всѣхъ политическихъ формахъ или вообще формахъ общежитія, а 2) не установитъ опредѣленнаго принципа, на основаніи котораго слѣдуетъ различать хорошее и дурное. О первомъ условіи нечего и говорить. Что-же касается второго, то, продолживъ цитату вышеупомянутой моей статьи, г. Розановъ довелъ-бы до свѣдѣнія своихъ читателей, что, по моему мнѣнію, литература 60—70 годовъ имѣла совершенно ясный критерій политическаго добра и зла, а именно принципъ „интересовъ только что освобожденнаго народа". Г. Розановъ могъ оспаривать удовлетворительность этого критерія или доказывать, что обличаемое имъ литературное теченіе этимъ критеріемъ вовсе не руководствовалось, но, разъ онъ указанъ, собственно объ эклектизмѣ не можетъ быть и рѣчи, и сама собою падаетъ вся соотвѣтственная часть обличенія г. Розанова. Тѣмъ болѣе, что онъ оставилъ безъ всякаго вниманія оговорку относительно „практическаго удобства". Но г. Розановъ не удерживается на обвиненіи въ эклектизмѣ.

Извѣстно, что споры, какъ устные, такъ и печатные, очень часто и даже, можетъ быть, въ большинствѣ случаевъ не приводятъ спорящихъ къ соглашенію: обѣ стороны остаются при своемъ. И это иногда при полной добросовѣстности обѣихъ сторонъ. Въ числѣ причинъ такой безрезультатности споровъ едва-ли не первое мѣсто занимаетъ взаимное непониманіе, и я боюсь, что мы съ г. Розановымъ находимся именно въ такомъ неудобномъ положеніи... Возражая мнѣ, онъ отстаиваетъ славянофильство и пророчитъ ему торжество въ будущемъ въ ущербъ запад-

Digitized by Google

ничеству, которое, дескать, теперь лишь временно торжествуетъ. Каковы-бы ни были эти пророчества и сѣтованія сами по себѣ, но, въ видѣ возраженій мнѣ, они по малой мѣрѣ неумѣстны. Я отнюдь не бралъ на себя защиту западничества и утверждалъ, напротивъ, что оно есть такой-же пройденный пунктъ нашего историческаго развитія, какъ и славянофильство. На развалинахъ этихъ двухъ ученій въ шестидесятыхъ годахъ выросло новое, которое г. Розановъ называетъ эклектическимъ. Это—недоразумѣніе, эклектизма здѣсь нѣтъ, но и предполагаемый г. Розановымъ эклектизмъ не есть, все-таки, западничество, а потому горячее обличеніе западничества въ несостоятельности есть плодъ новаго недоразумѣнія.

Спѣшу прибавить, что если г. Розановъ не совсѣмъ ясно понялъ отстаиваемую мною точку зрѣнія, то, въ свою очередь, и я многаго не понимаю въ занятой имъ позиціи. Какъ уже сказано, я не понимаю его отношенія къ „наслѣдству", отъ котораго онъ отказывается и изъ котораго, однако, въ то-же время, черпаетъ свои главные доводы. Не понимаю я, далѣе, кто эти „мы", отъ имени которыхъ г. Розановъ отказывается отъ наслѣдства. Онъ предлагаетъ мнѣ „принять всю славянофильскую точку зрѣнія", изъ чего, равно какъ и изъ другихъ его выраженій, слѣдуетъ заключить, что онъ славянофилъ или считаетъ себя славянофиломъ. Значитъ-ли это, что всѣ „мы"—славянофилы? Но я не понимаю и отношенія г. Розанова къ славянофиламъ.

Характеризуя эпоху реформъ, г. Розановъ замѣчаетъ: „Византійская церковь, французскіе суды, германское воспитаніе, англійское мѣстное самоуправленіе, и только русская самодержавная власть,—могло-ли и можетъ-ли все это существовать одно возлѣ другого, безъ нѣкотораго тонкаго антагонизма, хотя-бы выраженнаго, до времени, въ индифферентизмѣ каждой части къ остальнымъ?" И т. д. Остановимся на одномъ изъ разнородныхъ элементовъ, перечисляемыхъ г. Розановымъ, на судебной реформѣ, и посмотримъ, какъ относились къ ней славянофилы.

Данилевскій, книга котораго считается многими чѣмъ-то вродѣ славянофильскаго корана, писалъ: „Можетъ показаться, что судебная реформа есть не что иное, какъ пересадка западнаго судебнаго устройства. Но, во-первыхъ, она замѣнила или замѣняетъ собой съ запада-же заимствованную форму суда, а если заимствовать, то, конечно, лучше заимствовать хорошее, чѣмъ дурное.

Digitized by Google

Во-вторыхъ, если разсмотрѣть элементы, изъ которыхъ состоитъ новое судебное устройство, то не трудно убѣдиться, что спеціально западное играетъ въ немъ весьма второстепенную роль. Именно элементы эти суть: гласность и изустность суда, независимость его отъ администраціи, отсутствіе въ судѣ сословности и, наконецъ, адвокатура. Гласность и изустность были и у насъ исконными формами суда. Независимость отъ администраціи есть необходимое слѣдствіе усложненія гражданской жизни. Слѣды ея видны въ старомъ русскомъ судѣ губными старостами.. Судъ присяжныхъ по совѣсти есть начало по преимуществу славянское. Слѣдовательно, мы воротили только свое. Что касается адвокатуры, то она является требованіемъ неспособности человѣческой природы къ полному безпристрастію" („Россія и Европа", стр. 294; цитирую по первому изданію).

Вы видите, что о „французскихъ судахъ", въ указанномъ съ славянофильской точки зрѣнія смыслѣ, у Данилевскаго нѣтъ и помину: судебная реформа признается благодѣтельною, частью какъ возрожденіе чисто-національныхъ, русскихъ или славянскихъ учрежденій, частью на основаніи соображеній объ общихъ свойствахъ человѣческой природы и объ усложненіи гражданской жизни. Какъ-бы мы ни относились къ воззрѣніямъ Данилевскаго, но онъ, очевидно, не согласился-бы съ г. Розановымъ, что судебная реформа есть чужой и, въ качествѣ чужого, вредный клинъ, искусственно или „мозаично" вбитый въ русскую жизнь.

Обратимся къ другому видному славянофилу, къ Ивану Аксакову, много писавшему о новомъ судѣ и въ ожиданіи его, и послѣ его введенія. Отношеніе Аксакова къ судебной реформѣ было колеблющееся. Не слѣдя за всѣми этими колебаніями, не касавшимися, впрочемъ, самаго существа дѣла, я приведу лишь нѣкоторыя поучительныя для насъ съ г. Розановымъ мѣста изъ статей Аксакова въ „Днѣ", „Москвѣ" и „Руси". О „французскихъ судахъ" Аксаковъ говорилъ съ укоризной, но въ томъ смыслѣ, что „это превосходное англійское учрежденіе (судъ присяжныхъ) въ нашемъ проектѣ является во французскомъ исправленномъ переводѣ" („Полное собраніе сочиненій", IV, стр. 544). И въ другомъ мѣстѣ: „Мы съ горячимъ сочувствіемъ отнеслись и къ принципу гласности, и къ принципу суда присяжныхъ, жалѣя только, что образцомъ послѣдняго были приняты французскіе, а не англійскіе порядки" (стр. 669). Такимъ образомъ, если

Digitized by Google

Аксаковъ не одобрялъ прививки къ намъ французскихъ судебныхъ порядковъ, то лишь потому, что предпочиталъ имъ англійскіе. Затѣмъ читаемъ: „Мы привѣтствуемъ въ новомъ порядкѣ тѣ начала, которыя, даруя большій просторъ общественной самодѣятельности, даютъ тѣмъ самымъ возможность народной русской стихіи выработать свои юридическія основы или пересоздать, или претворить, или свободно усвоить то, что въ новомъ порядкѣ есть общечеловѣческаго и истиннаго“ (стр. 544). „Открытость и гласность суда—это такой переворотъ въ нашемъ общественномъ быту, что трудно даже обхватить мыслью весь объемъ его послѣдствій. Возьмите сборникъ русскихъ пословицъ Даля, прочтите тамъ всѣ отмѣтины, которыми зарублена въ народной памяти исторія нашихъ судебныхъ учрежденій, вглядитесь въ черты, которыми охарактеризовалъ онъ этотъ міръ судей, дьяковъ, подьячихъ и приказныхъ... По совѣсти мы не можемъ объяснять это народное воззрѣніе на судъ только чуждымъ происхожденіемъ настоящаго судебнаго порядка. Большая часть пословицъ о судѣ древнѣе Петровской реформы“ (стр. 553). „Ждать! Но если время не ждетъ, если почему-либо преобразованіе представляется неотложною необходимостью? Если, напримѣръ, старый судебный порядокъ, развившись до безобразія, долѣе терпимъ быть не можетъ? Что дѣлать законодателю, если онъ не находитъ возможнымъ отсрочить реформу? Откуда взять новое? *Своего готоваго* нѣтъ, потому что старый судебный порядокъ мы даже и своимъ назвать не можемъ, а если даже признать въ народѣ присутствіе своеобразнаго юридическаго созерцанія, то оно еще такъ не выяснено, что полагать его въ основу какого-нибудь законодательнаго зданія, какъ готовый матеріалъ, невозможно. Приходится по необходимости брать *готовое чужое* и переносить на русскую почву“ (стр. 571). „Едва-ли какое преобразованіе, кромѣ уничтоженія крѣпостного права, такъ быстро принялось на нашей почвѣ, такъ быстро пустило корни въ народное, именно въ народное и даже простонародное сознаніе, какъ новыя судебныя учрежденія“ (стр. 593).

Я не считаю нужнымъ разбирать противорѣчія различныхъ представителей славянофильскаго ученія и сводить на очную ставку мнѣніе Данилевскаго, что въ судебной реформѣ мы „воротили только свое“, и мнѣніе Аксакова, что мы по необходимости взяли „готовое чужое“. Для меня интересно не то, въ

Digitized by Google

чемъ расходятся эти два яркіе представителя славянофильства, а, напротивъ, то, на чемъ они сходятся. Потому-ли, что новый судъ былъ возрожденіемъ древне-русскаго и вообще славянскаго начала, или потому, что онъ содержитъ въ себѣ общечеловѣческую правду, равно для всѣхъ народовъ пригодную на извѣстной ступени развитія, но фактъ тотъ, что оба названные писателя признавали судебную реформу благодѣтельною и отнюдь не видѣли въ ней того, что видитъ г. Розановъ: одинъ изъ элементовъ безсмысленной „мозаики". Конечно, ничто не мѣшаетъ г. Розанову быть вполнѣ самостоятельнымъ и въ мнѣніяхъ своихъ независимымъ, но, въ такомъ случаѣ, возникаетъ сомнѣніе: имѣетъ-ли онъ право приглашать меня или кого-бы то ни было „принять всю славянофильскую точку зрѣнія"? Каково его собственное отношеніе къ славянофиламъ? Я не знаю. Боюсь, что и въ этомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ болѣзнью (мнѣ кажется, что это болѣзнь), очень распространенною въ нынѣшней литературѣ. Никогда, кажется, люди не говорили съ такою развязностью и даже горячностью о вещахъ, имъ неизвѣстныхъ или мало извѣстныхъ. Рѣшаюсь высказать предположеніе, что, можетъ быть, и г. Розановъ беретъ подъ свое покровительство славянофиловъ, не освѣживъ въ своей памяти ихъ ученій. Дѣло не только во „французскихъ судахъ". Я ихъ взялъ лишь какъ образчикъ, во многихъ отношеніяхъ болѣе удобный, чѣмъ остальные перечисленные г. Розановымъ элементы „мозаики" шестидесятыхъ годовъ.

Не измѣнилъ-ли Аксаковъ славянофильской точкѣ зрѣнія, когда привѣтствовалъ „готовое чужое" и выбиралъ между англійскими и французскими судебными порядками, отдавая предпочтеніе первымъ, какъ „превосходному учрежденію"? Безъ всякаго сомнѣнія, измѣнилъ, хотя, конечно, никогда-бы не сознался въ этомъ. Можетъ поэтому показаться, что г. Розановъ глубже и послѣдовательнѣе Аксакова держится славянофильской точки зрѣнія. Дѣло, однако, совсѣмъ не въ томъ. Тѣ колебанія, съ которыми Аксаковъ встрѣтилъ судебную реформу, очень характерны. Иванъ Аксаковъ не былъ однимъ изъ творцовъ славянофильской доктрины. Онъ лишь воспринялъ ученіе своихъ предшественниковъ и въ теченіе многихъ лѣтъ съ большимъ, хотя нѣсколько

Digitized by Google

напыщеннымъ талантомъ прилагалъ его къ разнообразнымъ практическимъ вопросамъ. И какъ только въ его лицѣ славянофильство прикоснулось къ житейской практикѣ, такъ и оказалась его несостоятельность. Славянофильство—своего рода Антей навыворотъ: но оно было сильно своею цѣльностью и послѣдовательностью, пока висѣло на воздухѣ, въ области отвлеченныхъ теоретическихъ положеній, и разбилось, какъ только упало на землю, что по необходимости должно было случиться въ эпоху реформъ. „На воздушномъ океанѣ“ отвлеченности, въ атмосферѣ бездѣйствія, на которое суждено было русское общество въ дореформенное время, можно было разсуждать о гніеніи „запада“ или „романо-германскаго“ міра и о вѣковѣчной особенности и превосходствѣ „славяно-русскаго міра“. Это не могло имѣть сколько-нибудь значительныхъ и осязательныхъ практическихъ послѣдствій, которыя служили-бы провѣркой теоретическихъ положеній; не налагало поэтому и большой отвѣтственности на уединенную кучку мыслителей, въ тиши своихъ кабинетовъ строившихъ красивыя теоріи. Но когда общество получило хоть малую возможность дѣйствовать на благо своей родины, какъ его каждый понималъ, славянофилы, по всѣмъ существеннымъ вопросамъ нашей внутренней жизни, тщетно старались сохранить свою особность. Это особенно замѣтно на Иванѣ Аксаковѣ, потому что ему больше и дольше другихъ славянофиловъ приходилось отзываться на злобы дня. Онъ сохранилъ до конца дней своихъ славянофильскій жаргонъ и нѣкоторые внѣшніе пріемы аргументаціи, но и для него, какъ мы видѣли, въ Пандориномъ ящикѣ „романо-германскаго міра“ нашлись „превосходныя учрежденія“, которыя, будучи „готовымъ чужимъ“ добромъ, тѣмъ не менѣе, „быстро пустили корни въ народное, именно въ народное и даже простонародное сознаніе“. Г. Розановъ можетъ называть это „мозаикой“ и „эклектизмомъ“, если ему такъ хочется, но съ этимъ упрекомъ онъ долженъ обратиться не только къ такъ называемымъ людямъ 60—70-хъ годовъ, а и къ славянофиламъ. Эпоха шестидесятыхъ годовъ упразднила славянофиловъ (какъ и западниковъ), которые, сохранивъ лишь, такъ сказать, словесную одежду, установленную традиціей, по существу, распустились въ массѣ разнаго наименованія работниковъ, правыхъ и лѣвыхъ, правыхъ и неправыхъ. Да и словесная-то одежда истлѣла со смертью Аксакова. Г. Розановъ полагаетъ, что „въ нежеланіи

Digitized by Google

громаднаго большинства людей сколько-нибудь напрягать свою мысль лежитъ вся причина нераспространенности ученія славянофиловъ". Но, вѣдь, громадное большинство людей никогда не бываетъ склонно напрягать свою мысль; между тѣмъ, славянофильство выставило когда-то цѣлую группу оригинальныхъ и блестящихъ представителей, а теперь рѣчь можетъ идти не о „нераспространенности" славянофильства, а о его смерти. Нельзяже, въ самомъ дѣлѣ, признать г. Шарапова наслѣдникомъ мысли Кирѣевскихъ, Аксаковыхъ, Хомякова. И умерло славянофильство отнюдь не потому, что, какъ думаетъ г. Розановъ, оно было слишкомъ сложно и глубоко и требовало слишкомъ большого напряженія мысли. Оно умерло, напротивъ, отъ своего несоотвѣтствія съ усложнившимися задачами жизни, отъ узости своихъ формулъ и догматовъ.

Въ одной изъ своихъ статей въ газетѣ „День" за 1861 годъ Аксаковъ металъ громы въ русскую юриспруденцію и въ русское образованное общество вообще за его незнакомство съ нашимъ обычнымъ правомъ, за его презрѣніе къ неписаннымъ законамъ, которыми руководствуются въ своемъ обиходѣ милліоны русскаго народа. Упрекъ, конечно, справедливый, но совсѣмъ несправедлива общая, впрочемъ, всѣмъ славянофиламъ мысль Аксакова, что русское обычное право есть нѣчто исключительное, равно далеко отстоящее и отъ дѣйствующаго законодательства, и отъ обычнаго права и писаннаго закона другихъ народовъ, и отъ принциповъ права, вырабатываемыхъ общечеловѣческимъ сознаніемъ. Почему-то Аксаковъ съ особенною настойчивостью указывалъ на законы объ опекѣ и имуществѣ малолѣтнихъ. Между тѣмъ, вотъ что читаемъ мы, напримѣръ, у покойнаго Оршанскаго, одного изъ немногихъ нашихъ юристовъ, пристально интересовавшихся обычнымъ правомъ, и, притомъ, отнюдь не склоннаго къ такъ называемому „европейничанью". Сравнивъ наше обычное право опеки съ германскимъ обычнымъ правомъ и съ нашимъ и иностранными законодательствами, Оршанскій заключаетъ: „Изъ этихъ указаній видно, что народные обычаи относительно опеки сходятся во всемъ существенномъ съ народнымъ правомъ Западной Европы, тогда какъ опека по „Своду" во многомъ отличается отъ того, что выработано другими народами по этому предмету" („Народный судъ и народное право" въ „Изслѣдованіяхъ по русскому праву обычному и брачному, стр. 59). Далѣе,

Digitized by Google

говоря о положеніи незаконнорожденныхъ, Оршанскій замѣчаетъ: „Народные обычаи здѣсь приближаются болѣе (сравнительно со „Сводомъ“) не только къ началамъ западныхъ законодательствъ, но и къ ученію греческой церкви, признаваемой за основаніе нашего оффиціальнаго семейнаго права“ (стр. 85). Еще по одному пункту Оршанскій говоритъ: „Народный судъ придерживается относительно этого предмета такихъ началъ, которыя почти во всемъ сходятся съ принципами науки права и западно-европейской юриспруденціи“ (стр. 95). И т. д.

Всякій, сколько-нибудь интересовавшійся обычнымъ правомъ, знаетъ, что подобныхъ примѣровъ можно набрать много. Если я остановился на Оршанскомъ, такъ потому, что Аксаковъ какъ разъ напиралъ на опеку, относительно которой Оршанскій выражается съ особенною ясностью. Во всякомъ случаѣ, приведенныхъ примѣровъ достаточно, чтобъ убѣдиться въ неосновательности спеціально-славянофильскихъ надеждъ, которыя Аксаковъ возлагалъ въ 1861 г. на изученіе обычнаго права. Изученіе это, нынѣ уже значительно подвинувшееся впередъ, прежде всего, разбиваетъ иллюзію какой-то коренной противоположности началъ, опредѣляющихъ характеръ Востока и Запада, славяно-русскаго и романо-германскаго міровъ. Но и самъ романо-германскій міръ, какъ нѣчто единое и цѣльное, оказывается при ближайшемъ разсмотрѣніи иллюзіей, ибо въ немъ рядомъ живутъ крайне разнообразныя и даже рѣзко противоположныя начала. Не говоря о, такъ сказать, вертикальныхъ или національныхъ различіяхъ, мы видимъ еще различія горизонтальныя, въ видѣ разныхъ общественныхъ наслоеній. Видимъ, далѣе, область идеаловъ, элементовъ, еще только пробивающихся въ жизнь и враждебно сталкивающихся съ существующимъ порядкомъ и его юридическою санкціей; видимъ дѣйствующее законодательство и неписанный законъ, обычное право, представляющее собою все еще живой остатокъ старины. Окрестить всю эту пеструю жизнь неопредѣленнымъ именемъ „романо-германскаго міра“ и свести ее всю къ одному цвѣту и тону—значитъ совершенно незаконно отказаться отъ „узоровъ мышленія“, которые такъ дороги г. Розанову. Извѣстно, что когда путешественникъ въѣзжаетъ въ новую, незнакомую ему страну, то всѣ туземцы кажутся ему на одно лицо, онъ съ трудомъ оріентируется въ разнообразіи ихъ физіономій. Такъ было и съ нами на первыхъ порахъ нашего знакомства съ

Digitized by Google

Европой: все „нѣмцы“ и никакихъ при этомъ „узоровъ“; а изъ взаимныхъ отношеній извѣстно лишь, что „нѣмецъ“—нехристь, а мы истиннаго Бога исповѣдуемъ, да еще—что русскому здорово, то нѣмцу смерть. Отъ этого примитивнаго взгляда не далеко ушло представленіе о „романо-германскомъ мірѣ“, цѣльномъ, единомъ и по существу своему противоположномъ міру славяно-русскому. Эта штука очень стара, и ее давно бросить пора. Она еще, пожалуй, была простительна тридцать лѣтъ тому назадъ, когда Аксаковъ имѣлъ до извѣстной степени право негодовать слѣдующимъ образомъ: „Мы утверждаемъ, что ни одинъ изъ такъ называемыхъ русскихъ юристовъ, ни одинъ профессоръ права въ юридическихъ факультетахъ всѣхъ нашихъ университетовъ безъ исключенія не въ состояніи объяснить, да и положительно не знаетъ законовъ о порядкѣ наслѣдства, объ опекѣ и имуществѣ малолѣтнихъ и другихъ многочисленныхъ законовъ, которыми тысячу лѣтъ руководился въ его отечествѣ его-же народъ,—сорокъ милліоновъ его русскихъ братій! Неужели эти законы не заслуживаютъ вниманія русскихъ ученыхъ? Неужели мы дождемся того, чтобы къ намъ пожаловалъ какой-нибудь любознательный нѣмецъ и сталъ-бы самъ нѣмецъ насъ самихъ учить нашему русскому common law и духовной независимости отъ нѣмцевъ?“

Съ тѣхъ поръ, какъ были написаны эти строки, прошло тридцать лѣтъ, и въ эти тридцать лѣтъ много воды утекло. Нельзя, разумѣется, сказать, чтобы мы ужъ такъ вполнѣ знали свой народъ, но, во всякомъ случаѣ, изученіе его значительно подвинулось. Однако, изученіе это приводитъ насъ совсѣмъ не къ тому, чего ожидалъ Аксаковъ. Онъ надѣялся, что изученіе нашего обычнаго права особенно рѣзко отграничитъ насъ отъ романо-германскаго міра, утвердитъ нашу „духовную независимость“ отъ нѣмцевъ и оправдаетъ пословицу: „что русскому здорово, то нѣмцу смерть“. Безъ сомнѣнія, кое-какія особенности и выяснились, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, оказалось, что весьма многое здоровое русскому очень здорово и „нѣмцу“. Если, въ противность предположенію Аксакова, наши „народные обычаи относительно опеки сходятся во всемъ существенномъ съ народнымъ правомъ Западной Европы, тогда какъ опека по „Своду“ во многомъ отличается отъ того, что выработано другими народами по этому предмету“, то, вѣдь, мужикъ, пожалуй, на этомъ пунктѣ больше европеецъ, чѣмъ мы, живущіе по писанному закону и уличаемые

Digitized by Google

славянофилами въ европейничаньи. Если относительно наслѣдства незаконнорожденныхъ „народные обычаи приближаются болѣе (чѣмъ наши законы) къ началамъ западныхъ законодательствъ“, а относительно обязательности договора „народный судъ придерживается такихъ началъ, которыя почти во всемъ сходятся съ принципами науки права и западно-европейской юриспруденціи“, то опять-таки европейцами оказываемся не мы, образованные или привилегированные классы, живущіе подъ сѣнію „Свода,“ а мужики. Это былъ-бы безукоризненный логическій выводъ, если-бы слово „европеецъ“ заключало въ себѣ вполнѣ опредѣленный смыслъ. Наши предки понимали, что значитъ „нѣмецъ“—нѣмой, не умѣющій говорить по-русски, и вообще чужой человѣкъ. Но для насъ такая простота невозможна, хотя-бы уже потому, что въ приведенныхъ словахъ Оршанскаго извѣстные пункты нашего обычнаго права сближаются то съ „народнымъ правомъ Западной Европы“, то съ „западными законодательствами“, то съ „принципами науки права и западно-европейской юриспруденціи“. А это все далеко не одно и то-же. Для насъ „нѣмецъ“ или „европеецъ“ давнымъ-давно распался на множество самостоятельныхъ фигуръ, у каждой изъ которыхъ есть свой особый обликъ, своя особая житейская тенденція: тутъ и англійскій лордъ, и итальянскій нищій и нѣмецкій ученый, и французскій крестьянинъ, и англійскій фабричный рабочій, и нѣмецкій офицеръ, и французскій буржуа, и католикъ, и свободный мыслитель, и Карлейль, и Оффенбахъ, и Бисмаркъ, и Шиллеръ, и проч., и проч. Таковъ „романо-германскій міръ“. Менѣе, конечно, пестръ и сложенъ міръ славяно-русскій, потому что многое, таящееся въ немъ въ видѣ зародыша, еще не получило, по разнымъ обстоятельствамъ, достаточнаго развитія. Однако, и здѣсь не трудно усмотрѣть рѣзкія противорѣчія интересовъ и тенденцій. Спрашивается: какъ слѣдуетъ относиться къ этимъ пестрымъ узорамъ, вышитымъ исторіей на фонѣ жизни? Прежде всего, надлежитъ, конечно, признать самый фактъ пестроты узоровъ. Это требованіе элементарное. А затѣмъ можно удовлетвориться этимъ фактомъ или даже возвести его въ принципъ и жить, какъ Богъ на душу положитъ, среди сѣти противорѣчій, борьбы, антагонизма. Но можно, напротивъ, всю жизнь положить на пріисканіе и осуществленіе принципа, который разсортировалъ-бы интересы и тенденціи по степени ихъ законности, по степени ихъ соотвѣтствія съ правдой-

Digitized by Google

истиной и правдой-справедливостью, и собралъ-бы вокругъ себя все лучшее и жизнеспособное и разогналъ все темное и низкое. Разумѣется, многіе изъ наличныхъ узоровъ должны при этомъ пропасть, но это дѣло будущаго, дѣло борьбы и труда, дѣло торжества единой правды. Г. Розанову такое отношеніе къ жизни кажется свидѣтельствомъ „отсутствія какой-либо сложности, какого-либо узора въ мышленіи". Это—замѣчательная въ своемъ родѣ ошибка, ибо отсутствіе сложности и узора въ мышленіи обнаруживаетъ именно г. Розановъ, когда, вслѣдъ за славянофилами, всю пестроту исторіи и жизни подводитъ подъ грубыя рубрики двухъ странъ свѣта: востокъ и западъ. При этомъ, какъ оно и при славянофилахъ было, западъ или романо-германскій міръ сплошь окрашенъ краской вражды и злобы, а „русскій народъ проникнутъ началомъ гармоніи, примиренія".

Ахъ, читатель! Вы не можете себѣ представить, до какой степени скучно иной разъ бываетъ писать о нѣкоторыхъ явленіяхъ современной литературы. Скучно и стыдно. Сорокъ лѣтъ тому назадъ Константинъ Аксаковъ писалъ то-же самое, что теперь пишетъ г. Розановъ, но восторженная искренность и наивная вѣра, сквозившая въ каждой строкѣ первоучителя славянофильства, до извѣстной степени не то, что оправдывали дикость и грубость мысли, но, по крайней мѣрѣ, придавали ей оттѣнокъ фанатизма, при которомъ человѣкъ въ себѣ не властенъ. Двадцать лѣтъ тому назадъ излагалъ то-же самое Данилевскій (говорившій, впрочемъ, о славянофилахъ уже въ прошедшемъ времени: они для него *были*) въ тяжеловѣсной книгѣ, даже сверхъ мѣры блиставшей эрудиціей и систематичностью, при помощи которыхъ достигался хоть наружный обликъ доказательности. Нынѣ г. Розановъ тѣ-же слова, но не такъ молвитъ. Онъ повторяетъ эти зады какъ заученный урокъ и даже не пытается встать на почву фактическихъ доказательствъ. Относительно Западной Европы, въ подтвержденіе своей мысли о проникающемъ ея исторію элементѣ борьбы, вражды, антагонизма, онъ удостоиваетъ, по крайней мѣрѣ, помянуть „патриціевъ и плебеевъ, оптиматовъ и пролетаріевъ, Италію и пожираемыя ею провинціи" и т. д. Но, переходя къ Россіи, онъ прямо заявляетъ, что „лишь въ незначительной мѣрѣ въ фактахъ (которыхъ онъ поэтому и не приводитъ), но гораздо болѣе въ стремленіи, въ завѣтныхъ своихъ чаяніяхъ, въ томъ, что *полагается окончательнымъ* (курсивъ г. Ро-

Digitized by Google

занова), народъ русскій проникнутъ началомъ именно гармоніи, именно примиренія". Я не знаю, что значатъ подчеркнутыя авторомъ слова—„полагается окончательнымъ", но знаю, что о стремленіяхъ и завѣтныхъ чаяніяхъ, не поддержанныхъ фактами, ничѣмъ, слѣдовательно, не обнаружившихся, можно говорить безъ конца. А это и скучно, и стыдно. Не для того мы публично бесѣдуемъ, чтобы нѣтовыми цвѣтами по пустому полю узоры разводить. Г. Розановъ вонъ и объ Иванѣ Грозномъ не находитъ нужнымъ сказать что-нибудь, кромѣ того, что это былъ „мудрый" царь. Надо думать, и онъ былъ представителемъ славяно-русскихъ началъ любви и мира, противоположность романо-германской насильственности.

Есть, однако, въ разсужденіяхъ г. Розанова еще одна сторона, которой мнѣ хотѣлось-бы коснуться. Но до нея не такъ-то легко добраться сквозь узоры рѣчи нашего автора.

Общая отличительная черта европейской исторіи есть борьба, вражда, антагонизмъ. Таковъ первый тезисъ г. Розанова. Онъ не сомнѣвается въ „неизъяснимой красотѣ этой борьбы и въ величіи ея результатовъ". Но, — продолжаетъ онъ,—„кто-же будетъ имѣть силы отвергнуть, что антагонизмъ, что борьба съ высшей человѣческой точки зрѣнія, для сердца нашего, есть низшее, чѣмъ примиреніе; что какъ-бы прекрасны ни были борющіеся въ напряженіи своихъ силъ, въ тотъ мигъ, когда они подадутъ другъ другу руки, они будутъ лучше и прекраснѣе?" А подъ примиреніемъ надо разумѣть „не насильственное, не то умиротвореніе, когда противника уже нѣтъ, когда отъ стертъ съ лица земли, но когда онъ признанъ въ своей особой правотѣ и самъ призналъ правоту другого, съ которымъ боролся". Повидимому, этакое-то именно примиреніе и составляетъ характернѣйшую черту русской исторіи, ту именно, которая придаетъ ей своеобразный цвѣтъ. Говорю „повидимому", потому что не совсѣмъ понимаю связь этой мысли съ предъидущимъ и послѣдующимъ, которое сейчасъ увидимъ. Если такъ, если русскую исторію характеризуетъ примиреніе (а не миръ), то, значитъ, ей знакома если не борьба, то, по крайней мѣрѣ, противоположность интересовъ и тенденцій, раздирающая Западъ на всемъ протяженіи его исторіи. Разница не въ этомъ, а въ отношеніяхъ Востока и Запада къ противоположности интересовъ и тенденцій: на Западѣ противоположности борются, на Востокѣ взаимно признаютъ особую правоту другъ

Digitized by Google

друга. Кажется, такъ? Но затѣмъ читаемъ нѣчто иное. На Западѣ „громадныя массы людей, и съ ними лучшія надежды исторіи, погибали потому только, что боролись, что не умѣли страдать и выносить“, а на Востокѣ это умѣютъ дѣлать. Казалось-бы, однако, тамъ, гдѣ есть умѣющіе страдать и выносить, должны быть и причиняющіе страданіе и заставляющіе выносить. Можно-ли сказать, что въ этомъ случаѣ есть взаимное признаніе особой правоты обѣихъ сторонъ—страдающей и заставляющей страдать? Я не думаю, и тѣ иллюстраціи, которыми г. Розановъ снабжаетъ эту мысль, едва-ли кто признаетъ убѣдительными. Онъ допускаетъ, что есть цѣли общія всему человѣчеству— „добро, свобода, истина“. Но,—говоритъ онъ,—„каждый народъ старается достигнуть ихъ своимъ особымъ путемъ, въ своеобразныхъ формахъ и своеобразными способами. Достигнуть свободы можно, и *принудивъ* дать ее, и *выждавъ*, когда крѣпостящій самъ пойметъ, что она выше рабства“. Первый способъ свойственъ европейской исторіи, второй—нашей. Значитъ-ли это, что паденіе крѣпостного права совершилось у насъ на европейскій манеръ? Потому что, вѣдь, несомнѣнно мы не *выждали*, чтобы „крѣпостящіе“ признали преимущество свободы передъ рабствомъ,—до такой степени не выждали, что посейчасъ раздаются голоса въ этомъ смыслѣ. Значитъ-ли это, далѣе, что крѣпостящіе признали „особую правоту“ рабовъ, которые по-своему дышать и жить хотѣли, не по барскому указу, а по собственной склонности, жену, мѣсто жительства, профессію и т. д. себѣ выбирали и за это „страдали и выносили“, а иногда, впрочемъ, и не выносили?

Признаюсь, я совершенно теряюсь въ этихъ узорахъ мышленія г. Розанова и, при всемъ стараніи, не могу въ нихъ разобраться. Къ счастью или къ несчастію, г. Розановъ, наговоривъ разныхъ узоровъ на тему объ отличительной чертѣ нашей исторіи, любезно объявляетъ, что „не въ этомъ дѣло, а въ томъ, что *какова-бы ни была* эта черта, она должна быть строго выдерживаема въ развитіи“. И далѣе: „Каждый народъ, вѣкъ за вѣкомъ возводя свою исторію, долженъ строго хранить, чтобы ни одна часть въ ней не была въ дисгармоніи съ остальными, чтобы въ ихъ смыслѣ, въ духѣ, во внѣшнихъ чертахъ развивался все одинъ мотивъ, все тотъ-же вѣковѣчный смыслъ, выразить который передъ лицомъ остального человѣчества онъ, *очевидно*, призванъ Волею, вызвавшею его къ бытію“.

Digitized by Google

Устранимъ, прежде всего, изъ этой тирады кощунственную ссылку на Волю, вызвавшую народы къ бытію. Безъ этой Воли, какъ сказано, ни одинъ волосъ не упадетъ съ головы человѣка; это—безконечная общая скобка, въ которой совершается все, а потому и нельзя на нее ссылаться въ томъ или другомъ частномъ случаѣ. А если г. Розанову или кому другому вздумается изъ глубины собственнаго разума извлечь указанія путей народамъ: однимъ—страданіе, другимъ—борьбу, то вовсе не очевидно, что таково-же и указаніе высшей Воли. Не намъ съ г. Розановымъ говорить отъ лица этой Воли, ибо мы ея не знаемъ. Намъ только что въ пору въ своихъ собственныхъ-то мысляхъ разобраться. Г. Розановъ припишетъ высшей Волѣ одно, я—другое, третій—третье, и всѣ мы будемъ одинаково правы или одинаково неправы. И ко всѣмъ намъ могутъ быть примѣнены слова пророка Іереміи: „они обманываютъ васъ, разсказываютъ мечты сердца своего, а не отъ устъ Господнихъ... долго-ли это будетъ въ сердцѣ пророковъ, пророчествующихъ ложь, пророчествующихъ обманъ своего сердца... что общаго у мякины съ зерномъ“? Намъ—„мякинѣ“, простымъ людямъ, не получившимъ непосредственно откровенія,—подобаетъ говорить и дѣйствовать не отъ лица высшей Воли, а отъ своего собственнаго лица, въ упованіи, что эти наши рѣчи и дѣйствія, какъ и все въ мірѣ, не могутъ происходить вопреки высшей Волѣ. Въ вопросѣ объ историческихъ путяхъ, которыми слѣдуютъ или должны слѣдовать народы, не трудно установить общую формулу, обязательную для всѣхъ, дѣйствительно любящихъ свое отечество, какъ-бы ни разнились они въ своихъ мнѣніяхъ: развивать наличныя добрыя начала, прививать и насаждать новыя добрыя, выпалывать плевелы. Г. Розанову это опять, можетъ быть, покажется слишкомъ просто, но въ примѣненіи это общее правило, которымъ всѣ руководствуются, каждый по своей силѣ и разумѣнію, оказывается, къ сожалѣнію, напротивъ, очень не простымъ. Во всякомъ случаѣ, оно не для г. Розанова писано. Ему нельзя выбирать между пшеницей и плевелами, онъ долженъ лелѣять „отличительную черту“ своего народа, *какова-бы она ни была.* Итакъ, по его категорическому предписанію, долженъ поступать не только каждый русскій, но и французъ, и нѣмецъ, и испанецъ, „и въ черныхъ локонахъ еврей, и дикіе сыны степей, калмыкъ,

Digitized by Google

башкирецъ безобразный, и рыжій финъ, и съ лѣнью праздной вездѣ кочующій цыганъ",—„каждый народъ".

Никто изъ нихъ, подъ страхомъ ослушанія высшей Воли, не долженъ разбираться въ своихъ національныхъ или исторіей воспитанныхъ порокахъ и добродѣтеляхъ, скудостяхъ и богатствахъ... Очень-бы это, можетъ быть, хорошо было, но только кто-же будетъ указывать эти всеопредѣляющія отличительныя черты различныхъ народовъ? Мудрецы, что-ли, какіе особенные, свои, отечественные, или международный ареопагъ, или г. Розановъ персонально возьметъ на себя этотъ трудъ? Представимъ себѣ, что рѣшеніе его или вообще тѣхъ, кто будетъ къ этому призванъ, совпадетъ, напримѣръ, относительно французовъ съ тѣмъ мнѣніемъ объ ихъ національномъ характерѣ, которое высказалъ фонъ-Визинъ: „разсудка французъ не имѣетъ, да и имѣть его почелъ-бы за величайшее несчастіе". Или припомнимъ тѣ краткія характеристики, которыми русское смиреніе снабжаетъ разные народы: „коварный Альбіонъ", „нѣмцы-колбасники", „поляки безмозглые", „жиды пархатые" и т. д. Какъ быть, если эти или подобныя имъ указанія всеопредѣляющихъ отличительныхъ чертъ будутъ признаны вѣрными? Повторитъ-ли г. Розановъ свой общій тезисъ въ примѣненіи, напримѣръ, къ коварному Альбіону: „Англичане, вѣкъ за вѣкомъ возводя свою исторію, должны строго хранить, чтобы ни одна часть въ ней не была въ дисгармоніи съ остальными, чтобы въ ихъ смыслѣ, въ духѣ, во внѣшнихъ чертахъ развивался все одинъ мотивъ коварства, выразить который передъ лицомъ остального человѣчества онъ, очевидно, призванъ Волею, вызвавшею его къ бытію". Читатель скажетъ, можетъ быть, что это каррикатура. Нѣтъ, это логическій выводъ. Усвоиваетъ-же г. Розановъ русскому народу терпѣніе и выносливость въ качествѣ отличительной черты. Правда, въ его умонастроеніи эта черта выходитъ похожа на добродѣтель, но это зависитъ отъ освѣщенія, и добродѣтель эта, во всякомъ случаѣ, очень условная, ибо, вѣдь, и волъ терпѣливъ, и оселъ выносливъ, и въ нихъ, какъ въ волѣ и ослѣ, это, дѣйствительно, драгоцѣнныя качества. Говоря совершенно серьезно, нѣтъ никакого сомнѣнія, что печальная историческая судьба нѣкоторыхъ національностей накладываетъ на нихъ печать отнюдь не добродѣтели и дѣлаетъ эту печать даже дѣйствительною чертой. Но кто-же посмѣетъ обречь несчастный народъ на дальнѣйшее, всестороннее и „вѣко-

Digitized by Google

вѣчное“ развитіе наложенныхъ на него судьбою мрачныхъ стигматъ? Представитель этого народа, если онъ дѣйствительно свой народъ любитъ и желаетъ ему блага, конечно, не послѣдуетъ завѣту г. Розанова.

Кощунственной апелляціи въ высшую, никому недоступную или всѣмъ равно доступную инстанцію не чужды были и первоучители славянофильства. Но какая, опять-таки, огромная разница между ними и г. Розановымъ, который, думая возвеличить или оживить славянофильство, на самомъ дѣлѣ свидѣтельствуетъ о его смерти и ставитъ ему могильный памятникъ: здѣсь покоится духъ славянофильства. Да, духъ славянофильства, очевидно, упокоился. Въ сравнительно умѣренныхъ статьяхъ Кирѣевскаго, въ изворотливой діалектикѣ Хомякова, въ пламенныхъ изліяніяхъ Константина Аксакова этотъ духъ былъ живъ. Вѣруя въ богоизбранность русскаго народа, славянофилы думали, что свѣтъ съ Востока долженъ, въ концѣ-концовъ, разсѣять и западную тьму. Самая страстность ихъ нападокъ на европейскіе порядки,—страстность, доходившая до клеветы и нелѣпости,—свидѣтельствовала о величіи подвига, предстоящаго славянскому Востоку. Не потому стояли они за свой символъ вѣры, что въ немъ отразились отличительныя черты славяно-русскаго міра или, по крайней мѣрѣ, не только поэтому, а, главнымъ образомъ, потому, что въ немъ заключалась полная истина и высшій нравственный свѣтъ. По счастливой случайности или по исключительной милости Божіей, или, наконецъ, въ награду за добродѣтель (какъ они иногда наивно говорили), самобытныя черты нашей національности совпадаютъ съ требованіями правды-истины и правды-справедливости, а потому мы должны отвергнуть все чуждое и вернуться въ глубь своихъ собственныхъ историческихъ нѣдръ. Но мы находимся въ исключительномъ положеніи, ибо мы—и только мы—представляемъ собою исконныхъ носителей правды въ видѣ православія, общинно-вѣчевого начала, пожалуй, и смиренія сердца. Всѣ остальные народы, если-бы они вздумали развивать свои отличительныя черты, придутъ по наклонной плоскости къ окончательному паденію или къ „гніенію“, какъ выражались, впрочемъ, не настоящіе славянофилы, а ихъ двусмысленные союзники, вродѣ Шевырева и Погодина. Европа можетъ спастись, лишь усвоивъ себѣ наши отличительныя черты, ибо только въ нихъ правда. Эта-то глубокая, фанатическая вѣра въ то, что

Digitized by Google

оно обладаетъ правдой, которой предстоитъ завоевать и обновить весь міръ, и составляла жизненную силу славянофильства, придавая, вмѣстѣ съ тѣмъ, извѣстную нравственную красоту его узкости, односторонности, слѣпотѣ. Уже у Данилевскаго эта живая и животворящая вѣра находится въ сильномъ умаленіи, а у г. Розанова ея нѣтъ и слѣда. Конечно, нельзя ждать, чтобы въ одномъ газетномъ фельетонѣ (я не знаю, излагалъ-ли гдѣ-нибудь еще г. Розановъ свои мысли) то или другое ученіе развернулось съ достаточною полнотой и доказательностью. По одному этому уже нельзя мѣрять г. Розанова не то что съ Кирѣевскими, Хомяковымъ, Аксаковымъ, а и съ Данилевскимъ. Я ихъ и не мѣряю. Но и въ малой каплѣ водъ отражается солнце, и въ фельетонѣ г. Розанова отражается блѣдный образъ смерти славянофильства, если только онъ въ самомъ дѣлѣ славянофилъ, а не самозванецъ. Въ томъ или другомъ частномъ случаѣ славянофилы могли говорить о вредѣ подражательности, какъ таковой, о вредѣ заимствованій независимо отъ того, что заимствуется. Но самое ядро ихъ ученія состояло въ обладаніи вселенскою истиной, передъ которой должны померкнуть „отличительныя черты“ всѣхъ другихъ народовъ. Только вполнѣ оскудѣвъ вѣрою, лишившись своего духовнаго ядра и превратившись нѣкоторымъ образомъ въ выѣденное яйцо, можетъ славянофилъ сказать: каждый народъ долженъ строго выдерживать свою отличительную черту, *каковабы она ни была*. Такая постановка вопроса очень идетъ къ людямъ, скорбящимъ объ отсутствіи *какого-либо* узора, но славянофилы были ей совершенно чужды. Если, какъ говоритъ, напримѣръ, Константинъ Аксаковъ (а, впрочемъ, и всѣ другіе славянофилы), „Западъ весь проникнутъ ложью внутренней, фразой и эффектомъ“ и т. п.; если признать, вслѣдъ за славянофилами, отличительныя черты романо-германскаго міра именно таковыми, то, лишь дойдя до полнаго индифферентизма, можно сказать: романо-германскій міръ долженъ, какъ зеницу ока, блюсти эти свои отличительныя черты. Индифферентизмъ-же представляетъ собою въ нравственно-политической области подобіе ржавчины, одинаково приводящей въ негодность и мечъ, орудіе войны, и плугъ, орудіе мирнаго труда, и стальное перо, современное орудіе пропаганды войны и мира. Г. Розановъ думаетъ, что высшій типъ примиренія состоитъ въ признаніи „особой правоты“ за враждебными намъ началами. На самомъ дѣлѣ тутъ и рѣчи не

Digitized by Google

можетъ быть о примиреніи. Это просто нравственная ржавчина—безсильный, вялый, расплывающійся индифферентизмъ. При искренней вѣрѣ въ обладаніе истиной, при горячемъ желаніи ей торжества, нельзя признать „правоту“ „лжи“. Надо выбирать: или правота, или ложь. Когда нравственно-политическая доктрина теряетъ способность этого выбора, она умерла, какъ умеръ Буриданов оселъ между двумя связками сѣна.

Читатель видитъ, что я въ данномъ случаѣ не своимъ судомъ сужу г. Розанова. Онъ приглашаетъ меня „принять всю славянофильскую точку зрѣнія“. Я не могу доставить ему это удовольствіе. Но, условно становясь на славянофильскую точку зрѣнія, имъ самимъ провозглашаемую, я прихожу къ такому заключенію: или г. Розановъ вовсе не славянофилъ, даже не усвоилъ себѣ славянофильскаго духа и взялъ на себя роль его апологета по недоразумѣнію, или онъ своею ржавчиной даетъ лишнее свидѣтельство о смерти славянофильства,—свидѣтельство, пожалуй, въ буквальномъ смыслѣ лишнее, потому что есть, какъ мы видѣли, и другія.

Боюсь недоразумѣній. Боюсь, какъ-бы кто не подумалъ, что, говоря о смерти славянофильства, я тѣмъ самымъ утверждаю живучесть западничества или желаю его возвеличить. Пришло-же нѣчто подобное въ голову г. Розанову, о чемъ я уже говорилъ. Но свѣтъ не клиномъ сошелся на этихъ двухъ доктринахъ, которыя одновременно родились, одновременно клички свои получили, одновременно и умерли. Когда представится подходящій случай, мы увидимъ, что и западничество лишилось своего живого и животворящаго духа, и всѣ наши партіи при всѣхъ своихъ разногласіяхъ слѣдуютъ, въ сущности, тому самому общему правилу, которое такъ не нравится г. Розанову: „надо брать хорошее отовсюду, откуда можно, а свое оно будетъ или чужое—это уже вопросъ не принципа, а практическаго удобства“. Разногласія—и, конечно, огромныя—состоятъ лишь въ разныхъ разумѣніяхъ того „хорошаго“, которое подлежитъ развитію или прививкѣ. Въ выработкѣ этого хорошаго принимали въ свое время участіе и славянофилы и западники, къ которымъ одинаково давно уже пора приложить тацитовское „sine ira studio“. И разъ уже, зашла рѣчь о славянофилахъ, не безъинтересно, можетъ быть

Digitized by Google

будетъ припомнить нѣкоторыя ихъ положительныя заслуги въ дѣлѣ развитія русскаго общества.

Я не думаю, разумѣется, исчерпать этотъ любопытный вопросъ, не берусь даже хотя-бы только намѣтить всѣ его главнѣйшіе пункты. Но если г. Розановъ считаетъ себя призваннымъ въ роли апологета славянофильства, то одно это показываетъ, что около этого ученія скопилось нѣкоторое облако недоразумѣнія. Сдѣлать хоть что-нибудь, хоть мимоходомъ и безъ системы, для разсѣянія облака будетъ не безполезно. Славянофильство играло слишкомъ большую роль въ нашей жизни, чтобы оставаться въ облакѣ недоразумѣній, а они плодятся не однимъ г. Розановымъ. „Московскія Вѣдомости“ не въ первый разъ берутъ славянофильство подъ свою защиту. Помнится, и „Гражданинъ“ этимъ занимался. Въ послѣднемъ я не увѣренъ, да оно и не важно. Хотя „Гражданинъ“ и „Московскія Вѣдомости“ и находятся въ постоянной междуусобной враждѣ, но это именно междуусобица, объясняемая лишь соревнованіемъ. А защищаютъ эти два органа одно и то-же дѣло одними и тѣми-же пріемами, только одинъ поумнѣе, а другой поглупѣе, хотя, по правдѣ сказать, трудно разобрать, кто именно поумнѣе. Въ какой-же мѣрѣ направленіе это имѣетъ нравственное право или логическую возможность брать славянофильство подъ свою защиту?

„Печать слѣдуетъ заставить быть благонамѣренною“. Кто могъ написать и потомъ напечать эти слова явственными черными буквами на бѣлой бумагѣ? Вы затрудняетесь, читатель, отвѣтить. Вы знаете, что изо всей русской печати, при всей ея разношерстности, только „Гражданинъ“ и „Московскія Вѣдомости“ способны такъ и такую мысль выразить, но который именно изъ этихъ двухъ органовъ, этого вы не скажете, хотя изреченіе само по себѣ несомнѣнно „поглупѣе“. Разгадка значительно облегчается, если я вамъ скажу, что приведенныя слова напечатаны не теперь, а въ 1882 году, когда еще былъ живъ Катковъ и когда „Московскія Вѣдомости“ были поумнѣе. Катковъ могъ говорить удивительныя и возмутительныя вещи, но такъ какъ онъ былъ поумнѣе, то вы естественно ставите приведенныя слова на счетъ „Гражданина“. И вы не ошибаетесь.

Одинъ публицистъ отвѣчалъ кн. Мещерскому, между прочимъ, такъ: „Благонамѣренность! Жестоко слово сіе. Слово печальной памяти. Жутко становится, когда его слышишь. Въ виду этого

Digitized by Google

выраженія мы и напомнили въ одной изъ своихъ статей о томъ времени (съ 1825 по 19 февраля 1855 г.), когда самый воздухъ былъ напоенъ, повидимому, испареніями „благонамѣренности". О ней кричалъ Аракчеевъ; только это слово и было на устахъ въ ту тридцатилѣтнюю пору, когда пытались (конечно, не вполнѣ удачно) взять въ казну совѣсть, душу, мысль, вѣру и отпускать ихъ на пользованіе казенными размѣренными, патентованными пайками... Увы, пайками этими раздавались только пошлость и подлость!"

Публицистъ, отвѣчавшій такимъ образомъ „Гражданину", былъ славянофилъ, и именно Иванъ Аксаковъ. Статья его была напечатана въ „Руси", и приведенныя строки читатель можетъ найти на стр. 528 четвертаго тома сочиненій Аксакова. Для помнящихъ или знающихъ исторію нашей литературы тутъ, конечно, нѣтъ никакого сюрприза. Но одна изъ самыхъ большихъ нашихъ бѣдъ въ томъ и состоитъ, что мы, вообще говоря, мало знаемъ и помнимъ эту длинную, подчасъ скучную, подчасъ возмутительную и скорбную, но всегда поучительную исторію. Въ этомъ и бѣда, и огромная несправедливость: бѣда, потому что такимъ образомъ предоставляется широкій просторъ невѣжеству и шарлатанству; несправедливость, потому что русская литература въ цѣломъ, конечно, заслуживаетъ лучшей участи, чѣмъ забвеніе и тѣмъ паче перевираніе.

Послѣднее часто бываетъ горше перваго. Если-бы нѣкоторые изъ многочисленныхъ литературныхъ обозрѣвателей, которыми нынѣ обзавелись почти всѣ столичныя и главныя провинціальныя періодическія изданія, приступали къ своему дѣлу въ полномъ, абсолютномъ невѣдѣніи исторіи литературы, они, конечно, впали-бы во множество ошибокъ и высказали-бы много дикихъ взглядовъ. Но если-бъ ихъ невинность въ знаніи внушила имъ соотвѣтственную скромность, то дѣло могло-бы обойтись сравнительно недурно. Гораздо хуже тотъ, болѣе обыкновенный случай, когда господа обозрѣватели знаютъ кое-что, урывками, по наслышкѣ, изъ третьихъ рукъ; когда они знаютъ, напримѣръ, что были какіе-то славянофилы, предпочитавшіе Востокъ Западу, и какіе-то западники, располагавшіе свои симпатіи въ обратномъ географическомъ порядкѣ, былъ великій критикъ Бѣлинскій, была литература 60-хъ годовъ, „отрицательное направленіе", споры о чистомъ и тенденціозномъ искусствѣ, „консервативное" напра-

Digitized by Google

вленіе, либералы, соціалисты, „народники“ и т. д., когда они знаютъ нѣкоторые случайно схваченные признаки этихъ литературныхъ явленій, но не знаютъ ни остальныхъ ихъ признаковъ, ни общей связи ихъ какъ между собою, такъ и съ русскою жизнью. Тогда они съ величайшимъ апломбомъ тасуютъ литературу какъ колоду картъ, и я беру на себя смѣлость утверждать, что для многихъ изъ нынѣшнихъ господъ литературныхъ обозрѣвателей приведенныя слова Аксакова составляютъ сюрпризъ, хотя они очень характерны для славянофильскаго направленія, точнѣе— для одной его стороны.

Слово „благонамѣренность“, въ его обычномъ у насъ употребленіи такъ возмутившее Аксакова и подавшее поводъ къ блестящимъ „Благонамѣреннымъ рѣчамъ“ Салтыкова, въ особенности поражаетъ иностранцевъ, имѣющихъ случай приглядываться къ русской жизни. Немудрено. Если двое такихъ во всѣхъ отношеніяхъ, кромѣ близкаго знакомства съ русскою жизнію, несходныхъ русскихъ человѣка, какъ Аксаковъ и Салтыковъ, въ недоумѣніи останавливались передъ скрытымъ противорѣчивымъ смысломъ „благонамѣренности“, то гдѣ-же уже тутъ разобраться иностранцу? „Благонамѣренные“ люди, люди bien intentionnés, wohlgesinnte Leute есть и въ Европѣ, но нигдѣ этому слову не придается тотъ странный смыслъ, какой усвоивается ему у насъ, и нигдѣ никакой органъ печати не скажетъ дикихъ словъ: „печать слѣдуетъ заставить быть благонамѣренною“. Вдумайтесь, въ самомъ дѣлѣ въ смыслъ этихъ словъ: *заставить быть благонамѣренною*. Вѣдь, это утопичнѣйшая изъ утопій, передъ которой меркнутъ всѣ фантастическія предпріятія Угрюмъ Бурчеева. Можно заставить человѣка молчать, можно, хотя это уже гораздо труднѣе, заставить его говорить не то, что онъ думаетъ, но какъ заставить быть благонамѣреннымъ? Ясно, что тутъ подразумѣвается нѣчто, не имѣющее ничего общаго съ прямымъ грамматическимъ смысломъ слова. И, конечно, сатирикъ былъ совершенно правъ въ своемъ блестящемъ анализѣ „благонамѣренныхъ рѣчей“. Правъ былъ и Аксаковъ, утверждавшій, что совѣты „Гражданина“ могутъ повести не къ благонамѣренности истинной, а къ притворству, лжи, подлому лицемѣрію. Послѣ щедринскихъ „Благонамѣренныхъ рѣчей“ трудно, впрочемъ, говорить на эту тему. Я обращу ваше вниманіе на нѣкоторыя другія стороны дѣла. Но сначала позвольте маленькое отступленіе.

Digitized by Google

Нынче лѣтомъ я прокатился по Волгѣ съ единственною цѣлью отдохнуть. Лучшаго отдыха для нашего брата, писателя, пожалуй, и не придумаешь. Ѣдешь себѣ на плавучемъ островѣ, обставленномъ всѣми возможными удобствами, простору кругомъ столько, что дѣвать некуда, воздухъ на цѣлыя версты впередъ и назадъ, направо и налѣво не оскорбленъ ни единою пылинкой, тишь, гладь и Божья благодать. Послѣ четырехъ стѣнъ кабинета, послѣ такихъ резервуаровъ пыли, какъ книжные шкафы и письменный столъ, заваленный всякимъ бумажнымъ скарбомъ, послѣ безтолково дергающихъ нервы впечатлѣній столичной суеты, хорошо этакъ прокатиться. Хорошо, только не въ нынѣшнемъ году. Читатель знаетъ, что нынче на Волгѣ не хорошо было. Однако, пока я спускался внизъ, отъ Нижняго къ Саратову, все обстояло благополучно: и просторъ, и воздухъ, и тишина, и веселыя мысли. До такой степени веселыя мысли, что ихъ не только не могла разогнать, а даже подбавляла ихъ книга г. Скабичевскаго „Очерки исторіи русской цензуры", которую я захватилъ съ собою. Казалось-бы, для нашего брата, писателя, это совсѣмъ не веселое чтеніе. Цензура есть, вѣроятно, очень нужное учрежденіе, между господами цензорами, какъ и во всякой другой профессіи, есть прекрасные люди, а все-таки... Но такова сила обстановки, что я и изъ книги г. Скабичевскаго извлекалъ веселіе. Тутъ, впрочемъ, замѣшалось еще одно, спеціально волжское обстоятельство. Дѣло въ томъ, что Волга очень почтительно относится къ литературѣ. Отъ Нижняго до Астрахани бѣгаетъ прекрасный пароходъ *Пушкинъ*, и въ немъ, въ общемъ залѣ перваго класса виситъ портретъ Пушкина и лежатъ на этажеркѣ сочиненія Пушкина. Есть пароходъ *Жуковскій*, и въ немъ портретъ и сочиненія Жуковскаго. На этихъ двухъ пароходахъ я ѣздилъ. А есть, кромѣ того, пароходы *Гоголь*, *Лермонтовъ*, *Некрасовъ*, *Тургеневъ*, *Салтыковъ-Щедринъ*, *Левъ Толстой*. Въ Саратовѣ есть Радищевскій музей, и это, кажется, единственный у насъ музей общаго, энциклопедическаго характера, посвященный памяти писателя. Все это очень лестно для литературы. И вотъ, когда я подъ этимъ впечатлѣніемъ читалъ книгу г. Скабичевскаго, я мысленно подчеркивалъ въ ея заглавіи слово *исторія*. Было время, когда люди, славными именами которыхъ украшаются нынѣ пароходы и музеи, претерпѣвали разныя невзгоды, но это—исторія, это прошло, а славныя имена остались.

Digitized by Google

Радищевъ такъ спокойно осѣняетъ своимъ именемъ зданіе музея, точно и не бывалъ въ Сибири и не былъ доведенъ до униженія собственноручно признать, что его книга „наполнена гнусными, дерзкими и развратными выраженіями, о чемъ онъ отъ всего сердца и сожалѣетъ“. Жуковскій съ такою кротостью улыбается на своемъ пароходномъ портретѣ, точно цензоръ Бируковъ и не замахивался на „Смальгольмскаго барона“ и „Орлеанскую Дѣву“. По словамъ г. Скабичевскаго, „лишь ходатайство великаго князя Николая Павловича открыло шлагбаумъ передъ безсмертною пьесой великаго поэта“, то-есть передъ трагедіей Шиллера въ переводѣ Жуковскаго. Все это—исторія, и даже какъ будто сонъ, временами смѣшной, но, въ большинствѣ случаевъ, тяжелый, оскорбительный сонъ, уже миновавшій. И все, что терзало Пушкина, Лермонтова, Бѣлинскаго,—все это сонъ. Цензура есть, вѣроятно, очень нужное учрежденіе и между цензорами были и есть прекрасные люди, но попадались и такіе, которые немножко пересаливали, какъ видно изъ вмѣшательства великаго князя въ исторію „Орлеанской Дѣвы“. Таковъ былъ Бируковъ, таковъ былъ знаменитый Красовскій и еще другіе разные. И вотъ они такъ въ исторіи и остались: нѣтъ парохода *Цензоръ Красовскій*, нѣтъ и Бируковскаго музея, нѣтъ и не будетъ. Статья Пушкина о Радищевѣ не была пропущена Уваровымъ, на томъ основаніи, что „неудобно и совершенно излишне возобновлять память о писателѣ и о книгѣ, совершенно забытыхъ и достойныхъ забвенія“. Запретъ на статьѣ лежалъ съ 1836 по 1857 годъ. Это долго. Но за-то теперь *Пушкинъ* гордо носится по красавицѣ Волгѣ отъ Нижняго до Астрахани (двѣ слишкомъ тысячи верстъ!) и завозитъ желающихъ въ Саратовъ въ гости къ Радищеву.

Такъ оптимистически размышлялъ я, спускаясь къ Саратову. Но назадъ было не весело ѣхать. Я почти не видалъ холеры и совсѣмъ не видѣлъ безпорядковъ. Однако, гулъ событій въ низовьяхъ Волги несся слѣдомъ, отъ парохода къ пароходу, и, разумѣется, портилъ настроеніе. А, вмѣстѣ съ тѣмъ, иначе читалась и книга г. Скабичевскаго. Въ самомъ дѣлѣ, хорошо намъ гулять по заламъ Радищевскаго музея и поучаться, и развлекаться. Но каково было Радищеву? Каково было всѣмъ тѣмъ, съ кого нынѣ снята печать неблагонамѣренности, но кто въ свое время претерпѣлъ ее до конца? Великое и утѣшительное

Digitized by Google

дѣло слава въ потомствѣ, но великъ и путь терзаній, ведущій къ ней. И потомъ еще вопросъ: не отзываются-ли и на насъ, развлекающихся и поучающихся, послѣдствія терзаній тѣхъ, именами которыхъ мы гордимся и украшаемъ пароходы и музей? Учесть послѣдствія историческаго факта не легко. Ужасное дѣло судебная ошибка, когда человѣкъ терпитъ наказаніе за дѣяніе, не имъ совершонное. Но, по своимъ послѣдствіямъ, можетъ быть еще ужаснѣе тѣ случаи, когда человѣкъ носитъ терновый вѣнецъ при жизни за то самое, за что потомство поднесетъ ему, мертвому, вѣнецъ лавровый. Потому ужаснѣе, что подобными случаями сбивается съ толку общественная совѣсть и надолго пріостанавливается естественный ростъ общества, чего при судебной ошибкѣ не бываетъ.

Читатель не потребуетъ отъ меня дальнѣйшаго развитія этихъ невеселыхъ мыслей. Посмотримъ еще на одну, тоже невеселую, черту исторіи русской литературы, какъ она рисуется въ „Очеркахъ исторіи русской цензуры". Нельзя помянуть добромъ Красовскаго или Бирукова, однако, эти люди, во всякомъ случаѣ, только пересаливали исполненіе обязанностей, на нихъ возложенныхъ. Но у насъ всегда были еще добровольцы, писавшіе яростные доносы на неблагонамѣренную литературу, не будучи никѣмъ къ тому призваны. Такимъ добровольцемъ былъ, напримѣръ, Скобелевъ, пославшій главнокомандующему 1-й арміи (почему именно ему?) нѣсколько ходившихъ по рукамъ стихотвореній Пушкина съ присовокупленіемъ письма, въ которомъ писалъ, между прочимъ: „Если-бы сочинитель вредныхъ пасквилей (т.-е. Пушкинъ) немедленно въ награду лишился нѣсколькихъ клочковъ шкуры, было-бы лучше. На что снисхожденіе человѣку, надъ коимъ общій гласъ благомыслящихъ гражданъ дѣлаетъ строгій приговоръ?" Едва-ли не добровольцемъ же былъ и попечитель московскаго округа Голенищевъ-Кутузовъ, писавшій министру Разумовскому: „За нужное почитаю донести вашему сіятельству, что г. исторіографъ Карамзинъ сегодня отправляется въ Петербургъ и по достовѣрнымъ о немъ извѣстіямъ ѣдетъ именно нарочно для того, чтобы дѣйствовать противъ васъ и, яко депутатъ отъ историческаго общества, просить, что они всѣ несправедливо обижены... Нужно его демаскировать, какъ человѣка вреднаго обществу и коего всѣ писанія тѣмъ опаснѣе, что подъ видомъ пріятности преисполнены безбожія, матеріализма и самыхъ пагубныхъ

Digitized by Google

и возмутительныхъ правилъ... Я скоро очень доставлю вамъ выписку изъ проклятыхъ его сочиненій, гдѣ увидите весь ядъ, который онъ старался разлить на бѣдное наше юношество, полюбившее, къ несчастію, его бредни".

Какіе все знакомые и нашей современности ноты и аккорды! Но особенно поучительно видѣть въ числѣ добровольцевъ свою братію писателей, согражданъ того цѣлаго, которое встарину называлось république des lettres. Длинный рядъ этихъ добровольцевъ начинается потѣшной памяти Тредьяковскимъ. Достойный родоначальникъ! Но, минуя длинный рядъ благонамѣренныхъ доносовъ, остановимся только на двухъ эпизодахъ, любопытныхъ во многихъ отношеніяхъ, между прочимъ, и по характеру участія, которое принялъ въ нихъ императоръ Николай.

Дѣло было въ 1843 году. Гречъ написалъ въ знаменитое III отдѣленіе доносъ на „Отечественныя Записки", гдѣ тогда работалъ Бѣлинскій, а издателемъ которыхъ былъ Краевскій. „Но, видно, онъ перешелъ черезъ край, потому что III отдѣленіе отвергло съ презрѣніемъ доносъ Греча и написало непріятный для него отвѣтъ". Тогда выступилъ Булгаринъ, уже въ печати. Онъ изложилъ, между прочимъ, въ „Сѣверной Пчелѣ", что Краевскій „унижаетъ Жуковскаго, несмотря на то, что Жуковскій авторъ нашего народнаго гимна: „Боже, царя храни". Но и это указаніе не имѣло успѣха. Какъ разъ въ это время въ цензурномъ комитетѣ рѣшено было принять мѣры противъ ругательствъ, которыми осыпали другъ друга журналисты. Предсѣдатель комитета, кн. Волконскій, велѣлъ сообщить это рѣшеніе Булгарину. Булгаринъ разразился грознымъ письмомъ къ Волконскому. Онъ писалъ, что „существуетъ партія мартинистовъ, положившихъ себѣ цѣлью ниспровергнуть существующій порядокъ вещей, и что представителемъ этой партіи являются „Отечественныя Записки", цензура имъ потворствуетъ". Въ особенности уличалъ Булгаринъ самого Волконскаго; „требовалъ слѣдственной коммиссіи, передъ которой предстанетъ, какъ доноситель, для обличенія партіи, колеблющей вѣру и престолъ; будетъ просить государя разобрать это дѣло, а если государь не вникнетъ въ это или до него не доведутъ его, Булгарина, извѣты, то онъ будетъ просить прусскаго короля довести до свѣдѣнія государя императора все, что угодно будетъ ему, Булгарину, сказать въ огражденіе его священной особы и его царства". Въ заключеніе

Digitized by Google

Булгаринъ писалъ: „я не позволю, чтобы на меня, какъ на собаку, цензура надѣвала намордникъ“. Дѣло шло по инстанціямъ и письмо Булгарина было доложено государю. Но императоръ Николай, отдавая письмо шефу жандармовъ, Бенендорфу, сказалъ: „Сдѣлай такъ, чтобъ я какъ будто о томъ ничего не зналъ и не знаю“.

Другой случай. Въ 1844 г. Марковичъ, авторъ „Исторіи Малороссіи“, и съ нимъ еще какихъ-то 40 малороссовъ обратились черезъ кіевскаго генералъ-губернатора къ министру внутреннихъ дѣлъ съ жалобой на статью „Библіотеки для Чтенія“ о книгѣ Марковича. Дѣло дошло до императора Николая, который положилъ такую резолюцію: „Если въ статьяхъ „Библіотеки для Чтенія“ заключается ложь, то ее и должно опровергнуть литературнымъ образомъ, только безъ брани“.

Такимъ образомъ, съ высоты трона, монархомъ, котораго никто, конечно, не заподозритъ въ слабости вообще, въ послабленіяхъ литературѣ въ особенности, былъ указанъ единственный достойный литературы путь отстаиванія своихъ мнѣній: у васъ есть перья, и не для того они у васъ, чтобы писать доносы; опровергайте ложь, если вы увѣрены, что это, въ самомъ дѣлѣ, ложь, „литературнымъ образомъ“, не взывая къ внѣшней силѣ. Таковъ урокъ, данный императоромъ Николаемъ всѣмъ, желающимъ „заставить печать быть благонамѣренною“. Но эти господа принимаютъ обыкновенно видъ plus royaliste que le roi lui-même и, въ своихъ комическихъ поискахъ за высшею апелляціонною инстанціей благонамѣренности, останавливаются на самихъ себѣ. Они именно составляютъ эту высшую инстанцію и, какъ Булгаринъ, почерпаютъ въ этомъ своемъ исключительномъ положеніи гражданское мужество сказать: „я не позволю, чтобы на меня, какъ на собаку, цензура надѣвала намордникъ“. Всѣмъ намордники, кромѣ ихъ самихъ! Таковъ девизъ не одного Булгарина, и бывали даже въ исторіи нашей литературы случаи, когда соотвѣтственное этому девизу поведеніе вмѣнялось въ заслугу, какъ борьба за расширеніе правъ печати! Булгаринъ, по поводу историческихъ романовъ котораго Пушкинъ острилъ: „Всѣ говорятъ— онъ Вальтеръ-Скотъ, но я, поэтъ, не лицемѣрю: согласенъ я— онъ просто скотъ, но что онъ Вальтеръ-Скотъ—не вѣрю“; Булгаринъ и—гражданское мужество! Въ фантастическомъ мірѣ благонамѣренныхъ рѣчей и это возможно...

Digitized by Google

Нѣкоторыя стороны ученія славянофиловъ сближали ихъ съ темными литературными силами, претендовавшими на положеніе высшей инстанціи благонамѣренности, но сами они никогда „благонамѣренными“ не были, въ условномъ смыслѣ нашего политическаго жаргона. Въ свое время они не мало и претерпѣли за это. Разсказъ объ этихъ злоключеніяхъ славянофиловъ читатель частью найдетъ въ книгѣ г. Скабичевскаго, а частью не найдетъ, потому что книга доведена лишь до 1863 г. Но для насъ интересна не эта внѣшняя сторона дѣла. Каковъ-бы ни былъ собственный образъ мыслей славянофиловъ, но они не стремились зажимать ротъ противникамъ и понимали, что нельзя „заставить печать быть благонамѣренною“. Въ 1865 г. по поводу одной статьи г. Антоновича въ „Современникѣ“ Иванъ Аксаковъ писалъ: „Едвали кто, при защитѣ своихъ убѣжденій, терпѣлъ болѣе отъ цензурной строгости, чѣмъ писатели славянофильскаго направленія; никто болѣе насъ не испытывалъ той неловкости, того неудобства, въ которое ставитъ истину непрошенная помощь грубой внѣшней силы, полицейское вторженіе въ область духа“. Или въ 1883 г. по поводу запрещенія „Голоса“ на шесть мѣсяцевъ: „Мы можемъ лишь сожалѣть не о „Голосѣ“ собственно, но о противникѣ, не нами, къ сожалѣнію, въ открытомъ бою, а постороннею внѣшнею силой обезоруженномъ... Сумерекъ мысли не слѣдовало-бы допускать, а слѣдовало-бы вызвать мысль на бѣлый день, на публичный споръ... Запретите, пожалуй, всѣ газеты, работа общественной мысли будетъ все же производиться, но во тьмѣ, подспудно, при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ для торжества правды: обезоруженными явятся лишь тѣ, которые неспособны защищать истину иначе, какъ при свѣтѣ, въ открытой и честной борьбѣ“.

Вотъ нравственная щекотливость, которой совершенно чужды наши самозванные „благонамѣренные“. Они, напротивъ, при всякомъ удобномъ случаѣ избѣгаютъ указаннаго императоромъ Николаемъ „литературнаго образа“ воздѣйствія на своихъ противниковъ. „Гражданинъ“ еще недавно рекомендовалъ поступить со „всею линіей газетной печати“ подобно тому, какъ поступилъ пророкъ Илія съ жрецами Ваала: „отвелъ ихъ Илія къ потоку Киссону и закололъ ихъ тамъ“ („Гражданинъ“ отъ 12 августа, № 222). Видите, какъ просто и рѣшительно: „заколоть“ и—дѣлу конецъ, и хлопотать нечего о какой-то литературной борьбѣ.

Digitized by Google

Конечно, это немного черезъ край хвачено, но на то „Гражданинъ“ и есть enfant terrible благонамѣренности, открыто провозглашающій то, что другіе единомышленники въ тайникахъ своей души держатъ. „Московскія Вѣдомости“ не столь мужественны и послѣдовательны, но хотя бы только одинъ еще свѣжій въ памяти эпизодъ ихъ отношеній къ гр. Л. Толстому показываетъ, что онѣ по недоразумѣнію выступаютъ апологетами славянофиловъ. Я не лично о г. Розановѣ говорю; повторяю, „Московскія Вѣдомости“ не первый разъ выступаютъ на защиту славянофиловъ, и эти мирно спящіе въ гробахъ мертвые, конечно, съ величайшею брезгливостью отвергли-бы защиту со стороны живыхъ, на такой манеръ пользующихся жизнью.

Скажутъ, можетъ быть, что все это относится не къ славянофильству, а къ славянофиламъ, —не къ нравственно-политическому ученію, какъ таковому, а къ группѣ людей, исповѣдывавшихъ это ученіе. Веденіе спора исключительно на литературной почвѣ, безъ призыва постороннихъ силъ, есть черта чисто-личной порядочности, личнаго понятія о достоинствѣ печатнаго слова, наконецъ, личной убѣжденности въ истинѣ, не нуждающейся во внѣшней помощи и имѣющей возможность отстоять себя собственными средствами. Эти личныя свойства не могутъ составлять чью-либо монополію; въ принципѣ они одинаково обязательны для представителей всѣхъ направленій, всѣхъ литературныхъ партій, но фактически могутъ одинаково же у всѣхъ отсутствовать. Первоучители славянофильства, которыми, впрочемъ, не только началась, а, можно прибавить, и почти кончилась исторія этого ученія, были искренніе, убѣжденные и честные писатели. Но это— счастливая случайность, которой могло и не быть; возможенъ и такой славянофилъ, который предпочитаетъ argumentum baculinum логической защитѣ своихъ идей въ открытомъ спорѣ.

Разсужденіе это отчасти справедливо, но именно только отчасти, въ своей исходной точкѣ, а не въ своемъ окончательномъ выводѣ. Безъ сомнѣнія, независимо отъ дѣла тѣхъ или другихъ литературныхъ партій, въ принципѣ существуетъ общее литературное дѣло, которое, какъ всякое общее дѣло, вырабатываетъ извѣстный кодексъ профессіональной морали, не противорѣчащей, конечно, морали общечеловѣческой, но имѣющей свои оттѣнки. Главный пунктъ этой морали можетъ быть формулированъ вышеприведенными словами: литература должна бороться съ ложью

Digitized by Google

литературнымъ образомъ и никакими другими путями. Это не значитъ, что литература должна замкнуться въ кругу своихъ профессіональныхъ интересовъ и отказаться отъ практическаго, осязательнаго воздѣйствія на ходъ вещей въ обществѣ. Когда писатель указываетъ, наприм., на какое-нибудь злоупотребленіе, то дѣлаетъ это, конечно, не для собственнаго удовольствія, не для того, чтобы его рѣчь сотрясла воздухъ, да тѣмъ бы и кончилось; онъ надѣется, что его мысль, облекшись въ форму слова, претворится вслѣдъ затѣмъ въ дѣло, и злоупотребленіе будетъ прекращено или искоренено; а это лишь въ рѣдкихъ случаяхъ можетъ быть достигнуто „литературнымъ образомъ", для этого должны быть призваны внѣшнія силы. Но, воздѣйствуя такимъ путемъ на злоупотребленіе, литература не только не становится въ противорѣчіе съ своими задачами, а, напротивъ, исполняетъ свою священную обязанность. Противорѣчіе возникаетъ лишь въ томъ случаѣ, если предметомъ воздѣйствія съ помощью внѣшнихъ силъ является мнѣніе, образъ мыслей противника, какъ-бы онъ ни казался съ извѣстной точки зрѣнія вреднымъ. Я могу считать и дѣйствительно считаю образъ мыслей „Гражданина" и „Московскихъ Вѣдомостей" крайне вреднымъ, но не могу желать насильственнаго прекращенія этихъ органовъ или чтобы ихъ „заставили быть благонамѣренными" въ томъ смыслѣ, какъ я благонамѣренность понимаю. Не могу, хотя-бы уже потому, что это значило-бы признаться въ своей слабости, въ недостаткѣ вѣры въ истину, въ недостаткѣ аргументовъ противъ лжи. Въ такомъ именно своемъ безсиліи расписываются всѣ эти господа, кричащіе „караулъ!", вмѣсто того, чтобы аргументировать или „глаголомъ жечь сердца людей", какъ то приличествуетъ литературѣ. Это, собственно говоря, даже не литература, разъ ей до такой степени чуждо понятіе о литературной чести. Конечно, если-бы на всѣхъ, кромѣ Булгарина, были надѣты „намордники", или если-бы „вся линія газетной печати", за исключеніемъ „Гражданина", была отведена къ рѣкѣ Киссону и тамъ благополучно переколота, то Булгарину и кп. Мещерскому было-бы очень просторно, они оказались-бы побѣдителями, но, вѣдь, не литературная-же это побѣда, напротивъ, это признаніе въ безсиліи и въ позорнѣйшемъ изъ литературныхъ пораженій. Славянофилы это хорошо понимали и, вообще говоря, были на этотъ счетъ очень щекотливы. Но этого мало. Уваженіе къ свободѣ

Digitized by Google

слова было не только личнымъ свойствомъ всѣхъ выдающихся славянофиловъ, но кореннымъ образомъ входило въ составъ самой ихъ доктрины, такъ что славянофилъ, крикнувшій „караулъ!“, предложившій своимъ противникамъ прогуляться къ потоку Киссону или пожелавшій имъ „намордника“, тѣмъ самымъ пересталъ-бы быть славянофиломъ. Онъ измѣнилъ-бы не только завѣтамъ литературной чести, но и самымъ основаніямъ своего ученія. Очень характерно для всего славянофильскаго ученія мнѣніе Ивана Аксакова, что „реформѣ законовъ о книгопечатаніи приличнѣе было-бы стать не только не на послѣднемъ, но на первомъ мѣстѣ въ ряду реформъ, непосредственно слѣдовавшихъ за уничтоженіемъ крѣпостного права, и предшествовать всѣмъ правительственнымъ преобразованіямъ, не исключая даже и судебнаго. Нельзя ни провѣтрить, ни очистить, и тѣмъ менѣе убрать дома—въ темнотѣ, съ заколоченными наглухо окнами: необходимо растворить настежь двери и ставни, впустить воздуха и свѣта, какъ можно болѣе воздуха, какъ можно болѣе свѣта! А что-же такое свобода мысли и слова, какъ не воздухъ и свѣтъ—необходимыя условія общественнаго бытія, внѣ которыхъ нѣтъ ни развитія, ни жизни, а только плѣсень и смерть“.

Я могъ-бы привести еще много столь-же энергическихъ словъ на эту тему Кирѣевскаго, Хомякова, Константина Аксакова, но дѣло не въ словахъ. Читатель, дѣйствительно знакомый съ исторіей нашей литературы, знаетъ, что слова эти въ точности соотвѣтствовали одной изъ существенныхъ сторонъ славянофильства. А поясненіе для незнающихъ вышло-бы слишкомъ длинно. Я и безъ того боюсь, что читатель съ нетерпѣніемъ перелистываетъ настоящія замѣтки, посвященныя спеціально-литературнымъ интересамъ, большинству читателей, къ сожалѣнію, чужимъ. Къ еще большему сожалѣнію, интересы эти чужды и большинству нынѣшнихъ такъ называемыхъ литературныхъ обозрѣвателей. Они имѣютъ лишь туманное понятіе о томъ длинномъ и трудномъ пути, которымъ шла литература до того блестящаго момента, когда они выступили на литературное поприще. Они знаютъ, что бумага все терпитъ, и пользуются этимъ. Но они не знаютъ, что претерпѣвала литература не только отъ внѣшнихъ стѣсненій, но и отъ труднаго процесса своего собственнаго роста; не знаютъ, не могутъ и не хотятъ разбираться въ сложной сѣти добра и зла, истины и заблужденія, оставлен-

Digitized by Google

ной намъ исторіей въ наслѣдство. Поэтому они то и дѣло либо повторяютъ зады съ такимъ величественнымъ видомъ, какого, навѣрное, не имѣлъ Ньютонъ, открывъ законъ тяготѣнія, либо хоронятъ живыхъ и воскрешаютъ мертвыхъ, либо поступаютъ на манеръ простодушныхъ маляровъ лубочныхъ картинъ, которые красятъ всего генерала отъ шеи до сапоговъ въ малиновый цвѣтъ, а солдатъ также сплошь въ зеленый.

Вотъ и теперь...

Изъ фельетона г. Буренина въ „Новомъ Времени“ и изъ № 6 „Русскаго Богатства“ я узналъ, что литературный обозрѣватель „Сѣвернаго Вѣстника“ г. Волынскій, сдѣлалъ мнѣ большую честь— разбранилъ меня въ пухъ и прахъ. Я надѣюсь, читатель повѣритъ моей искренности, когда я говорю, что г. Волынскій сдѣлалъ мнѣ честь своею бранью. Еще недавно этотъ самый г. Волынскій осыпалъ меня любезностями, которыя я отстранилъ съ нѣкоторою суровостью, ибо въ похвалахъ подобныхъ господъ вижу не то, чтобы безчестіе для себя, — потому что чѣмъ-же я виноватъ?—а, все-таки, непріятность. Съ тѣхъ поръ я отказался отъ удовольствія читать произведенія г. Волынскаго и лишь изъ фельетона г. Буренина и изъ „Русскаго Богатства“ узналъ о разжалованіи меня въ бездарности. Но дѣло, повидимому, не только въ моей бездарности, а и еще въ чемъ-то, потому что г. Буренинъ цитируетъ изъ „Сѣвернаго Вѣстника“ упоминаніе о моей „русской вихрастой шевелюрѣ“, каковыя, дескать, слова напечатаны у г. Волынскаго курсивомъ. Вѣроятно, это что-нибудь очень обидное, но, къ сожалѣнію, для меня непонятное. „Вихрастая шевелюра“ безспорно не красива, но, если она у меня и такова, то, собственно какъ писателя, это едва-ли меня очень унижаетъ. Что же касается „русской“ шевелюры, то что же обиднаго или удивительнаго, курсива достойнаго, въ томъ, что у русскаго человѣка русская шевелюра? Должно быть, г. Волынскій въ большомъ волненіи чувствъ писалъ и, собственно отъ этого волненія, не сообразилъ, а, можетъ быть, онъ и всегда несообразителенъ. Если, однако, можно сдѣлать что-то очень язвительное изъ эпитета „русскій“, обращеннаго къ русскому человѣку, то, можетъ быть язвительность эта подлежитъ распространенію и на мои сочувственныя строки о славянофилахъ. Это, вѣдь, были ультра-русскіе, какъ ихъ иногда называли... Я бы не желалъ такого распространенія. Не со стороны г. Волынскаго, нѣтъ, онъ

Digitized by Google

можетъ что ему угодно распространять и о чемъ ему угодно распространяться. Но недоразумѣній въ нашей литературѣ вообще такъ много, что мнѣ хочется прибавить нѣчто даже совершенно лишнее для людей, знающихъ и помнящихъ кое-что изъ исторіи нашей литературы. Въ славянофильствѣ были свои свѣтлыя и свои темныя стороны. Г. Розановъ предлагаетъ мнѣ, какъ мы видѣли, „принять всю славянофильскую точку зрѣнія". Никакъ не могу. Но были въ славянофильствѣ черты глубоко-симпатичныя, достойныя лучшихъ защитниковъ, чѣмъ „Московскія Вѣдомости" или „Гражданинъ". И если всего вышесказаннаго мало для убѣжденія въ этомъ, то вотъ еще страница изъ сочиненій Ивана Аксакова, особенно поучительная для „Московскихъ Вѣдомостей", которыя любятъ говорить о своемъ „консерватизмѣ" и, въ то же время, берутъ подъ свою защиту „всю славянофильскую точку зрѣнія".

„Наши „консерваторы" хромаютъ на оба колѣна; они ни исторической сущности основъ нашего государственнаго строя не вѣдаютъ, или же отождествляютъ ее съ какою-либо наружною, хотя-бы и чуждою, несвойственною ей случайною формой; они ни требованія текущей жизни уразумѣть не способны. Лишенные точной руководящей мысли, они знаютъ только одно различіе: „старое" да „новое"; преисполненные искреннѣйшаго испуга при встрѣчѣ лишь съ призракомъ „новаго" (хотя-бы это новое было само по себѣ очень и очень старо, но только забыто или презрѣно), они, въ то-же время, испытываютъ „влеченье—родъ недуга" ко всему „старому", хотя-бы это старое было никуда негодно или само, въ свою пору, было незаконнымъ и насильственнымъ новшествомъ. Вотъ почему и правильнѣе называть ихъ, въ pendant къ нашимъ лже-либераламъ, — лже-консерваторами. Они ничего не охраняютъ, а развѣ лишь мертвятъ, обрывая у охраняемаго ими корня всякій новый ростокъ, новый стебель, или же, рьяно загораживая теченіе жизни, творятъ именно то, что Ю. Ѳ. Самаринымъ такъ мѣтко охарактеризовано словомъ „революціонный консерватизмъ". Впрочемъ, послѣднее предполагаетъ нѣкоторую энергію и строго очерченную программу; у большей-же части нашихъ мнимо-консерваторовъ нѣтъ ни того, ни другого, а есть только инстинкты и потуги—безсильные воскресить старое, безсильные дать рѣзкое направленіе жизни, но успѣвающіе, однако, порою, создавать неопредѣленное, смутное и колеблю-

Digitized by Google

щееся положеніе общихъ дѣлъ“ („Сочиненія И. С. Аксакова“, IV, 666).

Недурная въ своемъ родѣ и чисто-славянофильская страница, но я желалъ-бы знать, подпишутся-ли подъ ней „Московскія Вѣдомости“, столь уважающія славянофильскую точку зрѣнія?

Еще нѣсколько словъ—такъ ужъ, заодно, кстати.

Въ нашихъ безконечныхъ спорахъ объ искусствѣ и о задачахъ и пріемахъ литературной критики часто поминаются „добролюбовско-писаревскія преданія“, причемъ именно имъ усвоивается иниціатива „тенденціознаго“, „утилитарнаго“, гражданскаго“ и т. п. яда въ беллетристикѣ и критикѣ. Выросшую на этой почвѣ критику часто съ язвительностью называютъ „либеральною критикой“. Это одна изъ многочисленныхъ нелѣпостей нашего своеобразнаго политическаго жаргона. Собственно въ отрицаніи такъ называемаго „чистаго искусства“ или „искусства для искусства“ нѣтъ ничего ни либеральнаго, ни не-либеральнаго, это явленіе совсѣмъ другого порядка. Когда г. Арсеньевъ далъ своей статьѣ о романахъ покойнаго Маркевича заглавіе „Романъ, какъ орудіе регресса“, онъ былъ совершенно правъ,—правъ, по крайней мѣрѣ, въ томъ смыслѣ, что романы Маркевича ярко тенденціозны, но отнюдь не въ либеральномъ направленіи. Князь Мещерскій тоже, вѣдь, не либералъ, а пишетъ тенденціозные романы. Соотвѣтственно этому устраивается и не-либеральная критика. Но дѣло не въ этомъ. Когда говорятъ о ядоносности добролюбовско писаревскихъ преданій въ дѣлѣ литературной критики, забываютъ обыкновенно Бѣлинскаго въ послѣдней, окончательной фазѣ его развитія,—забываютъ, что̀ для насъ теперь особенно любопытно, и славянофиловъ. Славянофилы не выставили ни одного сколько-нибудь виднаго литературнаго критика. Аполлонъ Григорьевъ, человѣкъ безспорно даровитый, *хотѣлъ* быть славянофиломъ, но, по крайней неясности своей мысли, никакъ не могъ исполнить это желаніе. Г. Страховъ всю жизнь прохлопоталъ объ устройствѣ маниловскаго моста для соединенія Каткова, Герцена, славянофиловъ, Льва Толстого и Достоевскаго. Притомъ-же онъ до такой степени лишенъ критическаго чутья, что не только въ серьезъ сравнивалъ г. Стахѣева съ Некрасовымъ и Салтыковымъ, но и отдавалъ первому рѣшительное предпочтеніе. Орестъ Миллеръ былъ очень добрый человѣкъ... А больше и помянуть некого. Но первоучители славянофильства, не обладая критическимъ

Digitized by Google

талантомъ, не прочь были, однако, высказываться на литературно-критическія темы. Извѣстно, что Константинъ и Иванъ Аксаковы и Хомяковъ сами были поэтами, хотя и плохими, и поэзія ихъ была сплошь тенденціозна, „гражданскаго“ содержанія. Такова же была и ихъ критика. Къ поэзіи г. Фета Константинъ Аксаковъ относился съ презрительною насмѣшкой, а о поэзіи вообще выражался такъ: „Въ наше время поэтическое произведеніе, хотя написанное съ талантомъ (ибо таланты всегда возможны), можетъ быть только средствомъ, однимъ изъ способовъ для изображенія той или другой мысли“. Въ первомъ томѣ сочиненій Хомякова любопытствующій читатель можетъ найти двѣ рѣчи, сказанныя Хомяковымъ, въ качествѣ предсѣдателя „общества любителей россійской словесности“ при пріемѣ въ члены общества И. В. Селиванова и гр. Л. Толстого. Въ этихъ рѣчахъ, разумѣется, безъ добролюбовскаго таланта, но съ полною ясностью излагается теорія служебной роли искусства. Это не мѣшаетъ помнить или знать людямъ, толкующимъ о добролюбовско-писаревскихъ преданіяхъ, либеральной критикѣ, отрицательномъ направленіи, обличительной литературѣ, шестидесятыхъ годахъ. Ахъ! имъ не мѣшаетъ знать или помнить очень, очень многое...

XII *).

Г. З. Елисеевъ.

Въ своемъ завѣщаніи покойный Григорій Захаровичъ Елисеевъ предоставилъ мнѣ выборъ его сочиненій, печатныхъ и рукописныхъ, для изданія, если-бы таковое состоялось. Въ силу этого посмертнаго распоряженія, ко мнѣ поступили и всѣ его бумаги. Я былъ глубоко тронутъ тѣмъ пунктомъ завѣщанія, которымъ покойный вручалъ мнѣ судьбу своего литературнаго багажа. Былъ я, кромѣ того, чрезвычайно заинтересованъ и самымъ этимъ багажомъ, поскольку онъ мнѣ былъ неизвѣстенъ, то-есть оставшимися послѣ покойнаго рукописями и перепиской. И для этого интереса, и для растроганности моей были особые резоны.

Несмотря на большую разницу лѣтъ, мы были когда-то близкими пріятелями съ Елисеевымъ. Но съ 1873 или 1874 года мы

*) 1892, ноябрь—декабрь.

Digitized by Google

стали встрѣчаться, благодаря одному совершенно посторонне обстоятельству, только въ редакціи „Отечественныхъ Записокъ Въ 1881 г. Елисеевъ долженъ былъ, по болѣзни, уѣхать за гр ницу, откуда вернулся въ Россію уже послѣ закрытія „Отеч ственныхъ Записокъ“. Нѣкоторое время онъ жилъ въ Твери, Крыму, нѣкоторое время и я жилъ внѣ Петербурга, а когда м оба очутились опять въ сѣверной столицѣ, то, за отсутствіем такого обязательнаго сборнаго пункта, какъ редакція журнал встрѣчались только у Салтыкова. Со смертію Салтыкова прекр тились и эти рѣдкія и случайныя свиданія. Однако, два раза это время я былъ, по его приглашенію, у Елисеева на квартир оба раза по чисто-литературнымъ дѣламъ. Въ личномъ смысл мы были совсѣмъ чужіе другъ другу люди. Я никогда не пер ставалъ глубоко уважать и любить Григорія Захаровича и имѣл всѣ основанія думать, что, несмотря на пробѣжавшую меж нами черную кошку, и его добрыя отношенія ко мнѣ никогда в существѣ не измѣнялись. Но взаимно-добрымъ чувствамъ нечѣм было питаться: я, можно сказать, ровно ничего не зналъ о нем онъ очень мало зналъ обо мнѣ. Это не мѣшало, однако, каждом изъ насъ оставаться тѣмъ, чѣмъ мы были во времена наше дружбы и общей работы въ „Отечественныхъ Запискахъ“. А о сюда происходили любопытныя совпаденія мыслей, подтвержда щія поговорку: сердце сердцу вѣсть даетъ.

Въ концѣ 1885 г. я, утомленный невольною праздностью посл закрытія „Отечественныхъ Записокъ“, сдѣлалъ большую ошибк сталъ работать въ незадолго передъ тѣмъ основанномъ г-же Евреиновою „Сѣверномъ Вѣстникѣ“. Работа въ этомъ истин несчастномъ журналѣ была для меня обильнымъ источникомъ смѣха, и горя. Я не разъ колебался между надеждою упорядочи журналъ и желаніемъ бѣжать изъ него безъ оглядки. Въ одн изъ моментовъ такихъ очень тягостныхъ колебаній, я получ отъ Елисеева, помнится, только что пріѣхавшаго изъ Твери, п глашеніе зайти къ нему. Онъ точно читалъ изъ своего дале мои мысли. Да и дѣйствительно читалъ. Опытный журналист притомъ, хорошо знавшій меня, онъ, по составу книжекъ „Сѣве наго Вѣстника“, не могъ не видѣть, что мои усилія придат журналу извѣстный опредѣленный характеръ разбиваются об какія-то препятствія. А можетъ быть и слыхалъ кое-что. Во вс комъ случаѣ, онъ повелъ рѣчь именно о томъ, что составля

Digitized by Google

мое больное мѣсто. Съ особенною, свойственною ему добродушною насмѣшливостью онъ оцѣнялъ трудность моего положенія въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ“, разспрашивалъ обо всѣхъ подробностяхъ дѣла и, наконецъ, выразилъ мысль, что нельзя-ли, дескать, основать свой собственный журналъ. Въ дальнѣйшемъ разговорѣ выяснилась неудобоисполнимость этой мысли при наличныхъ условіяхъ, и мы опять на нѣсколько лѣтъ разстались съ Григоріемъ Захаровичемъ. Но я убѣдился, что онъ по прежнему интересуется литературой и даже, какъ можно было заключить изъ нѣкоторыхъ его словъ, несмотря на свое болѣзненное состояніе, надъ чѣмъ-то работаетъ.

Въ 1890 г. нѣсколькимъ петербургскимъ литераторамъ пришла въ голову странная мысль отпраздновать двадцати-пятилѣтній юбилей закона о печати 1865 г. Я называю эту мысль странною потому, что законъ о печати 1865 г. въ теченіе двадцати пяти лѣтъ подвергся значительнымъ измѣненіямъ, такъ что трудно даже понять, что именно предполагалось праздновать. Я держался совершенно въ сторонѣ отъ этой затѣи и съ удивленіемъ узналъ изъ „Новостей“ о своемъ заочномъ избраніи въ члены коммиссіи по устройству юбилейнаго торжества. Я рѣшилъ напечатать въ „Новостяхъ“ отказъ отъ сдѣланной мнѣ товарищами по профессіи, но не по настроенію, чести, но не успѣлъ еще и за перо взяться, какъ получилъ слѣдующую записку отъ Елисеева: „Предположенное празднованіе юбилея прессы я нахожу совсѣмъ обиднымъ для всѣхъ, кто участвовалъ въ прессѣ въ теченіе послѣднихъ 25 лѣтъ. Я было обрадовался тому, что вчера Суворинъ напечаталъ протестъ противъ празднованія, и настрочилъ въ pendant къ нему также статейку для „Новаго Времени“. Но Суворинъ сегодня повернулъ совсѣмъ въ другую сторону. И слухъ идетъ, что за юбилей стоитъ уже много народу. Какъ вы смотрите на это празднованіе? Если отрицательно, какъ и я, то соберемъ и другихъ таковыхъ, которые, вѣроятно, найдутся, и напишемъ общій протестъ. Такой гуртовой протестъ, я полагаю, былъ-бы резоненъ и не безполезенъ для судьбы (? слово написано неразборчиво) прессы“. Читателю, который замѣтилъ-бы, что эта записка слишкомъ незначительна для того, чтобы ее стоило воспроизводить въ печати, я отвѣчу, что считаю ее, напротивъ, для характеристики Елисеева очень значительной. Я бы съ удовольствіемъ воспроизвелъ ее даже fac simile, чтобы показать стар-

Digitized by Google

ческій почеркъ, которымъ она написана. Семидесятилѣтній боль
ной старикъ, за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти, съ такою юно
шескою горячностью относится къ интересамъ и достоинству ли
тературы,—это характерно. Правъ-ли былъ въ данномъ случа
Елисеевъ, возставая противъ юбилея, или нѣтъ, это другой во
росъ. Но уже одна эта записка свидѣтельствуетъ, до какой сте
пени „кровнымъ“, какъ говорилъ Салтыковъ, литераторомъ был
Елисеевъ. Статейку, которую онъ „настрочилъ“ было для „Но
ваго Времени“, мы, обсудивъ дѣло сообща, забраковали,—не по
существу, а потому, что ни г. Суворинъ, ни какая другая ре
дакція не согласились-бы ее напечатать. Мысль о „гуртовомъ“ про
тестѣ тоже была брошена, и только я напечаталъ свой отказъ от
участія въ юбилейной коммиссіи. Юбилей, впрочемъ, не состоялс
по обстоятельствамъ, не зависѣвшимъ ни отъ иниціаторовъ, н
отъ насъ, несогласныхъ.

Это было мое послѣднее свиданіе съ Елисеевымъ: 18 январ
1891 г. онъ былъ уже мертвъ.

Я съ величайшимъ интересомъ принялся разбирать довольно
таки значительную кипу бумагъ, оставшихся послѣ Елисеева. Я
полагалъ, что у писателя, много лѣтъ стоявшаго въ центрѣ таких
изданій, какъ „Современникъ“ и „Отечественныя Записки“, должн
оказаться много писемъ и другихъ документовъ по исторіи новѣй
шей русской литературы. А то отношеніе Елисеева къ литера
турѣ, которое выразилось въ вышеприведенномъ эпизодѣ съ юби
леемъ, и кое-какіе намеки, которые я уловилъ въ разговорѣ с
нимъ послѣ его пріѣзда изъ Твери, позволяли думать, что он
и со времени своей болѣзни не сложа руки сидѣлъ. Я былъ, од
нако, очень разочарованъ. Огромное большинство писемъ, най
денныхъ мною въ портфелѣ Елисеева, не имѣли никакого обще
ственнаго значенія. Исключеніе составляетъ только пачка писем
Салтыкова. Мнѣ разсказывали, что, уѣзжая за границу, Елисеев
имѣлъ неосторожность дать много бумагъ и писемъ, относящихся
ко временамъ „Современника“, на сохраненіе одной дамѣ. Дама
же эта, по прошествіи нѣкотораго времени, сочла почему-то для
себя опаснымъ хранить всю эту письменность и безъ всякой цере
моніи сожгла ее. Елисеевъ, говорятъ, очень сердился... Я думаю
Можно и вчужѣ сердиться... Что касается собственныхъ руко
писей Елисеева, то ихъ оказалось довольно много, но лишь очень
немногое можетъ быть утилизировано. За самыми ничтожными

Digitized by Google

исключеніями, рукописи представляютъ собою отрывки, иногда очень большіе, и начала безъ концовъ. Изъ такихъ неоконченныхъ статей были-бы, вѣроятно, особенно интересны страницы безъ начала и конца, посвященныя Каткову. Я на нихъ немножко остановлюсь, собственно для характеристики оставшихся послѣ Елисеева рукописей.

Въ другой рукописи, имѣющей характеръ частію воспоминаній о Салтыковѣ, частію вообще ретроспективнаго взгляда на недавнія наши событія, мимоходомъ говорится: „Катковъ съ самаго начала эмансипаціи, угрожавшей поглотить всѣ права дворянства и поставить во главу русской цивилизаціи, вмѣсто дворянства рода, дворянство образованія, сталъ заботиться о поддержаніи дворянства и о сохраненіи его историческихъ правъ. Это была его прямая тенденція еще въ 1861 году, какъ онъ самъ мнѣ говорилъ тогда объ этомъ, присовокупляя, что ему соглашался помогать въ этомъ и Кавелинъ. Вѣроятно, были и другіе, но другихъ онъ мнѣ не назвалъ, а самъ я не поинтересовался спросить его объ ихъ именахъ. Мнѣ была противна эта тенденція, и именно потому только, что Катковъ ставилъ ее на первомъ планѣ, я отказался участвовать въ его журналѣ и въ его „Современной Лѣтописи“, издававшейся при журналѣ“.

Я, къ сожалѣнію, очень смутно помню устный разсказъ Елисеева о какомъ-то его свиданіи съ Катковымъ въ самомъ началѣ шестидесятыхъ годовъ. Если не ошибаюсь, рѣчь шла о соглашеніи между „Современникомъ“ и „Русскимъ Вѣстникомъ“ о выработкѣ общаго плана дѣйствія этихъ двухъ тогда вліятельнѣйшихъ литературныхъ органовъ, въ скоромъ времени такъ рѣзко разошедшихся въ своихъ взглядахъ и программахъ. Естественно было искать разъясненія этого эпизода, равно какъ и многосторонней и оригинальной характеристики Каткова, въ статьѣ, спеціально трактующей о московскомъ публицистѣ. Но ничего подобнаго въ статьѣ нѣтъ. Она осталась неконченною и содержитъ въ себѣ, главнымъ образомъ, выписки фактически-біографическаго характера изъ книги г. Невѣденскаго: „Катковъ и его время“, Любимова: „М. Н. Катковъ и его историческая заслуга“, переписки Бѣлинскаго, изданной г. Пыпинымъ, и воспоминаній Панаева. Выписки эти связаны между собою нѣкоторыми общими разсужденіями, которымъ, по всѣмъ видимостямъ, предстояло закончиться общимъ заключеніемъ, но его нѣтъ. Что касается лю-

Digitized by Google

бопытнаго эпизода переговоровъ съ Катковымъ, то о немъ
упоминается нигдѣ, кромѣ приведеннаго мѣста, хотя въ чис
рукописей есть не мало набросковъ, имѣющихъ характеръ восп
миманій. Быть можетъ, ключа къ этой загадкѣ слѣдовало-б
искать въ тѣхъ бумагахъ, которыя Елисеевъ имѣлъ неосторо
ность отдать на храненіе слишкомъ осторожной дамѣ.

Большинство рукописей Елисеева не только не кончены, н
кромѣ того, еще и очень спутаны. Неоконченностью статей он
грѣшилъ и прежде, во время своей печатной литературной дѣятел
ности. Но въ посмертныхъ рукописяхъ эта дурная, хотя и вполн
объяснимая условіями журнальной работы и многимъ журнал
стамъ свойственная привычка не доводить до конца задуманну
статью, осложняется еще результатами болѣзненнаго состоян
Елисеева. Онъ, очевидно, писалъ съ трудомъ и съ большими п
рерывами. Въ нѣкоторыхъ рукописяхъ встрѣчаются не толь
повторенія и отдѣльные клочки, выхваченные изъ другихъ рук
писей, но и совершенно разные пріемы изложенія, свидѣтельству
щіе о совершенно разныхъ планахъ автора. То онъ пишетъ в
такомъ даже утрированно-осторожномъ тонѣ, который ясно п
казываетъ намѣреніе приладиться къ даннымъ условіямъ вр
мени и, слѣдовательно, печатать статью теперь-же; то, говоря
болѣе или менѣе щекотливыхъ вещахъ, ни мало не стѣсняет
въ выраженіяхъ. И это въ одной и той-же рукописи.

Самымъ цѣннымъ элементомъ рукописнаго наслѣдства Ел
сеева надо признать воспоминанія. Но и они, во-первыхъ, чре
вычайно разбросаны и запутаны, а, во-вторыхъ, въ виду близос
событій, о которыхъ въ нихъ рѣчь идетъ, отнюдь не цѣликом
подлежатъ опубликованію. Да и „цѣлика“, впрочемъ, нѣтъ,
факты приходится вылавливать отдѣльными клочками изъ ра
ныхъ рукописей. Елисеевъ не разъ принимался не только за во
поминанія, а и прямо за автобіографію. Тяжелый грузъ восп
миманій давилъ его и чувствовалась настоятельная потребнос
сложить его на бумагу. Но онъ не только ни разу не дове
дѣла до конца, а не держался никакой системы, оставляя огро
ные пробѣлы и постоянно уклоняясь въ сторону общихъ разс
жденій. Есть рукопись безъ заглавія, начинающаяся такъ: „
окончаніи курса наукъ въ московской духовной академіи
1844 г. я былъ назначенъ баккалавромъ въ казанскую духовну
академію“. Это обѣщаетъ автобіографію, по крайней мѣрѣ,

Digitized by Google

1844 г., со времени вступленія на профессорское поприще. И дѣйствительно, нѣкоторыя интересныя автобіографическія показанія въ рукописи есть, но они внезапно обрываются или, точнѣе, расплываются въ разсужденіяхъ объ исторической роли русскаго монашества, о положеніи нашего бѣлаго духовенства. Тутъ же имѣются разсужденія о порядкахъ въ нашихъ духовныхъ академіяхъ, частію вошедшія въ составъ статьи „Изъ далекаго прошлаго двухъ академій", напечатанной не задолго до смерти Елисеева въ „Вѣстникѣ Европы". Есть и другая рукопись, начинающаяся словами: „Въ маѣ нынѣшняго 1888 г. исполнилось ровно тридцать лѣтъ, какъ я пріѣхалъ въ Петербургъ. Въ декабрѣ 1855 г.,—годъ моего пріѣзда, — напечатана была въ „Современникѣ" первая моя статья". Но затѣмъ имѣется всего полторы страницы весьма скуднаго фактическаго содержанія. Есть, наконецъ, рукопись, прямо озаглавленная *Автобіографія*. Начало ея я считаю нужнымъ привести, такъ какъ имъ хорошо характеризуется отношеніе Елисеева къ своей собственной личности:

„Можетъ быть, Сентъ-Бёвъ и правъ, когда говоритъ, что всякая автобіографія въ большей или меньшей мѣрѣ есть вранье, потому что невозможно представить себѣ такого человѣка, который, описывая свою жизнь, не заглядывалъ-бы однимъ глазкомъ за свою могилу и не охорашивалъ себя въ виду этого. А, все-таки, мнѣ жалъ, что, доживъ почти до 70 лѣтъ (вчера, 25 января 1889 года, мнѣ стукнуло 68 лѣтъ), я не позаботился запастись такимъ враньемъ относительно своей особы. Вранье это помогло-бы мнѣ, во-первыхъ, освѣтить самого себя — вообще въ прошедшемъ увидѣть разницу моихъ воззрѣній, моего міросозерцанія, моего направленія и стремленій въ разныя эпохи моего возраста и положенія; во-вторыхъ, мнѣ пріятно было-бы возобновить въ моей памяти во всей подробности нѣкоторые моменты моей жизни и дѣятельности; въ-третьихъ, я думаю, что мысль Сентъ-Бёва объ автобіографіяхъ, какъ враньѣ, неприложима къ автобіографіямъ, которыя ведутся въ теченіе многихъ лѣтъ въ видѣ дневниковъ, съ точнымъ обозначеніемъ всѣхъ обстоятельствъ и данныхъ, потому что трудно и даже невозможно, описывая свою ежедневную жизнь, постоянно носить мысль о своемъ безсмертіи и прилаживать къ ней ежедневныя событія и обстоятельства жизни. Другое дѣло—біографіи, которыя пишутся въ зрѣлыхъ или преклонныхъ лѣтахъ, когда человѣкъ достигъ степеней (?)

Digitized by Google

извѣстныхъ, когда біографія не поденно, а гуртомъ, по воспоминаніямъ, является какъ связное цѣлое: тогда человѣку трудно не заглядывать однимъ глазкомъ за могилу и не охорашивать себя въ виду ея, и всѣ такія автобіографіи зачастую являются болѣе или менѣе прикровенными апологіями собственной дѣятельности пишущихъ.

„Казалось-бы, что автобіографіи послѣдняго рода должны писать только лица болѣе или менѣе знаменитыя, убѣжденныя въ безсмертіи ихъ имени. Оказывается — напротивъ. Въ послѣднее время автобіографіи мелкихъ, незначительныхъ людей до того размножились, что „Русская Мысль“, помнится, въ послѣднемъ или предпослѣднемъ нумерѣ прошлаго года сдѣлала замѣчаніе о странной охотѣ этихъ людей, жизнь которыхъ мало для кого можетъ быть интересна, убиваться надъ изображеніемъ подробностей своей жизни. Для кого и для чего пишутъ эти ничтожества?

„Этотъ вопросъ прежде часто останавливалъ и меня, когда, по какимъ-нибудь обстоятельствамъ, мнѣ приходила мысль начать писать свою автобіографію. Вопросъ до того смущалъ меня, что я до сихъ поръ не давалъ самыхъ краткихъ свѣдѣній о себѣ, которыхъ у меня нѣсколько разъ просили для справочныхъ словарей. Теперь, доживъ почти до 70 лѣтъ моей жизни, я понялъ, что маленькіе люди имѣютъ еще болѣе нужду писать свои автобіографіи, чѣмъ большіе. У всякаго человѣка, какъ-бы онъ ни былъ малъ и незначителенъ, есть также самолюбіе, какъ и у большихъ, и есть также болѣе или менѣе свѣтлыхъ, выдающихся моментовъ въ жизни, которыми онъ считаетъ себя вправѣ гордиться; онъ не знаетъ, будетъ-ли обращено вниманіе потомства не только на эти свѣтлые, выдающіеся моменты его жизни, но даже вообще на его личность; съ этимъ полнымъ забвеніемъ его потомствомъ онъ готовъ совершенно примириться. Но самолюбіе его не можетъ примириться съ тѣмъ, чтобы потомство, если придется ему случайно вспомнить его, не поняло и не оцѣнило надлежащимъ образомъ этихъ моментовъ, чтобы оно дало имъ даже неправильное, совершенно ложное освѣщеніе. Для личности крупнаго размѣра дѣло неважное, если какой-нибудь свѣтлый моментъ его жизни будетъ не оцѣненъ должнымъ образомъ и даже превратно истолкованъ. Для него остается твердою защитой ансамбль всей его дѣятельности или его капитальныя сочиненія, если онъ писатель. Если у него по смерти много окажется враговъ, то еще

Digitized by Google

болѣе будетъ друзей, которые будутъ побѣдоносно разбивать всякое злословіе, опираясь на извѣстныя всѣмъ его великія дѣла или его сочиненія. Совсѣмъ другое — человѣкъ маленькій. По смерти онъ остается совершенно беззащитенъ. Между тѣмъ, почти въ тотъ самый моментъ, когда тѣло человѣка опускаютъ въ могилу, люди начинаютъ рыться въ душѣ умершаго, перетряхиваютъ на всѣ стороны его дѣятельность, побужденія, цѣли. И такъ какъ homo homini lupus est, то покойному трудно разсчитывать на справедливую и безпристрастную оцѣнку его дѣятельности, тѣмъ болѣе на снисхожденіе, если онъ не провелъ жизнь совершенно блаженно, т.-е. не стоялъ въ сторонѣ отъ всякой общественной дѣятельности и внѣ всякихъ партій. Часто довольно бываетъ одной, ни въ чемъ неповинной, впрочемъ, но не улегающейся въ обычныя представленія о человѣкѣ, видимости, одного необъясненнаго факта въ его дѣятельности, чтобы злословіе въ этой непонятной для него видимости, въ этомъ необъясненномъ для него фактѣ усмотрѣло ключъ къ уразумѣнію всей дѣятельности человѣка, истолковало по-своему всѣ побужденія его дѣятельности и создало о немъ цѣлую гнусную эпопею.

„Но какъ ни оскорбительна бываетъ для человѣческаго самолюбія та несправедливая оцѣнка, которую производятъ надъ личностью покойнаго остающіеся въ живыхъ, несправедливость эта, разсматриваемая въ отвлеченіи и, притомъ, не надъ нашею, а надъ чуждою намъ личностью, вовсе не такъ ощутительна и сильна, чтобы заставить маленькую личность немедленно взяться за перо и въ огражденіе своего замогильнаго реноме писать исповѣдь своей жизни. Разъ маленькая личность не разсчитываетъ на безсмертіе, не все-ли ей равно—худо или хорошо будутъ говорить о ней, если-бы случайно и зашла о ней рѣчь! Вѣдь она не будетъ ни знать, ни чувствовать въ могилѣ, что о ней говорятъ. Положимъ, для самолюбія человѣка, пока онъ живетъ, пріятнѣе думать, чтобы не были забыты или превратно истолкованы тѣ свѣтлые, выдающіеся моменты его жизни, которыми онъ гордится. Но, съ другой стороны, что-жъ за важность, если-бы и это случилось. Вѣдь, ни хорошаго, ни дурного, что будутъ говорить о немъ, онъ ни сознавать, ни чувствовать не будетъ. При этомъ самолюбіе тайно подсказываетъ ему, что тѣ свѣтлые, выдающіеся моменты, которыми онъ гордится, такъ очевидны для всякаго, такъ чисты, что никакое злословіе не можетъ ихъ до

Digitized by Google

того извратить, чтобы они сдѣлались совершенно черными. В отвлеченномъ представленіи такое чудовищное превращеніе хо рошаго въ дурное, чистаго въ нечистое, свѣтлаго въ пошлое мерзостное для человѣческаго самолюбія, проникнутаго насквоз ничтожнѣйшими мыслями pro domo sua, оказывается положи тельно немыслимымъ, невозможнымъ, — и маленькая личност успокоивается.

„Къ несчастію, маленькіе люди умираютъ очень быстро. Ест много насѣкомыхъ, цѣль жизни которыхъ состоитъ единственн въ распространеніи рода. Разъ оплодотвореніе совершено, он тотчасъ умираютъ. Точно то-же происходитъ съ маленьким людьми въ нравственномъ мірѣ. Дается имъ отъ природы одна двѣ свѣтлыя мысли. Едва успѣютъ они тѣмъ или другимъ спо собомъ заявить и воплотить эти мысли въ жизни, какъ они не медленно умираютъ нравственно, какъ люди ненужные. Потом они продолжаютъ и ходить, и говорить, и продолжаютъ то-ж дѣло, которое начали, но это дѣло несутъ дальше ужъ другіе лучшіе ихъ, а они продолжаютъ оставаться хотя и около него хотя по внѣшнему положенію и выше этихъ новыхъ, но внут ренно, по отношенію къ дальнѣйшему движенію и ходу дѣла остаются ниже ихъ. Въ этомъ смыслѣ они уже ненужные дл дѣла люди, они могутъ считаться умершими для него. Но он могутъ считаться умершими для дѣла въ смыслѣ первостепен ныхъ, передовыхъ его дѣятелей, но они остаются при немъ в качествѣ рядовыхъ, притомъ, иногда лучшихъ рядовыхъ, как болѣе опытные. Между тѣмъ, волны времени быстро слѣдуют одна за другою, каждая приноситъ съ собою новый рядъ дѣлъ вопросовъ; для каждаго вновь вступающаго на арену жизни по колѣнія является своя насущная злоба дня, обусловливаемая не вымъ положеніемъ вещей, создаваемая ходомъ времени. Смѣнится три, четыре поколѣнія, тѣсная связь съ недавнимъ прошедшим хотя и чувствуется, но только въ общемъ и главномъ, въ де таляхъ-же сильно затемняется и даже совсѣмъ теряется изъ па мяти. Даже изученіе этого недавняго прошлаго дѣлается труднѣ и недоступнѣе, чѣмъ изученіе давно прошедшихъ временъ, по тому что послѣднее можно изучать по совокупности всѣхъ оста шихся памятниковъ, для перваго остаются почти единственн устные разсказы немногихъ, оставшихся отъ даннаго времен лицъ, которыя сохранили болѣе или менѣе отрывочныя восп

Digitized by Google

минанія о существовавшемъ тогда положеніи, на сколько оно было понятно и доступно ихъ личному впечатлѣнію и наблюденію. По этимъ воспоминаніямъ трудно и совершенно невозможно живьемъ воплотить картину прошлаго во всей его цѣлости и полнотѣ и уловить тѣ моменты времени, которые выдвинули ту или другую личность на первый планъ и дали ей примирующее положеніе передъ другими. Между тѣмъ, личность занимаетъ это положеніе. Новымъ поколѣніямъ остаются совершенно неизвѣстными тѣ моменты въ прошедшемъ, которые выдвинули эту личность на первый планъ; имъ остается только видно то выдающееся положеніе, которое она занимаетъ. Имъ не приходитъ въ голову заняться изслѣдованіемъ: какую внутреннюю связь съ дѣломъ эта личность имѣла прежде и какую имѣетъ въ настоящее время? Они по видимости рѣшаютъ, что въ настоящемъ дѣло можетъ идти безъ нея, что впередъ несетъ его не она, что она тутъ личность ни къ чему не нужная, умершая. Отсюда дѣлаютъ заключеніе, что такъ было и прежде и что личность заняла выдающееся положеніе при дѣлѣ и остается при немъ посредствомъ неблаговидныхъ происковъ. Это не говорится прямо въ глаза личности, но по временамъ высказывается иногда въ разныхъ косвенныхъ намекахъ общаго свойства, которые можно принимать и не принимать на свой счетъ, но которые даютъ человѣку чувствовать, что злословіе способно заговорить о немъ послѣ его смерти. Затѣмъ болѣе опредѣленное предвкушеніе тѣхъ инкриминацій, которыя ожидаютъ его по смерти, даетъ откровенная диффамація, во-первыхъ, поголовно того періода времени, въ которомъ онъ дѣйствовалъ, а затѣмъ поименно лицъ, ему хорошо извѣстныхъ,—диффамація, дѣлаемая яко-бы на основаніи серьезнаго изслѣдованія и неопровержимыхъ фактовъ. Въ довершеніе всего этого являются *достовѣрные* свидѣтели съ бухгалтерскими книгами, которые, на основаніи цифровыхъ записей, утверждаютъ завѣдомую и безсовѣстную ложь. Это уже не отвлеченное представленіе воображаемыхъ несправедливостей за гробомъ, а непосредственное заушеніе живого еще лица, какъ мертваго: оно даетъ ему не отвлеченно представлять, а очень реально чувствовать всю жестокость и злостность заушеній, ожидающихъ его по смерти. Что тутъ дѣлать маленькой личности для собственной самозащиты и для защиты самаго дѣла и лицъ, которыя съ нимъ стояли около него? Какъ, если не предупредить совершен-

Digitized by Google

но, то, по крайней мѣрѣ, ограничить до извѣстнаго минимума какъ тѣ легковѣсные приговоры объ извѣстной эпохѣ и дѣйствовавшихъ въ ней лицахъ, такъ и тотъ безчестный лай, который поднимаютъ на нихъ достовѣрные свидѣтели съ бухгалтерскими книгами въ рукахъ?

„Мнѣ кажется, самое лучшее, что она можетъ сдѣлать, это взяться за перо и, насколько помнитъ, правдиво изобразить свою жизнь, по крайней мѣрѣ, въ выдающихся ея моментахъ въ связи съ тѣми событіями и лицами, съ которыми она соприкасалась“.

Изъ этого вступленія видно, что автобіографію свою Елисеевъ задумывалъ по очень широкому плану, до такой степени широкому, что едва-ли даже приличествуетъ предположенной работѣ названіе автобіографіи. Этимъ планомъ устраняются обычныя въ автобіографіяхъ свѣдѣнія о дѣтствѣ и юности и вообще все, такъ сказать, приватное, чисто-личное. Достойными записи для потомства признаются лишь такія черты жизни, которыя находятся въ связи съ болѣе или менѣе значительными теченіями и событіями общественнаго характера. Признавая себя „маленькою личностью“, Елисеевъ готовился раствориться въ общемъ дѣлѣ, которому, по его предположенію, грозятъ въ будущемъ лжетолкованія невѣдѣнія и лжетолкованія злостныя. Понятенъ высокій интересъ, который могла-бы представить подобная автобіографія человѣка, сознательно пережившаго и эпоху нашего возрожденія, и эпоху оскудѣнія, и, притомъ, человѣка такого рѣдко проницательнаго ума, какъ Елисеевъ. Но, не говоря уже о томъ, что рукопись осталась неоконченною и начинается только пріѣздомъ въ Петербургъ, бѣгло разсказавъ о своемъ участіи въ „Современникѣ“, „Искрѣ“, „Вѣкѣ“ и „Очеркахъ“, авторъ сосредоточиваетъ свое вниманіе исключительно на періодѣ 1863—1868 годовъ. Онъ подробно характеризуетъ послѣдніе годы существованія „Современника“, разсказываетъ исторію своего ареста въ 1866 г. (арестъ этотъ, какъ увидимъ, былъ результатомъ недоразумѣнія, сравнительно скоро выяснившагося) и возникновенія въ 1868 году новыхъ „Отечественныхъ Записокъ“ подъ редакціей Некрасова. Мы увидимъ далѣе, что были особенныя обстоятельства, побудившія Елисеева съ такою внимательностью относиться къ этой небольшой полосѣ своей жизни. Мы поймемъ тогда и нѣкоторыя загадочныя на первый взглядъ соображенія о „заушеніяхъ“ и „безчестномъ лаѣ“, изложенныя въ приведенномъ вступленіи къ авто-

Digitized by Google

біографіи. Какъ-бы ни были, однако, уважительны причины такой исключительности, нельзя не пожалѣть о ней.

Къ тому-же, такъ занимавшему Елисеева, періоду относится безхитростный и во многихъ отношеніяхъ не выдерживающій критики, но превосходный въ своей непосредственности рукописный разсказъ жены Елисеева объ его арестѣ и событіяхъ, съ нимъ связанныхъ. Къ сожалѣнію, имъ можно будетъ воспользоваться лишь въ очень ограниченныхъ размѣрахъ. Матеріалами для изображенія остальной жизни Елисеева намъ послужатъ частью разбросанныя по разнымъ рукописямъ отрывочныя воспоминанія самого Григорія Захаровича, частью личныя воспоминанія и воспоминанія другихъ близкихъ покойному публицисту лицъ, частью, наконецъ, печатные источники.

Григорій Захаровичъ Елисеевъ родился, по его собственному показанію, 25 января 1821 года, по словамъ историка казанской духовной академіи, г. Знаменскаго, въ 1819 г., а по формулярному о службѣ его списку—въ 1820 г. Отецъ его былъ сельскій священникъ Томской губерніи, дѣдъ-дьячокъ или пономарь. Отца Григорій Захаровичъ лишился очень рано и жилъ, вмѣстѣ съ матерью, у дѣда, который былъ и первымъ его учителемъ. Умеръ скоро и дѣдъ. Мать переѣхала съ нимъ изъ деревни въ городъ Тару, Тобольской губерніи, къ своей замужней сестрѣ. Бѣдно жилось въ деревнѣ, а въ городѣ, кажется, еще бѣднѣе: маленькій Елисеевъ помѣщался одно время съ матерью въ банѣ. Умерла и мать, когда мальчику минуло девять лѣтъ. Сироту взяло на свое попеченіе духовное начальство и опредѣлило въ духовное училище при тобольской семинаріи. И въ духовномъ училищѣ, и потомъ въ семинаріи Елисеевъ испыталъ много горькой нужды, но учился всегда отлично. По окончаніи семинарскаго курса онъ предполагалъ поступить въ медико-хирургическую академію, но начальство располагало иначе. Онъ попалъ въ московскую духовную академію, гдѣ и кончилъ курсъ въ 1844 г. по первому разряду. Въ январѣ 1845 г. началась его профессорская дѣятельность въ казанской духовной академіи.

Съ этихъ-же поръ начинаются болѣе или менѣе обстоятельныя свѣдѣнія о его жизни.

Повидимому, Елисеевъ сразу занялъ выдающееся положеніе въ академіи. Объ этомъ свидѣтельствуетъ и не весьма благо-

Digitized by Google

склонный къ покойному публицисту г. Знаменскій, авторъ „Исторі казанской духовной академіи“ (Казань, 1892 г.). Почтенный исторіо графъ говоритъ объ уваженіи, которымъ пользовался Елисеевъ, приводитъ соотвѣтственные факты. Но, воздавая, повидимому, долж ное высокимъ умственнымъ и нравственнымъ качествамъ покой наго, онъ не упускаетъ случая по поводу, напримѣръ, воспо миманій Шелгунова и Шашкова объ Елисеевѣ и т. п. умалит приписываемое ему значеніе. Общая-же характеристика покой наго, сдѣланная историкомъ казанской академіи, страдаетъ нѣ которою двусмысленностью и несоотвѣтствіемъ, какъ съ фактами сообщаемыми самимъ г. Знаменскимъ, такъ и съ тѣми, кото рые намъ извѣстны изъ другихъ источниковъ. Г. Знаменскій пишетъ: „Высокая репутація Григорія Захаровича между сту дентами была какая-то, можно сказать, предвзятая, основанная больше на нѣкоторыхъ свойствахъ его личности, чѣмъ на до стоинствахъ его преподаванія. Какъ только онъ явился въ ака демію, такъ его кругомъ окружила репутація чрезвычайно умнаго человѣка и человѣка, притомъ, либеральнаго направленія. Умным человѣкомъ онъ былъ безспорно, но вовсе не въ томъ родѣ, чтобы носиться съ какимъ-нибудь либерализмомъ и всѣмъ его показы вать. Эта послѣдняя черта его репутаціи могла основываться развѣ только на его пренебрежительной манерѣ держаться, на разныхъ сатирическихъ и часто жолчныхъ выходкахъ, въ сужде ніяхъ о разныхъ предметахъ, въ колкостяхъ по адресу того или другого студента, въ письменныхъ отзывахъ о студенческихъ со чиненіяхъ, вродѣ, наприм., „пирогъ безъ начинки“ и т. п. Это былъ скорѣе язвительный скептикъ, чѣмъ либералъ, стоявшій за какую-нибудь положительную либеральную идею... и, вмѣстѣ съ тѣмъ, или, пожалуй, по этому самому, человѣкъ практическій сдержанный при всей своей жолчности, способный хорошо при мѣняться къ требованіямъ среды“. Затѣмъ г. Знаменскій разска зываетъ, что „на первыхъ порахъ службы, вѣроятно, подъ недав нимъ впечатлѣніемъ цензурныхъ и другихъ московскихъ страховъ Елисеевъ былъ даже трусливъ и держался въ своей аудиторіи крайне оффиціально, подозрительно и скучно. Но и потомъ онъ никогда не дозволялъ себѣ высказываться съ какой-нибудь про тивоцензурной стороны откровенно и прямо, обнаруживая свой скептицизмъ лишь урывками и прикровенно... Откровеннѣе былъ онъ среди идеалистическаго кружка своихъ сослуживцевъ—моло

Digitized by Google

дыхъ баккалавровъ, въ которомъ любилъ пускаться въ горячія обличительныя рѣчи противъ разныхъ возмутительныхъ и вопіющихъ золъ современной гражданской, общественной и академической жизни".

Въ этомъ искусно написанномъ портретѣ есть черты, несомнѣнно подлинныя, которыя я узнаю на разстояніи десятковъ лѣтъ, отдѣляющихъ Елисеева—профессора духовной академіи отъ Елисеева, какимъ я его зналъ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, есть въ работѣ г. Знаменскаго и нѣкоторый „прикровенный" тонъ, значительно портящій музыку. Выходитъ какъ будто похвально, а какъ будто и не похвально. Безъ всякаго сомнѣнія, похвальныя и непохвальныя черты очень часто соединяются въ одномъ и томъже человѣкѣ въ разныхъ пропорціяхъ. Но въ біографіи или литературномъ портретѣ онѣ должны являться соединенными и опредѣляться физіономіей оригинала, а не тономъ, которымъ говоритъ біографъ. Ниже, въ главѣ о „матеріальныхъ средствахъ и бытѣ наставниковъ академіи", г. Знаменскій, говоря объ упомянутомъ уже „идеалистическомъ" кружкѣ молодыхъ баккалавровъ, называетъ членовъ этого кружка „людьми на подборъ талантливыми, отличавшимися безпредѣльною любовью къ наукѣ, рѣдкимъ благородствомъ характеровъ и тѣми высокими идеальными стремленіями, которыя придавали такую обаятельную духовную красоту лучшимъ людямъ 1840 годовъ". Маленькій списокъ членовъ кружка, людей дѣйствительно въ высшей степени почтенныхъ, г. Знаменскій открываетъ именемъ Елисеева. Здѣсь онъ первымъ ставитъ его въ числѣ людей рѣдкаго благородства характера и обаятельной духовной красоты. Съ этимъ какъ-то мудрено связать эпитеты „трусливый", „прикровенный", „способный хорошо примѣняться къ требованіямъ среды". Конечно, все это еще не признаки какой-нибудь непроглядно черной души, но настолько, однако, непріятно плоскія нравственныя черты, что, очевидно, надо въ нихъ многое сбавить и многое къ нимъ прибавить, чтобы привести въ связь съ представленіемъ о рѣдкомъ благородствѣ характера и обаятельной духовной красотѣ. Характеристика не соотвѣтствуетъ и фактамъ, которые сообщаетъ самъ г. Знаменскій. Объ этомъ свидѣтельствуютъ уже нѣкоторые недочеты самой характеристики. Елисеевъ пользовался уваженіемъ не только студентовъ, а и товарищей, и начальства; вся его профессорская и вообще академическая жизнь была рядомъ

Digitized by Google

успѣховъ. Да и студентамъ мудрено было внушить уваженіе „п
рогами безъ начинки“ и т. п. Очевидно, что-то въ Елисеевѣ вн
шало уваженіе, *несмотря* на эти „пироги“.

Но, кромѣ противорѣчивости или несогласованности часте
портретъ Елисеева, нарисованный г. Знаменскимъ, страдаетъ ещ
однимъ недостаткомъ: отсутствіемъ движенія, историческаго эл
мента. Елисеевъ, можно сказать, съ самаго рожденія попалъ
очень суровую школу жизни. Такіе люди обыкновенно рано с
ливаются, какъ характеры, въ ту или другую опредѣленную форм
по крайней мѣрѣ, нѣкоторыми своими чертами, которыя и дон
сятъ до могилы. Таковъ былъ и Елисеевъ. Повторяю, даже в
противорѣчивомъ и искаженномъ портретѣ работы г. Знаменска
я узнаю нѣкоторыя подлинныя черты Елисеева, какимъ я знал
его много лѣтъ спустя. Впечатлѣніе какой-то особенно давне
прочности производилъ онъ на всѣхъ и всегда. Именно — проч
ности, и, страннымъ образомъ, для меня, по крайней мѣрѣ, в
впечатлѣніе прочности какъ-то отражалось и на физикѣ Елисеева
несмотря на очевидно издавна сѣдые волосы и бороду, старческі
морщины лица, хилое сложеніе. Я думаю, что именно этой ран
сложившейся опредѣленности физіономіи надо приписать и т
„предвзятую“ высокую репутацію, которою, по словамъ г. Зна
менскаго, Елисеевъ былъ окруженъ, какъ только двадцати-тре
лѣтнимъ юношей явился въ качествѣ профессора въ казанску
духовную академію: таинственная опредѣленность его характер
импонировала. Я говорю „таинственная“ не въ какомъ-нибуд
мистическомъ смыслѣ. Сразу чувствовалась недюжинная сила в
этомъ чужомъ, никому неизвѣстномъ юномъ пришельцѣ из
Москвы. Она пробивалась въ мимоходомъ брошенномъ замѣчані
въ манерѣ говорить и держать себя, во множествѣ отдѣльных
мелочей, но разгадать ее было трудно, трудно было даже близк
подойти къ ней. Кромѣ неизвѣстнаго намъ вклада наслѣдстве
ности, далекая сибирская родина — деревня, раннее сиротств
нищета, суровая жизнь и нравственная безпріютность въ духо
номъ училищѣ и семинаріи,—все это закалило человѣка замкну
таго, сосредоточеннаго, упорнаго, рѣдко раскрывающаго перед
другими душу. Для этого или онъ самъ долженъ придти въ осо
бенное настроеніе преходящей экспансивности, или быть въ сред
людей, очень близкихъ по духу. Внѣ этихъ двухъ условій он
сухъ, молчаливъ, подозрителенъ вслѣдствіе привычной озабочен

Digitized by Google

ности, какъ-бы кто посторонній не заглянулъ въ происходящую въ немъ внутреннюю работу. Открытому выраженію своихъ чувствъ и мыслей онъ часто предпочитаетъ намекъ или ироническую улыбку, какъ-бы пріотворяя дверь внутрь себя и тотчасъ-же захлопывая ее. Любовь онъ внушаетъ лишь немногимъ, кого близко подпускаетъ къ себѣ, уваженіе — всѣмъ, даже не знающимъ его, но чувствующимъ присутствіе сдержанной силы. Елисеевъ былъ такимъ въ академіи, по свидѣтельству г. Знаменскаго, и такимъ-же во времена моего съ нимъ знакомства.

Но ранняя прочность и опредѣленность характера не есть еще неподвижность духовная вообще. Житейскій опытъ, новыя встрѣчи и знакомства, новыя сферы дѣятельности, углубленіе мысли и расширеніе умственнаго горизонта, оставляя неприкосновенными основныя черты характера, не могутъ, однако, проходить безслѣдно. И годы пребыванія въ казанской духовной академіи должны были быть особенно вліятельны. Какъ ни кратковременно было это пребываніе,—а оно даже и не очень кратковременно было: около десяти лѣтъ,—Елисеевъ не могъ за это время не вырости; и нельзя себѣ представить, чтобы, вступая въ академію въ качествѣ юнаго профессора и выходя изъ нея, онъ былъ вполнѣ себѣ равенъ. Г. Знаменскій самъ говоритъ, что было-бы интересно знать, какое вліяніе имѣлъ на Елисеева упомянутый уже „идеалистическій“ кружокъ молодыхъ баккалавровъ. Конечно, это было-бы очень интересно, но г. Знаменскій ведетъ свой разсказъ такъ, какъ будто ни непосредственный переходъ со школьной скамьи на профессорскую каѳедру, ни этотъ самый идеалистическій кружокъ и ничто другое не оказало никакого вліянія на Елисеева. Основныя черты характера Елисеева сложились такъ рано и прочно, что къ нему, больше чѣмъ къ кому-нибудь, можно примѣнить пословицу: „каковъ въ колыбельку, таковъ и въ могилку“. Но едва-ли резонно размышлять о томъ, былъ-ли Елисеевъ „либераломъ“ или „скептикомъ“ на всемъ протяженіи десяти лѣтъ своего пребыванія въ казанской академіи. Разное тутъ, надо думать, было.

Итакъ, явился Елисеевъ въ академію человѣкомъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ вполнѣ готовымъ, на всю жизнь запечатлѣннымъ. Въ двадцать три года онъ уже импонировалъ окружающимъ своею серьезностью, замкнутостью, изъ-подъ которой выбивалась иногда холодная иронія, дававшая знать о значительности и

Digitized by Google

сложности внутренней работы, происходившей въ этомъ человѣкѣ. Работа, дѣйствительно, происходила значительная и сложная. Какъ ни какъ, а этому сдержанному, замкнутому человѣку, все таки, было только двадцать три года. Основныя черты его характера уже сложились, — сложились, по всей вѣроятности, въ общихъ чертахъ и его общественныя симпатіи и антипатіи. Но и его міросозерцанію, и его житейскимъ планамъ приходилось еще вырабатываться. Ему приходилось еще даже набираться знаній, и не про запасъ будущаго, и не для вольнаго ихъ употребленія по своему личному усмотрѣнію, а для немедленнаго утилизированія въ формѣ обязательныхъ лекцій студентамъ.

Въ упомянутой уже предсмертной статьѣ, напечатанной въ „Вѣстникѣ Европы", Елисеевъ вспоминаетъ о господствовавшемъ въ его время въ духовныхъ академіяхъ странномъ обычаѣ назначать молодыхъ профессоровъ на каѳедру и потомъ перемѣщать ихъ съ одной каѳедры на другую безъ всякаго вниманія къ степени ихъ подготовленности и къ ихъ склонностямъ. Большое обиліе примѣровъ этого рода читатель можетъ найти въ трудѣ г. Знаменскаго. Съ насъ достаточно примѣра самого Елисеева. Первоначально онъ былъ назначенъ баккалавромъ по церковной русской исторіи и еврейскому языку. Отъ преподаванія послѣдняго онъ былъ черезъ годъ освобожденъ, но за-то въ разное время читалъ, сверхъ церковной русской исторіи, гражданскую русскую исторію, нѣмецкій языкъ и каноническое право. Церковною русскою исторіей Елисеевъ, будучи студентомъ, занимался, по его словамъ, „довольно усердно"; кромѣ того, писалъ по этому предмету курсовую диссертацію. Еврейскимъ языкомъ онъ мало занимался въ московской академіи, но, по крайней мѣрѣ, интересовался имъ. Но каноническое право въ его время совсѣмъ не читалось въ московской академіи и потому, попавъ волею судьбы или ректора на эту каѳедру, онъ очутился въ большомъ затрудненіи. Къ счастью, каноническое право было скоро передано другому профессору, такъ что онъ успѣлъ прочитать всего шесть лекцій. Замѣна еврейскаго языка нѣмецкимъ его не затруднила, такъ какъ онъ, повидимому, всегда любилъ этотъ языкъ. Но уже настоящая тяжесть обрушилась на него, когда къ церковной русской исторіи присоединена была гражданская. Странность едва вѣроятная, но она значится въ одной изъ автобіографическихъ записокъ Елисеева: въ московской духовной академіи

Digitized by Google

онъ ни русской гражданской, ни всеобщей исторіи не слушалъ, такъ какъ предметы эти не были обязательны и желающіе могли слушать, вмѣсто нихъ, математику. Елисеевъ выбралъ математику, и по части исторіи имѣлъ лишь семинарскія и затѣмъ, такъ сказать, приватныя познанія, пріобрѣтенныя въ часы досуга и по прикосновенности къ церковной исторіи. Но и помимо этого, имѣя вначалѣ лишь каѳедру церковной исторіи и еврейскаго языка, молодой баккалавръ отлично понималъ, что, призванный учить, онъ самъ долженъ еще много учиться. Готовности было много, но не мало было и препятствій, прежде всего, въ недостаткѣ научныхъ пособій. Жалованья баккалавръ получалъ 29 р. 83 коп. въ мѣсяцъ. Изъ этой суммы мудрено было удѣлить много на книги. А академическая библіотека была очень скудна, такъ какъ академія была открыта всего за два года передъ тѣмъ и, въ качествѣ учрежденія новаго, не успѣла еще разбогатѣть книгами. Притомъ-же, ректоръ академіи, архимандритъ Григорій, человѣкъ добрый и не глупый, но недостаточно для своего поста образованный, слишкомъ ужъ берегъ казенную копѣйку и скупился на выписку книгъ. Елисеевъ приставалъ, добивался выписки книгъ при помощи разныхъ хитростей, обращался въ университетскую библіотеку, выписывалъ черезъ академическое начальство книги и рукописи, для временнаго пользованія, изъ семинарскихъ библіотекъ. „Призадуматься было надъ чѣмъ,—пишетъ Елисеевъ.—Надобно было болѣе или менѣе основательно познакомиться со всею всеобщею исторіей, по крайней мѣрѣ, послѣдняго тысячелѣтія, чтобы затѣмъ или, по крайней мѣрѣ, одновременно изучать русскую гражданскую и, вмѣстѣ съ тѣмъ, готовить лекціи студентамъ, каждую недѣлю по двѣ—по русской гражданской исторіи и двѣ—по русской церковной. Для меня это былъ трудъ поистинѣ колоссальный. Я просиживалъ дни и ночи, чтобы не ударить лицомъ въ грязь передъ студентами, которые большею частью были люди даровитые, способные оцѣнить всякую лекцію, насколько она содержательна, основательна и стоитъ вниманія“.

Но это только одна сторона дѣла. Назвавшись груздемъ, молодой баккалавръ добросовѣстно полѣзъ въ кузовъ. Хотя, собственно говоря, онъ даже не самъ груздемъ назвался, а его, помимо его воли, назвали, но онъ работалъ изъ всѣхъ силъ, по природной или рано воспитанной замкнутости и вида не пока-

Digitized by Google

зывая, чего ему это стоитъ. Имъ не разъ овладѣвало отчаяніе „хотя,—вспоминаетъ онъ,—по наружности это никому не было видно. По наружноси все обстояло благополучно. Лекціи мои конечно, не были самостоятельны, какъ оно и естественно въ началѣ, но онѣ были дѣльны и въ общемъ настолько приличны что ихъ можно было слушать не безъ пользы. А когда рѣчь заходила о такомъ предметѣ, который давалъ широкій простор вносить въ нихъ элементъ моральный или публицистическій, т лекціи выходили не только крайне интересныя, но и блестящія Такихъ предметовъ въ русской исторіи очень много“.

Елисеевъ нисколько не преувеличиваетъ, говоря, что его лекціи бывали крайне интересны и даже блестящи. Мы имѣем на этотъ счетъ свидѣтельства его слушателей. Приведенны воспоминанія Елисеева могутъ дать читателямъ, напротивъ, пре уменьшенное понятіе о значеніи его лекцій. Безъ всякаго со мнѣнія, онъ не проложилъ новаго пути наукѣ. Но, при его выдающихся способностяхъ, тотъ упорный трудъ, о которомъ он самъ разсказываетъ, конечно, долженъ былъ принести соотвѣт ственные плоды. Даже заурядный умъ, при такой упорно работѣ, долженъ былъ въ достаточной степени овладѣть пред метомъ, а умственныя способности Елисеева были далеко выш среднихъ. Этотъ большой, оригинальный и проницательный ум не былъ умомъ человѣка чистой науки или отвлеченной теоріи но за-то превосходно оріентировался въ вопросахъ практическо жизни и отличался необыкновенною чуткостью въ этой области Таковъ онъ былъ и впослѣдствіи, въ качествѣ журналиста таковъ-же онъ былъ и въ академіи. Въ атмосферѣ религіозных и церковныхъ вопросовъ, въ которой онъ жилъ съ самаго дѣт ства, его, повидимому, никогда особенно не интересовали теоре тическія исходныя точки,—онъ былъ къ нимъ равнодушенъ. Н тѣмъ большее значеніе получалъ для него нравственный, прак тическій элементъ религіи. Таковъ, повторяю, былъ склад его вообще. И впослѣдствіи онъ сравнительно мало инте ресовался теоретическими исходными точками и готовъ был снисходительно отнестись ко всякой, если оказывалось возмож нымъ привести ее въ связь съ извѣстными дорогими ему практи ческими выводами. Тонкій наблюдательный умъ помогъ ему быстро оріентироваться въ академической средѣ и оцѣнить раз ныя ея слабости и несоотвѣтствія съ оффиціально поставленным

Digitized by Google

задачами. Уже одни произвольные переводы профессоровъ съ одной каѳедры на другую, эти внезапныя превращенія математиковъ въ гебраистовъ, богослововъ въ математиковъ и т. п.— давали не блестящее понятіе о постановкѣ дѣла просвѣщенія вообще, религіознаго въ особенности. И все было подъ стать этому странному распорядку, какъ можно судить по слѣдующему эпизоду, разсказанному въ обширномъ некрологѣ Порфирьева, напечатанномъ въ „Православномъ Собесѣдникѣ“ за 1890 годъ. Эпизодъ хорошо рисуетъ и нѣкоторыя стороны академической жизни, и нѣкоторыя черты Елисеева.

Порфирьевъ, авторъ извѣстной „Исторіи русской словесности“, а тогда молодой баккалавръ, былъ близкимъ другомъ Елисеева (его памяти посвящена послѣдняя, предсмертная статья Елисеева въ „Вѣстникѣ Европы“). Онъ составилъ записки по теоріи словесности, отличавшіяся по тогдашнему времени нѣкоторыми новшествами. Ректору, человѣку мало свѣдущему и взбалмошному, записки не понравились. Онъ потребовалъ передѣлки записокъ, уклонившись, однако, отъ объясненія, что именно и въ какомъ именно направленіи должно быть передѣлано. Порфирьевъ горевалъ и недоумѣвалъ. Горевалъ потому, что положилъ въ свой курсъ много труда и послѣдовательной мысли, недоумѣвалъ потому, что не получилъ отъ ректора никакихъ указаній. Его выручилъ Елисеевъ. Хорошо зная ректора, оно ручался Порфирьеву за успѣхъ, если тотъ просто перепишетъ нѣсколько листковъ заново и опять представитъ записки ректору, ничего въ нихъ не измѣняя. Вышло какъ по писаному: „Ну, вотъ, теперь другое дѣло“,—сказалъ ректоръ, и записки были спасены.

Все это было мало отрадно, мало привлекательно, но для человѣка наблюдательнаго представляло своего рода богатую школу практической психологіи. Почему знающій и любящій свое дѣло профессоръ противомусульманскаго отдѣленія, одинъ изъ немногихъ знатоковъ исторіи, языковъ и религіи Востока, окажется вдругъ математикомъ? Почему забракованный сегодня курсъ теоріи словесности окажется вдругъ черезъ недѣлю пригоднымъ? Эти „вдругъ“ представляли собою психологическія загадки, для рѣшенія которыхъ требовалось пристальное наблюденіе надъ людскими faits et gestes... Не выходя изъ стѣнъ академіи, Елисеевъ могъ наблюдать не только вспышки ничѣмъ не стѣсняющагося произвола, но и естественныхъ спутниковъ такого по-

Digitized by Google

рядка вещей—разнообразныя его отраженія въ видѣ негодованія озлобленія, лицемѣрія, умѣнья и неумѣнья приспособиться. Представьте только себѣ человѣка, назначаемаго противъ его воли и склонностей и не взирая даже на его незнакомство съ предметомъ, профессоромъ, напримѣръ, богословія. Елисеевъ отчасти на себѣ испыталъ это положеніе, въ особенности, когда къ его предметамъ было внезапно прибавлено каноническое право, котораго онъ не зналъ и къ которому не чувствовалъ никакого влеченія. Но онъ былъ такъ счастливъ или такъ ловокъ, что могъ ограничиться всего шестью лекціями по этой каѳедрѣ. Ему не пришлось, значитъ, à la longue насиловать себя, лицемѣрить, излагая неизвѣстное ему самому, и возбуждать въ слушателяхъ интересъ къ тому, что для него самого нисколько не интересно. Но видалъ въ этомъ родѣ онъ много и, конечно, многое извлекъ изъ этого житейскаго опыта. Я потому останавливаюсь на этой сторонѣ академической жизни Елисеева, что она его самого очень занимала, но были, разумѣется, и другіе поводы для подобныхъ же наблюденій, поучительныхъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, огорчительныхъ съ точки зрѣнія практическаго, нравственнаго элемента религіи, который былъ для него всегда дорогъ, независимо отъ теоретической основы...

Остановимся еще на минуту на эпизодѣ съ записками Порфирьева. Безъ сомнѣнія, нужно было очень тонко знать ректора и быть твердо увѣреннымъ въ этомъ знаніи, чтобы присовѣтывать такой рискованный шагъ и не ошибиться въ разсчетѣ. Фактъ этотъ можетъ служить выразительною иллюстраціей къ утвержденію г. Знаменскаго, что Елисеевъ былъ „человѣкъ практическій, способный хорошо примѣняться къ требованіямъ среды“. На основаніи близкаго своего знакомства съ Елисеевымъ въ позднѣйшее время, я готовъ это самое слово, да не совсѣмъ такъ молвить. Съ приведенными словами у васъ невольно ассоціируется представленіе о человѣкѣ, низкомъ-ползкомъ пробирающемся къ спокойному житью, выгодному положенію, жирному куску, почестямъ. Ничего не можетъ быть ошибочнѣе относительно Елисеева. Способность приспособляться къ требованіямъ среды въ немъ несомнѣнно была, и въ очень сильной степени, но надо знать, какое употребленіе онъ дѣлалъ изъ этой способности. Объ этомъ можно судить по эпизоду съ записками Порфирьева: онъ приспособлялся, чтобы приспособлять. Онъ воспользовался своимъ знаніемъ взбал-

Digitized by Google

мощной натуры ректора и его невѣжества для того, чтобы благополучно провести курсъ теоріи словесности, въ который Порфирьевъ вложилъ много добросовѣстнаго труда. Такая способность приспособленія могла быть до извѣстной степени природнымъ даромъ; но такъ какъ она опирается на знаніе людей, то должна быть, вмѣстѣ съ тѣмъ, результатомъ житейскаго опыта, очевидно, пріобрѣтеннаго уже въ стѣнахъ казанской академіи.

Такимъ образомъ, академія многому научила Елисеева. Въ ея стѣнахъ онъ пріобрѣлъ серьезныя научныя знанія и прошелъ своеобразную житейскую школу. И въ той, и въ другой области онъ дѣлалъ большіе успѣхи, но этотъ выигрышъ покупался слишкомъ дорогою цѣной. Внѣшнимъ образомъ все шло болѣе, чѣмъ хорошо. Среда, въ которой довелось жить и дѣйствовать Елисееву, относилась къ нему съ уваженіемъ, но бѣда была въ томъ, что онъ-то не могъ отплачивать ей тою-же монетой. Тонкое знаніе людей и умѣнье ладить съ ними обезпечивали ему выдающееся положеніе въ академіи, но вмѣстѣ съ пріобрѣтеніемъ этого знанія и умѣнья вливалась горечь въ нравственное сознаніе. Если-бы онъ былъ изъ такихъ людей, которые умѣютъ приспособляться для того, чтобы вылѣзть куда-нибудь наверхъ на чужихъ спинахъ и тамъ, на этой высотѣ, успокоиться,—онъ легко могъ-бы этого достигнуть. Но чѣмъ больше онъ узнавалъ людей своей среды и чѣмъ больше убѣждался въ возможности управлять ими при помощи этого знанія, тѣмъ сильнѣе точилъ его червь недовольства. Все было не по немъ—не только его личное положеніе, но и всѣ академическіе порядки, вся атмосфера заведенія. Усиленная работа отвлекла его на нѣкоторое время отъ сознанія несоотвѣтствія того пути, на который его толкнула судьба, съ его вкусами, наклонностями и смутными, только еще слагавшимися идеалами. Работа эта, въ сущности сводившаяся на приготовленіе къ лекціямъ, уже потому не давала удовлетворенія, что была тою именно цѣпью, которая связывала его съ академіей. Оригинальный и серьезный умъ Елисеева требовалъ себѣ соотвѣтственной пищи, чего-нибудь, находящагося въ связи съ его спеціальными занятіями по исторической каѳедрѣ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, новаго, не разработаннаго и собственно отъ академіи независимаго. А тѣсныя условія, въ которыхъ ему приходилось жить, указали на задачи по мѣстной исторіи и археологіи.

Елисеевъ принялся за работу съ большимъ рвеніемъ. Онъ

Digitized by Google

обратился къ казанскому архіерею Владиміру съ просьбой о предписаніи выслать ему, Елисееву, для временнаго пользованія, изъ разныхъ церквей и монастырей описанія мѣстныхъ древностей, лѣтописи, синодики, описи церковнаго имущества. Онъ уже настолько ознакомился съ дѣломъ, что могъ, въ своемъ прошеніи къ архіерею, съ точностью указать тѣ мѣста, куда слѣдуетъ обратиться за нужными ему матеріалами. Архіерей отнесся къ прошенію благосклонно, но замѣтилъ въ своей резолюціи, что отъ монастырей и причтовъ „нельзя, кажется, будетъ дождаться и въ нѣсколько лѣтъ нужныхъ свѣдѣній“, и рекомендовалъ Елисееву обратиться за этими свѣдѣніями въ каждое мѣсто самому лично. Но это оказалось совершенно неудобоисполнимымъ, и если бы сношенія съ разными церквами и монастырями не взяло на себя академическое правленіе, то Елисеевъ, вѣроятно, ничего не добился-бы. Впрочемъ, ему лично приходилось вести по этому поводу довольно дѣятельную переписку. Плодомъ этихъ занятій были два первыя сочиненія Елисеева: „Исторія жизни первыхъ насадителей и распространителей Казанской церкви, святителей Гурія, Варсонофія и Германа“ (Казань, 1847 г.) и „Краткое сказаніе о чудотворныхъ иконахъ Казанской, Седміозерской, Раиеской и Мироносицкой пустыни“ (М., 1849 г.). Авторъ „Исторіи казанской духовной академіи“ сообщаетъ, что „новый казанскій архіепископъ Григорій остался не совсѣмъ доволенъ этими произведеніями. Первое казалось ему холодно и мало назидательно, что и заставило его въ 1853 г. издать свое собственное „Житіе святителей и чудотворцевъ Гурія и Варсонофія“ съ разными нравоучительными замѣтками и съ приложеніемъ чудесъ святыхъ“. Что касается второй работы, то она вызвала полемическую переписку между Елисеевымъ и московскимъ ученымъ Невоструевымъ. Споръ шелъ о сравнительной древности иконъ Казанской Божіей Матери, находящихся въ Москвѣ и въ Казани. Елисеевъ оказался побѣдителемъ. Для печати перепиской этой, хранившейся въ библіотекѣ казанской академіи, воспользовалось впослѣдствіи другое лицо. Немудрено, что когда въ 1850 г., по распоряженію синода, было предпринято историко-статистическое описаніе казанской епархіи, трудъ этотъ былъ порученъ Елисееву. На этотъ разъ ему были предоставлены и нѣкоторыя денежныя средства, и возможность работы въ архивахъ, не только казанскихъ, но и петербургскихъ и московскихъ. Въ февралѣ 1853 года онъ пред-

Digitized by Google

тавилъ первую, вполнѣ законченную часть труда, подъ заглаіемъ: „Исторія распространенія христіанства въ краѣ Казанкомъ“. „Но,—замѣчаетъ г. Знаменскій,—по обстоятельствамъ, на не была напечатана и осталась въ рукописи въ библіотекѣ кадеміи“. Какія именно обстоятельства помѣшали появленію того труда въ печати, историкъ казанской духовной академіи е сообщаетъ. Онъ прибавляетъ, однако, что и въ своемъ незаонченномъ видѣ трудъ Елисеева не остался безплодиымъ: надъ атеріалами, имъ собранными, работали потомъ другіе, и „нельзя казать, чтобы содержаніе этихъ матеріаловъ было вполнѣ исчерано даже доселѣ“ (въ 1892 г.).

Скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается. Къ тому времени Елисеевъ былъ уже секретаремъ академіи и кстраординарнымъ профессоромъ. Положеніе его все упрочилось, репутація возвышалась, онъ былъ однимъ изъ самыхъ ідныхъ профессоровъ академіи. Но недовольство атмосферой родолжало обостряться и получило даже, вѣроятно, новые толчки тъ сношеній съ церковными причтами и монастырями, къ котоымъ нужно было обращаться за матеріалами и отъ которыхъ, акъ и архіерей предупреждалъ, „нельзя, кажется, будетъ дожаться и въ нѣсколько лѣтъ нужныхъ свѣдѣній“. Острѣе становился и вопросъ о будущемъ: что-же дальше? все то-же? и такъ сю жизнь?

Вотъ какъ описываетъ самъ Елисеевъ свое тогдашнее состояіе: „Мнѣ часто стало приходить на мысль немедленно бѣжать зъ академіи. Но куда бѣжать? Самымъ прямымъ и законнымъ ыходомъ былъ-бы выходъ въ духовное званіе. Выходъ этотъ редставлялъ для меня много выгодъ. Благоволившій ко мнѣ за ои работы по составленію историческаго описанія казанской пархіи преосвященный далъ-бы мнѣ лучшее мѣсто въ Казани, редоставилъ-бы вскорѣ открывшуюся каѳедру профессора боголовія въ университетѣ и т. п. Но мои идеалы были совсѣмъ ругіе и никакъ не совпадали съ жирнымъ и лѣнивымъ существованіемъ нашего бѣлаго духовенства. А кромѣ того, во мнѣ е было ни твердыхъ религіозныхъ убѣжденій, ни горячаго реигіознаго чувства... Другія, болѣе соблазнительныя мысли мельали у меня въ головѣ. Я былъ молодъ, по крайней мѣрѣ, натолько молодъ, что чувствовалъ себя способнымъ еще выдерать полный курсъ ученія; во мнѣ кипѣла жажда знанія и участія

Digitized by Google

въ той интеллигентной жизни, которая, по моему мнѣнію, сосредоточивалась тогда въ Москвѣ, и меня тянуло бросить свое профессорство въ академіи, поступить студентомъ въ московскій университетъ. Имѣй я возможность обезпечить себя на четыре года университетскаго курса, я бы непремѣнно привелъ эту свою мысль въ исполненіе. Но я не имѣлъ возможности и подумать объ этомъ серьезно. Кромѣ тѣхъ 29 р. 83 к. ежемѣсячнаго жалованья, которые я получалъ по должности наставника академіи и которыхъ едва хватало мнѣ на самое скудное содержаніе, у меня не было никакихъ другихъ источниковъ доходовъ. Ни о какомъ кредитѣ въ будущемъ, даже на самое короткое время и самой ничтожной суммы, мнѣ нельзя было думать. И мнѣ надо было оставаться на мѣстѣ, лаская себя мечтательною надеждой, что, дескать, время еще не ушло, черезъ два-три года я успѣю достигнуть желаемаго. На самомъ-же дѣлѣ, каждый новый годъ моей службы скорѣе увеличивалъ, чѣмъ уменьшалъ несоотвѣтствіе моихъ средствъ съ возроставшими потребностями и меня самого дѣлалъ менѣе годнымъ для превращенія снова въ школьника".

Такое тягостное настроеніе не могло не отражаться и на отношеніяхъ Елисеева къ окружающимъ, и на самыхъ его лекціяхъ. Скверно было на душѣ, поднималась жолчь,—поднималась и выливалась въ резолюціяхъ вродѣ „пирогъ безъ начинки" или въ саркастическаго характера лекціяхъ. Г. Знаменскій утверждаетъ, что лекціи Елисеева „прошли въ исторіи академіи какъ-то мало замѣтно, вслѣдствіе, можетъ быть, своего сухого историко-археологическаго характера". Въ общемъ это, можетъ быть, и вѣрно. Но вѣрно также и то, что лекціи Елисеева не всегда были сухимъ изложеніемъ историко-археологической матеріи, а нѣкоторыя изъ нихъ были даже очень и очень замѣтны. И г. Знаменскій это знаетъ. По словамъ г. Виноградова въ „Иркутскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ" 1890 г., въ аудиторіи Елисеева часто раздавался „гомерическій смѣхъ". „Впечатлѣніе отъ его лекцій,—вспоминаетъ г. Виноградовъ,—мало подходившихъ къ духовному строю академіи, еще усиливалось отъ манеры его чтенія. Самыя пикантныя фразы онъ произносилъ невозмутимо съ самымъ строгимъ выраженіемъ лица и голоса, ни разу не улыбнувшись; напротивъ, чѣмъ пикантнѣе была его лекція, тѣмъ лицо его становилось серьезнѣе, голосъ строже. Въ то время, когда студентами овладѣвалъ неудержимый смѣхъ, онъ спокойно

Digitized by Google

станавливался, пока не пройдетъ смѣхъ студентовъ, или спра-
ивалъ словами Гоголя: надъ чѣмъ смѣетесь?—надъ собою
мѣетесь".

Я ни мало не сомнѣваюсь, что въ этихъ лекціяхъ не было
ичего кощунственнаго, никакой насмѣшки собственно надъ ре-
игіей: жолчною ироніей обдавались лишь среда, представители
оторой поэтому, дѣйствительно, „надъ собою смѣялись". Но и
ызывалъ этотъ смѣхъ Елисеевъ, конечно, не съ легкимъ серд-
цемъ, потому что, вѣдь, онъ былъ самъ плоть отъ плоти и кровь
тъ крови этой среды. Впослѣдствіи, въ своихъ „внутреннихъ
бозрѣніяхъ", онъ не разъ съ большимъ участіемъ трактовалъ о
удьбѣ семинаристовъ и духовенства (только о монашествѣ онъ
олчалъ упорно) и по свойственному ему практическому складу
ма предлагалъ разные проекты улучшенія ихъ быта. Упомяну-
ыя-же саркастическія лекціи были плодомъ глубокой тоски и
тремленія къ иному положенію...

Въ памяти слушателей Елисеева сохранились его лекціи и
ругого характера. И г. Знаменскій опять-таки это знаетъ и самъ
азсказываетъ. Такъ, въ 1850 году Елисеевъ прочиталъ нѣсколько
екцій о Протасовской реформѣ учебныхъ заведеній и о почти
овременномъ тогда дѣлѣ переводчика Библіи протоірея Павскаго.
„Студенты такъ были наэлектризованы этими лекціями, что въ
ервый разъ отъ основанія академіи въ аудиторіи профессора
аздались аплодисменты". Такой-же, повидимому, эффектъ про-
звела въ 1852 г. его вступительная лекція въ курсъ церковной
исторіи. Лекція трактовала „о жизни привилегированныхъ клас-
овъ въ Россіи, о горемычномъ житьѣ народа и о крѣпостномъ
правѣ,—предметѣ тогда еще положительно запрещенномъ". По-
добныя лекціи естественно должны были вызывать энтузіазмъ въ
слушателяхъ.

Я сказалъ, что въ общемъ замѣчаніе г. Знаменскаго относи-
тельно характера лекцій Елисеева и ихъ значенія въ академіи
ожетъ быть и вѣрно. Но едва-ли правъ г. Знаменскій, когда
ыражаетъ эту мысль слѣдующими рѣзкими словами: „Замѣча-
тельно, что во все время академической службы Елисеева сту-
денты вовсе не занимались русской исторіей, и даже самый луч-
шій его слушатель и преемникъ, А. П. Щаповъ, оказался ни-
кѣмъ ему не обязаннымъ въ своемъ историческомъ направленіи
и пошелъ по своему собственному пути".

Digitized by Google

Одинъ изъ слушателей Елисеева, нынѣ ирбитскій мирово судья, А. И. Иконниковъ, сообщилъ мнѣ слѣдующій любопытны эпизодъ, съ разныхъ сторонъ рисующій Елисеева, какъ профе сора.

Однажды Елисеевъ задалъ всѣмъ своимъ слушателямъ обы ное мѣсячное сочиненіе на необычную въ академіи тему: святочныхъ переряживаніяхъ. Онъ указалъ при этомъ и исто ники: книгу Терещенка, статью Кавелина и т. д. Это было с всѣмъ неожиданно для студентовъ, привыкшихъ ломать голов надъ темами вродѣ „какое различіе между мышленіемъ и бы тіемъ?“ и т. п. Принялись за дѣло, кто какъ умѣлъ. Выдѣлилис два студента: одинъ старшаго курса—Стекловъ, впослѣдствіи ре торъ нижегородской семинаріи, другой младшаго курса—Щапов Стекловъ отнесся къ заданной темѣ высокомѣрно, высказавшис въ своемъ сочиненіи въ томъ смыслѣ, что святочныя переряжи ванія—просто „крестьянское баловство“, не стоющее внимані людей науки. Разбору этого мнѣнія Елисеевъ посвятилъ цѣлу лекцію, причемъ, не называя имени автора, обдалъ его тою ядови тою ироніей, которой такъ боялись студенты. Что-же касаетс Щапова, то онъ сильно увлекся заданной темой, и вмѣсто обы ныхъ 3—5 листовъ, написалъ листовъ 20... Быть можетъ, эт былъ первый толчокъ, опредѣлившій характеръ занятій Щапова

Здѣсь кстати припомнимъ одинъ позднѣйшій литературны эпизодъ изъ жизни Елисеева.

Въ 1878 г. одинъ писатель, въ жару полемики, попрекнул Елисеева его первымъ спеціальнымъ литературнымъ трудомъ— „Житіемъ Гурія, Варсонофія и Германа“. Въ особенности под черкивалось посвященіе книжки казанскому архіерею, въ котором авторъ называлъ свой трудъ „малою лептой моего дѣланія“ просилъ принять его „съ нисхожденіемъ, да ободрится къ боль шимъ трудамъ недостоинство трудящагося“. Попрекъ не имѣл никакого отношенія къ предмету полемики и былъ выдвинутъ какъ у насъ это часто бываетъ, съ единственною цѣлью уколот противника, причинить ему непріятность. Но попрекавшій, как это тоже часто бываетъ, ошибся въ разсчетѣ. Елисеевъ ни мал не сконфузился и съ достоинствомъ поднялъ брошенную ему перчатку, не пытаясь ни замолчать выкопанный изъ его далекаго прошлаго фактъ, ни отрицать его, ни какъ-нибудь криво истол ковать. Ни въ чемъ подобномъ и надобности не было. Задавался

Digitized by Google

опросъ: „когда г. Елисеевъ былъ искреннимъ человѣкомъ, тогда-
и, когда въ немъ кипѣла юношеская кровь и онъ писалъ „малыя
епты“, или теперь, когда опытъ жизни умудрилъ его и онъ
ишетъ „внутреннее обозрѣніе“? Вопрошавшій не могъ не пони-
ать, что въ теченіе тридцати лѣтъ человѣкъ можетъ рѣзко из-
ѣнить свое міросозерцаніе, оставаясь вполнѣ искреннимъ. Не
огъ онъ также не понимать, что въ духовномъ сословіи суще-
твуютъ, можетъ быть, и теперь, а тѣмъ паче существовали
ридцать лѣтъ тому назадъ, свои особыя формы эпистолярнаго
лога, столь-же условныя, какъ наши теперешнія „милостивый
осударь“ и „съ истиннымъ почтеніемъ имѣю честь быть по-
орнѣйшимъ слугой“. Но Елисеевъ не ограничился этими слиш-
омъ уже элементарными возраженіями. Онъ указалъ на
ерты единства всей своей дѣятельности. Онъ заявилъ, что ни
ало не стыдится „за тридцать слишкомъ лѣтъ составленнаго имъ
изнеописанія первыхъ казанскихъ архіереевъ, людей даже и съ
ражданской точки зрѣнія достойныхъ всякаго уваженія, потому
то они для культуры и развитія края сдѣлали болѣе, чѣмъ
колько дѣлали не только тогдашніе воеводы, но чѣмъ сколько
ѣлаютъ и нынѣшніе генералы“. „Сфера моей прежней спеціаль-
ой литературной дѣятельности,—писалъ Елисеевъ,—въ существѣ
воемъ вовсе не находится въ такомъ противорѣчіи съ моею
ынѣшнею литературною дѣятельностью, чтобы нужно было ради-
альное нравственное измѣненіе для перехода изъ первой въ
ослѣднюю... Съ лѣтами должно было болѣе или менѣе видоиз-
ѣниться мое теоретическое религіозное міросозерцаніе, но нрав-
твенное міросозерцаніе осталось то-же самое: тѣ моральныя
стины, которымъ я училъ въ проповѣдяхъ, которыя имѣлъ въ
иду или излагалъ въ своихъ лекціяхъ студентамъ, которыя про-
одилъ въ историческихъ трудахъ, тѣ-же самыя истины я из-
агаю или имѣю въ виду и въ моихъ „внутреннихъ обозрѣніяхъ“.
Мы знаемъ теперь, что Елисеевъ могъ-бы сказать на эту тему
ораздо больше.

Собирая матеріалы для историко-статистическаго описанія
азанской епархіи, Елисеевъ побывалъ въ Петербургѣ и Москвѣ
, значитъ, подышалъ новымъ воздухомъ. Не Богъ знаетъ какимъ
ѣлительнымъ воздухомъ дышала тогда вся Россія (то былъ ка-
унъ крымской войны), но были, однако, уголки, гдѣ еще съ
ороковыхъ годовъ свято хранился Прометеевъ огонь. Случилось

Digitized by Google

ли гдѣ-нибудь Елисееву столкнуться съ однимъ изъ такихъ храни лищъ, мы не знаемъ. Но, во всякомъ случаѣ, одно изъ таких хранилищъ само собою устроилось въ стѣнахъ казанской академіи То былъ „идеалистическій“ кружокъ молодыхъ профессоровъ, о кото ромъ выше было уже вскользь упомянуто. Кружокъ этотъ представ лялъ собою нѣчто очень любопытное. Въ бумагахъ Елисеева я нашел нѣсколько писемъ покойнаго Порфирьева. Есть письма еще какого то товарища по службѣ въ академіи, съ неразборчивою подписью Переписка была начата или послѣ долгаго перерыва возобнов лена самимъ Елисеевымъ и мотивируется, между прочимъ, во поминаніями о „зеленомъ“, по его выраженію, времени акаде мическаго кружка. Такіе моменты жизни не забываются и даж издалека свѣтятъ и грѣютъ. Повидимому, для всѣхъ членов кружка навсегда остались свѣтлыми воспоминанія о тѣсной дружб и истинно братскихъ отношеніяхъ, связавшихъ эту горсть мол дыхъ людей, о совмѣстныхъ чтеніяхъ разныхъ литератур ныхъ новинокъ и рѣдкостей, и горячихъ бесѣдахъ на остры темы. Одинъ изъ членовъ кружка, Н. И. Ильминскій, еще в 1865 г. разсказалъ кое-что въ „Ученыхъ Запискахъ Казанскаг Университета“. Образчикомъ времяпровожденія кружка может служить вечеръ, или, можетъ быть, вѣрнѣе, ночь, посвященна чтенію рукописнаго списка второй части „Мертвыхъ душъ“. Н столѣ стоялъ портретъ Гоголя, бутылка хереса и сальная свѣчка. Но въ этой убогой комнатѣ ключомъ била жизнь. Волна общих литературныхъ интересовъ захватила эту группу молодыхъ та лантливыхъ людей разныхъ спеціальностей. Здѣсь, судя по нѣ которымъ даннымъ, читались и дебатировались не только Го голь, а и Бѣлинскій, Искандеръ и многое другое, расширявше горизонты. Здѣсь слагался, вѣроятно, хотя частію, тотъ курс исторіи словесности Порфирьева, который Елисеевъ спасъ своим мудрымъ совѣтомъ. Здѣсь и Елисеевъ отдыхалъ душой, сбрас валъ всю свою сдержанность и холодную иронію и горячо го ворилъ обо всемъ, что въ немъ накипѣло. Здѣсь же слагались его лекціи о крѣпостномъ правѣ и другихъ щекотливыхъ п тогдашнему времени предметахъ, вызывавшія бурные аплод сменты аудиторіи,—явленіе, дотолѣ не бывалое въ казанской ак деміи и повторявшееся впослѣдствіи, кажется, только на лек ціяхъ Щапова. „Въ первый разъ мы узнали тутъ, что тако Елисеевъ“,—вспоминалъ одинъ изъ слушателей.

Digitized by Google

Къ этому можно прибавить, что въ извѣстномъ смыслѣ Елисеевъ и самъ незадолго передъ тѣмъ узналъ, что онъ такое, по крайней мѣрѣ, отрицательно. Онъ убѣдился именно, что не его дѣло чистая наука, научное изслѣдованіе фактовъ и объективная ихъ систематизація. Къ тому времени, когда онъ, послѣ усиленнаго труда, овладѣлъ своимъ предметомъ и могъ являться на каѳедру, уже не смущаясь своею неподготовленностью, предметъ тотъ получилъ для него новое освѣщеніе: русская исторія, церковная и гражданская, неразрывно связалась съ текущею жизнью и открылась со стороны своего „моральнаго или публицистическаго элемента“, какъ онъ самъ выражается въ автобіографической запискѣ. Для другого человѣка, а, можетъ быть, и для Елисеева при другихъ условіяхъ, въ другой обстановкѣ, это не только не было бы препятствіемъ къ дальнѣйшему воздѣлыванію науки, но могло бы даже быть новымъ толчкомъ въ этомъ направленіи. Въ самомъ дѣлѣ, научное изслѣдованіе нашего историческаго прошлаго можетъ, повидимому, только оживиться, получить новую привлекательность отъ дуновенія скорбей и радостей, наѣздъ и разочарованій, сейчасъ нами переживаемыхъ. Монастырская лѣтопись, синодикъ, какой-нибудь архивный документъ, способный обрадовать сердце историка, какъ новый матеріалъ для теоретическаго построенія, получаетъ еще при этомъ практически-жизненный характеръ, въ особенности для человѣка, умѣющаго утилизировать его въ видѣ урока внимательной и сочувственной аудиторіи. Но „моральный или публицистическій элементъ“ уже слишкомъ перевѣсилъ въ Елисеевѣ все остальные. Лѣтописи и синодики, архивные и археологическіе матеріалы, къ которымъ онъ было прилѣпился, утратили для него всякій интересъ, потому что вѣдь моральный или публицистическій элементъ можно найти гораздо ближе, вокругъ насъ сейчасъ. Такому повороту способствовалъ отчасти чисто практическій складъ ума Елисеева, а отчасти характеръ того оффиціально-научнаго поприща, на которое онъ былъ поставленъ обстоятельствами. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ казанскій архіерей, отъ котораго зависѣла судьба его литературно-научной дѣятельности, нашелъ его первую работу „холодною и мало-назидательною“. Если-бы онъ взялся за ту же тему въ концѣ своего пребыванія въ академіи, работа вышла-бы, вѣроятно, и горячею, и очень назидательною (иначе онъ въ тогдашнемъ своемъ настроеніи и не

Digitized by Google

взялся-бы за нее), но ни эта горячность, ни эта назидательност
навѣрное, не заслужили-бы одобренія: онѣ были-бы не въ надл
жащемъ тонѣ. Чистая наука оказалась для него дѣломъ непо
ходящимъ, но и наука-ancilla тоже. Упоминаніе въ автобіогр
фической запискѣ о „моральномъ и публицистическомъ элемент
чрезвычайно характерно. При томъ настроеніи, въ которомъ бы
тогда Елисеевъ, онъ могъ-бы найти удовлетвореніе только
двухъ положеніяхъ: проповѣдника и публициста. Для роли пр
повѣдника у него, по его собственному сознанію, не хватало
рячаго религіознаго чувства. Онъ никогда не былъ противъ р
лигіознаго источника проповѣди и всегда высоко цѣнилъ люде
искренно отдающихся этому дѣлу, если практическая сторо
ихъ проповѣди совпадала съ дѣломъ правды. Но самъ онъ
совѣсти не могъ утвердиться на этой точкѣ, а лгать не хотѣл
Что-же касается роли публициста, литературнаго истолковате
текущей жизни и оцѣнщика ея съ извѣстной общественной точ
зрѣнія, то онъ и впослѣдствіи долго еще не сознавалъ въ се
присутствія нужнаго для этой роли таланта. Да и какая-же тог
была публицистика? Въ симпатичномъ для Елисеева направлен
тогда еще кое-какъ могли справляться съ этимъ дѣломъ лю
исключительнаго таланта, витая въ сферахъ высшихъ теорет
ческихъ обобщеній, отвлеченій и иносказаній. Текущая жизнь
ея непосредственной фактической злобѣ дня была безусловно з
претнымъ плодомъ. Изъ этихъ отрицательныхъ слагаемыхъ п
лучился и итогъ отрицательный,—мучительная безвыходност
мрачное стремленіе махнуть на все рукой: идти некуда,
мѣстѣ оставаться нельзя. Навѣрное, много тяжелыхъ дней и бе
сонныхъ ночей провелъ въ это время Елисеевъ. И другой на е
мѣстѣ кончилъ-бы дурно. Это одно изъ тѣхъ именно положені
въ которыхъ люди спиваются, въ разумѣ повреждаются, пу
себѣ въ лобъ пускаютъ. Бѣда была близка отъ Елисеева и
извѣстной степени настигла его. Въ послѣдніе годы своей
ванской жизни онъ былъ не чуждъ слабости, сгубившей мно
талантливыхъ русскихъ людей. Глубочайшее мое уваженіе къ п
мяти Елисеева и искреннѣйшая любовь къ нему не мѣшаю
мнѣ помянуть эту черту его жизни, мало кому извѣстную и к
торую поэтому легко было-бы скрыть. Повидимому, это несчаст
висѣло надъ нимъ лишь очень короткое время; онъ былъ сли
комъ уравновѣшенная натура, чтобы надолго поддаться этой сл

Digitized by Google

бости. Впослѣдствіи онъ былъ до такой степени далекъ отъ нея, что если-бы я не зналъ отъ него самого, то никогда не догадался-бы и не повѣрилъ-бы. Не въ судъ или осужденіе записываю я эту подробность,—пусть этимъ другіе, кто хочетъ, занимаются,—а для иллюстраціи того душевнаго состоянія, которое переживалъ Елисеевъ. По натурѣ спокойный, сдержанный, онъ искалъ забвенія. Не поздравляю съ проницательностью и даже съ добродѣтелью того, кто сдѣлаетъ изъ этого обстоятельства упрекъ его памяти. Пьянство есть слабость или порокъ. Справедливо сказано: „не упивайтеся виномъ". И благо тому, кому не знакомъ смыслъ пѣсни, которую любилъ пѣть даровитый пьяница, тоже бывшій профессоромъ казанской академіи, Щаповъ:

„Ахъ спасибо-же тебѣ, синему кувшину,
Ты размыкалъ, разогналъ злу тоску-кручину!"

И не только благо, а честь ему и слава, если онъ не искалъ забвенія въ винѣ, хотя къ тому были поводы и искушенія. Но бываетъ, что и ничего не бываетъ, какъ говорилъ одинъ нѣмецъ. Бываетъ, что добродѣтель охраняется стражемъ, весьма не дорого стоющимъ: недостаткомъ воспріимчивости, нравственною толстокожестью. Во всякомъ случаѣ, и среди пьющихъ, и среди не пьющихъ звѣзда отъ звѣзды разнствуютъ во славѣ, а иному и за добродѣтель никакой славы не полагается...

Поколебавшись нѣкоторое время, помучившись въ колебаніяхъ между мечтою и дѣйствительностью, Елисеевъ вышелъ въ 1850 г. изъ духовнаго званія, а въ 1854 г. отказался и отъ профессорства и поступилъ на государственную службу. Нужно было много скромнаго мужества, искренности и самообладанія для такого рѣшенія. Съ внѣшней стороны положеніе его въ казанской духовной академіи было прекрасное. Онъ былъ на хорошемъ счету въ качествѣ способнаго и знающаго профессора; онъ пользовался популярностью среди студентовъ, которые, наконецъ, „узнали, что такое Елисеевъ"; онъ былъ занятъ обширнымъ историческимъ трудомъ, который уже значительно подвинулся впередъ и для окончанія котораго онъ собралъ много матеріаловъ, *до сихъ поръ* (черезъ сорокъ лѣтъ!) не вполнѣ исчерпанныхъ, хотя надъ ними работали и другіе; онъ могъ, какъ мы видѣли, разсчитывать и на спокойное обезпеченное положеніе священника въ хорошемъ, что называется, приходѣ, и на каѳедру богословія въ универ-

Digitized by Google

ситетѣ. Отъ всѣхъ этихъ перспективъ онъ отказался и вступилъ на обычный тогда житейскій путь всякаго средняго русскаго образованнаго бѣдняка, не пригрѣтаго какимъ-нибудь спеціальнымъ солнцемъ. Онъ затеривался здѣсь въ безличной массѣ чиновничества, но за-то избавлялся отъ раздиравшихъ его внутреннихъ противорѣчій.

Онъ поступилъ на службу въ Сибирь,—потому-ли, что для этого имѣлись у него подходящія знакомства, или потому, что его влекло на родину, или, наконецъ, потому, что какія-нибудь особенности сибирскаго быта привлекали его возможностью приложить свои силы къ практикѣ съ наибольшею пользою и въ соотвѣтствіи съ его идеалами. О службѣ его въ Сибири мнѣ ничего неизвѣстно, кромѣ свѣдѣній, имѣющихся въ его формулярномъ спискѣ. Онъ былъ сперва омскимъ, потомъ тарскимъ окружнымъ начальникомъ, потомъ совѣтникомъ тобольскаго губернскаго правленія и исполнялъ множество разнообразнѣйшихъ порученій по службѣ, главнымъ образомъ, въ средѣ крестьянства; они-то и доставили ему то знакомство съ практическою жизнью, которое впослѣдствіи такъ пригодилось ему въ его „внутреннихъ обозрѣніяхъ“ въ „Современникѣ“ и „Отечественныхъ Запискахъ“. Нѣкоторое указаніе на характеръ его служебной дѣятельности можетъ дать слѣдующее замѣчаніе въ первой его статьѣ, напечатанной въ „Современникѣ“ въ 1858 г. („О Сибири“): „Кто поставленъ въ начальническія отношенія къ крестьянамъ по своей должности, тотъ долженъ вооружиться всевозможнымъ терпѣніемъ для бесѣды съ крестьянами. Никогда крестьянина, пришедшаго къ нему съ просьбой, не долженъ онъ отпускать со словами: „этого сдѣлать нельзя“. Нѣтъ, всегда онъ долженъ растолковать и растолковать, отчего нельзя. Только такимъ образомъ можетъ онъ пріобрѣсти отъ крестьянъ довѣріе и прекратить безчисленное множество просьбъ, поступающихъ въ высшія инстанціи оттого только, что крестьянину было растолковано не въ *долбежъ*, о чемъ просилъ онъ на инстанціи низшей“.

Служилъ, впрочемъ, Елисеевъ не долго: съ апрѣля 1854 г. по декабрь 1857 г., когда по болѣзни вышелъ въ отставку и пріѣхалъ въ 1858 году въ Петербургъ. Пріѣхалъ, повидимому, безъ опредѣленныхъ плановъ, просто привлекаемый свѣтомъ зари, которая поднималась тогда надъ всею Россіей, но яснѣе всего чувство-

Digitized by Google

валась въ Петербургѣ или, по крайней мѣрѣ, такъ казалось всякому провинціалу. О литературѣ, какъ профессіи, онъ, во всякомъ случаѣ, не думалъ.

Въ числѣ недоконченныхъ рукописныхъ статей Елисеева есть одна, которая съ перваго взгляда навѣрное очень удивила-бы читателя.

Статья, неизвѣстно къ какому времени относящаяся, имѣетъ видъ отвѣтнаго письма кому-то, обратившемуся къ автору съ такими, между прочимъ, словами: „Намъ ничего не осталось въ наслѣдство отъ прошлаго; у насъ нѣтъ никакого великаго общественнаго дѣла, надъ которымъ мы могли-бы работать въ настоящемъ; у насъ нѣтъ никакихъ надеждъ и идеаловъ въ будущемъ. Мы имѣемъ въ своемъ обладаніи одно Волково кладбище, одни только могилы нашихъ великихъ покойниковъ. Съ ними, съ этими великими покойниками, должна жить наша мысль въ постоянномъ единеніи, на ихъ могилы должны мы ходить освѣжать свою душу, страдающую и томящуюся въ безпросвѣтной мглѣ настоящаго, воспоминаніями объ исчезнувшихъ идеалахъ и надеждахъ, и тамъ искать разрѣшенія и уясненія нашихъ будущихъ судебъ“. Елисеевъ горячо возстаетъ противъ мрачно-пессимистическаго тона этой тирады, но, къ сожалѣнію, эта часть статьи осталась совсѣмъ неразработанною. Что-же касается обитателей Волкова кладбища, то, вполнѣ присоединяясь къ хвалѣ имъ и съ особенно глубокимъ почтеніемъ останавливаясь на нѣкоторыхъ изъ нихъ,—на Бѣлинскомъ и Добролюбовѣ,—Елисеевъ прибавляетъ, что о заслугахъ другихъ онъ не будетъ распространяться, потому что это заняло-бы слишкомъ много мѣста. „А я никакъ не могу,—пишетъ онъ,—пройти молчаніемъ особую серію великихъ покойниковъ, до сихъ поръ никѣмъ еще не отмѣченныхъ, но которые, на мой взглядъ, по нравственной красотѣ не менѣе, если не болѣе велики, чѣмъ вышеупомянутые. Кто они—я не знаю, имя ихъ легіонъ и имена ихъ ты, Господи, вѣси. Ихъ тѣлами обильно упитано Волково кладбище, но безчисленное множество ихъ разсѣяно по безчисленному множеству кладбищъ русской земли не только большихъ городовъ, но и малыхъ и даже, вѣроятно, селъ, и почиваютъ они тамъ такъ-же безвѣстно, какъ и здѣсь“.

Кто-же это такое? Читатель, конечно, удивится, когда узнаетъ,

Digitized by Google

что это, какъ выражается Елисеевъ,—„литературная богема“ конца пятидесятыхъ и начала шестидесятыхъ годовъ, тогдашніе безчисленные „обличители“, „литераторы-обыватели“, которыхъ Салтыковъ окрестилъ нарицательно-собственнымъ именемъ „Корытниковыхъ“. Эти-то маленькіе, незамѣтные, а подчасъ просто смѣшные люди оказываются „по нравственной красотѣ не менѣе, если не болѣе великими“, чѣмъ Бѣлинскій, Добролюбовъ и другіе обитатели завѣтныхъ могилъ на Волковомъ кладбищѣ. Какъ ни страннымъ можетъ показаться такой взглядъ, но уже самая его оригинальность заставляетъ отнестись къ нему со вниманіемъ, тѣмъ болѣе въ виду репутаціи Елисеева: его мало знали и кое-кто былъ очень нерасположенъ къ нему, но въ его умѣ, знаніи жизни и серьезности никто никогда не сомнѣвался. Поневолѣ думается, что у высказаннаго имъ страннаго взгляда должны быть извѣстныя солидныя основанія, по крайней мѣрѣ, съ нѣкоторой особенной точки зрѣнія.

Чтобы усвоить себѣ эту особенную точку зрѣнія, надо, прежде всего, отрѣшиться отъ представленія о нынѣшнихъ „обличителяхъ“ и вояжирующихъ корреспондентахъ газетъ. А затѣмъ надлежитъ правильно понять щедринскій очеркъ „Литераторы-обыватели“, о которомъ Елисеевъ не безъ основанія говоритъ, что онъ остался въ литературѣ единственнымъ памятникомъ дѣятельности „богемы“. Памятникъ на первый взглядъ не особенно лестный и, во всякомъ случаѣ, довольно двусмысленный. Въ свое время очеркъ Салтыкова вызвалъ толкованія, неблагопріятныя частью для самого автора. Одни усматривали въ очеркѣ незаконное, презрительно-аристократическое отношеніе генерала отъ литературы къ литературной мелкой сошкѣ, которая, однако, дѣлаетъ въ концѣ-концовъ то-же самое дѣло, что и онъ. Другіе выражали удовольствіе, что Щедринъ, патріархъ и заводчикъ обличительной литературы, рѣшилъ, наконецъ, своею насмѣшкой положить предѣлъ потоку назойливыхъ обличеній. Елисеевъ совсѣмъ иначе и, конечно, гораздо правильнѣе толкуетъ очеркъ Щедрина. Онъ разсуждаетъ приблизительно такъ. Писатели, начавшіе, какъ Щедринъ, работать въ сороковыхъ годахъ, были люди, въ большинствѣ случаевъ, дворянскаго происхожденія, хорошо, на готовыхъ хлѣбахъ, воспитанные и иногда блестяще образованные, а это блестящее образованіе давало широкіе горизонты и соотвѣтственныя требованія отъ жизни. Эти люди тяготились мракомъ до-реформеннаго

Digitized by Google

режима и страстно жаждали обновленія родины, которое представлялось имъ въ не совсѣмъ, можетъ быть, опредѣленныхъ, но прекрасныхъ и величавыхъ формахъ. Но когда, въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, обновленіе наступило, нѣкоторые изъ нихъ даже не узнали его, потому что оно подняло съ низшихъ слоевъ русскаго житейскаго моря элементы, оскорблявшіе ихъ тонко развитый вкусъ. Они вполнѣ раздѣляли лучшія упованія новаго времени, но съ брезгливымъ изумленіемъ смотрѣли на нахлынувшихъ разночинныхъ носителей этихъ упованій и подчасъ заходили очень далеко въ этомъ отношеніи. Брезгливость доходила до такой степени, что неприглядная форма заслоняла для нихъ самую сущность дѣла. Салтыковъ не повиненъ въ этомъ грѣхѣ, но и онъ былъ не чуждъ брезгливости. Она-то и сказалась въ очеркѣ „Литераторы-обыватели". Корытниковы непріятно дѣйствовали на него мелочностью своихъ обличеній, своею неумѣлостью, смѣшною напыщенностью рѣчи, изъ которой „выходитъ нѣчто нелѣпое: Глуповъ и—человѣчество, судья Лапушниковъ—и вѣчные законы правды"; своею, наконецъ, ультра наивною вѣрой въ „настоящее время, когда". Смущаясь и возмущаясь всею этою неотесанностью и налагая соотвѣтственныя, слишкомъ даже густыя тѣни на фигуру Корытникова, Салтыковъ, однако, вполнѣ признаетъ не только искренность Корытникова и его готовность претерпѣть за правду, а и извѣстное значеніе его дѣятельности. Говоря подлинными словами Елисеева, Щедринъ, несмотря на свои насмѣшки, обнаруживаетъ „глубокую и горячую симпатію къ явившейся повсюду русской богемѣ и, главное, онъ убѣжденъ, что она явленіе не случайное, не дѣло каприза или бездѣлья тѣхъ или другихъ лицъ, а явленіе необходимое, неизбѣжное, потому что времена созрѣли; что представители богемы дѣйствуютъ не по постороннимъ побужденіямъ, корыстнымъ разсчетамъ и т. п., а по чувству долга, въ твердой увѣренности, что это ихъ нравственная обязанность, ихъ призваніе, за которое они готовы подвергнуться какимъ угодно непріятностямъ, страданіямъ. Характеристика глубоко вѣрная! (Продолжаю выписывать подлинныя слова Елисеева). Эта черта рѣзко отдѣляетъ богему начала шестидесятыхъ годовъ отъ длиннаго ряда обличителей послѣдующаго времени. Богема по своимъ талантамъ и свѣдѣніямъ была разнообразна до безконечности. Большая часть ея, вѣроятно, не знала ничего или, можетъ быть, развѣ немного болѣе десяти заповѣдей.

Digitized by Google

Но этого было совершенно достаточно для ея дѣйствій. Не убій, не укради, не послушествуй на друга твоего свидѣтельства ложна и т. д.,—вотъ весь тотъ кодексъ нравственности, за исполненіемъ котораго въ общественной жизни она слѣдила, въ тѣхъ, впрочемъ, только явленіяхъ, которыя окружены были тайною для закона, суда и полиціи или истинная духовная сущность и смыслъ которыхъ были не уловимы для нихъ, какъ преслѣдующихъ неисполненіе только буквы закона, или которыя происходили публично, въ наглой расправѣ надъ лицами беззащитными. Ложь, лицемѣріе, своекорыстіе, самоуправство, наглость, эксплоатація, нахальство—вотъ тѣ общественные пороки, которые преимущественно преслѣдовала богема со всею неутомимостью, имѣя при этомъ всегда въ виду защиту эксплоатируемыхъ, притѣсняемыхъ, обижаемыхъ, въ особенности, если они беззащитны по возрасту, полу, своему общественному положенію и т. п.“.

Если читатель потрудился припомнить картину тревогъ, торжествъ и злоключеній Корытникова, независимо отъ сатирическаго освѣщенія, то увидитъ, что дѣятельность этого человѣка несомнѣнно производила значительный эффектъ въ окружающей средѣ. Зависѣло это отчасти отъ свойствъ этой среды, отчасти отъ личныхъ свойствъ самого Корытникова. Тотчасъ послѣ окончанія крымской войны, даже немножко раньше, по всему русскому житейскому морю пошла рябь и зыбь, и даже самые близорукіе, если не понимали, то чувствовали, что это лишь начало болѣе глубокаго волненія. Все насторожилось тревожно или радостно. Ясно было, что исторія подводитъ свои итоги, что чему-то надлежитъ погибнуть, чему-то вырости. Старое общество, изъѣденное крѣпостнымъ произволомъ, взяточничествомъ, невѣжествомъ, смѣсью лицемѣрія и наглости подъ покровомъ формализма, отсутствіемъ всякаго общественнаго интереса, готовилось уступить мѣсто иному строю жизни. Сразу свыкнуться съ этою мыслью оно, разумѣется, не могло. Оно то отступало передъ очевидною неизбѣжностью, то пробовало отстоять себя своими обычными средствами. Объявились Корытниковы или „литературная богема“, какъ не совсѣмъ удачно называетъ ихъ Елисеевъ. Наивные, подчасъ невѣжественные и смѣшные, они, однако, искренно вѣрили въ торжество грядущей правды и готовы были претерпѣть ради нея всевозможныя лишенія, оскорбленія, непріятности совершенно безкорыстно. О корыстолюбіи въ настоя-

Digitized by Google

нномъ смыслѣ этого слова нечего и говорить,—„обличители“ никакого вознагражденія не получали. Приманки славы для нихъ тоже не существовали, потому что писанія ихъ были анонимны или, самое большое, псевдонимны. Они удовлетворялись исключительно своимъ положеніемъ добровольныхъ стражей правды. Ихъ писанія производили переполохъ въ разныхъ Краснорѣцкахъ, Кутерьмахъ, Златогорскахъ, Бѣлокаменскахъ и т. д. Ихъ боялись, потому что, въ виду общественнаго настроенія, „попасть въ газеты“ и особенно „попасть въ Искру“ было тогда поистинѣ страшно. Человѣкъ, „попавшій въ Искру“, старался, конечно, не узнавать себя; но если это оказывалось невозможнымъ, онъ долженъ былъ, хотя-бы и скрежеща зубами, оправдываться или заглаживать какой-нибудь самоуправный поступокъ, дикую расправу съ подчиненнымъ, съ ребенкомъ, женщиной, мужикомъ, или взяточничество, нерадѣніе и проч., ибо не только общественное мнѣніе, а и оффиціальная Россія явно поворачивала на какой-то новый путь. Но онъ злобствовалъ и не упускалъ случая учинить какую-нибудь пакость незванному, непрошенному „обличителю“. И всѣ эти пакости Корытниковъ самоотверженно принималъ, не имѣя въ воздаяніе за такіе минусы ни единаго плюса, кромѣ сознанія правоты и цѣлесообразности своей дѣятельности. За эту-то черту Елисеевъ и признаетъ Корытниковыхъ „по нравственной красотѣ не менѣе, если не болѣе великими“, чѣмъ тѣ борцы русскаго слова, которые покоятся на Волковомъ кладбищѣ.

Это мнѣніе не такъ уже преувеличено, какъ можетъ показаться. Когда мы думаемъ о какомъ-нибудь признанномъ великомъ человѣкѣ,—ну, хоть о Бѣлинскомъ или Салтыковѣ,—мы, въ придачу къ ихъ высокимъ нравственнымъ качествамъ, ихъ горячей преданности одушевлявшей ихъ идеѣ, имѣемъ еще наглядные результаты ихъ дѣятельности: ихъ сочиненія, которымъ предстоятъ еще многая лѣта, общее благоговѣніе къ ихъ памяти, отражающееся и въ литературѣ, и въ жизни. Въ нихъ концентрируется и даже какъ-бы ипостазируется цѣлый рядъ преданій, цѣлый строй мыслей и чувствъ. Но если у насъ не было критика, равнаго Бѣлинскому, то, при всей необыкновенной нравственной чистотѣ „неистоваго Виссаріона“, возможно, что въ числѣ его современниковъ были люди незамѣтные, не оставившіе по себѣ никакого слѣда, но не уступавшіе ему или даже превосходившіе его

Digitized by Google

по нравственной красотѣ. Приложимо-ли это разсужденіе къ „обличителямъ“ пятидесятыхъ-шестидесятыхъ годовъ, я судить не берусь, но несомнѣнно, во всякомъ случаѣ, что ими обнаружено было много самоотверженія, безкорыстія и настоящаго гражданскаго мужества. Они забыты, они и въ свое время были лично неизвѣстны, а въ массѣ не блистали ни дарованіями, ни образованностью, ни шириною взгляда; но эта скудость и сѣрость не должны заслонять отъ насъ ихъ дѣйствительно незаурядныя нравственныя достоинства и значительность роли, которую они въ свое время сыграли. Велики заслуги именитыхъ людей, вѣчнымъ сномъ почивающихъ на Волковомъ кладбищѣ, но для той среды, въ которой и на которую дѣйствовали „обличители“, нужны были гораздо болѣе грубыя и прямыя средства, чѣмъ тонкая разработка движеній человѣческой души, горячая проповѣдь знанія и нравственныхъ истинъ, изображеніе общественныхъ идеаловъ, казнь подлости въ ея отвлеченныхъ вершинахъ или обобщенныхъ типахъ. Все это, какъ отъ стѣны горохъ, отскакивало отъ заскорузлыхъ обитателей Краснорѣцка, Кутерьмы, Бѣлокаменска и проч. и не могло воздержать ихъ отъ привычныхъ дѣйствій и пріемовъ. Слишкомъ все это для нихъ было отвлеченно и высоко. Прямая угроза личнаго срама и отвѣтственности была для нихъ единственнымъ путемъ къ уразумѣнію азбуки добра и зла. Это грубое, но необходимое дѣло и дѣлали добровольцы-обличители. Понятно, что они могли имѣть значеніе и даже просто существовать только пока существовали новыя вѣянія, съ прекращеніемъ которыхъ исчезли и они. Они уступили свое мѣсто уже иного характера обличителямъ и корреспондентамъ, иногда, конечно, очень почтеннымъ, а иногда совсѣмъ не почтеннымъ и даже клеветникамъ и шантажистамъ, но, во всякомъ случаѣ, лишеннымъ своеобразной наивной вѣры своихъ предшественниковъ.

Если такимъ образомъ взглядъ Елисеева на Корытниковыхъ имѣетъ за себя извѣстныя очень вѣскія оправданія, то данное имъ щедринскому очерку объясненіе представляетъ собою особенную цѣнность. Та смѣсь брезгливости съ уваженіемъ, которую характеризуетъ этотъ очеркъ, есть, по совершенно вѣрной мысли Елисеева, лишь частный случай. Собственно въ дѣятельности Салтыкова это случай единственный. Сверстники его, изъ тѣхъ, которые искренно привѣтствовали зарю новой жизни (другіе для

Digitized by Google

асъ не интересны), гораздо чаще и гораздо рѣзче выражали-
вое брезгливое отношеніе къ неожиданнымъ для нихъ порожде-
іямъ новой жизни. На этомъ въ значительной степени основы-
ался разладъ „отцовъ и дѣтей“, формулированный Тургеневымъ.
Разладъ вышелъ-бы еще гораздо рѣшительнѣе, если-бы жизнь
е подготовила посредствующихъ звеньевъ въ лицѣ нѣсколькихъ
исателей, одними своими сторонами близкихъ къ изящнымъ, съ
ѣсколько туманными, но широкими горизонтами „отцамъ“, а съ
ругой—къ угловатымъ, рѣзкимъ, подчасъ узкимъ, но искрен-
нмъ и послѣдовательнымъ „дѣтямъ“. Писатели эти группиро-
ались, главнымъ образомъ, въ „Современникѣ“. Достаточно про-
итать имѣющіеся нынѣ въ отдѣльномъ изданіи „Очерки гоголев-
каго періода“, чтобы видѣть, какъ чтили эти люди лучшія пре-
анія сороковыхъ годовъ, а, съ другой стороны, они, сами вызванные на арену общественной дѣятельности новою жизнью, не
огли, конечно, относиться къ нѣкоторымъ ея угловатостямъ съ
резмѣрною строгостью. Одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ между
тими людьми, непосредственно рядомъ въ Чернышевскимъ и Доролюбовымъ, очень скоро занялъ Елисеевъ.

Какъ я уже говорилъ выше, Елисеевъ пріѣхалъ въ 1858 году
ъ Петербургъ, повидимому, съ весьма неопредѣленными планами
, во всякомъ случаѣ, не имѣлъ намѣренія заняться литературой,
акъ профессіей: онъ не сознавалъ въ себѣ литературнаго таанта. Но желаніе писать, послужить печатнымъ словомъ дѣлу
равды, было. Въ первой его статьѣ, напечатанной въ „Современникѣ“, встрѣчаются характерныя для того историческаго момента
лова о „великомъ времени, когда въ Россіи снимаются оковы
ь мысли и слова, когда лучшіе люди, благословляя новый благоворный свѣтъ, восходящій надъ народомъ русскимъ, посвящаютъ
ь любовью на служеніе своему отечеству свое слово и мысль“.
Замъ-же читаемъ о Сибири, откуда только что пріѣхалъ авторъ:
Сторона дальняя, глухая, можно сказать, нетронутая еще. На
то ни взгляни, все остается, какъ было назадъ тому десятки
ѣтъ. Къ одному вовсе еще не касалась рука человѣка, другое
одверглось разработкѣ, но разработкѣ неправильной, или ни-
тожной, третье идетъ себѣ по старой колеѣ, для настоящаго
ремени вовсе непригодной. Все здѣсь невольно вызываетъ мысль
человѣка мыслящаго, все заставляетъ взяться за перо“. Эти
итаты указываютъ на наличность элементовъ, изъ которыхъ въ

Digitized by Google

то время слагались „литераторы-обыватели“, такъ высоко зна
слѣдствіи Елисеевымъ оцѣненные. Весьма вѣроятно, что именн
на такую незамѣтную роль въ литературѣ разсчитывалъ Григорі
Захаровичъ, полагая добывать себѣ средства къ жизни службо
государственной или частной. Но онъ былъ слишкомъ большо
корабль для такого мелкаго плаванія, что и обнаружилось очен
скоро, хотя „обывательская“ привычка къ анонимности осталас
у него до конца дней.

Я не знаю, гдѣ собственно началъ писать Елисеевъ,—в
„Искрѣ“ или „Современникѣ“, но, во всякомъ случаѣ, своим
близкимъ человѣкомъ онъ раньше сталъ въ „Искрѣ“. Уже съ на
чала 1859 г. тамъ постоянно печаталась его „Хроника про
гресса“,—нѣчто среднее между передовыми статьями и внутрен
ними обозрѣніями, тогда какъ постояннымъ, ближайшимъ сотруд
никомъ „Современника“, завѣдующимъ однимъ изъ отдѣловъ,
именно отдѣломъ „внутренняго обозрѣнія“, онъ сталъ лишь в
февралѣ 1861 г. До тѣхъ поръ его участіе въ „Современникѣ
было довольно случайно. Первая статья „О Сибири“, напечатан
ная въ декабрѣ 1858 г., подписана псевдонимомъ „Грыцько“
къ которому Елисеевъ и впослѣдствіи изрѣдка прибѣгалъ; бол
шинство-же его произведеній совсѣмъ не подписаны. Статья „
Сибири“ написана такъ, что никто не назвалъ-бы автора но
вичкомъ въ литературѣ: пріемы письма свободные, спокойно
увѣренные, даже мастерскіе. Что-же касается содержанія, то солид
ность его гарантировалась уже фактомъ недавняго пріѣзда из
Сибири, гдѣ онъ не мало поработалъ на практической почвѣ. Отно
сительно теоретическихъ взглядовъ любопытно отмѣтить въ это
первой статьѣ мимоходомъ брошенную мысль, которая впослѣд
ствіи, въ значительно, разумѣется, болѣе развитой формѣ, стал
одною изъ излюбленныхъ руководящихъ мыслей Елисеева. Он
говоритъ: „Недавно въ нашей литературѣ завязался споръ о лич
номъ и общинномъ поземельномъ владѣніи... Поспорить был
о чемъ. За одинъ быть стоитъ строгая наука, за другой—вѣко
вой опытъ нашъ собственный, привычка и, наконецъ, опасені
тѣхъ послѣдствій, которыя испытала на себѣ Западная Европ
въ пролетаріатѣ“. Въ статьѣ не указывается выходъ изъ этог
затрудненія, да это и не требовалось задачей статьи, но автор
полемизируетъ съ нѣкіемъ Холмогоровымъ, который, въ связи с
нѣкоторыми спеціально сибирскими дѣлами, возставалъ проти

Digitized by Google

бщиннаго владѣнія землей. „Современникъ“, какъ извѣстно, тоялъ за общину. Такимъ образомъ, Елисееву во всѣхъ отно-ленiяхъ нечего было безпокоиться объ участи своей статьи. Но, омнѣваясь въ своемъ литературномъ талантѣ и все еще не умая записываться въ литературный цехъ, онъ безпокоился, кон-узился, не являлся въ редакцію даже послѣ напечатанія статьи. го розыскалъ уже кто-то изъ членовъ редакціи „Современника“, аинтересовавшейся новымъ писателемъ. Около этого-же времени лисеевъ сильно захворалъ. Онъ любилъ потомъ разсказывать о омъ необыкновенно сердечномъ участіи, которое принималъ въ емъ, во время его болѣзни, Чернышевскій: ходилъ за нимъ, акъ сидѣлка или сестра милосердія.

Помимо этихъ личныхъ житейскихъ отношеній редакція „Со-ременника“ сразу оцѣнила Елисеева, какъ писателя, и всячески таралась вплотную усадить его въ литературу. Но его первые аги на этомъ поприщѣ были довольно неопредѣленны. Въ маѣ 859 г. была напечатана его статья „О календаряхъ“, въ де-абрѣ—разборъ книги Костомарова о Богданѣ Хмельницкомъ, ъ январѣ 1860 г. статья „Уголовные преступники“, гдѣ опять ригодилась его спеціальная сибирская практика, въ ноябрѣ— азборъ VII и VIII томовъ „Исторіи Россіи“ Соловьева, въ ян-арѣ 1861 г.—„О движеніи народонаселенія въ Россіи“, въ артѣ—„О препровожденіи ссыльныхъ по Сибири на конныхъ одводахъ“. Всѣ эти статьи очень интересны, проникнуты ха-актернымъ гуманнымъ и демократическимъ духомъ. Но это еще е тотъ Елисеевъ, какимъ онъ, какъ вліятельный публицистъ и урналистъ, останется въ исторіи русской литературы. Эта роль го началась съ февраля 1861 г., когда онъ сталъ писать „внут-еннее обозрѣніе“. Отдѣлъ этотъ былъ заведенъ въ „Современ-икѣ“ за годъ передъ тѣмъ, въ мартѣ 1860 г., но я не знаю, ѣмъ онъ велся до Елисеева. Елисеевъ-же велъ его до начала 866 г., когда сталъ писать ежемѣсячный обзоръ русской жур-алистики, а „внутреннее обозрѣніе“, подъ заглавіемъ „Дѣйстви-ельность“, перешло къ кому-то другому. Такимъ образомъ, всѣ внутреннія обозрѣнія“ съ 1861 по 1866 г. принадлежатъ Ели-еву, за исключеніемъ августовскаго за 1861 г., которое, за от-утствіемъ Елисеева, написано Добролюбовымъ. Вскорѣ послѣ ого и Елисееву пришлось отчасти замѣнить Добролюбова въ нварскомъ „Свисткѣ“ за 1862 г. Послѣ смерти Добролюбова

Digitized by Google

осталось вступленіе къ этому нумеру „Свистка“. Продолженіе к нему придѣлано, главнымъ образомъ, Елисеевымъ и отчасти Чернышевскимъ.

Остановимся на минуту на Добролюбовскомъ „внутреннем обозрѣніи“, которое въ сочиненіяхъ Добролюбова не перепечатывается, и, можетъ быть, даже самые записные наши библіографы не знаютъ, что оно написано имъ. Оно очень любопытн и само по себѣ, и по отношенію къ Елисееву. Начинается он такъ: „Читатели „Современника“ плачутъ, не нашедши въ іюльской книжкѣ „внутренняго обозрѣнія“. Такъ, по крайней мѣр думаетъ его составитель, котораго я, впрочемъ, не одобряю сколько по зависти къ его таланту, столько-же за его весенні мечты и стремленія... Составитель прежнихъ обозрѣній разн жилъ публику своей весеннею теплотой... Ужъ вы не сердитес господа, у меня теплоты особенной не найдете, да и время тепер не такое подходитъ... Говорятъ, весеннія мечты моего предш ственника нравились; слѣдовательно, мои *осеннія* не понравятся Но я хочу, чтобы онѣ понравились; слѣдовательно, должен прежде всего, добиться, чтобы *весеннія* перестали нравиться. С этого и начну“. Далѣе идутъ обычныя въ то время, шутливы по формѣ, но горькія по существу, иносказанія. Авторъ сам любитъ весну. „Знаю я,—говоритъ онъ,—какая бываетъ хороша то весна... Отъ такой весны и я не прочь: знаю, что за ней бу детъ горячее, долгое-предолгое лѣто, потомъ осень, чрезвычайн похожая на весну, только съ плодами,—та-же красавица, толь вполнѣ созрѣвшая, а тамъ по календарю и будетъ зима, а я ее н увижу... И это такъ изъ года въ годъ, изъ вѣка въ вѣк Такую весну я люблю, обожаю, стремлюсь къ ней, хоть-бы он была также бурна и сурова, какъ прошлогодняя, хоть-бы он дѣйствовала вовсе не благодѣтельно на нервы и здоровье отжи вающихъ дряхлыхъ стариковъ. Что-жъ, пусть ихъ отживаютъ не смущаютъ намъ нашей весны, не заслоняютъ намъ нашег солнца... Какъ видите, я въ принципѣ согласенъ съ моимъ то варищемъ по „обозрѣнію“; но въ примѣненіяхъ мы расходимся Онъ выдумалъ какую-то возможность наслаждаться весною нас, даже въ Петербургѣ и его окрестностяхъ. А я беру смѣлост утверждать, что это положительно невозможно. Во-первыхъ, возь мите краткость, мимолетность, такъ сказать, нашей весны, до ходящую поистинѣ до неуловимости:

Digitized by Google

За весной, красой природы,
Лѣто знойное пройдетъ,—
И туманъ, и непогоды
Осень поздняя несетъ.
Людямъ тяжко, людямъ горе,—

а на этомъ и остановимся. Что-жъ, вы поймали весну-то вашу? ѣдь, духъ перевести не успѣли, а она уже и прошла, да еще вмѣстѣ съ лѣтомъ!.. „Все-таки, говорятъ, природа во время есны оживляется". Велика важность,—вѣдь, и чахоточный оживется передъ смертью, обыкновенно такой становится бодрый, да оровый, да веселый, а посмотришь, на другой день и умретъ. акъ и весна наша".

Затѣмъ слѣдуетъ шутливо-грустное поэтическое сравненіе петерургской погоды съ чахоточною больной, которая было повѣрила свое выздоровленіе. Эти строки получаютъ особенно трогательое значеніе, если вспомнить, что въ это время злая чахотка же поканчивала самого Добролюбова. Онъ какъ-бы обобщалъ, здвигалъ свою личную печальную судьбу въ иносказательомъ смыслѣ. „Нѣтъ, — продолжаетъ онъ, — этимъ чахоточымъ проявленіемъ жизни вы меня не заставите восхищаться: знаю, что за нимъ слѣдуетъ обыкновенно. Я знаю, что нашъ нимать не таковъ, чтобы помочь чахоточному выздоровѣть; я наю, что чернобогъ славянской зимы сильнѣе всѣхъ вашихъ обрыхъ домовыхъ, русалокъ и другихъ духовъ, вызванныхъ на отръ безъимяннымъ, хотя и даровитымъ моимъ товарищемъ". далѣе: „Мы всѣ, какъ извѣстно, лѣтъ пять тому назадъ воспянули отъ сна; и я тогда воспрянулъ. Ну, знаете, какъ человѣкъ послѣ хорошаго сна чувствуетъ себя бодрымъ и здоровымъ. ы всѣ тогда думали, что города можемъ брать, людей и самый нимать передѣлывать. А уже объ говореньи нечего и говорить: воображалъ, что, не заикнувшись, могу порицать не только есну петербургскую, но даже мостовую сѣверной столицы, даже итателей ея... То была весна, моя собственная весна, она тоже мерла въ своемъ расцвѣтѣ, и вотъ почему я теперь такъ грустно отрю и на весну вообще, т.-е. на петербургскую весну".

Кромѣ обычной по тогдашнему времени манеры аллегорическаго писанія, предоставлявшей читателю искать настоящія наѣренія автора между строкъ, здѣсь есть еще одинъ намекъ, уждающійся въ объясненіи. Что это за весеннія мечты и „домо-

Digitized by Google

вые, русалки и другіе духи, вызванные на смотръ безъименнымъ хотя и даровитымъ моимъ товарищемъ", то-есть Елисеевымъ?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ надо искать въ апрѣльскомъ „внутреннемъ обозрѣніи", содержаніе котораго изложено въ подзаглавіи такъ: „Мои весеннія воззрѣнія и стремленія.—Какъ наслаждается природой и господствуетъ надъ ней современный человѣкъ?—Весна въ мірѣ языческомъ.—Вѣрованіе язычниковъ въ цѣлебную силу, приносимую весной.—Водяной.—Русалки" и т. д. Это чуть-ли не единственное Елисеевское „внутреннее обозрѣніе", въ значительной своей части посвященное отвлеченно-теоретическому вопросу объ отношеніи человѣка къ природѣ, и потому имѣетъ для насъ особенную цѣну. Послѣ короткаго вступленія о пріятностяхъ весны, настоящей, а не иносказательной весны, Елисеевъ замѣчаетъ, что пріятности эти почти совсѣмъ недоступны цивилизованному человѣку вообще, петербургскому дачнику въ особенности. То-ли дѣло,—говоритъ онъ,—„времена нашего грубаго и бѣднаго язычества, когда земля населена была лѣшими, русалками, вѣдьмами (NB *и теперь есть*), домовыми, водяными, когда человѣкъ въ каждомъ кустикѣ, въ каждомъ ручейкѣ видѣлъ божество". Постановленное здѣсь въ скобкахъ NB характерно, какъ образчикъ той шутливой фамильярности съ читателемъ, которую себѣ разрѣшали почти всѣ сотрудники „Современника" среди самаго серьезнаго разговора о самыхъ серьезныхъ вещахъ. Я сейчасъ къ этому вернусь. Мысль Елисеева, во всякомъ случаѣ, вполнѣ серьезна. Онъ говоритъ, что въ языческую старину люди, одушевляя всю природу, въ свою очередь сами извлекали изъ нея обильные источники духовной жизни, что̀ и подтверждается примѣрами повѣрій, суевѣрныхъ обрядовъ при встрѣчѣ весны, народнаго поэтическаго творчества. Отношеніе цивилизованнаго человѣка къ природѣ совсѣмъ иное. Онъ заслонилъ себя отъ нея культурою, и его непосредственное отношеніе къ ней ограничивается лишь изученіемъ ея и примѣненіемъ ея силъ къ практическимъ цѣлямъ. Религіозная связь исчезла совсѣмъ, поэтическая—ослабѣла и поблѣднѣла, такъ какъ даже въ лучшихъ поэтическихъ нашихъ произведеніяхъ нѣтъ той „дружественности" съ природою, которою проникнута старая народная поэзія. Это отражается и на всемъ строѣ жизни. Язычникъ „не зналъ различія между духомъ и матеріей, нравственнымъ и безнравственнымъ; съ точки зрѣнія натуральной, все, что нату-

Digitized by Google

льно, могло быть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и прекрасно, и было закон-
о". Это наивное, непосредственное міросозерцаніе исчезло.
алѣть объ этомъ нечего. „Новая точка зрѣнія безконечно выше
рирродной, непосредственной. При помощи ея человѣчество стало
а такую высоту, о которой не могло мечтать язычество... Но
мая высота взгляда, которой совершенно не соотвѣтствуетъ
овременное положеніе общества, не только препятствуетъ при-
ѣненію его въ жизни во всей его широтѣ, но и производитъ
ногія неудобства: порождаетъ въ жизни разладицу между требо-
аніями слишкомъ идеальными и дѣйствительною жизнью, въ зако-
одательствѣ—необходимость улаживать возвышенныя начала въ
риложеніи къ жизни полицейскими мѣрами... Въ язычествѣ не
ыло такого раздвоенія, такой разладицы между мыслью и дѣломъ,
ежду теоріей и жизнью; точка зрѣнія была низка, но поэтому
добоприложима въ жизни и оставалась вѣрна себѣ; идеалы были
рязны, но ни для кого не были недостижимы". Измѣнятся, од-
ако, когда-нибудь и наши нынѣшнія дѣла. Уравняются идеалы
дѣйствительность, и тогда природа опять станетъ не только
редметомъ спеціальнаго изученія и технической эксплоатаціи,
и непосредственнымъ источникомъ высшаго духовнаго наслаж-
енія; его, впрочемъ, „не только опредѣлить сколько нибудь, но
дать о немъ какое-нибудь понятіе въ настоящее время, за не-
мѣніемъ ничего подобнаго, внѣ нашихъ средствъ".

Къ этимъ общимъ разсужденіямъ, которыя я, разумѣется, до
ослѣдней возможности сократилъ, прибавлены во „внутреннемъ
бозрѣніи" замѣтки и о текущихъ дѣлахъ, а именно о праздно-
авшемся тогда пятидесятилѣтнемъ юбилеѣ литературной дѣятель-
ости кн. Вяземскаго. Переходъ къ этому маленькому событію
ылъ очень естественный. Провидя въ будущемъ уравненіе дѣй-
твительности и идеаловъ, объединеніе жизни, науки и искус-
тва, Елисеевъ пользуется случаемъ сказать нѣсколько словъ о
овременной поэзіи.

Что-же именно не понравилось Добролюбову въ этомъ вну-
реннемъ обозрѣніи, и не понравилось настолько, что онъ даже
ѣшился протестовать печатно противъ своего „безъименнаго,
отя и даровитаго товарища"? Или это, можетъ быть, только осо-
енная manière de parler? Я думаю, что тутъ было и то, и дру-
ое. Но такъ какъ этотъ эпизодъ очень характеренъ для нѣко-

Digitized by Google

торыхъ сторонъ тогдашней журналистики, то, въ объясненіе его мы сдѣлаемъ довольно большое отступленіе.

Перечитывая „Современникъ“ конца пятидесятыхъ и самаго начала шестидесятыхъ годовъ, нынѣшній читатель, если онъ не вдумывался въ особенныя условія тогдашняго времени, встрѣтит много непонятнаго, страннаго. Я уже не говорю объ „езопо скомъ языкѣ“, въ употребленіи котораго тогдашніе писатели до стигали настоящей виртуозности, и о разныхъ намекахъ на тек щія дѣла, которые въ свое время на лету ловились, а тепер дешифрируются лишь съ большимъ трудомъ. Это само собой. Н кромѣ того, нынѣшняго читателя, привыкшаго къ нѣкоторо сѣренькой равноцѣнности талантовъ съ рѣдкими искрами чег нибудь поярче, покрупнѣе, можетъ поразить слѣдующее обсто тельство. Въ старомъ „Современникѣ“, рядомъ съ произведеніям такихъ мастеровъ, какъ Тургеневъ, Островскій, Гончаровъ, Са тыковъ, и такихъ талантливыхъ новичковъ, какъ, напримѣр Николай Успенскій, встрѣчаются беллетристическія произведен совершенно топорной работы: письмо грубое, краски аляповаты художественнаго такта—никакого, объ „искусствѣ“ и помин нѣтъ. Теперь ни одна маломальски умѣлая редакція не рѣшито напечатать у себя что-нибудь подобное, а, между тѣмъ, редакці стараго „Современника“ ужъ никакъ нельзя назвать неумѣлоі Недоумѣніе, возникающее отсюда для всякого внимательнаго ч тателя, вполнѣ разъясняется вышеприведенными соображеніям Елисеева о значеніи обличительной литературы. Авторы этих топорныхъ произведеній, всѣ эти гг. Елагины, Селивановы, М кашины и проч.,—„обличители“. Быть можетъ, эти писатели и п сейчасъ здравствуютъ, но въ литературномъ смыслѣ они—эф мериды, давно и безслѣдно сошедшіе со сцены. Достойно внимн нія, что многіе изъ нихъ прибѣгали къ драматической форм Драма, настоящая драма, есть, можетъ быть, самая трудная из формъ поэзіи, потому что драматургъ лишенъ вспомогательных средствъ описанія и характеристики дѣйствующихъ лицъ отъ себя онъ можетъ изображать ихъ только собственными ихъ словам и дѣлами. Съ другой стороны, однако, если отбросить всякія х дожественныя требованія, то драматическая форма окажется на

Digitized by Google

болѣе легкою, потому что тутъ у автора вполнѣ своя рука владыка. Самый плохой романистъ долженъ хоть своими словами мотивировать поступки своихъ дѣйствующихъ лицъ и, слѣдовательно, давать отчетъ читателю. Въ чрезмѣрномъ обиліи такой отчетности обыкновенно даже состоитъ главная бѣда авторовъ плохихъ повѣстей, романовъ и разсказовъ. Плохой драматургъ поступаетъ проще, онъ пишетъ въ скобкахъ свою ремарку („уходитъ"), („плачетъ"), („хватается за стулъ")—и дѣло съ концомъ. Та самая обнаженность драматической формы отъ описательной одежды, которая затрудняетъ крупнаго драматурга, облегчаетъ дѣло драматургу бездарному. Надо, однако, сказать, что обличители, прибѣгавшіе къ драматической формѣ, отнюдь не мнили себя драматургами; для нихъ вообще художественная форма стояла на отдаленнѣйшемъ планѣ, важна была только голая фабула, и этою голою фабулой очень часто была самая голая дѣйствительность, не украшенная ни единымъ цвѣткомъ творчества. Это, впрочемъ, мимоходомъ. Обличители-драматурги были по таланту не ниже и не выше обличителей въ другихъ беллетристическихъ формахъ. Всѣ они были болѣе или менѣе бездарны и всѣ мало заботились о формѣ, да и самое содержаніе ихъ писаній не отличалось какою-нибудь глубиной. Всѣ они поэтому по справедливости должны были утонуть въ рѣкѣ забвенія, но въ свое время они играли значительную роль. Достаточно вспомнить, что одного изъ нихъ, Селиванова, Хомяковъ, въ качествѣ предсѣдателя общества любителей россійской словесности, привѣтствовалъ хвалебною рѣчью, именно, какъ представителя обличительной литературы. А кто теперь знаетъ этого почтеннаго писателя? Обличители, по чрезвычайно вѣрному объясненію Елисеева, были цѣнны именно своею грубостью, какъ тараны, спеціально приноровленные къ пробиванію толстыхъ стѣнъ, которыми отдѣлила себя старая Россія отъ новой жизни. И редакція „Современника" это понимала. Тургеневы, Островскіе, Салтыковы нужны, но нужны, необходимо нужны и Селивановы, Елагины, Макашины...

Этимъ-же пониманіемъ особенныхъ условій своего времени объясняется и та фамильярная развязность по отношенію къ читателю, которая на нынѣшняго читателя можетъ произвести подчасъ очень непріятное впечатлѣніе. Впослѣдствіи, послѣ 1863 г., она достигла въ „Современникѣ" рѣшительно непозволительныхъ размѣровъ, но въ концѣ пятидесятыхъ и въ самомъ началѣ шести-

Digitized by Google

десятыхъ годовъ она имѣла свои серьезныя основанія. До крымской войны литература наша, по остроумному сравненію Щедрина, была сказочною царевной, заключенною въ волшебные чертоги: чистая, возвышенная, оторванная отъ жизни, не многимъ доступная. Измѣнившіяся обстоятельства потребовали, чтобы литература сблизилась съ жизнью и предстала читателю не въ такомъ отвлеченно-возвышенномъ видѣ, а въ видѣ добраго, простого, ласковаго друга-учителя, который и о пустякахъ поболтать согласенъ, и побалагурить можетъ, и про себя кое-что поразсказать. Отсюда и та кажущаяся разноголосица, образчикомъ который могутъ служить вышеприведенныя пререканія Добролюбова съ Елисеевымъ. Подобныя пререканія были не рѣдкость въ „Современникѣ", но очень ошибется тотъ, кто приметъ ихъ à la lettre. А, между тѣмъ, такія ошибки случались. Ограничусь однимъ примѣромъ. Послѣ смерти Елисеева въ одномъ періодическомъ изданіи была напечатана некрологическая замѣтка, въ которой говорилось, между прочимъ, что покойникъ имѣлъ мало общаго съ Чернышевскимъ и Добролюбовымъ и самъ заявилъ это въ одномъ изъ своихъ „внутреннихъ обозрѣній" „Современника". Если-бы покойники могли слышать, чувствовать, и говорить, Елисеевъ нехорошимъ словомъ обозвалъ-бы автора замѣтки. Заявленіе, о которомъ говоритъ авторъ, дѣйствительно существуетъ, во оно сдѣлано въ такой-же шуточной формѣ, какъ, напримѣръ, и приведенныя слова Добролюбова, что онъ снѣдаемъ завистью къ таланту Елисеева.

Пользуясь каждымъ случаемъ извлечь изъ посмертныхъ набросковъ Елисеева, что оказывается возможнымъ, я и здѣсь приведу его меткую характеристику веденія дѣла въ „Современникѣ" по сравненію съ тѣмъ, какъ оно велось въ „Отечественныхъ Запискахъ".

„Большая часть нашихъ редакторовъ,—говоритъ Елисеевъ,—набирая сотрудниковъ, что̀ называется, съ бору и сосенки, похожи на дурныхъ кучеровъ, которые не даютъ лошадямъ бѣжать спокойно и ровно, дергаютъ ихъ безъ всякой нужды изъ стороны въ сторону. Извѣстно, что нѣтъ ничего хуже такихъ кучеровъ; нѣтъ ничего хуже и такихъ редакторовъ. Напрасно они держатъ то и дѣло совѣщанія съ своими сотрудниками, о чемъ писать въ тотъ или другой моментъ; напрасно потѣютъ, сидя съ утра до вечера надъ корректурами, стараясь смягчить

Digitized by Google

или ослабить ту или другую рѣзкую фразу въ виду тѣхъ или другихъ соображеній о возможныхъ читателяхъ и т. п. Все это ни къ чему не приводитъ, кромѣ возбужденія нервной боязни въ сотрудникѣ за свою натурально являющуюся мысль, за свою фразу,—боязни, кончающейся совершеннымъ его обезличеніемъ. Въ „Современникѣ“ съ того времени, какъ я его знаю, дѣло это повелось другимъ образомъ. Тамъ набирались подходящіе къ направленію журнала сотрудники и имъ предоставлялось въ каждый моментъ писать, что имъ Богъ на душу положитъ. Никто не слѣдилъ ни за мыслями, ни за фразами. Иногда казалось, что точно редакторы не читаютъ никакихъ статей въ своемъ журналѣ, а, между тѣмъ, само собою выходило все ладно. Почему?— да потому, что въ журналѣ, главнымъ образомъ, нужно, чтобы всѣ говорили въ одно. Не только неудачныя фразы, но и неудачныя, т.-е. слабыя цѣлыя статьи, если только онѣ бьютъ въ одну цѣль въ общемъ, нисколько не вредятъ дѣлу. Оттого „Современникъ“ торжествовалъ надъ всѣми журналами не только въ первый періодъ своей обновленной дѣятельности, съ 1857 по 1862 г., когда имъ руководилъ блестящій штабъ съ Чернышевскимъ во главѣ, но и впослѣдствіи, когда въ немъ сильно чувствовалось отсутствіе этого штаба, особенно въ критическомъ отдѣлѣ, сильно обѣднѣвшемъ и измѣнившемся. Сдѣлавшись редакторомъ „Отечественныхъ Записокъ“, Некрасовъ остался къ нимъ въ такихъ-же отношеніяхъ, въ какихъ былъ и къ „Современнику“. Человѣкъ отъ природы несомнѣнно умный, съ сильно развитымъ эстетическимъ и критическимъ чутьемъ, онъ ограничивался выборомъ подходящихъ сотрудниковъ и предоставлялъ дѣлу идти, какъ оно могло идти, не подражая тѣмъ мало опытнымъ и неискуснымъ кучерамъ, которые безъ толку дергаютъ лошадей и мѣшаютъ имъ бѣжать спокойно и ровно. Самъ Некрасовъ, непрестанно работавшій въ теченіе 30 лѣтъ, если не болѣе, въ разныхъ журналахъ или изданіяхъ, былъ болѣе или менѣе утомленъ этою работой и занимался ею, такъ сказать, наскокомъ и порывомъ. Иногда онъ все читалъ, что печаталось въ журналѣ, отъ начала до конца, иногда оставлялъ журналъ на цѣлые мѣсяцы, въ надеждѣ, что и безъ него, съ одними сотрудниками, дѣло пойдетъ такъ-же хорошо, какъ оно шло, не смущаясь тѣмъ, что явятся статьи неудачныя или что допущены будутъ въ нѣкоторыхъ изъ нихъ разныя неровности, излишества

Digitized by Google

и т. п. И дѣло дѣйствительно шло хорошо, какъ только могло идти при данныхъ наличныхъ силахъ. Салтыковъ въ общемъ держался въ веденіи журнала той-же системы, что и Некрасовъ, т.-е., употребляя прежнее сравненіе, онъ также не принадлежалъ къ числу тѣхъ плохихъ кучеровъ, которые безтолковымъ дерганіемъ лошадей мѣшаютъ только свободной, спокойной и ровной ѣздѣ. Но Михаилъ Евграфовичъ былъ кучеръ не только умѣлый и ловкій, но и кучеръ-щеголь, который заботился не только о томъ, чтобы ѣзда была хороша и спокойна, но чтобы при выѣздѣ не было никакой неряшливости ни въ сбруѣ, ни въ экипажѣ, чтобы все въ выѣздномъ ансамблѣ, если не блистало, то было въ порядкѣ и чисто".

Затѣмъ слѣдуетъ разсказъ о томъ постоянномъ нервномъ, лихорадочномъ безпокойствѣ, съ которымъ Салтыковъ относился ко всякой мелочи въ „Отечественныхъ Запискахъ", хотя въ его непосредственномъ завѣдываніи находился лишь беллетристическій отдѣлъ. Это извѣстно изъ другихъ воспоминаній о Салтыковѣ, да здѣсь и къ дѣлу не идетъ. Во всякомъ случаѣ, если въ „Отечественныхъ Запискахъ" нерѣдко печатались вещи очень слабыя (какой журналъ можетъ безъ нихъ обойтись?), то ни такихъ грубыхъ обличительныхъ повѣстей и „сценъ", какія попадались въ „Современникѣ", ни такихъ шутливыхъ публичныхъ пререканій между сотрудниками и взаимныхъ репримандовъ тамъ не было и быть не могло. Однако, не потому только, что Салтыковъ былъ кучеръ-щеголь. Это очень вѣрно и наглядно: онъ дѣйствительно былъ щеголь. Но, продолжая все то-же сравненіе, можно прибавить, что на экипажи, сбрую и т. д. бываетъ мода, измѣняющаяся, какъ и всякая другая мода, а, кромѣ моды, еще есть требованія климатическихъ и другихъ условій, тоже измѣняющихся. Отъ пятидесятыхъ до семидесятыхъ годовъ совершилось много хорошаго и много дурного. Съ одной стороны, въ грубыхъ таранахъ обличенія не было уже такой надобности, потому что нѣкоторое смягченіе нравовъ было, все-таки, достигнуто (а теперь, можетъ быть, опять утрачено); съ другой стороны, за отсутствіемъ того свѣжаго вѣтерка, который дулъ въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, беллетристическое обличеніе стало дѣломъ во всѣхъ смыслахъ рискованнымъ: и „богемы" не было, и эффекты обличенія могли оказаться совсѣмъ неожиданные. Тоже самое относится и къ фамильярно-шутливымъ взаимнымъ ре-

Digitized by Google

примандамъ сотрудниковъ. Въ качествѣ „кучера-щеголя“, Салтыковъ не допустилъ-бы ихъ, но въ нихъ и надобности не было. Литература давно уже вышла изъ положенія сказочной царевны въ очарованныхъ чертогахъ, ее не зачѣмъ было вводить въ жизнь пріемами утрированной простоты обращенія съ читателемъ и балагурствомъ. Поэтому, когда намъ, сотрудникамъ „Отечественныхъ Записокъ“, случалось упоминать другъ о другѣ, мы говорили совершенно серьезно. Исключенія бывали очень рѣдки, по старой привычкѣ. Я помню, какъ я былъ не то что пораженъ,—это слишкомъ громкое слово,—а не совсѣмъ пріятно тронутъ началомъ одной статьи Елисеева („Храмъ современнаго счастія или проектъ положенія объ акціонерныхъ обществахъ“, „Отеч. Зап.“ 1872 г.): „Я не знаю г. Михайловскаго, но полагаю, что онъ долженъ быть еще очень молодой человѣкъ. Кто-же, въ самомъ дѣлѣ, въ наше время можетъ такъ солидно, какъ онъ, усѣсться за Спенсера и, нисколько не улыбаясь, съ самымъ серьезнымъ видомъ начать разъяснять публикѣ, что такое счастіе?“ Тогда какъ, дескать, всякій знаетъ, что счастье въ деньгахъ. Это былъ юмористическій приступъ къ статьѣ вполнѣ серьезной. Я поинтересовался узнать, зачѣмъ онъ Елисееву понадобился. Онъ отвѣтилъ, что ему показалось занимательнѣе для читателя такъ начать статью.

Въ „Современникѣ“ подобные пріемы были очень обыкновенны: такъ было занимательнѣе для читателя. Но кто пойметъ эти пріемы въ буквальномъ смыслѣ, будетъ столь-же далекъ отъ истины, какъ если-бъ онъ, со ссылкой на статью самого Елисеева, утверждалъ, что Елисеевъ меня въ 1872 году не зналъ, тогда какъ это было время самыхъ дружескихъ и близкихъ нашихъ отношеній. Не все, однако, было, можетъ быть, шуткой въ юмористическомъ вступленіи Елисеева, какъ мы увидимъ впослѣдствіи. Точно также не все, можетъ быть, было шуткой и въ репримандахъ Добролюбова Елисееву по поводу весеннихъ мечтаній и лѣшихъ съ русалками. Никакой розни во взглядахъ этотъ репримандъ не знаменовалъ собою; напротивъ, подъ всѣмъ этимъ „внутреннимъ обозрѣніемъ“ Добролюбовъ смѣло могъ-бы подписаться. И, наоборотъ, Елисеевъ не отказался-бы подписаться подъ тѣмъ „обозрѣніемъ“, которое вмѣсто него и какъ-бы въ пику ему писалъ Добролюбовъ. Но, можетъ быть, Добролюбовъ дѣйствительно находилъ несвоевременнымъ въ апрѣлѣ 1861 г.

Digitized by Google

„разнѣживать“ читателей весенними мечтаніями, поэтическими картинами изъ далекаго языческаго прошлаго и розовыми перспективами въ далекое будущее; не имѣя ничего возразить по существу, находилъ несвоевременнымъ и не постѣснился сказать это въ печати съ такою-же простотой, съ какою сказалъ-бы глазъ на глазъ самому Елисееву въ пріятельской бесѣдѣ за стаканомъ чаю. Таковы были литературные нравы.

Во всякомъ случаѣ, эта фамильярно-публичная полемика свидѣтельствуетъ не объ отчужденности Елисеева въ составѣ редакціи „Современника“, а, напротивъ, о большой близости и о значительности его тогдашней роли въ журналистикѣ. Но игралъ онъ эту роль отнюдь не въ качествѣ теоретическаго мыслителя: упомянутое обозрѣніе, занятое общественными вопросами въ ихъ отвлеченной, чисто-теоретической формѣ, составляетъ, какъ уже сказано, рѣдкое исключеніе. Елисеевъ былъ, напротивъ, силенъ знаніемъ практической жизни и умѣньемъ разбираться въ текущихъ житейскихъ явленіяхъ, освѣщая ихъ съ точки зрѣнія требованій новой, проснувшейся на Руси жизни. Эта именно черта привлекла къ его „внутреннимъ обозрѣніямъ“ общее вниманіе и сдѣлала ихъ однимъ изъ важнѣйшихъ отдѣловъ „Современника“. Онъ былъ, можно сказать, создателемъ этого отдѣла не только въ своемъ журналѣ, а и вообще въ журналистикѣ. Но этого ему было мало. Толстый ежемѣсячный журналъ былъ для него слишкомъ громоздкою и слишкомъ медленно движущеюся машиной. Ею могли удовлетворяться другіе видные сотрудники „Современника“, озабоченные, главнымъ образомъ, проведеніемъ въ массу извѣстныхъ теоретическихъ взглядовъ и воздѣйствіемъ на жизнь обобщенными итогами. Елисеева-же тянуло въ самый водоворотъ практической жизни, съ ея злобой *дня* въ буквальномъ смыслѣ этого слова. Поэтому, не покидая журнала, онъ всегда мечталъ и о газетѣ.

Къ его услугамъ была „Искра“, но ея спеціальная программа не давала ему надлежащаго простора, да онъ былъ и немножко тяжеловѣсенъ для юмористическаго листка. Для образчика, кромѣ болѣе или менѣе постоянной „Хроники прогресса“, укажу интересующимся въ №№ 48 и 49 „Искры“ за 1860 г. замѣтку „Лай на луну“, въ № 1 за 1861 г. „Vivant aut pereant Поморные?“ въ № 1 за 1862 г. „Пробная лекція, читанная pro gradu doctoris по наукамъ историческимъ“. Во всѣхъ этихъ, конечно, не подписан-

Digitized by Google

ныхъ замѣткахъ и статейкахъ много остроумія, и очень язвительнаго, но въ цѣломъ онѣ, все-таки, тяжеловѣсны и не выдерживаютъ своего юмористическаго тона. Пробовалъ, кажется, Елисеевъ работать и въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ", но я въ этомъ не увѣренъ, и, во всякомъ случаѣ, сотрудничество его въ этой газетѣ, если оно было, было очень кратковременно и случайно. Когда въ 1861 г. „Русскій Вѣстникъ" выдѣлилъ изъ себя „Современную Лѣтопись" въ видѣ отдѣльной еженедѣльной газеты, куда отошелъ и отдѣлъ „внутренняго обозрѣнія", Елисеевъ, какъ мы уже видѣли, предполагалъ тамъ работать. Но съ Катковымъ они не сошлись. Въ концѣ того-же 1861 г. въ Петербургѣ составилась артель литераторовъ, предполагавшая издавать на паяхъ еженедѣльную газету „Мірской Толкъ". Редакторомъ былъ выбранъ Елисеевъ. Были сдѣланы всѣ приготовленія въ газетѣ: составлена программа, приглашены сотрудники, провинціальные корреспонденты. Но „Мірской Толкъ" не былъ разрѣшенъ. Въ 1862 г. компанія человѣкъ въ тридцать литераторовъ пріобрѣла у П. И. Вейнберга погибавшую еженедѣльную газету „Вѣкъ". Въ числѣ новыхъ издателей-сотрудниковъ были: К. К. Арсеньевъ, два брата Курочкины, Н. С. Лѣсковъ, С. В. Максимовъ, Помяловскій, два брата Потѣхины, Серно-Соловьевичъ, Николай Успенскій, Шелгуновъ, Щаповъ, А. Н. Энгельгардъ и друг. Редакторомъ опять-таки былъ выбранъ единогласно Елисеевъ, и любопытно, что выборъ этотъ заслужилъ одобреніе Каткова въ „Современной Лѣтописи". Это показываетъ, какимъ всеобщимъ уваженіемъ пользовался Елисеевъ, несмотря на его неизвѣстность въ публикѣ и сравнительно недавнее его вступленіе на литературное поприще. Такъ какъ дѣла „Вѣка" были очень запущены, то новой редакціи пришлось выпускать по нѣскольку нумеровъ заразъ, чтобы войти въ сроки. Вотъ содержаніе перваго выпуска: передовая статья самого Елисеева о нѣкоторыхъ дворянскихъ притязаніяхъ, выраженныхъ въ ту пору гг. Безобразовыми (московскимъ и петербургскимъ), Орловымъ-Давыдовымъ и Чичеринымъ; стихотвореніе Василія Курочкина „Безумцы", „Сельская община" Щапова; разсказъ Стопановскаго „Наши вечера"; „Амурскій вопросъ" Шашкова; иностранная политика; корреспонденціи изъ Новгородской губерніи и изъ Перми; анонимныя статьи: „Крестьянскіе юридическіе обычаи" и „Дѣйствительно-ли пьянство между крестьянами служитъ причиной недоимки". Такимъ обра-

Digitized by Google

зомъ, выпускъ былъ посвященъ почти исключительно нашимъ внутреннимъ дѣламъ и въ частности крестьянскимъ интересамъ. Такой составъ носилъ на себѣ отпечатокъ руки редактора. И, дѣйствительно, Елисеевъ былъ редакторомъ не по имени только. Въ скоромъ времени онъ, по какимъ-то соображеніямъ, отказался напечатать какую-то статью А. Н. Энгельгардта, одного изъ хозяевъ-сотрудниковъ. Нѣкоторые изъ сотрудниковъ обидѣлись такимъ властнымъ отношеніемъ редактора къ дѣлу и внесли свой протестъ въ общее собраніе пайщиковъ. Произошло бурное объясненіе, причемъ голоса раздѣлились. Большинство стояло за Елисеева, какъ человѣка, которому вся артель предоставляла извѣстныя полномочія, меньшинство — человѣкъ шесть — вышло изъ состава сотрудниковъ „Вѣка". Вскорѣ послѣ того „Вѣкъ", однако, и совсѣмъ прекратился, благодаря неисправности пайщиковъ и не взносу ими денегъ. У меня есть письмо Елисеева къ покойному А. М. Унковскому, изъ котораго видно, что Григорій Захаровичъ думалъ о возобновленіи „Вѣка" при иныхъ условіяхъ, но это не выгорѣло.

Въ 1863 г. Елисеевъ опять попытался пристроиться къ газетному дѣлу. Арендовавшій „С.-Петербургскія Вѣдомости" Амплій Очкинъ передалъ ихъ въ 1862 г. Коршу, а затѣмъ затѣялъ новую ежедневную газету „Очерки", редакторомъ которой предложилъ быть Елисееву. Въ контрактѣ, заключенномъ между Елисеевымъ и Очкинымъ, есть одна интересная особенность. А именно пунктъ 6-й контракта гласитъ: „Въ случаѣ смерти Очкина, газета „Очерки" переходитъ въ полное завѣдываніе Елисеева, но онъ обязанъ уплачивать наслѣдникамъ Очкина въ теченіе двѣнадцати лѣтъ половину чистой прибыли, для опредѣленія которой они могутъ назначить отъ себя довѣренное лицо, но никакія взысканія по газетѣ „Очерки" за долги, сдѣланные по смерти Очкина, на нихъ падать не могутъ. Въ случаѣ смерти Елисеева, въ товарищество съ Очкинымъ по изданію и пользованію прибылью отъ газеты на одинаковыхъ съ Елисеевымъ правахъ вступаетъ то лицо, которое будетъ главнымъ помощникомъ ихъ, Очкина и Елисеева, по газетѣ, съ обязательствомъ платить наслѣдникамъ сего послѣдняго изъ своей половины чистой прибыли одну треть каждогодно, въ теченіе двѣнадцати лѣтъ. О лицѣ, избранномъ въ помощники, Елисеевъ обязывается сдѣлать заявленіе Очкину черезъ четыре мѣсяца послѣ начала изданія газеты".

Digitized by Google

Здѣсь любопытна заботливость о дальнѣйшемъ направленіи газеты, которое Елисеевъ хотѣлъ обезпечить своимъ посмертнымъ распоряженіемъ о помощникѣ, а потомъ и самостоятельномъ руководителѣ „Очерковъ". Такъ какъ выборъ этого лица откладывался на четыре мѣсяца, то Елисеевъ, очевидно, хотѣлъ предварительно на дѣлѣ испытать своихъ сотрудниковъ и уже затѣмъ намѣтить себѣ помощника въ настоящемъ и преемника въ будущемъ. „Очерки" не просуществовали и четырехъ мѣсяцевъ, а потому помощникъ-преемникъ не выяснился. Для завѣдыванія отдѣломъ иностранной политики Елисеевъ пригласилъ своего сотрудника по „Современнику" М. А. Антоновича, а затѣмъ больше другихъ работалъ въ „Очеркахъ", кажется, Щаповъ, для распорядительства газетой, однако, совершенно неудобный по своей безалаберности.

„Очерки" были совсѣмъ не похожи на обыкновенныя ежедневныя газеты. О томъ разнообразіи отдѣловъ и рубрикъ, какимъ щеголяютъ нынѣшнія газеты, нечего и говорить. Но и просто порядка мало было. Мѣсто передовой статьи занимала въ нихъ иногда какая-нибудь корреспонденція изъ провинціи, а иногда цѣлое историческое изслѣдованіе, растягивавшееся на нѣсколько нумеровъ; вообще никакой системы въ отношеніи расположенія матеріала. Не то относительно содержанія и порядка внутренняго. Вести тогда газетное дѣло было несравненно труднѣе, чѣмъ теперь. Нѣкоторое понятіе о тогдашнихъ трудностяхъ могутъ имѣть редакторы теперешнихъ провинціальныхъ газетъ, доселѣ издающихся подъ предварительною цензурой, что для ежедневнаго изданія представляетъ, конечно, особенныя затрудненія. Но къ услугамъ теперешнихъ газетчиковъ есть множество формъ и пріемовъ, которые тогда или не были въ обычаѣ, или не могли практиковаться за отсутствіемъ соотвѣтственнаго литературнаго персонала: разные фельетоны, большіе и „маленькіе", могущіе заинтересовать читателя какою-нибудь житейскою мелочью или остроуміемъ. Грузнѣе тогда все это было, а между тѣмъ, годъ былъ нарочито трудный: 1863. Тѣмъ не менѣе, направленіе „Очерковъ" было строго выдержанное и, несмотря на ихъ умѣренность, знаменитый тогдашній доброволецъ сыска въ литературѣ, редакторъ „Домашней Бесѣды" Аскоченскій, называлъ руководителей „Очерковъ" „робеспьериками, дантончиками и прудончиками". Для оправданія этихъ прозвищъ пускались въ ходъ

Digitized by Google

обычныя средства: выуживаніе отдѣльныхъ словъ и фразъ и извращеніе ихъ смысла.

Въ написанной Елисеевымъ передовой статьѣ перваго нумера „Очерковъ“ читаемъ:

„Еще канулъ въ вѣчность одинъ годъ, годъ для насъ знаменательнѣйшій, какъ стоящій на рубежѣ двухъ тысячелѣтій нашей государственной жизни,—годъ, ознаменовавшійся постановленіями и событіями, еще болѣе усиливающими тотъ разрывъ съ нашимъ прошедшимъ, который произведенъ положеніемъ 19 февраля. Старыя формы будутъ еще держаться среди насъ, доживая свой вѣкъ; но ихъ недолговѣчность очевидна. Весенній ледъ не можетъ долго держаться подъ теплыми лучами согрѣвающаго солнца. Напряженіе общества слишкомъ велико, напоръ идей очень силенъ, чтобы можно было полагаться на ихъ (т.-е. старыхъ формъ) прочность. Мы всѣ, переживающіе переходную эпоху нашего времени, поставлены въ странное положеніе. Мы открываемъ собою новую эру; положеніе вещей таково, что если-бы мы и хотѣли, не можемъ остаться statu quo, мы должны даже противъ нашей воли, противъ нашего выбора идти впередъ. Но какъ идти? Осматриваясь кругомъ, мы не видимъ многаго, вполнѣ готоваго для нашихъ поступательныхъ шаговъ. Носятся, правда, среди насъ разные разрозненные элементы новой жизни, но не видно силы, которая-бы способна была стянуть эти элементы и соединить ихъ въ одно цѣлое; раздается множество голосовъ, желающихъ новаго порядка жизни, но въ ихъ разнородныхъ стремленіяхъ нѣтъ общей, соединяющей все идеи,—однимъ словомъ, видна хаотическая матерія для жизни, но нѣтъ силы организующей. Но это лучшее изъ того, что мы видимъ. Все это приложимо только къ тому обществу, которое называется мыслящимъ, передовымъ, которое составляетъ сотую долю цѣлаго. Подъ нимъ лежатъ милліоны массъ, еще не тронутыхъ почти, чувствующихъ трудность своего положенія, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, свыкшихся вполнѣ съ извѣстными формами жизни и началами, желающихъ лучшаго, но чтобы оно не нарушало прадѣдовскаго уклада жизни,—однимъ словомъ, ищущихъ исхода, но безъ малѣйшаго представленія о существѣ его и съ очевидною привязанностью къ вѣковой рутинѣ“.

Въ дальнѣйшемъ изложеніи авторъ, обращаясь, для объясненія настоящаго, къ тяготѣющему надъ нимъ прошлому и именно къ XVI и XVII столѣтіямъ, замѣчаетъ, что „начала древней рус-

Digitized by Google

ской (или собственно московской) цивилизаціи дѣйствовали вообще на общество злокачественно. Гдѣ глубже они входили въ жизнь общества, гдѣ получали возможность дѣйствовать съ сильнѣйшимъ напоромъ, тамъ жизнь становилась испорченнѣе, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, народъ дѣлался бѣднѣе, грубѣе, апатичнѣе. По этому самому, самыя худшія общества въ Россіи XVI и XVII в. были передовыя, и самое худшее изъ всѣхъ было, разумѣется, самое передовое—московское". Низшихъ слоевъ населенія цивилизація эта коснулась лишь поверхностно и поэтому они, несмотря на свою отсталость, а частью даже именно благодаря этой отсталости, сохранили въ себѣ задатки лучшаго будущаго развитія. „Ближайшее къ намъ прошедшее XVI и XVII вѣковъ представляетъ собой торжество вторгнувшихся въ жизнь народа чуждыхъ ему началъ, подавленіе и растлѣніе этими началами его природнаго смысла; наше время, какъ оно ни представляется испорченнымъ, стоитъ неизмѣримо выше того времени и есть, во всякомъ случаѣ, время возрожденія. Простота и чистота нравовъ, семейныя добродѣтели, благочестіе и тому подобныя качества, приписываемыя нами нашимъ предкамъ XVI и XVII ст.,—призраки, созданные нашимъ собственнымъ воображеніемъ. Чтобы разрушить эти иллюзіи, почувствовать ту гниль и духоту, которыхъ полна была эта жизнь, намъ стоитъ только погрузиться на нѣсколько мгновеній въ ея мутныя струи".

„Погруженія" эти и совершаются въ нѣсколькихъ передовыхъ статьяхъ. Историко-публицистическія статьи Щапова занимали также видное мѣсто въ „Очеркахъ". Подъ стать къ этому историческому тону была задумана и политическая хроника. Авторъ въ первой-же хроникѣ заявляетъ, что „намѣренъ, при разсказахъ о текущихъ событіяхъ, обращаться къ исторіи, къ прошедшимъ и давно прошедшимъ событіямъ, чтобы показывать ихъ связь съ настоящимъ; потому что только при такой связи можно будетъ видѣть все значеніе послѣднихъ и понять ихъ ясно, даже просто съ фактической стороны".

Чтобы окончательно дорисовать физіономію „Очерковъ", я приведу нѣсколько параграфовъ изъ напечатаннаго въ первомъ нумерѣ „Перечня нѣкоторыхъ болѣе замѣчательныхъ открытій, сдѣланныхъ русскою литературой въ 1862 году": 2) „Найдено вѣрное средство ослабить, а современемъ и совсѣмъ уничтожить русскую народную общину введеніемъ англійскаго ценза

Digitized by Google

(см. „Русскій Вѣстникъ“ съ братіей); 3) открыта возможность *закрѣпостить* народъ, и не прибѣгая вновь къ крѣпостному праву, именно посредствомъ замѣны выработаннаго народомъ самоуправленія англійскимъ Selfgovernement'омъ (см. „Русскій Вѣстникъ“); 7) признана польза размноженія въ Россіи батраковъ, т.-е. людей, не имѣющихъ ни земли, ни кола, ни двора, въ видахъ преуспѣянія отечественнаго земледѣлія; 8) усмотрѣнъ государственный вредъ въ сообщеніи высшаго образованія людямъ недостаточнымъ, равно какъ и въ предоставленіи имъ общественныхъ должностей (см. „Русскій Вѣстникъ“, статья г. Скуратова); 9) усмотрѣна нравственная польза въ размноженіи таскающихся по улицѣ нищихъ, какъ субъектовъ, порождающихъ въ народѣ *процессъ нравственныхъ ощущеній, благотворительныхъ для души, очищающихъ ее и вводящихъ въ общеніе съ вѣчною благостью, зиждущею міръ* (см. „День“); 10) открыто, что наука въ сильныхъ своихъ пріемахъ, въ какихъ дается въ россійскихъ университетахъ, есть несомнѣнный ядъ, который мужчины еще могутъ кое-какъ выносить, но который положительно разъѣдаетъ и сокрушаетъ женщину“, и т. д.

„Очерки“ несомнѣнно заинтересовали читающую публику, но имѣли-ли они матеріальный успѣхъ—сказать нельзя уже потому, что, начавшись 1 января 1863 г., они выпустили свой послѣдній нумеръ 8 апрѣля того-же года. Прекратились они по обстоятельствамъ, отъ Елисеева совершенно не зависѣвшимъ. Онъ, кажется, и самъ узналъ это post factum: Очкинъ безъ его вѣдома вступилъ въ соглашеніе съ издателемъ газеты „Современное Слово“ Писаревскимъ, которому и передалъ своихъ подписчиковъ, а „Очерки“ прекратилъ. Эпизодъ этотъ Некрасовъ воспѣлъ въ „Свисткѣ“ („Современникъ“ 1863 г., № 4), гдѣ, между прочимъ, читаемъ:

Видѣлъ во снѣ Елисеева:
Вотъ онъ вошелъ въ магазинъ,
И извѣстилъ о бѣдѣ его
Тотчасъ приказчикъ одинъ.
Съ миной тупой, нерѣшительной,
Долго стоялъ онъ суровъ,—
Этотъ пассажъ удивительный
Былъ ему, кажется, новъ.
Молча пошелъ онъ вдоль Невскаго,
Пикнуть не могъ ничего,

Digitized by Google

Словно карнизомъ отъ дома Краевскаго
Этимъ пришибло его.

Работа Елисеева въ „Современникѣ“ шла сама собой. Кромѣ внутреннихъ обозрѣній и обзоровъ журналистики, онъ, послѣ перечисленныхъ уже выше отдѣльныхъ статей, напечаталъ еще: въ маѣ 1865 г.—„Представительство крупной собственности въ земскихъ учрежденіяхъ“, въ іюнѣ и іюлѣ того-же года—„Городское хозяйство Петербурга“, въ сентября—„Екатерининскій дворянинъ и современная газета „Вѣсть“, въ сентябрѣ-же, ноябрѣ и декабрѣ 1865 г. и въ январѣ 1866 г.—„Очеркъ исторіи русской литературы по современнымъ изслѣдованіямъ“.

---

4 апрѣля 1866 г. вся Россія была потрясена Каракозовскимъ покушеніемъ на жизнь императора Александра II. Въ наступившіе вслѣдъ затѣмъ тяжелые дни произошли, между прочимъ, два событія особенной для Елисеева важности: закрытіе „Современника“ и арестъ самого Елисеева. О послѣднемъ онъ разсказываетъ въ одной изъ оставшихся послѣ него рукописей и мнѣ кажется, что объ этихъ дѣлахъ давно минувшихъ дней надо разсказывать его собственными словами, его спокойнымъ, эпическимъ тономъ:

„Къ существу Каракозовскаго процесса я не имѣлъ никакого прикосновенія. Но главный слѣдователь и руководитель этого процесса, графъ Муравьевъ, хотѣлъ очистить Россію отъ всѣхъ элементовъ, которые казались ему вредными, и потому присоединилъ къ нему дѣла, не имѣвшія къ нему никакого отношенія. Я былъ привлеченъ по обвиненію въ содѣйствіи соціалистическому предпріятію, хотя ничего соціалистическаго въ этомъ предпріятіи не было, да и самаго предпріятія не было, и самое содѣйствіе не могло быть ему оказываемо. Однимъ словомъ, все было въ мечтѣ. Рабочіе Мальцевскаго завода въ Калужской губерніи, оставшіеся послѣ эмансипаціи безъ дѣла, захотѣли устроить свой заводъ, но ни земли, ни денегъ на постройку завода у нихъ не имѣлось. Въ нихъ приняли горячее участіе мѣстные судебный слѣдователь и мировой посредникъ. По ихъ просьбѣ одинъ сосѣдній помѣщикъ далъ имъ землю для постройки завода, деньги-же на постройку завода хотѣли просить у правительства въ количествѣ 15.000 рублей. Означенный судебный слѣдователь и мировой посредникъ обратились ко мнѣ съ просьбой указать—

Digitized by Google

черезъ кого-бы они могли обратиться къ правительству. Я имъ указалъ такое лицо, съ которымъ былъ знакомъ только шапочно и о которомъ зналъ только, что онъ имѣетъ знакомство въ оффиціальныхъ кругахъ. Теперь всѣ мы, т.-е. и судебный слѣдователь, и мировой посредникъ, и лицо, на которое я указалъ, хотя еще мое указаніе не дошло до него,—всѣ мы были посажены въ крѣпость.

„Въ Мальцевское дѣло попалъ я совершенно случайно. Въ Петербургѣ до Каракозовской исторіи оно почти вовсе не было извѣстно, по крайней мѣрѣ я объ немъ вовсе не слыхалъ. Но московскую молодежь еще за годъ до этой исторіи начало занимать устройство рабочихъ Мальцевскаго завода въ Калужской губерніи. Какъ разъ именно въ это время я пріѣхалъ въ Москву лѣчиться въ водолѣчебномъ заведеніи д-ра Крейзера, гдѣ поселился на житье и пробылъ въ Москвѣ около двухъ мѣсяцевъ. Въ Москвѣ я никого не зналъ, но такъ какъ въ литературныхъ кругахъ имя мое было нѣсколько извѣстно по участію въ „Современникѣ“, то ко мнѣ пришелъ познакомиться В. И. П., бывшій тамъ учителемъ въ кадетскомъ корпусѣ и гимназіи. Онъ мнѣ очень понравился и сдѣлался потомъ близкимъ моимъ пріятелемъ. Онъ привелъ ко мнѣ и еще двухъ или трехъ молодыхъ людей изъ московской интеллигенціи, которые впослѣдствіи оказались членами или московской Каракозовской „организаціи“, или Каракозовскаго „ада“. Извѣстно, что Каракозовское общество раздѣлялось на двѣ части: одна заключала главныхъ руководителей всего дѣла, знавшихъ всѣ его тайны, всѣмъ распоряжавшихся, которыхъ было всего 9 человѣкъ; они носили названіе „ада“; къ другой части, называвшейся „организаціей“, принадлежали всѣ другіе члены, число которыхъ не было ограничено. Существовало-ли въ то время, когда я былъ въ Москвѣ, Каракозовское общество, или нѣтъ, я не знаю. Но полагаю, что его не было даже въ зачаткѣ, потому что при той болтовнѣ, которою они отличались, они не могли просуществовать такъ долго—около года. По крайней мѣрѣ, я объ немъ ничего не зналъ, да не зналъ ничего, конечно, и мой новый пріятель В. И. П., попавшій потомъ въ Каракозовскій процессъ также совершенно случайно, какъ и я... Какъ-бы то ни было, но когда я возвратился въ Петербургъ, ко мнѣ начали являться нѣкоторыя новыя лица изъ московской молодежи съ рекомендательными письмами отъ тѣхъ молодыхъ людей, съ которыми я познакомился въ Москвѣ. Письма

Digitized by Google

эти были только предлогомъ увидать меня и потомъ разсказать о добытыхъ свѣдѣніяхъ, яко-бы при разговорѣ со мною, всѣмъ пріятелямъ. Ибо по тогдашнему значенію „Современника“ въ общественномъ мнѣніи и по своему положенію въ этомъ журналѣ въ качествѣ внутренняго обозрѣвателя, я былъ сюжетомъ небезъинтереснымъ для обыденной болтовни въ праздныхъ кружкахъ. Большею частью всѣ разговоры съ такими приходившими съ рекомендательными письмами ограничивались указаніемъ адресовъ тѣхъ или другихъ книжныхъ магазиновъ или редакцій, а также и моимъ личнымъ мнѣніемъ о нихъ. Потомъ я совершенно забылъ фамиліи приходившихъ ко мнѣ лицъ. Между тѣмъ приходившіе ко мнѣ, возвращаясь въ Москву, подробно разсказывали въ своихъ кружкахъ обо всемъ, что говорили и видѣли въ Петербургѣ. Черезъ это имя мое въ кружкахъ московской молодежи, превратившихся потомъ въ „организацію“ и „адъ“, сдѣлалось, къ несчастію моему, чрезвычайно популярнымъ... Надобно сказать, что многіе изъ членовъ „организаціи“ были чистыя дѣти, не по возрасту только, но и по разумѣнію. Давая свои показанія, они заботились не о томъ, чтобы скрыть свои наипрерадикальнѣйшіе помыслы, а старались, напротивъ, блеснуть ими, выставить ихъ какъ можно выпуклѣе, чтобы не сочли ихъ менѣе прогрессивными, чѣмъ ихъ товарищи. На вопросъ слѣдователя: гдѣ они почерпнули такія перверсивныя идеи? кто-то отвѣтилъ, что въ моемъ сочиненіи о соціализмѣ. Слѣдователи были настолько, однако, осторожны, что сочли нужнымъ справиться въ библіографическихъ указателяхъ, есть-ли такое сочиненіе подъ моимъ именемъ или псевдонимомъ, потомъ спросили у сидѣвшихъ въ крѣпости литераторовъ, не писалъ-ли я какихъ нибудь статей о соціализмѣ; и такъ какъ сдѣланное показаніе оказалось чистымъ враньемъ, то мнѣ никакого вопроса по этому показанію не предложили, и я узналъ о немъ только уже по выходѣ изъ крѣпости. Но не всѣ показанія были такъ нелѣпы, что опровергались сами собой, какъ очевидное вранье. Другія были, напротивъ, очень пикантны и, повидимому, вполнѣ соотвѣтствовали положенію дѣла, изъ нихъ не легко было выпутаться...

„Одинъ членъ „ада“ сдѣлалъ показаніе, что я имѣлъ съ нимъ экстренное свиданіе для совѣщанія о похищеніи одного важнаго политическаго преступника, находящагося въ каторгѣ. Хотя я этого члена „ада“ видѣлъ не болѣе двухъ разъ въ жизни, такъ

Digitized by Google

какъ онъ жилъ постоянно въ Москвѣ, а я въ Петербургѣ, хотя я по своему положенію и профессіи не могъ быть близокъ къ нему, такъ какъ онъ не принадлежалъ даже вовсе къ литературному цеху, тѣмъ не менѣе показаніе его имѣло видъ вѣроятія: я былъ одной профессіи съ пострадавшимъ, стоялъ при одномъ съ нимъ дѣлѣ, былъ болѣе или менѣе близокъ къ нему и слѣдственно могъ искренно желать его освобожденія.

„Другой изъ членовъ „ада", но уже не изъ московскихъ, а изъ петербургскихъ жителей (кажется, это былъ единственный человѣкъ изъ Петербурга, состоявшій членомъ Каракозовскаго общества, остальные были всѣ москвичи) сдѣлалъ показаніе еще болѣе пикантное. Именно, показалъ, что у меня нерѣдко были собранія, на которыхъ присутствовалъ онъ самъ и другіе члены „ада" и на которыхъ происходили преступныя совѣщанія. Это показаніе крайне изумило меня. Ибо сдѣлавшій это показаніе былъ извѣстный И. А. Худяковъ, очень ко мнѣ близкій молодой человѣкъ, хорошо меня знавшій, къ которому я былъ очень привязанъ, равно какъ и онъ ко мнѣ. По нравственному своему характеру это былъ человѣкъ не только вполнѣ безупречный, но нѣкоторымъ образомъ подвижникъ. Онъ посвятилъ себя всецѣло дѣлу просвѣщенія народа; въ періодической литературѣ онъ не участвовалъ, а занимался изданіемъ русскихъ народныхъ сказокъ, разныхъ просвѣтительныхъ брошюръ, учебниковъ, хрестоматій, получалъ за эти изданія порядочныя деньги, но самъ лично на себя расходовалъ не болѣе 25 руб. въ мѣсяцъ, остальныя-же употреблялъ всѣ на помощь бѣдствующимъ молодымъ людямъ изъ учащихся, на свой счетъ содержалъ и воспитывалъ одного крестьянскаго мальчика. Въ высшей степени нервный отъ природы, крайне подвижной, всегда озабоченный и занятый дѣломъ, постоянно спѣшащій, онъ забѣгалъ ко мнѣ раза два-три въ мѣсяцъ, сидѣлъ часъ или два не болѣе и, переговоривъ о чемъ нужно по своимъ литературнымъ занятіямъ, убѣгалъ... Никогда не думалъ я, чтобы этотъ человѣкъ могъ сдѣлаться членомъ тайнаго общества, никогда ни одного намека не обронилъ онъ мнѣ о существованіи общества въ Москвѣ и своей принадлежности къ нему... Я уже сказалъ, что показаніе, сдѣланное Худяковымъ относительно меня, очень меня изумило. Онъ зналъ очень хорошо, какую я веду жизнь, зналъ всѣ мои знакомства и поэтому не могъ показать, что у меня бывали какія-нибудь собранія, тѣмъ болѣе съ чле-

Digitized by Google

нами Каракозовскаго общества, знакомство мое съ которыми было совсѣмъ случайное. Сверхъ того, Худяковъ былъ такъ ко мнѣ привязанъ, что если-бы такое собраніе и было у меня, онъ никогда-бы этого не показалъ, чтобы не повредить мнѣ. Я былъ въ этомъ убѣжденъ. И потому показаніе объяснилъ себѣ такъ, что онъ впалъ во время слѣдствія въ нервное разстройство, былъ въ ненормальномъ состояніи и, вмѣсто того, что было, писалъ въ своихъ показаніяхъ то, что ему мерещилось въ его разстроенномъ мозгу,— свои собственныя галлюцинаціи. Приходило мнѣ на мысль, впрочемъ, и другое объясненіе. Воротилой всего слѣдственнаго процесса и довѣреннымъ лицомъ по слѣдствію у графа Муравьева былъ аудиторъ, человѣкъ очень хорошій и добросовѣстный, но стараго юридическаго воспитанія и старыхъ порядковъ и пріемовъ при слѣдствіи. А при этихъ порядкахъ и пріемахъ считалось вполнѣ законнымъ, для запугиванія и уловленія обвиняемаго, писать показанія отъ лица товарища его по обвиненію или вообще близкаго къ нему лица...

„Само собою разумѣется, что я рѣшительно и безусловно отвергъ истинность обоихъ показаній, сдѣланныхъ относительно меня помянутыми членами „ада“ и мнѣ предъявленныхъ. Но это мое отрицаніе, конечно, не могло уничтожить въ слѣдователяхъ подозрѣніе въ моей большей прикосновенности къ дѣлу, чѣмъ это обнаруживалось изъ доселѣ добытыхъ фактовъ. Видимость была никакъ не въ мою пользу. Я не могъ отрицать знакомство съ нѣсколькими членами организаціи и даже ада. Положимъ, что знакомство это было случайное, но кто могъ удостовѣрить, что тутъ не было и другой подкладки. Притомъ близость моя къ Худякову была удостовѣрена. Вообще, я никакъ не надѣялся освободиться изъ крѣпости ранѣе верховнаго суда.

„Какъ вдругъ въ одинъ прекрасный день меня совершенно неожиданно приглашаютъ къ коменданту, который самъ выходитъ ко мнѣ и поздравляетъ меня съ освобожденіемъ изъ его вѣдѣнія. Моя радость при этомъ извѣстіи отлично понятна будетъ всѣмъ, кто переживалъ Каракозовское время и страшную панику, охватившую тогда все общества, но вполнѣ поймутъ ее только тѣ, которые привлечены были къ слѣдствію по этому дѣлу“.

Елисеевъ считалъ еще себя счастливымъ сравнительно съ нѣкоторыми своими товарищами по литературѣ, и именно потому, что онъ подвергся, а они не подверглись заключенію,—крѣпость,

Digitized by Google

по крайней мѣрѣ, отлучила его отъ непосредственнаго общенія съ той паникой, которая распространилась въ обществѣ. Взволнованность общества была вполнѣ естественна, какъ въ виду того, что Каракозовскій выстрѣлъ представлялъ собою небывалое дотолѣ явленіе, такъ и въ виду назначенія руководителемъ слѣдствія гр. М. Н. Муравьева. Но взволнованность эта принимала размѣры и формы чрезвычайные. Вотъ что, напримѣръ, разсказываетъ Елисеевъ: „По выходѣ изъ крѣпости, иду я разъ, направляясь къ Васильевскому, гдѣ жилъ въ то время, по Конногвардейскому бульвару и вижу, что въ проходящую по тому-же направленію конку вскочилъ профессоръ университета N., участвовавшій въ литературѣ, человѣкъ хорошій, близкій мой знакомый, бывавшій у меня довольно часто, котораго я не видалъ въ продолженіе всего времени, что сидѣлъ въ крѣпости, и котораго хотѣлъ разспросить о многомъ. Не долго думая, я вскочилъ на подножку конки; но такъ какъ мѣста внутри конки не было, то я взобрался наверхъ. Увидавъ меня, профессоръ, едва только мы стали выѣзжать съ конца Николаевской линіи, выскочилъ и побѣжалъ прочь отъ конки. Я сталъ окликать его, но профессоръ мчался впередъ. Предполагая, все-таки, что онъ не слышитъ, я соскочилъ съ конки и побѣжалъ также за нимъ, все продолжая кричать. Разстояніе между нами было такъ не велико, что невозможно было не слышать моего крика. Но профессоръ продолжалъ бѣжать, не оглядываясь, и едва только добѣжалъ до перваго извозчика, шмыгнулъ на него, и былъ таковъ. Тутъ только я понялъ, что профессора гналъ отъ меня шкурный вопросъ. Пришедши домой, я много смѣялся. Мнѣ показалось очень забавною его трусость, на мой взглядъ совершенно безпричинная. Ибо чего же ему было бояться меня, когда самъ гр. М. Н. Муравьевъ, по тщательномъ изслѣдованіи моихъ поступковъ и мыслей, не нашелъ возможнымъ ни предать меня суду, ни продолжать дальнѣйшее надо мной слѣдствіе, а выпустилъ на волю? Однако скоро мнѣ пришлось убѣдиться, что я ошибался. Несмотря на мое освобожденіе, одно сидѣніе въ крѣпости приводило людей мнительныхъ и трусливыхъ въ смущеніе относительно меня и заставляло ихъ сторониться“.

Обстоятельство это, разумѣется, не украшало положенія Елисеева, а оно и безъ того было трудно. По выходѣ изъ крѣпости, средствъ у него не было никакихъ, работы—тоже: „Современникъ“ былъ

Digitized by Google

тѣмъ временемъ закрытъ. Помощь со стороны ограничивалась 300 руб., присланными Некрасовымъ женѣ Елисеева тотчасъ послѣ его ареста, да добрымъ участіемъ домовладѣлицъ, у которыхъ они жили, какихъ-то двухъ старыхъ нѣмокъ, рѣшительно отказавшихся получать квартирную плату за время ареста. Скоро, однако, послѣ перваго переполоха, въ Некрасовѣ забилась старая жилка журналиста, и онъ задумалъ сборникъ, къ участію въ которомъ пригласилъ Елисеева. Потомъ мысль о сборникѣ смѣнилась мыслью о журналѣ, и явилась извѣстная комбинація съ арендой „Отечественныхъ Записокъ" у Краевскаго...

Въ „Отечественныхъ Запискахъ" предполагалось участіе не только Некрасова, Салтыкова и Елисеева, какъ вышло само собой потомъ, а и другихъ главныхъ сотрудниковъ „Современника"— гг. Пыпина, Жуковскаго, Антоновича. Это не устроилось. Дѣло въ томъ, что еще гораздо раньше, вмѣстѣ съ выбытіемъ изъ строя Добролюбова и Чернышевскаго, отлетѣла изъ редакціи „Современника" ея душа, ея непререкаемо организующее начало, и поднялись внутреннія неурядицы, разсказъ о которыхъ имѣется въ бумагахъ Елисеева, равно какъ и печальная повѣсть о дрязгахъ при возникновеніи обновленныхъ „Отечественныхъ Записокъ". Я долго колебался—передавать-ли здѣсь эту истинно печальную повѣсть, или не передавать, и пришелъ къ отрицательному рѣшенію, хотя для передачи были очень вѣскіе мотивы. Въ литературѣ существуетъ во всякомъ случаѣ печатный документъ, относящійся сюда. Это именно „Матеріалы для характеристики современной литературы" (Спб. 1869), состоящіе изъ двухъ частей: 1) „Литературное объясненіе съ Н. А. Некрасовымъ" г. Антоновича и 2) статья г. Жуковскаго—„Содержаніе и программа „Отечественныхъ Записокъ" за прошлый годъ". Правда, этотъ памфлетъ, направленный главнымъ образомъ противъ Некрасова и Елисеева, не повредилъ въ свое время ни тому, ни другому, ни „Отечественнымъ Запискамъ". Да и впослѣдствіи, даже злѣйшіе враги, какъ этого журнала, такъ и этихъ двухъ первыхъ его руководителей, сколько я знаю, не утилизировали коллективнаго труда гг. Антоновича и Жуковскаго. Памфлетъ доставилъ много непріятныхъ минутъ, въ особенности Некрасову, да и Елисееву, какъ сейчасъ увидимъ, но собственно въ публикѣ прошелъ безслѣдно. Тѣмъ не менѣе будущій историкъ литературы можетъ остановиться на этомъ документѣ. Елисеева, оче-

Digitized by Google

видно, заботило это обстоятельство, потому что въ его бумагахъ сохранилось нѣсколько набросковъ, касающихся личныхъ отношеній между бывшими сотрудниками „Современника“ при возникновеніи „Отечественныхъ Записокъ“. Въ одной изъ своихъ печатныхъ статей („Отвѣтъ на критику“, „О. З.“ 1869, № 4) онъ даже пообѣщалъ „въ особой брошюрѣ возстановить разсказъ о началѣ „Отечественныхъ Записокъ“ и „Современнаго Обозрѣнія“ и послѣдующихъ сношеніяхъ г. Некрасова съ г. Жуковскимъ во всей полнотѣ и цѣлостности, съ поименованіемъ всѣхъ событій и лицъ, въ нихъ участвовавшихъ или соприкасавшихся съ ними, со всѣми рѣчами послѣднихъ и т. д.“. Онъ не исполнилъ своего обѣщанія, вѣроятно именно потому, что убѣдился, что брошюра гг. Антоновича и Жуковскаго не производитъ большого впечатлѣнія и, слѣдовательно, не нуждается въ немедленномъ детальномъ опроверженіи. Притомъ-же, въ такомъ опроверженіи ему пришлось-бы высказать свой особый взглядъ на Некрасова, неудобный для опубликованія при жизни послѣдняго. Тѣмъ не менѣе впослѣдствіи онъ, повторяю, не разъ возвращался къ этому эпизоду въ своихъ отрывочныхъ автобіографическихъ запискахъ, желая, повидимому, обѣлить свое имя въ случаѣ надобности.

Есть-ли такая надобность теперь? Не думаю. Имя Елисеева, какъ было, такъ и останется незапятнаннымъ, а направленный противъ него и Некрасова памфлетъ, какъ былъ, такъ и останется на днѣ рѣки забвенія. Извлекать его оттуда значило-бы, можетъ быть, дать совсѣмъ нежелательную пищу кое кому изъ нынѣшнихъ борзописцевъ. Достаточно пока указать на вышеупомянутую статью Елисеева „Отвѣтъ на критику“ и на напечатанный въ томъ-же № въ отдѣлѣ „новыхъ книхъ“ разборъ „Матеріаловъ“ гг. Антоновича и Жуковскаго. Разборъ этотъ, анонимный, какъ и весь отдѣлъ „новыхъ книгъ“, написанъ Салтыковымъ, что, впрочемъ, не трудно узнать по язвительному остроумію рецензіи. Я долженъ разсказать, однако, по крайней мѣрѣ, нѣкоторые голые факты, безъ всякихъ комментаріевъ, дабы читатель зналъ, какъ это вышло, что изъ всѣхъ сотрудниковъ „Современника“ одинъ Елисеевъ остался при Некрасовѣ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ (Салтыковъ началъ въ нихъ писать съ перваго-же номера, но, собственно, въ составъ редакціи вошелъ нѣсколько позже, когда вышелъ въ отставку).

Елисеевъ былъ увѣренъ, что въ обновленныя „Отечественныя

Digitized by Google

Записки“ войдутъ всѣ сотрудники „Современника“. И дѣйствительно, въ переговорахъ съ Некрасовымъ участвовали и г. Пыпинъ, и г. Жуковскій (г. Антоновичъ не участвовалъ, такъ какъ былъ въ это время за границей). Но они не сошлись съ Некрасовымъ въ условіяхъ и устроились было въ журналѣ Тиблена „Современное Обозрѣніе“, гдѣ, однако, роль ихъ ограничилась, кажется, только участіемъ въ редактированіи опубликованной программы журнала, да и самый журналъ скоро прекратился. Елисеевъ никакихъ условій Некрасову не ставилъ и потому, первое, самое трудное для журнала время выносилъ на своихъ плечахъ почти одинъ. А обстоятельства были очень трудныя, и Елисеевъ это очень хорошо понималъ. Репутація „Отечественныхъ Записокъ“, издававшихся Краевскимъ, была очень плохая: у нихъ было около 2000 подписчиковъ. Репутація Некрасова сильно пострадала въ 1866 г., и можно было опасаться очень холоднаго отношенія къ его новому предпріятію какъ со стороны публики, такъ и со стороны пишущей братіи. Отсутствіе именъ гг. Пыпина, Жуковскаго и Антоновича для публики, не знавшей мотивовъ этого отсутствія, могло показаться очень выразительнымъ, — дѣло имѣло такой видъ, какъ будто нѣкоторые бывшіе сотрудники Некрасова гнушались новымъ журналомъ. Да и сами по себѣ эти сотрудники представляли извѣстную силу, въ замѣнъ которой нужно было подыскивать что-нибудь новое. А это дѣло не легкое. Брошюра гг. Антоновича и Жуковскаго подбавляла масла въ огонь, и Елисеевъ на первыхъ порахъ не разъ настигали сомнѣнія въ успѣхѣ „Отечественныхъ Записокъ“. Но мало-по-малу, и даже очень быстро, дѣло наладилось, и въ сердцѣ Елисеева осталась только заноза, внесенная туда поведеніемъ его бывшихъ товарищей. Но за-то она давала себя знать до конца дней его, какъ видно изъ оставшихся послѣ него бумагъ. Ее именно разумѣетъ онъ, говоря о „заушеніяхъ“ и „безчестномъ лаѣ“ въ вышеприведенномъ вступленіи къ автобіографіи.

Разочаровываться въ людяхъ и получать обиды съ такой стороны, откуда ихъ никакъ не ожидалъ,—дѣло, конечно, тяжелое, но, къ сожалѣнію, вмѣстѣ съ тѣмъ и довольно обыкновенное. Притомъ-же всякія, самыя страшныя раны съ теченіемъ времени затягиваются, а въ данномъ случаѣ были, повидимому, всѣ условія для того, чтобы рана затянулась даже очень скоро. Дрязги, сопровождавшія основаніе Некрасовымъ „Отечественныхъ Запи-

Digitized by Google

сокъ", были, разумѣется, непріятны, обидны, возмутительны, но, въ концѣ концовъ, онѣ съиграли роль хлопушки, брошенной шаловливой дѣтской рукой подъ поѣздъ: хлопушка разорвалась съ извѣстнымъ трескомъ, но поѣзда не остановила и ничему не помѣшала. Не сойдись Елисеевъ съ Некрасовымъ, не рѣшись онъ на этотъ, по совокупности тогдашнихъ условій, большой рискъ, „Отечественныя Записки" не существовали-бы, и сознаніе этой заслуги могло-бы быть достаточно цѣлебнымъ средствомъ. Почему-же рана въ его сердцѣ не закрывалась такъ долго,—въ теченіе двухъ десятковъ лѣтъ? Очевидно, были обстоятельства, постоянно поддерживавшія или даже растравлявшія ее.

Соображая всю совокупность относящихся сюда мѣстъ въ посмертныхъ бумагахъ и письмахъ Елисеева, я думаю, что такія обстоятельства дѣйствительно были и что ихъ было два.

Во-первыхъ, личность Некрасова.

Разбирая бумаги Елисеева и видя лишь начала безъ концовъ и концы безъ началъ, я былъ, наконецъ, очень обрадованъ, найдя двѣ законченныя и въ разномъ родѣ, но въ высокой степени замѣчательныя рукописи. Это вышеупомянутая записка жены Елисеева и небольшая статья безъ заглавія самого Елисеева, посвященная характеристикѣ Некрасова. Отрывокъ изъ этой характеристики я уже приводилъ *).

Здѣсь не мѣсто говорить объ томъ, въ какой мѣрѣ этотъ портретъ Некрасова идеализированъ и въ какой мѣрѣ вѣрно изображаетъ онъ одну изъ сторонъ сложной натуры этого замѣчательнаго человѣка. Здѣсь для насъ важно только то, что таковъ былъ взглядъ Елисеева. Онъ, однако, пришелъ къ этому взгляду далеко не съ разу. Онъ, конечно, всегда признавалъ умъ и талантъ Некрасова и огромность его заслуги въ литературѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ мнѣ случалось слышать отъ него очень рѣзкіе отзывы о нравственной личности поэта. (Не мнѣ одному, конечно; на это имѣются ядовитые намеки, между прочимъ, и въ брошюрѣ гг. Антоновича и Жуковскаго). И того, почти художественнаго объединенія свѣта и тѣни, какое имѣется въ приведенномъ мною портретѣ „героя—раба", въ этихъ отзывахъ отнюдь не было. Для

*) Тотъ-же взглядъ выражается въ отрывкахъ изъ посмертныхъ бумагъ Елисеева, напечатанныхъ, подъ заглавіемъ „Некрасовъ и Салтыковъ" въ „Русскомъ Богатствѣ" 1893 г.

Digitized by Google

меня-же это объединеніе (въ иныхъ пропорціяхъ, конечно) установилось довольно скоро послѣ знакомства и совмѣстной работы съ Некрасовымъ. Не потому, чтобы я былъ проницательнѣе Елисеева, а, какъ это ни странно на первый взглядъ, потому, что я меньше зналъ Некрасова. Заслуги Некрасова въ литературѣ мнѣ были такъ-же хорошо извѣстны, какъ и Елисееву, какъ и всякому, интересующемуся судьбами русской литературы, а тѣневыя стороны его нравственной личности я зналъ только по наслышкѣ. Я былъ непосредственнымъ свидѣтелемъ только *слабостей* Некрасова, тогда какъ Елисеевъ близко зналъ его *грѣхи*, и понятно, что ему труднѣе было свести концы съ концами въ этой сложной натурѣ. Его долго мучили это непримиренное противорѣчіе и мысль, что онъ, Елисеевъ, стоитъ рядомъ съ загадочнымъ человѣкомъ, на которомъ лежатъ столь тяжкія и до извѣстной степени фактически во всякомъ случаѣ справедливыя обвиненія...

А къ этой мысли присоединилось и второе тягостное обстоятельство.

Послѣ Елисеева осталось состояніе въ пятьдесятъ слишкомъ тысячъ рублей,—случай крайне рѣдкій въ средѣ русскихъ литературныхъ тружениковъ, послѣ которыхъ, даже при большомъ успѣхѣ при жизни, и на похороны не всегда что нибудь остается. Зависитъ это отъ условій литературнаго труда, а частью, нечего грѣхъ таить, и отъ собственной безпорядочности русскихъ писателей. Безпорядочность эта до извѣстной степени, впрочемъ, тоже сводится къ условіямъ литературной работы у насъ, вызывающимъ особую и, если можно такъ выразиться, безрезультатную нервность: русскій писатель рѣдко видитъ практическое осуществленіе результатовъ напряженія его мысли и чувства, и оттого его нервность разрѣшается, такъ сказать, внутри его личности, производя въ ней прискорбное нарушеніе равновѣсія. Во всякомъ случаѣ, Елисеевъ составляетъ одно изъ немногихъ исключеній. Правда, съ тѣхъ поръ, какъ Некрасовъ взялъ въ свои руки „Отечественныя Записки", Елисеевъ получилъ прочное матеріальное положеніе, постепенно улучшавшееся до предѣловъ, исключительныхъ въ нашемъ литературномъ быту. Но все-таки — русскій литераторъ, не получившій никакого наслѣдственнаго имущества, и пятьдесятъ тысячъ,—это такая необычная комбинація, передъ которой можно остановиться съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ. И самъ Елисеевъ это сознавалъ.

Digitized by Google

Еще при жизни Елисеева до меня доходили слухи (самъ я, какъ уже сказано, въ послѣдніе годы его жизни почти не видалъ его), что на принадлежавшій ему билетъ одного изъ внутреннихъ съ выигрышами займовъ выпалъ крупный выигрышъ,—40000. Но теперь, послѣ разбора бумагъ Елисеева, я долженъ признать это свѣдѣніе невѣрнымъ. Нѣтъ дыма безъ огня, и можетъ быть Елисееву дѣйствительно посчастливилось что нибудь выиграть, но эта была сумма, навѣрное несравненно меньшая, чѣмъ та, объ которой говорила молва. Въ моихъ рукахъ находится переписка Елисеева съ Салтыковымъ, который, во время пребыванія Григорія Захаровича, по болѣзни, за-границей, завѣдывалъ почти всѣми его денежными дѣлами. Въ перепискѣ этой нигдѣ не упоминается ни о какомъ выигрышѣ. Напротивъ, не разъ говорится о томъ, что состояніе пріобрѣтено исключительно литературнымъ трудомъ. Тоже повторяется и въ автобіографическихъ отрывкахъ.

Я не знаю, на какихъ условіяхъ Елисеевъ началъ рабатать въ „Отечественныхъ Запискахъ", но это были во всякомъ случаѣ обыкновенныя условія редакторскаго жалованья и полистнаго гонорара. Въ 1874 г. произошла въ этомъ отношеніи перемѣна. Вотъ найденное мною въ бумагахъ Елисеева домашнее условіе, подписанное имъ, Некрасовымъ и Салтыковымъ:

„1) Съ 1-го января настоящаго 1874 г. и впредь до истеченія срока контракту, заключенному Н. А. Некрасовымъ съ г. Краевскимъ на арендованіе журнала „Отечественныя Записки", мы, Елисеевъ и Салтыковъ, получаемъ ежемѣсячно по 250 р. с. за труды по редактированію журнала, независимо отъ полистной платы (по особому условію) за наши произведенія, и сверхъ, того, буде „Отечественныя Записки" будутъ имѣть болѣе 5500 подписчиковъ, то получаемъ мы по 600 р. единовременно въ концѣ каждаго года. 2) Изъ чистаго дохода, который имѣетъ получаться отъ „Отечественныхъ Записокъ" на основаніи упомянутаго контракта, прежде всего отчисляется шесть тысячь рублей на долю Н. А. Некрасова; затѣмъ остальной чистый доходъ, за вычетомъ дѣлаемыхъ съ общаго нашего согласія расходовъ, дѣлится между нами троими по равной части. Разсчетъ этотъ дѣлается въ январѣ каждаго года за прошедшій годъ. 3) Условія выхода каждаго изъ насъ изъ редакціи „Отечественныхъ Записокъ", а равно и послѣдствія этого выхода опредѣляются особымъ формальнымъ договоромъ, заключеннымъ между нами но-

Digitized by Google

таріальнымъ порядкомъ. Если Некрасовъ признаетъ нужнымъ нарушить контрактъ свой съ г. Краевскимъ ранѣе срока, то и настоящее условіе прекращается".

Если не ошибаюсь, условія эти подверглись нѣсколько позже новому измѣненію и, во всякомъ случаѣ, еще разъ измѣнились послѣ смерти Некрасова, когда контрактъ съ Краевскимъ былъ заключенъ Салтыковымъ. Хотя при этомъ въ соредакторы, на мѣсто Некрасова, Салтыковъ и Елисеевъ пригласили меня, но, къ стыду моему, я долженъ признаться, что рѣшительно не помню условія, которое подписывалъ и я. Елисеевскіе отрывки напомнили мнѣ только два пункта. Во-первыхъ, Салтыковъ настоялъ на сбавкѣ (сравнительно съ Некрасовымъ) той цифры, которая приходилась ему, какъ главному редактору: во-вторыхъ, существовалъ параграфъ, по которому въ случаѣ болѣзни одного изъ соредакторовъ, не позволяющей ему работать, онъ получаетъ пенсію въ 2000 р. въ годъ. Въ 1881 г. Елисеевъ серьезно заболѣлъ и долженъ былъ уѣхать за границу; о литературной работѣ для него не могло быть и рѣчи, а потому къ нему слѣдовало примѣнить параграфъ о пенсіи, что значительно сбавляло его доходы. Рѣшено было, однако, не держаться буквы нашего соглашенія, и Елисеевъ до конца существованія „Отечественныхъ Записокъ" получалъ вознагражденіе, какъ дѣйствующій редакторъ. Въ одномъ изъ писемъ къ Салтыкову онъ, справившись съ своей записной книжкой, сообщаетъ сколько онъ получалъ съ 1879 по 1883 годъ включительно: отъ 5 до 9 тысячъ въ годъ. Такая большая разница зависѣла частію отъ количества подписчиковъ, постоянно возраставшаго, частію отъ количества собственно писательской работы, которая съ 1881 г. совсѣмъ прекратилась (только въ апрѣлѣ 1884 г. была напечатана одна его статья). Но съ тогоже 1881 г. прекратилась и его редакторская дѣятельность, за которую онъ, однако, продолжалъ получать вознагражденіе, и это очень его тяготило; въ особенности, когда въ концѣ 1882 г. я долженъ былъ уѣхать изъ Петербурга. Вотъ его письмо къ Салтыкову отъ 15 января 1883 г. Выразивъ мысль, что онъ тотчасъ-же послѣ моего отъѣзда долженъ-бы былъ „прибыть на свой постъ въ Петербургъ", онъ продолжаетъ:

„Я этого не сдѣлалъ. Никто не будетъ доискиваться, почему я этого не сдѣлалъ,—потому-ли, что не могъ, или потому, что не хотѣлъ, хотя, въ сущности, и разницы тутъ нѣтъ, разъ я постъ

Digitized by Google

за собою удерживаю и привилегіями его пользуюсь. Заключеніе и въ томъ, и въ другомъ случаѣ одно: не пріѣхалъ, потому что прохвостъ. Такъ будутъ говорить обо мнѣ и товарищи по редакціи, и вообще всѣ, до кого будетъ доходить слухъ о моемъ поступкѣ. И всѣ будутъ вправѣ такъ говорить. Въ прошедшемъ году я могъ, если не по праву, то безъ стыда принять привилегированное положеніе, предложенное мнѣ товарищами по редакціи: наличныя силы редакціи, кромѣ меня, были на мѣстѣ, при этомъ у меня была надежда скоро поправиться и принять участіе въ работѣ. Теперь въ редакціи остались вы одинъ; у меня исчезла всякая надежда на поправленіе моего здоровья въ такой степени, чтобы я могъ быть годенъ снова къ прежней работѣ. Согласитесь, что надо быть не только не честнымъ человѣкомъ, а совсѣмъ прохвостомъ, чтобы въ такихъ обстоятельствахъ удерживать за собой привилегированное положеніе. Если-бы я былъ человѣкъ неимущій, то я имѣлъ-бы еще право сохранить себѣ пенсію. Но я не могу считать себя и неимущимъ человѣкомъ. Того гонорара, который я получилъ за прошедшій годъ, мнѣ хватитъ съ женою на два года. Присоедините къ этому сбереженія отъ прошлыхъ лѣтъ, которыя помѣщены въ разныхъ русскихъ бумагахъ. Хотя я никогда не касался этихъ сбереженій, считая ихъ, какъ пріобрѣтенныя исключительно литературнымъ трудомъ, принадлежащими не мнѣ, а всей литературной братіи, которая мозгомъ своимъ разрабатываетъ русскую землю, которыя и должны поэтому послѣ моей смерти поступить въ собственность литературнаго фонда; но однихъ процентовъ съ этихъ денегъ наберется тысячи двѣ рублей. Слѣдовательно, если я буду живъ и послѣ того, какъ будетъ истраченъ прошлогодній гонораръ „О. З.“, жить, все-таки, съ женой вдвоемъ на эти проценты будетъ можно. А если я умру, что всего вѣрнѣе, то ей на двѣ тысячи жить и подавно будетъ можно. Больше ей проживать я не считалъ-бы даже правильнымъ и приличнымъ. Изъ всего этого вы видите, что я нисколько не нуждаюсь въ деньгахъ. Поэтому въ текущемъ 1883 году я отказываюсь не только отъ гонорара, который будетъ полученъ „Отечественными Записками“ за этотъ годъ, но и отъ жалованья, и отъ пенсіи“.

Салтыковъ ворчливо-убѣдительно, какъ онъ умѣлъ это дѣлать, просилъ Елисеева оставить эти мысли, тѣмъ болѣе, что до конца контракта съ Краевскимъ оставался всего годъ, и не стоитъ,

Digitized by Google

дескать, ломать на такое короткое время установившійся порядокъ. Въ запискахъ Елисеева, относящихся къ этому времени, между прочимъ, говорится: „Въ головѣ моей постоянно гвоздемъ сидѣла и не давала мнѣ покою мысль, что въ то время, какъ я тутъ праздно провожу время безъ всякаго дѣла, другіе въ Россіи за меня и нѣкоторымъ образомъ для меня работаютъ. Мнѣ казалось даже, что если мнѣ уже суждено высшими судьбами сидѣть праздно, то и праздно слѣдовало сидѣть не здѣсь, а въ Россіи, что тамъ, и праздно сидя, я могъ, все-таки, приносить нѣкоторую долю пользы. Эту мысль навѣвали нѣкоторыя письма М. Е. (Салтыкова), въ которыхъ онъ иногда высказывалъ сожалѣніе о моемъ отсутствіи, что было-бы, все-таки, лучше, если-бы и больной, и совсѣмъ неспособный къ работѣ, я былъ, все-таки, со всѣми. И это сожалѣніе, я увѣренъ, онъ высказалъ совершенно искренно. Я заболѣлъ и уѣхалъ изъ Россіи какъ разъ въ тотъ моментъ, когда наступило самое трудное для журналистики время, когда она очутилась въ неустойчивомъ, колеблющемся положеніи, когда каждый почти день приносилъ такое явленіе или извѣстіе, о которыхъ надо было подумать, какъ къ нимъ отнестись, и которыя, кромѣ того, иногда производили во всѣхъ, а въ немъ въ особенности, какъ въ лицѣ, стоявшемъ во главѣ дѣла, настроеніе духа очень непріятное. Въ подобныхъ случаяхъ мысль, совѣтъ, успокоеніе, высказываемое даже сторонними людьми, тѣмъ болѣе людьми близкими, къ которымъ привыкъ, которымъ довѣряешь, съ которыми стоишь у одного дѣла, имѣетъ важное значеніе“.

Но болѣзненное состояніе помѣшало Елисееву пріѣхать тогда въ Петербургъ.

Найдутся, можетъ быть, скептики, которые иронически отнесутся ко всѣмъ этимъ душевнымъ движеніямъ Елисеева,—они, эти душевныя движенія, ничѣмъ, вѣдь, не выразились въ дѣйствіи, и покойный писатель оставилъ таки послѣ себя капиталецъ! Я не берусь разгонять эти ироническія мысли, но думаю, что, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ скептикахъ онѣ сами собой разгонятся по прочтеніи нижеслѣдующаго.

Дѣло въ томъ, что Елисеевъ зналъ нужду и бѣдность не только въ дѣтствѣ и юности, впечатлѣнія которыхъ легко растворяются въ общемъ чувствѣ жизни и быстро забываются. Онъ встрѣтился лицомъ къ лицу съ нуждой еще разъ, когда ему было уже около сорока пяти лѣтъ, когда онъ, по выходѣ изъ крѣпости,

Digitized by Google

очутился безъ средствъ, безъ работы, безъ надеждъ, съ разстроеннымъ здоровьемъ. По прошествіи нѣкотораго времени онъ, благодаря практической ловкости Некрасова, оказался опять при дѣлѣ, но дѣло это отнюдь не представлялось ему прочнымъ. Не говоря уже о возможности всякаго рода неожиданностей, цѣну которыхъ Елисеевъ только что узналъ на себѣ,—совершенно неизвѣстно было, какъ пойдутъ „Отечественныя Записки". Да и самый контрактъ Некрасова съ Краевскимъ былъ заключенъ первоначально на незначительный срокъ (на шесть лѣтъ), по истеченіи котораго Елисеевъ могъ опять очутиться безъ работы и надеждъ. А тамъ, вѣдь, недалеко ужъ и старость, безпомощная, хилая, да еще при слабомъ вообще здоровьи. Поэтому вѣроятно съ самаго начала работы въ „Отечественныхъ Запискахъ" Елисеевъ, наученный недавнимъ горькимъ опытомъ, подумывалъ объ томъ, чтобы отложить копѣйку на черный день. Но едва-ли онъ могъ къ этому приступить до 1874 г., когда сталъ, вмѣстѣ съ Салтыковымъ, получать, сверхъ редакторскаго жалованья и полистной платы, еще долю дохода съ журнала. Потомъ дѣла пошли еще и еще лучше, и, при необыкновенно скромныхъ потребностяхъ Елисеева, при отсутствіи семьи (у него было только жена, преданнѣйшая изъ женъ, умершая черезъ нѣсколько дней послѣ его смерти), ему не трудно было кое-что откладывать на черный день. Онъ никакъ не ожидалъ сначала, что эти сбереженія достигнутъ такой сравнительно крупной цифры, и по мѣрѣ того, какъ она росла, онъ все больше задумывался о своихъ правахъ на эти деньги и—конфузился. Именно конфузился, это настоящее слово. Ради этой-то оригинальной психологической черты я и веду весь разсказъ объ его денежныхъ дѣлахъ, и думаю, что этимъ исполняю невыраженное желаніе самого покойника. Обстановка и образъ жизни Елисеева были всегда, что называется, приличные, то есть ничѣмъ рѣзко не выдѣлялись въ кругѣ его знакомства, но онъ не позволялъ себѣ никакой роскоши сверхъ этого уровня, памятуя, съ одной стороны, возможность чернаго дня, а съ другой—придя къ заключенію, что только въ случаѣ чернаго дня онъ и можетъ коснуться этихъ сбереженій, что онъ есть лишь временный ихъ владѣлецъ и какъ-бы хранитель, а принадлежатъ они не ему. Но кому же?

Вотъ отрывокъ изъ письма Елисеева Салтыкову изъ-за-границы отъ 4—16 августа 1882 г.

Digitized by Google

„Назадъ тому почти 25 лѣтъ, вскорѣ послѣ того, какъ я пріѣхалъ въ Петербургъ, тутъ былъ человѣкъ, который оказалъ мнѣ большую услугу. Я былъ въ то время бѣденъ, какъ церковная мышь, боленъ и не имѣлъ въ Петербургѣ ни одного человѣка знакомаго, занимая комнату у одной изъ петербургскихъ квартирныхъ хозяекъ. Онъ разыскалъ меня, когда я лежалъ больной, почти безъ всякой помощи и призора, привелъ мнѣ доктора и нѣкоторое время отправлялъ даже должность сидѣлки. Только благодаря его помощи и старанію, я сталъ тогда на ноги. Потомъ, видаясь время отъ времени со мной, онъ, будучи любителемъ литературы и зная, что я могу писать (тогда была уже напечатана одна моя статья въ „Современникѣ"), онъ уговаривалъ меня не искать службы, которой я искалъ въ министерствѣ, а заняться литературой. Потомъ этотъ человѣкъ исчезъ изъ Петербурга, и я не имѣлъ объ немъ никакихъ свѣдѣній, хотя и оставался должнымъ ему значительную сумму денегъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ мнѣ напомнилъ о немъ во время разговора случайно NN, который, оказывается, тоже зналъ его. Онъ сообщилъ мнѣ, что человѣкъ этотъ бѣдствуетъ, а когда я сказалъ ему, что я остаюсь ему долженъ значительную сумму денегъ, то онъ отвѣтилъ, что было-бы хорошо, если-бы я уплачивалъ ее хоть по частямъ. Это замѣчаніе кольнуло меня и я въ умѣ своемъ тогда-же порѣшилъ откладывать въ уплату долга по 300 р. въ годъ. Но при тогдашнемъ моемъ положеніи легко было это порѣшить въ умѣ, а сдѣлать это положительно было невозможно. Послѣ закрытія „Современника" два года почти я былъ вовсе безъ работы, потомъ имѣлъ работу, но съ болѣзнію, тянувшеюся почти семь лѣтъ, и ежегодными поѣздками для этого по заграничнымъ докторамъ и водамъ, издерживалъ почти все, что получалъ. А затѣмъ я сталъ уже быстро поправляться и могъ-бы легко удѣлять по 300 р. въ годъ,—но люди въ денежныхъ дѣлахъ большею частію свиньи, каковою оказался и я. Смягчающимъ обстоятельствомъ для меня можетъ служить развѣ только-то, что журналъ нашъ за все это время висѣлъ постоянно на волоскѣ, и по закрытіи его я могъ-бы очутиться въ положеніи вовсе незавидномъ при моихъ лѣтахъ. Но это только развѣ смягчающее обстоятельство, а въ сущности это, все-таки, гнусный эгоизмъ. Какъ-бы то ни было, но теперь, благодаря щедрости „Отеч. Записокъ", я имѣю полную возможность расплатиться съ моимъ ста-

Digitized by Google

рымъ долгомъ. Вы пишете, что взяли для меня въ счетъ дивиденда 3 тысячи руб. и купили на нихъ облигацій петербургскаго кредитнаго общества. Такъ какъ при этомъ вы говорите, что теперь имѣете сверхъ того 2.000 руб. денегъ, которые можете прислать мнѣ, то прошу васъ, будьте такъ добры, передайте всѣ купленныя вами облигаціи NN; если только кредиторъ мой находится въ живыхъ, онъ вѣроятно знаетъ, гдѣ онъ, и отошлетъ ему ихъ. Кромѣ того, скажите ему, что я вѣроятно найду возможность и въ будущемъ году дать нѣкоторую сумму въ уплату моего долга. Если-же онъ умеръ, то облигаціи оставьте у себя, я имъ дамъ другое назначеніе черезъ литературный фондъ".

Таинственный „кредиторъ", о которомъ идетъ рѣчь въ этомъ письмѣ, есть никто иной, какъ Н. Г. Чернышевскій. И понятное дѣло, что вся исторія о долгѣ, въ уплату только части котораго Елисеевъ ассигновалъ 3.000 руб., сочинена. Не сочинено здѣсь только участіе, принятое Чернышевскимъ въ судьбѣ Елисеева, когда онъ былъ въ безпомощномъ состояніи, объ чемъ Елисеевъ часто съ живѣйшею благодарностью вспоминалъ. Остальное все плодъ осторожности въ виду тогдашняго исключительнаго положенія Чернышевскаго. Я не знаю ни непосредственныхъ результатовъ приведеннаго письма, ни дальнѣйшей исторіи „долга" (въ перепискѣ онъ больше не упоминается). Я привелъ письмо только какъ образчикъ того, какъ распоряжался или хотѣлъ распоряжаться Елисеевъ своими сбереженіями при жизни. Но главныя его заботы въ этомъ отношеніи были устремлены на будущее, когда его не станетъ, вслѣдствіе чего онъ не разъ писалъ и передѣлывалъ завѣщаніе. Въ окончательной формѣ выраженіе его посмертной воли отличается чрезвычайною дробностью распоряженій. Видно, что онъ много думалъ надъ завѣщаніемъ и старался не обойти никого изъ тѣхъ, кто такъ или иначе имѣетъ, по его мнѣнію, право на его посмертное вниманіе. Онъ не могъ, конечно, знать, что жена переживетъ его всего нѣсколькими днями, и потому долженъ былъ позаботиться объ ней. Заботу эту онъ возложилъ на литературный фондъ, который долженъ былъ выплачивать женѣ пожизненно извѣстную пенсію, изъ процентовъ на капиталъ, завѣщанный фонду. На литературный-же фондъ возложены ежегодныя уплаты небольшихъ суммъ прислугѣ, жившей у Елисеева, и разнымъ образовательнымъ и благотворительнымъ учрежденіямъ, причемъ не забыта

Digitized by Google

и касса взаимопомощи петербургскихъ наборщиковъ. Такъ какъ въ числѣ завѣщанныхъ литературному фонду процентныхъ бумагъ есть билеты внутреннихъ съ выигрышами займовъ, то Елисеевъ сдѣлалъ распоряженія и на случай выигрыша: онъ распредѣляется между нѣкоторыми близкими къ покойному людьми.

Одна характерная подробность посмертной воли Елисеева получила большую огласку, и намъ надо остановиться на ней съ нѣкоторою подробностью.

Въ 1881 г., уѣзжая больной за границу, Елисеевъ пожертвовалъ 20000 тверскому земству на ссуды крестьянамъ на покупку земель, съ тѣмъ, чтобы земство платило пожизненно ему, а потомъ его женѣ, извѣстные проценты, а послѣ ихъ смерти половина процентовъ должна была идти въ пользу литературнаго фонда, а другая половина въ пользу земскихъ школъ. Такимъ образомъ онъ обезпечивалъ себѣ извѣстный пожизненный доходъ и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлалъ доброе дѣло совершенно въ духѣ его литературной дѣятельности. На тверскомъ именно земствѣ онъ остановился частію потому, что у него были тамъ хорошіе, пользовавшіеся его довѣріемъ знакомые, а частію потому, что въ тверскомъ земствѣ уже существовала особая касса для раздачи крестьянамъ ссудъ на покупку земель. Но затѣмъ его стали одолѣвать разныя сомнѣнія, тѣмъ болѣе, что сбереженія его значительно увеличились, а, значитъ, усилилась, съ его точки зрѣнія, и его отвѣтственность за правильное употребленіе этихъ денегъ. Въ 1884 г., очевидно подъ вліяніемъ постигшей „Отечественныя Записки“ бѣды, отъ которой плохо пришлось многимъ сотрудникамъ закрывшагося журнала, онъ писалъ Салтыкову: „Всѣ деньги, которыя я имѣлъ и имѣю, пріобрѣтены исключительно литературнымъ трудомъ, а изъ тѣхъ, которыя поименованы здѣсь (передъ тѣмъ Елисеевъ дѣлалъ разсчетъ сколько у него скопилось денегъ за время фиктивнаго редакторства)—большая часть пріобрѣтена отъ литературы даже безъ всякаго труда. Поэтому я считаю себя обязаннымъ всѣ эти деньги, отдать непремѣнно въ литературный фондъ полностью“. Въ 1889 г., въ виду слуховъ о предстоящей реформѣ земскихъ учрежденій, сомнѣнія и колебанія Елисеева получили новый толчокъ еще и съ другой стороны. Онъ обратился въ тверскую губернскую управу съ просьбой

Digitized by Google

возвратить ему пожертвованный капиталъ, если земскія учрежденія подвергнутся существеннымъ измѣненіямъ. Очередное земское собраніе рѣшило уважить эту просьбу. А въ 1893 г. капиталъ Елисеева, согласно его духовному завѣщанію, переданъ тверскимъ земствомъ литературному фонду, его единственному наслѣднику.

Нравственный образъ покойнаго Григорія Захаровича достаточно рисуется всѣмъ этимъ. Онъ говоритъ самъ за себя, и я не считаю нужнымъ прибавлять что-нибудь отъ себя для господъ скептиковъ, если-бы таковые нашлись.

Упорство, съ которымъ Елисеевъ держался анонимности, достойно вниманія. Не удивительно, что его первыя статьи въ „Современникѣ“ являлись безъ подписи: робость и скромность начинающихъ писателей—дѣло столь-же обыкновенное, какъ и естественное. Затѣмъ всякому руководящему журналисту приходится иногда писать анонимныя статьи, разъ онѣ имѣютъ общередакціонный характеръ. Анонимныя „внутреннія обозрѣнія“ у насъ тоже одно время были общеприняты, хотя надо замѣтить, что можетъ быть примѣръ именно Елисеева до извѣстной степени повліялъ на установленіе этого обычая. Но во всякомъ случаѣ у писателя, работающаго десятки лѣтъ въ журналистикѣ, притомъ въ наиболѣе распространенныхъ журналахъ, всетаки, въ концѣ концовъ оказывается хорошо знакомое публикѣ имя, и статьи анонимныя составляютъ въ его литературномъ наслѣдіи лишь болѣе или менѣе значительное исключеніе. У Елисеева, напротивъ, исключеніемъ являются статьи подписанныя—собственнымъ именемъ или псевдонимомъ „Грицко“. Да и то въ силу требованій, такъ сказать, журнальной политики. Такъ, первыя его статьи въ „Отечественныхъ Запискахъ“ были подписаны, и это было нужно, чтобы показать читателямъ, что Некрасовъ не осиротѣлъ, что не всѣ старые сотрудники отъ него отвернулись. „Искра“ въ 1863 г. издавалась съ виньеткой, на которой каждую изъ пяти буквъ, составляющихъ названіе газеты, несутъ главные сотрудники. Букву „И“, первую, несетъ Елисеевъ. Въ „Современникѣ“ и тѣмъ болѣе въ „Отечественныхъ Запискахъ“ Григорій Захаровичъ игралъ одну изъ самыхъ выдающихся ролей. Мы видѣли, что когда группа петербургскихъ литераторовъ затѣяла „Вѣкъ“, то редакторомъ былъ избранъ Елисеевъ, и этотъ выборъ заслужилъ одобреніе и въ московскихъ вліятельныхъ литературныхъ сферахъ. Вообще

Digitized by Google

въ самыхъ разнообразныхъ литературныхъ кругахъ Елисеевъ являлся, по выраженію Шелгунова, „мужемъ совѣта“, всѣмъ хорошо извѣстнымъ, всѣми уважаемымъ. Но огромному большинству читателей имя Елисеева ничего или почти ничего не говорило, благодаря упорству, съ которымъ онъ держался анонима. Это не была просто скромность. Елисеевъ былъ очень скроменъ, но цѣну себѣ зналъ. Объясненія надо, кажется, искать въ его взглядахъ на популярность въ Россіи вообще, на популярность русскаго писателя въ особенности.

Взгляды эти изложены въ одномъ изъ внутреннихъ обозрѣній (1876 г., май). Онъ говоритъ тамъ, что настоящая популярность состоитъ въ томъ, чтобы „стать во главѣ болѣе или менѣе значительной части общества, дѣйствовать вмѣстѣ съ нимъ для извѣстной цѣли, сообща устраняя препятствія, лежащія на пути къ ней, и сообща изобрѣтая и употребляя тѣ или другія средства для достиженія ея“. Но, продолжаетъ Елисеевъ, „у насъ всякая иниціатива и дѣятельность, предпринятая въ болѣе или менѣе широкихъ размѣрахъ для общества, возможна только подъ формою оффиціальною, а потому и популярность у насъ возможна только оффиціальная“. А затѣмъ у насъ возможна лишь популярность „мѣстная, сословная и кружковая“,—узкая, хрупкая, не дающая удовлетворенія потребности участвовать въ общей жизни. Что касается характера и значенія литературной дѣятельности, то, по мнѣнію Елисеева, къ ней и теперь можетъ быть приложено то, что говорилъ кн. Вяземскій въ книгѣ о Фонъ-Визинѣ: „Посреди безмолвія, оцѣпенѣнія, царствующаго въ обществѣ, можетъ возвыситься иногда голосъ автора, который сильно подѣйствуетъ на вниманіе общества его окружающаго: общество отвѣчаетъ ему съ силою и быстротою потрясеннаго сочувствія, но сіе дѣйствіе случайно, скоропостижно и недолговременно. По своей мимолетности, оно ничѣмъ не отличается отъ того восторга и сочувствія, которые зажигаютъ въ своихъ слушателяхъ сладкозвучный Ромбергъ или молніеносный смычокъ Паганини... Концертъ отслушанъ, книга прочитана, и тотъ и другой возбудили нѣсколько изящныхъ ощущеній, можетъ быть нѣсколько благородныхъ соревнованій, но тѣмъ все и кончилось“. Отъ себя Елисеевъ говоритъ по этому поводу слѣдующее: „Тамъ, гдѣ литература, какъ у насъ, не есть выраженіе общежитія, литераторъ не знаетъ, съ кѣмъ онъ бесѣдуетъ, не знаетъ даже—есть-ли у него

Digitized by Google

собесѣдники, не говоритъ-ли онъ даже просто въ пустое пространство. По крайней мѣрѣ, если-бы онъ сталъ судить о плодахъ своей дѣятельности по проходящимъ передъ нимъ явленіямъ, то онъ долженъ-бы былъ убѣдиться въ полной своей безполезности и съ отчаяніемъ бросить перо навсегда, потому что въ дѣйствительности большею частью дѣлается какъ разъ совершенно противное тому, чему онъ учитъ, за что ратуетъ, на чемъ настаиваетъ. Конечно, литераторъ имѣетъ право предполагать, что помимо этой рутинной, парадной дѣйствительности, проходящей передъ его глазами въ видѣ тѣней волшебнаго фонаря, также призрачной, ничтожной и скоро преходящей, какъ эти тѣни, есть другая дѣйствительность, болѣе прочная и дѣйствительная, за которою будущность: это—молодые умы и сердца, разсѣянные по всему лицу огромной русской земли, которые страстно ловятъ каждое его слово, всасываютъ въ себя его идеи, вводятъ въ свою жизнь и дѣятельность проповѣдуемые имъ принципы, приготовляясь быть дѣятелями въ будущемъ... Но, вѣдь, это предположеніе можетъ быть и пустой мечтой. Однимъ словомъ, для литератора тѣхъ обществъ, гдѣ XVIII вѣкъ еще не кончился, гдѣ онъ не поставленъ въ непосредственной связи съ своей партіей и не несетъ открыто ея знамени, остаются скрытыми существенные результаты его дѣятельности. Онъ можетъ болѣе или менѣе знать только дѣйствіе своего литературнаго пера на мозги культурныхъ людей ближайшихъ къ нему круговъ и кружковъ. Онъ можетъ читать похвалы своимъ сочиненіямъ въ печати, можетъ слышать лестные отзывы о нихъ въ публикѣ. Но для того, чтобы довольствоваться этимъ дешевымъ фиміамомъ, исходящимъ или отъ записныхъ литературныхъ строчилъ ex officio, или отъ людей, которые читаютъ сочиненія отъ скуки, ради препровожденія времени, для пищеваренія и т. п. и видѣть въ этомъ вѣнецъ и цѣль своей дѣятельности, надобно плавать уже слишкомъ мелко".

Все это Елисеевъ говоритъ въ примѣненіи къ Щапову, который не нашелъ удовлетворенія въ литературной дѣятельности. Но все это относится и къ другимъ русскимъ писателямъ, въ томъ числѣ и къ самому Елисееву. Какъ видитъ читатель, онъ не строилъ себѣ никакихъ иллюзій на счетъ своей литературной дѣятельности. Онъ, занятый преимущественно дѣлами текущей жизни, вопросами дня, долженъ былъ въ особенности ясно чувствовать практическое безсиліе литературы и, слѣдовательно, ни-

Digitized by Google

чтожество популярности. Популярностью кружковою, собственно въ литературныхъ сферахъ, онъ пользовался въ достаточной степени, чтобы имѣть здѣсь практическое вліяніе, и анонимность этому не мѣшала, а за этими предѣлами не о чемъ и хлопотать: знаютъ-ли тебя тамъ, не знаютъ-ли—все равно ты практически равенъ нулю или почти нулю, а нулю и не подобаетъ носить собственное имя.

Я думаю, что Елисеевъ, если таковъ дѣйствительно былъ ходъ его мысли, очень ошибался. Онъ не ошибался, къ сожалѣнію, относительно общаго значенія русской литературы, это—та же горькая для насъ, писателей, правда, которую Салтыковъ выразилъ знаменитою фразой: „писатель пописываетъ, читатель почитываетъ". Эта правда можетъ быть даже горше, чѣмъ казалось Елисееву. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда „молодые умы и сердца, страстно ловящіе каждое слово писателя"—не „пустая мечта", онъ, писатель, по бывшимъ примѣрамъ, не можетъ поручиться, что завтра-же какая-нибудь случайная волна не смоетъ всего этого увлеченія, такъ что отъ него и на сѣмена ничего не останется. И за это нельзя даже особенно винить русскаго читателя. Но анонимность можетъ только содѣйствовать этому положенію, только усугубить ту шаткость преемственности, которая составляетъ болѣзнь нашего общества и естественный привѣсокъ къ практическому безсилію нашей литературы. Все изнашивается съ теченіемъ времени, безсмертіе, даже въ самомъ условномъ смыслѣ этого слова, есть достояніе очень и очень немногихъ, къ числу которыхъ Елисеевъ, конечно, не принадлежалъ. Но анонимность искусственно сокращаетъ жизнь писателя въ потомствѣ, въ особенности у насъ, и лишаетъ идеи, которымъ служилъ писатель при жизни, той поддержки, какую онѣ могли-бы имѣть въ его лицѣ и послѣ его смерти. Точка зрѣнія Елисеева на наши внутреннія дѣла далеко не износилась. Напротивъ, теперь, можетъ быть больше, чѣмъ при его жизни, получаетъ она важное значеніе. Нельзя поэтому не пожалѣть объ томъ, что онъ слишкомъ ужъ презиралъ ту степень популярности, какая возможна для русскаго писателя, помимо непосредственныхъ практическихъ результатовъ его дѣятельности, а въ связи съ этимъ находятся и нѣкоторыя другія черты писательской физіономіи Елисеева.

Довольствоваться похвалами своимъ сочиненіямъ въ печати и лестными отзывами о нихъ въ публикѣ, видѣть въ этомъ вѣнецъ и

Digitized by Google

цѣль своей дѣятельности, это, разумѣется, значитъ очень мелко плавать. Настоящій „кровный“ писатель, даже въ томъ случаѣ, если онъ страдаетъ излишкомъ чувствительности къ похваламъ,— а вѣдь похвалы, съ одной стороны, рѣдко обходятся безъ порицаній съ другой,—имѣетъ въ виду и нѣчто иное. Онъ хочетъ возбудить въ читателяхъ извѣстныя мысли и чувства по отношенію къ обсуждаемому предмету и вызвать соотвѣтственныя дѣйствія, не сегодня, такъ завтра, хотя „завтра“ можетъ растянуться на многіе и многіе годы. Но тотъ-же настоящій, кровный писатель не можетъ, какъ предположилъ Елисеевъ, „съ отчаянія бросить перо на всегда“, даже „убѣдившись въ полной своей безполезности“ въ смыслѣ непосредственныхъ практическихъ результатовъ. Отчаяніе, конечно, возможно, но думать объ томъ, что васъ занимаетъ, отказаться нельзя, а думать и писать, для такого писателя, почти синонимы. И если онъ не можетъ писать о большомъ, онъ будетъ писать о маломъ, съ тѣми самыми пріемами мысли, какіе примѣнилъ-бы, при иныхъ обстоятельствахъ времени, мѣста и образа дѣйствія, къ большему. Елисеевъ былъ, по самому складу своего ума, практикъ, „мужъ совѣта“, практическаго, удобоисполнимаго совѣта. И я не сомнѣваюсь, что если-бы онъ былъ „поставленъ въ непосредственной связи съ своей партіей и несъ открыто ея знамя“, если-бы это было возможно по условіямъ русской жизни, то онъ былъ-бы крупнымъ общественнымъ дѣятелемъ. Въ немъ всегда билась жилка практическаго реформатора, не придающаго особенно большого значенія отдаленнымъ теоретическимъ основамъ обсуждаемаго вопроса, но не довольствующагося и простымъ констатированіемъ факта, вызывающаго съ его стороны рѣзкую критику, а всегда готоваго представить положительный проектъ реформы. Такой *дѣловой* характеръ дѣятельности, обусловливаемый самымъ складомъ ума Елисеева, обязывалъ его крѣпко держаться дѣйствительности и искать въ ней точки опоры, какъ-бы это ни было трудно при данныхъ обстоятельствахъ, какъ-бы ни была она далека отъ идеала, который жилъ въ его душѣ. Въ этомъ заключалась и его сила, и его слабость.

Въ 1880 г., только что назначенный передъ тѣмъ министромъ внутреннихъ дѣлъ гр. Лорисъ-Меликовъ пригласилъ къ себѣ редакторовъ журналовъ и газетъ и изложилъ имъ свои взгляды на тогдашнее многотрудное положеніе нашихъ дѣлъ, поскольку это

Digitized by Google

нужно было, по его мнѣнію, знать представителямъ печати. Отъ „Отечественныхъ Записокъ“ къ министру отправился Елисеевъ, такъ какъ отвѣтственный редакторъ, Салтыковъ, былъ въ это время за-границей. Въ ближайшемъ, сентябрьскомъ нумерѣ „Отечественныхъ Записокъ“, вмѣсто обычнаго внутренняго обозрѣнія появилось „Нѣсколько словъ по поводу вопросовъ злобы дня“. Здѣсь Елисеевъ ясно и сжато воспроизвелъ, снабдивъ ее нѣкоторыми своими комментаріями, обращенную къ редакторамъ рѣчь министра. Изо всѣхъ приглашенныхъ редакторовъ только онъ одинъ сдѣлалъ это, а нѣкоторые изъ присутствовавшихъ на собраніи даже отрицали потомъ печатно точность его передачи словъ министра. Мнѣ достовѣрно извѣстно, что прежде, чѣмъ печатать свое сообщеніе, Елисеевъ принялъ надлежащія мѣры, чтобы убѣдиться, что рѣчь министра передана имъ по существу точно, хотя и своими словами. Для него это былъ важный фактъ дѣйствительности, съ которымъ, по его мнѣнію, нельзя было не считаться и который, своею сравнительною опредѣленностью, давалъ печати не широкую, но, по крайней мѣрѣ, для данной минуты прочную точку опоры. Иначе посмотрѣлъ на дѣло Салтыковъ. Получивъ отъ Елисеева за-границей извѣщеніе обо всемъ происшествіи, онъ писалъ ему: „Письмо ваше я получилъ и начертанную въ немъ программу, хотя съ трудомъ, но прочиталъ (почеркъ у Елисеева былъ очень неразборчивый). Программа нѣсколько загадочная, но „мальчикъ безъ штановъ“ правильно говоритъ, что тѣмъ-то и занятно жить у насъ, что ничего въ волнахъ не видно. Поживемъ, увидимъ“. Къ самому факту появленія „программы“ на страницахъ „Отечественныхъ Записокъ“ Салтыковъ отнесся очень неблагопріятно. Я помню, какъ сердито говорилъ онъ мнѣ, что это какъ-бы превращаетъ насъ въ оффиціальный органъ. Въ этомъ хорошо сказалась разница между Салтыковымъ и Елисеевымъ. Ихъ требованія отъ жизни въ принципіальномъ и идеальномъ смыслѣ не весьма, я думаю, различались, но относительно фактовъ текущей жизни Елисеевъ былъ гораздо практичнѣе, положительнѣе и—уже.

Въ одномъ изъ писемъ къ Салтыкову (1875 г.), сообщая ему о впечатлѣніи, которое произвелъ его разсказъ „Семейный судъ“ на Некрасова и другихъ членовъ редакціи, Елисеевъ прибавляетъ: „мнѣ онъ тоже очень нравится, но болѣе нравятся тѣ статьи,

Digitized by Google

которыя соприкасаются съ вопросами и явленіями текущаго времени".

Въ одномъ изъ внутреннихъ обозрѣній „Современника" (мартъ, 1861 г.) Елисеевъ писалъ: „Мы цѣнимъ ученость и глубоко уважаемъ людей, посвятившихъ себя наукѣ, но думаемъ, что истинная ученость, самая глубокая, можетъ привести человѣка только къ тому убѣжденію, что единственное прочное благо на землѣ—тѣмъ или другимъ образомъ служить человѣчеству, своимъ меньшимъ братіямъ; что, говоря словами Гейне, zu fragmentarisch ist Welt und Leben, чтобы мы могли постигнуть глубину ихъ и отдаться, забывая все, только исключительному созерцанію красоты своихъ теорій или обилія своихъ знаній; что ученые, написавшіе нѣсколько сочиненій о „собачьихъ кличкахъ" и на основаніи этого думающіе, что они постигли удивительныя штуки, которыя даютъ имъ право свысока смотрѣть на толпу, просто глупы; а ученые, занимающіеся постройкой великолѣпныхъ системъ и забывающіе при этомъ о дѣятельности на пользу своихъ меньшихъ братій, представляютъ собою безжизненныхъ Вагнеровъ, безплодно тратящихъ время на *штопаніе дырокъ всего мірозданія*:

Ужъ слишкомъ отрывочна жизнь и вселенная,—
Къ профессору нѣмцу пойду непремѣнно я.
Вѣрно ее не оставитъ онъ такъ.
Системы придумаетъ, дастъ имъ названія...
Шлафрокъ надѣвши и старый колпакъ,
Онъ штопаетъ дырки всего мірозданія.

Итакъ, читатель, побольше и побольше любви въ человѣчеству, особенно къ тому, которое мы привыкли считать за двуногихъ, не имѣющихъ съ нами ничего общаго. Въ этомъ состоитъ вѣнецъ истиннаго знанія и истинной мудрости".

Таково было всегдашнее отношеніе Елисеева къ публицистикѣ, искусству и наукѣ. Это не было просто отрицательное отношеніе къ такъ называемому „искусству для искусства" и „наукѣ для науки". Въ этомъ общемъ смыслѣ между нами, сотрудниками „Отечественныхъ Записокъ", не было никакого разногласія. Но Елисееву и „Семейный судъ" Салтыкова казался слишкомъ удаленнымъ отъ „вопросовъ и явленій текущаго времени". И моя статья о счастіи, какъ мы видѣли, вызвала не совсѣмъ шуточное его замѣчаніе: „Я не знаю г. Михайловскаго, но полагаю, что

Digitized by Google

онъ долженъ быть еще очень молодой человѣкъ; кто-же въ самомъ дѣлѣ въ наше время можетъ такъ солидно, какъ онъ, усѣсться за Спенсера и, нисколько не улыбаясь, съ самымъ серьезнымъ видомъ начать разъяснять публикѣ, что такое счастіе?" Елисеевъ былъ, если можно такъ выразиться, аскетъ текущей жизни и непосредственныхъ практическихъ результатовъ, хотя въ то-же время онъ очень хорошо зналъ, что именно въ этомъ отношеніи положеніе нашей печати особенно трудно. Отсюда его преувеличенное презрѣніе къ популярности и анонимность. Отсюда-же его, можетъ быть, тоже иногда преувеличенное стремленіе найти въ данной дѣйствительности хоть какую-нибудь точку опоры для практическаго воздѣйствія на жизнь.

Становясь даже на исключительно аскетическую, Елисеевскую, точку зрѣнія, трудно опредѣлить разъ навсегда ту грань, за которою кончается необходимо нужное и начинается роскошь. Въ теоретическія сферы Елисеевъ пускался крайне рѣдко. Но онъ не мѣшалъ это дѣлать другимъ, хотя, можетъ быть, и скептически относясь къ подобной работѣ, и лишь убѣдившись, что эта работа можетъ быть приведена въ связь, хотя-бы отдаленную, съ тѣмъ, что онъ считалъ обязательнымъ центромъ не только литературной дѣятельности, но и всей общественной и государственной жизни. Такимъ центромъ былъ для него народъ, мужикъ. Въ его обозрѣніяхъ читатель найдетъ не всегда оправданныя дальнѣйшимъ ходомъ вещей, но всегда поучительныя разсужденія о разныхъ разностяхъ, о которыхъ всякій обозрѣватель долженъ говорить—о надѣлавшемъ шуму судебномъ процессѣ, о земскихъ дѣлахъ, объ адвокатурѣ, объ умершемъ общественномъ дѣятелѣ, о высшемъ и среднемъ образованіи, и проч., и проч. Въ подробностяхъ здѣсь можно встрѣтить оригинальныя постановки того или другого вопроса, но въ общемъ Елисеевъ руководится тѣми принципами, которые у насъ принято называть „либеральными" и которыми руководились и руководятся многіе другіе хроникеры: онъ цѣнитъ просвѣщеніе и свободу, требуетъ честности и добросовѣстности въ дѣлахъ, клеймитъ самоуправство и произволъ и т. п. Но характерны для него не эти, за малыми и тѣмъ болѣе рѣзкими исключеніями, господствующіе въ нашей журналистикѣ общіе принципы. Отличіе обозрѣній Елисеева составляютъ въ этомъ отношеніи только степень талантливости изложенія, оригинальность кое-какихъ подробностей и та реформаторская

Digitized by Google

складка, которая не позволяетъ остановиться на констатированіи факта и на простомъ его осужденіи, а подсказываетъ положительное рѣшеніе въ видѣ какого нибудь проекта. Настоящимъ, вполнѣ Елисеевымъ, онъ становится тогда, когда задаетъ себѣ вопросъ: какъ отзывается или отзовется такое-же явленіе нашей жизни на мужикѣ? Этимъ вопросомъ измѣнялось для него значеніе всякой доктрины, либеральной или не либеральной, всякаго мѣропріятія и предпріятія. Я не знаю писателя, который имѣлъ-бы большее право на титулъ настоящаго, кровнаго демократа, чѣмъ Елисеевъ. Онъ отнюдь не былъ народникомъ, въ томъ смыслѣ, въ какомъ у насъ потомъ утвердилось это слово, хотя народники и многому у него научились. Онъ не питалъ народническихъ иллюзій и демократизмъ былъ въ немъ не дѣломъ только принциповъ и убѣжденій, а самыхъ инстинктовъ. Онъ былъ, какъ я выразился въ некрологической замѣткѣ, „какъ-бы самъ народъ, собственными усиліями пробившійся къ свѣту и достигшій верховъ самосознанія“.

Я не хочу дѣлать обидныя для кого-бы то ни было сравненія и потому умолчу о лукаво мудрствующихъ. Возьму писателей, мною глубоко уважаемыхъ, къ которымъ и Елисеевъ относился съ такимъ-же глубокимъ почтеніемъ.

Въ одной изъ записныхъ книжекъ Елисеева я нашелъ слѣдующую замѣтку: „Моя надпись на книгѣ т. VIII сочиненій Успенскаго, подаренной такой-то (названо женское имя)... Не падай духомъ въ постигшемъ тебя несчастіи, будь покойна и не переставай трудиться надъ своимъ самообразованіемъ для будущей дѣятельности, но такой дѣятельности, которая-бы основывалась не на мечтахъ и иллюзіяхъ, а которая была-бы приспособлена и пригодна для русской дѣйствительности. Для этого совѣтую тебѣ какъ можно чаще читать и даже изучать сочиненія Г. И. Успенскаго, единственнаго у насъ писателя, мысль котораго въ отношеніи Россіи отличается всегда искренностью, свѣжестью, правдивостью, богатствомъ содержанія и глубиною. Да, даже и глубиною, при всей видимой легкости его писаній. Но глубина можетъ даваться только тому, кто будетъ читать его не бѣгло, а пристально вдумываться въ читаемое, усердно ворочая при этомъ своими собственными мозгами. Прощай... будь здорова и счастлива. Я старъ и боленъ и можетъ быть мнѣ не придется уже съ тобой увидѣться“.

Digitized by Google

Такъ высоко цѣнилъ Елисеевъ Успенскаго и такъ понималъ искренность его нервнаго, изъ „болѣзни сердца“ или „болѣзни совѣсти“ истекающаго отношенія къ народу. Но самъ онъ былъ чуждъ этой „болѣзни“. Онъ проще и непосредственнѣе относился къ народу.

Салтыкова, какъ знаетъ читатель, Елисеевъ тоже необыкновенно высоко ставилъ, не только за его талантъ, но и за отношеніе къ русской дѣйствительности. Салтыковъ-же, между прочимъ, писалъ: „Исторія показываетъ, что тѣ люди, которыхъ мы не безъ основанія называемъ лучшими, всегда съ особенною любовью обращались къ толпѣ и что только тѣ политическіе и общественные акты получали дѣйствительное значеніе, которые имѣли въ виду толпу. Тутъ, въ этомъ служеніи толпѣ, имѣется даже очень ясный эгоистическій разсчетъ, ибо, какъ-бы мы ни были развиты и обезпечены, мы, все-таки, до тѣхъ поръ не получимъ возможности быть нравственно покойными и мирно наслаждаться нашимъ развитіемъ, покуда все, что насъ окружаетъ, не придетъ хотя въ нѣкоторое равновѣсіе съ нами относительно матеріальнаго и духовнаго благосостоянія“.

Елисеевъ все это зналъ и понималъ, но ему не было надобности такъ или иначе опредѣлять свои отношенія къ толпѣ, къ народу,—онъ былъ самъ народъ...

Digitized by Google

Digitized by Google

Изданія редакціи журнала «РУССКОЕ БОГАТСТВО»:

СКЛАДЫ: *въ* **С.-Петербургѣ**—*контора редакціи, уг. Спасской и Басковой ул., д. 1—9.*
въ **Москвѣ**—*отдѣленіе Конторы, Никитскія ворота, д. Гагарина.*

С. А. АН—СКІЙ. Очерки народной литературы. Ц. 80 к.
Н. ГАРИНЪ. Дѣтство Тёмы. *Третье* изд. Ц. 1 р. 25 к.
ЕГО ЖЕ. Гимназисты. Изд. второе. Ц. 1 р. 25 к.
ЕГО ЖЕ. Студенты. Ц. 1 р. 25 к.
ЕГО ЖЕ. Деревенскія панорамы. Ц. 1 р.
С. Я. ЕЛПАТЬЕВСКІЙ. Очерки Сибири. Изд. 2-ое. Ц. 1 р.
ЕГО ЖЕ. Очерки и разсказы. Ц. 1 р. 50 к.
ВЛ. КОРОЛЕНКО. Очерки и разсказы. Кн. 1-ая. Изданіе восьмое. Цѣна 1 р. 50 к.
ЕГО ЖЕ. Очерки и разсказы. Кн. 2-ая. Изданіе четвертое. Цѣна 1 р. 50 к.
ЕГО ЖЕ. Въ голодный годъ. Изд. 3-ье. Ц. 1 р.
ЕГО ЖЕ. Слѣпой музыкантъ. Изд. седьмое. Ц. 75 к.
Л. МЕЛЬШИНЪ. Въ мірѣ отверженныхъ. Записки бывшаго каторжника. *Два тома.* Ц. 3 р.
Н. К. МИХАЙЛОВСКІЙ. Сочиненія въ шести томахъ. Удешевленное изданіе большого формата, въ два столбца, въ 30 печатныхъ листовъ каждый томъ, *съ портретомъ автора.* Ц. 12 р.
А. О. НЕМИРОВСКІЙ. Напасть. Повѣсть изъ временъ холерной эпидеміи 1892 г. Ц. 1 р.
С. Н. ЮЖАКОВЪ. Дважды вокругъ Азіи. Путевыя впечатлѣнія. Ц. 1 р. 50 к.
П. Я. Стихотворенія. *Третье,* вновь исправленное и дополненное, *изданіе.* Ц. 1 р.

Digitized by Google

ШЕСТЬ ТОМОВЪ СОЧИНЕНІЙ

Н. К. МИХАЙЛОВСКАГО.

Изданіе редакціи журнала «Русское Богатство».

УДЕШЕВЛЕННОЕ

изданіе большого формата, въ два столбца, въ 30 печатныхъ листовъ каждый томъ, **съ портретомъ автора.**

Цѣна 12 руб.

СОДЕРЖАНІЕ I Т. 1) Предисловіе. 2) Что такое прогрессъ? 3) Теорія Дарвина и общественная наука. 4) Аналогическій методъ въ общественной наукѣ. 5) Дарвинизмъ и оперетки Оффенбаха. 6) Борьба за индивидуальность. 7) Вольница и подвижники. 8) Изъ литературныхъ и журнальныхъ замѣтокъ 1872 и 1873 гг.

СОДЕРЖАНІЕ II Т. 1) Преступленіе и наказаніе. 2) Герои и толпа. 3) Научныя письма. 4) Патологическая магія. 5) Еще о герояхъ. 6) Еще о толпѣ. 7) На вѣнской всемірной выставкѣ. 8) Изъ литературныхъ и журнальныхъ замѣтокъ 1874 г. 9) Изъ дневника и переписки Ивана Непомнящаго.

СОДЕРЖАНІЕ III Т. 1) Философія исторіи Луи Блана. 2) Вико и его „новая наука". 3) Новый историкъ еврейскаго народа. 4) Что такое счастье? 5) Утопія Ренана и теорія автономіи личности Дюринга. 6) Критика утилитаризма. 7) Записки Профана.

СОДЕРЖАНІЕ IV. Т. 1) Жертва старой русской исторіи. 2) Идеализмъ, идолопоклонство и реализмъ. 3) Суздальцы и суздальская критика. 4) О литературной дѣятельности Ю. Г. Жуковскаго. 5) Карлъ Марксъ передъ судомъ г. Ю. Жуковскаго. 6) Въ перемежку. 7) Письма о правдѣ и неправдѣ. 8) Литературныя замѣтки 1878 г. 9) Письма къ ученымъ людямъ. 10) Житейскія и художественныя драмы. 11) Литературныя замѣтки 1879 г. 12) Литературныя замѣтки 1880 г.

СОДЕРЖАНІЕ V Т. 1) Жестокій талантъ. 2) Гл. И. Успенскій. 3) Щедринъ. 4) Герой безвременья. 5) Н. В. Шелгуновъ. 6) Записки современника: I. Независящія обстоятельства. II. О Писемскомъ и Достоевскомъ. III. Нѣчто о лицемѣрахъ. IV. О порнографіи. V. Мѣдные лбы и вареныя души. VI. Послушаемъ умныхъ людей. VII. Три мизантропа. VIII. Пѣснь торжествующей любви и нѣсколько мелочей. IX. Журнальное обозрѣніе. X. Торжество г. Ціона, чреда образованности и проч. XI. О нѣкоторыхъ старыхъ и новыхъ недоразумѣніяхъ. XII. Все французъ гадитъ. XIII. Смерть Дарвина. XIV. О доносахъ. XV. Забытая азбука. XVI. Гамнетизированные поросята. 7) Письма посторонняго въ редакціи „Отечественныхъ Записокъ".

СОДЕРЖАНІЕ VI Т. 1) Вольтеръ-человѣкъ и Вольтеръ-мыслитель. 2) Графъ Бисмаркъ. 3) Предисловіе къ книгѣ объ Иванѣ Грозномъ. 4) Иванъ Грозный въ русской литературѣ. 5) Палка о двухъ концахъ. 6) Романическая исторія. 7) Политическая экономія и общественная наука. 8) Дневникъ читателя. 9) Случайныя замѣтки и письма о разныхъ разностяхъ.

Для подписчиковъ «Русскаго Богатства» цѣна 9 руб. безъ пересылки. Пересылка за ихъ счетъ *наложеннымъ платежомъ*—товаромъ большой скорости или заказной бандеролью.

Digitized by Google

Н. К. Михайловскій.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ВОСПОМИНАНІЯ
и
СОВРЕМЕННАЯ СМУТА.

Томъ II.

ИЗДАНІЕ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА „РУССКОЕ БОГАТСТВО“.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типо-Литографія Б. М. Вольфа, Разъѣзжая, 15.
1900.

Digitized by Google

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
577714
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
R 19·2 L

Digitized by Google

Содержаніе.

стр.

I. Оптимистическій и пессимистическій тонъ. — Максъ Нордау о вырожденіи. — Декаденты, символисты, маги и проч. 1
II. Русское отраженіе французскаго символизма 32
III. Еще о декадентахъ, символистахъ и магахъ 60
IV. О разныхъ типахъ празднословія. — Объ эстетической критикѣ.— Отрывокъ изъ романа „Карьера Оладушкина" 102
V. Основы народничества г. Юзова. — Памяти Тургенева 140
VI. О народничествѣ г-на В. В. 163
VII. Братство народовъ.— Переводы г. Фидлера.— Платонъ Лукашевичъ, Катрфажъ, Генъ. — 99 „молодыхъ" . . . 200
VIII. О молодости. — О гг. П. Ковалевскомъ и Сениговѣ. — Смерть Гайдебурова. — Объ экономическомъ матеріализмѣ. — Изъ писемъ марксистовъ 232
IX. Гегелизмъ и гальванизмъ. — О діалектическомъ развитіи и тройственныхъ формулахъ прогресса 275
X. О разсказахъ гг. Григоровича и Мамина-Сибиряка. — О силѣ привычки вообще, у писателей въ частности. — О гр. Л. Н. Толстомъ 298
XI. Нѣчто о бѣдствіяхъ существенныхъ и красныхъ вымыслахъ. — О гг. Маковскомъ, Рѣпинѣ, Новооскольцевѣ. — Фламаріонъ, г. Мечниковъ и Бертело о грядущихъ судьбахъ человѣчества 320
XII. Будущія бородатыя женщины г. Брандта. — „Выдающаяся женщина" г. Ардова и Раскольниковъ Достоевскаго 348

Digitized by Google

XIII. „О Литературномъ обществѣ и нашихъ литературныхъ нравахъ“. — О системахъ морали. — О Максѣ Штирнерѣ и Фридрихѣ Ничше 378
XIV. О г. Струве и его „Критическихъ замѣткахъ по вопросу объ экономическомъ развитіи Россіи“ 404
XV. Еще о Фридрихѣ Ничше 443
XVI. И еще о Ничше 465

Digitized by Google

I *).

Оптимистическій и пессимистическій тонъ.—Максъ Нордау о вырожденіи.—Декаденты, символисты, маги и проч.

Въ исторіи человѣческой мысли постоянно чередуются два противоположные, если можно такъ выразиться, психологическіе тона,—оптимистическій и пессимистическій. Я говорю не о тѣхъ доктринахъ, въ центрѣ которыхъ стоитъ вопросъ о количествѣ зла на землѣ и творцы или пропагандисты которыхъ сами себя открыто величаютъ пессимистами или (несравненно рѣже) оптимистами. Я говорю именно о психологическомъ тонѣ, окрашивающемъ собою значительную часть всего умственнаго багажа даннаго общества въ данную эпоху. Затѣмъ, я употребляю столь общее и неопредѣленное выраженіе, какъ „психологическій тонъ", потому, что источники этихъ колебаній мысли лежатъ не спеціально въ ней самой, а во всемъ душевномъ складѣ. Это видно уже изъ того, что одни и тѣ же данныя науки, однѣ и тѣ же группировки научныхъ данныхъ, то-есть научныя и философскія теоріи, сплошь и рядомъ сегодня окрашиваются розовымъ цвѣтомъ надежды и гордости, а по прошествіи нѣкотораго времени, нисколько не измѣняясь въ своей сущности и даже получивъ новыя подтвержденія, пріобрѣтаютъ безнадежно мрачное освѣщеніе. Отдѣльные мыслители могутъ, конечно, оставаться внѣ вліянія подобныхъ приливовъ и отливовъ, но въ массѣ, разумѣя подъ нею и ученыхъ, и неученыхъ людей, эта періодическая смѣна розоваго чернымъ и наоборотъ составляетъ очень обыкновенное явленіе.

Слишкомъ тридцать лѣтъ тому назадъ Дарвинъ издалъ свое знаменитое сочиненіе „О происхожденіи видовъ", оканчивающееся такими торжественно-ликующими строками: „Такъ изъ

*) 1893, январь.

Digitized by Google

вѣчной борьбы, изъ голода и смерти прямо слѣдуетъ самое высокое явленіе, которое мы можемъ себѣ представить, а именно— возникновеніе высшихъ формъ жизни. Есть величіе въ этомъ воззрѣніи, по которому жизнь съ ея разнородными силами была вдохнута первоначально въ немногія формы или лишь въ одну, по которому, межъ тѣмъ какъ земля продолжаетъ кружиться по вѣчному закону тяготѣнія, изъ столь простого начала развились и до сихъ поръ развиваются безчисленныя формы дивной красоты". Книгу „Происхожденіе человѣка и половой подборъ" Дарвинъ оканчиваетъ такъ: „Человѣку можно простить, если онъ чувствуетъ нѣкоторую гордость при мысли, что онъ поднялся, хотя и не собственными усиліями, на высшую ступень органической лѣстницы, и то обстоятельство, что онъ поднялся на нее, вмѣсто того, чтобы быть поставленнымъ здѣсь съ самаго начала, можетъ внушать ему надежду на еще болѣе высокую участь въ отдаленномъ будущемъ".

На этомъ общемъ ликующемъ фонѣ рисовались соотвѣтственные мелкіе узоры. Въ животномъ мірѣ Дарвинъ предлагалъ намъ радоваться, напримѣръ, инстинктивной злобѣ пчелы-матки, истребляющей своихъ дочерей-соперницъ. Въ человѣческомъ обществѣ, утѣшалъ онъ насъ, „выпалываніе худшихъ наклонностей дѣлаетъ постоянные успѣхи". А именно вотъ какія утѣшительныя вещи происходятъ въ человѣческомъ обществѣ: „Преступниковъ убиваютъ или заключаютъ въ тюрьмы на долгое время, такъ что они не могутъ свободно передавать по наслѣдству свои дурныя качества. Меланхолики и умопомѣшанные бываютъ обыкновенно удалены отъ себѣ подобныхъ или кончаютъ жизнь самоубійствомъ. Злобные и неуживчивые люди находятъ кровавый конецъ" и т. д.

Такъ говорилъ учитель, спокойный, вдумчивый, глубокомысленный. Менѣе обстоятельные и болѣе пылкіе ученики ликовали, конечно, гораздо сильнѣе. Одинъ, правда, уже вполнѣ неосновательный и едва-ли даже здоровый разумомъ, нѣмецъ предсказывалъ, что человѣчество преобразится, путемъ борьбы за существованіе и переживанія приспособленнѣйшихъ, въ новый видъ—„ангелъ". Ликованіе шло двойною струей. Радовались, во-первыхъ, тому могучему толчку, который получило теоретическое знаніе въ самыхъ разнообразныхъ своихъ отрасляхъ. Радовались затѣмъ самому содержанію пущенной Дарвиномъ во всеобщее

Digitized by Google

обращеніе идеи: много зла на свѣтѣ дѣлается, но изъ этого зла постоянно слагается вящшее добро. Отсюда слѣдовали разные пріятные и гордые частные выводы, которые и разносились, путемъ популяризаціи, по всему цивилизованному міру. Эти двѣ струи ликованія пополняли другъ друга. Если внутреннее чувство и подсказывало иному сомнѣніе въ благотворности злотворнаго хода вещей, то сомнѣніе заглушалось убѣжденіемъ въ неизбѣжности процесса, ясно и точно формулированнаго наукой. И это величіе безстрастной, неподкупной науки давало поводъ новымъ ликованіямъ и гордостямъ. Правда, съ самаго начала этого всеобщаго возбужденія нѣкоторые теоретики утверждали, что общая идея трансформизма, столь прочно установленная Дарвиномъ, не исчерпывается указанными имъ принципами. Правда, съ другой стороны, въ подтвержденіе именно трансформистской теоріи, нѣкоторые ученые спеціалисты очень рано указывали на случаи ретроградпаго развитія подъ вліяніемъ борьбы за существованіе и переживанія приспособленнѣйшихъ. Но эти ограничительныя указанія тонули въ гордо-веселомъ хорѣ, привѣтствовавшемъ прекрасное настоящее и превосходнѣйшее будущее.

Прошли года, и что-же осталось отъ этого оптимистическаго тона? Я опять-таки говорю не объ отдѣльныхъ мыслителяхъ, а о массѣ, да и то надо сдѣлать оговорку. Въ ней, въ этой массѣ, своимъ чередомъ идетъ, подъ непосредственнымъ давленіемъ условій жизни, сложная борьба интересовъ и страстей, съ запутанными колебаніями и соотвѣтственными разсчетами шансовъ успѣха и пораженія. Франція, какъ нація, живетъ идеей „реванша“ и уязвлена Панамскимъ скандаломъ, Германія выбивается изъ силъ для сохраненія за собой гегемоніи, пролетаріи всѣхъ странъ ведутъ свою классовую борьбу, цивилизованныя націи дѣлятъ между собой черный материкъ, теоретическая наука и техника расширяютъ свои завоеванія и т. д., и т. д., и т. д. Я отнюдь не думаю подводить какіе-нибудь итоги всей этой сложной и пестрой сѣти явленій. Я говорю только, что на томъ самомъ, такъ сказать, мѣстѣ, гдѣ еще недавно раздавались единодушные клики торжества и надежды въ связи съ теоріей Дарвина, мы столь-же однообразно слышимъ и повторяемъ мрачное слово—„вырожденіе“. Не удивительно, что его твердятъ невропатологи и психіатры (хотя послѣ вышеприведенныхъ наивно

Digitized by Google

утѣшительныхъ словъ Дарвина и это достойно вниманія), но дѣло въ томъ, что ихъ голосъ отдается безчисленными перекатами эхо надъ всѣмъ житейскимъ моремъ. Криминалисты, антропологи, публицисты, романисты, поэты, критики на всѣ лады говорятъ намъ о разнообразныхъ болѣзненныхъ явленіяхъ, какъ о результатахъ вырожденія. Если тридцать лѣтъ тому назадъ мы были склонны видѣть свое настоящее въ освѣщеніи румяной зари, а будущее—въ освѣщеніи полнаго дневного свѣта, то теперь мы рискуемъ признать все, окружающее насъ, сумерками, предвѣщающими темную, долгую, а, можетъ быть, и совсѣмъ безразсвѣтную ночь. И въ высшей степени любопытно, что собственно въ той области знанія, откуда почерпается теперь этотъ мрачный взглядъ, сдѣлано множество чрезвычайно важныхъ детальныхъ открытій и наблюденій, но коренные принципы нимало не поколеблены. Мы оперируемъ, въ сущности, все съ тѣми же законами наслѣдственности и приспособленія, но черпаемъ изъ нихъ не надежду, а безнадежность и даже отчаяніе, не торжество, а посрамленіе. Мы и тридцать лѣтъ тому назадъ имѣли вполнѣ удовлетворительное понятіе объ атавизмѣ, но тогда это было маленькое, никого не смущавшее облачко, даже какъ будто способствовавшее красотѣ пейзажа, а теперь это облачко разрослось въ цѣлую грозную тучу „прирожденныхъ преступниковъ“. Мы и прежде знали, что среди насъ есть алкоголики, больные, безпокойные, буйные, неудобные люди, но вотъ Дарвинъ утѣшалъ насъ, что имъ такъ или иначе приходитъ скорый конецъ, а теперь ихъ судьба растягивается чуть не въ безконечность. Но самое, можетъ быть, характерное для нашего времени явленіе состоитъ въ томъ, что цѣлая поэтическая школа носитъ кличку „декадентовъ“, людей упадка,—школа, полагающая, что она дальше всѣхъ ушла по тому пути, которымъ идетъ исторія человѣчества, слѣдовательно, такая, которая во всякое другое время называлась-бы „прогрессивною“. Вмѣстѣ съ тѣмъ, меркнетъ и то восторженное преклоненіе передъ безстрастною и неподкупною наукой, которымъ мы были полны тридцать лѣтъ тому назадъ. Все чаще и чаще, громче и громче раздаются въ этомъ направленіи ноты скептицизма, разочарованія, неудовлетворенности.

Постараемся разобраться во всемъ этомъ.

Digitized by Google

Недавно вышла книга Макса Нордау „Entartung“ (пока только первый томъ). Нордау—авторъ не безъизвѣстныхъ и у насъ книгъ: „Die konventionellen Lügen der Kulturmenschheit“. „Paradoxe“, „Pariser Briefe“, романа „Gefühlskomödie“ и проч. Человѣкъ онъ остроумный, а иногда даже больше, чѣмъ остроумный, но, въ большинствѣ случаевъ, поверхностный, несмотря на бойкость пера и умѣнье затрогивать дѣйствительно интересныя темы. Его новая книга: „Entartung“ (*Вырожденіе*) характеризуется отчасти уже самымъ заглавіемъ и сразу-же, съ первой страницы, ясно и рѣзко выдвигаетъ точку зрѣнія автора. Книга посвящена Ломброзо. Въ посвященіи, послѣ обычныхъ почтительныхъ любезностей, приличествующихъ ученику по отношенію къ учителю, между прочимъ, говорится: „Но есть обширная и важная область, въ которую еще ни вы, ни ваши ученики не внесли свѣточа вашего метода: это—область искусства и литературы. Вырожденіе не исчерпывается преступниками, проститутками, анархистами и завѣдомыми сумасшедшими. Выродившіеся есть и между писателями и художниками. Они являютъ духовныя, а въ большинствѣ случаевъ и физическія черты, общія всему этому антропологическому семейству, но удовлетворяютъ своимъ нездоровымъ стремленіямъ при помощи пера или кисти, а не ножа или динамитнаго заряда“.

Нордау не совсѣмъ правъ по отношенію къ своему учителю: Ломброзо писалъ и о „графоманахъ“, и о художникахъ-„маттоидахъ“. Но это обстоятельство для насъ не важно. Во всякомъ случаѣ, приведенныя строки вполнѣ характеризуютъ ту точку зрѣнія, на которой стоитъ Нордау: вырожденіе, физическое и нравственное, представляется ему единственнымъ объясненіемъ цѣлаго ряда явленій общественной жизни, имѣющихъ очень сложные и разнородные корни, да и непосредственно очень различающихся между собою. Мы еще вернемся къ этой, поражающей своею узостью и односторонностью, точкѣ зрѣнія. А теперь обратимся къ тому матеріалу, который Нордау, пользуясь „свѣточемъ метода“ Ломброзо, подвергаетъ анализу въ своей новой книгѣ.

Послѣ общаго введенія, озаглавленнаго „Fin de siècle“, Нордау переходитъ къ „выродившимся“. Тутъ, подъ общею рубрикой „мистицизма“, фигурируютъ англійскіе „прерафаэлиты“, французскіе „символисты“ или „декаденты“, „толстоизмъ“, культъ

Digitized by Google

Вагнера (музыкальнаго композитора) и нѣкоторыя каррикатурныя формы (Parodieformen) мистицизма. Мы остановимся преимущественно на французскихъ литературныхъ школахъ, которымъ и въ книгѣ Нордау удѣляется больше всего вниманія. Какъ истый нѣмецъ, Нордау и вообще съ особенною ядовитостью относится къ французамъ,—до такой степени, что предлагаетъ даже замѣнить выраженіе „fin de siècle“ выраженіемъ „fin de race“, т.-е. именно французской расы: ей, дескать, приходитъ конецъ.

Нѣсколько личныхъ словъ въ объясненіе нижеслѣдующаго. До сихъ поръ я мало интересовался такъ называемыми декадентами или символистами и лишь случайно просматривалъ кое-что изъ ихъ произведеній. Прочитавши книгу Нордау, я сперва хотѣлъ только провѣрить его цитаты, потому что многое изъ этой оригинальной литературы совершенно теряется въ переводѣ на нѣмецкій (и, конечно, на русскій) языкъ. Но когда на столѣ у меня очутилась чуть не цѣлая декадентская библіотека, я понемногу заинтересовался ею, какъ въ высшей степени любопытнымъ не только литературнымъ, но и общественнымъ явленіемъ, и уже не могъ ограничиться простою провѣркой цитатъ Нордау. Чтеніе это стоило не малаго труда. Я совершенно свободно читаю по-французски, но тутъ мнѣ приходилось иногда по нѣскольку разъ перечитывать одну страницу, чтобы понять то, что на ней напечатано французскими буквами; приходилось обращаться и къ чужой помощи. Несмотря, однако, на всѣ эти мои старанія, я отнюдь не могу считать себя знатокомъ декадентской литературы во всей ея совокупности, а потому читатель долженъ примириться со многими пробѣлами, въ каковыхъ случаяхъ я буду слѣдовать, съ фактической стороны, Нордау и другимъ. Изъ этихъ другихъ особенно интересенъ нѣкій Жюль Гюре, авторъ книги „Enquête sur l'evolution littéraire“ (1891). Гюре, сотрудникъ газеты „L'écho de Paris“, задался мыслью собрать мнѣнія всѣхъ сколько-нибудь выдающихся французскихъ писателей другъ о другѣ и о школахъ, по которымъ они группируются. Онъ снялъ такимъ образомъ, шестьдесятъ четыре допроса (большею частью устныхъ), изъ которыхъ составилась чрезвычайно любопытная книга. Поучительны также показанія прикосновенныхъ къ новымъ литературнымъ теченіямъ во Франціи—Шарля Мориса (книга „La littérature de tout à l'heure“, 1889) и Матьяса Мор-

Digitized by Google

гарта (статья „Les symboliques“ въ „Nouvelle Revue“ за 1892 г.).

Въ концѣ 1883 г. въ Парижѣ, въ одномъ изъ кабачковъ Латинскаго квартала, стала собираться группа молодыхъ поэтовъ, носившая кличку „гидропатовъ“; почему она такъ называлась, неизвѣстно. Они издавали маленькій журнальчикъ „Лютеція“, который, впрочемъ, очень скоро прекратился, а затѣмъ прекратились и собранія „гидропатовъ“. Ихъ замѣнилъ, въ другомъ уже кабачкѣ, новый кружокъ, получившій насмѣшливое прозвище „декадентовъ“. Большая часть основателей этого кружка дебютировала среди „гидропатовъ“. Это Жанъ Мореасъ, Лоранъ Тальядъ, Шарль Морисъ, Шарль Винье, Станиславъ Гюаита. Къ этимъ присоединялись потомъ другіе, нѣкоторые отставали, вновь прибывали. Они имѣли, а частію и до сихъ поръ имѣютъ, свои журналы, весьма, однако, кажется, мало распространенные. Но сочиненія нѣкоторыхъ изъ нихъ производятъ много шуму. Ихъ называютъ огуломъ „символистами“, и сами себѣ они (отнюдь, однако, не всѣ) охотно даютъ эту кличку; называютъ они себя также „молодыми“ (jeunes). Послѣднее, однако, надо понимать, кажется, въ нѣкоторомъ фигуральномъ смыслѣ. „Гидропаты“ и первые „декаденты“ были дѣйствительно молоды. Моргартъ говоритъ въ упомянутой статьѣ, что это были юноши, только что прибывшіе изъ провинціи или окончившіе среднее образованіе, „очень мало знавшіе не только жизнь, но и литературу“. Но, какъ и всегда, недостатокъ знанія не только не мѣшалъ, а даже еще способствовалъ обилію и горячности дебатовъ. Они собирались каждый день въ своихъ излюбленныхъ кафе утромъ, просиживали до обѣда и потомъ опять сходились и бесѣдовали далеко за полночь. Занятія состояли въ чтеніи поэтическихъ произведеній, въ бесѣдахъ о нихъ и по поводу нихъ. Главнымъ образомъ, ихъ занимали вопросы о техникѣ стиха и о „суггестіи“, т.-е. „навожденіи“ въ искусствѣ (мы въ свое время увидимъ, въ чемъ тутъ дѣло). Кое-кто изъ посѣтителей кафе вносилъ въ кружокъ свои личные вкусы, болѣе или менѣе сильно вліявшіе и на остальныхъ. Такъ, повидимому, Мореасъ внесъ интересъ къ философіи Шопенгауера и къ старой французской литературѣ—XIV, XV и XVI вѣковъ. Кое-кто просто „благировалъ“ на разныя серьезныя и якобы серьезныя темы. Все это было очень молодо. Но съ тѣхъ поръ и сами основатели

Digitized by Google

кружка успѣли вырости, и къ нимъ примкнули люди старшаго возраста (вѣрнѣе, можетъ быть, сказать, что они пристроились къ этимъ старшимъ). Теперь самому талантливому изъ писателей, причисляемыхъ къ „символистамъ“, и не только самому талантливому изъ нихъ, а и дѣйствительно талантливому, Полю Верлену— за пятьдесятъ лѣтъ; Стефану Малларме, необыкновенно высоко цѣнимому „своими“,—подъ пятьдесятъ; Мореасу, тоже одному изъ орловъ изъ стаи славной,—тридцать пять. Это немножко напоминаетъ нашихъ, подвизающихся въ беллетристикѣ и поэзіи, „молодыхъ людей подъ сорокъ лѣтъ“. Если, такимъ образомъ, французскіе символисты, въ особенности щеголяющіе Верленомъ, Малларме и Мореасомъ, называютъ себя „молодыми“, то тутъ надо разумѣть не столько юный возрастъ, сколько молодость души и новость идей...

Оставляя пока въ сторонѣ молодость души и останавливаясь только на новости идей, надо замѣтить, что ихъ, эти идеи, отнюдь не такъ-то легко извлечь изъ-подъ словесной одежды, въ которую ихъ облекаютъ символисты, и не только нашему брату, иностранцу. Извѣстный поэтъ Леконтъ де-Лиль такъ отвѣтилъ Гюре на вопросъ о символистахъ: „Я рѣшительно не понимаю ни того, что они говорятъ, ни того, что они хотятъ сказать... Я думаю, что они тратятъ время и молодость на произведенія, которыя сами сожгутъ черезъ нѣсколько лѣтъ. Это удивительно и печально! Я вижусь кое съ кѣмъ изъ нихъ,—они говорятъ очень ясно, какъ французы и здравомыслящіе люди. Но какъ только они берутся за перо—кончено дѣло: пропалъ французскій языкъ, пропала ясность, пропалъ здравый смыслъ. Это поразительно! И что за языкъ! Вотъ, возьмите шапку, набросайте туда нарѣчій, союзовъ, предлоговъ, существительныхъ, прилагательныхъ, вынимайте наудачу и складывайте,—выйдетъ символизмъ, декадентизмъ, инструментизмъ и вся прочая галиматья... Это тѣ „любители бреда“, о которыхъ говоритъ Боделеръ. Онъ совѣтовалъ подбрасывать кверху типографскій шрифтъ, и когда онъ упадетъ внизъ, на бумагу, получатся стихи. Символисты повѣрили Боделеру... Они толкуютъ о музыкѣ! Да что-же можетъ быть менѣе музыкально, чѣмъ ихъ стихи? Это неслыханная какофонія! Одинъ изъ нихъ, Ренье,—очень, впрочемъ, милый молодой человѣкъ,—сказалъ мнѣ однажды: „Мы пробуемъ, дорогой учитель!“—„Да пробуйте сколько хотите,—отвѣтилъ я,—это ваше право, но сохра-

Digitized by Google

няйте свои пробы для себя, не пробуйте въ печатныхъ книгахъ!“... Это какая-то эпидемія. Стефанъ Малларме—мой старый пріятель, съ которымъ я былъ очень близокъ, когда-то я его понималъ, а теперь не понимаю“.

Мнѣніе другого извѣстнаго французскаго поэта, Франсуа Коппе: „Малларме писалъ когда-то понятные стихи, но, при всемъ моемъ уваженіи къ его возвышенному уму и безупречной жизни, я долженъ признаться, что теперь я его не понимаю“.

Мнѣніе еще одного признаннаго свѣтила французской поэзіи, Сюлли-Прюдома: „Я не только не чувствую музыки ихъ стиховъ, но и самый смыслъ ихъ для меня совершенно теменъ“.

Леконтъ де-Лиль, Коппе и Сюлли-Прюдомъ—отсталые люди, съ точки зрѣнія декадентовъ и символистовъ, отпѣтые старики, мнѣнія которыхъ нисколько не интересны, потому что гдѣ же имъ понять „новую мозговую линію“, выражаясь нашимъ нынѣшнимъ русскимъ языкомъ, новое теченіе, смывающее устарѣлый французскій Парнасъ? Но и Поль Верленъ, которому поклоняются всѣ символисты,—признается: „о, я не все у нихъ понимаю, далеко не все!“

Чтобы русскій читатель могъ хотя отчасти судить о томъ, въ какой мѣры правы знаменитые французскіе поэты, я приведу въ возможно точномъ переводѣ два стихотворенія: одно—Мореаса, претендующаго на титулъ главы школы, и другое—Метерлинка, правда, бельгійца, а не француза, но убѣжденнаго и выдающагося символиста. Стихотвореніе Мореаса называется „Пѣсня“ и напечатано въ сборникѣ, озаглавленномъ „Le pélerin passionné“:

„Птички въ камышахъ! (Надо ли вамъ разсказывать про птичекъ въ камышахъ?) О, вы, хорошенькая фея водъ. Свинопасъ и свиньи! (Надо ли вамъ разсказывать про свинопаса и свиней?) О, вы хорошенькая фея водъ. Мое сердце въ вашихъ сѣтяхъ! (Надо ли вамъ разсказывать про мое сердце въ вашихъ сѣтяхъ?) О, вы, хорошенькая фея водъ“.

Тутъ и пѣснѣ конецъ! Въ предисловіи къ сборнику Мореасъ предваряетъ, что только тотъ дѣйствительно насладится его стихами, кто „съумѣетъ понять, какимъ образомъ Сантиментальная Идеологія и Музыкальная Пластичность оживляются въ нихъ одновременнымъ дѣйствіемъ“. Едва ли, однако, кто-нибудь пойметъ эту авторскую исповѣдь, несмотря на прописныя буквы

Digitized by Google

повидимому, что-то особенно подчеркивающія, которыми всѣ символисты любятъ пестрить свои страницы.

Приведенное стихотвореніе написано опредѣленнымъ размѣромъ и риѳмованными строками: roseaux, eaux, pourceaux, eaux, réseaux, eaux. Эта музыкальная сторона, конечно, исчезаетъ въ прозаическомъ переводѣ. Но вотъ уже вполнѣ „вольные стихи Метерлинка, безъ уловимаго размѣра и риѳмы, изъ сборника, озаглавленнаго „Serres chaudes“:

О теплица среди лѣсовъ!
И твои навсегда запертыя двери!
И все, что есть подъ твоимъ куполомъ!
И подъ моей душой въ аналогіи съ тобой! *)
Мысли принцессы, которая голодна,
Тоска матроса въ пустынѣ,
Мѣдная музыка подъ окномъ неизлѣчимо-больныхъ.

—

Идите въ самые теплые углы!
Какъ будто женщина, упавшая въ обморокъ въ день жатвы.
На больничномъ дворѣ почтальоны;
Вдали проходитъ охотникъ за оленями, ставшій больничнымъ служителемъ.

—

Разсматривайте при лунномъ свѣтѣ!
(О, тогда все не на своемъ мѣстѣ!)
Какъ будто безумная передъ судьями,
Военный корабль съ распущенными парусами на каналѣ,
Ночныя птицы на лиліяхъ,
Погребальный звонъ въ полдень.
(Тамъ, подъ этими колоколами!)
Этапъ больныхъ на лугу,
Запахъ эѳира въ солнечный день.
Боже мой! Боже мой! Когда будетъ у насъ дождь,
И снѣгъ, и вѣтеръ въ теплицѣ!

Я старался перевести это стихотвореніе какъ можно ближе къ подлиннику, а такъ какъ оно приведено и у Нордау, то я еще свѣрялъ свой русскій переводъ съ его нѣмецкимъ и могу ручаться за точность.

А для примѣра теоретическаго изложенія, вотъ опредѣленіе идеи Бога, даваемое признаннымъ философомъ школы, Шарлемъ Морисомъ (въ книгѣ „La littérature de tout à l'heure“): „Богъ

*) Et sous mon âme en vos analogies!

Digitized by Google

есть первая и всеобщая причина, послѣдняя и всеобщая цѣль, связь духовъ (или умовъ, esprits), точка пересѣченія двухъ параллельныхъ линій, завершеніе нашихъ стремленій, совершенство, соотвѣтствующее величію нашихъ мечтаній, абстракція конкретнаго, невидимый и неслышимый, но достовѣрный идеалъ нашихъ стремленій къ красотѣ въ истинѣ. Богъ есть по преимуществу собственное имя, то-есть то неизвѣстное и достовѣрное слово, о которомъ каждый писатель имѣетъ несомнѣнное, но не различимое понятіе, та очевидная и скрытая цѣль, которой онъ никогда не достигаетъ и къ которой по возможности приближается". Это удивительное опредѣленіе Морисъ считаетъ „чисто-философскимъ".

Надо еще замѣтить, что символисты любятъ необычныя конструкціи фразъ и необычныя, частью давно вышедшія изъ употребленія, частью вновь выдуманныя слова. Объ одномъ изъ самыхъ видныхъ символистовъ, Мореасѣ, Гюисмансъ выразился, въ разговорѣ съ Гюре, такъ: „Представьте себѣ курицу (да еще валашскую курицу!), которая клюетъ мелочи изъ словаря средневѣковаго языка. И если бы онъ еще красивыя слова выклевывалъ,—нѣтъ, у него вкусъ караиба!.. Писать „coulomb", чтобы не написать „pigeon",—неужели это остроумно?"

Пробиться сквозь всѣ эти препятствія формы изложенія иностранцу, конечно, особенно трудно. А къ этому прибавляется еще одно важное обстоятельство. Представленіе о символистахъ, какъ о какой-то вполнѣ объединенной группѣ, совсѣмъ невѣрно. Здѣсь, напротивъ, каждый, можно сказать, кто во что гораздъ, и если не норовитъ самъ основать собственную литературную школу, то видитъ такого основателя въ комъ-нибудь изъ „своихъ". Одинъ изъ собесѣдниковъ Гюре даетъ слѣдующій курьезный списокъ „геніевъ, характеризующихъ свою эпоху": „Моисей, Эсхилъ, Виргилій, Данте, Рабле, Шекспиръ, Гете, Флоберъ и Лафоргъ", а со смертію, дескать, Лафорга открывается вакансія. И, конечно, за претендентами дѣло не станетъ. Жюль Лафоргъ—поэтъ, умершій въ молодыхъ годахъ и, повидимому, дѣйствительно не лишенный таланта. Но, все-таки, если онъ можетъ быть поставленъ въ одинъ рядъ съ Моисеемъ, то дозволительно дерзать многимъ, а кто не дерзаетъ самъ, тотъ съ удобствомъ находитъ великаго человѣка гдѣ-нибудь по близости около себя.

Любопытна въ этомъ отношеніи судьба Стефана Малларме. По

Digitized by Google

профессіи онъ учитель англійскаго языка и человѣкъ уже далеко не первой молодости. Написалъ онъ очень немного (мы увидимъ ниже кое-что изъ его писаній), но это не мѣшаетъ, а, можетъ быть, даже способствуетъ тому, что большинство символистовъ цѣнитъ его необыкновенно высоко. Теоретикъ школы, — если можно въ данномъ случаѣ говорить о школѣ, — Шарль Морисъ, называетъ его „символическою фигурой поэта, стремящагося наиболѣе приблизиться къ абсолюту". Для другихъ поэтовъ онъ „живая совѣсть, строгій учитель, котораго мечтаютъ удовлетворить". Правда,—продолжаетъ Морисъ,—Малларме немного намъ далъ, но это потому, что онъ хотѣлъ лишь указать нѣкоторыя важныя подробности новаго пути, не имѣя пока возможности „осуществить задуманное имъ неслыханное художественное твореніе". Изъ этого, равно какъ изъ другихъ указаній, видно, что Малларме представляетъ собою центръ нѣкотораго кружка и имѣетъ дѣло, главнымъ образомъ, съ собесѣдниками, а не съ читателями. Роль сама по себѣ весьма почтенная, если вспомнить, напримѣръ, нашего Станкевича. Но Малларме, очевидно, ею не довольствуется. Въ 1875 г. онъ напечаталъ маленькую, въ четыре странички, „эклогу" — „L'après midi d'un faune", переиздалъ ее съ чрезвычайно пышнымъ послѣсловіемъ и указывалъ на нее Гюре, какъ на поворотный пунктъ во французской поэзіи. Въ томъ же разговорѣ съ Гюре онъ, въ объясненіе своего молчанія, выразилъ довольно-таки обидную для другихъ поэтовъ мысль, что современное общество не можетъ дать поэту ничего, что стояло бы въ уровень съ его идеей и съ его „тайною работой". Малларме, очевидно, хорошо умѣетъ обставить свое творческое безсиліе. Въ 1891 г. онъ разрѣшился, однако, книгой „Pages", съ которой мы еще познакомимся.

Соглашаясь принять титулъ главы школы, Малларме указываетъ, однако, на Поля Верлена, какъ на поэта, раньше его выступившаго на новый путь и, притомъ, высоко талантливаго. Верленъ, человѣкъ уже весьма не молодой, дѣйствительно недюжинный талантъ, и всѣ символисты смотрятъ на него съ величайшимъ почтеніемъ. Нельзя, однако, сказать, чтобы самъ Верленъ платилъ имъ тою же пріятною монетой. На просьбу Гюре опредѣлить, что такое, по его мнѣнію, символизмъ, Верленъ отвѣчалъ такъ: „Знаете, я человѣкъ здраваго смысла; можетъ быть, у меня другого ничего нѣтъ, но здравый смыслъ есть. Символизмъ?.. Не понимаю... Это,

Digitized by Google

должно быть, нѣмецкое слово, а? Что бы это такое значило? Мнѣ, впрочемъ, наплевать. Когда я страдаю, наслаждаюсь, плачу, я знаю, что это не символы... Они мнѣ надоѣли, всѣ эти цимбалисты! Когда въ самомъ дѣлѣ хотятъ произвести переворотъ въ искусствѣ, поступаютъ не такъ. Въ 1830 г. шли въ битву съ однимъ знаменемъ, на которомъ было написано: „Эрнани!“ А теперь всякій лѣзетъ съ своимъ знаменемъ, на которомъ написано: „Реклама!“ Я и самъ когда-то шалилъ, но не имѣлъ претензіи обращать свои шалости въ законы. Я не жалѣю о томъ, что писалъ четырнадцати-стопные стихи; я расширялъ дисциплину стиха, но не уничтожалъ его... Теперь пишутъ стихи въ тысячу стопъ! Это не стихи, а проза, а иногда просто ерунда“. На замѣчаніе Гюре, что „молодые“ ссылаются, однако, на него, Верлена, тотъ отвѣтилъ: „Пусть мнѣ докажутъ, что я тутъ причемъ-нибудь! Читайте мои стихи“.

Ремакль, основатель „Revue contemporaine“, въ которой группировались люди, ставшіе потомъ „декадентами“ и „символистами“, говоритъ: „Символистскаго движенія нѣтъ, а есть движенія безъ общаго направленія. Это все богомольцы безъ святыхъ мѣстъ. Никогда вы не встрѣтите хотя бы двухъ изъ этихъ вмѣстѣ на дорогѣ. Шуму они дѣлаютъ много, но тутъ нѣтъ ни страсти, ни любви, ни религіи... Литература всегда была символическою, начиная съ Эсхила и раньше его. Почему же эти господа—символисты по преимуществу? Потому что они выдвигаютъ символъ? Символъ чего? Символъ долженъ облекать сущность, центральную идею; какая же центральная идея у этихъ господъ? Возрожденіе словечекъ XVI вѣка, большая или меньшая длина стиха, заимствованія у среднихъ вѣковъ и другія подробности не могутъ составить доктрину. Да они и относительно этихъ подробностей не согласны между собою“.

Я выбираю не неодобрительные отзывы, а только такіе, которые свидѣтельствуютъ о крайней розни между символистами. Самою кличкою „символисты“ многіе уже недовольны и стремятся образовать новыя школы, съ новыми названіями. Такъ, одинъ изъ главарей символизма, Мореасъ, толкуетъ о „романизмѣ“. Нѣкій Сенъ-Поль-Ру, самъ себѣ прибавляющій прозвище „Великолѣпный“ („le Magnifique“), въ уморительно напыщенныхъ выраженіяхъ, возвѣщаетъ грядущій „алмазный вѣкъ поэзіи“,—вѣкъ „маньифицизма“: „Маньифики, аргонавты Красоты, отправятся

Digitized by Google

за Божественнымъ Руномъ въ Колхиду Истины. Они завоюютъ его душою вещей,—душою, которую они облекутъ въ ризу, вышитую и разукрашенную ихъ ощущеніями". Въ этотъ побѣдоносный походъ маньифики отправятся, конечно, подъ предводительствомъ Saint-Pol-Roux-le-Magnifique, Сенъ-Поль-Ру-Великолѣпнаго!... Рене Гиль, громя всѣхъ остальныхъ символистовъ, основываетъ свою собственную школу „эволюціоннаго инструментизма" Къ маю мѣсяцу 1891 г. онъ насчитывалъ уже двадцать шесть поэтовъ—учениковъ и послѣдователей. Правда, въ списокъ этихъ „эволюціонныхъ инструментистовъ" Гилю приходится заносить все больше такихъ, которые еще ничего не написали. Напримѣръ: „Марсель Батилья, который скоро издастъ превосходную и раціональную поэму; Александръ Бурсонъ, готовящій произведенія, проникнутыя эволюціонною идеей съ соціальной точки зрѣнія; Д. Мессонье опубликуетъ въ октябрѣ первую книгу своихъ стиховъ", и т. д., и т. д. Конечно, это немножко неудобно, но, вѣдь, и отъ Малларме все еще ждутъ великаго творенія, и это не мѣшаетъ увѣренности, что твореніе будетъ дѣйствительно великое.

Къ символистамъ близки „маги". Самый извѣстный изъ нихъ—Жозефенъ Пеладанъ, присвоилъ себѣ титулъ „Саръ", какъ Сенъ-Поль-Ру титулъ „Великолѣпный". Однако, и между магами единства мало. Саръ Пеладанъ объяснилъ Гюре, что настоящихъ маговъ во Франціи только пять (не считая меня, прибавилъ онъ): аббатъ Лакуріа, маркизъ де-Сантъ-Ивъ, де-Гюаита, Папю и Барле. а все остальное—просто неудачники. А на вопросъ Гюре о роли Сара Пеладана, обращенный къ другому магу, тотъ отвѣчалъ: „Каждый можетъ назвать себя Саромъ,—это халдейскій титулъ безъ всякаго значенія. Это все равно, какъ вамъ вздумалось бы величать себя викаріемъ Гюре или дьякономъ Гюре".

Спрашивается, что же связываетъ всѣхъ этихъ людей въ одно, хотя бы расплывающееся и разношерстное цѣлое? Или нѣтъ такой общей скобки, за которую можно бы было поставить ихъ всѣхъ,—талантливыхъ и бездарныхъ, убѣжденныхъ и фокусниковъ? Нордау рѣшительно утверждаетъ, что такая общая скобка есть, а именно: вырожденіе. Онъ доказываетъ это разборомъ произведеній символистовъ, въ нѣкоторыхъ, очень немногихъ случаяхъ,—біографическими данными, и подтверждаетъ свои соображенія цитатами изъ сочиненій психіатровъ и невропатологовъ. Всѣ эти символисты, декаденты и прочія примыкающія къ

Digitized by Google

нимъ группы, по мнѣнію Нордау, выродки, оскудѣлые, слабоумные, психопаты, вообще люди завѣдомо больные душевно.

Относительно нѣкоторыхъ изъ изслѣдуемыхъ Максомъ Нордау субъектовъ читатель, вѣроятно, безъ колебаній согласится съ его мнѣніемъ. Таковъ, напримѣръ, вышеупомянутый „магъ“ Саръ Мередакъ Пеладанъ. Я, къ сожалѣнію, не успѣлъ познакомиться съ произведеніями этого страннаго человѣка и читалъ только письмо его къ Гюре, напечатанное въ „Enquête sur l'évolution littéraire“. Нордау считаетъ его человѣкомъ талантливымъ и высоконравственнымъ. „Въ его романахъ,— говоритъ онъ,—есть страницы, принадлежащія къ лучшимъ изъ современныхъ писаній. Его нравственный идеалъ великъ и благороденъ. Онъ съ пылкою ненавистью преслѣдуетъ все низкое и пошлое, всѣ виды своекорыстія, лицемѣрія, алчности, а его герои все благороднѣйшіе люди. Тѣмъ не менѣе, онъ является однимъ изъ характернѣйшихъ выродковъ“.

Въ Библіи упоминается вавилонскій царь Мередакъ Беладанъ. Читая это мѣсто, Жозефенъ Пеладанъ поражается сходствомъ своей фамиліи съ именемъ вавилонскаго царя. Къ этому прибавляется еще нѣкоторое сходство его лица съ внѣшностью ассирійскихъ царей, какими мы ихъ знаемъ по древнимъ изображеніямъ. Задумываясь надъ этими совпаденіями, онъ приходитъ къ мысли, что, можетъ быть, онъ потомокъ ассирійскихъ или вавилонскихъ царей, и въ одинъ прекрасный день прибавляетъ къ своей фамиліи титулъ „Саръ“ или, кромѣ того, и имя „Мередакъ“. Случайная ассоціація идей ведетъ Пеладана дальше. Ассирія, Вавилонъ, Халдея... маги... Почему-бы Сару Мередаку Пеладану не оказаться наслѣдникомъ утраченной мудрости маговъ? Онъ предается изученію такъ называемыхъ тайныхъ наукъ. Но его влечетъ къ себѣ и все другое таинственное, мистическое. Въ качествѣ любителя музыки и поклонника Вагнера, онъ ѣдетъ въ Байрейтъ, на представленія вагнеровскихъ оперъ, проникается ихъ музыкой и сюжетами, воображаетъ себя хранителемъ чаши Грааля, затѣмъ духовнымъ преемникомъ тампліеровъ и розенкрейцеровъ. Изо-всего этого получается невозможная смѣсь. Пеладанъ носитъ какіе-то особаго покроя атласные, голубые и черные, камзолы, расчесываетъ себѣ волосы и бороду по ассирійскимъ образцамъ, выработалъ себѣ особенный почеркъ на старинный манеръ, любитъ писать красными и желтыми чернилами,

Digitized by Google

употребляетъ почтовую бумагу съ изображеніемъ ассирійской короны, пишетъ не письма, а „mandements“, то-есть приказы или посланія. Онъ изобрѣлъ себѣ гербъ: на серебряномъ съ черными полосами щитѣ золотая чаша, надъ ней красная роза съ двумя крыльями и черный крестъ. Пишетъ онъ не романы, а „этопеи“. Всѣ его сочиненія снабжены множествомъ предисловій и символическихъ виньетокъ. Такъ, напримѣръ, книга „Comment on devient Mage“ имѣетъ на оберткѣ рисунки ассирійскихъ божествъ, розъ, крестовъ. Затѣмъ слѣдуетъ посвященіе „Графу Антону Ларошфуко, великому пріору Храма, архонту ордена розенкрейцеровъ“. Затѣмъ латинская „молитва святому Ѳомѣ Аквинскому, могущая охранить читателя отъ возможныхъ заблужденій этой книги“. Далѣе нѣчто вродѣ исповѣданія католической вѣры, „обращеніе къ предкамъ“, бесѣда съ „современнымъ молодымъ человѣкомъ“, и уже только послѣ всего этого начинается самое сочиненіе. Но и тутъ передъ каждою главой стоитъ длинный рядъ мистическихъ формулъ, совершенно непонятныхъ для непосвященныхъ, а можетъ быть и для посвященныхъ, и для самого автора. Романовъ или „этопей“ Пеладанъ выпустилъ до сихъ поръ девять, но ихъ будетъ четырнадцать, расположенныхъ въ двѣ группы, по семи (мистическое число) въ каждой. Пеладанъ изобрѣлъ особую „schéma de Concordance“, въ которой излагается краткое содержаніе и руководящія идеи каждаго романа. Вотъ, для образца, схема первой „этопеи“: „Глубочайшій порокъ. Нравственный и духовный діатезъ латинскаго упадка. Меродакъ, вершина сознательной воли, типъ безусловной сущности. Альта, прототипъ монаха въ общеніи съ міромъ“ и т. д. Кончается эта схема замѣчаніемъ: „Въ каждомъ романѣ есть свой Меродакъ, то-есть абстрактный ороическій принципъ въ виду идеальной загадки“. По словамъ Нордау, всѣ романы Пеладана вращаются въ трехъ группахъ представленій: высшая духовная цѣль человѣка состоитъ въ слушаніи и усвоеніи музыки Вагнера; высшее развитіе нравственности состоитъ въ уничтоженіи половыхъ влеченій и въ самопроизвольномъ превращеніи въ двуполое существо („андрогинъ“ и „гинандеръ“); высшій человѣкъ можетъ по желанію удаляться изъ своего тѣла и вновь входить въ него, носиться, въ качествѣ „астральнаго существа“, въ пространствѣ и подчинять себѣ весь сверхъестественный міръ духовъ, злыхъ и добрыхъ.

Digitized by Google

Ненормальное состояніе умственныхъ способностей Сара Мередака Пеладана очевидно безъ всякихъ комментаріевъ. Но мы остановимся на нѣкоторыхъ психологическихъ чертахъ Сара, присущихъ и другимъ, какъ болѣе, такъ и менѣе яркимъ продуктамъ „вырожденія". Мы видимъ, во-первыхъ, крайнюю возбудимость Пеладана. Несмотря на талантливость (она остается, конечно, на отвѣтственности Макса Нордау) и благородный образъ мыслей, духъ Пеладана до такой степени расшатанъ, что простого созвучія „Пеладанъ—Беладанъ" достаточно для возбужденія цѣлаго вихря чувствъ и мыслей совершенно фантастическаго характера. Любопытенъ затѣмъ и самый ходъ мыслей. Это нѣчто вродѣ игры въ домино: если на кону стоитъ, положимъ, кость съ шестью и двумя очками, то изъ кучки костей играющій вынимаетъ одну за другою, пока случайно не подвернется кость съ шестью или двумя очками; она приставляется къ соотвѣтственной сторонѣ кости, стоящей на кону, то-есть шесть къ шести, два къ двумъ; потомъ опять вынимаются кости до новаго случайнаго совпаденія и т. д. Иной связи, кромѣ однозначности числа очковъ, между костями домино нѣтъ. Такъ и у оскудѣлыхъ или выродившихся. Докторъ Балле приводитъ слѣдующій примѣръ разговора одного душевно-больного: „il y a mille ans que le monde est monde. Milan, la cathédrale de Milan". У больного была какая-то неясная мысль, когда онъ началъ рѣчь о тысячелѣтнемъ существованіи міра, но слова „тысяча лѣтъ", mille ans, чисто-механически, безъ всякой логической связи, вызываютъ въ немъ по созвучію представленіе о Миланѣ и миланскомъ соборѣ. Нормальному человѣку mille ans тоже можетъ напомнить Миланъ, хотя-бы для риѳмы, но изъ множества представленій и мыслей, которыя могутъ возбудиться при словѣ „тысячелѣтіе", нормальный человѣкъ выберетъ подходящія къ данной темѣ и силою вниманія и воли подавитъ остальныя, въ томъ числѣ и Миланъ. Больной доктора Балле слишкомъ ослабленъ въ своемъ вниманіи и волѣ, чтобы сопротивляться случайной ассоціаціи идей, руководимой простымъ созвучіемъ. Въ Пеладанѣ мы имѣемъ начало этого процесса. Мысли его цѣпляются другъ за друга не логически, а по линіи наименьшаго сопротивленія, какое онъ можетъ оказывать ихъ наплыву, и оттого въ его писаніяхъ получаются такія комбинаціи словъ, которыя совершенно непонятны для посторонняго человѣка. Онѣ

Digitized by Google

ему и самому неясны, но онъ не до такой степени разстроенная машина, какъ больной, вполнѣ безсмысленно повторяющій „cathédrale de Milan“ вслѣдъ за „mille ans“. Онъ, все-таки, разбирается въ волнѣ представленій и понятій, возникающихъ въ его умѣ, но, не имѣя возможности установить логическую связь между ними, склоненъ видѣть въ словахъ, ихъ выражающихъ, таинственный мистическій смыслъ. Обыкновенный опытно-наблюдательный путь пріобрѣтенія знанія и обыкновенный логическій путь мышленія онъ презираетъ, какъ нѣчто низменное и всѣмъ доступное. Онъ—„магъ“, онъ владѣетъ тайнымъ знаніемъ, столь тайнымъ, и глубокимъ, что въ него нечего и думать проникнуть простому смертному. Въ письмѣ къ Гюре, Пеладанъ выражаетъ недовольство другимъ магомъ, Папю, который, повидимому, любитъ дѣлать публичныя сообщенія о магизмѣ. „Папю изводитъ магизмъ, демократизуя его,—пишетъ Пеладанъ,—нельзя опрощать (vulgariser) тайну, не впадая въ богохульство“. Тайна священна и неприкосновенна для Пеладана,—не та или другая опредѣленная тайна, а самый принципъ тайны. Отсюда его пристрастіе къ символамъ, словеснымъ и живописнымъ. Символъ не изображаетъ данный предметъ или идею, а даетъ лишь болѣе или менѣе загадочный намекъ на нихъ. Въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“ Тургенева поминается старинная книга какого-то Максимовича-Амбодика „Символы и эмблемы“, въ которой собрано около тысячи загадочныхъ рисунковъ съ столь-же загадочными толкованіями на пяти языкахъ. Напримѣръ, рисунокъ изображаетъ „шафранъ и радугу“, а толкованіе гласитъ: „дѣйствіе сего есть большее“; подъ рисункомъ, на которомъ изображена „цапля, летящая съ фіалковымъ цвѣткомъ во рту“, стоитъ надпись: „тебѣ всѣ они извѣстны“; „купидонъ и медвѣдь, лижущій своего медвѣженка“ означаетъ: „мало-по-малу“. И т. д. Такимъ образомъ Максимовичъ-Амбодикъ прямо даетъ толкованіе своимъ символамъ, но посредствующія логическія звенья между символомъ и толкованіемъ, между, напримѣръ, шафраномъ, радугой и мыслью: „дѣйствіе сего есть большее“ составляютъ тайну не только для насъ, а, можетъ быть, и для самого Максимовича-Амбодика. Пеладанъ, конечно, и не подозрѣваетъ, что его мистическое тяготѣніе къ тайнѣ и символу зависитъ отъ неясности его собственной мысли, отъ его неумѣнья разбираться въ своихъ впечатлѣніяхъ, представленіяхъ и понятіяхъ. Отсюда возникаетъ крайне двусмыс-

Digitized by Google

ленное положеніе. Пеладанъ—„магъ“, „Саръ“, онъ владѣетъ тайной. Съ другой стороны, однако, тайна должна остаться тайной, ее нельзя „опрощать“, „демократизировать“. Поэтому, несмотря на все могущество „магизма“, Пеладанъ говоритъ: „Я вѣрю въ неизбѣжное гніеніе латинскаго міра безъ Бога и символа... я думаю, что паденіе Франціи есть вопросъ нѣсколькихъ лѣтъ“. При всемъ благородствѣ своего личнаго характера, Пеладанъ этого конца предотвращать не хочетъ,—онъ презираетъ толпу и предоставляетъ ее ея собственной участи, хотя, въ то же время, пишетъ книгу, поучаетъ. Сумбуръ увеличивается еще тѣмъ обстоятельствомъ, что требуя отъ искусства религіозной окраски, Пеладанъ, для латинскаго міра вообще, для Франціи въ частности, указы-ваетъ на католицизмъ, какъ на единственный якорь спасенія: „Высшія произведенія каждой расы суть ея религіозныя книги: достаточно вспомнить Библію, Веды, Тору, Каббалу, — для латинской расы все хаосъ внѣ католицизма“. А, между тѣмъ, самъ онъ „Саръ“, „магъ“, то-есть нѣчто, во всякомъ случаѣ, не католическое.

Не стоило бы и заниматься такимъ завѣдомо больнымъ экземпляромъ, какъ Саръ Мередакъ Пеладанъ, если бы онъ былъ только экземпляромъ. Но, не говоря о томъ, что во Франціи существуютъ и другіе „маги“ (нѣкоторые утверждаютъ, къ большому, впрочемъ, негодованію Пеладана, что ихъ въ одномъ Парижѣ десять тысячъ) и что у самого Пеладана есть послѣдователи, которыхъ онъ облекаетъ въ званія „великихъ пріоровъ“, „архонтовъ“, „эстетовъ“, „постулянтовъ“ и „грамматиковъ“,—не говоря объ этомъ, нѣкоторыя черты духовной физіономіи Пеладана мы встрѣчаемъ и у другихъ „декадентовъ“ и „символистовъ“.

Манія величія, одолѣвающая бѣднаго Сара, несомнѣнна и у Сенъ-Поль-Ру-Великолѣпнаго, и у основателя школы „инструментистовъ“ Гиля. У Малларме, Мореаса, Мориса и другихъ едва ли можно усмотрѣть эту опредѣленную форму душевнаго разстройства. Это, повидимому, просто честолюбцы, претендующіе на первыя роли и болѣе или менѣе искусно эксплоатирующіе съ этою цѣлью всякія подходящія и неподходящія обстоятельства. Но нельзя, все-таки, не отмѣтить нѣкоторыя черты, связывающія завѣдомо больныхъ „маговъ“, „маньификовъ“, „инструментистовъ“ съ такими декадентами и символистами, которыхъ не

Digitized by Google

такъ-то легко отдать цѣликомъ въ вѣдѣніе психіатріи, какъ это кажется Марксу Нордау.

Кличка декадентовъ имѣетъ право на болѣе глубокій смыслъ, чѣмъ простая насмѣшка. Поль Верленъ выразился на этотъ счетъ, въ разговорѣ съ Гюре, очень поэтически. Онъ сказалъ: „Намъ бросили этотъ эпитетъ, какъ оскорбленіе, я его принялъ и сдѣлалъ изъ него военный кликъ, но, сколько я знаю, онъ не означаетъ ничего спеціальнаго. Декадентъ! Да развѣ сумерки прекраснаго дня не стоятъ любой утренней зари? И потомъ, если солнце заходитъ, такъ развѣ оно не взойдетъ завтра утромъ опять?“ Верленъ—совсѣмъ особая статья. Онъ имѣлъ мужество открыто принять кличку декадента, не придавая ей какого-нибудь спеціальнаго значенія, и презрительно обзываетъ, какъ мы видѣли, символистовъ „цимбалистами“. Если мы обратимся къ другимъ, то увидимъ, что умами, по крайней мѣрѣ, многихъ изъ нихъ такъ или иначе владѣетъ идея упадка, близко грядущаго конца чего-то, пожалуй, вырожденія и, во всякомъ случаѣ, какой-то décadence. Мы видѣли, какъ это выходитъ во взбаломученной головѣ Пеладана. Сенъ-Поль-Ру-Великолѣпный, Гиль и, вѣроятно, еще многіе другіе не сомнѣваются, конечно, въ близкомъ паденіи всего того что жило раньше провозглашенія маньифицизма и инструментизма. Посмотримъ теперь на Малларме.

Я уже упоминалъ о послѣдней (1891 г.) его книгѣ „Pages“. Это—великолѣпно изданный сборникъ не то стихотвореній въ прозѣ, не то просто отрывковъ изъ записной книжки. Написана книга тѣмъ невозможнымъ, выкрученнымъ, вымученнымъ языкомъ, котораго не понимаютъ мастера французскаго слова, не говоря уже о насъ грѣшныхъ. Книга начинается рисункомъ, изображающимъ совершенно голую женщину, которая стоитъ на какомъ-то недорисованномъ шарѣ,—должно быть, земномъ. Первая статья, озаглавленная „Будущій феноменъ“, является объясненіемъ къ этой картинкѣ. Неизвѣстно, гдѣ и когда „кончается отъ дряхлости міръ“; небо блѣдное, деревья скучаютъ, листва на нихъ сѣрая, „больше отъ пыли временъ, чѣмъ отъ дорожной пыли“. Является какой-то „Показыватель прошедшихъ вещей“, около него—„несчастная, побѣжденная безсмертною болѣзнью и вѣковымъ грѣхомъ толпа мужчинъ и ихъ ничтожныхъ соучастницъ, беременныхъ ничтожными плодами, вмѣстѣ съ которыми погибнетъ земля“ (я перевожу съ величайшею точностью). Показы-

Digitized by Google

ватель прошедшихъ вещей говоритъ толпѣ: „Надъ моимъ помѣщеніемъ нѣтъ никакой вывѣски, потому что теперь нѣтъ живописца, способнаго изобразить хотя бы слабое подобіе того, что хранится въ этомъ помѣщеніи. Я покажу вамъ женщину старыхъ временъ, живьемъ сохраненную при помощи науки. Какое-то оригинальное и наивное безуміе, золотой экстазъ, я не знаю что!—который она называетъ своими волосами, граціозно ложится вокругъ лица, освѣщаемаго кровавою обнаженностью ея губъ. Вмѣсто ничтожной одежды, у нея—тѣло; ея глаза подобны рѣдкимъ камнямъ и, все-таки, не стоятъ того взгляда, который исходитъ изъ ея счастливаго тѣла: отъ грудей, какъ бы твердыхъ вѣчнымъ молокомъ и обращенныхъ сосками къ небу, до гладкихъ ногъ“. Такъ говоритъ показыватель прошедшихъ вещей, „и мужчины, вспоминая своихъ бѣдныхъ, плѣшивыхъ, болѣзненныхъ и исполненныхъ ужаса женъ, тѣснятся, да и онѣ, меланхолически настроенныя, хотятъ изъ любопытства видѣть. Когда всѣ насмотрятся на благородное созданіе, оставшееся отъ былой, уже проклятой эпохи,—одни—равнодушные, потому что у нихъ не будетъ силы понять, другіе—растроганные и съ мокрыми отъ слезъ покорности глазами,—посмотрятъ другъ на друга. А поэты тѣхъ временъ, чувствуя, какъ загораются ихъ поблекшіе глаза, отправятся къ своей лампѣ, съ головой, опьяненной на мгновеніе смутною славой; ихъ посѣтитъ риѳма и забвеніе о своемъ существованіи, которое въ такую эпоху пережило красоту“.

Когда цитируешь, а тѣмъ болѣе, когда переводишь произведенія декадентовъ и символистовъ, поневолѣ постоянно оглядываешься и провѣряешь себя: такъ ли оно написано, дѣйствительно ли волосы названы „какимъ-то оригинальнымъ и наивнымъ безуміемъ и золотымъ экстазомъ“, дѣйствительно ли у „будущаго феномена“ „взглядъ исходитъ изъ счастливаго тѣла“, „вмѣсто одежды тѣло“ и груди „какъ-бы твердыя вѣчнымъ молокомъ“? Дѣйствительно, все такъ и есть. Конечно, все это можно бы было перевести болѣе человѣческимъ языкомъ, но надо же было сохранить хоть подобіе тѣхъ особенностей стиля, которыми такъ заняты и такъ гордятся символисты. Кромѣ этихъ вычурностей языка, въ приведенномъ отрывкѣ характерно еще то обстоятельство, что вся красота сосредоточивается въ женскомъ тѣлѣ. Но объ этомъ потомъ. Теперь я обращаю вниманіе читателя на идею упадка, составляющую основу приведенныхъ

Digitized by Google

строкъ. Та же идея, но только еще явственнѣе, потому что субъективнѣе, сказывается во второй статьѣ книги „Pages“. Она называется „Осенняя жалоба“: „Съ тѣхъ поръ, какъ Марія покинула меня, чтобы удалиться на другую звѣзду, — на какую? Оріонъ? Алтаиръ? или на тебя, зеленая Венера? — я всегда любилъ уединеніе. Сколько длинныхъ дней я провелъ одинъ съ своею кошкой. *Одинъ*, то-есть безъ матеріальнаго существа, а моя кошка есть мистическій товарищъ, духъ. Я могу поэтому сказать, что проводилъ длинные дни съ моею кошкой и въ одиночествѣ, съ однимъ изъ писателей временъ паденія Рима; потому что съ тѣхъ поръ, какъ бѣлаго созданія больше нѣтъ, я страннымъ образомъ полюбилъ все, что рѣзюмируется въ словѣ: паденіе. Изъ временъ года я больше всего люблю послѣдніе, истомленные лѣтніе дни, непосредственно предшествующіе осени; изъ часовъ дня — тѣ, когда солнце отдыхаетъ передъ самымъ исчезновеніемъ... Точно также и въ литературѣ: я ищу грустнаго наслажденія въ умирающей поэзіи послѣднихъ минутъ Рима, поскольку, однако, онъ не зараженъ молодящимъ вѣяніемъ варваровъ и не бормочетъ дѣтской латыни первыхъ христіанскихъ прозаиковъ“.

Принимая въ соображеніе, что Малларме есть одинъ изъ признанныхъ главарей символизма, что къ нему идутъ на судъ, жаждутъ его совѣтовъ, ждутъ отъ него великаго, „неслыханнаго“ произведенія, надо думать, что мнѣнія и настроенія его раздѣляются многими декадентами и символистами. Но почему же въ такомъ случаѣ эти люди называютъ себя „молодыми“ — „les jeunes“? О почтенномъ возрастѣ нѣкоторыхъ изъ нихъ, въ томъ числѣ и Малларме, мы уже говорили. Что же касается молодости души, то ее довольно трудно усмотрѣть въ этомъ старчески безсильномъ отношеніи къ грядущему вырожденію человѣческой расы и къ мрачному обрыву тысячелѣтней работы человѣчества. Молодость сильна, а всякая сила стремится обнаружиться въ дѣйствіи, — въ содѣйствіи добру и противодѣйствіи злу, — хотя каждый можетъ по-своему понимать добро и зло и по-своему служить одному и бороться съ другимъ. Сила бездѣйствовать не можетъ, и въ этомъ именно состоитъ трагическое положеніе сокола, у котораго крылья связаны и которому всѣ пути заказаны. Положеніе Малларме совсѣмъ иное. Онъ, какъ рыба въ водѣ, плаваетъ въ своихъ двусмысленныхъ отношеніяхъ къ грядущему

Digitized by Google

паденію человѣчества. Съ одной стороны, онъ какъ будто и скорбитъ, и гнѣвается по этому поводу; собственно потому скорбитъ и гнѣвается, что тамъ, въ отдаленіи времени, пострадаетъ красота женскаго тѣла. Съ другой стороны, ему любъ и дорогъ упадокъ вообще, онъ и литературу предпочитаетъ временъ упадка, если не міра, такъ хоть древняго Рима, и Боже сохрани, какъ-бы тутъ не замѣшалось какое-нибудь „молодящее" вліяніе. Получается нѣкоторое „ни тпру, ни ну", очень сходное съ положеніемъ несчастнаго Сара Пеладана: какъ и тотъ, Малларме предвидитъ и предрекаетъ паденіе, вырожденіе, но не хочетъ или не можетъ ему противодѣйствовать, хотя и владѣетъ какимъ-то магическимъ „новымъ словомъ". Конечно, мотивы Сара и Малларме не совсѣмъ одинаковы, но и въ нихъ есть, все-таки, нѣчто общее. Дѣло въ томъ, что Малларме не менѣе, можетъ быть, Сара тяготѣетъ къ тайнѣ и символу, хотя и по другимъ соображеніямъ. Въ разговорѣ съ Гюре онъ, между прочимъ, замѣтилъ: „*Назвать* предметъ значитъ уничтожить три четверти наслажденія, даваемаго постепеннымъ отгадываніемъ; надо *наводить* на него, *внушать* его. Символъ и состоитъ въ такомъ употребленіи тайны. Въ поэзіи всегда должна быть загадка". Въ этихъ словахъ заключается единственная серьезная сторона символизма. Но дѣло въ томъ, что у Малларме она осложняется еще тою тайной, въ которую облекается его собственная работа. Почтительные ученики и послѣдователи говорятъ о какомъ-то великомъ произведеніи, тайно творимомъ Стефаномъ Малларме, которое, можетъ быть, навсегда останется тайной для всѣхъ, потому что не созрѣли времена, пригодныя для воспріятія этой великой тайны. И Малларме поддерживаетъ учениковъ и послѣдователей въ этой вѣрѣ, подобно Сару Пеладану, хотя можно навѣрное сказать, что онъ, подобно опять-таки Сару, никакой великой тайны въ себѣ не хранитъ. Это не мѣшаетъ ему, конечно, съ глубокимъ презрѣніемъ относиться къ толпѣ, неспособной понять неизвѣстную ему самому тайну...

Въ числѣ обрывковъ и набросковъ, составляющихъ книгу Малларме, есть одинъ, поставившій меня въ тупикъ помимо манернаго, вычурнаго, вымученнаго стиля, помимо всѣхъ выкрутасовъ словосочиненія и синтаксиса. Это именно набросокъ, оза-

Digitized by Google

главленный „L'Ecclésiastique". Я не вѣрилъ своимъ глазамъ и обращался за помощью къ нѣсколькимъ лицамъ, хорошо знающимъ французскій языкъ. Авторъ разсказываетъ, какъ однажды весной онъ засталъ въ Булонскомъ лѣсу какого-то семинариста за противоестественнымъ уединеннымъ занятіемъ. На родинѣ Вольтера этотъ сюжетъ, несмотря на всю свою рискованность, не представлялъ бы ничего особенно удивительнаго, въ видѣ злобной насмѣшки надъ безбрачіемъ католическаго духовенства. Но Малларме поэтически обставляетъ его разными „весенними чувствами", хорошенькимъ пейзажемъ и т. д.

Мы уже видѣли, что отдаленное потомство получитъ въ наслѣдство отъ лучшихъ временъ только одно—голую женщину. Въ ней сосредоточится весь идеалъ, вся красота прошедшаго и весь укоръ настоящему. Французская литература, какъ и живопись, давно уже отдалась этому культу женскаго тѣла. Но теперь мы часто имѣемъ дѣло уже не съ женскимъ тѣломъ, а съ разнообразными формами половой психопатіи. Что касается собственно женскаго тѣла, то любопытно отмѣтить у многихъ нынѣшнихъ французскихъ поэтовъ частое употребленіе слова „chair" въ тѣхъ случаяхъ, когда старый поэтъ сказалъ бы „corps". Слова эти, пожалуй, однозначущи, но chair гораздо грубѣе, оно собственно значитъ „мясо"; оно соотвѣтствуетъ не столько зрительному впечатлѣнію формы, сколько впечатлѣніямъ осязательнымъ и обонятельнымъ. Обстоятельство это, какъ увидимъ, очень характерно для символизма. Далѣе, несмотря на всѣ толки о символахъ и тайнахъ, символисты очень любятъ изображать женское тѣло во всѣхъ подробностяхъ, то-есть отнюдь не символически. Въ этой области они не довольствуются намеками и загадками и охотно лишаютъ читателя тѣхъ трехъ четвертей удовольствія отгадыванія, о которыхъ теоретически такъ хлопочетъ Малларме. А затѣмъ мы имѣемъ, наконецъ, и поэтическія изображенія противоестественныхъ пороковъ. Сюда относится и „L'Ecclésiastique" Малларме, и еще многое другое. Но самое любопытное въ этомъ отношеніи явленіе представляетъ собою поэзія Поля Верлена. Это—не Малларме или Мореасу чета. Это человѣкъ несомнѣнно искренній и талантливый, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, совершенно изуродованный жизнью. Зачисляя его въ продукты вырожденія, Марсъ Нордау видитъ слѣды этого вырожденія въ самой формѣ его стихотвореній. Это несправедливо. Форма стиховъ Верлена

Digitized by Google

почти всегда безупречна, но этой стороны дѣла мы касаться не будемъ, а ограничимся только содержаніемъ его поэзіи и нѣкоторыми біографическими свѣдѣніями.

Вотъ какъ рисуетъ Гюре наружность Верлена: „Голова состарѣвшагося злого ангела, съ нечесанною, рѣдкою бородой и грубымъ носомъ; густыя щетинистыя брови, точно пучки колосьевъ прикрывающія глубокіе зеленые глаза; огромный продолговатый черепъ, совершенно голый и отмѣченный загадочными шишками, отражаютъ въ этой физіономіи странное противорѣчіе упрямаго аскетизма и циклопическихъ аппетитовъ. Его біографія есть длинная скорбная драма; его жизнь есть неслыханная смѣсь остраго скептицизма и плотскихъ грѣховъ, завершающихся то садизмомъ, то угрызеніями совѣсти и покаяніемъ, то глубокимъ паденіемъ въ искусственномъ забвеніи“. Кое-кому изъ читателей не лишне, можетъ быть, пояснить, что такое „садизмъ“,—слово, нынѣ часто попадающееся во французской литературѣ. Оно происходитъ отъ имени маркиза де-Сада, писателя прошлаго столѣтія, прославившагося своими болѣзненно-грязными произведеніями и болѣзненно-грязною жизнью. За эти свои произведенія и за эту свою жизнь онъ былъ выгнанъ изъ военной службы, былъ приговоренъ къ смертной казни, не разъ сидѣлъ въ тюрьмѣ и въ домѣ умалишенныхъ. Формы его противоестественныхъ грѣховъ очень разнообразны, вплоть до отвратительнѣйшихъ сочетаній сладострастія съ убійствомъ. Надо замѣтить, что надъ новою французскою литературой носится образъ не только маркиза де-Сада, а и знаменитаго Жиля де-Ретца, маршала Франціи и соратника Орлеанской дѣвы, далеко превзошедшаго де-Сада грязью и жестокостью своихъ мерзостей, да еще вдобавокъ демономана. Герой удивительнаго произведенія Гюисманса „Là-Bas“ (1891 г.) пишетъ исторію Жиля де-Ретца и, въ то же время, переживаетъ рядъ приключеній демонически-сладострастнаго характера. Если вѣрить роману Гюисманса, то во Франціи и сейчасъ есть своего рода Жили де-Ретцы, демонолатры, совершающіе, между прочимъ, и „черную мессу“, эту грязную и отвратительную пародію на католическое богослуженіе, есть и инкубы, и суккубы, и вся средневѣковая чертовщина мистическаго сладострастія. Героя „Là-Bas“ очень занимаютъ какъ бы провиденціальность единовременнаго существованія Жиля де-Ретца и Іоанны д'Аркъ и тѣ взрывы покаяннаго обращенія къ Богу, ко-

Digitized by Google

торымъ отдавался иногда чудовищный Ретцъ. Любопытно, что, по описанію Гюре, въ квартирѣ самого Гюисманса, переполненной разными рѣдкостями, древностями и произведеніями искусства, есть, между прочимъ, и частица мощей какого-то католическаго святого, и такая, изображающая голыхъ женщинъ, картина, которую хозяинъ долженъ держать въ задней комнатѣ...

Этимъ же духомъ перемежающагося горячаго благочестія и самаго крайняго разврата характеризуется поэзія Верлена и вся его жизнь. Какіе именно изъ разнообразныхъ грѣховъ маркиза де-Сада разумѣетъ Гюре подъ словомъ „садизмъ" въ примѣненіи къ Полю Верлену, неизвѣстно. Извѣстно, однако, что Верленъ высидѣлъ въ тюрьмѣ два года за какое-то преступленіе противъ нравственности. Въ стихотвореніи „Ecrit en 1875" онъ съ благодарностью вспоминаетъ о тюрьмѣ съ ея одиночествомъ и тишиною, гдѣ онъ научился молиться и вѣрить въ Бога. Въ стихотвореніи „Un conte", посвященномъ Гюисмансу, Верленъ поетъ хвалу Богородицѣ. Онъ кается въ разнообразныхъ грѣхахъ, разсказываетъ, какой онъ былъ страшный грѣшникъ, развратникъ, пьяница и, притомъ, атеистъ. И все это кончено. Онъ теперь не хочетъ ничего знать, кромѣ „обожанія мистической мудрости, любви къ сердцу Іисуса въ глубокомъ экстазѣ и мысли о Дѣвѣ Маріи". Въ этомъ стихотвореніи Верленъ называетъ себя, между прочимъ, „истинно, но низко искреннимъ" (vraiment mais vilement sincère). Это не только красиво (по-французски, конечно) сказано, но очень вѣрно. Верленъ, дѣйствительно, искренній поэтъ, не мудрствующій лукаво о новыхъ словахъ, не вымучивающій особенности своей литературной физіономіи, а предъявляющій ее во всякую данную минуту такою, какова она на самомъ дѣлѣ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, не найдется, кажется, въ сферѣ половой жизни такой извращенности, которую онъ не рѣшился бы воспѣть рядомъ съ горячею исповѣдью убѣжденнаго католика и благочестиво покаянными воплями. Есть сборникъ его стихотвореній, озаглавленный „Parallélement". Сюда вошли стихи, написанные въ тюрьмѣ и по выходѣ изъ нея. Кромѣ откровеннаго изображенія частей женскаго тѣла, здѣсь можно встрѣтить такія сравненія, заимствованныя изъ сферы половой жизни, которыя я не рѣшусь передать,—не потому, чтобы нельзя было найти подходящія благопристойныя слова для такой передачи, а потому, что самая суть этихъ картинъ и образовъ отвратительно

Digitized by Google

грязна, — грязна и въ переносномъ, и даже въ буквальномъ смыслѣ этого слова. Затѣмъ въ томъ же сборникѣ есть стихотворенія, цѣликомъ посвященныя поэтической идеализаціи противоестественныхъ пороковъ Содома и Лесбоса.

Въ дополненіе къ характеристикѣ Поля Верлена, къ которому, впрочемъ, намъ еще придется вернуться въ слѣдующій разъ, слѣдуетъ обратить вниманіе на его стихотворное обращеніе къ загробной тѣни Людовика II баварскаго. Несчастный умалишенный король представляется Верлену героемъ, который своею трагическою смертью посрамилъ политику и науку, а наука, дескать, есть „убійца молитвы и пѣсни, и искусства“.

Ясно, что Верленъ, дѣйствительно, имѣетъ печальное право фигурировать въ книгѣ Нордау. Но Верленъ фигура слишкомъ оригинальная; притомъ же, онъ, какъ мы видѣли, во имя здраваго смысла и настоящей поэзіи, протестуетъ противъ „цимбалистовъ“ и презираетъ ихъ. Пусть же его жизнь и поэзія остаются для насъ пока, рядомъ съ Саромъ Пеладаномъ, Малларме и другими, только матеріаломъ. И прежде, чѣмъ подойти къ какимъ-нибудь общимъ заключеніямъ, обратимся еще къ одному прославленному поэту новыхъ временъ и новыхъ вѣяній, — къ Метерлинку. Мы уже имѣли образчикъ его поэзіи. Приведемъ еще одинъ,—стихотвореніе „Душа“.

„Моя душа! О, моя душа, поистинѣ слишкомъ укрытая! И эти стада желаній въ теплицѣ! Въ ожиданіи бури въ лугахъ! Пойдемте къ самымъ больнымъ: у нихъ странныя испаренія. Среди нихъ я прохожу по полю битвы съ моею матерью. Хоронятъ брата по оружію въ полдень, въ то время, какъ стражи обѣдаютъ. Пойдемте также къ самымъ слабымъ: у нихъ страшный потъ (sueur); вотъ больная новобрачная, измѣна въ воскресенье и маленькія дѣти въ тюрьмѣ (и дальше, сквозь паръ), это умирающая у дверей кухни? Или сестра чиститъ овощи у постели неизлѣчимо больного? Пойдемте, наконецъ, къ самымъ печальнымъ (послѣ всѣхъ, потому что у нихъ есть яды). О, мои губы принимаютъ поцѣлуи раненаго! Всѣ владѣлицы умерли съ голоду, этимъ лѣтомъ, въ башняхъ моей души! Вотъ утро входитъ въ праздникъ! Я замѣчаю овецъ на набережныхъ и есть парусъ на окнахъ больницы! Длиненъ путь отъ моего сердца къ моей душѣ! И всѣ стражи умерли на своемъ посту! Былъ нѣкогда бѣдный маленькій праздникъ въ предмѣстьяхъ моей души! Тамъ косили

Digitized by Google

ядовитую траву въ воскресенье утромъ, и всѣ монастырскія дѣвы смотрѣли, какъ плывутъ корабли по каналу въ постный солнечный день. Между тѣмъ какъ лебеди страдали подъ ядовитымъ мостомъ; подчищали деревья вокругъ тюрьмы, приносили лѣкарства въ іюнѣ, послѣ полудня, и пиршества больныхъ распространялись на весь горизонтъ! Моя душа! И печаль всего этого, моя душа! И печаль всего этого!"

Въ видахъ экономіи мѣста, я привелъ это стихотвореніе, какъ прозу, но это стихи. Странные, конечно, стихи, какъ можетъ судить читатель по слѣдующимъ пяти строчкамъ оригинала:

Il y a eu un jour une pauvre petite fête dans les faubourgs de mon âme!
On y fauchait la ciguë un dimanche matin;
Et toutes les vierges du couvent regardaient passer les vaisseaux sur le canal, un jour de jeûne et de soleil.
Tandis que les cygnes souffraient sous un pont vénéneux;
On émondait les arbres autour de la prison.

Такіе стихи разрѣшаются законами или беззаконіемъ новыхъ вѣяній въ поэзіи; и не только разрѣшаются, а поощряются, какъ новое слово. Нордау замѣчаетъ, что нѣтъ ничего легче, какъ писать подобные стихи. Напримѣръ, говоритъ онъ: „О, цвѣты! И такъ тяжело стонать подъ бременемъ старыхъ даней! Песочные часы, на которые лаетъ въ маѣ собака, и странный конвертъ негра, который не спалъ. И бабушка ѣла апельсины и не могла писать! Матросы на воздушномъ шарѣ. На мосту этотъ крокодилъ и сторожъ съ распухшей щекой, молча, киваетъ! О, два солдата въ коровьемъ хлѣву и бритва зазубрена! Но главный выигрышъ не имъ достался! И на лампѣ чернильныя пятна!" Впрочемъ, заключаетъ Нордау, стихи Метерлинка сами до такой степени похожи на пародію, что не стоитъ ихъ пародировать; надо просто пожалѣть „этого бѣднаго идіота".

Не всѣ, однако, стихотворенія Метерлинка такъ нескладны по формѣ. Есть между ними и такія, которыя подчинены обыкновеннымъ условіямъ ритма и риѳмы или, по крайней мѣрѣ, одному изъ нихъ. Но и между этими обыкновенными, съ точки зрѣнія музыки стиха, произведеніями не мало странныхъ какъ по формѣ, такъ и по содержанію. Вотъ, напримѣръ, стихотвореніе „Скука": „Беззаботные павлины, бѣлые павлины улетѣли, бѣлые павлины улетѣли отъ скуки пробужденія; я вижу бѣлыхъ

Digitized by Google

павлиновъ, сегодняшнихъ павлиновъ, павлиновъ, улетѣвшихъ во время сна, беззаботныхъ павлиновъ, сегодняшнихъ павлиновъ, безпечно долетѣвшихъ до пруда безъ солнца, я слышу бѣлыхъ павлиновъ, павлиновъ скуки, безпечно ожидающихъ временъ безъ солнца". Во французскомъ оригиналѣ это стихотвореніе, оставаясь столь же загадочнымъ по смыслу, получаетъ, благодаря обилію носовыхъ звуковъ еще болѣе скудно-монотонный характеръ. Нордау видитъ здѣсь настоящую „эхолалію", при которой больной безсмысленно повторяетъ сходно-звучащія слова, пока не устанетъ или пока вновь случайно услышанное слово не наведетъ его на другой рядъ столь же лишенныхъ смысла повтореній.

Далѣе, Нордау отмѣчаетъ узкость кругозора, изъ котораго Метерлинкъ заимствуетъ свои картины и образы. „Странный", „старый", „далекій",—это его любимыя прилагательныя, и общаго между ними то, что они крайне неопредѣленны. Затѣмъ у Метерлинка съ болѣзненною настойчивостью, внѣ всякой логической нити, повторяются нѣкоторые образы: „каналы", „корабли", „больницы", „стада", „овцы", „принцессы" фигурируютъ постоянно. Отъ себя замѣтимъ еще одну любопытную черту стихотвореній Метерлинка: характеристику предметовъ, чувствъ и идей различными цвѣтовыми ощущеніями. У него попадаются: „бѣлая бездѣятельность" (и даже во множественномъ числѣ — blanches inactions), „лиловые сны", „голубая скука", „голубыя мечты", „голубые мечи сладострастія въ красномъ тѣлѣ гордости", „фіолетовыя змѣи мечтаній", „красные стебли ненависти среди зеленаго траура любви", „бѣлая молитва", „голубой духъ", „зеленый покой", „голубые бичи воспоминаній", „желтыя стрѣлы сожалѣній", „желтыя собаки моихъ грѣховъ" и т. п. Весь этотъ списокъ, который можно бы было еще значительно продолжить, взятъ мною изъ одного маленькаго сборника стихотвореній Метерлинка, озаглавленнаго „Serres chaudes". Эта черта свойственна не одному Метерлинку.

Кромѣ стиховъ, Метерлинкъ пишетъ еще драмы. Нѣкоторыя изъ нихъ извѣстны и у насъ: „Слѣпые" и „Принцесса Малейнъ" были, если не ошибаюсь, переведены въ субботнихъ прибавленіяхъ „Новаго Времени". Въ этихъ драмахъ бросается въ глаза блѣдность, неопредѣленность образовъ, какая-то растерянность рѣчей и поступковъ дѣйствующихъ лицъ, неопредѣленность эпохи,

Digitized by Google

къ которой относится дѣйствіе, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, отъ всего этого вѣетъ чѣмъ-то знакомымъ читателю. Это знакомое—Шекспиръ, не духъ Шекспира, а отрывки изъ его твореній, сбитые въ безпорядочныя кучи. „Принцесса Малейнъ",—говоритъ Нордау,—есть „выборка изъ драмъ Шекспира для дѣтей или жителей Огненной земли; изъ образовъ Шекспира понадѣланы роли для театра обезьянъ". И дѣлалъ это, дескать, Метерлинкъ вполнѣ безсознательно, по крайнему своему слабоумію.

Въ концѣ-концовъ, Нордау признаетъ Метерлинка однимъ изъ наиболѣе яркихъ „выродковъ" и говоритъ о немъ какъ о больномъ человѣкѣ, достойномъ лишь сожалѣнія, а отнюдь не славы поэта. Читатель, на основаніи кое-чего предъидущаго, готовъ, пожалуй, согласиться съ этимъ мнѣніемъ и, можетъ быть, уже представляетъ себѣ бельгійскаго поэта блѣднымъ, худымъ человѣкомъ, съ мрачными или дико сверкающими глазами и нечесаною бородой, съ рѣзкою, неправильною жестикуляціей или, напротивъ, сосредоточенно-неподвижнымъ, говорящимъ безумныя рѣчи.

Въ такомъ приблизительно родѣ воображалъ себѣ Метерлинка и Гюре, какъ онъ разсказываетъ самъ въ упомянутой уже „Enquête sur l'évolution littéraire. Онъ ошибался. Разыскавъ въ Гентѣ Метерлинка, онъ увидалъ молодого человѣка двадцати семи лѣтъ, довольно высокаго роста, широкоплечаго, съ правильными чертами юношески румянаго лица, свѣтлыми глазами и коротко подстриженными бѣлокурыми усами,—настоящій здоровый фламандскій типъ. Оказалось далѣе, что у этого мрачнаго поэта превосходный аппетитъ и что онъ любитъ физическія упражненія: греблю, коньки, велосипедъ. По профессіи онъ адвокатъ. „Интервью" сначала не удавалось: Метерлинкъ отдѣлывался короткими и неопредѣленными репликами. Пошли гулять, встрѣтили нѣкоего Дюкъ-Керси, зашли въ настоящій фламандскій кабачокъ выпить настоящаго фламандскаго пива, а тутъ Дюкъ-Керси съумѣлъ разговорить Метерлинка на темы, интересовавшія Гюре. Дюкъ-Керси доказывалъ, что литература не должна, подъ предлогомъ чистаго искусства, удаляться отъ своего времени, и что, въ частности, теперь она должна слиться съ соціалистическимъ движеніемъ. Метерлинкъ утверждалъ, напротивъ, что писатель, желающій создать нѣчто долговѣчное, долженъ, напротивъ, подняться надъ своимъ временемъ и отлучиться отъ текущей дѣйствительности. Рѣчь зашла о романѣ Эмиля Зола „Жерминаль", и Метерлинкъ

Digitized by Google

замѣтилъ, что когда планы соціалистовъ осуществятся, многія сцены, волнующія насъ въ этомъ романѣ теперь, потеряютъ всякій смыслъ. По его мнѣнію, художественному воспроизведенію подлежатъ перипетіи „вѣчныхъ“ чувствъ, каковы: любовь, ревность, гнѣвъ. Дюкъ-Керси возразилъ на это, что и теперь найдутся цѣлые народы, которымъ любовь Ромео или ревность Отелло совершенно чужды и непонятны. Въ концѣ-концовъ, Метерлинкъ нѣсколько смягчилъ свое мнѣніе, призналъ, что поэтъ не долженъ отлучаться отъ своего времени, вліяніе котораго онъ по необходимости на самомъ себѣ испытываетъ, но, дескать, долговѣчно, все-таки, лишь такое художественное произведеніе, которое не вдается въ подробности текущей дѣйствительности. Метерлинкъ велъ еще и другіе разговоры, не особенно мудрые, а по временамъ даже довольно запутанные, но, все-таки, это были разговоры, а не бредъ сумасшедшаго, какъ можно бы было ожидать, судя по „бѣлымъ павлинамъ“ и по „сестрѣ, которая чиститъ овощи у постели неизлѣчимо-больного“. Между прочимъ, выражая свой восторгъ передъ Шекспиромъ, Метерлинкъ сказалъ: „Когда я писалъ „Принцессу Малейнъ“, я говорилъ себѣ: постараюсь сдѣлать пьесу для театра маріонетокъ на манеръ Шекспира. Я это и сдѣлалъ. Но знаете ли вы, что эта пьеса написана вольными стихами, которые только написаны въ видѣ прозы?“ Этотъ послѣдній вопросъ очень наивенъ. Очевидно, самъ Метерлинкъ понимаетъ, что его стихи отличаются отъ прозы только въ типографскомъ смыслѣ, — по расположенію строчекъ, а то никто бы и не догадался, что это стихи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, очевидно, что Нордау ошибался, видя въ драмахъ Метерлинка безсознательное подражаніе Шекспиру и доказательство слабоумія, чуть не идіотизма. „Принцесса Малейнъ“ есть, какъ примѣрно и предполагалъ Нордау, выборка изъ драмъ Шекспира для театра маріонетокъ, но такою ее и хотѣлъ сдѣлать Метерлинкъ, таковъ былъ его обдуманный планъ. Каковъ бы ни былъ этотъ планъ и каково бы ни было его исполненіе, но уже самое его существованіе нѣсколько колеблетъ суровый діагнозъ Нордау. Да и какъ назовешь продуктомъ вырожденія этого здоровеннаго фламандца съ широкими плечами, румяными щеками, хорошимъ аппетитомъ, любящаго физическія упражненія, занимающагося адвокатурой и разговаривающаго, какъ подобаетъ хоть и не Богъ знаетъ какого ума человѣку, но, все-таки, логически мыслящему и надлежащія

Digitized by Google

слова въ надлежащихъ случаяхъ употребляющему? Припомнимъ, что говоритъ Леконтъ де-Лиль о знакомыхъ ему символистахъ: „они говорятъ очень хорошо, очень ясно, какъ французы и здравомыслящіе люди; но какъ только они возьмутся за перо,—кончено дѣло, пропалъ французскій языкъ, пропала ясность, пропалъ здравый смыслъ“. Ясно, такимъ образомъ, что Нордау ошибается, когда всѣхъ символистовъ и всю новѣйшую французскую поэзію ставитъ за одну скобку вырожденія. Онъ совершенно правъ, относительно, напримѣръ, Сара Пеладана или, съ другой стороны, Поля Верлена. Но относительно, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ мы должны предположить, что они люди умные или глупые, хорошіе или дурные, но болѣе или менѣе нормальные, во всякомъ случаѣ болѣе нормальные, чѣмъ какими они являются въ своихъ писаніяхъ.

II. *).

Русское отраженіе французскаго символизма.

Только что вышла любопытная книжка г. Мережковскаго „О причинахъ упадка и о новыхъ теченіяхъ современной русской литературы“. Собственно этому заглавію соотвѣтствуетъ только первая, меньшая половина книжки. Вторая половина состоитъ изъ статей о г. Майковѣ, о Гончаровѣ и о „Преступленіи и наказаніи“ Достоевскаго, кажется, уже раньше гдѣ-то напечатанныхъ и не имѣющихъ прямого отношенія ни къ причинамъ упадка литературы, ни къ ея новымъ теченіямъ. Возможно даже, что онѣ введены авторомъ въ составъ книжки единственно для пополненія ея до требуемаго цензурнымъ уставомъ десятилистнаго размѣра. Во всякомъ случаѣ, интересъ книжки не въ нихъ. Что-же касается ея главнаго содержанія, то оно составилось изъ публичной лекціи, читанной г. Мережковскимъ въ концѣ прошлаго года. Лекцію эту онъ черезъ нѣкоторое время повторилъ и теперь напечаталъ, съ довольно, повидимому, значительными дополненіями. Передъ нами, значитъ, произведеніе обдуманное, авторъ котораго имѣлъ достаточно даже чисто внѣшнихъ поводовъ для пересмотра и провѣрки своихъ мыслей. А

*) 1893, февраль.

Digitized by Google

вѣдь есть еще поводы внутренніе, вытекающіе изъ сознанія важности предмета, о которомъ идетъ рѣчь. И г. Мережковскій вполнѣ сознаетъ эту важность. Онъ высоко цѣнитъ роль и значеніе литературы и любитъ ее настоящею, искреннею любовью. Для него, какъ онъ обнаруживается въ своей книжкѣ, литература не ремесло и не арена праздной забавы или игры самолюбій, а великое общественное дѣло, поприще служенія высшимъ человѣческимъ идеаламъ.

Тѣмъ не менѣе, нисколько не сомнѣваясь въ искренности и добрыхъ намѣреніяхъ г. Мережковскаго, можно смѣло утверждать, что онъ не воспользовался или очень мало воспользовался представлявшимися ему поводами для пересмотра и провѣрки своихъ мыслей.

Въ книжкѣ не разъ попадаются замѣчанія такого рода: „Сущность искусства нельзя выразить никакими словами, никакими опредѣленіями“ (32). Или: „Идею символическихъ характеровъ никакими словами нельзя передать“ (43). Безъ всякаго сомнѣнія, слово, какъ и все, что находится въ распоряженіи человѣка, ограничено извѣстными условіями. Слова суть только условные знаки идей, вещей и отношеній. Но вѣдь и мысль человѣческая поставлена въ извѣстныя рамки, за предѣлы которыхъ никакимъ образомъ не можетъ выскочить, не свихнувшись, не измѣнивъ себѣ. Правда, рамки эти несравненно шире тѣхъ, въ которыя заключено слово, почему людямъ и приходится писать иногда цѣлыя страницы для выраженія одной какой-нибудь мысли. Но весьма часто бываетъ, что мысль не потому трудно облекается въ словесную форму, что нельзя найти словъ для ея выраженія, а просто потому, что она не созрѣла для словеснаго выраженія, не выяснилась. И мнѣ кажется, что мысль г. Мережковскаго очень часто находится въ такомъ положеніи.

Книжка г. Мережковскаго начинается очень эффектно. Вотъ ея первыя строки: „Тургеневъ и Толстой—враги. Это вражда стихійная, безсознательная и глубокая. Конечно, оба писателя могли стать выше случайныхъ обстоятельствъ, благодаря которымъ вражда выяснилась. Но вмѣстѣ съ тѣмъ оба чувствовали, что они враги не по своей волѣ, а по своей природѣ. Оба, въ своемъ различіи столь близкіе и дружественные нашему сердцу, они стояли непримиримые другъ противъ друга, какъ великіе

Digitized by Google

представители двухъ первоначальныхъ, вѣчно борющихся человѣческихъ типовъ". И тѣмъ не менѣе, дескать, Тургеневъ передъ смертью написалъ Толстому свое извѣстное глубоко трогательное письмо, увѣщевавшее „великаго писателя русской земли" вернуться на путь литературной дѣятельности: „на краю гроба Тургеневъ понялъ, что сердцу его старинный врагъ—ближе всѣхъ друзей". Можно-бы было, на основаніи фактическихъ данныхъ, доказать, что собственно Тургеневъ, несмотря на ссоры съ Толстымъ и на всю свою личную непріязнь къ нему, всегда высоко цѣнилъ автора „Войны и мира", какъ писателя. Но дѣло не въ этомъ. Я прошу читателя обратить вниманіе на „стихійность", которую г. Мережковскій приписываетъ непріязненнымъ отношеніямъ Тургенева и Толстого: это—„представители двухъ *первоначальныхъ, вѣчно борющихся человѣческихъ* типовъ"; это—„враги не по своей волѣ, а по своей *природѣ*". Значитъ, гдѣ-бы и когда-бы ни столкнулись два такіе человѣка,—въ Россіи или въ Китаѣ, въ Англіи или во Франціи, въ XIX или въ любомъ другомъ вѣкѣ,—они фатально, „стихійно" станутъ во враждебныя другъ къ другу отношенія. Пусть эта мысль произвольна, бездоказательна, но, какова-бы она ни была сама по себѣ, она выражена вполнѣ ясно.

Вслѣдъ затѣмъ г. Мережковскій старается установить разницу между поэзіей и литературой. Суть этихъ торопливыхъ и сбивчивыхъ разсужденій состоитъ въ томъ, что отдѣльныя явленія въ области поэзіи, хотя-бы и чрезвычайно свѣтлыя и далеко изъ ряда выходящія, еще не знаменуютъ собою существованія литературы даннаго народа. Начиная съ Пушкина, Лермонтова, Гоголя, и кончая еще живымъ Толстымъ, мы можемъ предъявить міру гигантовъ поэзіи, но „была-ли въ Россіи истинно великая литература, достойная стать на ряду съ другими всемірными литературами"? Нѣтъ,—отвѣчаетъ г. Мережковскій. Литература невозможна безъ тѣснаго взаимодѣйствія между ея представителями, безъ сознанія общности дѣла и преемственной связи. Напримѣръ, во Франціи „стихійныя разрозненныя явленія поэзіи вотъ уже три вѣка превратились въ стройную, могучую систему, какъ нѣкогда въ Греціи, какъ живопись во Флоренціи, благодаря преемственности цѣлыхъ литературныхъ поколѣній, объединенныхъ всемірно-историческимъ началомъ" (6). А у насъ? Нашъ писатель живетъ и умираетъ въ одиночку. Если и сла-

Digitized by Google

гаются иногда литературные кружки, то, во-первыхъ, они недолговѣчны и не выдерживаютъ перваго враждебнаго дуновенія, а во вторыхъ, они часто бываютъ еще хуже одиночества. Русскому писателю не хватаетъ „той живой, терпимой и всепримиряющей среды, того культурнаго воздуха, гдѣ противоположные оригинальные темпераменты, соприкасаясь, усиливаютъ другъ друга и возбуждаютъ къ дѣятельности“. Въ видѣ иллюстрацій, г. Мережковскій напоминаетъ, между прочимъ, враждебныя отношенія Достоевскаго къ Тургеневу, Некрасова и Щедрина къ Достоевскому, Тургенева къ Некрасову, и заканчиваетъ этотъ абзатцъ такъ: „О печальной и *столь характерной для русской литературы* враждѣ Толстого и Тургенева я говорилъ уже въ началѣ статьи“ (8).

Читатель знаетъ, что въ началѣ статьи г. Мережковскій говорилъ совсѣмъ не то. Тамъ враждебныя отношенія двухъ знаменитыхъ нашихъ писателей являлись продуктомъ „стихійныхъ“ силъ, а не особенностью нашихъ культурныхъ условій; тамъ мы имѣли дѣло съ „представителями первоначальныхъ (?), *вѣчно* борющихся *человѣческихъ* типовъ“, и, слѣдовательно, отношенія ихъ никакъ не могутъ быть „столь характерны для русской литературы“ спеціально. А между тѣмъ эти два взаимно исключающіяся положенія г. Мержковскаго отдѣлены другъ отъ друга всего семью страничками. И если первое положеніе произвольно и бездоказательно, то второе, можетъ быть, еще произвольнѣе и бездоказательнѣе.

Въ самомъ дѣлѣ, даже оставляя въ сторонѣ проблематическую вѣчную борьбу человѣческихъ типовъ,— почему-бы мы должны признать характернымъ для русской литературы явленіемъ вражду Тургенева и Толстого, а не трогательное предсмертное письмо Тургенева? Едва-ли литература всѣхъ странъ, временъ и народовъ знаетъ много такихъ писемъ, а враждебныхъ отношеній между талантливыми современниками можно указать сколько хотите. Г. Мережковскому угодно, въ пику русской литературѣ, излагать въ двадцати строчкахъ исторію французской литературы, какъ стройный, спокойный, трехвѣковой процессъ. Въ двадцати строкахъ это можно сдѣлать, а, пожалуй, даже иначе и нельзя сдѣлать. Но если-бы г. Мережковскій вздумалъ отмѣчать въ исторіи французской литературы эпизоды, аналогичные непріязненнымъ отношеніямъ Толстого и Тургенева

Digitized by Google

и т. п., то двадцати строкъ оказалось-бы очень мало. Напомню, напримѣръ, общеизвѣстныя отношенія Руссо и Вольтера и энциклопедистовъ, предоставляя г. Мережковскому отнести ихъ на счетъ вѣчной борьбы противоположныхъ человѣческихъ типовъ или особенностей французской литературы, или, наконецъ, особенностей конца XVIII вѣка. О настоящемъ положеніи французской литературы г. Мережковскій говоритъ: „мы присутствуемъ при первыхъ неясныхъ усиліяхъ народнаго генія найти новые творческіе пути, новыя сочетанія жизненной правды съ величайшимъ идеализмомъ“. Изъ дальнѣйшаго изложенія видно, что авторъ разумѣетъ подъ этими „усиліями народнаго генія“ такъ называемое декадентское или символистское движеніе. И выходитъ такъ, какъ будто символисты и декаденты, съ одной стороны, дружно, а съ другой,—не встрѣчая противодѣйствія въ старшихъ литературныхъ поколѣніяхъ, спокойно занимаютъ свое мѣсто въ исторіи. На самомъ дѣлѣ ничего подобнаго нѣтъ. Г. Мережковскій ссылается въ одномъ мѣстѣ на книгу Гюре „Enquête sur l'évolution littéraire“. Эта книга составилась изъ шестидесяти слишкомъ бесѣдъ автора съ разными французскими писателями о современномъ положеніи французской литературы и о школахъ, на которыя она распадается. Не всѣ, однако, къ кому обращался Гюре, бесѣдовали съ нимъ устно. Нѣкоторые удовольствовались письменными отвѣтами на его вопросы. Въ томъ числѣ былъ и Ришпенъ. Онъ отказался высказать свое мнѣніе о различныхъ школахъ и ихъ представителяхъ, и сообщилъ только, что осуществленіе предпринятой Гюрю enquête производитъ на него удручающее впечатлѣніе: точно, говоритъ, смрадное болото, въ которомъ, подъ ногами у нѣсколькихъ быковъ, множество лягушекъ надувается и квакаетъ—„moi, moi, moi“! Приговоръ суровый, но довольно близкій къ истинѣ. Никогда, можетъ быть, французская литература не была такъ раздираема разными школами, и никогда, можетъ быть, обнаженныя и взаимно враждебныя *я* не играли въ ней такой роли. Самая enquête Гюре подала поводъ къ полемическимъ схваткамъ, изъ которыхъ одна едва не окончилась дуэлью...

Эта несостоявшаяся дуэль (между Леконтъ-де-Лилемъ и Анатолемъ Франсомъ)—явленіе столь обычное во Франціи—не наводитъ г. Мережковскаго ни на соображенія о вѣчно борющихся человѣческихъ типахъ, ни на скептическія мысли о французъ-

Digitized by Google

ской литературѣ; тогда какъ такая-же несостоявшаяся дуэль между Тургеневымъ и гр. Толстымъ фигурируетъ въ числѣ опоръ его тезисовъ. Конечно, и поводы, и обстановка этихъ двухъ несостоявшихся дуэлей очень различны. Но дѣло въ томъ, что, говоря о непріязненныхъ отношеніяхъ между нѣкоторыми нашими крупными писателями, г. Мережковскій или совсѣмъ не останавливается на ихъ причинахъ, или довольствуется слишкомъ простыми и голословными соображеніями. Между тѣмъ это дѣло очень сложное. Непріязнь и вражда могутъ вытекать изъ чисто принципіальныхъ источниковъ: люди расходятся въ дорогихъ для нихъ убѣжденіяхъ, и каждый изъ нихъ столь крѣпко держится за свое, что никакое общеніе между ними невозможно. Съ другой стороны, люди вполнѣ единомыслящіе могутъ не сходиться характерами. Прибавьте сюда разныя человѣческія слабости, вродѣ самолюбія, зависти, подозрительности, прибавьте разныя чисто житейскія столкновенія,—и вы получите пеструю картину, вполнѣ возможную и во Франціи, и въ Россіи. И какъ она не помѣшала существованію французской литературы, такъ не помѣшаетъ и русской литературѣ, хотя многія подробности ея, разумѣется, очень прискорбны.

Я отнюдь не думаю защищать русскую литературу отъ нападковъ г. Мережковскаго. Напротивъ, многое я выразилъ-бы даже гораздо рѣзче, но со многимъ, конечно, согласиться не могу. Оставляя въ сторонѣ нападки автора на отдѣльныя опредѣленныя личности, представляющіяся ему зловредными, возьмемъ такое, напримѣръ, его обвиненіе общаго характера: „Литературное хищничество и продажность болѣе развиты въ Россіи, чѣмъ гдѣ бы то ни было. Какія лица! Какіе нравы! И ужасно, что эти лица самыя молодыя, бодрыя, полныя надеждъ... Страшно становится, когда видишь, что литература, поэзія—самое воздушное и нѣжное изъ всѣхъ созданій человѣческаго духа, все болѣе и болѣе предается во власть этому всепожирающему Молоху, современному капитализму!“—Признаюсь, я не знаю, о комъ здѣсь идетъ рѣчь. Г. Мережковскій говоритъ такъ рѣшительно, что ему, конечно, близко знакомы какіе-нибудь яркіе случаи этой мерзости. Но какъ-бы ни былъ великъ запасъ его наблюденій въ этомъ родѣ, я не думаю, чтобы онъ имѣлъ право сказать, что „литературное хищничество и продажность болѣе развиты въ Россіи, чѣмъ *гдѣ бы то ни было*“. Всякіе отдѣль-

Digitized by Google

ные случаи возможны, но какъ бы они ни были омерзительны отъ нихъ еще далеко до той картины литературной продажности и хищничества, какая развертывается въ настоящую минуту во Франціи, въ Италіи, въ Германіи. И это не потому, чтобы русскіе писатели были какъ-нибудь по самой природѣ своей необыкновенно добродѣтельны. Можетъ быть и такъ, но существуетъ и гораздо болѣе простая причина, та именно, что русская литература не представляетъ собою такой общественный силы, которую, какъ европейскую литературу, стоитъ покупать. Давленіе, оказываемое русскою литературою на русскую жизнь, слишкомъ ничтожно. Конечно, это гарантія не особенно лестная и не особенно прочная, но фактъ остается фактомъ: въ настоящее время упрекъ г. Мережковскаго несправедливъ, или, по крайней мѣрѣ, преувеличенъ, а будущее до извѣстной степени въ нашихъ рукахъ. Чего-нибудь да стоитъ урокъ, преподаваемый нашей литературѣ теперешними европейскими скандалами, и можемъ же мы надѣяться, что нечистыя руки никогда не захватаютъ русскую литературу въ конецъ.

Надо, однако, замѣтить, что если европейская,—скажемъ, въ частности французская литература—сильна на зло, то она сильна и на добро. Русская-же литература безсильна и въ этомъ отношеніи. И конечно, это практическое безсиліе есть одинъ изъ симптомовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ одна изъ причинъ упадка литературы, хотя г. Мережковскій ее и не понимаетъ. Онъ говоритъ о скукѣ, господствующей въ литературной средѣ. Еще-бы! Какъ тутъ не быть скукѣ и унынію, если мысль съ трудомъ находитъ себѣ словесное выраженіе, а слово отдѣлено отъ дѣла непроходимою пропастью.

Впрочемъ, хотя „Причины упадка современной русской литературы“ и значатся въ заглавіи книжки г. Мережковскаго и, слѣдовательно, должны-бы составлять одинъ изъ пунктовъ его особливаго вниманія (другой такой-же пунктъ—„новыя теченія“), но довольно трудно разобраться въ его взглядахъ на этотъ предметъ. Да простится мнѣ вульгарное сравненіе,—мысль г. Мережковскаго скачетъ, какъ блоха; направленіе, быстрота и вообще характеръ этихъ скачковъ имѣютъ, можетъ быть, свои, внутренніе резоны, но, глядя со стороны, невольно поражаешься ихъ какою-то капризною неожиданностью и несуразностью.

Поговоривъ о скукѣ, господствующей въ литературныхъ круж-

Digitized by Google

кахъ и редакціяхъ, г. Мережковскій дѣлаетъ ничѣмъ не мотивированный скачокъ къ цитатѣ изъ Тургеневскихъ „стихотвореній въ прозѣ“ о мощи русскаго языка, а отсюда опять скачокъ къ такому положенію: „Три главныхъ разлагающихъ силы вызываютъ упадокъ языка“. Хотя, такимъ образомъ, вмѣсто разговора объ упадкѣ литературы мы имѣемъ разговоръ объ упадкѣ собственно языка, и хотя авторъ не трудится указать связь и отношеніе этихъ двухъ упадковъ, но, по крайней мѣрѣ, онъ пробуетъ говорить съ точностью, онъ выставляетъ даже цифру: *три* разлагающихъ силы. Въ добрый часъ! Но, перечисливъ свои *три* разлагающихъ силы (мы ихъ сейчасъ увидимъ), г. Мережковскій неожиданно заявляетъ: „*Другая* причина упадка литературы—система гонораровъ“. Читатель съ недоумѣніемъ оглядывается: а гдѣ-же первая? или почему это не четвертая? Затѣмъ оказывается, что главная, хотя никакой цифрой не отмѣченная причина упадка литературы есть „критика“, причемъ самые сильные удары авторъ направляетъ на гг. Протопопова, Скабичевскаго, Буренина и Волынскаго. Но еще немного далѣе мы узнаемъ, что у насъ есть превосходные критики въ лицѣ гг. Андреевскаго и Спасовича, а, слѣдовательно, огульный приговоръ русской критикѣ надо взять назадъ: что навредили дурные,—исправили или исправятъ хорошіе. Вѣдь и въ беллетристикѣ у насъ не все Тургеневы и Толстые, и въ собственно поэзіи не все Пушкины и Лермонтовы.

Оказывается, однако, что и первая по счету причина упадка есть опять-таки все та-же критика. Дѣло въ томъ, что „еще Писаревъ ввелъ особый проническій, почти разговорный пріемъ“. Но языкъ Писарева былъ „сжатъ“ и „увлекательно силенъ“, а его преемники усвоили себѣ только дурныя стороны его языка. Такимъ образомъ, причиною упадка литературнаго языка оказывается то, что литераторы стали дурно писать... Нельзя сказать, чтобы это разсужденіе было очень блистательно въ смыслѣ логики. А между тѣмъ и вторая причина упадка совершенно такова-же. Она заключается въ той „особенной сатирической манерѣ, которую Салтыковъ называлъ рабьимъ эзоповскимъ языкомъ“. Словомъ, дурной языкъ есть причина дурного языка: скачокъ куда-то въ сторону и потомъ опять назадъ, на старое мѣсто... Наконецъ, третья, приводимая г. Мережковскимъ причина упадка литературы (или литературной рѣчи) состоитъ въ

Digitized by Google

невѣжествѣ, все болѣе и болѣе вторгающемся въ литературу. Съ этимъ я спорить не стану, но думаю, что у этой причины есть свои причины, которыхъ г. Мережковскій, къ сожалѣнію, не коснулся.

Къ этимъ безпорядочнымъ, капризнымъ, скачкообразнымъ пріемамъ мысли г. Мережковскаго надо еще прибавить особенности его собственнаго языка. Это нѣчто бурно-пламенное, достигающее иногда высокой степени красоты и увлекательности, но иногда ставящее втупикъ свою неточностью, безсвязностью и произвольностью. Мнѣ хочется привести образчики хорошаго. Вотъ, напримѣръ, что говоритъ г. Мережковскій о гр. Толстомъ:

„Художникъ тратитъ время на популярныя брошюры о пьянствѣ, съ наивнымъ жаромъ квакера составляетъ, подобно методическому и упрямому норвежцу Бьернсону, практическія руководства къ цѣломудрію молодыхъ людей, предисловія къ трактатамъ о беременности, о вегетаріанствѣ, серьезно увѣряетъ, что люди курятъ табакъ, чтобы заглушить совѣсть. Но если совѣсть людей такова, что не можетъ противостоять даже табачному дыму, стоитъ-ли такъ много хлопотать о ней? На всѣхъ этихъ практическихъ брошюрахъ лежитъ печать какого-то унылаго и ледяного педантизма. Польза! Польза! Чей свѣтлый умъ не помрачало это слово въ нашъ вѣкъ?.. Мнимое человѣколюбіе, нравственное квакерство у холостяка отнимаетъ трубку, у работника чарку вина, съуживаетъ и омрачаетъ безъ того уже достаточно узкую и мрачную жизнь человѣка, придаетъ ей характеръ какого-то филантропическаго, безотраднаго и добродѣтельнаго пріюта для калѣкъ. Не таковы истинные пророки любви“.

Или вотъ еще нѣсколько строкъ о Гл. Успенскомъ:

„Муза Некрасова въ униженіи сохраняла признакъ власти, она была гордой. У Глѣба Успенскаго нѣтъ такой силы. Но за то, въ этихъ кроткихъ, какъ будто потухшихъ глазахъ, въ этомъ усталомъ лицѣ—тихая жалость къ людямъ, точно непрестанный упрекъ кому-то, точно мольба за нихъ. Холодное, безбожное поколѣніе нашихъ дней можетъ пройти мимо такого человѣка и бросить банальную укоризну: „это публицистъ, а не художникъ!“ не понимая, что, наперекоръ всѣмъ рамкамъ и законамъ эстетики, въ мученической любви къ народу не можетъ не быть поэзіи, не можетъ не быть красоты“.

Это превосходно: ярко, сильно, безъ тѣни какой-нибудь искус-

Digitized by Google

ственности или напыщенности, которыя такъ часто исправляютъ должность настоящей силы и яркости (грѣху этому не чуждъ въ иныхъ мѣстахъ книги и г. Мережковскій). Если читатель всмотрится въ такія хорошія мѣста книжки, то увидитъ, что всѣ они выражаютъ извѣстное настроеніе автора, причемъ онъ не пытается аргументировать или обосновывать какую-нибудь мысль, давать какому-нибудь явленію жизни опредѣленіе, логически опровергать что-нибудь, вообще, производить какую-нибудь болѣе или менѣе сложную логическую операцію. Какъ только г. Мережковскій пускается въ эту послѣднюю область, такъ получается рядъ туманностей безъ какого-бы то ни было опредѣленнаго, твердаго ядра, полная безпорядочность мысли и изложенія, путаница, противорѣчія. Въ лучшихъ подобныхъ случаяхъ авторъ или задаетъ совершенно опредѣленный вопросъ (на стр. 41: „что такое символъ?“) и такъ и оставляетъ его безъ отвѣта, или, какъ мы уже видѣли, утверждаетъ, что этого, дескать, нельзя выразить словомъ и прячется за старинный афоризмъ: „мысль изреченная есть ложь“. Но если это такъ, то лучше совсѣмъ не говорить, или, по крайней мѣрѣ, не писать для печати. И читая нѣкоторыя страницы г. Мережковскаго, по неволѣ думаешь: да, лучше-бы этого не печатать.

Не угодно-ли, напримѣръ, оріентироваться въ слѣдующихъ разсужденіяхъ о Тургеневѣ:

„Русскіе рецензенты имѣли безтактность видѣть въ Тургеневѣ публициста и съ этой точки зрѣнія предъявляли ему требованія. Съ надлежащимъ-ли одобреніемъ или порицаніемъ изображенъ человѣкъ 30-хъ годовъ? Потомъ человѣкъ 40-хъ годовъ, потомъ нигилистъ 70-хъ годовъ и т. д. Одни защищали Тургенева, другіе утверждали, что онъ въ лицѣ Базарова оскорбилъ молодое поколѣніе. Странно теперь читать эти защиты, эти нападки! Подобное недоразумѣніе могло возникнуть только изъ коренного непониманія. Впрочемъ, и самъ Тургеневъ подалъ отчасти поводъ къ недоразумѣнію. Онъ писалъ свои большіе романы на модныя общественныя темы, на такъ называемые жгучіе вопросы дня. Въ этомъ великомъ человѣкѣ былъ все-таки литературный модникъ, то, что французы называютъ „модернистъ“. Какъ почти всѣ поэты, онъ не сознавалъ, въ чемъ именно его оригинальность и сила“ (43 и слѣд.). Далѣе авторъ поясняетъ, что настоящій, оригинальный и сильный Тургеневъ,

Digitized by Google

„царь обаятельнаго міра“, котораго просмотрѣли „наши критики-реалисты“, это—„Живыя мощи“, „Бѣжинъ лугъ“, „Довольно“, „Призраки“, „Собака“, „Пѣснь торжествующей любви“ и „Стихотворенія въ прозѣ“. А „Наканунѣ“, „Отцы и Дѣти“, „Новь“, „Вешнія воды“ (и, вѣроятно, „Рудинъ“, „Дымъ“, „Дворянское гнѣздо“, большая часть „Записокъ охотника“ и еще кое-что), это—вещи неодобрительныя по самой задачѣ своей, условныя, старѣющія уже теперь.

Гоголевскій почтмейстеръ разсказалъ длинную, сложную и очень занимательную исторію капитана Копѣйкина, который былъ, по его мнѣнію, никто иной, какъ Чичиковъ. Разсказъ уже приблизился къ самому концу, когда почтмейстеру напомнили, что капитанъ Копѣйкинъ былъ безрукій и безногій калѣка, а Чичиковъ вполнѣ владѣетъ руками и ногами. Почтмейстеру стало неловко... Мнѣ думается, что г. Мережковскому слѣдовало-бы, во избѣжаніе подобной-же неловкости, быть нѣсколько точнѣе и осмотрительнѣе. Первый, писавшій о Тургеневѣ въ непріятномъ для г. Мережковскаго тонѣ, былъ Добролюбовъ, а онъ умеръ въ 1861 г. и, слѣдовательно, не дожилъ до „Живыхъ мощей“, „Довольно“, „Призраковъ“ и т. д. Споры, отчасти, дѣйствительно, комическіе, о Базаровѣ тоже происходили задолго до такъ высоко цѣнимыхъ г. Мережковскимъ „Стихотвореній въ прозѣ“ и „Пѣсни торжествующей любви“. Поэтому о „безтактности“ и „коренномъ непониманіи“ можно-бы было говорить съ нѣсколько большею осторожностью. Но и помимо этого хронологическаго соображенія, надо разсудить еще вотъ что. Всякія могутъ быть точки зрѣнія, въ томъ числѣ и такая, съ которой „Собака“ представляется болѣе цѣннымъ произведеніемъ, чѣмъ „Рудинъ“ или „Отцы и дѣти“ (признаться, я бы этому не повѣрилъ до прочтенія книжки г. Мережковскаго, но фактъ на лицо). Но если самъ Тургеневъ писалъ „на модныя общественныя темы, на такъ называемые жгучіе вопросы дня“, то какимъ-же образомъ могла-бы обойти ихъ критика, говоря о Тургеневѣ? Она именно обнаружила-бы безтактность и коренное непониманіе, если-бы обошла то, что наиболѣе занимало самого художника. Я думаю, это ясно.

Ясно также мнѣніе г. Мережковскаго о Тургеневѣ: будучи великимъ художникомъ, онъ, однако, портилъ свое художественное дѣло чрезмѣрною отзывчивостью на жгучіе вопросы дня.

Digitized by Google

Такъ изображено на стр. 43, 44. Если-же читатель обратится къ стр. 163, то найдетъ слѣдующее: „Тургеневъ—великій художникъ по преимуществу,—въ этомъ сила его и вмѣстѣ съ тѣмъ нѣкоторая односторонность. Наслажденіе красотой слишкомъ легко примиряетъ его съ жизнью. Онъ любитъ миръ и красоту своей художнической мастерской и охотно удаляется въ созерцаніе вѣчныхъ образовъ отъ шумной и пестрой современности“...

Въ подобныхъ случаяхъ принято, кажется, говоритъ: комментаріи излишни...

Не менѣе трудно уловить собственную художественную profession de foi г. Мережковскаго, независимо отъ его сужденій о томъ или другомъ писателѣ. Онъ—поклонникъ красоты. Онъ говоритъ о красотѣ въ восторженныхъ выраженіяхъ, красота для него мѣрило вещей. „То же самое, великое и несказанное, что Гёте называлъ красотой,—Маркъ Аврелій называлъ справедливостью; Францискъ Ассизскій и св. Тереза—любовью къ Богу, Руссо и Байронъ—человѣческою свободою“ (27). „Красота образа не можетъ быть не правдивой и потому не можетъ быть безнравственной; только уродство, только пошлость въ искусствѣ—безнравственны“ (29). „Мнѣ всегда казалось поучительнымъ, что поэзія одинаково недоступна вполнѣ безвкуснымъ людямъ, какъ и вполнѣ несправедливымъ“ (32). „Какъ народу не любить красоты? Онъ самъ — величайшая красота!“ (60). „Едва-ли не самый низменный и уродливый изъ человѣческихъ пороковъ—неблагодарность... Повторяю, въ одномъ лишь изъ всѣхъ нашихъ пороковъ — въ неблагодарности есть какое-то противоестественное, не свойственное человѣческой природѣ,—безобразіе“ (72).

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что прекрасное есть естественная и совершенно законная категорія требованій человѣческой природы, но мѣрять ею другія столь-же законныя, столь-же самостоятельныя требованія—то же самое, что измѣрять пространство пудами или вѣсъ саженями. Сказать, что красота не можетъ быть неправдива, или что народъ есть величайшая красота, или что неблагодарность есть худшій изъ пороковъ, потому что она уродлива,—сказать что-нибудь подобное, значитъ ровно ничего не сказать. Это, говоря, не помню чьимъ, картиннымъ уподобленіемъ,—наводненіе словъ въ пустынѣ мысли. Изъ всѣхъ приведенныхъ странныхъ выраженій слѣдуетъ только то, что

Digitized by Google

г. Мережковскій чрезвычайно чтитъ категорію красоты и, не отворачиваясь ни отъ нравственности, ни отъ справедливости, ни отъ жизни во всей ея многосторонней глубинѣ, думаетъ, что служеніе красотѣ есть высшая задача, къ рѣшенію которой самособою приложится и все остальное. Поэтому-то онъ и Тургенева порицаетъ за вмѣшательство въ злобу дня. Поэтому онъ и на критиковъ-моралистовъ и публицистовъ негодуетъ, поэтому-же онъ прямо и торжественно заявляетъ: да, поэтъ долженъ творить „не для житейскаго волненья, не для корысти, не для битвъ“.

Это не мѣшаетъ, однако, тому-же г. Мережковскому разразиться на стр. 113 слѣдующими пламенными строками. Послѣ соотвѣтственныхъ цитатъ изъ Пушкинскаго „Аріона“ и Лермонтовскаго „Кинжала“ и послѣ соотвѣтственныхъ упрековъ Фету, Майкову и Полонскому, онъ пишетъ: „Вкусы различны. Что касается меня, я предпочелъ-бы, *даже* съ чисто художественной точки зрѣнія (*а съ иной, значитъ, и подавно*), влажныя, разорванныя волнами ризы Аріона самымъ торжественнымъ ризамъ жрецовъ чистаго искусства. Есть такая красота въ страданіи, въ грозѣ, даже въ гибели, которой не могутъ дать никакое счастіе, никакое упоеніе олимпійскимъ созерцаніемъ. Да, наконецъ, и великіе люди древности, на которыхъ любятъ ссылаться наши *парнасцы* (курсивъ г. Мережковскаго), развѣ были они чужды живой современности, народныхъ страданій и „злобы дня“, если только понимать ее болѣе широко? Я увѣренъ, что Эсхилъ и и Софоклъ, участники великой борьбы Европы съ Азіей, предпочли-бы, не только какъ воины, но и какъ истинные поэты, мечъ, омоченный во вражеской крови, праздному мечу въ золотыхъ ножнахъ съ драгоцѣнными каменьями“!

Вкусы различны... Это хорошо. Это снимаетъ грозную опалу г. Мережковскаго съ тѣхъ поэтовъ, которые не прочь отъ „житейскихъ волненій“, а стало быть, и съ тѣхъ критиковъ, которые,—пусть неумѣло, узко, грубо,—руководствуются въ своихъ сужденіяхъ этими самыми житейскими волненіями, что не мѣшаетъ имъ, конечно, и красоту цѣнить. Это хорошо. Но когда прямо противоположные вкусы совмѣщаются въ одномъ и томъже человѣкѣ, то это, можетъ быть, ужъ и не такъ хорошо. Это напоминаетъ поговорку: чего хочешь, того просишь. Что-же касается критики, то она, мнѣ кажется, должна, по отношенію къ

Digitized by Google

г. Мережковскому, руководствоваться другой, французской поговоркой: la plus jolie fille ne peut donner que ce qu'elle a. Неясность, незрѣлость мысли г. Мережковскаго слишкомъ очевидна, чтобы ему можно было предъявлять какія-нибудь требованія въ этомъ отношеніи: все равно ничего не получишь. Но намѣренія его несомнѣнно добрыя, настроеніе—несомнѣнно благородное. Съ этой стороны его и брать надо. Къ сожалѣнію, эту сторону нельзя выдѣлить, не возвратившись къ страннымъ скачкамъ мысли автора.

Г. Мережковскій скорбитъ о современномъ состояніи русской литературы, но надѣется на лучшее будущее. Онъ даже видитъ около себя зачатки, проблески этого лучшаго будущаго. Это—группа, которую онъ называетъ „современнымъ поколѣніемъ русскихъ писателей-эпигоновъ". Называетъ онъ ихъ также „современными идеалистами" и еще другими именами. Сюда относятся гг. Чеховъ, Фофановъ, Минскій, Андреевскій, Спасовичъ и Вл. Соловьевъ. Въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ г. Мережковскій присоединяетъ къ этому списку еще нѣсколько именъ, и мы, можетъ быть, еще обратимся къ мотивамъ этого присоединенія; *можетъ быть*, потому что это не особенно важно, хотя и интересно. Самъ г. Мережковскій, конечно, примыкаетъ къ этой группѣ, хотя и не говоритъ о себѣ. Онъ отнюдь не преувеличиваетъ значенія и талантовъ „современныхъ идеалистовъ". Конечно, таланты есть между ними, но въ общемъ они подобны „младенчески слабымъ и безпомощнымъ побѣгамъ молодого растенія, пробивающимся изъ подъ тяжелаго камня" (36). Подобны они также Гомункулу второй части „Фауста", этому „странному существу, полудѣтскому, полустарческому" (55). И тѣмъ не менѣе, „они теперь въ Россіи—единственная живая литературная сила. У нихъ достаточно въ сердцѣ огня и мужества, чтобы среди дряхлаго міра всецѣло принадлежать будущему". Исполненный отваги, г. Мережковскій припоминаетъ эпизодъ изъ Севастопольской кампаніи: русскіе солдаты шли на приступъ, но передъ ними былъ ровъ, и первые ряды наполнили его тѣлами мертвыхъ и раненыхъ; слѣдующіе ряды прошли по трупамъ. Такъ-то, говоритъ, и мы, „современные идеалисты", погиб-

Digitized by Google

немъ, но по нашимъ трупамъ пройдутъ слѣдующія поколѣнія и побѣдятъ...

Несмотря на нѣкоторую напыщенность паѳоса, я вѣрю искренности г. Мережковскаго, вѣрю, что онъ дѣйствительно готовъ погибнуть,—фигурально, конечно, выражаясь: не въ настоящемъ какомъ-нибудь рву передъ настоящимъ укрѣпленіемъ, а, напримѣръ, подъ бременемъ насмѣшекъ. Онъ это предвидитъ и смѣло идетъ на встрѣчу выстрѣламъ ироніи. Онъ говоритъ, что „ничего не можетъ быть легче, какъ осмѣять и отвергнуть“ теченіе „современнаго идеализма“. Я не думаю, однако, чтобы всѣ выше перечисленные представители этого теченія столь-же мужественно готовились къ насмѣшкамъ. Да и съ какой стати? Надъ книгой г. Минскаго „При свѣтѣ совѣсти“ дѣйствительно много смѣялись, надъ книгой г. Мережковскаго, я боюсь, тоже будутъ смѣяться, хотя и не такъ сильно, ради ея искренности, которой въ произведеніи г. Минскаго нѣтъ и слѣда. Но взять, напримѣръ, г. Чехова. О немъ много говорятъ въ литературѣ: одни восхищаются его талантливыми картинками, другіе сожалѣютъ объ „изъянахъ его творчества“, по выраженію нашего сотрудника, но ни единой насмѣшки по его адресу я не встрѣчалъ, да, конечно, и не встрѣчу. Или г. Спасовичъ... И на старуху бываетъ проруха, и г. Спасовичу случалось промахиваться не безъ комическаго эффекта, но чтобы этотъ маститый дѣятель профессуры, адвокатуры и литературы могъ ожидать себѣ погибели подъ бременемъ насмѣшекъ, чтобы онъ пошелъ на эту гибель,—въ этомъ позволительно, по крайней мѣрѣ, усомниться.

Но позволительно усомниться и въ гораздо большемъ, а именно въ томъ, чтобы всѣ, занесенные г. Мережковскимъ въ списокъ „современныхъ идеалистовъ“, чувствовали себя въ этихъ рамкахъ и въ этомъ сосѣдствѣ, какъ въ своей тарелкѣ. Я думаю, что они попали въ списокъ потому, что пользуются благосклонностью г. Мережковскаго, и что благосклонность эта опредѣляется не тѣми или другими ихъ качествами, а исключительно настроеніемъ г. Мережковскаго. Иначе говоря, общая скобка, за которую они поставлены, совершенно произвольна. Странно, въ самомъ дѣлѣ, читать такое, напримѣръ, заявленіе г. Мережковскаго: „Также, какъ и всѣ люди новаго поколѣнія, Спасовичъ—идеалистъ“. Какъ извѣстно, г. Спасовичъ принадлежитъ, напротивъ, къ очень старому поколѣнію. Г. Мережковскій, правда, оговариваетъ энергію и молодость духа г. Спа-

Digitized by Google

совича, но вѣдь эти качества равно доступны всѣмъ поколѣніямъ, и во всякомъ случаѣ г. Спасовичъ не есть продуктъ тѣхъ особенныхъ условій, среди которыхъ и подъ вліяніеніемъ которыхъ зарождается „современный идеализмъ“ г. Мережковскаго. Онъ вѣдь только еще зарождается, этотъ современный идеализмъ, онъ выбивается изъ-подъ камня, какъ „младенчески слабые и безпомощные побѣги молодого растенія“. Какъ бы кто ни смотрѣлъ на г. Спасовича, но неужели же онъ можетъ имѣть какое-нибудь отношеніе къ этой младенческой слабости и безпомощности? Parlez pour vous, г. Мережковскій!—думалъ, вѣроятно, г. Спасовичъ, читая сравненія „новыхъ теченій“ съ безпомощными ростками и Гомункуломъ.

Г. Мережковскій заимствуетъ свой свѣтъ отъ того движенія въ современной французской литературѣ, которое извѣстно подъ именемъ символизма или декадентства. Я не могу здѣсь распространяться объ этомъ обширномъ предметѣ, такъ какъ уже началъ о немъ бесѣду въ другомъ мѣстѣ. Скажу лишь слѣдующее. Движеніе это отвѣчаетъ нѣкоторыми своими сторонами на дѣйствительную и, можетъ быть, важнѣйшую верховную потребность человѣческаго духа, каковая потребность существовала, однако, всегда. Но, во-первыхъ, не одинъ символизмъ, даже во Франціи, пытается удовлетворить эту потребность, а во-вторыхъ, изъ всѣхъ этихъ попытокъ символизмъ есть самая плоская и уродливая, не только не подвигающая къ разрѣшенію задачи, но компрометирующая ее. Символизмъ слагается изъ умственной и нравственной дряхлости, доходящей, по мнѣнію нѣкоторыхъ, до психическаго разстройства, затѣмъ изъ шарлатанства, непомѣрныхъ претензій и того, что французы называютъ блягой.

Г. Мережковскій насчитываетъ „три главныхъ элемента новаго (то-есть символистскаго или декадентскаго) искусства: мистическое содержаніе, символы и расширеніе художественной впечатлительности“. Это приблизительно вѣрная программа нѣкоторыхъ символистовъ, какъ они сами ее понимаютъ или, по крайней мѣрѣ, излагаютъ. Приблизительно вѣрно также и другое замѣчаніе г. Мережковскаго: „Непростительная ошибка—думать, что художественный идеализмъ какое-то вчерашнее изобрѣтеніе парижской моды. Это возвращеніе къ древнему, вѣчному, никогда не умиравшему“. „Къ вѣчному“, — это немножко сильно сказано, а возвращеніе къ тому, что никогда и не умирало—не

Digitized by Google

совсѣмъ понятно. Но во всякомъ случаѣ вѣрно, что „новое искусство“ содержитъ въ себѣ мало новаго, и это новое не хорошо, чего, впрочемъ, г. Мережковскій отнюдь не думаетъ.

Съ художественной стороны, символизмъ, поскольку въ немъ есть зерно правды, представляетъ собою реакцію противъ „натурализма“ и „протоколизма“ Эмиля Зола съ братіей. Со стороны философской, поскольку можно говорить о ней въ примѣненіи къ людямъ, весьма мало свѣдущимъ и совершенно безпорядочно мыслящимъ,—онъ реагируетъ противъ послѣдней крупной философской системы, выставленной Франціей, противъ позитивизма. Идеи, вырабатываемыя, а иногда только перерабатываемыя Франціей, имѣютъ ту особенность, что онѣ быстро и шумно распространяются далеко за ея предѣлы и овладѣваютъ чуть не всѣмъ цивилизованнымъ міромъ. Такъ было и съ позитивизмомъ въ научно-философской области и потомъ съ натурализмомъ въ области художественной. Реакція противъ односторонности, сухости и узости этихъ доктринъ естественно должна была въ той-же Франціи принять наиболѣе острый характеръ, и уже оттуда распространиться, какъ изъ центра, къ периферіи. Самъ Огюстъ Контъ, провозвѣстникъ позитивизма, стѣснялся узкими рамками доктрины и ея черствостью, и первый, собственно говоря, возсталъ на нее своимъ „субъективнымъ методомъ“ и „религіей человѣчества“. Но эта неудачная попытка ослабѣвшаго и разстроеннаго ума не привилась и не могла привиться въ сколько-нибудь широкихъ размѣрахъ. Задача состояла и по сейчасъ состоитъ для Франціи въ религіозномъ объединеніи разума, чувства и воли, въ такомъ расположеніи системы все растущихъ знаній, чтобы при этомъ получало удовлетвореніе и нравственное чувство; чтобы, далѣе, это нравственное чувство, въ союзѣ со знаніемъ, съ наукой, проникало человѣка до полной невозможности поступать несогласно съ указаніями нравственнаго чувства. Въ этомъ и смыслъ, и задача всякой религіи. Религіозное чувство есть тотъ великій дѣйственный элементъ, безъ котораго мертвы и наука, и нравственная доктрина. Безпримѣрныя несчастія, сыпавшіяся на Францію въ теченіе многихъ и многихъ лѣтъ, и доселѣ ея не оставляющія, конечно, не способствовали исполненію великой задачи. Разумѣю не бурные періоды французской исторіи, а, напротивъ, періоды затишья. Страшенъ погромъ, вынесенный Франціей въ 1871 г., но это былъ, въ извѣстномъ смыслѣ, благодѣтельный

Digitized by Google

эпизодъ,—онъ заставилъ встрепенуться. Г. Мережковскій, имѣя, конечно, въ виду главнымъ образомъ Францію, говоритъ: „XVIII вѣкъ и его ограниченный скептицизмъ неправы. Нѣтъ! Людямъ нужна вѣра, нуженъ экстазъ, нужно священное безуміе героевъ и мучениковъ“. Ограниченный скептицизмъ всегда неправъ, но о XVIII вѣкѣ слѣдовало бы, можетъ быть, говорить осторожнѣе. Пусть г. Мережковскій припомнитъ хоть, напримѣръ, величественную смерть героя и мученика революціи—Кондорсе. Или, такъ какъ г. Мережковскій поэтъ, пусть припомнитъ судьбу братьевъ Шенье. Но бывали во Франціи и другія времена, когда она дѣйствительно ни во что не вѣрила, и когда кокетливая, эпикурейски-скептическая и, для меня лично, глубоко противная даже на портретѣ, улыбка Ренана была, можетъ быть, лучшимъ, что могла представить міру великая страна. Въ такое печальное время зародился и натурализмъ или протоколизмъ Эмиля Зола. Крупный художественный талантъ, но плохой мыслитель, ограниченный и самодовольный, Зола далъ толчокъ мелочной, протокольной точности описанія. Фразами, блещущими всѣми недостатками полузнанія, онъ и теоретически пытался отстоять эту незаконную форму поэзіи: протоколъ, копія съ натуры—больше ничего отъ искусства не требуется; идеалы, противополагаемые непреоборимому естественному ходу вещей, нравственный судъ надъ человѣческими мыслями, чувствами и поступками, которые столь же необходимы, какъ ростъ дерева или вращеніе земли вокругъ солнца,—все это вздоръ, ненужный балластъ, подлежащій уничтоженію

Все это, наконецъ, надоѣло. Проснулась верховная потребность человѣческаго духа. Но проснулась, конечно, не въ однихъ символистахъ, и я даже сомнѣваюсь, чтобы она въ нихъ, въ самомъ дѣлѣ, настояще проснулась. Во всякомъ случаѣ, они противопоставили протоколу—символы, непреоборимости естественнаго хода вещей—мистицизмъ, грубымъ штрихамъ натуралистической поэзіи—разныя ухищренныя тонкости. Кстати подоспѣли новѣйшія открытія въ области психо-физіологіи: гипнотизмъ, внушеніе, чтеніе мыслей. Благодаря новизнѣ этихъ явленій, какъ объектовъ науки, и благодаря ихъ стародавности, какъ явленій жизни, практики,—мистицизмъ, пристрастіе къ символамъ собственно за ихъ загадочность и погоня за ухищренными тонкостями—нашли себѣ въ нихъ кажущуюся опору.

Digitized by Google

Но довольно о французскихъ символистахъ. Обратимся къ ихъ русскому отраженію, къ г. Мережковскому, разумѣя его, впрочемъ, исключительно, какъ теоретика, какъ автора лежащей передъ нами книги, потому что съ его стихотворными произведеніями я, признаюсь, недостаточно знакомъ.

Повторяю, я высоко цѣню благородное настроеніе души г. Мережковскаго, неудовлетворяющагося сухостью, черствостью и односторонностью доктринъ позитивизма и натурализма. Но протестовать противъ нихъ можно съ различныхъ точекъ зрѣнія, и любопытно знать, почему именно французскій символизмъ пришелся ему по душѣ? Прежде всего, одно дѣло—Франція, и другое дѣло — Россія. Во Франціи, какъ справедливо замѣчаетъ г. Мережковскій, символизмъ имѣетъ значеніе „возмущенія". Противъ чего возмущается г. Мережковскій и указываемая имъ „единственная живая въ Россіи литературная сила"—отважное войско, состоящее изъ гг. Чехова, Фофанова, Минскаго, Спасовича, Андреевскаго и Вл. Соловьева? Я, впрочемъ, не хочу ставить г. Мережковскаго въ неловкое положеніе человѣка, взявшагося говорить отъ лица людей, не давшихъ ему полномочій. Я остановлюсь только на немъ самомъ.

Позитивизмъ Огюста Конта, о которомъ, впрочемъ, г. Мережковскій прямо не упоминаетъ, имѣлъ у насъ нѣкоторое значеніе, но его односторонность и узкость были указаны въ русской литературѣ очень давно, когда г. Мережковскій еще никакими отвлеченными вопросами не занимался, а игралъ въ лошадки и вообще предавался невиннымъ забавамъ, свойственнымъ младенческому возрасту. Натуралистическимъ теоріямъ въ искусствѣ отводилъ было одно время на своихъ страницахъ мѣсто „Вѣстникъ Европы", но и этотъ почтенный журналъ отъ нихъ давно отступился, и во всякомъ случаѣ натурализмъ или золаизмъ отразился у насъ развѣ только въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ гг. Боборыкина, Ясинскаго и еще кое-кого помельче. Главное русло русской поэзіи и беллетристики никогда не совпадало съ натурализмомъ. Русская критика также никогда не вдохновлялась имъ. Правда, за этой русской критикой г. Мережковскій считаетъ другіе тяжкіе грѣхи. Но, каковы-бы они ни были, „возмущеніе" г. Мережковскаго противъ русской критики можетъ имѣть лишь частный характеръ. Гг. Андреевскій и Спасовичъ являются въ изложеніи нашего автора такими блестящими кри-

Digitized by Google

тиками, какимъ могутъ позавидовать гораздо болѣе богатыя, чѣмъ наша, европейскія литературы, а вѣдь и тамъ ихъ не дюжинами считаютъ. Г. Мережковскій возразитъ на это, что одна ложка дегтю портитъ бочку меду, а въ данномъ случаѣ даже наоборотъ выходитъ: бочка сквернаго, чернаго дегтя, и въ ней ложечка свѣтлаго, душистаго, сладкаго меда въ лицѣ гг. Андреевскаго и Спасовича. И именно потому г. Мережковскій направляетъ свои удары преимущественно на критику, что она была причиной упадка литературы вообще. Если, однако, это соображеніе и справедливо, то оно все-таки не рѣшаетъ вопроса, а только отодвигаетъ рѣшеніе. Критика не инородное какое-нибудь тѣло въ составѣ литературы; она — часть ея, и потому надо спросить: отчего произошелъ упадокъ критики? Иначе, вмѣсто отвѣта на вопросъ, поставленный даже въ заголовкѣ книги, получится варьяція на Мольеровскую тему: opium facit dormire quia est in eo virtus dormitiva. Далѣе, г. Мережковскій не первый ищетъ въ критикѣ причину упадка литературы. Замѣчательно, однако, что подобныя жалобы на критику раздаются только у насъ, хотя плохіе критики есть вездѣ, и вездѣ ихъ больше, чѣмъ хорошихъ. Только у насъ господа беллетристы и поэты имѣютъ двусмысленную смѣлость говорить: мы потому плохи, что критика плоха. Я не знаю, къ какому времени относитъ г. Мережковскій начало зловреднаго вліянія у насъ критики. Повидимому, къ очень давнему, и настолько во всякомъ случаѣ давнему, что это зловредное вліяніе должно-бы было отразиться и на Тургеневѣ, и на Гончаровѣ, Львѣ Толстомъ, Достоевскомъ. Однако, не помѣшала-же имъ критика. Мало того, наша критика, по мнѣнію г. Мережковскаго, все ухудшалась, а между тѣмъ, по его же мнѣнію, именно позднѣйшія произведенія Тургенева и Достоевскаго стоятъ особенно высоко...

Одна изъ главъ книжки г. Мережковскаго называется: „Начала новаго идеализма въ произведеніяхъ Тургенева, Гончарова, Достоевскаго и Л. Толстого“. На основаніи всего предъидущаго, слѣдуетъ, кажется, заключить, что названные четыре своего рода великана представляютъ собою начало того, что имѣютъ повѣдать міру гг. Фофановъ, Минскій, Мережковскій, Чеховъ, Андреевскій, Спасовичъ, Соловьевъ. А можетъ быть уже даже повѣдали? Я думаю, что c'est trop fort. „Начало“—великаны, а конецъ или продолженіе—„Гомункулы“ и „младенчески безпомощ-

Digitized by Google

ные ростки...“ Тутъ что-нибудь не такъ. И дѣйствительно не такъ. Просто путаница, отъ разбора которой я себя увольняю. Приведу только, что „Гомункулы“, „младенчески безпомощные ростки“ (они же „слабыя и нѣжныя дѣти вечернихъ сумерекъ“) „взяли художественный импрессіонизмъ у Тургенева, языкъ философскихъ символовъ у Гончарова, глубокое мистическое содержаніе у Толстого и Достоевскаго. Всѣ эти элементы новаго идеальнаго искусства они сдѣлали болѣе сознательными, попытались ввести даже въ критику, обнажили отъ постороннихъ реалистическихъ наслоеній“. Далѣе говорится, что, несмотря на всѣ эти подвиги, гомункулы все-таки очень слабы. Но гдѣ, когда, кто изъ нихъ сдѣлалъ то, что разсказываетъ г. Мережковскій? Остановлюсь на одномъ лишь примѣрѣ. Изъ живыхъ беллетристовъ новаго поколѣнія, новаго идеальнаго искусства и какъ ихъ еще тамъ г. Мережковскій называетъ, онъ беретъ цѣликомъ только г. Чехова. Пусть-же онъ укажетъ мистическое содержаніе въ произведеніяхъ этого талантливаго писателя, къ великой его чести, рѣшительно чуждаго мистицизму.

Но дѣло, пожалуй, не въ этомъ. Тургеневъ, Гончаровъ, Достоевскій, Толстой,—это вѣдь вчерашній, даже сегодняшній день. И если г. Мережковскій признаетъ ихъ своими духовными отцами, такъ противъ чего-же онъ „возмущается“? Изъ подражанія французскимъ символистамъ? Но вѣдь тѣ не признаютъ ни натуралистовъ, ни „психологовъ“, ни „парнасцевъ“; они дѣйствительно разрываютъ со вчерашнимъ днемъ; имъ, по ихъ мнѣнію, не за что ухватиться въ ближайшемъ прошломъ. Г. Мережковскій находится въ совсѣмъ иномъ положеніи. Тѣмъ болѣе, что, кромѣ произведеній Тургенева, Гончарова, Достоевскаго и Л. Толстого, онъ знаетъ еще одно теченіе въ нашей литературѣ, противъ котораго онъ возставать не хочетъ и не можетъ.

Онъ говоритъ: „Прежде, чѣмъ я перейду къ поколѣнію современныхъ русскихъ писателей—идеалистовъ, я долженъ сказать нѣсколько словъ о другомъ могущественномъ литературномъ теченіи, также вполнѣ современномъ, имѣющемъ огромную будущность, которому лишь по недоразумѣнію большинство нашихъ критиковъ придаетъ такой рѣзкій утилитарный характеръ. Въ сущности, это теченіе очень близко къ идеализму. Я разумѣю народничество“. Изъ живыхъ представителей этого направленія г. Мережковскій указываетъ на Гл. Успенскаго, В. Г. Короленко

Digitized by Google

и меня... Это вынуждаетъ меня на нѣкоторыя личныя объясненія.

Лично обо мнѣ г. Мережковскій говоритъ, между прочимъ, слѣдующее.

„Многіе считаютъ Михайловскаго исключительно позитивистомъ. Правда, онъ позитивистъ, какъ и большинство русскихъ критиковъ, въ отношеніи къ искусству и красотѣ. Онъ не хочетъ примириться съ высшимъ сознательнымъ и божественнымъ идеализмомъ, который, какъ многіе люди его поколѣнія, считаетъ реакціоннымъ возрожденіемъ отжившаго и суевѣрнаго мистицизма. Но въ своихъ молодыхъ статьяхъ о Дарвинѣ, о Спенсерѣ—онъ идеалистъ". И далѣе: „Не слѣдуетъ ли лучшимъ представителямъ прошлаго, напр., Михайловскому, прислушаться къ тому, что говоритъ современное поколѣніе? Иногда не кажется ли отцамъ измѣной то, что въ дѣтяхъ только необходимый слѣдующій моментъ развитія? Кто знаетъ, можетъ быть Михайловскій нашелъ-бы не одну бездарность и самонадѣянность, а что-нибудь искреннее въ томъ, что говорятъ молодые, идущіе за нимъ. Я знаю, что Михайловскій имѣетъ полное право возразить: „Кто же эти молодые? Укажите на нихъ. Что они говорятъ? Я ихъ не слышу, я ихъ не знаю"... Да, голосъ ихъ слабъ. Но хотя-бы это былъ шопотъ, онъ есть. Мы, слабые, ничтожные люди, сегодня шопотомъ говоримъ другъ другу на ухо то, что геній будущаго заставитъ людей возвѣщать на кровляхъ и площадяхъ народныхъ. Развѣ въ первый разъ великое начинается съ малаго, съ отвергнутаго и осмѣяннаго?"

Г. Мережковскій сдѣлалъ мнѣ великую честь, поставивъ меня рядомъ съ такими писателями, какъ Гл. Успенскій и В. Г. Короленко. Я думаю, однако, что, до извѣстной степени, самымъ характеромъ моей работы, эта честь мною дѣйствительно заслужена, и считаю себя вправѣ говорить не только отъ своего имени, по крайней мѣрѣ, по одному пункту. Дѣло не въ словахъ, не въ названіи,—„что имя? звукъ пустой",—но мы не можемъ принять кличку „народниковъ", и не по существу, а просто потому, что слово это слишкомъ захватано, и въ него нерѣдко вкладывается смыслъ, съ которымъ мы имѣемъ мало общаго. Г. Мережковскій называетъ насъ еще „идеалистами" (съ нѣкоторою непріятною для него примѣсью). Отчего-бы и нѣтъ?—но слово „идеализмъ" слишкомъ неопредѣленно; въ свою долгую исторію—оно вѣдь очень старо—оно обозначало многое разное, и я от-

Digitized by Google

нюдь не увѣренъ въ томъ, что нашъ идеализмъ совпадаетъ съ тѣмъ, который вдохновляетъ г. Мережковскаго.

Теперь о себѣ. Г. Мережковскій замѣчаетъ, что я „въ своихъ молодыхъ статьяхъ—идеалистъ". Не знаю, идеалистъ ли въ смыслѣ г. Мережковскаго, но навѣрное знаю, что я и теперь тотъ же, что былъ въ молодые годы; знаетъ это и г. Мережковскій и прямо говоритъ объ этомъ въ другомъ мѣстѣ. Что-же касается адресованнаго ко мнѣ приглашенія прислушиваться къ „шопоту" „современныхъ русскихъ писателей-идеалистовъ", то я затрудняюсь. Я всячески прислушивался и прислушиваюсь къ тому, что говорятъ молодые, по закону естества, идущіе на смѣну насъ, стариковъ. Это вѣдь, опять-же по закону естества, продолженіе нашего собственнаго существованія въ обновленной формѣ. Но, къ сожалѣнію, я не могу симпатизировать произведеніямъ большинства провозвѣстниковъ новаго, молодого. И прежде всего, я не слышу „шопота". Напротивъ,—громъ и молнія; громъ не изъ тучи, конечно, а изъ среды самоувѣренныхъ до наглости, невѣжественныхъ, неискреннихъ и неблагодарныхъ людей. Я въ особенности настаиваю на неискренности, потому что—г. Мережковскій знаетъ—„не всякій говорящій: Господи! внидетъ въ царствіе небесное".

Я не хочу входить въ подробный разговоръ о разныхъ „новыхъ" теченіяхъ и ограничусь г. Мережковскимъ. Онъ—искренній человѣкъ. Онъ дѣйствительно проникнутъ жаждой всеохватывающей религіозной преданности идеалу, недостаткомъ которой страждетъ, конечно, не одна Франція. Теоретически онъ, по крайней мѣрѣ иногда, понимаетъ также, что удовлетвореніе этой жажды не можетъ быть достигнуто какъ-нибудь въ ущербъ наукѣ, точному знанію. Онъ говоритъ: „Великая позитивная и научная работа двухъ послѣднихъ вѣковъ, конечно, не прошла даромъ. Возрожденіе средневѣковыхъ догматическихъ формъ уже немыслимо. Потому-то стародавній, вѣчный идеализмъ въ искусствѣ мы имѣемъ право назвать новымъ, что онъ является въ сочетаніи, еще небываломъ, съ послѣдними выводами точныхъ знаній, въ свѣтѣ безгранично-свободной научной критики и научнаго натурализма, какъ неистребимая никакими сомнѣніями потребность человѣческаго сердца". Что облюбованныя г. Мережковскимъ струи современнаго искусства именно таковы, это просто неправда; но вѣрно, что такова задача, и не только ис-

Digitized by Google

кусства. Дѣйствительно, неистребима потребность въ дѣйственномъ объединеніи сущаго и долженствующаго быть. Мало знать причины и слѣдствія извѣстнаго поведенія,—оно должно получить еще нравственную оцѣнку, невозможную безъ опредѣленнаго идеала; но мало и пассивной нравственной оцѣнки, не обязывающей утвердиться въ извѣстномъ образѣ дѣйствія или измѣнить его. Мало знать, надо еще чувствовать, но мало и чувствовать, надо еще дѣйствовать. Та сила, которая направляетъ нашу волю къ дѣйствію въ соотвѣтствіи съ идеаломъ, построеннымъ совокупнымъ трудомъ разума и чувства,—эта сила и составляетъ сущность всякой религіи. Не слѣдуетъ смущаться тѣми грубыми формами, подъ которыми скрывается иногда религія. Когда дикарь мажетъ сметаной или жиромъ губы своего идола въ увѣренности, что онъ за это пошлетъ ему счастливую охоту, эта увѣренность составляетъ элементъ науки дикаря, его понятій о причинной связи явленій, а не его религіи. Лишь очень поверхностный или грубо понимающій человѣкъ можетъ сказать: этотъ дикарь религіозенъ, потому что мажетъ идолу губы сметаной. Онъ дѣлаетъ это потому, что онъ невѣжественъ. Но это не мѣшаетъ ему быть глубоко религіознымъ, когда онъ такъ или иначе, движимый непреодолимою внутреннею силою, сознательно подвергается невзгодамъ, опасностямъ, лишеніямъ, ради чего-то, внѣ и выше его стоящаго; когда онъ, напримѣръ, умираетъ, защищая своихъ боговъ и покровительствуемую ими родину или семью. Мы безконечно далеко отошли отъ дикаря въ пониманіи законовъ природы, но въ историческомъ ходѣ событій односторонняя работа разума слишкомъ часто подавляетъ область чувства и воли. Получается либо бездушная числительная машинка, вообще какой-нибудь механическій аппаратъ познанія, съ физіономіей глубокомысленной или подкрашенной скептическою улыбкой; либо разнузданный звѣрь; либо, наконецъ, жалкое существо, разъѣденное колебаніями и сомнѣніями.

Г. Мережковскій глубоко огорченъ этимъ униженіемъ человѣческой природы, этимъ ея потускнѣніемъ, и я могу только сочувствовать ему. Я увѣренъ, что и онъ, прочтя только что написанное, скажетъ: это вѣрно. Но я не въ первый разъ это говорю, а между тѣмъ г. Мережковскій утверждаетъ, что я „не хочу примириться съ высшимъ сознательнымъ и божественнымъ идеализмомъ“. Я, прежде всего, не хочу путаницы и двусмыслен-

Digitized by Google

ности вообще, а въ серьезныхъ дѣлахъ въ особенности. Что это собственно значитъ—„высшій сознательный и божественный идеализмъ“? Я вынужденъ и г. Мережковскому напомнить изреченіе: „не всякій, говорящій: Господи! Господи! внидетъ въ царствіе небесное“. Въ своемъ растрепанномъ мышленіи, и еще болѣе растрепанномъ изложеніи, онъ играетъ словами „религіозный“, „художественный“, „божественный“, „мистическій“, „идеалистическій“, не давая себѣ труда опредѣлить, какъ онъ ихъ понимаетъ, и чаще всего употребляя ихъ, какъ синонимы. Посмотримъ, къ чему это ведетъ.

Вернемся къ мнѣніямъ г. Мережковскаго о произведеніяхъ Тургенева. Говоритъ онъ на эту тему многое разное и совершенно несогласимое, какъ мы уже видѣли. Краткости ради, я предложу читателю вдуматься лишь въ ту точку зрѣнія, по которой, между прочимъ, выходитъ, что разсказъ „Собака“ долженъ быть поставленъ выше, чѣмъ „Наканунѣ“ или „Отцы и дѣти“. Я имѣлъ случай убѣдиться, что „Собаки“ многіе даже не помнятъ, а потому разскажу вкратцѣ ея содержаніе.

Въ какомъ-то обществѣ зашла рѣчь о возможности или невозможности явленій, „не сообразныхъ съ законами натуры“, какъ выражается одинъ изъ собесѣдниковъ. По этому поводу другой собесѣдникъ разсказалъ случай изъ своей жизни. Это былъ небогатый помѣщикъ, отставной офицеръ, проигравшійся въ карты и кое какъ пристроившійся къ маленькому мѣсту въ столицѣ. Звали его Порфирій Капитонычъ. А случай съ нимъ такой былъ. Однажды въ деревнѣ онъ ночью слышитъ, что у него подъ кроватью скребется и чешется собака, тогда какъ собакъ онъ не держалъ. Зажегъ свѣчку, посмотрѣлъ подъ кровать,—никого нѣтъ. А какъ затушилъ свѣчку, такъ опять собака возится. Лакея позвалъ,—то же самое: въ темнотѣ и лакей собаку слышитъ, а при свѣтѣ никого нѣтъ. И такъ подъ рядъ изъ ночи въ ночь. Сосѣдъ пріѣхалъ въ гости, ночевать остался, и при немъ все то же. Поѣхалъ Порфирій Капитонычъ въ городъ и остановился у знакомаго старичка-раскольника. Таинственная ночная собака и тамъ отъ него не отстала, къ великому негодованію хозяина-раскольника, который считалъ собакъ нечистой тварью. Узнавши, однако, въ чемъ дѣло, раскольникъ смилостивился, рѣшилъ, что „это есть явленіе, а либо знаменіе“, и направилъ Порфирія Капитоныча къ другому старику-раскольнику, который уже окончательно раз-

Digitized by Google

судилъ: „это вамъ не въ наказаніе наслано, а въ предостереженіе“. Идите, говоритъ, на базаръ, купите щенка и держите того щенка при себѣ денно и нощно: „ваши видѣнія прекратятся, да и, кромѣ того, будетъ вамъ та собака на потребу“. Купилъ Порфирій Капитонычъ щенка на базарѣ, и все произошло, какъ по писанному. Видѣнія прекратились, а когда щенокъ выросъ, то спасъ Порфирія Капитоныча отъ бѣшеной собаки, сразившись съ нею...

По формѣ разсказъ принадлежитъ къ числу слабѣйшихъ произведеній Тургенева, съ чѣмъ, я полагаю, и г. Мережковскій согласится. Какъ художественное произведеніе, со стороны формы, сравнивать „Собаку“ съ „Наканунѣ“ или „Отцами и дѣтьми“ — даже не смѣшно. Г. Мережковскій подкупленъ самою фабулою разсказа, его „мистическимъ содержаніемъ“. Содержаніе несомнѣнно мистическое. Но причемъ тутъ прочія слова, представляющія собою, по мнѣнію г. Мережковскаго, синонимы мистицизма? Неужто, въ самомъ дѣлѣ, заслуживаетъ названія „божественнаго идеализма“ исторія о томъ, какъ щенокъ и два старика-раскольника послужили орудіями спасенія проигравшагося въ карты Порфирія Капитоныча отъ бѣшеной собаки? Я отказываюсь понимать смыслъ такого произвольнаго сочетанія словъ, какъ „божественный идеализмъ“. Но я достовѣрно знаю, что къ области религіи разсказанный въ „Собакѣ“ анекдотъ не имѣетъ ровно никакого отношенія. Или, можетъ быть, его мѣсто въ сферѣ науки? Вѣдь г. Мережковскій обѣщалъ намъ „сочетаніе идеализма съ послѣдними выводами точныхъ знаній, въ свѣтѣ безгранично-свободной научной критики и научнаго натурализма“...

Читатель безъ труда найдетъ въ книжкѣ г. Мережковскаго другіе многочисленные слѣды безпорядочной игры словами и понятіями.

Я обращаю особенное ваше вниманіе на мотивы, по которымъ онъ считаетъ „Сонъ Макара“ лучшимъ изъ произведеній В. Г. Короленко, а „Парамона юродиваго“ лучшимъ изъ произведеній Гл. Успенскаго (стр. 68 и 71). Интересно также подстрочное примѣчаніе на стр. 85, гдѣ авторъ одобряетъ г. Михайлова (Шеллера) за то, что онъ „чувствуетъ потребность покинуть знакомую обстановку, изъ современнаго Петербурга перенестись ни болѣе, ни менѣе, какъ въ древнюю Персію временъ царя Артак-

Digitized by Google

серкса, въ міръ патріархальной фантазіи". Тутъ-же восторги передъ „мистическими легендами" г. Лѣскова. Приглядываясь къ подобнымъ страницамъ, а равно къ тѣмъ, гдѣ „статистика" и „политическая экономія" являются чуть не ругательными словами, мы можемъ придти къ окончательному заключенію относительно г. Мережковскаго.

Г. Мережковскій не пророкъ и не герой новаго теченія, а жертва недоразумѣнія. Онъ самъ страдаетъ недостаткомъ того всеохватывающаго начала, за отсутствіе котораго громитъ русскую литературу. Онъ лишь жаждетъ религіознаго объединенія своихъ понятій о причинной связи явленій и своего нравственнаго чувства, но думаетъ удовлетворить свою жажду въ безводной, давно высохшей пустынѣ и принимаетъ миражи за дѣйствительность. По странному, но довольно обыкновенному въ неустойчивыхъ, колеблющихся натурахъ противорѣчію, онъ даже не хочетъ, чтобы разстилающійся передъ нимъ красивый миражъ превратился въ настоящую дѣйствительность, гдѣ онъ въ самомъ дѣлѣ могъ-бы утолить жажду. Этотъ миражъ красивъ, именно какъ миражъ, и, слѣдовательно, представляетъ особенную цѣнность для художника и пламеннаго поклонника красоты. Но онъ, кромѣ того, не обязываетъ, даже не призываетъ къ жизни въ полномъ, глубокомъ значеніи этого слова, а г. Мережковскій и хочетъ, и въ то же время боится жить. Для человѣка жить не значитъ пить, ѣсть и спать. Многіе люди живутъ этой жизнью, но это недостойная человѣка жизнь, и г. Мережковскій ее презираетъ. Жить значитъ мыслить, чувствовать и дѣйствовать, причемъ всѣ эти три элемента должны быть въ полномъ согласіи, ибо это равноправныя и другъ друга поддерживающія функціи или стороны жизни. Формула ихъ сочетанія мѣняется въ исторіи, но она всегда есть или составляетъ великое искомое. Благодаря безчисленнымъ противорѣчіямъ г. Мережковскаго, я не умѣю сказать, какъ понимаетъ онъ свое собственно отношеніе къ этой формулѣ: считаетъ-ли онъ себя обладателемъ ея или только ищущимъ. Во всякомъ случаѣ со стороны дѣло виднѣе, и для меня нѣтъ сомнѣнія, что онъ ищетъ, но ищетъ невѣрными пріемами и тамъ, гдѣ найти нельзя. Почему онъ такъ радуется, что г. Михайловъ въ какомъ-то своемъ произведеніи (мнѣ оно неизвѣстно) „покинулъ знакомую обстановку и перенесся изъ современнаго Петербурга ни болѣе, ни менѣе, какъ въ древнюю Персію временъ царя

Digitized by Google

Артаксеркса“? Готовъ вѣрить, что это прекрасное произведеніе, но г. Мережковскій ничего не говоритъ объ его красотахъ и радуется самому факту удаленія романиста ко временамъ Артаксеркса. Я и противъ этого факта ничего не имѣю. Выборъ того или другого историческаго момента для рамки поэтическаго содержанія ничего не говоритъ противъ произведенія, но самъ по себѣ ничего не говоритъ и за него, а по г. Мережковскому ужъ и то превосходно, что авторъ изъ современнаго Петербурга въ „міръ патріархальной фантазіи“ удалился. Почему такая немилость къ Петербургу? Потому-же, почему „Собака“ выше большихъ романовъ Тургенева. Какъ и французскихъ символистовъ, неясность собственной мысли г. Мережковскаго влечетъ его отъ настоящей жизни ко всему неясно мерцающему, таинственному, мистическому, далекому. Отсюда-же и его комическое негодованіе противъ статистики и политической экономіи. На словахъ онъ обѣщаетъ „сочетаніе идеализма съ послѣдними выводами точныхъ знаній“, а на дѣлѣ даже статистики боится. „Мистицизмъ“ онъ проповѣдуетъ открыто и даже съ гордостью. Это его дѣло, но напрасно онъ отождествляетъ слова „мистическій“ и „религіозный“. Это не только не одно и тоже, а даже двѣ противоположности. Религія призвана руководить человѣка въ жизни, освѣщать ему его трудный, извилистый, полный соблазновъ путь, и потому ей нечего бояться статистики. Другое дѣло мистицизмъ. Онъ, если позволено такъ выразиться, тушитъ свѣточъ религіи и уводитъ человѣка изъ настоящей дѣйствительной жизни куда-нибудь въ туманную даль: въ „міръ патріархальной фантазіи“ временъ Артаксеркса или въ ту фантастическую область, гдѣ „лѣшій бродитъ, русалка на вѣтвяхъ сидитъ“ и таинственная собака спасеніемъ какого-то Порфирія Капитоныча занимается. Я не хочу сказать этимъ, что фантастическіе или отдаленно историческіе или прямо миѳологическіе сюжеты не подлежатъ художественной эксплоатаціи. Дѣло не въ сюжетѣ, а въ томъ, какъ къ нему художникъ относится; для г. же Мережковскаго сюжетъ все губитъ и все спасаетъ. Короленко въ „Снѣ Макара“ рѣшительно тотъ-же, что и во всѣхъ другихъ своихъ произведеніяхъ: тоже отношеніе къ жизни, тѣ же упованія и идеалы. Но фантастическій сюжетъ „Сна Макара“ выдѣляетъ для г. Мережковскаго этотъ разсказъ на недосягаемую высоту надъ всѣми писаніями Короленко. То же и съ Тургеневымъ по отношенію къ „Собакѣ“

Digitized by Google

Что бы ни говорилъ г. Мережковскій, но „Собака“ есть пустяковый анекдотъ по содержанію, ни мало не блистающій художественными достоинствами по формѣ. Объ ней не будетъ упоминаться даже въ очень подробныхъ исторіяхъ литературы, или развѣ въ такой формѣ, что согрѣшилъ дескать, между прочимъ, Тургеневъ и „Собакой“. Что-же касается большихъ его романовъ, то, несмотря на многіе ихъ недостатки, и предвидѣть нельзя того времени, когда они перестанутъ читаться съ живымъ интересомъ. А для г. Мережковскаго мистическое содержаніе „Собаки“ все выкупаетъ, а мотивы дѣйствительной жизни въ романахъ Тургенева все портятъ. Это отъ того зависитъ, что онъ боится жизни. Онъ хочетъ не пить, ѣсть и спать, а жить по человѣчески; хочетъ и не смѣетъ, потому что инстинктивно чуетъ свое безсиліе оріентироваться въ сложныхъ путяхъ жизни. При этихъ условіяхъ мистическія сферы остаются единственнымъ убѣжищемъ, куда г. Мережковскій и удаляется вслѣдъ за французскими символистами. Намъ туда не по дорогѣ. Во Франціи и вообще въ Европѣ не одни символисты вновь обращаются къ мистикѣ; тамъ есть еще „маги“, „нео-буддисты“, „теософы“ и другіе разные. Я думаю, что мы еще слишкомъ молоды, чтобы до такой степени извѣриться въ жизнь и до такой степени ея бояться.

III *).

Еще о декадентахъ, символистахъ и магахъ.

Г. Мережковскій насчитываетъ „три главныхъ элемента новаго (символистскаго или декадентскаго) искусства: мистическое содержаніе, символы и расширеніе художественной впечатлительности“.

Весьма многіе французскіе писатели, называемые или сами себя называющіе символистами, подписались-бы подъ тремя пунктами г. Мережковскаго. Но они вошли-бы, вѣроятно, въ разныя подробности. Свое право на титулъ новаторовъ въ искусствѣ одни поддерживали-бы указаніемъ на „вольный стихъ“, стихи безъ риѳмы и опредѣленнаго размѣра; другіе указали-бы на особенности прозаическаго стиля, имѣющія цѣлью не изобразить

*) 1893, апрѣль.

Digitized by Google

тотъ или другой предметъ, а „внушить“ идею о немъ; третьи похвастали-бы открытіями въ области сочетанія различныхъ ощущеній, напримѣръ, звука и цвѣта; четвертые выставили-бы впередъ характеръ своихъ излюбленныхъ темъ, и т. д. Не всѣ эти подробности для насъ одинаково важны, а нѣкоторыя изъ нихъ мы и совсѣмъ обойдемъ.

Читатель благоволитъ припомнить, что происхожденіе „новаго искусства“ относится къ началу восьмидесятыхъ годовъ, когда группа молодыхъ писателей стала собираться сперва въ одномъ, потомъ въ другомъ кабачкѣ Латинскаго квартала для обмѣна мыслей. Это были, по показанію одного нихъ (Матьяса Моргардта въ „Nouvelle Revue“), очень молодые люди, только что окончившіе среднее образованіе и весьма мало свѣдущіе какъ въ жизни, такъ и въ литературѣ. Время отъ времени на эти собранія появлялись и люди постарше и позначительнѣе. Въ числѣ постоянныхъ посѣтителей былъ, между прочимъ, Лоранъ Тальядъ, долго считавшійся однимъ изъ иниціаторовъ новаго движенія. Въ 1891 г., на вопросъ Гюре (Enquête sur l'évolution littéraire“) о его роли въ исторіи символизма, Тальядъ отвѣтилъ слѣдующее: „Я никогда не былъ символистомъ. Въ 1884 г. Жанъ Мореасъ, который тогда еще не былъ избранникомъ Сенскихъ нимфъ, Шарль Винье, Верленъ—гордость французской поэзіи за послѣднія двадцать пять лѣтъ,—и я, не придававшій этимъ бесѣдамъ иного значенія, кромѣ легкой забавы, пробовали мистифицировать податливые умы нѣсколькихъ дебютантовъ литературы „цвѣтными гласными“, ѳиванскою любовью, шопенгауеризмомъ и разными другими пустяками, которые потомъ пошли въ ходъ. Я уѣхалъ изъ Парижа и долго прожилъ въ провинціи, слишкомъ занятый своими домашними огорченіями, чтобы интересоваться литературною жизнью. Лишь случайно узналъ я объ инструментизмѣ Гиля, о ересяхъ, раздирающихъ декадентскую школу, и о пререканіяхъ Верлена съ Анатолемъ Бажю“.

Вѣрно-ли разсказываетъ Тальядъ о своей роли, и если вѣрно, то хорошо-ли онъ поступалъ, угощая молодежь камнемъ бляги вмѣсто хлѣба истины,—это вопросы особые, изъ которыхъ послѣдній рѣшить слишкомъ нетрудно, а первый рѣшать, пожалуй что, и не стóитъ. Но показаніе Тальяда даетъ, во всякомъ случаѣ, цѣнный намекъ на состояніе умовъ при зарожденіи школы.

Digitized by Google

Это были дѣйствительно податливые, не сложившіеся умы, не обремененные знаніемъ, житейскою опытностью и опредѣленными политическими симпатіями и богатые лишь интересомъ къ художественной формѣ. Имъ не трудно было внушить что угодно, какъ не трудно влить любую жидкость въ пустой сосудъ. Въ ихъ сознаніи не было рѣшительно ничего такого, что́ могло-бы оказать сопротивленіе долетавшимъ до нихъ разными путями идеямъ, въ томъ числѣ и такимъ, о которыхъ Гейне говорилъ: „идея—это всякая глупость, которая вамъ взбредетъ въ голову". Кто и какъ могъ оказывать на нихъ давленіе, видно будетъ изъ слѣдующаго эпизода.

Тальядъ говоритъ о „цвѣтныхъ гласныхъ", которыми онъ, между прочимъ, мистифицировалъ податливые умы будущихъ символистовъ. Но эти „цвѣтныя гласныя" введены въ символистскій обиходъ не Тальядомъ, который, можетъ быть, въ противность теперешнему его показанію, самъ увлекался ими въ серьезъ, а Артуромъ Рембо. Рембо, поэтъ, высокоцѣнимый нѣкоторыми критиками, написалъ сонетъ подъ заглавіемъ „Voyelles" (*Гласныя*), гдѣ излагалось, между прочимъ, что

A—noir, E—blanc, J—rouge, U—vert, O—bleu.

То-есть звукъ A вызываетъ ощущеніе чернаго цвѣта, E—бѣлаго, J—краснаго, U—зеленаго, O—голубого. Сонету посчастливилось. Пошли толки о связи цвѣтовыхъ ощущеній съ звуковыми, а равно и о соотношеніи, существующемъ между цвѣтовыми и звуковыми эффектами, съ одной стороны, и извѣстными состояніями духа—съ другой. Отраженіе этого читатель видѣлъ въ обиліи эпитетовъ хроматическаго характера въ стихотвореніяхъ Метерлинка: „бѣлая бездѣятельность", „голубая скука", „желтыя стрѣлы сожалѣній" и проч. Нѣкій поэтъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, теоретикъ эстетики Рене Гиль построилъ на этомъ фундаментѣ цѣлую „эволюціонно-инструментистскую" школу, причемъ оказалось, между прочимъ, что звукъ арфы бѣлаго цвѣта, скрипки—голубого, флейты—желтаго и т. д. Мы еще вернемся къ этому, а теперь обратимся къ источнику—къ сонету Артура Рембо. Шарль Морисъ („La littérature de tout à l'heure"), а вслѣдъ за нимъ и Максъ Нордау полагаютъ, что знаменитый сонетъ былъ просто шуткой и что самъ Рембо смѣялся-бы, если-бы зналъ, какое волненіе производитъ его на смѣхъ написанное стихотвореніе. Едва-ли, однако, это такъ. И поистинѣ удивительно, что

Digitized by Google

Нордау не обратилъ вниманія на объясненіе, которое даетъ самъ Рембо и которое было-бы гораздо болѣе на руку Нордау, чѣмъ многія изъ его натянутыхъ доказательствъ „вырожденія“ символистовъ.

Изъ произведеній Рембо мнѣ извѣстенъ только сборникъ „Les illuminations. Une saison en enfer“, первое изданіе котораго относится къ 1886 г., второе—къ 1892 г. Къ обоимъ изданіямъ приложено одно и то-же коротенькое предисловіе Поля Верлена, изъ котораго видно, что Рембо находится въ безвѣстной отлучкѣ гдѣ-то въ Азіи и едва-ли не умеръ. Верленъ въ восторгѣ отъ стиховъ и прозы Рембо. Рембо, говоритъ онъ, уже шестнадцати отъ роду лѣтъ писалъ les plus beaux vers du monde. Что-же касается сборника „Les illuminations“, то Верленъ характеризуетъ его такъ: „Онъ состоитъ изъ короткихъ пьесъ тонкой прозы или обворожительно и намѣренно неправильныхъ стиховъ. Главной идеи въ немъ нѣтъ, или, по крайней мѣрѣ, мы ея не находимъ. Очевидная радость сознанія быть великимъ поэтомъ, феерическіе пейзажи, прелестные наброски смутной любви и огромное, но оправданное честолюбіе стилиста,—таково, кажется намъ, вкратцѣ содержаніе сборника. Предоставляемъ читателю восхищаться подробностями“. Такъ говоритъ Верленъ. Если-бы мнѣ пришлось характеризовать сборникъ Рембо, я, признаюсь, не нашелъ-бы иныхъ словъ, кромѣ „белиберда“, „бредъ сумасшедшаго въ стихахъ и прозѣ“ и т. п. Ничего, кромѣ жалости къ несчастному автору, не испытываешь при чтеніи этихъ мрачныхъ и вполнѣ безсмысленныхъ страницъ. Авторъ достоинъ, конечно, сожалѣнія, если онъ дѣйствительно поврежденъ въ разумѣ, но его можно пожалѣть и въ томъ случаѣ, если онъ, какъ говоритъ Верленъ, „намѣренно“ поднялъ возстаніе противъ здраваго смысла. Но о намѣренности, кажется, не можетъ быть и рѣчи: мы имѣемъ дѣло съ настоящимъ больнымъ человѣкомъ. Въ сборникѣ есть авторская исповѣдь, озаглавленная *Алхимія слова*. Это нѣчто въ высокой степени замѣчательное съ психіатрической точки зрѣнія, и я не могу не выразить еще разъ удивленія тому обстоятельству, что Нордау обошелъ этотъ интереснѣйшій для него пунктъ. Надо, однако, предупредить читателя, что „исторія одного изъ безумій“ Артура Рембо, какъ онъ самъ называетъ свою *Алхимію слова*, написана гораздо разумнѣе и толковѣе, чѣмъ

Digitized by Google

все остальное, вполнѣ безсмысленное содержаніе сборника. Пусть-же читатель самъ судитъ объ этомъ остальномъ.

Рембо пишетъ: „Я издавна считалъ себя обладателемъ всѣхъ возможныхъ пейзажей (Je me vantais de posséder tous les paysages possibles) и находилъ смѣшными знаменитости современной живописи и поэзіи. Я любилъ идіотскіе рисунки, декораціи, занавѣси балагановъ, раскрашенныя вывѣски, вышедшую изъ моды литературу, церковную латынь, безграмотныя эротическія книги, старинные романы, волшебныя сказки, маленькія дѣтскія книжки, старыя оперы, глупые припѣвы, наивные ритмы. Я мечталъ о крестовыхъ походахъ, о путешествіяхъ и открытіяхъ, оставшихся безъ описанія, о республикахъ, исторія которыхъ не написана, о погасшихъ религіозныхъ распряхъ, переворотахъ въ нравахъ, перемѣщеніяхъ расъ и материковъ: я вѣрилъ всѣмъ волшебствамъ. Я изобрѣлъ цвѣта гласныхъ! (восклицательный знакъ въ подлинникѣ). A—черно, E—бѣло, J—красно, O—голубое, U—зеленое. Я опредѣлялъ форму и движеніе каждой согласной и, при помощи инстинктивнаго ритма, надѣялся изобрѣсти поэтическое слово, которое рано или поздно было-бы доступно всѣмъ чувствамъ... Я привыкъ къ галлюцинаціямъ: я искренно видѣлъ мечеть на мѣстѣ фабрики, коляски на небесныхъ путяхъ, салонъ на днѣ озера; чудовища, тайны; заглавіе водевиля вызывало передо мной ужасы. Потомъ я объяснялъ мои магическіе софизмы галлюцинаціями словъ! Я кончилъ тѣмъ, что призналъ разстройство моего ума священнымъ. Я ничего не дѣлалъ, раздираемый тяжелою лихорадкой, я завидовалъ счастью животныхъ, гусеницамъ, представляющимъ невинность преддверій рая, кротамъ, сну дѣвственности! Мой характеръ портился. Я прощался съ міромъ... За всякимъ существомъ я видѣлъ другія жизни. Этотъ господинъ не знаетъ, что онъ дѣлаетъ: онъ ангелъ. Это семейство есть скопище собакъ. Въ присутствіи многихъ людей я громко разговаривалъ съ какимъ-нибудь моментомъ ихъ другой жизни. Такъ, я любилъ свинью“...

И т. д. Исповѣдь кончается словами: „Это прошло. Я умѣю теперь поклоняться красотѣ“. Едва-ли, однако, „это прошло“, хотя „поклоняться красотѣ“ несчастный Рембо, можетъ быть, и умѣетъ. Въ приведенномъ отрывкѣ (въ подлинникѣ перемежаемомъ еще безумными стихами) я многое пропускалъ, частью для сокращенія, а частью за невозможностью сколько-нибудь

Digitized by Google

близкаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, понятнаго перевода. Но и то осталось кое-что вполнѣ несообразное. Въ томъ-же сборникѣ есть набросокъ „L'imposaible", въ которомъ, между прочимъ, авторъ выражаетъ свое недовольство Западомъ и тяготѣніе къ Востоку съ его „первоначальною и вѣчною мудростью". Писано все это еще въ 1873 году. Такъ какъ, по словамъ Верлена, Рембо уѣхалъ куда-то въ Азію и вѣстей о немъ нѣтъ, то, если онъ живъ, онъ, можетъ быть, теперь достигъ желаемаго и съ головой погрузился въ „первоначальную и вѣчную мудрость" Востока, изучая „смыслъ основныхъ свойствъ пустоты" по буддистскимъ рецептамъ или кружась и завывая съ дервишами, или главенствуя въ собственной, имъ самимъ основанной сектѣ: извѣстно, что на Востокѣ больные духомъ пользуются особеннымъ уваженіемъ, къ нимъ даже съ благоговѣніемъ относятся. Но и у себя на родинѣ Артуръ Рембо если не основалъ секту, то поспособствовалъ движенію, имѣющему до извѣстной степени сектантскій характеръ. Его сонетъ о цвѣтѣ гласныхъ, который онъ, еще не остывъ отъ безумія или перейдя въ новую его фазу, самъ признаетъ продуктомъ безумія, далъ толчокъ не только „эволюціонному инструментизму" Рене Гиля, а и многому другому, входящему въ составъ символизма. Что-же касается авторской исповѣди Артура Рембо, то, предоставляя ее въ вѣдѣніе спеціалистовъ психіатріи, мы можемъ, однако, извлечь изъ нея цѣнныя указанія на характеръ и происхожденіе символизма.

Посмотримъ теперь на судьбу еще одного изъ завсегдатаевъ собраній въ кабачкахъ Латинскаго квартала при зарожденіи символизма,—Станислава Гюаита. Теперь онъ—„магъ". Но чтобъ оцѣнить достойнымъ образомъ степень его магическихъ познаній и силъ, надо разсказать довольно длинную и сложную исторію, настолько сложную, что я даже затрудняюсь, съ чего начать, тѣмъ болѣе, что и помимо Гюаита исторія очень характерна для состоянія извѣстной группы умовъ въ современной Франціи.

Я уже говорилъ о странномъ произведеніи Гюисманса „Là-bas", въ которомъ развиваются параллельно исторія знаменитаго развратника, убійцы и демонолатра маршала Жиля де-Ретца, съ одной стороны, и исторія современной парижской мистико-демонической любви—съ другой. Романъ переполненъ мистически-сладострастными отголосками среднихъ вѣковъ не только въ исторіи Жиля де-Ретца, которую изучаетъ герой романа, но

Digitized by Google

и въ его собственной современной парижской жизни. Тутъ и инкубы, и суккубы съ отвратительнѣйшими подробностями, и „черная месса“, и всякая гадость и чертовщина. Между прочимъ, въ романѣ фигурируетъ каноникъ Докръ, демонопоклонникъ, магъ и волшебникъ, направляющій свои магическія силы на всякое зло. Ему противопоставленъ д-ръ Іоаннъ, растриженный священникъ, тоже магъ и волшебникъ, но творящій добро и спеціально борющійся съ каноникомъ Докромъ. Романъ написанъ самымъ серьезнымъ тономъ. Оказывается теперь, что д-ръ Іоаннъ—подлинное лицо. Недавно въ Ліонѣ умеръ растриженный аббатъ Булланъ, носившій прозвище д-ра Іоанна и жившій совершенно въ той самой обстановкѣ и съ тою самою репутаціей, какія ему приданы въ романѣ Гюисманса. Въ № отъ 9 января нынѣшняго года газеты „Gil Blas“ Жюль Буа (тоже „магъ“) разсказываетъ, какъ жилъ и умеръ этотъ человѣкъ. Но тутъ надо сдѣлать еще маленькое предисловіе или отступленіе.

Въ началѣ сороковыхъ годовъ во Франціи производилъ много шуму нѣкій Вентра, прозвавшій себя, по внушенію свыше, Стратанаиломъ. Онъ былъ мастеромъ на бумажной фабрикѣ, но въ 1839 г. ему явился архангелъ Михаилъ, сообщивши, что онъ, Вентра, есть избранникъ Божій. Затѣмъ слѣдовали новыя видѣнія, откровенія, пророчества, чудеса, исцѣленія. У Вентра набралось много учениковъ, онъ замѣшался и въ политическія дѣла, принявъ подъ свое покровительство самозванца, выдававшаго себя, подъ именемъ герцога Нормандскаго, за сына Людовика XVI. Власти, духовныя и свѣтскія, обратили вниманіе на Стратанаила, а въ 1842 году онъ былъ арестованъ, судимъ и присужденъ къ штрафу въ 1,000 фр. и пятилѣтнему тюремному заключенію. Отбывъ наказаніе, онъ удалился въ Лондонъ, но и тамъ, и въ тюрьмѣ продолжалъ свою пропаганду и наборъ учениковъ. Главныя его чудеса, кромѣ пророчествъ и исцѣленій, состояли въ появленіи, въ его присутствіи, настоящей крови на тѣлѣ Христовомъ (на причастіи). Ученики его отмѣчаютъ также быструю смерть, постигавшую всѣхъ его ретивыхъ преслѣдователей.

По словамъ Жюля Буа, аббатъ Булланъ, д-ръ Іоаннъ тожъ, былъ однимъ изъ учениковъ Стратанаила и получилъ отъ него великую тайну властнаго общенія съ невидимымъ міромъ. Буа разсказываетъ слѣдующее о посѣщеніи имъ Іоанна въ Ліонѣ,

Digitized by Google

повидимому, незадолго до смерти послѣдняго. При Іоаннѣ состояли г-жа Тибо, ясновидящая, и старикъ архитекторъ Мимъ, занятый возобновленіемъ дѣла Парацельса по части жизненнаго элексира. Явившись съ рекомендательнымъ письмомъ Гюисманса, Буа былъ принятъ очень любезно. Іоаннъ разсказалъ о тяжелой борьбѣ, которую ему приходится выдерживать съ парижскими магами, „розенкрейцерами",—Саромъ Пеладаномъ и Станиславомъ Гюаита. Гюаита пріѣзжалъ къ нему съ спеціальною цѣлью вынудить у него тайну его могущества и прожилъ слишкомъ двѣ недѣли, выпрашивая, становясь на колѣни передъ г-жей Тибо и умоляя просвѣтить его, жаждущаго знанія. Наконецъ, Іоаннъ сдался и вручилъ гостю рукопись подъ заглавіемъ *Жертва*, „книгу магическую по преимуществу". Гюаита уѣхалъ и вскорѣ послѣ того Іоаннъ проснулся однажды ночью, почувствовавъ какой-то ударъ въ сердце. Онъ побѣжалъ къ г-жѣ Тибо, и ясновидящая тотчасъ сообразила: „это Гюаита!" Іоаннъ прибѣгнулъ къ извѣстнымъ ему чудеснымъ средствамъ огражденія отъ злыхъ, и на этотъ разъ дѣло кончилось благополучно. Но нападенія повторялись. Іоаннъ съ горечью разсказывалъ Жюлю Буа: „Гюаита, практикуя благодарность наизнанку, самъ далъ мнѣ знать, что хотѣлъ на мнѣ же испробовать силу, отъ меня полученную. Я знаю, что онъ пользовался ею съ тѣхъ поръ съ самыми злыми цѣлями. Люди исчезали, пораженные на смерть этимъ чернымъ магомъ. Его ненависть противъ меня ростетъ тѣмъ болѣе, что—онъ знаетъ—только я, да еще редакторъ „Tromba Apocalyptica" въ Римѣ умѣемъ ниспровергать ихъ козни. Когда Гюисмансъ былъ у меня здѣсь, онъ присутствовалъ при борьбѣ на разстояніи, о которой, я знаю, сохранилъ самое трагическое воспоминаніе. Г-жа Тибо духовнымъ зрѣніемъ видѣла обмѣнъ ударовъ между Ліономъ и Парижемъ (Вирдъ, Гюаита, Пеладанъ рѣшили меня умертвить). Съ причастіемъ въ рукахъ, я призвалъ великихъ архангеловъ, чтобъ они уничтожили этихъ поборниковъ зла". Въ этомъ мѣстѣ разсказъ Іоанна былъ перебитъ рѣзкимъ крикомъ. „Не удивляйтесь, — пояснилъ Іоаннъ, —это птицы, сообщающія намъ небесныя вѣсти. Онѣ садятся на сосѣднюю крышу для наблюденія и предупреждаютъ насъ о козняхъ враговъ".

Жюль Буа уѣхалъ изъ Ліона въ восторгѣ отъ всего, что онъ видѣлъ и слышалъ. Когда онъ узналъ о смерти Іоанна, онъ тотчасъ отправился къ Гюисмансу, находившемуся въ перепискѣ съ

Digitized by Google

ліонскимъ чудодѣемъ. Гюисмансъ сообщилъ ему удивительныя вещи. Іоаннъ умеръ 4 января. 2 января онъ писалъ Гюисмансу объ одолѣвающихъ его дурныхъ предчувствіяхъ; онъ указывалъ именно на грозное сочетаніе цифръ 8, 9 и 3 въ начинающемся годѣ, не объясняя, впрочемъ, что именно дурного въ этомъ сочетаніи. На другой день, то-есть 3 января, наканунѣ своей смерти, Іоаннъ приписалъ къ тому же письму сообщеніе о новомъ покушеніи Гюаита, предсказанномъ г-жей Тибо, Мимомъ и вѣщими птицами. 4 января Іоанна не стало: онъ палъ подъ невидимыми ударами черныхъ маговъ, о чемъ г-жа Тибо подробно сообщила Гюисмансу письмомъ. Передъ смертью Іоаннъ чувствовалъ боли въ печени и въ сердцѣ. Письма самого Іоанна и г-жи Тибо къ Гюисмансу приведены въ статьѣ Жюля Буа. Гюисмансъ дополнилъ ихъ разсказомъ, что и его, Гюисманса, черные маги, разсерженные разоблаченіями ихъ козней и мерзостей въ романѣ „Là-bas“, „бьютъ каждую ночь по черепу флюидическими ударами кулака (par des coups de poing fluidiques) и мучатъ даже его кошку. Съ своей стороны, Жюль Буа оканчиваетъ всю эту исторію такъ: „Я никого не обвиняю, я считаю только своею обязанностью установить факты: странное предчувствіе Буллана (Іоанна), пророческія видѣнія г-жи Тибо и Мима, нападенія, кажется, несомнѣнныя, розенкрейцеровъ Вирда, Пеладана, Гюаита на покойнаго. Меня увѣряли, что г. маркизъ де-Гюаита живетъ въ дикомъ одиночествѣ, что онъ съ большимъ искусствомъ и знаніемъ приготовляетъ яды, которые онъ приводитъ въ летучее состояніе и направляетъ въ пространство; что у него есть даже,— это видѣли гг. Поль Аданъ, Эдуардъ Дюбю, Гари де-Лакрозъ,— домашній духъ, запертый въ шкафу и появляющійся по его приказанію. Никого не обвиняя, я требую, чтобы былъ пролитъ свѣтъ на эту смерть. Печень и сердце,—вотъ куда былъ пораженъ Булланъ, вотъ точки, въ которыя проникаютъ астральныя силы. Теперь, когда знаменитые ученые, какъ гг. Шарко, Люи и особенно Роша, признаютъ могущество силы на разстояніи, я, адептъ магіи, требую истины, точныхъ объясненій, требую, хотя бы мнѣ самому пришлось испытать страхъ смерти, требую, какъ должны-бы требовать и гг. Жозефенъ Пеладанъ, Станиславъ де-Гюаита и Освальдъ Вирдъ для успокоенія своей совѣсти!“

Я не знаю дальнѣйшаго хода этой исторіи, которую можно бы было принять за глупый фарсъ или плохую фантастическую

Digitized by Google

сказку, если-бы не убѣжденный тонъ Жюля Буа, не его репутація серьезнаго „мага“ и не свидѣтельство Гюисманса, котораго невидимые кулаки такъ жестоко бьютъ по головѣ за романъ „Là-bas“. Вотъ куда шагнулъ Гюаита изъ маленькаго кабачка въ Латинскомъ кварталѣ, гдѣ десять лѣтъ тому назадъ зарождался символизмъ! У него теперь даже послушный его велѣніямъ „домашній духъ“ въ шкафу запертъ...

Я увѣренъ, что для многихъ читателей совсѣмъ ново и неожиданно то, что я разсказываю. Мы знаемъ патріотическую Францію, мечтающую о реваншѣ и со скрежетомъ зубовнымъ поглядывающую въ сторону Рейна. Знаемъ Францію легкомысленную, изобрѣтающую моды и канканирующую, Францію буржуазную, добѣжавшую до Панамы; Францію воинствующую, Францію—лабораторію политическихъ и спеціальныхъ идей, Францію Вольтера, Францію Руссо и соціализма, Францію Пастера и Шарко и т. д. Но чтобы въ этой, такъ много мыслившей и жившей, веселившейся и страдавшей Франціи возможно было возрожденіе средневѣковаго мрака, душнаго, смраднаго, переполненнаго чудовищно-фантастическими и кроваво-грязными образами, — этому трудно вѣрится. Неужели мы, въ самомъ дѣлѣ, присутствуемъ при вырожденіи французской расы, какъ утверждаетъ Максъ Нордау? Но Нордау идетъ и дальше. Не упуская случая подчеркнуть симптомы вырожденія или то, что онъ считаетъ таковыми, во Франціи, онъ не останавливается, однако, и передъ возможностью распространить это обобщеніе на весь цивилизованный міръ. Частные поводы къ этому даютъ ему, напримѣръ, успѣхъ нѣкоторыхъ драматическихъ пьесъ Метерлинка въ Копенгагенѣ, распространеніе „толстоизма“, то-есть интересъ Европы и Америки къ ученіямъ гр. Л. Толстого, нѣкоторыя явленія умственной и художественной жизни въ Англіи и Германіи (прерафаэлиты, Рёскинъ, Рихардъ Вагнеръ и проч.). Наконецъ, и общая причина всѣхъ интересующихъ Нордау явленій, какъ онъ самъ ее понимаетъ, не ограничивается одною Франціей. Опираясь на работы психофизіологовъ, невропатологовъ и психіатровъ, онъ находитъ эту причину въ усталости, переутомленіи, пониженіи жизнедѣятельности, вызванномъ требованіями непомѣрно развивающейся культуры. Нордау утверждаетъ, что никогда еще жизнь

Digitized by Google

населенія Европы не подвергалась такимъ кореннымъ измѣненіямъ и такому напряженію, какъ въ послѣднее столѣтіе или даж только полстолѣтіе. Правда,—говоритъ онъ,—открытіе Америки, реформація въ свое время сильно потрясли умы и, безъ сомнѣнія, способствовали поврежденію многихъ недостаточно сильныхъ. Но матеріальная жизнь оставалась нетронутою, тогда какъ теперь паръ и электричество вторгаются въ ежедневный обиходъ каждаго, даже совершенно чуждаго идеямъ вѣка.

Нѣкоторыя приводимыя Нордау цифры любопытны. Въ 1840 г. во всей Европѣ было 3,000 километровъ желѣзныхъ дорогъ, въ 1891 г.—218,000. Въ 1840 г. число всѣхъ пассажировъ въ Германіи, Франціи и Англіи равнялось 2½ милліонамъ, въ 1891 г. ихъ было 614 милліоновъ. Въ 1841 г. въ Германіи приходилось среднимъ числомъ 85 писемъ на каждаго жителя, въ 1888 г.—200. Во Франціи въ 1840 г. почта разослала 94 милл., въ Англіи 277 милліоновъ писемъ, а въ 1881 г. эти цифры возросли до 595 и 1,299 милліоновъ. Въ Германіи въ 1840 г. издавалось 305 газетъ, въ 1891 г.—6,800; во Франціи этотъ ростъ выражается цифрами 776 и 5,182, въ Англіи (1846 г.) 551 и 2,255. Всемірный ввозъ и вывозъ въ 1840 г. равнялся 28 милліардамъ марокъ, въ 1889 г.—74 милліардамъ. Въ 1840 г. нѣмецкая книжная торговля обогатилась 1,100 новыми изданіями, въ 1891—18,700 и т. д. Эти голыя цифры говорятъ очень много. Онѣ говорятъ именно о страшномъ нервномъ напряженіи, которое должно переживать современное цивилизованное человѣчество. Благодаря развитію науки, литературы, журналистики, техники, улучшеннымъ путямъ сообщенія, телеграфу, желѣзнымъ дорогамъ, коловращенію мірового рынка, современный человѣкъ если не непосредственно, то мыслью и чувствомъ принимаетъ участіе въ разнообразнѣйшихъ событіяхъ, совершающихся на самыхъ отдаленныхъ точкахъ земного шара. Сто лѣтъ тому назадъ первый министръ какой-нибудь маленькой или даже средней державы не имѣлъ такъ быстро и такихъ обильныхъ и точныхъ свѣдѣній о томъ, что дѣлается на бѣломъ свѣтѣ, какъ теперь подписчикъ какой-нибудь дешевой газеты. Иная кухарка получаетъ и отправляетъ теперь больше писемъ, чѣмъ нѣкогда профессоръ университета, а мелкій торговецъ больше путешествуетъ и больше видитъ людей и мѣстъ, чѣмъ владѣтельный князь. Всѣ эти впечатлѣнія и дѣйствія, даже простѣйшія изъ нихъ, требуютъ извѣстнаго

Digitized by Google

расхода. Каждая прочитанная строчка, каждое встрѣченное человѣческое лицо, каждый разговоръ, каждая картина, мелькомъ увидѣнная изъ окна желѣзно-дорожнаго вагона, приводитъ въ дѣятельное состояніе наши нервы, которые, наконецъ, не выдерживаютъ. Если бы это наростаніе нервнаго расхода происходило съ извѣстною постепенностью, то люди успѣли бы къ нему приспособиться, но волна на волну набѣгаетъ, волна погоняетъ волну съ непропорціональною быстротой. Въ результатѣ получается переутомленіе, усталость, а въ слѣдующемъ поколѣніи— явственные признаки наслѣдственнаго вырожденія, „массовой истеріи". Однимъ изъ выраженій этого процесса и являются символисты, декаденты и т. п. Однимъ, но не единственнымъ, потому что рядомъ съ этими новыми школами въ искусствѣ мы видимъ возростаніе числа самоубійствъ, психическихъ болѣзней, преступленій, потребленія возбуждающихъ и наркотическихъ веществъ и т. д.

Такъ разсуждаетъ Нордау. Несмотря на краткость и бѣглость моего изложенія, я передалъ все существенное въ этой части его аргументаціи. Читатель видитъ, что дѣло идетъ далеко не объ одной Франціи, а обо всемъ цивилизованномъ мірѣ. Но многія болѣзненныя явленія, сопровождающія поступательный ходъ цивилизаціи, отмѣчены очень давно, и это обстоятельство не разъ давало поводъ къ болѣе или менѣе отрицательнымъ сужденіямъ о цивилизаціи вообще. Это вопросъ слишкомъ обширный и насъ здѣсь пока не касающійся. Съ насъ достаточно указать, что Нордау весьма далекъ отъ его разрѣшенія. Это видно уже изъ того, какъ онъ смотритъ на значеніе такихъ историческихъ моментовъ, какъ открытіе Америки или реформація. Было бы не трудно доказать, что эти міровыя событія, въ противность поверхностному взгляду Нордау, произвели коренныя измѣненія въ матеріальномъ быту европейскаго населенія, могущественно вліяя на весь экономическій строй его жизни. Отмѣчая воздѣйствіе этихъ событій лишь непосредственно въ области духовныхъ интересовъ, Нордау, вмѣстѣ съ тѣмъ, для новаго времени, останавливается на „каждой прочитанной строчкѣ" и на „каждой картинѣ, мелькомъ увидѣнной въ окно желѣзно-дорожнаго вагона", а не удѣляетъ вниманія потрясающимъ умъ и воображеніе, вздымающимъ къ небесамъ надежды и низвергающимъ въ пропасть отчаянія или разочарованія событіямъ, какъ Напо-

Digitized by Google

леоновскія войны, бурное дыханіе 1848 года, торжество и паденіе второй имперіи, разгромъ 1871 г. Но этого мало. Всѣ нелѣпыя мысли и несуразные образы, которые Нордау встрѣчаетъ у символистовъ, равно какъ и ихъ тяготѣніе къ мистицизму, онъ ставитъ на счетъ вырожденію, что и подтверждаетъ болѣе или менѣе искусно подобранными, но отнюдь не всегда доказательными ссылками на невропатологическую и психіатрическую литературу. Между тѣмъ, совершенно подобныя же черты болѣе древнихъ временъ, о которыхъ у него по спопутности заходитъ иногда рѣчь, онъ объясняетъ невѣдѣніемъ, незнаніемъ, невѣжествомъ. Такимъ образомъ, для него существуетъ мистицизмъ невѣжества и мистицизмъ вырожденія, и именно послѣдній оказывается исключительно господствующимъ въ средѣ символистовъ, декадентовъ, инструментистовъ, маговъ и проч. Такъ ли это, однако? И не представляется ли болѣе естественнымъ поискать объясненія глупостей и вздора въ бездарности и скудости познаній всѣхъ этихъ господъ, въ ихъ невѣжествѣ и художественномъ безвкусіи? Нельзя, конечно, отрицать, что Саръ Пеладанъ или Верленъ, о которыхъ мы говорили въ прошлый разъ, равно какъ Артуръ Рембо и, по всей вѣроятности, Станиславъ Гюаита, — люди ненормальные, больные. Это слишкомъ ясно. Но больные люди всегда были и вездѣ есть, и, однако, не вездѣ и не всегда ихъ бредъ даетъ начало новымъ школамъ, которыя шумятъ, шумятъ не только у себя на родинѣ, но и откликаются даже, напримѣръ, въ Петербургѣ изъ Парижа. Притомъ же, въ числѣ главарей и пророковъ этихъ новыхъ школъ фигурируютъ и люди, къ которымъ рѣшительно неприложимъ эпитетъ „выродившихся“ или „истериковъ“. Мы это видѣли на Метерлинкѣ, здоровомъ, физически сильномъ, уравновѣшенномъ и, внѣ своей поэзіи, здравомыслящемъ фламандцѣ, котораго Нордау, очевидно, совершенно напрасно зачислилъ въ „истерики“ и даже въ „идіоты“. Все это заставляетъ предполагать, что, по крайней мѣрѣ, рядомъ съ психіатрическимъ процессомъ идетъ процессъ психологическій, факторы котораго суть невѣжество, бездарность, безвкусіе, тщеславіе, самомнѣніе, желаніе играть первую скрипку въ оркестрѣ и т. п. Возможно, напримѣръ (я именно только къ примѣру и говорю), что завѣдомо больной Артуръ Рембо увлекаетъ своимъ бредомъ кружокъ совсѣмъ не больныхъ, а просто невѣжественныхъ людей, а какой-нибудь Стефанъ Маларме, человѣкъ, пови-

Digitized by Google

димому, здоровый, но тщеславный и себѣ на умѣ, глядя на успѣхъ Рембо, въ свою очередь уже сознательно выдумываетъ какую-нибудь штуку, на которую, какъ на удочку, поддѣваетъ и на свою долю учениковъ и поклонниковъ, столь же „податливаго“ ума. Возможно, однако, и такъ, что эта невѣжественная, легкомысленная и податливая среда, такъ охотно поставляющая сектантовъ всякому ересіарху, отражаетъ въ себѣ настоящій запросъ жизни, на который, худо ли, хорошо ли, отвѣчаетъ ересіархъ, что не мѣшаетъ, однако, ему быть, въ то же время, сумасшедшимъ, плутомъ или невѣждой.

Естественное дѣло, что господа символисты, декаденты, инструментисты, маньифики, маги неблагосклонно относятся къ наукѣ, стѣсняющей свободный полетъ ихъ намѣреннаго или ненамѣреннаго бреда. Они много говорятъ объ Истинѣ и, въ знакъ глубокаго своего къ ней почтенія, любятъ писать ея имя съ большой буквы. Но это истина особенная, мистическая. Что же касается собственно науки и опирающихся на нее философскихъ системъ, то по ихъ адресу они говорятъ много непріятныхъ и непріязненныхъ вещей. И немудрено: ихъ требованія отъ науки рѣшительно превосходятъ ея средства. Они съ восторгомъ встрѣтили ученіе о гипнотизмѣ и доселѣ ищутъ въ немъ себѣ опоры, но лишь постольку, поскольку имъ представляется возможнымъ притянуть его къ такимъ вещамъ, какъ невидимые кулаки, дубасящіе Гюисманса по головѣ, или невидимая борьба между парижскими черными магами и д-ромъ Іоанномъ въ Ліонѣ. Характерна въ этомъ отношеніи статья Мориса Барреса „Une mode qui passe“ въ „L'écho de la semaine“ отъ 26 февраля нынѣшняго года. Барресъ въ свое время посѣщалъ засѣданія зарождающихся символистовъ въ кабачкахъ Латинскаго квартала. Теперь онъ депутатъ, вотирующій съ буланжистами, журналистъ съ легкимъ перомъ и легкимъ сердцемъ и отъ бурь символизма, кажется, совсѣмъ отсталъ. Это не помѣшало ему, однако, выразить въ упомянутой статьѣ интимную мысль всѣхъ ерундистовъ разныхъ толковъ. „Une mode qui passe“, старѣющая мода,—это и есть гипнотизмъ, т.-е. гипнотическіе опыты. Работы Шарко, Бернгейма, Люи,—говоритъ Барресъ,—скудны, мелки, ничтожны, всѣмъ надоѣли; господа ученые, занимающіеся психофизическими изслѣдованіями, должны обратиться къ новой и болѣе цѣнной дѣятельности, а именно—воскрешать мертвыхъ и предсказывать

Digitized by Google

будущее И если наука безсильна для этого, такъ она ничего не стоитъ. Понятно, что умы, столь свободные отъ всякаго багажа, должны съ презрѣніемъ относиться къ „наукѣ“, „научному эмпиризму“, „позитивизму“, во всякомъ случаѣ требующимъ багажа, и искать спасенія въ складкахъ ассирійской мантіи Сара Меродака Пеладана, въ таинственной рукописи „Жертва“, при помощи которой Гюаита убилъ Іоанна, и тому подобныхъ, недоступныхъ свѣту мѣстахъ. Въ этой темнотѣ ничего не видно, а потому самому можно увидѣть все, что захочешь.

Этимъ ужъ, конечно, не переутомленнымъ наукою умамъ Нордау хочетъ внушить почтеніе къ наукѣ. Онъ пытается перечислить все, достигнутое „эмпирическимъ, т.-е. научнымъ методомъ“. Какъ! — восклицаетъ онъ, — намъ говорятъ о крушеніи науки (символисты дѣйствительно говорятъ это), когда въ послѣднія десятилѣтія спектральный анализъ открылъ намъ строеніе отдаленнѣйшихъ небесныхъ тѣлъ, когда мы изучили быстроту и направленіе ихъ движенія, уяснили себѣ единство силъ, отношеніе атомовъ въ молекулахъ и размѣщеніе молекулъ въ пространствѣ, когда наука бросила яркій свѣтъ на природу электричества и отдала эту силу на службу человѣку...

На этомъ мѣстѣ символисты могли бы перебить рѣчь Нордау. Они могли-бы сказать: всего, сдѣланнаго наукой, вы все равно скоро не перечислите, остановимся-же на электричествѣ. Вы только что доказывали, что электричество и паръ, въ числѣ другихъ факторовъ, повели къ нашему вырожденію и „массовой истеріи“. Вы доказывали также, что къ тому-же результату повело расширеніе нашихъ свѣдѣній о томъ, что дѣлается въ отдаленнѣйшихъ точкахъ земного шара, а теперь хотите внушить намъ почтеніе къ наукѣ указаніемъ на то, что эта наука сообщаетъ намъ свѣдѣнія о еще болѣе отдаленныхъ точкахъ небеснаго пространства. Не имѣемъ-ли мы, по вашему мнѣнію, переутомленные, права спросить словами вашего нѣмецкаго поэта: ich, dich ehren? — wofür?

За что, въ самомъ дѣлѣ, символисты будутъ благословлять науку и всю эту цивилизацію, если они въ своемъ великолѣпномъ шествіи ихъ дѣйствительно раздавили? Горе побѣжденнымъ,—это вѣрно, вѣрно до плеоназма, и нельзя-же требовать, чтобы побѣжденные ликовали. Тѣмъ болѣе въ настоящемъ случаѣ, когда рѣчь идетъ не о какомъ-нибудь одинокомъ Полѣ Вер-

Digitized by Google

ленѣ или Артурѣ Рембо, а о „массовой истеріи“, наслѣдственно распространяющейся по всей Европѣ. Нарисовавъ блестящую картину быстраго роста науки за послѣднія десятилѣтія, Нордау нѣсколько далѣе парируетъ упрекъ наукѣ, будто она разрушила идеалы и обезцѣнила и обезцвѣтила жизнь. Упрекъ этотъ предъявляется наукѣ частію самими символистами, а частію и нѣкоторыми сторонними людьми, пытающимися объяснить это движеніе тѣмъ, что наука не оправдала надеждъ, которыя на нее возлагались. На это Нордау отвѣчаетъ, что „вообще не можетъ быть идеала болѣе возвышеннаго, чѣмъ пріумноженіе знанія“. А затѣмъ, какъ на высокіе идеалы въ частности, онъ указываетъ на „изслѣдователя, всю жизнь согбеннаго надъ микроскопомъ, почти свободнаго отъ физическихъ потребностей, немногимъ извѣстнаго, работающаго въ тиши, полагающаго все свое самолюбіе въ томъ, чтобъ установить, можетъ быть, одинъ единственный маленькій новый фактъ, которымъ болѣе счастливый преемникъ воспользуется при постройкѣ блестящаго синтеза“. Слѣдуютъ другіе примѣры, въ томъ числѣ и знаменитый анекдотъ объ Архимедѣ, который заявилъ пришедшему его убить воину, чтобъ онъ не мѣшалъ ему заниматься вычисленіями. Все это, однако, едва-ли убѣдительно. Можно почтительно относиться къ ученому, всю жизнь безкорыстно согбенному надъ микроскопомъ, чтобъ установить какой-нибудь одинъ маленькій новый фактъ. Но эта почтительность обнимаетъ отнюдь не весь нравственный обликъ этого ученаго, а лишь нѣкоторыя черты его — безкорыстіе, трудолюбіе, можетъ быть, еще какія-нибудь добродѣтели, и къ почтительности естественно приплетается нѣкоторая доля сожалѣнія или ироніи. Жизнь этого ученаго, дѣйствительно, недорогого стоитъ, такъ какъ цѣлыя сферы жизни, блестящія всею радугой переливовъ радости и печали, запечатаны для него семью печатями. Глухой и слѣпой къ чужимъ радостямъ и печалямъ, ко всему, кромѣ того, что видно въ его микроскопѣ, онъ за это наказанъ скудостью собственной своей жизни. И это отнюдь не жестокое наказаніе, потому что самъ онъ, какъ Гетевскій Вагнеръ, даже не понимаетъ, что любопытнаго за предѣлами его микроскопа. Но это своего рода уродство, ни для кого, кромѣ исключительно призванныхъ, не соблазнительное. Это, можетъ быть, идеалъ ученаго, хотя позволительно и въ этомъ сомнѣваться, но это, во всякомъ случаѣ, не идеалъ чело-

Digitized by Google

вѣка. А дѣло именно во взаимныхъ отношеніяхъ этого идеала и науки.

Если символисты и переутомлены чѣмъ-нибудь, такъ ужъ, конечно, не наукой. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ, эти люди отнюдь не обременены ни знаніями въ какой-нибудь спеціальной отрасли, ни привычкой къ логическимъ пріемамъ мышленія, ни пониманіемъ характера и предѣловъ, самого духа науки. Отсюда ихъ нелѣпыя требованія, вродѣ того, чтобы наука занялась воскрешеніемъ мертвыхъ, а такъ какъ наука оказывается безсильною выполнить эти комическія требованія, то наступаетъ столь-же комическое разочарованіе или вообще недовольство, даже презрѣніе. Для разрѣшенія несуразныхъ вопросовъ и удовлетворенія неудовлетворенныхъ требованій, они обращаются къ древнему магизму, какъ Саръ Пеладанъ, къ „первоначальной и вѣчной мудрости Востока", какъ Артуръ Рембо, къ средневѣковой чертовщинѣ, какъ Гюисмансъ и Гюаита. Ихъ сумеречная мысль естественно притягивается историческими сумерками. Но у нихъ подъ руками есть и другіе источники истины или убѣжища для смятенной мысли. Въ средѣ такихъ скудныхъ знаніемъ и недисциплинированныхъ умовъ, особенно если они группируются въ обособленный кружокъ, въ высшей степени легко возникаютъ и прививаются всякія „новыя слова", всякія открытія „новыхъ мозговыхъ линій" и „новыхъ угловъ души". Дѣйствительно-ли разстроеннаго ума человѣкъ или здравый, но одаренный извѣстною смѣлостью и дешевымъ самолюбіемъ, желающій блеснуть новою оригинальною мыслью, хотя-бы это была давно открытая Америка, или просто вздоръ, всегда могутъ разсчитывать на мѣсто въ переднемъ углу въ подобной средѣ. Мы видѣли, какъ тянуло Артура Рембо къ невиданному, небывалому, невозможному,—къ „путешествіямъ и открытіямъ, оставшимся безъ описанія", къ „республикамъ, исторія которыхъ не написана". Мы видѣли также, что Стефанъ Маларме готовится разрѣшиться „неслыханнымъ твореніемъ". Этой жаждѣ новаго, неслыханнаго, и этой вѣрѣ въ возможность добыть его какимъ-нибудь мистическимъ прыжкомъ тѣмъ легче разыграться, чѣмъ пустыннѣе умственный горизонтъ, чѣмъ меньше знаешь и понимаешь старое, установившееся.

Однако, этой простой, вездѣ и всегда легко наблюдаемой механики движенія еще недостаточно для объясненія его распро-

Digitized by Google

страненія. Мало-ли провозглашается „новыхъ мозговыхъ линій“, которыя, однако, такъ на ступени провозглашенія и остаются и либо никакого вниманія къ себѣ не привлекаютъ, либо вызываютъ лишь презрительныя улыбки. Не такова символистская литература. Она не только провозглашена, но составляетъ несомнѣнно существующій фактъ. Правда, она не выставила ни одного крупнаго произведенія; правда, къ тому интересу, который она возбуждаетъ, примѣшивается много ироніи, сожалѣнія и чисто-спеціальнаго вниманія съ психіатрической точки зрѣнія. Но она заставляетъ говорить о себѣ всю образованную Европу, она распространяется, ростетъ, вызываетъ и сочувствіе къ себѣ, и подражателей. Это показываетъ, что въ ней есть нѣчто, поддерживаемое нѣкоторыми чертами общаго духа даннаго историческаго момента,—пусть это будетъ fin de siècle,—нѣчто отвѣчающее, хотя бы и нелѣпо, на нѣкоторый общій запросъ.

Надо помнить, что символизмъ, прежде всего, художественная школа. Экскурсіи въ теоретическія области эстетики, этики, философіи, „инструментистики“, магіи предпринимаются, главнымъ образомъ, для оправданія извѣстныхъ художественныхъ пріемовъ и недовольства другими художественными пріемами. Недовольство занимаетъ очень видное мѣсто во всемъ этомъ движеніи,—недовольство, прежде всего, натурализмомъ и протоколизмомъ Эмиля Зола и его когда-то многочисленныхъ послѣдователей. Зола достаточно чутокъ для пониманія того прискорбнаго обстоятельства, что почва ускользаетъ изъ-подъ его ногъ. Онъ даже самъ готовъ посодѣйствовать разрушенію своего собственнаго зданія. Еще, кажется, въ 1889 г. отъ говорилъ корреспонденту одной американской газеты: „Послѣ того удара, который нанесъ господствовавшему направленію натурализмъ, стала чувствоваться потребность нѣкоторой реакціи. Человѣкъ неудержимо стремится къ счастью, оно—постоянный предметъ его желаній. При помощи положительнаго научнаго метода мы заставили его увидѣть зло во-очію, посмотрѣть на жизнь, какова она есть на самомъ дѣлѣ. Но мы не дали ему утѣшенія. Онъ благодаренъ намъ за то, что мы сдѣлали въ интересахъ раскрытія правды, но онъ даетъ намъ понять, что онъ еще не удовлетворенъ“. Затѣмъ Зола пояснилъ, что на будущее время онъ намѣренъ „отрѣшиться отъ того крайняго направленія, которому слѣдовалъ до сихъ поръ“. Въ разговорѣ съ выше часто цитированнымъ Гюре, Зола

Digitized by Google

возвратился къ этой темѣ. Онъ полагаетъ, что къ нему и его единомышленникамъ можно бы было обратиться съ такимъ упрекомъ: „Вы злоупотребили положительнымъ фактомъ, внѣшнею дѣйствительностью вещей, осязаемымъ документомъ; въ сообществѣ съ наукой и философіей вы обѣщали людямъ счастье въ осязаемой истинѣ, въ анатоміи, въ отрицаніи идеала, и вы ихъ обманули! Смотрите, рабочій уже почти жалѣетъ о цехахъ и проклинаетъ машины, художникъ возвращается къ лепету искусства, поэтъ мечтаетъ о среднихъ вѣкахъ... И такъ, ваше дѣло кончено, нужно что-то другое". Сдѣлавъ самому себѣ этотъ репримандъ отъ лица недовольныхъ, Зола продолжалъ: „Это нетерпѣніе законно, но наука движется медленно и, можетъ быть, слѣдовало бы оказать ей нѣкоторый кредитъ. Впрочемъ, эта реакція логична и можетъ восторжествовать черезъ десять-пятнадцать лѣтъ, если явится человѣкъ, который сосредоточитъ въ себѣ эту жалобу вѣка, эту оттолчку отъ науки. Такимъ именно образомъ можетъ умереть натурализмъ". Въ дальнѣйшемъ разговорѣ Зола замѣтилъ: „Впрочемъ, если у меня хватитъ времени, я сдѣлаю то, чего они хотятъ..."

Въ этомъ разговорѣ сказался весь Зола съ его броненосною самоувѣренностью, съ его бахвальствомъ, съ его безпринципностью. Онъ гордъ, онъ почти отождествляетъ себя съ наукой и, во всякомъ случаѣ, идетъ подъ ея знаменемъ, но, если нужно перемѣнить фронтъ, чтобы стать во главѣ новаго движенія, онъ и это готовъ сдѣлать. Но уже самое это обстоятельство показываетъ, что реакція противъ натурализма и протоколизма очень сильна и отнюдь не ограничивается кучкой символистовъ. Въ другомъ мѣстѣ мнѣ уже пришлось отмѣтить нѣкоторыя черты французской беллетристики, не имѣющія ничего общаго съ символизмомъ и, однако, явно протестующія противъ натурализма. Что касается символистовъ, то въ ихъ „возстаніи" надо различать нѣсколько сторонъ. Надо имъ, прежде всего, отдать справедливость,—они поняли или почуяли всю антихудожественность чрезмѣрной детальности протоколизма, доходящей, напримѣръ, въ „Нана", до описанія кончика рубашки, высунувшейся изъ панталонъ героини. Не только нѣтъ надобности, но нѣтъ и возможности угнаться за всѣми мелочами, какъ въ описаніи внѣшней обстановки дѣйствія, такъ и въ изображеніи душевныхъ движеній дѣйствующихъ лицъ. Картина художника тѣмъ и отличается отъ

Digitized by Google

фотографіи, что не предоставляетъ вниманію зрителя расплываться по всѣмъ подробностямъ, а сосредоточиваетъ его на выдающихся, характерныхъ моментахъ, предоставляя воображенію зрителя дополнить остальное. Практическій вопросъ рѣшается, конечно, степенью таланта, чувства мѣры и ширины горизонта художника; но символисты, несомнѣнно, правы въ той своей исходной точкѣ, что извѣстная доля работы собственнаго воображенія зрителя, слушателя, читателя составляетъ одно изъ условій эстетическаго наслажденія. Это не мѣшаетъ, разумѣется, большому таланту ставить воображенію читателя или зрителя извѣстныя границы или давать ему извѣстное направленіе, властно „наводить“ его, „внушать“ ему то, что онъ, большой талантъ, внушить хочетъ. Два-три штриха великаго художника могутъ оживить передъ читателемъ цѣлую картину и возбудить въ немъ соотвѣтственное настроеніе. Эти-то два-три штриха символисты и провозглашаютъ, подъ именемъ символа, своимъ девизомъ. Но дѣло въ томъ, что въ этомъ смыслѣ все искусство символично, и чѣмъ крупнѣе художникъ, тѣмъ больше его способность символизировать событія или лица, т.-е. въ немногихъ сравнительно чертахъ улавливать ихъ истинный, глубокій смыслъ. У самого Зола, какъ у даровитаго художника, хоть въ той же „Нана“, напримѣръ, конецъ романа—смерть героини подъ аккомпаниментъ уличныхъ криковъ: „à Berlin! à Berlin!“—можетъ быть названъ вполнѣ символическимъ. Передъ читателемъ умираетъ глупое, наивно-развратное существо, почти животное; около ея трупа болтаютъ разный вздоръ такія же, какъ она, кокотки; съ улицы, по случаю объявленія войны, доносятся шовинистскіе, барабанно-патріотическіе крики. Только и всего. Но у этой маленькой, въ подробностяхъ, можетъ быть, нѣсколько растянутой картинки есть огромный задній планъ. Смерть Нана, ничтожной человѣчицы, игравшей, однако, благодаря извѣстнымъ общественнымъ условіямъ, первую роль на протяженіи цѣлаго романа, сопоставленная съ криками „à Berlin!“—есть настоящій символъ второй имперіи въ ея торжествѣ и паденіи. Протоколистъ Зола оказался, въ этомъ случаѣ, въ качествѣ даровитаго художника, символистомъ, если ужъ нужно это новое слово для обозначенія очень старой вещи. Символисты, конечно, хорошо сдѣлали, что напомнили эту старую вещь, потому что литература, и не только французская, уже слишкомъ переполнилась плоскодонными про-

Digitized by Google

изведеніями, въ которыхъ единичный, не обобщенный фактъ, анекдотъ, случай, всякій житейскій пустякъ самъ себѣ довлѣетъ и заносится въ „протоколъ“, безъ вниманія къ общему смыслу жизни. Съ другой стороны, однако, люди, называющіе себя или называемые символистами, не могутъ осуществить свою програму, прежде всего, за отсутствіемъ или извращенностью талантовъ. Самый талантливый изъ нихъ, Верленъ, завѣдомо ненормальный человѣкъ, да и, какъ мы видѣли, онъ открещивается отъ „цимбалистовъ“, отказывается даже понимать, что значитъ „символизмъ“ въ устахъ людей, избравшихъ это слово своимъ знаменемъ. И немудрено. Символисты сами извращаютъ свою програму, во-первыхъ, злоупотребляя символами и, во-вторыхъ, придавая имъ таинственный, мистическій смыслъ. Для нихъ каждое явленіе имѣетъ прообразовательное, символическое значеніе. Гусеница для Артура Рембо не просто гусеница, а символъ „невинности преддверій рая“. Отсюда получается крайняя вычурность, манерность изложенія и изображенія, достигающая часто такой степени, что передъ вами точно шифрованное письмо, ключъ къ которому надо еще подобрать. Почему гусеница есть символъ „невинности преддверій рая“, это еще не трудно понять: гусеница сама не размножается (она „невинна“), а превращается въ куколку („преддверіе“), изъ которой вылетаетъ красивая, пестрая бабочка (нѣчто „райское“). Но если читатель обратится къ одному изъ стихотвореній изъ „Serres chaudes“ Метерлинка, которое я привелъ въ прошлый разъ, то разгадать нагроможденные здѣсь символы будетъ уже гораздо труднѣе. Можно догадываться, что общій фонъ стихотворенія или даже всего сборника—serre, теплица—есть символъ особеннаго положенія и настроенія поэта, который непосредственно не ощущаетъ бурь жизни, происходящихъ за тепличными стеклами. Для образной передачи своего мучительнаго душевнаго состоянія онъ прибѣгаетъ къ „мыслямъ принцессы, которая голодна“ (принцесса, конечно, рѣдко голодна и потому особенно ярко чувствуетъ голодъ), къ „тоскѣ матроса въ пустынѣ“ и къ „мѣдной музыкѣ подъ окномъ неизлѣчимо-больныхъ“. Все это еще болѣе или менѣе объяснимо. Но, не говоря уже о томъ, что я отнюдь не убѣжденъ въ вѣрности моего толкованія, дальнѣйшіе символы совершенно непонятны. Что изображаютъ собою „почтальоны на больничномъ дворѣ“ или „охотникъ за оленями, ставшій больнич-

Digitized by Google

нымъ служителемъ", или такъ часто повторяющіеся въ стихахъ Метерлинка, при самыхъ неожиданныхъ обстоятельствахъ, „стада овецъ", „корабли", „паруса", „каналы" и разныя ихъ комбинаціи? Все это символы чего-то, но—чего? Если сами символисты и отвѣтятъ на этотъ вопросъ, то самое большее, что мы можемъ получить, это—нѣчто вродѣ упомянутой уже книги Максимовича-Амбодика „Символы и эмблемы", условную азбуку или словарь, справившись съ которымъ, мы можемъ узнать, что „шафранъ и радуга" выражаютъ мысль: „дѣйствіе сего есть большее", а „стада овецъ", „паруса", „каналы" и т. д. означаютъ то-то и то-то. Мы дешифрируемъ такимъ образомъ стихотвореніе Метерлинка, но его символы, во всякомъ случаѣ, не говорятъ сами за себя и представляютъ собою продукты болѣе или менѣе исключительныхъ, случайныхъ ассоціацій идей. Если Артуръ Рембо „любилъ свинью", „видѣлъ мечеть на мѣстѣ фабрики, коляски на небесныхъ путяхъ, салонъ на днѣ озера" и проч., то можно себѣ представить, какія изумительныя ассоціаціи идей возникали въ его мозгу и каковы, значитъ, были посредствующія логическія звенья между его символами и тѣмъ, что они должны изображать. Процессъ былъ для него самого теменъ, онъ не умѣлъ бы объяснить его ни себѣ, ни людямъ, а, между тѣмъ, процессъ налицо, идетъ своимъ чередомъ и всякій разъ, какъ онъ видитъ,—положимъ, къ примѣру,—стадо овецъ, онъ приходитъ въ извѣстное настроеніе духа и, наоборотъ, приходя въ это состояніе, невольно вспоминаетъ стадо овецъ. При слабости контроля разума и воли, эта неразрывность случайной ассоціаціи идей естественно должна получить таинственную, мистическую, даже магическую окраску.

Къ этому же результату влечетъ символистовъ еще и другое теченіе.

Реакція противъ протоколизма, сопровождаемая, разумѣется, другими обстоятельствами, толкнула кучку молодыхъ недисциплинированныхъ умовъ въ противоположную, еще болѣе нелѣпую и нехудожественную крайность: безъидейной, безсмысленной обнаженности и протокольной точности они противопоставили столь же безсмысленную прикровенность и символическую темноту. Но въ господствовавшей школѣ была еще сторона, тѣсно свя-

Digitized by Google

занная съ протоколизмомъ, однако, логически отличимая отъ него,—натурализмъ, который въ свою очередь вызвалъ реакцію символизма.

Блестящій успѣхъ романовъ Зола вскружилъ ему голову. Онъ вообразилъ себя не только талантливымъ беллетристомъ, каковъ онъ дѣйствительно, а и реформаторомъ, притомъ, ученымъ, и именно натуралистомъ, не въ переносномъ какомъ-нибудь, а въ самомъ прямомъ смыслѣ этого слова. Много онъ на эту тему говорилъ и писалъ смѣшныхъ пустяковъ, отъ которыхъ и до сихъ поръ не совсѣмъ отрѣшился, какъ видно изъ вышеприведенныхъ его разговоровъ съ корреспондентомъ американской газеты и съ Гюре. Но теперь онъ, все-таки, нѣсколько сбавилъ тонъ, онъ допускаетъ возможность возраженій, допускаетъ, что ему и вообще „натуралистамъ“ могутъ сказать: „вы злоупотребили положительнымъ фактомъ, внѣшнею дѣйствительностью вещей, осязаемымъ документомъ; въ сообществѣ съ наукой и философіей, вы обѣщали людямъ счастье въ осязаемой истинѣ, въ анатоміи, въ отрицаніи идеала, и вы ихъ обманули!“ Никто, конечно, не ожидалъ, чтобы люди стали счастливѣе оттого, что г. Эмиль Зола и его послѣдователи, „въ сообществѣ съ наукой и философіей“, пишутъ натуралистическіе романы,— это одна изъ обыкновенныхъ самохвальныхъ выходокъ Зола. Никто и теперь не ожидаетъ, чтобы человѣчество стало счастливо собственно отъ перемѣны фронта, на которую съ готовностью соглашается г. Эмиль Зола. Но самая эта готовность чрезвычайно характерна. Стоустая молва разсказываетъ, что Зола приготовляетъ, внѣ серіи „Ругонъ-Макаровъ“, романъ, мѣстомъ дѣйствія котораго будетъ Лурдъ, а центромъ тяжести— лурдскія чудеса. Въ газетахъ пишутъ, что какой-то богатый мистикъ ассигновалъ уже крупную сумму на переводъ этого романа на всѣ языки, если лурдскія чудеса будутъ въ немъ возвеличены и оправданы. Я не удивлюсь, если романъ Зола удовлетворитъ этого чудака.

Когда художникъ начинаетъ теоретизировать на тему объ искусствѣ, то, натуральнымъ образомъ, дѣло его сводится къ подведенію теоретическаго фундамента къ его собственной практикѣ, сложившейся, можетъ быть, помимо всякой теоріи, къ оправданію его инстинктивно усвоенныхъ художественныхъ пріемовъ. Зола, прежде всего, человѣкъ, къ вопросамъ нравственно-

Digitized by Google

политическимъ вполнѣ равнодушный. Отсюда его протоколизмъ: симпатіи и антипатіи общественнаго характера, любовь и ненависть къ нравственно-политическимъ принципамъ и явленіямъ, надежды и разочарованія не даютъ ему постояннаго опредѣленнаго мѣрила для расцѣнки фактовъ, которые поэтому оказываются всѣ равноцѣнными, равно достойными воспроизведенія во всѣхъ своихъ мелочахъ и подробностяхъ, равно себѣ довлѣющими. По этой-же причинѣ онъ, дѣйствительно, „злоупотребилъ,—какъ и самъ сознается,—положительнымъ фактомъ, внѣшнею дѣйствительностью вещей, осязаемымъ документомъ". Когда онъ сталъ теоретизировать, то пожелалъ это свое равнодушіе облечь въ мантію науки, дескать, „не вѣдающей ни жалости, ни гнѣва" и безстрастно „изслѣдующей всѣхъ вещей дѣйства и причины". Отсюда—„натурализмъ". Изо всего якобы научнаго багажа, которымъ Зола уснащалъ свои теоретическія бесѣды объ искусствѣ и критикѣ,—изъ всѣхъ этихъ „анатомій", „экспериментальныхъ методовъ" и т. п.,—опредѣленный смыслъ имѣетъ только терминъ „детерминизмъ". Какъ извѣстно, детерминизмомъ называется и ученіе о неразрывной причинной связи явленій, и самый фактъ этой связи. Ученіе это вырабатывалось вѣками и, рѣшительно утвердившись, наконецъ, въ наукѣ, а отчасти и въ философіи, упразднило массу миѳовъ и предразсудковъ. Какъ-бы, однако, ни были велики заслуги этого ученія, оно недостаточно въ области нравственно-политической, гдѣ рядомъ съ нимъ должны быть поставлены иные руководящіе принципы. Детерминисты требуютъ, чтобы мы относились къ людскимъ дѣламъ съ такимъ же безстрастіемъ, какъ и къ процессамъ природы, потому что эти дѣла, какъ и все на свѣтѣ, какъ и самъ свѣтъ, подчинены закону причинной связи, и не въ нашей власти оборвать или измѣнить эту связь; достаточно усмотрѣть естественныя причины и слѣдствія даннаго нравственно-политическаго явленія, чтобы не волноваться имъ ни въ положительную, ни въ отрицательную сторону и отказаться какъ отъ восторга передъ нимъ, такъ и отъ негодованія. Эту-то точку зрѣнія Зола и излагалъ, подъ именемъ натурализма, въ своихъ теоретическихъ статьяхъ и до извѣстной, весьма значительной, степени практиковалъ въ своихъ романахъ. Очевидно, однако, что человѣчество никогда не усвоитъ себѣ этой точки зрѣнія и не можетъ этого сдѣлать по кореннымъ свойствамъ своей природы. Въ качествѣ существа,

Digitized by Google

не только мыслящаго, а и чувствующаго, и обязаннаго трудиться, бороться, вообще дѣйствовать, человѣкъ не можетъ не волноваться въ дѣлахъ, въ которыхъ онъ является активнымъ или пассивнымъ факторомъ, не можетъ отрѣшиться на практикѣ отъ убѣжденія, что ему доступно сознательное воздѣйствіе на направленіе и ходъ событій. Пусть детерминисты говорятъ о тщетѣ горя и радости, негодованія и торжества при видѣ того или другого явленія въ непреоборимомъ естественномъ ходѣ вещей,— это горе и радость, это негодованіе и торжество тоже имѣютъ свои причины и играютъ свою роль въ естественномъ ходѣ вещей. Если меня бьютъ, такъ, вѣдь, я не могу удержаться на той „научной“ или „натуралистической“ точкѣ зрѣнія, что удары, мнѣ наносимые, суть слѣдствія извѣстныхъ причинъ. Не успокоится на этомъ и никакой детерминистъ: онъ будетъ отбиваться, ругаться, убѣжитъ, закричитъ отъ боли и злобы,—и всѣ эти дѣйствія будутъ вполнѣ законными, въ смыслѣ детерминизма, звеньями естественнаго хода вещей, обусловленнаго причинною связью явленій. Ну, а если бьютъ не меня, а другого, но эхо этихъ ударовъ больно отзывается въ моемъ сердцѣ? Ну, а если извѣстный, положимъ, историческій процессъ, вполнѣ, конечно, естественный, потому что ничего не естественнаго нѣтъ и быть не можетъ,—грозно надвигается на моихъ соотечественниковъ или на какую-нибудь группу ихъ, готовясь ихъ раздавить? Ну, а если сердцу моему близки всѣ труждающіеся и обремененные всѣхъ временъ, всѣхъ странъ и народовъ? Во всѣхъ этихъ, постепенно расширяющихся, по объему захватываемыхъ ими интересовъ, случаяхъ, детерминизмъ не можетъ играть руководящей роли, потому что не даетъ основаній для нравственнаго суда надъ людьми и событіями и для сознательнаго воздѣйствія на ходъ вещей. Это и не его дѣло. Онъ удовлетворяетъ совершенно опредѣленной потребности человѣческой природы, потребности познанія, и заслуги его въ этомъ отношеніи достаточно велики, чтобы была какая-нибудь надобность незаконно расширять предѣлы его компетенціи подавленіемъ другихъ потребностей, которымъ оно удовлетворить, по самому существу своему, не можетъ. Такое незаконное расширеніе имѣетъ своимъ источникомъ либо односторонность ума, либо индифферентизмъ, равнодушіе, либо, наконецъ, то и другое вмѣстѣ. Что-же касается послѣдствій, то таковыми являются или слѣпой фатализмъ, или

Digitized by Google

тѣ сложныя душевныя драмы, о которыхъ мнѣ еще сравнительно недавно пришлось говорить по поводу романа Бурже „Ученикъ“ и драмы Додэ „Борьба за существованіе“ и о которыхъ я, поэтому, распространяться теперь не буду. Тогда-же были указаны и причины, по которымъ, благодаря особенностямъ новѣйшей французской исторіи, именно во Франціи должны были эти драмы получить особенно острый характеръ. Понятное дѣло, что и во Франціи односторонніе умы и равнодушные люди остаются въ сторонѣ отъ подобныхъ драмъ. Мало того, благодаря все тѣмъ-же особенностямъ исторіи, во Франціи больше, чѣмъ гдѣ-нибудь, опошленный неумѣстнымъ примѣненіемъ детерминизмъ могъ распространиться, получивъ такихъ, такъ сказать, уличныхъ и въ своей уличности могущественныхъ пропагандистовъ и популяризаторовъ, какъ Зола и т. п. Вся улица, всѣ бульвары и кабачки узнали, что горевать и негодовать по поводу общественныхъ, нравственно-политическихъ дѣлъ и прать противу-рожна—неразумно, ибо все совершается по естественнымъ законамъ причинной связи. „Анатомія“, „позитивный методъ“ и прочіе жупелы чрезвычайно помогли дѣлу. Они санкціонировали равнодушіе и склонность плыть по теченію какъ въ тѣхъ, кто иначе и не умѣлъ и не хотѣлъ плавать, такъ и въ усталыхъ. А было отчего устать во Франціи! Но не только жизни, что на улицѣ. Да и на самой улицѣ не могли не отражаться болью, обидой и стыдомъ необычайныя несчастія, поражавшія Францію за послѣдніе два-три десятка лѣтъ вплоть до позора Панамы. И Седанъ, и все, что ему предшествовало и что за нимъ слѣдовало,—все это подробности естественнаго хода вещей, управляемаго закономъ причинной связи. Но ограничиваться регистраціей этихъ причинъ и слѣдствій, прежде всего, не „натурально“, не въ натурѣ человѣка.

Боюсь, что читатель припишетъ мнѣ преувеличенное мнѣніе о вліяніи Зола съ его натурализмомъ и протоколизмомъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что вліяніе это было сильно, особенно въ литературныхъ кружкахъ, которые я теперь, главнымъ образомъ, имѣю въ виду. Но Зола, конечно, не одинъ вліялъ въ эту сторону; мало того, самъ онъ былъ лишь вульгарнымъ и вульгаризирующимъ отраженіемъ чужихъ мыслей и вліяній. Не говоря о другихъ, недавно умершіе Тэнъ и Ренанъ, въ формѣ, разумѣется, несравненно болѣе тонкой, осторожной и приличной, съ каѳедръ

Digitized by Google

и въ своихъ учено-литературныхъ произведеніяхъ разливали отраву неумѣстнаго детерминизма. Но и они въ свою очередь были лишь живымъ выраженіемъ извѣстнаго историческаго момента, продуктомъ разгрома всѣхъ идеаловъ, отъ котораго уцѣлѣлъ только идеалъ человѣка науки, безстрастно изслѣдующаго естественный ходъ вещей въ его причинной связи. Въ противоположность тому безшабашному самодовольству, съ которымъ Зола предъявлялъ свой „скальпель анатома“ и тому подобные якобы научные пустяки, сочиненія ихъ нерѣдко освѣщаются грустною, хотя подчасъ и кокетливою улыбкой разочарованія. Были, конечно, и другіе центральные очаги разочарованія, изъ которыхъ оно распространялось къ периферіи, гдѣ о наукѣ знали болѣе или менѣе только по наслышкѣ и относились къ ней съ платоническою почтительностью.

Одною изъ точекъ этой периферіи былъ кабачокъ въ Латинскомъ кварталѣ, гдѣ собирались символисты. Ихъ интересовали преимущественно, а сначала, кажется, даже исключительно, вопросы художественной, и именно стихотворной формы. Во всемъ остальномъ они были не только не свѣдущи, но и не заинтересованы. Но и до нихъ разными, чисто-случайными путями достигали элементы общей смутной атмосферы. Тутъ была и вѣра въ науку, хотя-бы въ кривомъ зеркалѣ золаизма, и фіаско соціально-экономическихъ и нравственно-политическихъ идеаловъ, разочарованіе въ нихъ и разочарованіе, наконецъ, въ самой наукѣ. Все это было очень смутно, запутано и отнюдь не однородно, за исключеніемъ, можетъ быть, одного пункта. Я уже отмѣтилъ въ прошлый разъ тяготѣніе разныхъ „новыхъ теченій“ къ пессимистической мысли объ упадкѣ (décadence) Франціи и даже всего міра. Между символистами и были и есть убѣжденные католики, для которыхъ наука, по выраженію Поля Верлена, есть „убійца молитвы и пѣсни, и искусства“. Для этихъ, по крайней мѣрѣ, отчасти было ясно, въ чемъ состоитъ „упадокъ“, но затѣмъ упадокъ больше чувствовался, нежели понимался. И понятное дѣло, что эта увѣренность въ какомъ-то всеобщемъ упадкѣ, не подкрѣпленная ни знаніемъ, ни яснымъ сознаніемъ, открывала широкій просторъ для самыхъ дикихъ идей и совершенно произвольныхъ фантазій. Давно извѣстно, что во времена сильныхъ политическихъ пароксизмовъ, поражающихъ воображеніе, вселяющихъ и разбивающихъ большія надежды и опасенія,

Digitized by Google

число психическихъ разстройствъ, равно какъ и самоубійствъ, значительно увеличивается. И любой изъ этихъ несчастныхъ безумцевъ могъ явиться въ среду символистовъ съ болѣе или менѣе серьезными шансами на успѣхъ своей безумной проповѣди. Въ такомъ-же благопріятномъ положеніи оказывался и любой шутникъ или самолюбецъ, мечтающій о послѣдователяхъ и ученикахъ, о собственной школѣ или сектѣ. А такихъ самолюбцевъ должно было много быть, такъ какъ на фонѣ всеобщаго упадка и полнаго отсутствія признанныхъ авторитетовъ особенно соблазнительно выскочить съ „новымъ словомъ", потому что, вѣдь, въ старыя слова извѣрились, или ихъ забыли, или просто не знаютъ ихъ.

Если во всемъ этомъ искать не какую-нибудь общую опредѣленную мысль, ясно сознанную,—такой нѣтъ въ этихъ новыхъ теченіяхъ,—а ту интимную и инстинктивную подкладку, въ которой такъ или иначе смутно отразились общее недовольство и общая потребность времени, то она окажется въ слѣдующемъ.

Человѣкъ со всѣми своими помыслами, чувствами и дѣйствіями составляетъ одно изъ звеньевъ цѣпи причинъ и слѣдствій. Но онъ участвуетъ въ этой цѣпи и какъ активный факторъ: онъ сознательно (пусть это будетъ иллюзія сознанія) становится самъ причиною извѣстнаго рода явленій, для чего ставитъ себѣ извѣстныя цѣли. Ученіе объ этихъ цѣляхъ, долженствующее обнимать всю область идеаловъ, личныхъ и общественныхъ, столь же необходимо, какъ и детерминизмъ, ученіе о причинной связи, съ которымъ оно должно быть приведено въ гармоническое объединеніе. Детерминизмъ отвѣчаетъ лишь разуму, потребности познанія; поэтому, при исключительномъ его господствѣ, остальные два элемента душевной жизни—чувство и воля — остаются безъ удовлетворенія, жизнь тускнѣетъ, вянетъ, обезцвѣчивается. Такъ что *въ этомъ смыслѣ* символисты (и не одни они, конечно) совершенно правы, говоря объ изсушающемъ жизнь вліяніи науки. Но въ своемъ чистомъ видѣ это случай отвлеченно-гипотетическій. Въ дѣйствительности мы видимъ лишь бо́льшую или меньшую односторонность. Въ дѣйствительности само изученіе причинной связи явленій можетъ стать цѣлью жизни, возбуждая своего рода радости и печали и могущественно направляя волю. Это случай весьма возможный и даже сравнительно нерѣдкій въ области естествознанія. Не то въ области вопросовъ нравственно-

Digitized by Google

политическихъ. Здѣсь чувство и воля лишь въ видѣ уродства могутъ удовлетвориться самымъ процессомъ познанія, и, пожалуй, благо такому уроду лично, ибо въ противномъ случаѣ придавленные въ немъ элементы жестоко мстятъ за себя. Этою местью окрашены иногда цѣлыя эпохи, когда, вслѣдствіе отсутствія равновѣсія между разумомъ, чувствомъ и волей, жизнь утрачиваетъ смыслъ, когда цѣлымъ обществомъ овладѣваетъ атмосфера безцѣльности существованія. Для такого удрученнаго положенія нѣтъ надобности, чтобы всѣ и каждый ясно сознавали, въ чемъ состоитъ бѣда; бѣда въ воздухѣ носится, какъ невидимая зараза, и минуетъ лишь тѣхъ, конечно, очень многочисленныхъ, кто живетъ изо дня въ день исключительно животною жизнью. Всѣми же остальными либо неисходная, хотя бы и совершенно безпредметная, тоска овладѣваетъ, либо жажда, хотя бы безсознательная, исхода. А исходъ одинъ: нужны такія цѣли, такіе идеалы, которые, возбуждая нравственное чувство, давая ему мѣрило добра и зла, направляли бы человѣка къ дѣятельному участію въ торжествѣ добра и, въ то же время, находились бы въ полномъ согласіи съ уровнемъ положительнаго знанія въ данный историческій моментъ.

Разные люди ищутъ этого выхода, въ томъ числѣ и символисты; ищутъ въ значительной степени безсознательно, легко попадая въ руки безумцевъ и простыхъ самолюбцевъ. Констатируя въ настоящемъ какой-то для нихъ самихъ неясный „упадокъ“, они съ завистью обращаются къ прошлому, прежде всего къ среднимъ вѣкамъ. Я уже упоминалъ, что въ числѣ символистовъ есть не мало католиковъ и, кажется, большею частью воспитанниковъ іезуитскихъ школъ. Уже одно это обстоятельство направляетъ ихъ мысль къ эпохѣ полнаго безраздѣльнаго господства католицизма. Но и помимо заложенныхъ еще въ дѣтствѣ духовныхъ сѣмянъ, всякій постоянный наблюдатель, совершенно даже отрицательно относящійся къ средневѣковой жизни, долженъ признать за ней извѣстную полноту и цѣльность, завидную для нашихъ надломанныхъ, надтреснутыхъ современниковъ. Люди тогда не колебались жить и умирать ради того, что считали святымъ; они не сомнѣвались въ немъ мыслью, тяготѣли къ нему чувствомъ и почерпали въ немъ руководящее начало для своей дѣятельности; теоретическая истина, практическая мораль и непосредственная дѣятельность сливались въ одинъ аккордъ; человѣкъ жилъ *весь*, цѣликомъ, безъ внутренняго разлада. Нельзя ли вернуться

Digitized by Google

къ этой цѣльности съ полною неприкосновенностью ея догматовъ и формъ? Нѣкоторые думаютъ, что можно, что это только вопросъ времени и энергіи. Эти для насъ не интересны. Не будемъ мы также разсматривать здѣсь всѣ попытки примиренія католицизма съ пріобрѣтеніями позднѣйшихъ временъ въ области науки и политической практики. Послѣдняя очень мало занимаетъ символистовъ, они больше въ высотахъ теоріи витаютъ, и здѣсь ихъ мысль выкидываетъ поистинѣ удивительные курбеты.

Отъ среднихъ вѣковъ символистовъ тянетъ еще дальше въ глубь исторіи,—кого къ „первоначальной и вѣчной мудрости Востока“ вообще, кого къ древней Ассиріи, Индіи, Египту. И въ этомъ есть свои резоны. Можно, конечно, говорить въ общихъ чертахъ и въ краткой формулѣ, особенно въ стихахъ, что наука есть „убійца молитвы и пѣсни, и искусства“. Но самый фанатическій католикъ не можетъ отрицать гигантскихъ пріобрѣтеній науки,—они на лицо, и связать ихъ съ устарѣлыми догматами, повидимому, нѣтъ никакой возможности. Однако, относительно, по крайней мѣрѣ, одной группы этихъ пріобрѣтеній „новыя теченія“ нашли такую возможность. Это именно группа опытовъ, наблюденій и изслѣдованій по гипнотизму и связаннымъ съ нимъ психо-физіологическимъ явленіямъ. Работы эти, уже теперь многое освѣтившія, имѣютъ несомнѣнно блестящую будущность, но пока въ нихъ есть еще не мало спорнаго и непровѣреннаго. Торопливые умы не хотятъ этого знать, а умы недисциплинированные и фантастическіе мечтаютъ уже о возрожденіи магіи. Ученіе о гипнотизмѣ освѣщаетъ, между прочимъ, нѣкоторыя мрачныя страницы средневѣковой исторіи. Но, вмѣсто того, чтобы признать, что, напримѣръ, разныя вѣдьмы и колдуньи, сознававшіяся въ своихъ сношеніяхъ съ дьяволомъ, были истерички и жертвы внушенія, фантастическіе умы склонны, наоборотъ, въ истеріи и гипнозѣ видѣть участіе дьявола и его могущественныхъ служителей—маговъ. Въ упомянутомъ романѣ Гюисманса „Là-Bas“ есть чрезвычайно интересныя въ этомъ отношеніи страницы. Но, очевидно, не зачѣмъ останавливаться на среднихъ вѣкахъ: вся средневѣковая магія была, можетъ быть, только наслѣдницей и, во всякомъ случаѣ, преемницей магіи, „тайнаго знанія“ древняго Востока, куда, значитъ, и слѣдуетъ обращаться, какъ къ источнику „первоначальной и вѣчной мудрости“. Но это были, все-таки, знанія, хотя и тайныя, своего рода наука, которую, по крайней

Digitized by Google

мѣрѣ, избранные могутъ и теперь изучать. Отсюда двойственное отношеніе къ наукѣ: съ одной стороны презрѣніе и недовольство, а съ другой—непомѣрныя надежды на нее, образцы которыхъ мы уже видѣли.

Я приведу еще примѣръ, нѣсколько отличный. Въ 1891 г. въ Парижѣ вышла книжка, подписанная псевдонимомъ „Princesse Sapho“, подъ заглавіемъ: „Le tutu. Moeurs fin de siècle. Avec une planche de musique céleste et une composition symbolique de Binet“. Это настоящій бредъ безумца и, притомъ, верхъ мерзости, превосходящей всякое описаніе. Не то чтобы онъ отличался скабрезнымъ, эротическимъ характеромъ, — напротивъ, этотъ элементъ сравнительно слабъ въ книгѣ, а переполнена она разными нечистоплотностями, въ числѣ которыхъ чуть не на каждой страницѣ фигурируютъ твердыя и жидкія испражненія, рвота и т. п. Нельзя читать безъ омерзѣнія эту ерунду, но по временамъ нельзя и не улыбнуться. Вслѣдствіе разныхъ удивительныхъ обстоятельствъ, оказывается надобность, чтобы у героя разсказа появилось молоко въ грудяхъ,—онъ долженъ кормить ребенка. Операцію эту очень легко устраиваетъ знаменитый ученый Мессе-Малу, при помощи впрыскиванія млекотворныхъ вибріоновъ. Чтобы опредѣлить, куда именно должно быть произведено впрыскиваніе, Мессе-Малу внимательно разсматриваетъ большой палецъ героя, бормоча при этомъ слѣдующія якобы „латинскія и научныя слова“: „Région précordiale du molossos gringatoire... stirpfiriques golgomerus... carbonate d'amphibole... acrobate de porphyre... clitoria ternata... bismuth végétal“. Потомъ великій ученый велитъ подать себѣ „наваръ децильоннаго разведенія въ 44 градуса южной долготы“ и производитъ впрыскиваніе. Въ ожиданіи, пока операція окажетъ свое дѣйствіе, онъ отправляетъ паціента погулять въ саду. Въ саду этомъ много рѣдкостей, изъ которыхъ мы остановимся только на одной. Ученый Мессе-Малу, на основаніи нѣкоторыхъ теоретическихъ соображеній, выростилъ дерево „l'hommier“,—дерево, на которомъ ростутъ люди, какъ яблоки на яблонѣ. Въ объясненіе текста приложена картинка (она-то и есть обѣщанная въ заглавіи composition symbolique). На вѣткахъ дерева висятъ прикрѣпленные особыми отростками къ темени люди; тутъ есть ребенокъ, взрослый китаецъ въ соотвѣтственномъ костюмѣ, съ длинными усами и косой, какое-то безголовое туловище, молодая дѣвушка въ модномъ костюмѣ и съ вѣеромъ въ

Digitized by Google

рукахъ, молодой человѣкъ въ пиджакѣ, курящій трубку, еще какіе-то люди. Въ текстѣ поясняется, что люди эти разныхъ національностей, а для полноты коллекціи прибавлены еще слѣпой, глухонѣмой и безголовый. Всѣ эти плоды человѣчьяго дерева выращены ученымъ Мессе-Малу такимъ образомъ: онъ собралъ множество половыхъ органовъ („и Боже! какою цѣной они мнѣ достались!"—восклицаетъ великій ученый), закопалъ ихъ въ землю и погрузилъ въ нихъ корни кипариса,—и вотъ результатъ! Удерживаюсь отъ невозможныхъ для передачи подробностей...

Да не подумаетъ читатель, что это какая-нибудь пародія или вообще шутка. Нѣтъ, кто прочтетъ эту невообразимо нелѣпую книжку, тотъ убѣдится, что это настоящій бредъ сумасшедшаго, который отнюдь не думаетъ шутить. И какъ ни нелѣпы надежды, возлагаемыя „княгиней Сафо" на науку, онѣ, все-таки, сообразнѣе съ обликомъ науки, чѣмъ „флюидическіе кулаки", барабанящіе по головѣ Гюисманса, невидимая драка между Ліономъ и Парижемъ, „домашній духъ" Гюаиты, астральныя похожденія Пеладана и проч. Ученый Мессе-Малу предъявляетъ извѣстную теорію, на основаніи которой и дѣйствуетъ. Теорія эта нелѣпа, но она не выходитъ изъ предѣловъ естества, и всякій можетъ ее провѣрить, если бы нужна была такая провѣрка. Тѣ же господа обладаютъ какимъ-то „тайнымъ" знаніемъ, доступнымъ лишь избраннымъ, или ищутъ таковаго и желаютъ обратить въ тайну ученіе о гипнотизмѣ, когда все въ немъ явно и ни малѣйше не колеблетъ установившихся въ наукѣ понятій о законахъ природы. Реагируя противъ злоупотребленія детерминизмомъ, точнѣе говоря, противъ неумѣстнаго его примѣненія, смутная мысль представителей „новыхъ теченій", по выраженію одного изъ дѣйствующихъ лицъ Гл. Успенскаго, „не туда, не въ то мѣсто попадаетъ". Можно завидовать цѣльности и полнотѣ древней жизни, не расколотой сомнѣніями и колебаніями. Можно и должно желать такой же цѣльности и для насъ, но это можетъ быть достигнуто лишь на почвѣ объединенія нашихъ теперешнихъ знаній о природѣ вещей, нашихъ нравственныхъ идеаловъ и нашей практической дѣятельности. Мистицизмъ, тяготѣніе къ тайнѣ во что бы то ни стало, даже тамъ, гдѣ ровно никакой тайны нѣтъ, конечно, тутъ не поможетъ. Символисты поняли или почувствовали, что нельзя жить однимъ детерминизмомъ, но стали подкапываться подъ него съ такой стороны, съ которой онъ рѣшительно неуязвимъ.

Digitized by Google

Въ своихъ мало сознательныхъ поискахъ цѣльной, гармонической жизни всѣмъ существомъ, всѣми доступными человѣку сторонами жизни, символисты или вообще „новыя теченія“ „не въ то мѣсто попадаютъ“ еще на одномъ, крайне любопытномъ пунктѣ. Его-то, кажется, и имѣетъ въ виду г. Мережковскій, говоря о „расширеніи художественной впечатлительности“, какъ объ одной изъ заслугъ символизма.

Представители новыхъ теченій очень любятъ слово „синтезъ“, которое фигурируетъ въ ихъ писаніяхъ почти такъ же часто, какъ и слово „символъ“. Саръ Пеладанъ писалъ Жюлю Гюре: „Вы спрашиваете, что такое магизмъ? Это — высшая культура, синтезъ, предполагающій всѣ анализы, высшій результатъ сочетанія гипотезы съ опытомъ, верховенство ума и вѣнецъ науки, соединенной съ искусствомъ“. Поль Аданъ, когда-то ярый послѣдователь натурализма, за излишнюю протокольность скабрезнаго характера подвергшійся даже судебному преслѣдованію, а теперь магъ, собственными глазами видѣвшій „домашняго духа“ въ шкафу у Станислава Гюаита, говорилъ тому же Гюре: „натуралисты“ и „психологи“ занимались анализомъ, а символистамъ предстоитъ построить синтезъ. Признанный теоретикъ новыхъ теченій, Шарль Морисъ, говоритъ въ своей книгѣ „La littérature de tout à l'heure“: „Въ глубинѣ души молодыхъ поэтовъ лежитъ жажда всего; эстетическій синтезъ—вотъ чего они ищутъ“. И въ другомъ мѣстѣ той же книги: „современная литература синтетична; она мечтаетъ *воздѣйствовать на всего человѣка всѣмъ искусствомъ*“ (и жирный шрифтъ, и курсивъ принадлежатъ Морису).

Всякій синтезъ есть соединеніе или возсоединеніе разрозненныхъ элементовъ въ одно цѣлое. И на основаніи всего вышеизложеннаго можно бы было думать, что символисты предоставляютъ искусству дѣйствительно высокую миссію. Искусство непосредственно имѣетъ дѣло съ эстетическимъ чувствомъ, и нѣкоторые думаютъ тѣмъ и ограничить его задачи. Я думаю, что такое ограниченіе не только незаконно въ теоретическомъ смыслѣ, но и невозможно на практикѣ. Мы не будемъ, однако, на этомъ останавливаться, такъ какъ рѣчь у насъ идетъ о символистахъ, а они желаютъ воздѣйствовать путемъ искусства на „всего человѣка“. „Весь человѣкъ“,—эта формула, вѣдь, обнимаетъ и разумъ, и нравственное чувство, и практическую дѣятельность, и, слѣдовательно, символисты желаютъ, чрезъ посред-

Digitized by Google

ство эстетической эмоціи, воздѣйствовать на всѣ эти элементы. Въ этомъ состоитъ ихъ „синтезъ“. Въ смутномъ видѣ такая постановка вопроса о задачахъ искусства дѣйствительно пробивается кое-гдѣ въ писаніяхъ символистовъ, но именно въ очень смутномъ видѣ, въ крайне туманныхъ выраженіяхъ, которыя вообще свойственны представителямъ „новыхъ теченій“. Однако, эта смутная, находящаяся, такъ сказать, въ зародышевомъ состояніи мысль неожиданно подмѣняется другою, не имѣющею съ нею ничего общаго, но чрезвычайно характерною и до извѣстной степени уже практикуемою символистами.

Читатель благоволитъ припомнить нѣкоторыя отмѣтки, мимоходомъ сдѣланныя мною еще въ прошлый разъ. Такъ, я обращалъ вниманіе читателей на пристрастіе новыхъ поэтовъ къ слову „chair“ въ смыслѣ тѣла, въ тѣхъ случаяхъ, когда старый поэтъ сказалъ бы „corps“. Это одинъ изъ образчиковъ „расширенія художественной впечатлительности“: слово „corps“, тѣло, внушаетъ мысль только о формѣ, тогда какъ слово „chair“, мясо, гораздо болѣе слабое по отношенію къ формѣ, но вызывающее, все-таки, и зрительное впечатлѣніе, говоритъ и другимъ чувствамъ. Конечно, это только мое личное объясненіе, но оно находится въ полномъ согласіи съ другими фактами, изъ которыхъ мы въ прошлый разъ отмѣтили пристрастіе Метерлинка къ характеристикѣ идей, чувствъ, отношеній эпитетами, заимствованными изъ области цвѣтовыхъ ощущеній,—„голубая бездѣятельность“, „желтыя стрѣлы сожалѣнія“ и проч. Согласуется оно и съ вышеприведеннымъ признаніемъ Артура Рембо въ „Алхиміи слова“: онъ надѣялся „изобрѣсти поэтическое слово, которое рано или поздно было бы доступно *всѣмъ* чувствамъ“.

Къ этому можно было бы прибавить еще многое. Такъ, Сенъ-Поль-Ру-Великолѣпный въ письмѣ къ Жюлю Гюре изложилъ на своемъ удивительномъ языкѣ слѣдующую теорію: „Въ поэтической религіи душа есть арфистъ, арфу котораго представляетъ собою тѣло. Это пятиструнная арфа. Щипните одну изъ струнъ и вы получите эгоистическій и односторонній голосъ въ пустынѣ; троньте всѣ пять струнъ—и вотъ экспансивная любовь, вотъ симфонія... Органически говоря, поэтъ можетъ, слѣдовательно, быть сравниваемъ съ высшею арфой, обращающеюся къ маленькимъ арфамъ народовъ... Поэзія, синтезъ различныхъ искусствъ, есть единовременно *вкусъ*, *запахъ*, *звукъ*, *свѣтъ*, *форма*... Поэти-

Digitized by Google

ческое произведеніе есть пятигранная призма—sapide-odorante-sonore-visible-tangible". Какъ ни исключительно своеобразна на первый взглядъ теорія Сенъ-Поль-Ру-Великолѣпнаго, она лишь съ наглядною грубостью излагаетъ интимную руководящую мысль большинства символистовъ, на какія бы секты и подсекты они ни раздѣлялись. Всѣ символисты, маги, инструментисты, маньифики исповѣдуютъ необыкновенное почтеніе къ Рихарду Вагнеру, собственно за „синтезъ" музыки, поэзіи и сценическаго искусства. Нѣкоторые привѣтствуютъ попытки раскрашиванія статуй, опять-таки, какъ синтезъ скульптуры и живописи. Но наиболѣе распространена тенденція къ сліянію поэзіи съ звуковыми и цвѣтовыми ощущеніями. Поль Верленъ требуетъ отъ стиховъ „музыки прежде всего". Рене Гиль пишетъ: „Для выраженія извѣстнаго состоянія духа нужно заботиться не о точномъ лишь значеніи слова, о чемъ до сихъ поръ только и думали; эти слова должны выбираться съ точки зрѣнія ихъ звучности, такъ чтобы ихъ цѣлесообразное, разсчитанное сочетаніе давало математическій эквивалентъ того музыкальнаго инструмента, который былъ бы пущенъ въ ходъ въ оркестрѣ для выраженія даннаго состоянія духа". Но слова, фразы, образы, картины должны быть подчинены не звуковымъ только ощущеніямъ, а и ощущеніямъ цвѣта. Недаромъ Артуръ Рембо „изобрѣлъ" цвѣтныя гласныя, недаромъ Метерлинкъ характеризуетъ извѣстныя состоянія духа эпитетами „голубой", „бѣлый", „зеленый" и т. д. Приведенное мною въ прошлый разъ стихотвореніе Метерлинка о „бѣлыхъ павлинахъ" представляетъ собою полное осуществленіе этой двойственной программы. Тутъ и обиліе носовыхъ звуковъ, и неумѣренно повторяющееся слово „бѣлый" пущены въ ходъ съ намѣреніемъ вызвать извѣстное настроеніе при помощи звуковыхъ и цвѣтовыхъ ощущеній. Стихотвореніе не имѣетъ рѣшительно никакого смысла, но не въ смыслѣ и дѣло въ подобныхъ произведеніяхъ.

Читатель теперь видитъ, въ чемъ состоитъ „синтезъ" символистовъ и какъ они понимаютъ „воздѣйствіе *всего* искусства на *всего* человѣка". „Весь человѣкъ" для нихъ отнюдь не значитъ существо мыслящее, чувствующее и дѣйствующее, а существо слышащее, видящее, обоняющее, осязающее и вкушающее. Такимъ образомъ, дѣйствительная и настоятельная потребность въ объединеніи науки, нравственныхъ идеаловъ и практической дѣ-

Digitized by Google

ятельности подмѣнивается фантастическою задачей, касающеюся, главнымъ образомъ, если не исключительно, художественной техники. Какія слова употреблять и какъ ихъ располагать надо для надлежащаго художественнаго эффекта,—таковъ главный предметъ заботъ символистовъ. Отсюда эта утомительная вымученность языка, пріискиваніе рѣдкихъ, старинныхъ или вновь сочиненныхъ выраженій, непонятные обороты рѣчи, эквилибристика версификаціи. Но я назвалъ задачу символистовъ не только техническою, а и фантастическою, и это послѣднее можетъ показаться несправедливымъ. Въ самомъ дѣлѣ, техника искусства, вѣдь, не сказала своего послѣдняго слова, да и когда же она его скажетъ? Поэтому и задача символистовъ, при всей своей узости, можетъ имѣть свое значеніе. Это не новое міровоззрѣніе и тѣмъ паче не новая религія, какъ гордо мечтаютъ нѣкоторые символисты, не какая-нибудь новая формула, обнимающая „всего человѣка“ единымъ принципомъ; но это, можетъ быть, дѣйствительно „расширеніе художественной впечатлительности“ и выработка соотвѣтственныхъ техническихъ пріемовъ.

Лоранъ Тальядъ мистифицировалъ, по его словамъ, податливые умы посѣтителей кабачка въ Латинскомъ кварталѣ разными разностями, въ томъ числѣ цвѣтными гласными. Можетъ быть, дѣйствительно мистифицировалъ, но „изобрѣлъ“ цвѣтныя гласныя не онъ, а Артуръ Рембо. Такъ говоритъ самъ Рембо. Можетъ быть, дѣйствительно изобрѣлъ, то-есть своимъ умомъ дошелъ, но дѣло въ томъ, что цвѣтныя гласныя представляютъ собою несомнѣнный научный фактъ, хотя и не вполнѣ разработанный.

Когда мы говоримъ: „черная неблагодарность“, „розовыя надежды“, „зеленая молодежь“ и т. п., то вполнѣ понимаемъ другъ друга, хотя-бы и не получали при этомъ впечатлѣнія чернаго, розоваго, зеленаго цвѣта. Эти эпитеты издавна срослись въ общемъ сознаніи съ опредѣляемыми ими предметами, такъ что никому и въ голову не приходитъ спросить себя: почему собственно неблагодарность—черная, а надежда—розовая? Что касается „зеленой молодежи“, то это дѣло, вѣроятно, простой аналогіи съ весеннею растительностью, но черная неблагодарность и розовая надежда имѣютъ, можетъ быть, гораздо болѣе глубокій смыслъ. Мы когда-нибудь въ другой разъ остановимся на этомъ любопытномъ предметѣ, а теперь съ насъ достаточно знать, что тщательными опытами дознано извѣстное постоянное соотношеніе между

Digitized by Google

ощущеніемъ даннаго цвѣта и общимъ душевнымъ состояніемъ. Возможно поэтому, что ассоціація идей чернаго цвѣта и неблагодарности, розоваго цвѣта и надежды—не есть что-нибудь условное, а коренится въ реальной связи представленій чернаго и розоваго цвѣта, съ одной стороны, и состоянія духа, вызываемаго неблагодарностью и надеждой—съ другой. Возможны, однако, подобныя же ассоціаціи идей и совершенно случайнаго и, такъ сказать, индивидуальнаго характера. Если, положимъ, ребенокъ былъ испуганъ собакой, сбившей его съ ногъ лицомъ въ траву, зеленый цвѣтъ которой бросился ему въ ту минуту въ глаза, то это впечатлѣніе зеленаго цвѣта можетъ прочно и навсегда ассоціироваться въ его мозгу съ представленіемъ опасности. Но мы, не пережившіе такого случая, конечно, не поймемъ его, когда онъ будетъ намъ говорить о „зеленой опасности". Подобныя же сочетанія, какъ общія для всѣхъ нормальныхъ людей, такъ и случайныя, возможны и въ области другихъ чувствъ: слуха, осязанія, обонянія, вкуса. Это отражается и въ вѣковыхъ напластованіяхъ человѣческаго языка, въ которыхъ утверждаются, кромѣ того, еще и сочетанія слова, основанныя исключительно на аналогіи и метафорѣ. Возьмемъ, напримѣръ, два общеупотребительныя шекспировскія выраженія: „мохнатое сердце" и „ревность—чудовище съ зелеными глазами". Во-первыхъ, сердце, то духовное сердце, которое тутъ подразумѣвается, находится не въ анатомическомъ сердцѣ, а въ мозгу; во-вторыхъ, и анатомическое сердце не можетъ быть мохнато. Однако, мы не только отлично понимаемъ, что значитъ мохнатое сердце, но справедливо видимъ въ этомъ выраженіи стблескъ шекспировскаго генія, метафорически перенесшаго звѣриную шкуру на сердце жестокаго человѣка; зрительное и осязательное ощущенія мохнатости тутъ совсѣмъ не причемъ, но ассоціація идей для насъ понятна. Что же касается „чудовища съ зелеными глазами", то понять это выраженіе несравненно труднѣе. Оно, по всей вѣроятности, есть результатъ случайной, индивидуальной ассоціаціи идей, который мы принимаемъ, такъ сказать, въ кредитъ, на вѣру къ генію Шекспира. Скажи это не Шекспиръ, а Метерлинкъ или Рембо, „чудовище съ зелеными глазами", навѣрное, не вошло бы въ нашъ разговорный обиходъ. Капризность и неуловимость нѣкоторыхъ ассоціацій представленій съ цвѣтовыми и иными ощущеніями хорошо очерчена гр. Л. Н. Толстымъ въ „Войнѣ и мирѣ".

Digitized by Google

Наташа Ростова разговариваетъ съ матерью о влюбленномъ въ нее Борисѣ Друбецкомъ:

„— Онъ очень милъ, очень, очень милъ! Только не совсѣмъ въ моемъ вкусѣ, -онъ узкій такой, какъ часы столовые... Вы не понимаете?... Узкій, знаете, сѣрый, свѣтлый...

„— Что ты врешь!—сказала графиня.

„Наташа продолжала:

„— Неужели вы не понимаете? Николинька бы понялъ... Безуховъ— тотъ синій, темно-синій, съ краснымъ, и онъ четвероугольный.

„— Ты и съ нимъ кокетничаешь,—смѣясь, сказала графиня.

„— Нѣтъ, онъ франмасонъ, я узнала. Онъ славный, темно-синій съ краснымъ, какъ вамъ растолковать?...“

Читая этотъ разговоръ не въ отрывкѣ, а въ самомъ текстѣ, въ связи съ остальными чертами характера Наташи, ясно чувствуешь всю правдивость сцены: Наташѣ дѣйствительно Борисъ представляется чѣмъ-то сѣрымъ, свѣтлымъ и узкимъ, похожимъ на столовые часы, а Безуховъ—четвероугольнымъ и темно-синимъ съ краснымъ; Николинька дѣйствительно, можетъ быть, понялъ бы это, но старая графиня, а вмѣстѣ съ нею и читатель, не понимаетъ, и сама Наташа имъ этого растолковать не можетъ. Изъ подобныхъ комбинацій наиболѣе изучаемы были явленія цвѣтного слуха. У нѣкоторыхъ людей всю жизнь, у нѣкоторыхъ, повидимому, въ періоды особеннаго возбужденія, извѣстные звуки, кромѣ слухового ощущенія, вызываютъ еще зрительное, притомъ всегда одно и то же, то-есть всегда соотвѣтствующее данному звуку, но у одного звукъ *a* всегда ассоціируется, положимъ, съ ощущеніемъ чернаго цвѣта, у другого же всегда вызываетъ ощущеніе голубого цвѣта. Знаменитый сонетъ Артура Рембо, можетъ быть, и очень точно передающій его собственныя ощущенія, вовсе не обязателенъ для всѣхъ, обладающихъ цвѣтнымъ слухомъ.

Всѣ эти бѣглыя замѣчанія не имѣютъ, разумѣется, ни малѣйшей претензіи исчерпать вопросъ. Но они могутъ дать нѣкоторый намекъ на крайнюю сложность и разнообразіе той области, въ которую пускаются плохо вооруженные символисты подъ знаменемъ „воздѣйствія всего искусства на всего человѣка“. Они желаютъ имѣть дѣло не съ самыми явленіями, а лишь съ тѣмъ настроеніемъ, которое вызывается въ нихъ явленіями. Въ принципѣ и въ теоріи они предполагаютъ достигать этого воздѣйствіемъ на всѣ органы чувствъ единовременно. Говорю—въ прин-

Digitized by Google

ципѣ и въ теоріи, потому что на дѣлѣ они до сихъ поръ ограничиваются, главнымъ образомъ, слухомъ и затѣмъ зрѣніемъ. Точный смыслъ словъ не имѣетъ при этомъ для нихъ никакого значенія. Талантливый писатель можетъ и теперь, установившимися въ искусствѣ пріемами, изобразить, скажемъ, конюшню такъ, что воспріимчивый читатель легко представитъ себѣ и видъ конюшни, и масть, и ржаніе лошадей, и топотъ копытъ, и запахъ навоза и проч. Для символистовъ этого, съ одной стороны, слишкомъ много, а съ другой — слишкомъ мало. Для нихъ важенъ не точный смыслъ словъ, — не нужно, пожалуй, даже слова „конюшня"—а такой ихъ выборъ и расположеніе, чтобъ они обдавали читателя сразу всѣми красками, звуками, запахами конюшни. Несмотря на почтеніе всѣхъ символистовъ къ вагнеровскому „синтезу" музыки, поэзіи и сценическаго искусства, они имъ удовлетвориться не могутъ. Марсельеза, какъ литературное произведеніе, и та же марсельеза, какъ пѣсня, какъ произведеніе музыкальное, вполнѣ гармонируютъ между собой, но символистамъ нужно не такое сотрудничество поэзіи и музыки, а сліяніе различныхъ искусствъ въ составѣ самой поэзіи. И въ этомъ заключается фантастичность ихъ предпріятія.

Въ стихотвореніи Метерлинка „Скука" какіе-то „беззаботные павлины, бѣлые павлины, улетѣли отъ скуки пробужденія" (les paons nonchalents, les paons blancs ont fui, les paons blancs ont fui l'ennui du réveil), а потомъ авторъ „слышитъ, какъ бѣлые павлины, павлины скуки, безпечно ожидаютъ временъ безъ солнца" (j'entends les paons blancs, les paons d'ennui, attendre indolents les temps sans soleil); тутъ же фигурируетъ „прудъ безъ солнца" (l'étang sans soleil). Въ этомъ нѣтъ никакого смысла, просто наборъ словъ, но это не бредъ сумасшедшаго, какъ думаетъ Максъ Нордау, слишкомъ обобщая нѣкоторыя несомнѣнно болѣзненныя явленія символистской литературы. Это—безсмыслица сознательная, планомѣрная. Метерлинкъ ищетъ такихъ звуковъ (даже не словъ) и такого ихъ расположенія въ ритмическихъ строчкахъ, чтобъ они внушали читателю настроеніе скуки, и достигаетъ этого однообразіемъ носовыхъ звуковъ—quasi-музыкой усиливаетъ quasi-поэзію. Стихотвореніе это непереводимо на иностранные языки, потому что въ результатѣ такого перевода останется только безсмыслица содержанія, а комбинація носовыхъ звуковъ, свойственныхъ французскому языку, пропадетъ. Но по задачѣ

Digitized by Google

своей оно и не нуждается въ переводѣ, потому что входящія въ его составъ слова и для французовъ не имѣютъ самостоятельнаго значенія. „Прудъ безъ солнца“ (l'étang sans soleil) и „времена безъ солнца (les temps sans soleil) звучатъ по-французски совершенно одинаково, ничѣмъ не отличаются на слухъ, но не имѣютъ смысла ни по-французски, ни по-русски, ни по-каковски. Авторъ „слышитъ“, какъ чего-то ожидаютъ бѣлые павлины. Слышать этого нельзя,—ожиданіе можетъ сопровождаться звуками, но само по себѣ оно предполагаетъ, напротивъ, тишину; можно, пожалуй, видѣть чего-то ожидающихъ павлиновъ, но если бъ авторъ сказалъ je vois, вмѣсто j'entends, то у него пропало бы цѣлыхъ два носовыхъ звука, а онъ ихъ-то именно и набираетъ для своего словесно-музыкальнаго синтеза. Талантливые поэты всѣхъ временъ и народовъ инстинктивно выбираютъ въ своемъ родномъ языкѣ слова, звуковой составъ которыхъ болѣе или менѣе соотвѣтствуетъ характеру изображаемаго предмета или чувства. Для примѣра, который пригодится намъ еще и въ другомъ отношеніи, вспомнимъ некрасовскія строки:

„Идетъ-гудетъ зеленый шумъ,
Зеленый шумъ, весенній шумъ“.

Въ самыхъ звукахъ этихъ строкъ слышится какъ бы гудѣніе просыпающагося лѣса, и понятно, что эта сторона стихотворенія. столь выразительная для русскаго уха, пропадетъ въ переводѣ, Не помню, въ какой нѣмецкой книжкѣ я читалъ забавныя соображенія о странностяхъ русскаго языка. Нѣмецъ удивлялся, что такому страшному звѣрю, какъ Bär, русскіе дали такое нѣжное названіе, какъ Medwied, а такое нѣжное чувство, какъ ich liebe, выражаютъ такимъ грубымъ словомъ, какъ liubliu. Не удивительно поэтому, что иностранцы не оцѣнятъ звуковой красоты стихотворенія Некрасова, но и для нихъ понятна будетъ красоты описанія и самая мысль стихотворенія. Что же касается стихотворенія Метерлинка, то надо еще доказать, что французскому уху оно дѣйствительно внушаетъ идею или настроеніе скуки, а затѣмъ и въ этомъ случаѣ оно имѣетъ исключительно мѣстное значеніе. Если бы великіе поэты такъ писали, то Шекспиръ, Гёте, Байронъ и проч. не были бы всемірнымъ достояніемъ.

Но этого мало. Метерлинкъ пытается сказать что-то о скукѣ не только нашему уху нагроможденіемъ носовыхъ звуковъ, но

577714

Digitized by Google

и нашему глазу образомъ бѣлыхъ павлиновъ. Подобную же попытку можно усмотрѣть, пожалуй, и въ „*зеленомъ* шумѣ“ Некрасова. Но вотъ въ чемъ разница. Некрасовъ дѣлаетъ къ заглавію *Зеленый шумъ* подстрочное примѣчаніе: „Такъ народъ называетъ пробужденіе природы весной“. Однако, и безъ такого поясненія вездѣ, гдѣ есть весна и лѣсъ, „зеленый шумъ“ былъ бы вполнѣ понятенъ, и, притомъ, не только организаціямъ, обладающимъ цвѣтнымъ слухомъ, а всѣмъ, кто способенъ получать ощущенія зеленаго цвѣта и лѣсного шума. А что такое бѣлый павлинъ по прикосновенности къ скукѣ? Это тайна Метерлинка, для котораго, вслѣдствіе какихъ-то не извѣстныхъ намъ личныхъ, случайныхъ обстоятельствъ, эти два представленія ассоціировались, а намъ, читателямъ, образъ бѣлаго павлина рѣшительно ничего не говоритъ о скукѣ. Такимъ образомъ, вмѣсто воздѣйствія всего искусства на всего человѣка, мы получаемъ пустое мѣсто, отсутствіе всякаго воздѣйствія: съ нами говорятъ языкомъ, претендующимъ обращаться ко всѣмъ нашимъ чувствамъ, а на дѣлѣ никому, кромѣ говорящаго, непонятнымъ, если только еще и самъ онъ его понимаетъ.

Цвѣтной слухъ, равно какъ и другія комбинаціи и трансферты нашихъ внѣшнихъ чувствъ несомнѣнно существуютъ, какъ психофизіологическій фактъ, и, въ извѣстныхъ предѣлахъ, поэзія всегда пользовалась имъ, какъ дополнительнымъ техническимъ средствомъ. Можно думать о расширеніи этихъ предѣловъ, но никоимъ образомъ нельзя согласиться на пожраніе тучныхъ коровъ тощими, на поглощеніе мысли поэтическаго произведенія звуками, красками, запахами, вкусами. Если же мы присутствуемъ при такомъ поглощеніи въ твореніяхъ символистовъ, то это не потому, чтобы въ самомъ дѣлѣ „расширилась художественная впечатлительность“, а потому, что оскудѣла область высшихъ комбинацій—область мысли, чувства, воли. Ощущенія, даваемыя органами зрѣнія, слуха, осязанія, обонянія и вкуса,—это, вѣдь, низшія ступени душевной жизни, находящіяся на границѣ физіологіи и психологіи, и уже одно то характерно, что символисты такъ упорно засиживаются на этихъ низшихъ ступеняхъ. Это еще не значитъ, что намъ грозитъ „вырожденіе“ человѣческой расы вообще или французской въ частности. Несомнѣнно, что среди представителей новыхъ теченій есть люди психически-разстроенные. Но, во-первыхъ, далеко не всѣ символисты ненор-

Digitized by Google

мальны, и доказательства Макса Нордау представляютъ собою подчасъ совершенно очевидныя натяжки. А, во-вторыхъ, и завѣдомо больные символисты получаютъ такое значеніе, вызываютъ столько подражаній, производятъ вообще столько шуму только въ силу особенныхъ условій, среди которыхъ они развиваются и дѣйствуютъ. Условія эти—нѣкоторая духовная пустыня: кругомъ разгромленные или изъѣденные скептицизмомъ идеалы, и при этомъ отсутствіе знаній и сколько-нибудь дисциплинированной мысли. Послѣдствія мы уже видѣли. Теперь мнѣ хочется подчеркнуть еще только одну подробность, а именно отношеніе „расширенія художественной впечатлительности“ къ мистицизму.

Артуръ Рембо „изобрѣлъ“ цвѣтныя гласныя, ему повѣрили. Если бъ онъ и повѣрившіе ему не имѣли несчастія жить въ духовной пустынѣ, они знали бы, что никакого изобрѣтенія тутъ нѣтъ, ибо цвѣтной слухъ есть извѣстный фактъ, подлежащій научному изслѣдованію. Рембо предоставилъ бы себя въ распоряженіе спеціалистовъ или просто близкіе къ нему люди подвергли бы наблюденію эту его способность. Но Рембо жилъ въ пустынѣ: и для него, и для близкихъ къ нему тотъ фактъ, что звукъ *а* вызываетъ въ немъ ощущеніе чернаго цвѣта, *е*—бѣлаго и т. д., оказался чѣмъ-то совершенно выходящимъ изъ рамокъ опыта, наблюденія и логическаго мышленія. Это что-то таинственное, чудесное, мистическое. И онъ, Рембо, носитель этой тайны! При этихъ условіяхъ, не надо быть психически-больнымъ (какимъ былъ Рембо), чтобы возложить на себя какую-нибудь чрезвычайную миссію. Рембо и возлагаетъ ее на себя. Онъ мечтаетъ „изобрѣсти поэтическое слово, которое было-бы доступно всѣмъ чувствамъ“. Мысль подхватывается такими-же недисциплинированными умами, развивается, являются попытки осуществленія и теоретическаго оправданія. Происходятъ расколы, потому что, напримѣръ, для Рене Гиля азбука имѣетъ не тѣ цвѣта, что для Рембо, Метерлинку скука кажется бѣлой, а иному желтой и т. д. Словомъ, кто во что горазд, но памятуется общее положеніе, формулированное Шарлемъ Морисомъ, какъ „воздѣйствіе всего искусства на всего человѣка“. Что именно должно новое поэтическое слово сказать намъ, какую мысль внушить, какое чувство возбудить, въ какую сторону направить волю,—это отступаетъ на задній планъ. Важно только сказать что-бы то ни было, но непремѣнно всѣмъ пяти чувствамъ заразъ, создать рядъ пяти-

Digitized by Google

гранныхъ призмъ, по выраженію Сенъ-Поль-Ру-Великолѣпнаго. И все это при таинственномъ мистическомъ освѣщеніи, которое внѣдряется, наконецъ, и въ самое содержаніе, вѣрнѣе сказать, въ пустоту пятигранныхъ призмъ...

Одинъ знатокъ французской литературы, къ которому я обратился за нѣкоторыми объясненіями, очень презрительно отозвался о символистахъ и при этомъ прибавилъ: „Возмите Les fleurs du mal“ Боделэра, прочтите тамъ стихотвореніе „Toute entière“, и вы убѣдитесь, что отсюда именно произошли всѣ символисты и декаденты“. Я тѣмъ охотнѣе послѣдовалъ этому совѣту, что зналъ изъ разсказа Матіаса Морґардта о томъ, какъ зачитывались Боделэромъ посѣтители кабачка въ Латинскомъ кварталѣ, образовавшіе потомъ ядро символизма и декадентства. Вотъ что я прочелъ въ указанномъ мѣстѣ:

. . . . . .

Et l'harmonie est trop exquise,
Qui gouverne tout son beau corps,
Pour que l'impuissante analyse
En note les nombreux accords.

Oh métamorphose mystique
De tous mes sens fondus en un!
Son haleine fait la musique,
Comme sa voix fait le parfum.

Я думаю, что мой почтенный совѣтникъ нѣсколько преувеличилъ значеніе этихъ восьми строкъ, выводя изъ него весь символизмъ. Но въ высшей степени вѣроятно, что онѣ съиграли немаловажную роль въ созданіи доктрины пятигранныхъ призмъ. Было-бы очень любопытно остановиться на этомъ описаніи комбинаціи и трансферта различныхъ ощущеній при экстазѣ половой любви. Это объяснило-бы намъ нѣкоторыя черты „новыхъ теченій“, едва затронутыя въ настоящемъ бѣгломъ очеркѣ. Но я его кончаю.

IV *).

О разныхъ типахъ празднословія. — Объ эстетической критикѣ. — Отрывокъ изъ романа „Карьера Оладушкина“.

Ахъ, какъ много празднословія на свѣтѣ вообще, въ русской литературѣ и жизни въ настоящую минуту въ особенности! Впро-

*) 1893, августъ.

Digitized by Google

чемъ, въ русской литературѣ и жизни его и всегда какъ будто немножко больше было, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. Отъ бездѣлья это должно быть, а можетъ быть и отъ чего другого. Во всякомъ случаѣ та часть русской литературы, которая чутко прислушивается къ родной жизни и улавливаетъ ея характерныя черты, представила нѣсколько истинно великолѣпныхъ типовъ празднослововъ и пустослововъ. Это цѣлая коллекція, замѣчательная по количеству экземпляровъ, по ихъ разнообразію и тонкости разработки.

Рудинъ и Агаринъ (герой поэмы Некрасова „Саша“)—празднословы:

Это въ простомъ переводѣ выходитъ,
Что въ разговорахъ онъ время проводитъ,—

говоритъ поэтъ о своемъ героѣ. Но „сѣетъ онъ все-таки доброе сѣмя“. Еще яснѣе это относительно Рудина. Яснѣе его празднословіе и обаятельность этого празднословія; глубокое страданіе, причиняемое имъ самому Рудину, и истекающій изъ него широкій благотворный общій свѣтъ для другихъ, несмотря на маленькія, хотя очень острыя частныя бѣды. Слово Рудина праздно только въ личномъ смыслѣ, но оно не праздно по отношенію къ Басистову, даже къ Лежневу, даже къ Натальѣ, не говоря о многихъ другихъ. Притомъ же онъ искупилъ свое празднословіе годами страданія, смертью, горькимъ ядомъ самосознанія. Миръ праху его.

Занавѣсъ опускается. Занавѣсъ поднимается: новая пара празднослововъ—Ѳома Опискинъ Достоевскаго и Іудушка Головлевъ Щедрина. А! это совсѣмъ другой сортъ. Разные они во многихъ отношеніяхъ люди. Ѳома Опискинъ честолюбецъ. Когда-то, прежде, чѣмъ онъ взобрался на гору, онъ пресмыкался, льстилъ, претерпѣлъ много униженій; но теперь онъ, по милости генеральши, „вверху стоитъ, что городъ на горѣ, дабы всѣмъ видѣнъ былъ“, и желаетъ этимъ всласть насладиться. Чѣмъ больше льстилъ, унижался и пресмыкался онъ самъ, тѣмъ больше онъ требуетъ теперь лести и фиміамовъ. Онъ опьяненъ своимъ положеніемъ и доходитъ до послѣднихъ предѣловъ наглости, не предвидя, что можетъ же наглость, наконецъ, получить достойное возмездіе, можетъ повернуться колесо фортуны и опять вернуть его къ пресмыканію, къ униженіямъ, къ лести даже „собакѣ дворника, чтобъ ласкова была“. Ничего подобнаго нѣтъ въ Іудушкѣ Го-

Digitized by Google

ловлевѣ, — никакихъ признаковъ честолюбія; онъ готовъ всю жизнь прожить въ своей мурьѣ, невѣдомый никѣмъ; великолѣпія фразы Опискина: „я знаю Русь и Русь меня знаетъ“, — онъ даже не понялъ бы, а если бы понялъ, то испугался бы. Затѣмъ, злобность Опискина далеко превосходитъ злобность Іудушки. У послѣдняго ея, пожалуй, даже совсѣмъ нѣтъ, по крайней мѣрѣ, въ активномъ видѣ. Правда, окружающимъ плохо приходится отъ мучительскаго празднословія обоихъ, но источники ихъ словоточивости и мучительства совсѣмъ разные. Евпраксеюшка думаетъ объ Іудушкѣ, что „въ немъ это злость дѣйствуетъ; знаетъ онъ, который человѣкъ противъ него защиты не имѣетъ, ну, и вертитъ имъ, какъ ему любо“. Вѣрно, что Іудушка (какъ и Ѳома Опискинъ) ищетъ общества людей, „которые противъ него защиты не имѣютъ“. Но за исключеніемъ этого пункта, Евпраксеюшка ошибается, и гораздо вѣрнѣе объясненіе „племяннушки“ Анненьки: „Страшно, когда человѣкъ говоритъ и не знаетъ, зачѣмъ онъ говоритъ, что говоритъ и кончитъ-ли когда-нибудь“. Іудушка празднословитъ отъ пустомыслія своего, и страшно здѣсь то, что онъ своею словесною канителью, лишенною всякаго смысла, можетъ оплести всякую мысль, всякое чувство, всякій поступокъ, такъ что и не разберешь ничего. Подъ покровомъ „благонамѣренныхъ рѣчей“ о Богѣ, о добродѣтели и проч. онъ можетъ совершить любую гнусность: погубить своихъ дѣтей, ограбить „племяннушку“ и потомъ сдѣлать ей гнусное предложеніе, драть ростовщическіе проценты и т. д. Но и внѣ этого, просто за стаканомъ чаю или за обѣдомъ, за картами, онъ нижетъ слова на слова, поистинѣ не зная зачѣмъ и совершенно не думая объ томъ, какое впечатлѣніе производитъ его безконечное празднословіе на слушателей. Онъ празднословитъ, какъ птица поетъ, какъ роза цвѣтетъ, — для самого празднословія. Мучить людей своей словоточивостью онъ вовсе не хочетъ. Совсѣмъ другое дѣло Ѳома Опискинъ. Это мучитель по природѣ или по обстоятельствамъ жизни, доставившей ему въ молодости столько униженій и неудачъ. Ему нужно рисоваться, величаться, нужно поклоненіе, покорность и, какъ мѣрило покорности, прежде всего подобострастное выслушиваніе всего того вздора, который онъ мелетъ. Со стороны Ѳома Опискинъ бываетъ смѣшонъ тою надутою важностью, съ которою онъ говорилъ свои якобы возвышенныя, глупыя слова и продѣлываетъ нелѣпѣйшіе поступки.

Digitized by Google

Но, благодаря пріютившей его генеральшѣ, онъ становится жестокимъ тираномъ для всего дома. Правда, сынъ генеральши, выведенный, наконецъ, изъ терпѣнія его наглостью, буквально вышвыриваетъ его за дверь, но и изъ этого некрасиваго положенія онъ сравнительно благополучно выходитъ при помощи все того же празднословія. Онъ смѣшонъ только со стороны, но за то же онъ и не уйдетъ никогда изъ-подъ крылышка генеральши, на сторону, а если бы обстоятельства заставили его уйти, онъ оказался-бы тихъ, кротокъ и даже молчаливъ...

Занавѣсъ опускается. Занавѣсъ поднимается: передъ нами гоголевскій почтмейстеръ съ безсмертною повѣстью о капитанѣ Копѣйкинѣ. Длинно, съ увлеченіемъ, съ величайшею подробностью,—не говоря уже о безчисленныхъ „относительно такъ сказать“ и „можете себѣ представить“,—разсказываетъ онъ исторію, въ концѣ которой, или даже не доходя до конца, долженъ, однако, себя публично „телятиной“ обозвать: въ увлеченіи своемъ и въ погонѣ за подробностями онъ упустилъ изъ виду то не маловажное обстоятельство, что капитанъ Копѣйкинъ былъ безъ руки и безъ ноги, а у Чичикова всѣ части тѣла въ порядкѣ. Почтмейстеръ пробовалъ было потомъ возобновить нить своего празднословія разсказомъ о какихъ-то механическихъ ногахъ, но слушатели нашли все-таки, что почтмейстеръ хватилъ слишкомъ далеко...

Занавѣсъ могъ бы еще не разъ опуститься и подняться. Особенно заманчиво было-бы остановиться на нѣкоторыхъ празднословахъ Глѣба Успенскаго. Наша публика высоко цѣнитъ этого писателя, но наша критика занималась имъ слишкомъ мало. Остается совсѣмъ не тронутымъ множество мастерски, хотя иногда только мелькомъ, очерченныхъ имъ житейскихъ типовъ, въ числѣ которыхъ есть великолѣпные празднословы, вполнѣ оригинальные, не похожіе на предъидущихъ. Но этакъ мы ужъ слишкомъ удалимся отъ непосредственнаго предмета сегодняшней нашей бесѣды, а предметъ этотъ — не перлы русскаго искусства, а такъ—кое-какая преходящая мелочь изъ текущей литературы; въ частности,—не художественныя воплощенія празднословія, а нѣчто изъ области этого самаго празднословія.

Въ послѣднее время въ нашей журналистикѣ—не знаю ужъ въ который разъ—поднялись разговоры о цѣли и задачахъ искусства и литературной критики, причемъ особенно стараются защитники

Digitized by Google

такъ называемаго чистаго, самодовлѣющаго искусства. Для всѣхъ этихъ старыхъ погудокъ на старый ладъ, претендующихъ, однако, на новизну и оригинальность, есть нѣкоторые опредѣленные внѣшніе поводы, главнымъ образомъ, появленіе въ отдѣльномъ изданіи диссертаціи „Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности". Но и въ общей атмосферѣ, которою мы дышемъ, есть, повидимому, что-то, приглашающее къ усиленнымъ разговорамъ о чистой красотѣ и самодовлѣющемъ искусствѣ. Такъ, напримѣръ, П. И. Вейнбергъ, въ объявленіяхъ о новой, редактируемой имъ „Театральной Газетѣ", не преминулъ пообѣщать непреоборимую вѣрность „вѣчнымъ" или „незыблемымъ" законамъ искусства. Такое маленькое дѣло и такія большія слова: „вѣчный", „незыблемый"!.. Ихъ очень легко сказать или написать, эти слова, но приложить ихъ къ дѣлу такъ трудно, такъ трудно, что даже невозможно. И не въ обиду будь сказано г. Вейнбергу, это— одно празднословіе...

Но г. Вейнбергъ только въ объявленіяхъ пообѣщалъ, и хотя это для нынѣшняго времени очень характерно, что подобнымъ празднословіемъ надо рекомендовать читателю новый органъ, но все-таки это только обѣщанія. Пойдемте куда нибудь въ другое мѣсто, болѣе солидное. Пойдемте въ журналъ „Вопросы философіи и психологіи" (чего ужъ солиднѣе!) и обратимся въ немъ къ статьѣ г. Боборыкина „Красота, жизнь и творчество". Г. Боборыкинъ не есть, конечно, сколько-нибудь значительный авторитетъ въ теоретическихъ вопросахъ,—онъ больше извѣстенъ въ качествѣ талантливаго и плодовитаго, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ поверхностнаго и легкомысленнаго беллетриста. Но фирма спеціальнаго философскаго журнала меня нѣсколько смущаетъ, и я съ нѣкоторою робостью предупреждаю читателя, что статья г. Боборыкина есть одно сплошное празднословіе. Да не подумаетъ, однако, читатель, что въ статьѣ этой надо искать точнаго отраженія одного изъ тѣхъ художественныхъ воплощеній празднословія, съ которыхъ мы начали нашу бесѣду. Отнюдь нѣтъ. Вообще, въ дѣйствительной жизни рѣдко встрѣчаются точныя параллели истинно художественнымъ типамъ. Черты, въ одномъ художественномъ образѣ соединенныя или, наоборотъ, по нѣсколькимъ образамъ распредѣленныя, являются въ жизни сплошь и рядомъ въ совсѣмъ иныхъ комбинаціяхъ. Такъ и со статьей г. Боборыкина. Въ ея празднословіи нѣтъ ничего отъ Ѳомы Опискина, но

Digitized by Google

найдутся въ немъ и Агаринскія черты, и Рудинскія и Головлевскія, и, наконецъ, нѣчто отъ Гоголевскаго почтмейстера... Скажу прямо, что именно кому можетъ быть отнесено.

Что ему книга послѣдняя скажетъ,
То на душѣ ему сверху и ляжетъ;
Вѣрить, не вѣрить—ему все равно,
Лишь бы доказано было умно!

То есть не то чтобы непремѣнно дѣйствительно умно, а чтобы ему казалось умнымъ. Это объ Агаринѣ сказано, но я беру на себя смѣлость сказать тоже самое о г. Боборыкинѣ, хотя въ статьѣ своей онъ и утверждаетъ, что всегда держался теперешняго своего образа мыслей.

Что касается Рудина, то его обаятельнаго краснорѣчія нѣтъ и слѣда въ статьѣ г. Боборыкина, но за то есть чисто Рудинскій призывъ къ дѣлу, котораго самъ г. Боборыкинъ никогда не сможетъ, да и не захочетъ сдѣлать.

У Іудушки Головлева г. Боборыкинъ не заимствовалъ, разумѣется, ничего гнуснаго и въ гнусности своей страшнаго. Но нѣчто скучное и вмѣстѣ съ тѣмъ смѣшное, что есть въ безсодержательномъ празднословіи Іудушки, есть и въ статьѣ г. Боборыкина.

Наконецъ, Гоголевскій почтмейстеръ... Статья г. Боборыкина пестрѣетъ именами Вундта, Брюкке, Вебера, Гельмгольца, Эттингена, Бэна, Спенсера, Гальтона и т. д., и т. д. Но все это только украшенія рѣчи, столь же по существу ненужныя, какъ „относительно такъ сказать“, „сударь ты мой“, „можете себѣ представить“ Гоголевскаго почтмейстера. Почтенный романистъ могъ бы прибавить еще десятокъ такихъ же „сударей“ или, напротивъ, выкинуть десятокъ, и доказательность статьи отъ этого ни мало не выиграла бы и не проиграла бы. Но сходство статьи г. Боборыкина съ повѣстью о капитанѣ Копѣйкинѣ не ограничивается этою внѣшнею чертою. Подобно почтмейстеру, г. Боборыкинъ, увлекаясь собственнымъ краснорѣчіемъ, обиліемъ „сударей“ и подробностями, неоднократно упускаетъ изъ виду нѣкоторыя вещи, совершенно упраздняющія ту или другую часть его разговоровъ.

Я очень хорошо знаю, какъ надоѣла читателю полемика по вопросамъ о цѣляхъ и задачахъ искусства и литературной кри-

Digitized by Google

тики. Я это по себѣ знаю, потому что, вѣдь, и я читатель, и, признаюсь, когда, пробѣгая журнальную или газетную статью, я вижу слова „вѣчные законы красоты“... „тенденціозное искусство“... „утилитарное искусство“... „самодовлѣющее искусство“,— меня начинаетъ пробирать нервная дрожь. Опять!... Диссертація объ „эстетическихъ отношеніяхъ искусства къ дѣйствительности“, послужившая нынѣ однимъ изъ внѣшнихъ поводовъ для открытія фонтановъ празднословія, написана безъ малаго сорокъ лѣтъ тому назадъ. А толки о задачахъ и цѣляхъ искусства и критики начались вѣдь еще задолго до этой диссертаціи. Казалось бы, всѣ аргументы pro и contra должны быть исчерпаны. Есть, конечно, вопросы, относительно которыхъ люди не могутъ столковаться въ теченіе не то что нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ, а и цѣлыхъ столѣтій, пожалуй, даже тысячелѣтій, и, можетъ быть, интересующій г. Боборыкина вопросъ принадлежитъ къ числу именно такихъ, такъ что и дѣти наши, и дѣти дѣтей нашихъ все будутъ читать слова: „тенденціозное искусство... самодовлѣющее искусство... утилитарная критика...“ Ужасная перспектива!..

Разумѣется, ужасная съ нашей теперешней точки зрѣнія, съ точки зрѣнія людей, которыхъ пробираетъ нервная дрожь при видѣ словъ „тенденціозное искусство... самодовлѣющее искусство“. Но дѣти наши или дѣти дѣтей нашихъ отнесутся къ этимъ словамъ, можетъ быть, совсѣмъ иначе. Было же время, когда эти самыя слова у насъ не скуку нагоняли, а трогали сердца и волновали умы. Такъ было, такъ можетъ быть опять будетъ. Но отчего же это такъ было и отчего теперь стало такъ тоскливо, такъ невыносимо скучно? Оттого, читатель, что когда-то это было живое дѣло, а теперь—одно празднословіе. Только это я и предполагаю доказывать въ предлагаемой замѣткѣ, а потому не бойтесь дочитать ее до конца, — можетъ быть и не очень скучно покажется...

Г. Боборыкинъ принадлежитъ къ числу писателей, которыхъ принято называть „маститыми“, хоть оно немножко не идетъ къ его легкокрылому, порхающему облику, какъ онъ рисуется въ его произведеніяхъ, несмотря на всѣхъ „сударь ты мой Гельмгольцевъ“ и „можете себѣ представить Брюкке“. Онъ много потрудился на нивѣ русской литературы: написалъ едва-ли исчисли-

Digitized by Google

мое количество повѣстей, разсказовъ, романовъ, драматическихъ произведеній, писалъ и, кромѣ того, о разныхъ предметахъ міра видимаго и невидимаго, издавалъ и редактировалъ журналъ („Библіотеку для чтенія"), не имѣвшій, впрочемъ, успѣха, несмотря на разныя содержавшіяся въ немъ пикантности. Писалъ онъ и въ разныхъ иностранныхъ изданіяхъ — французскихъ, итальянскихъ, англійскихъ—излагая въ нихъ свои, не совсѣмъ, впрочемъ, основательныя мысли о нѣкоторыхъ явленіяхъ русской жизни и литературы. Но, странное дѣло — ни это многолѣтнее служеніе на поприщѣ мысли не только русской, а и европейской, ни рѣдкая плодовитость, ни, наконецъ, несомнѣнная талантливость—не придали яркости литературной физіономіи г. Боборыкина. Лѣтъ сорокъ ужъ работаетъ онъ на литературномъ поприщѣ, а въ сорокъ лѣтъ такой плодовитый и талантливый писатель могъ бы, кажется, вполнѣ опредѣлиться, устояться. Этого такъ естественно ожидать, что самому г. Боборыкину кажется, что оно такъ ужъ и есть, что онъ давно опредѣлился и устоялся. Къ сожалѣнію, это совсѣмъ не вѣрно...

Простите, читатель, но теперь пойдутъ давно всѣмъ надоѣвшія, скучныя слова, совершенно обойти которыя—я не могу.

Г. Боборыкинъ говоритъ: „Русская критика, за послѣдніе сорокъ лѣтъ, все болѣе и болѣе уклонялась отъ научно-эстетической задачи, занимаясь произведеніями литературы и даже пластическаго искусства, иногда и музыки—не въ интересахъ искусства, а въ интересахъ морали и публицистики. Вся эстетическая область человѣческой души дѣлалась для нея не цѣлью, а средствомъ и лишь *показателемъ* различныхъ элементовъ общественнаго роста или попятнаго движенія. При такой преобладающей тенденціи трудно было и ждать обильнаго появленія у насъ работъ, которыя бы расчищали путь тѣмъ, кто желаетъ держаться болѣе научнаго метода и смѣло признаетъ область художественнаго творчества и наслажденія за нѣчто *довлѣющее самому себѣ* (курсивъ г. Боборыкина). Въ послѣднее время у насъ замѣчается нѣкоторый — еще слабый — поворотъ въ сторону тѣхъ научно-эстетическихъ вопросовъ, которые я лично не переставалъ ставить, въ разное время отзываясь на явленія текущей литературы, нашей и западной, и задѣвая темы по психологіи творчества и чувства прекраснаго".

Тутъ г. Боборыкинъ указываетъ на свои старыя статьи въ

Digitized by Google

„Словѣ“ и въ „Вѣстникѣ Европы“, которыя, говоритъ онъ, „до самаго послѣдняго времени стояли почти одиноко въ нашей критикѣ“. Теперь дѣло обстоитъ гораздо благополучнѣе, и г. Боборыкинъ не до такой ужъ степени одинокъ, съ чѣмъ его, конечно, слѣдуетъ поздравить. Однако, изъ единомышленниковъ своихъ онъ называетъ только одного—кн. Волконскаго, автора напечатанной въ „Вѣстникѣ Европы“ статьи „Художественное наслажденіе и художественное творчество“. Г. Боборыкинъ нѣсколько пренебрежительно относится къ этой „довольно еще неустойчивой работѣ молодого словесника“, но одобряетъ ея „руководящій принципъ“, а именно: „заявленіе необходимости изучать область психической жизни человѣка, связанную съ искусствомъ и творчествомъ, самостоятельно, научно-эстетическимъ путемъ, а не подчиненно, не въ интересахъ только морали или публицистики“. Эта мысль кажется г. Боборыкину чрезвычайно смѣлою и только потому не новою, что онъ, г. Боборыкинъ, давно, еще во времена своего одиночества, развивалъ ее въ упомянутыхъ статьяхъ „Слова“ и „Вѣстника Европы“.

Къ стыду моему, я долженъ признаться, что не помню этихъ статей, а можетъ быть даже и совсѣмъ не читалъ, да и теперь, за недосугомъ, не могъ съ ними познакомиться. *Къ стыду*, потому что статьи эти, очевидно, представляютъ собою нѣчто, какъ говорятъ нѣмцы, epochemachendes, нѣчто такое, съ чего русская критика должна вести свое лѣтосчисленіе. Но за то я помню нѣкоторыя другія старыя произведенія г. Боборыкина на тѣ же темы. И если г. Боборыкинъ „не переставалъ ставить“ свои тезисы о самодовлѣніи искусства, объ его независимости отъ морали и публицистики,—такъ не все ли равно, какія именно изъ его произведеній я помню? А помню я, напримѣръ, его статьи 1876 года о „реальномъ романѣ во Франціи“. Надо замѣтить, что статьи эти, напечатанныя въ „Отечественныхъ Запискахъ“, были первоначально прочтены авторомъ въ видѣ публичныхъ лекцій. Слѣдовательно, авторъ какъ бы дважды писалъ ихъ, и это должно, повидимому, гарантировать особенную ихъ обдуманность, особенную точность выраженія мысли автора. И вотъ что я нахожу въ концѣ первой лекціи:

„Прочитывая „Сантиментальное воспитаніе“ съ полнымъ безпристрастіемъ, нельзя не сознаться, что въ авторѣ вы не чувствуете совсѣмъ почти гражданина своей земли; почему романъ его и ли-

Digitized by Google

шенъ того одушевленія, которое заставляетъ читателя съ возрастающимъ интересомъ глотать страницу за страницей. Флоберъ, по собственному своему желанію или, лучше сказать, по наклонности своей натуры, заключилъ себя въ оболочку писателя-эрудита, ушелъ отъ волненій дѣйствительности и кончилъ, разумѣется, значительной долей гражданскаго индиферентизма и мизантропіи... Тѣ, кто его защищаютъ во что-бы то ни стало, говорятъ, что французская критика и публика не вправѣ требовать отъ него реальныхъ романовъ, гдѣ-бы чувствовалось біеніе пульса вчерашняго дня. Я уже сказалъ, что права этого ни у критики, ни у публики отнять нельзя; но можно впередъ сказать, что Флоберъ, при той жизни, которую онъ теперь ведетъ, при направленіи своихъ трудовъ и думъ, врядъ-ли способенъ на дальнѣйшее развитіе своего реализма... Но, какъ-бы ни кончилъ Флоберъ, онъ остается для насъ все-таки первой силой новаго романа во Франціи. Послѣ него, уже каждый даровитый и философски развитый писатель, усвоивъ себѣ его образцовые пріемы, можетъ тѣмъ съ большею легкостью вложить въ любое свое произведеніе все то, чего лучшая доля современнаго общества требуетъ и въ художественномъ, и въ гражданско-нравственномъ отношеніи".

И это не единственная, конечно, страница,—вся статья проникнута убѣжденіемъ въ правѣ критики требовать, какъ у насъ въ старину говорилось, „гражданскихъ мотивовъ" отъ романиста. Когда я перечиталъ эту страницу теперь, послѣ статьи г. Боборыкина въ „Вопросахъ философіи и психологіи", я протеръ себѣ глаза и вновь перечиталъ... Да, это тотъ же самый П. Д. Боборыкинъ писалъ... Не въ томъ дѣло, что онъ смотритъ теперь на вещи иначе,—это со всякимъ можетъ случиться. Но едва-ли всякій, написавшій нѣчто, подобное „Реальному роману во Франціи", рѣшится утверждать, что онъ „не переставалъ" и оставался до послѣдняго времени въ величавомъ одиночествѣ, а вся прочая критика морали и публицистики отъ искусства требовала. Нѣтъ, очень переставалъ, и все, что можетъ объ себѣ такой человѣкъ сказать,—это:

На все отозвался ни мягко, ни рѣзко,
Воспѣлъ Гарибальди, воспѣлъ и Франческо..

Если, однако, бывали времена, когда г. Боборыкинъ грѣшилъ тѣмъ самымъ грѣхомъ, которому онъ теперь прощенія не знаетъ,

Digitized by Google

то теперь, по крайней мѣрѣ, онъ окончательно стоитъ на истинномъ и твердомъ пути... Взглянемъ же хоть мелькомъ на характеръ его аргументаціи.

Мы видѣли, что „работа молодого словесника (кн. Волконскаго) довольно еще неустойчива“, но содержитъ въ себѣ зерно истины. За это самое, по словамъ г. Боборыкина, на автора „посыпались рѣзкія нападки отъ тѣхъ рецензентовъ, кто считаетъ себя хранителями традицій шестидесятыхъ годовъ“. Признаюсь, я какъ-то совсѣмъ проглядѣлъ этотъ эпизодъ, можетъ быть, безсознательно обѣжалъ его изъ инстинктивнаго страха надоѣвшихъ словъ, и не знаю поэтому, какія именно возраженія были предъявлены кн. Волконскому. Г. Боборыкинъ не приводитъ ихъ. Онъ говоритъ только, что „если бы авторъ лекціи (статья кн. Волконскаго первоначально составила предметъ публичной лекціи) хотѣлъ заставить замолчать своихъ слишкомъ строгихъ менторовъ, ему стоило бы взять книжку, изданную недавно, гдѣ собраны мысли нашихъ крупнѣйшихъ писателей за цѣлую сотню лѣтъ“. Г. Боборыкинъ не называетъ этой драгоцѣнной книги, которая можетъ заставить замолчать всѣхъ противниковъ такъ называемаго чистаго искусства, авторъ „Реальнаго романа во Франціи“ у compris. Это очевидно какое-то собраніе афоризмовъ, заимствованныхъ у разныхъ нашихъ знаменитыхъ писателей. Приведя нѣкоторые изъ этихъ афоризмовъ, г. Боборыкинъ пишетъ: „Итакъ, Гоголь, Достоевскій, Гончаровъ, Тургеневъ—цвѣтъ и краса русской художественной литературы—смотрѣли на искусство, какъ на область душевной жизни, которая *сама себѣ довлѣетъ* (курсивъ г. Боборыкина). Слѣдовательно, молодой эстетикъ, выступившій теперь съ опытомъ о художественномъ наслажденіи и творчествѣ, вѣрнѣе духу творцовъ нашей изящной литературы, чѣмъ тѣ, кто съ такой суровостью нападалъ на него“.

Итакъ, кн. Волконскій упустилъ случай „заставить замочать“, но г. Боборыкинъ поправилъ этотъ его промахъ и заставилъ... Слышите ли вы это трепетное молчаніе пораженныхъ молніей и громомъ враговъ идеи кн. Волконскаго и г. Боборыкина? Нѣтъ, вы не слышите этого молчанія, и не только потому, что молчанія вообще слышать нельзя (декаденты и символисты, впрочемъ, ухитряются), а и потому, что аргументація почтеннаго романиста совсѣмъ не похожа на громъ и молнію. Во-первыхъ, афориз-

Digitized by Google

мамъ, приведеннымъ г. Боборыкинымъ, можно противопоставить афоризмы же и заимствовать ихъ не только изъ произведеній вродѣ „Реальнаго романа во Франціи“, а у людей, которыхъ тоже можно назвать „цвѣтомъ и красой русской художественной литературы“,—у Лермонтова, гр. Л. Толстого, Некрасова, Щедрина. Во-вторыхъ, подобными афоризмами ничего доказать нельзя, ни даже того, что въ нихъ выразился „духъ“ ихъ авторовъ. Въ-третьихъ... Въ-третьихъ, посмотримъ поближе на афоризмы, приведенные г. Боборыкинымъ.

Афоризмъ Гончарова: „Пора бы оставить въ покоѣ ничего не значущую фразу *искусство для искусства*“. Слова эти взяты изъ статьи Гончарова „Лучше поздно, чѣмъ никогда“. Было бы очень интересно оцѣнить эту фразу въ связи съ содержаніемъ всей статьи, но это отвлекло бы насъ очень далеко въ сторону. (Не могу, впрочемъ, воздержаться отъ замѣчанія, что фраза эта стоитъ почти непосредственно вслѣдъ за горячей хвалой Щедрину). Возьмемъ ее въ томъ изолированномъ, сиротливомъ видѣ, какъ ее приводитъ г. Боборыкинъ. Что она говоритъ въ пользу идей, развиваемыхъ въ статьѣ г. Боборыкина? Ровно ничего. Она говоритъ не за г. Боборыкина, а противъ него. Если *искусство для искусства* есть ничего не значущая фраза, которую пора бросить, такъ зачѣмъ же г. Боборыкинъ твердитъ (да еще подчеркиваетъ), что искусство „довлѣетъ себѣ“? Развѣ „искусство для искусства“ и „самодовлѣющее искусство“ не синонимы? И если афоризмъ Гончарова можетъ кого-нибудь заставить замолчать, такъ именно г. Боборыкина.

Афоризмъ Гоголя: „Искусство уже въ самомъ себѣ заключаетъ цѣль“. Въ высшей степени удивителенъ комментарій г. Боборыкина къ этому афоризму. Онъ говоритъ: „Это слова Гоголя изъ „Развязки Ревизора“, гдѣ онъ, какъ вамъ извѣстно, доходитъ до высшихъ граней морально-мистическаго толкованія своей комедіи, когда въ немъ уже сидѣлъ человѣкъ, смотрѣвшій на свою художественную дѣятельность только какъ на средство поучать ближнихъ и выполнять тѣмъ свое призваніе“. Г. Боборыкинъ дѣлаетъ этотъ комментарій съ чрезвычайно побѣдоноснымъ видомъ: дескать, вотъ человѣкъ смотрѣлъ на свою художественную дѣятельность, какъ на средство, но и онъ даже говорилъ, что искусство уже въ самомъ себѣ заключаетъ цѣль! заставилъ-ли я васъ молчать?—Нѣтъ, не заставили, потому что, по здравому

Digitized by Google

смыслу, ваши два предложенія надо поставить въ обратномъ порядкѣ: вотъ человѣкъ, который на словахъ говорилъ, что искусство есть само себѣ цѣль, а на дѣлѣ пускалъ его въ ходъ какъ средство для достиженія постороннихъ цѣлей. Съ г. Боборыкинымъ можетъ согласиться только тотъ, кто слово ставитъ выше дѣла, случайную фразу выше всей ярко выраженной дѣятельности писателя...

Г. Боборыкинъ очень уважаетъ науку, и это въ немъ чрезвычайно почтенная черта. Но, къ сожалѣнію, онъ, подобно многимъ платоническимъ любовникамъ науки, слишкомъ расточителенъ на слова „наука", „научный" и т. д. Онъ принадлежитъ къ старому поколѣнію беллетристовъ, среди котораго было не мало людей, хорошо и разносторонне образованныхъ. Онъ занимался когда-то наукой въ настоящемъ смыслѣ слова, именно химіей. Это было очень давно, чуть не полвѣка прошло съ тѣхъ поръ, и отъ химіи, конечно, ничего не осталось въ его памяти. Рано опредѣлившійся беллетристическій талантъ толкнулъ его совсѣмъ въ другую сторону, но нѣкоторый общій тонъ почтительности къ наукѣ остался въ немъ навсегда. Человѣкъ онъ всегда былъ въ высшей степени воспріимчивый и сохранилъ эту воспріимчивость до сего дня. На каждое сколько-нибудь замѣтное явленіе, какъ въ русской, такъ и европейской жизни, онъ торопливо откликается или въ беллетристической, или въ публицистической формѣ. Но, благодаря этой торопливости, въ связи съ отсутствіемъ всякой устойчивости и оригинальности въ складѣ его ума, какъ его беллетристика, такъ и его публицистика необыкновенно поверхностны. Въ беллетристикѣ ему некогда обдумывать, вынашивать свои образы и картины, обобщать свои бѣглыя наблюденія и складывать ихъ въ типы. Некогда это дѣлать и, напримѣръ, Глѣбу Успенскому, но его выручаютъ рѣдкіе дары природы: необыкновенно оригинальный складъ ума и чуткость, благодаря которой онъ проникаетъ сквозь внѣшнюю кору наблюденій до самой сердцевины вещей. Къ этому надо еще прибавить все извиняющую страстность, съ которою онъ относится къ явленіямъ, задѣвшимъ его вниманіе. Все это, вмѣстѣ взятое, вредитъ Успенскому только съ внѣшней, формальной стороны. Онъ создалъ множество типовъ, надъ которыми русской критикѣ еще придется работать (до сихъ поръ она занималась больше общими идеями Успенскаго), но онъ не создалъ ни

Digitized by Google

одного большого, законченнаго произведенія, въ которомъ эти типы и фигуры расположились-бы согласно условнымъ требованіямъ романа или повѣсти. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи г. Боборыкинъ, напротивъ, безупреченъ: у его романовъ и повѣстей всегда есть завязка и развязка, но дѣйствующія лица этихъ романовъ и повѣстей—случайный сырой житейскій матеріалъ, настоящіе фотографическіе портреты, чуть тронутые, а иногда и испорченные ретушью; фабула этихъ романовъ и повѣстей частью тоже въ сыромъ видѣ взята изъ дѣйствительности, а частію совершенно искусственно сочинена ad hoc, примѣнительно къ тому или другому умственному теченію, увлекающему въ данную минуту автора. А увлекается онъ разными теченіями, совершенно какъ щепка волной, что отражается и на его публицистикѣ. Мы видѣли, что въ семидесятыхъ годахъ онъ утверждалъ, что критика имѣетъ право требовать отъ художника отклика на злобу дня. Теперь онъ этого права критику лишаетъ и до такой степени отвернулся отъ своего прошлаго, что даже не помнитъ его: я, говоритъ, не переставалъ... Въ тѣхъ-же семидесятыхъ годахъ г. Боборыкинъ обнаруживалъ большую благосклонность къ такъ называемому „народничеству", какъ онъ его понималъ, конечно (см., напримѣръ, его предисловіе къ „Запискамъ дурака" въ „Отечественныхъ Запискахъ" 1876 г.). А въ восьмидесятыхъ годахъ онъ напечаталъ въ одномъ итальянскомъ журналѣ громовую статью противъ „народниковъ" и „народничества"... Вообще у него необыкновенная легкость въ мысляхъ, но есть одинъ пунктъ, на которомъ онъ стоитъ и всегда стоялъ непоколебимо твердо: наука. Его слухъ, очевидно, ласкаетъ самое слово „наука", и я думаю, что даже перо его особенно тщательно и красиво выписываетъ это слово на бумагѣ. Это не значитъ, однако, чтобы онъ когда-нибудь серьезно заинтересовался какимъ-нибудь научнымъ вопросомъ и разработалъ его сколько-нибудь пристально. Нѣтъ, этого съ нимъ не случалось. Ужасно много книжекъ написано по любому научному вопросу, и гдѣ-же тамъ во всѣхъ ихъ рыться!—некогда. Многому можно и на слово повѣрить, если оно такъ или иначе знаменемъ науки прикрыто: важно именно знамя, его надо высоко держать, имъ сѣмо и овамо помахивать...

Не слѣдуетъ смущаться украшающими статью г. Боборыкина многочисленными „сударь ты мой Брюкке" и „относительно

Digitized by Google

такъ сказать Эттингенами". Всѣ эти „судари" могутъ быть раздѣлены (приблизительно, конечно) по отношенію къ нимъ г. Боборыкина на двѣ группы: во-первыхъ, французскіе словесники, Тэнъ, Сенъ Бевъ,—этихъ онъ знаетъ и въ извѣстной степени любитъ; во-вторыхъ, психофизіологи, главнымъ образомъ нѣмецкіе,—этихъ онъ больше уважаетъ, чѣмъ знаетъ, и самыя имена ихъ заимствовалъ въ большинствѣ случаевъ изъ предисловія къ „Vorschule der Aesthetik" Фехнера (объ этомъ потомъ). Но изо всѣхъ фигурирующихъ въ статьѣ „сударей" самый дорогой, самый близкій уму и сердцу автора есть человѣкъ, не имѣющій никакого отношенія къ наукѣ,—Теофиль Готье.

Въ 1834 г. въ предисловіи къ своему роману „Mademoiselle de Maupin", Готье писалъ о критикахъ:

Когда писатель бросаетъ на ихъ письменный столъ какой-нибудь томъ—романъ или стихотворное произведеніе—эти господа небрежно закидываются въ креслѣ, устанавливаютъ его на заднихъ ножкахъ (довольно неудобная позиція!) и, качаясь, съ видомъ знатока, важно изрекаютъ: „Чему служитъ эта книга? Можетъ-ли она содѣйствовать морализаціи и поднятію благосостоянія самаго многочисленнаго и самаго бѣднаго класса? Какъ! Ни одного слова о нуждахъ общества, ничего цивилизующаго и прогрессивнаго! Какъ! Вмѣсто того, чтобы давать намъ великій синтезъ человѣчности или прослѣдить, на протяженіи историческихъ событій, фазисы идеи, возрождающей и указывающей на пути Провидѣнія,—онѣ мастерятъ стихи и романы, не ведущіе ни къ чему и не двигающіе нисколько впередъ наше поколѣніе? Какъ можно заниматься формой, стилемъ, риѳмой, въ виду такихъ важныхъ интересовъ? Что намъ за дѣло до стиля, до риѳмъ и до формы? Стоитъ-ли этимъ заниматься? Общество страдаетъ, оно сдѣлалось добычей великой внутренней смуты. (Это значитъ, прибавляетъ Готье въ скобкахъ: никто не хочетъ подписываться на полезные журналы). Поэтъ долженъ отыскивать причину этого недомоганія и излѣчить его. И это средство онъ найдетъ, сочувствуя сердцемъ и душой человѣчеству и т. д.

Г. Боборыкинъ называетъ предисловіе къ роману „Mademoiselle de Maupin"—„знаменитымъ", самого Готье—„бойцомъ за свободное, довлѣющее себѣ искусство", а только что приведенныя слова—„блестящею и негодующею тирадою". Однако и онъ замѣчаетъ, что въ тирадѣ этой Готье все-таки немножко черезъ край хватилъ. Но г. Боборыкину она все-таки кажется цѣнною, главнымъ образомъ потому, что „фразы, какія Готье влагаетъ въ уста критика съ общественно-утилитарнымъ направленіемъ, отзываются обычнымъ тономъ русскаго журнализма съ его вѣч-

Digitized by Google

ными вопросами: что авторъ хотѣлъ этимъ доказать? какая польза отъ его побасенокъ и его элегическихъ воздыханій? есть-ли въ нихъ прямое служеніе злобѣ дня или непосредственнымъ нуждамъ меньшихъ братій?"

Не будучи профессіональнымъ литературнымъ критикомъ, я могу, кажется, быть въ этомъ дѣлѣ безпристрастнымъ, и мнѣ думается, что г. Боборыкинъ сильно преувеличиваетъ, даже до извращенія. Но дѣло не въ этомъ. Дѣло въ Теофилѣ Готье, который соблазняетъ г. Боборыкина своею якобы смѣлостью. Ему хочется проявить такую-же смѣлость, рѣшительность, задоръ, тѣмъ болѣе, что вотъ стяжалъ-же лавры „молодой словесникъ" кн. Волконскій, да и вообще на почвѣ защиты свободнаго искусства выростаютъ теперь цѣлые лавровые лѣса. Такой моментъ наступилъ. И г. Боборыкинъ, какъ всегда, ловитъ моментъ... И въ своемъ родѣ недурно-бы это у него, можетъ быть, вышло, если-бы онъ могъ просто взять да и повторить пріемы Теофиля Готье. Но онъ этого не можетъ. У Теофиля Готье съ наукой не было ничего общаго,—онъ ею нисколько не интересовался, а она... Не эти именно слова Готье, которыя такъ нравятся г. Боборыкину, но совершенно аналогичныя его разсужденія Максъ Нордау, стоящій во всякомъ случаѣ на научной почвѣ, называетъ—можете себѣ представить, г. Боборыкинъ!—„галиматьей"! Такъ-таки буквально Galimathias (см. Entartung II, 92; общая, очень не лестная характеристика Готье на стр. 73). Отношенія между наукой и г. Боборыкинымъ совсѣмъ иныя. Т. е. я не знаю, конечно, какъ отнесется наука къ г. Боборыкину и даже немножко боюсь думать объ этомъ, но самъ онъ относится къ наукѣ столь почтительно, столь назойливо почтительно, если можно такъ выразиться,—что и идеямъ Теофиля Готье долженъ былъ непремѣнно придать научный или якобы научный антуражъ. Но это именно только антуражъ, словесные орнаменты,—празднословіе.

„Въ русской критикѣ,—пишетъ г. Боборыкинъ,—за болѣе, чѣмъ сорокалѣтній періодъ, объектами изслѣдованія дѣлались, все сильнѣе и сильнѣе, идеи морали и общественности и онѣ заслоняли собою интересы къ научно-философской обработкѣ явленій художественнаго творчества, особенно въ области изящной литературы". И далѣе: „Несмотря на рѣзкую противоположность исходныхъ точекъ, наши воинствующіе и часто враждеб-

Digitized by Google

ные между собою лагери, вплоть до послѣдняго времени, не шли дальше приговоровъ и оцѣнокъ, лишенныхъ строго научнаго метода. Они *одобряли* и *не одобряли* на основаніи своихъ предвзятыхъ идей и сочувствій; но не занимались объективно изслѣдованіемъ развитія нашего художественнаго творчества. Только въ трудахъ нѣкоторыхъ ученыхъ, бравшихъ предметомъ своихъ работъ нашу народную поэзію и законченныя эпохи въ движеніи литературныхъ идей и образовъ, у насъ и на Западѣ, а также область психологіи, гдѣ обосновывается эстетика, находимъ мы взгляды и пріемы работы, свободные отъ стороннихъ примѣсей".

Это такое обиліе празднословія, что не знаешь даже, съ чего начать. Почему, напримѣръ, „мораль и общественность"—постороннія примѣси въ критикѣ, а наука—не посторонняя? Милый сердцу г. Боборыкина Теофиль Готье никоимъ образомъ не согласился-бы съ нимъ. Онъ нарисовалъ-бы столь-же язвительную картину, какъ и та, которая такъ нравится г. Боборыкину: „научный" критикъ раскидывается въ креслѣ, пожалуй, тоже „устанавливаетъ его на заднихъ ножкахъ", хотя это совсѣмъ неудобно и даже глупо, и тономъ знатока начинаетъ судить художественное произведеніе съ какой-то посторонней искусству, научной точки зрѣнія! Съ какой стати? Вѣдь мы—„бойцы за свободное, довлѣющее себѣ искусство"!—Очень вѣроятно, въ самомъ дѣлѣ, что Готье написалъ-бы на эту тему „блестящую негодующую тираду". Да оно ужъ и бывалое дѣло. Нашъ Баратынскій утверждалъ о поэтѣ:

Воспѣваетъ, простодушный, онъ любовь и красоту
И науки, имъ ослушной, суету и пустоту...

Г. Боборыкинъ очень почитаетъ науку и, вѣроятно въ качествѣ беллетриста, жаждетъ подвергнуться суду по „строго научному методу". И хотя я не знаю, что останется отъ г. Боборыкина послѣ такого суда и въ какія отдаленныя или не столь отдаленныя мѣста будутъ отправлены его многочисленныя произведенія, но это ужъ его дѣло. Теофиль Готье не хочетъ, Баратынскій не хочетъ. Если г. Боборыкинъ скажетъ, что хочетъ или не хочетъ авторъ, а для публики, для третьихъ лицъ нужно объясненіе художественнаго произведенія по строго-научному методу, то я отвѣчу приглашеніемъ: пожалуйте! дѣйствуйте! Дѣй-

Digitized by Google

ствуйте вы и пусть дѣйствуютъ всѣ тѣ, кто нынче кричитъ о необходимости обновленія литературной критики эстетическимъ, философскимъ, научнымъ путемъ...

Г. Боборыкинъ сослался на статью Гончарова „Лучше поздно, чѣмъ никогда". Сошлюсь и я на нее. Сдѣлавъ нѣсколько справедливыхъ, хотя и не претендующихъ на научность замѣчаній о сознательномъ и безсознательномъ творчествѣ, онъ прибавляетъ: „художникъ часто самъ увидитъ смыслъ своей картины съ помощью тонкаго критическаго толкователя, какими, напримѣръ, были Бѣлинскій и Добролюбовъ".

Мнѣ необыкновенно пріятно напомнить эти слова знаменитаго романиста. Г. Боборыкинъ совсѣмъ не одинокъ, не былъ одинокъ и до появленія статьи „молодого словесника". Напротивъ, уже много лѣтъ, а самое послѣднее время въ особенности, разные мизинные люди стараются унизить нашу старую критику, причемъ часто указываютъ на сплошь будто бы враждебныя отношенія между этой критикой и современной ей беллетристикой. Имя Гончарова, кажется, особенно часто при этомъ поминается всуе. Я, конечно, не стану утверждать, чтобы совсѣмъ не было конфликтовъ между этими двумя теченіями. Но вотъ Гончаровъ называетъ Бѣлинскаго и Добролюбова „тонкими критическими истолкователями", разъяснявшими иногда самимъ художникамъ плоды ихъ творчества. Мы, третьи лица, читатели, тоже получали удовлетворившія насъ разъясненія, которыя и до сихъ поръ таковыми остаются. Нынѣшнимъ критикамъ эти разъясненія кажутся неудовлетворительными, потому что, дескать, ошибочны ихъ критическіе пріемы и теоретическія исходныя точки. Хорошо, пусть невѣрны, исправляйте ихъ, но не ограничивайтесь словами, а дѣлайте дѣло. Пусть невѣрно освѣщеніе, данное Добролюбовымъ „Обломову" Гончарова, комедіямъ Островскаго и проч., но вѣдь онъ не слова только о критикѣ писалъ (собственно онъ писалъ ихъ очень мало), а самую эту критику предъявлялъ. И вотъ почему его разсужденія о задачахъ искусства и критики, каковы бы они ни были сами по себѣ, не были празднословіемъ. А эти мизинные люди въ метафизическія трубы трубятъ, въ научные барабаны бьютъ, все въ походъ собираются, а сами ни съ мѣста. И вотъ почему все это—одно празднословіе, скучное, всѣмъ, кромѣ самихъ трубачей и барабанщиковъ, надоѣвшее. Невѣрно освѣщеніе, данное Гончарову или Островскому, и вы, ми-

Digitized by Google

зинные люди, хотите научить насъ настоящему, вѣрному пониманію по строго-научному, научно-философскому, метафизическому и какому тамъ еще методу,—ну, и пересмотрите произведенія этихъ писателей вновь, или другихъ какихъ, ну хоть того же г. Боборыкина, освѣтите, и только тогда слово ваше станетъ дѣломъ и перестанетъ быть празднословіемъ. Я заглянулъ недавно въ разборъ сочиненій В. Г. Короленко, сдѣланный однимъ изъ такихъ мизинныхъ людей, г. Ю. Николаевымъ. Я нашелъ тамъ много превосходныхъ страницъ,—а именно чрезвычайно много выписокъ изъ Короленка, цѣлыми страницами. Затѣмъ я нашелъ тамъ фарисейскія размышленія, но все на тѣ же морально-общественныя темы, а ни науки, ни эстетики я тамъ не нашелъ. Словомъ, это все та же публицистика, но съ отрицательнымъ знакомъ—безсильная, мраколюбивая и не искренняя. Такова же и беллетристика, которую охотно берутъ подъ свое покровительство защитники „чистаго искусства". Повторяю, не одинокъ г. Боборыкинъ. Немного можетъ быть найдется людей, которые бы такъ легкомысленно предавались словеснымъ орнаментамъ якобы научнаго характера, но людей, негодующихъ на нашу критику во имя „чистаго, самодовлѣющаго искусства", было всегда очень много. И что же? Какъ разъ въ тѣхъ литературныхъ органахъ, гдѣ пѣлись гимны этому самому чистому искусству, печатались тенденціознѣйшіе романы, напримѣръ, Маркевича или г. Авсѣенки, г. Орловскаго. Сила нашего празднословія столь велика, что даже въ этихъ самыхъ романахъ возвеличивалось чистое искусство и унижалось искусство тенденціозное; равно какъ въ соотвѣтствующихъ критическихъ статьяхъ, ратовавшихъ противъ публицистической критики, не было ничего, кромѣ публицистики. И такъ ведется до сего дня. Г. Боборыкинъ, надо отдать ему справедливость, никогда не стоялъ въ томъ мрачномъ хорѣ, который фальшивыми голосами пѣлъ жестокія пѣсни, но его защита чистаго искусства тѣмъ не менѣе поистинѣ смѣшна. Назовите хотя одинъ романъ г. Боборыкина, который можно бы было признать жертвой на алтарь чистаго, самодовлѣющаго искусства. Нѣтъ такого романа. Объ чемъ же онъ безпокоится? чего онъ хочетъ? Ни объ чемъ въ дѣйствительности не безпокоится, а просто празднословитъ...

Вернемся къ послѣдней выпискѣ изъ статьи г. Боборыкина. Онъ тамъ указываетъ и положительныя явленія въ области кри-

Digitized by Google

тики, представляющія собою исключенія изъ общаго анти-научнаго разгула. А именно: „Только въ трудахъ нѣкоторыхъ ученыхъ, бравшихъ предметомъ своихъ работъ нашу народную поэзію и законченныя эпохи въ движеніи литературныхъ идей и образовъ у насъ и на Западѣ, а также область психологіи, гдѣ обосновывается эстетика, находимъ мы взгляды и пріемы работы, свободные отъ стороннихъ примѣсей“.

Въ своемъ платоническомъ увлеченіи „строго научнымъ методомъ“, г. Боборыкинъ не понимаетъ, что пріемы, пригодные для изученія народной поэзіи и „законченныхъ эпохъ“, могутъ быть частію фактически непримѣнимы, а частію даже просто непристойны по отношенію къ индивидуальному творчеству и живому литературному явленію. Для краткости ограничусь однимъ примѣромъ. Въ числѣ работъ, одобряемыхъ г. Боборыкинымъ, навѣрное находятся „Этюды о Мольерѣ“ г. Веселовскаго. Это, дѣйствительно, очень почтенныя, очень тщательныя работы. Но, во-первыхъ, онѣ вовсе не свободны отъ „стороннихъ примѣсей морали и общественности“, да иначе и быть не можетъ. Человѣкъ науки не значитъ деревянный человѣкъ, а надо быть именно деревяннымъ человѣкомъ, чтобы, говоря, напримѣръ, о типѣ Тартюфа, признать элементъ морали сторонней примѣсью. Это значило-бы именно не понять Мольера, обойти въ критикѣ его комедіи то, что составляетъ ея смыслъ, что было дорого самому Мольеру. Да и просто это невозможно, нѣтъ людей, до такой степени деревянныхъ, и лишь празднословіе можетъ ждать и призывать ихъ. Затѣмъ, г. Веселовскій удѣляетъ не мало вниманія семейной жизни Мольера, той роли, которую играла въ его жизни и творчествѣ его легкомысленная жена. И онъ, конечно, совершенно правъ, потому что роль эта была, дѣйствительно, очень велика, и опредѣленіе ея многое объясняетъ въ литературной дѣятельности Мольера. Но эта сторона изслѣдованія только потому и возможна въ данномъ случаѣ, что мы имѣемъ дѣло съ „законченнымъ“ литературнымъ явленіемъ, съ писателемъ XVII вѣка. Примѣнить этотъ пріемъ къ современному писателю, понятное дѣло, совершенно невозможно, безъ забвенія самыхъ элементарныхъ правилъ приличія и порядочности. Беллетристы-фотографы позволяютъ себѣ иногда безцеремонно залѣзать въ чужую душу и чужую семейную жизнь, но они для этого должны все-таки какъ-нибудь маскировать свое предпріятіе,

Digitized by Google

за которое все-таки иногда расплачиваются своими боками. Но никакой критикъ не можетъ себѣ позволить искать въ произведеніи современнаго романиста или драматурга слѣдовъ его семейныхъ несчастій или вообще интимныхъ обстоятельствъ его жизни. По отношенію къ писателю XVII вѣка и всякому другому, дѣйствительно, законченному литературному явленію, это—научный пріемъ, а по отношенію къ современности это—дѣяніе, подлежащее очень непріятному возмездію: могутъ и въ судъ потащить, могутъ и безъ суда обойтись. И кто отъ этого суда или отъ этой безсудности пострадаетъ, тотъ ужъ, конечно, не жертва преданности наукѣ будетъ.

Г. Боборыкинъ указываетъ еще на работы въ „области психологіи, гдѣ обосновывается эстетика". Фраза немножко не ладно скроена и не крѣпко сшита, и мнѣ не совсѣмъ ясно, что именно авторъ хочетъ сказать. Если рѣчь идетъ о работахъ русскихъ ученыхъ спеціально въ области психологическаго обоснованія эстетики, то я надѣюсь, что такія есть (только надѣюсь, потому что, признаюсь, цѣнныя русскія работы въ этомъ родѣ мнѣ неизвѣстны). Если-бы, однако, ихъ было и гораздо больше, то онѣ не имѣли-бы все-таки рѣшающаго значенія для литературной критики. Разумѣется, критику полезно, а можетъ быть даже обязательно съ ними познакомиться, но ему полезно и обязательно познакомиться еще со многимъ другимъ, какъ изъ области науки же, такъ и изъ области житейскихъ отношеній. Художникъ вложилъ въ свое произведеніе не только свое чувство красоты, а и свои идеалы, свою мысль, вѣрованія, свои знанія. И все это хотятъ подвергнуть суду исключительно эстетическому! Это просто безсмыслица, а такъ какъ на дѣлѣ никто и никогда этой программы не исполнялъ и исполнить не можетъ, то, кромѣ того,—и празднословіе. Наука же тутъ въ особенности не причемъ.

Но подъ психологическими работами г. Боборыкинъ разумѣетъ, можетъ быть, собственно психіатрическія, въ родѣ статьи г. Чижа о произведеніяхъ Достоевскаго или г. Сикорскаго о „Красномъ цвѣткѣ" Гаршина. Это, дѣйствительно, научная критика (вѣрная или невѣрная,—другой вопросъ). Но она, очевидно, можетъ служить только спеціальнымъ подспорьемъ для литературной критики, такъ какъ свидѣтельствуетъ только о вѣрности или невѣрности художественныхъ воспроизведеній извѣстныхъ

Digitized by Google

патологическихъ состояній. Въ „Entartung“ Макса Нордау мы имѣемъ уже настоящую литературную критику, построенную на научныхъ, и именно, главнымъ образомъ, психіатрическихъ основаніяхъ (вѣрную или невѣрную, это—опять вопросъ особый). Но за то же посмотрите—сколько въ ней „стороннихъ примѣсей морали и общественности“! Г. Боборыкинъ долженъ придти въ ужасъ, тѣмъ болѣе, что „науки“ тутъ во всякомъ случаѣ несравненно больше, чѣмъ въ его „одинокихъ“ трудахъ...

Скучно, читатель? Мнѣ и самому становится скучно, но надо еще немножко потерпѣть. Мнѣ бы не хотѣлось нанести г. Боборыкину не заслуженную обиду, то есть обиду больше той, которая сама собой вытекаетъ изъ его легкомыслія и празднословія. Въ этихъ видахъ было-бы можетъ правильно представить здѣсь же образцы другихъ празднословій на ту же тему и остановиться на нихъ нѣсколько дольше, чѣмъ это сдѣлано выше, въ нѣсколькихъ словахъ о хорѣ, поющемъ фальшивыми голосами жестокія пѣсни. Голосъ у нашего почтеннаго романиста фальшивый, но жестокихъ пѣсенъ онъ не поетъ. И хотя по временамъ, читая его статью, нельзя не возмущаться, но въ общемъ въ ней преобладаетъ комическій элементъ. Далеко не таковы другіе празднословящіе во славу чистаго искусства и независимости его отъ „стороннихъ примѣсей морали и общественности“. Тутъ есть и мрачною злобою и уязвленнымъ самолюбіемъ Ѳомы Опискина пропитанные; и точныя копіи словоточивости Іудушки Головлева,—не той его безпредметной словоточивости, которой не чуждъ и г. Боборыкинъ, а той презрѣнной, которая опутываетъ благонамѣренными рѣчами гнусныя дѣла и помыслы. Однако на этотъ, по крайней мѣрѣ, разъ, я долженъ ограничиться указаніемъ на существованіе этихъ фигуръ и на то общее, что у нихъ есть съ г. Боборыкинымъ. Это именно—празднословіе. Они поютъ гимны въ прозѣ чистой красотѣ и чистому искусству и пишутъ хоть и не „блестящія“, но весьма „негодующія тирады“ противъ публицистической критики; но въ то же время, если они беллетристы, то даютъ тенденціознѣйшіе романы и повѣсти, а если критики, то—все-таки публицистическую критику, отличающуюся отъ гонимой ими критики не пріемами, а содержаніемъ идей. Я очень прошу читателя замѣтить и запомнить эту общую черту. Она объяснитъ ему многое даже въ его собственной, читательской, душѣ; объяснитъ, между прочимъ, и ту скуку, которую мы

Digitized by Google

испытываемъ при чтеніи большинства статей въ защиту чистаго искусства. Зависитъ она не только отъ малоталантливости авторовъ и не только отъ безнадежности темы, а и отъ внутренняго противорѣчія, проникающаго всѣ эти писанія и выражающагося празднословіемъ. Исходныя точки и пріемы критики Бѣлинскаго мѣнялись, но въ нихъ никогда не было розни между словомъ и дѣломъ. Пусть будетъ доказана полная неосновательность взглядовъ Добролюбова на задачи и цѣли искусства, но онъ во всякомъ случаѣ примѣнялъ свою точку зрѣнія на дѣлѣ, и уже одна эта цѣльность, искренность его работы гарантируетъ ему многая лѣта вниманія читателей. Но мы видѣли, что, по признанію такого художника, какъ Гончаровъ, Добролюбовъ самимъ художникамъ разъяснялъ смыслъ ихъ образовъ и картинъ. Гораздо легче было-бы доказать неосновательность многихъ теоретическихъ воззрѣній Писарева. Но и этотъ увлекающійся и много пустяковъ говорившій юноша не празднословилъ и потому никогда не возбуждалъ въ читателѣ скуки. О г. Боборыкинѣ этого, къ сожалѣнію, сказать нельзя...

Сдѣланное выше предположеніе, что г. Боборыкинъ подъ „работами въ области психологіи, гдѣ обосновывается эстетика“ разумѣетъ нѣкоторыя примѣненія психіатріи къ литературной критикѣ,—чисто гадательно. Я высказалъ его только въ виду неясности фразы г. Боборыкина, а также въ виду того, что это несомнѣнныя попытки приложенія научныхъ истинъ къ области критики. Весьма вѣроятно, что г. Боборыкинъ былъ далекъ отъ этой мысли. Весьма вѣроятно, что онъ и теперь возразитъ, что, распространяясь о наукѣ, онъ разумѣлъ не науку вообще и не иную какую-нибудь ея отрасль, а именно только научную эстетику. И политическая экономія со статистикой—науки, и этика и политика, по крайней мѣрѣ, стремятся стать научными дисциплинами, но ихъ вмѣшательства въ область литературной критики нашъ авторъ не признаетъ: тутъ должна царить одна эстетика. Но гдѣ она, эта эстетика? Я сначала подумалъ было, что она у П. И. Вейнберга въ карманѣ, откуда онъ ее вынетъ и изложитъ на страницахъ „Театральной Газеты“ въ видѣ трактата о вѣчныхъ или незыблемыхъ законахъ искусства и красоты. Но вотъ въ одномъ мѣстѣ статьи г. Боборыкина я, нѣсколько неожиданно, нахожу слѣдующія слова: „Напрасно кн. Волконскій ретируется за общее мѣсто объ отвлеченной вѣчной красотѣ. Въ

Digitized by Google

научной эстетикѣ давно уже объ ней никто не говоритъ". Каково положеніе! Но дѣлать нечего: г. Боборыкинъ говоритъ такимъ авторитетнымъ тономъ, что надо ему вѣрить, хотя, съ другой стороны, г. Вейнбергъ говоритъ еще, пожалуй, авторитетнѣе: онъ прямо знаетъ и обѣщаетъ показать ту вѣчную красоту, объ которой, по словамъ г. Боборыкина, люди науки давно перестали говорить. Колебанія мои еще усилились, когда я прочиталъ примѣчаніе редакціи „Вопросовъ философіи и психологіи" къ приведеннымъ словамъ г. Боборыкина. Г. Вейнбергъ не отъ лица науки говоритъ, поэтому намъ съ г. Боборыкинымъ онъ не указъ и смутить насъ не можетъ. А вотъ что смутительно—мнѣніе ученой редакціи философско-психологическаго журнала: „Редакція позволяетъ себѣ не согласиться въ этомъ пунктѣ съ почтеннымъ беллетристомъ. Наука, отрицающая „вѣчное", сама себя отрицаетъ". Вотъ тутъ и разбирайся, какъ знаешь... У кого же, наконецъ, учиться бѣдной литературной критикѣ?!

Въ области эстетики есть одинъ безпокойный элементъ, чрезвычайно затрудняющій всякія объективныя теоретическія построенія. Это—вкусъ. Какъ-бы мнѣ ни доказывали, что законы вѣчной или невѣчной красоты предписываютъ мнѣ восторгаться такимъ-то художественнымъ произведеніемъ, или, напротивъ, ощущать непріятность отъ такого-то другого произведенія,—лично для меня рѣшитъ дѣло мой вкусъ. Это обстоятельство привело Писарева къ положенію: „Прекрасно только то, что нравится намъ; всѣ разнообразнѣйшія понятія о красотѣ одинаково законны—этимъ эстетика разсыпается въ прахъ". Г. Боборыкинъ приводитъ эти слова Писарева и, конечно, не одобряетъ ихъ. Да и нельзя одобрить: эстетика не разсыпается въ прахъ отъ разнообразія вкусовъ, какъ не разсыпается этика отъ разноголосицы такого же безпокойнаго и затрудняющаго элемента—совѣсти. Этика именно и строится на фактѣ существованія совѣсти, а эстетика—на фактѣ существованія вкуса. Но вопросъ о разнообразіи вкусовъ все-таки остается, и я, опять-таки нѣсколько неожиданно, читаю въ статьѣ г. Боборыкина: „Вы не можете принудить себя наслаждаться картиной, романомъ или симфоніей; это будетъ зависѣть и отъ того, подѣйствуетъ-ли произведеніе на ваше чувство красоты, и отъ того, въ какомъ вы находитесь личномъ настроеніи". Не усомниться-ли намъ, наконецъ, въ научномъ авторитетѣ г. Боборыкина и не обратить-

Digitized by Google

ся-ли за разрѣшеніемъ нашихъ сомнѣній въ другія инстанціи? Но куда? Въ видахъ безпристрастія слѣдовало-бы обратиться въ такую инстанцію, которою и самъ г. Боборыкинъ признаетъ.

Г. Боборыкинъ хорошъ тѣмъ, что въ его беллетристикѣ вы сейчасъ видите „съ кого онѣ портреты пишетъ и гдѣ разговоры эти слышитъ", а въ его философско-публицистическихъ трудахъ— какія онъ наканунѣ книжки читалъ, а иногда даже, до какой страницы онъ ихъ дочиталъ. Онъ сыплетъ Гельмгольцами и Брюкке, Веберами и Эттингенами, но цитируетъ изъ людей науки только Фехнера, а именно его Vorschule des Aesthetik, въ которой поминаются и Гельмгольцъ, и Брюкке, и Веберъ, и Эттингенъ. Сочиненіе это не представляетъ собою чего-нибудь рѣшающаго въ области эстетики, но самъ Фехнеръ, конечно, очень большой человѣкъ въ наукѣ, хотя и пропущенный въ „Книгѣ о книгахъ" г. Янжула, а потому всякое его мнѣніе заслуживаетъ серьезнаго вниманія; гораздо болѣе серьезнаго, чѣмъ то, какое ему оказалъ г. Боборыкинъ.

Указавъ на разнообразіе вкусовъ и на крайнюю сложность причинъ этого разнообразія, Фехнеръ пишетъ:

„Что касается рѣшенія споровъ между различными вкусами, то спрашивается прежде всего—кто долженъ быть судьей? Чувство? Но споръ вкусовъ и есть именно споръ чувствъ, а потому не можетъ быть рѣшенъ чувствомъ. Разсудокъ? Если ему удастся установить критеріи, по которымъ нѣчто прекрасно, то это будетъ просто признаніемъ или отверженіемъ вкуса... Но, къ сожалѣнію, эти критеріи такъ спорны между эстетиками, такъ колеблются, такъ неопредѣленны или парятъ на такой философской высотѣ, что съ ихъ точки зрѣнія парики и шлейфы могутъ быть такъ же оправданы, какъ и греческая одежда... Я не эстетическій спаситель, призванный измѣнить это положеніе вещей. Я самъ того мнѣнія, что нельзя установить критерій, способный рѣшить споръ вкусовъ во всѣхъ случаяхъ. Есть только одинъ принципъ, достаточно ясно указывающій точку зрѣнія, съ которой можетъ быть веденъ и, по крайней мѣрѣ, въ не очень сложныхъ случаяхъ дѣйствительно рѣшенъ споръ... Сама по себѣ эта точка зрѣнія очень проста, но трудно ея примѣненіе... Дѣло здѣсь идетъ не только объ томъ, что нравится или не нравится непосредственно... но и объ томъ— хорошо ли, что это нравится, а то не нравится, выигрываетъ или проигрываетъ отъ такихъ вкусовъ благоденствіе, счастіе, благо всего человѣчества въ цѣломъ... Принципъ этотъ зависитъ отъ общаго отношенія красоты къ добру и гласитъ кратко: лучшій вкусъ тотъ, изъ котораго истекаетъ лучшее для человѣчества; лучшее же для человѣчества есть то, что болѣе согласуется съ его современнымъ, а предположительно и будущимъ благоденствіемъ" (Vorschule der Aesthetik. Erster Theil, 246, 256, 264).

Digitized by Google

Какъ видите, Фехнеръ не оправдываетъ надеждъ и ссылокъ на него г. Боборыкина. Какъ видите, большой человѣкъ науки, притомъ въ сочиненіи, спеціально посвященномъ эстетикѣ, въ сочиненіи, самимъ г. Боборыкинымъ почтительно цитируемомъ, не совсѣмъ согласенъ съ Теофилемъ Готье, котораго тотъ же г. Боборыкинъ цитируетъ уже не съ почтеніемъ, а съ восторгомъ... И далась же ему эта наука! зачѣмъ? То ли дѣло французская беллетристика...

Г. Боборыкинъ оканчиваетъ статью двумя эстетическими тезисами, объ которыхъ скромно говоритъ, что они „не исчерпываютъ всего содержанія эстетики", но даютъ „указаніе на то, что добыто наукой". Послѣ всего вышесказаннаго, я могу избавить себя отъ разбора этихъ тезисовъ, тѣмъ болѣе, что они представляютъ собою простые антитезисы двумъ же тезисамъ кн. Волконскаго. Если въ нихъ и есть что отъ науки, то это—указаніе на участіе безсознательнаго начала въ творчествѣ.

Въ томъ, что роль безсознательныхъ процессовъ въ художественномъ творчествѣ вообще весьма значительна,—никто давно уже не сомнѣвается. Но, во-первыхъ, пропорцію сознательнаго и безсознательнаго элементовъ не такъ-то легко опредѣлить: она сильно колеблется не только у разныхъ художниковъ, но и въ разныхъ областяхъ искусства и даже въ разныхъ отдѣлахъ одной и той же области (напр., не только въ музыкѣ и живописи, но и въ лирическомъ произведеніи и романѣ). А во-вторыхъ, хотя опредѣленіе пропорціи сознательнаго и безсознательнаго элементовъ въ данномъ произведеніи и можетъ составить одну изъ задачъ критики, но это еще ничего не говоритъ противъ „стороннихъ примѣсей".

Я хотѣлъ кончить настоящую замѣтку разборомъ какого-нибудь произведенія г. Боборыкина, напримѣръ, „Дѣльцовъ" или „Жертвы вечерней". Я хотѣлъ совершить это пріемами, которыми долженъ бы былъ остаться доволенъ самъ авторъ разбираемыхъ произведеній, то есть „по строго-научному методу". Но увы! я такъ и до сихъ поръ не знаю, въ чемъ этотъ методъ состоитъ,—не научилъ меня г. Боборыкинъ этому дѣлу своей статьей. Тогда я рѣшилъ попробовать критику эстетическую, хотя бы и безъ научнаго критерія. Отрицательная часть программы такой кри-

Digitized by Google

тики совершенно ясна: не надо вводить „стороннія примѣси морали и общественности“. Я приготовился благоговѣть передъ чистой красотой, разлитой въ произведеніяхъ г. Боборыкина. Но опять увы! Я не нашелъ тамъ чистой красоты. Извѣстно, что въ романахъ г. Боборыкина всегда есть опредѣленная тенденція, заданная себѣ авторомъ морально-общественная тема (въ „Жертвѣ вечерней“ эту тему составляетъ лицемѣріе служителей чистаго искусства; помните Домбровича?) и затѣмъ рядъ фотографическихъ портретовъ, оригиналы которыхъ легко узнаются. Что же тутъ дѣлать эстетической критикѣ? Опредѣлять долю участія сознательнаго и безсознательнаго элемента въ творчествѣ г. Боборыкина? Промахнуться можно, да и игра не стоитъ свѣчъ. Я это сдѣлаю лучше на другомъ примѣрѣ.

Я сдѣлаю это на самомъ себѣ. Я уже говорилъ какъ-то въ своихъ воспоминаніяхъ о своихъ беллетристическихъ попыткахъ, оканчивавшихся тѣмъ, что я ихъ бросалъ, сознавая отсутствіе во мнѣ художественнаго таланта. Изъ того, однако, что меня тянуло къ беллетристикѣ и что я бросалъ работу, потому что былъ недоволенъ ею, изъ этого, говорю, видно, что если я не великій художникъ, то и не жалкій ремесленникъ. Слѣдовательно, характеръ моего „творчества“, надо думать, не очень отличается отъ характера творчества средняго русскаго беллетриста. Нижеслѣдующія мои признанія посвящаю поэтому г. Боборыкину въ качествѣ матеріаловъ для его будущихъ „этюдовъ по психологіи творчества“.

Въ началѣ 80-хъ годовъ я задумалъ романъ подъ заглавіемъ „Карьера Оладушкина“ (два отрывка изъ него были напечатаны). Происхожденіе этого романа такое. Мнѣ часто случалось упрекать Г. И. Успенскаго за то, что онъ не пишетъ романа изъ современной русской жизни, представлявшей въ ту пору, въ разныхъ слояхъ общества, цѣлый рядъ необыкновенно интересныхъ положительныхъ и отрицательныхъ типовъ. Г. И. Успенскій съ особеннымъ, свойственнымъ ему юморомъ отвѣтилъ однажды: „не могу; романъ,—вѣдь это значитъ надо начинать: „Марья Ивановна полулежала на кушеткѣ“,—гдѣ же мнѣ этакое написать? не мое это дѣло“. Я возражалъ, что именно его дѣло, что нѣтъ надобности въ такомъ именно началѣ, но не бѣда, если-бы и въ самомъ дѣлѣ „Марья Ивановна полулежала на кушеткѣ“. Мы посмѣялись, но потомъ я не разъ возвращался къ этой темѣ и

Digitized by Google

однажды, шутя, сказалъ: „смотрите, Г. И., если вы не возьметесь за романъ, такъ я начну, и вамъ стыдно будетъ, что такой матеріалъ мнѣ уступили, потому что ужъ, конечно, это не мое дѣло“.—„И что же? такъ и будетъ: „Марья Ивановна полулежала на кушеткѣ“?—Непремѣнно.—Мы опять посмѣялись, но мысль о романѣ въ самомъ дѣлѣ стала меня преслѣдовать. Какъ она складывалась въ опредѣленные образы и картины, что тутъ было сознательнаго и что—безсознательнаго, я частью не помню, а изъ того, что помню, кое-что разскажу сейчасъ. Первыя же строки романа, послѣ окончательной обработки, оказались такими:

„—Ты вотъ что мнѣ скажи, Женевьева, вотъ ты больна теперь, — ну, какъ же онъ ходитъ: на цыпочкахъ или всей ступней?

„Такъ съ чрезвычайно серьезнымъ видомъ спрашивалъ Евгеній Павловичъ Суровской свою сестру, Евгенію Павловну Зимогорову, сидя въ большомъ креслѣ возлѣ кушетки, на которой полулежала его собесѣдница. Онъ звалъ ее Женевьевой отчасти въ видахъ того веселаго остроумія, которое называетъ старуху „старушенціей“, шляпу—„шляпенціей“ и пики—„пикендрясами“, а отчасти потому, что неудобно было называть ее употребительнымъ уменьшительнымъ именемъ „Женя“,—она сама его такъ называла. Родителямъ пришла въ голову игривая мысль дать имъ одинаковыя имена: Евгеній и Евгенія“.

Какъ видите, героиня въ первыхъ же строкахъ романа таки полулежала на кушеткѣ. Это было сдѣлано намѣренно, вполнѣ сознательно, такъ сказать, въ пику Г. И. Успенскому. Первоначально, такъ именно романъ и начинался: „Марья Ивановна полулежала на кушеткѣ“. Но почему потомъ имя перемѣнилось, я бы не могъ сказать (въ смыслѣ моихъ личныхъ отношеній и моихъ понятій о красивости, эти имена были совершенно безразличны), какъ не могъ бы сказать, почему у брата и сестры оказались одинаковыя имена. Это вышло вполнѣ безсознательно, хотя, можетъ быть, потомъ, въ теченіе повѣствованія, я на этомъ случайномъ обстоятельствѣ построилъ бы что-нибудь сознательно,—какую-нибудь мелочь, конечно. Но разъ ужъ такъ вышло, я остался доволенъ совпаденіемъ именъ: мнѣ казалось и, я думаю, не безъ основанія, что эта случайная мелочь способствуетъ индивидуализаціи и живости дѣйствующихъ лицъ, выдѣляетъ ихъ изъ множества фигурирующихъ въ романахъ братьевъ

Digitized by Google

и сестеръ. Меня занимали нѣкоторыя явленія тогдашней нашей общественной жизни, которыя я именно и рекомендовалъ настойчиво Г. И. Успенскому для художественной обработки. Тутъ были факты и типы весьма различной цѣнности съ точки зрѣнія „стороннихъ примѣсей морали и общественности". И занимали они меня, мою мысль и воображеніе, если не исключительно, то, главнымъ образомъ, съ этой стороны. Я испытывалъ, правда, нѣкоторое особое, отличное отъ нравственнаго, чувство, когда сырой матеріалъ наблюденій перегоралъ въ фантазіи и группировался въ картины по постепенно вырабатывавшемуся плану; и можетъ быть это чувство заслуживаетъ названія „эстетической эмоціи". Но не только тогда, когда романъ обдумывался и писался, а и теперь, издали, я бы не могъ отдѣлить это чувство отъ любви и ненависти, жалости и презрѣнія къ своимъ дѣйствующимъ лицамъ. Кромѣ того, я зорко, чисто разсудочнымъ путемъ слѣдилъ за тѣмъ, чтобы не впасть въ обычные промахи беллетристовъ средняго и малаго роста.

Главный изъ этихъ промаховъ состоитъ въ пересолѣ: положительные типы бываютъ слишкомъ обременены физическими, нравственными и умственными достоинствами, изъ подъ груды которыхъ еле выглядываетъ живое лицо; типы отрицательные, напротивъ, нелюбимыя дѣтища творческой фантазіи,—слишкомъ ужъ замазаны грязью. Большіе художники избѣгаютъ этихъ промаховъ, благодаря прирожденному такту, чувству мѣры, но и они, я думаю, вносятъ сюда извѣстную долю чисто сознательной работы. Центральной фигурой моего романа былъ ничтожный негодяй, и это былъ вполнѣ сознательный выборъ. Положительные типы должны были фигурировать въ романѣ, и даже въ довольно большомъ количествѣ, но, помимо затрудненій внѣшняго, посторонняго характера, я чувствовалъ, что не справлюсь съ положительнымъ типомъ, поставленнымъ въ центрѣ романа. Однако и ничтожный негодяй причинялъ мнѣ не мало заботы: пересолъ и тутъ былъ очень возможенъ. Надо было строго очертить предѣлы негодяйства, что я и сдѣлалъ умственно, рѣшивъ предоставить безсознательному процессу лишь второстепенныя подробности. Ибо, какъ только я началъ романъ, такъ уже и не сомнѣвался, что этотъ безсознательный процессъ своевременно выставитъ что нужно изъ пережитаго, но хранящагося въ запасной кладовой по ту сторону порога сознанія. Оладушкинъ (такъ

Digitized by Google

звали моего негодяя) долженъ былъ, по плану романа, торжествовать. Задача въ томъ именно и состояла, чтобы показать тѣ условія, при которыхъ можетъ торжествовать такой человѣкъ. Но оставить его вполнѣ безнаказаннымъ мнѣ было-бы тяжело, какъ-то оскорбительно, хотя, съ другой стороны, я понималъ прѣсноту обычнаго торжества добродѣтели и казни порока. Я выбралъ нѣчто среднее. Въ заключительной сценѣ дѣвушка, которую Оладушкинъ не то, чтобы любитъ, но которой онъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ добивается, отталкиваетъ его еще разъ. Она оскорблена тупой самоувѣренностью Оладушкина, думающаго, что послѣ всего, имъ совершеннаго, она можетъ отвѣтить благосклонно на его признанія и предложенія. Въ горячей, раздраженной рѣчи она перечисляетъ ему всѣ его мерзости (эту рѣчь говорилъ-бы я, авторъ, насколько съумѣлъ-бы преобразиться въ дѣвушку). Одушевленіе придаетъ необыкновенную красоту и безъ того красивой дѣвушкѣ. Въ Оладушкинѣ борются разныя чувства, въ числѣ которыхъ есть и прямо злоба, но, будучи актерскою натурой, онъ быстро приспособляется къ данному положенію и спрашиваетъ,—что онъ долженъ сдѣлать, чтобы искупить свои вины. Дѣвушка, взволнованная и раздраженная, убѣгаетъ въ другую комнату и высылаетъ ему оттуда Евангеліе, перегнутое на 27-й главѣ Евангелія отъ Матвѣя съ подчеркнутыми словами: „И, бросивъ сребренники въ храмѣ, онъ вышелъ; пошелъ, и удавился“.

Это послѣднія строки романа. Читателю предоставлялось самому рѣшить,—что было или могло быть дальше, потому что, признаюсь, я и самъ этого не зналъ.

Хотя многое въ романѣ было взято изъ дѣйствительной жизни, въ томъ числѣ нѣкоторыя даже общеизвѣстныя событія, но я прилагалъ всѣ старанія, чтобы въ немъ не было фотографическихъ портретовъ, за однимъ, однако, исключеніемъ. Романъ предполагался въ двухъ частяхъ. Дѣйствіе первой части происходитъ въ провинціи, въ средѣ гимназическихъ учителей, средней руки чиновниковъ и помѣщиковъ. Вторая часть въ Петербургѣ — Оладушкинъ устраиваетъ свои дѣла и для этого является къ разнымъ лицамъ, въ числѣ которыхъ есть нѣсколько писателей. Одного изъ нихъ, но только одного, я и думалъ сфотографировать съ дѣйствительности. И вотъ почему: этотъ писатель едва-ли не первый ввелъ у насъ въ беллетристику

Digitized by Google

пріемъ самаго точнаго описанія наружности, обстановки, всей вообще внѣшности извѣстнаго лица, такъ что его всякій узнать можетъ, причемъ, однако, авторъ приписывалъ ему иногда некрасивые поступки, которыхъ на совѣсти того лица никогда не бывало. Я не знаю, какое мѣсто занимаетъ этотъ пріемъ въ области „прекраснаго“ и въ „психологіи творчества“, но знаю, что имъ очень легко пользоваться. И я воспользовался, съ тою, однако, разницею, что усвоилъ своему дѣйствующему лицу не дрянность какую-нибудь а, напротивъ, благородный поступокъ. Я приведу отрывокъ одной изъ главъ романа. Глава эта называется:

Матье Латошъ.

Матье Латошъ нервной походкой разгуливалъ по своей „рабочей комнатѣ“, какъ онъ обыкновенно называлъ свой кабинетъ. Онъ то засовывалъ руки въ карманы, то быстро и сильно скребъ ими свою стриженную голову, то взглядывалъ на свою фигуру въ простѣночное зеркало, то переставлялъ и перекладывалъ съ мѣста на мѣсто мебель, книги, разныя мелочи, то окидывалъ взглядомъ „ансамбль“ рабочей комнаты, которою очень гордился. По серединѣ комнаты стоялъ большой письменный столъ подъ черное дерево, покрытый синимъ сукномъ и установленный множествомъ бронзовыхъ принадлежностей письменной работы, а также фотографическими карточками болѣе или менѣе красивыхъ дамъ. Передъ столомъ стояло кресло въ „русскомъ стилѣ“: спинка представляла ямщицкую дугу, а на одномъ изъ краевъ сидѣнья была какъ-бы брошена довольно аляповато вырѣзанная рукавица. Вдоль одной изъ стѣнъ протянулся турецкій диванъ, по сторонамъ котораго прислонились къ стѣнѣ два маленькіе книжные шкафа, тоже подъ черное дерево, затянутые синей тафтой вмѣсто стеколъ. На небольшомъ кругломъ столѣ въ углу комнаты были съ чрезвычайною аккуратностью звѣздообразно разложены книги и журналы. На другомъ столѣ, въ противоположномъ углу, были съ такою-же тщательностью уложены альбомы и éditions de luxe, красивые переплеты которыхъ были точно вчера сдѣланы. На каминѣ стояли бюстики Вольтера и Руссо изъ терракоты. На стѣнахъ висѣли: большой портретъ Эмиля Зола, нѣсколько фотографіи вродѣ „Истины“ (голая женщина на днѣ колодца съ факеломъ въ высоко поднятой кверху рукѣ) и

Digitized by Google

„Поэзіи“ (голая женщина, бряцающая на лирѣ) и одна довольно большая картина масляными красками въ слишкомъ широкой и слишкомъ изукрашенной лѣпкою золотой рамѣ. Картина изображала стараго усатаго человѣка въ военномъ сюртукѣ безъ эполетъ и погонъ, вытянувшаго одну руку впередъ; на этой рукѣ сидитъ комаръ нѣсколько преувеличенныхъ размѣровъ; усатый человѣкъ пристально смотритъ на налившагося кровью комара и уже занесъ свободную руку, чтобы вотъ сейчасъ прихлопнуть кровопійцу.

Всѣмъ этимъ Матвѣй Ивановичъ былъ очень доволенъ, все это казалось ему особенно хорошо подходящимъ для „рабочей комнаты“ извѣстнаго литератора. Но съ наибольшею любовью останавливался онъ на картинѣ масляными красками. Во-первыхъ, это была обновка: она всего нѣсколько дней, какъ украсила собою рабочую комнату, а до нея надъ турецкимъ диваномъ висѣли „Истина“ и „Поэзія“. Во-вторыхъ, Латошу нравился „натурализмъ“ картины. Въ-третьихъ, онъ радовался, что въ его рабочей комнатѣ висѣлъ, наконецъ, „оригиналъ“, „уника“. Это была давнишняя мечта Матвѣя Ивановича и вотъ только съ недѣлю тому назадъ мечта осуществилась. Латошъ писалъ много и быстро, зарабатывалъ очень хорошія деньги, но все-таки не могъ тратиться на такія дорогія вещи, какъ оригинальныя картины, да и скуповатъ былъ. На его счастье одинъ пріятель художникъ изъ „реалистовъ“, отъѣзжая на долгій срокъ за-границу, вздумалъ раздарить свои непродававшіеся этюды. Этюдъ человѣка съ комаромъ достался Матвѣю Ивановичу, и онъ вставилъ его въ широкую золотую раму и повѣсилъ его надъ турецкимъ диваномъ.

Матвѣй Ивановичъ видимо волновался и ждалъ. Ждалъ онъ новую „сотрудницу“. Работая, какъ уже сказано, много и быстро, Латошниковъ обыкновенно диктовалъ свои произведенія и всегда пріискивалъ для этой работы женщинъ, которыхъ галантно величалъ своими сотрудницами. Сегодня должна была придти новая такая сотрудница. Онъ уже сговорился съ ней и теперь вспоминалъ ея красивое лицо и своеобразное изящество всей ея фигуры. „Иностранецъ изъ донскихъ казаковъ“ былъ очень чувствителенъ къ женской красотѣ.

Матвѣй Ивановичъ уже въ десятый разъ взглянулъ на часы, въ пятый разъ полюбовался на человѣка съ комаромъ, въ третій

Digitized by Google

разъ переложилъ Fortnightly Review на мѣсто Revue des deux Mondes и бронзовый бюваръ на мѣсто бронзоваго преспанье. Наконецъ, позвонилъ. На звонокъ явился бѣлобрысый мальчикъ лѣтъ пятнадцати съ плутоватой физіономіей, одѣтый въ темную куртку съ нашитыми на груди красными шнурами на манеръ венгерки или гусарки. Костюмъ этотъ Латошъ скопировалъ съ костюма лакея одного знаменитаго французскаго писателя.

— Барыня дома?— сурово спросилъ Латошъ.

— Никакъ нѣтъ.

— А это что?

Лакейчикъ посмотрѣлъ по направленію простертой руки барина, но не понялъ. Простертая рука указывала на подсвѣчникъ, розетка которого была закапана стеариномъ.

— Это что?—повторилъ Латошъ. Но лакейчикъ не успѣлъ ничего сообразить, потому-что въ передней раздался звонокъ, и онъ опрометью бросился отворять. Матвѣй Ивановичъ быстро обдернулъ свой кургузый пиджачекъ, звонко шлепнулъ себя неизвѣстно для чего по ляшкѣ и посмотрѣлся въ зеркало.

— Марья Гавриловна Дунина!—доложилъ лакейчикъ, распахивая дверь и пропуская въ рабочую комнату нашу старую знакомую.

Марья Гавриловна мало измѣнилась съ тѣхъ поръ, какъ мы ея не видали: та же прическа, тѣ же какъ-бы удивленные, недоумѣвающіе, широко раздвинутые глаза, та же стройная фигура, то же черное платье, тотъ-же черный кружевной шарфикъ, высоко, почти до ушей закрывающій шею. Латошниковъ быстро оглядѣлъ ее съ головы до ногъ и почти машинально записалъ у себя въ памяти всѣ эти подробности. Это была его всегдашняя привычка: онъ набиралъ такимъ образомъ матеріалъ для своихъ многочисленныхъ романовъ и повѣстей.

— Вы очень аккуратны,—заговорилъ онъ, обѣими руками здороваясь съ гостьей.— Вамъ время дорого, мнѣ то же. Мы сейчасъ-же примемся за работу, но сначала позвольте мнѣ нѣсколько словъ... Пожалуйте сюда, садитесь...

Латошъ указалъ на турецкій диванъ, но въ ту же секунду передумалъ и, быстро повернувъ стоявшее у письменнаго стола кресло „русскаго стиля“, усадилъ Дунину такъ, что человѣкъ съ комаромъ пришелся прямо передъ ея глазами, а самъ, стоя, продолжалъ, сильно и размашисто жестикулируя:

Digitized by Google

— Когда я имѣлъ честь съ вами познакомиться, я не успѣлъ высказать вамъ нѣкоторые свои взгляды. Я слишкомъ мало знаю вашъ образъ мыслей и, во избѣжаніе недоразумѣній, хотѣлъ бы предварить васъ, что именно вамъ придется писать...

— Матвѣй Ивановичъ...—начала было Дунина, но Латошниковъ не далъ ей договорить.

— Pardon, я понимаю, что вы хотите сказать, но, видите ли, нынѣшняя молодежь такъ странно смотритъ иногда на вещи. Сотрудница, бывшая у меня до васъ, прямо отказалась писать подъ мою диктовку, на основаніи какого-то дикаго пуризма, какихъ-то морально-цивическихъ мотивовъ, совсѣмъ неумѣстныхъ въ искусствѣ... Да вотъ, позвольте васъ попросить взглянуть на эту картину. Это—Карамышева картина...

Латошъ шагнулъ къ человѣку съ комаромъ, щелкнулъ пальцемъ по полотну и потомъ отскочилъ на старое мѣсто. Дунина съ любопытствомъ слѣдила за нимъ своими черными, широко раскрытыми глазами.

— Почему, спрошу я васъ, это недостойный сюжетъ для искусства? Почему вамъ непремѣнно нужно Муція Сцеволу и чтобы рука у него жарилась на огнѣ? Подвигъ самъ по себѣ, а искусство само по себѣ, не такъ ли? Эстетическая эмоція вполнѣ самостоятельна, и человѣкъ, подставляющій руку комару, такъ же законенъ, такъ же интересенъ съ точки зрѣнія жизненной правды, какъ и Муцій Сцевола! Этого мало-съ!.. Болѣе законенъ, да-съ! Это вамъ, конечно, кажется парадоксомъ?

Задавъ этотъ вопросъ, Латошниковъ весь согнулся въ таліи впередъ и такъ близко наклонилъ лицо къ лицу собесѣдницы, что та инстинктивно отшатнулась.

— Мнѣ и вправду это кажется парадоксомъ,—отвѣтила она, улыбаясь,—но я не знаю, почему вы говорите, что мнѣ непремѣнно нуженъ Муцій Сцевола. Мы еще такъ мало знакомы...

— Тѣмъ лучше, тѣмъ лучше, если я ошибаюсь. Но я привыкъ видѣть, что нынѣшніе молодые люди заражены самыми невозможными понятіями объ искусствѣ. Это все наша несчастная критика надѣлала! Такъ ужъ съ Добролюбова повелось, но у того были, по крайней мѣрѣ, тактъ, чутье, а это... помилуйте! Я вполнѣ раздѣляю прогрессивные взгляды нашей передовой журналистики, но, je vous demande bien pardon, я эстетикъ! (Латошниковъ отступилъ шагъ назадъ, поднялъ кверху плечи, потомъ выхватилъ изъ бокового

Digitized by Google

кармана носовой платокъ, но не высморкался, а только помахалъ платкомъ въ воздухѣ и опять сунулъ его въ карманъ). Знаю, что „эстетикъ“ ругательное слово, знаю-съ! Знаю, что, объявляя себя таковымъ, я самъ заграждаю себѣ доступъ въ нѣкоторыя изданія, даже симпатичныя мнѣ... Да вотъ, потрудитесь посмотрѣть...

Матвѣй Ивановичъ быстрымъ и рѣзкимъ жестомъ выдвинулъ одинъ изъ ящиковъ письменнаго стола, вытащилъ оттуда нѣсколько листковъ корректуры, протянулъ ихъ къ самому носу Дуниной, какъ бы давая понюхать, потомъ положилъ на столъ и похлопалъ по нимъ ладонью. Дунина взглянула на часы. Несмотря на все увлеченіе своей рѣчью, Латошниковъ отмѣтилъ про себя, что часы открытые, серебряные, мужскіе, и висятъ на черномъ шнуркѣ.

— Я сейчасъ кончу и мы примемся за работу, — замѣтилъ онъ, комментируя жестъ съ часами.

— Да я хочу вамъ сказать, Матвѣй Ивановичъ...

— Знаю, знаю, сейчасъ вы увидите... Исторія вотъ какого рода. Я давно помѣщаю свои романы въ „Прогрессѣ“, а теперь предложилъ имъ рядъ небольшихъ очерковъ подъ названіемъ „Картинки“. Тутъ будутъ и чисто, знаете, бытовые очерки (Латошъ погрозилъ кому-то въ пространство кулакомъ), будетъ и настоящая жизненная драма (онъ отступилъ шагъ назадъ, скрестилъ на груди руки по наполеоновски и изобразилъ на своемъ лицѣ жизненную драму), но, понимаете ли, дѣйствующія лица будутъ переходить изъ одного очерка въ другой (онъ мгновенно раскрестилъ руки и сдѣлалъ скачокъ впередъ, показывая, какъ дѣйствующія лица будутъ переходить). Въ этомъ будетъ заключаться единство „Картинокъ“, которыя вамъ именно и придется писать. Но первые три очерка уже написаны, и представьте себѣ, что редакція „Прогресса“ ихъ забраковала! да-съ! На какомъ основаніи? (Латошъ откинулся всѣмъ корпусомъ назадъ). А потому, изволите видѣть, что тамъ изображена красивая молодая дѣвушка, принимающая касторовое масло! Это все содержаніе первой „картинки“, ни больше, ни меньше. И замѣтьте отсталость господъ либераловъ (Латошъ перегнулся впередъ и опять такъ приблизилъ лицо къ лицу Дуниной, что она отшатнулась): реалисты во всемъ, а сами сознаются, что это для нихъ слишкомъ реально! Нельзя, видите ли, описывать, какъ въ углахъ губъ красивой дѣвушки осталось нѣсколько касторовaго масла

Digitized by Google

и какъ она отъ этого морщится! Нельзя сдѣлать изъ этого отдѣльную, самостоятельную картину! Да, вѣдь, это натура, это жизнь! Вся моя задача въ томъ и состоитъ, чтобы показать, что эстетическая эмоція независима отъ сюжета. Англійская психологія...

Дунина, едва сдерживавшая улыбку во время монолога Латоша, опять посмотрѣла на часы и рѣшительно встала, къ чему ее побудило отчасти и упоминаніе о касторовомъ маслѣ, котораго она не выносила.

— Извините, что я васъ перебиваю,—сказала она,—я сегодня не могу у васъ писать; затѣмъ именно и зашла къ вамъ, сказать это. Я сейчасъ должна быть у одного пріѣзжаго, очень мнѣ близкаго человѣка...

— А!—удивленно и явно недовольно отозвался Латошъ.—Жаль! Такъ когда же мы начнемъ?

Дунина говорила правду: она, дѣйствительно, зашла къ Матвѣю Ивановичу затѣмъ, чтобы извиниться, только онъ по стремительности своей не далъ ей до сихъ поръ слова сказать. Но недовольный тонъ Матвѣя Ивановича подсказывалъ ея совѣсти еще другую причину ея ухода. Ей казалось, что Латошъ думаетъ, будто она отъ касторовaго масла и эстетической эмоціи уходитъ, чего тотъ вовсе не думалъ: иностранецъ изъ донскихъ казаковъ былъ вполнѣ доволенъ собой. Но Дуниной все-таки казалось необходимымъ какъ-нибудь удостовѣрить его.

— Въ другой разъ буду аккуратна, — сказала она.—А это пріѣхалъ мой старинный пріятель. Можетъ слыхали, Таволгинъ?

— Таволгинъ!—вскричалъ Латошъ, почти съ ужасомъ отскакивая назадъ.—Mais ce n'est pas un homme de votre bord!

— А вы почемъ знаете мой bord, Матвѣй Ивановичъ?—строго спросила Дунина.

— Виноватъ, простите... Я лично не имѣю чести знать господина Таволгина. Слышалъ, что онъ человѣкъ оригинальный и талантливый, но нѣсколько... безпорядочный... Извините, я слухъ передаю, довольно, впрочемъ, распространенный и, кажется, достовѣрный слухъ.

— Таволгинъ несчастный человѣкъ, но лучше его я никого не знаю...

— Вы такъ горячо говорите, что я готовъ ему завидовать. Да я и вообще противъ него ничего не имѣю, даже никогда съ нимъ не встрѣчался. Готовъ даже помочь ему...

Digitized by Google

— Чѣмъ вы ему можете помочь?

— Онъ теперь, я знаю, безъ работы, а я имѣю кое-какія литературныя связи и могъ бы поговорить объ немъ.

— Вотъ это будетъ мило. Только не знаю, согласится ли... Онъ вѣдь и въ самомъ дѣлѣ чудакъ. Но все-таки запишите его адресъ: Выборгская сторона, Вознесенская улица, домъ № 107, меблированныя комнаты, Владиміръ Александровичъ Таволгинъ.

Латошниковъ записалъ.

— Такъ когда же мы начнемъ?

— Когда хотите, хоть завтра.

— Буду ждать, буду ждать. Я хотѣлъ познакомить васъ съ женой и вообще надѣюсь, что отношенія наши не ограничатся условнымъ сотрудничествомъ...

Латошниковъ проводилъ Дунину въ переднюю, оттолкнулъ лакейчика, самъ надѣлъ на „сотрудницу“ пальто и, выпустивъ ее на лѣстницу, крикнулъ:

— Sans rancune за господина Иволгина!

— Таволгина, а не Иволгина. Таволгинъ, Владиміръ Александровичъ, у васъ записано.

Сходя по лѣстницѣ и припоминая фигуру Латошникова, его жестикуляцію, его разсужденія о касторовомъ маслѣ и Муціи Сцеволѣ, Дунина не могла удержаться отъ смѣха вслухъ, который, однако, тотчасъ же оборвала, потому что снизу, навстрѣчу ей, поднимался какой-то мужчина. Это былъ Оладушкинъ, но она его не узнала и отвѣтила едва замѣтнымъ кивкомъ головы на преувеличенно почтительный жестъ, съ которымъ онъ снялъ передъ ней свою новенькую, блестящую цилиндрическую шляпу. Она подумала, что этотъ щеголеватый господинъ обознался, принялъ ее за другую. Оладушкинъ же, пропустивъ ее, остановился, подумалъ и вдругъ повернулъ назадъ, внизъ по лѣстницѣ.

— Сейчасъ тутъ вышла дама; въ которую сторону она пошла?— спросилъ онъ у швейцара.

Швейцаръ, здоровый, усатый отставной гвардеецъ, у котораго Оладушкинъ только что освѣдомлялся о номерѣ квартиры Латошникова, съ удивленіемъ посмотрѣлъ на него.

— Налѣво, кажись, взяли.

Оладушкинъ тоже взялъ налѣво и, сдѣлавъ нѣсколько уторопленныхъ шаговъ, увидѣлъ, что Дунина садится на извозчика. Въ то же время другой извозчикъ, согласно извѣстной примѣтѣ, при-

Digitized by Google

ворачивалъ свою лошадь къ тому счастливому мѣсту, на которомъ его собратъ получилъ сѣдока.

— Видишь, вонъ барыня ѣдетъ, поѣзжай за ней слѣдомъ, догоняй,—сказалъ Оладушкинъ, торопливо усаживаясь на дрожки второго извозчика. Тотъ задергалъ возжами и зачмокалъ, но извозчикъ Дуниной былъ гораздо лучше, и, какъ ни понукалъ Оладушкинъ своего возницу, разстояніе между ними все увеличивалось. Наконецъ, когда Оладушкинъ увидѣлъ издали, что Дунина въѣзжаетъ на Литейный мостъ, онъ махнулъ рукой:

— Ну, чортъ съ ней, найду!—сказалъ онъ вслухъ и прибавилъ, обращаясь къ извозчику: поѣзжай назадъ, ворона!... Тебѣ только покойниковъ возить!

Извозчикъ опять зачмокалъ и задергалъ возжами, и черезъ нѣсколько минутъ Оладушкинъ входилъ въ рабочую комнату Латоша.

Здѣсь-то, въ разговорѣ съ Оладушкинымъ, Латошниковъ и совершаетъ свой, не героическій какой-нибудь, но все-таки свидѣтельствующій о нравственной порядочности поступокъ. Я его приводить. однако, не буду. Долженъ еще прибавить, что картины, изображающей человѣка съ комаромъ, я никогда и ни у кого не видалъ; равнымъ образомъ никогда не слыхалъ о разсказѣ про дѣвушку, принимающую касторовое масло. Это—плоды моей творческой фантазіи. А теперь, когда я раскрылъ всѣ секреты своего „творчества“ и тѣмъ облегчилъ задачу критики, остаюсь въ ожиданіи критики строго научной, или, по крайней мѣрѣ, просто эстетической, только, пожалуйста, не публицистической. Въ качествѣ беллетриста, хотя бы и неудачнаго, я гордо повторяю гордыя заключительныя слова статьи г. Боборыкина:

„Критики-моралисты, защитники соціальныхъ и утилитарныхъ идеаловъ могутъ служить своимъ задачамъ въ другихъ отдѣлахъ литературы и прессы, но имъ пора прекратить свою, хотя бы и невольную, оккупацію эстетической области и уступить мѣсто тѣмъ, для кого искусство—не средство, а цѣль“.

Digitized by Google

V. *)

Основы народничества Юзова.—Памяти Тургенева.

Недавно мнѣ пришлось на этихъ самыхъ страницахъ отклонить отъ себя и еще отъ нѣкоторыхъ писателей титулъ „народниковъ“, поднесенный намъ г. Мережковскимъ. Въ самомъ непродолжительномъ времени послѣ этого вышелъ второй томъ „Основъ народничества“ г. Юзова, гдѣ, между прочимъ, читаемъ:

„Въ настоящее время народничество находится въ большой опасности, вслѣдствіе стремленій многихъ смѣшать, такъ сказать, шашки и прикрыть знаменемъ народничества интеллигентно-бюрократическое народолюбіе. Благодаря многочисленности защитниковъ этого послѣдняго направленія, ихъ грабительскія попытки на терминъ „народничество“ могутъ быть успѣшны и тогда народники окажутся вытѣсненными изъ собственнаго дома. Мы считаемъ себя вправѣ протестовать противъ этихъ хищническихъ поползновеній, такъ какъ для народничества весьма важно не быть смѣшиваемымъ съ интеллигентно-бюрократическимъ народолюбіемъ, отъ-котораго оно отдѣлено, можно сказать, цѣлою пропастью“ (стр. 504).

Если прибавить къ этому, что изъ числа „интеллигентно-бюрократическихъ народолюбцевъ“ (вѣдь выдумаетъ же человѣкъ этакое трехэтажное слово!) г. Юзовъ съ особенной яростью преслѣдуетъ меня, то получается замѣчательно комическій эффектъ. „Народничество въ опасности!“ въ ужасѣ восклицаетъ г. Юзовъ. И не потому оно въ опасности, что встрѣчаетъ на своемъ пути какія-нибудь непреодолимыя или трудно преодолимыя практическія препятствія; и не потому, что у него плохіе защитники, которые, подобно г. Юзову, могутъ только компрометировать защищаемое ими дѣло. Нѣтъ, г. Юзовъ вполнѣ доволенъ собой, своими единомышленниками, если таковые есть, и своимъ положеніемъ въ практическомъ отношеніи. Все было бы превосходно, если бы не эти „интеллигентно-бюрократическіе народолюбцы“, отъ нихъ же первый есмь азъ,—„извѣстный Н. К. Михайловскій“, совершившій такія-то и такія-то преступленія противъ народничества. И самое важное изъ этихъ преступленій состоитъ въ томъ, что я, не будучи вовсе на-

*) 1893, октябрь.

Digitized by Google

родникомъ, притворяюсь имъ, „стремлюсь смѣшать, такъ сказать, шашки и прикрыть знаменемъ народничества свое интеллигентно-бюрократическое народолюбіе“ и вытѣснить г. Юзова изъ его „собственнаго дома“, „ограбить“ его. Вотъ гдѣ настоящая опасность, вотъ противъ чего горячо и смѣло протестуетъ г. Юзовъ... Но надо же было быть такому счастливому, какъ для меня, такъ и для г. Юзова, случаю, что, вѣроятно, какъ разъ въ то время, когда онъ читалъ корректуру своихъ протестовъ, опасеній и ужасовъ, я на страницахъ „Русскаго Богатства“ отклонялъ отъ себя честь именоваться „народникомъ“. Я, впрочемъ, и раньше никогда такъ себя не называлъ, а потому и раньше г. Юзовъ могъ быть совершенно спокоенъ за свой собственный домъ, которому, по крайней мѣрѣ, съ моей стороны никогда никакія покушенія не грозили. Грабить г. Юзова! Нѣтъ, я не такой злодѣй, да и не такъ бѣденъ, чтобы позариться на имущество г. Юзова... Я не знаю, почему „терминъ народничество“ составляетъ его собственность, но знаю, что ни на какую его собственность я никогда не покушался и съ Божіей помощью надѣюсь и впредь не дойти до такой крайности.

Когда мнѣ случалось попадать лѣтомъ куда-нибудь на югъ, я очень любилъ наблюдать работу одного жука изъ Coprophaga. Жуки эти всю свою жизнь проводятъ въ томъ, что накатываютъ изъ навоза шарики, въ которые самка предварительно кладетъ яичко. Накатавъ одинъ шарикъ, они зарываютъ его въ землю и принимаются за новый. Они очень неуклюжи, и чрезвычайно интересно видѣть неловкость, но и упорство, съ которыми они катаютъ свои шарики, постепенно увеличивая ихъ размѣръ и подвигая къ назначенному мѣсту: благодаря неровностямъ почвы, шарикъ иногда опрокидываетъ ихъ самихъ, они кувыркаются, смѣшно и безпомощно дрыгаютъ лапками, съ трудомъ поднимаются и опять принимаются за дѣло. Что у нихъ при этомъ въ головѣ дѣлается,—неизвѣстно, конечно, но мнѣ всегда казалось, что ихъ настроеніе должно быть мрачно и озлобленно. Своей неуклюжести и безпомощности они, безъ сомнѣнія, не сознаютъ, а вину своихъ курбетовъ приписываютъ, вѣроятно, исключительно неровностямъ почвы, камешкамъ и вѣткамъ, попадающимся на ихъ пути, вообще врагамъ, и сердятся.

„Основы народничества“ г. Юзова представляются мнѣ именно такимъ шарикомъ, сооруженнымъ съ великимъ трудомъ, неуклюже, упорно, мрачно и сердито. И я понимаю, что доставшееся такою

Digitized by Google

цѣною твореніе авторъ охраняетъ съ излишне подозрительною ревностью, что ему мерещатся небывалые грабители, что онъ трепещетъ и протестуетъ безо всякаго смысла и повода. Успокоивъ его на этотъ счетъ, посмотримъ нѣсколько ближе на трудный процессъ его работы.

Еще въ первомъ томѣ своихъ „Основъ народничества“ г. Юзовъ чрезвычайно безпокоился насчетъ „ума и чувства, какъ факторовъ прогресса“. Учинивъ распрю между этими двумя факторами, г. Юзовъ рѣшаетъ ее въ пользу чувства, которому отдаетъ преимущество передъ умомъ и въ особенности передъ книжнымъ знаніемъ: послѣднее онъ преслѣдуетъ чрезвычайно жестокими и ядовитыми сарказмами. Эта война со знаніемъ у насъ въ Россіи не дѣлаетъ, конечно, чести ни уму, ни чувству автора, но ведется она столь очевидно ребяческимъ способомъ, что мы можемъ оставить побѣды г. Юзова безъ разсмотрѣнія. Любопытно для характеристики шарика г. Юзова только слѣдующее. Если умъ и чувство находятся въ состояніи распри и г. Юзовъ принимаетъ сторону чувства, то естественно ожидать, что онъ на чувство же и будетъ опираться и къ нему обращаться: будетъ собственнымъ „глаголомъ жечь сердца людей“, воспламенять читателя лирикой. Ничуть ни бывало. Свою войну онъ ведетъ исключительно отъ разума, притомъ отъ чужого разума: цитатами изъ Спенсера, Лекки, Рибо, Канта, Вундта, Маудсли и т. д. Презрѣніе къ книжному знанію, опирающееся на книжное знаніе, производитъ опять-таки очень комическій эффектъ, совершенно подобный тому безпомощному дрыганію лапками, которое можно наблюдать у трудолюбиваго копрофага. Надо еще замѣтить, что г. Юзовъ набираетъ свои многочисленныя цитаты часто ни къ селу, ни къ городу, съ единственною, повидимому, цѣлью показать, что вотъ онъ еще и такую-то книжку прочиталъ. Онъ дѣлаетъ это съ комически серьезною добросовѣстностью истаго копрофага. Особенно нравится мнѣ его блистательная побѣда надъ Монтескье, причемъ онъ указываетъ въ подстрочномъ примѣчаніи: „О существѣ законовъ. Твореніе г. Монтескье. Изданіе Василія Сопикова. Москва 1810 г. Часть II. Стр. 255—257“. Съ г. „Монтескье“ онъ, по крайней мѣрѣ, полемизируетъ, но и вообще по всякому удобному и неудобному поводу онъ щеголяетъ „книжнымъ знаніемъ“. Такъ что я не удивился бы, если бы послѣ, напримѣръ, словъ: „яица курицу не учатъ“ я встрѣтилъ у него ссылку:

Digitized by Google

„см. Руководство къ куроводству“, съ точнымъ обозначеніемъ имени автора и переводчика, года и мѣста изданія, тома, части и страницы. Казалось бы, зачѣмъ это человѣку, презирающему „кладовыя чужихъ умственныхъ продуктовъ“ и „обиліе запаса чужихъ мыслей“? А вотъ подите же! Оба тома „Основъ народничества“ представляютъ собою обширную „кладовую чужихъ умственныхъ продуктовъ“, собранныхъ съ величайшимъ трудомъ и упорствомъ, въ которыхъ г. Юзовъ копошится съ самою комическою неуклюжестью.

Такова общая физіономія „Основъ народничества“. Возьмемъ теперь какой-нибудь частный вопросъ, имѣющій непосредственную связь съ основными мыслями автора.

На стр. 101—115 второго тома находимъ любопытное и характерное для г. Юзова разсужденіе о колдовствѣ и народной медицинѣ. Мы не войдемъ, впрочемъ, во всѣ удивительныя подробности этого разсужденія. Начинается оно такъ: „Какой-нибудь фактъ, вродѣ сожженія колдуньи или убійства колдуна, радостно подхватывается („интеллигенціей“) и съ нимъ носятся по истинѣ, какъ дурни съ писанной торбой. Никто не хочетъ изслѣдовать вблизи это явленіе, оно осуждается, какъ народный предразсудокъ, просто на основаніи невозможности существованія факта „колдовства“. Только въ послѣднее время эта сторона народной жизни хотя нѣсколько разъяснилась русской интеллигенціи. Оказалось, что колдуны очень сильно смахиваютъ на отравителей... Прикрывшись „колдовствомъ“, какъ надежнымъ щитомъ, отъ кары закона, они отравляютъ кого хотятъ. Вздумай крестьяне жаловаться,—интеллигенція только обхохочетъ ихъ и станетъ доказывать, что никакого колдовства не можетъ быть“.

Уже въ этихъ строкахъ есть нѣчто истинно поразительное. Много грѣховъ на русской интеллигенціи, но чтобы она „радостно“ подхватывала факты вродѣ сожженія колдуньи или убійства колдуна... Много мрачныхъ пятенъ и на общей картинѣ русской жизни, но чтобы колдуны у насъ „отравляли кого хотятъ“ и чтобы колдовство было у насъ „надежнымъ щитомъ отъ кары закона“... Нѣтъ, это, какъ хотите, фантазія. И дѣйствительно, г. Юзовъ не приводитъ отъ себя ни единаго подтверждающаго факта, а приводимая имъ въ подтвержденіе цитата изъ статьи Пономарева, будучи гораздо менѣе яркою по кра-

Digitized by Google

скамъ, ни мало не касается „интеллигенціи“. „Зачастую—говоритъ Пономаревъ—колдунъ пользуется къ своей выгодѣ своимъ званіемъ и не старается опровергать слуховъ о себѣ; иной лѣчитъ, ворожитъ и вдобавокъ для большей популярности мистифицируетъ. Колдунъ въ обществѣ громадная сила: въ Карачевскомъ уѣздѣ Орловской губ. на колдуновъ никто не рѣшается жаловаться, а тѣмъ болѣе заводить съ ними судебныя тяжбы изъ опасенія, что послѣ судьбища будетъ и того хуже“. Все это, конечно, очень печально, но далеко все-таки не то, что утверждаетъ г. Юзовъ, не повсемѣстное отравленіе колдунами „кого они захотятъ“, и не „радость“ интеллигенціи по случаю варварской расправы крестьянъ съ колдуномъ или колдуньей.

А между тѣмъ г. Юзовъ идетъ и еще дальше по фантастическому пути. Разъяснивъ, что колдуны суть отравители, онъ прибавляетъ: „Какъ же было нашей интеллигенціи не взять подъ свое покровительство подобнаго рода людей, составляющихъ, такъ сказать, ея первообразъ?“... Какъ такъ? Отравители—первообразъ интеллигенціи? интеллигенція беретъ подъ свое покровительство колдуновъ? та самая интеллигенція, которая „радостно подхватываетъ факты вродѣ сожженія колдуньи или убійства колдуна“?..

Когда, бывало, трудолюбивый копрофагъ опрокидывался на спинку и безпомощно болталъ своими цѣпкими, но неуклюжими лапками, мнѣ становилось его жалко, и я его переворачивалъ на брюшко...

Я бы радъ былъ помочь и г. Юзову, но, къ сожалѣнію, это совершенно невозможно. То, что онъ говоритъ,—лишено всякаго смысла, а то, что онъ хочетъ сказать, было бы возмутительно, если бы не смягчающія обстоятельства его безпомощности. Онъ хочетъ сказать, что интеллигенція, въ своемъ надменномъ презрѣніи къ народу, рада всякому случаю указать на народное невѣжество и дикость, а потому хватается и за факты вродѣ сожженія колдуній и убійства колдуновъ. Интеллигенція беретъ колдуновъ и колдуній подъ свое покровительство, то есть возмущается фактомъ сожженія живого человѣка, „носится съ нимъ, какъ дурень съ писанной торбой“, и г. Юзовъ этимъ недоволенъ, потому что, дескать, эти сожженныя колдуньи и убитые колдуны были отравители, и именно поэтому интеллигенція за нихъ и заступается...

Digitized by Google

Я не знаю, чему приписать это разсужденіе—обширности ли и проницательности ума г. Юзова или горячей гуманности его чувства... Да, къ счастью, давно прошли тѣ времена, когда интеллигенція не только не возмущалась сожженіемъ колдуновъ и колдуній, а требовала его. Но, къ счастію, и народныя массы совсѣмъ не такъ часто совершаютъ это злодѣйство, какъ можно бы было заключить изъ словъ г. Юзова; и вообще не такое это заурядное явленіе, чтобы толки объ немъ можно было уподобить болтовнѣ дурня съ писанной торбой. Но что дѣйствительно есть дурни, которые носятся съ писанной торбой и компрометируютъ защищаемое ими дѣло, это, я думаю, г. Юзовъ доказалъ...

Исторія съ колдунами еще не кончена.

Г. Юзовъ, въ пику все той же несчастной интеллигенціи, замѣчаетъ, что колдовство совсѣмъ не смѣшной вздоръ, а нѣчто реальное, и ссылается при этомъ на „Физіологію ума“ Карпентера. Дѣло идетъ о такъ называемыхъ психическихъ вліяніяхъ, о выжидательномъ вниманіи и вѣрѣ, существенно способствующихъ выздоровленію или заболѣванію. Послѣ Карпентера по этому вопросу выросла цѣлая огромная литература. Но это все равно: примѣры, взятые г. Юзовымъ у Карпентера, достаточно выразительны. Хотя за колдовствомъ остается все-таки много смѣшного вздора, но, несомнѣнно, есть въ немъ извѣстная сила, и силу эту составляетъ вѣра въ силу колдуна или знахаря, напряженность опасеній и надеждъ, на него возлагаемыхъ невѣжественными людьми. Отсюда г. Юзовъ заключаетъ: „Такимъ образомъ, оказывается, что твердая увѣренность народа въ силѣ колдуна дѣйствительно даетъ ему могущественное средство вредить или быть полезнымъ народу. Эксплоатируя народное невѣжество, онъ живетъ на счетъ трудовой массы, припѣваючи, и если попадаетъ въ бѣду, то только благодаря тому, что самъ же увѣрилъ окружающихъ въ своей колдунской силѣ“. Затѣмъ слѣдуютъ приведенная уже выписка изъ статьи Пономарева и сверкающее умомъ и чувствомъ замѣчаніе: „какъ же было нашей интеллигенціи не взять подъ свое покровительство подобнаго рода людей“. Итакъ, существуетъ народное невѣжество; существуютъ въ самой народной средѣ эксплоататоры этого невѣжества, отравители и шарлатаны, сильные довѣріемъ къ нимъ массы; существуетъ, наконецъ, интеллигенція, покровительствующая этимъ эксплоататорамъ. Кажется, ясно.

Digitized by Google

Перевернувъ, однако, нѣсколько страницъ, встрѣчаемъ горячую защиту знахарей и знахарокъ и новую филиппику противъ интеллигенціи, но уже не за покровительство знахарямъ, а за вражду къ нимъ. Между прочимъ: „Всякій врачъ знаетъ, насколько сильно вліяетъ на ходъ болѣзни довѣріе или недовѣвіе больного къ врачу; этимъ вліяніемъ, нужно предположить, сильно пользуются народные врачи, и вырывать насильно у народа это могущественное психическое средство къ выздоровленію, не замѣняя его другимъ вліяніемъ, было бы жестоко и глупо... Дипломные врачи стараются выставлять народу этихъ знахарей и знахарокъ злокозненными шарлатанами; но шаманъ-бурятъ, напримѣръ, при посвященіи своемъ, клянется, что, „если позовутъ его вмѣстѣ богатый и бѣдный, то онъ пойдетъ сперва къ бѣдному, а потомъ къ богатому, и будетъ брать съ нихъ что дадутъ“ (Э. Ю. Петри, Антропологія. Стр. 517 и 518). Необходимо признать, что люди вездѣ люди и что шарлатановъ между дипломными врачами не меньше, чѣмъ между знахарями и знахарками“.

Что вѣрно, то вѣрно: шарлатаны вездѣ есть и на всѣхъ поприщахъ, хотя, я думаю, въ средѣ знахарей ихъ должно быть несравненно больше, чѣмъ въ средѣ врачей. Но... мнѣ очень нравится это „но“, которое г. Юзовъ ставитъ между предложеніями: „дипломные врачи считаютъ знахарей шарлатанами“ и—„шаманъ даетъ клятву отдавать предпочтеніе бѣдному передъ богатымъ“. Знаменитое изреченіе „въ огородѣ лебеда, а въ Кіевѣ дядька“ блѣднѣетъ передъ этимъ сочетаніемъ двухъ предложеній, не имѣющихъ между собой никакой связи. Дипломные врачи тоже даютъ присягу, въ которой содержится много хорошихъ обѣщаній, не всегда, однако, выполняемыхъ, „но“ шаманы наполовину дѣйствительно шарлатаны, наполовину нервно-больные люди. Что же касается ихъ русскихъ родичей по духу, то они никакихъ клятвъ не даютъ, и хотя г. Юзовъ хватилъ немножко черезъ край, утверждая, что они отравляютъ „кого хотятъ“, но въ большинствѣ случаевъ они дѣйствительно суть „эксплоататоры народнаго невѣжества“ и шарлатаны. Вотъ только не знаю, какъ должна относиться къ нимъ интеллигенція. Если, напримѣръ, такого шамана живьемъ сожгутъ, то возмущаться этимъ значитъ „носиться съ писанной торбой“ и „брать подъ покровительство“ негодяя, составляющаго, впрочемъ, „первообразъ“ интеллигенціи; съ другой стороны, однако,

Digitized by Google

называть его „злокозненнымъ шарлатаномъ“ г. Юзовъ тоже не позволяетъ и обращается по этому поводу съ громовыми рѣчами къ интеллигенціи вообще, къ „дипломнымъ врачамъ“ въ особенности...

Читатель видитъ, съ какими великими трудами накатываетъ свой навозный шарикъ г. Юзовъ, какъ опрокидываетъ этотъ шарикъ его самого и какъ онъ сердится, усиливаясь подняться на ноги, чтобы вновь приняться за тотъ же шарикъ. При такой безпомощности, ему, конечно, лучше бы совсѣмъ не браться за сложные вопросы философіи общественной жизни, но разъ ужъ у него такая „охота смертная“,—очень естественно, что онъ, кувыркаясь и стараясь подняться, цѣпляется за слова. И надо ему отдать справедливость, онъ необыкновенно цѣпокъ въ этомъ отношеніи. Ужъ если ему какое слово попадется, такъ онъ такъ въ него вцѣпится, что и живымъ не оставитъ,—всякій смыслъ изъ него вытравитъ. Мы видѣли, какъ свирѣпо ухватился онъ за „терминъ народничества“, то есть за слово, а вмѣстѣ съ тѣмъ никто такъ не скомпрометировалъ народничества, какъ онъ. Даже г. В. В., самъ называющій себя народникомъ и, повидимому, признаваемый за таковаго г. Юзовымъ, заявилъ, что по „Основамъ народничества“ „врядъ ли можно судить о разсматриваемомъ направленіи вообще“, и счелъ нужнымъ, хоть и нѣсколько поздно, отгородить себя отъ г. Юзова.

Распутывать всю путаницу, которая заключается въ обширной „кладовой чужихъ умственныхъ продуктовъ“, претенціозно озаглавленной „Основы народничества“,—дѣло, во-первыхъ, крайне трудное, а во-вторыхъ и не стоющее, особенно послѣ заявленія г. В. В. Я остановлюсь только еще на одномъ пунктѣ, которому г. Юзовъ придаетъ чрезвычайно важное значеніе и по которому онъ возлагаетъ особливую отвѣтственность лично на меня.

„Интеллигентно-бюрократическіе народолюбцы“, величаемые также „бюрократическими индивидуалистами“, „проповѣдниками героическаго бюрократизма“, „интеллигентными или просвѣщенными бюрократами“ и т. д., обвиняются прежде всего въ томъ, что, уважая „интересы“ народа, они не хотятъ знать его „мнѣній“. Со свойственною ему цѣпкостью, г. Юзовъ долбитъ это обвиненіе на стр. 24—25, 69, 83, 96, 116 и т. д., почти вездѣ въ связи съ моимъ именемъ. На стр. 504 онъ окончательно разъясняетъ дѣло, истолковывая мое преступное поведеніе ни болѣе,

Digitized by Google

ни менѣе, какъ „нравственною тупостью“. C'est fort! Я долженъ привести это разъясненіе цѣликомъ.

Въ 1886 г. одинъ писатель обратился ко мнѣ въ печати съ открытымъ письмомъ, въ которомъ была, между прочимъ, такая фраза: „вы полагаете, что нужно дѣйствовать въ интересахъ народа, а согласно ли это будетъ съ его мнѣніями, или нѣтъ, это ужъ второстепенный вопросъ“. Дальше пусть разсказываетъ г. Юзовъ:

„На это нашъ народолюбивый интеллигентный бюрократъ „ничто же сумняшеся“ отвѣчалъ: „не то, чтобы второстепенный, но во всякомъ случаѣ второй, да, я такъ полагаю“. При этомъ онъ обстоятельно объяснилъ, что съ мнѣніемъ народа все-таки приходится считаться, какъ считаются, прибавимъ для ясности отъ себя, кузнецы со свойствомъ металла, столяры—дерева и т. п. По нашему глубокому убѣжденію, смѣлость и прямота этого отвѣта могли быть внушены только нравственной тупостью, благодаря которой г. Михайловскій готовъ лишить народъ лучшаго изъ благъ жизни, какъ ихъ представляетъ себѣ самъ народъ.

У меня нѣтъ подъ руками документовъ того полемическаго эпизода, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, но я помню и признаю, что, за исключеніемъ собственныхъ размышленій о кузнецѣ и металлѣ, столярѣ и деревѣ, г. Юзовъ передаетъ его фактически вѣрно, только ужъ слишкомъ сокращенно. И чтобы уразумѣть всю глубину моей нравственной тупости, надо войти въ нѣкоторыя подробности. Начнемъ съ примѣра, взявъ факты у самого г. Юзова. Представимъ себѣ, что вы, читатель, присутствуете при той „эксплоатаціи народнаго невѣжества“ какимъ-нибудь колдуномъ, которую г. Юзовъ росписалъ даже черезчуръ яркими красками: не то, чтобы колдунъ такъ ужъ кого захочетъ отравлялъ, но, положимъ, онъ держитъ въ страхѣ все окрестное населеніе, вѣрующее въ его сверхъестественную силу, и беретъ съ него всякаго рода дани. Въ интересахъ населенія, если вы таковые признаете достойными вашего вниманія, вы постараетесь упразднить вліяніе колдуна, и именно для этого должны будете встать въ оппозицію къ мнѣнію о его могуществѣ. Представимъ себѣ далѣе, что, по мнѣнію выведеннаго, наконецъ, изъ терпѣнія народа, колдуна надо сжечь. Я надѣюсь, что вы не испугаетесь громовъ г. Юзова насчетъ „покровительства“ и „писанной торбы“ и рѣшительно не согласитесь съ этимъ мнѣніемъ народа; и при этомъ, препятствуя всѣми доступными вамъ средствами совершенію варварскаго преступленія, вы будете дѣйствовать въ интересахъ народа. Въ по-

Digitized by Google

слѣдніе холерные безпорядки мнѣніе народа состояло въ томъ, что холеру пускаютъ господа въ подзорную трубу, а хлѣбъ раздаютъ голоднымъ слуги антихриста. Вы можете какъ вамъ угодно думать о происхожденіи подобныхъ мнѣній, винить въ ихъ существованіи самихъ „господъ", скорбѣть объ общемъ порядкѣ вещей, порождающемъ такія отношенія, но съ самыми мнѣніями согласиться не можете. Именно не можете, хотя сообразоваться съ ними, т. е. имѣть ихъ въ виду и поступать съ соотвѣтственною осмотрительностью вамъ, конечно, придется. И это будетъ въ интересахъ народа. Не можете вы согласиться и съ тѣмъ, напримѣръ, очень распространеннымъ въ народѣ мнѣніемъ, что мужъ имѣетъ право „учить" жену, то есть чуть не на смерть ее заколачивать, и т. п. Это не значитъ, чтобы народъ не имѣлъ иныхъ мнѣній, кромѣ нелѣпыхъ и безобразныхъ. Это значитъ только, что, разбираясь въ мнѣніяхъ народа, вы по необходимости одни изъ нихъ признаете правильными, а другія отвергаете, какъ неправильныя, и иного критерія, какъ ваше собственное, личное мнѣніе не имѣете и имѣть не можете при этой разработкѣ. Ваше мнѣніе можетъ, конечно, оказаться ошибочнымъ, но признаете его таковымъ вы только тогда, когда вамъ это докажутъ, а не тогда, когда укажутъ на разногласіе вашего мнѣнія съ чьимъ бы то ни было, въ томъ числѣ и съ мнѣніемъ народа. Поступаться своими интересами ради интересовъ народа или вообще кого бы то ни было — возможно, и при извѣстныхъ обстоятельствахъ на этой почвѣ произростаютъ цвѣты и плоды великодушныхъ подвиговъ. Поступаться же своими мнѣніями—фактически нельзя; можно лишь подчиниться чужимъ мнѣніямъ и затаить свои собственныя „страха ради іудейска" или по инымъ побочнымъ соображеніямъ, причемъ очень часто это не только не подвигъ какой-нибудь, а дрянная трусость или лицемѣріе. Поэтому человѣкъ, для котораго интересы народа священны, совсѣмъ не обязанъ признавать таковыми же и его мнѣнія. Великое для него счастіе, если его мнѣнія совпадаютъ съ мнѣніями народа, и великое несчастіе, если они расходятся, но измѣною своимъ мнѣніямъ эта трагедія не разрѣшается, потому что верховнымъ судіей конфликта остается все-таки наше собственное сознаніе и наша собственная совѣсть. И это фатально, никакими изворотами мысли, а тѣмъ болѣе слова—неотвратимо.

Простите, читатель, что я занимаю васъ такой азбукой, но со-

Digitized by Google

гласитесь, что желаніе разъяснить, въ чемъ именно состоитъ моя нравственная тупость,—довольно законно. Я только разъясняю, а тамъ судите, какъ хотите.

Но скажутъ, можетъ быть, что г. Юзовъ приписываетъ мнѣ нѣчто гораздо большее, чѣмъ простое желаніе оставаться при своемъ собственномъ, хотя бы и совершенно особомъ мнѣніи объ интересахъ народа, равно какъ и обо всемъ остальномъ видимомъ и невидимомъ мірѣ. Онъ вѣдь утверждаетъ, что я „готовъ лишить народъ лучшаго изъ благъ жизни, какъ ихъ представляетъ себѣ самъ народъ". Да, онъ утверждаетъ это, но я то ничего подобнаго не говорилъ въ инкриминированномъ отвѣтѣ на открытое письмо. Я, однако, остановлюсь все-таки на этомъ обвиненіи, потому что къ нему примыкаютъ два недоразумѣнія, свойственныя писаніямъ не одного г. Юзова.

Если подъ однимъ изъ „благъ жизни, какъ ихъ представляетъ себѣ самъ народъ", разумѣть вышеупомянутое право мужа „учить" жену, то я, конечно, „готовъ лишить народъ" этого блага. И я не знаю, какъ отнесется къ этой моей готовности г. Юзовъ. Онъ, разумѣется, наговоритъ съ три короба на ту тему, что я „радостно" хватаюсь за печальныя и мрачныя явленія народной жизни и т. д. Но эти пустяки не интересны, тѣмъ болѣе, что они и на вопросъ не отвѣчаютъ. Вопросъ не въ томъ, почему я остановился на такомъ-то именно явленіи,—конечно, я въ данномъ случаѣ намѣренно выбралъ явленіе печальное,—а въ томъ, какъ относится г. Юзовъ къ моей готовности способствовать прекращенію этого явленія. „Мнѣніе" народа состоитъ въ томъ, что бабу „учить" можно, нужно и должно,—съ этимъ сами бабы согласны, конечно, не тогда, когда сынъ бьетъ мать, а и это бываетъ. Что я не обязанъ соглашаться съ такимъ „мнѣніемъ" народа или почтительно относиться къ нему, объ этомъ уже было говорено. Но этого мало. Въ составъ „благъ жизни, какъ ихъ представляетъ себѣ самъ народъ", входятъ и искони самостоятельно выработанные семейные распорядки, въ томъ числѣ и право мужа бить жену. Я „готовъ лишить народъ этого блага", и г. Юзовъ долженъ меня осудить за это, да онъ уже и осудилъ implicite, говоря о моей „нравственной тупости". Но вѣдь этакое легко сказать, оставаясь въ предѣлахъ общаго мѣста о „благахъ жизни", а кто имѣлъ несчастіе видѣть звѣрскую расправу или обладаетъ достаточно сильнымъ воображеніемъ, чтобы представить

Digitized by Google

себѣ такую картину, при помощи, напримѣръ, статьи г. Лудмера „Бабьи стоны“, напечатанной въ 1884 г. въ „Юридическомъ Вѣстникѣ“,—тотъ, я думаю, обвинитъ въ нравственной тупости не меня, а доктринера „народныхъ мнѣній“. Я думаю, впрочемъ, что такая степень нравственной тупости рѣшительно невозможна. И я, въ свою очередь, обвиняю г. Юзова (на этотъ разъ не одного его) не въ нравственной тупости, а въ доктринерской трусости, намѣренно обѣгающей явленія, которыя въ доктрину не укладываются. Я убѣжденъ, что на дѣлѣ, если г. Юзову случится присутствовать при истязаніи бабы мужикомъ, онъ забудетъ свое теоретическое уваженіе къ мнѣнію народа и употребитъ всѣ возможныя по обстоятельствамъ средства, чтобы это мнѣніе не получило простора,—вплоть до прямого насилія, если физическая сила окажется на его сторонѣ, то есть, если онъ въ силахъ будетъ оттащить мужика отъ бабы и связать ему руки. Но въ доктринерскомъ туманѣ общихъ мѣстъ объ „альтруизмѣ“, вырабатываемомъ „строемъ народной жизни“, кроваво-грязныя пятна вродѣ „бабьихъ стоновъ“ очень удобно стушевываются. И г. Юзовъ (не онъ одинъ) ихъ намѣренно затушевываетъ, ибо труситъ за свою доктрину и оберегаетъ ее вмѣсто того, чтобы исправить согласно указаніямъ жизни. Въ данномъ случаѣ, по отношенію къ „бабьимъ стонамъ“, г. Юзовъ говоритъ слѣдующее: „Ненавистники народа стараются распространить мнѣніе о жестокомъ обращеніи крестьянъ съ женами. Не отрицая отдѣльныхъ фактовъ такого обращенія, являющихся въ глазахъ крестьянъ преступленіемъ, мы утверждаемъ, что вообще отношенія русскаго крестьянина къ женѣ болѣе человѣчны, нежели у другихъ народовъ... У насъ есть и прямыя свидѣтельства о лживомъ раздуваніи отдѣльныхъ фактовъ жестокаго обращенія нашихъ крестьянъ съ женами такъ, напр., профессоръ Петри говоритъ, что у современныхъ малороссовъ „жена—совѣтница, вѣрный другъ, помощница; въ домѣ она полная хозяйка: всѣми предметами домашняго хозяйства она распоряжается по своему усмотрѣнію, тогда какъ мужъ не вправѣ вмѣшиваться“ (Э. Ю. Петри. Антропологія, стр. 459)“.

Въ этихъ нѣсколькихъ строкахъ отразились всѣ курьезныя особенности г. Юзова. Всѣ наблюдатели народной жизни знаютъ ту мрачную черту, объ которой идетъ рѣчь, и за это г. Юзовъ обзываетъ ихъ „ненавистниками народа“ (хотя въ числѣ ихъ

Digitized by Google

есть вѣроятно и „народолюбцы“). Далѣе, столь презирающій „книжное знаніе“ и „дипломныхъ“ ученыхъ г. Юзовъ живымъ наблюденіямъ противопоставляетъ, въ качествѣ „прямого свидѣтельства“, нѣсколько общихъ словъ „профессора“ Петри... Онъ можетъ, конечно, и еще отмахиваться и сводить разговоръ на постороннія вещи—набрать десятки цитатъ о достоинствахъ русскаго мужика и о дрянности русской интеллигенціи, повторять общія мѣста. Какъ бы, однако, цѣнны и убѣдительны эти цитаты ни были, и какую бы долю истины общія мѣста въ себѣ ни заключали, они къ дѣлу не идутъ. Пусть во всѣхъ другихъ отношеніяхъ альтруизмъ царитъ въ деревнѣ (чего, конечно, нѣтъ на самомъ дѣлѣ), а интеллигенція пусть сплошь эгоистична и безнравственна (чего, конечно, тоже нѣтъ), но если въ деревенской Аркадіи раздаются „бабьи стоны“, и раздаются не въ видѣ случайныхъ исключеній, а въ силу исконнаго обычнаго права,—вся бочка меду испорчена этой ложкой дегтя. Подъ медовой бочкой разумѣю ученіе о святости и неприкосновенности народныхъ мнѣній, какъ таковыхъ. Я не говорю, чтобы въ неписанномъ народномъ моральномъ кодексѣ не было ничего святого и неприкосновеннаго: напротивъ, къ счастью, очень много, и, припоминая свою слишкомъ тридцатилѣтнюю литературную дѣятельность, я осмѣливаюсь утверждать, что не г. Юзову учить меня въ этомъ отношеніи. Но святое и неприкосновенное живетъ рядомъ съ позорнымъ и нелѣпымъ. Разобраться въ этомъ сложномъ переплетѣ, образовавшемся путемъ цѣлаго ряда историческихъ наслоеній, разобраться, говорю, въ немъ, апеллируя лишь въ инстанцію „благъ жизни, какъ ихъ представляетъ себѣ самъ народъ“,—очевидно, невозможно, и самая фраза о „благахъ жизни“, неопредѣленная и внутренно противорѣчивая, теряетъ всякій смыслъ. Нужна иная точка зрѣнія для распредѣленія свѣта и тѣни въ народной жизни, и я думаю, что такая точка зрѣнія дается идеей интересовъ народа. Выгода такой точки зрѣнія состоитъ въ томъ, что, принявъ ее, намъ нѣтъ надобности трусливо закрывать глаза на ту или другую непривлекательную черту народнаго быта,—мы можемъ называть черное чернымъ, бѣлое бѣлымъ и вообще всѣ вещи ихъ собственными именами, поскольку это вообще при данныхъ условіяхъ возможно; можемъ свободнѣе и, прямо скажу, честнѣе, добросовѣстнѣе относиться къ вопросамъ великой важности. И понятно, что съ такой позиціи несравненно большій

Digitized by Google

вѣсъ получатъ наши возраженія противъ, напримѣръ, тѣхъ огульныхъ обвиненій мужика въ лѣности и пьянствѣ, которыя раздавались въ прошломъ и третьемъ году.

Понятно, однако, также, что формула „интересы народа“ не есть магическое слово, разрѣшающее всѣ недоумѣнія и недоразумѣнія, разомъ и настежь отворяющее двери въ хранилище истины и справедливости. Она не упраздняетъ работу мысли, а напротивъ, призываетъ къ ней. Прежде всего возможны, иногда даже вполнѣ искренніе, то есть не злонамѣренные или своекорыстные, а наивные подмѣны формулы другими, близкими по формѣ и рѣзко отличными по существу (мы увидимъ образцы такихъ подмѣновъ). Разъясненіе вытекающихъ отсюда недоразумѣній можетъ потребовать значительной теоретической работы, а затѣмъ передъ нами разстилается обширная область фактическаго изученія. При этомъ, разумѣется, должны быть изучаемы и „мнѣнія“ народа, и не ради одной любознательности, а въ видахъ практическихъ.

Г. Юзовъ желаетъ рѣшать чрезвычайно сложныя задачи и думаетъ, что, дѣйствительно, рѣшаетъ ихъ. Онъ не замѣчаетъ, что, вопреки своимъ „думамъ“, руководимый безсознательнымъ чувствомъ безпомощности, онъ рѣшаетъ свои задачи, предварительно упростивъ ихъ до послѣдней степени. Представьте себѣ стрѣлка, который желаетъ попасть на двадцати шагахъ въ бубноваго туза, но стрѣляетъ при этомъ не въ обыкновенную игральную карту, а въ самодѣльную саженную мишень, имѣющую видъ бубноваго туза. Онъ по всей вѣроятности попадетъ въ цѣль, но только потому, что слишкомъ уже облегчилъ свою задачу. Или представьте себѣ охотника на тигра, мужественно подступающаго не къ живому, однако, тигру, а къ живописному изображенію тигра собственной работы. Или, наконецъ, представьте себѣ еще человѣка, съ страшнымъ усиліемъ направляющаго таранъ въ настежь отворенныя ворота. Такъ именно поступаетъ г. Юзовъ. Онъ мужественно сражается съ произведеніями собственной фантазіи и, конечно, побѣждаетъ ихъ, преодолѣваетъ несуществующія препятствія, увѣряя при этомъ и себя, и другихъ, что его саженная мишень есть настоящій бубновый тузъ, намалеванный имъ самимъ тигръ — живой, а настежь отворенныя ворота наглухо заколочены. Понятное дѣло, что въ этомъ фантастическомъ мірѣ у него своя рука владыка, но понятно также, что дѣйствительный

Digitized by Google

міръ остается внѣ его операцій. Мы видѣли, съ какимъ азартомъ протестуетъ онъ противъ „грабителей“ его, г. Юзова, достоянія, когда живые люди, переименованные имъ въ грабителей, отъ этого достоянія брезгливо сторонятся: не трудно, конечно, отгонять отъ себя людей, которые и не думаютъ подходить, а г. Юзовъ думаетъ, что онъ совершаетъ трудный, но необходимый гражданскій подвигъ. Мы видѣли также, какъ колдуны отравляютъ, „кого хотятъ“, а интеллигенція радуется сожженію колдуна. Фантазія г. Юзова до такой степени сильна, что онъ можетъ себѣ представить „натуралиста“, который ставитъ себѣ такую цѣль жизни: „хочу, чтобы ни одного вида клоповъ не осталось на землѣ, всю жизнь употреблю на борьбу съ ними и постараюсь истребить до единаго“ (стр. 17). Видите, какія обширныя задачи занимаютъ г. Юзова: шутка сказать! истребить всѣ виды клоповъ,—и тотъ видъ, представитель котораго безпокоитъ г. Юзова по ночамъ, и тотъ, который, плавая въ прудахъ и рѣкахъ, нисколько его не безпокоитъ, и тотъ, который употребляется въ Мексикѣ въ пищу, и всѣ прочіе, летающіе, плавающіе и ползающіе, которымъ и счетъ неизвѣстенъ. И г. Юзовъ увѣренъ, что человѣкъ, поставившій себѣ такую цѣль жизни, будетъ не сумасшедшій, а—*„натуралистъ“*. Понятно, что такого фантастическаго натуралиста куда хочешь поверни. А фантастическій онъ не только потому, что лишь въ воображеніи г. Юзова мелькаетъ, да развѣ еще гдѣ-нибудь въ сумасшедшемъ домѣ на излѣченіи находится, а и потому, что онъ ни въ какомъ случаѣ не натуралистъ: это его только фантазія г. Юзова произвела въ натуралисты.

Столь же фантастичны и особенно ненавистные г. Юзову „интеллигентно-бюрократическіе народолюбцы“, отъ нихъ же первый есмь азъ. Минуя разный противорѣчивый вздоръ, излагаемый имъ на эту тему, ограничимся тремя цитатами, содержащими въ себѣ, по крайней мѣрѣ, опредѣленную мысль.

„Мы должны особенно подчеркнуть то, что въ разногласіи между интеллигентнымъ бюрократизмомъ и народничествомъ по вопросу о вліяніи интеллигенціи на народъ рѣчь идетъ не о духовномъ вліяніи и воздѣйствіи, а о насильственномъ устройствѣ общественнаго управленія съ игнорированіемъ „мнѣній“ народа. Народничество отнюдь не стоитъ за воздержаніе отъ духовнаго вліянія интеллигенціи; оно требуетъ только, чтобы права личности крестьянина были вполнѣ обезпечены отъ насильственныхъ вліяній интеллигенціи. Что же касается умственнаго и нравственнаго вліянія этой послѣдней, то никто изъ народниковъ и не спо-

Digitized by Google

ритъ, что лучшая часть интеллигенціи могла бы многому научить крестьянина. Но пусть она подходитъ къ нему *не съ палкой*, а съ уваженіемъ къ его человѣческимъ правамъ, памятуя, что эти права народу дороже, нежели что-нибудь другое" (116).

„Пока дѣло идетъ о вліяніи интеллигенціи естественнымъ путемъ проявленія силы знанія, до тѣхъ поръ никто не вправѣ ничего сказать противъ этого вліянія. Но вооружать знаніе юридическими привилегіями, это значитъ ослаблять нравственное вліяніе знанія и возбуждать въ людяхъ вражду къ нему, какъ вторгающемуся въ жизнь *съ палкою въ рукахъ*" (304).

„Защитники интеллигентнаго бюрократизма"... „вопятъ: народъ невѣжественъ, народъ дикъ, народъ такой-сякой; а вы, народники, еще хотите, чтобы онъ самъ опредѣлялъ тѣ общественныя формы, въ которыхъ ему приходится жить! Нѣтъ, не бывать этому! Мы, во имя народныхъ же интересовъ, устроимъ все по своимъ просвѣщеннымъ воззрѣніямъ; мы естественные опекуны и радѣтели народа (196).

Если бы эти цитаты перевести какому-нибудь иностранцу, не имѣющему понятія о Россіи, онъ долженъ бы былъ придти къ тому фантастическому заключенію, что у насъ пользуется большимъ практическимъ вліяніемъ на ходъ политической жизни и даже властью партія, во главѣ которой стоитъ, повидимому, monsieur N. Michailovsky; или, по крайней мѣрѣ, этотъ господинъ является литературнымъ представителемъ, какъ бы оффиціозомъ означенной могущественной партіи; что эта „бюрократическая" партія, заручившись „юридическими привилегіями", „съ палкой въ рукахъ" вводитъ свои распорядки въ народную жизнь... Иностранецъ оцѣнилъ бы, разумѣется, мужество г. Юзова, открыто возстающаго противъ людей, огражденныхъ юридическими привилегіями и владѣющихъ „палкой". Есть доблестные граждане въ Россіи, граждане-герои, проницательные и мужественные, знающіе, откуда грозитъ бѣда народу, и смѣло охраняющіе его отъ этой бѣды, презирая опасности, угрожающія имъ самимъ со стороны могущественной „бюрократической" партіи; честь и слава г. Юзову! Такъ сказалъ бы иностранецъ, не имѣющій понятія о Россіи. Но мы-то никоимъ образомъ не можемъ воздать хвалу г. Юзову, ибо онъ въ данномъ случаѣ уподобляется именно тому охотнику, который отважно стрѣляетъ въ нарисованнаго имъ самимъ тигра. Назвался груздемъ, полѣзай въ кузовъ, и взявшись за гужъ, не говори, что не дюжъ. Мнѣ немножко стыдно публично бесѣдовать съ г. Юзовымъ и такимъ образомъ хотя бы отрицательно соприкасаться съ тѣмъ фантастическимъ міромъ, гдѣ онъ

Digitized by Google

одерживаетъ свои фиктивныя побѣды надъ имъ самимъ созданными фикціями. Безтактность, обнаруживаемая при этомъ г. Юзовымъ, бросаетъ нѣкоторую тѣнь и на тѣхъ, кто считаетъ нужнымъ ему возражать, — слишкомъ ужъ дѣтскія вещи приходится разъяснять. Но, во-первыхъ, эта безтактность, хотя, конечно, не въ такой степени, свойственна не одному г. Юзову, а во-вторыхъ... во-вторыхъ, взявшись за гужъ, не говори, что не дюжъ. Я долженъ поэтому напомнить г. Юзову, что я—писатель и только писатель, не имѣющій въ своемъ распоряженіи никакого иного вліянія, кромѣ „духовнаго“ и то весьма ограниченнаго; никакой власти, никакой „палки“ у меня въ рукахъ нѣтъ; въ качествѣ писателя, я никакими юридическими привилегіями не пользуюсь, кромѣ той благосклонной терпимости власти, которая выражается словами „дозволено цензурой“, печатающимися на обложкѣ „Русскаго Богатства“. Такъ что, если бы у меня и очень чесались руки пустить въ ходъ палку для водворенія въ народной жизни любезныхъ мнѣ порядковъ,—я не имѣю для этого никакихъ средствъ. Воинственный жаръ и подсказанныя благороднымъ „альтруизмомъ“ опасенія г. Юзова также поэтому неумѣстны, какъ и въ томъ случаѣ, когда онъ кричалъ объ опасности, угрожающей „термину народничества“ со стороны „грабителей“.

Но этого мало. У меня не только нѣтъ въ рукахъ никакой „палки“, но я никогда и не домогался ея и другимъ употребленіе ея не рекомендовалъ. И того мало. Я—журналистъ, притомъ имѣвшій счастіе многіе годы работать съ людьми, за малыми и рѣдкими исключеніями, солидарными вообще и по вопросамъ, безпокоящимъ г. Юзова, въ особенности. И ни въ моихъ статьяхъ, ни въ статьяхъ моихъ товарищей онъ не можетъ найти и слѣдовъ какой-нибудь жажды „юридическихъ привилегій“ и права насильственнаго вторженія въ народную жизнь. Но за то онъ найдетъ тамъ много прямо противоположнаго. Я думаю, увѣренъ даже, что г. Юзовъ именно у насъ, „грабителей“, научился той крупицѣ истины, которая есть въ его книгѣ, но которую онъ закаталъ въ свой шарикъ до неузнаваемости. Я не могу на этомъ останавливаться, да собственно въ полемическомъ смыслѣ въ этомъ и надобности нѣтъ; безъ устали, чуть не на каждой страницѣ негодуя на различеніе „интересовъ“ и „мнѣній“ народа, г. Юзовъ, при всей своей любви къ цитатамъ, только въ одномъ мѣстѣ цитируетъ мои подлинныя слова, да и то не полно. Я при-

Digitized by Google

велъ эту цитату выше и прошу читателя замѣтить, что даже въ этомъ единственномъ случаѣ г. Юзовъ вынужденъ признать: „при этомъ онъ (то есть я) *обстоятельно объяснилъ*, что съ „мнѣніемъ“ народа все-таки приходится считаться, какъ считаются, *прибавимъ для ясности отъ себя*, кузнецы со свойствомъ металла, столяры—дерева и т. п.“ Я полагаю, что г. Юзовъ поступилъ бы несравненно добросовѣстнѣе, если-бы, не прибавляя ничего „отъ себя“, просто привелъ мое собственное „обстоятельное объясненіе“ или хоть разсказалъ, въ чемъ оно состоитъ. Но тогда, чего добраго, дѣло дѣйствительно стало бы „ясно“, ну, а въ потемкахъ гораздо удобнѣе воевать съ призраками и порожденіями собственной фантазіи.

Но г. Юзовъ, съ свойственною ему цѣпкостью непониманія, ухватится за вышеизложенныя соображенія объ отношеніяхъ мужей къ женамъ въ народномъ быту: а это молъ что? не проповѣдь насильственнаго вмѣшательства? Собственно относительно этого частнаго случая дѣло стоитъ такъ, что иное вмѣшательство, кромѣ „духовнаго“, фактически невозможно, даже для людей, облеченныхъ властью, если они стоятъ на легальной точкѣ зрѣнія. Авторъ статьи „Бабьи стоны“, г. Лудмеръ—мировой судья, и статья его производитъ удручающее впечатлѣніе не только множествомъ содержащихся въ ней картинъ страшныхъ истязаній, но и тѣмъ общимъ фактомъ, что „ни одно судебное учрежденіе не можетъ, въ предѣлахъ нашего законодательства, оградить женщину отъ дурного и жестокаго обращенія съ нею“. Такова въ данномъ случаѣ сила обычнаго права, и г. Юзовъ долженъ быть доволенъ. Тѣмъ не менѣе, я продолжаю утверждать, что если ему случится быть свидѣтелемъ истязаній, онъ, руководимый „факторомъ чувства“, не остановится передъ всѣми способами защиты истязуемой, не справляясь съ „мнѣніемъ“ народа и прямо вопреки ему. И онъ будетъ, конечно, правъ. Благоразумные юристы и просто наблюдатели народной жизни давно уже говорятъ о необходимости не только теоретическаго вниманія къ обычному праву, но и о великомъ практическомъ значеніи послѣдняго. Народное правосознаніе растетъ и развивается своими особыми путями, вырабатывая иногда при этомъ нормы, совпадающія съ результатами мысли наиболѣе свѣтлыхъ теоретическихъ умовъ, какъ у насъ, такъ и въ Западной Европѣ. (Въ другомъ мѣстѣ я приводилъ образцы такихъ совпаденій, да и всякому,

Digitized by Google

интересовавшемуся обычнымъ правомъ, это извѣстно). Но и помимо того, самоувѣренное вмѣшательство въ этотъ міръ мало изученныхъ, а въ подробностяхъ и мало понятныхъ для посторонняго человѣка отношеній, вообще говоря, до добра не доводитъ. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, чтобы обычное право представляло собою исключительно кладезь мудрости. Прежде всего, воды этого кладезя помутнены суевѣріемъ, правильная, цѣлесообразная борьба съ которымъ возможна только на почвѣ духовнаго вліянія, до тѣхъ поръ, разумѣется, пока дѣло не доходитъ до чего-нибудь вродѣ сожженія колдуна. Въ такихъ случаяхъ духовное вліяніе столь же недостаточно относительно „народа", какъ было бы недостаточно и относительно „интеллигенціи", если бы она вздумала жечь своихъ шарлатановъ. А затѣмъ и всякое издѣвательство сильнаго надъ слабымъ, всякая обида и притѣсненіе (частный случай чего представляетъ „ученіе" жены мужемъ), въ какой бы сферѣ отношеній они ни происходили и какою бы группою „мнѣній" они ни санктировались,—подлежатъ противодѣйствію. Тутъ нѣтъ мѣста никакимъ теоретическимъ сомнѣніямъ, и можно колебаться лишь относительно формы и способовъ противодѣйствія, что составляетъ уже вопросъ практическаго такта. Безспорно, что этого практическаго такта часто у людей не хватаетъ, даже при наличности добрыхъ намѣреній, не говоря о намѣреніяхъ злыхъ. Но я то тутъ при чемъ же? Г. Юзовъ ошибается адресомъ...

Я не вижу надобности дольше распространяться о г. Юзовѣ, но это не значитъ, что я кончилъ о народничествѣ. Даже и г. Юзова мнѣ придется еще, хотя и мимоходомъ, и не ради него самого, коснуться, говоря о недавно вышедшей книжкѣ г. В. В. „Наши направленія". Тогда же мнѣ придется говорить и о такъ называемомъ „западничествѣ". Когда-то этотъ терминъ незачѣмъ было ставить въ ковычки и незачѣмъ было прибавлять къ нему слово „такъ называемое". Тогда оно противополагалось славянофильству, съ которымъ и дѣлило власть надъ русскими умами и сердцами. Съ тѣхъ поръ много воды утекло, и для нашего времени характерно въ этомъ отношеніи уже то, что „западничеству" противополагаютъ себя не славянофилы, которыхъ нѣтъ на лицо, а, съ одной стороны, такіе органы печати, какъ „Московскія Вѣдомости", а съ другой—„народники" или тѣ, кто себя такъ на-

Digitized by Google

зываетъ. Славянофильство, значитъ, вывѣтрилось или, если угодно, дифференцировалось, и противоположеніе чего-то единаго и цѣльнаго „самобытнаго“ чему-то единому и цѣльному „западному“ потеряло свой raison d'être. Но въ то же время и западничество вывѣтрилось или дифференцировалось, сообразно выяснившейся разнородности европейскихъ теченій мысли и жизни. „Западниковъ“ въ настоящемъ, старомъ смыслѣ этого слова нынѣ нѣтъ и быть не можетъ, какъ нѣтъ и не можетъ быть славянофиловъ; есть только головы, нафаршированныя (я постараюсь оправдать это слово) тѣмъ или другимъ отдѣльнымъ продуктомъ европейской жизни. Но объ этомъ рѣчь впереди. А теперь мнѣ хочется помянуть человѣка, который до конца дней своихъ самъ называлъ себя западникомъ.

Читатель понимаетъ, что я говорю о Тургеневѣ, умершемъ ровно десять лѣтъ тому назадъ 22 августа. Талантъ перворазрядный, хотя и не столь могучій и оригинальный, какъ талантъ гр. Л. Толстого и Достоевскаго, но за то гораздо болѣе уравновѣшенный, Тургеневъ никогда не мечталъ о выработкѣ лично ему принадлежащаго міросозерцанія, объ основаніи своей собственной секты или школы. Онъ, примкнувъ еще въ молодости къ группѣ западниковъ, которая въ то время представляла собою нѣчто живое и цѣльное, остался западникомъ до самой смерти. Но западникомъ въ первоначальномъ, старомъ смыслѣ, въ смыслѣ общаго уваженія къ европейской культурѣ, независимо отъ происходящихъ внутри ея жестокихъ и часто кровавыхъ распрей религіозныхъ, международныхъ, сословныхъ, партійныхъ. На той возвышенной, но и вполнѣ неопредѣленной точкѣ зрѣнія, съ которой исчезаютъ эти распри и видѣнъ лишь общій абрисъ европейской цивилизаціи, Тургеневъ могъ оставаться, только благодаря своему постоянному пребыванію за границей. На первый взглядъ это можетъ показаться страннымъ или даже прямо невѣрнымъ, потому что гдѣ же могутъ яснѣе чувствоваться внутреннія противорѣчія западной жизни, острая борьба ея элементовъ, какъ не среди нея самой? Именно вѣдь поэтому и невозможенъ никакой западникъ на самомъ западѣ. Я рѣшаюсь, однако, утверждать, что, кромѣ, конечно, личныхъ и вообще интимныхъ обстоятельствъ, тянувшихъ Тургенева во Францію, его влекло туда, почти безсознательно, еще и потому, что тамъ именно онъ могъ сохранить свое широкое, но неопредѣленное западничество, съ которымъ

Digitized by Google

онъ сжился съ-молоду и разстаться съ которымъ ему было труднѣе, чѣмъ кому-нибудь.

Если читатель припомнитъ весь длинный рядъ созданныхъ Тургеневымъ образовъ, онъ увидитъ, что, помимо ихъ индивидуальныхъ особенностей, всегда мастерски разработанныхъ и рѣзко выдѣляющихъ данное лицо, они распадаются на двѣ большія психологическія группы. Въ одной стоятъ натуры активныя, не боящіяся отвѣтственности, рѣшительныя, жаждущія борьбы и твердо идущія къ разъ поставленной цѣли; въ другой—натуры пассивныя, мягкія, колеблющіяся, неохотно или съ сердечною болью берущія на себя отвѣтственность, увлекаемыя какою-нибудь волною помимо или противъ ихъ воли. Послѣднія суть любимцы автора, между тѣмъ какъ первыхъ онъ иногда уважаетъ (далеко не всегда), иногда даже любуется, какъ художникъ, твердою законченностью ихъ физіономій, но никогда не окружаетъ тѣмъ любовнымъ поэтическимъ ореоломъ, которымъ надѣляетъ мягкихъ, практически слабыхъ, нерѣшительныхъ. Какъ умный человѣкъ и первоклассный художникъ, онъ не скрывалъ достоинствъ своихъ пасынковъ и слабостей своихъ родныхъ дѣтищъ, но не трудно все-таки разобрать, кто изъ его героевъ—пасынокъ и кто родной; близкій по крови. Я не могу входить здѣсь въ подробности, и замѣчу только, что все, извѣстное намъ о личности самого Тургенева, вполнѣ подтверждаетъ сказанное. Это отнюдь не былъ человѣкъ твердыхъ рѣшеній, борьбы, дѣйствія, но онъ не былъ и созерцательной натурой. Онъ любилъ жизнь, любилъ вращаться среди ея разнообразныхъ красокъ и звуковъ, искалъ общенія съ нею для своего большого ума и высокаго художественнаго дарованія, но по возможности безъ активнаго, отвѣтственнаго вмѣшательства въ нее. Это онъ и получалъ за границей, гдѣ сложная общественно-политическая жизнь оставалась ему всетаки настолько чужою, что никакого активнаго вмѣшательства съ его стороны не требовала и даже не допускала. Онъ могъ дышать тамъ уже готовою общею атмосферою свободы и просвѣщенія, которая составляла идеалъ западничества, вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно устраняясь отъ борьбы частныхъ элементовъ. Относительно житейской практики, его мнѣній никто не спрашивалъ, его рѣшеній никто не ждалъ. Иное положеніе его было въ Россіи. Общая атмосфера была здѣсь совсѣмъ другая, а вмѣстѣ съ тѣмъ процессъ вывѣтриванія или дифференцированія западничества уже далеко подви-

Digitized by Google

нулся впередъ: напримѣръ, ультра-консервативная „Вѣсть“ могла съ такимъ же правомъ считаться отрогомъ западничества, какъ и нигилистическое „Русское Слово“. Человѣку съ именемъ и значеніемъ Тургенева непремѣнно пришлось бы занять то или другое воинствующее положеніе въ этихъ сложныхъ обстоятельствахъ, что мы и видѣли на Пушкинскомъ праздникѣ и непосредственно вслѣдъ за этимъ, когда Тургеневу навязывали роль чуть не политическаго вождя. Это было совсѣмъ не по немъ, и онъ не пошелъ на ту блестящую удочку, на которую такъ охотно кинулся его соперникъ въ „Пушкинскіе дни“—Достоевскій.

Проживая за границей, Тургеневъ оставался, однако, русскимъ, интересовался всѣмъ, что дѣлается на родинѣ, и не разъ откликался на наши злобы дня. Немудрено, что, наблюдая русскую жизнь издалека, онъ впадалъ въ ошибки, объ которыхъ было бы, разумѣется, неумѣстно распространяться теперь, когда мы отмѣчаемъ десятилѣтіе кончины этой гордости русской литературы. Каковы бы ни были эти ошибки въ публицистическомъ смыслѣ, сочиненія Тургенева остаются неизсякаемымъ источникомъ художественнаго наслажденія и собраніемъ тончайшихъ наблюденій и изслѣдованій въ области движеній человѣческой души. Тургеневу навязывали роль ловца новыхъ моментовъ въ исторіи нашего развитія, точнѣе,—разныхъ „новыхъ людей“. На этой именно почвѣ и происходили, напримѣръ, извѣстные горячіе споры о Базаровѣ. Можетъ быть, въ глубинѣ души и самому Тургеневу хотѣлось занять роль такого ловца моментовъ. Но на дѣлѣ онъ во всякомъ случаѣ бралъ изъ этихъ смѣняющихся моментовъ только среду, обстановку, а главными дѣйствующими лицами оказываются вездѣ представители все тѣхъ же вышеупомянутыхъ двухъ психологическихъ типовъ. Во всѣхъ своихъ романахъ и повѣстяхъ Тургеневъ рѣшаетъ художественную задачу: какъ будутъ себя вести и что будутъ чувствовать его два типа въ данной обстановкѣ? причемъ обстановка иногда берется изъ „момента“, а иногда дѣло обходится и безъ него. Напримѣръ, Неждановъ (въ „Нови“) и Санинъ (въ „Вешнихъ водахъ“)—одинъ и тотъ же психологическій типъ изъ любимцевъ Тургенева, со всею ихъ безвольностью, слабостью, колебаніями, но и съ тѣмъ поэтическимъ вѣнкомъ красиваго страданія, который Тургеневъ неизмѣнно кладетъ на головы своихъ любимцевъ; только въ первомъ случаѣ обстановка взята изъ „момента“, а во второмъ нѣтъ намека на какой бы то

Digitized by Google

ни было опредѣленный моментъ. Каковы бы поэтому ни были ошибки автора въ пониманіи и изображеніи обстановки, ими не наносится ущерба собственно психологіи безвольныхъ, слабыхъ, колеблющихся героевъ. То же нужно сказать и о психологіи противоположнаго типа въ тѣхъ предѣлахъ, которые устанавливаются безпристрастіемъ автора и его чувствомъ художественной мѣры. Можно утверждать, что рѣшительные люди, люди борьбы и твердаго преслѣдованія разъ поставленной цѣли, не необходимо такъ сухи, жестки, такъ обдѣлены въ поэтическомъ смыслѣ, какъ всѣ подобные герои Тургенева. Напримѣръ, патріотическій энтузіазмъ Инсарова могъ бы быть цвѣтнѣе, ярче: Инсаровъ могъ бы обладать увлекательнымъ краснорѣчіемъ оратора или поэтическимъ талантомъ, который онъ посвятилъ бы тому же дѣлу служенія родинѣ. Но Тургеневъ не любилъ раздавать эти поэтическіе цвѣты людямъ борьбы и дѣйствія,—онъ приберегалъ ихъ для своихъ любимцевъ, людей слабой воли, сомнѣній и колебаній. Если, однако, мы возьмемъ Инсарова, какъ онъ есть,—любящимъ Болгарію и ненавидящимъ турецкое иго, но сдержаннымъ, умнымъ, но узкимъ и недаровитымъ,—то каждый его шагъ окажется психологически вѣренъ. И по истинѣ удивительно то разнообразіе, съ которымъ Тургеневъ умѣлъ индивидуализировать свои два типа, всякій разъ открывая въ нихъ новыя стороны, новыя подробности, новыя комбинаціи мыслей, чувствъ, темпераментовъ. Это какъ бы двѣ галлереи фамильныхъ портретовъ: фамильное сходство есть во всѣхъ портретахъ каждой изъ галлерей, но вмѣстѣ съ тѣмъ каждый изъ нихъ имѣетъ особую физіономію; до такой степени особую, что различіе аксессуаровъ—высокій пудренный парикъ и гладкая прическа, блуза художника, вицъ-мундиръ чиновника, модный фракъ и проч.—является дѣломъ второстепеннымъ. Но къ этому надо еще прибавить богатую галлерею женскихъ портретовъ, частію распредѣляющихся по тѣмъ же двумъ типамъ, а частію составляющихъ особый міръ, въ изображеніе котораго Тургеневъ вкладывалъ всю гибкость, все изящество и тонкость своего таланта. Это—міръ впервые полюбившихъ дѣвушекъ. Въ этомъ отношеніи съ Тургеневымъ не можетъ соперничать не только Достоевскій, которому женскіе образы рѣшительно не давались, но и гр. Л. Толстой. Особенность Тургенева состоитъ во-первыхъ въ томъ, что его полюбившія дѣвушки оказываются въ большинствѣ случаевъ выше мужчинъ, а во-вторыхъ въ томъ, что утрен-

Digitized by Google

няя заря любви сопровождается въ нихъ порывомъ къ чему-то неопредѣленному, но высокому и широкому; онѣ чувствуютъ въ себѣ подъемъ силъ, не только дающій имъ самимъ великое счастіе, но и способный осчастливить и любимаго человѣка и еще много, много людей... Несмотря на постоянное повтореніе этого основного мотива, Тургеневъ и здѣсь былъ неистощимъ въ варіаціяхъ. Но какъ только этотъ порывъ такъ или иначе кончался въ дѣвушкѣ—разочарованіемъ ли, какъ въ „Затишьѣ“ и въ „Рудинѣ“, смертью ли любимаго человѣка, какъ въ „Наканунѣ“, обыкновенной ли прозой семейной жизни—она переставала интересовать Тургенева: онъ ставилъ точку. Дѣло въ томъ, что этотъ порывъ былъ сродни его западничеству, тому первоначальному, настоящему западничеству, въ основѣ котораго былъ свѣтлый, широкій, но неопредѣленный идеалъ и которому Тургеневъ оставался вѣренъ всю жизнь...

VI. *)

О народничествѣ, г-на В. В.

Г. В. В., авторъ книгъ: „Судьбы капитализма въ Россіи“, „Крестьянская община“ (въ 1-мъ томѣ „Итоговъ экономическаго изслѣдованія въ Россіи по даннымъ земской статистики“), „Прогрессивныя теченія въ крестьянскомъ хозяйствѣ“, „Очерки кустарной промышленности“, „Наши направленія“,—называетъ себя, подобно г. Юзову, народникомъ. Взаимныя отношенія этихъ двухъ, такъ сказать, оффиціальныхъ представителей народничества для меня не совсѣмъ ясны, несмотря на то, что, по названію, они—едино суть. Какъ бы, однако, они сами другъ къ другу ни относились, я чувствую себя немножко неловко, сопоставляя ихъ: за г. В. В. неловко. Въ числѣ произведеній этого писателя есть въ высшей степени почтенныя и серьезныя, самостоятельныя работы, съ которыми придется считаться, какъ теперь, такъ и въ будущемъ, всякому изслѣдователю экономической жизни Россіи. Это—работникъ въ настоящемъ и почетномъ смыслѣ этого слова, тогда какъ г. Юзовъ, несмотря на все свое трудолюбіе... мы въ прошлый разъ видѣли, что такое г. Юзовъ.

Есть, однако, одна сторона, по отношенію къ которой писанія

*) 1893, октябрь.

Digitized by Google

г. Юзова, при всемъ ихъ ничтожествѣ, должны быть поставлены выше писаній г. В. В., взятыхъ во всей ихъ совокупности.

Въ статьѣ „Печать и міросозерцаніе общества“, напечатанной въ сборникѣ „Путь—дорога“, г. В. В. обращается къ нашей журналистикѣ съ весьма суровыми упреками: она гонится только за „разнообразіемъ“ и „удобочитаемостью“ матеріала; ея органы или лишены всякаго опредѣленнаго направленія и стремятся угодить „и вашимъ, и нашимъ“, или занимаются „повтореніемъ избитыхъ фразъ и прикидываніемъ извѣстнаго шаблона къ тѣмъ или другимъ явленіямъ жизни и слова, но не защитою основныхъ воззрѣній, не разработкою вопросовъ, требующихъ уясненія“. Въ этихъ упрекахъ есть кое что вѣрное, но кое что уже слишкомъ строго и составляетъ, повидимому, плодъ недоразумѣнія. Безъ всякаго сомнѣнія, журналистика оставляетъ безъ разработки многіе вопросы, „требующіе уясненія“, и на это есть и причины многія. Но, независимо отъ этой многочисленности, какъ причинъ, такъ и слѣдствій, для уразумѣнія истиннаго смысла упрековъ г. В. В. надо бы знать, какіе именно вопросы „требуютъ уясненія“. Г. Боборыкинъ, напримѣръ, находитъ, что необходимо уяснить вопросъ объ эстетической критикѣ, и весьма многіе съ нимъ согласны. Г. Волынскій полагаетъ требующимъ уясненія вопросъ объ томъ, почему онъ чувствуетъ „острую боль“, когда его „какимъ-нибудь предметомъ“ по головѣ бьютъ, и можетъ быть другіе многіе тоже очень заинтересованы этимъ вопросомъ; даже навѣрное заинтересованы, если, конечно, имѣть въ виду не спеціально удары по головѣ г. Волынскаго, а метафизику вообще. Г-на В. В. эти вопросы, повидимому, совсѣмъ не занимаютъ. По крайней мѣрѣ, онъ ихъ въ печати никогда даже отдаленнымъ и какимъ-нибудь косвеннымъ образомъ не касался. Это было бы, пожалуй, и неумѣстно въ большинствѣ работъ г. В. В., въ виду ихъ спеціально экономическаго характера. Но въ произведеніяхъ, озаглавленныхъ „Наши направленія“ или „Печать и міросозерцаніе общества“, можно бы было съ увѣренностью ожидать встрѣтить хоть какіе-нибудь отклики на эстетическія и философскія теченія въ литературѣ,—я беру два первыя попавшіяся теченія, двѣ первыя попавшіяся группы вопросовъ, игнорируемыхъ г-мъ В. В., но ихъ можно бы было указать и больше. И не только они не занимаютъ самого г. В. В., но онъ даже не думаетъ объ томъ, что они могутъ другихъ занимать. Останав-

Digitized by Google

ливаясь на тѣхъ же двухъ случайно взятыхъ примѣрахъ, мы видимъ, что и г. Боборыкинъ, и г. Волынскій дѣлаютъ (хорошо или дурно—другой вопросъ) какъ разъ то, чего требуетъ г. В. В., „защищаютъ основныя воззрѣнія, разработываютъ вопросы, требующіе уясненія“, по ихъ, гг. Боборыкина и Волынскаго, мнѣнію. Но они какъ бы не существуютъ для г. В. В. Онъ ихъ не видитъ; ни ихъ самихъ, ни ихъ противниковъ. Самое большое,—онъ зачисляетъ всѣ эти препирательства въ составъ того „удобочитаемаго разнообразія“, которое онъ такъ рѣшительно ставитъ въ упрекъ нашей журналистикѣ, прибавляя еще упрекъ въ отсутствіи направленія и въ желаніи угодить и нашимъ, и вашимъ. Я отнюдь не думаю защищать нашу журналистику отъ упрековъ г. В. В. по существу, я хочу только указать на односторонность его точки зрѣнія. Многое изъ того, что ему, благодаря этой односторонности, кажется только удобочитаемымъ разнообразіемъ, на самомъ дѣлѣ проникнуто очень опредѣленнымъ направленіемъ и можетъ придтись по вкусу либо только „нашимъ“, либо только „вашимъ“. Естественно, что человѣкъ, несвѣдущій въ какой-нибудь области или не интересующійся ею, не различаетъ и направленій, въ которыхъ въ этой области сходятся, расходятся и перекрещиваются различныя движенія. Но въ сужденіяхъ объ этой области и въ общихъ выводахъ, ее захватывающихъ, ему подобаетъ нѣкоторая осторожность. Тому или другому писателю, по его неподготовленности, по складу его ума, или, наконецъ, просто по его склонностямъ, вкусамъ, извѣстная часть умственныхъ интересовъ общества можетъ оказаться совершенно чужою,—чужою въ томъ смыслѣ, что онъ не различаетъ здѣсь ни добра, ни зла, ни бѣлаго, ни чернаго, ни правой, ни лѣвой стороны. Это его дѣло. Но ему слѣдуетъ въ такомъ случаѣ воздерживаться отъ широкихъ всеобъемлющихъ темъ, вродѣ „Наши направленія“ или „Печать и міросозерцаніе общества“. Быть можетъ ему даже совсѣмъ не слѣдуетъ касаться такого по существу энциклопедическаго дѣла, какъ журналистика. Какими бы широкими задачами такой писатель ни задавался, на дѣлѣ онъ по необходимости съузитъ ихъ до предѣловъ своихъ личныхъ умственныхъ интересовъ, причемъ иногда даже эти собственные его умственные интересы терпятъ болѣе или менѣе значительный ущербъ. Дѣло въ томъ, что и для излюбленныхъ темъ г-на В. В. совсѣмъ уже не такъ безразлично существованіе г. Волынскаго или г. Бобо-

Digitized by Google

рыкина; разумѣю, конечно, не личное ихъ существованіе, а ихъ литературную дѣятельность: все связано въ мірѣ мысли. Вотъ въ этомъ-то отношеніи писанія г. Юзова и надо поставить выше писаній г. В. В. Послѣдовательности ради, г. В. В. долженъ признать значительную часть содержанія „Основъ народничества"— не болѣе, какъ „удобочитаемымъ (?) разнообразіемъ". Тутъ есть и „умъ, и чувство, какъ факторы прогресса", и „объективная философія", и „абсолютная этика", и „свобода воли", и „личность и законы исторіи", и „современные моралисты", и „еврейскій вопросъ", и „буддійское отношеніе къ животнымъ", не говоря уже объ „интеллигентномъ бюрократизмѣ и народничествѣ", „капитализмѣ и мірскомъ владѣніи", „правовыхъ воззрѣніяхъ народа" и проч. Словомъ, въ распоряженіи г. Юзова есть цѣлая маленькая энциклопедія, правда, никуда не годная и понадерганная откуда попало, но свидѣтельствующая во всякомъ случаѣ объ томъ, что авторъ желалъ бы себѣ уяснить многое, на первый взглядъ очень отдаленное отъ „народничества". Поэтому, какъ ни плохъ г. Юзовъ, а онъ можетъ усмотрѣть совершенно опредѣленныя направленія тамъ, гдѣ умственный взоръ г. В. В. видитъ только безформенное и безразличное разнообразіе. Мало того: для нѣкоторыхъ общихъ г. Юзову и г-ну В. В. тезисовъ, первый имѣетъ возможность предъявить аргументацію, болѣе разностороннюю и, по крайней мѣрѣ, формально, болѣе основательную, чѣмъ послѣдній. Я не говорю, что г. В. В. долженъ, въ какомъ бы то ни было отношеніи, руководствоваться примѣромъ г. Юзова. Но если онъ желаетъ говорить о „нашихъ направленіяхъ" и о „міросозерцаніи" общества, то ему надлежитъ обзавестись умственными горизонтами, нѣсколько болѣе широкими, чѣмъ тѣ, которыми онъ нынѣ располагаетъ.

Войдемъ въ нѣкоторыя подробности.

Разнообразные вопросы, занимающіе журналистику, не нуждаются въ выясненіи. Какіе же, по мнѣнію г. В. В., нуждаются? Уже изъ общаго характера его работъ видно, что таковыми онъ считаетъ вопросы практической жизни. Онъ говоритъ однако (въ статьѣ „Печать и міросозерцаніе общества"), что непосредственныя практическія злобы дня въ настоящее время не совсѣмъ удобны для литературной разработки, и потому прощаетъ журналистикѣ ея умолчанія или недостатокъ яркости. Это прощеніе было бы можетъ быть великодушно, если-бы въ немъ дѣйстви-

Digitized by Google

тельно нуждалась вся „печать“, всѣ „наши направленія“. Изъ самой постановки дѣла видно, что и здѣсь г. В. В. отметаетъ, игнорируетъ всѣ тѣ органы печати и всѣ тѣ направленія, которыя не стѣсняются въ обсужденіи практическихъ злобъ дня. Это— новая односторонность. Какъ бы то ни было, г. В. В. прощаетъ. „Но,—продолжаетъ онъ,—вѣдь эти вопросы суть непосредственныя практическія формулы, а за ними лежитъ область идей болѣе общихъ, основаній болѣе глубокихъ, которыми опредѣляются и тѣ или другія конкретныя и практическія приложенія“. Къ этой-то области и слѣдуетъ обратиться журналистикѣ, ибо тамъ она можетъ расположиться съ полнымъ комфортомъ. Что разумѣетъ г. В. В. подъ „областью идей болѣе общихъ“ и для разработки удобныхъ, видно изъ слѣдующаго его ироническаго обращенія къ журналистикѣ: „Или, можетъ быть, теоретическіе вопросы порѣшены, конкретныя формулы построены, дѣло только въ практическомъ ихъ осуществленіи? Но въ такомъ случаѣ, какія это формулы? гдѣ ихъ философское обоснованіе? Что такое современный либерализмъ, каковы его основныя воззрѣнія, отличіе отъ европейскаго либерализма и нашего прежняго западничества? Гдѣ философское обоснованіе народничества въ его разнообразныхъ теченіяхъ? Ихъ нѣтъ“. Ихъ нѣтъ, но, по мнѣнію г. В. В., ихъ не трудно добыть, это—„работа, естественная по условіямъ мѣста и времени“, и если журналистика ею не занимается, то лишь вслѣдствіе своей „апатіи и индиферентизма“. Я этого не думаю; до такой степени не думаю, что не считаю даже нужнымъ останавливаться на этомъ пунктѣ и обращу вниманіе читателя на другую сторону дѣла. Можетъ показаться, что г. В. В. только для образчика указалъ на „либерализмъ“ и „народничество“, какъ на пункты, требующіе уясненія и вмѣстѣ съ тѣмъ представляющіе особливыя удобства для такого выясненія, но ими не исчерпываются „наши направленія“ и „міросозерцаніе“ нашего общества. Однако, для г. В. В., повидимому, исчерпываются.

Въ книжкѣ „Наши направленія“ на стр. 108 читаемъ: „Мы познакомились съ двумя главными теченіями нашей общественной мысли—западническимъ и народническимъ,—беря для характеристики крайніе фланги обоихъ, обращая преимущественное вниманіе на пункты ихъ различія и игнорируя сходныя черты, а также,—въ виду поставленной себѣ цѣли оцѣнки основныхъ

Digitized by Google

принциповъ направленій,—устраняясь отъ характеристики промежуточныхъ между крайними теченій". Что значитъ противопоставленіе „западничества" и „народничества", мы еще увидимъ. Замѣтимъ только пока, что „западничество" и „либерализмъ" часто замѣщаютъ другъ друга въ рѣчи г. В. В. Итакъ, западничество (или либерализмъ) и народничество,—вотъ къ чему сводятся „наши направленія". Я уже не говорю объ томъ, что г. В. В. и въ этихъ предѣлахъ сознательно устраняетъ „промежуточныя теченія", что онъ „игнорируетъ сходныя черты", что, наконецъ, онъ, по его собственнымъ словамъ, „не обладаетъ достаточными свѣдѣніями" для сужденія объ „историческомъ развитіи въ русскомъ обществѣ идеи „народа" и „народнаго (стр. 71). Сопоставляя все это съ вышеприведеннымъ мѣстомъ изъ статьи „Печать и міросозерцаніе общества", мы видимъ, какъ узко поле зрѣнія г. В. В., какъ на многое онъ частію сознательно, частію безсознательно закрываетъ глаза: ничего, кромѣ „либерализма" и „народничества" онъ не видитъ или не хочетъ видѣть; никакіе иные вопросы не требуютъ уясненія никакія иныя сферы мысли не входятъ или не должны входить въ задачи печати и въ составъ міросозерцанія общества. Что извѣстная часть этого процесса закрыванія глазъ происходитъ совершенно сознательно, видно изъ того, что г. В. В. пытается защищать свою позицію. Но такъ какъ односторонность и узкость сами по себѣ незащитимы, то не удивительно, что и защита г. В. В. носитъ на себѣ печать нѣкоторой спутанности мысли.

Книжка „Наши направленія" оканчивается слѣдующими словами: „Современные писатели вообще гораздо больше интересуются тѣмъ, что думаютъ отживающіе отцы, а не развивающіяся дѣти. Вслѣдствіе этого они тщательно слѣдятъ за всякою потугой реакціонной мысли и не отвѣчаютъ на запросы со стороны формирующейся интеллигенціи, не оказываютъ пособія молодой мысли разработкой вопросовъ, имѣющихъ важное принципіальное значеніе, чѣмъ отчасти и объясняется господствующій у насъ разбродъ общественнаго мнѣнія. При такомъ отношеніи литературы къ запросамъ со стороны формирующейся интеллигенціи нѣтъ ничего удивительнаго, если вновь складывающіяся жизненныя теченія принимаютъ не совсѣмъ раціональныя формы и въ практическомъ примѣненіи, и въ теоретическомъ ихъ обоснованіи; если молодежь легко поддается проповѣди малоосновательности

Digitized by Google

ныхъ, но представляющихъ извѣстную цѣльность настроенія и отвѣчающихъ нѣкоторымъ ея запросамъ воззрѣній... Дѣятели литературы" должны „памятовать, что воспособленіе росту молодой поросли составляетъ гораздо болѣе важную и плодотворную задачу, чѣмъ малопроизводительныя попытки исправленія кривыхъ вѣтвей и стволовъ".

Здѣсь очень много недоразумѣній. Къ „либерализму" и „народничеству" г. В. В. прибавляетъ здѣсь еще одно направленіе—„реакціонную печать", но только затѣмъ, чтобы скинуть ее со счетовъ, не давая ей при этомъ никакого опредѣленія и весьма странно мотивируя свое презрительное къ ней отношеніе. Единственнымъ ея признакомъ и единственнымъ мотивомъ для ея устраненія изъ счета „нашихъ направленій" оказывается принадлежность къ ней „отживающихъ отцовъ" или „кривыхъ вѣтвей и стволовъ". Это прежде всего фактически невѣрно. Только что получено печальное извѣстіе о смерти А. Н. Плещеева. Это былъ отживающій отецъ, но ни его, ни многихъ недавно отжившихъ, ни многихъ стоящихъ на этой мрачной очереди, г. В. В. не отнесетъ къ „реакціонной печати", хотя я и не знаю, какъ онъ ихъ распредѣлитъ по двумъ остальнымъ своимъ рубрикамъ. Съ другой стороны, г-ну В. В. стоитъ только оглянуться, чтобы увидать цѣлый рядъ молодыхъ или такъ называемыхъ молодыхъ дѣятелей литературы, съ „новымъ словомъ" на устахъ, стоящихъ въ прямой оппозиціи къ тѣмъ отживающимъ или уже отжившимъ отцамъ. Вообще составъ литературы, какъ личный, такъ и идейный, гораздо сложнѣе, чѣмъ онъ представляется г. В. В. Прискорбно, разумѣется, если молодежь легко поддается проповѣди малоосновательныхъ воззрѣній, но изъ этого не слѣдуетъ ни того, что реакціонная печать и отживающіе отцы—тождественны, ни того, что мнѣнія ихъ можно сбросить со счетовъ нашихъ направленій. Да чего лучше! Самъ г. В. В. удѣляетъ очень много вниманія г. Пыпину, который не есть представитель „реакціонной печати", но вѣдь и не „молодая поросль", не „развивающееся дитя". Съ точки зрѣнія г. В. В., г. Пыпинъ есть именно одинъ изъ тѣхъ, какъ онъ выражается, „кривыхъ стволовъ", попытки исправленія которыхъ онъ считаетъ непроизводительными. Самъ г. В. В. достаточно не „дитя", чтобы мечтать о возможности переубѣдить столь окрѣпшаго писателя, какъ г. Пыпинъ, котораго мнѣ только потому не хочется называть отживающимъ

Digitized by Google

отцомъ, что я искренно желаю ему долголѣтія. Однако, г. В. В. считаетъ нужнымъ и, вѣроятно, производительнымъ полемизировать съ г. Пыпинымъ; полемизировать такъ много, такъ долго и цѣпко, что становится, наконецъ, даже скучно присутствовать при этой полемикѣ; а все дѣло именно въ присутствующихъ. Если бы г. В. В. и г. Пыпинъ, считая взаимно другъ друга „кривыми стволами", жаждали исправить одинъ другого, то ничто не мѣшало бы имъ устроить приватное свиданіе, на которомъ они и свели бы, такъ или иначе, свои счеты. Но они имѣютъ въ виду присутствующихъ, извѣстную аудиторію, въ составѣ которой есть и „молодая поросль". Поэтому полемика и критика, вполнѣ безнадежная въ смыслѣ исправленія кривыхъ стволовъ, можетъ, однако, быть очень производительною. Это очевидно, и если отъ г. В. В. такая очевидность ускользнула, то лишь благодаря односторонности всей его постановки вопроса о нашихъ направленіяхъ и о задачахъ печати въ связи съ міросозерцаніемъ общества.

Г. В. В. правъ, говоря объ апатіи и индиферентизмѣ, какъ объ общемъ фонѣ современной русской жизни и литературы. Но на этомъ фонѣ мѣстами вырисовываются болѣе или менѣе яркіе узоры духовной смуты, естественно болѣе всего отражающейся на „молодыхъ поросляхъ". Но для сужденія объ этой смутѣ г. В. В. одинъ изъ самыхъ неподходящихъ людей. Онъ принадлежитъ къ числу тѣхъ вполнѣ добросовѣстныхъ, но узкихъ и одностороннихъ работниковъ, которые склонны сомнѣваться даже въ существованіи чего-нибудь за предѣлами ихъ лично занимающихъ идей и вещей: тамъ—пустыня, не стоющая вниманія. Но, къ счастію или къ несчастію, не пустыня тамъ. Либерализмъ и народничество составляютъ не только предѣлы, а и все содержаніе умственнаго кругозора г. В. В. Говоря объ нашихъ направленіяхъ и о міросозерцаніи общества, онъ не обращаетъ вниманія даже на такой крупный элементъ смуты, какъ „толстовство", потому что его нельзя вдвинуть цѣликомъ ни въ либерализмъ, ни въ народничество. А между тѣмъ гр. Толстой, преимущественно именно среди молодой поросли, много душъ погубилъ, по мнѣнію однихъ, много душъ спасъ, по мнѣнію другихъ. Въ дѣйствительности, дѣло стоитъ, надо думать, не такъ ужъ круто, но во всякомъ случаѣ „толстовство",—фактъ, съ которымъ надо считаться. И не „разнообразія" ради старалась

Digitized by Google

журналистика разобраться въ этомъ сложномъ явленіи, и не для исправленія „кривого ствола“, а ради все той же молодой поросли, среди которой, по свидѣтельству г. В. В., малоосновательныя воззрѣнія пользуются, при извѣстныхъ условіяхъ, легкимъ успѣхомъ. Г. В. В. этого не видитъ и не чувствуетъ, потому что его самого мало занимаютъ вопросы, связанные съ толстовствомъ, но нельзя же за это привлекать къ отвѣтственности тѣхъ, кто видитъ и чувствуетъ.

Книжка „Наши направленія“, равно какъ и статья „Печать и міросозерцаніе общества“, появились когда только что улеглись непосредственные результаты тяжелыхъ несчастій, постигшихъ Россію, но они ничѣмъ не отразились ни въ книжкѣ, ни въ статьѣ. Голодный годъ и холерные безпорядки вызвали цѣлую литературу, конечно, недостаточную по отношенію къ огромной важности и поучительности событій, но достаточную для того, чтобы хоть лишнюю страничку прибавить къ характеристикѣ нашихъ направленій. Но должно быть и эта литература есть только „удобочитаемое разнообразіе“ съ преобладающимъ стремленіемъ угодить и нашимъ, и вашимъ. Вѣрнѣе же сказать, разнообразныя наблюденія, выводы и обобщенія, доставленныя великимъ бѣдствіемъ, не укладываются въ слишкомъ короткую и узкую формулу противоположенія западничеству народничества.

Тѣмъ паче нѣтъ г-ну В. В. дѣла, напримѣръ, до проникающихъ къ намъ символистскихъ и декадентскихъ вліяній, до возрожденія мистицизма и метафизики и проч. Все это, какъ не имѣющее непосредственнаго отношенія къ либерализму и народничеству, не входитъ въ его разсчеты и соображенія ни съ плюсомъ, ни съ минусомъ. Но молодыя поросли, умственные интересы которыхъ отстаиваетъ г. В. В., не слѣдуютъ въ этомъ отношеніи его примѣру; они не остаются безразличными къ упомянутымъ теченіямъ и выбираютъ себѣ въ нихъ то или другое направленіе, не справляясь объ томъ, различаетъ ли эти направленія съ своей точки зрѣнія г. В. В. Нѣтъ резона и журналистикѣ сообразоваться съ этою точкою зрѣнія. Нехорошо, если журналъ печатаетъ сегодня статью, скажемъ, противъ метафизики въ философіи или противъ символизма въ искусствѣ или противъ морали гр. Толстого и т. д., а черезъ мѣсяцъ выступаетъ съ защитой этихъ только что отвергнутыхъ вещей. Это нехорошо, потому что сбиваетъ съ толку читателя, лишаетъ его опредѣлен-

Digitized by Google

ной руководящей нити и въ самомъ дѣлѣ свидѣтельствуетъ объ отсутствіи направленія. Но если журналъ ищетъ такой руководящей нити не только въ области, отмѣченной пограничными столбами „западничества“ или „либерализма“ и „народничества“, а и повсюду, гдѣ могутъ торжествовать „малоосновательныя воззрѣнія“—онъ дѣлаетъ именно то, что долженъ дѣлать. Такое разнообразіе, разнообразіе сюжетовъ, а не совмѣщеніе разныхъ направленій, не только желательно, но и обязательно. „Удобочитаемость“ тоже дѣло не худое...

Все это, кажется, такъ ясно и просто, что и доказательству не подлежитъ. Но суровость г. В. В. показываетъ, что это не для всѣхъ ясно и просто, и мы еще увидимъ, какъ обезоруживаетъ себя своею односторонностью самъ г. В. В., даже въ тѣхъ случаяхъ, когда по существу онъ правъ.

„Итакъ,—интересы народа, какъ цѣль, формы, вырабатываемыя его коллективною мыслью, или другія, соотвѣтствующія его желаніямъ, какъ средство, и самодѣятельность населенія, какъ рычагъ общественной эволюціи,—таковы три положенія, характеризующія народничество, какимъ оно опредѣлилось въ пореформенную эпоху нашей исторіи. Практическое осуществленіе этихъ pia desideria требуетъ умственнаго подъема массы, который поэтому и поставленъ, какъ главная задача переживаемаго момента“.

Это говоритъ г. В. В. на стр. 7. Признаюсь, меня очень смущаетъ слово „итакъ“, которымъ начинается эта цитата. Всякая формула, подобная приведенной, по необходимости краткая и сама по себѣ слишкомъ общая, должна быть поставлена либо во главѣ изслѣдованія, безъ всякаго „итакъ“, въ качествѣ тезиса, подлежащаго развитію и доказательству; либо, напротивъ, въ концѣ изслѣдованія, какъ резюме обнимаемыхъ ею фактовъ и выводовъ. Въ данномъ же случаѣ выходитъ ни то, ни се. Надо замѣтить, что еще на 3-й стр. г. В. В. говоритъ о „крайней затруднительности изученія народничества, какъ особой струйки въ общемъ руслѣ общественной мысли“. „Трудность вопроса—продолжаетъ онъ—заключается не въ одной лишь спутанности понятій, вслѣдствіе которой терминъ „народничество“ прилагается къ оттѣнкамъ общественной мысли, ничего общаго съ нимъ

Digitized by Google

не имѣющимъ. Нужно еще въ самомъ народничествѣ отдѣлить главное теченіе отъ второстепенныхъ его рукавовъ, уловить самую сущность вопроса въ разнообразіи формъ... Трудность вопроса усиливается еще тѣмъ обстоятельствомъ, что" и т. д. Намъ теперь все равно какое это обстоятельство: трудностей во всякомъ случаѣ много и очень серьезныхъ. И всѣ эти трудности, еще на 3-й страницѣ столь многочисленныя и серьезныя,—на 7-й стр. оказываются разрѣшенными, и авторъ получаетъ возможность сказать: „итакъ" вотъ что такое народничество. Можетъ быть это „итакъ" лично для г. В. В. имѣетъ свое оправданіе, можетъ быть онъ мысленно дѣйствительно преодолѣлъ всѣ указанныя имъ самимъ трудности и только не счелъ нужнымъ полностью вскрыть эту, такъ сказать, подземную работу передъ читателемъ. Позволительно, однако, и въ этомъ сомнѣваться въ виду категорическаго заявленія г. В. В., что онъ „не обладаетъ достаточными свѣдѣніями" для сужденія объ „историческомъ развитіи въ русскомъ обществѣ идеи „народа" и „народнаго".

Подозрительна затѣмъ и самая конструкція формулы народничества, представленная г-мъ В. В. Мы знаемъ, что такое цѣль и что такое средство, знаемъ взаимное отношеніе этихъ двухъ категорій, но что такое „рычагъ", особое, независимое отъ цѣли и средства понятіе, дающее основаніе третьему члену формулы? Рычагъ,—вѣдь это машина, орудіе, то есть средство. Далѣе, хотя самъ г. В. В. называетъ свою формулу трехчленною, но въ ней, собственно говоря, четыре члена: кромѣ цѣли, средства и рычага, мы имѣемъ еще „требованіе практическаго осуществленія этихъ pia desideria" или „главную задачу переживаемаго момента", и это опять таки отдѣльная, особая категорія, хотя она похожа и на „средство", и на „рычагъ", а, пожалуй, и съ „цѣлью" можетъ слиться. Изъ всего этого слѣдуетъ, мнѣ кажется, только то, что для г. В. В. дороги: 1) интересы народа, 2) формы, „вырабатываемыя его коллективною мыслью или другія, соотвѣтствующія его желаніямъ", 3) самодѣятельность населенія, 4) умственный подъемъ массы. Но какъ слагаются эти четыре элемента въ одно цѣлое, каковы ихъ взаимныя отношенія, что на какомъ мѣстѣ должно быть поставлено,—это неясно самому г. В. В. Элементы какой-то системы или теоріи—на лицо, но ихъ комбинація, то есть сама система или теорія остается загадочной. Элементы эти за исключеніемъ второго, недостаточно ясно

Digitized by Google

и какъ-то уклончиво выраженнаго, могутъ быть сложены въ такую комбинацію, которую примутъ и люди, никѣмъ не называемые и сами себя не называющіе народниками.

На неясности или уклончивости редакціи второго пункта формулы г. В. В. стоитъ нѣсколько остановиться. Какія это „формы, вырабатываемыя коллективною мыслью народа или другія, соотвѣтствующія его желаніямъ“? Какія онѣ и въ чемъ заключается ихъ цѣнность? Формы эти поставлены на ступени „средства“, то есть предполагается или утверждается, что при помощи ихъ наилучше достигается цѣль—„интересы народа“. Формы эти, далѣе, вырабатываются коллективною мыслью народа, но могутъ быть выработаны и не ею, а кѣмъ-то другимъ, лишь бы онѣ соотвѣтствовали желаніямъ народа. Эта оговорка не получаетъ никакого разъясненія въ дальнѣйшемъ изложеніи.

Затѣмъ, разсказывая очень бѣгло и смутно исторію идеи „народа“ и „народнаго“ въ русской литературѣ (для чего, какъ мы видѣли, онъ не имѣетъ достаточныхъ свѣдѣній), г. В. В. замѣчаетъ, между прочимъ: „Изученіе обнаружило въ народной средѣ наличность такихъ формъ быта и такихъ воззрѣній, которыя лучше другихъ, доселѣ осуществлявшихся въ жизни, соотвѣтствуютъ требованіямъ, какія можно предъявить обществу съ точки зрѣнія идеальныхъ представленій о правдѣ и справедливости“. Изъ этого слѣдуетъ заключить, что „формы, вырабатываемыя коллективною мыслью народа“, цѣнны, главнымъ образомъ, потому, что онѣ соотвѣтстствуютъ „идеальнымъ представленіямъ о правдѣ и справедливости“. Не будь этого счастливаго совпаденія, народничество приняло бы совершенно иной обликъ или даже, можетъ быть, вовсе не существовало-бы. Спрашивается, однако, чьи же и какіе идеалы правды и справедливости являются здѣсь столь рѣшающимъ моментомъ?—потому что, вѣдь, эти идеалы очень разнородны во времени и пространствѣ. То, что мы, русскіе образованные люди конца XIX вѣка, считаемъ идеалами правды и справедливости, выработано жизнью всего человѣчества всѣхъ предъидущихъ вѣковъ, страданіями и радостями, сознаніемъ и совѣстью востока и запада, сѣвера и юга. И тѣмъ не менѣе, въ нашей средѣ обращаются *идеалы* правды и справедливости, а не единый какой-нибудь безспорный, общепризнанный идеалъ. Одинъ изъ этихъ идеаловъ г. В. В. и беретъ мѣрою для оцѣнки „формъ, выработанныхъ коллективною мыслью на-

Digitized by Google

рода". И какъ бы ни былъ возвышенъ этотъ избранный имъ идеалъ, онъ все таки есть его, г-на В. В., личный идеалъ, въ томъ смыслѣ, что удовлетворяетъ его, г-на В. В., сознаніе и совѣсть. И если я, напримѣръ, признаю его высокое достоинство, то это только и значитъ, что мой идеалъ правды и справедливости совпадаетъ съ идеаломъ г. В. В.

Такимъ образомъ, любая „форма, выработанная коллективною мыслью народа", есть прежде всего средство для достиженія извѣстной цѣли и, слѣдовательно, какъ и всякое средство, играетъ подчиненную роль: она не сама по себѣ цѣнится, а лишь поскольку ею достигается или обезпечивается цѣль („интересы народа"). Если будетъ доказана неудовлетворительность ея въ этомъ отношеніи, она можетъ быть въ программѣ народничества замѣнена „другою". Эта „другая" должна соотвѣтствовать „желаніямъ" народа, но собственно рѣшающимъ моментомъ въ этомъ случаѣ являются „идеальныя представленія о правдѣ и справедливости", какъ ихъ понимаетъ г. В. В.,—онъ и его единомышленники.

Все это представляетъ собою, какъ видитъ читатель, простой пересказъ собственныхъ словъ г. В. В.—я ничего не убавилъ и ничего не прибавилъ отъ себя и только предложилъ читателю съ нѣкоторымъ вниманіемъ остановиться на отдѣльныхъ составныхъ частяхъ „формулы народничества", устанавливаемой г. В. В. Однако уже этой простой остановки вниманія оказалось достаточно, чтобы открыть неясность и противорѣчивость формулы. Безъ сомнѣнія, это зависитъ отъ недостаточной внимательности самого г. В. В. На-черно и наскоро продѣлавъ извѣстный логическій процессъ надъ недостаточнымъ количествомъ фактовъ, онъ приходитъ къ нѣкоторому „итакъ", чѣмъ и себя, и можетъ быть многихъ читателей вводитъ въ заблужденіе, будто и въ самомъ дѣлѣ полученъ точный итогъ всѣхъ нужныхъ для даннаго случая слагаемыхъ. Онъ не замѣчаетъ при этомъ, что никакого итога нѣтъ, что слагаемыя чисто механически связаны приставками словъ „цѣль", „средство", „рычагъ", „главная задача", безъ внутренняго логическаго согласованія. Въ результатѣ неясность и противорѣчивость неизбѣжны.

Разговоръ о народничествѣ и народникахъ представляетъ, между прочимъ, то важное неудобство, что вы собственно никогда не знаете, съ кѣмъ именно имѣете дѣло. Когда вы, напри-

Digitized by Google

мѣръ, въ „Очеркахъ новѣйшей русской литературы“ г. Скабичевскаго читаете главы о „беллетристахъ-народникахъ“, вы видите, что авторъ разумѣетъ подъ „народничествомъ“ совсѣмъ не то, что гг. В. В. или Юзовъ. Эти послѣдніе очень властно говорятъ отъ имени народничества, но хотя они въ весьма многомъ сходятся, однако г. В. В. подвергъ еще недавно весьма строгой критикѣ „Основы народничества“ г. Юзова, а г. Юзовъ, очень почтительно относясь къ г. В. В. вообще, тѣмъ не менѣе даже не упоминаетъ объ его формулѣ народничества. Во всемъ этомъ очень трудно оріентироваться. Попробуемъ устранить наиболѣе общее и наименѣе опредѣленное понятіе о народникахъ, какъ о группѣ писателей—беллетристовъ и не-беллетристовъ—берущихъ свои темы изъ жизни народа и относящихся съ сочувствіемъ къ его судьбамъ. Это, дѣйствительно, слишкомъ широкая рамка, вмѣщающая иногда даже просто пріятности деревенской жизни вообще. Вслѣдствіе этого въ „Очеркахъ“ г. Скабичевскаго даже г. Евгеній Марковъ, хотя и не зачисленъ въ группу „беллетристовъ-народниковъ“, но все-таки „смотритъ на русскую жизнь съ народнической точки зрѣнія“ (стр. 296),—тотъ самый г. Евгеній Марковъ, который написалъ громовую, хотя, къ счастью, никого не убившую, статью „Мужиковствующіе писатели“, который не находилъ достаточно сильныхъ словъ для протеста противъ вторженія мужика въ литературу! Можно бы, повидимому, объединить народниковъ на первомъ и верховномъ членѣ формулы г. В. В.—на „интересахъ народа, какъ цѣли общественной эволюціи“. Но я уже слышу отчаянный крикъ „караулъ! грабятъ!“ Это кричитъ г. Юзовъ, защищающій свой собственный домъ отъ интеллигентно-либерально-бюрократо-народолюбивыхъ иновѣрцевъ. Ему мало признанія интересовъ народа цѣлью общественной эволюціи, онъ требуетъ еще безусловнаго уваженія къ „мнѣніямъ“ народа. То же самое имѣетъ въ виду г. В. В., говоря о „формахъ, выработанныхъ коллективною мыслью народа или другихъ, соотвѣтствующихъ его желаніямъ“. Мы видѣли, однако, что такое довѣріе къ коллективной мысли и желаніямъ народа основано лишь на предполагаемомъ совпаденіи ихъ съ идеалами г. В. В. Ну, а если бы оказалось, что этого совпаденія нѣтъ совсѣмъ или хотя бы по нѣкоторымъ только пунктамъ?

Утверждая, что г. В. В. въ концѣ-концовъ мѣряетъ вещи на свой аршинъ, оцѣниваетъ явленія жизни съ точки зрѣнія своего

Digitized by Google

собственнаго идеала, я отнюдь не хочу сказать что-нибудь обидное. Совершенно даже напротивъ, ибо иначе можетъ поступать только человѣкъ, лишенный идеала и нравственной мѣры вещей. Если я вижу въ данной „формѣ“ зло или добро, то мнѣнія или желанія хотя бы милліоновъ людей, трудящихся надъ ея созиданіемъ или разрушеніемъ, сами по себѣ не въ силахъ измѣнить мое убѣжденіе, хотя бы такое разногласіе и ставило меня въ самыя трагическія положенія. Я могу сдаться, струсить, примириться, притвориться, но искренно признать зло добромъ или наоборотъ—не могу, если только вообще способенъ имѣть собственное мнѣніе о добрѣ и злѣ. Возможны, однако, разные самообманы и самоутѣшенія, въ связи частію со слабою воспріимчивостью, а частью съ односторонностью и неясностью мысли. Человѣкъ можетъ, напримѣръ, въ интересахъ излюбленной доктрины, отчасти сознательно, отчасти безсознательно закрывать глаза на неукладывающіяся въ доктрину, но несомнѣнно существующія комбинаціи добра и зла, индѣ сгущая краски, индѣ смягчая ихъ, обходя или перескакивая черезъ нѣкоторыя логическія препятствія. Въ такого рода самообманахъ и самоутѣшеніяхъ очень повинны люди, называющіе себя народниками. Они не обезпокоиваютъ себя вышепоставленнымъ вопросомъ: ну, а если-бы оказалось, что идеалы г. В. В. не совпадаютъ совсѣмъ или на нѣкоторыхъ, по крайней мѣрѣ, пунктахъ съ коллективною мыслью и желаніями народа? Совпадаютъ—и баста! И такое совпаденіе даетъ этимъ счастливцамъ чрезвычайныя права и полномочія. Они упрекаютъ въ гордынѣ насъ, простыхъ смертныхъ, обсуждающихъ явленія общественной жизни съ точки зрѣнія нашихъ собственныхъ идеаловъ правды и справедливости. Сами они, однако, дѣлаютъ рѣшительно то же самое, да и не могутъ поступать иначе, но предполагаемое совпаденіе уполномочиваетъ ихъ, подъ видомъ смиреннаго преклоненія передъ коллективною мыслью, говорить не отъ собственнаго разума и совѣсти, а отъ этой самой „коллективной мысли народа“. Я думаю, что это-то и есть настоящая гордыня.

Совпаденіе собственныхъ идеаловъ общественнаго дѣятеля съ коллективною мыслью народа есть, конечно, огромное, трудно даже оцѣнимое счастье. Но именно потому, что оно такъ огромно,—непозволительна торопливость заключеній въ этомъ отношеніи. Да и отчего бы не задать себѣ вышепоставленный во-

Digitized by Google

просъ хотя бы просто такъ, на всякій случай, въ часы, напримѣръ, отдыха отъ рыцарской борьбы съ интеллигентно-бюрократическими народолюбцами? Притомъ же эта маленькая работа немного и времени отниметъ. Дѣло вѣдь очень просто. Если г. В. В. усмотритъ на какомъ-нибудь пунктѣ разногласіе между своими идеалами правды и справедливости съ одной стороны и коллективною мыслью народа—съ другой, то это обстоятельство побудитъ его, предполагаю я, еще и еще разъ пересмотрѣть свой идейный багажъ; если же и послѣ такого пересмотра онъ останется при своемъ мнѣніи, то онъ всячески постарается послужить дѣлу правды и справедливости, какъ онъ его понимаетъ,—между прочимъ, постарается повліять въ этомъ смыслѣ и на самую коллективную мысль, и на ея результаты, то есть на выработанныя ею формы. Какіе пути онъ для этого выберетъ, какіе признаетъ удобными и позволительными,—это вопросъ особый, но во всякомъ случаѣ онъ воспользуется всѣми тѣми пунктами, на которыхъ его идеалы, дѣйствительно, совпадаютъ съ коллективною мыслью. Я вѣрю, и не только вѣрю, а знаю, что такіе пункты совпаденія существуютъ, что они очень важны и существенны, но именно поэтому не вижу надобности закрывать глаза на пункты разногласія. Г. В. В. не скажетъ, я полагаю, что такихъ пунктовъ совсѣмъ нѣтъ, но въ писаніяхъ его они остаются неизвѣстными, и самое существованіе ихъ остается укрытымъ подъ общею фразою: „изученіе обнаружило въ народной средѣ наличность такихъ формъ быта и такихъ воззрѣній, которыя лучше другихъ, деселѣ осуществлявшихся въ жизни, соотвѣтствуютъ требованіямъ, какія можно предъявить обществу съ точки зрѣнія идеальныхъ представленій о правдѣ и справедливости“. Изученіе, дѣйствительно, обнаружило это, но не только это.

Какъ ни недостаточны, даже въ фактическомъ отношеніи, разсужденія г. В. В. о „нашихъ направленіяхъ“, но все таки о нѣкоторыхъ изъ нихъ онъ говоритъ, выражая свое съ ними согласіе или несогласіе. Послѣдуемъ за нимъ.

Въ предисловіи къ „Нашимъ направленіямъ“ г. В. В. указываетъ на книгу г. Николая—она „Очерки пореформеннаго хозяйства Россіи“, въ которой,—говоритъ г. В. В., — „экономическая сторона развиваемой нами теоріи, по крайней мѣрѣ, въ ея отри-

Digitized by Google

цательной части, получила новое освѣщеніе". Г. В. В. поступаетъ совершенно правильно, выдѣляя въ данномъ случаѣ экономическую сторону развиваемой имъ теоріи: г. Николай — онъ стоитъ въ своей книгѣ исключительно на экономической точкѣ зрѣнія и уже по одному этому не можетъ быть привлеченъ къ отвѣтственности за политическія или этическія соображенія г. В. В. Но и относительно экономической стороны между трудами г. В. В. и г. Николая — она есть весьма существенныя различія. Такъ, напримѣръ, на стр. 113 г. В. В. говоритъ, что въ „явленіяхъ земледѣльческой области еще даже теоретически не рѣшенъ вопросъ, крупное (батрачное) или мелкое (самостоятельное) производство выгоднѣе для страны". И вездѣ въ „Нашихъ направленіяхъ", равно какъ и въ другихъ своихъ работахъ, г. В. В. имѣетъ въ виду только эти два вида земледѣльческаго хозяйства, тогда какъ для г. Николая—она обѣ эти формы должны уступить мѣсто третьей — крупному самостоятельному хозяйству. Въ связи съ этимъ находится существенное различіе въ самомъ тонѣ и характерѣ работъ обоихъ названныхъ писателей. Г. В. В. интересуется „прогрессивными явленіями въ крестьянскомъ хозяйствѣ", тогда какъ г. Николай—онъ слѣдитъ преимущественно за процессомъ разложенія крестьянскаго хозяйства. Мы увидимъ, какъ важно это обстоятельство для оцѣнки и не экономическихъ соображеній г. В. В.

Обращаясь къ г. Пыпину, едва ли не самому усердному антагонисту г. В. В., которому и онъ въ свою очередь удѣляетъ едва ли не наибольшее вниманіе, я долженъ сказать, что весь ихъ длинный, уже не одинъ годъ продолжающійся и горячій споръ представляется мнѣ рядомъ недоразумѣній, въ которыхъ повинны обѣ стороны. Кромѣ частныхъ ошибокъ, возможныхъ въ каждомъ спорѣ, гг. Пыпинъ и В. В. повинны въ томъ, что, говоря на разныхъ языкахъ, они не замѣчаютъ этого въ теченіе уже нѣсколькихъ лѣтъ. Имъ надлежало бы или давно прекратить эту странную бесѣду, или усвоить себѣ общій языкъ. Ядро всѣхъ писаній г. В. В. составляютъ факты и выводы экономическаго характера, и они не затрогиваются критикою г. Пыпина, какъ спеціалиста по исторіи литературы и этнографіи, хотя эта критика долженствуетъ обнять все „народничество". Въ свою очередь г. В. В. не ограничивается своимъ ядромъ, а принимаетъ вызовъ въ сферы историко-литературныхъ и этнографическихъ со-

Digitized by Google

ображеній, для свободнаго обращенія въ которыхъ онъ, по его собственнымъ, какъ мы видѣли, словамъ, не имѣетъ достаточныхъ свѣдѣній. Столь почтенные писатели, какъ гг. Пыпинъ и В. В., никогда не встали бы въ такое ложное положеніе, если бы слово „народъ", надъ которымъ они, главнымъ образомъ, оперируютъ, не имѣло въ нашемъ разговорномъ обиходѣ столь неопредѣленнаго смысла, допускающаго самыя разнообразныя толкованія. Избѣжать этой неопредѣленности въ обыкновенномъ разговорѣ едва ли даже возможно, но въ научномъ спорѣ не только возможно, а и обязательно.

Въ 1877 г., разбирая программы собиранія уголовно-юридическихъ обычаевъ, представленныя въ этнографическое отдѣленіе Географическаго Общества, г. Фойницкій замѣтилъ, между прочимъ: „Проф. Кистяковскій и В. Н. Майновъ, требуя отъ собирателя отвѣтовъ объ обычаяхъ и воззрѣніяхъ „народа", не говорятъ, въ какомъ именно смыслѣ употребляется ими это выраженіе. Г. Ефименко замѣняетъ его другимъ, онъ интересуется не народомъ вообще, а только однимъ классомъ народа, крестьянствомъ". Съ такой постановкой вопроса г. Фойницкій рѣшительно не соглашается. Вполнѣ признавая первенствующую роль крестьянства въ дѣлѣ развитія и сохраненія обычнаго права, онъ отказывается признать за нимъ роль исключительную. „Мѣщанство,—говоритъ онъ,—несмотря на принадлежность свою къ городу, легче разрывающему связи съ прошлымъ, чѣмъ село; духовное сословіе, несмотря на нивелирующее значеніе консисторій и высшаго духовнаго начальства; даже купечество и мелкопомѣстное, но не чиновное дворянство,—всѣ эти классы въ большей или меньшей степени служатъ дѣлу развитія обычнаго права и свято оберегаютъ многія начала его; исключивъ ихъ изъ области изслѣдованія, мы вводимъ въ разработку обычнаго права совершенно произвольныя ограниченія, непонятныя тѣмъ болѣе, что тѣ же изслѣдователи находятъ нужнымъ останавливаться на обычаяхъ инородцевъ, связь которыхъ съ русскимъ обычнымъ правомъ и съ процессомъ историческаго развитія русскаго правосознанія во всякомъ случаѣ несравненно меньше, чѣмъ связь послѣдняго съ обычаями не крестьянскихъ классовъ русскаго же общества". Далѣе, если стать на точку зрѣнія тѣхъ изслѣдователей, которые въ данномъ случаѣ разумѣютъ подъ „народомъ" крестьянство, то возникаетъ рядъ вопросовъ: „Всѣхъ ли крестьянъ

Digitized by Google

слѣдуетъ относить къ понятію „народъ“? Не нужно ли выдѣлить отсюда классъ фабричныхъ рабочихъ, какъ порвавшій уже связи съ селомъ и испорченный вліяніемъ города? Не слѣдуетъ ли выдѣлить изъ изслѣдованія всѣ мѣстности, изрѣзанныя желѣзными дорогами, которыя отрываютъ народъ отъ прежняго цикла понятій? Можно ли относить къ народу крестьянъ, занимающихся отхожими промыслами и потому приходящихъ въ частыя столкновенія съ посторонними элементами? Этимъ вопросамъ,—заключаетъ г. Фойницкій,—при принятіи оспариваемой мною редакціи, не было бы конца; и потому, высказываясь противъ нея, я понимаю подъ выраженіемъ „народъ“ всѣ вообще классы общества, уголовно-юридическая жизнь которыхъ опредѣляется не только постановленіями закона, но и правилами дѣйствующаго среди нихъ обычая“. („Записки Географическаго Общества по отдѣленію этнографіи“. Т. VIII).

Г. Фойницкій поступилъ въ данномъ случаѣ такъ, какъ долженъ поступать каждый, желающій говорить о „народѣ“ серьезно и не плодя недоразумѣній, иногда очень прискорбныхъ по своимъ послѣдствіямъ. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, чтобы понятіе „народа“, установленное г. Фойницкимъ для изслѣдованій въ области обычнаго права, было пригодно для всякихъ другихъ изслѣдованій. Оно. очевидно, не годится для различныхъ отраслей государствовѣдѣнія, имѣющихъ дѣло съ совокупностью населенія Россійской имперіи, независимо отъ того — обычаемъ или писанымъ закономъ опредѣляются его юридическія отношенія. Въ свою очередь и эта точка зрѣнія не совпадаетъ съ другими возможными понятіями о народѣ. Французскія и русскія газеты переполнены въ настоящую минуту ликованіями на тему о братствѣ обоихъ народовъ, причемъ подъ народами разумѣются двѣ могущественныя государственныя единицы. Германскій „народъ“, въ смыслѣ такой же государственной единицы, недоволенъ этимъ братствомъ, но внутри его есть населеніе Эльзаса и Лотарингіи, отнюдь не питающее враждебныхъ чувствъ къ Франціи. Далѣе, такая государственная единица, какъ Австро-Венгрія, не можетъ уже даже условно называться „народомъ“, потому что въ ней слишкомъ ярко выступаютъ „народы“ въ другомъ, національномъ смыслѣ. Экономистъ, оперирующій при помощи своихъ спеціальныхъ категорій—производства, распредѣленія, потребленія, труда, капитала, ренты, прибыли, заработной платы — опять таки по

Digitized by Google

своему разумѣетъ „народъ“, причемъ „народъ“, какъ государственная единица, и „народъ“, какъ нація, естественно отступаютъ на задній планъ, хотя отецъ политической экономіи и назвалъ свое сочиненіе—„Изслѣдованіемъ природы и причинъ богатства народовъ“. Затѣмъ существуютъ еще разныя представленія о народѣ, внѣ какихъ бы то ни было научныхъ дисциплинъ. Вотъ, напримѣръ, г. Юзовъ, защищая народную медицину, спрашиваетъ, „развѣ хина и кокаинъ не заимствованы изъ народной мецицины американскихъ индѣйцевъ?“ Хина была извѣстна въ царствѣ Инковъ—государствѣ съ очень высокою культурою, а въ общественномъ отношеніи представлявшемъ своеобразное сочетаніе теократическаго деспотизма съ рѣзко выраженнымъ кастовымъ строемъ. Возможно поэтому, что цѣлебныя свойства хинной коры были открыты какимъ-нибудь древне-перувіанскимъ врачомъ, имя котораго затерялось въ общемъ крушеніи перувіанской цивилизаціи, и въ такомъ случаѣ для самихъ перувіанцевъ хина не была „народнымъ“ средствомъ, какъ мы это понимаемъ. Вѣроятнѣе, однако, что они сами не могли бы указать благодѣтеля, да и былъ онъ, вѣроятно, не одинъ, такъ какъ въ разныхъ мѣстахъ и разные люди могли случайно натолкнуться на противолихорадочныя свойства хины; ближайшія округи знали и нѣкоторое время помнили ихъ имена, но они быстро расплывались въ общей безъимянной массѣ. Вотъ эта-то безъимянная масса, въ которой утонули и расплылись личности иниціаторовъ, и называется народомъ, когда мы говоримъ о народной литературѣ, народной медицинѣ и т. п.

Какое же изъ этихъ разнообразныхъ понятій „народа“ имѣютъ въ виду гг. Пыпинъ и В. В., препираясь о „народничествѣ“? Я не знаю, да и едва ли кто-нибудь знаетъ, потому что сами полемизирующіе, повидимому, не задавали себѣ этого вопроса.

Въ статьѣ, напечатанной въ 1881 г. въ „Вѣстникѣ Европы“, г. Пыпинъ говоритъ: „Если желать, чтобы народъ былъ рѣшающимъ принципомъ, онъ долженъ сначала выйти изъ покрывающей его темноты, и путь къ этому—не мистика и высокомѣрное отношеніе къ народу, а общественная свобода и просвѣщеніе“. Не имѣя подъ руками статьи г. Пыпина, я беру эту цитату изъ „Основъ народничества“ г. Юзова, который сопровождаетъ ее совершенно безсмысленными замѣчаніями. Намъ до нихъ дѣла нѣтъ. Въ цитатѣ выражена во всякомъ случаѣ излюбленная

Digitized by Google

мысль г. Пыпина, постоянно и энергически протестующаго противъ „высокомѣрнаго отношенія къ народу“ съ одной стороны, и противъ „мистическаго“ его превозвышенія съ другой. Подъ „мистикой“ онъ разумѣетъ въ данномъ случаѣ увѣренность въ таинственныхъ великихъ силахъ, заложенныхъ въ „народѣ“, въ „русскомъ народѣ“ особенно. Казалось бы, позиція г. Пыпина чрезвычайно удобна, представляя собою нѣкоторую золотую середину между двумя крайностями. И спокойный, обстоятельный, увѣренный тонъ статей г. Пыпина свидѣтельствуетъ, что онъ, дѣйствительно, чувствуетъ себя очень удобно: онъ, не волнуясь и не спѣша, воздаетъ коемуждо должное. Приглядываясь, однако, къ дѣлу ближе, мы убѣдимся, что спокойствіе и увѣренность г. Пыпина не вполнѣ основательны. Онъ принадлежитъ къ числу немногихъ сохранившихся у насъ чистыхъ „западниковъ“, вѣрующихъ въ единство европейской цивилизаціи и отточившихъ ножъ своего анализа, главнымъ образомъ, на критикѣ націоналистическихъ ученій, преимущественно славянофильства. Благодаря большой спеціальной эрудиціи г. Пыпина и выработанности его критическихъ пріемовъ, въ его статьяхъ всегда можно найти, кромѣ хорошо сгруппированнаго фактическаго матеріала, нѣчто поучительное на излюбленныя темы автора о пользѣ просвѣщенія и общественной самодѣятельности, и о вредѣ узко - націоналистическихъ тенденцій. Надо радоваться, что человѣкъ съ такими познаніями и талантомъ, какъ г. Пыпинъ, не устаетъ въ теченіе многихъ и многихъ лѣтъ развивать эти, казалось - бы, азбучныя темы. Одно время можно было думать, что онъ даже съ излишнимъ трудолюбіемъ отдается развитію и доказательству истинъ, уже усвоенныхъ обществомъ и не признаваемыхъ развѣ лишь нѣсколькими неисправимыми „кривыми стволами и вѣтвями“, по выраженію г. В. В. Но дальнѣйшее теченіе нашей жизни показало, что г. Пыпинъ былъ и остается правъ въ своей настойчивости. Съ полнымъ уваженіемъ относясь къ дѣятельности г. Пыпина въ этомъ смыслѣ, можно, однако, замѣтить, что онъ немножко застылъ въ своей историко-литературной спеціальности и въ своей „западнической“ точкѣ зрѣнія. Поминая въ прошлой книжкѣ „Русскаго Богатства“ Тургенева, я говорилъ о той общей атмосферѣ свободы и просвѣщенія, которая была такъ дорога въ европейской цивилизаціи нашимъ первоначальнымъ западникамъ, прямой и вѣрный наслѣдникъ которыхъ есть г. Пыпинъ.

Digitized by Google

Но это столь ясное и чистое для первоначальныхъ западниковъ небо давно уже заволоклось облаками. „Европейская цивилизація“ развернула всѣ содержащіяся въ ней противорѣчія; развернула фактически, въ безпощадной борьбѣ составляющихъ ее элементовъ, развернула и теоретически—устами своихъ собственныхъ мыслителей, отъ которыхъ многому научились и мы, до сихъ поръ почти посторонніе свидѣтели европейской исторіи. Общіе принципы, обнимаемые точкою зрѣнія г. Пыпина, и тѣ не разъ подвергались, да и теперь подвергаются сомнѣніямъ, но можно сказать, что въ общемъ они все таки выдержали искусъ. Этого отнюдь нельзя сказать о принципахъ болѣе частныхъ и о разнообразныхъ формахъ, въ которыя въ дѣйствительности отливалась европейская жизнь, хотя бы уже именно потому, что онѣ такъ разнообразны, противорѣчивы и враждебны другъ другу. Не такъ же ужъ утѣшительно зрѣлище современной Европы, и, каково бы ни было зрѣлище нашей собственной жизни, русскому человѣку естественно задать себѣ вопросъ: нѣтъ ли въ нашей жизни условій, опираясь на которыя, можно избѣжать явныхъ, самою Европою признанныхъ изъяновъ европейской цивилизаціи? Г. Пыпинъ, конечно, все это знаетъ, но его мысль скользитъ по этой сторонѣ дѣла, чтобы при всякомъ удобномъ, а иногда и неудобномъ случаѣ, исходя изъ упомянутой общей атмосферы, нанести ударъ узкому и самодовольному націонализму.

Alter ego г. Пыпина, г. А. В—нъ, возражая г-ну В. В. въ октябрьской книжкѣ „Вѣстника Европы“ за прошлый годъ, между прочимъ, пишетъ: „Что касается этическаго вопроса, извѣстно, что именно на этомъ давно настаивала славянофильская школа утверждавшая, что русскій народъ носитъ въ себѣ высшія нравственныя начала, неизвѣстныя европейскому Западу, даже, что онъ есть единственный истинный христіанскій народъ. Рискованно также сказать, будто бы до народниковъ у нашихъ экономистовъ и публицистовъ не было представленія объ особыхъ условіяхъ экономической жизни русскаго земледѣльческаго народа. Въ обоихъ случаяхъ вѣрнѣе бы было просто сказать, что экономисты, называющіе себя народниками, только дальше ведутъ дѣло изслѣдованія, начатое ихъ предшественниками“.

Въ этомъ замѣчаніи много справедливаго. Люди, именующіе себя народниками, слишкомъ склонны забывать своихъ предшественниковъ, частію по малому знакомству съ исторіей литера-

Digitized by Google

туры, частію по легкомысленному желанію сказать свое „новое слово“. Это послѣднее не можетъ, конечно, относиться къ г. В. В., но вполнѣ относится, напримѣръ, къ „Недѣлѣ“, когда она въ семидесятыхъ годахъ напропалую „народничала“, главнымъ образомъ, устами г. П. Ч., и, можетъ быть, къ покойному Юзову...

Да, онъ надняхъ упокоился... Я не раскаиваюсь, что писалъ объ немъ въ прошлой книжкѣ „Русскаго Богатства“ въ такомъ рѣзкомъ тонѣ—я не для него писалъ, а для читателя, для неумирающаго собирательнаго существа. Я не вычеркну и того, что написано выше, до полученія извѣстія о смерти Юзова, да и дальше мнѣ придется сказать еще два-три слова о покойникѣ. Но онъ покойникъ, онъ безоруженъ, притомъ изъ тѣхъ обезоруженныхъ смертью, за которыхъ едва-ли вступятся сколько-нибудь громкіе голоса. Мнѣ хотѣлось бы, поэтому, помянуть его возможно добрымъ словомъ. Но, увы! это доброе слово можетъ относиться только къ той основной тенденціи писаній Юзова, которую онъ же загромоздилъ посторонними вещами и компрометировалъ. Г. Пыпинъ и его alter ego нерѣдко благосклонно говорятъ о „любви къ народу“, проникающей литературныя произведенія „народниковъ“. Я этого съ достовѣрностью не знаю, особенно относительно теоретиковъ, которые, въ противоположность практикамъ съ одной стороны и художникамъ съ другой, вращаются преимущественно въ сферѣ логическихъ операцій. Во всякомъ случаѣ любезности г. Пыпина равносильны извѣстной похвалѣ: „они немножко и дерутъ, но въ ротъ хмѣльного не берутъ“. Бываютъ, безспорно, люди, вполнѣ заслуживающіе этой обидной похвалы. Но мнѣ кажется, что въ писаніяхъ Юзова есть доля не только хорошаго общественнаго чувства, испорченнаго самолюбивой претензіей на „новое слово“ и обидой на непризнаніе таковаго, но и доля истины, хотя и загроможденной, и компрометированной. На эти-то компрометирующія загроможденія г. Пыпинъ и его alter ego и обращаютъ, главнымъ образомъ, свое вниманіе.

Перечитайте только что сдѣланную цитату. Авторъ однимъ и тѣмъ же тономъ и за общей скобкой говоритъ и о націоналистической похвальбѣ особенными этическими качествами русскаго народа, и объ указаніяхъ на „особыя условія экономической жизни русскаго земледѣльческаго народа“. Правда, у „народниковъ“, какъ и у славянофиловъ, можно найти и то, и другое. Но это не есть принципіально необходимое сочетаніе, и г. Пыпину,

Digitized by Google

какъ историку литературы, хорошо извѣстны литературныя теченія, въ которыхъ признаніе особенности условій экономической жизни русскаго народа отнюдь не шло рука объ руку съ какой нибудь націоналистической „мистикой“. Они ему, конечно, хорошо извѣстны, но онъ ихъ обходитъ и даетъ такой итогъ: „*въ обоихъ случаяхъ экономисты*, называющіе себя народниками“ и т. д. Обратите вниманіе на подчеркнутыя слова. Выходитъ, что экономисты, въ качествѣ экономистовъ же, разсуждаютъ не только объ экономическихъ условіяхъ, но и объ этикѣ. Конечно, ничто не мѣшаетъ экономисту быть компетентнымъ и въ другихъ сферахъ мысли, въ томъ числѣ и въ области этики, и давать цѣнныя работы и по этой части. Блистательный примѣръ — Адамъ Смитъ, написавшій, кромѣ „Разсужденія о богатствѣ народовъ“, еще „Теорію нравственныхъ чувствъ“. Можно даже сочинить прямо „Экономическую мораль“, какъ это не очень давно, но очень плохо сдѣлалъ Молинари. Но все таки г. А. В. — ну представлялся случай выдѣлить экономическія и этическія соображенія „народниковъ“. Юзовъ и г. В. В. не только не Адамы Смиты, но и вообще не спеціалисты по политической экономіи. Называя ихъ экономистами, г. А. В—нъ разумѣетъ нѣкоторую основную складку ихъ писаній, каковая складка можетъ являться, и въ нашей литературѣ, дѣйствительно, являлась, въ сочетаніи съ этико-политическими принципами, весьма отличными отъ „народническихъ“. Г. Пыпинъ или г. А. В — нъ можетъ возразить, что онъ имѣетъ въ виду именно „народничество“, а, слѣдовательно, вовсе не обязанъ слѣдить за другими теченіями, хотя бы они и были въ какомъ-нибудь отношеніи близки къ народничеству. Я думаю, однако, что, во-первыхъ, задача историка литературы и критика нѣсколько сложнѣе, и что, во вторыхъ, дѣло совсѣмъ не въ строгомъ ограниченіи плана критики г. Пыпина. Дѣло въ „благородномъ идеализмѣ сороковыхъ годовъ“, какъ выразился г. Пыпинъ въ одномъ мѣстѣ своей „Исторіи русской этнографіи“, — трудѣ въ высшей степени почтенномъ и свѣтящемся именно этимъ благороднымъ идеализмомъ. Почтительно снимая шляпу передъ этимъ, дѣйствительно, благороднымъ идеализмомъ, заслуги котораго въ русской жизни и литературѣ нельзя достаточно оцѣнить, надо, однако, помнить, что ему минуло уже полвѣка,—и какіе полвѣка! Въ то время лишь немногимъ (я не считаю славянофиловъ) были ясны нѣкоторыя стороны европейской

Digitized by Google

цивилизаціи, теперь понятныя каждому, даже не особенно вдумчивому человѣку и все таки неясныя г. Пыпину, человѣку большого ума и знаній, но остающемуся подъ сѣнію „благороднаго идеализма сороковыхъ годовъ“.

Г. В. В. говоритъ въ одномъ мѣстѣ, что въ извѣстныхъ обществахъ въ извѣстномъ періодѣ ихъ развитія „главною цѣлью дѣятельности выставляется не удовлетвореніе потребностей массы, какъ совокупности живыхъ, чувствующихъ и мыслящихъ индивидовъ, а—благо страны, интересы государства и т. п.“ Г. А. В—нъ возражаетъ на это: „Но развѣ благо страны и интересы государства, въ здравомъ пониманіи, составляютъ что либо различное съ благомъ и интересами народа?“ Это возраженіе почти наивно. Г. В. В. именно и желаетъ доказать, что „въ здравомъ пониманіи“ интересы и благо государства или страны должны совпадать съ интересами и благомъ „живыхъ, чувствующихъ и мыслящихъ индивидовъ“, и что условія русской жизни въ этомъ отношеніи особенно благопріятны. Можно не соглашаться съ обоими этими тезисами, но ссылка на „здравое пониманіе“, хотя бы съ точки зрѣнія „благороднаго идеализма сороковыхъ годовъ“, не можетъ ни подтвердить, ни опровергнуть факты, на которыхъ строитъ свое зданіе г. В. В. Фактически достовѣрно, что въ общей европейской атмосферѣ свободы и просвѣщенія, столь дорогой нашимъ первоначальнымъ западникамъ, существуютъ весьма либеральныя теоріи, доказывающія, что благо цѣлаго не совпадаетъ и не должно совпадать съ благомъ индивида. Напомню г. Пыпину хоть Ренана, облекшаго эту мысль въ чудовищно фантастическую форму, не лишенную своеобразно жестокаго поэтическаго колорита. Фактически достовѣрно, что экономическія условія европейской жизни, главнымъ образомъ, англійской, создали устами ея же экономистовъ формулу: „національное богатство есть нищета народа“. У насъ, говоритъ г. В. В., этого нѣтъ, не должно быть и не можетъ быть, въ томъ смыслѣ, что на нищетѣ народа не можетъ быть построено національное богатство. Если г. Пыпину угодно опровергать этотъ тезисъ, то ему надлежитъ обратиться къ фактамъ, а не къ здравому пониманію. „Всероссійское купечество“, о домогательствахъ котораго въ прямой вредъ дѣйствительно всероссійскимъ интересамъ недавно было столько разговоровъ въ литературѣ,—оно тоже на „здравое пониманіе“ опиралось.

Digitized by Google

Я не буду приводить другіе образчики наивностей—къ сожалѣнію, я не могу иначе ихъ назвать—гг. Пыпина и А. В—на. Да и не въ частностяхъ здѣсь дѣло, а въ общей точкѣ зрѣнія, которая состоитъ въ вѣрѣ въ единую и единоспасающую европейскую цивилизацію. Отсюда же, въ связи съ недостаточнымъ интересомъ къ вопросамъ экономическимъ, вытекаетъ склонность г. Пыпина хвататься за полемическій мечъ всякій разъ, какъ онъ услышитъ слово „народъ"; склонность разумѣть это слово преимущественно въ національномъ и даже чуть не въ этнографическомъ смыслѣ, безъ оговорки относительно всякихъ другихъ смысловъ. Не даромъ критика „народничества" попала въ „Исторіи русской этнографіи"...

Надо, однако, замѣтить, что въ этомъ не мало виноваты и сами „народники". Г. В. В. началъ съ анализа экономическихъ фактовъ, который привелъ его къ убѣжденію или подтвердилъ ранѣе существовавшее въ немъ убѣжденіе, a priori составленное,— что для Россіи не обязателенъ тотъ путь экономическаго развитія, которымъ шла и идетъ Западная Европа. На этомъ стояли и славянофилы, а впослѣдствіи и группа писателей, не имѣющихъ съ славянофильствомъ, за исключеніемъ этого пункта, ничего общаго. Г. В. В. съ теченіемъ времени не ограничился своей вполнѣ опредѣленной и, конечно, достойной разработки первоначальной темой, а пожелалъ возвести ее на степень цѣлой соціологической доктрины. Къ несчастію, первый шагъ его въ этомъ смыслѣ попалъ на стезю славянофильства, а тамъ естественно послѣдовали и дальнѣйшіе шаги въ ту же сторону, безъ возможности, однако, дойти по этому пути до его логическаго конца. Не то, чтобы г. В. В. шелъ прямо по слѣдамъ славянофиловъ. Нѣтъ, и до сихъ поръ мало знакомый съ исторіей русской литературы, онъ вынужденъ былъ доходить до многаго, что называется, своимъ умомъ. При этихъ условіяхъ какая-нибудь случайность могла съ одинаковою вѣроятностью опредѣлить его первый шагъ по одному изъ тѣхъ двухъ направленій, которыя уже существовали въ литературѣ. Этотъ шагъ, какъ уже сказано, былъ сдѣланъ въ сторону славянофильства. Но дѣло въ томъ, что для славянофиловъ особенность русской экономики составляла одну изъ частностей въ обширной, хорошо разработанной и во всѣхъ своихъ частяхъ со-

Digitized by Google

гласованной системѣ. Ихъ занимали вопросы богословскіе, философскіе, историческіе, политическіе, нравственные, художественные, соотношеніе вѣры и разума, нѣмецкая философія, законность или незаконность чистаго искусства и эстетической критики, судьбы славянскихъ народовъ, судьбы русскаго раскола, удѣльная и московская Русь, Петровская реформа и проч. Это все болѣе или менѣе открыто обсуждавшіеся вопросы, а затѣмъ шла своимъ чередомъ работа по вопросамъ практическимъ, не подлежавшимъ въ то время гласному обсужденію. Эта обширность умственнаго горизонта давала возможность провѣрять основныя воззрѣнія школы на множествѣ разнообразныхъ явленій и, такъ сказать, оттачивать ихъ. Г. В. В. не только лично не интересуется многими изъ этихъ предметовъ, но даже, какъ мы видѣли, игнорируетъ различныя направленія во всемъ, что не соприкасается непосредственно, вплотную, съ противоположеніемъ либерализма и народничества. Правда, и славянофилы старались свести весь міръ Божій къ двумъ струямъ—восточной и западной, но ихъ выручали обширная эрудиція, изощренная на нѣмецкой философіи, логика и, наконецъ, та цѣльность, опять таки, наивности, которая почти невозможна въ наше многотрудное время. Нельзя, разумѣется, и требовать, чтобы одинъ человѣкъ сдѣлалъ то, что сдѣлала въ свое время группа высокообразованныхъ и талантливыхъ людей. Но г. В. В. былъ не одинъ: на его точкѣ зрѣнія стоялъ Юзовъ, стояла „Недѣля“ въ періодъ своего народничества и другіе. Конечно, это не Кирѣевскіе, не Аксаковы, не Хомяковы. Но въ этомъ-то, между прочимъ, и дѣло, что народничество, какъ теорія, не выставило крупныхъ литературныхъ силъ, несмотря на то, что нѣкоторыми своими сторонами оно привлекало много симпатій. Лично г. В. В., обращая свой чисто экономическій тезисъ въ соціологическую доктрину, обнимающую и этику, и политику, на дѣлѣ не расширилъ свои умственные горизонты и притомъ впалъ въ роковую ошибку, допустивъ большую или меньшую неясность въ пониманіи слова „народъ“. Достойно вниманія, что и теперь, стараясь, какъ мы видѣли, согласно требованіямъ научнаго анализа, отдѣлить понятіе народа отъ близкихъ, но несовпадающихъ съ нимъ понятій страны, государства, онъ прибавляетъ: „и т. п.“, избѣгая упомянуть „націю“, какъ особое, самостоятельное понятіе. А между тѣмъ на этой именно почвѣ чаще всего происходятъ прискорбныя недоразумѣнія, объ чемъ, между

Digitized by Google

прочимъ, свидѣтельствуетъ и безплодность многолѣтняго препирательства гг. Пыпина и В. В.

Оставаясь на экономической почвѣ, — г. В. В. долженъ бы былъ держаться стараго опредѣленія, по которому народъ есть совокупность трудящихся классовъ общества. Съ этой точки зрѣнія, всѣ, живущіе трудомъ, то есть не только мужикъ, а и чиновникъ, и писатель и т. д., входятъ въ составъ народа; и именно постольку, поскольку трудъ—чисто экономическая категорія — составляетъ источникъ ихъ существованія. Если кто нибудь изъ нихъ—опять таки безразлично: мужикъ, врачъ, чиновникъ, учитель—существуетъ, кромѣ труда, еще и другими средствами, то этою стороною своей жизни онъ входитъ уже въ другія экономическія группы, оставаясь, однако, вмѣстѣ съ чистыми представителями труда, въ составѣ болѣе общихъ единицъ, въ томъ числѣ и націи. Какъ видитъ читатель, это тотъ же пріемъ опредѣленія, который въ виду другихъ цѣлей употребилъ г. Фойницкій. Человѣкъ, непривычный къ отвлеченному анализу вообще, и въ частности привыкшій къ ходячему смутному смыслу слова „народъ", можетъ быть съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ остановится передъ опредѣленіемъ г. Фойницкаго, который включаетъ въ понятіе народа весьма различные классы общества и выключаетъ изъ него всѣхъ живущихъ подъ сѣнію писанаго закона. Но онъ правъ съ своей спеціальной точки зрѣнія, какъ былъ бы правъ и г. В. В., если бы, строго держась экономической точки зрѣнія, включилъ въ составъ „народа" чиновника или профессора и выключилъ изъ него какого-нибудь деревенскаго кулака, хотя послѣдній есть такой же русскій и можетъ быть даже болѣе русскій человѣкъ по національности и такой же подданный Россійской имперіи.

Г. В. В. соскользнулъ съ этой точки зрѣнія; соскользнулъ и покатился въ сторону ошибокъ, сдѣланныхъ уже славянофилами. То же самое случилось и съ Юзовымъ, и съ г. П. Ч. въ „Недѣлѣ", и со многими другими. Дѣло въ томъ, что если каждый трудящійся человѣкъ, въ силу этого самаго обстоятельства, есть представитель народа, то нашъ, хотя бы и необходимый, и очень цѣнный трудъ писателя, врача, профессора и т. д. количественно совершенно тонетъ въ трудѣ многомилліонной массы крестьянскаго населенія. Естественно поэтому, что экономистъ сосредоточиваетъ свое вниманіе преимущественно на этой многомилліонной

Digitized by Google

массѣ. Такъ и должно быть, въ силу еще разныхъ другихъ обстоятельствъ, объ которыхъ мы теперь распространяться не будемъ. Главное дѣло сейчасъ въ томъ, что та многомилліонная масса, объ которой рѣчь идетъ, кромѣ экономическихъ признаковъ, имѣетъ еще и другіе, до которыхъ экономисту нѣтъ никакого дѣла и которые, при извѣстной логической неосмотрительности, легко могутъ повести къ смѣшенію „народнаго“ съ „національнымъ“. Экономистъ, напримѣръ, можетъ, съ своей точки зрѣнія, интересоваться матеріаломъ, изъ котораго сдѣлана одежда мужика, мѣстомъ и способомъ его производства, его стоимостью, но до „національнаго“ покроя одежды, въ которой ходитъ мужикъ,—ему дѣла нѣтъ. Допустивъ это смѣшеніе точекъ зрѣнія, изслѣдователь, бывшій въ своей исходной точкѣ, какъ г. В. В. (хотя на Юзовѣ и другихъ этотъ процессъ замѣтнѣе), защитникомъ интересовъ труда, начинаетъ говорить на совсѣмъ другомъ языкѣ и становится защитникомъ мужика, какъ конкретнаго явленія, со всѣми разнородными осадками, которые оставилъ на немъ историческій ходъ вещей. А, вѣдь, эта исторія не исчерпывается „трудомъ“. Были и другія вліянія, ну, хоть татарское иго, наслѣдство котораго, ну, хоть въ видѣ подлаго ругательства матернымъ словомъ, доселѣ не изжито мужикомъ. Да и мало ли бѣдъ претерпѣлъ въ свою тысячелѣтнюю исторію русскій народъ, мало ли было пертурбаціонныхъ вліяній, результаты которыхъ мудрено защищать. „Народники“, конечно, сами понимаютъ это, но, разъ ступивши на наклонную плоскость, они катятся по ней почти незамѣтно для себя и почти противъ своей воли. А для этого приходится закрывать глаза на многое дурное и давать многому хорошему невѣрное, да и ненужное освѣщеніе. Такъ и случилось съ славянофилами. Но, повторяю, для нихъ особенность русской экономики составляла одинъ изъ частныхъ выводовъ, тогда какъ для „народниковъ“ это исходная точка, и потому съ нихъ можно больше требовать въ смыслѣ выдержки извѣстной, отсюда вытекающей точки зрѣнія.

Одинъ изъ пунктовъ, наиболѣе защищаемыхъ народниками, составляетъ наше великорусское общинное землевладѣніе. Въ виду ихъ исходной точки, вся ихъ задача—весьма большая—сводится въ этомъ отношеніи къ изученію этой формы, къ доказательствамъ, что она ограждаетъ интересы народа, въ экономическомъ смыслѣ слова, къ выясненію пертурбаціонныхъ вліяній, мѣ-

Digitized by Google

шающихъ этому огражденію. Попутно они могли бы опереться еще и на то обстоятельство, что эта форма исторически выработалась и что народъ съ ней вполнѣ освоился. Но народники частію не исполняютъ этой программы, а частію осложняютъ ее посторонними и компрометирующими соображеніями. Не исполняютъ, потому что слишкомъ мало обращаютъ вниманія на пертурбаціонныя вліянія и на ихъ источники; осложняютъ посторонними и компрометирующими соображеніями, потому что впадаютъ въ грѣхъ, который г. Пыпинъ называетъ „мистикой". Нынѣ мудрено уже видѣть въ общинѣ нашу національную форму, такъ какъ дознано, что она существовала когда-то въ разныхъ варьяціяхъ во всей Европѣ, гдѣ даже и до сихъ поръ кое-гдѣ кое-какіе слѣды оставила. Тѣмъ не менѣе въ писаніяхъ народниковъ нѣтъ, нѣтъ, да и проскользнетъ націоналистическій коментарій къ факту существованія у насъ общины; коментарій фальшивый и для дѣла совершенно не нужный, но побуждающій, напримѣръ, г. Пыпина ли и г. А. В. — на хвататься за полемическій мечъ, и тоже безъ пользы для дѣла, потому что оно оставляется при этомъ въ сторонѣ. Затѣмъ народники желаютъ придать общинѣ, притомъ, не идеальной какой-нибудь, а общинѣ въ теперешнихъ условіяхъ ея существованія, еще одну, не-экономическую заслугу. Они утверждаютъ, что община есть нѣкоторый очагъ добродѣтели, высокихъ этическихъ началъ альтруизма. Утверждаютъ они это чисто голословно. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что русскій народъ обладаетъ многими прекрасными качествами. Но нѣтъ также изслѣдованія, которое показало бы господство „альтруизма" въ населеніи съ общиннымъ землевладѣніемъ по сравненію съ населеніемъ, владѣющимъ землею подворно. А пока такого изслѣдованія нѣтъ, нельзя видѣть именно въ общинѣ источникъ добрыхъ свойствъ русскаго крестьянства. Съ другой стороны, всякому слишкомъ извѣстно, что община, по крайней мѣрѣ, какъ она есть сейчасъ, не мѣшаетъ существованію женобойства, жестокаго кулачества и другихъ мерзостей, всего менѣе похожихъ на альтруизмъ. Это до такой степени извѣстно, что становится даже неловко за г. В. В., когда онъ свои благожелательныя фантазіи подставляетъ на мѣсто суровой и неприглядной дѣйствительности. И понятно, что такіе пріемы могутъ только компрометировать защищаемое народниками дѣло.

Дальше въ лѣсъ, больше дровъ. Русскому народу въ смыслѣ

Digitized by Google

націи ставится огромный плюсъ по сравненію съ другими національными единицами, и затѣмъ уже почти только темпераментъ опредѣляетъ конечный пунктъ этого теченія, ибо логика оставила изслѣдователя въ самомъ началѣ пути. Народу въ смыслѣ мужика ставится огромный плюсъ по сравненію съ „интеллигенціей", и опять начинается дѣло темперамента. Въ этомъ второмъ случаѣ можно бы было, однако, ожидать нѣсколько болѣе плодотворныхъ результатовъ, чѣмъ въ первомъ. Въ исторіи всемірной литературы не новость ни національная гордыня и самохвальство, ни противоположеніе добродѣтелей низшихъ классовъ, мало или вовсе не захваченныхъ цивилизаціей, порокамъ высшихъ. Но, что касается національнаго самохвальства, то каждый говоритъ за себя: французъ за французовъ, нѣмецъ за нѣмцевъ, еврей за евреевъ и т. д. Эта въ своемъ родѣ очень интересная разноязычная литература, если и имѣетъ международное обращеніе, то во всякомъ случаѣ усвояется только соотечественниками. Жители Небесной Имперіи никогда не повѣрятъ, чтобы потомки Арминія или сыны Израиля были первымъ народомъ въ мірѣ; и не только не повѣрятъ, но, въ силу особенностей своей національной исторіи, не могутъ даже примѣнить къ ней аргументацію своихъ соперниковъ, а должны изобрѣтать ее сами. Совсѣмъ иное дѣло—противоположеніе высшихъ и низшихъ классовъ. По этому предмету, если начать хоть съ Руссо, имѣется обширная и настоящая международная литература, предоставляющая въ распоряженіе каждаго русскаго, шведа, нѣмца, еврея, поляка и т. д. запасъ готовыхъ уже фактовъ и аргументовъ. Поэтому-то и можно бы было ожидать, что наши народники, обогащенные этою преемственностью, придутъ къ вполнѣ солиднымъ результатамъ. Каковы же эти результаты?

Мысль о нравственныхъ преимуществахъ низшихъ классовъ общества сравнительно съ высшими естественно связывается съ критикою цивилизаціи, которая, охвативъ высшіе классы, не тронула или почти не тронула низшіе. И вотъ что по этому поводу, между прочимъ, пишетъ г. В. В.:

„Давно уже замѣчено, что массамъ народа въ давно прошедшемъ рисуется золотой вѣкъ, и новѣйшія соціологическія изслѣдованія подтверждаютъ мысль, что такое преданіе не можетъ считаться совершенно неосновательнымъ. Пытаясь воспроизвести по даннымъ археологіи тотъ общественный строй, какой существовалъ на зарѣ исторіи, и наблюдая многія первобытныя общества, до сихъ поръ не вступившія въ историческій періодъ своего существованія, наука, дѣйствительно, готова при-

Digitized by Google

знать, что исходной точкой длиннаго пути, пройденнаго человѣчествомъ, были формы общежитія, обезпечивающія индивиду тѣ условія существованія, какихъ оно тщетно добивается въ настоящее время,—экономическое равенство и свободу,—отчего и личныя отношенія членовъ общества отличались большею доброжелательностью, а средній индивидъ тогда (въ границахъ своего общаго развитія) нравственно былъ чище, нежели въ настоящее время". („Наши направленія", стр. 71—72).

Изъ „новѣйшихъ соціологическихъ изслѣдованій", подтверждающихъ эту мысль, г. В. В. ссылается, между прочимъ, на второй томъ „Основъ народничества" покойнаго Юзова, не указывая, къ сожалѣнію, страницъ. Я довольно долго перелистывалъ книгу Юзова, пока нашелъ, наконецъ, слѣдующее, относящееся къ данному вопросу мѣсто:

„Нравственный и умственный прогрессъ человѣчества несомнѣненъ. Исторія нашей нравственности начинается не великими образцами добродѣтелей, которыя постепенно понижаются и падаютъ, доходя, наконецъ, до насъ, „дрянныхъ и пошлыхъ людишекъ", а наоборотъ, начали мы съ животнаго эгоизма и мало-по-малу, работой многихъ тысячелѣтій достигли той ступени нравственнаго развитія, на которой находимся теперь и которую осуждаемъ во имя стремленія къ дальнѣйшему усовершенствованію. Если наши предки были убѣждены, что человѣчество начало свое существованіе съ золотого вѣка,--счастья и довольства,—потомъ перешло въ вѣкъ мѣдный и, наконецъ, теперь находится въ вѣкѣ желѣзномъ, полномъ печали, горестей и воздыханій, то мы, наоборотъ, достовѣрно знаемъ, что назади у Европы была только кровавая эпопея человѣческихъ несчастій и страданій, кровожадная борьба за блага жизни, и что эта борьба мало-по-малу смягчалась, принимала все болѣе и болѣе мягкія формы и, наконецъ, явилась намъ въ той формѣ, которою недовольны наши моралисты". (Стр. 451—452 второго изданія).

Недоумѣніе при чтеніи этихъ двухъ цитатъ—естественно. Я не буду доискиваться, отчего это такъ неудобно для г. В. В. вышло: оттого ли, что онъ сослался на Юзова, не справившись съ подлинникомъ, а по памяти, или оттого, что въ „Основахъ народничества", вообще не бѣдныхъ противорѣчіями, есть противоположныя мысли, или, наконецъ, оттого, что можетъ быть въ первомъ изданіи книги Юзова, которое имѣлъ въ виду г. В. В., приведеннаго мѣста не было. Не буду распространяться и о томъ, что приведенныя слова Юзова совсѣмъ не вяжутся съ значительною частію содержанія его книги. Я останавливаюсь на двухъ цитатахъ, какъ онѣ есть, безъ всякихъ стороннихъ соображеній, и вижу, что народники, прямо говорящіе отъ лица народничества, какъ

Digitized by Google

установившейся теоріи, не пришли къ соглашенію по весьма важному для нихъ пункту и, слѣдовательно, не воспользовались всей той огромной литературой, которая выставила цѣлый арсеналъ фактовъ и аргументовъ за и противъ „золотого вѣка". Они, повидимому, даже не призадумались надъ причинами той точно невозможности придти къ соглашенію, объ которой свидѣтельствуетъ самое богатство этого арсенала. Дѣйствительно, даже оставляя древнихъ, начиная съ Руссо и кончая „новѣйшими соціологическими изслѣдованіями", мы слышимъ постоянныя пререканія о „золотомъ вѣкѣ", хотя въ нихъ принимаютъ участіе и люди съ большой эрудиціей и сильной мыслью. Зависитъ это, конечно, прежде всего отъ того же, отчего, по выраженію Гоббса, и геометрическія истины не были бы до сихъ поръ установлены, если бы ими затрогивались человѣческіе интересы. И пока людскіе интересы не солидарны и именно поскольку они не солидарны,—съ этимъ ничего не подѣлаешь. Вопросъ о золотомъ вѣкѣ, самъ по себѣ можетъ быть и академическій, чреватъ разными практическими выводами, въ которыхъ замѣшаны интересы. Однако это не только не мѣшало бы, но должно бы, повидимому, помочь, напримѣръ, гг. В. В. и Юзову и вообще людямъ въ практическихъ вопросахъ единомыслящимъ, придти и къ теоретическому единомыслію. А затѣмъ извѣстная доля хоть фактическаго-то матеріала, нужнаго для рѣшенія вопроса, можетъ же быть достаточно установлена, чтобы и разномыслящіе согласились. Но тутъ выступаетъ такое же смѣшеніе языковъ, какъ и то, которое господствуетъ въ полемикѣ г. В. В. съ г. Пыпинымъ.

Усматривая въ прошломъ свѣтлую исходную точку, постепенно въ теченіе исторіи затемнявшуюся или блѣднѣвшую, или, наоборотъ, темное пятно, постепенно загоравшееся свѣтомъ, спорящіе очень часто разумѣютъ совсѣмъ разные историческіе моменты. Этому много способствуютъ неопредѣленныя выраженія вродѣ: „заря исторіи", „первобытныя времена", „доброе старое время", „древность". Далѣе идетъ другой рядъ неопредѣленныхъ словъ вродѣ: „добродѣтель", „порокъ", „нравственная чистота". Обойтись безъ такихъ выраженій нельзя, но когда идетъ споръ о какомъ-нибудь сложномъ вопросѣ, надо знать, что именно подъ ними разумѣется. Добродѣтель, конечно, почтенна, но наши понятія объ ней очень отличаются отъ понятій, напримѣръ, тѣхъ дикарей или „первобытныхъ людей", которые убиваютъ своихъ

Digitized by Google

стариковъ на томъ основаніи, что это лишніе рты. Наконецъ, въ той въ высшей степени сложной и пестрой картинѣ, которая называется исторіей человѣчества, отъ ея смутнаго начала, только гипотетически, гадательно различимаго глазомъ историка, до сегодня,—всегда можно найти въ любомъ количествѣ и положительныя, и отрицательныя черты; да и самые эти плюсы и минусы, приставляемые историкомъ къ явленіямъ жизни, всецѣло зависятъ отъ его точки зрѣнія. Можно поэтому предвидѣть еще многая лѣта споровъ на тему, объ которой идетъ рѣчь, но надо, чтобы спорящіе, по крайней мѣрѣ, понимали другъ друга, чтобы они говорили на одномъ и томъ же языкѣ. Какъ видно изъ сопоставленія цитатъ изъ Юзова и г. В. В., этого общаго языка люди, называющіе себя народниками, не выработали даже для собственнаго обихода. Если бы меня спросили, кто же однако правъ изъ двухъ цитированныхъ народниковъ, я бы на сей разъ ограничился отвѣтомъ, что оба правы и оба не правы, и что для того, чтобы разобраться въ сложной и пестрой сѣти историческихъ явленій, нужна точка зрѣнія болѣе опредѣленная и болѣе широкая, чѣмъ какая имѣется въ распоряженіи народниковъ.

„Народничество"—русское слово, но едва ли оно для русскихъ читателей яснѣе, чѣмъ нѣкоторые соотвѣтственные термины, вошедшіе въ общеевропейское употребленіе. Явилось и распространилось оно однако же не по тѣмъ соображеніямъ, по которымъ одно время у насъ предлагалось замѣнить галоши „мокроступами", бильярдъ „шарокатомъ" и т. п., не въ видахъ простой замѣны иностраннаго слова русскимъ, а для выраженія извѣстнаго особеннаго оттѣнка мысли, настроенія, міросозерцанія. Въ спеціально экономической области этотъ оттѣнокъ можно считать достаточно яснымъ и мотивированнымъ, но совершенно неясны причины враждебнаго отношенія народничества къ „интеллигенціи". Въ европейскихъ ученіяхъ, которыя можно, по ихъ общему духу, поставить рядомъ съ нашимъ народничествомъ, встрѣчаются горячіе и рѣзкіе нападки на представителей высшихъ классовъ, но отнюдь не на „интеллигенцію", какъ таковую. Да вѣдь такого общественнаго класса и нѣтъ, въ особенности у насъ, если не разумѣть подъ нею горсть профессоровъ, студентовъ, ученыхъ, литераторовъ и художниковъ. Интеллигенція—это отвлеченный признакъ, объединяющій черты образованности и умственнаго труда въ весьма различныхъ общественныхъ классахъ, и враждебное отно-

Digitized by Google

шеніе къ этому общему признаку составляетъ характеристическую особенность русскаго народничества. Г. В. В. и Юзовъ на словахъ иногда открещиваются отъ этой враждебности, горячо доказывая, что ихъ не поняли, оклеветали, но и за всѣмъ тѣмъ ихъ отношеніе къ интеллигенціи остается невыясненнымъ. Я ни малѣйше не сомнѣваюсь, что г. В. В. ничего не имѣетъ противъ знанія и работы мысли. Онъ даже съ излишнею обстоятельностью доказываетъ, напримѣръ, слѣдующее: такіе-то и такіе-то и такіе-то люди—„всѣ должны одинаково стремиться къ тому, чтобы плоды работы мысли не оставались въ узкомъ кругѣ привилегированнаго меньшинства, а распространялись въ массѣ населенія". „Такую задачу" г. В. В. предлагаетъ „выставить на знамени нашей интеллигенціи". Это прекрасно, но кто же въ этомъ сомнѣвается, кромѣ, можетъ быть, какихъ-нибудь „кривыхъ стволовъ и вѣтвей", исправленіемъ которыхъ г. В. В. не хочетъ заниматься? Но, доказывая эту азбучную истину, нисколько не мѣшающую существованію другихъ, болѣе сложныхъ и спорныхъ истинъ, г. В. В. очень мало способствуетъ выясненію этихъ послѣднихъ. Зависитъ это опять-таки все отъ того же смѣшенія понятій. Г. В. В. безразлично говоритъ объ „русской интеллигенціи", „русскомъ обществѣ", „культурныхъ слояхъ", „привилегированныхъ классахъ", „правящихъ классахъ" и т. п. Поставивъ все это за одну скобку, г. В. В. попадаетъ въ кругъ весьма странныхъ недоразумѣній. Желая, напримѣръ, доказать слабость, ничтожество, вообще дурныя свойства нашей интеллигенціи, онъ указываетъ, между прочимъ, на слѣдующій фактъ: „На протяженіи ста лѣтъ мы имѣли четырехъ первоклассныхъ сатириковъ: Фонвизина, Грибоѣдова, Гоголя и Салтыкова. Но и остальная наша беллетристика въ сущности есть та же сатира: изъ нея вы прежде всего познаете ту же культурную скудость русскаго привилегированнаго общества, которая составляетъ прямой объектъ воспроизведенія для сатирика". Прекрасно, но причемъ же тутъ интеллигенція? Интеллигенція, въ лицѣ „четырехъ первоклассныхъ сатириковъ" и „остальной нашей беллетристики", предъявила извѣстную, конечно, не малую силу таланта, пустила въ обращеніе рядъ высокихъ мыслей, возбуждала благородныя чувства и своимъ рѣзкимъ словомъ, кажется, достаточно отдѣлила себя отъ тѣхъ, кого этимъ словомъ казнила. Развѣ Фонвизинскій Митрофанъ, не умѣющій отличить прилагательное отъ существительнаго, и г-жа Простакова, отрицающая

Digitized by Google

географію, Грибоѣдовскіе Скалозубъ, предлагающій „фельдфебеля въ Вольтеры“ и Фамусовъ, совѣтующій „забрать всѣ книги-бы, да сжечь“, Гоголевскіе Сквозники-Дмухановскіе и Собакевичи, Щедринскіе Угрюмъ-Бурчеевы и проч., и проч.,—развѣ это „интеллигенція“? Г. В. В. самъ говоритъ въ другомъ мѣстѣ, что „главная сила интеллигенціи, какъ показываетъ и буквальный смыслъ этого слова, заключается въ ея критической мысли, въ идеяхъ, выработываемыхъ ею, въ знаніи, источникомъ котораго она служитъ“. Само собою разумѣется, что въ дѣйствительности г. В. В. не считаетъ Митрофана, Фамусова, Сквозника-Дмухановскаго, Угрюмъ-Бурчеева и т. д. представителями интеллигенціи, но и тѣхъ и другихъ онъ топитъ въ какомъ-то слишкомъ общемъ понятіи „культурныхъ, высшихъ, правящихъ, привилегированныхъ слоевъ“. Я не буду слѣдить за всѣми проистекающими отсюда недоразумѣніями. Въ большинствѣ случаевъ они сводятся къ полной неизвѣстности, неясности или невѣрности адреса, по которому авторъ обращается съ своими упреками, опасеніями, требованіями, надеждами. На одномъ изъ недоразумѣній намъ, однако, надо нѣсколько остановиться.

Наша интеллигенція совершенно ничтожна: у нея не силы, а „силенки“. Тѣмъ не менѣе г. В. В. опасается ея. Нѣкоторая часть нашей интеллигенціи, по его словамъ, „вмѣсто главной своей задачи—внесенія свѣта просвѣщенія въ темныя массы народа—думаетъ о совершеніи еще какихъ-то прогрессивныхъ подвиговъ исключительно силою культурнаго общества; хочетъ и впредь служить народу архаическимъ, сословнымъ способомъ презентованія сюрпризовъ“.

Довольно трудно понять, объ комъ и объ чемъ тутъ рѣчь идетъ. Если-бы не слово „прогрессивный“, достаточно, впрочемъ, двусмысленное, то можно бы было подумать, что г. В. В. разумѣетъ кого-нибудь вродѣ издателя „Гражданина“, кн. Мещерскаго. Тотъ, дѣйствительно, не хочетъ „внесенія свѣта просвѣщенія въ темныя массы народа“, а вмѣсто этого время отъ времени публикуетъ проекты устройства, переустройства и разстройства, дѣйствительно, заслуживающіе названія сюрпризовъ. Я не знаю людей, которые вмѣсто просвѣщенія жаждутъ „какихъ-то прогрессивныхъ подвиговъ“. Я не знаю, слѣдуетъ или не слѣдуетъ интеллигенціи совершать „какіе-то прогрессивные подвиги“, потому что для этого надо бы знать, въ чемъ они состоятъ. Надо

Digitized by Google

догадываться. Изъ дальнѣйшаго изложенія видно, что эти предполагаемые „подвиги“ угрожаютъ русской „экономической организаціи, обезпечивающей трудящемуся самостоятельное положеніе въ производствѣ“. Подвиги эти,—если ужъ держаться выраженія г. В. В.—повидимому, двухъ различныхъ родовъ, хотя г. В. В. усугубляетъ неясность эпитета „какихъ-то“ еще смѣшеніемъ этихъ двухъ родовъ. Сюда относится, во-первыхъ, полемика съ нашими такъ называемыми „марксистами“, или „соціалъ-демократами“. Объ этой полемикѣ, по обширности предмета, я сегодня не успѣю говорить. Замѣчу лишь, во избѣжаніе недоразумѣній, что въ общемъ я совершенно раздѣлю мнѣнія г. В. В. на этотъ счетъ. Я думаю, однако, что отвергнуть русскій марксизмъ еще не значитъ объявить себя „народникомъ“, что для насъ вовсе не обязательно выбирать между этими двумя доктринами. Марксисты прямо настаиваютъ на необходимости разрушить нашу „экономическую организацію, обезпечивающую трудящемуся самостоятельное положеніе въ производствѣ“, и г. В. В. протестуетъ противъ „подвиговъ“ такого прямого воздѣйствія на существующій экономическій строй. Но, судя по нѣкоторымъ мѣстамъ его книжки (см., напр., стр. 104), тѣ же результаты должны получиться, по его мнѣнію, косвеннымъ путемъ, при измѣненіи не экономическихъ, а другихъ, политическихъ и юридическихъ условій жизни. Очевидно, здѣсь имѣются въ виду уже другого рода подвиги, для оцѣнки которыхъ, равно какъ для оцѣнки неподвижности интеллигенціи въ этомъ отношеніи, не безполезно обратить вниманіе на слѣдующее обстоятельство. Наша экономическая организація, говоритъ г. В. В., обезпечиваетъ трудящемуся самостоятельное положеніе въ производствѣ. Въ принципѣ это такъ. Оно такъ и въ дѣйствительности, если имѣть въ виду только „прогрессивныя теченія въ крестьянскомъ хозяйствѣ“. Но—чтобы сослаться на человѣка, котораго г. В. В. считаетъ своимъ единомышленникомъ — изслѣдованіе г. Николая — она, подтверждаемое въ этомъ отношеніи всѣми добросовѣстными изслѣдователями, безъ различія какихъ бы то ни было партій, показало, что крестьянское хозяйство уже въ теченіе многихъ лѣтъ падаетъ; что деревня раскалывается на два слоя, выдѣляя богатыхъ кулаковъ, держащихъ подъ своей грубой пятой остальное населеніе деревни; что это послѣднее утрачиваетъ „самостоятельное положеніе въ производ-

Digitized by Google

ствѣ". Все это подтверждается и частными изслѣдованіями, и оффиціальными статистическими данными. Такимъ образомъ, процессъ, котораго г. В. В. ждетъ въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ, въ зависимости отъ „какихъ-то прогрессивныхъ подвиговъ интеллигенціи", происходитъ сейчасъ, передъ его глазами... Выводъ изъ этого, мнѣ кажется, все тотъ же: г-ну В. В. слѣдовало бы или ограничиться изслѣдованіемъ экономическихъ фактовъ, предоставивъ не-экономическіе выводы другимъ, или расширить свой горизонтъ...

VII *).

Братство народовъ. — Переводы г. Фидлера. — Платонъ Лукашевичъ. Катрфажъ, Генъ.—99 „молодыхъ".

Вотъ и къ концу приходятъ дни веселья
Въ Аранжуэцѣ...

Они уже, впрочемъ, давно пришли къ концу, и только изрѣдка слышатся поздніе отзвуки франко-русскихъ объятій, овацій, подарковъ, виватовъ. И теперь, когда все это отодвинулось въ даль прошедшаго, можно вспомнить, что есть и иные пути для торжества идеи братства народовъ, что есть у насъ въ Россіи кое-что достойное вниманія Европы и кромѣ государственнаго могущества, которое, главнымъ образомъ, чествовалось во Франціи во время пребыванія тамъ русской эскадры. Конечно, вѣра въ русскую государственную мощь до извѣстной степени осложнилась у французовъ энтузіазмомъ массоваго увлеченія, безкорыстнымъ, какъ и всякое подобное увлеченіе. Но и за всѣмъ тѣмъ, собственно о братствѣ народовъ не совсѣмъ даже удобно говорить по поводу франко-русскихъ торжествъ. Идиллія братства народовъ у французовъ получаетъ изъянъ со стороны ненависти къ нѣмцамъ и мечты о реваншѣ, а у насъ не ненависти какой-нибудь, а все-таки таможенной войны съ Германіей. Очевидно, до братства народовъ еще далеко, и во всякомъ случаѣ не франко-русскій союзъ можетъ служить признакомъ его осуществленія. Союзъ этотъ, какъ противовѣсъ тройственному союзу, есть одна изъ политическихъ комбинацій, какія и прежде бывали, какія и опять возможны, съ совсѣмъ инымъ расположеніемъ элементовъ. Натурально, что теперь какъ русскія, такъ и француз-

*) 1893, декабрь.

Digitized by Google

скія газеты старательно ищутъ въ прошедшемъ случаевъ сближенія Франціи и Россіи. Ищутъ и, разумѣется, находятъ. Но если понадобится, то найдутся и факты противоположнаго характера, и факты русской дружбы съ другими „народами“. Въ моментъ франко-русскихъ торжествъ было бы неудобно вспоминать Суворовскія побѣды надъ французами или нашествіе Наполеона съ пожаромъ Москвы. Эти и тому подобныя историческія воспоминанія утонули на время въ морѣ забвенія и взаимнаго прощенія, но, при другихъ условіяхъ, они вынырнутъ. Равнымъ образомъ всплывутъ, при другихъ условіяхъ, факты нашей особенной, постоянной дружбы съ Германіей. Мнѣ почему-то какъ разъ во время франко-русскихъ торжествъ вспомнилась одна слышанная мною въ дѣтствѣ солдатская пѣсня, собственно начало пѣсни, но такъ вспомнилась, что и напѣвъ ея точно сейчасъ слышу:

Не съ врагомъ идемъ мы драться,
Не крамольныхъ усмирять,
Но съ друзьями повидаться—
Пруссаковъ спѣшимъ обнять.

Я не знаю, къ какому именно историческому эпизоду относятся эти слова,—эпизодовъ дружбы съ Германіей было во всякомъ случаѣ не мало, и какъ бы эта дружба пламенно или нѣжно ни выражалась, она могла быть въ свое время дѣломъ мудрой или ошибочной международной политики, но не знаменовала собою братства народовъ.

Въ той массѣ взаимныхъ любезностей, которыми осыпали другъ друга французы и русскіе на парижскихъ, тулонскихъ, марсельскихъ празднествахъ и по поводу ихъ, было удѣлено очень мало вниманія общенію въ духовныхъ сферахъ—литературы, науки, искусства. Я не говорю, чтобы эти сферы совсѣмъ не были затронуты, не забываю и тѣхъ спеціальныхъ любезностей, которыми обмѣнивались представители печати обѣихъ странъ. Но въ большинствѣ случаевъ это были либо общія мѣста, ничего собственно не выражающія, либо, напротивъ, слишкомъ уже спеціальныя, почти интимныя указанія на то, что въ жилахъ дѣтей Мельхіора де-Вогюэ течетъ русская кровь, потому что онъ женатъ на русской, или что русская журналистика, въ лицѣ „Вѣстника Европы“, оказала гостепріимство Эмилю Зола въ трудныя минуты его жизни. Не помню, чтобы кто-нибудь изъ русскихъ любезниковъ попытался набросать хотя бы въ общихъ, но сколько-нибудь опредѣленныхъ чертахъ

Digitized by Google

картину того вліянія, которое имѣлъ на насъ французскій геній еще съ тѣхъ поръ, какъ Екатерина II вела переписку съ энциклопедистами и составляла свой знаменитый „Наказъ“, и потомъ въ 30-хъ, въ 40-хъ годахъ. Чего-нибудь равноцѣннаго французы сказать намъ не могли, при всемъ ихъ желаніи быть любезными. Но они знаютъ все-таки Тургенева, Достоевскаго, Толстого, а между тѣмъ эти великія русскія имена, не говоря о другихъ, французамъ менѣе извѣстныхъ, едва ли чаще поминались на празднествахъ, чѣмъ даже caviar russe и samovar russe. Икра и самоваръ—прекрасныя вещи, но мы можемъ пустить въ международное обращеніе, а частію уже и пустили, кое что получше икры и самовара. Порукой въ томъ не только большія русскія имена, все-таки изрѣдка мелькавшія среди франко-русскихъ объятій и тостовъ. Едва смолкли эти тосты, какъ мы похоронили Чайковскаго, котораго называютъ великимъ музыкантомъ и который во всякомъ случаѣ извѣстенъ цивилизованному міру, и отпраздновали столѣтіе со дня рожденія Лобачевскаго, которому одинъ американскій ученый отводитъ въ „родословной человѣческой мысли“ мѣсто рядомъ съ Коперникомъ и Дарвиномъ. Правда, намъ должно быть немножко стыдно, что мы не умѣли оцѣнить и удержать у себя такихъ ученыхъ, напримѣръ, какъ И. И. Мечниковъ или С. В. Ковалевская. Но и вообще Боже насъ сохрани отъ національнаго хвастовства,—у насъ его и безъ того много. Позволительно, однако, желать, хотя бы во имя правды, а не національнаго самолюбія, чтобы насъ не считали только физической силой, неспособной принять участіе въ международномъ обмѣнѣ духовными цѣнностями и отблагодарить нашихъ старшихъ историческихъ братьевъ за то, что мы отъ нихъ получили; позволительно желать, чтобы иностранцы различали въ нашей жизни свѣтлое и темное, и чтобы наше свѣтлое слилось со всемірнымъ свѣтомъ, который и озаритъ собою настоящее братство народовъ.

Передо мною лежитъ маленькая книжечка, изданная въ Лейпцигѣ: „Gedichte von M. I. Lermontoff. Im Versmass des Originals von Friedrich Fidler“. Г. Фидлеръ не въ первый разъ знакомитъ нѣмецкую публику съ русской литературой. Имъ переведены: „Недоросль“, Фонвизина, стихотворенія Кольцова, „Борисъ Годуновъ“, „Скупой рыцарь“, „Моцартъ и Сальери“, „Каменный гость“, „Русалка“ Пушкина, рядъ стихотвореній разныхъ поэтовъ подъ общимъ заглавіемъ: „Der russische Parnass“. Большинство

Digitized by Google

этихъ переводовъ истинно превосходны, а нѣкоторые переводы Кольцовскихъ пѣсенъ можно бы было назвать просто фокусами, въ смыслѣ преодолѣнія трудностей языка, размѣра и духа поэзіи Кольцова, если бы фокусы не были дѣломъ чисто механической ловкости; но чтобы такъ переводить, надо самому быть недюжиннымъ поэтомъ. Новое изданіе г. Фидлера — 117 стихотвореній Лермонтова — отличается тѣми же достоинствами, что и прежніе его переводы (нѣкоторыя изъ этихъ стихотвореній вошли уже въ „Русскій Парнассъ"). Г. Фидлеръ отнесся къ своему дѣлу такъ внимательно и любовно, что даже нѣсколько пристыжаетъ русскихъ издателей и редакторовъ сочиненій Лермонтова: онъ отмѣчаетъ, что знаменитый „Воздушный корабль" есть совсѣмъ не переводъ изъ Цедлица, какъ это значится во всѣхъ русскихъ изданіяхъ. Чтобы читатель могъ судить о необыкновенной точности и вмѣстѣ поэтичности переводовъ г. Фидлера, я приведу начало перевода стихотворенія „Выхожу одинъ я на дорогу", уже переведеннаго Боденштедтомъ. Вотъ переводъ Боденштедта, самъ по себѣ недурной:

Wandr'ich in der stillen Nacht alleine,
Durch den Nebel blitzt der Steinweg fern—
Redet Stern zum Stern im hellen Scheine,
Und die Wildniss lauscht dem Wort des Herrn.
Golden schimmernd, hinterm Felsenhange,
Dehnt des Himmels Blau sich endlos weit—
Was ist mir die Brust so schwer, so bange?
Hoff ich etwas—thut mir Etwas leid?

А вотъ переводъ г. Фидлера:

Einsam tret'ich in die Wegesöde;
Neblich glänzt der Kieselpfad von fern;
Still die Nacht; das All lauscht Gottes Rede
Und der Stern spricht leise mit dem Stern.
Feierherrlich ist des Himmels Höhe,
Schlummernd ruht die Welt im blauen Schein...
Doch was schlägt mein Herz so bang, so wehe—
Ist's Erwartung, ist's der Reue Pein?

Мнѣ хочется еще привести двѣ послѣднія строки изъ стихотво-

Digitized by Google

ренія „На смерть Пушкина“ („И вы не смоете всей вашей черною кровью поэта праведную кровь“):

Den nimmer sühnet ihr mit eurem schwarzen Blute
Des Dichters heilig reines Blut!

Г. Фидлеръ, который, повидимому, не думаетъ останавливаться на избранномъ имъ пути (въ газетахъ было какъ-то извѣстіе, что онъ перевелъ „Грозу“ Островскаго), служитъ хорошую службу братству народовъ. Это путь медленный, но за то вѣрный. Какъ бы ни было лестно все, чего мы наслушались на франко-русскихъ празднествахъ, но всего нужнѣе намъ справедливость, а ее мы получимъ только при ближайшемъ ознакомленіи иностранцевъ со свѣтлыми и темными сторонами русской жизни. И тогда мы перестанемъ быть въ ихъ глазахъ тѣмъ огромнымъ, сплошнымъ, то страшнымъ, то ничтожнымъ „Nitschewo“, которое такъ вдохновило Поля Деруледа, а когда-то соблазнило и Бисмарка.

Нѣтъ ничего прискорбнѣе въ общественныхъ отношеніяхъ, какъ національное самохвальство и національная вражда и ненависть. Въ нихъ есть нѣчто стихійное, неразумное, почти животное, и да будетъ благословенно все, что способствуетъ устраненію ихъ. Но существуетъ нѣсколько градацій или нѣсколько типовъ этой обоюдоострой черты. Взглянемъ на нѣкоторые изъ нихъ. Предваряю читателя, что это именно только типы, образчики, и я отнюдь не думаю исчерпать эту, къ стыду человѣчества, слишкомъ богатую литературу.

Дѣло это такое печальное и мрачное, что для начала, по крайней мѣрѣ, мы можемъ взять увеселительный матеріалъ.

Въ 1877 г., во время русско-турецкой войны или передъ самой войной, но уже во время турецкихъ звѣрствъ въ Болгаріи, нѣкто Платонъ Лукашевичъ издалъ въ Кіевѣ брошюру „Причина ненависти англичанъ къ славянскимъ народамъ“. Справедливо возмущенный отношеніемъ англійскаго кабинета къ кровавымъ событіямъ на Балканскомъ полуостровѣ, г. Лукашевичъ приписалъ однако это отношеніе не данному составу англійскаго правительства, не извѣстной политической системѣ, опирающейся на извѣстные экономическіе интересы, а англійской націи, какъ таковой, и во всемъ ея составѣ, въ самомъ корнѣ ея. До этого корня г. Лукашевичъ добирается чрезвычайно быстро. Дѣло въ томъ, что англичане „относительно своего языка и происхожденія

Digitized by Google

ровно ничего не знаютъ, хотя въ итогѣ не жалѣютъ затрачивать на этотъ предметъ громадныя деньги, и сколько у нихъ историковъ и изслѣдователей объ этомъ предметѣ, столько выходитъ изъ-подъ ихъ пера сущихъ пустяковъ, достойныхъ сожалѣнія". Присрамивъ такимъ образомъ „просвѣщенныхъ мореплавателей", г. Лукашевичъ тутъ же, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, разъясняетъ тайну ихъ происхожденія. „Первобытные жители Англіи были славяне, изъ нихъ господствовавшее тамъ племя называлось Бритами или Бритянами, потому что они брили свои бороды, оставляя усы, и какъ ни искажались римскими писателями славянскія имена, которыя и безъ того весьма трудно и несовершенно передаются латинскими письменами, но все-таки славянинъ весьма легко ихъ понимаетъ, особенно тотъ, кто проникъ въ свойства первобытнаго славянскаго языка, который чѣмъ древнѣе, тѣмъ больше выявляетъ обработанность и точность своихъ выраженій. Вотъ нѣкоторыя имена этихъ первобытныхъ народовъ Англіи: 1) Carnovancae—чарно-или царно-ванцы, черноусцы: здѣсь въ слогѣ „ан", находимъ ѳракійскій выговоръ гласной буквы „юсъ", которая у поляковъ выговаривается, какъ „он", а иногда какъ „ен": вонсъ—усъ, по-польски... 16) Brigantes—въ семъ имени въ слогѣ „ан" имѣется ѳракійскій „юсъ", который у насъ замѣняется черезъ гласную „у"—бриганты, бригуты, брегуты: брига—попеченіе, раченіе, стараніе, по-иллирійски и словенски; берегтися, беречься, предохранять себя по-малороссійски. Бреганты есть то сословіе людей, которое печется объ общественной безопасности, порядники, полицейскіе или же самая стража, для сего предмета устроенная".

Мы удовольствуемся этими двумя образцами филологическихъ изслѣдованій Платона Лукашевича, каковыя изслѣдованія онъ „произвелъ безъ помощи англійскихъ филологовъ и ученыхъ". А затѣмъ онъ задалъ себѣ вопросъ: что за народъ англичане? Его поразило то, что въ Германіи его признавали англичаниномъ, а приглядываясь къ путешествующимъ по Германіи англичанамъ, онъ убѣдился, что у нихъ русскія или вообще славянскія лица, только съ какою-то постороннею примѣсью. Онъ разсказываетъ: „Я прямо тогда сказалъ, что вижу въ этихъ чертахъ смѣсь монголовъ съ славянами; что въ крови этого народа бушуютъ двѣ противоположныя, враждебныя стихіи". Новыя филологическія изслѣдованія убѣдили Платона Лукашевича, что англійскій языкъ

Digitized by Google

есть одно изъ монгольскихъ нарѣчій. Въ концѣ концовъ древняя исторія Англіи представляется въ такомъ видѣ: „Байдары, нагруженныя тунгузами и ламутами, обогнувъ Сѣверную Азію и Европу, очутились въ Ютландіи, гдѣ нашли звѣрообразныхъ звѣролововъ Монголіи“. А затѣмъ эти смѣшанныя орды устремились въ Англію, гдѣ частію перерѣзали коренныхъ жителей, бритыхъ бритовъ, прекрасныхъ черноусцевъ, полицейскихъ бригантовъ и проч., частію смѣшались съ ними. Тутъ нѣсколько неожиданно узнаемъ, что „такого точно происхожденія всѣ народы Западной Европы и, къ стыду ихъ, они питаютъ (сами не зная того, по какой причинѣ) непреодолимую ненависть къ славянскимъ народамъ, которая у нихъ обратилась въ инстинктъ и, конечно, потому только, что они отъ славянъ наслѣдовали земли и большее или меньшее человѣческое благообразіе и даже замѣтное смягченіе нравовъ сравнительно съ монголами, манжурами и китайцами; сія то смягченность и повела ихъ къ высшему образованію и просвѣщенію“. Само собою разумѣется, что въ англичанахъ сохранилось много монгольскаго и кромѣ языка и наружности: „наприм., они кушаютъ полусырое мясо, еще совершенно красное, изъ котораго даже истекаетъ иногда кровь; приготовленіе дичины, чтобы она была съ духомъ, тоже отвратительно; кушаніе лягушекъ и черепахъ не менѣе того, а иногда и собакъ“. Монгольское происхожденіе сказалось и истребленіемъ краснокожихъ въ Америкѣ. „Взгляните теперь на нашихъ инородныхъ сибирскихъ народовъ: всѣ они цѣлы и невредимы, сохранили совершенно свои языки, вѣру и обычаи, и только по доброй волѣ, по убѣжденію совѣсти, принимаютъ отъ насъ христіанскую вѣру и, можно сказать, ни одинъ изъ нихъ не былъ убитъ русскими ни по разсчету, ни по ненависти: вотъ различіе между владычествомъ славянскимъ и...“ Этимъ многоточіемъ Платонъ Лукашевичъ обрываетъ свою рѣчь, не знаю почему, во всякомъ случаѣ не потому, чтобы на него нашло сомнѣніе въ монгольскомъ происхожденіи англичанъ. Напротивъ, онъ ставитъ даже „психологическій вопросъ великой важности“: „манжуро-монгольскія орды“ прошли потоками крови черезъ всю Азію и Европу, нѣсколько переродились, благодаря смѣшенію со славянами, прошли такимъ же порядкомъ Америку, „но уже отчасти во имя просвѣщенія и проповѣдываемаго ими человѣколюбія, и очутилась лицомъ къ странамъ Приамурскимъ,

Digitized by Google

первобытнымъ своимъ жилищамъ". Не пройдутъ ли они опять по всему міру, вторично поглощая славянъ?

Г. Платонъ Лукашевичъ можетъ вызвать своими изслѣдованіями, открытіями и гипотезами только смѣхъ какъ въ русскихъ читателяхъ, такъ и въ англичанахъ, если бы они когда-нибудь ознакомились съ открытою въ 1877 г. въ Кіевѣ тайною ихъ происхожденія. Но это потому, что слишкомъ ужъ нелѣпа якобы научная одежда, въ которую г. Лукашевичъ облекаетъ свои въ существѣ совсѣмъ не смѣшныя мысли. Смѣшны бритые черноусцы, полицейскіе бриганты, прибывающіе черезъ Ледовитый океанъ въ Ютландію тунгузы и ламуты и проч.; но совсѣмъ не смѣшна основная тенденція—заклеймить позоромъ цѣлую націю, „не разбираючи лица" и не обращая вниманія на политическія условія, въ которыхъ эта нація находится въ данную минуту. Въ менѣе шутовскомъ облаченіи, тенденція эта вызываетъ не смѣхъ, а горькія и тяжелыя мысли.

Въ 1871 г. подъ впечатлѣніемъ ужасовъ франко-прусской войны, Катрфажъ издалъ небольшую книжку „La race prussienne". Въ ней покойный ученый, при помощи извѣстнаго научнаго аппарата, который, конечно, не Лукашевичеву чета, доказывалъ существованіе особой „прусской расы", совершенно отличной отъ германской. Ядро этой расы составляютъ, дескать, финно-славянскіе элементы, которымъ германскіе пришельцы-завоеватели сообщили свой языкъ, но этнически не германизировали ихъ, а напротивъ, сами распустились въ коренномъ населеніи. Эта „прусская раса", грубая и воинственная, какъ бы поклялась въ непримиримой враждѣ къ латинской расѣ, и въ особенности къ ея высшему цвѣту—французамъ. Ей удалось, наконецъ, пользуясь общностью языка, собрать подъ своимъ главенствомъ германскіе элементы, имѣющіе совершенно другое происхожденіе, и бросить всю эту массу людей на Францію, и раздавить ее. Отсюда варварскій, безпощадный характеръ прусской войны. Въ качествѣ ученаго и патріота, Катрфажъ съ особенною подробностью останавливается на томъ, что онъ называетъ „бомбардировкой Музея" (Jardin des plantes). Онъ увѣренъ, что прусскія ядра намѣренно направлялись въ это научное учрежденіе, съ цѣлью лишить Францію собранныхъ тамъ безцѣнныхъ коллекцій... Катрфажъ оканчиваетъ вопросомъ: что же будетъ дальше? Въ сердцѣ французовъ осталось неизлѣчимая рана. Германскія племена все больше подпа-

Digitized by Google

даютъ подъ супрематію чуждой имъ прусской расы, но долго-ли они согласятся терпѣть эту чуждую власть? Будетъ-ли Россія спокойно смотрѣть на это торжество искусственнаго пангерманизма и не противопоставитъ-ли ему дѣйственный панславизмъ? И не соединится-ли тогда Пруссія съ своей болѣе ей родственной по крови восточной сосѣдкой; и не кончится-ли дѣло торжествомъ финно-славянскихъ началъ надъ германскими и латинскими, и признаетъ ли міръ такое господство молчаливо?

Катрфажъ отказался впослѣдствіи отъ этого своего перваго и послѣдняго шага въ области политической литературы. Онъ вѣроятно даже стыдился своего памфлета—потому что это настоящій памфлетъ, хотя и прошпигованный научнымъ матеріаломъ. И въ качествѣ человѣка науки, онъ могъ стыдиться. Но въ качествѣ француза, писавшаго въ моментъ страшнаго униженія родины и дѣйствительно варварскаго прусскаго нашествія, онъ заслуживаетъ, по крайней мѣрѣ, снисхожденія. Нѣмцы вообще и пруссаки въ частности слишкомъ хорошо на себѣ чувствуютъ тяжесть того порядка вещей, который, по выраженію Катрфажа, „основанъ желѣзомъ и кровью, закрѣпленъ войной и увѣнчанъ споліаціей“ (Эльзаса и Лотарингіи). Nemesis divina—божественная Немезида, къ которой взываетъ Катрфажъ, уже и теперь совершаетъ свое дѣло мести и печали. Французскіе милліарды не пошли въ прокъ Германіи и, если, благодаря капризу Вильгельма II, Германія нѣсколько отдохнула отъ нѣкоторыхъ пріятностей Бисмарковскаго режима, то отторженныя отъ Франціи провинціи требуютъ для своей охраны страшнаго напряженія силъ не только Пруссіи и Германіи, а и всей Средней Европы. Расходившаяся рука Немезиды прихватываетъ и невинныхъ. Въ своихъ гаданіяхъ о будущемъ, Катрфажъ не предвидѣлъ, что одинъ изъ членовъ латинской семьи—Италія войдетъ въ составъ противу-французскаго союза подъ главенствомъ все той же „прусской расы“. Эта честь или это безчестіе дорого обходится Италіи, но не итальянцы, какъ нація, какъ „раса“, виноваты въ этомъ, а извѣстный политическій строй, пораждающій извѣстныя политическія комбинаціи. „Нѣмецъ“ еще на нашей памяти было браннымъ словомъ въ Италіи, „не искупленная Италія“ посейчасъ больное мѣсто. „Италія есть только географическое понятіе“, говорилъ австрійскій дипломатъ, нѣмецъ Меттернихъ, и если Италія перестала быть только географическимъ понятіемъ, то это совершилось

Digitized by Google

благодаря Франціи. И если мы теперь видимъ ее въ союзѣ съ Австріей и Германіей противъ Франціи, то причемъ же тутъ борьба расъ, роковая, въ самой крови народовъ заложенная вражда? Собственно о *расовой* борьбѣ не можетъ быть и рѣчи по отношенію къ европейскимъ народамъ. Можно говорить только о *національной* враждѣ, возникающей на почвѣ національныхъ особенностей, благодаря науськиваніямъ съ одной стороны и массовымъ увлеченіямъ—съ другой. Исторія каждаго народа накладываетъ на него извѣстный отпечатокъ, выражающійся въ его рѣчи, складѣ ума и характера, костюмѣ, физическомъ обликѣ, и вся эта совокупность особенныхъ, національныхъ чертъ можетъ быть болѣе или менѣе чужда, непонятна или непріятна другому народу. Но отсюда еще далеко до вражды, и, благодаря мирнымъ международнымъ сношеніямъ, стираются не только эти чувства отчужденности и непріятности, но до извѣстной степени и самыя національныя особенности, входя въ составъ общечеловѣческаго типа. Нетрудно, однако, и раздуть эту тлѣющую искру отчужденности и непріятности въ настоящій пожаръ національной вражды. Дѣлается это обыкновенно въ видахъ той или другой политической системы и, конечно, Катрфажъ, не правый относительно „прусской расы“, совершенно правъ относительно руководителей прусской политики. Если, однако, они раздули pour le roi de Prusse тлѣющіе „пангерманскіе“ и германофобскіе инстинкты и обратили всю Европу въ огромный военный лагерь, то и Катрфажъ съ своей стороны и въ мѣру своего вліянія дѣйствуетъ въ томъ же направленіи, разыскивая въ самой крови народовъ источникъ фатальной, неугасимой ненависти. Извиниіемъ ему можетъ служить только горе патріота при видѣ униженной и оскорбленной родины. Притомъ же Катрфажъ все-таки старается быть справедливымъ. Онъ признаетъ за пруссаками извѣстныя достоинства и не скрываетъ историческихъ грѣховъ Франціи. Съ особенною горечью вспоминаетъ онъ жестокія преслѣдованія гугенотовъ, которые, эмигрировавъ, между прочимъ, въ Пруссію, способствовали ея промышленному развитію и въ то же время водворили въ ней еще одинъ элементъ вражды къ католической Франціи. Катрфажъ и здѣсь видитъ дѣйствіе „божественной Немезиды“...

Если Платонъ Лукашевичъ только смѣшонъ съ своимъ изслѣдованіемъ о причинахъ ненависти англичанъ къ славянамъ;

Digitized by Google

если увлеченія Катрфажа, прискорбныя и несправедливыя, до извѣстной степени извиняются страшнымъ униженіемъ его родины,—то ни того, ни другого нельзя сказать о Викторѣ Генѣ, посмертное сочиненіе котораго вышло въ прошломъ году въ Штутгартѣ подъ заглавіемъ: „De moribus Ruthenorum. Zur Charakteristik der russischen Volksseele". Этотъ Генъ, нѣкоторыя сочиненія котораго имѣются и въ русскомъ переводѣ („Италія. Взгляды и бѣглыя замѣтки", „Культурныя растенія и домашнія животныя въ ихъ переходѣ изъ Азіи въ Грецію и въ Италію. Историко-лингвистическіе эскизы"), долго жилъ въ Россіи, служилъ, если не ошибаюсь, въ Императорской публичной библіотекѣ и, конечно, книга его будетъ признана въ Германіи достовѣрнѣйшимъ источникомъ для сужденій о нашемъ отечествѣ, о нашей „народной" душѣ. Книга представляетъ собою отрывочныя записи о видѣнномъ и слышанномъ, нѣчто вродѣ дневника, веденнаго съ 1857 по 1873 годъ. Какъ видно изъ предисловія, былъ еще дневникъ съ 1831 по 1851 годъ (съ перерывами), но не сохранился. Во всякомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ результатами очень продолжительныхъ наблюденій на мѣстѣ.

Когда какой-нибудь иностранецъ, побывавшій въ Россіи, добросовѣстно отмѣчаетъ темныя стороны нашей жизни и нашихъ порядковъ, противъ этого ничего нельзя возразить; мы, напротивъ, должны быть благодарны такому иностранцу. Но Викторъ Генъ не принадлежитъ къ числу этихъ добросовѣстныхъ иностранцевъ. Помимо нашихъ учрежденій и порядковъ, онъ желаетъ оплевать самую „русскую народную душу", и поистинѣ изумителенъ тотъ громадный запасъ національной ненависти, который онъ много лѣтъ сдерживалъ, лишь для потомства записывая свои наблюденія и выводы. Собственно къ нашимъ порядкамъ Генъ еще довольно снисходителенъ. Онъ говоритъ, напримѣръ: „Уже болѣе полутора столѣтія открыта Россія для европейской культуры и испробовала себя на всѣхъ поприщахъ, но что она возвратила Европѣ въ обмѣнъ изъ своей національной природы? Америка въ короткое время своего существованія создала уже многое новое съ геніальной силой, какъ въ области идей, такъ и въ области техники; даже турки при своемъ появленіи въ Европѣ научили насъ своей военной музыкѣ, пѣхотному строю и т. д.; Россію же можно безъ малѣйшаго ущерба для цивилизаціи совсѣмъ вычеркнуть изъ списка народовъ. Со времени Петра Великаго каждый всплывающій талантъ встрѣчаетъ

Digitized by Google

здѣсь множество учрежденій, готовыхъ его принять, благожелательныхъ защитниковъ и цѣнителей, деньги и поддержку, но не обнаружилось ни одного геніальнаго задатка. Здѣсь есть академія художествъ, академія наукъ, всякаго рода спеціальныя школы; но за полтора вѣка эти учрежденія не дали ни одного ученаго, проложившаго новый путь наукѣ (или это были иностранцы), ни одного художника, который своимъ индивидуальнымъ характеромъ завоевалъ бы себѣ прочное самостоятельное мѣсто въ искусствѣ" (стр. 7). Дѣло, значитъ, не въ учрежденіяхъ и вообще не въ обстановкѣ умственнаго труда, которая болѣе, чѣмъ удовлетворительна, а въ совершенной бездарности русской натуры. Однако не всѣми и учрежденіями нашими Генъ доволенъ. Онъ не одобряетъ ни освобожденія крестьянъ, ни судебной реформы; а подъ 25 ноября 1869 г. у него записано слѣдующее: „Отмѣна тѣлеснаго наказанія есть можетъ быть худшая изъ реформъ послѣдняго времени. Кромѣ тѣлеснаго наказанія, на русскихъ ничто, рѣшительно ничто (nichts, gar nichts) не дѣйствуетъ. Примѣняйте всѣ нравственныя и полу-нравственныя (?) мѣры,— лѣность, ложь, пьянство, воровство продолжаются. За то розги преобразуютъ русскаго человѣка. Въ городахъ ремесла находятся въ полномъ разложеніи, благодаря строгому запрещенію мастерамъ бить учениковъ. Законъ относится къ этимъ полу-звѣрямъ, на которыхъ ничто иное не производитъ впечатлѣнія, съ незрѣлой, слишкомъ общей филантропіей: бранное слово мастера наказывается штрафомъ, пощечина—арестомъ" (171). Это ужасно! особенно, если принять въ соображеніе, какъ видно изъ дальнѣйшаго, что рѣчь идетъ, главнымъ образомъ, о мастерахъ-нѣмцахъ,— нѣмецъ не смѣетъ дать русскому „полу-звѣрю" пощечину! Русскихъ мастеровъ, конечно, слѣдуетъ тоже „бить и драть", какъ говорится въ опереткѣ „Чайный цвѣтокъ". Но не только мастеровъ, а и вообще всѣхъ русскихъ людей, потому что всѣ они этого равно достойны. Вотъ, напримѣръ, какова наша учащаяся молодежь: „Ни у одного (bei keinem) изъ этихъ юношей нѣтъ мечтаній, надеждъ, ожиданій отъ жизни, идеаловъ, хотя бы и незрѣлыхъ. Они ото всего отошли, все испробовали, во всемъ сомнѣваются, вездѣ видятъ оборотную сторону... Любовь, великая волшебница молодости и вѣнецъ жизни, имъ неизвѣстна. За то имъ извѣстны сифилисъ и кое что другое, чего я не рѣшаюсь написать. Притомъ они грязны, лѣнивы, съ поверхностнымъ взглядомъ и пошлыми, не выразительными чертами лица. Отсутствіе фантазіи—ихъ общая

Digitized by Google

черта. Имъ даютъ слишкомъ много воли, къ саморазвитію у нихъ нѣтъ никакой склонности, никакихъ задатковъ. Строгость, произволъ и удары (Strenge, Willkür, auch Hiebe) здѣсь вполнѣ умѣстны" (234).

Какъ ни противно выписывать всѣ эти гнусности, но я чувствую при этомъ нѣкоторое нравственное удовлетвореніе. Пусть наши защитники розги знаютъ, что они солидарны съ человѣкомъ, который дышетъ прямо дьявольскою злобою противъ всего русскаго, противъ самой „народной души русской", съ человѣкомъ, который не постыдился написать такія слова: „они гибнутъ отъ водки, которая, такимъ образомъ, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, можетъ оказаться благодѣтельницею человѣчества" (125). Весь народъ русскій—народъ не въ томъ смыслѣ, который мы старались установить, говоря о народникахъ, а вся нація, всѣ слои общества во всѣхъ отношеніяхъ никуда не годятся: физически безсильны и уродливы, умственно и эстетически бездарны, нравственно развращены до мозга костей. „Лирическія стихотворенія Пушкина—смѣсь всякаго рода подражаній. Ему недостаетъ глубины мысли, и въ особенности души и чувства. Его горести и радости не изъ глубины души идутъ, онѣ условны и поверхностны... При чтеніи его вѣетъ зловонное дыханіе фривольности или, вѣрнѣе, пустоты и пошлости" (160). Гоголь—„ограниченная голова" (210). Въ его произведеніяхъ—„отсутствіе какой бы то ни было цѣли, высшаго пониманія, идеальной точки зрѣнія; его задача состоитъ въ воспроизведніи пошлости. Ему недостаетъ паренія вверхъ и вмѣстѣ настоящаго юмора, благородства души" (177). „Стыдъ и честь въ Россіи вполнѣ неизвѣстны" (207), благодарность—тоже, любовь къ родинѣ—тоже. Сильныхъ, здоровыхъ, красивыхъ людей въ Россіи нѣтъ. Исполненіе на русской сценѣ „Лоэнгрина" наводитъ Гена на такое соображеніе: „Странное впечатлѣніе получается, когда романтическіе рыцари снимаютъ шлемы и обнаруживаютъ свои грубыя азіатскія лица съ маленькими сѣрыми глазами, пошлыми чертами и кожей, омертвѣлой отъ холоднаго климата, степныхъ вѣтровъ и бань (русскія бани вообще почему-то приводятъ въ негодованіе Гена). И при этомъ голоса, которыхъ никакія итальянскія консерваторіи не могутъ очистить отъ грубости" (тамъ же). Гену смѣшно, что въ Россіи бываютъ съѣзды естествоиспытателей: „Какое этому народу дѣло до науки!" (125). Съ злобною радостью отмѣчаетъ онъ, что въ романѣ „Марево", напечатанномъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ", дѣйствуютъ „ничтожества, мошенники

Digitized by Google

пьяницы, воры,—все это взято изъ жизни!“ (90). Петербургскіе нѣмцы „основательно призираютъ грубую, низко стоящую, плохо одаренную, въ нравственномъ, религіозномъ и практическомъ отношеніи подчиненную расу“, въ средѣ которой имъ приходится жить (79). Нѣтъ отрицательнаго качества, котораго Генъ не приписалъ бы русскимъ, нѣтъ свѣтлой точки, которую бы онъ отмѣтилъ. Въ своей ненависти онъ доходитъ даже до комизма, утверждая, напримѣръ, что „нездорово выглядящіе экскременты составляютъ общее правило для всей Россіи!“ (60). Самъ ли онъ изслѣдовалъ, въ этомъ отношеніи „всю Россію“ или имѣлъ въ разныхъ ея концахъ достовѣрныхъ корреспондентовъ—неизвѣстно. Но достойно вниманія, что онъ, филологъ по образованію и призванію, прожившій въ Россіи десятки лѣтъ, дѣлаетъ такого рода замѣчанія: „Извѣстно, что буквы „ф“ нѣтъ во всей восточной Европѣ; малороссы, выговаривая ее, прибавляютъ звукъ „х“: kochfii—кофе“. Стихъ „Жомини да Жомини, а объ водкѣ ни полслова“, онъ переводитъ такъ: „Жомини, все Жомини, *и ни капли* водки“, Слова „колдунъ“, „кудесникъ“, „гадатель“, „ворожея“, „ворожба“. „ворожить“ (woroshat)—для него однозначущи и именно всѣ значатъ „волшебникъ или предсказатель“. Или еще замѣтка: „Различаютъ gudka и gusli. Одинъ запѣваетъ, другой пристаетъ, продолжаетъ тему: это называется podtjägiwat schinkar“.

Изъ этого видно, что, несмотря на свое долголѣтнее пребываніе въ Россіи, Генъ вовсе не такой знатокъ русской жизни, какимъ онъ представляется нѣмцамъ. (См. предисловіе Шлиманна). Для насъ, однако, важны не тѣ или другія частныя, фактическія его ошибки, а тотъ общій злобный тонъ, которымъ проникнута вся его книга отъ первой до послѣдней строчки. Явныя фактическія ошибки даже въ предѣлахъ своей филологической спеціальности любопытны лишь въ смыслѣ указанія, что Генъ не потрудился даже узнать то, къ чему относится съ такою дикою, слѣпою ненавистью. Откуда же эта злоба? Какъ видно изъ предисловія, въ 1851 г. Генъ претерпѣлъ въ Петербургѣ крупную непріятность. Какъ бы, однако, тяжела эта непріятность ни была, дѣло не въ ней очевидно, потому что Гену ненавистна не та или другая лично его прищемившая складка русской жизни, а все русское—отъ вершинъ поэзіи до экскрементовъ „по всей Россіи“, отъ оперныхъ пѣвцовъ до учениковъ ремесленниковъ, отъ мужика до свѣтскаго общества, отъ учащейся молодежи до казаковъ.

Digitized by Google

Предисловіе Шлиманна желаетъ придать этой ненависти характеръ не только справедливой оцѣнки, но и патріотически-нѣмецкаго реванша (намеки на него имѣются и въ самомъ текстѣ книги). Ссылаясь на устныя бесѣды съ Геномъ, Шлиманнъ говоритъ: „Съ глубокою горестью смотрѣлъ онъ на усиливающееся разложеніе всего нѣмецкаго въ Россіи—какъ въ колоніяхъ въ Малороссіи и на Волгѣ, такъ и въ Остзейскихъ провинціяхъ. Но онъ понималъ, что новая Германская имперія должна прежде всего отвѣчать сама за себя и не подвергать себя риску изъ за своихъ несчастныхъ соплеменниковъ. Но онъ видѣлъ приближающуюся Немезиду“. Опять Немезида! На этотъ разъ она является, однако, между прочимъ, въ не совсѣмъ божественномъ видѣ водки, долженствующей облагодѣтельствовать человѣчество истребленіемъ „русской расы“... Мы не будемъ касаться ни остзейскихъ дѣлъ, ни положенія нѣмецкихъ колонистовъ въ Новороссійскомъ краѣ и на Волгѣ. Каковы бы ни были эти дѣла и это положеніе,—причемъ тутъ die russische Volksseele, „русская народная душа“?

Европейская литература очень богата разоблаченіями темныхъ сторонъ русской жизни. Много тутъ вранья, но много и правды, которую мы и сами бы сказали. И когда это вранье или эта правда касается совершенно опредѣленныхъ явленій, наличность которыхъ можетъ быть провѣрена и причины которыхъ могутъ быть изслѣдованы, когда указывается при этомъ свѣтъ, который и во тьмѣ свѣтится,—въ насъ молчитъ (по крайней мѣрѣ, долженъ молчать) демонъ оскорбленнаго національнаго самолюбія; этотъ ужасный демонъ, принесшій уже человѣчеству неисчислимыя бѣдствія. Но его-то именно и вызываетъ Генъ, пророкъ грядущей Немезиды. Нельзя читать безъ негодованія это злобное обливаніе помоями правыхъ и виноватыхъ, потому что всякій русскій уже тѣмъ виноватъ, что онъ русскій, какъ всякій нѣмецъ уже тѣмъ правъ, что онъ нѣмецъ. Нельзя безъ негодующаго изумленія думать о состояніи души самого Гена. Это не Платонъ Лукашевичъ, комическій человѣкъ, открывающій англичанамъ тайну ихъ происхожденія отъ славянъ и монголовъ. Это не Катрфажъ, вспыхнувшій во время бомбардировки Парижа и отторженія Эльзаса и Лотарингіи, и потомъ устыдившійся, но и въ самой вспышкѣ своей старавшійся быть справедливымъ. Это—нѣмецъ, многіе годы добровольно живущій въ Россіи и изо дня въ день, шипя и злобствуя, записывающій что-нибудь пакостное

Digitized by Google

про что-нибудь русское, хотя за эти многіе годы въ Россіи очень разное происходило. Если-бы Катрфажъ узналъ о тѣхъ нынѣ всемірно извѣстныхъ утонченныхъ звѣрствахъ, которыя продѣлываются германскими офицерами и унтеръ-офицерами надъ солдатами, онъ и въ этомъ увидѣлъ бы, вѣроятно, карающую руку Немезиды; допускаю даже, что въ минуту раздраженія онъ злорадно пожелалъ бы, чтобы это, дескать, столь свойственное грубой „прусской расѣ“ безобразіе продолжалось. Но годы и годы лѣлѣять такую варварскую мысль... Какъ дѣйствительно цивилизованный человѣкъ, дѣйствительно умѣющій цѣнить человѣческое достоинство, Катрфажъ на это не былъ способенъ. Да и много ли найдется вообще способныхъ? Я думаю, что и благомыслящіе нѣмцы должны чураться книги Гена. Мы, конечно, не вѣримъ, чтобы петербургскіе нѣмцы „презирали грубую, низко стоящую, плохо одаренную, въ нравственномъ, религіозномъ и практическомъ отношеніи подчиненную расу“, въ средѣ которой имъ приходится жить. Вездѣ есть глупые люди, но вѣдь, напримѣръ, и вышеупомянутый г. Фидлеръ петербургскій нѣмецъ. Можно, однако, по поводу книги Гена, призадуматься не только надъ русской, а и надъ нѣмецкой цивилизаціей: высопросвѣщенный нѣмецъ жалѣетъ, что и пощечина не безнаказанна, что студентовъ не бьютъ, что тѣлесное наказаніе отмѣнено! И у насъ есть защитники розги и вообще физическаго воздѣйствія на неблагородный духъ въ видахъ его облагороженія, притомъ серьезно, кажется, думающіе, что они-то и суть настоящіе патріоты. Но, напримѣръ, князь Мещерскій, такъ онъ князь Мещерскій и есть, а не высокопросвѣщенный представитель націи. И какъ бы ни обставлялъ Генъ свою вѣру въ благодѣтельность розги и зуботычины соображеніями о невозможности иначе дѣйствовать на русскихъ людей, мы можемъ ему напомнить, что германскія военныя власти публично объясняли свои звѣрскія не наказанія, а прямо истязанія—такою же невозможностью иначе поддерживать дисциплину въ нѣмецкихъ войскахъ...

Но мы не послѣдуемъ за Геномъ по пути недостойныхъ обобщеній. Извѣстно, что въ Спартѣ напаивали илотовъ до животнаго состоянія, дабы молодые спартанцы видѣли порокъ во всемъ его безобразіи. Пусть же Генъ будетъ для насъ такимъ же плотомъ, до-пьяна напоеннымъ демономъ національной вражды и національнаго самолюбія. И пусть наши демонопоклонники, ко-

Digitized by Google

торые не всегда только смѣшны, какъ Платонъ Лукашевичъ, полюбуются на себя въ этомъ зеркалѣ...

Генъ боится, что русскіе, если ихъ не истребитъ своевременно „для блага человѣчества“ водка, пройдутъ разрушительнымъ потокомъ черезъ всю Европу до самаго Атлантическаго океана. Поводомъ для этого, думаетъ онъ, будутъ распри между европейскими народами, изъ которыхъ тотъ или другой призоветъ, наконецъ, Россію въ качествѣ союзника или миротворца. Катрфажъ тоже гадаетъ о новыхъ великихъ столкновеніяхъ между финно-славянами, со включеніемъ „прусской расы“, и можетъ быть германцами, съ одной стороны, и латинской и можетъ быть германской расой—съ другой. Платонъ Лукашевичъ ожидаетъ, что монголы-англичане вторично пройдутъ по всей Азіи и Европѣ, поглощая и истребляя славянъ... Какъ бы ни были призрачны эти страшныя видѣнія далекаго или близкаго будущаго, но самый фактъ ихъ существованія свидѣтельствуетъ о живучести демона, объ чемъ, какъ мы въ свое время увидимъ, слишкомъ часто забываютъ нѣкоторые новѣйшіе теоретики...

Въ іюлѣ мѣсяцѣ я получилъ изъ Парижа письмо за подписью совершенно мнѣ неизвѣстныхъ и вообще едва ли многимъ извѣстныхъ господъ Henri Mazel, René Boylesve и Stuart Merrill. Письмо предлагало мнѣ отвѣтить на одинъ вопросъ, съ которымъ редактируемый означенными господами журналъ „l'Ermitage“ уже обращался къ „главнымъ писателямъ молодого литературнаго поколѣнія (не достигшаго еще тридцати пяти лѣтъ)“. Напечатавъ уже 98 отвѣтовъ этихъ молодыхъ людей, редакція „l'Ermitage“ рѣшила обратиться съ тѣмъ же вопросомъ къ писателямъ стараго поколѣнія, въ томъ числѣ и ко мнѣ. Въ виду малыхъ размѣровъ журнала, редакція просила ограничить отвѣтъ „пятнадцатью строками, и даже менѣе“, а если мнѣ угодно познакомиться съ напечатаннымъ уже „художественнымъ и соціологическимъ референдумомъ“, то есть съ упомянутыми 98 отвѣтами, то редакція вышлетъ мнѣ экземпляръ.

Вопросъ, на который я долженъ былъ отвѣтить, слѣдующій,— я привожу его въ оригиналѣ, чтобы не испортить переводомъ его странной смутности: „Quelle est la meilleure condition du Bien social, une organisation libre et spontanée ou bien une orga-

Digitized by Google

nisation disciplinée et méthodique? Vers laquelle de ces conceptions sociales doivent aller les préférences de l'artiste?" Я очень заинтересовался тѣми 98-ю отвѣтами въ пятнадцать строкъ и даже менѣе, которые редакція „l'Ermitage" получила уже отъ какихъ-то отважныхъ представителей литературнаго поколѣнія, не достигшаго тридцати пяти лѣтъ. Но воспользоваться любезнымъ предложеніемъ редакціи и получить отъ нея экземпляръ этого любопытнаго „референдума"—значило, казалось мнѣ, косвеннымъ образомъ обѣщать свое участіе въ дѣлѣ, явно либо шутовскомъ, либо ребяческомъ. Я воздержался поэтому отъ какого бы то ни было отвѣта, а обратился въ петербургскую „Agence de la presse parisienne" съ просьбой выписать мнѣ „l'Ermitage". Но 1-го сентября отъ агентства пришло извѣщеніе, что журналъ этотъ прекратился... Я вздохнулъ о бренности всего земного и все-таки досталъ себѣ знаменитый номеръ съ 98-ю отвѣтами. Ихъ оказалось, впрочемъ, 99. Еще бы одна единица, и была бы цѣлая сотня...

„L'Ermitage" оказался маленькимъ ежемѣсячнымъ журналомъ декадентскаго, какъ и слѣдовало ожидать, характера. Слѣдовало этого ожидать, какъ по характеру самого вопроса, съ которымъ редакція обратилась къ цѣлому ряду европейскихъ писателей, такъ и по возрастному дѣленію этихъ писателей. Французскіе декаденты любятъ называть себя молодымъ поколѣніемъ или просто „молодыми", „jeunes". Но для оправданія этого названія имъ приходится болѣе или менѣе отодвигать предѣлъ молодого возраста. 35 лѣтъ, конечно, хорошій возрастъ, а для нашего брата, старика, даже завидный; не такой все-таки, однако, чтобы 35-лѣтній писатель могъ, не конфузясь, именно своею молодостью опредѣлять, въ какомъ бы то ни было отношеніи, свое положеніе въ литературѣ. Оставимъ Лермонтова и Шелли, не достигшихъ предѣла декадентской молодости, Байрона и Пушкина, умершихъ, только что перешагнувъ этотъ предѣлъ, Гейне, который 26—27 лѣтъ былъ уже авторомъ „Reisebilder" и „Buch der Lieder", Виктора Гюго, 28 лѣтъ совершившаго литературную революцію своимъ „Эрнани", Шиллера, къ 23 годамъ бывшаго уже авторомъ „Разбойниковъ" и „Коварства и любви", Гете—къ 25 годамъ автора „Геца" и „Вертера", и т. д. Ничего еще нѣтъ удивительнаго въ томъ, что между декадентами не имѣется людей такого исключительнаго роста,—ихъ вездѣ и всегда мало.

Digitized by Google

Извѣстны, съ другой стороны, случаи и очень поздняго расцвѣта литературныхъ силъ. Достаточно вспомнить, что „Донъ-Кихотъ“ появился, когда автору его было уже шестьдесятъ лѣтъ. Но въ большинствѣ такихъ случаевъ писателей задерживали посторонния занятія,—хоть бы того же Сервантеса военная служба, годы плѣна у мавровъ и проч. Относительно декадентовъ (а они очень охотно сообщаютъ біографическія свѣдѣнія о себѣ) ничего подобнаго неизвѣстно. Большею частію они очень рано прилѣпились къ литературѣ, и хотя въ результатѣ получились многія великія, по ихъ мнѣнію, произведенія, но, кромѣ ихъ самихъ, никто почему-то не признаетъ этого величія. Въ глубинѣ души они и сами, повидимому, колеблются относительно значенія своихъ твореній и потому желаютъ возможно дольше оставаться на положеніи „молодыхъ“, подающихъ надежды.

Печатая 99 отвѣтовъ писателей разныхъ странъ и національностей, редакція „Эрмитажа“ какъ бы устроила для читателей смотръ „молодыхъ“ силъ всей Европы. Конечно, это дѣло лишь условное: на этомъ Олимпѣ нѣтъ тѣхъ, къ кому редакція „Эрмитажа“ не обращалась, нѣтъ и тѣхъ, къ кому она обратилась, но отвѣта отъ которыхъ не получила. Но тѣмъ можетъ быть интереснѣе 98 отвѣтовъ: авторы этихъ отвѣтовъ въ своемъ родѣ избраннѣйшіе изъ избранныхъ. Кто же эти избранные? Среди французовъ еще мелькаютъ болѣе или менѣе извѣстныя имена, хотя извѣстность эта довольно двусмысленна. Тутъ встрѣчаются Морисъ Барресъ, „маги“ Поль Аданъ, Жюль Буа, „инструментистъ“ Рене Гиль и еще, можетъ быть, нѣсколько человѣкъ, надѣлавшихъ нѣкотораго шума своими экстравагантностями. Но вотъ, напримѣръ, итальянцы: Антона-Траверси, Аванчиніо Аванчини, Бермани, Бутти, Ферреро, Ферріери, Мартинелли, Маццони, Олива, Пика, Риччіери, Рондани, Сормани. Или нѣмцы: Бирбаумъ, Демель, Детлевъ фонъ-Лиліенкронъ, Жерарди, Гартъ, Вейгандъ. Я привожу только тѣ имена, при которыхъ обозначено мѣсто жительства корреспондентовъ „Эрмитажа“. Можетъ быть, нѣмцы есть и еще, но во всякомъ случаѣ они столь же замѣчательны. Изъ русскихъ избраннѣйшими изъ избранныхъ оказались гг. Минскій (неужели этому почтенному поэту все еще нѣтъ 35 лѣтъ?) и Волынскій...

Послѣднихъ двухъ писателей мы, конечно, хорошо знаемъ. Но чтобы получить нѣкоторое понятіе о менѣе намъ извѣстныхъ

Digitized by Google

элементахъ компаніи, собравшейся на зовъ „Эрмитажа“, мы остановимся на одной статейкѣ, напечатанной въ томъ же номерѣ, который содержитъ въ себѣ 99 отвѣтовъ. Повидимому, въ „Эрмитажѣ“ есть, или былъ, постоянный отдѣлъ подъ названіемъ „Musée de l'Ermitage“, гдѣ читателямъ предлагаются характеристики современныхъ писателей. Въ томъ единственномъ номерѣ, который я знаю, помѣщена характеристика нѣкоего Гюго Ребелля, сотрудника „Эрмитажа“ и одного „изъ стаи славной“ 99. Описывается его наружность, „которую, разъ увидѣвъ, нельзя забыть“. Мы узнаемъ, что Гюгъ Ребелль высокаго роста, что у него „слегка округленныя плечи“ и т. д. Узнаемъ его характеръ и образъ мыслей. Послѣднее въ писателѣ, конечно, самое интересное. Гюгъ Ребелль—сообщаетъ авторъ характеристики, Фра Эремитано—есть отъявленный врагъ христіанства и—соціализма. „Онъ еще прощаетъ католицизму ради его литургическаго великолѣпія, интимной поэзіи и, какъ я думаю, его разумной общественной организаціи, но онъ трепещетъ отъ ярости противъ всего, что ему кажется обузданіемъ страстей, жертвоприношеніемъ личности, отказомъ отъ свободнаго самопроявленія. Его спинозизмъ (?) свирѣпъ на этомъ пунктѣ, и я пожалѣлъ бы оптическія стекла, если бы ему пришлось ихъ шлифовать... Но если пуритане (les puritains) ему досаждаютъ, то коллективисты приводятъ его въ раздраженіе. Онъ требовалъ только свистковъ для сенатора Беранже, вмѣшавшагося, во имя публичной нравственности, въ дѣло о балѣ des Quatz'arts, тогда какъ противъ рабочихъ соціалистовъ бельгійскихъ и англійскихъ онъ собирался выступить съ оружіемъ въ рукахъ. Къ счастію, благодаря его природной нерѣшительности, онъ удовольствовался отдыхомъ отъ столькихъ волненій въ гротѣ Позилиппо, гдѣ онъ, по крайней мѣрѣ, можетъ вызывать гигантскія грезы оргіастической наготы и бурныхъ вакханалій (de gigantesques rêves de nudités orgiaques et de bacchanales tourbillonnantes). Вмѣстѣ съ René Boylesve онъ образуетъ крайнее крыло анти-мистическаго и гиперэротическаго „Эрмитажа“.—У Гюга Ребелля есть свой гербъ, любопытный въ томъ отношеніи, что щитодержателями въ немъ являются Фрина и Венера Каллипига.

Таковъ портретъ. Но хорошъ и портретистъ. Изъ всего „спинозизма“ онъ, повидимому, только и знаетъ, что Спиноза занимался шлифованіемъ оптическихъ стеколъ, но это не мѣ-

Digitized by Google

шаетъ ему ни совать эти стекла ни къ селу, ни къ городу, ни ставить знаменитаго мыслителя за одну скобку съ какимъ-то распутнымъ декандентомъ. Читатель слыхалъ вѣроятно, что если декаденты всѣ болѣе или менѣе склонны къ „гиперэротизму“ въ разныхъ формахъ, то столь же склонны они и къ мистицизму, а между тѣмъ авторъ характеристики Ребелля говоритъ о какомъ-то „анти-мистическомъ“ крайнемъ крылѣ. Дѣло въ томъ, что крыльевъ у декадентовъ или символистовъ много; можно даже сказать, что у нихъ ничего, кромѣ крыльевъ, нѣтъ. И размахиваютъ эти крылья въ разныя стороны, которое во что гораздо, не для того, чтобы понести какое-нибудь тѣло въ какомъ-нибудь направленіи, а просто, чтобы произвести побольше шуму. За противорѣчіями въ этомъ странномъ мірѣ не угоняешься. Все въ томъ же номерѣ „Эрмитажа“, въ которомъ любезно отворены двери для охочихъ иностранцевъ и опубликованы результаты международнаго плебисцита, напечатано горячее предложеніе основать „ландлигу для защиты литературной территоріи“ отъ вторженія иностранцевъ. Авторъ сердится на „эти диѳирамбы бельгійскимъ, шведскимъ, норвежскимъ геніямъ, когда у насъ есть столько своихъ талантовъ, презираемыхъ или осмѣиваемыхъ“. Его возмущаетъ слабость французовъ и наглость иностранцевъ: „стоитъ намъ представить Достоевскаго,—говоритъ онъ,—какъ уже мы принимаемъ и Толстого, Стриндбергъ убѣждаетъ насъ въ геніальности Ибсена, Ничше дѣлаетъ насъ снисходительными къ Метерлинку. Чортъ возьми, друзья, будемъ свирѣпыми прогибиціонистами!“

Обратимся къ вопросу, заданному редакціей „Эрмитажа“. Попробуемъ сначала перевести его съ возможною точностію по русски: „Каково лучшее условіе общественнаго блага,—самопроизвольная и свободная или же дисциплинированная и методическая организація? Къ которому изъ этихъ двухъ понятій должны склоняться предпочтенія художника?“ Если по русски это выходитъ немножко неуклюже и не совсѣмъ ясно, то не болѣе ясно вышло оно и по французски. Объ этомъ говоритъ сама редакція „Эрмитажа“. Она разсказываетъ: „Такъ какъ для писателей, занимающихся искусствомъ (les écrivains d'art—какъ видно, художники и художественные критики), соціологія представляетъ второстепенный интересъ, то желательно было избѣжать въ формулѣ слово „соціализмъ“, источникъ двусмысленности, и слово

Digitized by Google

„принужденіе“ (contrainte) въ виду его слишкомъ неблагопріятнаго оттѣнка. Поэтому выбрана была болѣе точная перифраза: „дисциплинированная и методическая организація“. Но нѣкоторые (корреспонденты) отождествили дисциплину съ полиціей или же поняли методу внѣ всякаго принужденія (coaction), иные, напротивъ, увидѣли противорѣчіе въ словахъ „свободная организація“, полагая, что организація можетъ быть только причиной, а не слѣдствіемъ“.

Не думаю, чтобы это объясненіе редакціи что-нибудь, дѣйствительно, объясняло читателю. Повидимому, сама редакція не понимала, объ чемъ она спрашивала, а корреспонденты не понимали, на что они отвѣчали. Нѣкоторые изъ отвѣтовъ во всякомъ случаѣ изумительны.

Небезъизвѣстный англійскій декандентъ Оскаръ Уальдъ не воспользовался предоставленными ему 15-ю строками и изъяснился кратко: „Нѣкогда я былъ поэтъ и тиранъ. Теперь я артистъ и анархистъ“. Я охотно привелъ бы болѣе пространный отвѣтъ „эволюціоннаго инструментиста“ Рене Гиля, но это такая чепуха, которую рѣшительно невозможно перевести. Англичанинъ Добсонъ не счелъ нужнымъ распространяться: „Я съ своей стороны склоняюсь къ дисциплинированной и методической организаціи“. Итальянецъ Ферреьри скромно оповѣстилъ: „Присоединяюсь къ мнѣніямъ Жозефа Декларейля и Альберта Сормани“. Но попробуемъ разобраться въ тѣхъ отвѣтахъ, которые сколько-нибудь понятны и что-нибудь говорятъ. Редакція „Эрмитажа“ тоже пробовала разобраться и сгруппировала полученные ею отвѣты въ три отдѣла, распадающіеся на десять оттѣнковъ, но и то ей пришлось оговариваться словами „повидимому“, „кажется“. Мы не погонимся, конечно, за точной и подробной классификаціей.

Наши соотечественники, гг. Минскій и Волынскій, высказались въ томъ смыслѣ, что заданный вопросъ для нихъ безразличенъ, ибо „грязь и кровь“, которыми подобные вопросы пачкаются въ отвѣтахъ жизни, „годятся для публицистовъ и политиковъ, а поэту тутъ не мѣсто“ (г. Минскій); что „художникъ живетъ внутреннею творческою жизнью, которая выше всѣхъ формъ жизни внѣшней, общественной“ и что поэтому „искусство не боится никакой исторической революціи: оно выше жизни, всегда впереди дѣйствительной жизни“ (г. Волынскій). Какъ ни великолѣпны эти отвѣты, но не нашимъ соотечественникамъ при-

Digitized by Google

надлежитъ пальма первенства въ этомъ направленіи. Андре де Гашонъ пишетъ,—и я стараюсь въ точности сохранить его гордый лапидарный слогъ:

„Подъ разноцвѣтнымъ балдахиномъ, съ развѣвающимися флагами эстрада артистовъ съ цвѣтами и женщинами.

„Тамъ внизу ревущая ошибка аппетитовъ, ревностей, гнѣвовъ, желаній.

„Буря должна наступить, наступитъ.

„И поэты будутъ смотрѣть, какъ она придетъ, пройдетъ.

„Ее смѣнятъ спокойныя времена.

„И поэты все будутъ смотрѣть“.

Въ томъ же родѣ, но замысловатѣе отвѣчаетъ Рашильдъ:

„Прежде всего надо все уничтожить. Потомъ, когда все будетъ ниспровергнуто, люди *самопроизвольно* соберутся на площади (если таковая останется) и подумаютъ о средствахъ для возстановленія всего. Но такъ какъ невозможно сговориться *на свободѣ*, ибо каждый желаетъ перекричать другого, то воздвигнутъ тумбу, отберутъ людей, которые должны будутъ влѣзать на нее и инстинктивно выберутъ для этого голосистыхъ, то есть глупыхъ.

„Это будутъ депутаты.

„Потомъ пойдетъ дождь (дѣло всегда кончается дождемъ). Явится *методическая* идея прикрыть ораторовъ зонтикомъ. Отъ зонтика къ греческому фронтону всего одинъ шагъ... назадъ. Его сдѣлаютъ, а шаги назадъ составляютъ принципъ *дисциплины*.

„Это будетъ палата.

„А потомъ? Потомъ, такъ какъ *самопроизвольная и свободная* организація фатально ведетъ къ организаціи *дисциплинированной и методической*, художникъ долженъ признать, что внѣ вопросовъ искусства для него нѣтъ предпочтеній“.

Читатель, знакомый непосредственно съ самими декадентами и символистами или хоть съ моими статьями о нихъ, или съ книгой Макса Нордау о „Вырожденіи“, не заподозритъ меня въ произвольности или неправильности перевода. Этотъ наполовину шутовской, наполовину торжественный и вообще всячески вычурный языкъ составляетъ одну изъ особенностей декадентовъ, независимо отъ того, что они этимъ языкомъ хотятъ выразить. Что же касается ихъ образа мыслей, то онъ довольно

Digitized by Google

разнороденъ, а иногда его и совсѣмъ нѣтъ, въ особенности по отношенію къ общественнымъ дѣламъ. Это для нихъ, какъ мы видѣли, по выраженію одного нашего соотечественника, „внѣшняя жизнь“, низшая и вниманія не стоющая. Но именно потому, что они ее такъ презираютъ, ее и чернь, дѣлающую исторію, они склоняются къ мысли о необходимости общественной всетаки организаціей отгородить себя отъ черни, себя или вообще „лучшихъ“. Въ этомъ смыслѣ есть нѣсколько любопытныхъ отвѣтовъ. Итальянецъ Сормани пишетъ: „Общественная организація, совмѣщающая свободу и верховенство лучшихъ съ повиновеніемъ и подчиненіемъ низшихъ, была бы лучшимъ условіемъ общественнаго блага, которое состоитъ не въ настоящемъ счастіи презрѣннаго большинства людей, а въ будущемъ прогрессѣ вида“. Мнѣніе Жозефа Декларейля: „Всякое общество состоитъ изъ 1) избранныхъ, т. е. извѣстнаго числа автономныхъ личностей, 2) массы, имѣющей только коллективную цѣнность. Утопія состоитъ: 1) въ абсолютной свободѣ избранныхъ, 2) въ разумной организаціи массы, въ видахъ извлеченія изъ нея наибольшей пользы для избранныхъ и предоставленія самой массѣ возможнаго благополучія“. Гюгъ Ребелль, тотъ самый, который хотѣлъ было стрѣлять въ бельгійскихъ и англійскихъ рабочихъ-соціалистовъ, но удовольствовался „гигантскими грезами оргіастической наготы и бурныхъ вакханалій“, отвѣтилъ съ большею обстоятельностью: „Соціалистическій строй, къ которому устремляются нынѣ взоры толпы, осуществитъ, подъ лицемѣрнымъ знаменемъ свободы, самую страшную изъ всѣхъ когда-либо бывшихъ тираній: слѣпую тиранію машины, которая не разсуждаетъ и измалываетъ личность прежде, чѣмъ она успѣетъ крикнуть. Съ другой стороны, неограниченная свобода имѣла бы слѣдствіемъ власть черни, то есть подавленіе разумныхъ большинствомъ, и, во имя общаго блага, крушеніе всякой жизни, посвященной красотѣ. Поэтому художникъ предпочтетъ деспотизмъ одного человѣка или аристократіи. Произволъ такого рода абсолютныхъ правительствъ можетъ стать справедливостью, если освободитъ исключительныхъ людей отъ законовъ, писанныхъ для стада“.

Французы, откликнувшіеся на зовъ редакціи „Эрмитажа“, всѣ болѣе или менѣе прикосновенны къ декадентству, но собственно на поставленный вопросъ они отвѣчаютъ очень разнообразно, хотя и сходятся на пунктѣ чрезвычайнаго уваженія къ искус-

Digitized by Google

ству и къ роли художника. Во имя этого уваженія одни, вульгарно выражаясь, плевать хотятъ на всѣ общественные вопросы, какъ на нѣчто „внѣшнее“ и низшее, а слѣдовательно, и на вопросъ, предложенный редакціей „Эрмитажа“. Другіе, сколько ихъ понимать можно, рѣшаютъ вопросъ въ смыслѣ „свободы“ и „самопроизвольности“, потому что, дескать, такова стихія искусства. Третьи требуютъ, напротивъ, „дисциплины“ и „методы“, потому что такой порядокъ вещей гарантируетъ художнику спокойное, безмятежное существованіе, необходимое для творчества. Четвертые желаютъ очень много свободы „избраннымъ“ и очень много „дисциплины“ прочему человѣчеству. Разнообразіе это еще увеличивается отвѣтами иностранцевъ, объ которыхъ мы ровно ничего не знаемъ, кромѣ того, что имъ меньше 35-ти лѣтъ, а слѣдовательно, не знаемъ и объ ихъ прикосновенности или неприкосновенности къ декадентству. Вотъ, напримѣръ, два испанца: Бюрель изъ Мадрида и Костинейра изъ Кордовы. Первый пишетъ: „Въ виду всѣхъ современныхъ подлостей я кричу: да здравствуетъ анархія! а это для меня значитъ: да здравствуетъ будущее!“ Второй: „Я утверждаю, что организація, созданная подъ наитіемъ идей Маркса и его учениковъ, организація à l'allemande можетъ служить для всякаго истиннаго поэта только предметомъ отвращенія и ненависти. При настоящемъ порядкѣ всѣ мы немножко каторжники, но, по крайней, мѣрѣ, каторжники, имѣющіе право на лѣность“.

Приведемъ еще два-три мнѣнія, уклоняющіяся отъ прямого отвѣта по мотивамъ, болѣе оригинальнымъ, чѣмъ презрѣніе къ вопросамъ общественной жизни.

Морисъ Барресъ: „Наша бѣда заключается въ томъ, что, при всѣхъ различіяхъ между нами, мы живемъ въ общественномъ строѣ, не нами выбранномъ, а навязанномъ намъ покойниками. Сочинять лишнюю систему незачѣмъ, намъ не системы не хватаетъ, а энергіи,—энергіи сообразовать наши нравы съ требованіями нашего чувства“. Ту же мысль обстоятельнѣе высказываетъ англичанинъ Госбордъ Горнъ: „Невозможно представить себѣ, а тѣмъ болѣе создать вполнѣ самопроизвольный общественный строй. Нами управляютъ покойники, а не мы сами. Не только наши законы, но и нашъ языкъ, наши искусства, нравы, словомъ, всякое проявленіе человѣческаго разума создано и завѣщено намъ покойниками, нашими предками. Нѣтъ ничего

Digitized by Google

новаго подъ луной, кромѣ повторенія прошлаго въ новыхъ комбинаціяхъ. Поэтому лучшій общественный строй тотъ, въ которыхъ художникъ и поэтъ свободны подчиняться (?) этой тираніи прошлаго и приходить къ сознанію своихъ силъ, которое позволяетъ имъ утверждать ихъ собственную свободу (?). Такъ называемые правящіе суть не болѣе, какъ маріонетки въ рукахъ покойниковъ".

Особо надо поставить еще мнѣніе де-Гашона, не Андре де-Гашона, вычурный отвѣтъ котораго былъ уже приведенъ выше, а другого, Жака: „Не объ обществѣ и его гигіенѣ слѣдуетъ заботиться, надо желать усовершенствованія личности. Наилучшій порядокъ наступитъ тогда, когда въ подобномъ опросѣ (то есть подобномъ предпринятому „Эрмитажемъ") всѣ мнѣнія окажутся тождественными. Этотъ день не завтра наступитъ. А когда онъ наступитъ, мучающій насъ вопросъ не будетъ поставленъ. Никто, впрочемъ, въ настоящее время и не станетъ имъ мучиться. Одни будутъ смотрѣть дальше его, другіе —ближе, большинство—ближе".

Быть можетъ, читатель скажетъ, что не стоило тратить столько времени на ознакомленіе съ мнѣніями какой-то разношерстной сотни безъ одного. Въ самомъ дѣлѣ, это вѣдь не представители какихъ-нибудь опредѣленныхъ партій, за которыми стоятъ густые ряды единомыслящихъ и сочувствующихъ,—по крайней мѣрѣ, мы этого не знаемъ. Это и не выдающіеся, хотя бы одиноко стоящіе умы и таланты, которымъ въ будущемъ предстоитъ вліять на развитіе европейской мысли,—опять-таки мы, по крайней мѣрѣ, не знаемъ этого. Это поэты и „эстеты", „писатели, занимающіеся искусствомъ", écrivains d'art, которымъ меньше 35 лѣтъ отъ роду, которые извѣстны никому неизвѣстной редакціи „Эрмитажа" и которые сочли нужнымъ откликнуться на ея приглашеніе. Что же любопытнаго въ этомъ чисто случайномъ скопищѣ?

Мы, однако, думаемъ, что любопытное есть.

Несмотря на приведенные въ началѣ предлагаемой статьи образчики служенія демону національной ненависти; несмотря на то, что ощетинившаяся штыками Европа ежеминутно готовится къ небывалой въ исторіи, по кровопролитію, всеобщей схваткѣ,

Digitized by Google

передъ которой сама же съ ужасомъ отступаетъ; несмотря, говорю, на это, никогда еще мирныя международныя отношенія въ духовной сферѣ не достигали такого развитія, какъ именно въ настоящее время. Не будемъ распространяться о международныхъ научныхъ съѣздахъ, совершенно незнакомыхъ еще очень недавнему времени, и о другихъ формахъ все усиливающагося обмѣна между представителями разныхъ спеціальныхъ научныхъ дисциплинъ. Обратимъ вниманіе на слѣдующее обстоятельство. Въ исторіи не разъ бывало, что какая-нибудь нація или страна становилась центральнымъ духовнымъ очагомъ, распространявшимъ свѣтъ и тепло по всему цивилизованному міру. Положеніе такой привилегированной націи, очень блестящее, чревато, однако, многими опасностями. Одна изъ излюбленныхъ мыслей Ренана, которую онъ развивалъ еще въ шестидесятыхъ годахъ и потомъ неоднократно повторялъ, состоитъ въ томъ, что такимъ націямъ грозятъ вѣковыя страданія и даже смерть. „Почти всегда,—говоритъ онъ,—націи, имѣющія въ своей исторіи какой-нибудь исключительный фактъ, искупаютъ этотъ фактъ долгими страданіями и часто платятся за него національнымъ существованіемъ. Такъ было съ Іудеей, Греціей, Италіей. За то, что они создали единственныя въ своемъ родѣ вещи, которыми живетъ и пользуется міръ, эти страны подвергались вѣкамъ униженія и національной смерти. Національная жизнь есть нѣчто ограниченное, посредственное, узкое. Чтобы сдѣлать что-нибудь необыкновенное, всеобщее, нужно разорвать эту тѣсную сѣть; но съ тѣмъ вмѣстѣ мы раздираемъ отечество, такъ какъ отечество есть совокупность предразсудковъ и установившихся идей, которыхъ не можетъ принять все человѣчество. Націи, создавшія религію, искусство, науку, имперію, церковь, папство (все вещи всеобщія, а не національныя), были больше, чѣмъ націями; но вмѣстѣ съ тѣмъ они были меньше, чѣмъ націями, въ томъ смыслѣ, что онѣ были жертвами своего дѣла. Я думаю, что революція будетъ имѣть для Франціи подобныя же послѣдствія, но менѣе продолжительныя, потому что и дѣло Франціи было менѣе велико и всеобще, чѣмъ дѣла Іудеи, Греціи, Италіи“.

Строки эти я заимствую изъ Сборника „La réforme intellectuelle et morale“, а первоначально онѣ были напечатаны въ статьѣ „La monarchie constitutionnelle en France“ въ „Revue des Deux Mondes“ отъ 1 ноября 1869 г. Если принять во вниманіе эту

Digitized by Google

дату, то окажется, что фактически мысль Ренана оказалась пророчествомъ, что онъ съ необыкновенною ясностью предвидѣлъ тѣ страшныя и позорныя для Франціи событія, которыя слишкомъ скоро внушили ему, холодному и манерному скептику, многія превосходныя лирическія страницы. Такое быстрое фактическое подтвержденіе естественно подкупаетъ насъ и въ пользу самой мысли, какъ логическаго построенія. Естественно также, что во время и послѣ войны 1870—71 гг. Ренанъ не разъ развивалъ эту мысль, эксплоатируя ее въ пользу своихъ либерально-аристократическихъ теорій. Намъ до нихъ дѣла нѣтъ. Что же касается самой мысли о какой-то фатальной необходимости искупленія націями ихъ привилегированнаго положенія, то въ ней позволительно сомнѣваться. Изъ собственнаго Ренанова анализа, когда онъ отъ общаго положенія переходитъ къ подробностямъ, вытекаетъ совсѣмъ другое. Дѣло не въ томъ, что Франція сообщила нѣчто, ею выработанное, другимъ націямъ, а въ односторонности развитія самой Франціи. И можно доказывать, что привилегированныя націи, въ противность взгляду Ренана, съ теченіемъ времени слишкомъ замыкаются въ свою національную „совокупность предразсудковъ и установившихся идей", слишкомъ презираютъ все чужое, становятся слишкомъ самоувѣренными, за что имъ и приходится дорого расплачиваться. Нѣтъ надобности доказывать, что и націи, никогда не занимавшія привилегированнаго, въ нашемъ условномъ смыслѣ слова, положенія, даже никогда ничего не вносившія въ международное обращеніе духовныхъ цѣнностей, могутъ быть столь же самоувѣренными и столь же дорого за это расплачиваться. Какъ бы то ни было, но теперь въ Европѣ нѣтъ такого центральнаго очага, какимъ была Франція въ концѣ прошлаго вѣка, а частію и позже. Въ тѣ времена Франція снабжала идеями весь цивилизованный міръ, не получая, или вѣрнѣе, не принимая ничего въ обмѣнъ, а если что и заимствовала, напримѣръ, отъ Англіи, то такъ ассимилировала это заимствованіе и клала на него свою печать, что во всеобщее обращеніе оно поступало уже съ этой французской печатью. Теперь мы видимъ совсѣмъ иное. Какъ бы ни проповѣдывалъ „Эрмитажъ" протекціонистскую и даже прогибиціонистскую политику по отношенію къ литературѣ, но „Эрмитажъ" же желаетъ выслушать мнѣнія испанцевъ и англичанъ, русскихъ и итальянцевъ, нѣмцевъ и бельгійцевъ. Оставляя въ сторонѣ раз-

Digitized by Google

ныя спеціальныя отрасли науки, гдѣ международный обмѣнъ идей и матеріаловъ есть дѣло уже давнишнее, мы увидимъ во французской литературѣ, обращающейся къ массѣ, множество иноземныхъ вѣяній—нѣмецкихъ въ лицѣ философіи Шопенгауера, Ницше, „научнаго соціализма“, итальянскихъ — черезъ такъ называемую уголовно-антропологическую школу, скандинавскихъ—черезъ Ибсена, Бьернстерна и другихъ, русскихъ—въ лицѣ главнымъ образомъ Достоевскаго и Толстого, англійскихъ — Дарвина и Спенсера, даже, наконецъ, индусскихъ въ лицѣ буддизма. То же происходитъ и въ другихъ странахъ, но на Франціи это замѣтнѣе, потому что тамъ дѣло началось, можно сказать, на нашихъ глазахъ—послѣ войны 1870—71 гг. и паденія второй имперіи.

Одинъ остроумный французскій писатель, Викторъ Менье, говоритъ: „Теперь французскій ученый можетъ, не рискуя своей репутаціей, открыто признавать измѣняемость видовъ, восхищаться Ламаркомъ, слѣдовать Жоффруа Сентъ-Илеру, вѣрить Дарвину, но почему? Потому что иностранная наука высказалась въ пользу этихъ великихъ людей и ихъ великихъ идей; своею свободою мы обязаны иностранному вмѣшательству“ (Scènes et types du monde savant). Еще въ 1870 г. кандидатура Дарвина во французскую академію провалилась, и Бланшаръ могъ публично говорить: „Дарвинъ умный диллетантъ, а не ученый. Его столь восхваляемыя изслѣдованія о голубяхъ показываютъ, что онъ лишонъ истинно научнаго духа“. Незадолго передъ тѣмъ одинъ французскій прокуроръ громилъ въ своей обвинительной рѣчи дарвинизмъ, не имѣя, какъ оказалось, ни малѣйшаго понятія даже о существованіи Чарльза Дарвина,—онъ приписалъ это ученіе дѣду Чарльза, Эразму Дарвину, объ которомъ справился въ какомъ-то біографическомъ или энциклопедическомъ словарѣ. Правда, и теперь французы настолько еще не свѣдущи относительно всего, что дѣлается за предѣлами ихъ отечества, что могли въ самый жаркій моментъ франко-русскихъ объятій говорить объ извѣстныхъ русскихъ писателяхъ—Иргинзонѣ, Позднышевѣ младшемъ и Цюкѣ. Припомнимъ кстати предисловіе Додэ къ драмѣ „Борьба за существованіе“. Характеризуя своего героя, Поля Астье, объявляющаго себя дарвинистомъ, онъ, между прочимъ, пишетъ: „Читалъ ли онъ Дарвина? Я въ этомъ сомнѣваюсь, я даже увѣренъ, что нѣтъ, но того немногаго, что онъ изъ него знаетъ и охотно цитируетъ, нѣсколько схваченныхъ на

Digitized by Google

лету дарвинистскихъ формулъ, достаточно въ его собственныхъ глазахъ и даже въ глазахъ общества для научнаго объясненія его преступнаго существованія". Но я и не утверждаю, чтобы всякій французскій негодяй, называющій себя дарвинистомъ, дѣйствительно, читалъ Дарвина, или чтобы всякій французскій любитель русской литературы, дѣйствительно, зналъ предметъ своей любви. Я говорю только, что со времени франко-прусской войны французская литература подверглась многоразличнымъ иноземнымъ вліяніямъ, дотолѣ ей очень мало извѣстнымъ или совсѣмъ неизвѣстнымъ. Если „не добро быти человѣку едину", то не добро это и для націи, потому что „совокупность предразсудковъ и установившихся идей" при этомъ замораживается въ своей односторонности. И съ этой точки зрѣнія, вообще говоря, чѣмъ разностороннѣе притокъ чужихъ вліяній, тѣмъ лучше. Но лучшее не всегда бываетъ легчайшимъ. Чтобы оріентироваться въ сѣти чужихъ вліяній, во многомъ противорѣчивыхъ и въ свою очередь односторонниихъ, нужна достаточно развитая критическая мысль. И у кого она оказалась во Франціи, тотъ спасенъ и съ теченіемъ времени поспособствуетъ спасенію другихъ. Но неудивительно, что въ массѣ писателей и читателей ея не оказалось. Неудивительно, во-первыхъ, потому, что и это вообще не изъ тѣхъ вещей, которыя на каждой улицѣ валяются. Не удивительно еще и потому, что внезапно нахлынувшія разнородныя вліянія столкнулись въ нѣкоторой пустотѣ, образовавшейся отъ крушенія всяческихъ идеаловъ, расшатанныхъ чрезвычайными событіями новой и новѣйшей исторіи Франціи. Отсюда смута умовъ, въ такой острой формѣ, конечно, недолговѣчная. Рони утверждалъ, что буддійское теченіе „приведетъ насъ къ изумительнымъ событіямъ" и что даже черезъ какихъ-нибудь, можетъ быть, полгода не только Франціи, а и всей Европѣ придется съ этимъ теченіемъ считаться. Съ тѣхъ поръ прошло пять-шесть полугодій, а считаться съ буддизмомъ все еще не приходится, какъ съ значительнымъ живымъ факторомъ, да, надо думать, и никогда не придется. Я, по крайней мѣрѣ, даже въ отдаленнѣйшемъ будущемъ не могу себѣ представить такого историческаго момента. Тѣмъ не менѣе, буддизмъ, въ сочетаніи съ другими чужими вліяніями, до извѣстной степени отразился все-таки во французской литературѣ. И нѣтъ никакого сомнѣнія, что острая болѣзнь современной французской литературы—всѣ эти декаденты, символисты,

Digitized by Google

маги, инструментисты, маньифики—въ значительной степени обязана своимъ происхожденіемъ комбинаціи плохо переваренныхъ, плохо понятыхъ или совсѣмъ непонятыхъ, во всякомъ случаѣ несогласованныхъ чужихъ вліяній. Я не говорю, разумѣется, что это единственная или даже главная причина декадентства и т. п. явленій, имѣющихъ и свои собственные корни, объ которыхъ я говорилъ въ другомъ мѣстѣ. Тутъ есть и протестъ противъ всѣмъ надоѣвшаго натурализма и узкаго позитивизма, и жажда какого-нибудь идеала, въ который можно бы было повѣрить и во имя котораго можно бы было дѣйствовать и, пожалуй, отчасти „вырожденіе", которому, однако, Максъ Нордау приписываетъ несообразно большую роль, и чисто личные мотивы вродѣ самолюбія, тщеславія и проч. Но для происходящей отсюда смуты разностороннія, но критически не продуманныя и несогласованныя чужія вліянія представляютъ превосходную пищу.

Перемелется—мука будетъ. Будемъ надѣяться, что мы переживаемъ переходное время, предѣлъ которому наступитъ тогда, когда всѣ несущіяся теперь съ сѣвера, юга, востока и запада теченія, взаимно обуздавъ другъ друга, сольются въ желанное единовѣріе, небывалое по своей многосторонности и цѣльности. Несомнѣнно во всякомъ случаѣ, что нынѣ нѣтъ страны или націи, которая бы задавала тонъ въ умственной жизни всѣмъ остальнымъ, отчего, на долго ли, на коротко ли, въ умственной и вообще духовной жизни Европы происходитъ нѣкоторая смута. Она всего яснѣе во Франціи, но сильно даетъ себя чувствовать и въ другихъ странахъ, причемъ опять-таки въ каждой странѣ есть и свои особыя, коренныя причины смуты. Мы остановимся только на нашемъ отечествѣ и то очень бѣгло, потому что впослѣдствіи еще вернемся къ этому сюжету. Нечего и говорить о концѣ прошлаго столѣтія, когда французскія идеи были единственнымъ иноземнымъ вліяніемъ на нашу „совокупность предразсудковъ и установившихся идей". Но и въ позднѣйшія времена такого, какъ нынѣ, разнообразія иностранныхъ вліяній читающая Россія никогда не испытывала. Укажутъ, можетъ быть, на конецъ пятидесятыхъ и начало шестидесятыхъ годовъ, когда переводная литература достигла у насъ размѣровъ небывалыхъ дотолѣ и едва ли превзойденныхъ теперь (по нѣкоторымъ отраслямъ навѣрно не превзойденныхъ), и когда для осуществленія общественныхъ реформъ необходимо было справляться съ иностранными образцами. Но

Digitized by Google

если имѣть въ виду разнообразіе вліяній,—что для насъ теперь именно и важно—то, конечно, 50—60 годы нельзя и сравнивать съ нашимъ временемъ. Дѣло въ томъ, что тогда въ нашей жизни происходило такое великое дѣло внутренняго преобразованія и въ такомъ опредѣленномъ направленіи, другими словами, общество и литература были такъ опредѣленно настроены, что лишь сколько-нибудь подходящія къ этому настроенію иноземныя вліянія и могли къ намъ проникать. Мыслимо ли у насъ тогда было, напримѣръ, сколько-нибудь значительное вліяніе пессимизма Шопенгауера? Конечно, нѣтъ: мы были слишкомъ жизнерадостны, чтобы даже только заинтересоваться этимъ мракомъ, а не то что увлечься имъ. Точно также, по характеру господствовавшаго настроенія, немыслимо было распространеніе какихъ бы то ни было ученій, отрицающихъ опытъ и наблюденіе или ищущихъ опоры внѣ ихъ — мистики, спиритизма, идеалистической метафизики. Вообще, несмотря на кажущееся усиленіе иноземныхъ вліяній, они пропускались черезъ нѣкоторый, такъ сказать, фильтръ, вполнѣ опредѣленный, по ту сторону котораго оставалось многое, что нынѣ имѣетъ вполнѣ свободный къ намъ доступъ. А и сами по себѣ европейскія теченія мысли теперь крайне усложнились и развѣтвились. И, между прочимъ, къ намъ проникаютъ идеи, системы идей, настроенія, составляющія продукты чисто мѣстныхъ, спеціально въ той или другой европейской странѣ выросшихъ и окрѣпшихъ разочарованій, или, напротивъ, очарованій и надеждъ. И несмотря на это ихъ спеціальное происхожденіе и несоотвѣтствіе съ условіями нашей жизни, мы не въ состояніи оказать имъ достаточное критическое сопротивленіе. Смута усиливается разнообразіемъ вліяній.

Въ большей или меньшей степени происходитъ нынѣ то же и въ другихъ европейскихъ странахъ. Вездѣ, разумѣется, есть люди, ищущіе или имѣющіе опредѣленное цѣльное міросозерцаніе, въ составѣ котораго самостоятельно перерабатываются свои и чужіе элементы — свой и чужой опытъ, свои и чужія идеи. Равнымъ образомъ вездѣ есть люди, живущіе изо дня въ день и ни объ какомъ міросозерцаніи не безпокоящіеся. Но большинство такъ называемыхъ мыслящихъ людей, не оригинальное и не самостоятельное, раздирается въ разныя стороны наплывомъ разнородныхъ вліяній, и многіе подвергаются этому процессу съ страннымъ веселіемъ и гордостью. Въ этомъ именно смыслѣ любо-

Digitized by Google

пытны отвѣты 99-и на вопросъ редакціи „Эрмитажа“. Надо только замѣтить, что всеевропейская смута въ нихъ далеко не полно представлена, и въ особенности русская.

VIII *).

О молодости.—О гг. П. Ковалевскомъ и Сениговѣ.—Смерть Гайдебурова.—Объ экономическомъ матеріализмѣ.—Изъ писемъ марксистовъ.

Мы получили письмо за подписью „Московскій студентъ“, протестующее противъ послѣднихъ строкъ статьи г. Обнинскаго „Изъ области современной этики“, напечатанной въ ноябрьской книжкѣ „Русскаго Богатства“. На вѣнкѣ, возложенномъ московскимъ студенчествомъ на гробъ Плещеева, были написаны четыре строки изъ одного стихотворенія покойнаго поэта:

Друзья, дадимъ другъ другу руки
И смѣло двинемся впередъ,
И пусть подъ знаменемъ науки
Союзъ нашъ крѣпнетъ и ростетъ.

Вполнѣ сочувствуя этому прекрасному девизу, г. Обнинскій высказываетъ, однако, слѣдующее опасеніе: „послѣ всего того, что пишется о современномъ, господствующемъ студенческомъ типѣ,—„уравновѣшенномъ“, смѣющемся надъ отцовскими идеалами, солидно винтящемъ по вечерамъ и пылкомъ лишь въ ресторанныхъ кабинетахъ, врядъ-ли представится основательнымъ опасеніе въ томъ, что надпись эта пойдетъ куда-нибудь дальше похороннаго декорума; скорѣе всего, она останется въ могилѣ, пока блюдущій за порядкомъ кладбища сторожъ не выброситъ засохшаго вѣнка“.

Авторъ письма, говоря, повидимому, не лично только отъ своего имени, видитъ въ этихъ словахъ незаслуженное оскорбленіе московскому студенчеству. Онъ не отрицаетъ справедливости характеристики г. Обнинскаго для извѣстной части учащейся молодежи вообще и московскаго студенчества въ частности, но,—пишетъ онъ,—„рядомъ съ нею есть другая, работающая, живущая высокими идеалами, проводящая время за чтеніемъ, за горячей

*) 1894, январь.

Digitized by Google

дружеской бесѣдой, рвущаяся къ живой и плодотворной дѣятельности на благо родины". Эта-то, дескать, часть студенчества и возложила вѣнокъ на гробъ Плещеева, а потому „упрекъ" г. Обнинскаго несправедлевъ, незаслуженъ.

Я думаю, что г. Обнинскій не сомнѣвается въ существованіи мыслящей, чувствущей и работающей молодежи, какъ не сомнѣваемся въ этомъ и мы, и нѣтъ, разумѣется, повода подозрѣвать искренность московскихъ студентовъ, возложившихъ вѣнокъ на гробъ Плещеева. Но авторъ письма напрасно видитъ центръ тяжести заключительныхъ словъ статьи г. Обнинскаго въ „упрекѣ": центръ этотъ лежитъ не въ „упрекѣ", а въ „опасеніи". Опасеніе же основывается не только на существованіи „современнаго господствующаго студенческаго типа", котораго и авторъ письма не отрицаетъ, а также и на всемъ складѣ современной русской жизни, какъ онъ г. Обнинскому представляется. Заключительныя слова его статьи представляютъ собою только маленькую подробность, маленькій уголокъ картины. Вопросъ не въ томъ—существуетъ-ли мыслящая и работающая молодежь и искренни-ли были возложившіе вѣнокъ на гробъ Плещеева. Вопросъ въ томъ — какъ велики ихъ шансы въ жизни...

Я готовъ идти дальше г. Обнинскаго по пути опасеній, не касаясь, разумѣется, ни автора письма изъ Москвы, ни его единомышленниковъ. Охотно вѣрю, что ихъ „союзъ подъ знаменемъ науки" окрѣпнетъ, выростетъ, и что они осуществятъ свои нелицемѣрныя мечты о „живой и плодотворной дѣятельности на благо родины". Но „знамя науки" вообще... Великое это знамя, и нынѣ, когда изо всѣхъ щелей полѣзли мошки мистицизма и букашки метафизики, съ одной стороны, а всяческіе практическіе дѣльцы—съ другой, чтобы сорвать и растоптать это знамя, болѣе чѣмъ когда-нибудь нуженъ союзъ для охраненія его. Не надо, однако, забывать, что, кромѣ открытыхъ враговъ науки, есть люди, съ особеннымъ азартомъ или апломбомъ берущіе на себя роль ея знаменосцевъ и компрометирующіе хуже всякихъ враговъ. Наука великое дѣло, но это еще не оправдываетъ той надменности, которую слишкомъ часто обнаруживаютъ какъ оффиціальные жрецы науки, такъ и приватъ-звонари ея храма. Надменность эта бываетъ двоякая: одна — чисто внѣшняя и болѣе забавная, чѣмъ вредная, величающаяся передъ профанами, другая— оскорбляющая человѣческую совѣсть. Я очень желалъ-бы, чтобы молодые люди,

Digitized by Google

чтущіе знамя науки, никогда не впадали въ этотъ грѣхъ, но имѣю многія основанія опасаться...

Что касается перваго вида надменности, то за примѣрами ходить недалеко. Въ октябрьской книжкѣ „Сѣвернаго Вѣстника“ напечатана статья харьковскаго профессора г. П. Ковалевскаго „Современныя нервныя болѣзни нашего общества“, начинающаяся такъ: „У меня нерѣдко возникалъ вопросъ—долженъ-ли представитель науки, представитель отвлеченной спеціальности, по временамъ покидать чертоги своей небесной науки и отъ времени до времени нисходить на землю, къ простымъ смертнымъ, дабы и имъ повѣдать слово правды? На этотъ счетъ существуетъ два отвѣта“. Одни ученые люди полагаютъ, что не слѣдуетъ, такъ сказать, метать бисеръ передъ свиньями, другіе же думаютъ, что, напротивъ, они обязаны дѣлиться своимъ знаніемъ съ толпой. „Грѣшный человѣкъ, — продолжаетъ г. Ковалевскій,—я держусь послѣдняго мнѣнія, но съ нѣкоторыми ограниченіями. Я не понималъ-бы спеціалиста, который всю свою дѣятельность посвятилъ популяризаціи науки, но я не вполнѣ согласился-бы и съ тѣмъ спеціалистомъ, который порицалъ бы общедоступное изложеніе научныхъ данныхъ. Я лично, занятый въ учебное время дѣлами своей спеціальности, въ вакаціонное время позволяю себѣ опуститься съ облаковъ на землю и поговорить съ простыми людьми объ ихъ нуждахъ и горестяхъ въ отдѣлѣ моей спеціальности. Не думаю, чтобы такая бесѣда составляла преступленіе, мнѣ же она доставляетъ и отдыхъ, и удовольствіе“.

Боже! какъ этотъ человѣкъ великолѣпенъ! Главное его украшеніе составляетъ снисходительность къ намъ, „простымъ людямъ“. Онъ, — не простой человѣкъ, совсѣмъ изъ другой глины слѣпленный, большую часть года живетъ въ „облакахъ“, въ „чертогахъ небесной науки“, и ничего, кромѣ амврозіи и нектара, въ ротъ не беретъ. Несмотря, однако, на свою привычку къ пищѣ боговъ и надзвѣзднымъ ароматамъ, онъ, правда съ нѣкоторой оглядкой, — не „грѣшный“ ли онъ человѣкъ, не совершаетъ-ли „преступленія“ — снисходитъ „въ вакаціонное время“ къ намъ на землю, съ доброй снисходительной улыбкой, великодушный, лучезарный... Табло! Русскіе живописцы и поэты,—вотъ вамъ тема, достойная искуснѣйшей изъ вашихъ кистей и краснорѣчивѣйшаго изъ вашихъ перьевъ!.. Но берите именно этотъ моментъ сошествія на землю, потому что дальнѣйшая исторія г. П. Ковалевскаго на

Digitized by Google

землѣ уже не столь великолѣпна. Не удивительно, что человѣкъ, привыкшій шествовать по облакамъ и небесному эфиру, совсѣмъ не умѣетъ ходить по такой грубой матеріи, какъ земля. Иногда онъ становится необычайно и, можно даже сказать, неприлично игривъ, говоря, напримѣръ: „Что же касается горчишниковъ, лавро-вишневыхъ капель и проч., то ужъ, пожалуйста, это все оставьте на нашу долю. Раскрывать эти тайны намъ даже невыгодно, ибо тогда достаточно будетъ купить номеръ „Сѣвернаго Вѣстника“, чтобы устранить визиты знаменитостей петербургскаго міра. По моему, это будетъ не коллегіально, и потому я о спеціальномъ лѣченіи скромно умолчу“. Ахъ, какой милый шутникъ этотъ лучезарный человѣкъ, когда ему вздумается намекнуть, что боги науки не только амврозіей и нектаромъ питаются, а и до гонораровъ любезно снисходятъ... Но не всегда г. П. Ковалевскій шутитъ. Онъ бываетъ и трагиченъ. Пришелецъ изъ надзвѣздныхъ краевъ, онъ знаетъ, какія опасности грозятъ ему со стороны грубыхъ обитателей земли и съ открытою грудью идетъ къ нимъ навстрѣчу, смѣло размахивая „мечомъ картоннымъ“. Онъ говоритъ: „я позволяю себѣ нарушить общественныя приличія и заговорить о сифилисѣ открыто и публично... я рискую такою откровенностью заслужить титулъ неприличнаго и нарушителя общественной нравственности... я рискую подвергнуться общественной цензурѣ и общественному остракизму“... И далѣе, говоря объ томъ, что извѣстный процентъ (30—50% по его счету) спинной сухотки приходится на сифилитиковъ, г. Ковалевскій достигаетъ уже вершинъ трагическаго паѳоса: „Господа табетики, вижу, какъ вы возмущены тѣмъ, что я раскрываю вашъ секретъ. Вы готовы меня избить. Не боюсь. Вы слишкомъ слабы“. Но г. Ковалевскій все-таки готовъ на подвигъ искупленія: „Убейте-же меня, восклицаетъ онъ,—но вспомните о вашей болѣзни и пожалѣйте тѣхъ, кто заболѣлъ, благодаря вамъ“...

Надо, наконецъ, успокоить этого взволнованнаго, хотя и самоотверженнаго небожителя, очевидно, плохо знающаго наши земныя дѣла и отношенія. Успокойтесь, г. профессоръ. Вы рѣшительно ничѣмъ не рискуете. У насъ на землѣ, дѣйствительно, не принято говорить о сифилисѣ въ салонахъ или тамъ за обѣдомъ, что ли, но въ научной статьѣ, хотя-бы и самой популярной — сколько угодно, мы только спасибо скажемъ, если вы дѣло говорить будете. И многіе до васъ говорили и ни „остракизму“, никакой дру-

Digitized by Google

гой непріятности за это не подвергались. И на счетъ „господъ табетиковъ“ вы тоже напрасно безпокоитесь, — ни избивать, ни убивать васъ они не станутъ. Помилуйте, съ какой стати! Во-первыхъ, мы живемъ въ благоустроенномъ государствѣ, гдѣ есть и полиція и юстиція и гдѣ, конечно, несмотря на это, разное случается, но ваши спеціальные шансы ничѣмъ не отличаются отъ шансовъ прочихъ вашихъ согражданъ. Во-вторыхъ, совсѣмъ не вы открыли „секретъ господъ табетиковъ“,—мы его и раньше знали, а вы даже указали имъ лазейку: каждый „господинъ табетикъ“ можетъ зачислить себя въ составъ 30—50% спинной сухотки, которая не зависитъ отъ сифилиса. Вложите-же свой картонный мечъ въ ножны и продолжайте спокойно свое дѣло...

Что г. П. Ковалевскій, какъ и всякій другой свѣдущій человѣкъ, можетъ дѣлать полезное дѣло, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. О заслугахъ его въ его чистой спеціальности судить не могу,—надѣюсь, что онѣ есть,—но во всякомъ случаѣ, когда онъ нисходитъ на землю, его надменность разрѣшается болтливостью и напыщенностью. Онъ милостиво бросаетъ намъ крохи съ роскошнаго пира науки, а мы... мы смѣемся или жалѣемъ, что наука такъ небрежно пускается въ обращеніе. Такъ, напримѣръ, его вышедшая въ прошломъ году книжка „Іоаннъ Грозный и его душевное состояніе“ могла бы быть очень цѣннымъ трудомъ, какъ психіатрическій анализъ загадочный личности перваго московскаго царя, надъ которою столь много и столь противорѣчиво трудились наши историки. Анализъ спеціалиста-психіатра могъ бы покончить всѣ эти споры. Но у г. П. Ковалевскаго ничего не вышло, кромѣ общихъ мѣстъ и плохого пересказа историческихъ данныхъ. Таковы формы и результаты внѣшней, смѣшной надменности людей науки.

Было-бы небезъинтересно въ подробностяхъ сравнить работы гг. П. Ковалевскаго и Е. Соловьева, недавно написавшаго біографію Ивана Грознаго для „Біографической библіотеки“ Ф. Павленкова; но это было-бы большимъ отступленіемъ отъ предмета сегодняшней нашей бесѣды, и я предпочитаю остановиться на третьей работѣ объ Иванѣ Грозномъ, — на книжкѣ г. Іосифа Сенигова „Народное воззрѣніе на Іоанна Грознаго“.

Г. Іосифъ Сениговъ есть, повидимому, одинъ изъ оффиціальныхъ жрецовъ науки. Какъ видно изъ примѣчанія, его книжка составляла предварительно предметъ публичной лекціи, читанной

Digitized by Google

въ петербургскомъ университетѣ. На оборотѣ напечатаны заглавія произведеній „того же автора“: „О первоначальной лѣтописи Новгорода Великаго“, ц. 60 к., „О древнѣйшемъ лѣтописномъ сводѣ Новгорода Великаго“, ц. 1 р. 25 к., „О новгородскихъ лѣтописяхъ и о Россійсской Имперіи В. Н. Татищева“, ц. 2 р. 50 к. Привожу цѣны, потому что онѣ отчасти говорятъ, по крайней мѣрѣ, о размѣрахъ работъ г. Сенигова. И онъ не устаетъ въ своей научной производительности. На стр. 30 онъ сообщаетъ: „Болѣе полное и всестороннее разсмотрѣніе этихъ причинъ (причинъ равнодушія, съ которымъ народъ встрѣтилъ нѣкоторыя реформы Іоанна Грознаго) любительницы и любители русской исторіи найдутъ въ моемъ сочиненіи „Вѣче и сельскій сходъ на Руси“, написаніемъ котораго я занятъ въ настоящее время“. Изъ этого сообщенія, между прочимъ, видно, что г. Сениговъ не только ученый, а и галантный человѣкъ, такъ какъ, вопреки невѣжливому обычаю, выдѣляетъ „любительницъ русской исторіи“ изъ общаго состава любителей. Но главное достоинство г. Сенигова есть осторожность, вполнѣ, конечно, и подобающая серьезному человѣку науки, которому скороспѣлые выводы и обобщенія должны претить,—осторожность и логичность.

Менѣе осторожный ученый, задавшись мыслью изслѣдовать народное воззрѣніе на Іоанна Грознаго, прямо обратился-бы къ памятникамъ народнаго творчества—пѣснямъ, сказкамъ, разсказамъ. Г. Сениговъ не таковъ. Онъ приступаетъ къ дѣлу такъ: „прежде чѣмъ обратиться къ изложенію событій царствованія Іоанна Грознаго съ народной точки зрѣнія, считаю нужнымъ опредѣлить, какую именно точку зрѣнія должно признать народною,—есть-ли эта точка зрѣнія политическая, нравственно-религіозная, экономическая или какая-либо другая“. Видите, какъ осторожно: г. Сениговъ не хочетъ прикоснуться къ фактическому матеріалу прежде, чѣмъ опредѣлитъ, какова именно народная точка зрѣнія. Но „любительницы и любители русской исторіи“ не безъ удивленія встрѣчаютъ дальнѣйшее изложеніе г. Сенигова. Послѣ вышеприведеннаго онъ безъ передышки продолжаетъ: „Чтобы опредѣлить болѣе яснымъ, рельефнымъ образомъ, какую именно точку зрѣнія на политическія событія того или другого царствованія признать народною, я приведу народный разсказъ, который объясняетъ причину происхожденія одного внутренняго политическаго событія царствованія Іоанна IV; въ этомъ разсказѣ рѣшается вопросъ:

Digitized by Google

отчего на Руси завелась измѣна". Что же это такое? Прежде изложенія событій съ народной точки зрѣнія, надо опредѣлить эту точку зрѣнія, а для опредѣленія этой точки зрѣнія надо обратиться къ народному разсказу объ одномъ событіи... Это какъ будто на чехарду похоже. И, къ сожалѣнію, этой забавной игры ума въ произведеніи г. Сенигова слишкомъ много. Не успѣете вы остановиться на какой-нибудь его мысли, какъ уже черезъ нее съ истинно акробатическою внезапностью скачетъ другая и въ свою очередь ждетъ скачка черезъ себя. Приведя народный разсказъ о томъ, „отчего на Руси завелась измѣна" (причемъ никакого историческаго событія, конечно, на лицо не оказывается), г. Сениговъ замѣчаетъ; „не надо забывать, что народъ не могъ и не можетъ исключительно съ одной какой-нибудь точки зрѣнія смотрѣть на факты своего прошлаго и настоящаго". Значитъ, повидимому, нечего и разсуждать о выборѣ между „политической, религіозно-нравственной, экономической или какой-либо другой" точкой зрѣнія. Это точно, говоритъ г. Сениговъ, но можно уловить *преобладающую* точку зрѣнія. А далѣе уже прямо: „По моему мнѣнію, не только преобладающею, но и самою древнею, первоначальною точкою зрѣнія, съ которой обыкновенно народъ смотрѣлъ и смотритъ на событія своей прошлой и настоящей жизни, является точка зрѣнія экономическая". Доказательства, приводимыя г. Сениговымъ въ пользу этой своей мысли, изумительны. „Въ упомянутомъ мною только что народномъ разсказѣ „Отчего на Руси завелась измѣна", — говоритъ онъ,—происхожденіе боярской измѣны вполнѣ объясняется съ экономической точки зрѣнія. Царь, который пожалѣлъ одной бочки золота для мужика, спасшаго ему престолъ и доставившаго ему 12 бочекъ золота, а также ежегодную дань съ иноземныхъ государей, наказывается измѣною бояръ. Если вникнуть во внутренній смыслъ этого народнаго разсказа, то выходитъ, что бояре потому могли измѣнить своему народу, его интересамъ, что самъ царь подалъ примѣръ таковой измѣны". Надо замѣтить, что въ приведенномъ г. Сениговымъ разсказѣ собственно о *боярской* измѣнѣ нѣтъ *ни одного* слова. Но интереснѣе вопросъ: причемъ тутъ экономическая точка зрѣнія? Неужели г. Сениговъ до такой степени наивенъ, что во всякомъ разсказѣ, гдѣ такъ или иначе фигурируютъ деньги, золото, увидитъ экономическую точку зрѣнія? Повидимому, такъ, потому что вѣдь ровно ничего другого

Digitized by Google

„экономическаго“ въ разсказѣ нѣтъ. Дѣло, однако, въ томъ, что „экономическая точка зрѣнія“ есть для нашего ученаго какой-то магическій ключъ ко всѣмъ замкамъ, или еще вѣрнѣе—разрывъ-трава, которую стоитъ только приложить къ любому замку или запору, чтобы всѣ преграды разсыпались.

Почему нѣтъ народныхъ пѣсенъ, касающихся, напримѣръ, удѣльныхъ междуусобій? Нѣкоторые полагаютъ, что такія пѣсни были, но затерялись и еще могутъ быть открыты, или же вошли въ составъ наслоеній какого-нибудь извѣстнаго цикла пѣсенъ. Г. Сениговъ рѣшительно отрицаетъ такое объясненіе, — дѣло просто въ экономической точкѣ зрѣнія: „Признавая, что преобладающею точкою зрѣнія у нашего народа на то или другое политическое событіе или лицо была и есть экономическая, мы получаемъ возможность съ достаточною вѣроятностью предполагать, что о нѣкоторыхъ событіяхъ своего прошлаго, какъ напримѣръ, объ удѣльныхъ междуусобіяхъ, причинившихъ не мало бѣдъ населенію древне-русскихъ селъ и городовъ, народъ могъ не слагать пѣсенъ, такъ какъ воспоминаніе объ этихъ событіяхъ не представляло для него ничего отраднаго, на чемъ бы могла успокоиться его душа, по временамъ тревожимая экономическимъ гнетомъ“. Любительницы и любители русской исторіи могутъ спросить,—да развѣ народное творчество возбуждается только пріятными, отрадными явленіями? — Да, да и да, отвѣчаетъ г. Сениговъ (стр. 26, 30, 33, 40).—Однако, продолжаютъ любительницы, эпоха Іоанна Грознаго не могла, повидимому, возбуждать пріятныя, отрадныя впечатлѣнія, а между тѣмъ произведеній народного творчества, относящихся къ этой эпохѣ, сохранилось много, и въ нихъ все кровь, казни, гнѣвъ.—Это совсѣмъ другое дѣло: народъ смотрѣлъ на Іоанна Грознаго и его царствованіе съ экономической точки зрѣнія и видѣлъ въ Грозномъ защитника своего отъ экономическаго гнета бояръ; защита эта выражалась, съ одной стороны, казнями бояръ, а съ другой — земскими реформами.—Однако реформами этими народное творчество не вдохновлялось?—Это понятно: „разсматриваемыя съ экономической точки зрѣнія, эти реформы едва ли могли казаться нашимъ предкамъ особенно привлекательными; служба выборныхъ старостъ и цѣловальниковъ оказывалась весьма тягостною, такъ какъ съ нею соединялась вся отвѣтственность за сборы податей; вслѣдствіе чего самый этотъ сборъ, предоставленный выборнымъ отъ общинъ,

Digitized by Google

имѣлъ характеръ повинности".—Но, возражаютъ любительницы русской исторіи, народное творчество говоритъ о казняхъ не только бояръ, а и, напримѣръ, „мужиковъ новгородскихъ", и о томъ, что „сталъ православный царь грознѣй прежняго, онъ за правду, за неправду дѣлалъ казни лютыя".

На это возраженіе у г. Сенигова нѣтъ отвѣта. Онъ можетъ сослаться только вообще на популярность Ивана Грознаго, а причина этой популярности заключается въ томъ, что „онъ былъ вполнѣ народнымъ государемъ, являясь истиннымъ представителемъ великорусскаго пламени, носителемъ и проводникомъ его основныхъ началъ самодержавія, православія и народности". Этимъ своимъ положеніемъ г. Сениговъ очень дорожитъ и повторяетъ его нѣсколько разъ (стр. 43, 45, 47, 48). Спрашивается, однако, какъ связать его съ экономическою точкою зрѣнія, которая руководитъ и самимъ г. Сениговымъ, и русскимъ народомъ на всемъ протяженіи его исторіи? Почему г. Сениговъ отрицаетъ въ народныхъ воззрѣніяхъ нравственно-религіозную, политическую и всякую иную точку зрѣнія и усваиваетъ имъ только экономическую, когда въ формулѣ „самодержавіе, православіе и народность" есть элементы и нравственно-религіозные, и политическіе, и не достаетъ именно только экономическихъ? Мудрый Эдипъ, разрѣши!

Я могъ бы привести еще много курьезнѣйшихъ разсужденій г. Сенигова съ „экономической точки зрѣнія", но думаю, что послѣ сказаннаго игра не стоитъ свѣчъ. Да и не ради его самого я объ немъ рѣчь веду, а частію въ интересахъ нижеслѣдующаго, частію же для иллюстраціи тѣхъ выводовъ, къ которымъ мы пришли въ декабрьской книжкѣ „Русскаго Богатства" за истекшій годъ. Любопытно, однако, знать—какимъ образомъ сложилось столь странное коловращеніе идей г. Сенигова? Мнѣ ничего не извѣстно о г. Сениговѣ, кромѣ упомянутой брошюры о народномъ воззрѣніи на Ивана Грознаго и заглавій еще трехъ его произведеній, но дѣло, мнѣ кажется, могло происходить такъ. Молодой, не особенно даровитый, лишенный всякой оригинальности мысли, но очень трудолюбивый ученый, степенно занимался новгородскими лѣтописями. Погруженный въ эти сѣдые документы, переходя подобно Гетевскому Вагнеру, von Buch zu Buch, von Blatt zu Blatt, онъ не особенно горячо интересовался, какъ дѣлами текущей жизни, такъ и различными теоріями исто-

Digitized by Google

рическаго процесса. Онъ имѣлъ, однако, извѣстный образъ мыслей относительно русскихъ дѣлъ, выраженный еще полстолѣтія тому назадъ формулою „самодержавіе, православіе и народность". По отношенію къ Іоанну Грозному онъ тоже примкнулъ къ готовому взгляду, по которому первый московскій царь былъ царемъ сознательно демократическимъ, истреблявшимъ бояръ въ интересахъ народа. Словомъ, молодой ученый принадлежалъ къ числу тѣхъ, про которыхъ говорятъ, что они пороху не выдумаютъ, но, при его трудолюбій, онъ могъ бы принести извѣстную пользу по части фактической разработки историческихъ данныхъ. На бѣду до него донеслось вѣяніе теоріи „экономическаго матеріализма", нынѣ многихъ соблазняющей какъ въ Европѣ, такъ и у насъ. Донеслось оно не изъ первыхъ рукъ, въ сильно упрощенномъ видѣ, и, благодаря малому знакомству молодого ученаго съ философско-историческими теоріями вообще, ослѣпило его своею простотою и ясностью, но не проникла въ самое существо его міросозерцанія. Вслѣдствіе этого, въ головѣ молодого ученаго образовался, если позволительно такъ выразиться, нѣкоторый фаршъ. Онъ не только самъ исповѣдуетъ самодержавіе, православіе и народность, и вмѣстѣ съ тѣмъ экономическій матеріализмъ, но и всему народу русскому на всемъ протяженіи его исторіи усваиваетъ эту странную смѣсь, этотъ фаршъ, ингредіенты котораго могутъ быть только механически смѣшаны.

Все это лишь мое предположеніе: г. Сениговъ нигдѣ не упоминаетъ о теоріи экономическаго матеріализма. Но онъ стоитъ именно на ея точкѣ зрѣнія, — конечно, очень своеобразно примѣняя ее,—когда усматриваетъ исключительно экономическую подкладку въ избранной имъ для изслѣдованія исторической эпохѣ. И иначе, какъ вліяніемъ плохо усвоенной, непереваренной теоріи экономическаго матеріализма, я не могу объяснить себѣ удивительные курбеты мысли г. Сенигова. Очевидно, во всякомъ случаѣ, что желаніе подвести экономическій фундаментъ подъ историческія явленія налетѣло на него откуда-то со стороны и не продумано имъ самостоятельно.

Въ этой же книжкѣ „Русскаго Богатства" читатель найдетъ или уже нашелъ статью г. Карѣева о книгѣ Лоріа. Въ книгѣ этой тоже много курьезныхъ объясненій историческихъ явленій съ экономической точки зрѣнія, хотя нашъ соотечественникъ далеко превзошелъ итальянскаго писателя въ этомъ отношеніи

Digitized by Google

Ни то, ни другое произведеніе не должно быть поставлено въ счетъ самой теоріи экономическаго матеріализма, которая и сама по себѣ достаточно одностороння, чтобы еще принимать на себя отвѣтственность за ея отраженія въ разныхъ кривыхъ зеркалахъ. Но дѣло въ томъ, что такихъ отраженій нынѣ развелось чрезвычайно много какъ въ Европѣ, такъ и у насъ, и разобраться въ нихъ дѣло не легкое. Собственно общаго между произведеніями Лоріа и г. Сенигова только пріемы искусственной натяжки въ объясненіи историческихъ фактовъ исключительно съ экономической точки зрѣнія. Но затѣмъ они рѣзко различаются не только по своему общему міросозерцанію, но и потому еще, что Лоріа, какъ ни какъ, связываетъ свои концы съ концами, а произведеніе г. Сенигова есть, дѣйствительно, нѣчто фаршированное. Эта-то фаршированность мысли, составляя отличительную черту многихъ „молодыхъ людей, не достигшихъ 35-лѣтняго возраста“ какъ въ Европѣ, такъ и у насъ, есть вмѣстѣ съ тѣмъ источникъ той внутренней, оскорбляющей человѣческую совѣсть надменности, объ которой упомянуто выше.

Здѣсь было бы соблазнительно припомнить нѣкоторыя изъ приведенныхъ мною въ декабрьской книжкѣ надменныхъ отвѣтовъ „молодыхъ, не достигшихъ 35 лѣтъ“ корреспондентовъ „Эрмитажа“: все это, несомнѣнно, фаршированныя головы, притомъ необычайно гордо поставленныя. Но я это дѣло пока отложу, чтобы не отрываться отъ теоріи экономическаго матеріализма и связаннаго съ нею марксизма, хотя мнѣ все-таки придется сказать нѣсколько словъ вообще о нашихъ „молодыхъ людяхъ, не достигшихъ 35-лѣтняго возраста“.

Той стороны, съ которой подошелъ къ учащейся молодежи г. Обнинскій, я не коснусь, — объ этомъ было достаточно говорено. Это во-первыхъ. Во-вторыхъ, если молодые люди, „смѣющіеся надъ отцовскими идеалами“ и въ то же время „солидно винтящіе“ и проч., и могутъ имѣть свое значеніе въ общественной жизни, то собственно ихъ психологія, скудная и упрощенная, нисколько не интересна. Въ-третьихъ, я имѣю въ виду не спеціально учащуюся молодежь, а и отучившуюся, и другихъ поучающую, послѣднюю даже въ особенности. Установленный французскими декадентами предѣльный возрастъ молодости имѣетъ

Digitized by Google

значеніе и у насъ, и можетъ быть по тѣмъ же самымъ отчасти причинамъ. Вы нынѣ сплошь и рядомъ можете встрѣтить людей, приближающихся къ 35-лѣтнему возрасту или даже достигшихъ его, которые, утративъ уже многія качества молодости, все еще остаются въ составѣ „молодого поколѣнія". Ссылаясь на какой-то якобы общій историческій законъ смѣны идеаловъ чуть не каждыя десять лѣтъ, они такъ или иначе враждуютъ съ „отцовскими идеалами", но собственно „молодыми" или „дѣтьми" они числятся больше потому, что еще ничего цѣннаго не успѣли сдѣлать, и это даетъ имъ право считать себя „подающими надежды". Будемъ надѣяться,—„надежды юношей питаютъ, отраду старцамъ подаютъ",—но пора бы, наконецъ, предъявить и заслуги, а возстаніе противъ „отцовскихъ идеаловъ", само по себѣ, еще не есть заслуга. Мы уже много видѣли такихъ возстаній, которыя, однако, покрасовавшись нѣкоторое время въ лучахъ собственнаго удовольствія, лопались, какъ мыльные пузыри...

31 декабря умеръ П. А. Гайдебуровъ, редакторъ-издатель „Недѣли". Безъ малаго двадцать пять лѣтъ своей жизни потратилъ этотъ труженикъ литературы на „Недѣлю", добившись подъ конецъ значительнаго успѣха. Самъ онъ писалъ мало сравнительно, но всю душу свою клалъ въ „Недѣлю" и отличался вообще необыкновенною преданностью литературѣ и ея интересамъ, что особенно сказалось въ его многолѣтней дѣятельности въ составѣ комитета Литературнаго фонда. Умеръ онъ, можно сказать, за работой, потому что еще за нѣсколько часовъ передъ смертью читалъ корректуру и въ промежуткѣ между предсмертными болями дѣлалъ распоряженія относительно слѣдующаго номера „Недѣли", не думая, что ему уже не придется увидѣть переходъ его любимаго дѣтища въ новый 1894 годъ. Будучи человѣкомъ 60-хъ годовъ, онъ, однако, никоимъ образомъ, не можетъ быть обвиняемъ въ упорствѣ по части своихъ „отцовскихъ идеаловъ" и въ нежеланіи предоставить честь и мѣсто новымъ литературнымъ наслоеніямъ. Напротивъ, у него была какая-то странная слабость къ провозвѣстникамъ „новыхъ словъ",—и сколько же ихъ прошло по страницамъ „Недѣли", гордо потрясая знаменами возстанія! Именно знаменами, а не знаменемъ, потому что на каждомъ знамени былъ новый девизъ, отличный и отъ предъидущихъ, и отъ послѣдующихъ. Общаго между ними только и было, что отрицательный фактъ возстанія. „Идеалы

Digitized by Google

отцовъ и дѣдовъ надъ нами безсильны",—говорилось въ „Недѣлѣ" четыре года тому назадъ. То же самое говорилось въ ней неоднократно и раньше. Но то, во имя чего происходило это отрицаніе отцовскихъ идеаловъ, было очень различно въ разное время: то это была „деревня" и „самобытность", то „чистая красота", „дѣйствительность", „бодрящія впечатлѣнія"... И всякій разъ эти „новыя слова" говорились отъ лица молодого поколѣнія, и всякій разъ они въ скорости тонули въ морѣ забвенія даже для самой „Недѣли". Поучительные прецеденты для нынѣ возстающихъ.

Если вы нынѣ встрѣтите молодого человѣка (до предѣльнаго возраста включительно), который даже съ нѣсколько излишней торопливостью заявитъ вамъ, что онъ „матеріалистъ", то это не значитъ, чтобы онъ былъ матеріалистомъ въ обще философскомъ смыслѣ, въ какомъ у насъ въ старину были поклонники Бюхнера и Молешота. Очень часто вашъ собесѣдникъ ни малѣйше не интересуется ни метафизическою, ни научною стороною матеріализма и даже весьма смутное понятіе объ нихъ имѣетъ. Онъ хочетъ сказать, что онъ послѣдователь теоріи экономическаго матеріализма, да и то въ особенномъ, условномъ смыслѣ, объ которомъ у насъ сейчасъ рѣчь пойдетъ. Онъ станетъ вамъ доказывать, что имъ, молодому поколѣнію, надоѣли идеализмъ и утопичность отцовъ и что они требуютъ трезваго, научнаго мышленія, чуждаго субъективныхъ увлеченій. Въ тотъ же самый день вы можете, просматривая новую книжку журнала, прочитать въ ней статью, въ которой излагается совсѣмъ иная новая мозговая линія: молодому поколѣнію надоѣло именно трезвое, научное мышленіе, и ему мало дѣла до такихъ пустяковъ, какъ экономическія явленія, оно въ высь смотритъ, въ мистическую и метафизическую высь. Возможна для васъ такая удача, что въ предѣлахъ того же дня вы встрѣтите еще и толстовца, и декадента, и ничшіанца,—и все это будетъ говорить отъ имени молодого поколѣнія и съ удивительною наивностью, граничащею, впрочемъ, съ наглостью, требовать, чтобы и вы разорвали съ „традиціями прошлаго", потому что, дескать, во-первыхъ, мы—молодое поколѣніе, а во-вторыхъ, „съ нами Богъ!"—какъ буквально выразился въ печати одинъ изъ этихъ скромныхъ людей, или „за насъ исторія, непреоборимый естественный ходъ вещей",—какъ говорятъ другіе. Они до такой степени ослѣплены

Digitized by Google

и самоувѣрены, что имъ и въ голову не приходитъ мысль, что если бы даже дѣйствительно все молодое поколѣніе было единомысляще, то это все-таки бы еще не рѣшало вопроса объ истинѣ, ибо не разъ въ исторіи цѣлыя молодыя поколѣнія во тьмѣ ходили и на пустыя или дрянныя дѣла свою жизнь ухлопывали. Но вѣдь нѣтъ и единомыслія. Эти господа копошатся каждый въ своемъ углу, и, видя около себя десятокъ-другой Ивановъ и Петровъ, не видятъ изъ-за этихъ деревьевъ лѣсу. А если вы поближе въ нихъ всмотритесь, то увидите, что и въ своемъ-то углу они не могутъ разобраться, что и тамъ-то Иванъ не сговорился съ Петромъ и вынужденъ отъ него отрекаться: это, молъ, не настоящій, а настоящіе—я, да два Сидора, да другой Петръ.

Я недавно говорилъ о „народникахъ". Я старался показать, что они не успѣли до сихъ поръ сколько-нибудь обстоятельно не только обосновать, а даже формулировать свои взгляды, а между тѣмъ успѣли уже обнаружить противорѣчіе этихъ взглядовъ съ настоятельнѣйшимъ требованіемъ нашей жизни; требованіемъ столь настоятельнымъ, что безъ его удовлетворенія всѣ добрыя намѣренія даже самихъ народниковъ должны расплыться въ мірѣ прекрасныхъ словъ и мечтаній. Но въ виду постановки вопроса въ книжкѣ г. В. В. „Наши направленія", по поводу которой я писалъ, мнѣ пришлось оговориться, что ни для кого не обязательно выбирать между „народничествомъ" и „марксизмомъ". Нѣсколько словъ, сказанныхъ мною объ этомъ противоположеніи, было достаточно, чтобы взволновать господъ марксистовъ. Они кстати припомнили мнѣ и очень уже старые мои грѣхи противъ русскаго марксизма, тѣ самые, которые въ свое время вызвали „Письмо Карла Маркса", напечатанное въ 1885 г. въ „Юридическомъ Вѣстникѣ". Я получилъ нѣсколько писемъ. Нѣкоторыя мѣста изъ этихъ писемъ представляютъ, мнѣ кажется, общій интересъ, и я ихъ приведу.

Одно письмо подписано во множественномъ числѣ: „Марксисты". Авторы письма находятъ, что я обнаруживаю или „неспособность понять ихъ точку зрѣнія, или желаніе путемъ искаженій скомпрометировать ее въ глазахъ читающей публики". Но такъ какъ авторы признаютъ за мною вообще нѣкоторыя „умственныя способности" и нѣкоторую „нравственную личность", то они недоумѣваютъ. „Своей формулировкой—пишутъ они—вы, вмѣстѣ

Digitized by Google

съ г. В. В., приписываете намъ какую-то активную дѣятельность въ сторону разрушенія существующей экономической организаціи, между тѣмъ, какъ основной нашей точкой исхода, на которой мы строимъ свою практическую программу, является, напротивъ, убѣжденіе, что характеръ нашей экономической эволюціи, какъ до сихъ поръ не зависѣлъ, такъ не можетъ зависѣть и въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ отъ той или другой дѣятельности интеллигенціи. Съ начала 70-хъ годовъ вы доказываете существованіе въ Россіи особыхъ условій, благодаря которымъ она можетъ миновать капиталистическую стадію развитія. Мы отрицаемъ наличность такихъ условій. Мы находимъ, что ходъ экономической эволюціи, какъ до сихъ поръ состоялъ въ разрушеніи экономической организаціи, унаслѣдованной отъ крѣпостного права, такъ и впредь будетъ отличаться тѣмъ же характеромъ. Этотъ взглядъ нашъ неразрывно связанъ съ убѣжденіемъ, что экономическая эволюція при настоящихъ условіяхъ можетъ совершаться только инстинктивнымъ путемъ, такъ, какъ она совершалась до сихъ поръ повсюду въ Западной Европѣ, и что сознательная дѣятельность интеллигенціи не можетъ измѣнить характеръ этой эволюціи".

Это — самая существенная часть письма, какъ указываютъ и сами авторы его. Если читатель припомнитъ вышеупомянутое „Письмо Карла Маркса", то онъ увидитъ, что самъ Марксъ былъ далеко не столь увѣренъ въ непреклонности историческаго процесса, какъ „Марксисты". Въ принципѣ онъ допускалъ, напротивъ, полную возможность сознательнаго воздѣйствія на ходъ нашей экономической эволюціи. Я слыхалъ, впрочемъ, что Марксъ говорилъ о себѣ, что онъ вообще „не марксистъ", и это дѣлаетъ большую честь не только его остроумію, но и широтѣ его взглядовъ. Далѣе, я не совсѣмъ понимаю, какъ можетъ идти рѣчь объ какой-бы то ни было „практической программѣ" тамъ, гдѣ невозможно сознательное воздѣйствіе и гдѣ все идетъ „инстинктивнымъ путемъ" и не можетъ идти иначе. И недоумѣніе мое по этому поводу не разсѣевается неясною оговоркою насчетъ какихъ-то „настоящихъ условій" и о „болѣе или менѣе близкомъ будущемъ". Я не знаю, объ чемъ именно тутъ идетъ рѣчь. Но если эти условія не допускаютъ сознательнаго воздѣйствія, такъ не допускаютъ они и практической программы. Не смѣю утверждать, что не ясна мысль авторовъ письма, но выраженія этой мысли во всякомъ случаѣ не ясны.

Digitized by Google

Другое письмо подписано инициалами, но въ текстѣ авторъ говоритъ о себѣ: „я—русскій марксистъ, и притомъ оскорбленный вами!“ Буквально такъ, и съ восклицательнымъ знакомъ. Но такъ какъ въ дальнѣйшемъ изложеніи авторъ говоритъ отъ лица марксистовъ вообще, то я надѣюсь, что лично ему никакого оскорбленія я не нанесъ. Тѣмъ не менѣе, онъ очень суровъ и долженъ былъ „побороть непріятное чувство, возникающее при личномъ частномъ обращеніи“ ко мнѣ съ письмомъ. Онъ пишетъ: „Вы утверждали передъ вашими читателями, что русскіе марксисты прямо настаиваютъ на необходимости разрушить нашу экономическую организацію, обезпечивающую трудящемуся самостоятельное положеніе въ производствѣ. Отъ какихъ это марксистовъ вы слышали, или гдѣ въ ихъ произведеніяхъ читали, что они прямо или даже косвенно настаиваютъ на лишеніи хозяйственной самостоятельности работника — крестьянина и кустаря?! Нѣсколько ниже вы сами стараетесь вразумить г. В. В., что „процессъ, котораго онъ ждетъ въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ, въ зависимости отъ какихъ-то прогрессивныхъ подвиговъ интеллигенціи, происходитъ сейчасъ передъ его глазами“. Этотъ процессъ состоитъ въ томъ, что масса крестьянства „раскрестьянивается“: „крестьянское хозяйство уже въ теченіе многихъ лѣтъ падаетъ; деревня раскалывается на два слоя, выдѣляя богатыхъ кулаковъ, держащихъ подъ своей пятой остальное населеніе деревни; это послѣднее утрачиваетъ самостоятельное положеніе въ производствѣ“. Слѣдовательно, причемъ же тутъ, въ этомъ процессѣ, „прямое настаиваніе“ марксистовъ на лишеніи крестьянина и кустаря хозяйственной самостоятельности въ производствѣ?... Въ настоящій моментъ первоначальнаго капиталистическаго накопленія, когда индустріальный капитализмъ только что организуется, а капиталъ орудуетъ, главнымъ образомъ, на поприщѣ обмѣна—экспропріируемому сельскому населенію предстоитъ не въ „фабричномъ котлѣ вывариться“ (выраженіе Зибера); а *погибнуть* (подчеркнуто въ письмѣ) отъ голода и болѣзней. Это хорошо извѣстно русскимъ марксистамъ. А вы предполагаете, что мы, русскіе марксисты, спокойно и даже радостно взираемъ на эти ужасы и даже „прямо настаиваемъ“ на дальнѣйшемъ разореніи деревни... Насъ до глубины души возмущаетъ подобное обвиненіе, основанное у васъ на непониманіи нашей идеи. Мы идеалоги трудящагося класса и въ качествѣ марксистовъ особен-

Digitized by Google

но, всѣми силами будемъ стремиться къ тому, чтобы уменьшить ряды безработнаго пролетаріата, посредствомъ превращенія членовъ его (босяковъ), насколько это будетъ возможно, въ самостоятельныхъ хозяевъ и будемъ высказываться за то, чтобы неизбѣжный (при современныхъ историческихъ условіяхъ) процессъ разложенія деревни былъ хотя-бы ослабленъ".

Повторивъ еще разъ, что я дѣла не понимаю и не знаю, мой корреспондентъ представляетъ мнѣ, однако, вслѣдъ за тѣмъ выходъ изъ труднаго положенія. „Но дыму безъ огня не бываетъ,—говоритъ онъ. Мнѣ самому извѣстенъ слѣдующій фактъ. Такіе-то (названа одна изъ губерній) марксисты, какъ я слышалъ, разразились гнѣвомъ противъ молодежи, отправлявшейся въ деревню „кормить крестьянъ"; они убѣждены, что кормить крестьянъ значитъ „препятствовать процессу созиданія капитализма". Я склоненъ думать, что подобный же абсурдъ далъ вамъ поводъ отождествлять „русскихъ марксистовъ" съ „рыцарями накопленія".

Извините, мой суровый корреспондентъ, я не отождествлялъ русскихъ марксистовъ съ рыцарями накопленія, хотя допускаю, что послѣдніе могутъ, если въ томъ надобность окажется, довольно удобно устроиться подъ знаменемъ русскаго марксизма. Но вы правы, предполагая, что „абсурды", вродѣ приведеннаго вами, имѣютъ для меня значеніе, и думаю, что я въ свою очередь правъ, придавая имъ таковое. Мой суровый корреспондентъ знаетъ одинъ „абсурдъ", а я ихъ знаю довольно много. Онъ считаетъ тѣхъ господъ, которые протестовали, во имя марксизма, противъ помощи голодающимъ крестьянамъ, не настоящими марксистами, а вотъ онъ и его единомышленники—настоящіе. Весьма, однако, возможно, что я послѣ этой статьи получу письмо, въ которомъ будетъ изложено, что настоящіе-то не здѣсь и не тамъ, а вотъ гдѣ. На основаніи уже имѣющихся у меня писемъ, а также статей въ марксистскомъ духѣ, присылаемыхъ въ редакцію, я въ этомъ совершенно увѣренъ и могу даже отчасти предвидѣть тѣ пункты, которые вызовутъ протесты третьихъ, четвертыхъ, можетъ быть пятыхъ настоящихъ марксистовъ. Я лично думаю, что „превращеніе босяковъ, насколько это будетъ возможно, въ самостоятельныхъ хозяевъ", превращеніе, которымъ намѣрены заняться мой корреспондентъ и его единомышленники въ качествѣ именно марксистовъ, есть просто доброе дѣло, ни

Digitized by Google

чего спеціально марксистскаго въ себѣ не заключающее. Жаль только, что авторъ не объясняетъ ни средствъ, которыми онъ разсчитываетъ выполнить эту задачу, ни того, гдѣ именно онъ думаетъ устраивать самостоятельное хозяйство „босяковъ"—на землѣ-ли или въ какой-нибудь области обрабатывающей промышленности. Признаюсь, мнѣ вообще многое непонятно въ этомъ проектѣ, можетъ быть благодаря моей непонятливости, а можетъ быть потому, что авторъ только бросилъ идею, не входя ни въ какія подробности. Но, какъ и всякому доброму дѣлу, я желаю его плану успѣха. Не такъ, однако, я думаю, просто отнесутся къ нему нѣкоторые марксисты. Одни—можетъ быть и не настоящіе, но объявляющіе себя таковыми—скажутъ, что эта задача не только не заключаетъ въ себѣ ничего спеціально марксистскаго, но прямо противоположна цѣлямъ марксистовъ; ибо, дескать, ближайшая стадія нашего экономическаго развитія должна состоять въ отлученіи работника отъ средствъ производства, въ частности въ обезземеленіи крестьянъ, и потому нелѣпо и нежелательно задерживать этотъ процессъ. Смѣю увѣрить моего суроваго корреспондента, что такіе марксисты есть не только въ такой-то губерніи, а и во многихъ другихъ мѣстахъ. Смѣю увѣрить какъ его, такъ и тѣхъ „марксистовъ", которые подписались подъ другимъ письмомъ во множественномъ числѣ, что я не наобумъ писалъ о „прямомъ настаиваніи на дальнѣйшемъ разореніи деревни": собственными ушами соотвѣтственныя слова слышалъ и собственными глазами ихъ видалъ черными буквами на бѣлой бумагѣ. И если мои корреспонденты этого не слыхали и не видали, такъ не я заслуживаю упрека въ незнаніи. И повторяю, что планъ моего суроваго корреспондента, относительно устройства самостоятельнаго хозяйства босяковъ, не заслужитъ одобренія настоящихъ (они такъ говорятъ) марксистовъ не со стороны его неясности или мечтательности, а принципіально. Одни отвергнутъ его рѣшительно и враждебно, другіе, болѣе снисходительные, скажутъ: коли вамъ охота заниматься такими пустяками, занимайтесь, а намъ не по дорогѣ.

Далѣе мой корреспондентъ называетъ марксистовъ „идеалогами трудящагося класса". Очень радъ это слышать, но едва ли онъ можетъ говорить это отъ лица всѣхъ марксистовъ: есть и такіе, для которыхъ „идеалогъ" чуть ли не бранное слово, ибо, дескать, въ основаніи всякаго историческаго момента лежатъ

Digitized by Google

извѣстныя матеріальныя условія производства; исторія есть борьба классовъ и „побѣдителями въ этой борьбѣ выходятъ тѣ изъ нихъ, которыхъ выдвигаетъ въ данное время экономическое развитіе безъ всякаго соображенія съ чьими бы то ни было идеалами“ (цитирую подлинный тоже рукописный документъ).

Можетъ быть это опять таки марксисты не настоящіе, но они считаютъ и объявляютъ себя таковыми и такъ же охотно, и такъ же, въ словесномъ смыслѣ, умѣстно цитируютъ Маркса, Энгельса, разныя нѣмецкія соціалъ-демократическія брошюры. Въ виду такихъ противорѣчій я прошу господъ „русскихъ марксистовъ“ думать, что то нелестное, что мнѣ придется ниже сказать о русскомъ марксизмѣ, относится къ не-настоящимъ, которые, однако, несомнѣнно существуютъ. А обыкновеннаго читателя прошу простить мнѣ нарочитую пестроту настоящей нашей бесѣды. Я очень чувствую этотъ недостатокъ и очень огорченъ имъ. Но господствующая нынѣ въ русскихъ умахъ и сердцахъ смута такъ велика, многостороння и огорчительна, что не можетъ не отражаться нѣкоторою пестротою на попыткахъ разобраться въ ней. Тѣмъ болѣе, что источники этой смуты лежатъ не столько въ нашей жизни, сколько въ Европѣ, а по занимающему насъ теперь пункту, главнымъ образомъ, въ Германіи. Туда намъ и слѣдуетъ теперь обратиться.

Возьмемъ недавно вышедшую въ Берлинѣ книгу Вильгельма Блоса „Исторія нѣмецкаго движенія 1848 и 1848 года“ (Die deutsche Revolution. Geschichte der deutschen Bewegung von 1848 und 1849). Авторъ начинаетъ свое предисловіе слѣдующими словами: „Исторіографія нашего времени по большей части находится въ рукахъ литературныхъ лейбъ-гусаровъ, которые прилагаютъ всѣ усилія къ тому, чтобы извратить историческіе факты для вящшаго прославленія системы, господствующей въ данную эпоху, и возвеличиванія разныхъ „великихъ людей“. Онъ, Вильгельмъ Блосъ, иначе относится къ историческому матеріалу: онъ воздастъ коемуждо по дѣламъ его. Затѣмъ идутъ нѣкоторыя соображенія спеціально о нѣмецкихъ дѣлахъ. Болѣе общее исповѣданіе вѣры историка находимъ въ самомъ текстѣ книги. Говоря о событіяхъ 1848—49 гг. въ Германіи, Блосъ не довольствуется изложеніемъ политическихъ событій въ тѣсномъ смыслѣ слова,

Digitized by Google

а обращаетъ вниманіе и на экономическія явленія, и на литературныя. Въ числѣ послѣднихъ онъ съ особенною силою выдвигаетъ извѣстный „Манифестъ“ Маркса и Энгельса. По его словамъ, „Манифестъ“, положивъ основаніе „научному соціализму“, навсегда покончилъ какъ съ буржуазнымъ либерализмомъ, такъ и съ утопическимъ и съ мѣщанскимъ (kleinbürgerlich) соціализмомъ. „Вмѣстѣ съ тѣмъ—продолжаетъ Блосъ—было провозглашено совершенно новое, такъ называемое матеріалистическое пониманіе исторіи, по которому всемірная исторія есть лишь рядъ эпизодовъ классовой борьбы. Съ полнымъ правомъ сказано было, что это пониманіе исторіи имѣетъ такое же значеніе для исторической науки, какъ Дарвинова теорія измѣнчивости видовъ для современнаго естествознанія“.

Кромѣ „классовой борьбы“, основной пунктъ матеріалистическаго пониманія исторіи есть то положеніе, что явленія юридическія, политическія, художественныя, культурныя и проч. составляютъ не болѣе, какъ надстройку на экономическомъ фундаментѣ, сущность котораго состоитъ въ формахъ производства и обмѣна. Каждая эпоха развиваетъ свои новыя матеріальныя силы, и возникаетъ борьба между ними и предъидущей формой производства. Все это вмѣстѣ взятое (до сравненія Маркса съ Дарвиномъ включительно) представляетъ для нѣмецкой соціалъ-демократіи и соотвѣтственной части нѣмецкой литературы нѣчто вродѣ символа вѣры, допускающаго только комментаріи и ужъ во всякомъ случаѣ не сомнѣнія. Огромный, общепризнанный авторитетъ Маркса, какъ теоретика экономической науки, прикрываетъ своимъ флагомъ весь этотъ багажъ, усердно распространяемый во множествѣ журнальныхъ статей, публичныхъ рѣчей и популярныхъ брошюръ, написанныхъ, главнымъ образомъ, для нѣмецкихъ рабочихъ. Въ чрезвычайно ясной, общедоступной формѣ излагается, что Марксъ, авторъ всемірно извѣстнаго „Капитала“, человѣкъ огромной эрудиціи и рѣдкой логической силы, открылъ истинный смыслъ исторіи и разъяснилъ человѣчеству его прошедшее, настоящее и будущее. Довольно морочили людей разные представители такъ называемой философіи исторіи, которые видѣли въ исторіи то какую-то саморазвивающуюся идею; то безтолковую сумятицу войнъ, нашествій, перемирій, возстаній, усмиреній, дипломатическихъ сношеній, религіозныхъ возбужденій и прочихъ историческихъ явленій, во главѣ которыхъ стоитъ

Digitized by Google

непремѣнно какой-нибудь „великій человѣкъ“; то послѣдовательную смѣну міросозерцаній или идеаловъ или юридическихъ формъ быта или нравовъ и обычаевъ; то постепенное преодолѣніе силъ природы при помощи научныхъ открытій и промышленныхъ изобрѣтеній. Да и мало ли еще глупостей наговорили историки! Марксъ доказалъ, во-первыхъ, что ходъ исторіи ни отъ какихъ великихъ или невеликихъ людей не зависитъ, а управляется собственными, имманентными законами, непреоборимыми какъ для малыхъ, такъ и для великихъ людей. Во-вторыхъ, что фундаментъ исторіи составляютъ формы производства матеріальныхъ цѣнностей и обмѣна ихъ; все остальное—религія, философія, наука, искусство, политическія, юридическія формы, нравы, обычаи—все это только постоянно измѣняющіеся результаты классовой борьбы и надстройка надъ экономическимъ фундаментомъ. Но—продолжаетъ популярная марксистская литература—Марксъ покончилъ не только со всѣми доселѣшними истолкователями прошедшаго, а и со всѣми утопистами и идеалистами будущаго, мечтающими направить исторію по лично имъ нравящемуся пути. Законы исторіи, установленные теоріей экономическаго матеріализма, непреоборимые, неотвратимые, ясно указываютъ путь, по которому пойдетъ человѣчество, совсѣмъ независимо отъ того, нравится ли это кому-нибудь или не нравится. Капиталистическая форма производства разложила феодальный строй, но затѣмъ развиваетъ собственныя, заключающіяся въ ней противорѣчія и вызываетъ новую классовую борьбу. Капиталистическая форма производства нуждается въ арміи свободныхъ рабочихъ—свободныхъ и отъ феодальной зависимости, и отъ средствъ и орудій производства. Процессъ образованія этой арміи свободныхъ пролетаріевъ, выносящихъ на рынокъ свой трудъ, былъ страшно тяжелъ; чтобы такая масса рабочихъ могла вынести на рынокъ свой трудъ, она должна была быть предварительно такъ или иначе согнана съ земли и вообще экономически обобрана, что сопровождалось неисчислимыми бѣдствіями. Но теперь этотъ бѣдственный процессъ заканчивается въ Европѣ: армія пролетаріевъ готова, сплоченная, объединенная какъ готовностью къ классовой борьбѣ, такъ и самими матеріальными условіями крупнаго производства. Производство это становится въ свою очередь все крупнѣе и крупнѣе, мелкіе капиталисты побиваются крупными, не выдерживая конкурренціи,—и вотъ, въ

Digitized by Google

концѣ концовъ, останутся лицомъ къ лицу немногіе капиталисты и рабочая масса, вслѣдъ затѣмъ уже прекратится всякая классовая борьба и наступитъ на землѣ миръ и въ человѣцѣхъ благоволеніе.

Таково въ общихъ чертахъ содержаніе обширной популярной марксистской литературы. И понятно, какой эффектъ можетъ производить соблазнительная ясность, стройность, законченность этой философско-исторической теоріи, излагаемой вполнѣ увѣреннымъ, не допускающимъ сомнѣній тономъ, въ головахъ нѣмецкихъ рабочихъ. А затѣмъ ростъ и политическая дисциплинированность соціалъ-демократической партіи въ Германіи придаютъ въ свою очередь отраженный блескъ теоріи. Посмотримъ, однако, на дѣло нѣсколько ближе.

Прежде всего при чтеніи вышеизложеннаго является само собою вопросъ: въ какомъ сочиненіи Марксъ изложилъ свое матеріалистическое пониманіе исторіи? Въ „Капиталѣ“ онъ далъ намъ образчикъ соединенія логической силы съ эрудиціей, съ кропотливымъ изслѣдованіемъ какъ всей экономической литературы, такъ и соотвѣтствующихъ фактовъ. Онъ вывелъ на бѣлый свѣтъ давно забытыхъ или никому нынѣ неизвѣстныхъ теоретиковъ экономической науки и не оставилъ безъ вниманія мельчайшихъ подробностей въ какихъ-нибудь отчетахъ фабричныхъ инспекторовъ или показаніяхъ экспертовъ въ разныхъ спеціальныхъ коммиссіяхъ; словомъ, перерылъ подавляющую массу фактическаго матеріала, частію для обоснованія, частію для иллюстраціи своихъ экономическихъ теорій. Если онъ создалъ „совершенно новое“ пониманіе историческаго процесса, объяснилъ все прошедшее человѣчества съ новой точки зрѣнія и подвелъ итогъ всѣмъ доселѣ существовавшимъ философско-историческимъ теоріямъ, то сдѣлалъ это, конечно, съ такимъ же тщаніемъ: дѣйствительно пересмотрѣлъ и подвергъ критическому анализу всѣ извѣстныя теоріи историческаго процесса, поработалъ надъ массою фактовъ всемірной исторіи. Сравненіе съ Дарвиномъ, столь обычное въ марксистской литературѣ, еще болѣе утверждаетъ въ этой мысли. Что такое вся работа Дарвина? Нѣсколько обобщающихъ, тѣснѣйшимъ образомъ между собою связанныхъ идей, вѣнчающихъ цѣлый Монъ-Бланъ фактическаго матеріала. Гдѣ же соотвѣтственная работа Маркса? Ея нѣтъ. И не только нѣтъ такой работы Маркса, но ея нѣтъ и во всей марксистской литера-

Digitized by Google

турѣ, несмотря на всю ея количественную обширность и распространенность. На это указываютъ и весьма благосклонные къ теоріи экономическаго матеріализма Вейзенгрюнъ („Die Entwickelungsgesetze der Menscheit“, „Verschiedene Geschichtsauffassungen“) и г. Николаевъ („Активный прогрессъ и экономическій матеріализмъ“). Самыя основанія теоріи экономическаго матеріализма, безчисленное множество разъ повторяемыя, какъ аксіомы, до сихъ поръ остаются между собою несвязанными и фактически не провѣренными, что особенно заслуживаетъ вниманія въ теоріи, въ принципѣ опирающейся именно на матеріальные, осязательные факты, и усваивающей себѣ титулъ по преимуществу „научной“.

Что касается самого Маркса, то хотя онъ какъ въ „Манифестѣ“, такъ и въ разныхъ мѣстахъ другихъ своихъ сочиненій, высказываетъ основанія теоріи экономическаго матеріализма, но нигдѣ не обосновываетъ ихъ, ни подробнымъ анализомъ другихъ философско-историческихъ теорій, ни сколько-нибудь значительнымъ фактическимъ матеріаломъ. И самое большое, что онъ въ этомъ отношеніи далъ, заключается все-таки въ „Капиталѣ“, въ особенности въ главѣ о „первоначальномъ накопленіи“, гдѣ, однако, рѣчь идетъ объ одномъ только историческомъ періодѣ, да и въ этихъ предѣлахъ предметъ, конечно, даже приблизительно не исчерпанъ. Правда, Марксъ, вмѣстѣ съ Энгельсомъ, задумалъ написать сочиненіе философско-историческаго и историко-философскаго характера и даже написалъ (въ 1845—47 гг.), но оно никогда не было напечатано. Энгельсъ говоритъ: „Первую часть этого сочиненія составляетъ изложеніе матеріалистическаго пониманія исторіи, которое показываетъ только, какъ недостаточны были наши познанія въ области экономической исторіи“. (Fr. Engels. Ludwig Feuerbach und der Ausgang der classischen Philosophie. 1888 г.) Такимъ образомъ основные пункты „научнаго соціализма“ и теоріи экономическаго матеріализма были открыты, а вслѣдъ затѣмъ и изложены въ „Манифестѣ“ въ такое время, когда, по собственному признанію одного изъ авторовъ, нужныя для такого дѣла познанія были у нихъ слабы. А затѣмъ Марксъ, раздѣливъ свое время между практическою дѣятельностью и спеціально-экономическими теоретическими трудами, не успѣлъ или не хотѣлъ научно обставить свою философско-историческую теорію. Такова доля самого Маркса въ выработкѣ и обоснованіи

Digitized by Google

экономическаго матеріализма, какъ исторической теоріи, имѣющей объяснить намъ все прошедшее человѣчества. Относительно будущаго несомнѣнно ему (можетъ быть вмѣстѣ съ Энгельсомъ) принадлежитъ предвидѣніе или прорицаніе исхода капиталистическаго строя. Оправдается оно или нѣтъ,—покажетъ намъ будущее, но такъ какъ ничего подобнаго исторія человѣчества не видала до сихъ поръ, то во всякомъ случаѣ не на данныхъ историческаго опыта и исторической науки можетъ это пророчество опираться.

Для экономическаго матеріализма, какъ исторической теоріи, больше сдѣлалъ alter ego Маркса—Энгельсъ. Отдѣльныя мысли въ этомъ направленіи встрѣчаются въ разныхъ его сочиненіяхъ. Но у него есть и спеціально историческій трудъ—„Происхожденіе семьи, собственности и государства въ связи (*im Anschluss*) съ воззрѣніями Моргана". Этотъ „Anschluss" чрезвычайно замѣчателенъ. Книга американца Моргана о „древнемъ обществѣ" появилась много лѣтъ спустя послѣ того, какъ были провозглашены Марксомъ и Энгельсомъ основы экономическаго матеріализма, и совершенно независимо отъ него. Но экономическіе матеріалисты, въ лицѣ Энгельса (и Маркса, замѣчаніями котораго Энгельсъ пользовался), „примкнули" къ изслѣдованіямъ Моргана, видя въ нихъ дополненіе къ своей теоріи или, вѣрнѣе, распространеніе ея на доисторическія времена. Но изслѣдованія Моргана начинаются съ такого историческаго или, вѣрнѣе, доисторическаго періода, когда общество еще не дѣлилось на классы и нѣтъ, слѣдовательно, классовой борьбы, и когда производство матеріальныхъ цѣнностей находится въ столь зародышевомъ состояніи, что о всеопредѣляющемъ значеніи его формы не можетъ быть и рѣчи. Поэтому явилась слѣдующая поправка или дополненіе къ формулѣ матеріалистическаго пониманія исторіи: „По матеріалистическому воззрѣнію, — говоритъ Энгельсъ въ предисловіи къ первому изданію 1884 г.—опредѣляющимъ моментомъ въ исторіи является въ послѣдней инстанціи производство и воспроизведеніе непосредственной жизни (Production und Reproduction des unmittelbaren Lebens), а оно двояко. Съ одной стороны, производство (Erzeugung) средствъ жизни, предметовъ питанія, одежды, жилища и нужныхъ для этого орудій; съ другой—производство самого человѣка, продолженіе рода. Общественныя учрежденія, въ которыхъ живутъ люди извѣстной исторической эпохи и извѣстной страны, обусловли-

Digitized by Google

ваются обоими видами производства: степенью развитія труда, съ одной стороны, и семьи—съ другой. Чѣмъ менѣе развитъ трудъ, чѣмъ ограниченнѣе масса его продуктовъ, а, слѣдовательно, богатства общества, тѣмъ болѣе преобладаютъ въ общественномъ строѣ родовыя (или половыя?—Geschlechtsbande) связи. Съ теченіемъ времени подъ этимъ, на родовыхъ связяхъ основаннымъ дѣленіемъ общества, болѣе и болѣе развивается трудъ" и наконецъ значеніе формъ „производства самого человѣка" совершенно исчезаетъ въ значеніи формъ производства матеріальныхъ цѣнностей. Великая заслуга Моргана состоитъ въ томъ, что онъ въ родовыхъ связяхъ сѣверо-американскихъ индійцевъ нашелъ „ключъ къ важнѣйшимъ, дотолѣ неразрѣшимымъ загадкамъ древней греческой, римской и германской исторіи".

Итакъ, въ концѣ сороковыхъ годовъ было открыто и провозглашено совершенно новое, матеріалистическое и истинно научное пониманіе исторіи, которое сдѣлало для исторической науки то же самое, что сдѣлала теорія Дарвина для современнаго естествознанія. Разница, однако, въ томъ, что теорія Дарвина явилась во всеоружіи подавляющей массы фактическаго матеріала, тогда какъ творцы экономическаго матеріализма, въ моментъ провозглашенія своей теоріи, были, по собственному ихъ сознанію, недостаточно свѣдущи именно въ экономической исторіи. Какова бы, значитъ, ни была эта теорія въ другихъ отношеніяхъ, но она менѣе всего можетъ претендовать на научное происхожденіе. Несмотря на всю эрудицію ея творцовъ, она родилась внѣ науки и, несмотря на ихъ войну съ метафизикой—именно въ нѣдрахъ гегельянской философіи. Происхожденіе теоріи столь-же мало можетъ быть поставлено ей въ укоръ или похвалу, какъ и человѣку его происхожденіе. Но въ данномъ случаѣ рѣчь идетъ о научномъ, по преимуществу, пониманіи всемірной исторіи, которое пониманіе, однако, никогда не было дѣйствительно научно обосновано. Оно не только не было провѣрено на большомъ и разнообразномъ полѣ фактическаго матеріала, но не было даже достаточно мотивировано, хотя бы путемъ критики и исключенія другихъ философско-историческихъ системъ. Въ книгѣ Энгельса „Herrn E. Dühring's Umwälzung der Wissenchaft" можно найти очень остроумныя попытки свести тотъ или другой историческій эпизодъ къ исключительно экономической почвѣ, но это именно только остроумныя по-

Digitized by Google

пытки, высказанныя мимоходомъ, да иначе и быть не можетъ въ сочиненіи, посвященномъ полемикѣ по вопросамъ, затрагивающимъ всѣ отрасли человѣческаго вѣдѣнія. Въ „Капиталѣ“ Маркса есть блестящія страницы историческаго содержанія, но онѣ уже по самой задачѣ книги пріурочены къ одному опредѣленному историческому періоду и не то, что утверждаютъ основныя положенія экономическаго матеріализма, а просто касаются экономической стороны извѣстной группы историческихъ явленій. Немудрено, что для теоріи, претендовавшей освѣтить всемірную исторію, спустя сорокъ лѣтъ послѣ ея провозглашенія древняя греческая, римская и германская исторія оставались неразрѣшенными загадками; и ключъ къ этимъ загадкамъ былъ данъ, во-первыхъ, человѣкомъ, совершенно постороннимъ теоріи экономическаго матеріализма, ничего объ ней не знавшимъ, а во-вторыхъ—при помощи фактора не экономическаго. Нѣсколько забавное впечатлѣніе вызываетъ терминъ „производство самого человѣка“, то-есть дѣтопроизводство, за который Энгельсъ хватается для сохраненія хотя бы словесной связи съ основною формулою экономическаго матеріализма. Онъ вынужденъ, однако, признать, что жизнь человѣчества многіе вѣка складывалась не по этой формулѣ и провидитъ въ будущемъ прекращеніе какъ классовой борьбы, такъ и всеопредѣляющаго значенія формъ производства. Въ концѣ своей книги „О происхожденіи семьи“ и проч., онъ сочувственно цитируетъ слова Моргана (г. Николаевъ—„Активный прогрессъ и экономическій матеріализмъ“—ошибочно приписываетъ эти слова самому Энгельсу): „Съ возникновенія цивилизаціи ростъ богатства такъ громаденъ, его формы такъ разнообразны, управленіе имъ такъ приспособлено къ интересамъ, что богатство стало непреодолимой силой. Человѣчество безпомощно стоитъ передъ своимъ собственнымъ созданіемъ. Но придетъ время, когда человѣческій разумъ окрѣпнетъ для господства надъ богатствомъ... Простая погоня за богатствомъ не есть конечная цѣль человѣчества, если прогрессъ останется такимъ же закономъ будущаго, какимъ онъ былъ въ прошедшемъ. Время, протекшее съ возникновенія цивилизаціи, есть только маленькая частица всего прожитаго человѣчествомъ прошлаго и маленькая частица предстоящаго“. Что касается общаго экономическаго ключа ко всѣмъ историческимъ замкамъ, то въ упомянутомъ полемическомъ противъ Дюринга сочиненіи Энгельсъ

Digitized by Google

говоритъ: „Политическая экономія, какъ наука объ условіяхъ и формахъ, въ которыхъ происходятъ производство, обмѣнъ и распредѣленіе цѣнностей, еще подлежитъ созданію. Все, что мы до сихъ поръ отъ нея получили, ограничивается почти исключительно зарожденіемъ и развитіемъ капиталистическаго производства: она начинаетъ съ критики остатковъ феодальныхъ формъ производства и обмѣна, указываетъ на необходимость замѣны ихъ формами капиталистическими, развиваетъ затѣмъ законы капиталистическаго производства и оканчивается ихъ критикою".

Словами этими весьма съуживается поле дѣйствія экономическаго матеріализма, какъ исторической теоріи, и можетъ быть найдется еще не мало неразрѣшенныхъ ею загадокъ и кромѣ древней исторіи Греціи, Рима и Германіи. Найдутся онѣ можетъ быть и на томъ пространствѣ исторіи, которое она съ большимъ, повидимому, правомъ можетъ отвести въ свое вѣдѣніе, и даже въ настоящее время, въ дѣлахъ и дѣлишкахъ текущей жизни.

Какъ бы мы ни ухищрялись надъ „дѣтопроизводствомъ", стараясь установить хоть словесную связь между нимъ и экономическимъ матеріализмомъ, какъ бы оно ни перекрещивалось въ сложной сѣти явленій общественной жизни съ другими явленіями, въ томъ числѣ и экономическими, оно имѣетъ свои собственные, физіологическіе и психическіе корни. И это напоминаетъ намъ, что теоретики экономическаго матеріализма не свели своихъ счетовъ не только съ исторіей, а и съ психологіей. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что родовыя связи утратили свое значеніе въ исторіи цивилизованныхъ странъ, но едва-ли можно сказать это съ такою же увѣренностью о связяхъ непосредственно половыхъ и семейныхъ. Онѣ подвергаются, разумѣется, сильнымъ видоизмѣненіямъ подъ напоромъ усложняющейся жизни вообще, но, при извѣстной діалектической ловкости, можно бы было доказывать, что не только юридическія, а и сами экономическія отношенія составляютъ „надстройку" надъ отношеніями половыми и семейными. Мы не станемъ этимъ заниматься, но укажемъ все-таки хоть на институтъ наслѣдства. Въ наслѣдство передаются продукты экономическаго производства, и самый институтъ этотъ обусловленъ до извѣстной степени фактомъ экономической конкурренціи. Но во-первыхъ, въ наслѣдство передаются и не матеріальныя цѣнности,—что выражается въ заботахъ о воспитаніи дѣтей въ духѣ отцовъ, а во-вторыхъ,—оставаясь даже исключительно въ эконо-

Digitized by Google

мической области,—если институтъ наслѣдства немыслимъ безъ продуктовъ производства, передаваемыхъ по наслѣдству, то онъ точно также немыслимъ безъ продуктовъ „дѣтопроизводства", получающихъ наслѣдство,—безъ нихъ и безъ той сложной и напряженной психики, которая къ нимъ непосредственно примыкаетъ. Что касается родовыхъ связей, то онѣ поблѣднѣли въ исторіи цивилизованныхъ народовъ отчасти, дѣйствительно, въ лучахъ вліянія формъ производства, но отчасти распустились въ своемъ собственномъ продолженіи и обобщеніи—въ связяхъ національныхъ. Вульгарная исторія удѣляетъ слишкомъ много вниманія международнымъ столкновеніямъ по сравненію съ внутреннею жизнью общества, и понятна всяческая реакція противъ такой исторіографіи. Но сказать, какъ говоритъ Блосъ (и многіе другіе), что всемірная исторія есть лишь рядъ эпизодовъ классовой борьбы—значитъ впадать въ подобную же крайность, только въ другую сторону. Не касаясь вопроса объ томъ, дѣйствительно ли классовая борьба немыслима помимо вліянія экономическихъ факторовъ (на этотъ счетъ выражаетъ сомнѣнія и комментаторъ Маркса-Энгельса, Вейзенгрюнъ), вспомнимъ нашу послѣднюю прошлогоднюю бесѣду о демонѣ національнаго самолюбія и національной ненависти. До какой степени легко и страшно пробуждается этотъ демонъ до сихъ поръ, не говоря уже о болѣе раннихъ историческихъ періодахъ, и какъ вмѣстѣ съ тѣмъ противорѣчатъ иногда его пробужденія всякой классовой борьбѣ, объ этомъ свидѣтельствуютъ недавнія европейскія событія. Основанное Марксомъ международное общество рабочихъ, организованное въ цѣляхъ классовой борьбы, не помѣшало французскимъ и нѣмецкимъ рабочимъ, въ моментъ національнаго возбужденія, рѣзать и разорять другъ друга. И едва ли есть основаніе думать, что, по крайней мѣрѣ, въ ближайшемъ будущемъ, въ случаѣ войны. дѣла пойдутъ иначе. Европейскіе государственные люди давно уже открыли секретъ превращенія различныхъ, враждующихъ между собою общественныхъ классовъ въ единую націю: стоитъ только отвлечь ихъ вниманіе отъ внутреннихъ дѣлъ къ внѣшнему, иноплеменному врагу. Теоретики экономическаго матеріализма могутъ сказать, что государственные люди, прибѣгающіе къ этому средству, дѣлаютъ это именно въ видахъ сохраненія данной комбинаціи общественныхъ силъ, покоящейся въ послѣднемъ счетѣ на извѣстной формѣ производства и обмѣна:

Digitized by Google

ихъ политика есть только „надстройка“ надъ экономическимъ фундаментомъ. Но это возраженіе не устраняетъ національнаго чувства, какъ самостоятельнаго фактора, который, будучи вызванъ къ дѣйствію, вліяетъ на ходъ исторіи помимо и часто наперекоръ условіямъ производства. Притомъ же, исторія знаетъ много случаевъ, когда тотъ или другой процессъ внутренней работы общества обрывался и получалъ совсѣмъ иное направленіе, благодаря случайнымъ осложненіямъ международнаго или междуплеменнаго характера, осложненіямъ, не только не вызваннымъ руководителями политики, но и застающимъ ихъ врасплохъ.

Но, говорятъ марксисты, случайности въ исторіи никакой не бываетъ, потому что все совершается по извѣстнымъ законамъ, и по той же причинѣ руководители, герои, „великіе люди“ и проч.—старый вздоръ, въ который люди вѣрили до открытій Маркса. Теперь мы знаемъ, что слова „великіе люди“ заслуживаютъ только ироническихъ ковычекъ, ибо всѣ такъ величаемые господа входятъ въ составъ „надстройки“ надъ экономическимъ фундаментомъ и служатъ такъ или иначе настроеніямъ и интересамъ экономически господствующихъ классовъ, а фундаментъ растетъ и развивается самъ по себѣ, по своимъ имманентнымъ законамъ, въ которыхъ не при чемъ чья бы то ни была личная воля или желаніе. Надо, однако, замѣтить, что на этомъ, какъ и на многихъ другихъ пунктахъ марксистской литературы, самъ Марксъ отнюдь не можетъ быть призванъ къ отвѣтственности за все, что говорится во имя его его популяризаторами, комментаторами и пропагандистами. Какая-нибудь вскользь брошенная имъ мысль или даже не вскользь, но выраженная чисто отвлеченно или съ преувеличенной полемическою рѣзкостью, переходя изъ устъ въ уста, изъ книги въ книгу, постепенно утрачиваетъ свой условный характеръ и обращается въ послѣдней, въ данномъ случаѣ низшей, инстанціи въ догматъ. Такъ монета, переходя изъ рукъ въ руки, стирается, теряетъ отчеканенный на ней штемпель и становится просто плоскимъ кружкомъ. Марксъ былъ слишкомъ уменъ и ученъ, чтобы думать, что именно онъ открылъ идею исторической необходимости и законосообразности общественныхъ явленій. Энгельсъ, умъ не столь критическій и вмѣстѣ съ тѣмъ не столь творческій, но большой и обогащенный разностороннимъ образованіемъ, охотно тонетъ въ лучахъ славы своего друга и ужъ поэтому склоненъ къ догматизаціи его

Digitized by Google

положеній и къ преувеличенію значенія каждой его мысли. Затѣмъ слѣдуютъ болѣе или менѣе самостоятельные, какъ, напримѣръ, Кауцкій, и, наконецъ, должно быть, уже не настоящіе марксисты, которыхъ, однако, очень много, какъ въ самой Германіи, такъ и внѣ ея. На верхнихъ ступеняхъ этой лѣстницы хорошо знаютъ, что идея исторической необходимости есть не изобрѣтенная или открытая Марксомъ новость, а давно установившаяся истина. На низшихъ ступеняхъ этого не знаютъ или, по крайней мѣрѣ, имѣютъ смутное понятіе о той вѣковой затратѣ умственныхъ силъ и энергіи, которая пошла на установленіе этой истины. Они получаютъ какъ бы личный отъ Маркса подарокъ и носятся съ нимъ, какъ съ писанной торбой, прибавляя еще сюда стертыя монеты его и безъ того односторонней полемики съ идеалистами и утопистами. Они именно получили подарокъ, нѣчто такое, что имъ самимъ не стоило ни малѣйшаго труда критической мысли, и такъ какъ имъ очень мало извѣстно о томъ, какъ въ дѣйствительности вырабатывался этотъ подарокъ совершенно независимо отъ Маркса и задолго до него, то это придаетъ въ ихъ глазахъ лишній плюсъ особливой научности всему, когда-либо и при какихъ-либо обстоятельствахъ сказанному Марксомъ. Идея исторической необходимости входитъ въ составъ цѣлаго міросозерцанія, вырабатывавшагося вѣками, пролагавшаго себѣ путь сквозь тьму заблужденій и предразсудковъ. Но въ непосредственномъ приложеніи къ текущей жизни она никакимъ образомъ не можетъ быть исключительною руководительницей, потому что она является слишкомъ уже общею скобкой.

Возьмемъ такой примѣръ. На верхнихъ ступеняхъ марксистской лѣстницы довольно, повидимому, удобно устраиваются въ логическомъ конфликтѣ между идеей исторической необходимости и значеніемъ личной дѣятельности великихъ и малыхъ людей, руководимыхъ тѣми или другими цѣлями и идеалами и въ свою очередь руководящихъ другими людьми, а именно: всѣ наши идеи и идеалы суть только надстройки на экономическомъ фундаментѣ и отражаютъ въ себѣ интересы и тенденціи господствующаго класса; экономическая сущность необходимаго историческаго процесса шутки шутитъ (все равно, какъ міровая воля Шопенгауера или безсознательное Гартмана) съ великими и малыми дѣятелями, думающими, что они направляютъ ходъ дѣлъ въ ту или другую сторону, тогда какъ въ дѣйствительности они

Digitized by Google

сами имъ направляются; если же являются идеи и идеалы, противорѣчащіе данной формѣ производства и обмѣна, то это значитъ только, что экономическая сущность подвинулась въ своемъ саморазвитіи и зарождаются новыя матеріальныя формы производства; такъ что и эти люди, считающіе себя руководителями или признаваемые таковыми, сами суть продукты имманентныхъ законовъ историческаго процесса. Въ иной, не спеціально экономической одеждѣ, схема эта не разъ фигурировала въ исторіи философіи и даже клалась въ основу грандіозныхъ метафизическихъ системъ. И всегда она оказывалась соблазнительно красивымъ общимъ положеніемъ, безплоднымъ въ практическомъ отношеніи, а въ научномъ—по крайней мѣрѣ заслоняющимъ огромную группу историческихъ явленій. Безъ сомнѣнія, наши идеи и идеалы выростаютъ на исторической почвѣ, разумѣя подъ нею не проблематическую ея экономическую сущность, а всю совокупность явленій общественной жизни. Но выростаютъ они двояко—въ положительномъ и въ отрицательномъ смыслѣ, притомъ единовременно. Одни изъ носителей этихъ идей и идеаловъ признаютъ данный установившійся укладъ и желаютъ дальнѣйшаго его развитія; другіе имъ недовольны и потому, если не падаютъ въ пропасть отчаяннаго пессимизма или не предаются на манеръ восточныхъ аскетовъ созерцанію собственнаго пупка, ищутъ въ дѣйствительности хоть какого-нибудь зерна, изъ котораго, при надлежащемъ уходѣ, могло бы развиться нѣчто, соотвѣтствующее ихъ идеямъ и идеаламъ. И тѣ и другіе суть равно необходимые продукты исторической почвы. Пусть и тѣ и другіе заблуждаются, считая себя дѣятелями, тогда какъ они „дѣемые“, маріонетки, подергиваемыя изъ таинственнаго подполья имманентными законами исторической необходимости, но и заблужденіе это есть историческая необходимость. Которая нибудь сторона навѣрное заблуждается, кромѣ того, еще и въ томъ смыслѣ, что добивается осуществленія неосуществимаго или отстаиваетъ подлежащее смерти. И это опять таки необходимое заблужденіе. И даже если послѣдніе бойцы, признавъ полную невозможность осуществленія своего идеала, ринутся въ битву, чтобы погибнуть вмѣстѣ съ нимъ, то и это будетъ исторически необходимо. Относительно прошлаго выдержать эту расплывающуюся точку зрѣнія сравнительно легко, потому что издали, когда что-нибудь уже совершилось, историческая необходимость

Digitized by Google

совершившагося фактически рѣшена и подписана,—на лицо вся законченная цѣпь причинъ и слѣдствій. Однако и тутъ историкъ, если онъ работаетъ не въ безтѣлесной области отвлеченныхъ положеній и логическихъ схемъ, а надъ фактическимъ историческимъ матеріаломъ, въ которомъ когда-то лилась горячая кровь, раздавались стоны побѣжденныхъ и клики торжества побѣдителей, зрѣли и приносили плодъ высокія и подлыя мысли и чувства—и тутъ историкъ не обойдется съ одной исторической необходимостью. Тѣмъ паче нельзя ею удовольствоваться въ сужденіяхъ о настоящемъ и будущемъ. Останутся ли Эльзасъ и Лотарингія въ насильственныхъ объятіяхъ Германіи, или вернутся къ Франціи, или самый вопросъ о нихъ распустится въ какомъ-нибудь міровомъ событіи международнаго характера,—все окажется одинаково исторически необходимымъ, когда совершится. Но въ настоящее время одинаково же необходимы взгляды на на этотъ счетъ французовъ и нѣмцевъ, и какъ бы ни ссылались обѣ стороны на историческую необходимость, противная сторона имъ не повѣритъ и будетъ продолжать свою дѣятельность въ прежнемъ направленіи, и это окажется впослѣдствіи исторически необходимымъ. Какъ видитъ читатель, мы не только не отрицаемъ исторической необходимости, а, напротивъ, вполнѣ признаемъ ея всеобщность и непререкаемость. Она царитъ надъ всѣми мірами, но именно вслѣдствіе ея всеобщности и непререкаемости, на нее одну нельзя ссылаться въ сложныхъ практическихъ дѣлахъ, въ которыхъ непосредственно замѣшаны наши интересы и идеалы, наши чувства, надежды и опасенія. Категорія необходимости столь всеобща и непререкаема, что обнимаетъ собою даже самыя безумныя надежды и самыя безсмысленныя опасенія, съ которыми она, повидимому, призвана воевать. Съ ея точки зрѣнія, надежда прошибить стѣну лбомъ есть не глупость, а необходимость, совершенно такъ же, какъ Квазимодо не уродъ, а необходимость, Каинъ или Іуда не злодѣй, а необходимость. Словомъ, руководясь въ практической жизни ею одною, мы попадаемъ въ какое-то фантастическое безграничное пространство, гдѣ нѣтъ идей и вещей, нѣтъ явленій, а есть только одноцвѣтныя тѣни идей и вещей. Но въ дѣйствительности никто никогда и не становится на эту невозможную для человѣческаго ума точку зрѣнія. Въ дѣйствительности, какъ только мы вступаемъ въ нее въ качествѣ живыхъ участниковъ, необходимость

Digitized by Google

умѣряется возможностью и вѣроятностью и окрыляется желательностью, причемъ не исчезаетъ, а занимаетъ свое опредѣленное условное мѣсто въ нашемъ міровоззрѣніи и—я сказалъ бы—міровоздѣйствіи. Въ своемъ безусловномъ, метафизическомъ видѣ, идея необходимости безполезна для житейской практики, а поскольку сбиваетъ съ толку людей, ввергая ихъ въ омутъ недоразумѣній, и прямо вредна. Таковы же ея услуги наукѣ.

Въ томъ фантастическомъ царствѣ, гдѣ метафизическія тѣни явленій заслоняютъ отъ насъ самыя явленія съ ихъ цвѣтомъ и запахомъ, красотою и безобразіемъ, подлостью и величіемъ,—нѣтъ и героевъ и толпы, а есть только равно необходимые люди, въ извѣстномъ порядкѣ выскакивающіе изъ таинственныхъ нѣдръ исторіи. Въ дѣйствительной жизни, однако, герои и толпа существуютъ, герои ведутъ, толпа бредетъ за ними, и прекрасный этому примѣръ представляютъ собою Марксъ и марксисты. Какъ и все на свѣтѣ, отношенія между Марксомъ и марксистами, между героями и толпой вообще, управляются извѣстными законами, суммирующими необходимую цѣпь причинъ и слѣдствій въ опредѣленной группѣ явленій. Но для этого группа явленій должна быть выдѣлена изъ фантастическаго царства всеобщей безусловной необходимости, должны быть опредѣлены тѣ особенныя историческія условія, при которыхъ данныя отношенія устанавливаются и развиваются. Съ точки же зрѣнія безусловной необходимости не видать никакихъ условій, а потому пропадаетъ для науки и весь вопросъ о герояхъ и толпѣ, хотя онъ даетъ себя знать на каждомъ шагу въ исторіи, вплоть до сегодняшняго дня, и еще не извѣстно, замретъ ли, нѣтъ ли, когда-нибудь въ будущемъ. Что же касается экономическаго матеріализма, то онъ игнорируетъ или невѣрно освѣщаетъ этотъ вопросъ еще и по другой причинѣ. Въ своей полемикѣ съ Дюрингомъ, Энгельсъ потратилъ, между прочимъ, много усилій для постановки политической власти на экономическій пьедесталъ, и, безъ сомнѣнія, высказалъ много вѣрнаго. Но считать вопросъ исчерпаннымъ, конечно, нельзя. Допустимъ, что намъ удалось самымъ непререкаемымъ образомъ установить причинную связь между политическимъ значеніемъ, положимъ, Наполеона и извѣстными формами производства и обмѣна. Историческая необходимость на экономической подкладкѣ выкинула изъ своихъ нѣдръ эту исключительную фигуру, предоставила ей или заставила ее закончить собою революцію, про-

Digitized by Google

лить море крови по всей Европѣ отъ Мадрида до Москвы и затѣмъ опочить на островѣ св. Елены. Мудрено, разумѣется, установить всю эту выкинутую исторической необходимостью штуку прямо на формы производства и обмѣна,—многое должно быть перенесено въ верхніе этажи теоретическаго зданія, въ „надстройки“. Но и за всѣмъ тѣмъ остается, я думаю, не разъясненнымъ то обаяніе, которое производилъ Наполеонъ, напримѣръ, на своихъ солдатъ, ту несоображенную ни съ какими формами производства готовность, съ которою они шли за своимъ вождемъ и умирали на его глазахъ, и безъ которой Наполеонъ не могъ бы совершить свое дѣло. Если бы и это несомнѣнное историческое явленіе намъ удалось пріурочить собственно къ политической власти, а черезъ нее водворить въ формахъ производства и обмѣна, то исторія знаетъ не мало случаевъ, когда такое же обаяніе производили и такъ же за собой людей вели, въ разныхъ областяхъ жизни и мысли, люди, никакою формальною властію не облеченные, никакой матеріальной силы въ рукахъ не имѣвшіе. Сказать, что силу такихъ людей всегда составляла своевременность ихъ появленія, потому что, дескать, назрѣли новыя формы производства и обмѣна,—сказать это, значитъ сказать фактическую неправду. Мы очень хорошо знаемъ многочисленные случаи, когда вожди, „герои“ являлись несвоевременно, какъ въ томъ смыслѣ, что уловимаго преобразованія формъ производства и обмѣна не было, такъ и въ томъ, что они, вожди, погибали въ непосильной борьбѣ. И, однако, они были всетаки вождями, вели за собой толпу, которая своею и чужою кровью записывала ихъ имена въ исторіи, носила на себѣ печать ихъ мысли и даже послѣ ихъ смерти или очевиднаго фіаско упорно держалась направленія, въ которомъ они ее толкнули. Анализируя условія, при которыхъ въ исторіи слагается такая толпа и являются такіе герои, мы очень часто найдемъ въ числѣ ихъ и экономическіе факторы. И тѣмъ не менѣе, это явленіе sui generis, ключъ къ которому можно искать и при помощи политической экономіи, но не въ ней самой и не въ томъ отдѣлѣ психологіи, который занятъ мотивами производства матеріальныхъ цѣнностей.

Въ книгѣ о „Происхожденіи семьи“ и проч. Энгельсъ говоритъ, между прочимъ, что „Капиталъ“ Маркса былъ долго „за-

Digitized by Google

малчиваемъ“ цеховыми нѣмецкими экономистами, а въ книгѣ „Людвигъ Фейербахъ и конецъ классической философіи“ указываетъ, что теоретики экономическаго матеріализма „съ самаго начала обратились, главнымъ образомъ, къ рабочимъ и встрѣтили у нихъ ту воспріимчивость, которой и не ожидали отъ представителей оффиціальной науки“. Насколько вѣрны эти факты и каково ихъ значеніе? Прежде всего „замолчать“, на продолжительное время, что-нибудь цѣнное едва ли теперь возможно даже у насъ, въ Россіи, при всей слабости и мелкости нашей научно-литературной жизни. Тѣмъ паче невозможно это въ Германіи съ ея многочисленными университетами, съ ея всеобщею грамотностью, съ ея безчисленными газетами, листками всевозможныхъ направленій, съ значеніемъ въ ней не только печатнаго, а и устнаго слова. И если нѣкоторая часть оффиціальныхъ жрецовъ науки въ Германіи и встрѣтила „Капиталъ“ на первое время молчаніемъ, то едва ли можно объяснять это желаніемъ „замолчать“ работу Маркса. Вѣрнѣе предположить, что мотивами молчанія было недоумѣніе, рядомъ съ которымъ очень быстро выросли и горячая оппозиція, и полное почтеніе, и въ результатѣ теоретическая часть „Капитала“ очень быстро заняла уже безспорно высокое мѣсто въ общепризнанной наукѣ. Совсѣмъ не такова судьба экономическаго матеріализма, какъ исторической теоріи, со включеніемъ и тѣхъ перспективъ въ направленіи будущаго, которыя находятся въ „Капиталѣ“. Экономическій матеріализмъ, несмотря на свое полувѣковое существованіе, не оказалъ до сихъ поръ сколько-нибудь замѣтнаго вліянія на научныя сферы, но дѣйствительно очень быстро распространяется въ рабочемъ классѣ. Что Марксъ, однако, отнюдь не имѣлъ въ виду въ своей дѣятельности именно этотъ кругъ читателей и ожидалъ кое чего и отъ людей науки, это видно изъ самаго существованія „Капитала“ и болѣе ранняго сочиненія „Zur Kritik der politischen Oekonomie“. Оба эти сочиненія по характеру своему очень мало пригодны для чтенія рабочихъ, среди которыхъ распространяются они больше въ формѣ извлеченій, упрощеній и популяризацій. Нечего и говорить о произведеніяхъ еще болѣе раннихъ, какъ, напримѣръ, „Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“ или полемика съ „Бурно Бауеромъ и компаніей“. Въ „Манифестѣ“ Марксъ и Энгельсъ дѣйствительно обратились къ рабочимъ, но не потому, чтобы они не хотѣли

Digitized by Google

обращаться къ людямъ науки. Мы видѣли, что, по собственному сознанію Энгельса, они были сами не свѣдущи въ экономической исторіи. Это бы еще не удержало ихъ отъ представленія своихъ взглядовъ на судъ просвѣщенной критики, такъ какъ они, во-первыхъ, только впослѣдствіи убѣдились въ недостаточности своихъ знаній, а во-вторыхъ, они могли бы дать сраженіе на почвѣ философіи, допускавшей въ то время обходъ фактической стороны дѣла въ ея деталяхъ. Но они просто сочли моментъ всеобщаго возбужденія въ концѣ сороковыхъ годовъ удобнымъ моментомъ для выступленія на поприще практической дѣятельности. Принципіальнаго же отворачиванія отъ нерабочихъ читателей тутъ, конечно, не было. Вѣрнѣе поэтому предположить, что неуспѣхъ экономическаго матеріализма зависитъ отъ какихъ-нибудь изъяновъ или въ самой теоріи, или, по крайней мѣрѣ, въ ея обработкѣ. Мы старались выше намѣтить тѣ и другіе. Несмотря на претензіи на особливую научность, теорія никогда не была научно обоснована и провѣрена. Но она удобно сводится къ соблазнительно ясной и краткой формулѣ, подкупающей многихъ и въ томъ случаѣ, когда они въ дѣйствительности совсѣмъ не ею руководятся въ оцѣнкѣ и воспроизведеніи историческихъ явленій. Обращаясь, напримѣръ, къ вышеупомянутой книгѣ Блоса, мы видимъ, что это очень почтенная работа, на которой, однако, вовсе нѣтъ спеціальныхъ слѣдовъ коренного переворота въ исторической наукѣ. Изъ того, что Блосъ говоритъ о классовой борьбѣ и объ экономическихъ условіяхъ (сравнительно очень немного), еще не слѣдуетъ, что онъ строитъ исторію на саморазвитіи формъ производства и обмѣна: обойти экономическія условія въ разсказѣ о событіяхъ 1848 года было бы даже мудрено. Выкиньте изъ книги Блоса панегирикъ Марксу, какъ творцу переворота въ исторической наукѣ, да еще нѣсколько условныхъ фразъ съ марксистской терминологіей, и вамъ не придетъ въ голову, что вы имѣете дѣло съ послѣдователемъ экономическаго матеріализма. Отдѣльныя хорошія страницы историческаго содержанія у Энгельса, Кауцкаго и нѣкоторыхъ другихъ тоже могли бы обойтись безъ этикетки экономическаго матеріализма, такъ какъ на дѣлѣ въ нихъ принимается въ соображеніе вся совокупность общественной жизни, хотя бы и съ преобладаніемъ экономической струны въ этомъ аккордѣ. Встрѣчающіяся въ марксистской литературѣ презрительныя слова объ идеалахъ, о

Digitized by Google

великихъ людяхъ, о вторженіи этики въ царство желѣзной экономической необходимости,—все это только слова, весьма мало отражающіяся на дѣлѣ. Словомъ, въ наукѣ экономическій матеріализмъ просто не оправдалъ себя, и этимъ достаточно объясняется его неуспѣхъ, особенно бросающійся въ глаза рядомъ съ блестящимъ успѣхомъ „Капитала". Что же касается успѣха, которымъ экономическій матеріализмъ пользуется, такъ сказать, въ ширину, его распространенности въ критически непровѣренномъ видѣ, то центръ тяжести этого успѣха лежитъ не въ наукѣ, а въ житейской практикѣ, устанавливаемой перспективами въ сторону будущаго. Перспективы эти не требуютъ отъ усвояющаго ихъ нѣмецкаго рабочаго класса и принимающихъ горячее участіе въ его судьбѣ ни знаній, ни работы критической мысли. Онѣ требуютъ только вѣры. Но излагаются онѣ отъ имени науки, самонастоящей науки, а не той, которая фальсифицируетъ факты и логику въ угоду господствующимъ классамъ и которая, однако, вынуждена была признать научное значеніе „Капитала". И не утопія какая-нибудь эти перспективы,—со всѣми утопіями, столько разъ обманывавшими народъ, экономическій матеріализмъ покончилъ навсегда; указываемыя имъ перспективы составляютъ заключительное звено цѣпи причинъ и слѣдствій, историческая необходимость котораго научно доказана. Доказалъ это kein geringer, als Marx, авторъ „Капитала", творецъ теоріи прибавочной цѣнности, равный Дарвину, глава международнаго общества рабочихъ, правда, распавшагося, но имѣющаго возродиться. Если бы не то, что враги рабочихъ, а даже сами они не пожелали собственнаго благополучія, оно придетъ къ нимъ помимо ихъ воли, въ силу имманентныхъ законовъ исторической эволюціи, и на развалинахъ саморазлагающагося капиталистическаго строя водворится объединенный пролетаріатъ. Для этого не нужна и революція въ ея обычныхъ, кровавыхъ и разорительныхъ формахъ, она можетъ, правда, случиться, но дѣло можетъ обойтись и безъ нея, процессомъ самой эволюціи. Не удивителенъ успѣхъ такой пропаганды среди рабочихъ, въ особенности нѣмецкихъ рабочихъ, руководимыхъ опытными, искусными, терпѣливыми вождями соціалъ-демократической партіи. По истинѣ удивителенъ этотъ успѣхъ у насъ, а онъ несомнѣненъ, хотя еще почти не представленъ въ литературѣ.

Позволю себѣ припомнить соображенія, къ которымъ я при-

Digitized by Google

шелъ еще въ 1877 г. „Представимъ себѣ русскаго человѣка, который увѣровалъ бы въ истинность этой исторической теоріи... Такой русскій человѣкъ, если только онъ живетъ не исключительно головой, не относится безучастно къ практикѣ жизни, окажется въ чрезвычайно странномъ и трудномъ положеніи. Тотъ обоюдоострый, страшный и вмѣстѣ благодѣтельный, непреоборимый процессъ „обобществленія“ труда или, вѣрнѣе, та форма обобществленія, которую излагаетъ Марксъ, у насъ на святой Руси очень мало подвинулась впередъ. Крестьянинъ нашъ далеко не такъ „свободенъ“ отъ земли и орудій производства, въ какой это необходимо для пышнаго развитія капиталистическаго производства. Напротивъ, несмотря на его печальное положеніе, какъ земледѣльца и землевладѣльца, многія обстоятельства даже помимо его собственныхъ инстинктовъ держатъ его у земли. Съ другой стороны, капиталы наши представляютъ въ сравненіи съ европейскими нѣчто крайне мизерное. Слѣдовательно, намъ еще предстоитъ пройти вслѣдъ за Европой весь тотъ процессъ, который описалъ и возвелъ на степень философско-исторической теоріи Марксъ. Разница, однако, въ томъ, что намъ придется повторить процессъ, т. е. совершить его сознательно. По крайней мѣрѣ, его долженъ сознавать тотъ русскій человѣкъ, который увѣровалъ въ непреложность исторической теоріи Маркса. Марксъ не скрываетъ тяжелыхъ и возмутительныхъ сторонъ процесса... Въ Европѣ значительная и тягчайшая часть этого процесса уже совершилась, но вѣдь мы въ иномъ совсѣмъ положеніи. Всѣ эти „калѣченія незрѣлыхъ и женскихъ организмовъ“ и проч. намъ еще предстоятъ, и мы съ точки зрѣнія исторической теоріи Маркса не только не должны протестовать противъ этихъ калѣченій, что значило бы прать противъ рожна, но даже радоваться имъ, какъ необходимымъ, хотя и крутымъ ступенямъ, ведущимъ въ храмъ счастія. Трудно вмѣстить въ себѣ такое противорѣчіе, которое терзало бы душу русскаго ученика Маркса на каждомъ шагу въ томъ или другомъ частномъ приложеніи. Ему предстоитъ развѣ роль наблюдателя, съ безпристрастіемъ Пимена заносящаго въ лѣтопись факты обоюдоостраго прогресса. Принимать же въ немъ активное участіе онъ не можетъ. Для мерзостной стороны процесса онъ совсѣмъ не годится, а всякая дѣятельность, соотвѣтствующая его нравственнымъ требованіямъ, только задержитъ, затянетъ процессъ. Идеалъ его, если онъ ученикъ Маркса, со-

Digitized by Google

стоитъ, между прочимъ, въ совпаденіи труда и собственности, въ принадлежности рабочему земли и средствъ производства. Но въ то же время, если онъ ученикъ Маркса со стороны философско-историческаго взгляда послѣдняго, онъ долженъ радоваться разлученію труда и собственности, расторженію связи между работникомъ и условіями производства, какъ первымъ шагамъ необходимаго и въ концѣ концовъ благодѣтельнаго процесса".

Съ тѣхъ поръ, какъ написаны были эти строки, прошло слишкомъ пятнадцать лѣтъ, и то, что мнѣ казалось такъ страннымъ и труднымъ, — объявилось: народились русскіе марксисты. Они, сколько я понимаю, могутъ быть раздѣлены на три разряда: марксистовъ зрителей, марксистовъ пассивныхъ и марксистовъ активныхъ. Кромѣ того, они, какъ мы видѣли, дѣлятся еще на настоящихъ и не настоящихъ, и такъ какъ я никого не желаю лично „оскорблять", то повторяю, что имѣю въ виду не настоящихъ. Всѣ они желаютъ идти „впередъ, подъ знаменемъ науки". Правда, ихъ научныхъ трудовъ мы еще не видали, по крайней мѣрѣ въ такомъ количествѣ и такой цѣнности, чтобы могли сказать: да, вотъ она — наука! Въ ожиданіи будущаго, они, однако, подаютъ надежды и, будучи лишь приватъ-звонарями храма науки, имѣютъ аллюры настоящихъ жрецовъ. Они снисходительно или презрительно смотрятъ съ высоты своей колокольни на насъ, профановъ, ищущихъ отвѣтовъ на вопросы жизни въ ихъ плотью и кровью одѣтой формѣ, въ идеальной постановкѣ ихъ жгучей и сложной реальной дѣйствительности: изъ-за чего, дескать, бьются эти несвѣдущіе и не понимающіе люди, когда истина давно открыта и находится у насъ въ карманѣ. И они съ любезною, и хорошо еще, если съ любезною, улыбкой вытаскиваютъ изъ кармана Марксову схему, тщательно переписанную изъ сочиненій самого Маркса или Энгельса, а можетъ быть и изъ какой-нибудь соціалъ-демократической брошюры. Истина состоитъ въ томъ, что по имманентнымъ законамъ исторической необходимости, открытымъ теоріей экономическаго матеріализма, Россія разовьетъ свое капиталистическое производство, со всѣми его внутренними противорѣчіями, съ поѣданіемъ малыхъ капиталовъ крупными, а тѣмъ временемъ оторванный отъ земли мужикъ обратится въ пролетарія, объединится, „обобществится", и дѣло будетъ въ шляпѣ, которую только и останется надѣть на голову осчастливленному человѣчеству. Если собственно съ крупною промышлен-

Digitized by Google

ностью у насъ пока дѣло не ладится, и она не устаетъ требовать субсидій, гарантій и покровительственныхъ тарифовъ, то деревенскій кулакъ явно растетъ, и это очевидный шагъ въ томъ направленіи, котораго никто и ничто уже остановить не можетъ; такъ говоритъ наука, и намъ остается только сообразовать свое поведеніе съ ея истинами, совсѣмъ независимо отъ того, нравится ли намъ предстоящій ходъ вещей или не нравится.

Какъ же сообразоваться? Оказывается, можно на три манера. Можно, во-первыхъ, обратиться просто въ зрителя, что я—могу, кажется, похвалиться—предвидѣлъ еще въ 1877 г. Представьте себѣ, что вы сидите въ партерѣ или въ удобной ложѣ и смотрите въ общихъ чертахъ уже знакомую вамъ пьесу; по крайней мѣрѣ, вы знаете ея завязку и развязку. Вы знаете, что въ послѣднемъ актѣ всѣ недоразумѣнія выяснятся, всѣ трагическіе моменты растворятся въ окончательномъ торжествѣ добродѣтели и наказаніи порока, и тогда вы смѣшаетесь съ толпой актеровъ, чтобы вмѣстѣ съ ними весело поужинать. Нѣкоторые моменты, когда, напримѣръ, театральный злодѣй убиваетъ театральную невинность или „благородный отецъ“ терпитъ позоръ и униженіе, трогаютъ васъ, вамъ жаль невинности и благороднаго отца, но вы знаете, что по замыслу автору—вы его хорошо знаете,—это не только не помѣшаетъ вполнѣ благополучному концу, но даже прямо ведетъ къ нему. Поэтому вы, какъ и слѣдуетъ благовоспитанному посѣтителю театровъ, не вмѣшаетесь въ дѣйствіе неумѣстнымъ крикомъ сочувствія или негодованія, не попытаетесь нелѣпой и неприличной выходкой оборвать представленіе, а терпѣливо дождетесь благополучнаго конца...—Этотъ способъ приспособленія къ жизни былъ бы безспорно очень комфортабеленъ, если бы онъ былъ вообще возможенъ. Но театральныхъ билетовъ даромъ не даютъ, за нихъ надо платить и слѣдовательно нужно такъ или иначе участвовать въ жизни.

Другой способъ можно назвать пассивнымъ марксизмомъ. Вѣруя и исповѣдуя непреложность абстрактной исторической схемы, марксисты этого разряда увѣрены въ повтореніи на русской почвѣ европейской исторіи, съ концентраціей капиталовъ и массой пролетаріата и съ тѣмъ дальнѣйшимъ теченіемъ дѣлъ, которое еще не наступило и въ Европѣ, котораго вообще міръ не видалъ, но увидитъ, по предсказанію Маркса. Но они знаютъ, что для этого Россіи придется пережить, въ придачу къ тѣмъ

Digitized by Google

бѣдамъ, которыя уже лежатъ въ прошломъ, отзываясь и на настоящемъ, еще рядъ новыхъ бѣдствій, хорошо описанныхъ тѣмъ же Марксомъ. Одинъ профессоръ высчиталъ, сколько должно быть обезземелено въ Россіи народа для его собственнаго впослѣдствіи благополучія,—выходитъ на первый разъ милліоновъ 20—25, меньше профессоръ не согласенъ (Скворцовъ. Экономическія причины голодовокъ въ Россіи). А вѣдь и это не мало. И если представить себѣ тотъ всероссійскій вой и стонъ, который поднимутъ эти милліоны голодныхъ и невѣжественныхъ людей, пока они приспособятся къ своему батрацкому или фабрично-рабочему положенію и „обобществятся", такъ и въ самыхъ мужественныхъ приватъ-звонаряхъ храма науки могутъ содрогнуться сердца. Они содрогаются по крайней мѣрѣ у пассивныхъ марксистовъ, что имъ дѣлаетъ честь, конечно. Поэтому они не хотятъ ни оставаться безучастными зрителями въ комфортабельной ложѣ, ни принимать активное участіе въ процессѣ образованія капитализма и пролетаріата. Они желаютъ только „облегчить муки родовъ", по выраженію Маркса, хотятъ только идти слѣдомъ за неизбѣжнымъ процессомъ, и, не интересуясь народомъ, на землѣ сидящимъ и вообще владѣющимъ средствами производства, сосредоточиваютъ свое вниманіе и надежды на тѣхъ, которые историческимъ процессомъ уже отлучены отъ средствъ производства. Съ этической, а частью и съ чисто практической точки зрѣнія, противъ такого отношенія нельзя было бы ничего возразить, если бы не та якобы научная теоретическая подкладка экономическаго матеріализма, которая внушаетъ совершенно неосновательную самоувѣренность, и не та скользкость пути, которая легко можетъ свести пассивный марксизмъ къ активному.

Если читатель припомнитъ тѣхъ марксистовъ, которые, по словамъ „оскорбленнаго" мною марксиста же, протестовали противъ помощи голодающимъ крестьянамъ, потому что, дескать, это задерживаетъ процессъ развитія капиталистическаго производства и пролетаріата,—то получимъ образчикъ, и еще сравнительно умѣренный, активнаго марксизма. Еще одинъ марксистъ писалъ мнѣ, что я вижу въ нищетѣ бѣдствіе, тогда какъ оно есть вмѣстѣ съ тѣмъ и орудіе движенія. Это замѣчаніе, по обыкновенію, взято у Маркса цѣликомъ. Но если читатель обратится къ самому Марксу, и именно къ стр. 121 нѣмецкаго

Digitized by Google

изданія его полемики съ Прудономъ („Das Elend der Philosophie“), то убѣдится, что слова эти никакъ не могутъ быть приложены къ нашимъ дѣламъ и что наша нищета есть исключительно только бѣдствіе. Но и помимо этого Марксъ, конечно, очень удивился бы и даже вѣроятно съ свойственною ему рѣзкою безцеремонностью обозвалъ бы очень нехорошимъ словомъ тѣхъ своихъ русскихъ почитателей, которые желаютъ плодить нищету. Да еще подъ знаменемъ науки! И во имя той же науки попираются „отцовскіе идеалы“, „утопіи“, какъ надменно говорятъ марксисты, вполнѣ увѣренные, что въ ихъ провидѣніяхъ будущаго нѣтъ ничего утопическаго, а все взвѣшено и смѣряно по предписаніямъ строгой науки.

Спрашивается, почему именно теперь эта странная наука получила такое распространеніе и побуждаетъ своихъ адептовъ такъ высоко держать свои головы, что до нихъ и саженью не достанешь, а они съ этой высоты могутъ съ спокойной совѣстью обрекать милліоны людей на голодную смерть и нищету? Въ 1877 году, когда нынѣшнимъ молодымъ людямъ, достигающимъ 35-лѣтняго возраста, было лѣтъ по двадцати, я высказалъ предположеніе о логической возможности русскихъ марксистовъ, проповѣдующихъ нищету, насаждающихъ пролетаріатъ и проч. Но это была для меня только логическая возможность, какъ критическій аргументъ противъ всеобщности и непререкаемости философско-историческихъ взглядовъ Маркса; фактически же мнѣ казалось невозможнымъ такое извращеніе мысли и чувства. А между тѣмъ, вотъ оно... Надо замѣтить, что основы экономическаго матеріализма не составляютъ въ нашей литературѣ какой-нибудь новости. Онѣ доходили до насъ еще въ 30-хъ, 40-хъ годахъ изъ Франціи, отъ Фурье, потомъ Луи Блана, а въ 60-хъ годахъ онѣ излагались и въ нашей литературѣ; не въ формѣ, правда, нынѣшняго нѣмецкаго экономическаго матеріализма, а въ формѣ болѣе общей мысли о зависимости политической и вообще духовной жизни отъ экономическихъ условій. Знали мы и о классовой борьбѣ буржуазіи съ феодальнымъ строемъ, и пролетаріата съ буржуазіей. Но никому не приходило въ голову насаждать пролетаріатъ, и выводы изъ основныхъ положеній экономическаго матеріализма въ его французской формѣ дѣлались совсѣмъ иные. Были, правда, съ другой стороны, и разговоры о необходимости класса „свободныхъ отъ земли“ рабочихъ и тоже

Digitized by Google

со ссылкою на науку, но именно на ту науку, которую марксисты считаютъ фальсификаціей въ угоду господствующимъ классамъ и которая вовсе не предвидитъ торжества пролетаріата. Что же такое случилось?

Случилось многое, конечно, и марксисты скажутъ, что все дѣло въ зарожденіи новыхъ условій производства и обмѣна, выразителями которыхъ они и являются, а такъ какъ Марксъ уже сдѣлалъ эту работу, то имъ и остается только повторять его. Но въ этомъ-то, мнѣ кажется, и заключается недоразумѣніе. Если мы допустимъ даже, что экономическій матеріализмъ Маркса со всѣми вытекающими изъ него выводами относительно прошедшаго и будущаго есть несомнѣнная научная истина (а это вовсе не доказано), то вѣдь Марксъ оперировалъ надъ готовымъ пролетаріатомъ и готовымъ капитализмомъ, а намъ надо еще создавать ихъ. И если намъ суждено самою историческою необходимостью пережить эту сторону европейской жизни, то не безпокойтесь, она найдетъ для себя болѣе подходящихъ выразителей, чѣмъ марксисты. По крайней мѣрѣ, имъ надо бы какъ нибудь иначе называться. Что же касается тѣхъ, которые, такъ себя называя, озабочиваются распространеніемъ пролетаріата и насажденіемъ капитализма, то причина ихъ появленія, я думаю, гораздо проще, чѣмъ запросъ исторической необходимости на выразителей для новыхъ формъ производства и обмѣна. Ни для кого не тайна и никто не оспариваетъ, что за послѣднее время уровень нашей умственной и вообще духовной жизни сильно понизился. Понизился уровень знаній, критической мысли, энергіи, воспріимчивости, потускли идеалы, выступили разочарованія. Образовалась нѣкоторая пустота, въ которой иные превосходно устроились: кто, не мудрствуя лукаво, въ винтъ засѣлъ, а кто метафизикой и мистицизмомъ занялся, кто чистымъ искусствомъ, кто чистой наукой, изыскивая для пикантной приправы что нибудь „новое“, но такъ какъ не всѣ и старое хорошо знали, а новое не всякому дано открыть, то и выходило разное несообразное; есть, однако, и такіе, которыхъ точитъ червь жизни, которые ищутъ дѣла, притомъ вполнѣ достовѣрнаго, безошибочнаго. И вотъ, въ эту пустоту вторгается нѣмецкая марксистская литература: ясно, просто, логично, въ четверть часа можно цѣлую философію исторіи усвоить съ гарантированною научностью. Притомъ для всѣхъ удобно: кто не хочетъ думать, для того ужъ все удумано, все

Digitized by Google

разжевано и все въ ротъ положено, остается только проглотить; кто не хочетъ ничего дѣлать, по какой бы то ни было причинѣ, за того историческая необходимость все сдѣлаетъ; кто хочетъ вполнѣ безошибочнаго, не допускающаго разочарованій дѣла,— того удостовѣряютъ, что теперь всякимъ утопіямъ уже навѣрно конецъ пришелъ; кого смущаютъ „бѣдность и несовершенства жизни", тотъ узнаетъ, что все это на пользу человѣчества и даже именно народа, того самаго, который нищенствуетъ и голодаетъ; кому нужно непремѣнно новое слово—вотъ оно, еще пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ сказано. Какъ ни соблазнительно все это, но въ иное время, при иныхъ условіяхъ, марксистская литература не производила бы у насъ такой смуты. Уже одно непосредственное чувство жалости къ гибнущимъ и страдающимъ, заглохшее нынѣ въ нашей пустынѣ, съумѣло бы потребовать болѣе точнаго отчета отъ этой науки, умѣщающейся чуть не въ карманномъ словарѣ, никогда себя не провѣрившей и, однако, надменно распоряжающейся жизнью и смертью людей...

IX *).

Гегелизмъ и гальванизмъ. — О діалектическомъ развитіи и тройственныхъ формулахъ прогресса.

Г. Буренинъ въ „Новомъ Времени" замѣтилъ, что я въ прошлый разъ удѣлилъ слишкомъ много мѣста нашимъ псевдо-или нео-марксистамъ, потому что это вопросъ кружковый и не представляющій общаго интереса. То же самое кое кто говорилъ мнѣ и лично. Я и самъ, если и не могу считать вопросъ о русскомъ марксизмѣ „кружковымъ", долженъ все-таки признать, что есть много предметовъ, представляющихъ для большинства читателей гораздо болѣе близкій и живой интересъ. Возможно, что во многихъ, даже не особенно захолустныхъ мѣстахъ нашего обширнаго отечества, кое кто изъ читателей впервые услыхалъ о существованіи русскаго марксизма. Возможно также, что этотъ русскій марксизмъ, по крайней мѣрѣ въ теперешнихъ своихъ формахъ, въ самомъ непродолжительномъ времени уступитъ мѣсто другимъ, надѣюсь, болѣе здоровымъ теченіямъ. Это такъ. Съ другой стороны, однако, если русскій марксизмъ не представ-

*) 1894, февраль.

Digitized by Google

ленъ или почти не представленъ въ литературѣ, то это еще не есть признакъ такой малой его распространенности, чтобы онъ не заслуживалъ вниманія. Въ этомъ отношеніи мы поневолѣ предоставлены частнымъ свѣдѣніямъ, перепискѣ, устнымъ бесѣдамъ, причемъ легко впасть въ преувеличеніе или, напротивъ, преуменьшеніе значенія фактовъ. А въ такомъ дѣлѣ лучше пересолить, чѣмъ недосолить. Поэтому, я и еще разъ позволяю себѣ остановиться на марксизмѣ, на тѣхъ именно его сторонахъ, которыхъ мнѣ не пришлось коснуться въ прошлый разъ. Боюсь, по нѣкоторымъ соображеніямъ, что и сегодняшней бесѣдой не придется ограничиться, но тамъ видно будетъ... Другія явленія литературы и жизни, интересующія, можетъ быть, гораздо большій кругъ читателей, не уйдутъ отъ насъ въ свое время. А пока, дѣлать нечего, поскучаемъ, въ интересахъ, хотя бы и сравнительно небольшого контингента читателей, но по многимъ обстоятельствамъ заслуживающаго особеннаго вниманія. Что выйдетъ изъ теперешнихъ нашихъ марксистовъ—неизвѣстно, но они во всякомъ случаѣ составляютъ часть нашихъ преемниковъ на житейскомъ поприщѣ.

До какой степени, если не широко распространенъ, то горячъ интересъ къ вопросамъ, затронутымъ въ прошлой бесѣдѣ, объ этомъ я могу судить по письмамъ, которыя продолжаю получать. Благодарю сочувствующихъ и радъ бы удовлетворить протестующихъ. Къ сожалѣнію, протестующіе вѣроятно не совсѣмъ внимательно читаютъ то, противъ чего они протестуютъ. Пока получаемыя мною письма только подтверждаютъ, что есть „не настоящіе“ марксисты, называющіе, однако, себя настоящими и призванными говорить отъ лица марксистовъ вообще. Я думаю, это ужъ ихъ дѣло разобраться промежъ себя, а мнѣ они дожны быть только благодарны за доставленіе матеріаловъ для такой разборки. Затѣмъ, я продолжаю, на основаніи писемъ, убѣждаться, что мое дѣленіе русскихъ марксистовъ на три группы вѣрно. Съ марксистами-зрителями и марксистами активными мнѣ, сегодня по крайней мѣрѣ, разговаривать нечего. Что же касается пассивныхъ марксистовъ, то я прошу ихъ внимательнѣе прочитать то, что объ нихъ было сказано:

„Они не хотятъ ни оставаться безучастными зрителями въ комфортабельной ложѣ, ни принимать активное участіе въ процессѣ образованія капитализма и пролетаріата. Они желаютъ

Digitized by Google

только „облегчить муки родовъ“, по выраженію Маркса, только идти слѣдомъ за неизбѣжнымъ процессомъ, и, не интересуясь народомъ, на землѣ сидящимъ и вообще владѣющимъ средствами производства, сосредоточиваютъ свое вниманіе и надежды на тѣхъ, которые историческимъ процессомъ уже отлучены отъ средствъ производства. — Съ этической, а частью и съ чисто практической точки зрѣнія, противъ такого отношенія нельзя было бы ничего возразить, если бы не та якобы научная теоретическая подкладка экономическаго матеріализма, которая внушаетъ совершенно неосновательную самоувѣренность, и не та скользкость пути, которая легко можетъ свести пассивный марксизмъ къ активному“.

Вѣрны или не вѣрны мои собственныя соображенія, заключающіяся въ послѣднихъ строкахъ, но, что касается самой позиціи, занимаемой этимъ разрядомъ русскихъ марксистовъ, то нѣкоторые корреспонденты пишутъ мнѣ почти буквально то же самое, только въ видѣ протеста и возраженія. Зачѣмъ же они протестуютъ и противъ чего возражаютъ?

Историческая схема Маркса выражена въ „Капиталѣ“, между прочимъ, и въ терминахъ гегеліанской діалектики: капиталистическій строй есть „отрицаніе“ феодальнаго, а затѣмъ должно наступить „отрицаніе отрицанія“ и примиреніе противорѣчій между двумя предъидущими историческими фазами. Такова общая формула Гегеля, знаменитая тріада: положеніе, отрицаніе и синтезъ, причемъ послѣдній представляетъ собою возвращеніе къ первоначальной стадіи развитія, но обогащенное всѣмъ, что пріобрѣтено на второй ступени, ступени отрицанія. Въ полемикѣ съ Дюрингомъ, Энгельсъ горячо стоитъ за эту тріаду, утверждая, что этимъ именно послѣдовательно-тройственнымъ путемъ идетъ всякое развитіе, всякая жизнь, всякая мысль, всѣ процессы природы, исторіи и человѣческаго мышленія. Такъ всегда было, такъ и будетъ. Гегель далъ только формулу вѣковѣчнаго и всеобщаго процесса. Абсолютный идеализмъ Гегеля Марксъ и Энгельсъ вытѣсняютъ чистымъ матеріализмомъ, но затѣмъ, оставаясь при гегелевской діалектикѣ, утверждаютъ, что всякая вещь заключаетъ въ себѣ противорѣчіе, которое вскрывается, а затѣмъ разрѣшается означеннымъ тройственно-послѣдовательнымъ путемъ.

Digitized by Google

Энгельсъ усвоиваетъ Гегелю, кромѣ формулировки діалектическаго процесса, еще ту, болѣе общую заслугу, что онъ, дескать, первый всѣ процессы природы и исторіи представилъ какъ процессъ развитія. Первый ли онъ это сдѣлалъ, можно спорить, но во всякомъ случаѣ не послѣдній, и нынѣшнія теоріи развитія—эволюціонизмъ Спенсера, дарвинизмъ, идеи развитія въ психологіи, физикѣ, геологіи и т. д.—не имѣютъ ничего общаго съ гегельянствомъ. Энгельсъ говоритъ, что всегда люди разсуждали по Гегелю, все равно, какъ всегда говорили прозой, а только не знали, что это называется прозой. Можетъ быть, но въ такомъ случаѣ теперь люди науки опять забыли слово „проза", потому что никто изъ нихъ не употребляетъ терминологіи Гегеля и не старается расположить свой матеріалъ или свои выводы по тремъ діалектическимъ ступенямъ. Это, впрочемъ, мимоходомъ. Любопытно вотъ что. По воззрѣнію экономическаго матеріализма, вся наша умственная жизнь составляетъ „надстройку" на экономическомъ фундаментѣ и состоитъ въ зависимости отъ формъ производства и обмѣна, вся, за исключеніемъ, однако, гегеліанской діалектики, которая всегда себѣ равна и всегда истинна при всѣхъ формахъ производства, потому что соотвѣтствуетъ самой природѣ вещей и основнымъ, постояннымъ свойствамъ человѣческаго мышленія. Пусть такъ. Но можетъ быть та особенная форма, въ которую облекъ діалектическій процессъ Гегель, самый, наконецъ, фактъ формулировки, именно имъ, именно въ началѣ XIX вѣка, именно въ такихъ-то терминахъ—находится въ зависимости отъ опредѣленныхъ условій времени. Это, конечно, несомнѣнно, хотя бы уже потому, что Гегель былъ и нѣтъ его, гегеліанская діалектика гремѣла на весь міръ и нынѣ не поминается людьми науки: Марксъ былъ послѣдній крупный, самостоятельный умъ, получившій свой толчокъ отсюда. Да и то, онъ до такой степени наполнилъ пустую діалектическую схему фактическимъ содержаніемъ, что ее можно снять съ этого содержанія, какъ крышку съ чашки, ничего не измѣнивъ, ничего не повредивъ, за исключеніемъ одного только пункта, правда, огромной важности. А именно, относительно будущаго „имманентные" законы общества поставлены исключительно діалектически. Для правовѣрнаго гегельянца достаточно сказать, что за „отрицаніемъ" должно слѣдовать „отрицаніе отрицанія"; но непричастные къ гегелевской мудрости не могутъ этимъ довольствоваться, для нихъ діалектическій выводъ

Digitized by Google

не есть доказательство, и повѣрившій ему не-гегеліянецъ долженъ знать, что онъ именно только повѣрилъ, а не убѣдился. Какъ бы то ни было, если исторія философіи, написанная съ точки зрѣнія экономическаго матеріализма, представляла бы огромный интересъ вообще, то можетъ быть самымъ интереснымъ моментомъ ея было бы установленіе болѣе или менѣе прямой связи между гегельянствомъ и современными ему формами производства и обмѣна. Въ ожиданіи такого труда, ничто не мѣшаетъ намъ искать объясненія происхожденія гегельянства въ иныхъ сферахъ.

Въ № 3 „Научнаго Обозрѣнія“ напечатана любопытная статья г. Филиппова „Гальванизмъ и гегелизмъ“ съ подзаглавіемъ „изъ исторіи заблужденій“. Основана она на статьѣ американца Фрезера, который, въ качествѣ американца, позволяетъ себѣ относиться къ нѣкоторымъ явленіямъ жизни въ нашемъ старомъ свѣтѣ съ неожиданной точки зрѣнія. Подобныя неожиданности, даже при нѣкоторой односторонности, дѣйствуютъ иногда освѣжающимъ образомъ.

Бываютъ, однако, неожиданности, пожалуй, уже слишкомъ взбадривающія современниковъ, ослѣпляющія ихъ своимъ блескомъ и налагающія свою печать на отдаленнѣйшія сферы жизни и мысли, гдѣ ихъ вліянію совсѣмъ даже не мѣсто. Таковы были неожиданныя открытія Гальвани и Вольта въ 90-хъ годахъ прошлаго вѣка. По словамъ Фрезера (или г. Филиппова), „то вниманіе, которое въ наше время оказывается гипнотизму и другимъ мало изученнымъ явленіямъ, не можетъ сравниться съ впечатлѣніемъ, призведеннымъ опытами Гальвани и Вольта“.

Не мѣшаетъ вспомнить ту маленькую случайность, съ которой началась исторія гальванизма. Врачъ и физикъ Гальвани варилъ для своей больной жены похлебку изъ лягушекъ; на столѣ, подлѣ электрической машины, лежало нѣсколько ободранныхъ лягушечьихъ ножекъ; помощникъ Гальвани нечаянно дотронулся ножомъ до одной изъ ножекъ, которая стала вздрагивать; больная жена Гальвани замѣтила, что какъ разъ въ это время вылетѣла изъ электрической машины искра; Гальвани заинтересовался этимъ явленіемъ и сталъ дѣлать опыты. Намъ незачѣмъ разсказывать дальнѣйшую исторію гальванизма. Достаточно отмѣтить, что умы и воображенія современниковъ были въ особенности поражены той связью, которая, повидимому, устанавливалась опытами Гальвани и Вольта между электрическими

Digitized by Google

явленіями и явленіями жизни. Если въ ободранной лягушечьей лапкѣ появляются подъ вліяніемъ электрическаго тока, казалось, очевидные признаки жизни, то отчего бы не попробовать оживлять обезглавленные трупы? Такіе опыты и дѣлались. Наполеонъ, осыпавшій Вольта почестями и милостями, назначалъ преміи за изслѣдованія по гальванизму и съ свойственною ему рѣшительностью говорилъ: „Позвоночный столбъ есть Вольтовъ столбъ, печень—отрицательный полюсъ, мочевой пузырь—положительный“. Неизвѣстно, съ какой миной выслушивалъ этотъ смѣлый вздоръ врачъ Корвизаръ, котораго поучалъ Наполеонъ. Весьма возможно, что онъ только спеціально на счетъ роли печени и мочеваго пузыря сомнѣвался, въ общемъ же раздѣлялъ взглядъ своего царственнаго паціента. Іенскій профессоръ Ризеръ училъ, что „полярность есть основа всѣхъ вещей, такъ какъ жизнь есть колебаніе между положительнымъ и отрицательнымъ полюсами“. Бернскій профессоръ Трокслеръ былъ того мнѣнія, что всѣ жизненные процессы находятся въ полярномъ соотношеніи между собою. Шеллингъ и особенно многіе врачи, бывшіе его учениками, довели ученіе о полярности до послѣдней крайности. Все полярно: мужчина—женщина, раздражительность—чувствительность, субъектъ—объектъ, электричество—магнитизмъ, кислородъ—водородъ, кислота—щелочь. Среди серьезнѣйшихъ ученыхъ, поддавшихся этому полярному миѳу, Фрезеръ указываетъ на Пфаффа, Гумбольдта, Риттера, Прохаску, Тревирануса и Бишофа. Явленія животнаго магнитизма, по теперешнему гипнотизма, объяснялись отталкиваніемъ одноименныхъ полюсовъ магнитизера и паціента. И т. д.

Этому теченію поддался и Гегель. Для него „все сущее въ природѣ есть продуктъ соединенія полярностей, всякій элементъ природы имѣетъ свой обратный полюсъ, свое собственное другое „я“. Духъ и природа, субъектъ и объектъ, я и не я, мысль и чувство, активное и пассивное, удовольствіе и страданіе, анархія и деспотизмъ—вездѣ и во всемъ полярность, являющаяся основою знанія, науки, соціальнаго строя, самой религіи въ полярномъ отношеніи между Отцомъ и Сыномъ и синтезѣ помощью Св. Духа. Таковъ истинный источникъ пресловутаго „діалектическаго метода“, въ которомъ противоположность превращается въ логическое противорѣчіе, родъ логической полярности... Вліяніе теоріи гальванизма на ученіе Гегеля прежде всего обнаруживается въ самой

Digitized by Google

терминологіи. Бытіе есть нѣчто положительное; небытіе или ничто есть нѣчто отрицательное, но тѣмъ не менѣе существующее; результатъ имѣетъ нейтральный характеръ, характеръ возникновенія. Затѣмъ опять начинается тотъ же процессъ. Возникновеніе (Werden) имѣетъ свою положительную сторону—„непосредственность". Діалектическій процессъ начинается съ положительнаго „нѣчто"; отрицаніемъ является „иное", въ результатѣ оказывается нейтральное „бытіе для себя". Это развитіе продолжается до безконечности... Насколько ученіе Гегеля, отчасти безсознательно для него самого, подчинилось вліянію господствовавшихъ въ его время физическихъ теорій, ясно, напр., изъ того, что онъ самъ сопоставляетъ противорѣчіе съ полярностью, не для простого поясненія, но въ видѣ *философскаго опредѣленія* (см. его Логику)... „Въ новѣйшей физической наукѣ, говоритъ Гегель, противорѣчіе, первоначально замѣченное въ магнитизмѣ въ видѣ полярности, стало разсматриваться, какъ общій законъ природы". Оставался еще одинъ шагъ—сдѣлать полярность основнымъ закономъ духа: этотъ шагъ или, точнѣе, скачокъ и былъ сдѣланъ системою Гегеля... Аналогіи съ магнитомъ встрѣчаются у Гегеля на каждомъ шагу. Всѣ соотносительныя понятія надѣляются магнитными силами, полюсами и индифферентной точкой... Для Гегеля магнитъ важенъ потому, что имѣетъ два полюса. Индифферентный пунктъ важенъ лишь какъ пунктъ сочетанія противоположныхъ силъ. Что синтезъ Гегеля составляетъ прямой плагіатъ изъ теоріи гальванизма, ясно изъ его собственной „натурфилософіи", въ которой Гегель, выдавая свой секретъ, называетъ ученіе объ электричествѣ и химіи діалектическими науками, т. е., идя обратнымъ путемъ, желаетъ навязать электричеству діалектическія свойства".

Г. Филипповъ справедливо замѣчаетъ, что Фрезеръ хватаетъ черезъ край, сводя всю философію Гегеля къ „гальваническому мистицизму", овладѣвшему въ началѣ нашего вѣка не только фантастическими, но и серьезными и высоко просвѣщенными умами подъ вліяніемъ первыхъ, ложно истолкованныхъ опытовъ Гальвани. Достаточно вспомнить преемственный ходъ и вліяніе предъидущей метафизики, начиная съ древнихъ, съ Гераклита. Тѣмъ не менѣе указанія Фрезера въ высшей степени интересны и, несомнѣнно заключая въ себѣ значительную долю истины, напоминаютъ намъ крайнюю сложность общественной жизни, которую представители экономическаго матеріализма пытаются разложить

Digitized by Google

на экономическій фундаментъ и „надстройку“, совмѣщающую въ себѣ все остальное. Какая въ самомъ дѣлѣ пестрая, запутанная страница исторіи развертывается передъ нами! Въ эпоху восхожденія звѣзды корсиканскаго „сына судьбы“ болонскій профессоръ Гальвани варитъ больной женѣ лягушечій супъ и случайно натыкается при этомъ на открытіе чрезвычайной важности. Вскорѣ послѣ этого онъ отказывается присягать основанной корсиканскимъ сыномъ судьбы Цизальпинской республикѣ, лишается мѣста и хлѣба и почти буквально съ голоду умираетъ. Профессоръ въ Павіи Вольта повторяетъ опыты Гальвани, вводитъ въ нихъ существенныя поправки, заинтересовываетъ фантастическій умъ корсиканскаго сына судьбы и умираетъ сенаторомъ, графомъ и богатымъ человѣкомъ. Гальванизмъ расширяетъ наши понятія о природѣ и отзывается впослѣдствіи въ промышленной области. Опыты гальванизма производятъ впечатлѣніе на всѣхъ мыслящихъ людей Европы, въ томъ числѣ и на молодого тогда нѣмецкаго философа Гегеля. Гегель создаетъ колоссальную метафизическую систему, гремящую на весь міръ, такъ что отъ нея нѣтъ проходу даже на берегахъ Москвы-рѣки, гдѣ и устныя бесѣды, и частная переписка переполняются тезисами и антитезисами, Sein, Andersein и An-und für sich sein, „бытіе и небытіе тождественны“, „все истинное въ идеѣ, истинно и объективно“, „все дѣйствительное разумно“ и т. д. Гегеліанство дифференцируется: на правомъ своемъ крылѣ оно создаетъ абсолютный идеализмъ и консервативнѣйшее политическое ученіе, на лѣвомъ—чистый матеріализмъ и радикальныя политическія и соціальныя доктрины; здѣсь же получаетъ свое начало и экономическій матеріализмъ...

Изъ этой пестроты и запутанности не слѣдуетъ, конечно, чтобы въ исторіи царила безпричинная случайность. Но она очевидно слишкомъ сложна и разностороння, чтобы ее можно было построить на какомъ бы то ни было одноцвѣтномъ фундаментѣ. А затѣмъ въ ней всегда возможны не только маленькія, а и весьма крупныя неожиданности, не безпричинныя, конечно—потому что ничего безпричиннаго нѣтъ и быть не можетъ,—но причины которыхъ ускользаютъ отъ нашего вниманія и даже пониманія, а слѣдствія своими размѣрами далеко превосходятъ первоначальную вѣроятность. Это не мѣшаетъ намъ въ пестромъ сплетеніи историческихъ событій искать руководящаго начала, такого общаго принципа, слѣдя за которымъ мы можемъ обнять глазомъ

Digitized by Google

и объяснить возможно большее число фактовъ. Но это есть дѣло удобства изслѣдованія, а не познанія какой бы то ни было сущности историческаго хода вещей. Сущность эта, неуловимая вообще, не уловлена, конечно, и доктриной экономическаго матеріализма, хотя она опирается, повидимому, на два устоя; на открытіе всеопредѣляющаго значенія формъ производства и обмѣна и на непререкаемость діалектическаго процесса. О первомъ устоѣ мы уже говорили въ прошлый разъ. Посмотримъ теперь нѣсколько ближе на второй и постараемся сдѣлать это такъ, чтобы быть понятными для людей, совершенно не посвященныхъ въ тайны „философскаго колпака Егора Ѳедоровича", какъ непочтительно выражался Бѣлинскій, поднявъ знамя возстанія противъ Гегеля. Для этого возьмемъ два типичныхъ примѣра изъ тѣхъ, которые Энгельсъ, приводитъ въ поученіе Дюрингу въ упомянутой уже въ прошлый разъ книгѣ „Herrn Dührings Umwälzung der Wissenschaft".

Зерно овса попадаетъ въ благопріятныя условія: оно пускаетъ ростокъ и тѣмъ самымъ *какъ таковое*, какъ зерно, *отрицается*; на его мѣстѣ возникаетъ стебель, который есть *отрицаніе* зерна; растеніе развивается, приноситъ плоды, то есть новыя зерна овса, и когда эти зерна созрѣваютъ,—стебель погибаетъ: онъ, *отрицаніе* зерна, самъ *отрицается*. И затѣмъ тотъ же процессъ „отрицанія" и „отрицанія отрицанія" повторяется безчисленное число разъ. Въ основаніи этого процесса лежитъ *противорѣчіе*: зерно овса есть зерно и въ то же время *не* зерно, такъ какъ всегда находится въ дѣйствительномъ или возможномъ развитіи. Читатель понимаетъ, что подобныхъ примѣровъ можно привести безчисленное множество. Обратимся въ другую область,—къ ученію Руссо. По Руссо, люди въ естественномъ состояніи и дикости были равны равенствомъ животныхъ. Но человѣкъ отличается способностью къ совершенствованію и это совершенствованіе началось возникновеніемъ неравенства; а затѣмъ каждый дальнѣйшій шагъ цивилизаціи былъ противорѣчивъ: „повидимому, это были шаги къ усовершенствованію отдѣльнаго человѣка, въ дѣйствительности же они вели къ упадку человѣческаго рода... Металлургія и земледѣліе, вотъ два искусства, открытіе которыхъ произвело великую революцію. Съ точки зрѣнія поэта золото и серебро, а съ точки зрѣнія философа желѣзо и хлѣбъ—цивилизовали людей, и погубили человѣческій родъ". Неравенство продолжаетъ развиваться и, достигнувъ своего апогея, обращается въ восточныхъ

Digitized by Google

деспотіяхъ опять во всеобщее равенство всеобщаго ничтожества, то есть возвращается къ своей исходной точкѣ, а затѣмъ дальнѣйшій процессъ такимъ же порядкомъ приводитъ къ равенству общественнаго договора.—Можно было-бы кое-что замѣтить по поводу изложенія Энгельса, но намъ важно только знать, что именно въ трактатѣ Руссо („Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes") цѣнится Энгельсомъ. Онъ не касается вопроса о томъ, вѣрно или не вѣрно понимаетъ Руссо ходъ исторіи, онъ интересуется только тѣмъ, что Руссо „мыслитъ діалектически": усматриваетъ *противорѣчіе* въ самомъ содержаніи прогресса и располагаетъ свое изложеніе такъ, что его можно подогнать подъ гегеліанскую формулу *отрицанія* и *отрицанія отрицанія*. И дѣйствительно можно, хотя Руссо и не зналъ гегеліанской діалектической формулы.

Такимъ образомъ, и зерно овса растетъ, такъ сказать по Гегелю, и Руссо мыслитъ по Гегелю, который открылъ всеобщій законъ природы, исторіи и мышленія. Въ самомъ дѣлѣ, примѣровъ очевидной примѣнимости гегелевской діалектики можно привести чрезвычайно много; такъ много, что люди, совсѣмъ не склонные къ метафизикѣ вообще и къ гегеліанству въ особенности, выражаютъ иногда удивленіе передъ этой загадкой: человѣкъ, строившій систему изъ глубины собственнаго духа, помимо опыта и наблюденія, нашелъ всеобщій законъ развитія, всѣмъ законамъ законъ, покрывающій рѣшительно всѣ данныя опыта и наблюденія! Кто вѣритъ въ возможность построенія философской системы изъ глубины собственнаго духа, для тѣхъ тутъ, конечно, нѣтъ ничего удивительнаго. Но и тѣмъ, кто знаетъ, что нѣтъ идей, независимыхъ отъ опыта и наблюденія, данныя которыхъ воспринимаются не только сознательно, а и безсознательно, слѣдовало бы, по крайней мѣрѣ прежде, чѣмъ удивляться обобщенію Гегеля, или, пожалуй, достаточно надивившись ему, остановиться на вопросѣ: какія именно данныя опыта и наблюденія легли въ его основаніе? Можетъ быть, рѣшивъ этотъ вопросъ, мы нѣсколько приподнимемъ завѣсу таинственности съ Гегелевой тріады, хотя бы уже тѣмъ, что замѣнимъ ея условную терминологію какой нибудь другой. Имя вещи не мѣняетъ, но очень часто маскируетъ ее.

Не будемъ распространяться о весьма вѣроятной, хотя и преувеличенной догадкѣ Фрезера насчетъ „гальванизма и гете-

Digitized by Google

лизма". Возьмемъ два вышеприведенные типическіе примѣра, какъ они есть.

Зерно овса есть вмѣстѣ съ тѣмъ и не зерно, потому что, при нормальныхъ условіяхъ, находится въ процессѣ постояннаго развитія, которое ведетъ къ разрушенію (отрицанію) зерна стеблемъ, а затѣмъ разрушается (отрицается) и стебель, когда созрѣваютъ новыя зерна, и процессъ приходитъ къ своей исходной точкѣ въ обновленномъ и, такъ сказать, обогащенномъ видѣ: вмѣсто одного зерна мы имѣемъ цѣлый колосъ, каждое изъ зеренъ котораго опять продѣлываетъ то же самое съ начала. Первая ступень, ступень зерна, есть тезизъ, положеніе; вторая, вплоть до образованія новыхъ зеренъ, есть антитезисъ, противоположеніе; третья есть синтезисъ или примиреніе; все вмѣстѣ составляетъ тріаду или трихотомію. И такова судьба всего живущаго: оно возникаетъ, развивается и даетъ начало своему повторенію, послѣ чего умираетъ. Громадная масса единичныхъ проявленій этого процесса тотчасъ же, конечно, встаетъ въ памяти читателя, и законъ Гегеля оказывается оправданнымъ на всемъ органическомъ мірѣ (мы теперь дальше не идемъ). Если, однако, мы вглядимся въ нашъ примѣръ нѣсколько ближе, то увидимъ крайнюю поверхность и произвольность нашего обобщенія. Мы взяли зерно, стебель и опять зерно или, вѣрнѣе, группу зеренъ. Но вѣдь прежде, чѣмъ приносить плодъ, растеніе цвѣтетъ. Когда мы говоримъ объ овсѣ или другомъ злакѣ, имѣющемъ хозяйственное значеніе, мы можемъ имѣть въ виду зерно посѣянное, солому и зерно собранное, но этими тремя моментами считать и жизнь растенія исчерпанною—не имѣемъ никакого резона. Въ жизни растенія моментъ цвѣтенія сопровождается чрезвычайнымъ и своеобразнымъ напряженіемъ силъ, а такъ какъ цвѣтокъ не непосредственно изъ зерна возникаетъ, то, придерживаясь даже терминологіи Гегеля, мы получаемъ не трихотомію, а, по крайней мѣрѣ, тетрахотомію, четвертное дѣленіе: стебель отрицаетъ зерно, цвѣтокъ отрицаетъ стебель, плодъ отрицаетъ цвѣтокъ. Пропускъ момента цвѣтенія имѣетъ важное значеніе еще вотъ въ какомъ отношеніи. Во времена Гегеля можетъ быть и позволительно было брать зерно за исходный пунктъ жизни растенія, а съ хозяйственной точки зрѣнія позволительно, пожалуй, это и теперь дѣлать: хозяйственный годъ начинается посѣвомъ зерна. Но жизнь растенія не съ зерна начинается. Мы

Digitized by Google

теперь очень хорошо знаемъ, что зерно есть нѣчто очень сложное по строенію и само составляетъ продуктъ развитія клѣточки, и что нужныя для размноженія клѣточки образуются именно въ моментъ цвѣтенія. Такимъ образомъ въ примѣрѣ жизни растенія и исходный пунктъ взятъ произвольно и невѣрно, и весь процессъ искусственно и опять таки произвольно втиснутъ въ рамки трихотоміи. Дѣло станетъ еще яснѣе, если мы обратимся въ другія области органической жизни. Бабочка кладетъ яйца, изъ которыхъ выходятъ личинки, личинки превращаются въ куколки, изъ куколки выходитъ бабочка, которая опять кладетъ яйца и т. д. Чтобы вогнать этотъ процессъ въ трехчленную формулу діалектическаго развитія, надо состоянія личинки и куколки обнять однимъ общимъ понятіемъ „превращенія", что и дѣлается. И выходитъ, что бабочка развивается изъ яйца отрицаніемъ его, затѣмъ совершаетъ надлежащія превращенія и сама отрицается, умираетъ, положивъ вновь яйца. Одинъ изъ моментовъ развитія опять скрадывается въ угоду тріадѣ. Такое скрадываніе, неосновательное и само по себѣ, оказывается особенно грубою натяжкою съ тѣхъ, довольно уже давнихъ поръ, какъ мы познакомились съ явленіями такъ называемаго чередованія поколѣній, при которомъ перемежаются половое и безполовое размноженія. Неудивительно поэтому, что люди науки—въ данномъ случаѣ ботаники, зоологи, физіологи, біологи—не руководствуются въ своихъ работахъ гегелевской діалектикой. Да и намъ, профанамъ, пора бы перестать вѣрить, что овесъ растетъ по Гегелю, пора перестать удивляться всеприложимости его формулы, ибо она прежде всего не всеприложима. Въ основаніе ея, по крайней мѣрѣ, что касается органической жизни, очевидно легли крайне грубыя и поверхностныя наблюденія. Современная біологія поддерживаетъ знаменитую тріаду развѣ лишь въ томъ слишкомъ уже общемъ смыслѣ, что все живующее родится, развивается и умираетъ, оставляя подобное себѣ потомство. Процессъ жизни представляетъ собою длинный рядъ измѣненій, изъ которыхъ каждое можно, если угодно, назвать отрицаніемъ предъидущаго состоянія. Но отъ такого переименованія „измѣненія" въ „отрицаніе" мы рѣшительно ничего не выигрываемъ. Гегеліанская же доктрина выиграетъ лишь въ томъ случаѣ, если будетъ доказано, что за первымъ шагомъ отрицанія идетъ второй и уже окончательный шагъ „отрицанія отрицанія", представляющій собою

Digitized by Google

третій (начиная съ „положенія“, тезиса) и послѣдній моментъ развитія. Въ сферѣ отвлеченныхъ логическихъ категорій, гдѣ можно съ успѣхомъ доказывать, напримѣръ, что „ничто“ или „небытіе“ существуетъ, а „бытіе“ не существуетъ и что бытіе и не-бытіе тождественны, въ этой сферѣ все идетъ въ своемъ родѣ гладко, хотя и передъ этой гладкостью можно иногда только руками развести. Во всякомъ случаѣ, тутъ у метафизики своя рука владыка. Но когда эта рука распростирается на опредѣленныя явленія природы, исторіи и мысли, то мы ясно видимъ рядъ натяжекъ. Два условія особенно способствуютъ кажущемуся соотвѣтствію этихъ натяжекъ съ дѣйствительнымъ ходомъ вещей. Во-первыхъ, всякая классификація извѣстнаго ряда явленій въ послѣдовательныя (или одновременныя) группы болѣе или менѣе искусственна, именно потому, что процессъ измѣненій или „отрицаній“ непрерывенъ. Поэтому стоитъ только задаться мыслью о тройственномъ дѣленіи всѣхъ вещей и идей, чтобы дѣйствительно найти таковое, обходя идеи и вещи, не поддающіяся, и гдѣ сжимая, а гдѣ расширяя понятія и термины. И весьма возможно, что такой произволъ окажется оправданнымъ съ извѣстной точки зрѣнія и въ виду опредѣленныхъ условныхъ частныхъ цѣлей. Повторяю, сельскій хозяинъ можетъ согласиться, что главнѣйшіе моменты жизни растенія суть, во-первыхъ, посѣянное зерно, во-вторыхъ — стебель (солома), въ-третьихъ — собранное зерно. Но цвѣтоводъ съ этимъ не согласится. Не согласится и человѣкъ науки, для котораго зерно овса не есть что нибудь однородное или даже двойственно противорѣчивое въ гегеліанскомъ смыслѣ зерна и не-зерна. Онъ различаетъ въ немъ и зачаточный стебель, и сѣмянодоли, и бѣлокъ. Такимъ образомъ, намъ предоставляется большой выборъ точекъ зрѣнія, и уже отъ нашего остроумія и ловкости будетъ зависѣть остановиться на той именно, съ которой получается тройственное дѣленіе. Второе условіе, способствующее видимому успѣху натяжекъ, лежитъ въ самомъ основаніи гегеліанской метафизики. Для нея равно цѣнны и діалектическое развитіе самого овсянаго зерна, и діалектическій ходъ чьей нибудь мысли объ овсяномъ зернѣ. Понятно, какъ расширяетъ это обстоятельство выборъ точекъ зрѣнія, съ которыхъ получается трехчленное дѣленіе.

Руссо, не зная Гегеля, мыслилъ по Гегелю, діалектически. Почему именно Руссо, а не Вольтеръ, не первый встрѣчный? потому

Digitized by Google

что вѣдь всѣ люди, по самой природѣ своей, мыслятъ діалектически. Однако выбранъ именно Руссо, человѣкъ, рѣзко выдѣлявшійся изъ среды современниковъ не только по своимъ дарованіямъ, — въ этомъ отношеніи ему не уступятъ многіе, — а по самому складу своего ума и характеру своего міросозерцанія. Столь исключительное явленіе не слѣдовало, казалось бы, брать для провѣрки на немъ всеобщаго правила. Но у насъ своя рука владыка. Руссо интересенъ и важенъ прежде всего потому, что онъ первый съ достаточною рѣзкостью указалъ *противорѣчивость* цивилизаціи, а противорѣчіе составляетъ непремѣнное условіе діалектическаго процесса. Надо, однако, замѣтить, что противорѣчіе, усмотрѣнное Руссо, не имѣетъ ничего общаго съ противорѣчіемъ въ гегельянскомъ смыслѣ слова. Гегелевское противорѣчіе состоитъ въ томъ, что каждая вещь, находясь въ постоянномъ процессѣ движенія, измѣненія (и именно послѣдовательно тройственнымъ путемъ), есть въ каждую данную единицу времени „она“ и вмѣстѣ съ тѣмъ „не-она“. Если оставить въ сторонѣ обязательныя три стадіи развитія, то противорѣчіе является здѣсь просто какъ бы подкладою измѣненій, движенія, развитія. Руссо тоже говоритъ о процессѣ измѣненій. Но отнюдь не въ самомъ фактѣ измѣненій усматриваетъ онъ противорѣчіе. Значительная часть его разсужденій, какъ въ Discours sur l'inégalité, такъ и въ другихъ сочиненіяхъ, можетъ быть резюмирована такъ: умственный прогрессъ сопровождался нравственнымъ регрессомъ. Очевидно, діалектическое мышленіе тутъ рѣшительно не причемъ: тутъ нѣтъ „отрицанія отрицанія“, а есть только указаніе на единовременное существованіе добра и зла въ данной группѣ явленій, и все сходство съ діалектическимъ процессомъ держится на *словѣ* „противорѣчіе“. Это, однако, только одна сторона дѣла. Энгельсъ видитъ, кромѣ того, въ разсужденіи Руссо явственную трихотомію: за первобытнымъ равенствомъ слѣдуетъ его отрицаніе—неравенство, затѣмъ наступаетъ отрицаніе отрицанія — равенство всѣхъ въ восточныхъ деспотіяхъ передъ властью хана, султана, шаха. „Это послѣдняя степень неравенства и крайняя точка, завершающая кругъ и возвращающая насъ къ нашей исходной точкѣ“. Но исторія на этомъ не останавливается, развиваетъ новыя неравенства и т. д. Приведенныя въ ковычкахъ слова суть подлинныя слова Руссо, и они-то особенно дороги для Энгельса, какъ очевидное свидѣтельство, что Руссо мыслилъ по Гегелю.

Digitized by Google

Энгельсъ могъ бы привести цѣлый рядъ подобныхъ же и во многихъ отношеніяхъ даже еще болѣе выразительныхъ примѣровъ философско-историческихъ схемъ и формулъ, съ чрезвычайнымъ удобствомъ укладывающихся въ гегелевскую трихотомію. Сдѣлаемъ это за него. Припомнимъ, напримѣръ, формулу Конта, по которой исторія дѣлится на три періода: „теологическій", „метафизическій" и „позитивный"; или Луи Блановскую, группирующую историческіе факты въ періоды „авторитета", „индивидуализма" и „братства"; или, наконецъ, вскользь, не помню уже гдѣ, брошенное Спенсеромъ остроумное замѣчаніе: исторія мысли сводится къ тремя послѣдовательнымъ моментамъ,—единогласія невѣждъ, разногласія изучающихъ и единогласія знающихъ. Начнемъ со Спенсера. Мы имѣемъ здѣсь не только требуемыя три ступени развитія, но и совершенно гегелевское ихъ расположеніе и взаимное отношеніе, только безъ гегельянской терминологіи. Введя ее, мы получимъ, что единогласіе невѣждъ есть тезисъ, разногласіе изучающихъ—антитезисъ, „отрицаніе", единогласіе знающихъ—синтезъ, „отрицаніе отрицанія", причемъ происходитъ возвращеніе къ исходной точкѣ, то есть къ единогласію, но обогащенное всѣмъ тѣмъ знаніемъ, которое добыто на второй ступени, на ступени изученія. Чтобы читатель наглядно убѣдился въ томъ, до какой степени этотъ нашъ переводъ замѣчанія Спенсера на языкѣ гегельянской діалектики точенъ, я приведу здѣсь тѣ слова Маркса въ „Капиталѣ", въ которыхъ онъ прибѣгаетъ къ этому же языку: „Капиталистическій способъ производства и присвоенія, а слѣдовательно и капиталистическая частная собственность, есть *отрицаніе* индивидуальной частной собственности, основывающейся на собственномъ трудѣ. Отрицаніе капиталистическаго производства производится имъ же самимъ съ неизбѣжностію естественнаго процесса. Это—*отрицаніе отрицанія. Оно снова возстановляетъ индивидуальную собственность, но на основаніи пріобрѣтеній капиталистической эры*, т. е. на основаніи кооперацiи свободныхъ работниковъ и ихъ общиннаго владѣнія землею и средствами производства, произведенными самими рабочими". (Стр. 650 русскаго перевода).

Параллель, какъ видитъ читатель, полнѣйшая, и нѣтъ, повидимому, ни малѣйшей разницы собственно въ ходѣ мыслей Спенсера и Маркса, хотя они разсуждаютъ о совершенно различ-

Digitized by Google

ныхъ вещахъ: одинъ имѣетъ въ виду исторію знанія, а другой— исторію экономическихъ отношеній. Посмотрѣвъ, однако, на дѣло нѣсколько шире, мы увидимъ разницу и въ самомъ ходѣ мысли, и даже очень большую. Я ужъ не говорю объ томъ, что замѣчаніе Спенсера брошено вскользь, а собственно его теорія эволюціи никакихъ трехъ фазисовъ или этаповъ, ступеней—не знаетъ. Затѣмъ, что касается приведеннаго замѣчанія, то Спенсеръ основывается совсѣмъ не на обязательности діалектической трихотоміи. Что исторія какой-нибудь отрасли знанія начинается единогласіемъ невѣждъ, это можетъ быть и не есть общее правило, но до извѣстной, весьма значительной степени фактически защитимое. Фактически достовѣрно также, что вторые, третьи шаги изученія сопровождаются разногласіемъ изслѣдователей, пока, наконецъ, не установится единогласіе въ общемъ признаніи извѣстныхъ истинъ. Такъ было, такъ, очевидно, будетъ и въ тѣхъ отдѣлахъ знанія, которые еще полны спорныхъ вопросовъ (науки общественныя надо бы поставить особо, но мы на этомъ не будемъ останавливаться). Спенсеръ, если бы ему понадобилось доказывать свою мысль, могъ бы опереться не только на чисто логическія соображенія о торжествѣ истины, разъ она открыта, но и на множество фактическихъ примѣровъ: къ его услугамъ была бы и дедукція, и индукція. Совсѣмъ иначе поставлено дѣло у Маркса. Первыя двѣ стадіи разработаны имъ въ фактическомъ отношеніи такъ, что въ лѣтописяхъ науки немного, конечно, найдется подобныхъ работъ. Но когда онъ говоритъ о третьей, грядущей стадіи, то вы недоумѣваете, почему это *грядущее* выражено въ *настоящемъ* времени: „снова *возстановляетъ* индивидуальную собственность, но на основаніи пріобрѣтеній капиталистической эры, т. е. на основаніи коопераціи свободныхъ работниковъ и ихъ общиннаго владѣнія землею и средствами производства, произведенными самими рабочими“. До сихъ поръ историческая дѣйствительность еще нигдѣ и никогда не давала намъ такого завершенія капиталистическаго строя. Это—идеалъ, который одни считаютъ сбыточнымъ и прекраснымъ, другіе—не сбыточнымъ или совсѣмъ не хорошимъ. Это—дѣло вѣры, которая, по извѣстному, совершенно справедливому опредѣленію, есть увѣренность въ невидимомъ, какъ бы въ видимомъ, и въ желаемомъ и ожидаемомъ, какъ бы въ настоящемъ. Такова общая участь всѣхъ идеаловъ, и я не противъ нихъ, конечно, потому

Digitized by Google

что безъ нихъ жизнь неполна и пуста и темна. Противъ нихъ, по странному недоразумѣнію, именно марксисты, не всѣ, разумѣется, а тѣ, которые, будучи отуманены идеей непреоборимаго естественнаго хода вещей на почвѣ экономическаго *матеріализма*, съ гордостью говорятъ: мы не *идеалисты!* жизнь не справляется съ чьими бы то ни было идеалами!—Очень справляется. Но къ этому мы еще вернемся, а теперь отмѣтимъ только исключительно діалектическій характеръ цитаты изъ „Капитала“: за „отрицаніемъ“ должно слѣдовать „отрицаніе отрицанія“. Для гегельянца вопросъ можетъ считаться этимъ исчерпаннымъ; будущее для него не проблема, до такой степени не проблема, что онъ можетъ, говоря объ этомъ будущемъ, употреблять глаголы въ настоящемъ времени.

Обратимся къ другимъ историческимъ формуламъ. И у Огюста Конта, и у Луи Блана мы встрѣчаемся опять таки съ трехчленнымъ дѣленіемъ исторіи. А если бы мы имѣли время и надобность входить въ подробности, то убѣдились бы, что даже безъ большихъ натяжекъ можно утверждать, что у того и у другого третья, послѣдняя ступень представляетъ какъ бы возвращеніе къ первой, съ измѣненіями и дополненіями, выработанными на второй. Во всякомъ случаѣ на гегельянскомъ языкѣ „метафизическая“ ступень Огюста Конта и ступень „индивидуализма“ Луи Блана могутъ быть съ полнымъ удобствомъ названы „отрицаніемъ“, а ихъ особенное отношеніе къ этимъ вторымъ ступенямъ—„отрицаніемъ отрицанія“. Спрашивается, почему же Энгельсъ упустилъ такіе прекрасные случаи и остановился на Руссо, основательно или неосновательно пользующемся славою писателя парадоксальнаго и примѣръ котораго, поэтому, едва-ли многимъ покажется убѣдительнымъ? Я рѣшаюсь утверждать, что здѣсь дѣло отчасти въ словахъ. Къ теоріямъ Руссо можно удобно приставить слово „противорѣчіе“, хотя, какъ мы видѣли, указаніе Руссо на противорѣчивый характеръ цивилизаціи не имѣетъ ничего общаго съ гегельянскимъ противорѣчіемъ. Затѣмъ Руссо прямо говоритъ, что въ извѣстный моментъ исторія завершаетъ свой кругъ и возвращается къ своей исходной точкѣ, послѣ чего начинается новый циклъ развитія. Ни Огюстъ Контъ, ни Луи Бланъ этого не говорятъ, да и у Руссо это только вскользь брошенное слово, но и его достаточно, чтобы Энгельсъ счелъ этотъ примѣръ болѣе удобнымъ для подтвержденія всеобщности діалек-

Digitized by Google

тическаго процесса мысли. Здѣсь, однако, дѣло уже не въ словахъ только. Съ діалектической точки зрѣнія мало простой тройственности, какую представляютъ собою формулы Огюста Конта и Луи Блана; нужна тройственность многократная, повторяющаяся, нужна, вульгарно выражаясь, сказка про бѣлаго бычка, намекъ на что и имѣется въ приведенныхъ словахъ Руссо: первобытное равенство отрицается возникновеніемъ неравенствъ, затѣмъ это отрицаніе отрицается всеобщимъ уравненіемъ на новой, такъ сказать, плоскости; тройственный циклъ этимъ заканчивается, но затѣмъ начинается новый—новыми неравенствами и т. д. У Конта и Луи Блана ничего подобнаго нѣтъ. Если и можно, употребляя условный языкъ діалектики, сказать, что вторые ихъ періоды (метафизическій періодъ у Конта и періодъ индивидуализма у Луи Блана) составляютъ отрицаніе первыхъ, а третьи (позитивный періодъ и періодъ братства), отрицаніе отрицанія, то этими третьими періодами и ограничиваются ихъ горизонты въ сторону будущаго. Энгельсъ съ своей точки зрѣнія справедливо могъ бы поставить имъ это въ упрекъ. Онъ и самого Гегеля упрекаетъ въ томъ, что тотъ съ одной стороны смотритъ на исторію, какъ на процессъ развитія, который не можетъ быть законченъ открытіемъ абсолютной истины, а съ другой—считаетъ свою систему абсолютно истинною. Не касаясь вопроса собственно объ абсолютной истинѣ, мы можемъ въ самомъ дѣлѣ спросить: что же, позитивнымъ періодомъ Конта или періодомъ братства Луи Блана, такъ и должна кончиться исторія? такъ уже достовѣрно и не выдвинетъ иныхъ какихъ-нибудь принциповъ человѣчество за все то, неизвѣстное, но очень большое время, которое ему остается жить? Этотъ же вопросъ можетъ быть, однако, заданъ и Марксу, когда онъ изображаетъ конечный историческій фазисъ въ его экономической основѣ: а дальше что? Я долженъ откровенно признаться, что не совсѣмъ ясно представляю себѣ отвѣтъ Энгельса. Онъ отвѣтилъ бы, конечно, что дальнѣйшая исторія пойдетъ все тѣмъ же тройственно-послѣдовательнымъ путемъ развитія противорѣчій и отрицанія отрицанія, ибо діалектическій процессъ непреложенъ. Затѣмъ, судя по нѣкоторымъ выраженіямъ Энгельса, надо думать, что классовая борьба прекратится и, повидимому, утратитъ свой raison d'être экономическій матеріализмъ; но навсегда-ли, или же противорѣчія на экономической почвѣ, по прошествіи извѣстнаго времени,

Digitized by Google

вновь возникнутъ, или же тройственно-послѣдовательные шаги исторіи будутъ происходить на какой-нибудь иной почвѣ,—этого я не знаю.

Какъ бы то ни было, но вотъ мы имѣемъ уже нѣсколькихъ мыслителей (а можно бы было и еще прибавить), весьма различной силы, весьма различнаго направленія и исходныхъ точекъ, которые, однако, дѣлятъ исторію именно на три періода; и не только обще имъ всѣмъ это тройственное дѣленіе, но, кромѣ того, у всѣхъ у нихъ второй періодъ можетъ быть названъ отрицаніемъ перваго, а третій—отрицаніемъ отрицанія и въ извѣстномъ смыслѣ сближеніемъ съ первымъ періодомъ. Не оправдывается ли тріада Гегеля, по крайней мѣрѣ постольку, поскольку ею покрываются приведенные примѣры? И если оправдывается, то какія данныя опыта и наблюденія подсказали ему его догадку?

Любопытно, что самъ Гегель, при всемъ стараніи вытянуть исторію человѣчества въ три ступени, не всегда выдерживалъ свою программу. То онъ дѣлитъ исторію на три періода—восточный, классическій и христіанскій, то на четыре—восточный, греческій, римскій и христіанско-германскій. Неизвѣстный мнѣ, цитируемый г. Карѣевымъ (въ „Основныхъ вопросахъ философіи исторіи") гегельянецъ 30-хъ, 40-хъ годовъ, Цѣшковскій, потратилъ, повидимому, много усилій на рѣшеніе вопроса: что правильнѣе, трихотомія или тетрахотомія. „Самъ Цѣшковскій—говоритъ г. Карѣевъ—стоитъ за трихотомію прошедшаго, настоящаго и будущаго, т. е. за совершенно пустую формулу: это—то, что онъ называетъ Anlauf, Verlauf и Auslauf der Geschichte". Охотно вѣрю, что у Цѣшковскаго эта концепція является, дѣйствительно, совершенно пустою формулою; и тѣмъ не менѣе, думаю, что въ основаніи всѣхъ тройственныхъ дѣленій исторіи на періоды лежатъ именно категоріи прошедшаго, настоящаго и будущаго.

Луи Бланъ такъ выражается относительно своихъ трехъ періодовъ: „Авторитетъ былъ приложенъ къ дѣлу католичествомъ съ удивительнымъ блескомъ; онъ преобладалъ до Лютера. Индивидуализмъ, провозглашенный Лютеромъ, развился съ непреодолимой силой и, освободившись отъ религіознаго элемента, восторжествовалъ во Франціи при посредствѣ публицистовъ учредительнаго собранія: онъ правитъ нашимъ временемъ; онъ есть душа вещей. Братство, провозглашенное мыслителями партіи горы, исчезло

Digitized by Google

тогда среди бури и въ настоящее время является намъ еще только въ дали идеала". (Стр. 41 перваго тома въ русскомъ переводѣ). Энгельсъ все въ той же полемической противъ Дюринга книгѣ, говоря объ относительномъ значеніи всякой морали, замѣчаетъ, что феодальная мораль принадлежитъ прошедшему времени, буржуазная мораль есть дѣло настоящаго, а мораль пролетаріата— будущаго. Не трудно было бы и у другихъ найти подобныя же прямыя указанія, но съ насъ достаточно и этого. Намъ надо еще разобраться въ тѣхъ данныхъ опыта и наблюденія, которыя опредѣляютъ таинственное сближеніе послѣдней ступени періода съ первою. Я говорилъ объ этомъ уже десять лѣтъ назадъ и могу теперь лишь повторить сказанное тогда.

Въ то время, когда писалъ и дѣйствовалъ Луи Бланъ, то, что онъ называлъ принципомъ авторитета, было совершенно расшатано или, по крайней мѣрѣ, казалось расшатаннымъ. Это было нѣчто исторически законченное, сданное въ архивъ и слѣдовательно безопасное. Индивидуализмъ, напротивъ, гордо несъ свою вѣнчанную лаврами недавнихъ побѣдъ голову. Это была настоящая сила настоящей минуты, и натурально, что даже при одинаковой степени враждебности къ принципамъ авторитета и индивидуализма, практика жизни должна была представителю принципа братства (какъ онъ его понималъ) внушать несравненно большую напряженность отрицанія по адресу индивидуализма. Но и независимо отъ дѣйствительной или только кажущейся слабости остатковъ прошедшаго, зачатки будущаго естественно склонны вступать въ практическій союзъ съ ними въ виду общаго врага—настоящаго. Это, можетъ быть, наиболѣе яркое и наичаще повторяющееся оправданіе поговорки „крайности сходятся". Крайности дѣйствительно сходятся, чтобы тяготѣть на одинаково имъ мѣшающую середину. Прошедшее, настоящее и будущее, отживающее, существующее въ болѣе или менѣе полномъ видѣ и зарождающееся— эта тройственность лежитъ въ основаніи всякой системы партій, политическихъ, литературныхъ, экономическихъ, философскихъ. Партіи могутъ дробиться на оттѣнки, сообразно осложненіямъ текущей минуты; оттѣнки эти могутъ вступать между собою въ разнообразныя комбинаціи, заключать законные и незаконные союзы, дѣлать другъ другу теоретическія и практическія уступки; но въ основаніи всей этой иногда очень запутанной системы все-таки лежатъ три момента: прошедшее, настоящее и будущее. И

Digitized by Google

въ этомъ столь же мало таинственнаго, какъ и въ томъ, напримѣръ, что французскій глаголъ, имѣющій и l'imparfait и le plus-que-parfait, и le passé défini и le passé indéfini, и le futur absolu и le futur antérieur, въ сущности, однако, знаетъ только три времени: прошедшее, настоящее и будущее. Въ виду этого историкъ, если онъ жертвуетъ второстепенными мелкими явленіями для установленія схемы историческаго прогресса въ общихъ, крупныхъ чертахъ, склоненъ къ тройственной формулѣ, причемъ онъ замѣтитъ и взаимное тяготѣніе прошедшаго и будущаго. А если онъ и самъ практическій дѣятель въ какой бы то ни было отрасли, то и на немъ, по всей вѣроятности, такъ или иначе отразится это тяготѣніе.

Но этого мало. Дѣло не только въ механикѣ борьбы партій, при которой наличный, торжествующій въ данный моментъ порядокъ вещей подвергается ударамъ справа и слѣва, что уже и само по себѣ до извѣстной степени сближаетъ правыхъ и лѣвыхъ. Если искать въ исторіи мысли человѣка, наиболѣе страстно и убѣжденно звавшаго людей, во имя будущаго, назадъ, къ исходному пункту исторіи, къ „тезису", то, конечно, это будетъ Руссо. Весь сонмъ яростнѣйшихъ ретроградовъ всѣхъ временъ и народовъ не сказалъ больше его противъ цивилизаціи, которая является въ данномъ случаѣ „антитезисомъ". И однако Руссо былъ несомнѣнно человѣкомъ будущаго, а не прошедшаго, и именно въ этомъ направленіи повліялъ на европейскую мысль, поспособствовалъ образованію цѣлой школы. Оставимъ въ покоѣ фантастичность очертаній, въ которыхъ рисовалась воображенію Руссо историческая колыбель человѣчества. Не въ этомъ дѣло. Злое слово Вольтера— „читая Руссо, такъ и хочется побѣжать на четверенькахъ"—это злое слово справедливо только въ очень поверхностномъ смыслѣ, если имѣть въ виду лишь страстную живописность отдѣльныхъ выраженій. Въ сущности, Руссо не отрекался ни отъ одного изъ духовныхъ и матеріальныхъ благъ, добытыхъ цивилизаціей, но онъ желалъ иного ихъ распредѣленія и направленія, и именно такого, въ какомъ располагалось скудное достояніе первобытнаго человѣка. Иначе говоря, Руссо отвергаетъ не *степень* развитія цивилизаціи, а ея *типъ*; и, наоборотъ, въ первобытной жизни онъ цѣнитъ только ея типъ, ни мало не сомнѣваясь, что невѣжество, суевѣріе, нищета, грубость, какъ спутники низкой ступени развитія, подлежатъ изгнанію. Задача будущаго состоитъ, слѣдовательно, по Руссо, отнюдь не въ томъ, чтобы всѣ люди, или какая-нибудь

Digitized by Google

ихъ часть, бѣгали на четверенькахъ, а въ сочетаніи первобытнаго типа съ высокою степенью развитія. Это и будетъ искомый „синтезисъ“.

Приглядываясь, однако, къ историческимъ схемамъ, повидимому, такъ блистательно поддерживающимъ законъ трехчленнаго діалектическаго развитія, не трудно усмотрѣть, что всѣ онѣ страдаютъ произвольностью. Говоря гегелевской терминологіей, для Руссо тезисомъ была жизнь дикаря, и антитезисъ начался съ того момента, когда, по его живописному выраженію, человѣкъ обгородилъ клочекъ земли и сказалъ: „это мое“. Для Маркса или Луи Блана тезисъ стоитъ гораздо позже—въ среднихъ вѣкахъ, съ разваломъ которыхъ начинается періодъ отрицанія. Но и въ средніе вѣка Марксова „индивидуальная частная собственность, основывающаяся на собственномъ трудѣ“, не была ни единымъ, ни преобладающимъ факторомъ, даже въ области экономическихъ отношеній. Рядомъ съ нею существовало многое другое, къ чему, однако, діалектическій методъ въ толкованіи Маркса не предлагаетъ намъ возвращаться. Съ другой стороны Луи Блану приходится открывать проявленія принципа „братства“ въ самомъ разгарѣ полновластія принципа „авторитета“. Очевидно, что всѣ эти схемы не представляютъ картины исторической дѣйствительности или даже только ея пропорцій, а только удовлетворяютъ склонности человѣческаго ума мыслить всякій предметъ въ состояніяхъ прошедшаго, настоящаго и будущаго, причемъ умъ этотъ естественно стремится сочетать для будущаго все, что есть хорошаго, истиннаго, справедливаго (какъ кѣмъ оно понимается) въ прошедшемъ и настоящемъ.

Nihil est in intellectu, quod non fuerit ante in sensu. Это старинное изреченіе, такъ часто подвергавшееся узкимъ и одностороннимъ толкованіямъ, въ основаніи своемъ все-таки вѣрно. Гегель не изъ бездонной глубины своего духа выудилъ свою тріаду, потому что и нѣтъ такой бездонной глубины въ человѣческомъ духѣ: онъ частію удачно, частію неудачно, съ натяжками, подчасъ крайне грубыми, обобщилъ то, что видѣлъ, слышалъ, чувствовалъ. И точно такъ же, какъ бы ни была смѣла, даже необузданна фантазія человѣка, она, въ своихъ гаданіяхъ о будущемъ, можетъ только на разные лады комбинировать то, что было и что есть—прошедшее и настоящее, отбрасывая въ нихъ одно, давая усиленное развитіе другому, видоизмѣняя третье, иначе

Digitized by Google

направляя четвертое и т. д. Поскольку въ этихъ комбинаціяхъ будущее является отрицаніемъ настоящаго и воспроизведеніемъ прошедшаго, постольку оно и оказывается „отрицаніемъ отрицанія“ и „примиреніемъ противорѣчій“.

Но, скажутъ гордые люди, намъ дѣла нѣтъ до того, какъ работаетъ фантазія; мы не фантазируемъ,—этимъ блаженной памяти старые идеалисты занимались,—а мы матеріалисты и изслѣдуемъ непреложные законы дѣйствительнаго историческаго хода вещей, который, помимо чьихъ бы то ни было идеаловъ и фантазій, долженъ привести къ извѣстному, предвидимому нами результату; обобществленный на развалинахъ капиталистическаго строя пролетаріатъ есть не идеалъ, а сама дѣйствительность... будущаго...— Я не знаю заблужденія, болѣе страннаго, чѣмъ то, которое заключается въ этомъ гордомъ отвѣтѣ. Я не знаю, зачѣмъ эти гордые люди унижаютъ сами себя, отрицаясь идеала вообще, ибо Magenfrage и Seelenfrage, вопросъ брюха и вопросъ духа, совсѣмъ не обязательно исключаютъ другъ друга. Я не знаю, далѣе, почему обобществленный на развалинахъ капитализма пролетаріатъ есть не идеалъ, а дѣйствительность, когда его нѣтъ въ дѣйствительности. Какъ идеалъ, то есть какъ будущее желательное и возможное, этотъ грядущій моментъ исторіи требовалъ бы такихъ же оправданій, какія могутъ быть потребованы отъ всякаго другого идеала. Какъ дѣйствительность, хотя и будущаго, но настолько неизбѣжная и несомнѣнная, что объ ней и теперь уже можно говорить въ настоящемъ времени, онъ требуетъ гораздо большаго. А между тѣмъ, въ этомъ смыслѣ, въ смыслѣ неизбѣжности и несомнѣнности, онъ держится исключительно на концѣ гегелевской трехчленной цѣпи. Все остальное есть дѣло спорныхъ категорій возможности, вѣроятности и желательности. Исторія готовитъ намъ, можетъ быть, такіе сюрпризы, которые и „не снились нашимъ мудрецамъ“.

Мнѣ часто вспоминается чудовищная фантазія Ренана, изложенная имъ въ формѣ бесѣды философовъ въ „Dialogues et fragments philosophiques“. Онъ мечтаетъ о „царствѣ разума“, которымъ будутъ управлять „тираны-позитивисты“, люди, наслѣдственно монополизировавшіе умъ, знаніе, таланты, а остальная масса человѣчества будетъ имъ покорно и даже любовно повиноваться. Если бы, однако, эта масса и вздумала сопротивляться, то у тирановъ-позитивистовъ будутъ въ рукахъ могущественныя средства

Digitized by Google

для преодолѣнія всякаго сопротивленія. Во-первыхъ, они могутъ держать гдѣ-нибудь въ глубинѣ Азіи орды дикихъ „башкиръ и калмыковъ“, которые, въ случаѣ чего, будутъ являтся для поддержки „царства разума“. Во-вторыхъ, они, благодаря прогрессу науки и техники, будутъ владѣть средствами терроризировать весь міръ, потому что можетъ быть изобрѣтено и такое средство, при помощи котораго можно будетъ взорвать всю нашу планету! Дикія азіатскія орды, прямо или косвенно вліяющія на ходъ дѣлъ въ цивилизованномъ мірѣ, совсѣмъ не такая невѣроятность, какъ можетъ показаться на первый взглядъ. Что же касается сосредоточенія въ рукахъ „тирановъ-позитивистовъ“ страшныхъ средствъ разрушенія, то эта дикая мечта не такъ давно еще могла казаться возможной. Оказалось, однако, что страшныя средства разрушенія не могутъ составить секретъ Ренановскихъ владыкъ „царства разума“, что пускаютъ ихъ въ ходъ совсѣмъ иные люди и именно люди, доведенные капиталистическимъ строемъ до одичанія, до полнаго презрѣнія въ своей и чужой жизни, и не расположенные подобно германской соціалъ-демократіи, степенно подготовлять послѣднюю ступень Гегелевской трихотоміи. Анархизмъ не укладывается въ рамки трихотоміи, потому что хотя и его, пожалуй, можно назвать отрицаніемъ отрицанія, но не изъ обобществленія пролетаріата онъ проистекаетъ. Во всякомъ случаѣ того благополучія, которое должно произойти изъ капиталистическаго строя, мы еще не видали и должны въ этомъ отношеніи вѣрить на слово Гегелю или, вѣрнѣе, извѣстному примѣненію его діалектики; а то отчаяніе, въ которое онъ ввергаетъ людей, мы видимъ и посейчасъ, а не только въ моментъ „первоначальнаго накопленія“...

X *).

О разсказахъ гг. Григоровича и Мамина-Сибиряка.—О силѣ привычки вообще, у писателей въ частности.—О гр. Л. Н. Толстомъ.

Въ двухъ первыхъ книжкахъ „Русской Мысли“ за нынѣшній годъ напечатанъ разсказъ Д. В. Григоровича, подъ заглавіемъ „Порфирій Петровичъ Кукушкинъ. Приключенія мирнаго гражданина, прожившаго до полной зрѣлости у тихой пристани, нежданно упавшаго въ воду, унесеннаго теченіемъ и едва не утонув-

*) 1894, мартъ.

Digitized by Google

шаго". Г. Григоровичъ уже въ теченіе многихъ лѣтъ крайне рѣдко—выражаясь высокимъ слогомъ—даритъ насъ произведеніями своего пера, а тутъ еще его былая слава подогрѣлась только что отпразднованнымъ юбилеемъ его пятидесятилѣтней литературной дѣятельности. Понятенъ интересъ, возбуждаемый новымъ его произведеніемъ. Къ сожалѣнію, интересъ этотъ не оправдывается самымъ разсказомъ маститаго писателя. Уже длиннѣйшее заглавіе разсказа составляетъ претензію на юморъ, который никогда не былъ казовою стороною таланта г. Григоровича. Г. Скабичевскій въ своей „Исторіи новѣйшей литературы" справедливо замѣчаетъ, что юморъ г. Григоровича „производитъ непріятное впечатлѣніе чего-то напряженнаго, дѣланнаго, неестественнаго". Подъ давленіемъ Гоголя, чуть не всѣ писатели сороковыхъ годовъ пробовали себя въ юморѣ, но не всѣмъ это удавалось, и меньше всѣхъ, кажется, г. Григоровичу. Даже у Достоевскаго, при всей мрачности его творчества, можно найти, напримѣръ, въ „Дядюшкиномъ снѣ", или въ „Селѣ Степанчиковѣ" страницы, вызывающія невольный смѣхъ. Разсказъ же г. Григоровича о Порфиріи Петровичѣ Кукушкинѣ (чтобы не поминать его старыхъ и давно забытыхъ грѣховъ въ этомъ родѣ) вы прочтете, ни разу даже, можетъ быть, не улыбнувшись, хотя самъ авторъ, начиная съ заглавія и кончая послѣдней страницей, очевидно, желаетъ блистать юморомъ. Вотъ образчики:

„Одинъ изъ товарищей по службѣ, находившій непонятное удовольствіе сказать о каждомъ что-нибудь непріятное, утверждалъ всегда, что если бы Рожкову случилось бы принять слабительнаго, отъ него ничего не осталась бы, кромѣ платья" (до такой степени онъ былъ худъ и малъ ростомъ). Или о другомъ дѣйствующемъ лицѣ: „Надо правду сказать, легче было выслѣдить какую-нибудь рѣзкую черту характера въ пятикопѣечной булкѣ, чѣмъ на его тускло-блѣдноватомъ лицѣ и въ голубоватыхъ глазахъ, оттѣненныхъ свѣтлыми рѣсницами и напоминавшихъ двѣ фіалки, крѣпко разваренныя въ молокѣ. Главное его физическое отличіе заключалось въ бѣлизнѣ кожи; въ банѣ онъ бросался въ глаза между остальными моющимися; вокругъ пояса обходила только красная полоса, какъ у людей, носящихъ военную форму. Военнымъ онъ, однакожъ, никогда не былъ;—боевая жизнь противорѣчила стремленіямъ его природы, склонной къ мирнымъ, кабинетнымъ занятіямъ и тихой семейной жизни".

Digitized by Google

Это—характеристики двухъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ разсказа, характеристики неполныя, потому что въ такомъ же тонѣ авторъ описываетъ еще и нравственныя качества своихъ героевъ, и ихъ прошлое и настоящее. Человѣкъ, отличающійся необыкновенною бѣлизною тѣла въ банѣ и уступающій пятикопѣечной бѣлкѣ въ выразительности лица, и есть тотъ самый Порфирій Петровичъ Кукушкинъ, который, „проживъ до полной зрѣлости у тихой пристани, нежданно упалъ въ воду“ и проч. Человѣкъ же, которому опасно принимать слабительное, есть его преданнѣйшій другъ, изъ тѣхъ, что бываютъ опаснѣе врага, Иванъ Ивановичъ Рожковъ. Кукушкинъ съ-молоду, на гимназической еще скамейкѣ, занимался стихотворствомъ, по скромности довѣряя плоды своихъ поэтическихъ вдохновеній только одному своему товарищу и другу, Рожкову, восторгавшемуся его талантомъ. Эти отношенія между друзьями продолжались и далѣе: Кукушкинъ стихотворствуетъ, а Рожковъ восхищается его „Забытыми фіалками“, „Океанами“, „Хаосами“, „Мотыльками“, „Синеусами и Труворами“ и т. п. Все это Кукушкинъ пишетъ въ свободное отъ служебныхъ занятій время, такъ какъ онъ—чиновникъ, прекрасный, аккуратный чиновникъ и вмѣстѣ съ тѣмъ прекрасный, добрый семьянинъ. Г. Григоровичъ не приводитъ ни одного изъ поэтическихъ произведеній Кукушкина и даетъ только понять, что это было нѣчто очень смѣшное. Ему смѣшно, впрочемъ, все въ Кукушкинѣ, даже обыкновеннѣйшее прохожденіе имъ службы: „Станислава 3-й степени Кукушкину дали потому, что у него не было еще ни какого ордена; Анну 3-й степени получилъ онъ потому, что уже имѣлъ Станислава 3-й степени; наконецъ, Станиславомъ 2-й степени былъ онъ награжденъ потому, что имѣлъ уже Станислава 3-й стенени и Анну“. Мнѣ кажется, что для кавалера ордена Станислава 1-й степени, какимъ съ прошлаго года состоитъ г. Григоровичъ, эта насмѣшка немножко не великодушна. Но и вообще г. Григоровичъ не великодушенъ. Стоитъ-ли ему, большему писателю, столь необычно блистательно отпраздновавшему свой пятидесятилѣтній юбилей, тратить такой большой запасъ насмѣшливости на Порфирія Петровича Кукушкина? Кукушкинъ, поощряемый восторгами своего пламеннаго друга Рожкова, своей жены и свояченицы, издаетъ книжку своихъ стихотвореній подъ заглавіемъ „Лучи и тѣни“, неблагосклонно встрѣчаемую критикою и публикою; затѣмъ пи-

Digitized by Google

щетъ трагедію „Игорь“, которая тоже претерпѣваетъ неудачу; наконецъ, предпринимаетъ изданіе журнала „Свѣточъ“, на которомъ окончательно проваливается, истративъ на него маленькое приданое жены, и со срамомъ уѣзжаетъ изъ Петербурга, переведясь на службу въ провинцію. Ничего худого этотъ не столько смѣшной, сколько несчастный человѣкъ не сдѣлалъ. Въ своихъ поэтическихъ произведеніяхъ, по всей вѣроятности, очень плохихъ, и въ своемъ журналѣ, никуда не годномъ, онъ, однако, „дѣлъ своихъ цѣною злата не взвѣшивалъ, не продавалъ, не ухищрялся противъ брата и на врага не клеветалъ“. Онъ только, сбитый съ толку похвалами Рожкова, жены и свояченицы, сунулся въ воду, не спросясь броду, мечталъ добиться славы тамъ, гдѣ его, въ концѣ концовъ, настигъ срамъ. Да еще вопросъ, одно ли славолюбіе имъ руководило. Г. Григоровичъ сообщаетъ, между прочимъ, что Кукушкинъ „принадлежалъ къ числу людей молчаливыхъ и робкихъ мечтателей, тайно связанныхъ съ тоскливымъ желаніемъ высказать *что-то* мимо того, что говорится на службѣ, дома, между знакомыми, и, ничего еще не сказавши, заблаговременно огорчающихся при мысли, что это *что-то* навѣрное не встрѣтитъ сочувствія, не будетъ оцѣнено и понято, какъ слѣдуетъ, равнодушной толпой“.

Это можетъ быть и смѣшно, но во всякомъ случаѣ въ той обстановкѣ, которую далъ дѣлу г. Григоровичъ, не заслуживаетъ насмѣшки, растянувшейся на два журнальныхъ номера. А г. Григоровичъ видалъ виды на своемъ вѣку вообще, въ литературномъ мірѣ въ частности. Онъ знавалъ гигантовъ нашей литературы и ея пигмеевъ, знавалъ людей чести и правды и предателей, „кровныхъ“, какъ говорилъ Салтыковъ, литераторовъ и диллетантовъ, заслуженно и незаслуженно пользующихся славою, убѣжденныхъ и праздно и въ разныхъ мѣстахъ разно болтающихъ. И изо всего этого огромнаго запаса пятидесятилѣтнихъ наблюденій выбрать для художественнаго воспроизведенія маленькую, жалкую букашку—неудачника и облить эту безобидную букашку цѣлымъ фонтаномъ насмѣшки... Насмѣшки, и пожалуй, даже очень ядовитой, Кукушкинъ заслуживалъ бы скорѣе въ томъ случаѣ, если бы онъ былъ не неудачникомъ, а, напротивъ, преуспѣвалъ; если бы онъ, напримѣръ, не имѣя за душой ничего, кромѣ таинственнаго „что-то“ и такъ называемаго бойкаго пера, пролѣзъ въ литературу и утвердился въ ней, или если бы онъ, подъ пред-

Digitized by Google

логомъ или прикрытіемъ литературы достигалъ какихъ-нибудь не-литературныхъ цѣлей. Тогда, дѣйствительно, онъ и стоилъ бы насмѣшки, и комическія положенія, въ которыя онъ при этомъ становился бы, были бы характерными картинками изъ нашего литературнаго міра. А то, помилуйте!—на муху съ обухомъ...

Не обѣщаетъ ничего въ этомъ смыслѣ характернаго и печатающаяся въ той же „Русской Мысли“ повѣсть г. В. В. Верещагина („художника“, какъ онъ почему то считаетъ нужнымъ прибавлять). Повѣсть еще не кончена. Она называется „Литераторъ“, но пока, въ двухъ первыхъ номерахъ журнала, литератора еще нѣтъ на сценѣ, самъ онъ дѣйствуетъ пока за кулисами, объ немъ только говорятъ. Говорятъ именно, что онъ плохо танцуетъ, но за то отличается необыкновенною храбростью на войнѣ, состоя ординарцемъ-волонтеромъ при Скобелевѣ. Всякіе, конечно, бываютъ литераторы, въ томъ числѣ и плохо танцующіе, но за то необыкновенно храбрые, но и то, и другое не имѣетъ къ литературѣ отношенія.

Для характеристики нравовъ и отношеній, существующихъ въ нашей литературной средѣ, больше обѣщаютъ печатающіеся въ нашемъ журналѣ очерки г. Мамина „Черты изъ жизни Пепко“. Но это только одинъ уголокъ среды, хотя, повидимому, сравнительно очень густо населенный. Это литературная богема, перебивающаяся репортерствомъ, случайными статейками въ такъ называемой мелкой прессѣ, сочиненіемъ романсовъ для трущобныхъ хормейстеровъ и „Тайнъ натуры“ для хищныхъ Спирекъ. Было бы большой ошибкой и несправедливостью презирать этотъ уголокъ—изъ подобнаго же уголка когда-то, напримѣръ, Некрасовъ вышелъ. Да и вообще ничто не мѣшаетъ существованію тамъ крупныхъ талантовъ, пробивающихъ себѣ дорогу или, подъ вліяніемъ несчастныхъ обстоятельствъ, сбившихся съ дороги, хотя, разумѣется, истинные таланты и большіе люди не составляютъ тамъ обыкновеннаго явленія. Да вѣдь и гдѣ же они обыкновенны-то? Порфиръ Порфирычъ и полковникъ Фрей, конечно, никогда уже не выберутся изъ этого уголка и такъ и умрутъ въ какой-нибудь портерной или трактирной „академіи“, но и у нихъ былъ, можетъ быть, когда-нибудь свой âge des fleurs et du soleil, когда имъ „были новы всѣ впечатлѣнья бытія“ и когда „не рыбачій парусъ малый,—корабли имъ снились“. И можетъ быть доселѣ не могутъ они залить эти золотые сны ни водкой, ни

Digitized by Google

пивомъ. Что же касается молодежи, то кто-жъ ее знаетъ, что ей готовитъ судьба? Можетъ быть и застрянетъ она въ томъ же болотѣ, гдѣ погибаютъ Порфиръ Порфирычъ и полковникъ Фрей, а можетъ быть и выберется и расправитъ крылья и полетитъ... Куда и какъ? Вопросъ этотъ можетъ быть поставленъ не только относительно посѣтителей „академіи“ въ очеркахъ г. Мамина, этихъ своего рода Scènes de la vie de bohème Мюрже, а и относительно всей неоперившейся или только еще оперяющейся литературной молодежи, въ томъ числѣ и такой, которая въ ротъ хмѣльного не беретъ и никакихъ портерныхъ и трактирныхъ академій не посѣщаетъ.

Въ издающемся съ нынѣшняго, 1894 года, журналѣ „Новое Слово“, во „вступительной бесѣдѣ“ перваго №, говорится, между прочимъ:

„Литературный закулисный міръ, этотъ мрачный міръ тяжкихъ отношеній труда къ капиталу, полонъ высокаго трагизма. Тутъ вы увидите глубоко потрясающую душу сцену, какъ талантливый, образованный работникъ спрашиваетъ у своего хозяина, что онъ прикажетъ ему дѣлать и какъ дѣлать.

— Я бы хотѣлъ похвалить вотъ этотъ журналъ, въ немъ есть талантливыя статейки, говоритъ честный труженикъ.—Съ какой это стати? Надо его разнести въ пухъ и прахъ.—И „разносъ“ начинается противъ воли и совѣсти критика. Нѣтъ преступнѣе насилія, какъ заставлять журналиста писать вопреки совѣсти. Нѣтъ тяжелѣе рабства, какъ подчиняться такому насилію. Писателя съ независимымъ личнымъ убѣжденіемъ, съ „божественнымъ глаголомъ“ на устахъ, почти уже не существуетъ болѣе. Онъ сохраняется лишь въ немногихъ и весьма немногихъ экземплярахъ, точно зубръ въ Бѣловѣжской пущѣ“.

Я не думаю, чтобы писатель, исполняющій приказаніе „хозяина“ противъ воли и совѣсти, заслуживалъ названія „честнаго труженика“. Онъ прямо таки безчестный человѣкъ, и не можетъ быть для него никакихъ смягчающихъ обстоятельствъ. И не зачѣмъ тревожить по этому случаю „божественные глаголы“. Какіе ужъ тутъ божественные глаголы, когда дѣло идетъ о прямой публичной лжи, внушаемой сотнямъ, можетъ быть тысячамъ, десяткамъ тысячъ читателей. Но отъ этого не становится веселѣе мрачная картина, нарисованная „Новымъ Словомъ“. А между тѣмъ, какъ бы она ни была, я надѣюсь, преувеличена, въ ней

Digitized by Google

есть, должно быть, нѣчто отъ правды. Такъ можно думать не только по увѣренному тону, которымъ говоритъ журналъ, но и потому еще, что не онъ одинъ говоритъ это. Напримѣръ, г. Мережковскій въ книжкѣ „О причинахъ упадка и о новыхъ теченіяхъ современной русской литературы“ не менѣе рѣшительно говоритъ: „Литературное хищничество и продажность болѣе развиты въ Россіи, чѣмъ гдѣ бы то ни было. Какія лица! Какіе нравы! И ужасно, что эти лица самыя молодыя, бодрыя, полныя надеждъ... Страшно становится, когда видишь, что литература, поэзія—самое воздушное и нѣжное изъ всѣхъ созданій человѣческаго духа, все болѣе и болѣе предается во власть этому всепожирающему Молоху, современному капитализму“.

Быть можетъ, именно такого рода соображеніями руководился г. Бахтіаровъ, когда въ вышедшей въ прошломъ году книжкѣ „Слуги печати“ утверждалъ: „Кто хочетъ посвятить себя литературѣ, тотъ прежде всего долженъ озаботиться найти частную или коронную службу, если онъ человѣкъ, въ матеріальномъ отношеніи необезпеченный, и затѣмъ смотрѣть на писательство, какъ на побочное занятіе, на излюбленный трудъ“. Какое однако странное разсужденіе и какое героическое средство рекомендуетъ г. Бахтіаровъ, не имѣющій, впрочемъ, кажется, въ виду спеціально тѣхъ золъ, о которыхъ говорятъ „Новое Слово“ и г. Мережковскій. По здравому смыслу, казалось бы, обращать именно „излюбленный трудъ“ въ „побочное занятіе“ и слѣдовательно главное свое занятіе видѣть въ работѣ, къ которой душа не лежитъ,—хотя и многимъ приходится такъ устраиваться поневолѣ—отнюдь не представляетъ желаннаго выхода. Затѣмъ, если человѣкъ хочетъ посвятить себя административной, промышленной и т. п. дѣятельности, то, само собою разумѣется, ему надо „прежде всего“ озаботиться найти соотвѣтственное мѣсто, но чтобы то же самое нужно было сдѣлать „прежде всего“ тому, „кто хочетъ посвятить себя литературѣ“—это немножко нескладно выходитъ. И хотя г. Бахтіаровъ соблазняетъ писателей перспективой—„не рѣдко занятіе литературой пролагаетъ путь къ высшимъ государственнымъ должностямъ“, я боюсь, что мало кто сознательно послѣдуетъ его совѣту, какъ, впрочемъ, и нѣкоторымъ другимъ его совѣтамъ, чрезвычайно, впрочемъ, доброжелательнымъ. Онъ говоритъ, напримѣръ, что „писатель, по свойству своего труда, долженъ строго слѣдовать извѣстнымъ гигіеническимъ правиламъ“. И это, конечно,

Digitized by Google

прекрасно. Онъ говоритъ далѣе, что „писатели должны взять для себя примѣромъ Эмиля Золя, который пишетъ ежедневно по утрамъ положенное число страницъ, работая не болѣе трехъ часовъ въ день“; или, еще лучше, примѣру Соловьева, который, „кромѣ главнаго своего труда, „Исторіи Россіи“, успѣвалъ еще участвовать въ повременныхъ изданіяхъ, при этомъ *по вторникамъ* писалъ для „Отечественныхъ Записокъ“, а по *пятницамъ* для „Современника“, отъ такого-то числа и до такого-то; какъ только наступалъ срокъ, онъ бросалъ работу даже на половинѣ незаконченной фразы“. И это, пожалуй, уже совсѣмъ не прекрасно...

Есть вообще прекрасные совѣты, которые, однако, были бы еще прекраснѣе, если бы они были удобоисполнимы. Спору нѣтъ, писатель, „по свойству своего труда“, долженъ слѣдовать извѣстнымъ гигіеническимъ правиламъ, но именно по этому же свойству своего труда онъ, за рѣдкими исключеніями, можетъ это дѣлать лишь въ самыхъ скромныхъ размѣрахъ. Дѣло не въ одномъ кускѣ хлѣба, который добывается писателемъ съ несравненно большимъ трудомъ, чѣмъ обыкновенно думаютъ люди несвѣдущіе: можно, пожалуй, утверждать, что при менѣе лихорадочной работѣ, при болѣе правильномъ ея распредѣленіи, кусокъ хлѣба былъ бы даже, можетъ быть, больше и доставался бы сравнительно легче. Но бѣда въ томъ, что писатель, будучи такимъ же человѣкомъ, какъ и всѣ люди, и, слѣдовательно, доступнымъ для всѣхъ общечеловѣческихъ волненій радости и огорченія, находится, кромѣ того, въ постоянномъ нервномъ напряженіи, благодаря самому процессу своей обыкновенной работы. И какъ сложны, какъ разнообразны поводы для такого нервнаго напряженія! Какъ сложны и разнообразны они въ особенности для русскаго писателя. Но не будемъ говорить объ этомъ. Пусть про все это,—про сумрачные дни и безсонныя ночи, про невысказанныя мысли, про разочарованія житейскія плюсъ спеціально литературныя,—пусть разскажетъ это, въ яркихъ, живыхъ образахъ, какой-нибудь художникъ, который заинтересуется не букашкой Кукушкинымъ и не тѣмъ литераторомъ, что плохо танцуетъ, но за то необыкновенно храбръ на войнѣ...

Вернемся къ показаніямъ „Новаго Слова“ и г. Мережковскаго. Я не смѣю имъ не вѣрить,—да и зачѣмъ имъ въ такомъ дѣлѣ говорить неправду?—но думаю все-таки, что они нѣсколько преувеличиваютъ, сгущаютъ краски, если не въ качественномъ, то

Digitized by Google

въ количественномъ отношеніи. Что касается показанія г. Мережковскаго, то я уже высказывалъ свое сомнѣніе тотчасъ по выходѣ его книжки. Слишкомъ ничтожно практическое значеніе нашей литературы, чтобы ее стоило, въ большихъ размѣрахъ, покупать, даже если бы она готова была продаваться. Отдѣльные случаи такого рода, конечно, возможны, но отсюда еще далеко до утвержденія, что литературная продажность развита въ Россіи больше, чѣмъ гдѣ-нибудь. Разумѣю прямую продажность: литературную услугу за вознагражденіе со стороны заинтересованныхъ лицъ. Но вѣдь и тотъ будто бы „честный труженикъ", который пишетъ противъ своей совѣсти и убѣжденія, по требованію „хозяина", тоже продажный писатель. Въ извѣстномъ смыслѣ онъ даже больше заслуживаетъ этого позорного названія. Литературный кондотьеръ, продающій свое перо для того или другого спеціальнаго случая по добровольному соглашенію, только перо свое и продаетъ, потому что совѣсти и убѣжденій у него нѣтъ. А упомянутый „честный труженикъ" ихъ продаетъ. Боюсь, что этотъ, на иной взглядъ можетъ и болѣе достойный снисхожденія, видъ продажности, дѣйствительно, имѣетъ у насъ нѣкоторое распространеніе, не такое, однако, чтобы стоило оскорбляться не только фактомъ, хотя бы даже единичнымъ, а и его распространенностью, и въ особенности фатальностью его распространенія. Многое здѣсь зависитъ отъ общаго положенія нашей литературы, измѣнить которое мы не властны, но если бы „честные труженики" были, дѣйствительно, таковыми, они могли бы противостоять „хозяевамъ". Какой-нибудь Пепко можетъ, ради куска хлѣба, сочинять для трущобнаго хормейстера цыганскіе романсы, не имѣя никакого влеченія къ этому виду творчества, — Бѣлинскій не Пепкѣ чета, а и то ему приходилось, ради куска хлѣба, писать обо всякой дряни. И это уже достаточно унизительно и огорчительно. Но писать противъ совѣсти... Въ неизбѣжность этого и во всемогущество „капитала" въ этомъ смыслѣ,—можетъ вѣрить г. Остолоповъ, торгующій бархатомъ и еще чѣмъ-то подъ фирмой Аравина, который соблазнился, надо думать, благозвучностью своей фамиліи и желаніемъ видѣть ее, въ качествѣ издательской подписи, подъ каждымъ номеромъ „Театральной Газеты", нынѣ благополучно провалившейся. Ну, и пусть его вѣритъ, а мы погодимъ.

Digitized by Google

Что манитъ юношей на тернистый путь литературы? Что держитъ на немъ людей, искушенныхъ опытомъ? Но для юношей это, прежде всего, не тернистый путь, а напротивъ устланный розами безъ шиповъ и лаврами: заработокъ, слава, возможность громко, во всеуслышаніе, тысячамъ людей сказать свое слово. Въ однихъ сильнѣе говоритъ одинъ изъ соотвѣтственныхъ мотивовъ, въ другихъ—другой, въ третьихъ—третій, но вѣрнѣе, что всего по немножку, и все это, еще не дифференцировавшееся, не опредѣлившееся, не вполнѣ сознанное, сливается въ тайный голосъ призванія. Обманчивый можетъ быть голосъ, и въ такомъ случаѣ человѣку близко ли, далеко ли грозитъ горькое разочарованіе, обида, а дальше можетъ быть и озлобленіе и всякая пакость. Порфирій Петровичъ Кукушкинъ—не юноша, правда, но, въ качествѣ начинающаго, на положеніи юноши — смиренно перенесъ свою неудачу и, убѣдившись, что сунулся въ воду, не спросясь броду, стушевался въ какой-то провинціальной канцеляріи. Такъ бываетъ, но далеко не всегда и даже можетъ быть очень рѣдко. Неудачникъ толкается въ одну дверь, въ другую, въ пятую, десятую, и которая нибудь можетъ быть, наконецъ, и отверзнется передъ нимъ. И хорошо еще, если это будетъ только Остолоповская, гдѣ онъ долженъ будетъ „потрафлять хозяину“ въ матеріяхъ болѣе или менѣе безразличныхъ или чисто личныхъ, потому что я не полагаю г. Остолопова тираномъ по части политическихъ, этическихъ, философскихъ или научныхъ убѣжденій. А бываетъ и много хуже. Впрочемъ, и г. Остолоповъ, въ невинности своей, не помѣшаетъ вѣроятно нашему неудачнику мстить тѣмъ дверямъ, въ которыя онъ, неудачникъ, напрасно толкался. А эта месть можетъ завести очень далеко; такъ далеко, что мнѣ не хочется сегодня углубляться во мракъ этой дали, примѣры которой мнѣ хорошо извѣстны.

Не все же неудачники. Есть люди, которые либо съ первыхъ же шаговъ своихъ на литературномъ поприщѣ, либо послѣ нѣкоторыхъ мытарствъ, съ тріумфомъ шествуютъ до самой могилы, и самая эта могила украшается вѣнками, надъ ней говорятся похвальныя, скорбныя рѣчи, раздаются надгробныя рыданія; и еще долго, долго послѣ этого обще-обязательнаго конца живетъ писатель въ памяти благодарнаго потомства, ищущаго въ его произведеніяхъ художественнаго наслажденія или поученія, отдыха отъ житейскихъ тревогъ и дрязгъ или возбужденія къ бодрой дѣятельно-

Digitized by Google

сти. Такихъ счастливцевъ мало, конечно. Мало въ особенности такихъ, которые въ своемъ тріумфальномъ шествіи не терпѣли бы предательскихъ ударовъ судьбы ни по одному изъ трехъ побужденій, толкнувшихъ и затѣмъ удерживающихъ ихъ на литературномъ пути. Что касается заработка, то упомянутый г. Бахтіаровъ, по поводу Достоевскаго, не совсѣмъ безъ основанія замѣчаетъ: „геніальные писатели, властители думъ своего вѣка, никогда при жизни не бываютъ такъ вознаграждены за свой трудъ, какъ послѣ смерти.“ Это немножко слишкомъ категорично и обобщенно сказано, но совершенно вѣрно по отношенію къ Достоевскому. Я помню, какъ послѣ его смерти въ окнахъ книжныхъ магазиновъ во множествѣ появились старыя, давно забытыя и въ свое время не разошедшіяся изданія разныхъ его сочиненій и какъ они нарасхватъ раскупались. Четыре посмертныя изданія полнаго собранія сочиненій дали, по вычисленію г. Бахтіарова, не менѣе 300,000 руб. дохода. А между тѣмъ при жизни онъ всегда былъ въ долгахъ, перебивался „авансами“, писалъ лучшія свои произведенія на срокъ и на спѣхъ. Но за то Достоевскій пользовался славой, упивался ею, особенно послѣ Пушкинскаго праздника, почти даже до ребячества, и имѣлъ полную возможность открыто, десяткамъ тысячъ людей проповѣдовать то, что онъ считалъ истиной. Возьмемъ другой примѣръ—Салтыкова. Этотъ не зналъ нужды и имѣлъ всегда достаточно обезпеченный заработокъ. Его писанія на срокъ и на спѣхъ истекали не изъ матеріальной необходимости, хотя онъ и любилъ говорить о ней, а изъ неудержимой потребности неустанно писать. И слава вѣнчала его. И тѣмъ не менѣе—„литература освѣтила ему жизнь, но она же напоила ядомъ его сердце“... Иныхъ бѣда настигаетъ еще на одномъ пунктѣ.

Есть благодѣтельная и вмѣстѣ съ тѣмъ почти ужасная черта души—привычка. Фантастическій нѣмецъ совсѣмъ было пріучилъ свою лошадь не ѣсть, какъ вдругъ она околѣла. Но вплоть до этого предѣла можно, кажется, ко всему привыкнуть. И это хорошо, потому что если бы ядовитыя стрѣлы жизни каждый разъ вонзались въ живое, ненамозоленное мѣсто, въ мѣсто, къ которому ядъ не привитъ предъидущимъ горькимъ опытомъ,—жить было бы совершенно невозможно. Но вмѣстѣ съ тѣмъ это именно почти ужасно. Жизнь не только ядовитыми стрѣлами разстрѣливаетъ человѣка. Въ ней и радостей много. А привычка въ этомъ

Digitized by Google

направленіи мозолитъ душу, и радость теряетъ свой яркій цвѣтъ свое благоуханіе. Это уже само по себѣ составляетъ изъянъ, вычетъ изъ суммы возможнаго счастія: выдохшійся цвѣтокъ ничѣмъ не отличается отъ того, который никогда не пахнулъ. Но этого мало. Дѣло было бы сравнительно очень просто, если бы все обезцвѣчивающая, все покрывающая лишенными чувствительности мозолями привычка не держала бы васъ около обезцвѣченнаго, выдохшагося предмета привычки. Но она держитъ, и этимъ создаются разныя двусмысленныя, комическія, унизительныя и даже прямо трагическія положенія, выдти изъ которыхъ, безъ ущерба человѣческому достоинству, можно только при сильномъ контролѣ сознанія и напряженіи воли. Это очень обыкновенная и всѣмъ знакомая исторія въ супружескихъ и вообще любовныхъ дѣлахъ, много разъ разсказанная романистами. Предметъ любви, когда-то можетъ быть страстной, обезцвѣтился привычкой, „догорѣли огни, облетѣли цвѣты", но привычка же все крѣпче вяжетъ узелъ, хотя изъ за предмета былой любви не ясно, не вполнѣ сознанно выглядываетъ уже другой образъ. Что здѣсь настоящее и что—не настоящее, это можно рѣшить, только поднявшись надъ смутностью безсознательнаго и давши себѣ строгій отчетъ въ своихъ чувствахъ. А это не легко. Такъ и въ прочихъ дѣлахъ, не столь часто эксплоатируемыхъ романистами. Sa Majesté l'Habitude смѣло можетъ быть поставлена рядомъ съ извѣстнымъ Sa Majesté le Hasard, и тяжко бываетъ ея иго для тѣхъ, кто не умѣетъ его во время сбросить. Да еще вопросъ, всегда ли она благодѣтельна и въ тѣхъ случаяхъ, когда защищаетъ своими мозолями отъ ядовитыхъ стрѣлъ. Въ узкомъ смыслѣ маленькаго благополучія, конечно, да; но кто хочетъ большого счастія, тотъ знаетъ, что лучше быть недовольнымъ человѣкомъ, чѣмъ довольной свиньей.

Такъ вотъ эта самая привычка налагаетъ свою обезцвѣчивающую руку и на литературную дѣятельность и подчасъ жестокія шутки шутитъ съ нашимъ братомъ писателемъ. Иному давно бы пора уже убѣдиться, что нѣтъ въ немъ настоящаго желанія говорить съ читателемъ, въ томъ или другомъ убѣждать его, отстаивать одно и бороться съ другимъ; что не манитъ его и слава—штука пріятная, но трудно достижимая, отвѣтственная и безпокойная; что изо всѣхъ мотивовъ, когда-то въ молодости толкнувшихъ его на дорогу литературы, только и осталось, можетъ быть, что заработокъ. Онъ это, можетъ быть, даже смутно чувствуетъ.

Digitized by Google

Но привычка (кромѣ, конечно, заработка), та самая привычка, которая стерла позолоту съ мечты его молодости, суетъ ему въ руку перо, подсовываетъ бумагу, и онъ выводитъ этимъ перомъ по этой бумагѣ вялыя, безжизненныя слова. Это не совсѣмъ то, что называется „человѣкъ исписался". Бѣлинскій такъ описывалъ моментъ, когда ему показалось, что онъ исписался: „Взялся было за работу—не могу—лихорадочный жаръ, изнеможеніе. Какъ я испугался! Стало быть я не могу работать! Стало быть мнѣ надо искать мѣста въ больницѣ!.. Дѣло прошлое, а я и самъ ѣхалъ за границу съ тяжелымъ и грустнымъ убѣжденіемъ, что поприще мое кончилось, что я сдѣлалъ все, что дано было мнѣ сдѣлать, что я выписался и сталъ похожъ на выжатый и вымоченный въ чаѣ лимонъ. Каково мнѣ было такъ думать, можете судить сами: тутъ дѣло шло не объ одномъ самолюбіи, но и о голодной смерти съ семействомъ".

Бѣлинскій былъ не изъ тѣхъ, которые исписываются. Его могло окончательно свалить переутомленіе, доведенное до какой-нибудь формы психическаго разстройства. Но за вычетомъ этой возможности, онъ былъ слишкомъ воспріимчивъ, чтобы не быть отзывчивымъ, не говоря о талантѣ. Если бы, однако, съ нимъ это случилось, если бы онъ исписался, то ужъ дѣйствительно дѣло шло бы „не объ одномъ самолюбіи, но и о голодной смерти съ семействомъ". Писать только по привычкѣ онъ не могъ бы. Если сказать, что онъ слишкомъ привыкъ къ литературному труду вообще, чтобы избрать себѣ какой-нибудь другой родъ дѣятельности, то это будетъ вѣрно, но здѣсь привычка въ одну сторону осложняется непривычкой во всѣ другія. А шутить надъ собой шутки онъ ни въ какомъ случаѣ не позволилъ бы привычкѣ. И благо тѣмъ, кто не становится ея рабами, въ комъ до конца дней бьетъ большой ли, малый ли, но настоящій источникъ необезцвѣченной жизни, хотя бы въ другихъ отношеніяхъ имъ и не везло и хотя бы самое это неподчиненіе привычкѣ имъ дорого обходилось. А между тѣмъ плоская, обезцвѣчивающая, мертвящая привычка нерѣдко ждетъ въ концѣ поприща писателей, начавшихъ удачей и широкими мечтами. Они, такъ сказать, ѣдятъ свой обѣдъ на выворотъ: начинаютъ сладкимъ блюдомъ и кончаютъ щами. Для начала это можетъ быть голодно, но за то сладко, а для конца... щами, конечно, пропитаться можно, но это сѣро и скудно,

Digitized by Google

даже въ томъ случаѣ, если въ нихъ и имѣется нѣсколько вываренныхъ лавровыхъ листьевъ.

Таковы нѣкоторыя, далеко, конечно, не исчерпанныя, терніи на пути литературнаго удачника. (И мнѣ очень жаль, что я не могу ихъ здѣсь исчерпать). Но у насъ есть одинъ единственный писатель,—„великій писатель земли русской", который никогда не зналъ ни одного изъ перечисленныхъ терніевъ литературнаго пути. Въ самомъ дѣлѣ, если есть у насъ писатель, объ которомъ можно сказать, что онъ въ сорочкѣ родился, такъ это гр. Л. Н. Толстой. Прежде всего художественный талантъ, равнаго которому нѣтъ ни въ одной изъ современныхъ литературъ, даже самыхъ богатыхъ. И ничто постороннее, внѣ самого гр. Толстого лежащее, никогда не насиловало этотъ талантъ, не мѣшало ему блистать всѣми переливами его радуги. Нужды гр. Толстой не зналъ и если интересовался когда литературнымъ заработкомъ, то лишь по тому соображенію, что отчего же не взять, и много взять, если много даютъ. Слава уже давно трубитъ его имя и чѣмъ дальше, тѣмъ громче, такъ что едва ли найдется теперь въ Европѣ и Америкѣ много литературныхъ именъ, столь же славныхъ. Аудиторія его громадна, и каждое его слово раздается по всему цивилизованному міру. О писаніи по привычкѣ въ особенности не можетъ быть рѣчи по отношенію къ гр. Толстому, который неустанно являетъ міру примѣры самой рѣшительной раздѣлки со всякими привычками. Можно даже сказать, что въ послѣднее время значительная часть дѣятельности гр. Толстого сводится къ борьбѣ съ привычками во имя извѣстнаго идеала, и онъ ведетъ эту борьбу какъ въ жизни, такъ и въ литературѣ, со страстною вѣрой въ свою правоту и въ свои силы. Сомнѣній, колебаній, неувѣренности, охлажденія интереса къ тому, объ чемъ онъ пишетъ,—онъ не знаетъ. Словомъ гр. Толстой—фигура вполнѣ исключительная въ русской литературѣ, никогда въ ней небывалая, совершенно независимо отъ оригинальности его воззрѣній. Онъ могъ бы держаться совсѣмъ иныхъ взглядовъ,—да вѣдь онъ не разъ ихъ и мѣнялъ—и все-таки оставаться тѣмъ исключительнымъ счастливцемъ, которому могли бы позавидовать и Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, и потомъ Достоевскій, Некрасовъ, Салтыковъ, даже Тургеневъ. Говорю „даже" Тургеневъ, потому что это былъ тоже большой баловень судьбы. Но, не говоря объ томъ, что онъ былъ имъ вообще все-таки въ меньшей степени, чѣмъ Тол-

Digitized by Google

стой, его душу точилъ одинъ червь, послѣднему почти незнакомый, и во всякомъ случаѣ незнакомый теперь.

Вспомнимъ „Довольно“: „Мы—творцы на часъ, какъ былъ, говорятъ, Калифъ на часъ. Въ этомъ наше преимущество и наше проклятіе: каждый изъ этихъ „творцовъ“ самъ по себѣ именно онъ, не кто другой, именно это я, словно созданъ съ преднамѣреніемъ, съ предначертаніемъ; каждый болѣе или менѣе смутно понимаетъ свое значеніе, чувствуетъ, что онъ сродни чему-то высшему, вѣчному,—и живетъ, долженъ жить въ мгновеніи и для мгновенья. Сиди въ грязи, любезный, и тянись къ небу! Величайшіе изъ насъ—именно тѣ, которые глубже всѣхъ сознаютъ это коренное противорѣчіе; но въ такомъ случаѣ, спрашивается, умѣстны ли слова: величайшій, великій? Что же сказать о тѣхъ, къ которымъ, при всемъ желаніи, нельзя примѣнить эти имена, даже въ томъ значеніи, которое придаетъ имъ слабый человѣческій языкъ? Что сказать объ обыкновенныхъ, дюжинныхъ, второстепенныхъ, третьестепенныхъ труженикахъ, кто бы они ни были,—государственные люди, ученые, художники, особенно художники? Чѣмъ заставить ихъ стряхнуть свою нѣмую лѣнь, свое унылое недоумѣніе, чѣмъ привлечь ихъ опять на поле битвы, если только мысль о тщетѣ человѣческаго, всякой дѣятельности, ставящей себѣ болѣе высокую задачу, чѣмъ добываніе насущнаго хлѣба, закралась имъ въ голову! Какими вѣнками прельстятся они—они, для которыхъ и лавры, и терніи стали равно незначительны“.

Это очень точно и опредѣленно сказано: „Чѣмъ привлечь ихъ *опять* на поле битвы?... Какими вѣнками прельстятся они, для которыхъ лавры и терніи *стали* равно незначительны“? Рѣчь идетъ не о тѣхъ „нежившихъ“, которые, еще ничего не видя, чувствуютъ въ себѣ бореніе между вѣчностью и мгновеніемъ, не всегда даже, дѣйствительно, оскорбляясь этимъ положеніемъ, а просто кокетничая имъ. Рѣчь идетъ о такихъ, которые побывали на полѣ жизненной битвы, волновались ея процессомъ и исходомъ, наслаждаясь торжествомъ побѣды и терзаясь позоромъ и болью пораженія, и только съ теченіемъ времени уравняли лавры и терніи въ общей сферѣ „незначительности“. Отчего это произошло? Теоретически, разумомъ, они вѣдь и прежде понимали или могли понимать, что ничто не вѣчно подъ луною и что каждый человѣкъ есть въ нѣкоторомъ родѣ калифъ на часъ, какъ бы ни былъ онъ великъ, могучъ и славенъ, и какъ бы ни

Digitized by Google

растянулся, хотя-бы на цѣлые вѣка, тотъ „часъ“, который ему отпущенъ. Но это не мѣшало имъ участвовать въ битвѣ, и если они теперь относятся къ дѣлу иначе, такъ это не потому, что они убѣдились въ томъ, что имъ и раньше было извѣстно, а благодаря все тѣмъ же мозолямъ привычки, которыя сдѣлали для нихъ нечувствительными—и уколы терній, и прикосновеніе лавровъ, благодаря привычкѣ и, разумѣется, тому общему пониженію энергіи, которое сопровождаетъ старость.

Извѣстно, что Тургеневъ вовсе ужъ не былъ такъ нечувствителенъ къ разницѣ между лаврами и терніями, по крайней мѣрѣ въ отношеніи его собственныхъ произведеній. Но все-таки меланхолически-пессимистическій тонъ, въ зависимости отъ мысли о бренности и ничтожествѣ всякой человѣческой дѣятельности, все болѣе и болѣе окрашивалъ собою его произведенія. Совсѣмъ другое мы видимъ у гр. Толстого. Была, правда, мрачная полоса, когда онъ усомнился въ цѣнности какого бы то ни было участія въ жизни, но, во-первыхъ, не совсѣмъ ясны источники этого временнаго мрака, а во-вторыхъ—онъ былъ не только временный, а, повидимому, и кратковременный, и гр. Толстой быстро воспрянулъ, чтобы съ новою силою завоевать себѣ еще большую аудиторію, не теряя и прежней. Въ его лицѣ судьба какъ бы сдѣлала опытъ, показавъ намъ почти недосягаемый образчикъ писателя, поставленнаго въ исключительно благопріятныя условія: могучій талантъ. свобода отъ всякихъ внѣшнихъ препятствій или затрудненій для предъявленія его, сохраненная до старости энергія, бодрость духа, отзывчивость. Если, однако, образчикъ недосягаемъ во всей своей полнотѣ для заурядныхъ писателей, не обладающихъ этою дивною силою таланта, удрученныхъ заботами о кускѣ хлѣба и другими трудностями, менѣе способныхъ сопротивляться мертвящему дѣйствію привычки, то онъ все-таки остается поучительнымъ, какъ идеалъ, къ которому слѣдуетъ стремиться и къ которому до извѣстной степени можно приблизиться.

Каковы же наиболѣе общія черты литературной дѣятельности гр. Толстого, независимо отъ разныхъ перемѣнъ въ его образѣ мыслей и отъ тѣхъ чисто личныхъ особенностей, которыя обусловливаются исключительнымъ баловствомъ судьбы? Мнѣ такъ часто случалось писать о гр. Толстомъ, да и вообще объ немъ писано такъ много, что я, конечно, не думаю здѣсь, въ бѣглыхъ

Digitized by Google

замѣткахъ, сказать что-нибудь новое или исчерпывающее. Я хочу только кое-что напомнить. И для этого достаточно нѣсколькихъ словъ.

Много ли, мало ли кладетъ гр. Толстой труда и времени на изученіе человѣческой души и человѣческихъ отношеній, составляющихъ главный предметъ его писательскаго вниманія,—неизвѣстно. Но во всякомъ случаѣ всѣ его картины и портреты отличаются поразительною правдивостью, которая зависитъ не только отъ силы таланта, но и отъ его, такъ сказать, неподкупности. Толстой никогда и ни ради какихъ бы то ни было соображеній не постѣснится изобразить фактъ, какъ онъ есть или какъ ему въ данную минуту представляется. Если-бы нужно было это доказать, я могъ бы привести образчики такой его въ этомъ отношеніи настоящей, простой смѣлости, передъ которой совершенно меркнетъ крикливый, дѣланный „натурализмъ“ какого-нибудь Эмиля Зола. И это относится не только къ старымъ его, чисто художественнымъ произведеніямъ, а и къ теперешнимъ, поскольку въ нихъ изображаются факты дѣйствительности и если читатель хоть на время съумѣетъ отрѣшиться отъ своего согласія или несогласія съ принципіальной точкой зрѣнія автора.

Всегдашнее присутствіе этой принципіальной точки зрѣнія составляетъ вторую черту литературной дѣятельности гр. Толстого. Она мѣняется, эта точка зрѣнія, слишкомъ даже часто мѣняется, но она всегда есть,—и на этотъ разъ надо прибавить: не только въ теперешнихъ произведеніяхъ его, а и въ старыхъ. Въ высшей степени комичную роль играютъ тѣ критики, которые, призывая насъ къ поклоненію или служенію „чистому искусству“, въ то же время восторгаются произведеніями гр. Толстого и ставятъ ихъ въ образецъ другимъ писателямъ. Цѣлое море художественной красоты разлито въ произведеніяхъ гр. Толстого. Но въ самый составъ этой красоты входятъ два элемента: правдивость изображенія дѣйствительности, какъ она есть, безъ прикрасъ и урѣзокъ, и оцѣнка ея съ точки зрѣнія извѣстнаго нравственно-политическаго принципа или идеала. Теперь гр. Толстой выдѣляетъ эту оцѣнку въ видѣ особыхъ разсужденій, то же самое онъ дѣлалъ иногда и прежде, отъ своего ли собственнаго лица, какъ въ „Войнѣ и мирѣ“, или отъ имени кого-нибудь изъ дѣйствующихъ лицъ, но обходился и безъ этихъ внѣшнихъ пріемовъ, не оставляя, однако, никакихъ сомнѣній насчетъ истиннаго характера своей оцѣнки.

Digitized by Google

Читатель скажетъ, можетъ быть, что приведенныя двѣ черты слишкомъ общеизвѣстны, выражены въ слишкомъ общей формѣ и слишкомъ мало подлежатъ какому бы то ни было сомнѣнію, чтобы стоило ихъ подчеркивать именно въ гр. Толстомъ, да еще ставить въ образецъ другимъ. Это не совсѣмъ вѣрно. Новаго я вѣдь ничего не обѣщалъ. Что же касается общности или отвлеченности приведенныхъ двухъ чертъ, то только въ такомъ видѣ на нихъ и можно ссылаться у гр. Толстого, ибо въ своихъ конкретныхъ и частныхъ выраженіяхъ онѣ такъ у него разнообразны, что за ними не угоняешься. Затѣмъ, мы видимъ, что въ художественной критикѣ и доселѣ раздаются презрительные окрики по адресу „морально-цивическихъ мотивовъ", какъ выражается г. Боборыкинъ. Такъ что вторая черта дѣятельности гр. Толстого совсѣмъ уже не такъ общепризнана. О первой чертѣ, о правдивости, этого, повидимому, сказать нельзя, по крайней мѣрѣ, на словахъ она всѣми призывается и благословляется,—кто же рѣшится сказать: я не хочу правды. Не даромъ же, однако, существуютъ поговорки: „правда глаза колетъ", „правду говорить —никому не угодить", „правду говорить—себѣ досадить" и проч. Но дѣло не въ той только правдѣ, которая обидна Ивану Петровичу или Петру Ивановичу или цѣлой какой-нибудь группѣ ихъ. Отъ такой правды всякому иной разъ приходится воздерживаться по соображеніямъ вѣжливости, собственной безопасности или даже, наконецъ, прямо физической невозможности ее высказать. Но бываетъ правда, которую самому себѣ страшно высказать, по тому мотиву, что „тьмы низкихъ истинъ намъ дороже насъ возвышающій обманъ". Мотивъ этотъ часто съѣдаетъ правду, какъ ржавчина желѣзо, почти стихійно, помимо сознанія и воли. Банальный разсказъ о глупомъ страусѣ, который прячетъ голову и, не видя опасности, полагаетъ себя въ безопасности,—осуществляется въ жизни не только глупыхъ страусовъ, а иногда и очень умныхъ людей. Страшно признать въ сердцѣ своемъ или чужомъ извѣстныя складки, въ своихъ и чужихъ поступкахъ извѣстныя побужденія, и писатель ихъ трусливо смазываетъ. Но я говорю не только о беллетристахъ, занимающихся преимущественно движеніями человѣческой души, а о писателяхъ вообще. Не говоря о людяхъ завѣдомо, сознательно лгущихъ ради разныхъ стороннихъ соображеній, мало ли у насъ, напримѣръ, публицистовъ, которые, трусливо закрывая глаза на изъяны нашей общественной жизни,

Digitized by Google

считаютъ себя настоящими патріотами, или, идеализируя мужика, какимъ онъ сложился тысячелѣтней тяжкой долей, думаютъ, что въ этомъ и состоитъ и должно состоять „народничество". И наоборотъ, есть какъ публицисты, такъ и беллетристы, и вообще всякаго рода и формы писатели, которые не закрываютъ глаза передъ фактами дѣйствительности, а, если позволено будетъ такъ выразиться, разѣваютъ передъ ними ротъ. Фактъ они видятъ и не скрываютъ его ни отъ себя, ни отъ другихъ, но онъ придавливаетъ ихъ до такой степени, что они отказываются и отъ суда надъ нимъ, и отъ надежды повліять на него, хотя эта возможность, можетъ быть, и есть, не у такого-то имярека, конечно, а вообще у рукъ человѣческихъ. Беллетристъ остается при этомъ на ступени недоумѣлаго созерцанія и воспроизведенія, публицистъ—на констатированіи факта или приглашеніи плыть по теченію, каково бы оно ни было.

Если читатель приметъ во вниманіе всѣ намѣченныя обстоятельства, онъ согласится можетъ быть, что двѣ вышеуказанныя черты литературной дѣятельности гр. Толстого, дѣйствительно, настолько значительны, что могутъ, въ своей связи и взаимности, составить идеалъ писателя. Этотъ идеалъ немыслимъ, конечно, ни для Порфирія Петровича Кукушкина, наивно влюбленнаго въ своихъ „Мотыльковъ" и въ свои „Океаны", ни для блестящаго ординарца Скобелева. Но онъ живетъ, можетъ быть, хоть и слабымъ огонькомъ тлѣетъ, въ душахъ Порфиръ Порфирыча, полковника Фрея, Пепки. Поглощаемыя ими водка и пиво не украшаютъ ихъ добродѣтелями, но они заливаютъ можетъ быть цѣлую драму несбывшихся надеждъ, разбитыхъ мечтаній; драму, а можетъ и комедію, водевиль.

И гр. Л. Н. Толстой, хоть и безспорно въ сорочкѣ родился, а въ частностяхъ и въ его литературной жизни не безъ драматическихъ эпизодовъ. Ему знакомы, конечно, муки недовольства своими созданіями, недовольства, обыкновенно болѣе сильнаго у людей талантливыхъ, чѣмъ у бездарныхъ. Бываютъ, конечно, и талантливые самодовольцы или самодовольные таланты, но, вообще говоря, всякій неудавшійся штрихъ, всякое отклоненіе пера отъ того, что предносилось писателю въ идеѣ, больнѣе чувствуется талантливымъ человѣкомъ, чѣмъ бездарностью. Талантливый человѣкъ часто даже преувеличиваетъ значеніе какой-нибудь неудачной, по его мнѣнію, подробности своего произведенія, въ

Digitized by Google

особенности, если онъ касается излюбленнаго имъ типа, портрета или положенія. Но у гр. Толстого бывали поводы для недовольства не только исполненіемъ, а и самымъ содержаніемъ своихъ произведеній. Это зависитъ отъ чрезвычайной перемѣнчивости его мнѣній, изъ которыхъ каждому онъ отдается съ такою же чрезвычайною страстностью, доводя его до послѣднихъ предѣловъ своего кругозора и отметая все прошлое. Ему, независимому, никѣмъ и ничѣмъ не стѣсняемому, приходилось дописывать „пошлую, скучную А. Каренину". Это его подлинное выраженіе въ письмѣ къ Фету; остается только неизвѣстнымъ,—чѣмъ именно былъ онъ недоволенъ въ прославленномъ романѣ, формой или содержаніемъ. Послѣднее весьма возможно. Трудно установить съ точностью—хотя самъ графъ объ этомъ разсказывалъ,—когда, кромѣ второстепенныхъ измѣненій взглядовъ, въ немъ произошелъ коренной и крутой переворотъ, заставившій его взглянуть на всю его предъидущую литературную дѣятельность, какъ на „службу и потворство ложному ученію нашего міра". Но таковъ во всякомъ случаѣ фактъ. Дѣло не въ томъ, какъ мы, читатели и почитатели гр. Толстого, относимся къ его произведеніямъ, а въ его собственномъ сознаніи и собственной его совѣсти. И сознаніе нанесеннаго когда-то людямъ нравственнаго ущерба „службою и потворствомъ ложному ученію нашего міра" должно тѣмъ мучительнѣе точить гр. Толстого, что не „когда-то" только нанесъ онъ этотъ ущербъ, а продолжаетъ его наносить и теперь, и это продолжится, можетъ быть, еще цѣлые вѣка. Слава Богу, мы продолжаемъ читать и перечитывать „Войну и миръ", „Казаковъ", „Севастопольскіе разсказы" и проч., почерпая въ нихъ наслажденіе и поученіе,—такъ думаемъ мы, а по мнѣнію автора впитываемъ въ себя „ложное ученіе нашего міра". Въ своемъ новомъ умоположеніи графъ, между прочимъ, выразилъ необыкновенное презрѣніе къ „головной работѣ чистыхъ господъ", то есть къ наукѣ, смѣялся надъ глупостью тѣхъ, кто изучаетъ „какъ бѣгаютъ лейкоциты въ крови", сурово бранилъ врачей и проч. Но вотъ онъ является на съѣздъ естествоиспытателей и врачей. Является, не замѣшавшись какъ-нибудь въ толпѣ, а въ той самой, подпоясанной ремнемъ блузѣ, которая—онъ, конечно, это очень хорошо знаетъ—обращаетъ на него особенное вниманіе въ толпѣ „чистыхъ господъ" во фракахъ, сюртукахъ и пиджакахъ. „Чистые господа", всѣ эти интересующіеся тѣмъ, какъ бѣ-

Digitized by Google

гаютъ лейкоциты въ крови и т. п., устраиваютъ ему шумную овацію. За что? Конечно, не за взгляды гр. Толстого на науку,— кто же самъ себя сѣчь будетъ?—а за то наслажденіе и поученіе, которыя они и доселѣ черпаютъ изъ его „службы и потворству ложному ученію нашего міра“... Въ виду этого положеніе гр. Толстого было бы въ высокой степени трагично, если бы не еще нѣкоторые счастливые для него лично дары природы, которые, однако, вмѣстѣ съ тѣмъ извращаютъ драгоцѣннѣйшія свойства Л. Н. Толстого... Я объ нихъ теперь распространяться не буду.

Въ настоящую минуту меня не самъ и не весь гр. Толстой занимаетъ, а лишь постольку, поскольку въ его литературной дѣятельности отражается отвлеченно вѣрное общее положеніе: фактъ есть фактъ, и разъ онъ существуетъ, онъ долженъ быть признанъ, какъ бы онъ ни былъ страшенъ, унизителенъ, непріятенъ; но совсѣмъ другое дѣло—обращеніе факта въ принципъ или изъятіе его, только потому, что онъ фактъ, изъ вѣдѣнія суда человѣческой мысли и воздѣйствія человѣческихъ рукъ. Рѣчь идетъ, конечно, о фактахъ, проходящихъ черезъ человѣческія руки, а не о тѣхъ процессахъ природы, за исходъ которыхъ люди не отвѣтственны. Одинъ изъ такихъ процессовъ напомнилъ гр. Толстой въ „Крейцеровой сонатѣ“. Земля кончится, говорилъ онъ, это знаютъ и богословы, съ одной стороны, и и люди спеціальнаго знанія—астрономы, геологи—съ другой. Странный выводъ, который онъ отсюда извлекъ—необходимость отреченія отъ половой любви—меня здѣсь не касается. Но это memento mori всего, насъ питающаго, волнующаго, радующаго, оскорбляющаго, можетъ быть приведено въ связь съ тѣмъ невѣріемъ въ прогрессъ, которое гр. Толстой выразилъ уже очень давно, еще въ 60-хъ годахъ, повторяя, впрочемъ, Руссо. Въ самомъ дѣлѣ, близокъ ли, далекъ ли неизбѣжный конецъ, но онъ неизбѣженъ, и неизвѣстно, какъ встрѣтитъ его человѣчество: въ грязи грѣха и въ крови ближняго своего или же мирно и не постыдно. Это дѣло, по всѣмъ видимостямъ, столь отдаленнаго будущаго, что практически мы не только можемъ не принимать его въ соображеніе, но и не можемъ принимать. Но грозное memento mori намекаетъ во всякомъ случаѣ на тщету оптимистическаго фатализма, полагающаго, что впереди человѣчество ожидаетъ непремѣнно что-то свѣтлое, какъ результатъ стихій-

Digitized by Google

ныхъ процессовъ природы и послѣдовательныхъ историческихъ наслоеній. Если это свѣтлое когда-нибудь наступитъ, то оно будетъ заработано нравственнымъ сознаніемъ и волею человѣка на счетъ стихійныхъ силъ. А затѣмъ, человѣчеству остается еще такъ долго жить, что мы даже себѣ и представить не можемъ, при всѣхъ усиліяхъ воображенія, что останется отъ нашихъ теперешнихъ понятій о „свѣтломъ" и какъ они видоизмѣнятся не только къ концу послѣдней части романа земли, а даже и безъ отдаленнѣйшаго сравненія раньше. Рѣка временъ смыла множество философскихъ системъ, научныхъ взглядовъ, практическихъ опытовъ, славныхъ именъ. Такъ было, такъ и будетъ, и слава славнѣйшихъ, хотя бы того же гр. Толстого, померкнетъ. Это-то и приводило Тургенева въ отчаяніе, которое онъ такъ меланхолически красиво выразилъ въ своемъ „Довольно". Однако, меланхолія меланхоліей, а жить все-таки надо. Каждый изъ насъ знаетъ, что онъ умретъ, но это не мѣшаетъ намъ каждый день обѣдать, поддерживая, доколѣ возможно, свое бренное тѣло; и дѣлаемъ мы это, соображаясь то просто съ содержимымъ своего кармана, то съ указаніями діэтетики, гастрономіи, даже этики (какъ тотъ же гр. Толстой, который, однако, кушая горохъ и капусту, не отказывается отъ полушубка, сапоговъ и ремня на блузѣ, а это все отъ „убоины" получается). Дѣло здѣсь въ аппетитѣ, незаглушимой потребности питанія, не справляющейся ни съ вчерашнимъ, ни съ завтрашнимъ днемъ. Предусмотрительность заставляетъ меня, разумѣется, думать о завтрашнемъ днѣ, но собственно потребности питанія нѣтъ дѣла до того, что я вчера ѣлъ, а завтра опять захочу ѣсть: я сейчасъ голоденъ. А человѣкъ не о единомъ хлѣбѣ живетъ. Что мнѣ за дѣло до того, что можетъ быть черезъ какихъ-нибудь нѣсколько десятковъ лѣтъ новыя открытія науки съ одной стороны (вѣдь передъ нами еще необозримое поле) и новыя формы жизни съ другой (вѣдь въ насъ еще звѣрь сидитъ), безъ остатка смоютъ мое теперешнее міросозерцаніе. Пусть такъ, я постараюсь заглянуть и въ будущее, насколько смогу, но сейчасъ вотъ моя правда, вотъ что удовлетворяетъ моей потребности теоретической истины, практическаго познанія добра и зла и дѣятельнаго участія въ общей жизни современниковъ. Въ выработкѣ такого міросозерцанія и состоитъ всегда единая и вмѣстѣ съ тѣмъ постоянно текучая задача литературы. Текучесть задачи можетъ смущать „отжившихъ и не жив-

Digitized by Google

шихъ". „Горячо любившіе, остатокъ жизни сохранившіе", а тѣмъ болѣе любящіе и живущіе, если они при этомъ и мыслящіе, передъ этимъ не остановятся. Не въ этомъ бѣда, а въ тѣхъ трудностяхъ, которыя представляетъ исполненіе задачи въ настоящую минуту. Есть люди, обращающіеся съ этими трудностями крайне просто. Вотъ, напримѣръ, гр. Толстой не хочетъ знать ни лейкоцитовъ, ни вообще результатовъ „головной работы чистыхъ господъ". Не то, что онъ самъ этой спеціальной работой не хочетъ заниматься, это само собою разумѣется, но онъ не хочетъ и чужія работы принимать во вниманіе, не только въ ихъ спеціальныхъ подробностяхъ, а и въ общихъ выводахъ. Въ очищенномъ такимъ образомъ отъ науки пространствѣ, легко, конечно, разрубать всякіе житейскіе узлы обнаженнымъ мечомъ морали. Есть, наоборотъ, люди, вооружающіеся столь же исключительно мечомъ „науки" (дѣйствительно ли это наука—вопросъ особый) и при помощи его отрубающіе на прочь вопросы нравственные. Этимъ, конечно, тоже легко. Совсѣмъ иное положеніе людей, убѣжденныхъ въ томъ, что теоретическимъ знаніемъ такъ же мало можно утолить алканія совѣсти, какъ и накормить голоднаго, а выкидывать знаніе за бортъ было бы невыгодно и въ томъ случаѣ, если бы это было возможно...

XI *).

Нѣчто о бѣдствіяхъ существенныхъ и красныхъ вымыслахъ.—О гг. Маковскомъ, Рѣпинѣ, Новооскольцевѣ.—Фламаріонъ, г. Мечниковъ и Бертело о грядущихъ судьбахъ человѣчества.

Ахъ, не все намъ слезы горькія
Лить о бѣдствіяхъ существенныхъ,
На минуту позабудемся
Въ чарованьи красныхъ вымысловъ...

Это, однако, гораздо легче предложить, чѣмъ выполнить. Чувствительный поэтъ, слишкомъ ужъ рѣзко отдѣлилъ поэзію, вообще искусство, отъ дѣйствительности, въ которой онъ видитъ только достойныя горькихъ слезъ бѣдствія, тогда какъ „вымыслы" у него почему-то все „красные", чарующіе. И мнѣ кажется, что это неправильно. Въ настоящую минуту, впрочемъ, начиная съ 23 апрѣ-

*) 1894, май.

Digitized by Google

ля, въ Москвѣ засѣдаетъ первый съѣздъ русскихъ художниковъ и любителей художествъ, который займется, вѣроятно, между прочимъ, и разборомъ отношеній искусства къ дѣйствительности и все это намъ разъяснитъ и властно установитъ истину. Ему и книги въ руки. Боюсь, однако, что съѣздъ не оправдаетъ возлагаемыхъ на него нѣкоторыми слишкомъ уже большихъ надеждъ. Въ мартовскомъ номерѣ журнала „Артистъ“ выражено не только желаніе, а и надежда или, по крайней мѣрѣ, предположеніе, что „Третьяковскіе дни“ (съѣздъ совпадаетъ съ передачей городу Москвѣ знаменитой Третьяковской галлереи) приравняются „Пушкинскимъ днямъ“, происходившимъ въ Москвѣ же четырнадцать лѣтъ тому назадъ. Почтенный журналъ вспоминаетъ „тотъ общественный подъемъ, тотъ торжественный духъ братства, который охватилъ въ Пушкинскіе дни нашу интеллигенцію“, и думаетъ, что это возможно и теперь въ „Третьяковскіе дни“. Я этого не думаю. Не потому, конечно, чтобы передача въ общественную собственность единственнаго въ своемъ родѣ собранія художественныхъ произведеній представляла, какъ поводъ для торжества и ликованія, нѣчто менѣе значительное, чѣмъ открытіе памятника великому поэту. Дѣло здѣсь не въ поводѣ, а именно въ томъ, по выраженію „Артиста“, „общественномъ подъемѣ“, который пользуется поводомъ. И не надо быть пророкомъ, чтобы предсказать, что „Третьяковскимъ днямъ“ будетъ до Пушкинскихъ, какъ до звѣзды небесной, далеко. Но, конечно, это не исключаетъ возможности прекрасныхъ рѣчей и интересныхъ рефератовъ на съѣздѣ русскихъ художниковъ и любителей художествъ.

Смущаетъ меня только то обстоятельство, что ни въ спискѣ членовъ распорядительнаго комитета, ни въ числѣ, по крайней мѣрѣ, первыхъ ораторовъ нѣтъ нѣкоторыхъ именъ, безъ которыхъ какъ то даже трудно себѣ представить подобное торжество въ настоящую минуту. Какой такой съѣздъ русскихъ художниковъ и любителей художествъ безъ „фанфаръ и тромпетъ“ В. В. Стасова, равно компетентнаго во всѣхъ отрасляхъ искусства? Почему нѣтъ П. Д. Боборыкина, такъ горячо отстаивающаго принципъ „чистаго искусства“ въ своихъ теоретическихъ статьяхъ и такъ искусно ниспровергающаго его въ своихъ романахъ и повѣстяхъ? Полонъ ли съѣздъ безъ И. Е. Рѣпина, который, въ поискахъ „новаго слова“ въ искусствѣ, такъ запутался въ своихъ статьяхъ „Театральной Газеты“ и „Недѣли“, что надо же ему, наконецъ, распутаться?

Digitized by Google

Отсутствіе этихъ и еще многихъ другихъ свѣдущихъ людей заставляетъ меня опасаться, что и послѣ съѣзда недоумѣніе, вызываемое во мнѣ вышеприведенными словами чувствительнаго поэта, не разъяснится, и мы, профаны, будемъ такъ же предоставлены въ этомъ отношеніи своимъ собственнымъ средствамъ, какъ и до съѣзда...

Какъ бы ни разсудили свѣдущіе люди, а мы, профаны, отлично знаемъ, что и въ дѣйствительности, и въ искусствѣ

...раненый олень лежитъ,
А лань здоровая смѣется.
Одинъ заснулъ, другой не спитъ—
И такъ на свѣтѣ все ведется!

Никогда не согласимся мы, профаны, на такое раздѣленіе труда между жизнью и искусствомъ, чтобы на долю первой приходились „бѣдствія“ и „слезы горькія“, а искусство свелось бы на „чарованіе красныхъ вымысловъ“, въ которыхъ можно „забыться“. Положимъ, что господа художники насъ не спросятъ (?), но дѣло-то въ томъ, что и сами они, по крайней мѣрѣ наиболѣе талантливые изъ нихъ, вовсе не обнаруживаютъ исключительнаго стремленія замкнуться въ область чарованья красныхъ вымысловъ. Правда, г. Рѣпинъ, одна изъ самыхъ нашихъ крупныхъ художественныхъ силъ, въ своихъ недавнихъ заграничныхъ письмахъ въ „Театральной Газетѣ“, отрекается отъ своего прошлаго. Онъ пишетъ, между прочимъ: „Каюсь, для меня теперь только *искусство для искусства* и интересно—само по себѣ. Никакія благія намѣренія автора не остановятъ меня передъ плохимъ холстомъ.... И еще разъ каюсь: всякій безполезный пустякъ, исполненный художественно тонко, изящно, со страстью къ дѣлу—восхищаетъ меня до безконечности“. Но мнѣ кажется, что г. Рѣпинъ находится во власти нѣкотораго недоразумѣнія. Что „никакія добрыя намѣренія автора“ не спасутъ „плохого холста“, это само собою разумѣется: плохо такъ плохо. Что же касается „безполезныхъ пустяковъ, восхищающихъ до безконечности“ г. Рѣпина, то, несмотря на рѣшительный, почти Стасовскій тонъ этой фразы, я думаю, что она все-таки только фраза. Въ томъ смыслѣ фраза, что г. Рѣпинъ въ дѣйствительности продолжаетъ цѣнить художественныя произведенія не только по ихъ красотѣ, тонкости и изяществу исполненія, а и по ихъ содержанію. Напримѣръ, въ

Digitized by Google

письмахъ, занятыхъ Краковскими впечатлѣніями, г. Рѣпинъ восторгается не только художественнымъ мастерствомъ только что умершаго Матейки, а и его патріотизмомъ: „да, Матейко имѣлъ великую національную душу и умѣлъ горячо и кстати выражать любовь къ своему народу своимъ творчествомъ". Матейко, значитъ, не былъ служителемъ „искусства для искусства", и это обстоятельство не уменьшаетъ, а увеличиваетъ почтеніе къ нему нашего художника. А вотъ находящуюся въ Краковѣ же картину Семирадскаго „Свѣточи христіанства" г. Рѣпинъ считаетъ плодомъ „искусственнаго возбужденія праздныхъ силъ таланта". Я не знаю, въ чемъ, по мнѣнію г. Рѣпина, состоитъ искусственность возбужденія г. Семирадскаго,—усмотрѣлъ ли онъ ее въ техникѣ исполненія картины или въ самомъ выборѣ ея сюжета, но во всякомъ случаѣ упрекъ въ праздныхъ силахъ таланта не вяжется съ восхищеніемъ, да еще „до безконечности", передъ художественно исполненными „безполезными пустяками".

Нашъ талантливый художникъ, очевидно, далеко не первостепенный мыслитель, по крайней мѣрѣ не былъ таковымъ, когда писалъ свои заграничныя письма, въ которыхъ не легко связать концы съ концами. Но отъ него мы ждемъ произведеній не пера, а кисти, и естественно спросимъ себя, чѣмъ же теперь, послѣ какого-то перелома, покаянія и отреченія, подаритъ насъ г. Рѣпинъ? въ какомъ родѣ будутъ его дальнѣйшія художественныя произведенія? Никто, однако, не отважится, я думаю, предсказывать. И не только потому, что онъ можетъ, подобно Матейкѣ, „горячо и кстати выражать любовь къ своему народу своимъ творчествомъ", а можетъ и „безполезными пустяками" заняться. Оставляя въ сторонѣ всѣ подобныя противорѣчія и сосредоточиваясь на „искусствѣ для искусства", которое г. Рѣпинъ какъ бы оффиціально признаетъ отнынѣ своимъ девизомъ, нельзя не видѣть, что это — безсодержательная фраза, ничего не только не предрѣшающая, но и не предуказывающая. Ее, напримѣръ, упорно твердитъ г. Боборыкинъ, воюя съ „морально-цивическими мотивами" въ своихъ теоретическихъ статьяхъ объ искусствѣ и столь же неустанно пуская ихъ, эти самые „морально-цивическіе мотивы", въ ходъ въ своихъ романахъ и повѣстяхъ, вплоть до печатающагося теперь въ „Вѣстникѣ Европы" романа „Перевалъ".

Среди тумана недоразумѣній, густо облегающихъ пресловутое „искусство для искусства", меня всегда поражала эта практиче-

Digitized by Google

ская неосуществляемость во всеуслышаніе провозглашаемыхъ теоретическихъ принциповъ, примѣровъ чему можно бы было привести многое множество въ области какъ беллетристики, такъ и литературной критики. А затѣмъ, любопытно еще слѣдующее обстоятельство. Въ сущности, всѣ безконечныя пререканія о „чистомъ“ и не чистомъ искусствѣ сводятся къ одному вопросу: должно ли искусство только помогать забыться „въ чарованьи красныхъ вымысловъ“, а мы, зрители и слушатели,—по выраженію Фета, „благоговѣть богомольно передъ святыней красоты“, или же искусство можетъ имѣть и другія, болѣе сложныя и отдаленныя цѣли. Есть, однако, одна человѣческая страсть или потребность человѣческой природы, правда, очень могучая, относительно которой обѣ пререкающіяся стороны допускаютъ какое-то странное исключеніе. Это—любовь.

Года три-четыре тому назадъ на академической выставкѣ красовалась цѣлая группа произведеній щегольской кисти К. Е. Маковскаго, номеровъ пятнадцать, и въ центрѣ одной изъ стѣнъ, занятыхъ его картинами и картинками, помѣщалось „пано“, а на этомъ пано былъ изображенъ павлинъ, великолѣпный павлинъ съ распущеннымъ радужнымъ хвостомъ. Мысль помѣстить эту великолѣпную птицу въ самомъ центрѣ цѣлой группы картинъ г. Маковскаго—тогда же показалась мнѣ чрезвычайно удачною. Павлиній хвостъ, какъ украшеніе вообще и какъ играющее въ частности значительную роль въ половомъ подборѣ, можетъ служить эмблемой всей художественной дѣятельности г. Маковскаго, гербомъ его, какъ художника. У г. Маковскаго есть ширмы, носилки вродѣ паланкина, искусно расписанныя амурами и букетами, пано съ павлиньими хвостами. Сами по себѣ эти предметы, можетъ быть, не „безполезные пустяки“, но живопись на нихъ есть несомнѣнно украшеніе, простое, безхитростное украшеніе. Но наяды, русалки, вакханки и прочія раздѣтыя и неодѣтыя дамы г. Маковскаго, это—украшеніе уже осложненное, о которомъ можно сказать словами школьника въ „Фаустѣ“: das sieht schon besser aus! man sieht doch wo und wie! И я васъ спрашиваю: если пьяная нѣга вакханки съ глазами, отуманенными жаждой любви, не выходитъ изъ предѣловъ компетенціи „чистаго“ искусства, то почему, напримѣръ, голодъ нищаго или, съ другой стороны, юношеская жажда подвига, или хоть та же молодая женщина, но не раздѣтая и жаждущая не любви, а, положимъ, знанія, могутъ

Digitized by Google

стать предметомъ только не чистаго искусства? Я просто спрашиваю, безъ задней мысли о какихъ бы то ни было „морально-цивическихъ мотивахъ“. Могущество полового чувства, какъ въ грубѣйшихъ, такъ и въ тончайшихъ его проявленіяхъ, безспорно, хотя и едва ли достаточно для оправданія того множества произведеній всѣхъ отраслей искусства, которыя ему посвящены. Но дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что „чистотѣ“ искусства мѣшаетъ, будто бы, всякое осложненіе эстетической эмоціи, кромѣ тѣхъ, которыя истекаютъ изъ полового чувства.

Допускаются, впрочемъ, еще нѣкоторыя исключенія, но я объ нихъ распространяться не буду. Суть дѣла все въ томъ же „чарованьи красныхъ вымысловъ“. Искусство должно быть украшеніемъ, если не прямо площади или комнаты или какой-нибудь мебели, то украшеніемъ жизни. Программа эта, однако, на дѣлѣ не выполняется ни искусствомъ въ его лучшихъ представителяхъ, ни художественной критикой. Отсюда цѣлый рядъ недоразумѣній.

На московскомъ художественномъ съѣздѣ читалъ, между прочимъ, докладъ д-ръ Викторовъ „О нѣкоторыхъ новыхъ направленіяхъ въ наукѣ объ искусствѣ“. Рѣчь, повидимому, шла, главнымъ образомъ, о гипнотизмѣ, но и еще о чемъ-то, что, въ газетныхъ отчетахъ, яснѣе выступаетъ въ рѣчи оппонента г. Викторова— г. Голоушева. „Русскія Вѣдомости“ пишутъ: „Д-ръ Голоушевъ, указывая, что, по мнѣнію референта, искусство должно воспроизводить прекрасное, пріятное для человѣка, возражалъ, что назначеніе искусства совершенное иное—воспроизведеніе жизни въ ея дѣйствительныхъ образахъ, пріятныхъ и непріятныхъ. Картина Рѣпина „Иванъ Грозный“, произведшая непріятное впечатлѣніе на референта и на лицъ, имъ указанныхъ, изъ которыхъ въ нѣкоторыхъ она производила чувство тошноты, представляетъ тѣмъ не менѣе высокое художественное произведеніе, и желательно, чтобы побольше являлось художниковъ, слѣдующихъ традиціямъ Рѣпина“.

Къ сожалѣнію, это и все, что сообщаютъ „Русскія Вѣдомости“ объ этомъ любопытномъ эпизодѣ художественнаго съѣзда. Повидимому, г. Викторовъ выразилъ, съ нѣкоторымъ научнымъ антуражемъ, все ту же мысль о чарованьи красныхъ вымысловъ, какъ о единственно законной области искусства. Послѣдовательности ради онъ и долженъ былъ отрицательно отнестись къ „Ивану Грозному“ г. Рѣпина. Идя въ томъ же направленіи далѣе, онъ

Digitized by Google

долженъ былъ бы отвергнуть, напримѣръ, и всего Достоевскаго съ его мрачнымъ творчествомъ. Достоевскій, впрочемъ, и независимо отъ мрачнаго колорита его произведеній, чисто по недоразумѣнію служитъ предметомъ поклоненія сторонниковъ „чистаго“ искусства. Всѣ его произведенія проникнуты ярко выраженными своеобразными „морально-цивическими мотивами“, которые и подлежатъ суду критики, наравнѣ со степенью и характеромъ его таланта. „Морально-цивическіе мотивы“ Достоевскаго могутъ вызвать сочувствіе или даже восторгъ въ однихъ, негодованіе и отвращеніе въ другихъ,—это дѣло нравственно-политическихъ убѣжденій. Сила его таланта несомнѣнна теперь уже, кажется, чуть не для всего цивилизованнаго міра, кромѣ г. Авсѣенки, который остается при особомъ мнѣніи. А что касается характера этого таланта, то я давно уже пытался опредѣлить его словомъ „жестокій талантъ“, и слово это, несмотря на пламенные протесты близорукихъ поклонниковъ Достоевскаго, привилось. И мнѣ кажется, что въ „Иванѣ Грозномъ“ г. Рѣпина есть та же черта жестокости таланта. Черта эта состоитъ въ охотѣ и умѣньи мучительно играть на нервахъ читателей или зрителей, независимо отъ чисто эстетической эмоціи, иногда даже въ ущербъ ей, но вмѣстѣ съ тѣмъ и независимо отъ „морально-цивическихъ“ идей, исповѣдуемыхъ художникомъ и въ другихъ мѣстахъ того же самаго, можетъ быть, произведенія ярко выступающихъ. Черта эта отнюдь не свойственна г. Рѣпину вообще,—совсѣмъ напротивъ: въ его талантѣ есть нѣчто грубовато добродушное,—но въ „Иванѣ Грозномъ“ она есть. Картина эта, конечно, не можетъ служить украшеніемъ въ смыслѣ „воспроизведенія прекраснаго, пріятнаго для человѣка“. Это ужъ, конечно, не павлиній хвостъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, картина не даетъ законченнаго впечатлѣнія, которое можетъ считаться законченнымъ лишь тогда, когда, совершивъ кругъ своего дѣйствія, превращается въ опредѣленныя мысли и чувства, властно подсказанныя или внушенныя художникомъ. Картина г. Рѣпина въ этомъ смыслѣ ничего не даетъ: она только мучительно царапаетъ нервы, что, при сильномъ талантѣ г. Рѣпина, свидѣтельствуетъ объ отсутствіи въ немъ самомъ опредѣленныхъ мыслей и чувствъ по отношенію къ сюжету картины. И, вопреки мнѣнію г. Голоушева, я не думаю, чтобы именно *эта* „традиція Рѣпина“ заслуживала поддержки.

Но г. Рѣпинъ и въ „Иванѣ Грозномъ“ правдивъ. Страшный моментъ онъ и трактуетъ страшными красками, не пытаясь сдѣ-

Digitized by Google

лать изъ своей картины „воспроизведеніе прекраснаго, пріятнаго для человѣка“. А бываетъ и это. Недалеко ходить—на нынѣшней академической выставкѣ была картина г. Новооскольцева изъ временъ Ивана же Грознаго, представляющая именно такую попытку сдѣлать изъ крови и слезъ конфетку. Картина изображаетъ опричниковъ, хозяйничающихъ въ домѣ опальнаго боярина. Въ центрѣ огромнаго холста лежитъ нагая дѣвушка, это—обезчещенная боярышня. Слѣва сидитъ самъ бояринъ, привязанный къ стулу; немного дальше лежитъ въ полуоборотъ къ зрителямъ его жена, тоже связанная. Справа на заднемъ планѣ два опричника: одинъ, сидя допиваетъ вино, другой куда-то зоветъ или тащитъ его; вдали еще опричникъ роется въ сундукѣ. Меня особенно поразили двѣ фигуры въ этой картинѣ: голая дѣвушка и одинъ изъ опричниковъ. Дѣвушка лежитъ въ безчувственномъ состояніи, надъ ней только что совершено гнусное насиліе, но она такъ спокойно и условно красиво лежитъ, такъ полно отсутствіе какихъ бы то ни было знаковъ насилія или сопротивленія на ея красивомъ бѣломъ тѣлѣ,—ни царапинки, ни синячка,—что точь въ точь наяда или русалка г. Маковскаго, только много похуже написанная. А опричникъ такой красивый и симпатичный молодецъ, съ весело сверкающими глазами и зубами, въ такомъ чистенькомъ, новенькомъ съ иголочки щегольскомъ кафтанѣ,—тоже „безъ пятна и упрека“, безъ капли крови и безъ единой оторванной пуговицы или поврежденнаго позумента,—что хоть сейчасъ его въ маскарадъ отправляй, веселыя любезности дамамъ говорить. Всему этому соотвѣтствуетъ и чисто, такъ сказать, бутафорскій безпорядокъ обстановки: мебель и утварь разбросаны съ такою аккуратностью, что ни малѣйше не напоминаютъ о разгромѣ, происходившемъ тутъ сію минуту. Все дѣло, очевидно, въ красивомъ голомъ женскомъ тѣлѣ и въ красивомъ нарядномъ молодцѣ, то есть въ томъ же павлиньемъ хвостѣ. Павлиньимъ хвостомъ можно любоваться, какъ очень красивой штукой. Но когда вамъ подставляютъ его подъ фирмой страшной драмы вторженія злодѣевъ въ мирный домъ, всяческихъ насилій и оскорбленій, совершаемыхъ негодяями надъ беззащитными людьми, то можетъ быть и г. Викторовъ не найдетъ въ этомъ настоящаго назначенія искусства.

На той же академической выставкѣ была бронзовая группа, названная въ каталогѣ „Бѣдствіе“. На какомъ-то фантастическомъ

Digitized by Google

звѣрѣ, составленномъ на манеръ химеры, только еще посложнѣе, изъ частей разныхъ звѣрей, скачетъ традиціонная смерть, въ видѣ скелета, прикрытаго, впрочемъ, помнится, какой-то мантіей, съ традиціонной же косой въ рукахъ; рядомъ бѣжитъ другой, тоже фантастическій составной звѣрь, ростомъ поменьше. Глядя на эту группу, поневолѣ думается: не очень-то „бѣдствіе“ страшно! Олицетворить нынѣ бѣдствіе въ образѣ какой-нибудь химерической фантазіи—довольно мудрено: у насъ и водосточныя трубы дѣлаются нынѣ, съ цѣлью украшенія, въ видѣ разныхъ страшныхъ составныхъ звѣрей—крылатыхъ змѣй съ пѣтушиными гребнями и т. п.; на каминахъ, этажеркахъ, письменныхъ столахъ стоятъ многоголовые идолы, разжалованные изъ своего божескаго достоинства на степень украшенія, и проч. Не страшно это даже для дѣтей. А простой фактъ самоубійства свидѣтельствуетъ, что есть бѣдствія похуже смерти, въ особенности такой смерти, какъ въ упомянутой группѣ: она почти улыбается. Цѣль якобы страшной драконьей морды, которою оканчивается водосточная труба, совсѣмъ не передача или внушеніе впечатлѣнія ужаса, а просто украшеніе. Таково же и положеніе группы „Бѣдствіе“, которая съ успѣхомъ займетъ мѣсто гдѣ-нибудь въ салонѣ, подъ тропическими растеніями, столь же мало возбуждая представленіе о бѣдствіи, какъ и эти тропическія растенія.

Это, конечно, низшій сортъ искусства. Но, признаюсь, мнѣ все-таки „Бѣдствіе“ болѣе симпатично, чѣмъ картина г. Новооскольцева, и думаю, что дѣло тутъ не только въ моихъ симпатіяхъ. Задавшись несчастною мыслью выразить въ скульптурѣ—отрасли искусства, имѣющей дѣло исключительно съ формами,—не ту или другую опредѣленную бѣду, а бѣдствіе вообще, бѣдствіе абстрактное, бѣдствіе an sich, художникъ вынужденъ былъ прибѣгнуть къ квази-миѳологическимъ комбинаціямъ страшныхъ звѣрей и къ традиціонному образу смерти съ косой. Онъ выбиралъ для своего вымысла все, что ему казалось наиболѣе страшнымъ, наиболѣе приближающимся къ впечатлѣнію бѣдствія. Положимъ, что страшное давно выдохлось изъ набранныхъ имъ элементовъ, но онъ во всякомъ случаѣ не хотѣлъ сдѣлать свой вымыселъ „краснымъ“, чарующимъ. Группа „Бѣдствіе“ есть ни больше, ни меньше, какъ комнатное украшеніе, но чудовище, на которомъ галопируетъ смерть, сама эта смерть и скачущее возлѣ нея другое чудовище—не красивы, а, напротивъ, безобразны, намѣ-

Digitized by Google

ренно безобразны. Цѣлью художника было произвести впечатлѣніе ужаса, но онъ ошибся въ средствахъ. Совсѣмъ другое дѣло г. Новооскольцевъ. Взявъ сюжетомъ своей картины также бѣдствіе, но совершенно опредѣленное, исторически громкое и богатое сложными трагическими эффектами, онъ задался цѣлью произвести на зрителя пріятное впечатлѣніе красоты. Безспорно, что въ числѣ дѣвушекъ, подвергавшихся насиліямъ опричниковъ, были красивыя, равно какъ и между самими опричниками могли быть красавцы и франты. Но художникъ пересолилъ или, вѣрнѣе, пересластилъ. Мимоходомъ сказать, у красавца опричника висятъ на поясѣ собачій черепъ и маленькая метелка, чего, кажется, не бывало: эти атрибуты опричины привязывались къ сѣдлу. Я, впрочемъ, въ этомъ не увѣренъ. Какъ бы то ни было, а ни этотъ черепъ съ метлой, ни красивый кафтанъ опричника не носятъ на себѣ ни малѣйшаго отпечатка борьбы и сопротивленія, точно также, какъ и обнаженное тѣло дѣвушки, и вся ея поза. Если она и раздѣта, то единственно для того, чтобы художникъ могъ нарисовать красивое женское тѣло. На веселомъ и красивомъ лицѣ опричника нѣтъ и слѣда цинизма, животной страсти или звѣрства, а, вѣдь, не могъ же онъ не быть звѣремъ, разнузданнымъ завѣдомою безнаказанностью за всѣ гнусности, которыя ему вздумается совершить въ опальномъ домѣ. Взявшись изобразить страшную драму, г. Новооскольцевъ сдѣлалъ все возможное и даже невозможное, чтобы затереть въ ней именно драму, ради красоты. Г. Новооскольцевъ, повторяю, уже слишкомъ пересластилъ, потому что даже красота не пострадала бы, если бы у его опричника, ну хоть какъ у Аѳонасія Вяземскаго въ „Князѣ Серебряномъ“ гр. Алексѣя Толстого—„бѣлая атласная одежда была истерзана, по ней струилась кровь“ — въ моментъ разоренія дома опальнаго боярина Морозова. Но г. Новооскольцевъ хотѣлъ явить вполнѣ законченный образчикъ поѣданія жирныхъ коровъ коровами тучными. Такъ Неронъ, разсматривая тѣло убитой по его приказанію Агриппины, любовался ея красивымъ тѣлосложеніемъ. Неронъ былъ чистый художникъ: Агриппина была съ его чисто художественной точки зрѣнія не мать его, не убитая имъ женщина, а только красивое женское тѣло. Такъ внезапно прославившійся декадентъ Лоранъ Тальядъ видѣлъ въ картинѣ динамитнаго взрыва не смерть, не раны и страданія, не страшную смѣсь жестокости и самопожертвованія, не одинъ

Digitized by Google

изъ симптомовъ соціальной борьбы, а только красивый жестъ человѣка, бросающаго бомбу. Такова вообще спеціально эстетическая точка зрѣнія, отрекающая искусство отъ всѣхъ „морально-цивическихъ мотивовъ“. Отсюда и предложеніе перестать „слезы горькія лить о бѣдствіяхъ существенныхъ“ и позабыться „въ чарованьи красныхъ вымысловъ“.

Дѣло было въ XXV столѣтіи... Странно говорить въ прошедшемъ времени—„было“—о томъ, что должно произойти черезъ нѣсколько вѣковъ. Но такъ именно выражается извѣстный популяризаторъ астрономическихъ знаній Камиллъ Фламаріонъ въ недавно вышедшемъ по-русски сочиненіи „Конецъ міра“. Будемъ и мы такъ говорить.

Дѣло было въ XXV столѣтіи. Всѣ жители земли трепетали отъ ужаса, потому что въ самомъ непродолжительномъ времени земля должна была столкнуться съ кометой, и затѣмъ послѣдуетъ катастрофа, въ которой земля погибнетъ. Не всѣ, однако, были такого крайняго мнѣнія, и вотъ Фламаріонъ вводитъ насъ въ публичное засѣданіе парижской академіи, гдѣ представители различныхъ отраслей знанія высказываютъ свои взгляды на неизбѣжно предстоящее событіе. Первымъ говоритъ директоръ парижской обсерваторіи. Онъ говоритъ, что предстоящее столкновеніе земли съ кометою есть несомнѣнный фактъ, но послѣдствія этого столкновенія можетъ быть и не такъ уже страшны, какъ ихъ рисуетъ напуганное воображеніе слушателей. Соображаясь съ вѣроятнымъ химическимъ составомъ кометы, ораторъ полагаетъ, что „только люди со слабыми легкими пострадаютъ; это будетъ простая инфлуэнца, которая увеличитъ втрое или впятеро цифру ежедневной смертности“. Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, ядро кометы содержитъ въ себѣ огромныя минеральныя массы, которыя, падая на извѣстныя мѣстности на землѣ, уничтожатъ на нихъ все; но такъ какъ $^3/_4$ земного шара покрыты водой, да и на сушѣ есть не мало пустынь, то существуетъ вѣроятность, что и это паденіе огромныхъ тяжелыхъ массъ не причинитъ людямъ большого вреда. Но, кромѣ удушливаго газа и огромныхъ твердыхъ массъ, опасность грозитъ еще со стороны множества болидовъ, которые произведутъ безчисленные пожары: дѣйствіе нынѣшнихъ взрывчатыхъ веществъ—дѣтская забава въ сравненіи съ тѣмъ, что

Digitized by Google

можетъ случиться. Однако, говоритъ ораторъ, „даже и эти ужасы не могутъ привести ко всемірному разрушенію; нѣсколько городовъ, обращенныхъ въ пепелъ, не могутъ остановить исторію человѣчества“.

Слѣдующій ораторъ, президентъ медицинской академіи, смотритъ на дѣло гораздо мрачнѣе; онъ предвидитъ не частную и мѣстную катастрофу, а погибель всего человѣческаго рода и всего, имъ созданнаго въ теченіе вѣковъ. И т. д. Одинъ за другимъ встаютъ ораторы и излагаютъ, каждый съ своей точки зрѣнія, гипотезы о прекращеніи жизни на землѣ. Въ засѣданіи присутствуютъ и представители духовенства, время отъ времени вставляя и свое слово. Такъ, по поводу рѣчи одного астронома, кардиналъ архіепископъ замѣчаетъ, что его соображенія подтверждаются и Церковью: „Небеса съ шумомъ прейдутъ, говоритъ ап. Петръ, стихіи, разгорѣвшись, разрушатся, земля и всѣ дѣла на ней сгорятъ“. По поводу словъ одного геолога, помощникъ архіепископа говоритъ: „Тогда буквально подтвердятся слова Св. Писанія: всякая долина наполнится, всякая гора и холмъ опустится“. Въ концѣ концовъ, резюмируя пренія, предсѣдатель, очевидно выражающій мнѣніе самого Фламаріона, объявляетъ, что столкновеніе съ кометой неизбѣжно, но по всей вѣроятности ограничится частной катастрофой. Что же касается окончательнаго прекращенія жизни на землѣ, то оно можетъ наступить черезъ 30 милліоновъ лѣтъ, если вѣрна такая-то гипотэза, или черезъ 10 милліоновъ, если вѣрна такая-то. Фламаріонъ склоняется, повидимому, къ послѣдней цифрѣ, потому что вторая часть его произведенія, гдѣ изображается смерть послѣднихъ людей, называется „Черезъ десять милліоновъ лѣтъ“. Столкновеніе же съ кометой, въ разсказѣ Фламаріона, дѣйствительно разрѣшается страшной, но частной катастрофой. Въ Европѣ число жертвъ ея равнялось одной сороковой части населенія. Но затѣмъ „пробѣлы не замедлили пополниться усилившейся рождаемостью, какъ это и прежде случалось послѣ войнъ; земля продолжала вращаться вокругъ солнца, и человѣчество стремилось къ совершенству“...

Всѣ подобныя произведенія по необходимости изображаютъ не столько то отдаленное будущее, которое хотятъ изобразить, сколько настоящее въ его надеждахъ и опасеніяхъ. Теоріи, излагаемыя въ разсказѣ Фламаріона разными учеными спеціалистами въ засѣданіи парижской академіи XXV вѣка, по необходимости отра-

Digitized by Google

жаютъ въ себѣ состояніе знаній въ концѣ XIX вѣка и, черезъ пятьсотъ лѣтъ, несомнѣнно либо обветшаютъ, либо настолько утвердятся, что между ними не будетъ того разногласія, какое изображаетъ Фламаріонъ. И все-таки это самый яркій, такъ сказать, вершинный пунктъ его фантазіи. Какъ астрономъ, человѣкъ науки теоретическаго познанія и въ частности предвидѣнія, но не воздѣйствія, онъ болѣе или менѣе твердыми штрихами рисуетъ грядущее стихійное событіе и шансы его результатовъ. Въ такомъ же положеніи оказываются подъ его перомъ геологи, метеорологи, отчасти химики и физики. Говорю „отчасти", потому что въ произведеніи фантастическомъ химикамъ и физикамъ могла бы быть приписана, при данныхъ условіяхъ, роль, весьма отличная отъ роли астрономовъ, геологовъ и метеорологовъ. Даже не особенно пылкая фантазія можетъ представить себѣ къ XXV вѣку такое развитіе науки, которое допуститъ извѣстное воздѣйствіе даже на такія стихійныя событія, какъ столкновеніе земли съ кометою. Но мысль Фламаріона отказывается работать въ этомъ направленіи. Онъ лишь вскользь упоминаетъ о какихъ-то „утопистахъ, которые, увлекаясь разными фантазіями, вообразили, что сильный электрическій вѣтеръ, произведенный громадными баттареями, расположенными на той сторонѣ земного шара, гдѣ произойдетъ столкновеніе, можетъ свернуть комету съ ея пути". Точно также мимоходомъ упоминаетъ онъ о томъ, что „химики придумывали средство спасти часть кислорода въ атмосферѣ; изыскивали способъ отдѣлить этотъ газъ отъ азота и собрать его въ герметически закупоренные стеклянные сосуды"; „придумывали", „изыскивали", но такъ все это ничѣмъ и кончилось. А между тѣмъ техника, основанная на физикѣ и химіи, достигла высокой степени развитія. Любопытно, что она оказала особенно важныя услуги именно спеціальности Фламаріона— астрономіи. На одной изъ вершинъ Гималаевъ, на высотѣ 8000 метровъ надъ уровнемъ моря, была построена обсерваторія, снабженная такими оптическими инструментами, что при помощи ихъ получилась „возможность разбирать іероглифическіе знаки, которые напрасно уже нѣсколько тысячелѣтій посылали намъ обитатели Марса". Ученымъ обитателямъ Гауризанкарской обсерваторіи могло бы плохо придтись отъ холода и разрѣженнаго воздуха, но „помощью электро-химическихъ открытій уничтожились на много верстъ вокругъ святилища вѣчные снѣга"; „наука и промышленность достигли того, что смягчили холодъ,

Digitized by Google

собирая и сохраняя солнечные лучи". И астрономы оказались достойными этихъ услугъ науки и промышленности. „Уже девять или десять поколѣній нѣсколькихъ семействъ астрономовъ проживали на азіатской горѣ, медленно и постепенно привыкая къ разрѣженной атмосферѣ; первыя поколѣнія быстро умирали", но послѣдующія самоотверженно замѣняли убылыхъ, и дѣло акклиматизаціи, наконецъ, совершилось: на склонахъ Гималаевъ поселилась цѣлая колонія астрономовъ. Но и въ другихъ мѣстахъ были прекраснѣйшія обсерваторіи и при нихъ благороднѣйшіе астрономы. Напримѣръ, парижская обсерваторія была „убѣжищемъ мира, гдѣ царило полное согласіе; астрономы съ безкорыстіемъ посвящали всю свою жизнь только успѣхамъ науки, любили другъ друга и никогда не испытывали зависти; каждый, забывая свои собственныя заслуги, думалъ только о томъ, чтобы выдвинуть заслуги своихъ товарищей". Немудрено, что такіе благороднѣйшіе дѣятели двигали и распространяли свою науку. Вотъ что, между прочимъ, предшествовало столкновенію кометы съ землей: „Въ первые дни послѣ открытія кометы ее можно было видѣть только съ помощью сильныхъ экваторіальныхъ телескоповъ обсерваторій. Но вскорѣ образованная публика стала сама ее разыскивать. Всякій домъ современной постройки имѣлъ верхнюю террасу, назначенную для воздушныхъ экипажей. На многихъ изъ нихъ устраивались вертящіеся куполы. Не было ни одной сколько-нибудь состоятельной семьи, въ распоряженіи которой не находился бы телескопъ, и ни одна квартира не считалась полной, если въ ней не было библіотеки, снабженной хорошимъ выборомъ научныхъ книгъ... Что касается рабочаго класса, у котораго свободныя минуты на перечетъ, то для нихъ на всѣхъ площадяхъ были поставлены телескопы, и съ перваго же вечера, когда комета стала видна, и въ послѣдующіе вечера, уличные астрономы сбирали невѣроятное количество денегъ. Но большинство рабочихъ, особенно въ провинціи, имѣли собственные телескопы".

Послѣднее обстоятельство особенно хорошо оттѣняетъ успѣхи астрономіи: свободныя минуты у рабочихъ будутъ и черезъ пять сотъ лѣтъ на перечетъ,—„наука и промышленность" ничего въ этомъ отношеніи не измѣнятъ,—но за то у нихъ будутъ собственные телескопы, или, по крайней мѣрѣ, „невѣроятное количество денегъ" для уплаты уличнымъ астрономамъ за науку.

Что же будетъ въ XXV столѣтіи съ другими элементами со-

Digitized by Google

временнаго общества, напримѣръ съ католичествомъ, которое, какъ извѣстно, не всегда ладило съ астрономіей? всякое вѣдь тутъ бывало,—и униженіе Галилея, и костры, и отлученія. Въ XXV столѣтіи все это уладится, и, рядомъ съ чрезвычайными успѣхами астрономіи, папа Пій XVIII подтвердитъ провозглашенный въ 1870 г. догматъ папской непогрѣшимости и провозгласитъ новый догматъ—папской „божественности", который и будетъ принятъ на вселенскомъ соборѣ большинствомъ 451 голоса противъ 88. „Правда, что между современными прелатами были (то есть будутъ) и такіе, которые смотрѣли на католическую религію съ соціальной точки зрѣнія, насколько она играла роль въ дѣлѣ цивилизаціи, но перевѣсъ былъ на сторонѣ искренно вѣрующихъ, да, кромѣ того, папы послѣднихъ вѣковъ были образцами мудрости, добродѣтели и святой жизни".

Совсѣмъ не такова будетъ литература, по крайней мѣрѣ газетная, о которой только и говоритъ Фламаріонъ.„ Уже давно всѣ газеты стали лишь коммерческими предпріятіями. Единственной задачей ихъ было продать какъ можно больше листовъ, „устроить свои дѣла"; въ этомъ былъ весь вопросъ. Онѣ сочиняли новости, подкапывались подъ прочность государства, искажали истину, безславили мужчинъ и женщинъ, разсѣевали всюду скандалы, лгали съ безстыдствомъ, разъясняли пріемы воровъ и убійцъ и такимъ образомъ какъ бы безсознательно увеличивали число преступленій; онѣ указывали на новоизобрѣтенныя взрывчатыя вещества, ставили въ опасность своихъ читателей и за-разъ измѣняли всѣмъ классамъ общества съ единственною цѣлью возбудить въ высшей степени общее любопытство и какъ можно болѣе продать отдѣльныхъ номеровъ".

Газеты и предстоящее столкновеніе земли съ кометой эксплоатировали съ цѣлью наживы. Одно время, впрочемъ, повидимому, и онѣ пріуныли. Въ это время все вообще пріуныло и затихло—доброе и злое. „Только женское кокетство еще не поддавалось, да и оно было только наружное, торопливое, эфемерное, не думающее о завтрашнемъ днѣ". Но вотъ, въ упомянутомъ уже публичномъ засѣданіи парижской академіи, предсѣдатель, стараясь успокоить и ободрить слушателей, бросилъ, между прочимъ, такую фразу: „если бы биржа не была закрыта и я имѣлъ бы несчастіе устраивать тамъ свои дѣла, то я, не колеблясь, купилъ бы государственныя процентныя бумаги, которыя такъ внезапно

Digitized by Google

и сильно упали". Фразу эту подцѣпилъ одинъ изъ слушателей, „знаменитый американскій еврей, финансовый тузъ", владѣлецъ телефонныхъ линій, соединявшихъ Парижъ со всѣми главными городами всего свѣта, и издатель большой газеты „XXV вѣкъ". Человѣкъ этотъ немедленно выскочилъ изъ залы засѣданія и телефонировалъ своему компаньону въ Чикаго, чтобы онъ возобновилъ дѣла и скупилъ за безцѣнокъ всѣ имѣющіяся въ предложеніи цѣнныя бумаги. Разсчетъ основывался на разницѣ во времени въ Парижѣ и въ Чикаго: когда въ Парижѣ четыре часа по полудни, въ Чикаго только десять часовъ утра. Поэтому представитель фирмы въ Чикаго успѣлъ скупить бумаги на сотни милліоновъ, и понятны чудовищные размѣры барыша. Но „финансовый тузъ" взялъ хорошій барышъ и на своей газетѣ, которая, на не остывшей еще, можно сказать, отъ катастрофы землѣ, самымъ безсовѣстнымъ образомъ спекулировала сенсаціонными ложными извѣстіями..

Какъ бы то ни было, катастрофа окончилась сравнительно благополучно и, какъ мы видѣли, „земля продолжала вращаться вокругъ солнца, и человѣчество стремилось къ совершенству..."

Какое, однако, человѣчество, и къ какому совершенству? Человѣчество астрономическое съ его познаніями и добродѣтелями? или биржевое съ его неутолимой жаждой наживы? или газетное съ его безстыдствомъ и продажностью? или католическое съ его кощунственнымъ обожествленіемъ папы? Фламаріону не приходятъ въ голову эти, казалось бы, неизбѣжные вопросы, и, заглядывая въ еще болѣе отдаленное будущее, онъ продолжаетъ: „Цѣлые вѣка и періоды слѣдовали одинъ за другимъ, и человѣчество постепенно росло въ прогрессѣ, наукѣ и счастьи". Ну, а объ астрономіи и говорить нечего. „Астрономія достигла своей цѣли: она узнала природу другихъ міровъ. Даже около сорокового вѣка дошли до того, что часто сообщались съ ближайшими изъ нихъ. Философія и религія отнынѣ основывались на астрономіи, на всемірной наукѣ". Ясно, что для Фламаріона прогрессъ астрономіи составляетъ такой огромный плюсъ, въ которомъ исчезаютъ всѣ минусы, и мы имѣемъ такимъ образомъ новый образчикъ спеціализаціи мысли.

Г. Новооскольцевъ знаетъ, что при вторженіи опричниковъ въ дома опальныхъ людей происходили ужасы и безобразія. Онъ не только знаетъ, а и изображаетъ это, но даетъ своему изображе-

Digitized by Google

нію такое освѣщеніе, что гнусность насилія и страданія его жертвъ тонутъ въ красотѣ женскаго тѣла, мужского лица и одежды. Такъ и Фламаріонъ. Не совсѣмъ ясно его отношеніе къ грядущему догмату божественности папы—есть нѣкоторыя основанія думать, что онъ къ нему не рѣшительно отрицательно относится... Но подлость продажныхъ писакъ и дѣльцовъ, пользующихся всеобщимъ бѣдствіемъ для ловкихъ спекуляцій, превосходящая все, доселѣ въ этомъ родѣ видѣнное, совершенно для него ясна. И однако это не мѣшаетъ ему отмѣчать прогрессъ, продолженіе совершенствованія человѣческаго рода, собственно потому, что астрономія процвѣтаетъ и астрономы добродѣтелями блещутъ. Кто не знаетъ усилій, направляемыхъ въ настоящее время теоріей и практикой во всѣхъ европейскихъ странахъ на предметъ сокращенія рабочаго времени. Знаетъ это, конечно, и Фламаріонъ, но у него и черезъ полъ-тысячи лѣтъ рабочіе не имѣютъ досуга, и это не смущаетъ его, потому что у рабочихъ есть за то собственные телескопы. Все произведеніе написано ad majorem astronomiae gloriam. Вторая часть, озаглавленная „Черезъ десять милліоновъ лѣтъ“, изображаетъ конецъ земли, какъ обитаемой планеты, а эпилогъ—„Послѣ конца земного міра“—угасаніе солнца и всей его системы, а затѣмъ столкновеніе двухъ угасшихъ солнцъ и возникновеніе новыхъ міровъ съ новой жизнью. Разсказъ объ этихъ событіяхъ, конечно, очень блѣдный и скудный—на нѣсколькихъ страничкахъ—подернутъ нѣкоторой мистической дымкой, но главный его интересъ состоитъ все-таки въ астрономическомъ предвидѣніи. Какъ у г. Новооскольцева бѣдствіе опальныхъ людей является только поводомъ для изображенія женскаго тѣла и красивыхъ кафтановъ, такъ у Фламаріона бѣдствіе всѣхъ обитателей земли является только поводомъ для торжества астрономіи. (Прошу не думать, что я имѣю хотя малѣйшее желаніе сравнивать таланты или міросозерцанія французскаго ученаго и нашего живописца, — тутъ даже немыслимы никакія параллели; я только беру примѣры спеціализаціи мысли, примѣры во всѣхъ другихъ отношеніяхъ слишкомъ различной цѣнности).

Есть въ книжкѣ Фламаріона, какъ мы уже отчасти знаемъ, и другія, не спеціально астрономическія предвидѣнія. Но, занятый своей спеціальной точкой зрѣнія, Фламаріонъ устанавливаетъ эти побочныя для него предвидѣнія, что называется, спустя рукава,

Digitized by Google

не заботясь объ ихъ взаимномъ соотвѣтствіи и гармоніи. Попробуемъ сопоставить нѣкоторыя изъ нихъ съ соотвѣтственными предвидѣніями другихъ ученыхъ людей.

Астрономы будутъ добродѣтельными, самоотверженными людьми, астрономія будетъ процвѣтать и станетъ, въ качествѣ „всемірной науки", центральнымъ, всеопредѣляющимъ пунктомъ философіи и религіи, то-есть будетъ имѣть преимущественное умственное и нравственное вліяніе на человѣчество. Однако и другія науки будутъ прогрессировать. Такъ, между прочимъ, „химія достигла способа выдѣлывать сахаръ, бѣлковину, крахмалъ, жиры, экстракты воздуха, воды и растеній изъ самыхъ разнообразныхъ соединеній въ извѣстной пропорціи углерода, водорода, кислорода, азота и т. д.". Въ то же время „обработка земли производилась электрическими приспособленіями; водородъ добывался изъ морской воды; пользовались водопадами, приливами и отливами, примѣняя всюду ихъ силу, видоизмѣненную въ свѣтъ; солнечные лучи, собранные лѣтомъ, расходовались зимой, вслѣдствіе чего времена года почти сгладились, особенно съ тѣхъ поръ, какъ подземные колодцы доставляли на поверхность земли внутреннюю теплоту земного шара". Все это началось въ неизвѣстное, въ точности, время, повидимому, въ XXX столѣтіи и во всякомъ случаѣ послѣ XXV-го, отмѣченнаго въ исторіи вселенной столкновеніемъ съ кометой. Какъ видите, ждать человѣчеству остается довольно долго. Но вотъ недавно французскій ученый, только химикъ, — Бертело, произнесъ на годичномъ банкетѣ синдикальной камеры химическихъ производствъ рѣчь, въ которой всѣ перечисленныя блага обѣщаетъ, отъ имени химіи, осуществить несравненно раньше. Собственно замѣна нынѣшнихъ пріемовъ обработки земли физико-химическими способами должна произойти черезъ какихъ-нибудь сто лѣтъ. А вскорѣ затѣмъ послѣдуетъ и непосредственная утилизація солнечной теплоты и центральной земной теплоты при помощи колодцевъ въ 3—4000 метровъ глубиной, и искусственная фабрикація пищи прямо изъ химическихъ элементовъ. Химія, такимъ образомъ, произведетъ коренной переворотъ во всемъ обиходѣ человѣческой жизни. Земельная собственность совершенно утратитъ свое теперешнее значеніе, содержать скотъ для убоя не будетъ никакой надобности, человѣкъ станетъ мягче, нравственнѣе...

Вотъ что совершитъ, по словамъ химика, химія, задолго до

Digitized by Google

того, какъ астрономы, по словамъ астронома, съ точностью предскажутъ моментъ столкновенія земли съ кометой, а знаменитый биржевой дѣлецъ наживетъ милліоны на этой катастрофѣ...

Возьмемъ другой примѣръ.

Мы видѣли, что почти наканунѣ страшной катастрофы XXV вѣка, когда всѣ страсти затихли, всѣ умы смутились, „только женское кокетство еще не поддавалось", хотя и оно было „только наружное, торопливое, эфемерное, не думающее о завтрашнемъ днѣ". Въ это время было нѣсколько замѣчательныхъ ученыхъ женщинъ, и именно астрономовъ, но въ общемъ женскія слабости остались, значитъ, неприкосновенными. Такъ было, повидимому, и позже, гораздо позже. Вотъ описаніе женщины *пятидесятаго* вѣка: „Женскій мозгъ всегда меньше мужского и работаетъ онъ тоже иначе (его необыкновенная воспріимчивость подчиняетъ женщинъ больше вліянію чувства, чѣмъ сужденію ума), голова женщины маленькая, лобъ небольшой, но эта голова такъ изящно держалась теперь на гибкой граціозной шеѣ, плечи и бюстъ такъ роскошны, что она болѣе, чѣмъ когда либо, возбуждала восхищеніе мужчинъ и всей своей фигурой, и необыкновенной кротостью взгляда, со сладострастнымъ ртомъ, и вьющимися локонами шелковистыхъ волосъ".

А затѣмъ пошла, для услажденія мужскихъ вкусовъ, такая женская красота, что развѣ только г. Новооскольцеву этакую нарисовать:

„Женская красота достигла совершенства; ихъ тонкія таліи, такъ отличавшіяся отъ полноты древнихъ гречанокъ, тѣло прозрачной бѣлизны, мечтательные глаза, длинные шелковистые волосы, которые изъ прежнихъ темныхъ и бѣлокурыхъ перешли всѣ въ рыжеватый оттѣнокъ—цвѣтъ заходящаго солнца, смягчавшійся гармоническими оттѣнками; древняя животная челюсть исчезла, превратившись въ идеальный маленькій ротикъ; и передъ этими очаровательными улыбками, при видѣ этихъ ослѣпительныхъ жемчужинъ въ нѣжно-розовой оправѣ, дѣлалось непонятнымъ, какъ могли влюбленные первобытныхъ лѣтъ такъ горячо цѣловать губы первыхъ женщинъ съ ихъ звѣриными зубами, образцы которыхъ сохранялись въ этнографическихъ музеяхъ".

Въ нѣкоторое, тоже неизвѣстное, но тоже очень отдаленное время, „измѣненія въ женской организаціи грозили опасностью

Digitized by Google

продолженію человѣческаго рода, такъ какъ рождались только мальчики. Равновѣсіе возстановилось только благодаря коренному соціальному преобразованію. Въ нѣкоторыхъ странахъ свѣтскія женщины перестали дѣлаться матерями, находя бремя материнства крайне неудобнымъ для ихъ изящества, и предоставили этотъ трудъ простымъ деревенскимъ женщинамъ".

Не видно, по крайней мѣрѣ изъ русскаго перевода книжки Фламаріона, въ чемъ будутъ состоять тѣ измѣненія женской организаціи, которыя поведутъ къ рожденію исключительно мальчиковъ, и въ чемъ будетъ состоять то коренное соціальное преобразованіе, которое возстановитъ равновѣсіе въ этомъ отношеніи. Но все, что намъ сообщаетъ Фламаріонъ о будущихъ женщинахъ, рѣшительно ничего не говоритъ о какихъ бы то ни было измѣненіяхъ не только въ ихъ организаціи, а и въ ихъ общественномъ положеніи. Пройдутъ вѣка, а онѣ все будутъ дѣлиться на „свѣтскихъ женщинъ" и „простыхъ деревенскихъ женщинъ". Только къ первымъ и относится предвидѣніе того „изящества", ради котораго онѣ откажутся отъ материнства, и надо думать поэтому, что онѣ же предъявятъ образчики той плѣнительной красоты, передъ которой должна стыдливо померкнуть теперешняя женская красота, и той неунывающей кокетливости, которая не оставитъ ихъ даже наканунѣ грозной небесной катастрофы. Mais c'est tout comme chez nous! Это тѣ же щедринскія „куколки", только въ теченіе вѣковъ усовершенствовавшія свои „атуры". Даже смѣшно становится, когда вспомнишь при этомъ, что „человѣчество росло въ прогрессѣ, наукѣ и счастіи". Казалось бы, развѣ только какой-нибудь безнадежный шалопай или „мышиный жеребчикъ" можетъ думать,—если онъ вообще когда-нибудь объ этомъ предметѣ задумается,—что „куколки" переживутъ вѣка. Но вотъ оказывается, что это думаетъ почтенный, серьезный астрономъ, усматривающій своимъ проницательнымъ взглядомъ даже ту неизмѣримо отдаленную отъ насъ пору, когда погибнетъ естественною смертью вся солнечная система, и на ея мѣстѣ возникнутъ новые міры. Такова сила спеціализаціи мысли, и я опять невольно вспоминаю г. Новооскольцева, усмотрѣвшаго столько красоты въ разгромѣ опальныхъ людей опричниками и просмотрѣвшаго неизбѣжныя подробности этой мерзости. Г. Новооскольцевъ—„чистый" художникъ, пропускающій сквозь пальцы „морально-цивическіе мотивы" и потому дающій не только одно-

Digitized by Google

стороннее, а и прямо ложное освѣщеніе избранной имъ темѣ. Фламаріонъ — „чистый“ астрономъ; онъ какъ бы самъ превращается въ ходячій телескопъ, видящій чрезвычайно далеко и въ то же время не видящій того, что у него, такъ сказать, передъ самымъ носомъ дѣлается. Ибо кое что дѣлается же въ направленіи, прямо противоположномъ увѣковѣченію „куколки“: роль куколки становится все менѣе привлекательною для все болѣе значительнаго числа женщинъ, да и вкусы и идеалы мужчинъ претерпѣваютъ соотвѣтственныя измѣненія.

Въ числѣ мужчинъ для насъ теперь особенно любопытно отмѣтить одного знаменитаго русскаго ученаго, не такъ давно изложившаго тоже нѣкоторыя свои предвидѣнія по части будущихъ женщинъ. Разумѣю г. Мечникова. Онъ—біологъ и, въ качествѣ таковаго, остановился именно на томъ, что астрономъ Фламаріонъ обошелъ,—на возможныхъ въ будущемъ измѣненіяхъ организаціи женщинъ и соотвѣтственныхъ измѣненіяхъ ихъ общественнаго положенія, поскольку послѣднія зависятъ отъ первыхъ. Между прочимъ, центральный пунктъ его предвидѣній совпадаетъ съ одною мыслью Фламаріона, но съ чрезвычайно важнымъ и характернымъ различіемъ. По г. Мечникову извѣстная часть женщинъ, въ силу измѣненія ихъ организаціи, окажутся въ будущемъ безплодными или, какъ выражается Фламаріонъ, „перестанутъ дѣлаться матерями“, но это будутъ не свѣтскія женщины, а ученыя или вообще преданныя умственнымъ занятіямъ; и не ради сохраненія „изящества“ будетъ это достигнуто, а въ видахъ содѣйствія успѣхамъ положительнаго знанія. Оба ученые, какъ и подобаетъ ученымъ, видятъ въ наукѣ первенствующій факторъ цивилизаціи; оба считаютъ современныхъ женщинъ, сравнительно съ мужчинами, существами, уже по самой ихъ физической организаціи низшими (мнѣніе Фламаріона мы только что видѣли, а г. Мечниковъ называетъ современныхъ женщинъ „личинкоподобными“ существами). Но затѣмъ Фламаріонъ, хотя и провидитъ въ будущемъ нѣсколько экземпляровъ ученыхъ женщинъ,—и, по странной непослѣдовательности или особенной галантности автора, это будутъ служительницы науки наукъ, „всемірной науки“, астрономіи,—но въ общемъ женщины распадутся на „простыхъ деревенскихъ“, которыя будутъ рожать и работать, и „свѣтскихъ“, которыя будутъ блистать изяществомъ въ превосходной степени. Иначе смотритъ на будущее г. Мечниковъ. Онъ тоже провидитъ

Digitized by Google

распаденіе на два класса—безплодныхъ и плодовитыхъ, но первыя, надо думать, вовсе не будутъ блистать физическимъ изяществомъ или, по крайней мѣрѣ, не оно будетъ ихъ существеннымъ признакомъ, а умственное развитіе и умственный трудъ, на поприщѣ котораго онѣ сравняются съ мужчинами, ибо выйдутъ изъ своего „личинкоподобнаго“ состоянія.

Въ своихъ предвидѣніяхъ г. Мечниковъ опирается, кромѣ общихъ началъ измѣнчивости и наслѣдственности, на нѣкоторыя аналогіи изъ жизни насѣкомыхъ. Исходя изъ тѣхъ же общихъ началъ и тѣхъ же самыхъ аналогій, но прибавляя къ нимъ еще преданіе объ „амазонкахъ“, ученая француженка Клемансъ Ройе провидитъ не уравненіе одного класса женщинъ съ мужчинами, а такое же преобладаніе женщинъ вообще надъ мужчинами, какимъ теперь пользуются мужчины надъ женщинами. Ей видятся въ будущемъ человѣческомъ обществѣ тѣ „чудеса женскаго (femelle) генія, которыя нисколько не удивляютъ насъ у насѣкомыхъ и которыя мы находимъ вполнѣ естественными у пчелъ и у муравьевъ“. Основываясь въ подробностяхъ на біологическихъ данныхъ, г. Мечниковъ въ общемъ руководствуется правиломъ: „непосредственною нашею цѣлью должно быть все то, что можетъ въ наибольшей степени содѣйствовать успѣхамъ положительнаго знанія“. Нашему брату, профану, мудрено, конечно, согласиться съ такимъ исключительнымъ рѣшеніемъ вопроса о непосредственныхъ цѣляхъ жизни. Но ученый спеціалистъ, послѣдовательно проводя свою мысль въ примѣненіи къ частному случаю, натурально приходитъ къ тому заключенію, что ради успѣховъ положительнаго знанія слѣдуетъ отрѣшить извѣстную часть женщинъ отъ половой дѣятельности. Г-жа Клемансъ Ройе, въ качествѣ женщины, идетъ дальше и провидитъ общественный переворотъ, имѣющій поставить женщинъ на мѣсто мужчинъ...

Что же намъ дѣлать въ виду всѣхъ этихъ такъ трудно согласимыхъ пророчествъ, число которыхъ можно вѣдь было бы еще значительно увеличить?

Prophete links, Prophete rechts,
Das Welt-Kind in der Mitte...

Гете, описывавшій этими словами свое положеніе во время бесѣдъ съ Лафатеромъ и Базедовомъ, чувствовалъ себя недурно

Digitized by Google

въ качествѣ Welt-Kind: онъ, съ интересомъ слѣдя за полетомъ мысли Prophet'овъ,—

War indess nicht weit gereist,
Hatte ein Stück Salmen aufgespeist, и т. д.

Но что легко дается „олимпійцу" Гете, то не всегда къ лицу намъ, простымъ смертнымъ, да и вообще не къ лицу человѣку быть олимпійцемъ. Это не мѣшаетъ намъ, однако, тоже слѣдить за полетомъ мысли пророковъ съ интересомъ, но съ прибавкой доли того гнѣва, который руководилъ пророкомъ Іереміей, когда онъ говорилъ: „они обманываютъ васъ, разсказываютъ мечты сердца своего... Долго ли это будетъ въ сердцѣ пророковъ, пророчествующихъ ложь, пророчествующихъ обманъ своего сердца?" Увы! это очевидно долго будетъ. И не въ томъ дѣло, чтобы пророки, „пророчествующіе обманъ своего сердца", перестали заглядывать въ будущее, а только въ томъ, чтобы вещи назывались своими собственными именами, чтобы „мечты сердца" такъ и назывались мечтами сердца, а не научными предвидѣніями. Присматриваясь ко всѣмъ вышеприведеннымъ пророчествамъ, не трудно убѣдиться, что все это, за однимъ исключеніемъ, отнюдь не неизбѣжные результаты такъ называемаго естественнаго хода вещей, а только мечты сердца, осуществленіе которыхъ имѣетъ извѣстные шансы за и противъ себя. Мечта сердца ученой женщины, г-жи Клемансъ Ройе, подсказываетъ ей эти грядущія „чудеса женскаго генія", которыя фактически окажутся, въ случаѣ своего осуществленія, только замѣною одной несправедливости другою. Мечта сердца нашего знаменитаго ученаго г. Мечникова диктуетъ ему планъ отлученія извѣстной—и, конечно, значительной, потому что иначе не изъ-за чего было бы огородъ городить—части женщинъ отъ половой дѣятельности, дабы сосредоточить всѣ интересы ихъ жизни на успѣхахъ положительнаго знанія, проще говоря, науки. Мечта сердца Бертело рисуетъ ему близкое очищеніе земли отъ людской неправды и злобы, благодаря успѣхамъ химіи. Мечта сердца Фламаріона воздвигаетъ передъ нимъ образы глубоко просвѣщенныхъ и добродѣтельныхъ астрономовъ среди всякой, съ позволенія сказать, сволочи литературной, биржевой и проч., объ улучшеніи которой не мечтаетъ сердце его. Г. Новооскольцевъ, къ счастію, не занимается предсказаніями...

Да, все это мечты сердца, и разъ мы признаемъ ихъ таковыми,

Digitized by Google

несмотря на научный или якобы научный соусъ, подъ которымъ онѣ намъ подаются, намъ уже станетъ немножко легче, когда затрубятъ намъ въ уши Prophete links, Prophete rechts. Легче, однако, лишь въ томъ случаѣ, если мы, дѣйствительно, находились in der Mitte, если мы, дѣйствительно, прислушивались налѣво и направо къ разнообразнымъ пророчествамъ, освѣщающимъ будущее съ какой-нибудь спеціальной точки зрѣнія. Избавиться отъ этого разноголосаго хора, отъ этой раздирающей уши какофоніи, конечно, пріятно. Но если мы слили свою собственную мечту съ однимъ изъ этихъ мечтаній, если мы повѣрили ему, какъ научной истинѣ, исключивъ всѣ остальныя, то, разумѣется, намъ больно будетъ съ нимъ разстаться.

Мысль Бертело объ услугахъ, которыя окажетъ человѣчеству химія главнымъ образомъ искусственнымъ приготовленіемъ пищи, не нова. Она высказывалась много разъ. Между прочимъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ ее высказалъ одинъ русскій писатель, врачъ по профессіи, г. Португаловъ. Сдѣлалъ онъ это далеко не съ тою обстоятельностью и картинностью, какъ Бертело въ своей рѣчи но съ большимъ увлеченіемъ, выразившимся въ чрезвычайно презрительномъ отношеніи къ вопросу о формахъ землевладѣнія. Г. Португаловъ снисходительно посмѣялся надъ тѣми нелѣпыми, по его мнѣнію, людьми, которые дорожатъ крестьянскимъ землевладѣніемъ, совѣтуютъ „беречь его, какъ зеницу ока“, и вообще тратятъ время на разсужденія о „пресловутомъ общинномъ, крупномъ и мелкомъ землевладѣніи“. Мечта сердца Бертело и г. Португалова имѣетъ за себя извѣстныя основанія, такъ какъ *лабораторное* приготовленіе нѣкоторыхъ пищевыхъ веществъ есть вопросъ, по всей вѣроятности, ближайшаго времени. Въ этихъ предѣлахъ мы имѣемъ дѣло даже не съ мечтою сердца, а съ истинно-научнымъ предвидѣніемъ. Но отсюда еще далеко до нарисованной Бертело картины всеобщаго благополучія и умиротворенія. Какъ мечта сердца благороднаго мыслителя, скорбящаго объ оскверняющихъ цивилизацію злѣ и неправдѣ, эта картина вполнѣ законна, и жизнь человѣческая была бы очень блѣдна и скудна, если бы передъ ней не свѣтились подобные маяки. Къ счастью, они отвѣчаютъ незаглушимой потребности человѣческой природы, по крайней мѣрѣ, въ лучшихъ ея представителяхъ. Понятно также, что спеціалистъ химикъ лелѣетъ мысль объ осуществленіи мечты сердца своего при помощи его именно спеціаль-

Digitized by Google

ности. И если бы всѣ отрасли знанія дружно соревновали въ изысканіи путей къ „берегу“, къ маяку, то, конечно, много скорѣе оправдалась бы вѣра Ленскаго,

Что есть избранные судьбами
Людей священные друзья,
Что ихъ безсмертная семья
Неотразимыми лучами
Когда-нибудь насъ озаритъ
И міръ блаженствомъ одаритъ.

Мы этого не видимъ въ другихъ вышеприведенныхъ мечтахъ сердца ученыхъ людей. Фламаріонъ мечтаетъ о торжествѣ астрономіи, рядомъ съ которымъ существуютъ и продажные газетчики, и алчные биржевики, и не имѣющіе отдыха рабочіе; г. Мечниковъ мечтаетъ о торжествѣ положительнаго знанія вообще; г-жа Ройе— о замѣнѣ одной несправедливости другою. Мечта сердца Бертело выше, чище, свѣтлѣе, шире. Но и она, какъ и тѣ, другія, должна называться своимъ настоящимъ именемъ, то есть мечтою сердца, идеаломъ, субъективнымъ построеніемъ, притомъ, въ отличіе отъ многихъ другихъ, благодаря своей широтѣ, практически осуществимымъ лишь при содѣйствіи самой жизни во всемъ разнообразіи ея запросовъ, а отнюдь не при помощи одной химіи и добраго желанія химиковъ. Бертело хотя и возлагаетъ всѣ свои надежды на химію, но, по крайней мѣрѣ, не фыркаетъ презрительно, какъ г. Португаловъ, на другіе виды человѣческаго вѣдѣнія и человѣческихъ интересовъ. По мысли Бертело, переворотъ, имѣющій произойти, благодаря искусственному приготовленію пищи изъ неорганическихъ веществъ и химическихъ элементовъ, такъ великъ что, если слѣдовать примѣру г. Португалова, то нѣтъ резона ограничивать свое презрѣніе къ запросамъ и тревогамъ текущей жизни областью формъ землевладѣнія. Вся экономика, вся политика, вся мораль должны кореннымъ образомъ измѣниться, если осуществится мечта сердца Бертело, а, слѣдовательно, долой сейчасъ же всѣ относящіяся сюда практическія тревоги и научныя или якобы научныя дисциплины, и засядемъ всѣ за химію, потому что въ ней одной лежитъ ключъ къ міру правды и счастія. Но многіе политики, юристы, экономисты, моралисты столь же увѣрены въ томъ, что именно они владѣютъ „ключомъ отъ всѣхъ ключей“. И если эта надменность столь же мало основательна,

Digitized by Google

то, съ точки зрѣнія обществознанія въ цѣломъ, не только г. Португалову, но и Бертело можно бы было возразить многое. Допуская, что дѣло не ограничится собственно лабораторнымъ опытомъ полученія бѣлковины, а достигнуто будетъ полное вытѣсненіе земледѣлія и скотоводства достаточно дешевымъ искусственнымъ приготовленіемъ вполнѣ удобоваримой пищи въ достаточно обширныхъ размѣрахъ, общественное значеніе этого безспорно громаднаго переворота опредѣлится той комбинаціей общественныхъ силъ, въ которой онъ совершится. Прирученіе животныхъ, изобрѣтеніе земледѣлія, машинъ, паровыхъ двигателей,— все это были огромные тоже техническіе перевороты, и хотя они безспорно повліяли на общественный строй, но и онъ въ свою очередь накладываетъ на нихъ свою печать. Не загадывая даже о томъ, маленькихъ ли нашихъ теперешнихъ кухонь будетъ достаточно для полученія изъ земли, воды и воздуха всего того, что получается нынѣ тяжкимъ трудомъ въ поляхъ, степяхъ, лѣсахъ, или для этого потребуются огромные бѣлковинные заводы,—производство искусственной пищи легко себѣ представить въ условіяхъ и монополіи, и конкурренціи, и солидарности; поэтому опираясь на одну химію, мудрено говорить съ увѣренностью о грядущемъ мірѣ правды и счастія. Предлагать, въ ожиданіи этого торжества химіи, забросить вопросы о „пресловутомъ общинномъ, крупномъ и мелкомъ землевладѣніи“, а, послѣдовательности ради, и всѣ вопросы политики, права, морали,—это, конечно, не мудрено, но за то же и нелѣпо.

По правдѣ говоря, я не думаю, чтобы г. Португаловъ сознательно выразилъ свою мысль. По всей вѣроятности онъ просто, что называется, брякнулъ и потому не подлежитъ строгому сужденію. Но очень ужъ это типическій и, по своей наглядности, удобный примѣръ извѣстнаго сорта предвидѣній. Собственно мечты своего сердца г. Португаловъ не показываетъ съ достаточною ясностью, но надо думать, что она столь же широка и благородна, какъ у Бертело, а не ограничивается увѣренностью, что химія вотъ и еще однимъ открытіемъ обогатится. Ради этой-то широкой и благородной мечты, назвать которую ея настоящимъ именемъ—мечтою сердца, идеаломъ—онъ считаетъ унизительнымъ и потому обращаетъ ее въ научное предвидѣніе, онъ и предлагаетъ, съ позволенія сказать, плюнуть на „пресловутое общинное, крупное и мелкое землевладѣніе“. Но эти „пресловутые“ предметы

Digitized by Google

имѣютъ не только теоретическій, академическій интересъ, за который и должны вступиться подлежащія научныя дисциплины. Они вызываютъ такіе горячіе споры потому, что отъ той или иной ихъ постановки однимъ тепло или, предположительно, съ теченіемъ времени станетъ тепло, а другимъ холодно.

Для насъ здѣсь безразлично—кому и отчего тепло, кому и отчего холодно въ данную минуту,—мы не вопросы о формахъ землевладѣнія рѣшаемъ. Но понятно, что тѣ, кому тепло, могутъ только радоваться предложенію забросить спорный вопросъ и обратиться къ химіи. А тѣ, кому холодно, едва ли согласятся терпѣть въ ожиданіи благодѣяній химіи. Терпѣть всѣмъ приходится, потерпятъ и они, но согласиться терпѣть, то есть увѣровать, что химія вотъ-вотъ самые корни ихъ невзгодъ упразднитъ,—это совсѣмъ другое дѣло. И скептицизмъ въ этомъ отношеніи законенъ не только потому, что холодъ даетъ себя знать сейчасъ, а и потому еще, что можно вѣдь и совсѣмъ замерзнуть къ тому времени, когда химія своимъ открытіемъ начнетъ согрѣвать человѣчество. Ирландцы, въ зависимости отъ установившихся на „Зеленомъ островѣ“ формъ землевладѣнія, живутъ впроголодь и питаются картофелемъ. Нужна большая доля... какъ бы выразиться поделикатнѣе?—безцеремонности, чтобы, въ великолѣпномъ презрѣніи къ вопросамъ о формахъ землевладѣнія, утѣшать этихъ ирландцевъ перспективами благодѣяній химіи. Это само-собой. А кромѣ того, неизвѣстно еще, какъ оно тамъ все будетъ, если будетъ. Фламаріонъ, который, какъ мы видѣли, дѣлаетъ легкую экскурсію и въ область химическихъ предвидѣній, говоритъ, что „для поддержанія организма“ будутъ служить „изысканные напитки, фрукты, пироги, пилюли“. Какъ распредѣлятся эти прекрасныя вещи, неизвѣстно,—химія сама по себѣ этого рѣшить не можетъ, но неизвѣстно еще и то, какъ будутъ себя чувствовать растянутые въ теченіе цѣлаго ряда поколѣній картофелемъ органы питанія, когда въ нихъ будетъ помѣщаться пара прекраснѣйшихъ и чрезвычайно питательныхъ пилюль. Вообще въ состояніи ли будетъ человѣчество вмѣстить всѣ обѣщаемыя ему съ разныхъ сторонъ прелести въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ, если оно подступитъ къ этому будущему, пройдя долгую школу нищеты и связанныхъ съ нею преступленій, невѣжества, разврата, отчаянія?

Вопросъ этотъ слишкомъ часто забывается разными Prophet'ами.

Digitized by Google

лелѣющими иногда благороднѣйшія мечты сердца, а иногда увлекающимися лишь головнымъ образомъ красотою логическаго построенія на какой-нибудь спеціальной, односторонней основѣ.

Я сказалъ, что въ числѣ вышеприведенныхъ предвидѣній есть лишь одно, дѣйствительно заслуживающее титула научнаго предвидѣнія. Я разумѣлъ не Бертело, предвидѣніе котораго можетъ быть признано строго научнымъ лишь въ тѣхъ предѣлахъ, что химіи по всей вѣроятности удастся въ ближайшемъ будущемъ достигнуть синтеза нѣкоторыхъ питательныхъ веществъ. Я разумѣлъ гораздо болѣе широкое и вполнѣ безспорное астрономическое предвидѣніе Фламаріона, конечно, лишь въ самыхъ общихъ очертаніяхъ его, а не въ подробностяхъ. Дѣло, однако, теперь для насъ не въ немъ самомъ, не въ томъ, что будетъ съ землей черезъ милліоны лѣтъ: „оставимъ астрономамъ доказывать". Между прочимъ, это невообразимо отдаленное отъ насъ время освѣщается у Фламаріона образомъ дѣвушки неописуемой красоты. „Атавизмъ, говоритъ Фламаріонъ,—который объясняется законами наслѣдственности, надѣлилъ послѣдній цвѣтокъ человѣческаго древа красотой, давно невиданной при всемірномъ упадкѣ". Дѣло въ томъ, что человѣчество все „совершенствовалось", все „росло въ прогрессѣ, наукѣ и въ счастіи", да вдругъ и перестало совершенствоваться и рости. Не совсѣмъ вдругъ, конечно. Въ извѣстный трудно опредѣлимый моментъ, условія жизни на землѣ стали истощаться. Человѣчество нѣкоторое время съ успѣхомъ боролось съ этимъ оскудѣніемъ, благодаря своей „промышленности и наукѣ", но, наконецъ, изнемогло: „перестало развиваться и вступило на путь упадка". „Послѣдніе отпрыски человѣчества, казалось, снова вернулись къ варварству", „законъ прогресса уступалъ мѣсто закону упадка, вещество снова вступало въ свои права, и человѣкъ возвращался къ звѣрскому состоянію". Такъ и оно все будетъ, мы не знаемъ, да и астрономія не знаетъ хотя и можетъ предвидѣть оскудѣніе условій жизни на землѣ. Въ настоящее время объ этомъ оскудѣніи не можетъ быть и рѣчи. Но знаменуютъ ли собою прогрессъ эти газетчики и „финансовые тузы", которые къ XXV столѣтію достигнутъ можетъ быть еще не высшей степени подлости и алчности? Правда, Фламаріонъ обѣщаетъ намъ къ тому же времени добродѣтельныхъ астрономовъ и изумительно красивыхъ женщинъ, а затѣмъ и „новую человѣческую расу, несравненно выше той, къ которой принадлежали

Digitized by Google

Аристотель, Кеплеръ, Гюго, Фрина, Діана де-Пуатье, Полина Боргезе". Но куда же дѣнется наслѣдственно испорченная кровь негодяевъ газетчиковъ и финансовыхъ тузовъ, эксплоатирующихъ великое бѣдствіе ради наживы? И къ новой ли, высшей человѣческой расѣ, блистающей красотой, умомъ, силой, здоровьемъ, мы идемъ, видя вокругъ себя все больше преждевременно плѣшивѣющихъ, беззубыхъ, близорукихъ, нейрастениковъ, алкоголиковъ и еще всякаго рода „вырождающихся"?.. И съ спеціальной точки зрѣнія наслѣдственности весьма легко построить на этихъ фактахъ очень мрачныя предвидѣнія, въ которыхъ не останется и тѣни обѣщаемыхъ другими пророками благополучій. Такія мрачныя предвидѣнія и дѣлаются...

Prophete links, Prophete rechts...

XII *).

Будущія бородатыя женщины г. Брандта.—„Выдающаяся женщина" г. Ардова и Раскольниковъ Достоевскаго.

Въ прошлый разъ я забылъ упомянуть объ одномъ предвидѣніи, которое было бы особенно интересно припомнить рядомъ съ предвидѣніями Фламаріона, г. Мечникова и г-жи Ройе. Я говорю о статьѣ г. А. Брандта „Направленія въ измѣнчивости вида", напечатанной въ сентябрьской книжкѣ „Вѣстника Европы" за прошлый годъ.

Въ противность Фламаріону, г. Брандтъ думаетъ, что конецъ человѣчества наступитъ независимо отъ геологическихъ и астрономическихъ процессовъ. Онъ полагаетъ, что какъ „индивидуумъ животный или человѣческій, слѣдуя по нормальному пути жизни, вырабатываетъ въ самомъ себѣ препятствія, кладущія естественный предѣлъ его жизни", такъ было и со многими вымершими органическими видами, такъ будетъ и съ человѣчествомъ. Причиною вымиранія человѣчества будетъ „переразвитіе мозговой системы, влекущеее за собою нарушеніе гармонической цѣлости въ устройствѣ и отправленіи организма".

За аргументаціей г. Брандта я не буду слѣдить, предоставляя желающимъ ознакомиться съ ней по самой статьѣ. Мнѣ теперь

*) 1894. іюль.

Digitized by Google

интересны только самыя формы будущаго, какъ онѣ рисуются умственному взору ученаго біолога.

Въ противность Фламаріону же, г. Брандтъ не ждетъ отъ женщинъ отдаленнаго будущаго усиленія чертъ специфически женской красоты, какъ мы теперь ее понимаемъ. По чрезвычайно интереснымъ, хотя, къ сожалѣнію, весьма мало разработаннымъ *) соображеніямъ, г. Брандтъ полагаетъ, что будущія женщины пріобрѣтутъ нѣкоторыя мужскія черты. Эти будутъ „мужежены" (virago), между прочимъ, съ бородами. Предвидя возраженія, г. Брандтъ пишетъ: „Современныя красавицы и мы всѣ, ихъ поклонники, вольны единодушно возмущаться идеаломъ красоты женщины отдаленнаго будущаго, видѣть въ немъ самое безпощадное оскорбленіе собственнаго эстетическаго чувства. Но въ нашей ли власти передача понятій и чувствъ нашимъ потомкамъ предбудущихъ поколѣній? Волею неволею приходится предоставить людямъ XIX тысячелѣтія вспоминать съ улыбкой наивный XIX вѣкъ, когда люди не умѣли еще приноравливать своихъ понятій, вкусовъ и идеаловъ къ законамъ, намѣченнымъ самою природою". По чрезвычайно тоже любопытнымъ, но еще менѣе выясненнымъ соображеніямъ, г. Брандтъ ожидаетъ въ нѣкоторомъ, весьма отдаленномъ будущемъ правового преобладанія женской половины человѣческаго рода, которому, однако, повидимому, будетъ предшествовать періодъ равновѣсія, равенства обоихъ половъ. „Тѣмъ не менѣе,—замѣчаетъ г. Брандтъ,—мы не предвѣщаемъ формально всесвѣтнаго царства амазонокъ, и это потому, что слишкомъ высокаго мнѣнія о будущемъ человѣчествѣ и думаемъ, что всякаго рода порабощеніе однихъ индивидуумовъ другими будетъ ему чуждо". Къ рѣшенію такъ называемаго женскаго вопроса, предложенному г. Мечниковымъ, и къ соотвѣтственнымъ его гаданіямъ о будущемъ, которыя мы видѣли въ прошлой разъ, г. Брандтъ относится отрицательно, ибо „такое рѣшеніе несообразно съ справедливостью". Г. Брандтъ не соблазняется перспективою ученыхъ женщинъ, отказавшихся отъ брачной жизни на подобіе галльскихъ осъ. „Въ семействахъ осъ и столь близкихъ имъ пчелъ и шмелей,—говоритъ г. Брандтъ,—осуществлено множество формъ общежитія, но ни одна изъ нихъ не зиждется на принципѣ равно-

*) Статья г. Брандта представляетъ собою „популярную бесѣду, читанную въ Харьковѣ, въ частномъ университетскомъ кружкѣ".

Digitized by Google

правности индивидуумовъ. Начать съ того, что улей—государство рабовладѣльческое, въ которомъ однѣ особи только трудятся, другія являются дармоѣдами. Далѣе, что можетъ быть несправедливѣе пчелинаго брачнаго института? Узы гименея выпадаютъ на долю лишь одной единственной женской особи и одного супруга изъ сотенъ соискателей". „Женщина,—продолжаетъ г. Брандтъ,—и теперь достаточно зачастую чрезмѣрно трудится. Суть дѣла также не въ доступѣ женщины во всѣ сферы мужского труда. Трудъ самъ по себѣ остается обязанностью, бременемъ; права же заключаются въ вознагражденіи за трудъ, въ пользованіи разными благами, властью и т. д., словомъ сказать, въ удовлетвореніи или наслажденіи. Съ этой точки зрѣнія женщины, живущія по типу безбрачныхъ самокъ галльскихъ осъ, не пріобрѣли одинаковыхъ съ мужчинами правъ". Г. Брандтъ полагаетъ, что уловить подробности окончательнаго правового уравненія обоихъ половъ, имѣющаго произойти въ будущемъ,—нельзя, такъ какъ произойдетъ оно въ общественномъ строѣ, весьма отличномъ отъ того, въ которомъ мы нынѣ живемъ.

Возвращаясь въ концѣ статьи къ вопросу о послѣднихъ дняхъ человѣчества и не желая „теряться въ дебряхъ безплодной спекуляціи", г. Брандтъ пишетъ: „Утѣшеніемъ при столь мрачныхъ мысляхъ намъ можетъ служить надежда, что умирающее естественною смертью человѣчество будетъ стоять на невѣдомой намъ интеллектуальной и моральной высотѣ и будетъ глубоко проникнуто сознаніемъ величія природы и ея законовъ; а потому послѣднимъ изъ могиканъ даже сліяніе съ нирваной не будетъ представляться страшнымъ. Намъ же, юношамъ, и подавно не пристало сокрушаться надъ старческой смертью. Для юноши всякое memento mori должно служить призывомъ жить болѣе полною жизнью труда и наслажденія: ему принадлежитъ будущность. Древніе египтяне, по свидѣтельству Геродота, были истинными житейскими мудрецами. На своихъ ниршествахъ они помѣщали среди комнаты мумію и, глядя на нее, причитывали: кушайте и пейте, ибо послѣ смерти такими же будете".

Какъ ни мало разработано предвидѣніе г. Брандта, какъ ни парадоксальны нѣкоторыя его подробности, оно во многихъ отношеніяхъ должно быть поставлено выше тѣхъ, которыя мы видѣли въ прошлый разъ. Отростутъ ли дѣйствительно у женщинъ въ отдаленномъ будущемъ бороды или нѣтъ,—это и послѣ статьи

Digitized by Google

г. Брандта дѣло темное, да вѣдь оно, пожалуй, для насъ и не важно; но вѣрно то, что волею неволею приходится признать для людей XIX тысячелѣтія и даже несравненно болѣе близкаго времени возможность имѣть идеалы красоты весьма отличные отъ тѣхъ, которые плѣняютъ насъ, людей XIX столѣтія. И если они насъ дѣйствительно плѣняютъ, то есть, если такая-то именно комбинація линій, формъ и красокъ удовлетворяетъ нашему эстетическому чувству, то, при всемъ теоретическомъ интересѣ, который могутъ представить гаданія объ эстетическихъ идеалахъ отдаленнаго будущаго, практическаго значенія они для насъ имѣть не могутъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, нѣтъ надобности и заглядывать въ будущее, а достаточно оглянуться кругомъ. Оставляя даже въ сторонѣ безконечное разнообразіе индивидуальныхъ понятій о женской красотѣ и останавливаясь только на групповыхъ,—расовыхъ, національныхъ, сословныхъ,—можно бы было привести много разительныхъ примѣровъ этого разнообразія, не выходя изъ предѣловъ современности. Приведемъ одинъ. Цитируемый Дарвиномъ Гирнъ говоритъ: „Спросите сѣвернаго индѣйца, что такое красота, и онъ отвѣтитъ: широкое плоское лицо, маленькіе глаза, высокія скулы, три или четыре широкія черныя полосы на каждой щекѣ, низкій лобъ, большой широкій подбородокъ, толстый крючковатый носъ, желтокоричневая кожа и груди, висящія до пояса“. Мы можемъ сколько угодно смѣяться надъ такой индѣйской красавицей или питать къ ней какое угодно отвращеніе, для индѣйца она останется красавицей, и онъ въ свою очередь будетъ смѣяться надъ нашими красавицами, изъ за которыхъ, какъ говоритъ старая барыня въ „Грозѣ“, у насъ „вертопрахи на поединки выходятъ, шпагами колютъ другъ друга, старики старые, благочестивые объ смерти забываютъ“. Это теперешнее острое значеніе красоты, быть можетъ, и совсѣмъ исчезнетъ въ будущемъ, совершенно независимо отъ того, выростутъ ли у женщинъ бороды или онѣ останутся безбородыми. Уродовъ, по теперешнимъ нашимъ понятіямъ о женской красотѣ, вродѣ Юліи Пастраны и т. п., г. Брандтъ считаетъ „пророческими типами“ (выраженіе, если не ошибаюсь, Катрфажа, иначе, однако, имъ примѣненное). Съ неменьшимъ, я думаю, правомъ можно считать пророчески типичнымъ мнѣніе, напримѣръ, Щедрина, по которому „женщина съ истинно добрымъ сердцемъ должна, непремѣнно должна быть красави-

Digitized by Google

цей". Этого же рода мысль высказываетъ и Прудонъ, котораго знаменитыя главы о женщинахъ въ „De la justice" etc., при всей своей несостоятельности, въ сущности, далеко не такъ грубы, какъ принято думать. И если г. Брандтъ правъ въ томъ смыслѣ, что наши идеалы красоты не обязательны для будущаго, то онъ уже слишкомъ категорически утверждаетъ, что „не въ нашей власти передача понятій и чувствъ нашимъ потомкамъ предбудущихъ поколѣній". Нѣтъ, до извѣстной степени въ нашей власти, путемъ воспитанія или внушенія въ обширномъ смыслѣ слова, разумѣя не только вліяніе отдѣльныхъ личностей, а и вліяніе общественныхъ формъ, и не заглядывая, конечно, на цѣлыя тысячелѣтія впередъ. Когда рѣчь идетъ не объ эстетическихъ, а о нравственныхъ идеалахъ, г. Брандтъ выражаетъ, если не увѣренность, то по крайней мѣрѣ твердую надежду, что наши теперешнія понятія о справедливомъ и нравственномъ останутся таковыми и въ весьма отдаленномъ будущемъ; надежду, столь твердую, что вводитъ ее, какъ необходимый элементъ, въ составъ своихъ гаданій о будущемъ. Мы видѣли, что всесвѣтнаго царства амазонокъ онъ потому не предсказываетъ, что онъ „слишкомъ высокаго мнѣнія о будущемъ человѣчествѣ и думаетъ, что всякаго рода порабощеніе однихъ индивидуумовъ другими будетъ ему чуждо". Эта же надежда руководитъ имъ и тогда, когда онъ провидитъ „невѣдомую намъ интеллектуальную и моральную высоту", какъ онъ выражается, „послѣднихъ изъ могиканъ". Какова бы ни была эта высота и какъ бы ни было густо облако неизвѣстности, скрывающее ее отъ нашихъ глазъ, но очевидно, что г. Брандтъ мѣряетъ ее на нашъ теперешній аршинъ. А между тѣмъ здѣсь вполнѣ приложимо разсужденіе, аналогичное съ тѣмъ, которое руководитъ г. Брандтомъ, когда онъ говоритъ объ эстетическихъ идеалахъ. Въ самомъ дѣлѣ, если то, что мы теперь считаемъ физическимъ уродствомъ, можетъ оказаться въ будущемъ идеаломъ красоты, то какія основанія имѣетъ г. Брандтъ думать, что въ другихъ отношеніяхъ „передача понятій и чувствъ нашимъ потомкамъ предбудущихъ поколѣній" окажется „въ нашей власти"? Порабощеніе однихъ индивидуумовъ другими не соотвѣтствуетъ нашимъ понятіямъ о справедливости, но было время, когда оно признавалось справедливымъ лучшими умами; есть и теперь народы, считающіе такой порядокъ вещей вполнѣ нормальнымъ;

Digitized by Google

мыслимо и въ цивилизованныхъ обществахъ возрожденіе старой морали на новой подкладкѣ, какъ объ этомъ свидѣтельствуютъ многія явленія какъ въ области мысли, такъ и въ области жизни. Во всякомъ случаѣ непослѣдовательность почтеннаго ученаго очевидна, и вопросъ можетъ быть только въ томъ,—какъ объяснить эту непослѣдовательность? Какъ объяснить уступчивость г. Брандта по части идеаловъ женской красоты и неуступчивость по отношенію къ нравственнымъ идеаламъ? Объясненіе, я думаю, очень просто: люди всегда сравнительно охотно уступаютъ то, что для нихъ малоцѣнно, и крѣпко держатся за то, что имъ дорого. И люди ученые не составляютъ въ этомъ отношеніи исключенія. Г. Брандтъ, хотя и засчитываетъ себя въ число „поклонниковъ современныхъ красавицъ", но очевидно не настолько дорожитъ ихъ красотою, чтобы ломать за нее копья съ потомками: пусть устраиваются какъ знаютъ, какъ будетъ требовать ихъ эстетическое чувство. Наоборотъ, свой идеалъ справедливости почтенный ученый принимаетъ настолько близко къ сердцу, что желалъ бы, въ мѣру своихъ средствъ и возможностей, содѣйствовать его торжеству, и это-то дѣйственное отношеніе внушаетъ ему надежду на вѣковѣчность идеала.

Итакъ, мы никоимъ образомъ не можемъ поручиться за то, что какіе бы то ни было наши идеалы останутся таковыми же не только для всего ряда безчисленныхъ поколѣній, которыя имѣютъ еще появиться на землѣ, но даже для ближайшихъ. Напротивъ, какъ судя по бывшимъ историческимъ примѣрамъ въ этой области, такъ и на основаніи общаго нашего эволюціоннаго пониманія міра, мы не можемъ ожидать неподвижности и въ этомъ отношеніи. Но это не мѣшаетъ намъ жить „полною жизнью труда и наслажденія", по выраженію г. Брандта, и въ эту полную жизнь, какъ необходимый ея составной элементъ, входитъ надежда и желаніе передать и отдаленному потомству то, что мы считаемъ истиной, справедливостью, красотой, повліять на будущее, поскольку хватитъ нашего зрѣнія въ сторону этого будущаго и силъ и умѣнья для такого воздѣйствія. Если здѣсь и есть противорѣчіе, то оно неизбѣжно, если не по основнымъ свойствамъ человѣческой природы, то по крайней мѣрѣ для насъ, для нашего времени. Мы очень хорошо знаемъ примѣръ Шеллеевскаго Озимандіи, но не перестаемъ ставить памятники нашимъ великимъ людямъ, то есть людямъ, внушив-

Digitized by Google

шимъ намъ наши идеалы или приблизившимъ насъ къ ихъ осуществленію. Это только одинъ изъ безчисленныхъ примѣровъ нашего дѣйственнаго вторженія въ область понятій и чувствъ грядущихъ поколѣній. И предвидѣніе г. Брандта тѣмъ именно, между прочимъ, и хорошо, что онъ открыто вводитъ этотъ дѣйственный элементъ и предлагаетъ не только мыслить о будущемъ, но и вліять на него. Въ устахъ почтеннаго ученаго указаніе на примѣръ пирующихъ древнихъ египтянъ, конечно, не значитъ—„пей, ѣшь и веселись, не смущаясь смертнымъ часомъ". Оно значитъ: живи полною жизнью, не смущайся тѣмъ, что твои идеалы смѣнятся когда-нибудь другими, живи ими, потому что они твои, и дѣлай все, что можешь, для ихъ торжества въ настоящемъ и будущемъ. Правда, г. Брандтъ не совсѣмъ послѣдователенъ и прямо отрекается отъ „передачи понятій и чувствъ нашимъ потомкамъ", когда рѣчь идетъ объ идеалахъ женской красоты. Но это только и значитъ, какъ уже сказано, что женская красота по всей вѣроятности мало интересуетъ почтеннаго ученаго, нѣтъ у него по этой части опредѣленныхъ дорогихъ ему идеаловъ. Это-то обстоятельство и дозволяетъ ему быть столь исключительно объективнымъ: „безъ жалости и гнѣва" смотритъ онъ на вѣроятныя, по его мнѣнію, измѣненія въ понятіяхъ о женской красотѣ и, конечно, пальцемъ о палецъ не ударитъ, чтобы словомъ или дѣломъ повліять на процессъ этихъ измѣненій; ибо у него нѣтъ для этого никакихъ руководящихъ мотивовъ. На нѣтъ и суда нѣтъ,—говоритъ пословица, далеко, впрочемъ, не всегда вѣрная: бываетъ судъ и на нѣтъ, и очень строгій судъ. Но въ данномъ случаѣ пословица права: понятія о женской красотѣ и теперь крайне разнообразны, и если съ теченіемъ времени бородатыя женщины замѣнятъ собою безбородыхъ, то собственно отъ этого (о другихъ сторонахъ предвидѣнія г. Брандта по женской части не говорю) еще ничто существенно не измѣнится въ людскихъ отношеніяхъ. Если бы произошло только это измѣненіе, то ничто не помѣшало бы и въ будущемъ „вертопрахамъ на поединки выходить, шпагами колоть друга друга, старикамъ старымъ, благочестивымъ объ смерти забывать" изъ-за бородатыхъ красавицъ, какъ это нынѣ дѣлается изъ за безбородыхъ. И г. Брандту, чуждому этихъ волненій и очевидно только ради условной галантности причисляющему себя къ поклонникамъ современныхъ красавицъ, легко было бы избѣжать

Digitized by Google

вышеупомянутой непослѣдовательности, если бы онъ прямо заявилъ, что это для него дѣло безразличное, а идеалъ справедливости, напротивъ того, совсѣмъ не безразличенъ.

Въ бородатости будущихъ женщинъ г. Брандта убѣждаютъ нѣкоторыя объективныя данныя, повторяю, весьма недостаточно разработанныя. Такія же объективныя данныя приводятъ его къ заключенію, что человѣчество вымретъ естественнымъ путемъ вслѣдствіе „переразвитія мозговой системы, влекущаго за собой нарушеніе гармонической цѣлости въ устройствѣ и отправленіи организма". Нельзя сказать, чтобы и этотъ тезисъ былъ доказательно обставленъ, но мы и на этомъ не будемъ останавливаться. Замѣчу только, что едва ли будетъ правъ тотъ, кто сочтетъ результатами „переразвитія мозговой системы" тѣ многочисленные случаи „вырожденія", которые намѣчены, напримѣръ, въ извѣстной книгѣ Макса Нордау, и увеличеніе числа которыхъ, по мѣрѣ развитія цивилизаціи, давно констатировано психіатрами. Я не знаю, какъ смотритъ на это дѣло г. Брандтъ,—онъ этого предмета не касается,—но если это и результаты переразвитія въ смыслѣ нарушенія „гармонической цѣлости въ устройствѣ и отправленіи организма", то, съ другой стороны, это уже несомнѣнно плоды „недоразвитія" мозговой системы до размѣровъ, требуемыхъ условіями все усложняющейся общественной жизни. Не говоря о ясно патологическихъ случаяхъ, мы это видимъ и въ той спеціализаціи мысли, о которой у насъ шла рѣчь въ прошлый разъ, и въ той разнузданности эгоистическихъ инстинктовъ, о которой намъ отчасти придется говорить ниже. Съ одной стороны люди, вполнѣ благородно настроенные, будучи выведены процессомъ цивилизаціи за предѣлы интересовъ семьи, рода, общины, сословія, наконецъ націи, расы, и заинтересованы судьбами всего человѣчества, но не будучи въ состояніи (ужъ, конечно, не въ силу „переразвитія мозговой системы") обнять эту огромность и сложность, хватаются за разныя одностороннія освѣщенія и рѣшенія. Въ то же время та же неприспособленность къ сложной общественной жизни разнуздываетъ у другихъ ихъ узенькое *я*, отнюдь не имѣющее права претендовать на титулъ человѣческаго индивидуума, и порождаетъ массу грубо эгоистическихъ явленій какъ въ области теоретической мысли, такъ и въ сферѣ практической жизни. А собственно того „переразвитія мозговой системы", которое, въ гаданіяхъ г. Брандта о будущемъ, сочетается съ „не-

Digitized by Google

вѣдомою для насъ интеллектуальною и моральною высотою", мы до сихъ поръ не видали даже въ самомъ слабомъ зачаткѣ.

Мало того, человѣчество до сихъ поръ оказывается не въ силахъ обнять однимъ взглядомъ свою „интеллектуальную" и свою „моральную" высоту. Для конца XIX вѣка навсегда останется въ высшей степени характерною всемірная слава гр. Л. Н. Толстого съ его горячею моральною проповѣдью, съ одной стороны, и презрѣніемъ къ „головной работѣ"—съ другой. Давно ли, кажется, тоже на весь міръ прогремѣла нынѣ почти забытая и во всякомъ случаѣ рѣдко поминаемая книга Бокля, въ которой столь же односторонне, только въ другую сторону, нравственный элементъ совсѣмъ на задній планъ отодвигался, а всѣ упованія возлагались на интеллектуальный элементъ, на прогресъ знанія. Нынѣ, повторяю, книга Бокля почти забыта, въ особенности у насъ, гдѣ также легко и пылко хватаются за каждую новинку, какъ съ легкимъ сердцемъ ее потомъ отбрасываютъ. Нынѣ у ученія гр. Толстого оспариваютъ почву новыя опять односторонности, о которыхъ, однако, я говорить теперь не буду. Сопоставленіе же Бокля и гр. Толстого напрашивается само собой, такъ какъ это прямыя противоположности. Бокль, какъ извѣстно, полагалъ, что нравственный элементъ не оказываетъ существеннаго вліянія на исторію человѣчества и не можетъ его оказывать уже въ силу своей неподвижности: дескать, нравственныя истины давно открыты человѣчествомъ и въ этомъ отношеніи намъ ничего новаго не предстоитъ, тогда какъ свѣтъ знанія, наука непрерывно разростается и ведетъ человѣчество впередъ. Ланге въ своей „Исторіи матеріализма" достаточно ясно доказалъ фактическую невѣрность утвержденія о неподвижности нравственнаго элемента, а также показалъ, какъ властно вторгается этотъ элементъ и въ поступательный ходъ нашихъ знаній. Но къ этому надо прибавить еще слѣдующее. Благодаря своимъ техническимъ и вообще практическимъ приложеніямъ, знаніе, наука нужна всякой общественной формѣ, какова бы она ни была по своимъ основнымъ принципамъ и второстепеннымъ признакамъ. Обуявшій нынѣ Европу милитаризмъ не вяжется съ ея экономическимъ строемъ, и такъ или иначе, долго ли коротко ли, эти два съ трудомъ уживающіяся начала должны будутъ уступить мѣсто одно другому или оба—какому-нибудь третьему. Но милитаризмъ нуждается все въ лучшихъ и лучшихъ вооруженіяхъ наступательнаго и оборонительнаго

Digitized by Google

характера, слѣдовательно, въ техникѣ, слѣдовательно, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ отрасляхъ науки, которыя, однако, всѣ тѣсно связаны между собою. Промышленность, какъ бы она ни была организована въ общественномъ смыслѣ, еще болѣе нуждается въ техническихъ приспособленіяхъ. И такимъ образомъ, съ тѣхъ поръ, какъ медицина и технологія въ обширномъ смыслѣ слова перестали быть дѣломъ случайныхъ открытій и эмпирическихъ рецептовъ, а нашли себѣ опору въ теоретическомъ знаніи, безостановочный прогрессъ науки о природѣ обезпеченъ. Бываютъ, конечно, бурныя времена, когда погибаютъ Лавуазье на томъ основаніи, что „республикѣ не нужно химиковъ", или когда обезумѣвшая толпа бьетъ и убиваетъ врачей, видя въ нихъ своихъ злодѣевъ; бываютъ и другіе, быть можетъ еще болѣе страшные историческіе періоды, когда наука систематически берется подъ сомнѣніе и преслѣдуется. Но народы жестоко платятся за это, и въ концѣ концовъ наука все-таки торжествуетъ. Поэтому то противонаучная пропаганда гр. Толстого есть дѣло вполнѣ безнадежное. Она могла бы, въ случаѣ своего успѣха лишь временно оттолкнуть именно можетъ быть лучшихъ, по нравственнымъ задаткамъ, людей отъ обще-просвѣтительныхъ задачъ науки, а техника, въ лицѣ которой наука служитъ всякой общественной формѣ, останется ни на минуту не поколебленной. Такимъ образомъ Бокль былъ правъ, говоря о непрерывно прогрессирующей наукѣ или, точнѣе, естествознаніи, которое онъ именно и имѣлъ въ виду. Но онъ былъ совершенно неправъ, приписывая нравственному элементу неподвижность. Мораль первобытныхъ народовъ, мораль варварскихъ народовъ востока, классической древности, Греціи и Рима, среднихъ вѣковъ европейской исторіи, современная мораль,—все это рѣзко и ярко различается между собой во многихъ самыхъ основныхъ своихъ положеніяхъ и въ общемъ характерѣ. Мы не найдемъ здѣсь такой почти прямолинейной и непрерывной преемственности, которая, впрочемъ, и въ исторіи науки есть явленіе сравнительно новое. Мы увидимъ здѣсь постоянныя отклоненія отъ прямого пути, постоянныя колебанія въ разныя стороны, возвращенія въ старое, давно оставленное русло и пробиваніе совершенно новыхъ. И все это въ зависимости отъ общественныхъ формъ, на которыя мораль отзывается двояко: либо положительно, подтверждая нравственной санкціей существующія отношенія, либо отрицательно, протестуя противъ нихъ. По-

Digitized by Google

нятно, какъ безконечно разнообразны могутъ быть варьяціи на эти двѣ темы при различныхъ общественныхъ условіяхъ (со включеніемъ международныхъ). Что касается наукъ общественныхъ, то судьбы ихъ представляютъ собою нѣчто среднее между судьбами науки о природѣ и морали, такъ какъ въ нихъ есть и объективный элементъ, и субъективный, зависящій отъ колебаній, которымъ подвергаются понятія людей о добрѣ и злѣ. Но мы говоримъ теперь только о морали.

Въ апрѣльской и майской книжкахъ „Русской Мысли“ напечатана повѣсть г. Е. Ардова „Выдающаяся женщина“, содержаніе коей слѣдующее:

Лѣтъ, должно быть, за двадцать до начала разсказа, гдѣ-то въ глуши Малороссіи въ деревнѣ жила красивая дѣвушка, впослѣдствіи „выдающаяся женщина“, Клавдія Павловна. Жила и тосковала. Она разсказывала: „телята, поросята, пшеница, свекловица—вотъ темы бесѣдъ вокругъ меня; становой да спившійся докторъ—вотъ наши дорогіе гости“. Въ эту глушь заѣхалъ нѣкій Василій Андреевичъ Бунчукъ, и тоскующая дѣвушка влюбилась въ него и сама, первая объяснилась въ любви: „я не трусиха,—говорила она ему,—словъ не боюсь, съ перваго дня полюбила“. Поженились они, прижили дочку, Раису, но когда этой дочкѣ минуло восемь лѣтъ, Клавдія Павловна, „тоже не задумываясь, такъ же рѣшительно и просто“ призналась мужу въ любви къ его лучшему другу, Егору Ивановичу Шахову, и благополучно уѣхала съ этимъ Шаховымъ, оставивъ восьмилѣтнюю Раю мужу. Разсказъ застаетъ эту Раю въ чрезвычайно трудномъ положеніи. Ей уже восемнадцать лѣтъ, она невѣста двадцатипятилѣтняго красиваго, энергичнаго моряка Мавраки, котораго любитъ и которымъ въ свою очередь тоже любима. Отецъ, Бунчукъ, очень доволенъ предстоящей судьбой дочери. Словомъ, все обстояло бы въ высшей степени благополучно, если бы Рая не получила отъ матери, „выдающейся женщины“ Клавдіи Павловны, письма съ извѣщеніемъ, что она, Клавдія Павловна, скоро пріѣдетъ въ тотъ самый городъ, гдѣ это благополучіе происходитъ. У Раи сохранилось о матери воспоминаніе только какъ о необыкновенно красивой, изящной женщинѣ, которая вовсе не была съ ней ласкова, тѣмъ не менѣе она радостно волнуется въ ожиданіи встрѣчи съ

Digitized by Google

матерью. Но ее заботитъ вопросъ: какъ встрѣтится мать съ отцомъ? Какъ даже сказать отцу о предстоящемъ пріѣздѣ матери? А пріѣдетъ она вмѣстѣ съ Шаховымъ и пріѣдетъ именно затѣмъ, чтобы добиться отъ мужа развода, выдти за Шахова формально и уѣхать съ нимъ куда-то на Востокъ, гдѣ онъ получилъ мѣсто консула, а на дочь такъ только кстати, мимоходомъ взглянуть. „Выдающаяся женщина“ является и какъ-то нечаянно влюбляетъ въ себя жениха своей дочери—Мавраки, да и сама въ него влюбляется. Но ее останавливаетъ отъ послѣдняго въ этомъ направленіи шага Шаховъ, съ которымъ она и уѣзжаетъ. Но дочь ея все-таки не выходитъ за Мавраки, хотя тотъ этого и желаетъ, побуждаемый, впрочемъ, повидимому, не любовью, а чувствомъ долга. Рая уѣзжаетъ съ отцомъ куда-то въ Малороссію, къ родственникамъ.

Таковъ голый остовъ повѣсти. Исторія, какъ видите, изъ тѣхъ пикантныхъ, которыя любятъ французскіе романисты. Отдѣльныхъ пикантныхъ сценъ въ повѣсти тоже не мало, и вся исторія разсказана шаблонно-красиво. Авторъ не избѣжалъ, по обыкновенію, и того заѣзженнаго пріема, по которому Бунчукъ, законный мужъ выдающейся женщины, узнаетъ объ ея отношеніяхъ къ жениху дочери изъ случайно подслушаннаго разговора подгулявшей компаніи моряковъ. И вообще повѣсть, какъ художественное произведеніе, не заслуживала бы вниманія, но въ ней есть въ высшей степени любопытныя черты.

Почему Клавдія Павловна есть „выдающаяся женщина“? Мавраки, еще не видя ея, насмѣшливо говоритъ о ней по слухамъ: „Живопись, музыка, сценическій, говорятъ, талантъ, наконецъ, прекрасный слогъ (въ письмахъ),—сколько дарованій въ одномъ лицѣ!“ Изо всѣхъ этихъ дарованій читателю Клавдія Павловна нѣсколько ближе показываетъ только свой талантъ живописца, да и то мы этого таланта собственно не видимъ, а только узнаемъ, что она рисуетъ портретъ Мавраки, „набросанный смѣло, безъ женской кропотливости, широкою, размашистою кистью“. А затѣмъ, главный даръ Клавдіи Павловны—красота, обаятельная красота, которою она, несмотря на страстность своего темперамента, умѣетъ пользоваться съ разсчетомъ. И сама она, и другія дѣйствующія лица повѣсти говорятъ о ея „смѣлости“: она смѣло сама первая объяснилась въ любви Бунчуку, потомъ смѣло объявила ему, что полюбила Шахова. Повидимому, и Шахову при-

Digitized by Google

ходилось испытывать на себѣ ея смѣлость. Она вспоминаетъ какого-то „милаго человѣка“, испанца художника, который былъ „весь изъ пламени сотканъ“ и при этомъ, глядя на дочь, задумывается вслухъ: „доведется ли тебѣ жить такою мятежною, но полною жизнью, какая выпала на долю твоей матери“? Смѣлость ея, однако, довольно условна. Ей очень хочется согрѣшить съ женихомъ своей дочери, но она труситъ Шахова: „Она боялась Шахова, боялась разрыва. Ей тридцать семь лѣтъ. Немного годовъ осталось ей царить, и не онъ, юноша на двѣнадцать лѣтъ моложе ея, упрочитъ за ней царство“. Поэтому она, какъ поджавшая хвостъ провинившаяся собачка, повинуется приказанію Шахова и уѣзжаетъ. Ихъ взаимныя отношенія съ Шаховымъ истинно удивительны. Собственно говоря, они ненавидятъ другъ друга, но она отлично сознаетъ силу своей красоты, власть своего тѣла надъ нимъ, и въ минуту надобности пускаетъ ее въ ходъ съ отвратительною смѣсью самоувѣреннаго издѣвательства и рабской уклончивости. Въ поясненіе приведу одну сцену. Дѣло доходитъ между ними буквально до драки: онъ бросается на нее со сжатыми кулаками, а она „ловко, кошачьимъ движеніемъ перегнулась и схватила сильными, бѣлыми руками его маленькія нервныя руки.

— Ну, къ чему это?—съ тѣмъ же смѣхомъ, но мягко сказала она. Точно ты не знаешь, что послѣ такой дурацкой вспышки ты будешь часами стоять на колѣняхъ и молить о прощеніи... Я хочу избавить тебя отъ лишняго униженія... Ты напоминаешь мнѣ того нѣмецкаго мальчика, котораго послали за бисквитами и который по дорогѣ всѣ ихъ, одинъ за другимъ, съѣлъ, при каждомъ бисквитѣ твердо, однако, приговаривая: „einmal noch und nicht mehr!“

Шаховъ грубо тряхнулъ ея руки, чтобы высвободить свои. Клавдія Павловна съ тѣмъ же веселымъ смѣхомъ отдернула одну руку, перегнулась черезъ столъ и быстро опустила парусинную драпировку балкона. Драпировка упала и скрыла ихъ отъ глазъ прохожихъ.

— Я твой грѣхъ, да?... Твое зло? Твое преступленіе? Твое паденіе? Ты такъ, кажется, меня называешь?—шептала она, обвивая его голову руками и осыпая поцѣлуями его лицо.—Но le vin est tiré, il faut le boir. и пить, какъ сладчайшее вино!... И смѣй сказать, что ты его не любишь, что ты не упиваешься имъ!—едва слышно заключила она.

И Шаховъ безъ возраженія отвѣчалъ на ея поцѣлуи. Глаза его не выражали уже ненависти, а загорѣлись страстью, но по мѣрѣ того, какъ онъ разгорался, Клавдія Павловна охладѣвала. Съ жестокою, почти злою усмѣшкою смотрѣла она на опущенную голову Шахова, когда онъ, скрывъ лицо въ ея теплыхъ душистыхъ рукахъ, шепталъ несвязныя любовныя слова.

Digitized by Google

— Съ какимъ же пароходомъ ты хочешь ѣхать?—спросила она.

Шаховъ поднялъ голову и встрѣтилъ ея горделивый, торжествующій, далеко не нѣжный взглядъ. Глухое бѣшенство закипѣло въ немъ, но онъ подавилъ его. Утомленіе, отвращеніе выразились на его нервномъ, малѣйшія ощущенія отражающемъ лицѣ.

— Я ѣду съ тобой, - сказалъ онъ вяло.

Жгучій поцѣлуй былъ ему наградой. Шаховъ апатично принялъ его.

Трудно рѣшить, кто больше униженъ въ этой отвратительной сценѣ. Но Шаховъ выше уже тѣмъ, что по крайней мѣрѣ сознаетъ свое униженіе, скорбитъ о томъ, что вязнетъ въ „тепломъ, душистомъ“ болотѣ, тогда какъ Клавдія Павловна принимаетъ свое униженіе съ торжествомъ и горделивымъ веселіемъ. Вышеприведенная сцена происходитъ еще до встрѣчи Клавдіи Павловны съ Мавраки. Потомъ Шаховъ, изъ жалости къ Раѣ, отказывается „отъ единственнаго, можетъ, случая вернуть себѣ свободу“, то-есть сдать „выдающуюся женщину“ съ рукъ на руки молодому Мавраки. Онъ соглашается не разрывать съ Клавдіей Павловной, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы она немедленно уѣзжала изъ города въ назначенное имъ мѣсто и ожидала тамъ „дальнѣйшихъ распоряженій“ и его пріѣзда. И она безпрекословно исполняетъ это приказаніе, но садится на пароходъ „вся сіяя улыбкой, красотой и здоровьемъ“. Она „полуласково, полунасмѣшливо улыбается“, „снисходительно усмѣхается“... Она и тутъ мнитъ себя на какомъ-то пьедесталѣ... И я не поручусь, что авторъ, г. Ардовъ, не раздѣляетъ этого ея взгляда. Въ заглавіи— „Выдающаяся женщина“—какъ будто сквозитъ нѣкоторая ироническая нота, но въ самой повѣсти она не звучитъ. Авторъ заставляетъ насъ на слово вѣрить разнообразнымъ талантамъ Клавдіи Павловны, но собственно воочію показываетъ намъ только ея красоту, которая и создаетъ ей якобы царственное, надъ всѣмъ и надъ всѣми господствующее положеніе. Авторъ, очевидно, вѣритъ въ эту побѣдительность, да еще въ „смѣлость“ Клавдіи Павловны, и самое, кажется, меньшее, что можно сказать, съ точки зрѣнія автора, о „выдающейся женщинѣ“, есть слѣдующее: вотъ и не выдающаяся, собственно говоря, женщина, а только ужъ очень красива и смѣла, и посмотрите какихъ чудесъ натворила, какихъ побѣдъ наодержала: ее и старый Бунчукъ до сихъ поръ еще любитъ, какъ догадывается Рая; передъ ея чарами, когда она „опускаетъ парусинную драпировку балкона“, не можетъ устоять Шаховъ; ради нея Мавраки забываетъ свою невѣсту,

Digitized by Google

ея дочь; а тамъ, вдали прошедшаго, еще какіе-то испанцы художники, „сотканные изъ пламени“... Но присмотрѣвшись къ этимъ чудесамъ и побѣдамъ, мы видимъ только рядъ унизительнѣйшихъ положеній. Когда то она сама навязалась Бунчуку, и тотъ вспоминаетъ объ этомъ съ горькой ироніей: „въ одну недѣлю скрутили по ногамъ и по рукамъ и повели быка на веревочкѣ“; а что онъ и до сихъ поръ ее любитъ,—эта догадка Рап не имѣетъ за себя никакихъ видимыхъ основаній. Шаховъ ей дѣйствительно подверженъ, но собственно не ей, а ея тѣлу и ея запгрываніямъ съ нимъ этимъ тѣломъ, и она въ свою очередь подвержена ему гораздо сильнѣе, какъ настоящая раба. Мавраки быстро, но за то и кратко одурѣлъ отъ ея соблазнительной красоты и манеры предъявлять эту красоту. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ былъ съ ней, какъ она сама говоритъ, „самоувѣренъ до нахальства“. Но 37-милѣтняя красавица глубоко благодарна пылкому 25-ти-лѣтнему юношѣ: „Грудь Клавдіи Павловны высоко поднялась и опустилась. Улыбка нѣги разжала сочныя, пунцовыя губы. Клавдія Павловна отвернула кружева рукава и взглянула на бѣлую, безукоризненной формы кисть руки. Едва замѣтное темное пятнышко выступало на гладкой поверхности кожи. Клавдія Павловна поднесла руку къ лицу и съ нѣжною улыбкой прикоснулась губами къ этому темному, похожему на синякъ пятнышку. „Глупый, необузданный мальчикъ! прошептала она. Такой еще глупый и такой прелестный!“

Это ужъ даже не унизительно, а просто смѣшно. Но изъ тщательности описанія „улыбки нѣги, разжавшей сочныя, пунцовыя губы“ и проч. слѣдуетъ, кажется, заключить, что авторъ не видитъ здѣсь никакого комизма, онъ любуется своей героиней. Конечно, авторъ понимаетъ, что отбивать у своей дочери жениха, притомъ изъ мимолетнаго, чисто чувственнаго каприза, какъ будто не ладно. Но вѣдь это понимаетъ и Зоя Никитишна Коростелева.

Зоя Никитишна Коростелева—некрасивая старая дѣва, у которой поселилась Клавдія Павловна. Зоя Никитишна называетъ себя „человѣкомъ безъ предразсудковъ“. „Она читала Бентама, Гартмана, почитывала Шопенгауера, оставляя за собой право имѣть свое особое мнѣніе. Ходячую мораль находила вздоромъ, а свободный образъ мыслей—высшимъ признакомъ прогресса; но, признавая себя не безъ гордости женщиной безъ предразсудковъ,

Digitized by Google

она, однако, приходила въ смущеніе передъ вопросомъ: „что нравственно и что безнравственно“, и никогда этотъ вопросъ такъ сильно не смущалъ ее, какъ съ того дня, какъ въ домъ ея въѣхала Клавдія Павловна“. Зоя Никитишна въ восторгѣ отъ Клавдіи Павловны и называетъ ее не иначе, какъ Клеопатрой. Она прощаетъ и разрѣшаетъ ей все, ради ея красоты. То, что для уродливой женщины, вродѣ самой Зои Никитишны, было бы чудовищно, то, по ея мнѣнію, совершенно въ порядкѣ вещей для Клеопатры. Она „любитъ красоту во всемъ, во всѣхъ ея проявленіяхъ, даже когда эти проявленія ведутъ ко злу“; „нельзя мѣрять и обаятельную женщину, и непривлекательную однимъ аршиномъ“. „Не одну красоту подразумѣвала я,—поправляется она въ разговорѣ съ Шаховымъ,—а вообще... людей выдающихся... Должны-ли они быть подведены подъ ту же мѣрку, какъ и обыкновенные люди? Вѣдь они, въ силу своихъ дарованій, являются піонерами, не топчутся по торной дорожкѣ“. За это Клавдія Павловна выдаетъ Зоѣ Никитишнѣ аттестатъ въ видѣ прощальнаго письма: „Вы, какъ и я, отрицаете узкія правила, принципы мелкихъ людишекъ. Вы понимаете, что тотъ, у кого въ жилахъ течетъ не сыворотка, а живая, горячая кровь, не можетъ заключить свою страстную, воспріимчивую натуру въ тѣсныя рамки разсудочнаго анализа. Что если онъ грѣшитъ противъ установленныхъ правилъ такъ называемой общественной нравственности, если другіе страдаютъ отъ его уклоненій отъ проторенной дорожки, то винить и громить его за то, что онъ слышитъ могучій голосъ природы и внемлетъ ему, несмотря на клики и проклятія зоиловъ, по меньшей мѣрѣ странно“. Прочитавъ это письмо, Зоя Никитишна опять задумалась надъ вопросомъ: „что нравственно и что безнравственно?“ И этимъ вопросомъ многозначительно кончается повѣсть...

Бѣдная Зоя Никитишна! Она и послѣ смѣшного письма Клавдіи Павловны продолжаетъ считать ее „выдающейся женщиной“, судьба и поступки которой должны наводить скептическія мысли о нравственности. Былъ такой попугай, который выучился говорить слова: „ѣхать, такъ ѣхать!“ И вотъ, когда однажды кошка схватила его за крыло и потащила на съѣденіе, онъ тоже закричалъ: „ѣхать, такъ ѣхать!“ Клавдію Павловну „могучій голосъ природы“ влечетъ собственно къ Мавраки, но по приказанію Шахова она ѣдетъ совсѣмъ въ другую сторону. Однако, она такъ привыкла считать себя побѣдительницей, что,

Digitized by Google

удаляясь, все-таки твердитъ: „мою страстную, воспріимчивую натуру нельзя заключить въ тѣсныя рамки разсудочнаго анализа, я слышу могучій голосъ природы и внемлю ему!“ А ужъ какой тутъ внемлетъ, когда ее кошка за крыло тащитъ! Но ослѣпленная Зоя Никитишна (а можетъ быть и авторъ) не видитъ всего глубокаго комизма этой не только неоправданной, но и тутъ же, на мѣстѣ, фактически посрамленной гордыни.

Со стороны ясно видно, что ничего выдающагося въ Клавдіи Павловнѣ нѣтъ, что влюбиться тридцатисемилѣтней женщинѣ въ двадцатипятилѣтняго жениха своей дочери есть несчастіе, а, влюбившись, все-таки уѣхать отъ своего „предмета“ на житье съ ненавистнымъ человѣкомъ—опять таки несчастіе. Но сама Клавдія Павловна принимаетъ эти положенія съ „нѣжной улыбкой“ и „снисходительной улыбкой“. Она видитъ только побѣдную сторону своихъ несчастій: Шаховъ не можетъ устоять передъ ея заигрываніями, юноша Мавраки забываетъ все, чтобы добиться отъ нея того, что называется женскою благосклонностью. Это черта именно заурядныхъ женщинъ, значительная доля несчастій которыхъ зависитъ именно отъ того, что онѣ смѣшиваютъ свое униженіе съ побѣдой, сами, такъ сказать, лѣзутъ на униженіе и съ чрезвычайно побѣдоноснымъ видомъ валятся въ пропасть. До пропасти, то есть собственно до сознанія, что она летитъ въ пропасть, Клавдіи Павловнѣ еще далеко. Это скажется года черезъ четыре, черезъ пять, когда поблекнетъ ея единственное дарованіе—красота (другихъ намъ авторъ не показалъ) и единственный ея интересъ въ жизни—„побѣды“ и когда она останется въ положеніи рака на мели. Это была бы вполнѣ обыкновенная и, только въ своей обыкновенности, поучительная исторія, если бы авторъ не ввелъ въ нее нѣкоторыхъ исключительностей. Это, во-первыхъ, пикантная подробность соперничества матери съ дочерью, это, во-вторыхъ, репутація „выдающейся женщины“. Первое само по себѣ не интересно, но второе вызываетъ на размышленіе.

Что Клавдія Павловна есть выдающаяся женщина, объ этомъ идетъ глухая молва, осязаемыми представителями которой для читателя являются только сама Клавдія Павловна, да Зоя Никитишна. Но Зоя Никитишна настолько незначительный человѣкъ по своей роли и въ повѣсти и въ жизни, что изъ-за ея раздумья—„что нравственно и что безнравственно?“—не стоило бы

Digitized by Google

огородъ городить. Мало ли что разныя Зои Никитишны думаютъ! И если авторъ кончаетъ повѣсть этимъ вопросомъ, какъ бы подводя при помощи его итогъ, то, надо полагать, онъ и его самого до извѣстной степени занимаетъ. Или, если не самый вопросъ, то по крайней мѣрѣ фактъ существованія людей, надъ нимъ задумывающихся. Надо, однако, сказать, что вопросъ поставленъ невѣрно, несоотвѣтственно съ содержаніемъ повѣсти. Это видно изъ отвѣта, которымъ Зоя Никитишна разрѣшаетъ свои сомнѣнія въ разговорѣ съ Шаховымъ: есть люди „выдающіеся", особенные, „піонеры", которымъ нѣтъ запрета ни на что. Сдѣлай другой, обыкновенный человѣкъ все то, что продѣлываетъ Клавдія Павловна,—Зоя Никитишна не затруднилась бы сказать, что это безнравственно, „чудовищно". У нея есть какое-то мѣрило для нравственности обыкновенныхъ людей, но она отказывается приложить его къ выдающимся людямъ вродѣ Клавдіи Павловны. Выходитъ такимъ образомъ двѣ морали: одна для всѣхъ грѣшныхъ и другая—для людей высшаго сорта, которые собственно никакой морали не слѣдуютъ, не должны и даже не могутъ слѣдовать, они не подсудны нравственному суду. Та мораль, которой Зоя Никитишна держится относительно обыкновенныхъ людей, для насъ не интересна. Не въ томъ дѣло, что Клавдія Павловна полюбила Бунчука, потомъ Шахова и проч.; можетъ быть Зоя Никитишна вообще-то и очень строга на этотъ счетъ,—такъ что за другого человѣка намъ пришлось бы можетъ быть и заступаться,—а въ томъ, что все, что дѣлаетъ Клавдія Павловна, она дѣлаетъ въ силу особыхъ правъ и преимуществъ выдающейся личности.

Мы видѣли, что Зоя Никитишна находится въ затрудненіи относительно Клавдіи Павловны, которая есть самая заурядная бабенка и была бы достойна глубокаго сожалѣнія, если бы не ея побѣдоносный видъ, доходящій до комизма. Но это для насъ теперь дѣло второстепенное. На мѣстѣ Клавдіи Павловны могла бы быть какая-нибудь Дарья Карповна, дѣйствительно выдающаяся, или же въ центрѣ повѣсти могъ бы стоять представитель не прекрасной половины человѣческаго рода, какой-нибудь Карпъ Сидорычъ съ исключительными силами и дарованіями. Личность Клавдіи Павловны неудачно выбрана или неудачно отдѣлана для иллюстраціи ученія о двоякой морали, но это не касается самаго ученія. Допустимъ же на минуту, что эта бѣдная Зоя Никитишна права и

Digitized by Google

что Клавдія Павловна есть дѣйствительно выдающаяся женщина, какъ она и сама о себѣ полагаетъ. Будемъ вѣжливы съ этой очаровательной дамой, но прежде всего будемъ справедливы какъ къ ней, такъ и къ Зоѣ Никитишнѣ. Онѣ не лицемѣрки; исповѣдуя ученіе о *двоякой* морали, онѣ отнюдь не думаютъ практиковать *двойную* мораль. Онѣ не станутъ во всеуслышаніе словословить ходячую общепринятую мораль, а въ тайнѣ приносить жертвы инымъ, запрещеннымъ этою ходячею моралью богамъ. Онѣ не разсыпаются въ „благонамѣренныхъ рѣчахъ", а дѣйствительно вѣрятъ въ то, что говорятъ, и соотвѣтственно поступаютъ. Это цѣнно и въ Клавдіи Павловнѣ, которая открыто, безъ маски идетъ на встрѣчу всякимъ пересудамъ; это цѣнно и въ Зоѣ Никитишнѣ, которая исповѣдуетъ ученіе о двоякой морали совершенно безкорыстно: она знаетъ, несмотря на свое свободомысліе, что она не выдающаяся женщина и что на нее не распространяются права и преимущества этой привилегированной породы людей. Положимъ, злые языки могутъ сказать, что отсутствіе лицемѣрія въ Клавдіи Павловнѣ объясняется наглостью, съ которою она всегда можетъ явиться въ костюмѣ Фрины передъ судьями, въ разсчетѣ, что тѣ только ахнутъ; а Зоя Никитишна уже своею некрасивою внѣшностью и почтеннымъ возрастомъ гарантирована отъ грѣха, а слѣдовательно и лицемѣрія. Возраженіе это имѣетъ, однако, силу только потому, что г. Ардовъ счелъ удобнымъ предъявить читателямъ лишь одну силу Клавдіи Павловны—красоту и на ней построить все свое художественное зданіе.

Въ русской литературѣ есть художественное произведеніе необыкновенной силы, значительная часть котораго посвящена ученію о двоякой морали. Это „Преступленіе и наказаніе" Достоевскаго. Вспоминаю этотъ романъ не для того, конечно, чтобы его огромными художественными размѣрами заслонить повѣсть г. Ардова или бросить на нее какую-нибудь тѣнь. Такая игра не стоила бы свѣчъ. И не потому, чтобы такъ ярко выраженная въ романѣ излюбленная мысль Достоевскаго объ искупляющемъ значеніи страданія соблазняла меня сама по себѣ или какъ противовѣсъ ученію о двоякой морали. Но „Преступленіе и наказаніе" принадлежитъ къ числу тѣхъ перловъ русской литературы (черная жемчужина, сказалъ бы я, если бы понадобилось ближайшее

Digitized by Google

сравненіе въ области драгоцѣнностей), надъ которыми, совершенно независимо отъ образа мыслей автора, всякому читателю приходится самому много думать. Поневолѣ вспоминаешь Раскольникова при чтеніи повѣсти г. Ардова, когда возьмешь Клавдію Павловну не со стороны ея комическаго великолѣпія, а со стороны „дерзанія",—хотя то черная жемчужина, а эта... ну, Богъ съ ней!

Слѣдователь Порфирій, играя съ Раскольниковымъ, какъ кошка съ мышью, формулируетъ его ученіе такъ: „существуютъ будто бы, нѣкоторыя такія лица, которыя могутъ... то есть, не то что могутъ, а полное право имѣютъ совершать всякія безчинства и преступленія, и что для нихъ, будто бы, и законъ не писанъ". Раскольниковъ замѣчаетъ на это, что Порфирій, пожалуй, и вѣрно изложилъ его мысль, но слишкомъ ужъ грубо и узко. Онъ, Раскольниковъ, думаетъ, что дѣйствительно люди раздѣляются, не говоря объ оттѣнкахъ, на два большихъ разряда: обыкновенныхъ и не обыкновенныхъ (онъ признается, что выраженія эти можетъ быть и неудачны). Обыкновенные—говоритъ Раскольниковъ—„люди по натурѣ своей консервативные, чинные, живутъ въ послушаніи и любятъ быть послушными, потому что это ихъ назначеніе и тутъ рѣшительно нѣтъ ничего унизительнаго. Второй разрядъ, всѣ преступаютъ законъ: разрушители или склонны къ тому, судя по способностямъ. Преступленія этихъ людей, разумѣется, относительны и многоразличны; большею частью они требуютъ, въ весьма разнообразныхъ заявленіяхъ, разрушенія настоящаго во имя лучшаго. Но если ему надо, для своей идеи, перешагнуть хотя бы и черезъ трупъ, черезъ кровь, то онъ внутри себя, по совѣсти, можетъ, по моему, дать себѣ разрѣшеніе перешагнуть черезъ кровь, смотря, впрочемъ, по идеѣ и по размѣрамъ ея,—это замѣтьте". Раскольниковъ иллюстрируетъ эту свою мысль примѣрами Кеплера или Ньютона, которые, если бы это потребовалось какими-нибудь обстоятельствами, могли бы „устранить десять, сто человѣкъ, чтобы сдѣлать свои открытія извѣстными всему человѣчеству. Изъ этого, впрочемъ, вовсе не слѣдуетъ,—прибавляетъ онъ,—чтобы Ньютонъ имѣлъ право убивать кого вздумается, встрѣчныхъ и поперечныхъ, или воровать каждый день на базарѣ". Но дѣло въ томъ, что всякій, вносящій въ міръ „новое слово", непремѣнно нарушаетъ древній, чтимый обществомъ законъ, перешедшій отъ отцовъ, и въ этомъ смыслѣ есть преступникъ.

Присутствующій при разговорѣ Разумихинъ пораженъ ужасомъ,

Digitized by Google

слыша, что Раскольниковъ, его другъ, его любимецъ, „кровь *по совѣсти* (Разумихинъ подчеркиваетъ) разрѣшаетъ“. Онъ находитъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что только именно эта черта и оригинальна во всей теоріи, только она „дѣйствительно принадлежитъ одному“ Раскольникову, а остальное—съ чѣмъ, надо замѣтить, и самъ Раскольниковъ согласенъ,—„тысячу разъ было напечатано и прочитано“. Очевидно, и то, и другое не совсѣмъ вѣрно. Странно какъ-то даже слышать, что Раскольниковъ оригиналенъ по первому пункту,—до такой степени исторія человѣчества обильна примѣрами разрѣшенія крови по совѣсти. Что же касается раздѣленія людей на необыкновенныхъ и обыкновенныхъ, то въ томъ видѣ, какъ его излагаетъ Раскольниковъ, едва ли объ немъ можно сказать: „тысячу разъ было напечатано и прочитано“, да на томъ и покончить. Не Раскольниковъ, разумѣется, впервые высказалъ мысль, что люди, вносящіе „новое слово“, тѣмъ самымъ преступаютъ нѣчто установившееся и причиняютъ всѣмъ приладившимся, сжившимся съ извѣстнымъ ли строемъ мысли, или съ извѣстнымъ порядкомъ вещей, массу страданій, рискуя, конечно, вмѣстѣ съ тѣмъ и собственнымъ благополучіемъ. Нѣтъ надобности при этомъ, чтобы причиняемыя „новымъ словомъ“ страданія были непремѣнно кроваваго характера: они могутъ быть совершенно безкровны, потому что даже надломъ установившихся вѣрованій и идеаловъ уже доставляетъ страданія, а тѣмъ болѣе если надломъ этотъ не ограничивается сферою мысли, а отзывается и на реальныхъ житейскихъ отношеніяхъ. Всякій носитель новаго слова думаетъ, конечно, что страданія эти съ избыткомъ окупятся грядущимъ счастіемъ, но это уже другой вопросъ. Фактъ тотъ, что, какъ женщина въ болѣзняхъ родитъ чада, независимо отъ того, украсятъ ли они впослѣдствіи ея жизнь радостью или омрачатъ печалью, такъ и новое слово, каково бы ни было его достоинство, является въ міръ среди страданій. Это истина несомнѣнная, но даже и тысячу разъ повторенная, она окажется не лишнею и въ тысячу первый и въ двухтысячный разъ. На ядовитые разспросы Порфирія Раскольниковъ поясняетъ, что необыкновенные люди, имѣющіе за душой дѣйствительно новое слово, составляютъ величайшую рѣдкость, но такъ какъ выскочить изъ разряда обыкновенныхъ людей въ необыкновенные — лестно, то „глупенькіе и тщеславные особенно на эту удочку попадаются“. Отсюда глубоко трагическая или глубоко комическая роль тѣхъ, кто ошибся въ своихъ силахъ.

Digitized by Google

Формы и содержаніе этихъ трагедій и комедій безконечно разнообразны, начиная съ положенія того пророка, который сталъ провозглашать „любви и правды чистыя ученья“, а современники, соотечественники, „всѣ ближніе“ въ него „бросали бѣшено каменья“, и кончая „глупенькимъ и тщеславнымъ“ съ аммуниціей на грошъ и амбиціей на рубль. Мы остановимся только на трагедіи „Преступленія и наказанія“ и комедіи „Выдающейся женщины“. Несмотря на неизмѣримое разстояніе между этими двумя произведеніями въ смыслѣ серьезности замысла и художественности обработки, въ нихъ есть нѣчто общее. И Раскольниковъ, и Клавдія Павловна дерзаютъ возстать противъ общепринятой въ ихъ средѣ морали и такимъ образомъ оба являются носителями новаго слова; новаго не потому, чтобы оно было вообще неслыханно, а потому, что оно въ данной средѣ или совсѣмъ не раздавалось, или доносилось туда въ видѣ отдаленнаго эхо. Далѣе, и Раскольниковъ, и Клавдія Павловна не просто выступаютъ съ своими новыми словами практически, а являются теоретиками особыхъ правъ и преимуществъ носителей новыхъ словъ, людей „необыкновенныхъ“, „выдающихся“. Самое ихъ новое слово въ значительной степени состоитъ именно въ этой теоріи. Это черта весьма важная, усиливающая сходство между Раскольниковымъ и Клавдіей Павловной и вмѣстѣ съ тѣмъ отграничивающая ихъ отъ другихъ носителей новыхъ словъ. Одно дѣло явиться съ новымъ словомъ—каково бы оно ни было по своимъ достоинствамъ или недостаткамъ и къ какой бы сферѣ мысли или жизни оно ни относилось—съ сознаніемъ лишь его истинности, полезности, справедливости. И совсѣмъ другое дѣло, когда это положеніе осложняется теоріей исключительныхъ личностей и двоякой морали и увѣренностью, что я, такой-то, имярекъ, и есть исключительная личность, съ особыми, присвоенными этой породѣ правами и преимуществами. Первое возможно не только безъ второго, но и въ прямое ему противорѣчіе, ибо въ исторіи человѣчества не мало примѣровъ людей, новое слово которыхъ въ томъ только именно и состояло, что извѣстная мораль обязательна для всѣхъ людей безъ исключенія. Раскольниковъ и Клавдія Павловна полагаютъ себя носителями новаго слова и людьми исключительными. Личныя ихъ свойства—небо и земля. Несмотря на свою угрюмость и гордость, Раскольниковъ великодушенъ и добръ, а Клавдія Павловна, несмотря на свою обаятельность, безсердечна; Раскольниковъ—че-

Digitized by Google

ловѣкъ вдумчивый, каждый свой шагъ анализирующій и даже на свое безумное и злодѣйское дѣло рѣшающійся вслѣдствіе чисто разсудочныхъ соображеній, а Клавдіи Павловнѣ кажутся „тѣсными“ „рамки разсудочнаго анализа“, она желаетъ слѣдовать только „могучему голосу природы“. И, однако, эти столь разные люди на извѣстномъ пунктѣ сходятся.

Вы помните вопль души Мармеладова: „Вѣдь надобно же, чтобы всякому человѣку хоть куда-нибудь можно-бы было пойти; ибо бываетъ такое время, когда непремѣнно надо хоть куда-нибудь да пойти!“ Спрашивается, куда можетъ „пойти“ Раскольниковъ, какимъ его застаетъ разсказъ Достоевскаго? Онъ любитъ мать и сестру и въ свою очередь любимъ ими, но общаго между ними мало. А что касается семейныхъ узъ вообще, то окружающая его жизнь предъявляетъ ему мало въ этомъ отношеніи привлекательнаго, достойнаго почтенія. Онъ знаетъ полную ужасовъ и безобразій семейную жизнь Свидригайлова, семью Мармеладовыхъ, для поддержанія которой нужна позорная жертва Сони; онъ знаетъ и настоящую цѣну того брака, въ который готова вступить его сестра, гордая Авдотья Романовна. Далѣе, у него нѣтъ товарищей, потому что единственный, повидимому, его пріятель, Разумихинъ, смотритъ на него слишкомъ снизу вверхъ, да и по неволѣ долженъ такъ смотрѣть. У него нѣтъ дѣла, которое связывало бы его съ какимъ-нибудь кругомъ людей на почвѣ общественныхъ интересовъ. Кто во всемъ этомъ виноватъ,—люди-ли, обстоятельства, общій порядокъ или самъ Раскольниковъ,—это вопросъ особый, но во всякомъ случаѣ онъ стоитъ въ жизни сиротливыхъ и горделивыхъ торчковъ и съ высоты своего сиротства презрительно критикуетъ все, что связываетъ людей въ какія бы то ни было группы, всѣ ихъ взаимныя, писанныя или не писанныя обязательства. Изощренная одиночествомъ критическая способность подсказываетъ мрачные аргументы въ изобиліи, и въ высшей степени характерно то обстоятельство, что когда для Раскольникова наступило „такое время, когда непремѣнно надо хоть куда-нибудь да пойти“,—онъ пошелъ къ Сонѣ, отверженной, отлученной отъ всѣхъ общепризнанныхъ общественныхъ связей. Все вздоръ, ничто его не удовлетворяетъ въ существующемъ строѣ, не питаетъ онъ вѣры и въ розовыя перспективы будущаго и надъ соціализмомъ смѣется. „За что давеча дуракъ Разумихинъ соціалистовъ бранилъ?—говоритъ онъ.—Тру-

Digitized by Google

долюбивый народъ и торговый; „общимъ счастіемъ“ занимаются... Нѣтъ, мнѣ жизнь однажды дается и никогда ея больше не будетъ: я не хочу дожидаться „всеобщаго счастья“. Я и самъ хочу жить, а то лучше ужъ и не жить“. Но что же значитъ *жить* для Раскольникова? Пить, ѣсть и веселиться,—эта программа не по немъ, а все остальное такъ или иначе состоитъ въ опредѣленныхъ общественныхъ отношеніяхъ. Какъ же устроить общеніе съ людьми, на чемъ его построить, если ни одна изъ существующихъ его формъ и изъ тѣхъ, которыя обѣщаютъ люди, вѣрящіе во „всеобщее счастіе“, не удовлетворяютъ, разбиты критическою мыслью, созрѣвшею въ горделивомъ одиночествѣ? Тутъ-то и является на предательскую помощь теорія двоякой морали и особыхъ правъ необыкновенныхъ людей. Она является на помощь, потому что все-таки указываетъ выходъ, наполняетъ пустоту слова и понятія „жить“. Но это помощь предательская, потому что, поманивъ Раскольникова лучомъ надежды, она становится затѣмъ источникомъ его гибели. Десятки разъ мучительно и мучительски роясь въ своей душѣ, Раскольниковъ наталкивается на разные мотивы, подвинувшіе его на убійство старухи-закладчицы. То уличаетъ себя, что убилъ старуху просто для того, чтобы ограбить и на награбленныя деньги устроить свою личную карьеру. То, съ негодованіемъ отвергая эту мысль, онъ думаетъ о благодѣяніяхъ, которыми онъ осыпалъ бы человѣчество, пріобрѣтя такимъ образомъ деньги, а потомъ и власть. То съуживаетъ предѣлы этихъ благодѣяній до своихъ близкихъ, кровныхъ: матери и сестры. То, наконецъ, онъ объясняетъ себѣ (и другимъ), что хотѣлъ „попробовать“ себя, попробовать—принадлежитъ ли онъ къ числу „необыкновенныхъ людей“, дерзающихъ переступить „законъ“. Послѣдній мотивъ надо, кажется, признать, если не исключительнымъ, то главнымъ факторомъ въ томъ мрачномъ душевномъ процессѣ, который разразился убійствомъ старухи-закладчицы и ея сестры. Дѣло въ томъ, что, презирая всѣ существующія и утопическія формы общества, Раскольниковъ презираетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и людей, самую природу человѣческую, видя въ ней нѣчто неисправимо рабское. Онъ разсказываетъ Сонѣ Мармеладовой: „Я тогда все себя спрашивалъ—зачѣмъ я такъ глупъ, что если другіе глупы, и коли я знаю ужъ навѣрно, что они глупы, то самъ не хочу быть умнѣе? Потомъ я узналъ, что если ждать, пока всѣ станутъ умными, то слишкомъ ужъ долго будетъ. По-

Digitized by Google

томъ я еще узналъ, что никогда этого и не будетъ, что не перемѣнятся люди и не передѣлать ихъ никому, и труда не стоитъ тратить! Да, это такъ! Это ихъ законъ... И я теперь знаю, что кто крѣпокъ и силенъ умомъ и духомъ, тотъ надъ ними и властелинъ! Кто много посмѣетъ, тотъ у нихъ и правъ. Кто на большее можетъ плюнуть, тотъ у нихъ и законодатель, а кто больше всѣхъ можетъ посмѣть, тотъ и всѣхъ правѣе! Такъ доселѣ велось и такъ всегда будетъ"! Но не все же рабы; если есть рабы, такъ стало быть есть и повелители. И на этой-то сторонѣ исторіи человѣчества напряженно сосредоточилось все вниманіе Раскольникова. Передъ его умственнымъ взоромъ постоянно витали образы Наполеона, Магомета и другихъ „необыкновенныхъ" людей, то есть, значитъ, почти что уже не людей, которые, ничѣмъ не смущаясь, дерзали и добились покорности современниковъ и славы въ потомствѣ. Не таковъ ли и онъ, Раскольниковъ? Надо попробовать. И онъ попробовалъ, и тутъ же убѣдился, что не по себѣ дерево рубить вздумалъ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ уже самый тотъ фактъ, что онъ рѣшилъ попробовать; тѣ, Наполеоны и Магометы, не пробовали, а прямо принимались за дѣло власти. Затѣмъ, его посѣщаютъ мучительные гости—страшные сны, угрызенія совѣсти: тѣ не угрызались. Все это онъ самъ отлично сознаетъ. Но онъ не замѣчаетъ того, что жажда власти, покорности современниковъ, славы въ потомствѣ—не вяжется съ настоящимъ, полнымъ презрѣніемъ къ людямъ и ко всѣмъ формамъ общенія съ ними: она предполагаетъ извѣстную форму общенія, ту именно, которая основывается исключительно на власти и повиновеніи.

Перейдемъ теперь изъ мрачной гробообразной конуры Раскольникова—„низкіе потолки и тѣсныя комнаты душу и умъ тѣснятъ",—замѣчаетъ онъ,—въ благоуханный дамскій будуаръ: обратимся къ нашей очаровательной Клавдіи Павловнѣ. Велико разстояніе, отдѣляющее эту блестящую красавицу, пьющую жизнь изъ полной чаши наслажденія, отъ мрачнаго убійцы старой закладчицы. Но и она, подобно ему, исповѣдуетъ теорію двоякой морали и особыхъ правъ необыкновенныхъ, „выдающихся" людей; и она причисляетъ себя къ этимъ необыкновеннымъ; и она, наконецъ, приходитъ къ своимъ выводамъ подъ давленіемъ частію тѣхъ же условій, которыя давятъ на Раскольникова.

У Клавдіи Павловны нѣтъ семьи. У нея есть законный мужъ,

Digitized by Google

котораго она оставила, есть незаконный мужъ, съ которымъ она охотно разсталась бы, есть дочь, которую она видѣла десять лѣтъ тому назадъ, и съ которой она даже не прощается передъ отъѣздомъ на дальній востокъ, быть можетъ навсегда. Если даже прибавить сюда „сотканнаго изъ пламени“ испанскаго художника и Мавраки, то семьи все таки не выйдетъ. У нея нѣтъ отечества, въ которомъ она является проѣздомъ съ запада на востокъ. У нея нѣтъ дѣла, которое связывало бы ее съ интересами какой-бы то ни было группы людей, и даже абстрактное понятіе человѣчества, которое все-таки играетъ извѣстную роль въ теоретическихъ выкладкахъ Раскольникова, для нея не существуетъ. Она даже больше сирота, чѣмъ Раскольниковъ. Правда, сейчасъ она не чувствуетъ скорбной стороны этого сиротства, но она почувствуетъ ее черезъ четыре, пять лѣтъ, когда жизнь ея осѣнится темнымъ крыломъ трагедіи. Пока она, повидимому, извлекаетъ только радости изъ своей Vogelfreiheit; но, во-первыхъ, только повидимому, а во-вторыхъ, въ этомъ и заключается комедія. Какъ и относительно Раскольникова, не будемъ доискиваться, кто тутъ виноватъ, и возьмемъ фактъ, какъ онъ есть. Какъ и Раскольниковъ, она „отрицаетъ узкія правила, принципы мелкихъ людишекъ“ и съ сознаніемъ своей правоты и своего права „грѣшитъ противъ правилъ такъ называемой общественной нравственности“. Не то, чтобы она эти правила осуждала вообще: нѣтъ, есть мелкіе людишки, которымъ они какъ разъ по плечу, потому что у нихъ „въ жилахъ течетъ сыворотка“, ну и пусть ихъ, но пусть и страдаютъ безропотно, когда „выдающаяся женщина“ „слышитъ могучій голосъ природы и внемлетъ ему“. Мы видѣли, что безъ чьихъ-нибудь страданій ни одно новое слово не является въ міръ, ни одна новая дорога не прокладывается въ полѣ жизни. Но мы видѣли также, что Клавдія Павловна отнюдь не изъ тѣхъ, которые прокладываютъ новые пути, и только ея доходящая до комизма самовлюбленность позволяетъ ей утверждать, что она „внемлетъ могучему голосу природы“ и „уклоняется отъ протоpенной дорожки“, когда она уѣзжаетъ съ Шаховымъ: она просто продается ненавистному ей человѣку, а это, конечно, не новый путь. Изо всѣхъ отвергнутыхъ ею формъ общенія она на дѣлѣ выбираетъ худшую.

Digitized by Google

Иной читатель недоумѣваетъ, можетъ быть, зачѣмъ мы его занимали бесѣдой о такомъ крупномъ, но старомъ произведеніи, какъ „Преступленіе и Наказаніе“, и о такой мелкой новинкѣ, какъ Выдающаяся женщина“. Прежде всего это, кажется, само по себѣ интересно. Интересно даже и то, что произведеніе Достоевскаго старо, а повѣсть г. Ардова нова. Извѣстно, что Достоевскій отнюдь не былъ служителемъ такъ называемаго чистаго искусства и любилъ отзываться на злобу дня учительнымъ словомъ въ художественной формѣ, а иногда и не замаскированной никакимъ художествомъ. Онъ сплошь и рядомъ бралъ свои темы прямо изъ событій текущей жизни, тенденціозно освѣщая ихъ съ извѣстной точки зрѣнія. Помнится, около времени появленія „Преступленія и наказанія“, былъ такой случай, что какой-то образованный молодой человѣкъ убилъ и ограбилъ старуху закладчицу, а слѣдователь Порфирій Петровичъ, характеризуя преступленіе Раскольникова, прямо говоритъ: „Тутъ дѣло фантастическое, мрачное, дѣло современное, нашего времени случай-съ, когда помутилось сердце человѣческое“. Соотвѣтственно этому, г. Скабичевскій въ своей „Исторіи новѣйшей русской литературы“ говоритъ: „По глубокому психіатрическому и психологическому анализу „Преступленіе и наказаніе“ достойно было бы стоять въ числѣ первыхъ и лучшихъ памятниковъ европейскаго искусства XIX вѣка. Но, къ прискорбію, на всѣхъ благомыслящихъ людей оно произвело странное впечатлѣніе тѣмъ, что Достоевскій преступленіе своего героя Раскольникова обусловливаетъ вдругъ вліяніемъ новыхъ идей, якобы оправдывающихъ всевозможныя преступленія ради цѣлей, съ которыми они совершаются; не менѣе поражаетъ въ романѣ развязка его въ видѣ нравственнаго возрожденія Раскольникова подъ вліяніемъ каторги“. До возрожденія Раскольникова намъ здѣсь дѣла нѣтъ. Что же касается остальнаго, то я позволю себѣ не согласиться съ мнѣніемъ почтеннаго критика, довольно, впрочемъ, распространеннымъ вообще. Слишкомъ извѣстно, какъ относился Достоевскій къ „новымъ идеямъ“, но собственно въ „Преступленіи и наказаніи“ отношеніе это выразилось почти исключительно фигурой глупаго нигилиста Лебезятникова, фигурой пока еще только смѣшной, въ ожиданіи тѣхъ отвратительныхъ, которыхъ рисовало злобное перо Достоевскаго въ позднѣйшихъ произведеніяхъ. Быть можетъ, и даже очень вѣроятно, что Достоевскій хотѣлъ и Раскольниковымъ причинить

Digitized by Google

непріятности носителямъ тогдашнихъ „новыхъ идей“ („Преступленіе и наказаніе“ появилось въ печати въ 1866 г.), но вышло, помимо его воли, нѣчто иное. Намъ не зачѣмъ даже наводить какія-нибудь справки объ томъ, подлежали или не подлежали тогдашнія „новыя идеи“ такому толкованію, что ими „оправдываются всевозможныя преступленія ради цѣлей, съ которыми они совершаются“. Въ романѣ эта сторона дѣла если и играетъ какую нибудь роль, то совершенно второстепенную. Въ центральномъ своемъ пунктѣ (оставляя въ сторонѣ возрожденіе Раскольникова, это—пристройка), романъ вышелъ несравненно глубже и оригинальнѣе. Конечно, Раскольниковъ видитъ въ своемъ преступленіи средство для достиженія извѣстной цѣли, но въ чемъ состояла эта цѣль? Не просто въ грабежѣ, въ обогащеніи или даже облагодѣтельствованіи кого-бы то ни было на счетъ убитой старухи. Все это можетъ быть и мелькало въ разгоряченномъ мозгу Раскольникова, — онъ самъ не можетъ дать себѣ ясный отчетъ въ вихрѣ своихъ чувствъ и мыслей, — но главная и оригинальная цѣль состояла въ „*пробѣ*“: Раскольниковъ хотѣлъ себя попробовать, испытать—принадлежитъ-ли онъ къ числу тѣхъ „необыкновенныхъ“ людей, для которыхъ сила и право, по его теоріи, однозначущи и которымъ поэтому приличествуетъ особая мораль, рѣзко отличная, даже прямо противоположная той, которою руководятся остальные, „обыкновенные“ люди. И было-бы напраснымъ трудомъ искать подобныхъ идей въ умственномъ багажѣ того времени, когда писалось „Преступленіе и наказаніе“. Лебезятниковъ, по словамъ самого Достоевскаго, изъ тѣхъ, „которые мигомъ пристаютъ непремѣнно къ самой модной ходячей идеѣ, чтобы тотчасъ-же опошлить ее, мигомъ окаррикатурить все, чему они-же иногда самымъ искреннимъ образомъ служатъ“. Изъ этого глупаго Лебезятникова, какъ изъ мѣшка горохъ, сыплется разнообразнѣйшій каррикатурный вздоръ на темы тогдашнихъ „новыхъ идей“, но во всей этой болтовнѣ нѣтъ и намека на тѣ мысли, которыя такъ глубоко волнуютъ Раскольникова. Можетъ быть Достоевскій и наблюдалъ что-нибудь подобное въ видѣ одиночнаго, отнюдь не типическаго явленія. Но обобщилъ онъ его, а вѣрнѣе даже прямо создалъ, тѣмъ смутнымъ путемъ, которымъ вообще крупные художники улавливаютъ логически возможныя, хотя и не существующія въ данную минуту положенія; притомъ же Достоевскій былъ особенный мастеръ въ дѣлѣ созданія эксцентрическихъ образовъ.

Digitized by Google

Во избѣжаніе недоразумѣній слѣдуетъ замѣтить слѣдующее. Въ художественной русской (какъ, впрочемъ, и во всякой другой) литературѣ можно найти не мало представителей тѣхъ двухъ общихъ типовъ, которые Аполлонъ Григорьевъ называлъ „хищными“ и „смирными“, и всегда, конечно, существовали соотвѣтственные имъ экземпляры въ жизни. Можетъ показаться, что и Раскольниковъ какъ-нибудь въ эту схему долженъ быть втиснутъ и признанъ, до своего возрожденія, хищнымъ. Если-бы это было такъ, то пришлось бы вычесть значительную долю оригинальности изъ фигуры Раскольникова, но это не такъ. „Хищный“ предписываетъ „смирному“ одну мораль, а самъ руководится другой, но онъ или основываетъ свои особыя права и преимущества на внѣшнихъ, такъ сказать, придаткахъ къ его особѣ, напримѣръ, на богатствѣ, или приписываетъ ихъ лично себѣ, имяреку, не вдаваясь въ обобщенія и теоретическій анализъ, а просто пуская свою силу въ ходъ. Напримѣръ, Островскаго самодуры, ну, хоть Аховъ говоритъ: „я все могу, могущественный я человѣкъ“, но онъ думаетъ, что „такъ отъ начала міра заведено“, что „бѣдный человѣкъ пришелъ, хочешь—ты ими занимаешься,—хочешь—прогонишь, а богатый, хоша-бы и невѣжество сдѣлалъ, ты его почитаешь“. На какихъ-нибудь своихъ личныхъ качествахъ Аховъ ничего не строитъ, и если-бы могъ напрячь свое заплывшее жиромъ воображеніе и представить себя бѣднякомъ, то отлично понималъ-бы, что ему цѣна грошъ. Что-же касается хищныхъ, опирающихся на свои личныя силы, то ближе другихъ къ Раскольникову подходятъ Лермонтовскіе типы—Печоринъ, Арбенинъ, Вадимъ, тоже преступающіе „законы“ и ходячую мораль въ качествѣ особенныхъ, властныхъ людей, но не выступающіе, однако, въ качествѣ носителей извѣстной идеи.

Раскольниковъ логически возможенъ былъ и прежде, а теперь можетъ быть уже и существуетъ, какъ типъ (опять таки въ тѣхъ предѣлахъ, въ которыхъ мы его коснулись, то-есть оставляя въ сторонѣ его возрожденіе). Объ этомъ отчасти свидѣтельствуетъ и „Выдающаяся женщина“ г. Ардова. Конечно, одна ласточка весны еще не дѣлаетъ, особенно такая ласточка, какъ названная повѣсть. Нельзя, однако, не признать характерною ту разницу между романомъ Достоевскаго и повѣстью г. Ардова, что въ первомъ ни одно изъ многочисленныхъ и разнообразныхъ дѣйствующихъ лицъ не одобряетъ ни поступка, ни теоріи Раскольникова,

Digitized by Google

тогда какъ Клавдія Павловна получаетъ одобреніе и со стороны, въ качествѣ „обаятельной женщины“. Еще разъ обращаю вниманіе читателя на эту послѣднюю черту: Зоя Никитишна не прощаетъ Клавдіи Павловнѣ, а славословитъ ее и разрѣшаетъ ей нарушеніе ходячей морали не потому, что считаетъ эту мораль неудовлетворительною, а потому, что Клавдія Павловна изъ особой породы людей, для которой нѣтъ ни въ чемъ запрета. Если такую черту эксплуатируетъ крупный и притомъ эксцентрическій талантъ, какъ Достоевскій, то это еще не значитъ, чтобы соотвѣтственныя явленія имѣли сколько-нибудь значительное распространеніе въ жизни: для такого таланта достаточно ничтожнаго намека или даже игры собственнаго воображенія. Совсѣмъ другое дѣло, когда та-же тема эксплуатируется заурядным художникомъ. Я не думаю, однако, чтобы теорія двоякой морали и необыкновенныхъ людей имѣла у насъ и теперь сколько-нибудь значительное число представителей, но они возможны въ самомъ близкомъ будущемъ, какъ отголосокъ нѣкоторыхъ европейскихъ теченій мысли, къ которымъ мы вообще такъ стремительно чутки.

Вся новѣйшая исторія Европы была для нея временемъ разложенія завѣщанныхъ ей средними вѣками разнообразныхъ общественныхъ узъ. Разложеніе происходило и въ самой жизни, фактически, и въ сферѣ критической мысли. Рядомъ съ этимъ шла и положительная, творческая работа, создавшая или пытавшаяся создавать новыя формы общенія, взамѣнъ разлагавшихся. Но она до сихъ поръ далеко отставала отъ работы отрицательной, какъ въ своей напряженности, такъ и въ значеніи и прочности своихъ результатовъ. А между тѣмъ, „не добро быти человѣку едину“, и „надобно же, чтобы всякому человѣку хоть куда-нибудь можно было пойти“. Европейская мысль, вооруженная цѣлымъ арсеналомъ фактическихъ данныхъ и теоретическихъ аргументовъ противъ всѣхъ существующихъ формъ общенія, все-таки ищетъ и надѣется, и всѣ эти поиски и надежды отражаются, конечно, и на морали. Надо, однако, замѣтить, что въ большинствѣ самыхъ, повидимому, крайнихъ отрицаній настоящихъ формъ общежитія во имя будущаго многіе основные принципы оффиціально признаваемой современной морали остаются неприкосновенными; предполагается только, что они явятся въ будущихъ формахъ въ своемъ чистомъ отъ лицемѣрія, настоящемъ видѣ: настоящая любовь, настоящее состраданіе, настоящее братство, настоящее уваженіе къ

Digitized by Google

труду и т. д. Но волна отрицанія на этомъ не останавливается. Усталая отъ неудачныхъ экспериментовъ, разочарованная и окончательно осиротѣлая и, въ сиротствѣ своемъ, ничѣмъ не дорожащая и нетерпѣливая мысль хочетъ, подобно Раскольникову, „взять просто-за-просто *все* за хвостъ и стряхнуть къ чорту". Это порожденіе полнаго сиротства личности, полной ея общественной безпріютности и есть воинствующій, практическій анархизмъ. Не о немъ, однако, хочу я бесѣдовать съ читателями, а объ одномъ странномъ и, повидимому, противоестественномъ его сочетаніи съ аристократизмомъ особаго рода, получающемъ нынѣ извѣстное значеніе среди разнообразныхъ умственныхъ теченій въ Европѣ. Слагаясь изъ рѣшительнаго отрицанія всѣхъ существующихъ формъ общежитія, а равно и тѣхъ, которыя обѣщаются провозвѣстниками „всеобщаго счастья", и изъ теоріи двоякой морали для обыкновенныхъ и необыкновенныхъ людей, оно имѣетъ своихъ представителей и во французской литературѣ, и, повидимому, въ скандинавскихъ, къ сожалѣнію, мнѣ мало извѣстныхъ, но особенно ярко выразилось въ философіи Фридриха Ничше, быстро получившей общеевропейскую извѣстность. Прежде, однако, чѣмъ обратиться къ этимъ явленіямъ литературы и жизни, намъ нужно взглянуть нѣсколько ближе хоть на какой-нибудь уголокъ общественныхъ отношеній, благодаря которымъ объявилось это круглое сиротство личности и эта ея непомѣрная гордость.

XIII *).

О „Литературномъ обществѣ" и нашихъ литературныхъ нравахъ.—О системахъ морали.—О Максѣ Штирнерѣ и Фридрихѣ Ничше.

Маленькое отступленіе отъ плана, намѣченнаго въ концѣ прошлой бесѣды. Читатель, надѣюсь, проститъ это отступленіе старому журналисту, когда узнаетъ, въ чемъ дѣло.

Газетѣ „Новое Время" пришлось недавно давать любопытное объясненіе по поводу двухъ своихъ корреспондентовъ: г. Загуляева на Антверпенскомъ съѣздѣ журналистовъ и г. Old Gentleman'а въ Болгаріи. „С.-Петербургскія Вѣдомости" пожелали узнать, кто уполномочилъ г. Загуляева представлять на Антверпенскомъ съѣздѣ русскую журналистику. „Московскія Вѣдомости",

*) 1894, августъ.

Digitized by Google

узнавъ, что „Новое Время“, прежде чѣмъ отправить своего корреспондента въ Болгарію, сносилось по этому поводу съ непризнаннымъ русскимъ правительствомъ болгарскимъ княземъ, освѣдомлялось, какъ, въ какой формѣ производились эти сношенія. Подкладка этихъ запросовъ, конечно, очень проста: г. Загуляевъ въ Антверпенѣ и г. Old Gentleman въ Болгаріи были обставлены такъ, какъ не догадались обставить своихъ корреспондентовъ (если у нихъ таковые есть). ни московскія, ни петербургскія „Вѣдомости“, и сердца ихъ взыграли по отношенію къ удачливому или ловкому собрату тѣмъ чувствомъ, которое нѣкогда подвигнуло Каина даже на братоубійство. Но „Новое Время“ счастливо избѣгло участи Авеля. „С.-Петербургскимъ Вѣдомостямъ“ оно объяснило, что г. Загуляевъ былъ избранъ въ представители русскихъ журналистовъ въ Антверпенѣ существующимъ въ Петербургѣ „Литературнымъ обществомъ“, членомъ котораго состоитъ и редакторъ-издатель „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“, г. Авсѣенко. „Московскимъ Вѣдомостямъ“ „Новое Время“ отвѣтило, что въ предварительныхъ своихъ сношеніяхъ (собственно въ одной телеграммѣ) оно титуловало Фердинанда болгарскаго „prince“ и „altesse“, каковой титулъ принадлежитъ ему по рожденію, какъ члену Кобургскаго дома, не менѣе, чѣмъ титулъ „его благородіе“ редактору-издателю „Московскихъ Вѣдомостей“, г. Петровскому. Затѣмъ вмѣшался въ дѣло „Гражданинъ“, исполнивъ, по обыкновенію, какой-то словесно-акробатическій „комическій выходъ“, и хотя апплодисментовъ не заслужилъ, но остался собою вполнѣ доволенъ. Тѣмъ инцидентъ и кончился. На немъ стоитъ, однако, остановиться нѣсколько дольше.

Что это за „Литературное общество“, избравшее г. Загуляева представителемъ русскихъ журналистовъ на Антверпенскомъ съѣздѣ? Интересно можетъ быть уже и то, что я, безъ малаго тридцать пять лѣтъ работающій въ русской литературѣ, не могу отвѣтить на этотъ вопросъ. Я знаю, что такое общество существуетъ, мнѣ попадались въ газетахъ объявленія объ очередныхъ собраніяхъ его и занятіяхъ въ такой-то день и часъ (помнится, о чтеніяхъ г. Мережковскаго, г. Спасовича, г. Кони, г. Андреевскаго), но ни составъ и уставъ, ни цѣли и результаты дѣятельности общества мнѣ совершенно не извѣстны; и не мнѣ одному, а цѣлому кружку близкихъ мнѣ писателей. Еще можетъ быть интереснѣе то, что такой случай, какъ избраніе представителя

Digitized by Google

русскихъ журналистовъ на первый европейскій съѣздъ журналистовъ, остался неизвѣстенъ, по крайней мѣрѣ, одному изъ членовъ избравшаго г. Загуляева „Литературнаго общества“, и именно журналисту — г. Авсѣенкѣ, а если одному, то, можетъ быть, и не одному.

Поневолѣ вспоминается исторія возникновенія другого литературнаго учрежденія, благополучно существующаго тридцать пять лѣтъ,—литературнаго фонда. Лѣтопись литературнаго фонда повѣствуетъ: „Мысль объ основаніи въ Россіи, по примѣру Англіи, „Общества для пособія писателямъ“ впервые была высказана А. В. Дружининымъ въ журналѣ „Библіотека для чтенія“. Принятая съ полнымъ сочувствіемъ въ литературныхъ кружкахъ, мысль эта вызвала совѣщанія между представителями петербургской журналистики и литературы объ организаціи общества, его цѣляхъ и, наконецъ, о самомъ уставѣ его. Послѣдствіемъ совѣщаній было то, что сперва на А. В. Никитенко, а потомъ на А. П. Заблоцкаго-Десятовскаго и К. Д. Кавелина было возложено составленіе проекта устава „Общества для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ“. Выработанный ими проектъ былъ одобренъ и 16 февраля 1859 года представленъ министру народнаго просвѣщенія за подписью П. В. Анненкова, С. С. Дудышкина, Н. Г. Чернышевскаго, А. П. Заблоцкаго-Десятовскаго, Е. П. Ковалевскаго, А. Д. Галахова, А. В. Никитенко, К. Д. Кавелина, А. А. Краевскаго и И. С. Тургенева“.

Литературный фондъ, далѣе, публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе свои отчеты, публично производитъ каждогодно выборы въ члены комитета и ревизіонной коммиссіи, подвергается публичнымъ одобреніямъ и порицаніямъ въ газетахъ. Состоящая номинально при литературномъ фондѣ, но вполнѣ отъ него независимая касса взаимопомощи точно также вырабатывала свой проектъ и ведетъ свои дѣла гласно.

Иначе поставлено „Литературное общество“. Безъ сомнѣнія и оно должно было представить свой уставъ на утвержденіе въ какое-нибудь министерство; иначе оно, по условіямъ нашей жизни, не могло бы и существовать. Но весьма многіе писатели остаются въ полной неизвѣстности относительно его состава, организаціи, цѣли и дѣятельности. И, напримѣръ, рѣшительно не понятно, почему представитель русской журналистики на Антверпенскій съѣздъ выбранъ не нарочитымъ собраніемъ журнали-

Digitized by Google

стовъ, а „Литературнымъ обществомъ“, въ которомъ чрезвычайно почтенный, но совершенно чуждый интересамъ журналистики поэтъ Мережковскій излагаетъ свои мысли о символистахъ. Или гг. Кони и Спасовичъ... Весьма вѣроятно, что этимъ уважаемымъ дѣятелямъ юридической науки и практики придется завтра же— одному обвинять, а другому защищать какого-нибудь журналиста, но не только это, а и ихъ литературная дѣятельность не даетъ еще имъ большаго права выбрать представителя русской журналистики, чѣмъ, — скажемъ, намъ, „Русскому Богатству“. Упоминаю объ „Русскомъ Богатствѣ“ не потому, чтобы мы жаждали попасть въ члены „Литературнаго общества“ или придавали большое значеніе присутствію русскаго журналиста на Антверпенскомъ съѣздѣ; а просто потому, что это извѣстный мнѣ примѣръ редакціи, въ составѣ которой нѣтъ ни одного члена „Литературнаго общества“. Вѣроятно найдутся и другіе такіе примѣры. И спрашивается: должны ли были бы мы, журналисты, не выбиравшіе г. Загуляева, подчиниться тѣмъ рѣшеніямъ, къ которымъ пришелъ бы Антверпенскій съѣздъ (онъ, кажется, ни какимъ не пришелъ)? Я полагаю, — отнюдь не должны.

Очевидно во всякомъ случаѣ, что задачи „Литературнаго общества“ весьма широки,—общелитературныя задачи, каковыя имѣлись въ виду и учредителями литературнаго фонда, почему мы и видимъ такія разнообразныя, въ партійномъ смыслѣ, имена въ подписяхъ подъ проектомъ фонда, представленнымъ министру народнаго просвѣщенія. Правда, задача литературнаго фонда, хотя и общелитературная, отнюдь не широка и исчерпывается благотворительностью. Но развѣ, кромѣ поддержки нуждающихся собратовъ, нѣтъ никакихъ другихъ задачъ, общихъ для всѣхъ писателей,—большихъ и малыхъ, лично знакомыхъ и незнакомыхъ, поэтовъ и прозаиковъ, либераловъ, консерваторовъ и всякихъ другихъ? Что таковыя есть, объ этомъ лучше всего свидѣтельствуетъ второй изъ вышеупомянутыхъ эпизодовъ,— исторія изъ-за болгарскихъ корреспонденцій „Новаго Времени“.

По поводу одного доноса въ 1844 г. на статьи „Библіотеки для чтенія“, исходившаго изъ литературной же среды, императоръ Николай, до котораго восходило это дѣло, положилъ такую резолюцію: „Если въ статьяхъ „Библіотеки для чтенія“ заключается ложь, то ее и должно опровергнуть литературнымъ

Digitized by Google

образомъ, только безъ брани". Это былъ хорошій урокъ для того мрачнаго времени Булгаринскихъ и прочихъ доносительныхъ неистовствъ.

Изъ печатающейся въ этомъ же номерѣ „Русскаго Богатства" статьи И. В. Лучицкаго „Проповѣдникъ религіозной терпимости въ XVI вѣкѣ" видно, что уже въ XVI вѣкѣ были люди, понимавшіе, что „Серве съ помощью книгъ и аргументовъ боролся за свое мнѣніе: слѣдовало, поэтому, книгами и мнѣніями опровергать его", и что людямъ мысли и слова не приличествуетъ говорить о противникѣ: „намъ не дозволено убивать его, предадимъ его Пилату". Нѣкоторые писатели наканунѣ XX вѣка не могутъ понять этого. „Гражданинъ" предложилъ однажды поступить со всѣми газетчиками (кромѣ, конечно, кн. Мещерскаго) такъ, какъ поступилъ пророкъ Илія съ четырьмя стами служителей Ваала: отвелъ ихъ къ потоку Киссону и тамъ закололъ. „Гражданинъ" такъ пріучилъ насъ къ своимъ акробатическимъ упражненіямъ на границѣ чудовищнаго и смѣшного, что и эта его выходка не обратила на себя особеннаго вниманія. А между тѣмъ она знаменательна, какъ утрированное, чудовищно-смѣшное выраженіе цѣлаго самоубійственнаго теченія въ русской литературѣ; самоубійственнаго, потому что „Гражданинъ" все-таки литература же, и если бы въ самомъ дѣлѣ дошло до прогулки къ потоку Киссону, то нѣтъ резона исключать кн. Мещерскаго изъ списка приглашенныхъ на прогулку: случалось вѣдь и ему погрѣшать и претерпѣвать соотвѣтственныя наказанія. И чудовищна здѣсь не угроза потокомъ Киссономъ,— это, напротивъ, смѣшно; чудовищно то, что въ эту смѣшную форму облечена совсѣмъ не смѣшная претензія представителя печатнаго слова зажать ротъ другимъ представителямъ печатнаго слова при помощи, вульгарно и обобщенно выражаясь, кулака. Анархистъ, зарѣзавшій того итальянскаго журналиста, который выражалъ въ своей газетѣ мнѣнія, неблагопріятныя анархизму, совершилъ преступленіе, давно уже не слыханное въ Европѣ. Но анархистъ этотъ не былъ самъ писателемъ, у него не было въ рукахъ того оружія—пера, которымъ Кастелліонъ еще въ XVI вѣкѣ рекомендовалъ бороться съ произведеніями пера. У насъ же къ потоку Киссону приглашаютъ писатели своихъ собратовъ по профессіи, и я воображаю изумленіе съѣхавшихся въ Антверпенъ европейскихъ журналистовъ, если бы г. Загу-

Digitized by Google

ляевъ поразсказалъ имъ объ этой чертѣ нашихъ литературныхъ нравовъ. Я говорю именно о литературныхъ нравахъ, а не о положеніи нашей литературы. Правительство, руководствуясь соображеніями не спеціально литературными, а государственными, ставитъ печатному слову извѣстныя границы, за которыя мы переступать не можемъ, если бы и хотѣли, ибо для огражденія ихъ существуютъ цѣлыя учрежденія, облеченныя достаточною властью. Но желать расширенія этихъ границъ всякому писателю естественно и позволительно, и во всякомъ случаѣ неестественно желать ихъ съуженія. Поэтому-то проектирующіе прогулку къ потоку Киссону отнюдь не желаютъ участвовать въ ней сами. Безъ сомнѣнія, существуютъ завѣдомо неблагопристойныя литературныя произведенія, позорящія литературу и какъ профессію, и какъ органъ духовной жизни страны. Таковы пасквиль, печатная клевета, порнографія и др., и между прочимъ и газетныя выходки по поводу болгарскихъ корреспонденцій „Новаго Времени". Желательно, разумѣется, не съуженіе предѣловъ этихъ неблагопристойностей, а совершенное ихъ прекращеніе, но для огражденія отъ нихъ частныхъ лицъ существуютъ судебныя учрежденія, а въ тѣхъ случаяхъ, которые не подлежатъ компетенціи суда, дѣло самой литературы поставить неблагопристойности предѣлъ. И въ этомъ, мнѣ кажется, могла состоять главная задача „Литературнаго общества", при условіи, конечно, чтобы оно было достойно этого многообъемлющаго названія и во всякомъ случаѣ не оставалось кружкомъ самоизбранниковъ, тайнымъ отъ остальной литературы. Это не помѣшаетъ теперешнимъ его членамъ излагать для желающихъ свои мысли о символизмѣ и о Шекспирѣ, и о Гете, и обо всемъ, объ чемъ угодно, а вмѣстѣ съ тѣмъ предоставить обществу дѣйствительное, непререкаемое право выбирать, въ случаѣ надобности, представителей русской журналистики и русской печати вообще. Общее литературное дѣло, за удовлетвореніемъ матеріальныхъ интересовъ, которыми, худо ли, хорошо ли, заняты литературный фондъ и касса взаимопомощи, только и можетъ состоять въ поддержаніи достоинства литературы, какъ таковой, независимо отъ какихъ бы то ни было кружковъ и партій. Никакой матеріальной власти „Литературному обществу", конечно, предоставить нельзя было бы, но я думаю, что если бы оно стояло на высотѣ своего положенія и вело свое дѣло съ полнымъ сознаніемъ его значенія,—его голосъ имѣлъ бы большую силу.

Digitized by Google

Что пасквиль или клевета позорятъ литературу, унижаютъ ея достоинство, это доказательствъ не требуетъ. Но можетъ быть кое-кто усомнится поставить на одну доску съ ними эпизодъ съ болгарскими корреспонденціями „Новаго Времени". А между тѣмъ его настоящее мѣсто именно тутъ, на этой черной доскѣ. Какіе мотивы побудили „Московскія Вѣдомости" сдѣлать свой запросъ? Онѣ скажутъ, конечно: вѣрноподданническое чувство, возмущенное тѣмъ, что русская газета сносится съ фактическимъ княземъ Болгаріи, котораго таковымъ не признаетъ русское правительство. Но вѣдь это просто лицемѣрный вздоръ все того же чудовищно-комическаго оттѣнка, къ которому насъ такъ пріучили нѣкоторые органы нашей печати! Относительно вѣрноподданническихъ чувствъ „Новое Время" стоитъ внѣ всякихъ подозрѣній; съ болгарскимъ княземъ оно сносилось открытымъ и закономъ дозволеннымъ путемъ—по телеграфу; результаты оно имѣло въ виду, конечно, не безвыгодные для себя, но вмѣстѣ съ тѣмъ и общеполезные, общеинтересные: истину о болгарскихъ дѣлахъ въ смутное время паденія Стамбулова; корреспонденціи г. Old Gentlman'а печатаются, не вызывая никакихъ недоразумѣній. Чего же такъ взволновались „Московскія Вѣдомости", а слѣдомъ за ними и „Гражданинъ"? Вѣдь все, что сдѣлало „Новое Время", они и сами могли бы сдѣлать, если бы догадались. И имѣли бы они видъ настоящихъ политическихъ, большихъ европейскихъ газетъ, отправляющихъ своихъ корреспондентовъ, репортеровъ и интервьюверовъ для собесѣдованій съ разными героями дня, и цитировала бы ихъ заграничная пресса, и розничная продажа поднялась бы. Все это было бы, если бы они догадались. Но они не догадались... А затѣмъ, вмѣсто того, чтобы назвать себя за это, по-гоголевски, „телятиной" или какъ нибудь въ этомъ родѣ, они разсердились на „Новое Время". А разсердившись, пустили въ ходъ пріемъ, не одобренный еще въ XVI вѣкѣ Кастелліономъ: „намъ не дозволено убивать его, предадимъ его Пилату". Къ несчастію для нихъ, пріемъ этотъ оказался въ данномъ случаѣ тѣмъ, что юристы называютъ покушеніемъ съ негодными средствами. Но этого мало. Мнѣ кажется, что они схватились за обоюдоострое оружіе, которое можетъ быть обращено противъ нихъ же. Допустимъ, что „Новое Время" дѣлаетъ оппозицію русскому правительству по вопросу о болгарскомъ князѣ, признавая таковымъ Фердинанда Кобургскаго, и

Digitized by Google

что именно на этомъ основаніи „Московскія Вѣдомости“ и „Гражданинъ“, эти новые гуси, издаютъ предупреждающее гоготанье вполнѣ искренно, нелицемѣрно, чуя опасность, по ихъ мнѣнію, серьезную. Но въ такомъ случаѣ мудрено придумать для русскаго государственнаго строя что-нибудь болѣе оскорбительное, чѣмъ это гоготанье не по разуму усердныхъ гусей. Неужели же для этого государственнаго строя оппозиція г. Суворина по дѣлу о личности болгарскаго князя могла бы представлять какую-нибудь опасность или бросать какую нибудь тѣнь на него? Эту сторону дѣла обыкновенно упускаютъ изъ виду усердные не по разуму гуси. И замѣчательно: они ничего не боятся, когда рѣчь идетъ о внѣшнихъ врагахъ Россіи,—всѣхъ ихъ мы шапками закидаемъ, но опаснымъ внутреннимъ врагомъ русскаго государственнаго строя можетъ оказаться не то что г. Суворинъ, а любой гимназистъ.

Но они выдаютъ tesimonium paupertatis и самимъ себѣ, какъ писателямъ.

Вышеизложенное я писалъ въ увѣренности, что инцидентъ съ болгарскими корреспонденціями „Новаго Времени“ исчерпанъ. Оказывается,—нѣтъ. „Московскія Вѣдомости“ продолжаютъ отстаивать занятую ими достохвальную позицію. Они вновь возвращаются къ роли спасителей русскаго государства и объясняютъ, что корреспонденціи г. Old Gentleman'а представляютъ собою вмѣшательство въ политику, каковымъ „вмѣшательствомъ въ область правительственныхъ функцій вносится въ государственную жизнь значительная сумятица“. И далѣе: „не въ обычаяхъ народовъ, чтобы совершенно частное лицо съ апломбомъ трактовало за счетъ правительства, не получивъ на это соотвѣтствующихъ уполномочій со стороны послѣдняго“. Приведя эти слова московской газеты, „Новое Время“ замѣчаетъ: „Кажется, въ Москвѣ за послѣднее время нѣтъ особенныхъ жаровъ, а между тѣмъ публицисты Страстного бульвара разсуждатъ такъ, какъ будто бы совсѣмъ изнемогли и лишились соображительныхъ способностей“; потому что, дескать, кто же приметъ газетнаго корреспондента за лицо, аккредитованное правительствомъ? Но это наименьшее, что можно сказать по адресу „Московскихъ Вѣдомостей“. Соображительныхъ способностей они, очевидно, лишились, потому что, конечно, вотще ожидаютъ, что предержащія власти обратятъ вниманіе на ихъ инсинуацію. Но важно здѣсь не это помраченіе, а самый фактъ указанія властямъ

Digitized by Google

предержащимъ на нелойяльное и даже преступное поведеніе собратовъ по профессіи; фактъ призыва внѣ-литературныхъ силъ въ литературную борьбу. Помимо нравственной неопрятности такого пріема, онъ свидѣтельствуетъ о полномъ безсиліи тѣхъ, кто къ нему прибѣгаетъ. Очевидно, тѣ, кому императоръ Николай указывалъ своей вышеприведенной резолюціей единственно достойный литературы путь, были безсильны дѣйствовать „литературнымъ образомъ". Только въ своемъ безсиліи расписываются и „Московскія Вѣдомости", инкриминируя отправку корреспондента въ Болгарію, вмѣсто того, чтобы „литературнымъ образомъ" трактовать самое содержаніе корреспонденцій.

Возвращаясь къ началу, я думаю, что если бы „Литературное общество", правильно поставленное, организованное дѣйствительно съ цѣлями обще-литературными и стоящее на высотѣ своего положенія, только выдавало въ такихъ случаяхъ testimonium paupertatis,—кое-кому и стыдно стало бы. Покойный Салтыковъ, озадаченный восклицаніемъ Подхалимова: „Печать-то вѣдь сила? такъ-ли, отче?"—предался скорбнымъ размышленіямъ объ томъ, какимъ образомъ эта сила могла оказаться въ рукахъ Подхалимовыхъ. Онъ пришелъ къ тому заключенію, что „въ пылу споровъ по существу утрачено было изъ виду, что печать сама по себѣ, въ качествѣ общественной силы, требуетъ огражденія, для всѣхъ мнѣній и партій одинаково обязательнаго". Это было „въ пылу споровъ *по существу*". А теперь ужъ и не объ „существѣ" рѣчь идетъ, а просто о розничной продажѣ... Я очень цѣню и размышленія г. Мережковскаго о символистахъ, и взгляды г. Спасовича на Гете, но, признаюсь, одинъ маленькій рефератъ о литературной чести съ иллюстраціями изъ русской дѣйствительности я прослушалъ бы съ большимъ удовольствіемъ.

Читатель не забылъ, можетъ быть, вопроса, мучившаго Зою Никитишну: „что нравственно, что безнравственно?" Напоминаю этотъ вопросъ не ради предъидущей маленькой экскурсіи въ область нашихъ литературныхъ нравовъ,—тутъ, я думаю, дѣло ясно,—а ради нижеслѣдующаго.

Графъ Л. Н. Толстой, спеціально посвятившій себя разработкѣ вопроса Зои Никитишны, выпустилъ недавно на французскомъ языкѣ книжку о патріотизмѣ. Сама книжка мнѣ неизвѣстна, я знаю объ ней только изъ французскихъ газетъ, вообще говоря, встрѣтившихъ ее, повидимому, очень недружелюбно. Это понят-

Digitized by Google

но. Насколько можно судить по отзывамъ, основная мысль новаго произведенія гр. Толстого состоитъ въ томъ, что патріотизмъ безнравственъ, какъ настроеніе, ограничивающее любовь къ людямъ вообще и даже ведущее къ взаимной національной ненависти. Какова бы ни была аргументація гр. Толстого, но такое отношеніе къ патріотизму, конечно, не можетъ встрѣтить радушнаго пріема въ теперешней Франціи, полной идеей „реванша", которая получила новый толчекъ во время франко-русскихъ празднествъ. Это, конечно, еще ровно ничего не говоритъ противъ принциповъ гр. Толстого, да они вѣдь и не новы (хотя въ подробностяхъ гр. Толстой можетъ быть и даетъ что-нибудь новое и оригинальное), а въ настоящую историческую минуту предъявленіе ихъ естественнѣе, чѣмъ когда-нибудь. Взаимныя отношенія Франціи и Германіи, составляющія центръ политической исторіи Европы въ послѣднія двадцать лѣтъ и держащія Европу въ напряженномъ ожиданіи чего-то небывалаго страшнаго, второстепенныя явленія вродѣ отношеній мадъяръ къ румынамъ и славянамъ и т. п.,—все это можетъ дать цѣлый арсеналъ аргументовъ противъ національнаго чувства, какъ нравственнаго начала, и сдѣлать изъ этого, по крайней мѣрѣ, вопросъ. Едва ли, однако, вопросъ этотъ можетъ быть разрѣшенъ съ тою простотою, которая характеризуетъ нравственную философію гр. Толстого вообще и которая уже не разъ вводила его въ противорѣчія какъ съ собственными его ученіями, такъ и съ самою жизнью. Достойно вниманія, что и во Франціи есть группа людей, рѣшительно и громко отрицающихъ патріотизмъ, и тоже во имя любви къ людямъ вообще; это анархисты. Учитель кротости и непротивленія злу, врагъ всякаго насилія, не только осуждающій войну, но и отъ животной пищи отказавшійся, дабы не принимать участія въ пролитіи крови хотя бы курицы, сходится съ людьми, не останавливающимися передъ массовымъ убійствомъ неизвѣстныхъ имъ посѣтителей какого-нибудь театра или ресторана. Это не сближаетъ его, разумѣется, съ ними, но показываетъ, что любовь къ людямъ вообще, въ связи съ отрицательнымъ отношеніемъ къ патріотизму, не даетъ еще опредѣленнаго нравственно-руководящаго начала.

Шиллеръ, въ одной изъ своихъ статей по теоріи эстетики („О необходимыхъ границахъ при употребленіи прекрасныхъ формъ"), говоритъ о „высотѣ, на которую любовь взноситъ человѣческую

Digitized by Google

природу", о тѣхъ „божественныхъ искрахъ, которыя она нерѣдко высѣкаетъ изъ самыхъ обыкновенныхъ душъ". „Кто—спрашиваетъ онъ—не ввѣрился бы аффекту, который такъ сильно беретъ подъ охрану лучшее въ человѣческой природѣ и такъ побѣдоносно борется съ природнымъ врагомъ всей нравственности—эгоизмомъ?" „Но—продолжаетъ Шиллеръ—не должно ввѣряться этому руководителю, пока мы не обезпечены лучшимъ. Можетъ случиться, что любимый предметъ будетъ несчастенъ, что онъ несчастливъ по нашей винѣ, что отъ насъ будетъ зависѣть сдѣлать его счастливымъ—пожертвованіемъ нѣкоторыхъ нравственныхъ препятствій. Должны ли мы его оставить страдать, чтобы сохранить совѣсть чистою? Допускаетъ ли это не-эгоистичный, великодушный, вполнѣ отдавшійся своему предмету, вполнѣ забывающій себя ради предмета, аффектъ. Правда, воспользовàтся не нравственнымъ средствомъ, которымъ, однако, можно облегчить страданіе, противно нашей совѣсти; но развѣ можно сказать, что мы любимъ, когда, во время страданій любимаго существа, думаемъ о себѣ? Мы, такимъ образомъ, болѣе заботимся о себѣ, чѣмъ о предметѣ нашей любви, ибо мы скорѣе готовы видѣть его страдающимъ, чѣмъ сами страдать вслѣдствіе упрековъ нашей совѣсти! Такимъ софизмомъ этотъ аффектъ можетъ выставить нравственный голосъ, если онъ противорѣчитъ его интересамъ, чѣмъ-то презрѣннымъ, какъ себялюбивое побужденіе, и представить намъ наше нравственное достоинство какъ составную часть нашего счастья, отъ которой отречься зависитъ отъ насъ". (Цитирую по русскому переводу въ изданіи Гербеля).

Софизмъ ли то предполагаемое возраженіе, которое Шиллеръ ставитъ въ ковычки, или нѣтъ, но самая возможность его уже показываетъ, какъ и Шиллеръ признаетъ, что „не должно ввѣряться этому руководителю (любви), пока мы не обезпечены лучшимъ". Это относится ко всякаго рода любви, кто бы и что бы ни было ея объектомъ. Слишкомъ извѣстно, что любовь мужчины къ женщинѣ и обратно, любовь самая пламенная и полная, часто ведетъ къ поступкамъ, рѣшительно не одобряемымъ ни собственною совѣстью совершающаго ихъ, ни совѣстью общественною, выраженною или не выраженною въ какомъ-нибудь писанномъ или не писанномъ кодексѣ морали. И точно также любовь къ дѣтямъ, къ семьѣ, и точно также патріотизмъ, любовь къ отечеству или соотечественникамъ, то есть людямъ иногда общихъ

Digitized by Google

вѣрованій и языка, иногда только общихъ историческихъ преданій. Національное чувство не обязываетъ ненавидѣть „чужихъ“, но оно, дѣйствительно, скользитъ по краю этой пропасти, а, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, разрѣшаетъ и даже освящаетъ такія дѣянія, которыя, внѣ этихъ обстоятельствъ, современная мораль никакимъ образомъ не одобритъ.

Недавно, можно сказать, на дняхъ, во Франціи били и разоряли итальянцевъ за то, что Казеріо итальянецъ. Это была безобразная вспышка національнаго чувства или патріотизма, въ теченіе многихъ лѣтъ злобно настраиваемаго и принадлежностью Италіи къ тройственному союзу, и рядомъ пограничныхъ столкновеній. Съ другой стороны, напримѣръ, и Гарибальди приходилось бить и разорять, во имя національнаго чувства и патріотизма, но едва-ли найдется система морали, которая отказалась бы взять Гарибальди подъ свое покровительство, хотя бы уже потому, что имъ руководила ненависть не къ нѣмцамъ, не къ людямъ, а къ австрійскому владычеству. Впрочемъ, я ошибся: система морали, по крайней мѣрѣ, косвенно не одобряющая такія явленія, какъ поведеніе Гарибальди, есть,—это система гр. Толстого. Не знаю, въ какой мѣрѣ и въ какой формѣ выразилась она въ его новомъ произведеніи, но у него есть достаточно въ этомъ отношеніи выразительная сказка „Объ Иванѣ Дуракѣ и его двухъ братьяхъ“. Вы помните эту сказку: въ Дураково царство вторгаются иноплеменники, „тараканцы“, бьютъ, разоряютъ, а жители не сопротивляются, все терпятъ, жалѣютъ злодѣевъ тараканцевъ, называютъ ихъ „сердешными“. Вотъ какъ надо поступать! Любопытно уже и то, что моралистъ обращается здѣсь съ проповѣдью не къ тараканцамъ, которые убиваютъ и разоряютъ, а къ тѣмъ, кто отъ нихъ терпитъ. Но дѣло не въ этомъ. Повидимому, любовь къ людямъ вообще, въ противоположность любви къ женщинѣ, къ дѣтямъ, къ семьѣ, къ отечеству, исключаетъ возраженіе, которое Шиллеръ, правильно или неправильно, называетъ софизмомъ. Изъ любви къ женщинѣ, къ своей семьѣ, къ своему отечеству, я могу, хотя бы угрызаясь совѣстью, заставить страдать другихъ людей, но если я люблю всѣхъ людей, людей вообще, такъ ужъ этой нравственной опасности нѣтъ на моемъ пути. Повидимому, такъ. Но, во-первыхъ, надо еще утвердиться на томъ, что „нравственныя препятствія“, о которыхъ говоритъ Шиллеръ, исчерпываются или не исчерпываются причиненіемъ людямъ стра-

Digitized by Google

даній. Напр., ложь, вообще и, насколько я понимаю гр. Толстого, имъ въ особенности осуждаемая, можетъ, при извѣстныхъ условіяхъ, оградить отъ страданій. А во-вторыхъ, любовь къ людямъ вообще, несмотря на всю свою нравственную красоту, есть принципъ слишкомъ общій, абстрактный, неопредѣленный и расплывающійся, чтобы стать руководящею нитью въ запутанныхъ дѣлахъ человѣческихъ. И напрасно отождествляютъ ее съ ясною и простою евангельскою заповѣдью: „возлюби ближняго твоего". Согласно общему духу евангельскаго ученія, „ближній" не есть только братъ для брата, отецъ для сына и обратно, эллинъ для эллина, іудей для іудея, мытарь для мытаря и т. д., но не есть и „человѣкъ вообще", безъ всякихъ дальнѣйшихъ опредѣленій. Ближній есть буквально ближній,—всякій человѣкъ, съ которымъ судьба тебя настолько сблизила, что ты можешь оказать ему помощь и дѣйственно выразить свою любовь; ибо если вѣра безъ дѣлъ мертва есть, то любовь и подавно. Но, въ большинствѣ случаевъ, такимъ „ближнимъ" по необходимости окажется свой по родству, по профессіи, по національности, и, слѣдовательно, вновь возникаютъ вышеупомянутыя „нравственныя препятствія". Изъ этого не слѣдуетъ, что исключительная любовь къ семьѣ или къ отечеству предпочтительнѣе любви къ людямъ вообще. Изъ этого слѣдуетъ только, что принципъ любви къ людямъ слишкомъ неопредѣлененъ для нравственнаго руководительства и что едва-ли вообще любовь можетъ представлять собою единый и исключительный фундаментъ для какой-нибудь системы морали. Если же она часто признается таковымъ, то это потому, что она удобно, какъ бы сама собой, безъ всякихъ усилій мысли, противополагается любви къ самому себѣ или эгоизму, который, по вышеприведенному выраженію Шиллера, есть „природный врагъ всей нравственности". Дѣло, однако, въ томъ, что любовь къ людямъ и „вся нравственность" не покрываютъ другъ друга, да и взаимныя отношенія нравственности и эгоизма не такъ ужъ просты.

Нравственность безспорно начинается съ того момента, когда человѣкъ надѣваетъ на свое *я* какую бы то ни было узду, когда онъ соглашается поступиться чѣмъ-нибудь изъ своихъ желаній во имя чего-нибудь, признаваемаго имъ высшимъ, святымъ, неприкосновеннымъ: до этого момента мы имѣемъ только нравы. Чтобы правильно оцѣнить это положеніе, надо совершенно отрѣшиться отъ нашихъ теперешнихъ понятій о нравственномъ

Digitized by Google

и безнравственномъ. Остановимся на какомъ-нибудь явленіи, стоящемъ внѣ всякихъ споровъ и сомнѣній съ нашей теперешней точки зрѣнія. Таково, напримѣръ, людоѣдство. Путешественники и изслѣдователи первобытной культуры разсказываютъ о такихъ дикаряхъ, которые охотно и безъ малѣйшаго зазрѣнія совѣсти ѣли всякаго „ближняго", то есть всякаго, кого обстоятельства позволяли съѣсть, будь то убитый на войнѣ врагъ или соплеменникъ, собственная жена, собственныя дѣти. Вся разница въ томъ, что за одними надо охотиться, а другія всегда подъ рукой, какъ у насъ домашній скотъ. Тутъ о нравственности, разумѣется, и рѣчи быть не можетъ, и можно говорить только о нравахъ. Но вотъ, напримѣръ, одинъ дикарь-людоѣдъ, на упрекъ европейца, отвѣтилъ: „А почему бы намъ не ѣсть враговъ, убитыхъ въ сраженіи, которые поступили бы съ нами точно также, если бы могли? Родственниковъ своихъ мы не ѣдимъ". У нѣкоторыхъ дикарей старики, доживъ до столь преклоннаго возраста, что уже не могутъ работать, охотиться, воевать, сами идутъ на смерть, а потомъ и на съѣденіе, чтобы не быть безполезнымъ бременемъ для своей семьи или для своего племени. Какъ бы ни были для насъ отвратительны всѣ степени людоѣдства и все, что съ нимъ связано, нельзя не видѣть, однако, что въ двухъ послѣднихъ случаяхъ мы имѣемъ уже зачатки морали; и именно потому, что въ первомъ случаѣ родственныя связи налагаютъ узду на людоѣдскіе аппетиты, а во второмъ человѣкъ жертвуетъ остатками своей жизни какимъ то, очевидно, высшимъ для него интересамъ. И ниже мы увидимъ, что всякая система морали, со включеніемъ и тѣхъ, которыя, повидимому, прямо, открыто строятся на эгоизмѣ, состоитъ именно въ требованіи уступокъ, жертвъ со стороны человѣческаго *я*. Такимъ образомъ эгоизмъ какъ будто дѣйствительно оказывается „природнымъ врагомъ всей нравственности". Это, впрочемъ, въ такой степени общеизвѣстно, что „эгоистъ" и „безнравственный человѣкъ"—почти синонимы въ нашемъ словесномъ обиходѣ.

Съ другой стороны, однако, много разъ, и часто съ блестящимъ успѣхомъ, доказывалось, что эгоизмъ есть та пружина, которою въ концѣ концовъ, въ послѣднемъ счетѣ, управляются всѣ человѣческія дѣйствія, и что его же имѣетъ въ своемъ основаніи всякая система морали; ибо, дескать, всякая такая система

Digitized by Google

со включеніемъ наиболѣе аскетическихъ, доходящихъ до послѣдняго буддійскаго предѣла—нирваны, конечною своею цѣлью имѣютъ личное благополучіе или, по крайней мѣрѣ, если таковое недостижимо, отсутствіе страданій. Эта аргументація тоже достаточно распространена и общеизвѣстна. И нельзя не признать, что ей очень легко поддается, напримѣръ, такое, повидимому, основанное на любви, самоотреченіи, самоотверженіи ученіе, какъ ученіе гр. Толстого. Графъ требуетъ отъ своихъ послѣдователей цѣлаго ряда жертвъ и самоотреченій, но вмѣстѣ съ тѣмъ обѣщаетъ имъ за эту цѣну умственное просвѣтлѣніе, спокойную совѣсть и физическое здоровье, то есть полное личное счастье. Это до такой степеня вѣрно, что многія его страницы съ успѣхомъ могли бы занять мѣсто въ трактатѣ не о нравственности, а о гигіенѣ. Или, напримѣръ, данный имъ толчокъ въ пользу „вегетаріанской кухни". Вегетаріанцы предлагаютъ множество блюдъ, столь же, по ихъ словамъ, питательныхъ, столь же или даже болѣе вкусныхъ, чѣмъ мясныя кушанья, плюсъ—спокойная совѣсть. Такого именно типа счастія искали и эпикурейцы въ древности, и Гельвецій и Гольбахъ въ новое время, открыто принимавшіе эгоизмъ за исходную точку морали.

Русскій поэтъ г. Минскій, вздумавъ заняться философіей, преимущественно нравственной, издалъ книжку подъ заглавіемъ „При свѣтѣ совѣсти", гдѣ, между прочимъ, изложилъ слѣдующія мысли: „Безгранична, какъ небесныя пространства, неизмѣрима, какъ вѣчность, сильна, какъ тяготѣніе звѣздъ, любовь каждаго къ самому себѣ". И потому: „самолюбіе было, есть и будетъ не порокомъ, не болѣзнью души, но ея верховнымъ, сокровеннѣйшимъ началомъ, неизмѣннымъ закономъ, управляющимъ всѣми ея движеніями отъ рожденія до кончины, хотя бы крестной". Такъ начинаетъ г. Минскій свое вступленіе въ область этики, но затѣмъ оказывается, что люди „ищутъ какъ бы отречься отъ себя, подчинить себя высшему началу, смириться, уничтожаться передъ чѣмъ-то, лежащимъ внѣ насъ",—передъ „святыней"; и „самоотреченіе для святыни совѣсть признаетъ истинно добрымъ и нравственнымъ".

Не такіе фокусы (ибо это не больше, какъ фокусъ, притомъ же очень не искусный) имѣлъ я въ виду, когда говорилъ, что всякая система морали, со включеніемъ и тѣхъ, которыя открыто строятся на эгоизмѣ, состоитъ въ требованіи жертвъ и уступокъ отъ чело-

Digitized by Google

вѣческаго я. Я разумѣлъ искреннихъ и серьезныхъ мыслителей, которые не уподобляются престидижаторамъ, вынимающимъ, къ изумленію публики, изъ пустой шляпы живую курицу или превращающимъ всю колоду картъ въ пиковыхъ дамъ, а дѣйствительно ищутъ отвѣта на вопросъ: „что нравственно, что безнравственно?“ Въ огромной литературѣ отвѣтовъ на этотъ вопросъ есть, если не ошибаюсь, только одно исключеніе, одна постановка вопроса о нравственности съ неуклонной эгоистической точки зрѣнія, доведенной до послѣднихъ логическихъ предѣловъ. Тѣмъ она для насъ, разумѣется, интереснѣе. Но она интересна и еще по нѣкоторымъ другимъ соображеніямъ, въ особенности въ настоящее время.

Въ 1845 г. вышла въ Лейпцигѣ книга, озаглавленная „Der Enzige und sein Eigenthum“. Поистинѣ удивительна судьба этой книги. Авторъ ея, нѣкто Каспаръ Шмидтъ, выступившій подъ псевдонимомъ Макса Штирнера, учитель по профессіи, не написалъ больше ничего замѣчательнаго и умеръ въ бѣдности и неизвѣстности въ 1856 г. При своемъ появленіи книга надѣлала большого шуму, вооруживъ противъ себя всѣ партіи, всѣ оттѣнки нравственно-политической мысли, такъ какъ ею рѣзко отрицались самыя основы нравственности и общежитія; но затѣмъ она быстро канула въ Лету, и въ сочиненіяхъ по исторіи философіи вообще и по исторіи нравственной философіи, равно какъ по исторіи литературы, или совсѣмъ молчаніемъ обходится, или поминается нѣсколькими незначительными словами. Только въ 1882 г., то есть почти черезъ сорокъ лѣтъ, понадобилось второе изданіе. Къ сожалѣнію, мнѣ неизвѣстно это новое изданіе, вѣроятно, мотивированное въ предисловіи. Но, во всякомъ случаѣ, будущіе историки философіи и литературы должны будутъ извлечь Макса Штирнера изъ мрака забвенія, хотя бы уже въ силу извѣстной родственности его взглядовъ съ философіей Фридриха Ничше, нынѣ такъ многихъ занимающей даже у насъ, не говоря о Европѣ. Отголоски Макса Штирнера, вмѣстѣ съ Ничше или безъ него, явственно слышатся во французской литературѣ, особенно у Барреса, и, повидимому, въ шведской, особенно у Стриндберга, а въ одномъ фельетонѣ „Journal de Débats“ я прочелъ слѣдующую цитату изъ статьи нѣкоего Теодора Рандаля въ „Entretiens politiques et littéraires“ 1892 г.: „Достаточно прочитать эту книгу („Der Enzige und sein Eigenthum“), чтобы тотчасъ почувствовать

Digitized by Google

себя очищеннымъ отъ грѣха, обезпеченнымъ отъ заблужденія и свободнымъ отъ всякаго ига; чтобы стать свободнымъ человѣкомъ, какимъ былъ авторъ, быть можетъ единственный въ нашемъ вѣкѣ". Авторъ цитаты не совсѣмъ логиченъ, утверждая, что стоитъ только прочесть книгу единственнаго въ нашемъ вѣкѣ человѣка, чтобы ему уподобиться, то есть стать тоже единственнымъ, а, слѣдовательно, не единственнымъ. Но дѣло не въ этомъ, а въ томъ удивительномъ скачкѣ со дна Леты, который дѣлаетъ въ наше время книга Макса Штирнера. И этотъ скачокъ, и предъидущее полное забвеніе послѣ кратковременнаго интереса, возбужденнаго книгой, слишкомъ ярки, чтобы объясняться простою случайностью, по пословицѣ „habent sua fata libelli". Это не fata, а знаменіе времени.

Максъ Штирнеръ объявляетъ себя эгоистомъ и ставитъ въ центрѣ своей нравственной философіи не человѣка или человѣчество, не индивидъ или личность, не абсолютное *я* Фихте, а *свое я*, съ точки зрѣнія котораго подвергаетъ жестокой критикѣ всѣ общественные союзы и всѣ оттѣнки нравственно-политической мысли своего времени: либераловъ и консерваторовъ, націоналистовъ и соціалистовъ, Фейербаха и Бруно Бауера, Прудона и Маркса. Въ предисловіи, озаглавленномъ „Jch hab' mein, Sach auf Nichts gestellt", что уже само по себѣ характерно, авторъ съ рѣзкою грубостью объявляетъ, что не признаетъ ничего надъ собой, надъ своимъ *я*. Но здѣсь, въ предисловіи, онъ прибѣгаетъ, для обоснованія своего эгоизма, къ пріему аналогіи, который почти не встрѣчается въ самой книгѣ и въ извѣстномъ смыслѣ даже противорѣчитъ ея духу. Онъ беретъ рядъ отвлеченныхъ понятій и коллективныхъ существъ, служеніе, почтеніе, преданность которымъ люди обращаютъ въ свой идеалъ или въ свой нравственный долгъ, и, придавая этимъ отвлеченнымъ понятіямъ и коллективнымъ существамъ реальное бытіе, старается доказать, что они дѣйствуютъ всегда эгоистически, ни объ чемъ и ни объ комъ, кромѣ самихъ себя, не заботясь. Человѣчество, напримѣръ, или „народъ" (das Volk) живутъ, развиваются, процвѣтаютъ, не соображаясь съ *моими* интересами и вообще съ интересами индивидуума, и часто на ихъ погибели строятъ свое благополучіе. Съ какой же стати я, индивидъ, буду поступать иначе? Шаткость этого аргумента отъ аналогіи слишкомъ очевидна, чтобы стоило тратить время на его опроверженіе. Если

Digitized by Google

даже допустить, что отвлеченныя понятія и коллективныя существа имѣютъ реальное бытіе и соотвѣтственное сознаніе и что между ними нѣтъ и не можетъ быть такого, которое принимало бы въ соображеніе интересы личности, вообще какіе бы то ни было чужіе интересы, то это еще не резонъ, чтобы личность должна была слѣдовать ихъ примѣру. Это еще надо доказать, а Максъ Штирнеръ ничего въ своемъ предисловіи не доказываетъ, а только утверждаетъ, и по истинѣ auf Nichts. Впрочемъ, въ самой книгѣ онъ занимаетъ совершенно другую и даже противоположную логическую позицію для обоснованія эгоизма.

Мы не можемъ привести всѣ, даже главнѣйшія, черты аргументаціи Макса Штирнера, да въ этомъ нѣтъ и надобности для уразумѣнія общаго характера его книги. Постараемся выдѣлить лишь то, что, съ одной стороны, можетъ объяснить странную судьбу книги, а съ другой—можетъ быть такъ или иначе приведено въ связь съ философіей Ничше.

Спрашивается, люди—эгоисты въ дѣйствительности, или только должны быть таковыми, должны стремиться стать таковыми, въ силу моральной теоріи Макса Штирнера? И то, и другое. Авторъ полагаетъ, что люди эгоисты по кореннымъ свойствамъ своей природы и ничѣмъ инымъ быть не могутъ. Но большинство людей—эгоисты, какъ онъ ихъ въ разныхъ мѣстахъ своей книги называетъ, „безсознательные", „половинчатые", „лицемѣрные", наконецъ, „одержимые" (besessene). Они создали или приняли на вѣру или притворяются, что вѣрятъ въ цѣлый сонмъ отвлеченныхъ понятій, идей, идеаловъ, святынь, которыя связываютъ ихъ по рукамъ и по ногамъ, требуютъ преданности, самоотверженія, тогда какъ единственная реальность для человѣка есть его *я*. Такимъ образомъ оказываются лишенными реальнаго бытія тѣ самыя отвлеченныя понятія и коллективныя существа, подражать которымъ намъ рекомендовалось въ предисловіи. Оказывается теперь, что только *я* реально, именно *я*, а не „человѣкъ", потому что человѣка вообще на свѣтѣ нѣтъ, это то же отвлеченное понятіе, больше того—ein Spuk, фантомъ, и антропософія Фейербаха есть только новый видъ теософіи. Человѣка нѣтъ, а есть Иванъ, Петръ, Сидоръ, словомъ рядъ *я*. Полемику съ Фейербахомъ на этой почвѣ авторъ ведетъ такъ тщательно и вмѣстѣ съ тѣмъ страстно, что, повидимому, это именно обстоятельство дало поводъ одному историку философіи сказать: „Иронической

Digitized by Google

каррикатурой фейербаховой критики религіи было отрицаніе нравственности въ угоду эгоизма Максомъ Штирнеромъ“ (Иберегъ-Гейнце, „Исторія новой философіи“). Но Штирнеръ и не думалъ объ ироніи или каррикатурѣ и не сосредоточивалъ своей полемики на Фейербахѣ. Съ соціалистами, напримѣръ, онъ ведетъ такой воображаемый разговоръ: „Кто-та личность, которую вы называете „всѣ“?— Общество.—Есть у него тѣло? — Мы составляемъ его тѣло.—Вы? да вы и сами не тѣло; ты, правда, имѣешь тѣло, и ты, и ты, но вмѣстѣ вы тѣла, а не тѣло“. Словомъ, всѣмъ направленіямъ мысли Штирнеръ противопоставляетъ личное мѣстоименіе перваго лица и другимъ рекомендуетъ признать „всемогущество“ своего *я*. Онъ взываетъ къ людямъ: „Тысячелѣтія культуры омрачили васъ, заставили васъ думать, что вы не эгоисты, а призваны быть идеалистами („добрыми людьми“). Бросьте это! Не ищите свободы въ самоотверженіи, ищите *себя*, будьте эгоистами, пусть каждый изъ васъ станетъ всемогущимъ *я*. Яснѣе: познайте только себя и откиньте ваши лицемѣрныя стремленія и вашу глупую страсть быть чѣмъ-то отличнымъ отъ того, что вы есть. Я называю эти стремленія лицемѣрными, потому что эти тысячелѣтія вы были все-таки эгоистами, но апатичными, самообманывающимися или сумасшедшими“. Для историка философіи полемика Штирнера съ Фейербахомъ представляетъ можетъ быть особенный интересъ, въ виду тѣхъ діалектическихъ тонкостей и той логической послѣдовательности, съ которыми онъ разграничиваетъ понятія: „человѣкъ“ и „я“. Но не менѣе діалектической ловкости и логической послѣдовательности обнаруживаетъ онъ, полемизируя съ „политическимъ либерализмомъ“ своего времени (Фейербаховское теченіе онъ называетъ „гуманнымъ либерализмомъ“, а соціалистическое—„соціальнымъ либерализмомъ“). То было въ Германіи время крайняго и чрезвычайно сложнаго политическаго возбужденія, когда готовились уже, во ожиданіи окончательнаго толчка изъ Франціи, событія 1848 года. Различные оттѣнки политическаго либерализма, до республиканскаго включительно, осложнялись идеей національнаго единства и, подкапываясь подъ существующій строй, въ свою очередь подкапывались соціалистическими и коммунистическими теоріями. Въ этомъ сложномъ и разноголосомъ хорѣ Максъ Штирнеръ занялъ совершенно особое положеніе. Онъ воспользовался и тѣми аргументами противъ по-

Digitized by Google

литическаго либерализма, которые выставила соціалистическая критика, но такъ какъ онъ и съ соціалистами отнюдь не единомыслилъ, то представилъ и такіе доводы, которые были вовсе не въ ихъ духѣ.

Политическій и экономическій либерализмъ училъ, что благо личности совпадаетъ съ благомъ общества, и именно государства, если послѣднее даетъ полный просторъ игрѣ индивидуальныхъ силъ, ограничиваясь ролью охранителя личныхъ правъ. Таково ученіе либерализма въ его первоначальномъ, чистомъ видѣ,—впослѣдствіи оно сдѣлало многія уступки. Соціалисты называли это „индивидуализмомъ", каковое названіе и сами либералы охотно принимали. Индивидуалисты, или еще „атомисты", они потому, что стремятся къ разложенію старыхъ общественныхъ единицъ, каковы цехъ или земельная община, возстаютъ противъ новыхъ союзовъ этого рода и разлагаютъ „государство" или „націю" на ихъ атомы. Такимъ образомъ, „свободное государство" представляется единымъ скопленіемъ свободныхъ и равноправныхъ гражданъ, индивидовъ. Съ теченіемъ времени, однако, опытъ показалъ, что личность, выбившаяся изъ узъ сословія, цеха, общины, попадаетъ въ тиски нѣкотораго цѣлаго, названнаго однимъ писателемъ „системою наибольшаго производства", которая давитъ на нее, свободную и равноправную личность, въ своемъ родѣ не менѣе тяжко, чѣмъ старыя, разрушенныя общественныя единицы. Едва-ли поэтому приличествуетъ этой системѣ названіе индивидуализма. Но мы не будемъ теперь объ этомъ распространяться, тѣмъ болѣе, что Штирнеръ подходитъ къ дѣлу съ другой стороны. Онъ разсуждаетъ такъ. Старый порядокъ держалъ личность въ зависимости отъ мелкихъ общественныхъ единицъ, каковы сословія, цехи, общины, города. Она должна была прежде всего подчиниться извѣстному esprit de corps и уже черезъ посредство его входила въ составъ крупной общественной единицы—государства. Этому положило конецъ такъ называемое третье сословіе, имѣвшее мужество отринуть себя, какъ сословіе, и объявить себя „націей". При этомъ много говорилось о свободѣ, но дѣло сводится къ тому, что личность стала свободна отъ произвола другихъ личностей, но тѣмъ сильнѣе оказалась во власти „свободнаго государства" или „націи", представляемой буржуазіей. Каждый обязывается быть добрымъ „гражданиномъ", слугою буржуазнаго государства. (По нѣмецки это выходитъ ярче:

Digitized by Google

„Bürger“—гражданинъ, „Bürgerthum“—буржуазія). Только въ качествѣ добраго гражданина я имѣю извѣстныя предоставленныя мнѣ конституціей или закономъ права, а не въ качествѣ Ивана, Сидора, Петра. Но и вообще, чѣмъ свободнѣе народъ (das Volk), тѣмъ связаннѣе единица. Это положеніе Штирнеръ иллюстрируетъ примѣромъ аѳинянъ, которые въ пору наибольшей своей свободы создали остракизмъ, изгоняя свободныхъ мыслителей и отравили Сократа.

Эгоисты-практики думаютъ, конечно, только о себѣ, о своемъ „я“, лишь надѣвая маску патріотизма или какого иного нравственнаго долга. Но теоретики эгоизма, строющіе на немъ систему морали, стремятся такъ или иначе связать личное благополучіе съ общимъ, что и называется „гармоніей интересовъ“. Правда, Мандевиль, въ своей знаменитой „Баснѣ о пчелахъ“ доказывалъ, что не только нищета и страданія, но и пороки—подкупность, властолюбіе, развратъ отдѣльныхъ личностей служатъ къ процвѣтанію цѣлаго, общества, государства. Но Штирнеръ не удостоиваетъ даже упомянуть о „Баснѣ и пчелахъ“, какъ, впрочемъ, не говоритъ и о другихъ теоретикахъ эгоизма. Въ упомянутомъ уже фельетонѣ „Journal des Débats“ (отъ 16 марта 1893 года; фельетонъ, очень поверхностный, подписанъ J. Bourdeau) цитируетъ, въ связи со Штирнеромъ и Ничше, книгу нѣкоего Гереке „Die Aussichtslosigkeit des Moralismus“: „Всемірная исторія учитъ насъ, что нравственный народъ почти всегда народъ неумный, онъ ничего не создаетъ, не прогрессируетъ. Аппетиты (les désirs), жажда наслажденія безъ нравственной оглядки,—вотъ почва, на которой растутъ и цвѣтутъ роскошнѣйшіе цвѣты ума“. Изъ фельетона недостаточно ясно отношеніе автора этой поистинѣ безстыжей тирады къ Штирнеру, но, во всякомъ случаѣ, это Мандевилевскій выводъ, а не Штирнеровскій. Общаго между Мандевилемъ и Штирнеромъ только идея о противоположности интересовъ личности и общества, но то цѣлое, процвѣтаніе котораго Мандевиль строилъ на бѣдности, страданіяхъ и порокахъ составляющихъ его единицъ, есть съ точки зрѣнія Штирнера такой же Spuk, какъ и всякое другое, и заботиться о его благополучіи онъ не сталъ бы. Да и личность есть Spuk: существую только я, такой-то, имярекъ, и я, только я—носитель всякаго права. Это центръ всей книги Макса Штирнера. Такимъ образомъ Штирнеръ оставляетъ далеко за собой

Digitized by Google

Гоббса съ его bellum omnium contra omnes, ибо для Гоббса это было только „естественное состояніе“, а не результатъ вѣковой цивилизаціи, выработавшей, казалось бы, путемъ безчисленныхъ жертвъ совсѣмъ иные принципы общежитія и нравственной дѣятельности.

Мнѣ въ принципѣ принадлежитъ *все*, все есть моя *собственность*, моя и никого другого, но въ дѣйствительности мнѣ принадлежитъ то, что я могу взять. Подъ собственностью, Eigenthum, Штирнеръ разумѣетъ не только извѣстное юридическое и экономическое понятіе, а опять-таки *все*. Такъ, напримѣръ, онъ говоритъ: „Я въ тебѣ ничего не признаю и не уважаю, ни собственника, ни бѣдняка, ни человѣка, я тебя *потребляю*. Я нахожу, что соль придаетъ моей пищѣ вкусъ, и потому солю ее; въ рыбѣ я вижу питательный матеріалъ и потому ѣмъ ее; въ тебѣ я открываю способность скрашивать мою жизнь и потому выбираю тебя въ товарищи. Или: на соли я изучаю кристализацію, на рыбѣ—животныхъ, на тебѣ людей, и т. д. Ты для меня именно то, что ты есть,—мой предметъ и, какъ *мой* предметъ—моя собственность“.

Такихъ чудовищно циническихъ рѣчей міръ не слыхалъ. Въ принципѣ нѣтъ, значитъ, нравственныхъ препятствій, пожалуй, даже и для людоѣдства, если я увижу въ своемъ ближнемъ не „способность скрашивать мою жизнь“, а „питательный матеріалъ“. Естественно вытекающее изъ всего вышеприведеннаго презрѣніе къ слабымъ и возвеличеніе сильныхъ получаетъ свое окончательное развитіе у Ничше. Но и Штирнеръ презираетъ слабыхъ и возвеличиваетъ сильныхъ. Иногда онъ это дѣлаетъ въ такой формѣ, что не согласиться съ нимъ нельзя; такъ, напримѣръ, когда онъ говоритъ о „сильномъ“, рубящемъ священное дерево передъ глазами „слабыхъ“, „преданныхъ“ этой святынѣ язычниковъ. Но дѣло въ томъ, что „преданность“ чему бы то ни было, кромѣ своего „я“, и „слабость“—для него синонимы. „Слабы самоотверженные“, говоритъ онъ. „Тотъ недостоинъ имѣть, кто по слабости позволяетъ у себя взять, недостоинъ, потому что неспособенъ“. „Совѣсть есть шпіонъ“.

Отрицая всѣ общественныя формы, какъ существующія, такъ и проектируемыя, Штирнеръ отрицаетъ и партіи. Онъ беретъ подъ свою защиту перебѣжчиковъ, ренегатовъ и апостатовъ или, по крайней мѣрѣ, протестуетъ противъ того клейма безправ-

Digitized by Google

ственности, которое накладывается на нихъ общественнымъ мнѣніемъ. Онъ употребляетъ при этомъ очень ловкій пріемъ, указывая на то, что перебѣжчики всегда охотно принимаются той стороной, къ которой они перебѣжали, да и всякая партія своей пропагандой зазываетъ къ себѣ перебѣжчиковъ, а слѣдовательно, дескать, никто въ дѣйствительности не считаетъ ихъ людьми безнравственными. Штирнеръ упускаетъ изъ виду, что въ самомъ фактѣ перемѣны убѣжденій никто не видитъ чего-нибудь безнравственнаго и что люди всегда отличаютъ новообращеннаго Савла отъ Іуды.

Любопытенъ еще отвѣтъ Штирнера на заданный имъ себѣ отъ имени читателей вопросъ: зачѣмъ онъ пишетъ? Онъ говоритъ: „Не изъ любви-ли къ вамъ стараюсь я, по мѣрѣ моихъ силъ, разсѣять омрачающіе васъ фантомы и предразсудки? Не изъ любви-ли къ людямъ пишу я? Нѣтъ, я пишу потому, что хочу дать существованіе на свѣтѣ *моимъ* мыслямъ; и если бы я предвидѣлъ, что эти мысли нарушатъ ваше спокойствіе, если бы кровавыя войны и погибель многихъ поколѣній должны были вырости изъ посѣва этихъ мыслей, я все-таки высказалъ бы ихъ. Дѣлайте съ ними, что хотите, это ваше дѣло и меня не касается... Но не только не ради васъ, а и не ради истины высказываю я то, что думаю. Нѣтъ... Я пою, потому что я пѣвецъ, и вы мнѣ нужны, потому что мнѣ ваши уши нужны“.

Всѣ эти гордыя рѣчи говорилъ скромный учитель (и, кажется, въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ), ничѣмъ себя, кромѣ одной книги, не ознаменовавшій и, несмотря на весь свой радикализмъ, не принимавшій никакого или, по крайней мѣрѣ, сколько нибудь замѣтнаго участія въ бурныхъ политическихъ событіяхъ своего времени. Но онъ, повидимому, на что-то разсчитывалъ въ этомъ родѣ. Въ книгѣ есть слѣдующая лирическая страница.

„Въ ту минуту, какъ я пишу это, начинаютъ звонить колокола, чтобы возвѣстить на завтра торжество тысячелѣтняго существованія нашей дорогой Германіи *). Звоните, звоните ей похоронную пѣсню! Вы такъ торжественно звоните, какъ будто вашими языками движетъ мысль о погребальныхъ проводахъ. Нѣмецкій народъ и нѣмецкіе народы имѣютъ за собой тысяче-

*) Германія праздновала свое тысячелѣтіе въ 1843 году.

Digitized by Google

лѣтнюю исторію. Какая долгая жизнь! Идите же на покой, на вѣчный покой, и пусть будутъ свободны всѣ, кого вы такъ долго держали въ оковахъ. Умеръ *народъ*—да здравствую *я*! О ты, мой измученный нѣмецкій народъ, въ чемъ состояла твоя мука? То была мука идеи, не могущей создать себѣ тѣло, мука фантастическаго духа, исчезающаго при каждомъ крикѣ пѣтуховъ и все-таки стремящагося къ бытію. И во мнѣ ты долго жилъ, ты—дорогой фактомъ, ты—дорогая идея. Я уже почти мечталъ, что нашелъ слово для твоего избавленія, нашелъ плоть и кровь для блуждающаго духа. Но вотъ я слышу звонъ колоколовъ, провожающихъ тебя на вѣчный покой, исчезаетъ послѣдняя надежда, изсякаетъ послѣдняя любовь, и я ухожу изъ пустыннаго дома покойниковъ къ живымъ. Прощай, мечта милліоновъ людей, прощай, тиранъ своихъ дѣтей! Завтра положатъ тебя въ гробъ, скоро послѣдуютъ за тобой твои братья. А съ ними будетъ похоронено человѣчество, и я стану самъ себѣ принадлежать, я—твой смѣющійся наслѣдникъ!"

Комическое впечатлѣніе производитъ эта красивая страница, если вспомнить, что гордое „я" Макса Штирнера, противопоставлявшее себя всему міру и весь міръ вызывавшее на бой, такъ скоро затушевалось забвеніемъ, неизвѣстностью, нищетою, а политическая Германія расцвѣла новымъ пышнымъ цвѣткомъ. Максъ Штирнеръ пошелъ, какъ ключъ ко дну, въ бурныхъ волнахъ современной ему жизни, болѣе, чѣмъ когда-нибудь, искавшей общественнаго идеала. Но черезъ сорокъ лѣтъ онъ вынырнулъ въ той же Германіи въ образѣ Фридриха Ницше, который, правда, кончилъ сумасшествіемъ, но уже не только заставилъ говорить о себѣ, а встрѣтилъ восторженныхъ слушателей, почитателей, практическихъ послѣдователей. Это, конечно, знаменательно и характерно для нашего времени...

Надо только помнить, что успѣхъ идеи еще отнюдь не составляетъ ея оправданія. Напротивъ, онъ можетъ служить ея осужденіемъ, какъ оно и есть въ данномъ случаѣ.

Максъ Штирнеръ не обнаружилъ, конечно, большой прозорливости или чуткости, предсказывая чуть не буквально на завтрашній день смерть и похороны Германіи. Гораздо, повидимому, правѣе оказались тѣ нѣмецкіе патріоты сороковыхъ годовъ, которые мечтали о великой и единой Германіи: вотъ вѣдь она, эта великая и единая Германія, на-лицо. Не надо, однако, упускать

Digitized by Google

изъ виду, что эта созданная Бисмаркомъ Германія не имѣетъ ничего общаго съ мечтою нѣмецкихъ патріотовъ сороковыхъ годовъ...

Мы не имѣемъ свѣдѣній о Штирнерѣ, о его личности и жизни. Знаемъ только, что онъ былъ неудачникъ и умеръ въ неизвѣстности и нищетѣ. Книга его посвящена „Meinem Liebchen Marie Döhnhart", но извѣстно, что Liebchen'ы не всегда скрашиваютъ одиночество и сиротство, и можетъ быть Штирнеръ былъ въ жизни такой же Einziger лично, какъ и его книга въ нравственно-политической литературѣ, какъ и самое заглавіе его книги. Я это говорю только мимоходомъ и чтобы напомнить читателю нашу предъидущую бесѣду о Раскольниковѣ и „выдающейся женщинѣ". Непосредственно и увѣренно связывать характеръ книги Штирнера съ его личною судьбою я не думаю, во-первыхъ, потому, что объ этомъ можно только догадываться, а во-вторыхъ, потому, что иного сиротство можетъ натолкнуть на совсѣмъ другой ходъ мыслей. Но то обстоятельство, что современникамъ Штирнера оказался совершенно чуждъ строй его мысли, даетъ все-таки нѣкоторое право думать, что на его книгѣ лежитъ печать чего-то, исключительно личнаго. И, дѣйствительно, въ *общественной* атмосферѣ того времени не было ничего питающаго это горделивое сиротство одинокаго *я*. Напротивъ, то было, какъ уже сказано, время напряженнѣйшей вѣры въ очень разнообразные и другъ другу противорѣчащіе, но именно общественные идеалы. Сироты фактически были и тогда, но они были богаты надеждами на единеніе. Знаменитый возгласъ: „einiget euch!" былъ девизомъ не только въ той сферѣ, въ которой онъ раздался. И понятно, что книга Штирнера не ко двору пришлась. Для нашей читающей публики, для которой успѣхъ и „послѣднее слово" такъ много значатъ, судьба книги Штирнера особенно поучительна. Философія Фридриха Ничше есть „послѣднее слово", но Ничше въ значительной своей части предвосхищенъ Максомъ Штирнеромъ. И возрожденіе Штирнера свидѣтельствуетъ не о томъ, что въ его книгѣ содержится истина, а о томъ, что мы переживаемъ трудное время шатанія общественныхъ идеаловъ и эгоистической разнузданности.

Между Штирнеромъ и Ничше есть, однако, одна, очень существенная разница, помимо того, что все литературное наслѣдство перваго состоитъ изъ одной книги, а Ничше написалъ цѣ-

Digitized by Google

лый десятокъ томовъ. Говоря о Штирнерѣ, Ланге („Geschihte des Materialismus") замѣчаетъ: „Жаль, что у этой книги—самой крайней, какую мы только знаемъ—нѣтъ второй, положительной части. Написать ее было-бы легче, чѣмъ такое же добавленіе къ философіи Шеллинга, потому что изъ безграничнаго „я" можно, какъ мою волю и мое представленіе,—вновь возродить всякаго рода идеализмъ. Онъ такъ подчеркиваетъ волю, что она становится коренною силою человѣческаго существа. Онъ можетъ напомнить Шопенгауера". И если Штирнеръ оказывается единственнымъ теоретикомъ эгоизма, выдержавшимъ свою точку зрѣнія отрицанія всякой жертвы со стороны человѣческаго „я", всякой преданности какому бы то ни было идеалу, такъ именно потому, что онъ только отрицаніемъ и ограничился. Ничше, напротивъ, даетъ нѣчто положительное. Совпалъ-ли бы Штирнеръ въ этомъ отношеніи съ Ничше, если бы написалъ свою вторую часть, судить трудно; мнѣ кажется, нѣтъ. Во всякомъ случаѣ и теперь у Штирнера есть отдѣльные, правда, очень слабые и разбросанные намеки на какія-то уступки. Такъ, напримѣръ, говоря о непреклонномъ правѣ собственности (въ его смыслѣ слова), онъ пишетъ: „Что я держу въ своей власти, то и есть моя собственность. Уходитъ изъ моей власти какой-нибудь предметъ,—безразлично, какою силою, напримѣръ, *въ силу моего признанія чужого права на предметъ*,—право собственности погашено". Или: „я съ благодарностью принимаю все, что дали мнѣ вѣка образованія; ничего изъ этого наслѣдства я устранить не хочу: я не даромъ жилъ. Не пропадетъ для меня и опытъ, что я имѣю власть надъ своей природой, что мнѣ нѣтъ надобности быть рабомъ своихъ страстей". Или еще: „Я тоже люблю людей, и не отдѣльныхъ людей, а всякаго. Но я люблю ихъ съ сознаніемъ эгоизма. Я люблю ихъ, потому что эта любовь доставляетъ мнѣ счастіе, потому что любовь во мнѣ естественна, потому что мнѣ такъ нравится. „Закона любви" я не знаю. Я сочувствую каждому чувствующему существу, и его мука мучаетъ меня, а радость радуетъ. Видя страданія любимаго человѣка, я самъ страдаю и не могу успокоиться, пока не испробую всего, чтобы его утѣшить и развеселить; если онъ веселъ, я радуюсь его веселью. Изъ этого не слѣдуетъ, что меня удручаетъ или радуетъ тотъ самый предметъ, который приводитъ въ это состояніе его. Уже при каждомъ физическомъ страданіи ясно, что я чувствую не такъ, какъ

Digitized by Google

онъ: у него болитъ зубъ, а мнѣ больна его боль. Если я вижу горькую морщину на лбу любимаго человѣка, я снимаю ее поцѣлуемъ. Но если бы я не любилъ его, онъ можетъ сколько угодно морщиться, меня это нисколько не трогаетъ: я устраняю *свое* горе". Наконецъ Штирнеръ, отрицая всякое „общество", Gesellschaft, говоритъ, хотя и очень темно, сочувственно о какихъ-то „союзахъ", Vereine. Правда, это будутъ „союзы эгоистовъ", но если въ нихъ будутъ снимать поцѣлуями горькія морщины со лба и уступать другъ другу свои права, такъ дѣло еще не такъ страшно...

Изъ этого видно, какъ правъ былъ Ланге, утверждая, что на неограниченномъ „я" Макса Штирнера могла бы быть построена цѣлая законченная идеалистическая система. Изъ этого видно также, что исключительное положеніе книги Штирнера въ нравственно-политической литературѣ есть только кажущееся исключеніе изъ общаго правила: мораль начинается съ того момента, когда человѣческое я накладываетъ на себя какую-нибудь узду. Штирнеръ пересталъ бы быть въ этомъ отношеніи исключеніемъ, если-бы написалъ вторую, положительную часть своей книги. Но это еще не рѣшаетъ вопроса о нравственной цѣнности тѣхъ идеаловъ, которые онъ въ такомъ случаѣ предъявилъ бы.

XIV *).

О г. П. Струве и его „Критическихъ замѣткахъ по вопросу объ экономическомъ развитіи Россіи".

Я вчитывался въ странныя, то глубокомысленныя, то лишенныя всякаго смысла, то истинно художественныя, то безобразныя сочиненія Ничше, въ разсчетѣ исполнить давнишнее обѣщаніе читателямъ „Русскаго Богатства" и познакомить ихъ съ этимъ удивительнымъ писателемъ. Но нашему брату-журналисту, обреченному откликаться на разнообразнѣйшія явленія литературы и жизни, трудно сосредоточиться на той или на другой темѣ, не отвлекаясь въ стороны. И чѣмъ шире тема,—а сочиненія Ничше въ цѣломъ представляютъ очень широкую тему,—тѣмъ соблазнительнѣе привести съ ней въ связь многое, просто случайно, по дорогѣ подвертывающееся, особенно, если это случайно

*) 1894, октябрь.

Digitized by Google

подвернувшееся и само по себѣ имѣетъ или имѣло для васъ значеніе.

Только что вышла книжка г. П. Струве: „Критическія замѣтки по вопросу объ экономическомъ развитіи Россіи“; книжка во многихъ отношеніяхъ чрезвычайно интересная. Я отнюдь не думаю бесѣдовать объ ней, такъ сказать, вплотную, тѣмъ болѣе, что мы имѣемъ пока только первый выпускъ, и сколько ихъ будетъ еще, а слѣдовательно, и какую долю всего, что желаетъ сказать г. Струве, составляетъ этотъ выпускъ,—неизвѣстно. Но нѣсколько замѣчаній я себѣ позволю.

Прежде всего одна ничтожная сама по себѣ мелочь, но которая à la longue, наконецъ, просто надоѣдаетъ. Г. Струве, цитируя какого-нибудь писателя, любитъ испещрять свои цитаты вопросительными и восклицательными знаками. Иногда эти знаки препинанія должны выражать его несогласіе съ мыслью цитируемаго писателя, и тогда, они, конечно, законны, хотя и то, признаться, надоѣдаютъ своей многочисленностью. Но иногда г. Струве замахивается вопросительнымъ знакомъ просто надъ словомъ, которое, по его мнѣнію, неудачно или неправильно выражаетъ по-русски извѣстную мысль. Эта молчаливая, но тѣмъ не менѣе выразительная грамматическая критика, представляющая нѣкоторую роскошь въ трактатѣ объ экономическомъ развитіи Россіи, быть можетъ, особенно неумѣстна въ произведеніяхъ г. Струве. До сихъ поръ онъ былъ больше нѣмецкій писатель, чѣмъ русскій, и въ настоящей своей работѣ употребляетъ иногда нѣмецкія слова, когда ихъ очень легко сказать по-русски (напримѣръ, на стр. 54 Auseinandersetzung или на стр. 10 zwingend), а по-русски онъ можетъ выразиться, напримѣръ, такъ: „Національная система“ Листа—побѣдная пѣснь торжествующаго товарнаго производства, во всеуслышаніе провозглашающая его культурно-историческую мощь и побѣдоносное шествіе по всѣмъ языкамъ“ (124). Это „шествіе по языкамъ“ обязываетъ, повидимому, г. Струве къ нѣкоторой скромности по части русской грамоты. А между тѣмъ онъ чрезвычайно строгъ. Напримѣръ, одну мою фразу онъ цитируетъ такъ: „Современный экономическій порядокъ въ Европѣ началъ складываться еще тогда, когда наука, завѣдующая (?) этимъ кругомъ явленій, не существовала и когда нравственныя идеи были крайне грубаго свойства“. Что удивило „шествующаго по всѣмъ языкамъ“ г. Струве во фразѣ: политическая экономія *за-*

Digitized by Google

вѣдуетъ кругомъ явленій экономическаго порядка? По-нѣмецки это можетъ быть не хорошо, а по-русски, увѣряю васъ, г. Струве, ни въ комъ вопроса не возбуждаетъ и вопросительнаго знака не требуетъ. Одинъ нѣмецъ спросилъ другого нѣмца, выходившаго изъ парикмахерской, что онъ дѣлалъ? Тотъ отвѣчалъ почему-то по-русски: „стригнулся". Вопрошавшій поправилъ: по-русски надо сказать не „стригнулся", а „стриговался". Я надѣюсь, что это были очень почтенные нѣмцы, можетъ быть доктора философіи, у которыхъ я долженъ многому учиться, но вѣдь не русскому же языку! А между тѣмъ, у насъ къ инкрустаціи вопросительныхъ и восклицательныхъ знаковъ въ цитаты изъ русскихъ писателей чаще всего прибѣгаютъ „шествующіе по всѣмъ языкамъ" инородцы: г. Струве, г. Слонимскій, г. Волынскій. Я могу, наконецъ, протествовать противъ этого, потому что, во-первыхъ, это просто скучно становится, а во-вторыхъ, потому, что я всегда готовъ у всякаго инородца поучиться тому, что онъ знаетъ, и почтить въ немъ тѣ достоинства, которыми онъ обладаетъ. И самого г. Струве „справедливость обязываетъ сказать, что г. Михайловскому всякій націонализмъ былъ всегда совершенно чуждъ" (15).

Это, конечно, совсѣмъ мимоходомъ и не спеціально по адресу г. Струве.

Въ книжкѣ г. Струве меня пріятно поразило слѣдующее признаніе относительно исповѣдуемой имъ доктрины экономическаго матеріализма или „матеріалистическаго пониманія исторіи": „Мы не можемъ не признать, что *чисто философское обоснованіе* (курсивъ, какъ и ниже, принадлежитъ г. Струве) этого ученія еще не дано, и что оно еще не справилось съ тѣмъ огромнымъ конкретнымъ матеріаломъ, который представляетъ всемірная исторія. Нуженъ, очевидно, *пересмотръ фактовъ* съ точки зрѣнія новой теоріи; нужна *критика теоріи* на фактахъ. Быть можетъ, многія односторонности и слишкомъ поспѣшныя обобщенія будутъ оставлены. Но зерно ученія является, на нашъ взглядъ, вѣрнымъ". (46). Итакъ, матеріалистическое пониманіе исторіи пока еще не оправдано ни философскою мыслью, ни фактически, но содержитъ въ себѣ, *на нашъ взглядъ*, на взглядъ г. Струве, вѣрное *зерно*. Привѣтствую эту добросовѣстность и скромность. Привѣтствовалъ бы еще сильнѣе, если бы эти качества отражались въ самой книжкѣ. Къ сожалѣнію, этого нѣтъ, и въ дальнѣйшемъ изложеніи г. Струве разсуждаетъ такъ, какъ будто философски не обоснованная и фактически не

Digitized by Google

провѣренная теорія не подлежитъ рѣшительно никакимъ сомнѣніямъ. Въ самомъ предисловіи, которое вѣдь всегда есть послѣсловіе, г. Струве объявляетъ, что его задача исключительно полемическая и что „полемика эта, являясь принципіальной, очень часто не могла быть ничѣмъ инымъ, какъ прямымъ противопоставленіемъ двухъ совершенно различныхъ точекъ зрѣнія, такъ какъ contra principia negantem disputari non potest“. И эти двѣ совершенно противоположныя точки зрѣнія суть: съ одной стороны, „стройное соціологическое міровоззрѣніе, традиціонно господствующее въ нашей прогрессивной литературѣ“, а съ другой—теорія экономическаго матеріализма или матеріалистическаго пониманія исторіи. Какъ для вѣрующаго мусульманина достаточно простого сопоставленія той или другой предлагаемой ему мысли съ тѣмъ или другихъ изреченіемъ Корана, чтобы признать ее правильной или неправильной,—ибо Аллахъ великъ и Магометъ пророкъ его,—такъ и г. Струве „очень часто“ довольствуется противопоставленіемъ, которое и рѣшаетъ для него вопросъ. Такъ что даже непонятно, зачѣмъ онъ отдалъ дань справедливости, говоря о философской необоснованности и фактической непровѣренности своего Корана. И не только основныя положенія, какое-то ближайшимъ образомъ не опредѣленное „зерно“ необоснованной и непровѣренной теоріи неприкосновенно для г. Струве, а и всѣ выводы изъ этого зерна, сдѣланные основателями теоріи. Г. Николай—онъ есть открытый, откровенный „матеріалистъ“, но онъ приходитъ къ нѣкоторымъ практическимъ выводамъ, въ частностяхъ не предвидѣннымъ основателями теоріи, и г. Струве объявляетъ ему войну, не менѣе безпощадную, чѣмъ остальнымъ несогласно-мыслящимъ.

Окончательный практическій выводъ самого г. Струве формулированъ въ слѣдующихъ послѣднихъ строкахъ его книжки: „Признаемъ нашу некультурность и пойдемъ на выучку къ капитализму“. Соединительный союзъ *и* и здѣсь является результатомъ все той же непоколебимой вѣры въ Коранъ, такъ какъ отнюдь не обязательно, присоединяясь къ первой половинѣ этого призыва, согласиться и со второю. А между тѣмъ, въ основѣ столь рѣшительнаго призыва лежитъ—прошу не забывать этого—философски не обоснованная и фактически не провѣренная теорія. Но Коранъ и не требуетъ философскаго обоснованія и фактической провѣрки, не только не требуетъ, а прямо враждебенъ имъ.

Г. Струве противопоставляетъ доктрину экономическаго мате-

Digitized by Google

ріализма „стройному соціологическому міровоззрѣнію, традиціонно господствующему въ нашей прогрессивной литературѣ“. Это говорится въ предисловіи. Въ текстѣ „наша прогрессивная литература“ сводится къ „народничеству“, что, конечно, неосновательно, какъ ни старается г. Струве расширить понятіе о народничествѣ. Вдобавокъ, „авторъ ни малѣйшимъ образомъ не претендуетъ на сколько-нибудь полное, исчерпывающее знакомство съ этой литературой; онъ обратился къ ней и изучалъ ее преимущестенно съ точки зрѣнія публицистической, не останавливался на историко-литературныхъ деталяхъ, не „рылся“ въ старыхъ изданіяхъ, а стремился только ясно схватить основныя идеи изучаемой доктрины“. Нельзя сказать, чтобы и это былъ основательный пріемъ. Не „роясь“ въ подлежащей изслѣдованію литературѣ, едва ли можно „ясно схватить основныя ея идеи“. Не по наитію же рѣшать: здѣсь основныя идеи, а здѣсь—разныя детали, съ которыми не стоитъ знакомиться. И г. Струве, конечно, не по наитію выдѣлялъ „основныя идеи“ и выбрасывалъ „детали“, но не была эта разборка и плодомъ настоящаго изученія, какъ увидимъ. Да вѣдь онъ и самъ *ни малѣйшимъ образомъ* не хвалится даже *сколько-нибудь* полнымъ знакомствомъ съ предметомъ. Было бы поэтому гораздо правильнѣе, если бы г. Струве говорилъ лишь о тѣхъ отдѣльныхъ литературныхъ явленіяхъ, которыя его почему-нибудь заинтересовали, а не о „стройномъ соціологическомъ міровоззрѣніи, традиціонно господствующемъ въ нашей прогрессивной литературѣ“ (онъ его называетъ также „самымъ вліятельнымъ міровоззрѣніемъ 60-хъ, 70-хъ и 80-хъ годовъ“). Однако, и съ тѣми отдѣльными литературными явленіями, которыя г. Струве удостоиваетъ своей полемики, ему надлежало бы познакомиться нѣсколько ближе, дабы избѣжать кое-какихъ ошибокъ.

„Положеніе, которое представителями экономическаго матеріализма повторяется съ замѣчательною настойчивостью, гласитъ, что дѣйствительность, факты создаютъ идеалы“ (43). Такъ говоритъ г. Струве, и говоритъ совершенно справедливо. Соціологи-„матеріалисты“ дѣйствительно настойчиво повторяютъ это положеніе, слегка варьируя выраженія. Такъ, напримѣръ, г. Струве приводитъ слѣдующія слова Энгельса (изъ его полемической противъ Дюринга книги): матеріалистическое пониманіе исторіи указало „путь для объясненія сознанія людей изъ ихъ бытія въ противоположность прежнему объясненію бытія изъ сознанія“. Это наиболѣе общій тезисъ „матеріа-

Digitized by Google

листовъ“ и можетъ быть то именно „зерно ученія“, которое г. Струве, даже въ минуту своего благоразумнаго скептицизма, признаетъ „вѣрнымъ“. *Въ гораздо менѣе общей формѣ* этотъ тезисъ выражается у того же Энгельса, напримѣръ, такъ: „исторія каждой эпохи заключается не въ ея философіи, а въ ея экономикѣ“. Я подчеркнулъ слова: „въ гораздо менѣе общей формѣ“, чтобы обратить вниманіе читателей на существенную разницу между двумя приведенными формулами Энгельса. „Матеріалистическое пониманіе исторіи“ и „*экономическій* матеріализмъ“—далеко не одно и то же, хотя и въ нѣмецкой и въ нашей литературѣ эти два термина часто замѣняютъ другъ друга, какъ равнозначущіе. Идеалы создаются дѣйствительностью, фактами, говоритъ г. Струве. Это доказать въ настоящее время не трудно, потому что это результатъ многовѣковой работы человѣческаго ума. Но доказать это не значитъ убѣдить читателей или слушателей въ непреложности экономическаго матеріализма; для этого послѣдняго требовалось бы еще доказать, что именно экономическая дѣйствительность, и только она, лежитъ въ основѣ всѣхъ идеаловъ. Возьмемъ примѣръ. Возьмемъ, положимъ, надѣлавшія недавно большого шуму румынско-венгерскія отношенія и представимъ ихъ себѣ, для ясности, въ самой рѣзкой формѣ, хотя бы и превосходящей настоящее положеніе дѣлъ яркостью красокъ. Представимъ себѣ, что румыны стѣснены венграми не только въ печати и въ дѣлахъ мѣстнаго самоуправленія и представительства въ парламентѣ, но и въ употребленіи родного языка, въ отправленіи богослуженія, въ обученіи юношества и т. д., и т. д. И вотъ на этой почвѣ выростаютъ идеалы, съ одной стороны, независимой и возсоединенной Румыніи или, по крайней мѣрѣ, полной автономіи венгерскихъ румынъ въ составѣ имперіи Габсбурговъ, а съ другой—румынскаго патріота, обязаннаго прежде всего помнить,—будь онъ бояринъ или пастухъ, богачъ или нищій,—что онъ румынъ. Идеалы эти могутъ развиваться во всѣхъ формахъ литературы, начиная съ научнаго или философскаго трактата и кончая лирикой; могутъ расширяться далеко за предѣлы Румыніи, перекраивая, напримѣръ, карту Европы на основаніи принципа національности или, напротивъ того, домогаясь подчиненія румынамъ окружающихъ народовъ и т. д. И какъ бы высоко ни залетали эти идеалы, проницательный историкъ усмотритъ ихъ земное происхожденіе, — ту „дѣйствительность“, тѣ

Digitized by Google

„факты“, которые „создали эти идеалы“. Будетъ ли это матеріалистическое пониманіе исторіи? Едва ли столь общеупотребительный историко-критическій пріемъ требуетъ столь спеціальнаго наименованія, но это во всякомъ случаѣ не экономическій матеріализмъ, который долженъ разыскать „сущность“ румынско-венгерскихъ отношеній и доказать, что сущность эта заключается ни въ чемъ иномъ, какъ въ экономикѣ, — въ формахъ производства и обмѣна. Между тѣмъ иной историкъ можетъ искать эту сущность въ совсѣмъ другой области, напримѣръ, въ самой крови двухъ враждебныхъ національностей (достигающихъ въ данномъ случаѣ почти степени различныхъ расъ). Подобныя историческія теоріи выдвигались не разъ, и онѣ уже несомнѣнно матеріалистическія, отнюдь, однако, не будучи въ то же время экономическими. Цитируемый г-мъ Струве Энгельсъ утверждаетъ, что „всегда данная экономическая структура общества образуетъ то реальное основаніе, изъ котораго въ конечномъ счетѣ слѣдуетъ выводить всѣ тѣ надстройки, которыми являются правовыя и политическія учрежденія, равно какъ религіозныя и философскія и всѣ прочія воззрѣнія каждаго даннаго историческаго періода“, и что въ этомъ именно и состоитъ матеріалистическое пониманіе исторіи. Ну, а если я буду искать корня или фундамента не только правовыхъ и политическихъ учрежденій, философскихъ и иныхъ воззрѣній общества, но и его экономической структуры, — въ расовыхъ или племенныхъ особенностяхъ его членовъ,—въ пропорціяхъ продольнаго и поперечнаго діаметровъ ихъ череповъ, въ характерѣ личного угла, въ размѣрахъ и направленіи челюстей, въ размѣрахъ грудной клѣтки, въ силѣ мускуловъ и т. д. или, съ другой стороны, въ факторахъ чисто географическихъ, — въ островномъ положеніи Англіи, въ степномъ характерѣ части Азіи, въ гористой природѣ Швейцаріи, въ замерзаніи рѣкъ на сѣверѣ и т. д., и т. д., — развѣ это не будетъ матеріалистическое пониманіе исторіи? Ясно, что экономическій матеріализмъ, какъ историческая теорія, есть лишь частный случай матеріалистическаго пониманія исторіи, и ему не полагается прятаться за столь общее положеніе, какъ „объясненіе сознанія людей изъ ихъ бытія въ противоположность прежнему объясненію бытія изъ сознанія“.

Ту же мысль, какъ мы видѣли, г. Струве выражаетъ словами: „дѣйствительность, факты создаютъ идеалы“. Мимоходомъ

Digitized by Google

сказать, г-ну Струве, столь строгому по части русскаго языка, слѣдовало бы выражаться яснѣе. Приведенную фразу можно по духу русскаго языка понять и такъ, что идеалы создаются дѣйствительностью, фактами, и, наоборотъ, такъ, что дѣйствительность, факты создаются идеалами. Но я понимаю, что хочетъ сказать г. Струве, и потому вопросительнаго знака не ставлю. Онъ хочетъ повторить слова своихъ нѣмецкихъ учителей, но въ этомъ случаѣ пропускаетъ вторую, отрицательную половину ихъ формулы. У нихъ, какъ мы видѣли, объясненіе сознанія изъ бытія противополагается объясненію бытія изъ сознанія, фундаментъ исторіи ищется *не въ философіи*, а въ экономикѣ. Настойчивость, съ которою „матеріалисты" повторяютъ эту формулу именно въ двойственномъ видѣ—положительномъ и отрицательномъ—чрезвычайно замѣчательна. Иной русскій читатель, даже увлеченный соблазнительною ясностью и стройностью экономическаго матеріализма, но мало свѣдующій вообще (а такихъ очень много), можетъ, пожалуй, призадуматься: причемъ тутъ эти отрицательныя прибавки—„а не въ философіи", „а не бытія изъ сознанія"? Развѣ кто-нибудь когда-нибудь утверждалъ, что исторія данной эпохи заключается въ выставленныхъ ею философскихъ доктринахъ? а если кто-нибудь утверждалъ такую, на трезвый и можетъ быть слишкомъ трезвый взглядъ средняго русскаго читателя, нелѣпость, то развѣ это такъ важно, чтобы заслуживать столь настойчиваго опроверженія?

Позвольте привести по Льюису одинъ эпизодъ изъ біографіи Гегеля: „Феноменологія духа" была окончена въ ночь знаменитой Іенской битвы. Артиллерія громила городскія стѣны, но философъ былъ такъ погруженъ въ свое произведеніе, что и не замѣтилъ этого. Онъ продолжалъ писать, подобно Архимеду, который не прерывалъ своихъ ученыхъ изслѣдованій во время осады Сиракузъ. На слѣдующее утро съ рукописью въ рукѣ выходитъ онъ на улицу и отправляется къ своему издателю, твердо увѣренный, что судьбы человѣчества зависятъ отъ груды бумагъ, которыя онъ бережно несетъ въ рукахъ. Но едва успѣлъ онъ выйти изъ дому, какъ ему попадаются навстрѣчу бородатые французскіе солдаты, которые останавливаютъ его и весьма недвусмысленно даютъ ему понять, что въ настоящее время судьбы человѣчества зависятъ вовсе не отъ рукописей".

Можетъ быть дѣло происходило не совсѣмъ такъ (если не

Digitized by Google

ошибаюсь, „Феноменологія духа“ уже печаталась и французскіе солдаты не на улицѣ остановили Гегеля, а ворвались въ его квартиру). Но приведенная картинка можетъ во всякомъ случаѣ служить символическимъ отвѣтомъ на вопросъ: развѣ кто-нибудь когда-нибудь думалъ, что исторія эпохи заключается въ ея философіи? и развѣ это такъ важно? Было время, когда, примѣняя слова одного стариннаго русскаго писателя, можно было сказать: „нынѣ и въ домѣхъ, и на путяхъ, и на торжищахъ, иноци и мірстіи и вси сонмятся, вси о философіи пытаютъ“, и когда философія и ея тогдашній предметъ — „идея“ считались даже не „пупомъ земли“, а центральнымъ всеопредѣляющимъ пунктомъ всего мірозданія во всей безконечности его пространства и времени. Это было въ Германіи, и тамъ же, конечно, должна была проявиться всего сильнѣе реакція противъ такого направленія мысли или, вѣрнѣе, противъ такого ея сосредоточенія въ самой себѣ. Поэтому-то основатели экономическаго матеріализма, будучи нѣмцами, и твердятъ съ такою нестойчивостью: „не въ философіи“. Есть-ли резонъ для такой настойчивости у насъ, въ Россіи?

Прежде, чѣмъ отвѣчать на этотъ вопросъ, замѣтимъ, что въ отрицательныхъ половинахъ основной формулы соціологовъ-матеріалистовъ заключается протестъ или реакція не противъ философіи вообще, а, повидимому, именно противъ гегельянской. Ей именно принадлежитъ „объясненіе бытія изъ сознанія“, тогда какъ, напримѣръ, у Шопенгауера основою бытія является Воля, у Гартмана — Безсознательное (и тамъ, и тутъ нѣчто въ разныхъ смыслахъ даже прямо противоположное Сознанію). Я беру эти двѣ позднѣйшія философскія системы, потому что, казалось бы, если ужъ нужна двойственная формула экономическаго матеріализма, то вторая, отрицательная ея половина естественно должна-бы была воевать съ позднѣйшими явленіями въ области философіи, а не съ гегельянствомъ, которое ist längst gestorben, verdorben, залитое новыми волнами философской мысли. Вотъ ужъ и еще звѣзда загорѣлась на нѣмецкомъ философскомъ небосклонѣ: Ничше, во многихъ отношеніяхъ особенно интересный для соціологовъ-матеріалистовъ или именующихъ себя матеріалистами, а они все это минуютъ и только Гегеля поминаютъ. Такое упорство дѣйствительно достойно вниманія, и даже въ гораздо большей степени, чѣмъ думаетъ г. Струве.

Digitized by Google

Дѣло, впрочемъ, объясняется довольно просто, если вспомнить, что основатели экономическаго матеріализма—гегельянцы и, въ качествѣ таковыхъ, потому такъ настойчиво твердятъ: „не въ философіи“, „не изъ сознанія“, что не могутъ, да и не пытаются выбиться изъ круга гегельянской мысли.

Можетъ быть нѣсколько преувеличенно, но все-таки не безъ основанія отмѣтивъ ту заслугу Гегеля, что онъ понялъ исторію, какъ процессъ, какъ рядъ измѣненій, законосообразно между собою связанныхъ, и такимъ образомъ поставилъ новую задачу историческому пониманію, Энгельсъ (въ полемической противъ Дюринга книгѣ) продолжаетъ: „Что Гегель этой задачи не рѣшилъ, это для насъ здѣсь безразлично. Заслуга его, составляющая цѣлую эпоху, была въ томъ, что онъ ее поставилъ. Хотя Гегель, на ряду съ С. Симономъ, и является наиболѣе универсальнымъ умомъ своего времени, но при всемъ томъ горизонтъ его былъ ограниченъ, во-первыхъ, необходимо ограниченнымъ объемомъ его собственныхъ знаній, а во-вторыхъ, объемомъ и глубиною ограниченныхъ знаній и воззрѣній его эпохи. Къ тому же присоединилось еще нѣчто третье. Гегель былъ идеалистъ, иными словами, мысли его головы имѣли для него значеніе не болѣе или менѣе абстрактныхъ снимковъ съ дѣйствительныхъ вещей и процессовъ, а наоборотъ, самыя вещи и ихъ развитіе являлись для него не болѣе, какъ матеріализованными снимками съ идеи, существовавшей гдѣ-то еще до возникновенія самаго міра. Этимъ все было поставлено вверхъ ногами, и дѣйствительная взаимная зависимость явленій міра совершенно выворочена на изнанку“. Пользуясь образнымъ выраженіемъ Энгельса, можно, слѣдовательно, сказать, что экономическій матеріализмъ ставитъ гегельянство на ноги, причемъ пропорціи всего метафизическаго зданія остаются неприкосновенными (не считая, разумѣется, тѣхъ частныхъ измѣненій, которыя обусловливаются современнымъ уровнемъ знаній). Такъ оно и есть. Правда, Энгельсъ нѣсколько ниже говоритъ: „Все, что остается еще въ самостоятельномъ видѣ отъ прежней философіи, есть ученіе о мышленіи и о его законахъ—формальная логика и діалектика, а все прочее разрѣшается въ положительную науку о природѣ и объ исторіи“. Но это не вѣрно. Философская система Гегеля въ цѣломъ отличается поистинѣ удивительнымъ сочетаніемъ гибкости, податливости съ прочностью. Ее можно совершенно отринуть и даже утверждать, подобно Шо-

Digitized by Google

пенгауеру, что это „философская гансвурстіада“, „галиматья“, „пустѣйшій, безсмысленнѣйшій наборъ словъ“ („Ueber die Universitäts Philosophie“) или говорить, подобно Льюису: „эта система, даже если бы она была вполнѣ истинна, оставляетъ всѣ вопросы, ожидающіе свѣта отъ науки, въ прежнемъ мракѣ и потому не заслуживаетъ вниманія серьезныхъ умовъ, трудящихся на пользу человѣчества“ („Исторія философіи“). Можно гнуть ее въ разныя стороны (объ чемъ свидѣтельствуетъ уже простой фактъ существованія правыхъ и лѣвыхъ гегельянцевъ), можно перевернуть вверхъ дномъ, какъ и пытаются сдѣлать „матеріалисты“, но нельзя выкинуть изъ нея нѣкоторыя ея существенныя и спеціально ей принадлежащія черты, сохранивъ другія. Невѣрно, что экономическій матеріализмъ взялъ у Гегеля только „ученіе о мышленіи—формальную логику и діалектику“. Самъ Энгельсъ говоритъ, что знаменитая діалектическая тріада „выполняется въ природѣ и исторіи“, а не только составляетъ законъ нашего мышленія. Не только мысль наша неизбѣжно слѣдуетъ формулированному Гегелемъ закону послѣдовательной смѣны положенія, отрицанія и примиренія, но таковъ и неизбѣжный ходъ развитія самихъ вещей. Въ философіи Гегеля эта всеобщность закона утверждалась на абстрактныхъ положеніяхъ о тождествѣ субъекта и объекта, сознанія и бытія и даже бытія и небытія, ибо, дескать, небытіе есть мысль. Представители экономическаго матеріализма не пускаются въ открытое море этихъ отвлеченностей, а держатся только у самыхъ береговъ его. Но они все-таки не только взяли у Гегеля „формальную логику и діалектику“, но по Гегелю же распространили законъ „сознанія“ на „бытіе“. Разница лишь въ томъ, что бытіе и сознаніе помѣнялись мѣстами: для Гегеля бытіе есть отраженіе сознанія, саморазвивающейся Идеи, Разума; для экономическаго матеріализма, напротивъ, сознаніе есть отраженіе бытія. Разница, конечно, огромная, столь же огромная, какъ постановленіе предмета вверхъ дномъ, и все-таки не выводящая изъ заколдованнаго круга идей учителя. Дѣло въ томъ, что, каковы бы ни были взаимныя отношенія бытія и сознанія, а и у Гегеля, и у „матеріалистовъ“ бытіе и сознаніе движутся по одному и тому же вѣковѣчному, неизмѣнному закону трехчленнаго развитія, установленному Гегелемъ. И „положительная наука о природѣ и объ исторіи“ тутъ рѣшительно не причемъ. Мы очень хорошо знаемъ, что великія

Digitized by Google

научныя пріобрѣтенія нашего вѣка,—теорія Дарвина, теорія единства силъ, астрономическія открытія и т. д. не имѣютъ никакого отношенія къ знаменитой тріадѣ,—не изъ нея выросли, не ею орудуютъ, не къ ней приходятъ. Мало того, безспорныя заслуги самихъ основателей экономическаго матеріализма въ спеціальной научной области совершенно независимы отъ ихъ философіи. Воздавая этимъ заслугамъ должное, я еще въ 1878 г. писалъ, что въ нихъ „гегельянскую формулу можно такъ же легко снять съ втиснутаго въ нее содержанія, какъ перчатку съ руки или шляпу съ головы, ни мало не повредивъ руки или головы“ (Сочиненія, II, 354). Но это относится къ научной части ихъ работы, а не къ теоріи экономическаго матеріализма, по справедливому замѣчанію г. Струве, фактически не провѣренной и философски не обоснованной. Здѣсь Гегель царитъ, хотя и вывороченный на изнанку.

Если и въ Германіи настойчивое повтореніе „не изъ философіи“, „не изъ сознанія“ является нынѣ, повидимому, излишнимъ, то тѣмъ паче не нужно оно у насъ, въ особенности по отношенію къ той литературѣ, съ которою полемизируетъ г. Струве. Но въ повторяемыхъ имъ отрицательныхъ прибавкахъ „матеріалистовъ“ заключается еще нѣчто, кромѣ выворачиванія Гегеля на изнанку, хотя опять таки тѣсно связанное съ гегельянствомъ. Для выясненія этой стороны дѣла припомнимъ одну трогательную страницу изъ исторіи русской литературы. Разумѣю ту часть переписки Бѣлинскаго, которая относится ко времени его увлеченія Гегелемъ и затѣмъ разочарованія въ немъ. Мнѣ уже случалось цитировать эти сверкающія слезами восторга и покаянія письма. Въ 1838 г. „неистовый Виссаріонъ“ писалъ: „Теперь, когда я нахожусь въ созерцаніи безконечнаго, теперь я глубоко понимаю, что всякій правъ и никто не виноватъ... Въ горнилѣ моего духа выработалось самобытно значеніе великаго слова *дѣйствительность... Дѣйствительность*, твержу я, вставая и ложась спать“. Въ 1839 г.: „Пріѣзжаю въ Москву съ Кавказа, пріѣзжаетъ М. (Бакунинъ)—мы живемъ вмѣстѣ. Лѣтомъ просмотрѣлъ онъ философію религіи и права Гегеля. Новый міръ намъ открылся. Сила есть право и право есть сила: нѣтъ, не могу описать тебѣ, съ какимъ чувствомъ услышалъ я эти слова—это было освобожденіе. Я понялъ идею паденія царствъ, законность завоеваній, я понялъ, что нѣтъ дикой матеріальной силы, нѣтъ владычества штыка и ме-

Digitized by Google

ча, нѣтъ произвола, нѣтъ случайности—и кончилась моя опека надъ родомъ человѣческимъ". Шиллеру въ это время Бѣлинскій объявлялъ рѣшительную войну „за субъективно-нравственную точку зрѣнія, за страшную идею долга, за абстрактный героизмъ, за прекраснодушную войну съ дѣйствительностью, за все за это, отчего я страдалъ во имя его". Но въ слѣдующемъ же, 1840 г. Бѣлинскій бурно поднимаетъ знамя возстанія противъ Гегеля и его „дѣйствительности": „Проклинаю мое стремленіе къ примиренію съ гнусною дѣйствительностью! Да здравствуетъ великій Шиллеръ, благородный адвокатъ человѣчества, яркая звѣзда спасенія, эмансипаторъ общества отъ кровавыхъ предразсудковъ преданія! Да здравствуетъ разумъ, да скроется тьма! какъ восклицаетъ великій Пушкинъ. Для меня теперь *человѣческая личность* выше исторіи, выше общества, выше человѣчества. Это—мысль и дума вѣка! Боже мой! Страшно подумать! Что со мной было—горячка или помѣшательство—я словно выздоравливающій... Дѣйствительность—это палачъ". Въ 1841 г.: „Я имѣю особенно важныя причины злиться на Гегеля, ибо чувствую, что былъ вѣренъ ему (въ ощущеніи), мирясь съ россійской дѣйствительностью, хваля Загоскина и подобныя гнусности и ненавидя Шиллера... Судьба субъекта, индивидуума, личности важнѣе судебъ всего міра и здравія китайскаго императора (т. е. гегелевской Allgemeinheit). Мнѣ говорятъ: развивай всѣ сокровища своего духа для свободнаго самонаслажденія духомъ, плачь, дабы утѣшиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись къ совершенству, лѣзь на верхнюю ступень лѣстницы развитія, а споткнешься—падай, чортъ съ тобой, таковскій и былъ. Благодарю покорно, Егоръ Ѳедоровичъ (Гегель), кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всѣмъ подабающимъ вашему философскому филистерству уваженіемъ честь имѣю донести вамъ, что если бы мнѣ и удалось влѣзть на верхнюю ступень лѣстницы развитія,—я и тамъ попросилъ бы васъ отдать мнѣ отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суевѣрія, инквизиціи, Филиппа II и проч., и проч.; иначе я съ верхней ступени бросаюсь внизъ головой".

Кромѣ непосредственной прелести этихъ не предназначенныхъ для печати строкъ, онѣ и поучительны во многихъ отношеніяхъ. Исчерпывать здѣсь все ихъ историческое и принципіальное значеніе я не думаю и ограничусь лишь тѣмъ, что

Digitized by Google

можетъ быть приведено въ связь съ нашей ближайшей темой,— съ книжкой г. Струве.

Въ приведенныхъ отрывкахъ изъ переписки Бѣлинскаго мы имѣемъ какъ бы тяжбу между принципами „дѣйствительности“ и „личности“,—тяжбу, оконченную въ первой инстанціи въ пользу дѣйствительности и перерѣшенную затѣмъ въ пользу личности. Бѣлинскій имѣлъ полное основаніе мучиться этой тяжбой. По Гегелю, „дѣйствительность“ отъ вѣка движется неустанной тройственной волной положенія, отрицанія и примиренія, и „личность“ влечется этой волной, какъ безсильная щепка, дважды презрѣнная: во-первыхъ, она ничто, какъ активный дѣятель, ибо не она дѣлаетъ исторію, а исторія сама себя дѣлаетъ своими имманентными законами саморазвивающейся идеи; во-вторыхъ, личность ничто и какъ пассивная жертва этого непреклоннаго процесса,—тѣмъ лучше, если она при этомъ наслаждается, а если страдаетъ, то ничего не стоятъ эти ея страданія, ибо это только маленькія непріятности, не только не мѣшающія, а даже способствующія большому удовольствію и „здравію китайскаго императора, т. е. гегелевскій „Allgemeinheit“. Нѣтъ философской системы, которая относилась бы къ личности съ такимъ уничтожающимъ презрѣніемъ и холодною жестокостью, какъ система Гегеля. И вотъ мы видимъ это презрѣніе и эту жестокость и въ книгѣ г. Струве, который, по всѣмъ видимостямъ не будучи сознательнымъ гегельянцемъ, воспринялъ гегельянскій отпечатокъ черезъ посредство доктрины экономическаго матеріализма. Ученіе это, по словамъ г. Струве, „просто игнорируетъ личность, какъ соціологически ничтожную величину“ (стр. 30). „Соціологія можетъ игнорировать личность“ (стр. 40). „Экономическій матеріализмъ, повторяемъ, игнорируетъ личность“ (стр. 59). „Личность во всемъ этомъ не причемъ“. „Настаиваемъ, личность тутъ не причемъ“ (64).

Такое даже нѣсколько назойливое презрѣніе г. Струве къ человѣческой личности объясняется тѣмъ, что міровоззрѣніе, съ которымъ онъ борется, имѣетъ, по его мнѣнію, „два основныхъ источника: 1) опредѣленное ученіе о роли личности въ исторіи и 2) непосредственное убѣжденіе въ специфическомъ національномъ характерѣ и духѣ русскаго народа и въ особенныхъ его историческихъ судьбахъ“ (2). Оставляя пока въ сторонѣ второй „основной источникъ“, остановимся на первомъ.

Digitized by Google

Прежде всего замѣтимъ, что г. Струве мотивируетъ только одну сторону своего презрѣнія къ личности. Онъ старается доказать, что „стройное соціологическое міровоззрѣніе, традиціонно господствующее въ нашей прогрессивной литературѣ“ придаетъ невѣрное и именно крайне преувеличенное значеніе роли личности, какъ *активнаго дѣятеля*, каковая, дескать, роль въ дѣйствительности равна нулю. Допустимъ на минуту, что г. Струве совершенно правъ. Но вѣдь затѣмъ остается еще положеніе личности, какъ пассивнаго участника того историческаго процесса, который представляетъ собою непреклонное саморазвитіе идеи (идеи или матеріи—это въ данномъ случаѣ безразлично). Г. Струве, напримѣръ, говоритъ, что „личность, какъ конкретная индивидуальность, есть производная всѣхъ ранѣе жившихъ и современныхъ ей личностей, т. е. соціальной группы“. Въ этомъ же смыслѣ онъ сочувственно цитируетъ фразу Гумпловича: „величайшая ошибка индивидуалистической психологіи это—предположеніе, что мыслитъ *человѣкъ*“. Авторъ хотѣлъ этимъ сказать,—поясняетъ г. Струве,—что „образъ мыслей человѣка опредѣляется его принадлежностью къ той или другой соціальной группѣ“. Г. Струве хватилъ уже немножко черезъ край, объявляя личность производною *всѣхъ* ранѣе жившихъ и современныхъ ей личностей, да онъ, вѣроятно, и не хотѣлъ этого сказать или забылъ прибавить—„всѣхъ, принадлежащихъ къ данной соціальной группѣ“. Есть извѣстная доля правды въ этомъ положеніи, но не слѣдуетъ преувеличивать значеніе этой доли. Вполнѣ мыслимъ, напримѣръ, современный русскій дворянинъ, въ выработкѣ „образа мыслей“ котораго длинный рядъ его предковъ и его современники, принадлежащіе къ той-же соціальной группѣ, играли несравненно меньшую роль, чѣмъ, скажемъ къ примѣру, Конфуцій, или французскіе энциклопедисты, или Фридрихъ Ничше, или теоретики экономическаго матеріализма и я не знаю еще кто. Но дѣло теперь не въ этомъ. Допустимъ, что мыслитъ не человѣкъ. Ну, а голоденъ и сытъ бываетъ, страдаетъ и радуется, болѣетъ и здравствуетъ—и все это въ самомъ точномъ, прямомъ, если угодно, „матеріалистическомъ“ смыслѣ—тоже не человѣкъ? Гегель презрительно отвѣтилъ бы на это, что, дескать, конечно, человѣкъ, личность, но саморазвивающейся идеѣ до этого также мало дѣла, какъ Джагернаутовой колесницѣ до тѣхъ людей, которыхъ она въ своемъ торжественномъ шествіи давитъ.

Digitized by Google

Противъ такого-то отношенія къ интересамъ и достоинству личности и протестовалъ Бѣлинскій, когда „кланялся философскому колпаку Егора Ѳедоровича со всѣмъ подобающимъ его философскому филистерству уваженіемъ“. И съ тѣхъ поръ въ русской литературѣ въ разныхъ формахъ, по разнымъ поводамъ не изсякала эта струя, но г. Струве ее совершенно игнорируетъ. Вся его полемика со „стройнымъ соціологическимъ міровоззрѣніемъ“ и т. д. направлена въ сторону доказательствъ ничтожества личности, какъ дѣятеля, и онъ подбираетъ соотвѣтственныя цитаты въ произведеніяхъ своихъ противниковъ, но если-бы онъ ихъ и совершенно разбилъ на этомъ пунктѣ, остается не тронутымъ вопросъ о значеніи интересовъ и достоинства личности. Можно ли въ этомъ отношеніи „просто игнорировать личность, какъ соціологически ничтожную величину“? Г. Струве не даетъ прямого отвѣта на вопросъ и пропускаетъ сквозь пальцы всю ту русскую литературу, которая этимъ вопросомъ интересовалась и занималась. Единственное, найденное мною у него въ этомъ смыслѣ указаніе касается „рѣзко подчеркнутаго г. Михайловскимъ и безспорно существующаго антагонизма между личностью и группой“,—антагонизма, подлежащаго, однако, совсѣмъ иному, отличному отъ моего, толкованію. Я не буду распространяться о соображеніяхъ г. Струве по этому поводу, тѣмъ болѣе, что возражать пришлось бы не ему собственно, а Зиммелю, на котораго онъ ссылается и аргументацію котораго только повторяетъ. Моя цѣль состоитъ теперь лишь въ указаніи на огромный пробѣлъ въ критикѣ „стройнаго соціологическаго міровоззрѣнія, традиціонно господствующаго въ прогрессивной русской литературѣ“.

Но этимъ однимъ пробѣломъ дѣло не ограничивается. Есть и другіе, не менѣе въ своемъ родѣ странные и едва ли говорящіе въ пользу „объективизма“, которымъ г. Струве хвалится.

Свой полемическій обзоръ извѣстной части русской литературы г. Струве начинаетъ съ автора „Критики философскихъ предубѣжденій противъ общиннаго землевладѣнія“, на взглядахъ котораго, однако, „по разнымъ причинамъ, не считаетъ возможнымъ останавливаться“ и прямо переходитъ къ автору „Историческихъ писемъ“ и ко мнѣ грѣшному. Скачокъ огромный! Особенно удивляетъ меня пропускъ Ю. Г. Жуковскаго. Литературная дѣятельность этого писателя, крайне интересная вообще,

Digitized by Google

представляетъ для г. Струве особенный и многосторонній интересъ. Г. Жуковскій—экономистъ или былъ таковымъ спеціально. Онъ писалъ о Марксѣ. Онъ, несмотря на удивительно презрительное отношеніе къ спеціально экономическимъ трудамъ послѣдняго, долженъ быть зачисленъ въ представители экономическаго матеріализма, такъ какъ съ настойчивостью проводилъ ту мысль, что правовыя отношенія не болѣе, какъ надстройка надъ отношеніями экономическими. Онъ, далѣе, проникая въ суть вещей еще глубже, предполагалъ реформировать самую политическую экономію при помощи математики и физики. Все это очень пестро, но тѣмъ интереснѣе было бы разобраться во всемъ этомъ. Сдѣлать это въ бѣгломъ очеркѣ „прогрессивной" литературы, конечно, трудно, но можно было, по крайней мѣрѣ, упомянуть, что вотъ въ этой литературѣ былъ человѣкъ, который, по крайней мѣрѣ одно время, твердо стоялъ на почвѣ экономическаго матеріализма, не нося теперешней модной клички и въ полной независимости отъ нѣмецкихъ основателей доктрины. Казалось бы, слѣдовало отмѣтить это явленіе, хотя бы какъ исключеніе. Но исключеніе ли это? Не касаясь общей литературной физіономіи г. Жуковскаго, оставляя въ сторонѣ его дѣятельность примѣрно съ 1866 или 1867 г., когда онъ, неудачно попробовавъ основать свой собственный журналъ „Космосъ", сталъ въ литературѣ случайнымъ гостемъ, изрѣдка появляясь то съ книгами, то со статьями въ „Вѣстникѣ Европы",—припомнимъ, что г. Жуковскій излагалъ свои воззрѣнія на отношенія права къ экономіи, а равно и свои спеціально экономическія воззрѣнія въ „Современникѣ", а этотъ журналъ не допускалъ на своихъ страницахъ очень ужъ рѣзкихъ исключеній. И дѣйствительно, если бы г. Струве отнесся къ своей задачѣ нѣсколько тщательнѣе, онъ убѣдился-бы, что общія основанія экономическаго матеріализма (хотя и безъ этой клички) совсѣмъ для насъ не новость, что мы переживали эту односторонность даже съ чрезвычайною напряженностью. Пусть г. Струве „пороется" въ нашей литературѣ, и онъ найдетъ многочисленныя тому доказательства, а я ему укажу лишь вообще на массу журнальныхъ статей объ экономическихъ явленіяхъ русской жизни и на огромную работу земскихъ статистиковъ, несомнѣнно подъ вліяніемъ литературы предпринятую. Это *благой* результатъ *нашего* экономическаго матеріализма. Подчеркиваю слово *благой*, потому-что были и не благіе результаты—забвеніе (доходив-

Digitized by Google

шее даже до презрѣнія) другихъ сторонъ жизни; подчеркиваю и слово *нашего*, потому, что та особенная форма, въ которой экономическій матеріализмъ исповѣдуется и проповѣдуется г. Струве, и то повелительное наклоненіе, къ которому онъ, въ концѣ концовъ, приходитъ („пойдемъ на выучку къкапитализму“)—у насъ дѣйствительно новы. На этихъ-то пунктахъ ему и слѣдовало настаивать, а относительно общихъ положеній, исходныхъ пунктовъ экономическаго матеріализма, онъ могъ-бы найти многихъ себѣ союзниковъ въ нашей литературѣ. Но, горя желаніемъ предъявить, какъ онъ говоритъ въ предисловіи, „совершенно новую точку зрѣнія“, онъ отважно ищетъ только враговъ, дабы торжествовать побѣды. Однако на человѣка, знакомаго съ новѣйшей русской литературой и съ броженіемъ идей въ нашемъ обществѣ, эта отвага должна производить иногда даже комическое впечатлѣніе. Говорю „иногда“, потому что въ общемъ предпріятіе г. Струве заслуживаетъ эпитета, болѣе суроваго, чѣмъ „смѣшное“.

Г. Струве употребляетъ иногда выраженіе „соціологическій матеріализмъ“, какъ равносильное выраженію „экономическій матеріализмъ“. Это—совершенно незаконное расширеніе очень узкаго понятія, и когда г. Струве говоритъ, что „дѣйствительность, факты создаютъ идеалы“, то онъ утверждаетъ нѣчто, далеко выходящее за предѣлы экономическаго матеріализма. И на этомъ, болѣе широкомъ полѣ уже совершенно непонятна боевая поза, принимаемая имъ по отношенію къ нашей „прогрессивной литературѣ“ и „самому вліятельному міровоззрѣнію 60-хъ, 70-хъ, 80-хъ годовъ“. Припомните хоть Писарева съ его юношески-шумнымъ, но тѣмъ не менѣе въ свое время вліятельнымъ увлеченіемъ „реализмомъ“, припомните увлеченіе книгой Бокля, которая, сколько мнѣ извѣстно, пользуется большимъ уваженіемъ и у нѣмецкихъ представителей экономическаго матеріализма, припомните разнообразнѣйшія варьяціи на тему о засасывающемъ или, наоборотъ, окрыляющемъ вліяніи общественной среды, и т. д., и т. д., и т. д. Все это г. Струве опять-таки пропустилъ сквозь пальцы. Отмѣтивъ этотъ новый пробѣлъ, остановимся на томъ, что онъ подвергаетъ своей критикѣ.

Если бы книжка г. Струве была переведена на какой-нибудь иностранный языкъ, то навѣрное повергла бы своихъ новыхъ читателей въ изумленіе. Они узнали бы изъ нея, напримѣръ, что въ Россіи есть „прогрессивные“ писатели, цѣлая школа писателей, утверждающая, что *„личность все можетъ“* (курсивъ г. Струве)

Digitized by Google

въ томъ смыслѣ, что для нея не существуетъ соціологической необходимости". Иностранецъ, конечно, увидалъ бы въ этомъ лишнее доказательство дикости Россіи, въ которой три десятка лѣтъ считается прогрессивною литература, утверждающая подобныя нелѣпости. Но если этотъ иностранецъ оказался бы добрымъ и не зараженнымъ національными антипатіями человѣкомъ, то онъ прибавилъ бы: хорошо, что у этихъ русскихъ варваровъ появился, наконецъ, мыслитель, г. П. Струве, нѣсколько знакомый съ элементарными пріобрѣтеніями европейской мысли; можетъ быть ему удастся внушить своимъ отсталымъ соотечественникамъ нашу азбуку подъ флагомъ „совершенно новой точки зрѣнія". Честь и слава просвѣтителю!

Я не отвѣтчикъ за всѣхъ писателей, претерпѣвающихъ критическую операцію отъ руки г. Струве. Но за себя-то могу хоть попробовать съ нѣкоторою робостью заступиться. Беру первый томъ своихъ сочиненій, развертываю его на 204 стр. и читаю: „Наука есть рядъ законовъ, выведенныхъ изъ возможно большаго количества фактовъ одного и того же порядка, съ цѣлью предвидѣть имѣющіе случиться факты, на основаніи фактовъ прошедшаго и настоящаго... Стало быть, гдѣ нѣтъ законовъ, тамъ не можетъ быть науки. И если духовная сторона человѣка и общественныя отношенія не подлежатъ какой бы то ни было правильности и законосообразности, то немыслимы и науки нравственныя и политическія". Переворачиваю нѣсколько страницъ назадъ, къ стр. 148. Тамъ идетъ рѣчь о томъ положеніи Огюста Конта, что въ умственномъ прогрессѣ, въ развитіи знанія и идей слѣдуетъ видѣть главный нервъ исторіи. Возражая на это, я говорю: „я полагаю, что законовъ прогресса слѣдуетъ искать въ развитіи самой общественности, т. е. въ развитіи и послѣдовательной смѣнѣ различныхъ формъ коопераціи". Беру шестой томъ, стр. 282: „Великіе люди не съ неба сваливаются на землю, а изъ земли растутъ къ небесамъ; ихъ создаетъ та же среда, которая выдвигаетъ и толпу, только концентрируя и воплощая въ нихъ разрозненно бродящія въ толпѣ силы, чувства, инстинкты, мысли, желанія". Возвращаюсь опять къ первому тому, стр. 81: „Исторія не есть театръ маріонетокъ, не есть и результатъ самопроизвольныхъ прыжковъ Пьеро и Коломбинъ, человѣческія дѣйствія вызываются опредѣленными и уловимыми причинами и слѣдуютъ одно за другимъ въ извѣстномъ правильномъ порядкѣ". Беру второй томъ, стр. 232: „Идея законосообразности (явленій природы и общественной жизни) вошла во всеобщее сознаніе, стала азбучной

Digitized by Google

истиной". Въ томъ же второмъ томѣ нахожу на стр. 340 слѣдующее мѣсто, имѣющее прямое отношеніе къ сюжету книги г. Струве: „Конечно, столкновеніе нравственнаго чувства съ историческою необходимостью должно разрѣшиться въ пользу необходимости... Но дѣло въ томъ, что надо же доподлинно знать, что историческій процессъ дѣйствительно неизбѣжно таковъ, какимъ рисуетъ его Марксъ".

Увѣряю читателя, что я не долго „рылся" въ своихъ сочиненіяхъ, а просто на-угадъ бралъ томы и перелистывалъ ихъ, и, конечно, могъ бы сдѣлать еще множество подобныхъ и вѣроятно даже еще болѣе выразительныхъ выписокъ, если бы это не было скучно. Почему же г. Струве считаетъ нужнымъ просвѣщать меня на счетъ существованія причинной связи въ явленіяхъ общественной жизни? и зачѣмъ хочетъ онъ предъявить меня своимъ читателямъ въ видѣ человѣка, утверждающаго, что „личность все можетъ" и что „соціологическая необходимость" для нея не существуетъ? Но вѣдь г. Струве цитируетъ, приводитъ мои подлинныя слова! Да, цитируетъ, приводитъ. Надо, однако, замѣтить, что подчеркиваемая г. Струве фраза—*личность все можетъ* и т. д.—не есть цитата; это самому г. Струве принадлежащее резюме моихъ и, повидимому, не только моихъ воззрѣній. Что же касается тѣхъ четырехъ-пяти цитатъ, которыя онъ извлекаетъ изъ моего слишкомъ четверть вѣкового литературнаго багажа, то допустимъ, что онѣ подлежатъ именно тому толкованію, которое онъ имъ даетъ. Но вѣдь изъ вышеприведенныхъ мѣстъ изъ моихъ сочиненій видно, что все-таки законосообразность явленій общественной жизни мнѣ вполнѣ извѣстна. Я знаю эту азбуку, мало того,—я знаю, что она именно азбука, безъ которой и читать нельзя, одна изъ „основныхъ идей" интересующей г. Струве литературы; а вѣдь онъ обѣщалъ „ясно схватить основныя идеи изучаемой доктрины". Мы имѣемъ, значитъ, и еще пробѣлъ. Правда, если допустить, что личность, по моему мнѣнію, все можетъ и что для нея никакіе законы не писаны, то г. Струве могъ бы уличать меня въ противорѣчіи и неумѣніи связать свои концы съ концами. Но онъ и этого не сдѣлалъ.

Скажутъ можетъ быть, что я слишкомъ требователенъ, ибо, дескать, не могъ же г. Струве удѣлить мнѣ столько вниманія въ бѣгломъ очеркѣ цѣлой многолѣтней литературной полосы. Но, во-первыхъ, дѣло идетъ не только обо мнѣ лично, а именно о цѣлой литературной полосѣ, въ критикѣ которой, какъ мы

Digitized by Google

видѣли, г. Струве допустилъ пробѣлы, граничащіе съ извращеніемъ; а во-вторыхъ, и по отношенію къ любому отдѣльному писателю никакою краткостью и бѣглостью не оправдывается извращеніе.

Г. Струве замѣчаетъ, что „на теоріи (прогресса) г. Михайловскаго лежитъ нескрываемая печать субъективныхъ идеаловъ... Результаты анализа объективныхъ фактовъ, анализа, безспорно весьма остроумнаго, были предрѣшены субъективной точкой зрѣнія". Ну, а г. Струве вполнѣ объективенъ и чрезвычайно гордъ этой своей объективностью. Да и какъ не гордиться! Если мы оставимъ въ сторонѣ пеструю судьбу слова „объективизмъ" въ исторіи философіи, то въ просторѣчіи „объективный" значитъ солидный, добросовѣстный, безпристрастный, разносторонній, фактически обоснованный,—все прекрасныя качества, рѣшительно, однако, для всѣхъ писателей обязательныя, или, по крайней мѣрѣ, желательныя. Но не все желательное и обязательное исполняется, а потому понятна гордость писателя, знающаго за собой упомянутыя прекрасныя качества. Съ другой стороны, однако, даже и весьма гордый человѣкъ можетъ заблуждаться относительно своихъ достоинствъ. И вотъ, я не знаю... Мы видѣли, что г. Струве, справедливо признавая теорію экономическаго матеріализма философски не обоснованною и фактически не провѣренною, тѣмъ не менѣе на ней строитъ всѣ свои выводы вплоть до призыва „на выучку къ капитализму". Объективизмъ ли это? Мы видѣли далѣе, что, желая „схватить основныя идеи" извѣстнаго литературнаго теченія, г. Струве оставилъ безъ всякаго разсмотрѣнія одну изъ основныхъ идей—вопросъ объ интересахъ и достоинствѣ личности, даже не заикнулся объ ней; а другую основную идею—законосообразность явленій общественной жизни—вывернулъ на изнанку, для чего, во-первыхъ, пропустилъ сквозь пальцы огромную часть литературы, а во-вторыхъ, и у отдѣльныхъ писателей понадергалъ фразъ, тщательно обходя то, что могло бы бросить тѣнь сомнѣнія на „совершенную новость" его, г. Струве, точки зрѣнія. Таковъ объективизмъ. Я думаю, что г. Струве *предрѣшилъ* вѣрность теоріи экономическаго матеріализма, и затѣмъ опять же *предрѣшилъ*, что въ русской литературѣ никогда не было ничего подобнаго его „совершенно новой точкѣ зрѣнія": г. Струве во всей огромной литературѣ, подлежавшей его критикѣ, вычи-

Digitized by Google

тывалъ только то, что ему *хотѣлось* вычитать. Въ качествѣ субъективиста я охотно уступаю этотъ пріемъ г-ну Струве и объективистамъ вообще. Между прочимъ, г. Струве утверждаетъ, что „хотя г. Михайловскій и писалъ очень много на соціологическія темы, *нигдѣ* (курсивъ г. Струве) не далъ вполнѣ ясной теоретической формулировки своего пониманія сущности историческаго процесса". Г. Струве ошибается. По мѣрѣ силъ и умѣнія, я далъ отвѣтъ на интересующій его вопросъ и много разъ его повторялъ, обосновывалъ и развивалъ, такъ много, что затрудняюсь даже цитировать. А, впрочемъ, отвѣтъ этотъ вкратцѣ и сейчасъ могу привести: сущности историческаго процесса я не знаю, да и никто ея не знаетъ, хотя метафизики (г. Струве у compris) и думаютъ, что знаютъ; но, не зная сущности историческаго процесса, я могу уловить ту его центральную нить, держась за которую, можно себѣ объяснить возможно большее число историческихъ явленій; эта центральная нить есть то, что я называю борьбой за индивидуальность, а что я понимаю подъ этимъ терминомъ и какъ относятся другъ къ другу разныя ступени индивидуальности,—объ этомъ зри въ разныхъ моихъ статьяхъ. Можетъ быть этотъ отвѣтъ и очень плохъ, но во всякомъ случаѣ мой *субъективизмъ* не помѣшалъ мнѣ его дать, а *объективизмъ* г. Струве помѣшалъ ему его прочитать. И опять таки меня нельзя упрекнуть по этому случаю въ излишней требовательности. Я ничего не требую. Г. Струве могъ бы просто сказать, что онъ не интересовался моими соображеніями о „сущности историческаго процесса", но онъ говоритъ и подчеркиваетъ: „*нигдѣ* не далъ". Чтобы такъ говорить, надо предварительно *вездѣ* искать...

Я не намѣренъ теперь разсуждать о субъективномъ и объективномъ методѣ по существу. Удовольствуемся приведеннымъ примѣромъ дѣйствій человѣка, называющаго себя объективистомъ, и посмотримъ на приводимый имъ образчикъ чужого объективизма. По мнѣнію г. Струве, „классическій примѣръ *объективности* и *историчности* (курсивъ г. Струве) экономическаго матеріализма представляютъ разсужденія его основателей о рабствѣ и его значеніи въ соціально-экономической эволюціи". Вотъ эти разсужденія: „Только рабство дало возможность провести въ крупномъ масштабѣ раздѣленіе труда между земледѣліемъ и промышленностью и такимъ образомъ создало цвѣтъ антич-

Digitized by Google

наго міра—греческую культуру. Безъ рабства не было бы греческаго государства, не было бы греческаго искусства и греческой науки. Безъ рабства не было бы римскаго государства, а безъ греческой культуры и римскаго государства не существовало бы современной Европы. Мы не должны никогда забывать, что все наше экономическое, политическое и интеллектуальное развитіе предполагаетъ состояніе, въ которомъ рабство было необходимостью и пользовалось всеобщимъ признаніемъ".

Остановимся на минуту. При всемъ уваженіи къ научнымъ заслугамъ основателей теоріи экономическаго матеріализма (что не мѣшаетъ отвергать самую теорію, которая отнюдь не научна, а метафизична), нельзя не поражаться сквозящею въ приведенныхъ строкахъ влюбленностью въ себя, въ данную историческую минуту. Трудно доказать фактически, но теоретически мыслимо, что не будь въ Россіи монгольскаго ига или крѣпостного права, мы съ г. Струве не существовали бы и, слѣдовательно, не говорили бы другъ другу тѣхъ непріятностей, которыми теперь обмѣниваемся. Но развѣ ужъ мы такъ хороши и такъ хорошъ нашъ обмѣнъ непріятностями, что *это* можетъ бросить примиряющій лучъ свѣта на монгольское иго или на крѣпостное право? Не было бы насъ съ г. Струве, но было бы можетъ быть нѣчто гораздо лучшее. Это опять таки отпечатокъ гегельянства, благодаря которому и Бѣлинскій когда-то „понялъ идею паденія царствъ, законность завоеваній" и проч., потому что все это, въ концѣ концовъ, ведетъ къ самопознанію духа въ философіи Гегеля. Очень можетъ быть, что безъ древняго рабства въ экономическомъ, политическомъ и интеллектуальномъ развитіи Европы не было бы почвы для милитаризма, анархизма, международной ненависти, декадентства и проч. Но развѣ ужъ это такъ превосходно, что производительныя силы Европы тратятся на приготовленія къ всеобщей дракѣ, что французъ не можетъ видѣть нѣмца безъ гнѣва и ненависти, что озлобленные люди готовы взрывать сотни невѣдомыхъ имъ людей, что какіе-то разслабленные нейрастеники мечутся отъ порнографіи и разврата къ мистицизму, и проч.? Я не то хочу сказать, что въ настоящемъ моментѣ европейской цивилизаціи нѣтъ ничего, кромѣ этихъ мрачныхъ сторонъ. Я говорю только, что такъ называемый объективизмъ, въ радости и гордости своего собственнаго существованія, склоненъ оптимистически закрывать глаза на эти стороны. Подъ видомъ непреклоннаго безпристрастія здѣсь

Digitized by Google

скрывается самое необузданное пристрастіе, подъ видомъ необыкновенной смѣлости мысли—трусость.

Продолжаемъ „классическую“ цитату г. Струве: „Очень легко обрушиваться общими фразами на рабство и изливать моральное негодованіе на „подобныя гнусности“. Къ сожалѣнію, дѣлая это, мы говоримъ только то, что извѣстно всякому, а именно, что эти античныя учрежденія не соотвѣтствуютъ болѣе современнымъ условіямъ и нашимъ чувствамъ, которыя опредѣляются этими условіями. Но мы изъ этого не узнаемъ рѣшительно ничего о томъ, какъ эти учрежденія возникли, почему они существовали и какую роль они играли въ исторіи. И если мы обратимся къ этимъ вопросамъ, то мы должны будемъ сказать, какъ бы это ни звучало противорѣчиво и еретически, что введеніе рабства при условіяхъ того времени было большимъ шагомъ впередъ“.

Выраженная здѣсь мысль совсѣмъ ужъ не такая „еретическая“, и г. Струве напрасно усваиваетъ ее именно экономическому матеріализму. Мы знаемъ историковъ, не имѣющихъ ничего общаго съ этимъ ученіемъ, которые, однако, тоже находятъ, что рабство было въ свое время шагомъ впередъ, потому, напримѣръ, что оно замѣнило собою убійство или людоѣдство: прежде побѣжденнаго врага просто убивали, а иногда и съѣдали, а потомъ, оставляя ему жизнь, стали принуждать его работать на побѣдителя или (въ особенности женщинъ) потѣшать его или воевать подъ его знаменемъ. Но самымъ цѣннымъ г. Струве представляется, повидимому, то положеніе, что изъ негодованія по поводу какой-нибудь мерзости мы еще ничего не узнаемъ о происхожденіи и исторической роли этой мерзости. Читатель можетъ усомниться, что это положеніе, столь очевидно ясное, столь непререкаемое, имѣетъ въ глазахъ г. Струве особенно большую цѣну, да еще въ полемическомъ смыслѣ. Точно кто-нибудь когда-нибудь утверждалъ противное! А между тѣмъ дѣло стоитъ именно такъ, т. е. г. Струве думаетъ, что кто-то полагаетъ негодованіе (и вѣроятно восторгъ и вообще одобреніе) равносильнымъ изслѣдованію или замѣняющимъ его. И вотъ—„булатъ дрожитъ въ его рукѣ...“ Мнѣ очень нравятся поводы, по которымъ г. Струве обнажаетъ свой булатъ: сочинитъ врага азбуки и съ поднятымъ мечомъ рыцарски отважно устремится на защиту этой достойной уваженія, но никѣмъ не обижаемой особы,—не обижаемой по крайней мѣрѣ тѣми, отъ кого онъ ее защищаетъ.

Digitized by Google

Одна изъ главныхъ задачъ г. Струве состоитъ въ установленіи границы между научнымъ изслѣдованіемъ, съ одной стороны, и нравственнымъ судомъ и „нравственнымъ дѣяніемъ"—съ другой. Признаюсь, я истинно пораженъ скудостью и случайностью аммуниціи, съ которою онъ отправляется въ этотъ походъ. Но, убѣдившись въ этомъ фактѣ, я, разумѣется, уже не удивляюсь, что устанавливаемая г. Струве граница теоретически противорѣчива и практически невозможна.

О рабствѣ и вообще прошедшемъ можно, пожалуй, сказать: мертвымъ тѣломъ хоть заборъ подпирай. Но что такое прошедшее? И вчерашній день прошедшее, и феодальный строй прошедшее, и классическая древность, и каменный вѣкъ—прошедшее. Невозможно указать пунктъ въ этой уходящей въ непроглядную глубь временъ перспективѣ, гдѣ le mort перестаетъ saisir le vif. Но всякій согласится, что нельзя одинаково относиться къ обидамъ, торжествамъ, горестямъ, радостямъ нашихъ отцовъ и людей каменнаго вѣка; гдѣ-то въ исторіи—въ точности неопредѣлимо гдѣ именно—прекращается для изслѣдователя возможность довольствоваться сухимъ сцѣпленіемъ причинъ и слѣдствій, и эта сушь невольно,—фигурально выражаясь, — увлажняется слезами негодованія или восторга и оглашается криками гнѣва или радости. Негодованіе и восторгъ, гнѣвъ и радость никогда не замѣняютъ изслѣдованія. Это—азбука, которую стыдно и защищать. Но, рискуя погибнуть отъ полемическаго меча г. Струве, я рѣшаюсь утверждать, что и въ историческихъ сюжетахъ, а тѣмъ паче относительно текущихъ событій, негодованіе и восторгъ могутъ быть признаками полнаго доступнаго намъ пониманія, а отсутствіе ихъ—признакомъ непониманія. Иначе пришлось бы сказать, что великіе сатирики обязательно ничего не понимали. Но это относится уже къ настоящему, а мнѣ хочется досказать о прошедшемъ въ его связи съ настоящимъ. Не понимаетъ исторической роли татарскаго ига или крѣпостного права тотъ, кто, хотя бы досконально изучивъ всѣ причины и слѣдствія этихъ явленій, равнодушно, безъ негодованія слушаетъ раздающуюся по нашимъ селамъ и городамъ подлую матерную ругань и, по выраженію Гоголя, „ковыряя въ носу", смотритъ на другія наслѣдія того же характера. И негодованіе въ этомъ случаѣ есть не замѣна изслѣдованія,—я говорю лишь о тѣхъ, кто не только морально возмущается руганью, но и знаетъ ея

Digitized by Google

историческіе корни,—не замѣна изслѣдованія, а нѣчто самостоятельное, свидѣтельствующее, однако, о пониманіи явленія. Такъ называемые „объективисты“ постоянно въ этомъ путаются.

Г. Струве, пытающійся опереться и на критическую философію (совершенно напрасно), приводитъ слѣдующія слова Риля: „быть объективнымъ значитъ быть обязательнымъ для каждаго познающаго существа“ (objectiv sein heisst für jedes erkennende Wesen gültig sein). Попробуемъ приложить это опредѣленіе къ нашему примѣру и къ вышеприведенному разсужденію объ исторической роли рабства. Объективно можетъ быть установлена причинная связь между подлою руганью и татарскимъ игомъ и послѣдующими событіями русской исторіи; объективно, то-есть „обязательно для каждаго познающаго существа“. Прибавка негодованія чисто субъективна и доступна она не для каждаго познающаго существа, а лишь для достигшихъ извѣстнаго нравственнаго уровня. „Объективисты“ не хотятъ этихъ прибавокъ, полагая ихъ лишними и даже мѣшающими изслѣдованію. Но что же они сами дѣлаютъ? Цитата о рабствѣ, этотъ, по мнѣнію г. Струве, „классическій примѣръ объективности и историчности“, содержитъ въ себѣ фразу: „Поэтому мы имѣемъ право сказать: безъ античнаго рабства не было бы современнаго соціализма“. Въ объективномъ смыслѣ это въ такой же мѣрѣ вѣрно, какъ и всякая предположительная причинная связь между двумя произвольно выбранными историческими точками. Во всякомъ случаѣ, если эта связь будетъ фактически установлена, то признаніе ея станетъ „обязательнымъ для каждаго мыслящаго существа“. Но обратите вниманіе на другія стороны цитаты. Пока рѣчь идетъ объ томъ, что рабство не подлежитъ нашему нравственному осужденію въ силу его соотвѣтствія съ понятіями и чувствами своего времени,—съ этимъ до извѣстной степени еще можетъ согласиться „каждое познающее существо“; до извѣстной степени, ибо иное познающее существо можетъ припомнить многочисленныя возстанія греческихъ и римскихъ рабовъ, свидѣтельствующія, что и въ свое время не всѣ понятія и чувства одобряли рабство. Но пусть будетъ такъ. Затѣмъ намъ говорятъ, что рабство еще и *потому* не подлежитъ нравственному осужденію, что оно длиннымъ и запутаннымъ путемъ привело къ современному соціализму. Ясно, что это мнѣніе обязательно отнюдь не для „каждаго познающаго существа“, а только для соціалиста, притомъ соціалиста-оптимиста, да и то

Digitized by Google

не всякаго, а лишь принадлежащаго къ извѣстной школѣ, къ извѣстному толку. Причемъ же тутъ объективизмъ? И, далѣе, причемъ тутъ „историчность“? Всякая причина производитъ болѣе одного слѣдствія, изъ которыхъ каждое въ свою очередь становится причиною новыхъ слѣдствій и т. д.; слѣдствія эти могутъ, въ своемъ дальнѣйшемъ развѣтвленіи, пересѣкать другъ друга, уничтожать, комбинироваться со слѣдствіями другихъ, самостоятельныхъ причинъ. И изъ всей этой сложнѣйшей сѣти выбирается одна черта и совершенно упускаются изъ виду всѣ другія. Поскольку соціализмъ можетъ быть введенъ въ цѣпь причинной связи съ тѣмъ или другимъ явленіемъ отдаленной древности, постольку же связаны съ нимъ и ученія, противоборствующія соціализму. Но возьмемъ какое-нибудь явленіе современной жизни, находящееся внѣ этой борьбы и вообще составляющее общепризнанную язву; возьмемъ проституцію. Положимъ, что намъ удалось доказать, что она есть одно изъ слѣдствій рабства или что, по крайней мѣрѣ, послѣднее сильно способствовало ея развитію. Это можно доказать съ такою ясностью, что выводъ станетъ обязательнымъ для каждаго познающаго существа. Но что бы мы сказали о человѣкѣ, который на этомъ основаніи утверждалъ бы, что рабство, между прочимъ, потому не подлежитъ нравственному суду, что оно способствовало укрѣпленію и развитію проституціи? Что бы мы о такомъ человѣкѣ ни подумали, но уже навѣрное не признали-бы его вывода обязательнымъ для каждаго познающаго существа. Казалось-бы, въ разсужденіи объ исторической роли рабства вообще, т. е. и первобытнаго, и восточнаго, и греко-римскаго, и средне-вѣковаго, и новѣйшаго американскаго, нельзя упускать изъ виду хоть прямыя-то его слѣдствія, отнюдь не исчезнувшія въ современной Европѣ. По крайней мѣрѣ, англійскій ученый Гальтонъ, на основаніи цѣлой группы научныхъ, біологическихъ данныхъ, приходитъ къ такому заключенію: „Я утверждаю, что слѣпой инстинктъ, развившійся подъ продолжительнымъ вліяніемъ этихъ условій, проникъ въ насъ до мозга костей и служитъ въ настоящее время помѣхой пользованію той свободой, которую способны бы были дать намъ формы современной цивилизаціи“ (подробнѣе см. въ моихъ сочиненіяхъ VI, 404). Такъ говоритъ англичанинъ, гражданинъ свободнѣйшей въ мірѣ страны. Почему же въ германской родинѣ экономическаго матеріализма не видятъ этого наслѣдія прошлаго? Разгадка все въ томъ же гегельянствѣ, т. е. на этотъ разъ именно въ философіи, а не въ экономикѣ.

Digitized by Google

Мы видѣли, какая рѣзкая печать гегельянства лежитъ на экономическомъ матеріализмѣ, несмотря на то, а отчасти именно потому, что онъ представляетъ собою въ извѣстномъ смыслѣ реакцію противъ ученія берлинскаго штатсъ-философа. Это знаетъ, пожалуй, и г. Струве. Онъ говоритъ: „Какъ реакція противъ идеалистической метафизики въ исторической философіи, экономическій матеріализмъ самъ, быть можетъ, носитъ на себѣ нѣкоторую метафизическую внѣшность. Тѣмъ не менѣе, по существу ничего метафизическаго въ немъ нѣтъ“ (41). Въ подстрочномъ примѣчаніи къ этому мѣсту г. Струве сообщаетъ: „Иначе смотритъ Зиммель, но онъ иначе, чѣмъ мы, понимаетъ и метафизичность“. Я думаю, читатель съ удовольствіемъ отложилъ-бы знакомство съ фактомъ разногласія г. Струве съ Зиммелемъ, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока узналъ бы, какъ именно „понимаетъ метафизичность“ г. Струве. Но читатель объ этомъ ровно ничего не узнаетъ, равно какъ и о мнѣніяхъ на этотъ счетъ Зиммеля. Зиммель и г. Струве „иначе понимаютъ“,—и довольно съ васъ. Вполнѣ признавая первенствующее значеніе этого факта въ исторіи философіи, мы вынуждены, однако, обходиться безъ помощи упомянутыхъ двухъ мыслителей; и, лишенные столь цѣннаго руководительства, ограничимся лишь немногимъ, строго необходимымъ для уразумѣнія нѣкоторыхъ, быть можетъ наиболѣе примѣчательныхъ сторонъ произведенія г. Струве.

„Объективно то, что обязательно для каждаго познающаго существа“. Мы согласились съ этимъ положеніемъ, но и оно требуетъ оговорки, ограниченія. Если на Марсѣ есть познающія существа, то весьма вѣроятно, что ихъ объективное весьма рѣзко отличается отъ нашего, и быть можетъ объ это обстоятельство разобьются всѣ мечты о междупланетныхъ сношеніяхъ съ жителями Марса. И на землѣ объективный міръ какой-нибудь рыбы или насѣкомаго—существъ въ своемъ родѣ тоже несомнѣнно познающихъ—отнюдь не обязателенъ для человѣка, и наоборотъ. Поэтому, строго говоря, рѣчь можетъ идти не о „каждомъ познающимъ существѣ“, а только о человѣкѣ, обладающемъ нормальными умственными способностями. Это не придирка, а лишь напоминаніе, что и человѣкъ, этотъ „царь природы“, есть существо ограниченное, познанію котораго положены извѣстные предѣлы. Этихъ-то предѣловъ и не признаетъ гордая метафизика: она знаетъ то, чего никто не знаетъ и знать не можетъ, а по-

Digitized by Google

этому, если сама не совершаетъ, то другимъ рекомендуетъ совершать такія дѣла, которыхъ никто не можетъ сдѣлать. Гегель зналъ сущность вещей, ту всеобщую, основную подкладку міра, которой обыкновенные люди не видятъ за пестрой, многоцвѣтной и многозвучной картиной явленій, доступныхъ опыту и наблюденію; онъ зналъ вещи не такими, какими онѣ намъ кажутся по условіямъ нашей организаціи, а каковы онѣ сами по себѣ. Въ формально логическомъ отношеніи замѣчательно устроенная голова, съ необыкновенной охотою плававшая и нырявшая въ волнахъ „чистой мысли", Гегель и міръ, сущность вещей представлялъ себѣ въ видѣ чистой мысли, Разума, Идеи, ничѣмъ, кромѣ своихъ собственныхъ логическихъ законовъ, не обусловленной. Не только „паденіе царствъ и завоеванія", волновавшія Бѣлинскаго, не только рабство, по адресу котораго негодованіе намъ воспрещается, или капитализмъ, на [illegible] къ которому зоветъ насъ г. Струве, но и „лучи пламенѣ, пески морей", и „гадъ морскихъ подводный ходъ, и дольней лозы прозябанье", и давно погибшіе плезіозавры, и только что открытыя бактеріи,— все, все это только разнообразныя воплощенія единой саморазвивающейся идеи, познавшей, наконецъ, себя въ лицѣ Гегеля; и глядя на міръ съ этой возвышенной точки, мы должны оправдать все, что къ ней привело, ибо путь, приведшій къ ней, есть сама логика, непреклонная, неотвратимая, безошибочная, единственная и благодѣтельная. Да, и благодѣтельная. Какого еще въ самомъ дѣлѣ, съ позволенія сказать, рожна нужно человѣчеству,—и не только человѣчеству, а и всякому познающему существу,—если міровая идея, наконецъ, познала себя, если у насъ есть Гегель и его философская система?! Правда, на необозримо длинномъ пути, приведшемъ къ этой лучезарной вершинѣ вершинъ, много крови пролито, много стоновъ раздавалось (сообразите сколько, если взять во вниманіе не человѣчество только, но и каждое познающее существо). Но это—пустяки, только видимости, потому что *въ сущности* не люди стонали, молились, проклинали, не царства падали и возникали, а Идея проходила извѣстныя стадіи развитія, подготовляя систему Гегеля...

Эта система была грандіознѣйшимъ въ своемъ родѣ зданіемъ, хотя Шопенгауеръ утверждалъ, что Гегель только тѣмъ и силенъ, что умѣетъ нѣмцевъ за носъ водить. Зданіе это не лишено было даже своеобразной поэзіи, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ Шеллингъ не безъ

Digitized by Google

основанія говорилъ, что Гегель есть во всѣхъ отношеніяхъ образцовый экземпляръ прозы. Какъ бы то ни было, зданіе, очаровавшее на нѣкоторое время людей, рухнуло; изъ его обломковъ одни, послѣ весьма недолгаго существованія, разсыпались въ прахъ, а нѣкоторые, попавъ въ руки искусныхъ мастеровъ шлифовальщиковъ живутъ и понынѣ. Къ числу такихъ принадлежитъ и экономическій матеріализмъ.

Экономическій матеріализмъ не есть всеобъемлющая философская система, а только обломокъ ея. Воззрѣній его на природу мы, собственно говоря, почти не знаемъ. Насколько можно судить по экскурсіямъ въ эту область въ книгѣ Энгельса противъ Дюринга, онъ примыкаетъ къ естественно-историческому матеріализму, сдабривая его гегельянскою формулою трехстепеннаго развитія: по этой формулѣ и трава растетъ, и геологическія явленія совершаются. Здѣсь вмѣсто духа или идеи наскоро подставляется матерія, на нее кладется гегельянскій штемпель, и тѣмъ дѣло относительно природы кончается, а изслѣдованіе скачкомъ переносится въ область философіи человѣческаго общества. Напримѣръ, Дарвинову теорію Энгельсъ цѣнитъ, какъ противоположность ученію Линнея, какъ одно изъ выраженій идеи развитія, измѣнчивости всего сущаго, но о той роли, которую теорія Дарвина можетъ и должна или не можетъ и не должна играть въ соціологіи,—мы не узнаемъ ничего. Въ экономическомъ матеріализмѣ нѣтъ философской связи между естествознаніемъ и обществознаніемъ, если не считать унаслѣдованнаго отъ Гегеля положенія, что и тамъ и тутъ все происходитъ въ извѣстномъ тройственномъ порядкѣ. Для послѣдовательнаго матеріалиста это немножко мало. (Прошу читателя замѣтить, что упрекъ этотъ я дѣлаю и дальнѣйшее говорю не въ качествѣ матеріалиста; г. Струве называетъ меня субъективнымъ идеалистомъ, а я за кличкой не гонюсь). Затѣмъ въ обществознаніи Энгельсъ торопится ступить въ слѣды Гегеля, но обернувъ ихъ задомъ напередъ: не идея, не философія, а нѣчто другое, матеріальное составляетъ сущность историческаго процесса и его объясненіе. Но что же именно? Казалось бы, самое матеріальное въ человѣческомъ обществѣ, это—плоть и кровь составляющихъ его членовъ, людей, индивидовъ, т. е. элементъ біологическій, а затѣмъ матеріалистъ могъ бы спуститься еще глубже, въ область, пожалуй, физики и механической теоріи, куда и пробовалъ у насъ

Digitized by Google

когда-то спуститься г. Жуковскій. Сообразно выбору той или другой изъ этихъ ступеней матеріи, понятіе объ историческомъ процессѣ могло бы получить весьма разнообразный характеръ. Но экономическій матеріализмъ выбралъ нѣчто, стоящее внѣ этихъ ступеней,—не матерію, а переработку матеріи человѣческими руками и ея передачу на извѣстныхъ условіяхъ изъ рукъ въ руки,—производство и обмѣнъ. Послѣдовательный матеріалистъ этимъ удовлетвориться не можетъ. И тѣ, кто думаетъ, что при помощи экономическаго матеріализма найдена самая сущность, самое дно вещей, которое прежде искали при помощи идеализма, жестоко ошибаются: и тогда была яма глубока, и теперь въ ней дна не видно. Мало того, старая философія, хоть бы тоже гегельянство, несмотря на свою основную односторонность, пыталась обнять единымъ принципомъ все сущее, а теперь мы имѣемъ лишь осколокъ ея, сугубо односторонне сосредоточивающій наше вниманіе. Тѣмъ не менѣе гордые пріемы старой метафизики вполнѣ усвоены экономическимъ матеріализмомъ.

Съ точки зрѣнія экономическаго матеріализма, какъ и съ точки зрѣнія гегельянства и всякой другой метафизической системы, люди съ ихъ желаніями и страстями, помыслами и цѣлями представляютъ собою нѣкоторое игралище всевластной сущности историческаго процесса. Люди думаютъ, что они находятъ истину и заблуждаются, посягаютъ и достигаютъ или терпятъ пораженіе, любятъ, ненавидятъ, страдаютъ, борются, но все это только одна видимость, „поверхность“ вещей вообще и исторіи въ частности; *въ сущности* все это только средства для выполненія нѣкотораго общаго плана, предначертаннаго—у Гегеля саморазвивающейся идеей, у Шопенгауера самодовлѣющей, ничѣмъ не обусловленной и все собою обусловливающей міровой Волей, у экономическаго матеріализма самодовлѣющимъ, имманентнымъ развитіемъ формъ производства и обмѣна. „Du glaubst zu schieben und du wirst geschoben“—цитируетъ въ одномъ мѣстѣ, по адресу „кучки идеалистовъ“, г. Струве ядовитыя слова Мефистофеля. Мефистофель, въ качествѣ неземного созданія, зналъ тайну бытія и потому съ снисходительнымъ презрѣніемъ смотрѣлъ на людскія старанія такъ ли, сякъ ли по своему устроиться на землѣ. Тайну бытія знаютъ и метафизики вообще, и экономическій матеріализмъ, и, наконецъ, г. Струве... Мефистофель и г. Струве!.. О, иронія!

Digitized by Google

Однако, поощряемый примѣромъ г. Струве, припоминаю рѣчи Мефистофеля и я, но не тѣ, въ которыхъ проявляется его нечеловѣческая натура, а такъ, простыя, хотя и остроумныя рѣчи. Вспоминается мнѣ совѣтъ, данный Мефистофелемъ школяру: „Прежде всего должны вы приняться за метафизику. Тамъ старайтесь глубокомысленно обнять все, что не вмѣщается въ человѣческомъ мозгу“. И еще:

Der Philosoph, der tritt herein
Und beweist euch, es müsst so sein:
Das Erst' wär' so, das Zweite so,
Und drum das Dritt' und Vierte so;
Und wenn das Erst' und Zweit' nicht wär',
Das Dritt' und Viert' wär nimmermehr.

Это тоже изъ разговора Мефистофеля со школяромъ и гласитъ по русски такъ: „приходитъ философъ и поучаетъ, что такъ и должно быть: поелику первое таково, а второе таково, то третье и четвертое таково; а если бы не было перваго и второго, то не было бы никогда ни третьяго, ни четвертаго“. Такъ именно разсуждалъ Гегель, проводя прямую линію отъ себя, отъ момента созданія его философіи и ея, по его мнѣнію, отраженія въ современныхъ ему прусскихъ порядкахъ—вплоть до неизвѣстнаго начала всѣхъ вещей. Также, въ меньшемъ масштабѣ, разсуждаетъ и экономическій матеріализмъ, проводя прямую линію отъ себя до древняго рабства: все, лежащее на этой прямой линіи, неприкосновенно для нравственнаго суда; ибо все это было, во-первыхъ, исторически необходимо, а во-вторыхъ, служило подготовленіемъ къ *нашему* появленію; въ *насъ*, познавшихъ сущность историческаго процесса, объективное слилось съ субъективнымъ, стихійное стало разумнымъ.

Я не буду распространяться о томъ, что, кромѣ гегельянскаго происхожденія, наложило печать самоувѣреннаго оптимизма на экономическій матеріализмъ. Напомню только, что объявился онъ въ сороковыхъ годахъ,—въ эпоху разнообразныхъ радужныхъ мечтаній, когда такъ многимъ и съ такихъ различныхъ точекъ зрѣнія „на землѣ миръ и въ человѣцѣхъ благоволеніе“ казались дѣломъ завтрашняго дня. Основатели экономическаго матеріализма были въ составѣ этой радуги, но, вооруженные гибкой, на всѣ лады настраивающейся гегельянской діалектикой, они заняли при этомъ такую позицію, съ которой стихій-

Digitized by Google

ное представляется разумнымъ и мечта осуществляется сама собой. Отсюда ихъ кажущаяся трезвость или объективизмъ, такъ восхищающій г. Струве. Но я слишкомъ чту другія, не философскія заслуги основателей экономическаго матеріализма, чтобы дольше держать ихъ рядомъ съ г. Струве. Заслуги послѣдняго пока довольно скромны, и начинаетъ онъ свою научно-публицистическую карьеру при условіяхъ, рѣзко отличныхъ отъ тѣхъ, при которыхъ возникъ и окрѣпъ экономическій матеріализмъ на своей родинѣ. Поэтому-то онъ и говоритъ: „пойдемъ на выучку къ капитализму",—чего никогда не говорили, не говорятъ и не могутъ говорить его учителя. Оставимъ же учителей и остановимся на ученикѣ, хотя намъ придется при этомъ приводить, между прочимъ, и слова учителей, ученикомъ повторяемыя.

„Свобода заключается не въ воображаемой независимости отъ законовъ природы, но въ познаніи этихъ законовъ и въ вытекающей изъ него возможности планомѣрно пользоваться ими для опредѣленныхъ цѣлей" (цитата изъ Энгельса на стр. 64). Это безспорная истина. Но она не причемъ въ нашихъ съ г. Струве пререканіяхъ: если онъ старается познать законы природы, чтобы планомѣрно пользоваться ими для своихъ опредѣленныхъ цѣлей, то и я, по мѣрѣ силъ и умѣнья, занятъ тѣмъ же для своихъ цѣлей, весьма отличныхъ отъ его цѣлей. Самыя наши цѣли и соотвѣтственные идеалы создаются дѣйствительностью, фактами,—говоритъ г. Струве. Опять безспорная истина, и опять въ нашемъ дѣлѣ никчемная: его идеалы созданы фактами, дѣйствительностью, но и мои вѣдь тоже, и я такой же продуктъ исторической необходимости. Значитъ, на этой почвѣ мы другъ для друга неуязвимы, oleum et operam perdidi, — долженъ съ грустью сказать г. Струве по поводу всѣхъ затратъ на эту тему. Какъ уже выше сказано, ему слѣдовало бы сосредоточить свои силы прежде всего на доказательствѣ того, что сущность историческаго процесса состоитъ въ саморазвитіи формъ производства и обмѣна и что „правовыя и политическія учрежденія, равно какъ религіозныя и философскія и всѣ прочія воззрѣнія каждаго даннаго періода" (46) суть только надстройки на этомъ основаніи. Съ этимъ я буду спорить, равно, какъ съ отрицательной прибавкой къ одной изъ вышеприведенныхъ безспорныхъ истинъ: идеалы создаются дѣйствительностью, фактами, но идеалы *не* создаютъ дѣйствительности.

Digitized by Google

Du glaubst zu schieben und du wirst geschoben,—смѣется надъ людьми Мефистофель. Ему хорошо смѣяться. Allwissend bin ich nicht,—говоритъ онъ объ себѣ. Но куда же все-таки мѣряться съ нимъ намъ, простымъ смертнымъ! Мы знаемъ, что подлежимъ, какъ и все на свѣтѣ, закону причинной связи. Но, во-первыхъ, мы не знаемъ той сущности, того общаго, ничѣмъ не обусловленнаго и все обусловливающаго первоначальнаго двигателя, который знаютъ Мефистофель и г. Струве, а во-вторыхъ, не можемъ отдѣлаться отъ мысли, что, пользуясь тѣмъ же закономъ причинной связи, мы можемъ въ свою очередь вліять на ходъ событій, т. е. что мы не только sind geschoben, но и дѣйствительно schieben. Съ какой-нибудь сверхъ-человѣческой точки зрѣнія, на которую человѣкъ и стать не можетъ или, по крайней мѣрѣ, не можетъ сколько-нибудь удержаться, это можетъ быть иллюзія, самообманъ, но что же дѣлать, если такова ужъ ограниченная природа человѣка? Мнѣ особенно пріятно сослаться въ этомъ отношеніи на г. Струве. На стр. 55, онъ, повторяющій на стр. 71 насмѣшку Мефистофеля, говоритъ: „Въ томъ указаніи, что люди сознательно преслѣдуютъ извѣстныя цѣли, что въ силу этого они *не могутъ на практикѣ смотрѣть на себя иначе, какъ на дѣятелей прогресса*; что такимъ образомъ извѣстная доктрина laissez faire, laissez passer, съ которой въ лицѣ Спенсера сражается Уордъ, не имѣетъ подъ собой никакой теоретической почвы,—во всемъ этомъ нѣтъ ничего новаго“. Зачѣмъ намъ непремѣнно новое! Бываетъ и новое нехорошее и не новое хорошее. Порадуемся же, что обладаемъ хорошимъ, вѣрнымъ. Подчеркнутымъ словамъ г. Струве я придаю такую же высокую цѣну, какъ и его признанію философской необоснованности и фактической непровѣренности экономическаго матеріализма. Итакъ, что бы ни говорилъ Мефистофель и какова бы ни была всевластная сущность историческаго процесса, человѣкъ не можетъ не считать себя дѣятелемъ, двигателемъ, и всякое ученіе, не принимающее этого въ соображеніе, „не имѣетъ подъ собой никакой теоретической почвы“. Пусть читатель самъ взвѣситъ значеніе этихъ категорическихъ „не можетъ“, „не имѣетъ никакой теоретической почвы“—для всего произведенія г. Струве, а я прошу его сопоставить еще слѣдующія двѣ цитаты:

На стр. 55: „Матеріалистическая теорія исторіи вполнѣ объемлетъ и сознательную цѣлесообразную дѣятельность людей; она

Digitized by Google

только указываетъ на зависимость ея отъ матеріальныхъ экономическихъ условій, выводитъ ее изъ послѣднихъ". Это—перифраза извѣстнаго положенія о юридическихъ, политическихъ, нравственныхъ и прочихъ воззрѣніяхъ и соотвѣтственныхъ учрежденіяхъ, какъ о надстройкѣ на экономическомъ фундаментѣ. А на стр. 285, въ „заключеніи", возвращаясь къ установленію разницы между своими воззрѣніями и тѣми, съ которыми онъ полемизируетъ, г. Струве говоритъ: „Отсюда—совершенно различная оцѣнка исторической важности нашихъ собственныхъ идей и идеаловъ. Послѣдніе, съ нашей точки зрѣнія, историческая сила *только поскольку* они необходимое порожденіе процесса экономическаго развитія, который самъ всегда происходитъ „на достаточномъ основаніи" и представляетъ собою коллективное творчество, въ конечномъ счетѣ носящее такой же стихійный, а потому и закономѣрный характеръ, какъ и всѣ другія измѣненія въ окружающемъ насъ мірѣ".

Я подчеркнулъ слова „только поскольку" не для того, чтобы обратить вниманіе на ихъ какофонію, а чтобы отмѣтить то ограниченіе, которое накладывается ими на теорію экономическаго матеріализма. Значитъ, не цѣликомъ на экономическомъ фундаментѣ покоятся наши „идеи и идеалы". И это, конечно, совершенно вѣрно. Взять хоть бы идеи и идеалы г. Струве. Ему, конечно, хочется думать, что они составляютъ „историческую силу" и необходимое порожденіе нашего экономическаго развитія. Послѣднее до извѣстной степени вѣрно. У всякой возникающей силы,—а нашъ капитализмъ, хотя и съ великимъ трудомъ, съ выпрашиваніемъ высокихъ и запретительныхъ тарифовъ и всякаго рода матеріальныхъ и нематеріальныхъ субсидій, становится силой,—являются пособники, прислужники, какъ въ практической, такъ и въ теоретической области. Это вѣчно повторяющаяся исторія, но я не хочу думать, что г. Струве, хотя и призывающій насъ „на выучку къ капитализму", сознательно играетъ роль въ этой исторіи. Его идеи и идеалы представляются мнѣ необходимымъ порожденіемъ его психо-физіологической организаціи, быстро и съ увлеченіемъ воспринимающей чужія теоріи, которыя отпечатлѣваются въ его мозгу, какъ печать на сургучѣ; затѣмъ идетъ вліяніе нашей нынѣшней пустопорожней общественной атмосферы и т. д.,—я, разумѣется, говорю только предположительно. Какъ „историческая сила", г. Струве подлежитъ изслѣ-

Digitized by Google

дованію историческому, которымъ будущій историкъ, конечно, и займется...

Человѣкъ на практикѣ не можетъ смотрѣть на себя иначе, какъ на дѣятеля, двигателя. Мы съ г. Струве ничтожныя величины въ нашей общественной жизни, но и мы дѣятели, двигатели не только въ кругу непосредственно соприкасающихся маленькихъ житейскихъ дѣлишекъ, но и въ смыслѣ вліянія на умы читателей. Поэтому намъ свойственны и чувство отвѣтственности за свою дѣятельность, и выработка извѣстныхъ мотивированныхъ правилъ поведенія. Какія же правила поведенія преподаетъ намъ г. Струве? Въ дѣлѣ изслѣдованія, изученія, онъ рекомендуетъ, какъ мы видѣли, объективизмъ, а для житейской практики его кодексъ исчерпывается однимъ правиломъ: пойдемъ на выучку къ капитализму. Если подъ объективизмомъ разумѣть добросовѣстность, полноту, фактическую достовѣрность изслѣдованія, то это и удобоисполнимое, и прекрасное правило, и нужно только желать, чтобы самъ г. Струве ему слѣдовалъ. Но въ понятіе объективизма г. Струве вкладываетъ еще свою ненависть или свое презрѣніе къ личному началу, и это обстоятельство тѣсно связано съ его призывомъ на выучку къ капитализму.

„Мышленіе возможно только, какъ соціальное,—говоритъ г. Струве, истина есть представленіе рода, заблужденіе—представленіе индивидуума, нравственной нормой для индивидуума *въ общемъ* (курсивъ г. Струве) является то, что представляетъ фактическую норму для соціальной группы“ (35). И далѣе: „Ничто въ такой мѣрѣ не характеризуетъ современную *научную этику* (курсивъ г. Струве), какъ именно матеріализмъ (или реализмъ), выражающійся въ сведеніи содержанія нравственности къ типически соціальному поведенію“ (43). Это выражено до такой степени не ясно, не точно, не полно, что я рѣшительно затрудняюсь отвѣтить, напримѣръ, на такой вопросъ: весь родъ человѣческій убѣжденъ, что солнце обращается вокругъ неподвижной земли; одинъ Галилей (конечно, не буквально одинъ) думаетъ иначе; значитъ ли это, что представленіе рода есть въ данномъ случаѣ истина, а представленіе индивидуума—заблужденіе? Или, обращаясь къ нравственной нормѣ: взяточничество составляло „фактическую норму для соціальной группы“ русскаго чиновничества добраго стараго времени; одинъ, положимъ, герой „Большой медвѣдицы“ Багрянскій (опять таки, конечно, не буквально

Digitized by Google

одинъ) находитъ взяточничество безнравственнымъ, за что и терпитъ все, что ему въ романѣ полагается; значитъ ли это, что онъ нравственно заблуждается, а вся соціальная группа обрѣла нравственную истину? Я не знаю, какъ надо отвѣчать на эти вопросы; мнѣ хорошо извѣстно, что взяточничество въ свое время большинствомъ не считалось постыднымъ и соединялось даже съ семейными добродѣтелями („ребятишкамъ на молочишко"), но другія соціальныя группы, подвергавшіяся поборамъ, держались на этотъ счетъ иного мнѣнія, и я не знаю, какъ приложить сюда предписаніе объективности, какъ пригодности для всякаго познающаго существа. Г. Струве не согласенъ съ поговоркой—сколько головъ, столько умовъ, и я его понимаю. Но онъ хочетъ замѣнить это изреченіе другимъ: сколько соціальныхъ группъ, столько и умовъ, и нравственностей, и я нахожусь въ затрудненіи. Я вижу множество разнообразныхъ соціальныхъ группъ, различіе которыхъ, мимоходомъ сказать, основывается не только на экономикѣ, но и на началахъ родства, національности, вѣроисповѣданія, политическаго значенія. Вижу, напримѣръ, соціальную группу, называемую французами и исповѣдующую ненависть къ нѣмцамъ, какъ нравственный долгъ; несмотря на то, что этотъ параграфъ кодекса французской нравственности выросъ изъ дѣйствительности, фактовъ и имѣетъ не личный, а групповой характеръ, я не могу признать его обязательнымъ для каждаго познающаго существа. Этика соціальной группы рабовладѣльцевъ не можетъ быть обязательною для соціальной группы рабовъ и т. д., и т. д. Такимъ образомъ объективизмъ, какъ свойство групповой нравственности, есть чистѣйшій миѳъ. И не объ объективизмѣ г-на Струве можетъ идти рѣчь, а объ томъ — какой соціальной группы является онъ представителемъ и выразителемъ.

„Тѣмъ,—говоритъ г. Струве,—кто указываетъ на историческую необходимость капиталистическаго процесса, обыкновенно въ нашей литературѣ приписывается нелѣпое стремленіе обезземелить массу русскихъ крестьянъ и per fas et nefas насадить капитализмъ", но, продолжаетъ г. Струве, это клевета. Г. Струве и его единомышленники утверждаютъ только, что фактическое обезземеленіе извѣстной—пока неизвѣстно какой—части крестьянства неизбѣжно, и этотъ процессъ явится развитіемъ капитализма. Какъ видите, г. Струве объективенъ,—онъ только провидитъ событія (275). Однако въ то же время онъ считаетъ и обезземе-

Digitized by Google

леніе, и развитіе капитализма полезнымъ, нужнымъ, ведущимъ ко всеобщему благополучію. При этомъ его умственное око любуется далекимъ зрѣлищемъ, въ которомъ безземельный крестьянинъ есть только частность. Если бы какая-нибудь комбинація, оторвавъ крестьянина отъ земли, устроила его самостоятельнымъ производителемъ въ обрабатывающей промышленности, г. Струве былъ бы огорченъ. „Экономическая самостоятельность производителя“ вообще ему претитъ. Съ наивностью правовѣрнаго послѣдователя Корана онъ говоритъ, что если этотъ „идолъ“ (173) будетъ признанъ идеаломъ, то „всѣ выводы, сдѣланные (основателями экономическаго матеріализма) изъ капиталистическаго процесса, теряютъ всякій смыслъ и всякое обаяніе“ (168). Какъ будто это убѣдительный аргументъ для тѣхъ, кто въ Коранъ не вѣритъ!

Такимъ образомъ ближайшій идеалъ г. Струве—идеалъ, а не только историческая необходимость—чисто отрицательнаго свойства: разрушеніе и недопущеніе экономической самостоятельности производителя. Это отнюдь не личный идеалъ г. Струве,—Боже сохрани, онъ таковыхъ не имѣетъ, его „мышленіе соціально“ и выражаетъ собою исторически необходимую тенденцію соціальной группы. Есть у насъ, однако, обширная соціальная группа, для которой ненавистный г-ну Струве идолъ экономической самостоятельности есть настоящій, животрепещущій идеалъ. Обойдите всю Россію, опросите милліоны производителей—все равно, общинниковъ, подворныхъ, батраковъ, арендаторовъ—и вы убѣдитесь, что ихъ хозяйственный идеалъ есть именно экономическая самостоятельность. Идеалъ этотъ выросъ непосредственно на исторически необходимой экономической почвѣ, какъ ея исторически необходимый продуктъ. Онъ движетъ, напримѣръ, переселенческія волны въ Сибирь, на Кавказъ, и этотъ процессъ, говоря словами г. Струве по другому поводу,—„происходитъ на достаточномъ основаніи и представляетъ собою коллективное творчество, въ конечномъ счетѣ носящее такой же стихійный, а потому и закономѣрный характеръ, какъ и всѣ другія измѣненія въ окружающемъ насъ мірѣ“.

Что касается русскаго капитализма, какъ соціальной группы, то онъ можетъ быть и признаетъ г. Струве своимъ отраженіемъ и выраженіемъ. Часть этой группы въ отвѣтъ на призывъ на выучку къ капитализму, по своему патріархальному невѣжеству,

Digitized by Google

скажетъ, пожалуй: не надо намъ тебя, еще грѣха съ тобой наживешь! Но другая часть будетъ рада взять къ себѣ на выучку способныхъ людей, хотя бы и съ камнемъ за пазухой. Камень этотъ состоитъ въ томъ, что капитализмъ есть историческая категорія, которая уступитъ съ теченіемъ времени мѣсто иному строю. Но вѣдь улита ѣдетъ, когда-то будетъ! Когда-то еще она доползетъ до послѣдняго термина гегелевской тріады, да и такъ ли оно вообще будетъ, а пока погрѣть руки можно...

Единомышленники г. Струве должны, по крайней мѣрѣ, вдуматься въ ожидающее ихъ положеніе. Оно указывается разсужденіями автора на тему: капитализмъ не только зло, но и историческая необходимость. Иначе говоря, капитализмъ не только историческая необходимость, но и зло. Поэтому-то г. Струве „вовсе не желаетъ ни идеализировать капиталистическій строй, ни быть его адвокатомъ“ (159). Итакъ, онъ приглашаетъ насъ въ такое мѣсто, защищать которое онъ не можетъ, и служить злу, потому что оно необходимо. Людямъ толстокожимъ и лицемѣрамъ легко устроиться въ этомъ положеніи, но для другихъ оно трудно выносимо по той раздвоенности, на которую оно ихъ обрекаетъ. Нельзя не пожалѣть, что г. Струве, съ такими пропусками и извращеніями очертившій ту литературу, съ которою онъ полемизируетъ, оставилъ уже безъ всякаго вниманія ту, которая уже давно приглашаетъ на выучку къ капитализму, только безъ всякаго камня за пазухой. Въ 70 годахъ эта струя была очень сильна въ нашей либеральной литературѣ, и вотъ что я писалъ по этому поводу, пораженный нѣкоторыми явленіями нашей журналистики.

Колесо національнаго богатства только что начинаетъ вертѣться въ Россіи, и притомъ при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Во-первыхъ, огромная часть производительныхъ силъ страны находится въ рукахъ народа, т. е. трудящихся классовъ. Значитъ для созданія національнаго богатства по программѣ отечественной журналистики надо отодрать громаду народа отъ земли и орудій производства. Во-вторыхъ, отодраніе это надо производить сознательно, потому что прислушиваемся же мы къ тому, что дѣлается и дѣлалось въ Европѣ; знаемъ же мы, что національное богатство есть нищета народа. Въ-третьихъ, отодраніе должно быть произведено въ пользу лицъ и интересовъ еще не существующихъ, а только имѣющихъ образоваться самымъ процессомъ отодранія. Сознательное, но безцѣльное преступленіе—вотъ что приходится дѣлать современной журналистикѣ при нынѣшнемъ ея направленіи. Что можетъ быть ужаснѣе такой задачи, такого положенія. И мудрено ли, что эти люди ходятъ и пишутъ, какъ

Digitized by Google

тѣни, что грозный приговоръ потомства, подсказываемый имъ по временамъ совѣстью, связываетъ имъ языкъ и руки, отгоняетъ образы отъ воображенія, мысли отъ разума.

Если все это фатально, исторически необходимо, то признайте же фактъ, необходимый фактъ раздвоенности со всѣми его послѣдствіями, будьте „объективны“.

Г. Струве обѣщаетъ, что изъ необходимаго зла проистечетъ необходимое добро. И это—на основаніи теоріи, по его собственному показанію, философски не обоснованной и фактически не провѣренной. Струве указываетъ, что „вся современная матеріальная и духовная культура тѣсно связана съ капитализмомъ: она выросла или вмѣстѣ съ нимъ или на его почвѣ“. Я уже говорилъ объ этомъ по поводу древняго рабства. Теперь подчеркну только одно: анархизмъ, какъ послѣднюю черту современной матеріальной и духовной культуры. Полстолѣтія тому назадъ родился экономическій матеріализмъ и пообѣщалъ „обобществленіе“. Въ то же самое время Максъ Штирнеръ, о которомъ я писалъ недавно, возсталъ противъ всякаго общества во имя личности, во имя даже просто своего *я*. Но обобществленіе казалось такъ близкимъ, что надъ Максомъ Штирнеромъ только посмѣялись и немедленно забыли его. Прошло полвѣка, и идеи Штирнера въ новомъ убранствѣ получили огромный успѣхъ въ лицѣ Фридриха Ничше. Вмѣстѣ съ тѣмъ личность, которую такъ презираетъ г. Струве и хочетъ совсѣмъ со счетовъ скинуть, не обобществленная, озлобленная, въ лицѣ анархистовъ непредвидѣнно нарушаетъ стройное теченіе дѣлъ по тремъ гегелевскимъ стадіямъ...

XV *).

Еще о Фридрихѣ Ничше.

Въ 1872 году появилось сочиненіе Фридриха Ничше „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“, оригинальность котораго была, между прочимъ, отмѣчена Ланге въ „Исторіи матеріализма“. Затѣмъ Ничше опубликовалъ „Unzeitgemässe Betrachtungen“ (1873—1876 г.), „Menschliches, Allzumenschliches“, „Morgenröthe“, „Die fröhlige Wissenschaft“, „Also sprach Zarathustra“. Послѣднее изъ названныхъ сочиненій (за которымъ

*) 1894, ноябрь.

Digitized by Google

слѣдовали еще другія), не безъ основанія считаемое многими главнымъ произведеніемъ Ничше, чрезвычайно оригинальное, можно сказать, кричащее по формѣ и содержанію, появилось первымъ изданіемъ въ 1884 г. Но настолько еще Ничше былъ въ то время неизвѣстенъ, что въ 13-мъ изданіи Энциклопедическаго словаря Брокгауза его имени нѣтъ ни въ 12-мъ томѣ (1885 г.), гдѣ ему слѣдовало-бы быть по алфавиту, ни въ дополнительномъ (1887 г.). Мы, русскіе, услыхали о немъ настолько поздно, что еще въ 1890 г. переводчикъ „Исторіи новой философіи" Ибервега-Гейнце, г. Колубовскій, въ указателѣ личныхъ именъ къ названной книгѣ упоминалъ, какъ двухъ разныхъ писателей, „Ф. Нитче" и „Ф. Ниче". Но уже въ 1892 и 1893 г. московскій философскій журналъ „Вопросы философіи и психологіи" счелъ нужнымъ въ нѣсколькихъ статьяхъ (гг. Преображенскаго, Лопатина, Грота, Астафьева) болѣе или менѣе обстоятельно познакомить читателей съ воззрѣніями Ничше. И, судя по нѣкоторымъ признакамъ, статьи эти (въ особенности г. Преображенскаго) возбудили большое вниманіе. Мало того, какъ извѣстно читателямъ „Русскаго Богатства" изъ статьи М. А. Протопопова о послѣднемъ романѣ г. Боборыкина, этотъ юркій беллетристъ успѣлъ уже изобразить русскаго ничшіанца, правда, кривь и вкось толкующаго ученіе учителя; и можетъ быть это не вполнѣ изобрѣтеніе г. Боборыкина, а есть въ немъ нѣчто и отъ подлинной жизни. Въ фельетонѣ одной провинціальной газеты („Минскаго Листка") я прочиталъ указаніе на распространеніе у насъ неправильно понимаемыхъ идей Ничше. Нѣкоторыя полученныя мною письма ясно говорятъ о томъ же. О Европѣ, въ особенности о Германіи, ничего и говорить. Цитируемый Максомъ Нордау („Entartung") Гуго Каацъ утверждаетъ, что „духовный посѣвъ" Ничше даетъ обильные всходы и что нынѣ рѣдко можно встрѣтить статьи на философскую тему безъ упоминанія о Ничше. Это немножко много; но достовѣрно, что о недавно еще мало кому извѣстномъ мыслителѣ существуетъ уже цѣлая литература, и цитированный г. Протопоповымъ сотрудникъ „Вѣстника Европы" едва-ли правъ, утверждая, что идеи Ничше имѣли (а не имѣютъ?) только succès de surprise.

Ученики Ничше считаютъ его звѣздой первой величины, а его сочиненія „священнѣйшими изъ священныхъ книгъ". Съ другой стороны, Нордау объявляетъ его однимъ изъ типичныхъ де-

Digitized by Google

кадентовъ и просто сумасшедшимъ. Тотъ же Нордау не находитъ достаточно сильныхъ словъ для хулы на самое изложеніе Ничше, тогда какъ, напримѣръ, г. Преображенскій говоритъ: афоризмы Ничше „поражаютъ силою и гибкостью своего языка, изумительнымъ мастерствомъ въ передачѣ самыхъ неуловимыхъ и капризныхъ оттѣнковъ мыслей и настроеній, и изяществомъ своей формы, то пластической и словно вычеканенной, то звучной и выразительной, какъ музыка. Книги лучшаго періода Ничше представляютъ, конечно, лучшіе образцы нѣмецкой прозы, не исключая Гете и Шопенгауера“ *).

Есть доля правды въ этихъ столь противоположныхъ и слишкомъ категорическихъ мнѣніяхъ.

Что Ничше кончилъ душевною болѣзнью, которая его и прежде посѣщала, это фактъ общеизвѣстный, отражавшійся, конечно, и на изложеніи, и на самомъ ходѣ его мыслей. Въ сочиненіяхъ его, рядомъ съ строго логическимъ и тонкимъ анализомъ, можно встрѣтить странные, почти невѣроятные скачки мысли и даже просто очевидный вздоръ, точно также, какъ рядомъ съ блестящими, художественными страницами—безсильное, пухлое многословіе съ непріятно вычурными оборотами рѣчи. Мы не будемъ приводить здѣсь образцы того и другого, и удовольствуемся тѣми, какіе намъ окажутся нужны ниже, при изложеніи ученія Ничше. Замѣтимъ здѣсь только, что если вообще неудобенъ девизъ русскихъ читателей—„все или ничего“, то относительно Ничше онъ совсѣмъ никуда не годится, хотя бы уже потому, что его сочиненія кишатъ противорѣчіями. Что касается душевной болѣзни, то преданные ученики стараются всячески затереть или замять значеніе этого печальнаго факта. Но не говоря уже о фактической сторонѣ дѣла, преданные ученики упускаютъ изъ виду нѣкоторыя сооб-

*) Самъ Ничше, въ своемъ горделивомъ безуміи, объявляетъ себя „первымъ изъ нѣмецкихъ мастеровъ“ въ афоризмахъ, а о „Заратустрѣ“ говоритъ: „Я далъ человѣчеству глубочайшую книгу, какою оно только обладаетъ,—моего „Заратустру“. Онъ прибавляетъ: „Я дамъ ему скоро и самую независимую“ („Götzen-Dämmerung“ 1889, стр. 129). Подъ этой „самой независимой“ книгой надо, повидимому, разумѣть „Umwerthung aller Werthe“, первую часть которой Ничше успѣлъ написать, но она еще не издана до сихъ поръ (см. предисловіе самого Ничше къ „Götzen Dämmerung“ и предисловіе издателя ко второму изданію рѣчей Заратустры).

Digitized by Google

раженія самого учителя о „значеніи сумасшествія въ исторіи нравственности“.

Такъ озаглавленъ одинъ изъ параграфовъ (14-й) книги „Morgenröthe“. Тамъ, между прочимъ, читаемъ: „Почти всегда именно сумасшествіе прокладывало путь новымъ мыслямъ и перебивало пути уважаемыхъ обычаевъ и суевѣрій. Понимаете ли вы, почему это должно было быть дѣломъ сумасшествія? Зачѣмъ въ голосѣ и жестахъ нѣчто грозное и непредвидимое, какъ демоническія причуды погоды или моря, и потому столь же достойное ужаса и наблюденія? Нѣчто, какъ судороги и пѣна эпилептика, столь явственно непроизвольное и заставляющее видѣть въ больномъ отраженіе и отзвукъ божества? Нѣчто, самому носителю новой мысли внушающее уваженіе къ себѣ, отгоняющее всѣ угрызенія совѣсти и обращающее его въ пророка и мученика новой мысли?“ Далѣе Ничше говоритъ о тѣхъ искусственныхъ пріемахъ, которыми достигается душевное разстройство разныхъ чародѣевъ и чудодѣевъ у дикарей и въ средніе вѣка въ Европѣ.

Въ числѣ этихъ искусственныхъ пріемовъ любопытно отмѣтить удаленіе въ пустыню, уединеніе. А едва ли найдется еще писатель, который такъ часто и въ такихъ пламенныхъ выраженіяхъ восхвалялъ бы уединеніе, какъ Ничше, и это не было пустое слово: изъ его біографіи извѣстно, что онъ не на словахъ только, а и на дѣлѣ любилъ уединеніе. Такимъ образомъ преданнымъ ученикамъ нѣтъ надобности затушевывать значеніе душевной болѣзни учителя: по его собственной теоріи (совпадающей съ извѣстной теоріей „маттоидовъ“ Ломброзо), новые пути къ истинѣ пролагаются душевно больными...

Правда, возвращаясь отчасти къ той же темѣ въ § 66 той же Morgenröthe, Ничше рекомендуетъ не вѣру, а осторожность по отношенію къ „полуразстроеннымъ, фантастическимъ, фанатическимъ, такъ называемымъ геніальнымъ людямъ“. Но преданные ученики могутъ ингорировать этотъ совѣтъ относительно учителя, которому, дескать, душевная болѣзнь не помѣшала открыть и указать новые пути къ истинѣ.

Преданнымъ ученикамъ нѣтъ надобности протестовать и противъ слова „декадентъ“,—учитель самъ себя такъ называлъ. Въ предисловіи къ „Der Fall Wagner“ онъ писалъ: „Какое первое и послѣднее требованіе философа по отношенію къ самому себѣ? Оно заключается въ побѣдѣ надъ своимъ вѣкомъ, въ по-

Digitized by Google

становкѣ себя „внѣ вѣка“. Противъ кого онъ долженъ выдержать самую тяжкую борьбу? Противъ того, въ комъ онъ узнаетъ самого себя, какъ сына своего вѣка. Вотъ почему я, какъ и Вагнеръ, сынъ вѣка, т. е. *декадентъ*. Съ той только разницей, что я это сознаю и отъ этого защищаюсь. Угрожающей мнѣ опасности противится заключенный во мнѣ философъ. Что меня въ сущности больше всего занимало—такъ это проблема декадентства. Для этого я имѣю свои основанія. Вопросъ о „добрѣ“ и „злѣ“ есть не что иное, какъ только варьяція этой проблемы. Если мы будемъ имѣть общій взглядъ на симптомы декадентства, тогда станетъ понятнымъ смыслъ морали... Для того, чтобы выполнить такого рода задачу, мнѣ была необходима извѣстнаго рода выдержка; мнѣ надо было объявить войну всему, что было во мнѣ больного, включая туда и Вагнера и Шопенгауера, и всю современную „гуманность“; мнѣ надо было изолироваться, сдѣлаться на нѣкоторое время индифферентнымъ ко всему, овладѣть собою въ виду всѣхъ вѣяній вѣка, всѣхъ удобствъ его“*).

Итакъ, самъ Ничше считаетъ себя декадентомъ, правда, „выздоровѣвшимъ“, какъ онъ говоритъ вслѣдъ за приведенными словами. Правда и то, что Ничше понимаетъ декадентство очень своеобразно, и, на иной взглядъ, онъ сталъ декадентомъ какъ разъ въ то время, когда, по его мнѣнію, онъ „выздоровѣлъ“. Во всякомъ случаѣ своеобразно понимаемая „проблема декадентства“, дѣйствительно, составляетъ если не центръ, то одинъ изъ важнѣйшихъ центровъ всѣхъ умственныхъ интересовъ Ничше. И, принявъ ее за таковой, можно съ удобствомъ оріентироваться въ кругѣ наиболѣе любопытныхъ идей Ничше. Удобство это, однако, весьма относительное.

Лишь немногія изъ сочиненій Ничше изложены въ систематическомъ порядкѣ. Большинство представляетъ собою рядъ отрывковъ, иногда логически связанныхъ между собою, а иногда безъ всякой связи, иногда сжатыхъ въ форму афоризма, иногда распространенныхъ въ отдѣльныя законченныя статьи, причемъ авторъ часто не стѣсняется ставить рядомъ разсужденія о предметахъ, не имѣющихъ между собою ничего общаго. Мѣстами получается нѣчто вродѣ записной книжки, куда авторъ заноситъ

*) Пользуюсь для этой цитаты переводомъ журнала „Артистъ“ (1894 г. августъ, „Вагнеріанскій вопросъ“).

Digitized by Google

свои мысли въ томъ случайномъ безпорядкѣ, какъ онѣ ему приходятъ въ голову. Эта пестрота и отрывочность нѣкоторыхъ писаній Ничше, придавая имъ своего рода красоту жизненности, не представляютъ, однако, удобства для читателя, желающаго уяснить себѣ характернѣйшія черты писателя, въ особенности такого, какъ Ничше.

Авторъ предисловія ко второму изданію „Also sprach Zarathusira", одинъ изъ пламеннѣйшихъ учениковъ, нѣкто Петеръ Гастъ, замѣчаетъ, между прочимъ: „Духовная личность Ничше есть первое и основное въ каждой его фразѣ; вся блестящая работа его мысли была лишь выраженіемъ движеній этой великой души и точно также въ другихъ онъ прежде всего цѣнилъ мощь настроенія. Ему нужны были люди, а не головы только. Онъ стремился не столько къ тому, чтобы понять міръ, сколько къ тому, чтобы преобразовать его. Философія есть для него нѣчто безконечно большее, чѣмъ просто наука,—прежде всего дѣло смѣлаго импульса. Философъ не просто созерцатель, наблюдатель и обобщитель, а законодатель и повелитель во всѣхъ областяхъ личной и общественной жизни—такова мысль Ничше". И далѣе: „Подобно азіатскимъ основателямъ религій, онъ чувствовалъ себя воплощеніемъ воли къ возвышенію человѣчества, онъ фактически былъ такимъ воплощеніемъ. Не знавшимъ его нельзя даже и представить себѣ человѣка, подобнаго ему среди нашей показной и мелочной культуры. Это былъ *необходимый* человѣкъ, *рѣшеніе* судебъ человѣчества". Непомѣрныя преувеличенія очень обыкновенны въ устахъ пламенныхъ учениковъ. Но вѣрно, что если самъ Ничше и не былъ тѣмъ мыслителемъ-дѣятелемъ, учителемъ-вождемъ, какимъ хотѣлъ бы быть, то идеалъ его былъ именно таковъ. Онъ очень далекъ отъ того типа философа, которому соотвѣтствуютъ слова „міровоззрѣніе" или „міропониманіе", „міроразумѣніе". Его задачу составляло прежде всего „міровоздѣйстіе" въ извѣстномъ смыслѣ и не при помощи только мысли, логики, направленной на мысль же читателей или слушателей. Онъ и самъ не исключительно мыслью работалъ, а напрягался всѣмъ существомъ своимъ, и на аудиторію свою хотѣлъ дѣйствовать возбужденіемъ въ ней не мысли только, а и чувства, и воли, вслѣдствіе чего не стѣснялся никакими литературными формами. „Also sprach Zarathustra" представляетъ собою художественное произведеніе, герой котораго, дѣйствуя въ неизвѣстное время и при совершенно фантастическихъ условіяхъ, излагаетъ

Digitized by Google

мысли Ничше то въ видѣ притчи, то въ видѣ афоризма, а то и въ видѣ болѣе или менѣе стройнаго логическаго трактата. Съ другой стороны, даже наиболѣе систематическія и законченныя сочиненія Ничше переполнены отклоненіями не только логическаго, но и страстнаго характера. Все это необыкновенно усложняетъ дѣло извлеченія изъ писаній Ничше его основныхъ идей. Краткости ради и по другимъ соображеніямъ мы оставимъ въ сторонѣ всѣ тѣ воззрѣнія Ничше, въ которыхъ онъ ничѣмъ не выдѣляется или мало чѣмъ выдѣляется изъ общаго тона современной философской мысли.

Читатель благоволитъ припомнить наши недавнія бесѣды о „Выдающейся женщинѣ" г. Ардова и „Преступленіи и наказаніи" Достоевскаго и потомъ о Максѣ Штирнерѣ. Мы видѣли тамъ сиротъ, людей, осужденныхъ разными обстоятельствами на нравственное одиночество и сопряженныя съ нимъ невзгоды, и дошедшихъ, благодаря этому, до полнаго отрицанія всякихъ формъ общежитія, реальныхъ и идеальныхъ, и всякихъ нравственныхъ обязательствъ. Мы видѣли, однако, далѣе, что Максъ Штирнеръ, собственно говоря, своей книги не дописалъ и что, по справедливому замѣчанію Ланге, къ этой разрушительнѣйшей книгѣ могла бы быть приписана вторая, положительная часть во славу какихъ-нибудь нравственныхъ и общественныхъ идеаловъ. Что же касается „выдающейся женщины" г. Ардова и Раскольникова Достоевскаго, то они уже рядомъ со своимъ всесокрушающимъ отрицаніемъ ставятъ извѣстный нравственно-политическій идеалъ, а именно какое-то общежитіе, въ которомъ они, „выдающіеся", „необыкновенные" и т. п. люди повелѣваютъ и живутъ „во вся", а всѣ прочіе повинуются.

Достойно вниманія, что Ничше зналъ и высоко цѣнилъ Достоевскаго. Въ 1886 г. въ предисловіи ко второму изданію „Menschliches, Allzumenschliches" онъ писалъ: „Гдѣ теперь есть психологи? навѣрное во Франціи, *можетъ быть въ Россіи*, но навѣрное ихъ нѣтъ въ Германіи". А въ 1888 г. въ „Götzen-Dämmerung" *)

*) Надо замѣтить, что Ничше любитъ вычурныя заглавія. „Götzen-Dämmerung" и само по себѣ довольно претенціозное заглавіе, но оно имѣетъ еще прибавку „oder wie man mit dem Hammer philosphirt". „Menschliches, Allzumenschliches" называется еще „ein Buch für freie Geister." „Also sprach Zarathustra"—„ein Buch für Alle und Keinen". „Jenseits fon Gut und Böse"—„Vorspiel einer Philosophie der Zukunft" и т. п.

Digitized by Google

онъ говоритъ уже о Достоевскомъ. Рѣчь идетъ (стр. 120) о преступникахъ. „Въ возникающей при этомъ проблемѣ,—пишетъ Ничше,—важно свидѣтельство Достоевскаго, мимоходомъ сказать, единственнаго психолога, у котораго я нашелъ чему поучиться; онъ принадлежитъ къ числу счастливѣйшихъ случайностей моей жизни, больше даже, чѣмъ Стендаль. Этотъ глубокій человѣкъ, десять разъ правый въ своей низкой оцѣнкѣ поверхностныхъ нѣмцевъ, получилъ отъ сибирскихъ каторжниковъ, тяжкихъ преступниковъ, которымъ уже нѣтъ возврата въ общество, впечатлѣніе для него самого неожиданное; они оказались какъ бы вырѣзанными изъ лучшаго, самаго твердаго и цѣннаго дерева, какое только растетъ на русской землѣ“. Духовныя физіономіи Ничше и Достоевскаго въ общемъ до такой степени различны, что если бы Ничше зналъ всего Достоевскаго, а не только, повидимому, „Мертвый домъ“, то, конечно, усмотрѣлъ бы въ его писаніяхъ совсѣмъ иныя стороны и иные окончательные выводы. Тѣмъ не менѣе, у этихъ двухъ столь различныхъ людей есть нѣчто общее, по крайней мѣрѣ въ томъ смыслѣ, что оба они съ чрезвычайнымъ, особливымъ интересомъ относятся къ однимъ и тѣмъ же вопросамъ. Тамъ, гдѣ Ничше ставитъ плюсъ, Достоевскій ставитъ въ большинствѣ случаевъ минусъ и наоборотъ, но оба знаютъ эти плюсы и минусы, оба ими до высшей степени заинтересованы, считая относящіеся сюда вопросы важнѣйшими, какіе только могутъ представиться человѣческому уму. Высокій интересъ представило бы сопоставленіе всѣхъ взглядовъ того и другого, но мы не возьмемъ на себя этой обширной задачи, такъ какъ заранѣе отказались отъ разсмотрѣнія извѣстной части философскаго багажа Ничше. Но въ той области, которую мы себѣ отмежевали, нельзя не отмѣтить поразительнаго сходства разсужденій и самого хода мысли Ничше, хотя бы въ вышеупомянутыхъ страницахъ „Götzen-Dämmerung“, посвященныхъ преступленію и преступникамъ, съ тѣмъ, что Достоевскій влагаетъ въ уста Раскольникову. Мы къ этому еще вернемся.

Раскольниковъ лѣтъ за пятнадцать, за двадцать до Ничше излагалъ свои мысли о преступленіи и преступникахъ, о необыкновенныхъ людяхъ и двоякой морали. Значитъ, Достоевскій вполнѣ независимъ отъ Ничше. Съ другой стороны, если даже предположить, что Ничше зналъ „Преступленіе и наказаніе“,— а за это ручаться нельзя и скорѣе можно думать, что не зналъ,—

Digitized by Google

то невѣроятно все-таки, чтобы онъ отсюда получилъ толчокъ для своей мысли: слишкомъ эта мысль, несмотря на разныя противорѣчія и отклоненія, закончена и развита въ подробностяхъ, чтобы проистекать изъ случайнаго знакомства съ переводнымъ романомъ. Что касается Макса Штирнера, то въ сочиненіяхъ Ничше я не нашелъ какого-нибудь указанія на его книгу, не встрѣчалъ и стороннихъ указаній на прямо преемственную связь между забытымъ авторомъ „Der Einzige und sein Eigenthum" и много шумящимъ Ничше, хотя идейное сходство ихъ отмѣчается очень часто и даже нѣсколько преувеличенно.

Возьмемъ изъ разныхъ сочиненій Ничше нѣсколько выдержекъ, выражающихъ наиболѣе характерныя общія его идеи въ той области, которая насъ въ его сочиненіяхъ интересуетъ.

„Добродѣтели человѣка считаются хорошими по отношенію не къ тѣмъ слѣдствіямъ, которыя онѣ для него самого имѣютъ, а по отношенію къ тѣмъ, которыя предполагаются для насъ и для общества выгодными. Воздавая хвалу добродѣтели, люди издревле отнюдь не были „безкорыстны" и „альтруистичны"! Иначе мы увидѣли бы, что добродѣтели (прилежаніе, послушаніе, цѣломудріе, справедливость) большею частію вредны ихъ обладателямъ, какъ влеченія (Triebe) слишкомъ сильныя и не уравновѣшенныя другими вліяніями. Если ты обладаешь добродѣтелью, настоящею, цѣльною добродѣтелью,—а не влеченьицемъ (Triebchen) къ добродѣтели,—то ты ея жертва! Но сосѣдъ твой именно поэтому хвалитъ твою добродѣтель! Хвалятъ прилежнаго человѣка, хотя бы онъ этимъ своимъ прилежаніемъ портилъ себѣ зрѣніе и разрушалъ оригинальность и свѣжесть своего ума. Юноша, надорвавшійся надъ работой, вызываетъ въ насъ почтеніе и сожалѣніе, причемъ мы разсуждаемъ такъ: „для цѣлаго общества потеря даже лучшихъ отдѣльныхъ единицъ—небольшая жертва. Жаль, что такія жертвы необходимы, но еще хуже было бы, если бы отдѣльный человѣкъ думалъ иначе и придавалъ бы больше цѣны своему существованію и развитію, чѣмъ работѣ на службѣ обществу". Такимъ образомъ, юношу жалѣютъ не ради него самого, а потому, что въ его лицѣ общество лишилось преданнаго и безкорыстнаго *орудія*... Въ добродѣтеляхъ мы цѣнимъ ихъ служебную природу и затѣмъ слѣпое влеченіе, не ограниченное соображеніями о другихъ сторонахъ пользы индивида, короче говоря—неразуміе въ добродѣтели, благодаря которому единичное

Digitized by Google

существованіе превращается въ функцію цѣлаго... Хвала самоотверженному, безкорыстному, добродѣтельному, слѣдовательно, человѣку, не всю свою силу и разумъ обращающему на свое собственное сохраненіе, развитіе, подъемъ, усиленіе,—эта хвала проистекаетъ отнюдь не изъ безкорыстія! „Ближній“ хвалитъ безкорыстіе потому, что извлекаетъ изъ него выгоду! Если бы ближній былъ „безкорыстенъ“, онъ отклонялъ бы отъ себя этотъ чужой ущербъ, сокращеніе чужой силы, боролся бы съ возникновеніемъ такихъ склонностей и прежде всего показалъ бы свое безкорыстіе тѣмъ, что не называлъ бы ихъ *хорошими* склонностями. Этимъ указывается коренное противорѣчіе той морали, которая нынѣ въ почетѣ: *мотивы* этой морали находятся въ противорѣчіи съ ея *принципомъ*“. („Die fröhliche Wissenschaft“, neue Ausgabe, 1887, стр. 48—51).

„Моральная оцѣнка человѣческихъ дѣйствій и влеченій есть всегда выраженіе потребностей общины, стада. То, что прежде всего полезно имъ, то и становится высшею мѣркою цѣнности отдѣльныхъ людей. Мораль предписываетъ индивиду быть функціей стада и цѣнить себя въ качествѣ этой функціи. Такъ какъ условія существованія различныхъ обществъ очень различны, то и было много различныхъ моральныхъ воззрѣній... Нравственность есть стадный инстинктъ“ (ibid. 146).

„Нынѣ каждый, повидимому, доволенъ, когда слышитъ, что общество стоитъ на пути приспособленія индивида (des Einzelnen) ко всеобщимъ потребностямъ и что счастіе и вмѣстѣ съ тѣмъ жертва индивида состоитъ въ томъ, чтобы чувствовать себя полезнымъ членомъ или орудіемъ цѣлаго. Современники колеблются въ выборѣ этого цѣлаго,—должно ли имъ быть существующее или еще имѣющее возникнуть государство, или нація, или объединеніе народовъ, или небольшія новыя хозяйственныя общежитія. На этотъ счетъ существуетъ нынѣ много сомнѣній, раздумья, борьбы, полной возбужденія и страсти; но удивительно единодушіе, съ которымъ отъ „я“ (ego) требуется самоотреченіе въ формѣ приспособленія къ цѣлому, устанавливающему кругъ правъ и обязанностей. Сознательно или безсознательно, люди стремятся ни больше, ни меньше, какъ къ полному преобразованію, и именно ослабленію, даже уничтоженію индивидуума. Въ теперешней формѣ индивидуальнаго существованія не устаютъ искать черты зла, враждебности, расточительности, дороговизны

Digitized by Google

и надѣются устроить дешевле, безопаснѣе, равномѣрнѣе, цѣльнѣе, когда будутъ только большія тѣла и ихъ члены" („Morgenröthe", 1887, стр. 127).

„Зрѣлый плодъ общественнаго древа есть верховный индивидуумъ, себѣ лишь равный, отъ нравственности нравовъ (Sittlichkeit der Sitte) освобожденный, автономный, сверхнравственный (übersittlich) индивидуумъ" („Zur Genealogie der Moral", 1892, стр. 43).

Приведемъ еще начало одной изъ рѣчей Заратустры, конецъ которой понадобится намъ позже:

„Вы жметесь къ ближнему, и есть у васъ красивыя названія для этого. Но говорю вамъ: ваша любовь къ ближнему есть любовь къ самимъ себѣ.

„Вы бѣжите къ ближнему отъ самихъ себя и хотѣли бы сдѣлать изъ этого добродѣтель: но я насквозь вижу ваше „безкорыстіе".

„Ты" старше, чѣмъ „я"; „ты" объявлено святымъ, но не „я": такъ жмется человѣкъ къ ближнему.

„Совѣтую ли я вамъ любовь къ ближнему? Нѣтъ, я совѣтую вамъ бѣжать отъ ближнихъ и любить дальнихъ!" („Also sprach Zarathustra", 84; причемъ тутъ любовь къ „дальнимъ"—мы увидимъ ниже).

Мы могли бы сдѣлать еще много подобныхъ выписокъ изъ сочиненій Ничше, но, благодаря его безпорядочной литературной физіономіи, это были бы такіе же отрывки, осложненные вдобавокъ вещами, которыхъ мы пока не хотимъ трогать. Приведеннаго достаточно, чтобы получить понятіе о нѣкоторыхъ основныхъ чертахъ Ничше, изъ которыхъ проистекаютъ и сильныя, и слабыя стороны его писаній. Прежде всего здѣсь бросается въ глаза протестъ личности противъ условій, нарушающихъ ея достоинство и интересы, полноту и, такъ сказать, многогранность ея жизни. Этотъ-то общій принципъ личности, какъ самоцѣли, не подлежащей низведенію на степень средства для достиженія какихъ бы то ни было другихъ цѣлей, и составляетъ корень той силы и того блеска, которые несомнѣнно заключаются въ писаніяхъ Ничше, что бы ни говорилъ Максъ Нордау и какъ бы онъ даже ни былъ правъ относительно многихъ частностей. Ничше въ дальнѣйшемъ теченіи своей мысли самъ нарушаетъ этотъ общій принципъ вмѣстѣ съ чѣмъ теряетъ

Digitized by Google

всякую почву подъ ногами и впадаетъ въ коренное противорѣчіе съ самимъ собой. Задатки этого уклоненія мы имѣемъ уже и теперь, въ вышеприведенныхъ цитатахъ, между прочимъ и въ загадочномъ на первый взглядъ „совѣтѣ бѣжать отъ ближнихъ и любить дальнихъ". Систему Ничше, насколько можно говорить о его системѣ,—онъ и самъ смѣется надъ системами, какъ таковыми,—обыкновенно называютъ индивидуализмомъ. И это до извѣстной степени вѣрно. Но, во-первыхъ, только до извѣстной степени, а во-вторыхъ, для уразумѣнія истиннаго смысла воззрѣній Ничше надо отрѣшиться отъ разныхъ ходячихъ сопоставленій,—положительныхъ и отрицательныхъ,—индивидуализма съ эгоизмомъ въ нравственной области, съ либерализмомъ въ области политики и экономики, съ соціализмомъ, съ анархизмомъ. Всѣ эти сопоставленія и противопоставленія, обыкновенно слишкомъ односторонне и чисто словесно мотивируемыя, особенно не идутъ къ дѣлу, когда рѣчь идетъ о Ничше. Достаточно пока замѣтить, что, будучи индивидуалистомъ, онъ одинаково враждебенъ не только соціализму, который обыкновенно противопоставляется индивидуализму, но и либерализму, формально опирающемуся на личное начало, и анархизму, представители котораго не прочь были бы, повидимому, искать себѣ теоретическаго обоснованія въ писаніяхъ Ничше. Они и имѣютъ нѣкоторое право на это, но все-таки именно ихъ имѣетъ въ виду Ничше, когда влагаетъ своему Заратустрѣ въ уста слова: „Друзья мои, я не хочу, чтобы меня смѣшивали. Есть люди, проповѣдующіе мое ученіе о жизни; и въ то же время это проповѣдники равенства и тарантулы... Я не хочу, чтобы меня смѣшивали съ этими проповѣдниками равенства".

Въ виду этой сложности и запутанности терминовъ и понятій, въ виду логической неожиданности многихъ оборотовъ мысли Ничше, остановимся сперва на общемъ принципѣ личности въ его чистомъ видѣ.

Мы уже говорили, что Ничше не есть мыслитель въ исключительномъ и спеціальномъ смыслѣ этого слова. Онъ слишкомъ многосторонне и страстно относится къ жизни, чтобы только или даже преимущественно мыслить объ ней и къ мыслительнымъ же способностямъ читателя обращаться. Онъ и самъ объ этомъ говоритъ. Такъ, въ предисловіи къ новому изданію „Веселой науки" („Die fröhliche Wissenschaft") онъ пишетъ: „Мы, фи-

Digitized by Google

лософы, не можемъ раздѣлять душу и тѣло, какъ это дѣлаетъ толпа, и еще менѣе можемъ раздѣлять душу и духъ (Seele und Geist). Мы—не мыслящія лягушки съ холодными внутренностями, не объективирующіе и регистрирующіе аппараты. Мы должны постоянно въ страданіи рождать наши мысли, внося въ нихъ все, что есть въ насъ отъ крови, сердца, огня, счастья, страсти, муки, совѣсти. Жить для насъ значитъ превращать въ свѣтъ и пламя все, въ насъ и съ нами совершающееся; иначе мы и не можемъ".

Своеобразный, трудно переводимый языкъ Ничше не помѣшаетъ, конечно, читателю усмотрѣть общій смыслъ приведенныхъ словъ. Ничше не хочетъ того спокойнаго житія, которое дается опредѣленнымъ „міросозерцаніемъ" и даже „міроразумѣніемъ", если при этомъ чувства, страсти и воля подавлены, заглушены. Онъ хочетъ жить полною жизнью, имѣть съ окружающимъ міромъ общеніе всѣми сторонами своей личности, которая есть и должна быть существомъ единовременно мыслящимъ, чувствующимъ и дѣйствующимъ, въ особенности дѣйствующимъ. Въ современной наукѣ о жизни, біологіи, его оскорбляетъ ростущее господство идеи „приспособленія", такъ какъ она „скрадываетъ основное понятіе жизни, понятіе активности" („Zur Genealogie der Moral", 1892, стр. 69). Разсуждая „о пользѣ и вредѣ исторіи для жизни" (вторая половина перваго тома „Unzeitgemässe Betrachtungen"), онъ посвящаетъ нѣсколько оригинально блестящихъ страницъ критикѣ ходячаго „объективизма", усвоивая ему девизъ—fiat veritas, pereat vita и доказывая, что, кромѣ умаленія vitae, при этомъ получается и по малой мѣрѣ двусмысленная veritas. Умаленіе личнаго достоинства и личной иниціативы, замѣчаемоеимъ въ современной цивилизаціи, Ничше въ значительной степени приписываетъ чрезмѣрному преобладанію исторической точки зрѣнія („Uebermaass der Historie"), воспитывающему индифферентизмъ и преклоненіе передъ фактами... Я съ удовольствіемъ привелъ бы лучшія изъ этихъ страницъ, если бы это не отвлекло насъ въ сторону и если бы страницы эти не были испорчены тѣмъ уклоненіемъ отъ общаго принципа, съ которымъ мы еще встрѣтимся во всемъ его значеніи.

Въ самомъ себѣ ощущая потребность полной, яркой жизни и взывая къ ней въ другихъ, Ничше естественно становится во

Digitized by Google

враждебныя отношенія къ пессимизму и аскетизму. Его философія есть „веселая наука“—die fröhliche Wissenschaft, la gaya scienza. Но это отнюдь не оптимизмъ въ смыслѣ увѣренности въ благополучномъ теченіи человѣческихъ дѣлъ. Ничше вѣритъ въ „великія возможности“, заключенныя въ человѣкѣ, но полагаетъ, что это именно только возможности, которыми современное человѣчество не пользуется, которыхъ оно даже не сознаетъ и для воплощенія которыхъ въ дѣйствительности нужна дѣятельность, работа, борьба. „Развѣ я счастія ищу?—говоритъ Заратустра,—я ищу дѣла“. Иначе говоря, счастіе, не заработанное личными усиліями, а подаренное—судьбой ли, самодовлѣющимъ ли историческимъ процессомъ—не имѣетъ для Ничше цѣны, не есть даже счастіе. И наоборотъ, при сознаніи и чувствѣ правоты своего дѣла, не страшно и несчастіе въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова, не страшна даже гибель. „Я не знаю,—говоритъ Ничше,—лучшей цѣли жизни, какъ погибнуть, animae magnae prodigus, на великомъ и невозможномъ“ („Unzeitgemässe Betrachtungen“, I, 189). Поэтому уже въ первомъ сочиненіи Ничше, „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“, имѣющемъ характерное подзаглавіе—oder Griechenthum und Pessimismus, заключается мысль, что трагическій исходъ борьбы съ роковыми силами не обязываетъ къ мрачному взгляду на жизнь. Вѣнецъ человѣческой жизни есть личное творчество, чѣмъ бы оно ни грозило въ результатѣ.

Все это, изложенное мѣстами языкомъ явно душевно больного, но мѣстами съ удивительною силою и блескомъ, Ничше имѣлъ право называть unzeitgemäss, несвоевременнымъ, несовременнымъ. Наше время представляетъ собою удивительное зрѣлище, преисполненное противорѣчій. Никогда еще человѣкъ не былъ такъ силенъ и такъ слабъ въ одно и то же время. Наука дѣлаетъ гигантскіе шаги въ смыслѣ пониманія природы и утилизаціи ея силъ. Тотъ естественный ходъ вещей, который отдѣлилъ материки океанами, установилъ дневной свѣтъ и ночную тьму, опредѣлилъ распространеніе свѣта и звука и проч., и проч., всѣ эти коренныя, исконныя явленія природы человѣкъ покорилъ своимъ творчествомъ и приспособилъ ихъ къ своимъ интересамъ. И что еще ждетъ насъ на этомъ пути! Но въ то же время все съуживается и съуживается поле человѣческаго творчества въ сферѣ ближайшихъ, междуличныхъ, общественныхъ

Digitized by Google

отношеній. Жизнь идетъ своимъ чередомъ, люди любятъ и ненавидятъ, производятъ, торгуютъ, воюютъ, творятъ въ повседневной жизни добро и зло, правду и неправду, побѣждаютъ и страдаютъ и погибаютъ. Спеціальныя отрасли знанія, имѣющія отношеніе къ этой пестрой и шумной картинѣ, предлагаютъ свои, часто противорѣчивые, рецепты желающимъ ими руководствоваться,—ту или другую систему воспитанія юношества, ту или другую финансовую систему, тотъ или иной порядокъ судоустройства, тотъ или другой государственный строй, ту или иную торговую политику и т. д. Всѣ эти рецепты имѣютъ цѣлью извѣстнымъ образомъ направить общественныя отношенія къ благу, какъ кто его понимаетъ. Но жизнь ихъ мало слушается и движется большею частью ощупью, по линіямъ наименьшаго сопротивленія интересовъ и страстей. Однако, мы видимъ здѣсь, по крайней мѣрѣ, увѣренность, иногда даже слѣпую увѣренность, что русло жизни можетъ быть человѣческимъ творчествомъ и углублено, и завалено балластомъ, и отведено въ сторону, словомъ, приспособлено къ извѣстнымъ требованіямъ разума и совѣсти. Не то въ высшихъ теоретическихъ обобщеніяхъ современности. Тутъ уже прямо рѣчь идетъ не о приспособленіи обстоятельствъ, а о приспособленіи къ обстоятельствамъ, къ естественному ходу вещей, къ стихійному процессу борьбы за существованіе, или перехода отъ однороднаго къ разнородному, или исторической необходимости, или смѣны формъ производства и обмѣна. Тотъ или иной стихійный процессъ представляется непреоборимымъ, и человѣку, какъ пассивному его продукту, остается только къ нему приспособить свой разумъ и совѣсть, признать его не только естественнымъ, какъ естественно, напримѣръ, распредѣленіе суши и воды на землѣ, но и разумнымъ, и справедливымъ, не только фактически, а и принціально неприкосновеннымъ. При этомъ образъ человѣка-творца, столь яркій, когда дѣло идетъ о техническихъ изобрѣтеніяхъ, побѣждающихъ пространство и время, стушевывается, блѣднѣетъ. Эта-то общая блѣдность и оскорбляетъ Ничше, внушая ему гнѣвныя и саркастическія, но не пессимистическія рѣчи. Онъ вѣритъ въ „великія возможности“, но если бы таковыя и не осуществились, онъ предлагаетъ людямъ противопоставить себя роковымъ силамъ, хотя бы съ трагическимъ исходомъ; покоряясь стихійнымъ процессамъ въ мѣру ихъ дѣйствительной непреоборимости,—не возводить факта въ принципъ, а подняться надъ сти-

Digitized by Google

хійнымъ процессомъ, какъ бы его кто ни понималъ, найти мѣрило добра и зла jenseits von Gut und Böse. Это, повидимому, противорѣчіе, и г. Астафьевъ, повидимому, правъ, замѣчая по этому поводу: „Что сказали бы мы о томъ „мыслителѣ“, который серьезно увѣрялъ бы насъ, что для того, чтобы здраво судить о логикѣ, нужно стать внѣ и выше логики, отрѣшиться отъ ея требованій и законовъ? Конечно, при такомъ отрѣшеніи мысли отъ логики— и сужденіе получилось бы не здравое и логическое, но безумное и нелѣпое. Какъ науку логики создаютъ не безумные, не тѣ, которые перестаютъ сами логически мыслить, становясь внѣ и выше логики,—такъ и науку о нравственности создаютъ не тѣ, которые перестаютъ руководствоваться „и въ мысли, и въ чувствѣ, и въ жизни“ нравственными критеріями, переносясь „по ту сторону добра и зла“. („Вопросы философіи и психологіи“, 1893, январь, „Генезисъ нравственнаго идеала декадента“. 60—61). Кажущаяся цѣнность этого довода разсыпается передъ тѣмъ фактомъ, что, приглашая насъ стать jenseits von Gut und Böse, по ту сторону добра и зла, Ничше разумѣетъ не добро и зло само по себѣ, а современныя понятія о нихъ. „Хорошее“ въ нравственномъ смыслѣ, одобрительное, и „дурное“, неодобрительное, онъ очень своеобразно, но тѣмъ не менѣе различаетъ въ самой исходной точкѣ своей. Что же касается этой исходной точки, то, какъ это ни странно можетъ показаться, она совпадаетъ съ опредѣленіемъ христіанской морали г. Астафьева: „мораль христіанская признаетъ нравственную личность за безусловную *самоцѣль*, не могущую быть униженною до степени *средства* общественнаго ли блага, развитія ли и расцвѣта другой, болѣе сильной и одаренной личности“ (l. c. 58). Правда, Ничше уклоняется отъ своего основного принципа, отъ своей исходной точки, но мы пока говоримъ только о ней самой. Исходя изъ нея, Ничше критикуетъ, какъ теченія современной философской мысли, такъ и современныя формы общежитія, — реальныя, существующія, и идеальныя, тѣ мечты о будущемъ и утопіи, которыя растутъ все-таки на почвѣ современной дѣйствительности. Присматриваясь къ тѣмъ научно-практическимъ рецептамъ, о которыхъ мы только что говорили и которые такъ или иначе стремятся приспособить человѣческія отношенія къ требованіямъ разума и совѣсти, Ничше замѣчаетъ, что если не всѣ они, то громадное большинство ихъ не соотвѣтствуетъ его исходной точкѣ—личности, какъ самоцѣли,

Digitized by Google

не могущей быть униженней до степени средства. Вмѣсто интересовъ и достоинства личности центромъ тяжести ихъ являются интересы и достоинство, какъ Ничше выражается, „общины, стада“, вообще какой-нибудь формы общежитія, обращающей личность въ свою служебную функцію. Ничше не даетъ систематической картины этой борьбы формъ общежитія съ личностью, да и сосредоточивается почти исключительно на вопросахъ морали. Но въ этой области Европа давно не слыхала такого смѣлаго, рѣзкаго голоса. Его точка зрѣнія даетъ ему возможность заглядывать далеко за предѣлы горизонтовъ другихъ крупныхъ современныхъ мыслителей. Однако здѣсь же находится и ахиллесова пята всей философіи Ничше.

Читатель благоволитъ вновь пересмотрѣть вышеприведенную группу цитатъ изъ Fröhliche Wissenschaft, Morgenröthe, Genealogie der Moral и Also sprach Zarathustra. Кромѣ отмѣченнаго нами протеста личности противъ условій, нарушающихъ цѣльность и полноту ея жизни, въ цитатахъ этихъ надо различать психологическую и моральную часть,—изъявительное и повелительное наклоненіе. При этомъ, собственно „генеалогія морали“ естественно отходитъ къ психологіи. Это очень важно замѣтить. Нынѣ часто можно встрѣтить гордую увѣренность, что мы обладаемъ, наконецъ, „научной этикой“. Это никакъ нельзя, однако, разумѣть въ томъ смыслѣ, что мы имѣемъ твердый, опредѣленный, общепризнанный или могущій стать таковымъ критерій различенія добра и зла. Напротивъ, наше время есть время особливаго шатанія и неопредѣленности нравственныхъ принциповъ. То, что обыкновенно называется „научной этикой“, есть главнымъ образомъ исторія и психологія нравственности; мы узнаемъ изъ нея очень много интереснаго о томъ, какъ возникали извѣстные принципы и какъ и почему они падали, уступая мѣсто другимъ, получаемъ нѣкоторыя указанія и на то, какъ и почему въ насъ самихъ зарождаются извѣстныя нравственныя тяготѣнія въ одну сторону и отвращенія къ другой. Но все это удовлетворяетъ лишь нашу потребность знанія, нашъ разумъ, и не даетъ отвѣта на запросы нравственнаго чувства, которые собственно и составляютъ область морали или практической философіи. Одно дѣло выясненіе причинъ и мотивовъ человѣческой дѣятельности

Digitized by Google

въ какой бы то ни было области, въ томъ числѣ и въ нравственной, и другое дѣло — установленіе цѣлей и критерія этой дѣятельности. Что эти цѣли и критеріи въ свою очередь подлежатъ объясненію съ точки зрѣнія причинъ и мотивовъ,—это нисколько не измѣняетъ дѣла: желаемое и при этомъ остается желаемымъ.

Наиболѣе общій пунктъ психологіи Ничше гласитъ: человѣкъ есть эгоистъ; наиболѣе общій пунктъ его морали—человѣкъ долженъ быть эгоистомъ. Естественно, какъ это мы видѣли и относительно Макса Штирнера, возникаетъ вопросъ: изъ-за чего же и хлопотать, если человѣкъ есть психологически именно то, чѣмъ онъ долженъ быть по предписанію морали? Какъ и Максъ Штирнеръ, Ничше отвѣчаетъ на это, что человѣкъ есть всегда эгоистъ, но предразсудки и неблагопріятныя общественныя условія дѣлаютъ его эгоистомъ лицемѣрнымъ или неразумнымъ, въ каковомъ лицемѣрномъ и неразумномъ эгоизмѣ и состоитъ современная мораль. Отъ этой-то морали и должна насъ освободить откровенно-эгоистическая мораль Макса Штирнера и Фридриха Ничше. Что касается того основного положенія, что человѣкъ есть по своей природѣ эгоистъ, то оно развивалось такъ часто и такъ многими писателями, что Ничше, повидимому, и не могъ бы сказать здѣсь что-нибудь новое или оригинальное. Теоретики эгоизма утверждаютъ обыкновенно или что явленія самоотверженія, симпатіи, любви, альтруизма суть замаскированный эгоизмъ, или что явленія эти не могутъ считаться нравственно - одобрительными. Ничше старается доказать и то и другое. Мы не будемъ приводить всѣ его доводы, такъ какъ въ общемъ они дѣйствительно не новы. Но намъ надо установить спеціально ему принадлежащую черту.

У многихъ, если не у большинства читателей, при словѣ „эгоистъ“ возникаетъ образъ человѣка, пожалуй, даже мягкаго, но которому хоть трава не рости, лишь бы ему жилось спокойно, да было бы обезпечено и пріумножалось его матеріальное благосостояніе. Къ такому представленію пріучило насъ многое, но въ особенности то чрезвычайно вліятельное, вѣяніе, которое опредѣляется связью политической экономіи съ утилитарною моралью. То, что Ничше считаетъ истиннымъ эгоизмомъ, не имѣетъ ничего общаго съ этимъ представленіемъ. Его эгоистъ презираетъ спокойствіе и богатство, онъ дѣятеленъ, твердъ,

Digitized by Google

ищетъ опасностей, войнолюбивъ, властолюбивъ, жестокъ, въ особенности властолюбивъ и жестокъ. Вышеупомянутая, еще не вышедшая книга Ничше „Umwerthung aller Werthe“ должна была имѣть въ заглавіи еще слова: „Der Wille zur Macht“. То есть онъ предполагалъ при помощи принципа „жажды власти“ произвести „переоцѣнку всѣхъ цѣнностей“. Жестокость онъ объявляетъ кореннымъ свойствомъ человѣческой природы. Такъ, напримѣръ, въ „Genealogie der Moral“ онъ говоритъ: „видъ страданія доставляетъ удовольствіе, причиненіе страданія доставляетъ еще большее удовольствіе; таковъ жесткій, но старый и могущественный законъ“ (53). Слѣдовъ этихъ-то чудовищныхъ, но, по его мнѣнію, коренныхъ свойствъ человѣческой природы онъ и ищетъ во всѣхъ человѣческихъ дѣйствіяхъ какъ неодобряемыхъ, такъ и преимущественно одобряемыхъ господствующею современною моралью. А господствующею моралью онъ одинаково считаетъ и христіанскую, и либерально-буржуазную, и соціалистическую, словомъ, всякую, во имя чего бы то ни было приглашающую насъ поступаться чѣмъ бы то ни было ради ближнихъ или общества.

Напримѣръ: „Нашъ долгъ есть чье-нибудь право на насъ. Какъ получилось это право? Такъ, что имѣющіе право признали насъ способными къ договору или возмездію, признали равными или подобными себѣ и поэтому нѣчто довѣрили намъ, воспитали насъ, наставили, поддержали. Мы исполняемъ свой долгъ; это значитъ: мы оправдываемъ представленіе объ нашей *власти* возвратить данное намъ“ („Morgenröthe“, 99). Въ другомъ мѣстѣ Ничше съ удовольствіемъ замѣчаетъ, что и въ категорическомъ императивѣ „старика Канта“ есть нѣчто *жестокое*. Или: „Мы хотимъ, чтобы нашъ видъ причинялъ другому страданіе и возбуждалъ въ немъ зависть и чувство своего безсилія и упадка; мы хотимъ заставить его просмаковать горечь его судьбы и, вливая ему въ ротъ каплю нашего меда, злорадно смотримъ ему, при этомъ мнимомъ благодѣяніи, въ глаза... Вотъ великій художникъ: предчувствуемое имъ наслажденіе завистью побѣжденныхъ соперниковъ не давало его силѣ спать, пока онъ не сталъ великимъ,—сколькими горькими минутами заплатили чужія души за его величіе! Цѣломудренная женщина: какими карающими глазами смотритъ она въ лицо иначе живущихъ женщинъ! Сколько наслажденія местью въ этихъ глазахъ!—Тема коротка, но варьяціи ея безчисленны“ (тамъ же 28, 29).

Digitized by Google

Желая быть по возможности краткимъ, я укажу только еще на одну чрезвычайно замѣчательную подробность. Аскетическая практика, тѣ добровольныя лишенія и самоистязанія, которымъ подвергаются, напримѣръ, индійскіе фанатики, по мнѣнію Ничше, объясняются все тою же жестокостью и жаждою власти. Эти коренныя свойства человѣческой природы, стѣсненныя въ своемъ естественномъ проявленіи, обращаются внутрь, на самихъ носителей своихъ. Какъ хищный звѣрь, заключенный въ клѣтку, человѣкъ яростно старается сломить рѣшотки этой клѣтки — свое собственное тѣло. При этомъ онъ, щеголяя своею властью надъ собой, наслаждается сознаніемъ своего превосходства надъ другими и до такой степени проникается чувствомъ власти, могущества, что, напримѣръ, царь Висвамитра, послѣ тысячелѣтнихъ аскетическихъ упражненій, задумываетъ построить новое небо. Угрызенія совѣсти, съ одной стороны, равно какъ и институтъ наказанія съ другой—должны считать въ числѣ своихъ источниковъ жестокость и жажду власти. Мучить другихъ и, въ случаѣ отсутствія или недосягаемости этихъ другихъ, самого себя мучить, дабы и въ томъ, и въ другомъ случаѣ удовлетворить свою жажду власти,—таковы, по мнѣнію Ничше, коренныя требованія человѣческой природы.

Какъ ни парадоксально звучитъ все это, но для русскаго читателя, даже не особенно вдумчиваго и памятливаго, это не незнакомыя рѣчи. Достоевскій хорошо зналъ этотъ кругъ идей и чувствъ. „Человѣкъ—деспотъ отъ природы и любитъ быть мучителемъ“, „человѣкъ до страсти любитъ страданіе“,—этими двумя изреченіями Достоевскаго (одно въ „Игрокѣ“, другое въ „Запискахъ изъ подполья“) подводятся итоги его многочисленнымъ и тончайшимъ психологическимъ наблюденіямъ, воплощеннымъ въ цѣломъ рядѣ художественныхъ образовъ и картинъ. Мало того, огромный, прямо страшный талантъ Достоевскаго и мучительная яркость его картинъ и образовъ уяснили намъ этотъ уголъ мрачной психологіи лучше, чѣмъ разсужденія Ничше. Самъ Ничше, весь его обликъ является какъ бы осуществленіемъ слѣдующаго предположенія, можно сказать, пророчества того безъимяннаго „парадоксалиста“, отъ лица котораго ведутся „Записки изъ подполья“:

„Я нисколько не удивляюсь, если вдругъ ни съ того, ни съ сего, среди всеобщаго будущаго благоразумія, возникнетъ какой-нибудь джентль-

Digitized by Google

мэнъ съ неблагородной или, лучше сказать, ретроградной и насмѣшливой физіономіей, упретъ руки въ боки и скажетъ намъ всѣмъ: „а что, господа, не столкнуть-ли намъ все это благоразуміе съ одного раза ногой, прахомъ, единственно съ тою цѣлью, чтобы всѣ эти логариѳмы отправить къ чорту и чтобы намъ опять по своей глупой волѣ пожить". Это бы еще ничего, но обидно то, что вѣдь непремѣнно послѣдователей найдетъ. И все это отъ самой пустѣйшей причины, объ которой бы, кажется, и упоминать не стоитъ: именно оттого, что человѣкъ всегда и вездѣ, кто-бы онъ ни былъ, любилъ дѣйствовать такъ, какъ хотѣлъ бы, а вовсе не такъ, какъ повелѣвали ему разумъ и выгода; хотѣть-же можно и противъ собственной выгоды, а иногда положительно должно. Свое собственное, вольное и свободное хотѣнье, свой собственный, хотя-бы самый дикій капризъ, своя фантазія, раздраженная иногда хотя-бы до сумасшествія: вотъ это все и есть та самая пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни подъ какую классификацію не подходитъ и отъ которой всѣ системы и теоріи постоянно разлетаются къ чорту. И съ чего это взяли всѣ эти мудрецы, что человѣку надо какого-то нормальнаго, какого-то добродѣтельнаго хотѣнія? Съ чего это непремѣнно вообразили они, что человѣку надо непремѣнно благоразумно выгоднаго хотѣнія? Человѣку надо только самостоятельнаго хотѣнія, чего-бы эта самостоятельность ни стоила и къ чему-бы ни привела".

Ничше могъ бы смѣло подписаться подъ этой тирадой. Онъ какъ бы является именно предсказаннымъ ею „джентльмэномъ съ неблагородной или, лучше сказать, ретроградной и насмѣшливой физіономіей", который предлагаетъ „все это благоразуміе" столкнуть къ чорту и начать съ „переоцѣнки всѣхъ цѣнностей". Среди современной увѣренности, что нравственная истина найдена научнымъ путемъ и состоитъ въ „благоразумно выгодныхъ добродѣтеляхъ"; что человѣкъ есть по природѣ своей существо преимущественно мыслящее или созерцающее, или-же преимущественно „воздѣлывающее, поядающее, купующее и куплю дѣющее"; среди этой увѣренности раздается вдругъ голосъ не сомнѣнія, а такой-же, но бурной и страстной увѣренности, что совсѣмъ не такова человѣческая природа. Протестъ этотъ, если разумѣть подъ нимъ призывъ къ пересмотру разныхъ односторонних и въ односторонности своей слишкомъ самоувѣренныхъ рѣшеній о существѣ человѣческой природы, заслуживаетъ полнаго сочувствія: слишкомъ часто рѣшенія эти, не будучи не только надлежащимъ образомъ провѣрены, но даже сколько-нибудь серьезно затронуты критикой, кладутся въ основаніе широкихъ обобщеній и важныхъ практическихъ выводовъ. Но,

Digitized by Google

кромѣ этой отрицательной стороны, въ приведенныхъ взглядахъ Ничше, равно какъ и героя „Записокъ изъ подполья“, есть еще и положительная, а именно коренными свойствами человѣческой природы объявляются властность и жестокость. Несомнѣнно, что тѣ мрачныя глубины жестокости, безграничнаго властолюбія, злобы, въ которыя такъ любилъ заглядывать Достоевскій и которыя теперь теоретизируются Фридрихомъ Ничше, дѣйствительно существуютъ и представляютъ собою высокій интересъ для изслѣдователя человѣческаго духа, но духа больного, разстроеннаго; это случаи патологическіе. Такое возраженіе ни мало не смутило бы Ничше, потому что онъ убѣжденъ, что въ томъ именно и состоитъ заблужденіе современной морали и современной мысли вообще, что онѣ считаютъ нормальное патологическимъ, а больное—здоровымъ, нормальнымъ. Какъ бы, однако, ни были остроумны попытки Ничше свести всѣ поступки людей, всѣ мотивы этихъ поступковъ къ эгонстической основѣ, онъ понимаетъ, что во всякомъ случаѣ его жестокій, властолюбивый, наслаждающійся чужими страданіями и чужимъ униженіемъ эгоистъ—не есть общее правило. Существуютъ-же люди мирные и смирные, добрые и кроткіе, не говоря уже о разнообразныхъ варьяціяхъ и того сильнаго, смѣлаго, дѣятельнаго типа, которому Ничше усвоиваетъ жестокость, злобу и властолюбіе, какъ основныя черты характера. Съ точки зрѣнія Ничше, эти кроткіе, мягкіе, добрые, сострадательные люди должны быть, конечно, тоже эгоистами. Но это—эгоисты, частію неразумные, частію, напротивъ, очень разумные, даже слишкомъ разумные, но и въ томъ и въ другомъ случаѣ придавленные и укрощенные процессомъ цивилизаціи или, если угодно, „обобществленія“. Они жмутся другъ къ другу, чувствуя свое слабосиліе, подкупаютъ другъ друга похвалами этому самому слабосилію, возводя его подъ разными именами на степень добродѣтели, и наконецъ успѣваютъ увѣрить другъ друга, что ихъ слабость, дряблость, безсиліе, трусость, выражающіяся въ желаніи возможно мирнаго и безопаснаго житія, дѣйствительно заслуживаютъ названія „добродѣтели“, нравственно одобрительныхъ мотивовъ и поступковъ. Такъ, по мнѣнію Ничше, возникаютъ и окружаются ореоломъ высшей морали понятія самоотреченія, любви къ ближнему, состраданія и проч. Если людямъ этого типа случается отклониться отъ созданнаго ихъ слабосиліемъ нравственнаго кодекса, въ нихъ поднимаются угрызенія

Digitized by Google

совѣсти. Но то бурное клокотаніе первобытныхъ нормальныхъ инстинктовъ, не находящихъ себѣ правильнаго исхода, которое, какъ мы видѣли, выражается самоистязаніями аскетовъ, осложняется у такъ называемыхъ „добрыхъ“ (ироническое или бранное слово въ устахъ Ничше) людей простымъ страхомъ отвѣтственности, боязнью опасныхъ послѣдствій, то есть все тѣмъ-же слабосиліемъ. Торжество этого слабосилія и составляетъ столь занимающую Ничше „проблему декадентства“.

XVI *).

И еще о Ничше.

Со времени Руссо никто въ Европѣ не говорилъ такихъ дерзостей европейской цивилизаціи и современному „прогрессу“, какъ Ничше, если не считать его предшественника, Макса Штирнера, слишкомъ одинокаго, слишкомъ мало разслышаннаго въ свое время, да и только бросившаго не доразвитый зачатокъ оригинальной мысли. За этимъ ничтожнымъ по своей мимолетности и незаконченности исключеніемъ, все сколько-нибудь значительное въ дѣлѣ отрицательной критики цивилизаціи и „прогресса“ такъ или иначе примыкаетъ къ Руссо, какъ къ первоисточнику или первообразу. Это одинаково относится и къ европейскимъ соціалистамъ, со включеніемъ самыхъ крупныхъ, какъ Фурье, и съ другой стороны, напримѣръ, къ гр. Л. Н. Толстому, критику новѣйшему, нѣкоторыя оригинальныя выходки котораго не мѣшаютъ всей отрицательной части его ученія оставаться все же таки варьяціями на основную тему, данную Руссо. Ничше вноситъ въ свою критику нѣчто дѣйствительно оригинальное и новое, что никоимъ образомъ не можетъ быть приведено въ связь съ идеями Руссо, котораго онъ „ненавидитъ“ и называетъ „идеалистомъ и канальей въ одномъ лицѣ“ („Götzen-Dämmerung“, 125). Это не мѣшаетъ ему, впрочемъ, въ *нѣкоторыхъ* пунктахъ сходиться съ Руссо, чтобы, однако, немедленно же, на второмъ же шагѣ, рѣзко разойтись.

Въ одномъ мѣстѣ „Götzen-Dämmerung“ Ничше говоритъ о своихъ соотечественникахъ: „Нѣмцевъ называли когда-то народомъ мыслителей; мыслятъ-ли они вообще теперь? Духовное наску-

*) 1894, декабрь.

Digitized by Google

чило нѣмцамъ, нѣмцы не довѣряютъ духу, политика поглотила всякій интересъ къ истинно духовнымъ предметамъ. „Deutschland, Deutschland über Alles“,—я боюсь, что это было концомъ нѣмецкой философіи. Есть ли въ Германіи философы? есть ли въ Германіи поэты? хорошія книги?—спрашиваютъ меня заграницей. Я краснѣю, но съ храбростью, не покидающею меня въ самыхъ отчаянныхъ положеніяхъ, отвѣчаю: да,—Бисмаркъ!“ (59). Конечно, не эту забавную выходку имѣлъ я въ виду, говоря о дерзостяхъ Ничше; я привелъ ее только какъ свидѣтельство того уваженія, которое Ничше питаетъ къ мысли, къ умственной дѣятельности вообще. И такихъ свидѣтельствъ можно бы было найти у него очень много, если бы понадобилось. Но въ этомъ, конечно, надобности нѣтъ: иного отношенія къ мысли, знанію, умственнымъ интересамъ нельзя было бы и ожидать со стороны представителя умственной дѣятельности. Не даромъ онъ постоянно включаетъ себя въ формулы: „мы философы“, „мы психологи“, „мы познающіе“. А между тѣмъ тотъ же Ничше жестоко упрекаетъ современность въ томъ, что она слишкомъ много мыслитъ и знаетъ, слишкомъ много хочетъ мыслить и знать, и видитъ въ этомъ излишествѣ одно изъ основаній „проблемы декадентства“. Это уже настоящая дерзость, напоминающая одну изъ знаменитыхъ дерзостей Руссо, но въ совершенно иномъ освѣщеніи.

Человѣчество, по крайней мѣрѣ цивилизованное человѣчество, находится, по мнѣнію Ничше, въ періодѣ упадка, декаданса. Вступило оно въ него давно и притомъ нѣсколькими различными путями. Одинъ изъ этихъ путей начинается Сократомъ. Это былъ первый въ своемъ родѣ крупный человѣкъ упадка, первый декадентъ или, вѣрнѣе, первый крупный выразитель уже наступившаго упадка.

Мысль эту Ничше съ нѣкоторою робостью или, по крайней мѣрѣ, не съ полною опредѣленностью высказалъ еще въ 1872 г., въ своемъ первомъ сочиненіи, „Geburt der Tragödie“, и вернулся къ ней въ окончательной формѣ черезъ семнадцать лѣтъ въ „Götzen Dämmerung“. Мысли Ничше такъ разбросаны и переплетены между собой, что кое что изъ его разсужденій о личности Сократа и его исторической роли станетъ, можетъ быть, понятно читателямъ только въ связи съ нѣкоторыми другими его мыслями, съ которыми мы познакомимся позже.

Digitized by Google

Мудрецы всѣхъ временъ приходили къ тому заключенію, что жизнь ничего не стоитъ, и даже Сократъ, умирая, сказалъ: „жить значитъ долго хворать“. Откуда этотъ consensus sapientium въ дѣлѣ унынія, меланхоліи, усталости, недовольства жизнью? и должны ли мы ему вѣрить? Первый вопросъ важнѣе, потому что отвѣтъ на него можетъ упразднить второй. Можетъ быть вѣдь мудрецы просто сами не твердо на ногахъ стояли. Можетъ быть мудрость появилась на землѣ подобно ворону, почуявшему легкій запахъ падали. Надо поближе присмотрѣться къ мудрецамъ. Сократъ былъ низкаго происхожденія и, какъ извѣстно, физически уродливъ, что въ Греціи было больше, чѣмъ недостаткомъ. Съ другой стороны, новѣйшая уголовная антропологія приходитъ къ заключенію, что физическому уродству соотвѣствуетъ и нравственное: monstrum in fronte, monstrum in animo. Не былъ ли Сократъ тѣмъ преступнымъ типомъ, которымъ нынѣ такъ много занимаются? Этому, по крайней мѣрѣ, не противорѣчитъ одинъ любопытный эпизодъ изъ его жизни. Какой-то иностранецъ физіономистъ, встрѣтивши его въ Аѳинахъ, сказалъ ему въ лицо, что онъ носитъ въ себѣ всѣ гнуснѣйшіе пороки и страсти. И Сократъ призналъ справедливость діагноза физіономиста. Припомнимъ и тѣ галлюцинаціи слуха, которыя извѣстны подъ именемъ „Сократова демона“. Всегда съ камнемъ за пазухой, съ задней мыслью и ироніей, осложненной „злобностью рахитика“, Сократъ всѣмъ существомъ своимъ долженъ бы былъ отталкивать отъ себя согражданъ-современниковъ; тѣмъ болѣе, казалось бы, что онъ изобрѣлъ уравненіе: „разумъ=добродѣтель=счастіе“, каковое уравненіе противорѣчитъ всѣмъ инстинктамъ древнихъ эллиновъ. Но онъ, напротивъ, привлекалъ, очаровывалъ. Онъ съумѣлъ ввести въ моду дотолѣ презиравшуюся діалектику и публичное зрѣлище фехтованія исключительно умственнымъ, логическимъ, теоретическимъ оружіемъ. Онъ съумѣлъ сдѣлаться необходимымъ человѣкомъ и былъ дѣйствительно необходимъ, какъ яркое выраженіе разложенія, упадка эллинизма и какъ великій врачъ, открывшій, и по его собственному мнѣнію, и по мнѣнію другихъ, радикальное средство противъ болѣзни вѣка. Вышеупомянутому иностранцу физіономисту онъ отвѣтилъ, что тотъ угадалъ, признавъ его вмѣстилищемъ низменныхъ похотей и пороковъ, но—прибавилъ онъ—я надъ всѣми ими властвую. Въ этой репликѣ, вмѣстѣ съ уравненіемъ „разумъ=доб-

Digitized by Google

родѣтель=счастіе", лежитъ ключъ къ пониманію какъ личности Сократа, такъ и его исторической роли. Не одинъ Сократъ болѣлъ неуравновѣшенностью инстинктовъ, ихъ взаимною противорѣчивостью, не одинъ онъ чувствовалъ потребность взять себя въ руки, но онъ представлялъ собою яркій, привлекавшій всеобщее вниманіе образчикъ этого состоянія, этого недовѣрія къ себѣ, и онъ же указалъ исцѣляющее и дисциплинирующее начало въ разумѣ. Но это указаніе уже само по себѣ было симптомомъ упадка. Плохо стояло дѣло Греціи, если пришлось призвать тирана—разумъ, чтобы подавить имъ всѣ естественныя, безсознательныя влеченія, если понадобилось жить съ постоянною оглядкою и разсчетомъ на основаніи уравненія: разумъ= добродѣтель=счастіе. Это было послѣднее, отчаянное средство: грекамъ оставалось или погибнуть, или отдать всего человѣка подъ тираническій контроль разума. Но эта разумность во что бы то ни стало является въ свою очередь новою болѣзнью, новымъ признакомъ упадка. Сократъ былъ величайшимъ изъ обманщиковъ, но не злонамѣреннымъ, потому что и самъ себя обманывалъ. Человѣкъ съ совершенно исключительной натурой, обуреваемый страстями и пороками, но въ своей непреоборимой логикѣ и жаждѣ знанія находившій себѣ точку опоры, онъ вѣрилъ въ свое уравненіе, вѣрилъ, что счастіе состоитъ въ добродѣтели, а добродѣтель есть дѣло знанія; вѣрилъ и заставилъ другихъ повѣрить. Отсюда вѣковая борьба съ безсознательными естественными влеченіями и инстинктами. И это признакъ упадка, потому что при подъемѣ жизни счастіе и инстинктъ едино суть, нѣтъ между ними разлада. Но, кромѣ того, это источникъ пессимизма, ибо жизнь, состоящая въ подавленіи жизни, конечно, не дорого стоитъ. Это испыталъ на себѣ Сократъ самъ, что и выразилъ предсмертною фразою: жить значитъ долго хворать.

Такъ приблизительно разсуждаетъ Ницше въ „Götzen-Dämmerung". Въ „Geburt der Tragödie" онъ освѣщаетъ Сократа нѣсколько иначе, вѣрнѣе, съ иной стороны. Сократъ и здѣсь является тѣмъ-же ненормальнымъ, но великимъ человѣкомъ, обозначающимъ собою поворотный пунктъ въ исторіи Греціи, а черезъ нее и въ дальнѣйшей исторіи цивилизаціи. Но здѣсь онъ называется типичнымъ „теоретическимъ человѣкомъ" и оказывается родоначальникомъ если не оптимизма вообще, то особен-

Digitized by Google

наго его вида—„теоретическаго оптимизма“. Сократъ, полагавшій возможнымъ знаніемъ проникнуть въ сокровенную сущность вещей и сводившій нравственное зло къ умственному заблужденію и незнанію, — Сократъ положилъ основаніе той доселѣ длящейся жаждѣ знанія, которая создала рядъ смѣняющихъ другъ друга философскихъ системъ, опоясала и перепоясала законами весь міръ и выстроила головокружительной высоты пирамиду познанныхъ фактовъ. Познавательная дѣятельность признана благороднѣйшею, даже единственно достойною человѣка задачею, а способность познанія—высшимъ даромъ природы; это—наслѣдство Сократа. Даже возвышеннѣйшія нравственныя дѣянія, волненіе состраданія, самопожертвованіе, героизмъ выводятся Сократомъ и его преемниками до сего дня изъ діалектики знанія и сообразно этому объявляются поучительными. Сократово наслѣдство и эта вѣра во всеисцѣляющія свойства знанія, въ возможность жизни, руководимой исключительно знаніемъ. Эта точка зрѣнія позволяетъ нѣкоторымъ отдѣльнымъ людямъ замкнуться въ узкій кругъ разрѣшимыхъ задачъ, извнутри котораго они съ веселіемъ смотрятъ на жизнь: жить стоитъ, ибо жизнь можно познавать, а въ познаніи заключается высшее наслажденіе. Въ этомъ и состоитъ „теоретическій оптимизмъ“.

Такимъ образомъ, Сократъ оказывается родоначальникомъ и пессимизма съ его девизомъ „жизнь ничего не стоитъ“, и по крайней мѣрѣ „теоретическаго“ оптимизма, умѣющаго такъ или иначе извлекать изъ жизни радости. Противорѣчія—совсѣмъ не рѣдкость въ сочиненіяхъ Ничше, а въ данномъ случаѣ противорѣчіе было-бы даже вполнѣ извинительно въ виду тѣхъ семнадцати лѣтъ, которыя отдѣляютъ „Geburt der Tragödie“ отъ „Götzen-Dämmerung“. Но здѣсь, собственно говоря, нѣтъ и противорѣчія. Какъ съ одного и того-же возвышеннаго пункта рѣки могутъ течь въ разныя, прямопротивоположныя стороны, такъ и съ Сократа могутъ начинаться два противоположныя теченія. Съ точки зрѣнія Ничше важно только, что и въ томъ, и въ другомъ случаѣ мы имѣемъ движеніе внизъ, паденіе, декадансъ. Geburt der Tragödie посвящена анализу судебъ древне-греческой трагедіи, и мы не будемъ вдаваться въ спеціальный вопросъ о томъ, какъ вліяніе Сократа гибельно отразилось на этихъ судьбахъ и повлекло трагедію къ упадку. Мы имѣемъ въ виду упадокъ вообще человѣчества, на что есть указанія и въ „Geburt der Tragödie“, но

Digitized by Google

въ другихъ сочиненіяхъ эта сторона дѣла устанавливается ярче, опредѣленнѣе, и здѣсь мы отмѣтимъ пока только мелкость и непрочность того, что Ничше называетъ теоретическимъ оптимизмомъ. Ему уже Кантъ подрѣзалъ крылья. До Канта „теоретическій человѣкъ“ могъ вѣрить въ возможность познать и разгадать всѣ міровыя загадки и относиться къ пространству, времени и причинной связи, какъ къ безусловнымъ и всеобщимъ законамъ. Кантъ показалъ, что эти категоріи только прикрываютъ и дѣлаютъ для человѣческаго познанія недоступною истинную сущность вещей. Стоитъ только сравнить гетевскаго Фауста, прошедшаго всѣ факультеты и въ отчаяніи отдающагося чертямъ, съ Сократомъ, чтобы увидать естественный ходъ и исходъ теоретическаго оптимизма. Теоретическій человѣкъ когда-то бросился въ открытое море познанія и долго съ восторгомъ плылъ въ немъ дальше и дальше, но не видя конца плаванію, убѣдившись, что и нѣтъ ему конца, утомившись, затосковалъ о берегѣ оптимизмъ разрѣшился тоской, меланхоліей, пессимизмомъ. Существуютъ, однако, и доселѣ жизнерадостные теоретическіе человѣки, но это или „библіотекари и корректоры, слѣпнущіе отъ книжной пыли и опечатокъ“, объ которыхъ и говорить не стоитъ, или тѣ гордые, въ верху стоящіе, объ которыхъ Ничше говоритъ въ статьѣ „Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben“ (Unzeitgemässe Betrachtungen, I). Вступленіе къ этой статьѣ начинается цитатой изъ Гете, котораго Ничше вообще чрезвычайно высоко цѣнитъ: „Мнѣ ненавистно все, что меня только поучаетъ, не усиливая моей дѣятельности или непосредственно не оживляя меня“.

Мы можемъ на минуту пріостановиться. Цитата изъ Гете, вмѣстѣ съ язвительной выходкой противъ побѣдоносныхъ нѣмцевъ, которымъ Бисмаркъ замѣняетъ философовъ, поэтовъ и хорошія книги, указываетъ, не вполнѣ, разумѣется, точно,—потому что точность тутъ и невозможна,—тѣ предѣлы, въ которыхъ Ничше считаетъ жажду знанія и возлагаемыя на него надежды законными. Когда барабанно-патріотическая пѣсня и личность желѣзнаго объединителя Германіи заглушаютъ и заслоняютъ всякіе умственные интересы, Ничше негодуетъ. Но съ другой стороны ему, какъ и Гете, ненавистно все, что *только* поучаетъ. Отсюда такъ дурно понятый Максомъ Нордау скептицизмъ Ничше по отношенію къ знанію. Отсюда же странныя на

Digitized by Google

первый взглядъ слова въ предисловіи ко второму изданію „Fröhliche Wissenschaft“: „Насъ не потянетъ больше на путь тѣхъ египетскихъ юношей, которые проникали ночью въ храмы, обнажали статуи и старались все прикрытое открыть, вывести на бѣлый свѣтъ. Нѣтъ, мы перестрадали этотъ дурной вкусъ, эту жажду „знанія во что бы то ни стало“: мы для нея слишкомъ опытны, серьезны, веселы, глубоки. Мы больше не вѣримъ, что истина остается истиной, если съ нея снять покрывало. Нынѣ намъ представляется дѣломъ приличія не все видѣть обнаженнымъ, не все хотѣть понимать и знать“.

Надо замѣтить, что всѣ предисловія самого Ничше ко вторымъ изданіямъ его сочиненій, какъ болѣе позднія, написаны особенно страннымъ языкомъ и носятъ на себѣ явную печать если не совсѣмъ разстроеннаго, то во всякомъ случаѣ безпокойнаго, смятеннаго духа. Но и здѣсь, среди разныхъ странныхъ выходокъ, ведется все та же основная линія, которую, несмотря на всѣ ея извороты и осложненія, можно прослѣдить отъ перваго до послѣдняго сочиненія Ничше. Такъ и только-что приведенныя странныя слова изъ предисловія къ „Fröhliche Wissenschaft“ имѣютъ свое мѣсто въ самой сердцевинѣ философіи Ничше и получаютъ даже рѣдкое у него систематическое развитіе въ упомянутой уже части „Unzeitgemässe Betrachtungen“. Тамъ, между прочимъ, читаемъ: „Историческая точка зрѣнія, если она прилагается къ дѣлу безъ ограниченій и съ полною послѣдовательностью, подрываетъ корни будущаго, потому что разрушаетъ иллюзіи и лишаетъ существующія вещи той атмосферы, въ которой онѣ только и могутъ жить“. Что же это за „иллюзіи“, разрушенія которыхъ надо остерегаться, и покрывала, которыя не надо снимать съ истины? Этотъ вопросъ, любопытный въ наше трезвое время вообще, получаетъ особенную пикантность по отношенію къ Ничше: вѣдь онъ, какъ знаетъ большинство читателей по наслышкѣ, крайній матеріалистъ, отвергающій „законы, совѣсть, вѣру“, разрушитель всѣхъ иллюзій. Вѣдь г. Гротъ, напримѣръ, утверждаетъ, что Ничше хочетъ „дать въ жизни человѣка торжество разуму и трезвому анализу“, что онъ „раціоналистъ, ищущій въ разумѣ послѣдняго критерія истины“ („Нравственные идеалы нашего времени“ въ „Вопросахъ философіи и психологіи“, 1893, январь, стр. 135, 141). И какъ же не повѣрить г. Гроту, ex officio поучающему

Digitized by Google

насъ по части философіи и съ каѳедры, и въ спеціальномъ журналѣ? Съ другой стороны, однако, какъ же намъ не повѣрить самому Ничше, когда онъ объявляетъ „разумность“ Сократа той соломенкой, за которую схватилась морально разлагавшаяся Греція и которая все-таки не спасла ее, а дала новый и притомъ двойной толчокъ къ упадку; когда онъ становится на стражѣ „иллюзій“ и объявляетъ частію ненужнымъ и вреднымъ, „неприличнымъ“, какъ онъ выражается, а частію невозможнымъ снимать покрывало съ Изиды? И, повторяю, замѣтьте, это самая сердцевина всей философіи Ничше. Мы значительно приблизимся къ правильному пониманію этой философіи, если съ буквальною точностію повторимъ опредѣленія г. Грота, но съ прибавкой отрицательной частицы *не:* Ничше *не* раціоналистъ, Ничше *не* хочетъ давать въ жизни человѣка торжество разуму и трезвому анализу...

Итакъ, объ иллюзіяхъ, безнужно или неправильно, или вредоносно подрываемыхъ исторической точкой зрѣнія. Статья, въ которой объ нихъ рѣчь идетъ, озаглавлена: „О пользѣ и вредѣ исторіи для жизни“. Я не буду передавать взгляды Ничше на *пользу* исторіи, они здѣсь для насъ не представляютъ особеннаго интереса, да и изъ читателей никто, конечно, въ пользѣ исторіи ни сомнѣвается. Я только прошу замѣтить, что Ничше вполнѣ признаетъ пользу исторіи въ тѣхъ случаяхъ и предѣлахъ, въ которыхъ она служитъ жизни. Но бываетъ и наоборотъ. Бываетъ, что исторія не только не служитъ жизни, а ее къ себѣ требуетъ на службу. Уже изъ того, что мы до сихъ поръ узнали о Ничше, ясно, какъ высоко цѣнитъ онъ жизнь, жизнь во всей ея полнотѣ, со всѣми цвѣтами ея радуги, жизнь для жизни. Для него одинаково симптомы упадка—и пессимизмъ съ аскетизмомъ, какъ непосредственное, такъ сказать, количественное умаленіе жизни, и оптимизмъ, по крайней мѣрѣ теоретическій оптимизмъ, качественно умаляющій жизнь, односторонне перенося центръ тяжести ея въ одну изъ ея функцій, въ функцію познанія. Когда-то мнѣ случилось мимоходомъ предложить раздѣленіе людей на разбитыхъ, забитыхъ и борцовъ. Съ точки зрѣнія Ничше, разбитые оказались бы пессимистами, забитые—оптимистами (теоретическими), а самъ онъ—борцомъ, который ждетъ наилучшихъ результатовъ отъ своей дѣятельности, но именно отъ нея, и готовъ принять всякую скорбь и боль

Digitized by Google

подъ условіемъ опять-таки дѣйственнаго отношенія къ жизни. Онъ хочетъ жить—жить во вся, не разумомъ только, но и чувствомъ, и волей, быть можетъ прежде всего волей. Этому-то и препятствуетъ то, что онъ называетъ Uebermaas der Historie, чрезмѣрностью исторіи. Извѣстная доля „историческаго", т. е. связаннѣго съ воспоминаніями о прошлыхъ дѣлахъ и событіяхъ, необходима для жизни, но столь же необходима для жизни и для самой исторіи извѣстная доля „не историческаго", трепещущаго мыслью и страстью данной минуты, безъ какого бы то ни было отношенія къ ея мѣсту въ исторіи. Исторія въ свое время разберетъ всю ту сложную сѣть интересовъ, страстей, идеаловъ, запросовъ, изъ которыхъ слагается физіономія данной минуты, и всему укажетъ настоящее мѣсто. Но пока эта минута длится, нужна извѣстная атмосфера „не историческая". Исторія уравняетъ одушевляющіе насъ идеалы въ рядѣ другихъ, отжившихъ, похороненныхъ, и укажетъ ихъ корни въ той или другой комбинаціи преходящихъ условій. Но сейчасъ они должны насъ одушевлять, какъ таковые, какъ идеалы, въ правоту и возвышенность которыхъ мы вѣримъ. Ни одинъ художникъ не создастъ своей картины, ни одинъ полководецъ не одержитъ побѣды, ни одинъ народъ не добьется свободы, не проведя ихъ предварительно черезъ эту атмосферу не историческаго. И все великое, достойное занять мѣсто въ исторіи, совершалось именно такъ. Великіе дѣятели справляются, конечно, съ исторіей, почерпая изъ нея уроки, но они не думаютъ объ томъ, чтобы идти непремѣнно въ тактъ съ исторіей, они сами ее создаютъ; они и по собственному мнѣнію, и по мнѣнію другихъ часто идутъ наперекоръ исторіи, и это, конечно, иллюзія, но иллюзія необходимая, безъ которой не было бы и самой исторіи, и вообще жизни. Нынѣ часто говорятъ съ торжествомъ, что наука, и въ частности исторія, начинаетъ управлять жизнью. Ничше полагаетъ, что такое управленіе возможно, но должно повести къ оскудѣнію жизни. Въ дѣйствительности же это оскудѣніе уперлось бы въ полную невозможность. Представимъ себѣ, что исторія сорвала передъ нами завѣсу будущаго, и мы ясно видимъ свою собственную судьбу, судьбу дѣтей нашихъ, судьбу народовъ. „Какъ мимолетное видѣнье", эта картина была бы и занимательна, и способна взволновать горечью и радостью, смотря по тому, что въ ней заключается. Но жить подъ ея давленіемъ, именно давленіемъ,

Digitized by Google

было бы невыносимо для теперешней человѣческой души. Всѣ мы знаемъ, что будетъ то, что будетъ, что должно быть, но мы не знаемъ, что именно должно быть, и на этомъ построены наши надежды и опасенія, вѣроятности и возможности побѣды и пораженія, нашъ выборъ жизненнаго пути, наша борьба за то, что мы считаемъ правдой, вся жизнь наша. Все это рухнуло бы или, если принять въ соображеніе, что все это есть тоже продуктъ исторіи, осложнилось бы сознаніемъ, что чья-то мощная рука насильно ведетъ насъ къ завѣдомо можетъ быть неосновательнымъ опасеніямъ и завѣдомо несбыточнымъ надеждамъ; да если и къ основательнымъ и къ сбыточнымъ, то раздвоенность наша была бы при этомъ не менѣе тягостна. Нѣтъ, для насъ, по крайней мѣрѣ для теперешнихъ людей, пускай эта статуя Изиды остается подъ покрываломъ! Да вѣдь его и нельзя снять, это покрывало. Теоретически мы можемъ, должны говорить о необходимости извѣстныхъ, точнѣе неизвѣстныхъ намъ грядущихъ событій, но практически мы заключены въ предѣлы вѣроятностей, возможностей и желательностей. И тѣхъ, кто желаетъ такъ или иначе участвовать въ жизни, а не присутствовать при ней, „чрезмѣрность исторіи“ можетъ заставить призадуматься. „Только сильный человѣкъ можетъ выносить исторію,—говоритъ Ничше,—слабыхъ она подавляетъ“. Историческіе факты—„такъ было“—разрушительно дѣйствуютъ на энергію въ настоящемъ, пріучая слабыхъ людей къ мысли, что жизнь есть исполненіе предначертаній исторіи. Тогда какъ, наоборотъ, жизнь должна давать тонъ исторіи, какъ въ смыслѣ направленія хода событій, которыя въ свое время запишутся въ исторію науку, такъ и въ смыслѣ указанія темъ, которыя эта исторія-наука должна разрабатывать. Слабые люди, изнемогшіе подъ тяжестью исторіи, прячутся и въ томъ, и въ другомъ случаѣ за слово „объективизмъ“. Доходитъ до того, что объективнымъ считается и лавры за безпристрастіе стяжаетъ историкъ, избирающій для изслѣдованія предметъ, до котораго ему никакого дѣла нѣтъ. Онъ выбираетъ того или другого папу или императора, тотъ или другой историческій періодъ, ту или другую страну,—почему? Никому, ни же ему самому неизвѣстно: онъ объективенъ, для него всѣ историческіе факты равно достойны изученія. Но это еще только безразличіе выбора и можетъ быть въ отмежеванномъ себѣ уголкѣ историкъ еще ока-

Digitized by Google

жется живымъ человѣкомъ. Бываетъ хуже, когда объективизмъ сводится просто къ апологіи факта, каковъ бы онъ ни былъ. И здѣсь я приведу цѣликомъ страницу изъ Ничше:

„Я думаю, что среди опасныхъ теченій и шатаній нѣмецкой мысли въ нынѣшнемъ вѣкѣ нѣтъ опаснѣе того огромнаго, до сихъ поръ продолжающагося вліянія, которымъ пользуется Гегелевская философія. Увѣренность, что нами заканчиваются времена, необходимо должна уродовать людей; но она становится страшною, когда дерзкимъ оборотомъ мысли обожествляетъ насъ, какъ представителей истиннаго смысла и цѣли всего доселѣ бывшаго, когда мы свою духовную нищету объявляемъ завершеніемъ всемірной исторіи. Такой способъ воззрѣнія пріучилъ нѣмцевъ говорить о „міровомъ процессѣ“ и оправдывать свое время, какъ необходимый результатъ этого мірового процесса; этотъ способъ воззрѣнія поставилъ на мѣсто другихъ духовныхъ силъ, искусства, религіи,—самодержавную исторію, поскольку она есть „самоосуществляющееся понятіе“, „діалектика духа народа“ и „міровой судъ“. Эту по Гегелевски понятую исторію насмѣшливо называли странствованіемъ по землѣ божества, которое, однако, само создается исторіей. Но оно собственно въ мозгу Гегеля объявилось и продѣлало всѣ діалектическія ступени бытія вплоть до своего обнародованія. Такъ что для Гегеля высшій и конечный пункты мірового процесса совпали въ его собственномъ берлинскомъ существованіи. Онъ долженъ бы былъ сказать, что на всѣ послѣ него появившіяся вещи надо смотрѣть только какъ на музыкальное „Coda“ къ всемірно-историческому „Rondo“, а еще вѣрнѣе просто считать ихъ излишними. Онъ этого не сказалъ. Но за то онъ водрузилъ въ пропитанныхъ имъ поколѣніяхъ тотъ восторгъ передъ „властью исторіи“, который практически ведетъ къ открытому восторгу передъ успѣхомъ и идолопоклонству передъ фактомъ. Для этого изобрѣтено выраженіе „считаться съ фактами“. Но кто научился сгибать спину и склонять голову передъ „властью исторіи“, тотъ китайски-механически вторитъ всякой власти вплоть до общественнаго мнѣнія и численнаго большинства. Такъ какъ каждый успѣхъ содержитъ въ себѣ разумную необходимость, каждое событіе есть побѣда логики или „идеи“—то живо на колѣни по всѣмъ ступенямъ лѣстницы успѣховъ! И говорятъ, что господство миѳологіи кончено! Да посмотрите же на эту миѳологію

Digitized by Google

власти исторіи, обратите вниманіе на ея жрецовъ и на ихъ ободранныя колѣни. И всѣ добродѣтели сопутствуютъ этой новой вѣрѣ. Развѣ это не самоотверженіе, когда историческій человѣкъ позволяетъ перелить себя въ объективное зеркальное стекло? Развѣ это не справедливость—держать постоянно въ рукахъ вѣсы и пристально смотрѣть, на которой изъ чашекъ болѣе тяжести, силы? И какая превосходная школа приличія это отношеніе къ исторіи! Все принимать объективно, ни на что не сердиться, ничего не любить, все понимать,—это дѣлаетъ мягкимъ, гибкимъ. А если кто-нибудь изъ воспитанныхъ въ этой школѣ иной разъ и разсердится, то это ничего, всѣ вѣдь понимаютъ, что это только такъ, только ira и studium, и все-таки совсѣмъ sine ira et studio".

Ничше отмѣчаетъ далѣе неизбѣжность столкновенія между „чрезмѣрностью исторіи" и моралью. „Да, моралью!—говоритъ онъ.—Возьмите какую хотите человѣческую добродѣтель, справедливость, великодушіе, храбрость, мудрость, состраданіе,—она всегда потому добродѣтель, что возстаетъ противъ слѣпой силы факта, противъ тираніи дѣйствительности и подчиняется законамъ, которые не суть законы историческихъ теченій. Она плыветъ всегда противъ историческихъ волнъ,—борется ли она съ собственными страстями, какъ съ ближайшими глупыми фактами, или обязывается честностью, когда кругомъ ложь плететъ свою блестящую паутину... Къ счастію, исторія хранитъ и воспоминанія о великихъ борцахъ противъ исторіи, то есть противъ слѣпой силы дѣйствительности, и сама себя ставитъ къ позорному столбу именно тѣмъ, что какъ разъ тѣхъ именно и выдвигаетъ, какъ историческихъ дѣятелей, которые мало озабочивались тѣмъ, что есть, дабы съ веселою гордостью слѣдовать тому, что должно быть".

И еще: „Никогда историческая точка зрѣнія не вздымалась такъ высоко. Теперь исторія человѣчества есть продолженіе исторіи животныхъ и растеній; и въ глубочайшихъ глубинахъ моря всемірно-историческій человѣкъ находитъ въ живой плазмѣ слѣды самого себя. У него голова кружится при видѣ этого огромнаго пути, который онъ прошелъ, и еще болѣе при видѣ самого себя, современнаго человѣка, который можетъ этотъ огромный путь обозрѣть. Онъ высоко и гордо стоитъ на пирамидѣ мірового процесса; кладя на нее послѣдній камень своего познанія, онъ точно хочетъ сказать прислушивающейся къ его

Digitized by Google

голосу природѣ: „мы у цѣли, мы—сама цѣль, мы—завершенная природа“. О, прегордый европеецъ девятнадцатаго вѣка! ты бредишь. Твое знаніе не завершаетъ природу, а убиваетъ твою собственную. Попробуй сравнить высоту того, что ты знаешь, съ глубиною того, что ты можешь“.

Всѣ приведенныя мысли Ничше, за исключеніемъ одной, очень важной, къ которой мы сейчасъ обратимся, проходятъ сквозь всѣ его сочиненія въ болѣе или менѣе яркомъ выраженіи, и если кое-что, въ особенности въ отдѣльныхъ афоризмахъ, имъ противорчитъ, то либо въ подробностяхъ, либо въ очень малыхъ, сравнительно, дозахъ. Читатель видитъ самъ, насколько мы были правы, утверждая, въ противность категорически высказанному мнѣнію г. Грота, что Ничше не раціоналистъ и не хочетъ давать въ жизни человѣка „торжество разуму и трезвому анализу“. Напротивъ, его первая дерзость, не столь громкая, какъ другія его дерзости, состоитъ въ томъ, что онъ бросаетъ „прегордому европейцу XIX вѣка“ въ лицо упрекъ въ безсиліи, взрощенномъ на почвѣ излишняго довѣрія къ разуму и „трезвому анализу“. Ничше претитъ все, въ чемъ онъ усматриваетъ преобладаніе „разумности“, въ ущербъ другимъ духовнымъ силамъ человѣка и его естественнымъ влеченіямъ, инстинктамъ, какъ онъ обыкновенно выражается. Собственную, личную свою profession de foi онъ, какъ мы видѣли въ прошлый разъ, выражаетъ словами: „я не знаю лучшей цѣли жизни, какъ погибнуть, animae magnae prodigus, на великомъ и невозможномъ“. И таковы были, по его мнѣнію, древніе до-Сократовскіе греки, расточавшіе „силу всю души великую“ на борьбу съ роковыми силами, не опасаясь трагическаго исхода. Древній грекъ вѣроятностью этого исхода и даже увѣренностью въ немъ не убѣждался ни въ ничтожествѣ жизни, ни въ неправотѣ своего дѣла. Правоту этого дѣла онъ основывалъ на своемъ личномъ убѣжденіи, на своей личной вѣрѣ, а не на какихъ бы то ни было стороннихъ соображеніяхъ. Въ отстаиваніи своего дѣла даже до гибели онъ видѣлъ свое счастіе, высшее содержаніе своей жизни. Съ Сократа начался упадокъ въ сторону приспособленнаго къ обстоятельствамъ, историческимъ и инымъ, разумно-добродѣтельнаго счастія или, какъ выражается безъимянный герой „Записокъ изъ подполья“, „непремѣнно благоразумно выгоднаго хотѣнія“.

Какъ бы кто ни смотрѣлъ на вышеизложенное, но до сихъ

Digitized by Google

поръ мы не видимъ въ Ничше не только раціоналиста,—это просто пустяки,—но и теоретика эгоизма, и „имморалиста“, какимъ Ничше вообще считается и самъ себя считаетъ. До сихъ поръ мы видимъ благороднѣйшаго и смѣлаго мыслителя, на иной взглядъ мечтателя, идеалиста, ставящаго свои требованія съ точки зрѣнія чрезвычайно возвышенно понимаемаго индивидуализма. Человѣческая личность есть для него мѣрило всѣхъ вещей, но при этомъ онъ требуетъ для нея такой полноты жизни и такого противостоянія всякимъ выгодамъ и условіямъ, умаляющемъ ея достоинство, что объ эгоизмѣ въ вульгарномъ смыслѣ слова и объ какомъ бы то ни было «имморализмѣ» не можетъ быть и рѣчи. Пойдемъ дальше.

Мы только что сказали, что черезъ всѣ сочиненія Ничше проходятъ вышеприведенныя мысли за исключеніемъ одной. Это та именно, что «мораль» и «добродѣтель» *всегда* возстаетъ противъ слѣпой силы факта, противъ тираніи дѣйствительности и подчиняется законамъ, которые не суть законы историческихъ теченій. Эта мысль находится въ противорѣчіи почти со всѣмъ, что Ничше писалъ о морали и добродѣтели.

Кромѣ толчка, даннаго Сократомъ, Ничше знаетъ еще и другой, совсѣмъ другой источникъ унадка, и другую его картину, соотвѣтственно которой онъ говоритъ и другія дерзости цивилизаціи и прогрессу. Чтобы оцѣнить эту сторону дѣла, вернемся къ сказанному въ № 8 „Русскаго Богатства“ о предшественникѣ Ничше, Максѣ Штирнерѣ. Онъ, между прочимъ, тоже заинтересовался Сократомъ, но только судомъ надъ нимъ и его смертью, которую, мимоходомъ сказать, Ничше считаетъ добровольною. Штирнеръ относится къ дѣлу гораздо грубѣе, проще. Онъ говоритъ: „Сократа хвалятъ за добросовѣстность, съ которою онъ отклонилъ совѣтъ бѣжать. Но онъ былъ просто глупъ, признавая за аѳинянами право суда надъ нимъ. Съ нимъ поступали по праву. Зачѣмъ стоялъ онъ на одной почвѣ съ аѳинянами? Зачѣмъ не разорвалъ съ ними? Если бы онъ зналъ, могъ знать, что онъ такое, онъ не признавалъ бы за такими судьями никакихъ правъ. Его отказъ былъ слабостью, заблужденіемъ, будто онъ имѣетъ что-то общее съ аѳинянами или что онъ членъ, простой членъ этого народа. Онъ могъ быть только собственнымъ судьей. Онъ

Digitized by Google

и былъ имъ, когда сказалъ, что онъ достоинъ Пританея, и на этомъ ему слѣдовало стоять, и такъ какъ онъ не приговаривалъ себя къ смерти (Ничше думаетъ, что именно самъ себя приговорилъ), то долженъ былъ презрѣть судъ аѳинянъ, но онъ подчинился и призналъ народъ своимъ судьей, призналъ себя малымъ передъ величіемъ народа. Онъ могъ не устоять передъ силой, но его признаніе права было измѣной по отношенію къ себѣ: это была добродѣтель".

Мы уже знакомы съ необузданнымъ эгоизмомъ Штирнера и приводили его образчики. Напомнимъ ихъ, потому что въ нихъ заключается въ зародышѣ весь настоящій „имморализмъ" Ничше.

Штирнеръ знаетъ, что есть силы сильнѣе его и вообще всякого *я*, но, признавая эту силу, какъ фактъ, онъ не хочетъ признавать ее, какъ право, и въ то же время утверждаетъ, что право есть сила. Сократъ оказалъ слабость, признавъ за аѳинянами право надъ нимъ, и они поступили съ нимъ по праву, потому что оказались сильнѣе его. *Я* имѣетъ право на *все*, но чтобы осуществить это право, я долженъ пустить въ ходъ силу—силу ума, силу физическую, силу хитрости, какъ придется. Главное же дѣло въ томъ, чтобы освободиться отъ почтенія къ разнымъ фантомамъ, отъ преданности „шпукамъ", убѣдиться, что ихъ въ дѣйствительности совсѣмъ даже нѣтъ, что это только созданія извращеннаго человѣческаго духа. „*Я* рѣшаю вопросъ о правѣ; внѣ меня нѣтъ права. Что по моему право, то и есть право. Возможно, что другіе не признаютъ за мной этого права; это ихъ дѣло, а не мое: пусть дѣйствуютъ. И если бы весь свѣтъ не признавалъ за мной того права, которое признаю я, то я не посмотрю и на весь свѣтъ. Такъ поступаетъ всякій, кто умѣетъ цѣнить себя, поскольку онъ эгоистъ, ибо сила первенствуетъ надъ правомъ—и притомъ съ полнымъ правомъ". И въ другомъ мѣстѣ: „Тебя свяжутъ!—Мою волю никто не можетъ связать.—Но вѣдь наступилъ бы полный хаосъ, если бы каждый могъ дѣлать все, что хочетъ! — Кто же говоритъ, что каждый можетъ дѣлать все, что хочетъ? Кто хочетъ сломить твою волю, тотъ тебѣ врагъ, такъ съ нимъ и поступай".

Разсужденіе вполнѣ логичное, слишкомъ логичное, слишкомъ голо-логичное, и Ничше подъ нимъ цѣликомъ не подписался бы. Читатель самъ увидитъ почему. А теперь обратимъ вниманіе на ту аристократическую струнку, которая слегка звучитъ въ раз-

Digitized by Google

сужденіи Штирнера о судѣ надъ Сократомъ. Всякое *я* полноправно и всѣ они равноцѣнны. Но вотъ *я* Сократа какъ будто и подороже стоитъ, чѣмъ другія аѳинскія мѣстоименія перваго лица. Сократъ оплошалъ и за это по праву поплатился, но онъ все-таки человѣкъ особенный, „выдающійся", „необыкновенный" и въ качествѣ такого именно не долженъ былъ признавать право суда надъ нимъ. Вѣдь мало ли кого аѳиняне судили, но не всѣмъ же имъ претендовать было на мѣсто въ Пританеѣ. Очевидно, *я* „выдающихся", „необыкновенныхъ" людей имѣетъ какое-то преимущество въ глазахъ Штирнера, какое—неизвѣстно, ибо, какъ мы уже говорили, книгу Штирнера надо считать недоконченною. Ей недостаетъ положительной части, которая у Ничше есть. Есть у него и дальнѣйшее, до послѣдній степени рѣзкое развитіе той легкой аристократической струнки, которая у Штирнера звучитъ едва ли только не въ одномъ приведенномъ мѣстѣ о Сократѣ.

„Цѣнность эгоизма, говоритъ Ничше („Götzen-Dämmerung", 98)—зависитъ отъ физіологической цѣнности его носителя: она можетъ быть очень велика, а можетъ быть и совсѣмъ ничтожна и презрительна. Каждый отдѣльный человѣкъ долженъ быть разсматриваемъ съ той стороны—представляетъ ли онъ собою восходящую или нисходящую линію жизни. Рѣшеніе этого вопроса и дастъ мѣру цѣнности его эгоизма. Если онъ представляетъ подъемъ линіи, то его цѣна высока и ради всей совокупности жизни, которая дѣлаетъ съ нимъ шагъ впередъ, онъ долженъ быть обставленъ наилучшими условіями. „Индивидуумъ", какъ его до сихъ поръ понимали толпа и философы, есть заблужденіе; онъ не атомъ, не „звено цѣпи", онъ,—цѣлая линія человѣка вплоть до него самого. Если онъ представляетъ собою нисходящее развитіе, упадокъ, хроническое вырожденіе, заболѣваніе (болѣзни, вообще говоря, суть слѣдствія упадка, а не причины его), то цѣна ему малая, и элементарная справедливость требуетъ, чтобы онъ возможно меньше отнималъ на свою долю у лучшихъ; онъ только ихъ паразитъ".

Во имя личности Ничше требуетъ отчета у всѣхъ реальныхъ и идеальныхъ формъ общественности и горячо протестуетъ противъ обращенія ея въ „орудіе", функцію, органъ какого бы то ни было цѣлаго; личность во всей полнотѣ ея силъ и потребностей противопоставляетъ онъ всѣмъ стихійнымъ силамъ природы и исторіи вплоть

Digitized by Google

до мірового процесса въ цѣломъ и до трагическаго конца самой личности, если бы таковой оказался неизбѣжнымъ. Но затѣмъ оказывается, что личности не равноцѣнны и что есть какое-то цѣлое,—„совокупность жизни“, das Gesammt-Leben,—въ интересахъ котораго должна производиться расцѣнка личностей: кто лучше можетъ этому цѣлому послужить, тому и цѣна большая, а кто послабѣе, тому и цѣна поменьше и житейская доля похуже. Этимъ въ корень подрывается исходная точка Ничше. Что люди, конкретныя личности, не равны между собою не только по своему общественному положенію, но и по своимъ силамъ и способностямъ,—это мы всѣ очень хорошо знаемъ. Но вопросъ не въ этомъ слишкомъ несомнѣнномъ стихійномъ фактѣ и даже не въ томъ, что „ина слава солнцу, ина слава лунѣ и звѣзда отъ звѣзды разнствуютъ во славѣ“. Разумѣется,—„ина“, разумѣется,—„разнствуютъ“. Вопросъ въ принципѣ, на основаніи котораго мы устанавливаемъ или должны устанавливать эти различія и производимъ или должны производить эту расцѣнку. Въ практической жизни это дѣло чрезвычайно сложное и запутанное. Оставляя въ сторонѣ личныя привязанности и отвращенія и національные, сословные и профессіональные предразсудки, широкою волною врывающіеся обыкновенно въ нашу расцѣнку людей, мы все же получимъ нѣчто очень сложное. Человѣкъ большого ума и исключительныхъ дарованій, раздвинувшій наши теоретическіе горизонты, „насытившій кристаллъ очей“ нашихъ дивными художественными произведеніями, или словомъ или музыкальными звуками поднимающій въ насъ волну лучшихъ чувствъ, обогатившій человѣчество благодѣтельнымъ открытіемъ или изобрѣтеніемъ,—можетъ оказаться слабымъ, ничтожнымъ, дряннымъ характеромъ. Увы! это слишкомъ часто случается. Мало того, большой умъ и рѣдкій талантъ, которыхъ мы не можемъ не цѣнить высоко, какъ силу, бываютъ направлены на дѣла, которыя мы, по тѣмъ или другимъ соображеніямъ, опять же не можемъ не цѣнить крайне низко, даже отрицательно. Наоборотъ, маленькій во всѣхъ другихъ отношеніяхъ человѣкъ можетъ таить въ себѣ, а при случаѣ и обнаруживать такую нравственную мощь и красоту, передъ которой мы поневолѣ должны почтительно снять шапку. Но ее столь же почтительно можно снять и передъ обыкновеннымъ рядовымъ работникомъ на дѣлѣ, которое мы считаемъ важнымъ, нужнымъ,

Digitized by Google

святымъ. Такимъ образомъ, не только звѣзда отъ звѣзды разнствуютъ во славѣ, но и въ самихъ-то звѣздахъ лучи славы и безславія переплетаются въ очень разнообразныхъ комбинаціяхъ. Если мы введемъ сюда физіологическій элементъ, указываемый Ничше, то онъ не только не устранитъ этой сложности, но еще введетъ новыя осложненія, Посѣтитель цирка или балагана, любующійся атлетомъ, рабовладѣлецъ, выбирающій на рынкѣ здороваго, сильнаго, выносливаго раба, въ виду своихъ частныхъ цѣлей, конечно, цѣнятъ этого атлета и этого раба выше больныхъ и слабыхъ, и они правы съ своей точки зрѣнія. На что бы имъ годился галлюцинантъ-Сократъ, эпилептикъ-Магометъ, хилый Вольтеръ, слабогрудый Шиллеръ, больной Ничше? Но люди, получившіе отъ этихъ больныхъ и слабыхъ извѣстное возбужденіе, хотя бы только въ видахъ пересмотра своего умственнаго и нравственнаго багажа, конечно, безъ дальнихъ размышленій дадутъ имъ высшую оцѣнку, чѣмъ тысячамъ здоровыхъ и сильныхъ.

Безъ дальнихъ размышленій... Но Ничше вводитъ насъ именно въ область дальнихъ размышленій. Онъ предлагаетъ общій принципъ, въ которомъ тонутъ какъ частныя, незамѣтныя глазу мелочи, цѣли рабовладѣльца, посѣтителя цирка, или читателя сочиненій Вольтера и его самого, Ничше, или общественнаго дѣятеля, занятаго какимъ-нибудь житейскимъ вопросомъ. Онъ указываетъ общій руководящій принципъ, и ужъ наше тамъ дѣло прикидывать его къ житейскимъ частнымъ случаямъ. Притомъ же приведенная изъ „Götzen-Dämmerung“ цитата есть въ извѣстной степени lapsus calami (до извѣстной, однако, только степени). Изъ совокупности его сочиненій видно, что высокой оцѣнкѣ подлежитъ не только физическое здоровье, а и духовная энергія. Но все-таки почему же какая то „совокупность жизни“ является вершительницей судебъ и опредѣлительницей цѣнности личности? И почему эта самая личность, индивидъ, который ѣсть и пьетъ, болѣетъ и радуется, родится, растетъ и разрушается, котораго мы обнимаемъ въ лицѣ брата, друга, сына, любимой женщины, котораго, наконецъ, самъ Ничше такъ оберегаетъ отъ всякаго ущерба,—почему онъ оказывается даже не существующимъ? Онъ—не онъ, а какая-то линія, восходящая или нисходящая; онъ—предразсудокъ „толпы и философовъ“. Относительно философовъ Ничше нѣсколько ошибается, упрекая

Digitized by Google

ихъ въ этомъ предразсудкѣ. И прежде бывали временами, и теперь опять объявились философы, вполнѣ свободные отъ этого предразсудка и рѣшительно утверждающіе, что всѣми видимаго, осязаемаго и въ свою очередь видящаго, осязающаго, чувствующаго индивида нѣтъ, а если онъ и существуетъ, то на него не слѣдуетъ обращать вниманіе. Но меньше всего можно бы было ожидать такого оборота мысли отъ Ничше. Онъ вѣдь такъ негодуетъ на то, что „сознательно или безсознательно люди стремятся ни больше, ни меньше, какъ къ полному преобразованію, и именно ослабленію, даже уничтоженію индивидуума“ („Morgenröthe“, 127). И вотъ Ничше самъ накладываетъ на него руку во имя „совокупности жизни“, которую Штирнеръ, не обинуясь, назвалъ бы такимъ же Spuk, фантомомъ, какъ всѣ прочіе, въ томъ числѣ и тѣ, съ которыми борется самъ Ничше. Конечно, Штирнеръ грубъ и узокъ, и изъ его *я* мудрено бы было логически вывести какое-нибудь мѣрило цѣнности людей, не прибѣгая опять же къ какому-нибудь неожиданному фантому, какъ это случилось съ Ничше. Но исходная точка Ничше допускала и даже навязывала иной выходъ, а именно: если личность есть самоцѣль, не подлежащая низведенію на степень средства для достиженія какой бы то ни было другой цѣли, то и мѣриломъ цѣнности людей можетъ быть лишь размѣръ ихъ службы этому принципу. Здѣсь не мѣсто входить въ подробности и практическія примѣненія, да и нѣтъ резона распространяться объ томъ, чего Ничше не сдѣлалъ, когда мы еще далеко не покончили съ тѣмъ, что онъ сдѣлалъ.

Цивилизованное человѣчество находится со временъ Сократа въ упадкѣ, потому что раціонализировало свои инстинкты, вдвинуло свои естественныя влеченія въ узкія рамки „разумности“ и тѣмъ себя обезсилило. Но оно обезсилило и продолжаетъ себя обезсиливать еще другимъ путемъ: оно стало *добрѣе*, что на теперешнемъ языкѣ значитъ *лучше*. Но вѣрно ли, что „добрѣе“ и „лучше“—одно и то же? И вѣрно ли, что человѣчество стало дѣйствительно и добрѣе и лучше? Въ этихъ двухъ вопросахъ заключается корень всего „имморализма“ Ничше и въ частности такъ смутившаго г. Астафьева предложенія занять позицію „по ту сторону добра и зла, jenseits von Gut und Böse. Оборотъ тутъ

Digitized by Google

выходитъ почти каламбурный, такъ какъ по нѣмецки gut значитъ и добрый и хорошій, какъ и въ старомъ русскомъ языкѣ, остатки чего и доселѣ сохранились; добрый не значило непремѣнно мягкій, любвеобильный и могло даже не имѣть никакого отношенія къ области морали. „Удалой добрый молодецъ“ русскихъ былинъ, пѣсенъ и сказокъ, разъѣзжая на „добромъ конѣ“, совершалъ весьма часто подвиги, не имѣющіе ничего общаго съ добротой, а „добрую рюмку водки выпить“ и тарелку „добрыхъ щей“ съѣсть мы можемъ и сейчасъ. Хотя дѣло само по себѣ ясно, но Ничше счелъ нужнымъ въ „Genealogie der Moral“ пояснить: „Jenseits von Gut und Böse... Dies heisst zum Mindensten *nicht* „jenseits von Gut und schlecht“.

Какъ произошло совпаденіе понятій „добрѣе“ и „лучше“? Для рѣшенія этого вопроса Ничше естественно обращается къ исторіи. Но фактическая или, вѣрнѣе, псевдо-фактическая часть этого его историческаго экскурса рѣшительно ничего не стоитъ. Она въ такой степени произвольна, фантастична и противорѣчива, что надъ нею можно бы было и еще сильнѣе посмѣяться, чѣмъ это сдѣлалъ Максъ Нордау, особенно, если заняться сравненіемъ всего, разбросаннаго по этому предмету въ разныхъ сочиненіяхъ Ничше, въ томъ числѣ въ отдѣльныхъ афоризмахъ. Мы, однако, этимъ не станемъ заниматься и ограничимся лишь самыми общими чертами, рисующими основную мысль.

Когда-то, гдѣ-то жили люди (иногда это греки, иногда римляне, иногда германцы), по своимъ инстинктамъ подобные хищнымъ звѣрямъ. Они были сильны тѣломъ и духомъ, храбры, воинственны, кровожадны, чувственны, властолюбивы, искали опасностей, какъ случая проявить свою черезъ край бьющую силу, и наслажденій, какъ случая ее растратить. Какъ они жили между собой—неизвѣстно: иногда слѣдуетъ думать, что они избѣгали всякихъ сношеній между собой и жили въ одиночку, собираясь въ орды или шайки только для грабежа, разбоя, войны, а иногда выходитъ такъ, что они проявляли во взаимныхъ отношеніяхъ „добрыя“ качества, которыя и нынѣ добродѣтелями считаются. Въ концѣ концовъ, однако, ихъ мораль, то есть ихъ понятія о добрѣ и злѣ, о нравственно одобрительномъ и неодобрительномъ, рѣзко отличались отъ нашихъ теперешнихъ. Злое, то есть злобное, отнюдь не значило для нихъ „дурное“, равно какъ „доброе“ не значило „хорошее“. Совсѣмъ даже напротивъ.

Digitized by Google

И вотъ они столкнулись съ другой расой, болѣе слабой, побѣдили ее и обратили въ рабство. Мораль рабовъ, слабыхъ, придавленныхъ, естественно отличалась отъ морали господъ. Господа побѣдители считали нравственно одобрительными, высшими, лучшими качествами храбрость, жестокость, чувственность, властолюбіе, открытость во всѣхъ дѣйствіяхъ—потому что имъ нечего стѣсняться было—и слѣдовательно правдивость. Добродѣтели рабовъ—побѣжденныхъ были совершенно противоположны, сообразно тому, что указывало имъ ихъ придавленное положеніе: они должны были жаться другъ къ другу и воспитывать въ себѣ такъ называемую любовь къ ближнему, мягкость, осторожность, умѣренность, хитрость.

Здѣсь я не могу удержаться, чтобы не привести одного незамѣченнаго Максомъ Нордау историко-антропологическаго курьеза. Побѣдоносная раса, сильная, храбрая, жестокая, была бѣлокура, а побѣжденная, слабая, трусливая—темнокожа и черноволоса („Zur Genealogie der Moral“ 8), и Ничше часто говоритъ о „великолѣпномъ, жаждущемъ добычи и побѣды бѣлокуромъ животномъ“. А между тѣмъ въ одномъ изъ своихъ афоризмовъ онъ предлагаетъ слѣдующую изумительную гипотезу: не объясняется ли темнокожесть частыми, въ теченіе вѣковъ, припадками злобы, вызывающими приливъ крови въ кожѣ, а бѣлая кожа—столь же частыми приступами страха, сопровождаемаго блѣдностью? („Morgenröthe,“ 221).

Долго ли, коротко ли, но двѣ противоположныя морали существовали рядомъ, вызывая взаимныя недоразумѣнія, скрытую ненависть и открытое презрѣніе, вообще вражду, окончившуюся въ одинъ прекрасный день возстаніемъ рабовъ; возстаніемъ не въ тѣхъ воинственныхъ формахъ, какія мы обыкновенно себѣ представляемъ въ связи съ этимъ словомъ,—объ этомъ мы, по крайней мѣрѣ, ничего не узнаемъ,—а „возстаніемъ въ морали“, возстаніемъ и побѣдой рабовъ. Какъ это случилось, понять довольно трудно. Достовѣрно только, что толчокъ въ этомъ направленіи данъ цивилизованному міру евреями. Имъ удалось, неизвѣстными путями, произвести „переоцѣнку всѣхъ цѣнностей“ или, вѣрнѣе, навязать человѣчеству свою оцѣнку, свою „рабскую“ мораль смиренія, самоотреченія, воздержанія, кротости, состраданія и вытѣснить ею мораль „господъ“. Впослѣдствіи къ этому торжеству примкнули и другіе рабскіе элементы. Съ этихъ поръ „добрый“ и „хорошій“, съ одной стороны,

Digitized by Google

„злой“ и „дурной“ съ другой—стали синонимами, а вмѣстѣ съ тѣмъ начался упадокъ человѣчества. Эгоизмъ при этомъ не исчезъ, по мнѣнію Ничше: онъ только прикрылся условной фразой, притаился и въ то же время получилъ характеръ разслабленности, робости, разсчетливости. *Всякая* альтруистическая мораль представляетъ собою такой скрытый и „рабскій“ эгоизмъ. Ничше не дѣлаетъ исключенія не только для принциповъ любви къ ближнему и состраданія, но и для дружащей съ эгоизмомъ утилитарной морали, въ которой видитъ тѣ же рабскія черты—прикровенность, трусость, слабосиліе. Принципъ пользы, безъ сомнѣнія, слишкомъ односторонній и узкій, какъ для объясненія „генеалогіи морали“, то есть ея фактическаго развитія въ исторіи, такъ и для руководствованія въ любой данный моментъ, представляется Ничше однимъ изъ результатовъ того слабосилія и связанной съ нимъ трусости, которыя заставляютъ людей жаться другъ къ другу и разсчитывать каждый свой шагъ. А все это является выраженіемъ упадка, пониженной жизнеспособности. Когда тонъ жизни давала мораль „господъ“,—„злое“ было лишь проявленіемъ избытка силы, переливавшейся черезъ край, искавшей себѣ поприща, не отступая передъ возможностью нанесенія страданія другимъ, но не избѣгая опасностей и страданій и для себя и находя удовлетвореніе въ своей собственной яркости и полнотѣ. „Послѣднимъ великимъ временемъ“ Ничше считаетъ эпоху Возрожденія и не останавливается передъ извѣстной идеализаціей одного изъ знаменитѣйшихъ въ исторіи человѣчества насильниковъ, предателей и развратниковъ—Цезаря Борджіа. Современные люди восприняли рабскую, альтруистическую мораль вслѣдствіе своей слабости. Они такъ слабы, что всю свою жизнь проводятъ и всю цѣль жизни видятъ въ избѣжаніи опасностей и въ спокойномъ, увѣренномъ существованіи. Ради него они отказываются отъ удовлетворенія своихъ инстинктовъ и страстей и приближаются къ болѣе или менѣе строгому аскетическому идеалу; ради того же они возводятъ въ званіе добродѣтели такія качества, поступки и мотивы поступковъ, которые гарантируютъ имъ скудное, сѣренькое, но спокойное и безопасное житіе. Этотъ симптомъ упадка въ свою очередь ведетъ къ дальнѣйшему упадку, потому что въ современномъ обществѣ все прилаживается къ тому, чтобы охранить слабыхъ насчетъ сильныхъ, жизнеспособныхъ. Если это не до-

Digitized by Google

стигнуто на дѣлѣ, то къ тому стремится вся разноименная современная мораль и сама по себѣ, и поскольку она отражается въ политикѣ. Всѣ эти толки о всеобщемъ равенствѣ, о рабочемъ, о женскомъ вопросѣ представляютъ собою отзвуки упадка, декадентскаго стремленія срѣзать всѣ вершины и все нивеллировать на низшемъ уровнѣ. Къ народнымъ массамъ Ничше относится съ величайшимъ презрѣніемъ. Онѣ „кажутся ему заслуживающими вниманія только въ трехъ отношеніяхъ: во-первыхъ, какъ расплывающіяся копіи великихъ людей, воспроизведенныя на плохой бумагѣ стертыми клише, затѣмъ какъ противодѣйствіе великимъ и, наконецъ, какъ орудія великихъ; въ остальномъ—побралъ бы ихъ чортъ и статистика!“ („Unzeitgemässe Betrachtungen“, I, 189). Я привожу эту цитату только ради энергіи и опредѣленности ея выраженій, а иначе затруднился бы въ выборѣ,—столь велико презрѣніе Ничше къ массамъ и столь часто и многообразно оно проявляется. Авторъ предисловія ко второму изданію „Also sprach Zarathustra“ справедливо говоритъ, что аристократизмъ (Vornehmheit) составляетъ существенную черту всего ученія Ничше, и жестоко ошибаются тѣ анархисты, которые думаютъ на немъ основаться. Критики (въ томъ числѣ и Нордау) часто цитируютъ слова: „нѣтъ истины, все дозволено“,—какъ подлинное и полное выраженіе основной мысли Ничше. Это совсѣмъ не вѣрно. Все относящееся сюда мѣсто гласитъ такъ: „Когда крестоносцы столкнулись на Востокѣ съ непобѣдимымъ орденомъ ассассиновъ, орденомъ свободныхъ мыслителей par excellence, низшая степень котораго жила въ повиновеніи, не виданномъ ни въ какомъ монашескомъ орденѣ,—они узнали какимъ-то путемъ и символъ и лозунгъ, составлявшій тайну лишь высшихъ степеней: „нѣтъ истины, все дозволено“. („Zur Genealogie der Moral“, 167). Такимъ образомъ невиданная свобода однихъ сопровождалась невиданнымъ повиновеніемъ другихъ, и именно это плѣняетъ Ничше въ недоброй памяти орденѣ или сектѣ ассассиновъ, названіе которыхъ примыкаетъ, съ одной стороны, къ арабскому гашишу, а съ другой—къ французскому assassin, убійца. Отнюдь, значитъ, не всѣмъ все дозволено, а лишь очень и очень немногимъ избраннымъ, лучшимъ, которымъ остальные должны слѣпо повиноваться.

Кто же, однако, эти лучшіе? и почему они лучшіе? и почему лучшимъ слѣдуетъ приносить въ жертву остальныхъ? Не будемъ

Digitized by Google

гоняться за историческою точностью,—Ничше, очевидно, даже ужъ слишкомъ далекъ отъ Uebermaas der Historie,—допустимъ, что моментъ столкновенія двухъ расъ, господской и рабской, и затѣмъ моментъ торжества рабской морали суть не фантазіи, а настоящіе историческіе факты. Относительно перваго изъ этихъ моментовъ мысль Ничше совершенно ясна: лучшіе были представлены расой господъ побѣдителей. Они были выше физіологически, энергичнѣе, ярче, жизнеспособнѣе. Ничше знаетъ, что это были дикіе звѣри съ нашей теперешней точки зрѣнія, но употребляетъ всевозможныя средства для того, чтобы убѣдить насъ, что мы, нынѣшніе люди, стоимъ ниже этихъ звѣрей и стоимъ дешевее ихъ. То онъ, какъ художникъ, эстетически любуется яркостью красокъ, мощью страстей, широкимъ размахомъ удали въ стародавней жизни, какъ она ему рисуется по сравненію съ нашимъ теперешнимъ, относительно спокойнымъ, но сѣренькимъ существованіемъ. То, какъ мыслитель, онъ старается расшевелить въ насъ скептицизмъ по отношенію къ нашимъ привычнымъ понятіямъ о добрѣ и злѣ, не только остроумно, но отчасти и не безъ основанія доказывая, что „добрый“ и „хорошій“ не такъ ужъ абсолютно совпадаютъ въ принципѣ, какъ они совпали въ словесномъ выраженіи. Онъ указываетъ далѣе на то преимущество „великолѣпнаго, жаждущаго побѣды и добычи бѣлокураго животнаго“, что въ немъ не было внутренней раздвоенности, что оно не считало ни одного изъ своихъ естественныхъ влеченій, „инстинктовъ“, дурнымъ, не умаляло этимъ путемъ жизни, не противоборствовало ей и слѣдовательно лучше служило тому Gesammt-Leben, которое одно должно быть признано источникомъ и мѣриломъ нравственности и которое мы оскорбляемъ своими аскетическими идеалами, своими понятіями о долгѣ и разныхъ обязательныхъ ярмахъ. Въ связи съ этимъ находится и та его мысль, которую, какъ мы видѣли, можно выразить двумя афоризмами Достоевскаго: „Человѣкъ деспотъ отъ природы и любитъ быть мучителемъ“, „человѣкъ до страсти любитъ страданіе“. Таковъ нормальный человѣкъ, по мнѣнію Ничше, и потому, видя въ современномъ человѣчествѣ усиленіе „доброты“, которой онъ не вѣритъ, и заботливость о спокойномъ, безопасномъ существованіи, онъ говоритъ объ упадкѣ. Если, однако, мы со всѣмъ этимъ и согласимся, то самъ собою является вопросъ: гдѣ же теперь „господа“? Кто теперь „лучшіе“? ибо

Digitized by Google

вѣдь „великолѣпное бѣлокурое животное“ было и быльемъ поросло. Какъ ни старается Ничше возвеличить жестокость, злобу, разнузданность, какъ ни ухищряется онъ признать эти свойства нормальными и благодѣтельными для человѣчества, онъ вынужденъ признать слѣдующее: „Теперешніе жестокіе люди должны быть разсматриваемы, какъ остатки болѣе раннихъ культуръ, это какъ бы геологическія обнаженія болѣе глубокихъ формацій, вообще прикрытыхъ позднѣйшими наслоеніями. Это отсталые люди, мозгъ которыхъ, вслѣдствіе разныхъ случайностей наслѣдственности, не получилъ достаточно тонкаго и разносторонняго развитія. Они показываютъ намъ, чѣмъ нѣкогда были всѣ люди, и приводятъ насъ въ ужасъ, но сами они также мало отвѣтственны за это, какъ кусокъ гранита за то, что онъ гранитъ. И въ нашемъ мозгу навѣрное есть извилины, соотвѣтствующія ихъ настроенію, какъ въ формѣ нѣкоторыхъ органовъ человѣческаго тѣла сохраняются воспоминанія о другихъ, болѣе раннихъ состояніяхъ. Но эти извилины не составляютъ уже нынѣ русла, по которому течетъ наша духовная жизнь“. Это—отдѣльный, вполнѣ законченный афоризмъ („Menschliches, Allzumenschliches“, I афоризмъ 43). Ясно, что лучшихъ, сильныхъ надо нынѣ искать уже не между жестокими и злыми. Но между „добрыми“ Ничше тоже не хочетъ ихъ искать, потому что „добрые“ доведены процессомъ обобществленія до стадообразнаго состоянія съ полнымъ отсутствіемъ „паѳоса разстоянія“ (Pathos der Distanz) между лучшими и худшими, высшими и низшими. Всѣ они находятся во власти „рабской“ морали, которую Ничше склоненъ называть „моралью“ вообще, вслѣдствіе чего съ неоправданною дерзостью охотно называетъ себя „имморалистомъ“, отрицателемъ морали вообще. Это неоправданная дерзость, потому что въ дѣйствительности онъ страстно ищетъ именно и прежде всего морали, но такой, которая не походила бы на современную, „рабскую“ и заслуживала бы названіе „господской“.

Но опять-таки гдѣ-же нынѣ „господа“, настоящіе, имѣющіе нравственное право считаться таковыми? За современнымъ европейскимъ дворянствомъ Ничше отказывается признать это право, какъ потому, что и оно заражено рабскою моралью, такъ и потому, что вслѣдствіе смѣшенія расъ въ немъ уже ничего не осталось отъ крови „великолѣпнаго бѣлокураго животнаго“ и утратилась былая физіологическая цѣнность. Господами поло-

Digitized by Google

женія въ Европѣ можно считать буржуа-капиталистовъ. Но что они не настоящіе господа, въ смыслѣ Ничше, не прирожденные повелители, это онъ заключаетъ уже изъ того, что они входятъ въ сдѣлки и переговоры съ рабочими (которыхъ „побралъ бы чортъ и статистика"), не умѣютъ и не могутъ внушить имъ „паѳосъ разстоянія". Въ современномъ обществѣ, по мнѣнію Ничше, только на войнѣ вырисовывается обликъ истинной морали, при которой повелители и повинующіеся знаютъ свое мѣсто. „Лучшихъ" надо искать на войнѣ и—между преступниками. Послѣднее для насъ особенно любопытно; такъ какъ сюда именно относится та ссылка на „Мертвый домъ" Достоевскаго („Götzen-Dämmerung", 120), о которой я говорилъ въ прошлый разъ. Но интересна собственно не сама ссылка, а то, что Ничше говоритъ въ связи съ нею (см. также „Die fröhliche Wissenschaft" § 4 и въ другихъ мѣстахъ) и что поразительно напоминаетъ разсужденія Раскольникова о преступникахъ и „необыкновенныхъ" людяхъ. Сходство доходитъ до частаго упоминанія именно Наполеона, который Ничше, какъ и Раскольникову, представляется—и по одинаковымъ соображеніямъ—типичнымъ представителемъ „необыкновеннаго" человѣка, правомѣрно „преступающаго" всякое право. При этомъ Ничше очень краснорѣчиво распространяется о чувствѣ „чандала" (низшая каста въ Индіи, собственно отбросы всѣхъ кастъ), обуревающемъ всякаго сильнаго человѣка, не нашедшаго себѣ мѣста въ современномъ „покорномъ, посредственномъ, кастрированномъ обществѣ". Это—„чувство ненависти, мести и возстанія противъ всего существующаго".

Это чувство чандала, непристроеннаго сироты, несомнѣнно руководитъ самимъ Ничше. Отсюда его проклятія всякому общежитію и его хвалебные гимны одиночеству. Личная его судьба не особенно интересна. Самъ онъ удовольствовался бы, повидимому, сравнительно весьма малымъ. Громя все существующее, онъ въ одномъ мѣстѣ, отчаявшись въ какихъ бы то ни было общепризнанныхъ идеалахъ, провозглашаетъ „моральное междуцарствіе" („Morgenröthe", § 453) и говоритъ: въ ожиданіи общаго признанія какихъ-нибудь, еще имѣющихся выработаться общепризнанныхъ идеаловъ, „будемъ, насколько возможно, собственными царями и будемъ основывать маленькія опытныя государства" (какъ основываются опытныя поля, фермы и проч.). Это

Digitized by Google

предложеніе имѣетъ не только тотъ смыслъ, что, дескать, дозволимъ себѣ все, не признавая надъ собой ничего высшаго, но, какъ это мы и у Раскольникова видѣли, чисто личный смыслъ: не признаю надъ собой ничего высшаго, но самъ желаю быть высшимъ. Въ той же „Morgenröthe“ (стр. 199), Ничше рекомендуетъ „каждому“, кто чувствуетъ себя тѣсно въ Европѣ, удалиться „въ дикія и свѣжія страны и стать тамъ господиномъ“. Авторъ предисловія къ „Also sprach Zarathustra“ полагаетъ, что Ничше „былъ аристократъ насквозь; родись онъ въ болѣе благопріятныя для настоящихъ господъ времена, онъ былъ бы тѣмъ, чѣмъ когда-то *хотѣлъ быть:* человѣкомъ дѣйствія, основателемъ ордена, колонизаторомъ“. Изъ всего этого видно, что честолюбіе Ничше было-бы насыщено, если бы ему удалось стать царькомъ какого-нибудь дотолѣ необитаемаго острова или основателемъ секты вродѣ ассассиновъ, гдѣ небольшая кучка людей оказывала бы ему безпрекословное повиновеніе. Это немного, конечно, для свободнаго мыслителя, вызывающаго на бой небо и землю. Но ему выпала на долю болѣе значительная роль: быть философскимъ выраженіемъ всего цивилизаціей непристроеннаго, оскорбленнаго, озлобленнаго, всѣхъ сиротъ и отбросовъ—чандала, хотя, конечно, не для всѣхъ сиротъ и отбросовъ обязательна та жажда власти, которою страдалъ самъ Ничше и которую онъ считалъ кореннымъ свойствомъ человѣческой природы вообще.

Что же касается „моральнаго междуцарствія“ въ болѣе общемъ смыслѣ, то-есть въ смыслѣ предоставленія всѣмъ и каждому полной моральной разнузданности, то Ничше былъ на этотъ счетъ даже очень строгъ и только, собственно говоря, пугалъ своимъ „имморализмомъ“. „Die fröhliche Wissenschaft“ открывается разсужденіемъ о томъ, что всѣ люди всегда имѣли и имѣютъ одну задачу: поддержаніе человѣческаго рода. Не потому,—замѣчаетъ Ничше,—эта задача такъ обща, что человѣкъ пылаетъ любовью къ своей породѣ, а просто потому, что нѣтъ въ человѣкѣ ничего старше, крѣпче, непобѣдимѣе этого инстинкта, составляющаго самую сущность нашего рода. Правда, люди разными путями, правильными и неправильными, стремятся къ осуществленію общей задачи, но все-таки она есть, по мнѣнію Ничше, а потому для „моральнаго междуцарствія“, фактически несомнѣнно существующаго, въ высшемъ, теоретическомъ смыслѣ

Digitized by Google

нѣтъ резоновъ. Моралистъ-теоретикъ можетъ принять общую задачу за исходный пунктъ и затѣмъ произвести оцѣнку различныхъ человѣческихъ дѣйствій на основаніи степени ихъ приближенія къ осуществленію общей задачи. Ничше такъ и дѣлаетъ, съ тою, однако, разницей, что верховнымъ критеріемъ моральной оцѣнки у него является не простое поддержаніе человѣческаго рода, а его улучшеніе, что уже даже и не можетъ представить за себя гарантій всеобщности. Несмотря на существующее моральное междуцарствіе, несмотря, далѣе, на всѣ свои гнѣвныя и саркастическія выходки противъ морали вообще, какъ оскорбительной и ненужной узды, Ничше считаетъ возможнымъ теперь же приглашать людей къ принятію весьма строгой морали. Онъ убѣждаетъ насъ признать высшею цѣлью своего существованія поднятіе человѣческаго типа, созданіе „сверхъ-человѣка", каковая задача и составляетъ центръ его морали. Мораль эта во многихъ отношеніяхъ рѣзко отличается отъ принятыхъ нынѣ правилъ нравственности, но все же она есть мораль, и Ничше оказывается при этомъ самымъ крайнимъ идеалистомъ. Всѣ нынѣшнія разноименныя системы морали и всѣ побужденія и поступки, признаваемые нынѣ нравственными, Ничше объявляетъ результатами пагубной дрессировки, противоестественной, такъ какъ она подавляетъ инстинкты и самую жизнь, самую „волю къ жизни". Но вотъ конецъ той изъ рѣчей Заратустры, начало которой мы привели въ прошлый разъ:

„Выше любви къ ближнему — любовь къ дальнему и будущему; выше любви къ человѣку — любовь къ дѣламъ и призракамъ.

„Братъ мой, призракъ, витающій передъ тобою, прекраснѣе тебя; зачѣмъ же не отдаешь ты ему свою плоть и кровь? Но ты страшишься и бѣжишь къ своему ближнему.

„Вы не справляетесь сами съ собой и недостаточно себя любите; и вотъ вы хотите соблазнить своего ближняго на любовь и позолотить себя его заблужденіемъ...

„Вы приглашаете свидѣтеля, когда хотите хвалить себя, и когда вы соблазнили его хорошо о васъ думать, то сами начинаете думать о себѣ хорошо...

„Одинъ идетъ къ ближнему, потому что ищетъ себя, другой—потому что хотѣлъ бы потеряться. Ваша дурная любовь къ себѣ дѣлаетъ для васъ изъ одиночества тюрьму.

Digitized by Google

„Дальніе расплачиваются за вашу любовь къ ближнему, и когда вы только впятеромъ собрались, гдѣ-нибудь долженъ умереть шестой...

„Пусть будущее и отдаленное будетъ причиной твоего сегодня. Сверхъ-человѣка долженъ ты любить, какъ свою причину.

„Братья мои, я не любовь къ ближнему совѣтую вамъ, я совѣтую вамъ любовь къ дальнему“.

Загадочность языка Заратустры не мѣшаетъ, въ связи съ вышеизложеннымъ, усмотрѣть, по крайней мѣрѣ, двѣ стороны въ приведенномъ отрывкѣ. Ясно, во-первыхъ, что въ современной любви къ ближнему Ничше видитъ лицемѣріе или самообманъ, и онъ возстаетъ противъ нихъ. Ясно, далѣе, что онъ зоветъ насъ къ жертвамъ, зоветъ насъ отдать свою „плоть и кровь“ „призраку“, „сверхъчеловѣку“. Причемъ же тутъ „имморализмъ“? Но этого мало. Самъ Заратустра, если не сверхъ-человѣкъ, то его предтеча, ни мало не похожъ ни на Цезаря Борджіа, ни на „великолѣпное бѣлокурое животное“. Онъ называетъ себя „врагомъ добрыхъ и справедливыхъ“, „другомъ злыхъ“, вообще является на словахъ чѣмъ-то вродѣ антихриста или божества зла, но въ дѣйствительности это человѣкъ кроткій, мягкій и вдобавокъ ведущій аскетическій образъ жизни. Да и въ рѣчахъ его звучатъ такія, напримѣръ, ноты: „Вверхъ ведетъ нашъ путь, отъ рода къ сверхъ-роду. Но отвратительна для насъ вырождающаяся мысль, гласящая: „все для меня“ (107); „любить и гибнуть—это отъ вѣка идетъ рядомъ; жажда любви есть и жажда смерти; такъ говорю я вамъ, малодушные!“ (176); „гибнущихъ люблю я своею полною любовью, потому что они—поднимающіеся“ (288) и т. п. Такимъ образомъ, найдя удовлетворяющій его идеалъ, Ничше требуетъ такого же къ нему отношенія, какъ и всякій другой моралистъ, онъ даже гораздо строже многихъ въ этомъ отношеніи, гораздо, напримѣръ, строже и требовательнѣе гр. Л. Н. Толстой. Но затѣмъ является вопросъ о самомъ этомъ идеалѣ, объ его содержаніи и о путяхъ, къ нему ведущихъ, помимо общихъ всякой морали требованій преданности извѣстному идеалу.

Сопоставляя отдѣльныя мѣста изъ сочиненій Ничше, Максъ Нордау уличаетъ его въ разныхъ противорѣчіяхъ и, между прочимъ, въ томъ, что онъ то отрицаетъ всякое общежитіе и восхваляетъ одиночество, какое-то странное вполнѣ изолированное положеніе, то, наоборотъ, говоритъ о благодѣяніяхъ общежитія.

Digitized by Google

Противорѣчій у Ничше вообще не оберешься, а что касается общежитія и одиночества, то онъ договаривается въ одномъ мѣстѣ до „Einsamkeitslehre“ (одиночествовѣдѣніе), которое онъ ставитъ, какъ особую научную дисциплину, рядомъ съ Gesellschaftslehre, обществовѣдѣніемъ. Тѣмъ не менѣе въ данномъ случаѣ можно усмотрѣть не только противорѣчіе. Общество, общежитіе есть фактъ необходимый, неизбѣжный, но имѣющій свои хорошія и дурныя стороны. Судя по первоначальной исходной точкѣ Ничше—святости личности—можно бы было думать, что онъ своеобразно примкнетъ къ общей задачѣ нашего вѣка: найти такую общественную форму, которая гарантировала бы полный возможный расцвѣтъ личности. Своеобразность Ничше могла бы выразиться такимъ рѣшеніемъ, что этотъ идеалъ фактически недостижимъ, но тѣмъ не менѣе остается идеаломъ, къ которому возможно большее или меньшее приближеніе и за который люди должны хотя бы вѣчно бороться (припомнимъ, что онъ хочетъ „погибнуть на великомъ и невозможномъ“). Это очень шло бы къ общему строю мысли Ничше, такъ какъ указывало бы дорогую ему перспективу неустаннаго дѣйствованія, неустанной борьбы за великое дѣло. Но, свернувъ незамѣтно для самого себя съ своей первоначальной дороги, Ничше остановился, какъ на общественномъ идеалѣ, на такомъ общественномъ строѣ, который способствовалъ бы выработкѣ „сверхъ-человѣка“ насчетъ человѣка, иначе говоря, какой-то аристократіи насчетъ массы. Никакой, однако, нравственной распущенности онъ этой аристократіи не предоставлялъ; напротивъ, она должна, по его мнѣнію, въ свою очередь подчиниться строжайшей нравственной дисциплинѣ для выработки изъ себя новой, еще высшей аристократіи. Демократическія теченія нашего времени естественно представлялись ему препятствіемъ на этомъ пути и потому онъ обливалъ своимъ презрѣніемъ массы, требующія отъ общества больше, чѣмъ оно, по его, Ничше, мнѣнію, должно имъ предоставить, имѣя въ виду свою главную цѣль—выработку „сверхъ-человѣка“. Всѣ его разговоры о красотѣ „бѣлокураго животнаго“, о жестокости и злобѣ относятся къ невозвратному прошлому, къ „генеалогіи морали“; и если онъ настаиваетъ на рабскомъ происхожденіи „доброты“ и на упадкѣ человѣчества, какъ на ея результатѣ, то это лишь въ тѣхъ видахъ, чтобы отвлечь заботливость общества отъ слабыхъ и больныхъ и привлечь ее къ сильнымъ и здоровымъ, изъ среды которыхъ можетъ выработаться сверхъ-человѣкъ.

Digitized by Google

Любопытно, что Ничше относится вообще очень презрительно къ дарвинизму съ его борьбой за существованіе и естественнымъ подборомъ, которыми обусловливается возникновеніе новыхъ, высшихъ формъ жизни („Gotzen-Dämmerung", 87, „Die fröhliche Wissenschaft", 273). Но въ „Unzeitgemasse Betrachtungen" Ничше упрекалъ Давида Штрауса въ томъ, что онъ изъ трусости не сдѣлалъ всѣхъ надлежащихъ выводовъ изъ „дарвинистской этики", а, дескать, выводы этп только и могутъ состоять въ bellum omnium contra omnes и въ правѣ сильнѣйшихъ. Въ сущности, предлагая своего сверхъ-человѣка, какъ цѣль человѣческой дѣятельности, Ничше стоитъ на чисто дарвинистской точкѣ зрѣнія, и многіе дарвинисты (какъ, напримѣръ, г-жа Клемансъ Ройе, Спенсеръ въ „Соціальной статикѣ" и др.) далеко превзошли его въ дѣлѣ жестокаго отношенія къ больнымъ и слабымъ. Но у него есть и оригинальныя грубости, и я приведу одну изъ нихъ, относящуюся къ вопросу, котораго мы не имѣли еще случая коснуться.

Въ одной изъ рѣчей Заратустры говорится о дружбѣ, а затѣмъ мимоходомъ и о способности къ ней женщины.

„Если ты рабъ, то не можешь быть другомъ. Если ты тиранъ, то не можешь имѣть друзей. *)

„Женщина была слишкомъ долго рабомъ и тираномъ. Поэтому женщина неспособна къ дружбѣ: она знаетъ только любовь.

„Въ женской любви заключается несправедливость и слѣпота ко всему, чего она не любитъ. Но и въ сознательной любви женщины есть все таки наскокъ и молнія и ночь рядомъ со свѣтомъ.

„Еще неспособна женщина къ дружбѣ. Женщины еще кошки, или птицы, или, въ лучшемъ случаѣ, коровы" (78).

Въ другой рѣчи Заратустра передаетъ свою бесѣду съ встрѣчной старушкой. Онъ говорилъ ей:

„Все въ женщинѣ загадка и все имѣетъ въ ней разгадку: она называется беременность.

„Мужчина есть для женщины средство: цѣль есть всегда ребенокъ. Но что такое женщина для мужчины?

„Двухъ вещей хочетъ настоящій мужчина: опасности и игры. Поэтому ему нужна женщина, какъ опаснѣйшая игрушка.

„Мужчина долженъ быть воспитанъ для войны, а женщина— для отдохновенія воина: все остальное глупость.

*) Я стараюсь переводить какъ можно точнѣе.

Digitized by Google

„Слишкомъ сладкіе плоды не нужны воину. Поэтому ему нужна женщина: горька и сладчайшая изъ женщинъ.

„Лучше мужчины понимаетъ женщина дѣтей, но мужчины болѣе дѣти, чѣмъ женщины.

„Въ настоящемъ мужчинѣ сокрыто дитя, которое хочетъ играть. О, женщины, найдите же дитя въ мужчинѣ!

„Пусть женщина будетъ игрушкой, изящной и чистой, какъ драгоцѣнный камень, блистающей добродѣтелями еще не существующаго міра.

„Пусть лучъ звѣзды сіяетъ въ вашей любви! Вашей надеждой пусть будетъ: о, если бы я родила сверхъ-человѣка!“ (92).

И т. д. Старушка, выслушавъ эту рѣчь, удивляется, что Заратустра, мало знающій женщинъ, сказалъ объ нихъ правду, и въ благодарность сообщаетъ ему одну „маленькую истину“: „если ты идешь къ женщинѣ, не забудь захватить кнутъ!“

Хотя Заратустра и называетъ себя врагомъ добрыхъ и справедливыхъ и другомъ злыхъ и жестокихъ, но въ дѣйствительности онъ слишкомъ добрый и мягкій человѣкъ, чтобы поднять руку на женщину, особенно если она—возможная мать сверхъ-человѣка. Тѣмъ не менѣе въ его смятенномъ умѣ сверхъ-человѣкъ и кнутъ уживаются рядомъ.

Я предполагалъ познакомить читателей съ идеями Ничше гораздо полнѣе и обстоятельнѣе, чѣмъ мнѣ удалось это сдѣлать. Не удалось же мнѣ частію вслѣдствіе трудности самой задачи, частію по недостатку времени и мѣста. Утѣшаюсь тѣмъ, что мнѣ удалось, можетъ быть, по крайней мѣрѣ, убѣдить читателя, что въ Ничше не только есть, какъ и во всякомъ писателѣ, во всякомъ человѣкѣ, свѣтъ и тѣни, но что этотъ свѣтъ сіяетъ ярче многихъ признанныхъ свѣтилъ, а эти тѣни чернѣе чернаго; что нельзя записывать Ничше ни въ просто сумасшедшіе, какъ это дѣлаетъ Нордау, ни въ непогрѣшимые, какъ это дѣлаютъ пламенные ученики. Затѣмъ я старался, по крайней мѣрѣ, выдвинуть тѣ стороны ученій Ничше, которыя или совсѣмъ ускользнули отъ вниманія критиковъ, доступныхъ русскому читателю, незнакомому съ подлинниками, или недостаточно или невѣрно освѣщены ими. Льщу себя поэтому надеждою, что мои бѣглыя замѣтки сослужатъ нѣкоторую службу хотя бы только въ качествѣ дополненія къ статьямъ гг. Преображенскаго, Грота, Лопатина, Астафьева въ московскомъ философскомъ журналѣ и книгѣ Макса Нордау.

Конецъ.

Digitized by Google

Digitized by Google

Цѣна 2 рубля.

СКЛАДЫ ИЗДАНІЯ:

Въ С.-Петербургѣ—Въ конторѣ журнала «**Русское Богатство**»—уг. Спасской и Басковой ул., д. 1—9.

Въ Москвѣ—въ Отдѣленіи Конторы — **Никитскія** Ворота, домъ Гагарина.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google